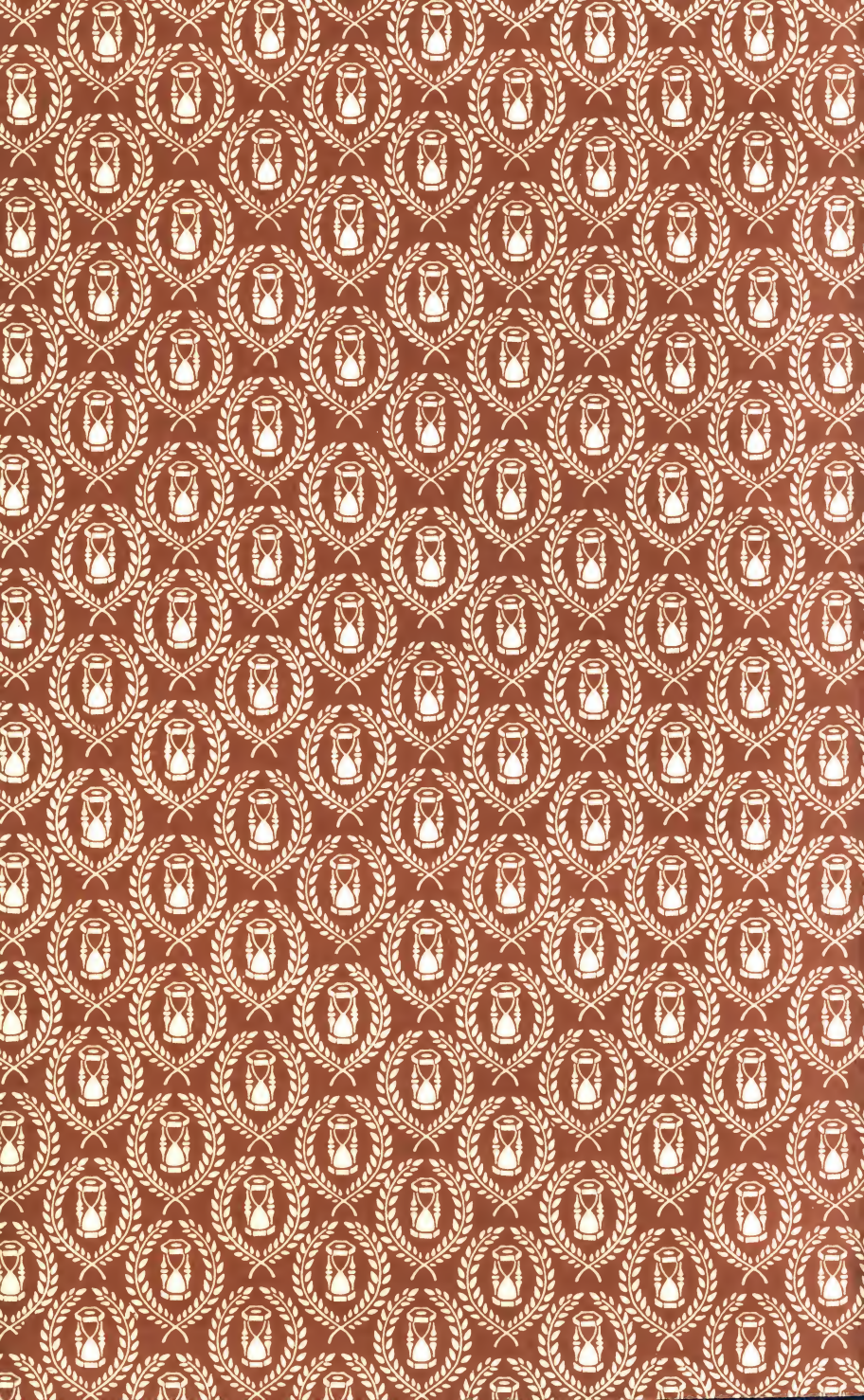
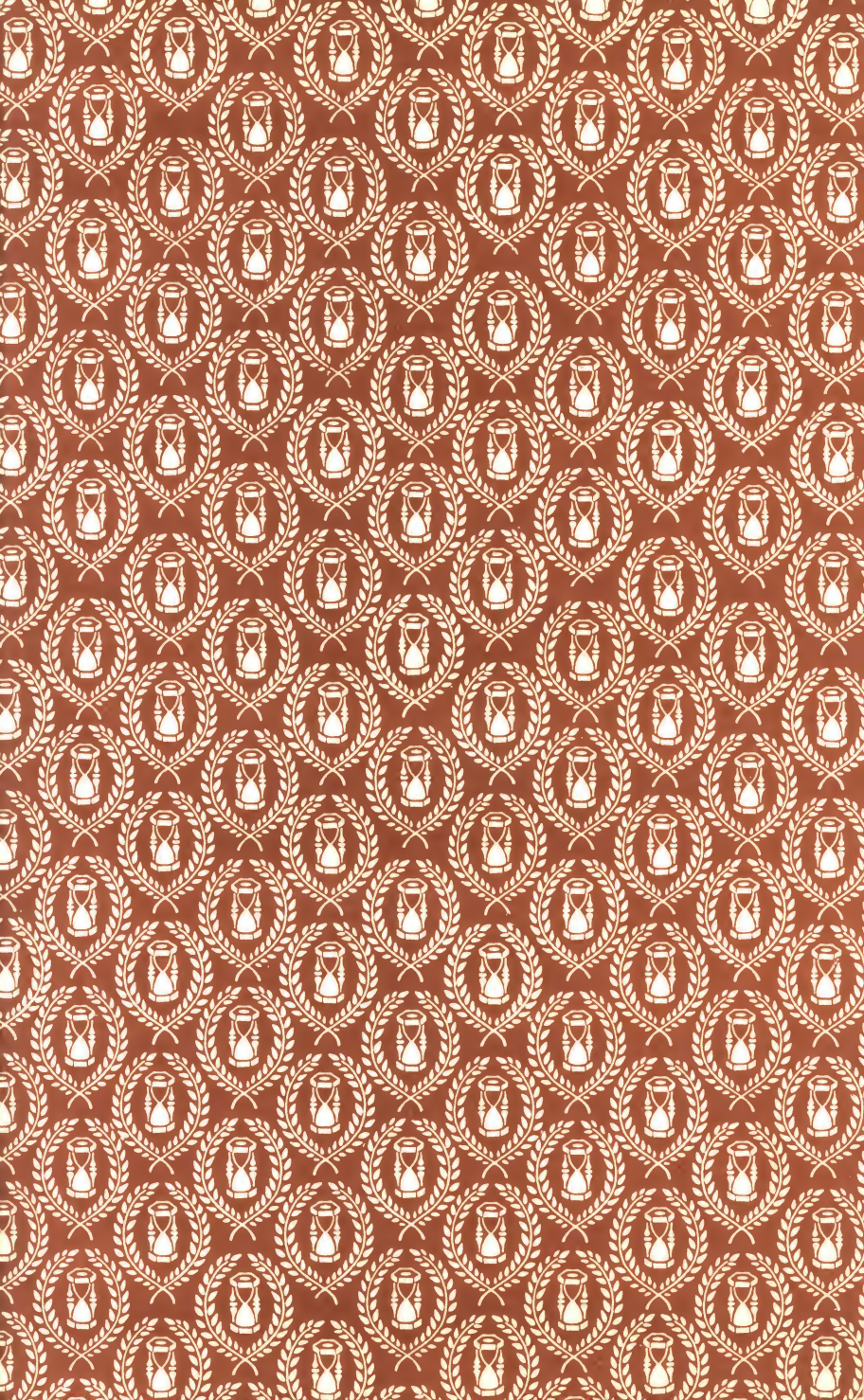




Н. А. ПОЛЕВОЙ

*Избранная
историческая проза*







Н. А. ПОЛЕВОЙ

*Избранная
историческая проза*



Н. А. ПОЛЕВОЙ

Иоанн Цимисхий

*Пир Святослава Игоревича,
князя Киевского*

*Повесть о Симеоне,
Суздальском князе*

*Клятва
при гробе Господнем*

Составление,
вступительная статья и комментарии
А. КУРИЛОВА

Иллюстрации
Б. ПАШКОВА

Оформление серии
Н. ЯЩУКА

П $\frac{4702010100-2194}{080(02) - 90}$ 2194-90

ISBN 5-253-00146-8

© Издательство «Правда», 1990.
Составление. Вступительная статья,
Комментарии. Иллюстрации.

СОДЕРЖАНИЕ



А. С. Курилов
«Услышать уроки истории...»
7

Византийские легенды

ИОАНН ЦИМИСХИЙ

Быль X века
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
27

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
111

ПИР СВЯТОСЛАВА ИГОРЕВИЧА,
КНЯЗЯ КИЕВСКОГО
191

ПОВЕСТЬ О СИМЕОНЕ,
СУЗДАЛЬСКОМ КНЯЗЕ
219

КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ

Русская быль XV века
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
283

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
385

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
479

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
585

Комментарии
692

Словарь устаревших и малоупотребительных слов
736



«Услышать уроки истории...»

Николай Полевой умер 22 февраля (6 марта) 1846 года, а уже 25 апреля цензура разрешила издание брошюры В. Г. Белинского «Николай Алексеевич Полевой», где говорилось:

«Три человека... имели сильное влияние на русскую поэзию и вообще русскую изящную литературу в три различные эпохи ее исторического существования. Эти люди были — Ломоносов, Карамзин и Полевой...

Полевому предстояла роль деятельная и блестящая, вполне соответствующая с его натурой и способностями... Человек, почти вовсе неизвестный в литературе, нигде не учившийся, купец званием, берется за издание журнала, — и его журнал («Московский телеграф» — А. К.) с первой же книжки изумляет всех живостью, свежестью, новостью, разнообразием, вкусом, хорошим языком, наконец, верностью в каждой строке однажды принятому и резко выразившемуся направлению... Первая мысль, которую тотчас же начал он развивать... была мысль о необходимости умственного движения, о необходимости следовать за успехами времени, улучшаться, идти вперед, избегать неподвижности и застоя, как главной причины гибели просвещения, образования, литературы. Эта мысль... тогда была новостью, которую почти все приняли за опасную ересь. Надо было развивать ее, повторять, твердить о ней, чтобы провести ее в общество, сделать хотячею истинною. И это совершил Полевой!..

Полевой показал *первый*, что литература — не игра в фанты, не детская забава, что искание истины есть ее главный предмет и что истина — не такая безделица, которою можно было бы жертвовать условным приличиям и приятным отношениям... «Телеграф»... многим казался чудовищным явлением, именно потому, что здравый смысл, образованный вкус и истину ставил выше людей и ради их не щадил авторских самолюбий. Теперь с трудом можно поверить, что когда-нибудь могло быть таким образом и до такой степени: и это опять заслуга Полевого, и заслуга великая!

...Без всякого преувеличения можно сказать положительно, что «Московский телеграф» был решительно лучшим журналом в России, от начала журналистики... Заслуги Полевого так велики, что, при мысли о них, нет ни охоты, ни силы распространяться о его ошибках... Такие люди не часто являются, и гораздо легче попасть в доктора всех возможных наук, нежели сравниться с ними...»¹.

* * *

Николай Алексеевич Полевой родился 22 июня (3 июля) 1796 года в Иркутске. Он был старшим сыном в семье потомственного кур-

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. В 13 т. М., 1955. Т. IX. С. 672—696.

ского купца, известного по тем временам торгового и промышленного деятеля, одного из организаторов Российско-Американской компании (1799—1868) Алексея Евсеевича Полевого (1759—1822). Кроме Николая в семье Полевых было еще трое детей: Екатерина (в замужестве Авдеева, 1789—1867), впоследствии писательница, автор «Записок» о Сибири, сельском и домашнем быте, собирательница фольклора; Евсений (1799 — ок. 1855) — занимался в основном торговыми делами; Ксенофонт (1801—1867) — известный впоследствии критик, литератор, мемуарист, верный друг и помощник Н. А. Полевого во всех его многотрудных литературно-журнальных начинаниях и предприятиях.

Детские годы Николая Полевого прошли под Иркутском на заимке — обширном загородном владении отца, расположенном при впадении в Ангару реки Ушаковки. Тут, по воспоминаниям Кс. Полевого, были «и фабрики, и все хозяйственные заведения, и прекрасный дом с несколькими отдельными жилыми помещениями», и «прекрасные виды и живописные, дикие окрестности, и река, роскошная для купания и рыбной ловли, и множество мест для прогулок, для охоты...»¹.

Заимка Полевых стала как бы маленьким культурным центром Иркутска. В доме постоянно были книги, журналы, газеты. «К отцу нашему, — вспоминал Кс. Полевой, — приезжали почти все образованные люди города», и «мы лучше знали, что делалось в Европе, в Индии, в Америке, нежели в Иркутске. Мы знали все подробности о современном герое — Наполеоне, рассуждали о древней истории, мифологии...»². Вот в такой, богатой красотами природы и духовно насыщенной культурной атмосфере, прошло раннее детство Николая Полевого.

К шести годам он умел читать, а с десяти лет, по собственному признанию, прочитав всю отцовскую библиотеку, начиная от сочинений Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Карамзина и включая «Рассуждения о всеобщей истории» Ж. Б. Боссюэ, «Деяния Петра Великого» И. Голикова — сам писал «стихи и прозу... не зная, что такое стихи и проза», «выдавал газету *«Азиатские Ведомости»*, вроде *«Московских Ведомостей»*, журнал *«Друг России»*, вроде *«Московского Меркурия»* (Макарова³), от которого... был в восторге, написал драму *«Брак царя Алексея Михайловича»*, трагедию *«Блан-*

¹ Полевой Кс. Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого // Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 99, 100.

² Там же. С. 100.

³ Макаров Петр Иванович (1765—1804) — критик и беллетрист, в 1803 году издавал журнал «Московский Меркурий», разделявший литературные позиции Н. М. Карамзина и борющийся за утверждение подлинного сентиментализма, против сентиментальной слезливости, приторности и «чувствительности».

ка Бурбонская», интермедию «Петр Великий в храме бессмертия», сочинял «Путешествие по всему свету...»¹.

Однако купеческая семья при всей широте и разнообразии духовных интересов ее главы оставалась купеческой, и десятилетнему Николаю приходится помогать отцу. Он ведет конторские книги, выполняет посильные поручения по торгово-фабричным делам.

Отец не препятствовал литературным занятиям сына, выбрав, однако, оригинальный метод «воспитания» у него чувства ответственности за порученное дело: каждый раз, как только замечал упущения сына по работе в конторе, сжигал все его «сочинения»... Отец был вспыльчив, «яр», но быстро отходил. И Николай, спустя некоторое время, вновь брался за перо, снова писал и стихи и прозу, «выдавал» газету и журнал. Истребить в нем тягу к творчеству было невозможно...

С «препоручениями» от отца, задумавшего оставить Сибирь и обосноваться в центральной России, Николай Полевой летом 1811 года приезжает в Москву. Культурная жизнь нашей древней столицы так увлекла его, что он быстро забыл о делах. Ходит «по три раза в неделю» в театр, «прочитал и накопил без счета» книг, «пробирается» на лекции в университет².

В июне 1812 года в Москву прибывает вся семья Полевых, и отец, в очередной раз предав огню написанное за это время Николаем — трагедию «Василько Ростиславич»... повесть «Ян Ушмович», роман и проч. и проч., принялся с сыном «за дела»...³ Но Полевые не успели даже оглядеться и устроиться, как пришлось вместе «с другими беглецами» оставить город, бросить квартиру, мебель, хозяйство; все приобретённое имущество погибло во время пожара.

Некоторое время Полевые живут в Арзамасе, затем перебираются в Курск, на родину Алексея Евсеевича. После неудачных попыток основать «собственное дело» сначала в самом Курске, затем в Ростове-на-Дону, отец в 1814 году возвращается в Иркутск, а Николай поступает на службу в контору богатого курского купца. В 1817 году отец окончательно расстается с Сибирью, обосновывается в Курске и открывает там водочный завод. Дело оказалось прибыльным, в семье появляется достаток, и летом 1819 года Николай оставляет работу у купца.

Все эти годы, несмотря на переезды и конторскую суету, Николай Полевой не прекращал своих литературных занятий. К 1817 году относятся его первые выступления в печати: журнал «Русский вестник» публикует два его оригинальных стихотворения, стихотворный перевод с французского и заметку «Отрывки из писем к другу из Курска» — о пребывании на курской земле Александра I. Заметка

¹ Полевой Н. Несколько слов от сочинителя // Н. Полевой. Очерки русской литературы: В 2 ч. М., 1839. Ч. 1. С. XXX—XXXI.

² Там же. С. XXXIII.

³ Там же.

была подписана полным именем автора, сразу сделав его городской знаменитостью. В 1819 году в «Вестнике Европы» появляется его первая историко-филологическая работа — «Замечания на статью «Нечто о Велесе».

В начале 1820 года Николай Полевой направляется в Москву налаживать сбыт продукции их завода. Торговые заботы отнимали у него немного времени и, мечтая о филологическом образовании, он занимается «всеми предметами, необходимыми для вступления в университет» (куда, впрочем, даже и не пытается поступить)¹, самостоятельно изучает греческий, латинский, совершенствуется во французском, продолжает, как поэт и переводчик, сотрудничество в «Вестнике Европы», сближается с его редактором М. Т. Каченовским, приобщается к кругу московских литераторов. Затем, бывая наездами в северной столице, заводит литературные знакомства и в Петербурге.

В 1820—1824 годах его стихи, заметки, очерки, статьи на филологические и исторические темы, а также переводы с французского появляются в журналах «Благонамеренный», «Отечественные записки», «Северный архив», «Сын Отечества», альманахе «Мнемозина». В 1822 году Российская Академия награждает Николая Полевого серебряной медалью за работу «Новый способ спряжения русских глаголов».

Получив некоторую известность в литературных кругах, Николай Полевой мечтает о собственном журнале, но не обычного типа, а энциклопедическом, для «сообщения отечественной публике — как он писал в своем «Предположении об издании... нового повременного сочинения», направленном министру народного просвещения А. С. Шишкову, — статей, касающихся до нашей истории, географии, статистики и словесности, которые бы иностранцам показывали благословенное отечество наше в истинном его виде», а также «всего, что любопытного найдется в лучших иностранных журналах и новейших сочинениях или что неизвестно еще на нашем языке, касательно наук, искусств, художеств вообще и словесности древних и новых народов»². И название было подобрано соответствующее — «Московский телеграф».

Осенью 1824 года Полевой получил разрешение на такое издание, и в следующем году «Московский телеграф» вышел в свет, привлекая читателей своим подзаголовком — «журнал литературы, критики, наук и художеств». И не только подзаголовком.

Отвечая своему названию, журнал действительно явился «телеграфом» новых литературных, художественных, философских, исторических, политических, экономических идей. Особенно это стало заметно после 14 декабря 1825 года, когда «Московский телеграф» ока-

¹ Николай Полевой. Материалы... С. 126.

² Там же, С. 381.

зался фактически единственным у нас органом печати, со страниц которого «сквозь препоны и рогатки цензуры» прорывалась к россиянам передовая западноевропейская мысль. Вместе со своим журналом Николай Полевой выступил «одним из предводителей в литературном и умственном движении»¹, сумев, как отметил А. И. Герцен, «в самые мрачные времена ...удержаться, наперекор всякой реакции, до 1834 года, не изменив своему делу...»².

Подчеркивая заслуги издателя «Московского телеграфа» перед русской культурой, Белинский еще при жизни Полевого писал: «...Полевой может назваться представителем мнений об искусстве и науке целого периода нашей литературы. Он имел сильное влияние на свое время, произвел переворот в мертвой журналистике того времени, оживил литературу, дал быстрое течение обмену мнений, сбавил цены со многих авторитетов, не совсем по праву стоявших слишком высоко, уничтожил множество знаменитостей по преданию и на кредит»³. На последнее обстоятельство обратит внимание и Герцен: Полевой «был совершенно прав, думая, что всякое уничтожение авторитета есть революционный акт и что человек, сумевший освободиться от гнета великих имен и схоластических авторитетов, уже не может быть полностью ни рабом в религии, ни рабом в обществе»⁴.

Говоря так, и Белинский, и Герцен имели в виду деятельность Полевого как критика. И хотя Полевой не призывал к свержению самодержавия и ликвидации существующего строя, т. е. не был революционером в привычном для нас понимании этого слова, ему было суждено самым решительным образом изменить представления о сущности литературной критики, ее задачах, целях и возможностях. И прежде всего критики журнальной. Именно с легкой руки Полевого она превращается в силу, способную влиять на художественное сознание общества, характер и направление национального духовного развития. Это был действительно, по-своему революционный, переворот в существовавшей тогда у нас системе литературных отношений и нравов.

А началось все с программного заявления Полевого, прозвучавшего уже на первых страницах издаваемого им журнала, что обязанностью критика, и не просто обязанностью, а «важным подвигом», является «беспристрастный надзор за отечественной литературой», что дело критика не потакание авторскому самолюбию, а «обличение невежества, похвала уму и познаниям»⁵. Сделав такое за-

¹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1947. Т. 3. С. 23.

² Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 215.

³ Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953. Т. III, с. 501.

⁴ Герцен А. И. Собр. соч. Т. 7. С. 216.

⁵ Московский телеграф. 1825. № 1. С. 11—12.

явление, Полевой немедленно приступил к фронтальному рецензированию всей отечественной печатной продукции, не оставляя без разбора и оценки ни одной оригинальной или переводной книги, изданной в стране, на что до него никто не отваживался. И не мудрено.

На подобное подвижничество был способен далеко не каждый. Но Полевой пошел на это, пошел смело и решительно, пошел во имя будущего русской литературы и культуры, прекрасно сознавая, что «критические разборы книг отдельно и ежегодные обозрения литературы вообще необходимы и важны для успехов просвещения...». И если, как писал он, «другие наши журналисты уклоняются от критики и занимаются ею мимоходом», то издатель «Московского телеграфа» признает «критику необходимою принадлежностью литературного журнала», обещая при этом выполнять взятые на себя обязанности, «не внимая ни голосу оскорбленного самолюбия некоторых писателей, ни грозе журнальных антикритик»¹. И данное обещание выполняет свято, неустанно, последовательно.

Предложенная и осуществленная Полевым на практике форма критического «надзора» за текущей литературой оказалась очень эффективной, действенной, а опыт «телеграфского» фронтального рецензирования придется по душе и Белинскому, который во многом явится продолжателем дела, начатого его предшественником.

Полевой первым повел борьбу за высокий профессионализм писательской деятельности, объявив беспощадную войну графоманам. Он понимал, что невежество, обуянное страстью к творчеству, к «авторской славе», своими «изделиями» портит художественные вкусы, порождает ложные представления об искусстве, вредит литературе и просвещению. Но любое «зло» можно, нужно и лучше всего «прекращать в начале»². И ни одной такой возможности Полевой не упустит: «...издатель объявляет, что издание «Невского Альманаха» есть *первый* его опыт; нельзя ли *второго* опыта не делать?»; «... г. переводчик объявляет, что это *первый опыт* его: да будет он и *последним...*»; «...ради Феба, юный поэт! ...изданные вами *подражания* да будут для вас *первыми и последними подражаниями*»³. И так далее.

Однако «наибольшими врагами» Полевого, как заметил уже Герцен, были «литературные авторитеты»⁴, поклонение которым, традиционно крикливое, показное, плодило графоманов, позволяло невежеству облекаться в одежды значительности, поощряло лень мысли, что вместе взятое тормозило, сдерживало национальное художественное и умственное развитие. В этих условиях развенчание кумиров становится необходимой, настоятельной потребностью, без

¹ Московский телеграф. 1825. № 24. С. 389.

² Московский телеграф. 1825. № 1. С. 12.

³ Московский телеграф. 1825. № 4. С. 338; № 21. С. 99; 1828, № 3. С. 438.

⁴ Герцен А. И. Собр. соч. Т. 7. С. 216.

чего невозможно было какое-либо движение вперед. Осознав эту потребность Полевой приступает к переоценке всей сложившейся у нас системы литературных ориентиров и ценностей. И начинается с самого популярного и признанного в то время писателя — Н. М. Карамзина.

«Для нас, *нового поколения*, — скажет Полевой, — Карамзин существует только в истории литературы и в творениях своих... Он был литератор, философ, историк *прошедшего века, прежнего*, не нашего *поколения*... Карамзин уже не может быть образцом ни поэта, ни романиста, ни даже прозаика русского. Период его кончился»¹.

Следующим станет А. Ф. Мерзляков: «...он, по своему времени и по своим способам, был достойный преемник Ломоносова, имя его навсегда останется в истории нашей литературы. Но хотеть, чтобы мы восхищались им, как восхищались от его стихов и прозы лет за тридцать — не прогневайтесь — требование нелепо! Мерзляков не может быть для нас, ныне, предметом ни восхищения, ни подражания»². Затем придет очередь Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, других отечественных писателей, и не только XVIII — начала XIX в.

Привыкшее к чинопочитанию и ритуальному соблюдению критиками литературной (и не только литературной) табели о рангах, общество было возмущено независимостью суждений — страшно подумать! — какого-то купца, который, нисколько не считаясь с правилами «приличия», выносил приговоры «образцовым» писателям, да к тому же — какая дерзость! — от имени целого поколения, ничуть не сомневаясь в своей правоте. И не просто судил, как его душе было угодно, а на основании четких теоретических позиций. «Эклектизм (т. е. широта взгляда. — А. К.) при методе *исторической критики*, — заявлял Полевой, — при *этнографической*, так сказать (т. е. национальной — А. К.) *эстетике* дает нам средства быть справедливыми ко всем и ко всему ...Рассматривайте каждый предмет не по безотчетному чувству: *нравится, не нравится, хорошо, худо*, но по соображению историческому века и народа, и философическому важнейших истин души человеческой»³. Так он и поступал, оценивая степень «образцовости» и современности отечественных писателей, включая и здравствующих.

«Старик Дмитриев, поэт и бывший министр юстиции, — вспоминал Герцен, — с грустью и ужасом говорил о литературной анархии, которую вводил Полевой, лишенный чувства почтения к людям, заслуги конх признавались всей страной»⁴. Но это была не «анархия», а первые шаги нашей литературной критики на пути к историзму.

В своих статьях Полевой показал, что любой поэт, если он поэт истинный, является сыном своего времени, которое обязательно ска-

¹ Московский телеграф. 1829, № 12. С. 470, 472, 474.

² Московский телеграф. 1831, № 3. С. 382.

³ Московский телеграф. 1831, № 3. С. 381.

⁴ Герцен А. И. Собр. соч. Т. 7. С. 216.

зывается на характере его творчества и личности, но что только поэт гениальный, т. е. сумевший в совершенстве выразить жизнь своего народа, дух своей эпохи, может быть интересен потомкам, имеет право на бессмертие. Ценность творчества писателей Полевой поставил в прямую зависимость от степени народности их произведений, характера выражения в них духа народа. Он первым отметил, что «гений Державина носит все отпечатки русского характера». Однако «этот *русизм*, — скажет Полевой, — эта национальность Державина до сих пор были упускаемы из вида. Говоря о Державине-лирике, все забывали в нем *русского певца*. Сочинения Державина исполнены русского духа, которого *видом не видать, слыхом не слышать* у других *мнимо-русских поэтов наших*»¹.

Отдавая дань своему предшественнику, Белинский напишет: «Никто до г. Полевого не судил лучше о Державине и Жуковском, никто до него не был ближе к истине при оценке этих двух великих представителей русской поэзии. Особенно в Державине подметил он много сторон... например... сторону *народности*, которой до него не подозревали в этом поэте. Это заслуга, и заслуга важная!»².

* * *

Творческая деятельность Полевого эпохи «Московского телеграфа»³ выходит далеко за рамки заявленного им «беспристрастного надзора за отечественной литературой». Широта этой деятельности, ее разнообразие, диапазон приложения сил поразительны.

Он пишет и издает шесть томов «Истории русского народа» (1829—1833), полемически направленной, что подчеркивалось уже самим заглавием, против «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, вводя в научный оборот новые исторические факты и памятники нашей древней словесности и письменности. Выступает в защиту просвещения как «одного из главнейших оснований государственного благосостояния и народного богатства» («Речь о невестественном капитале...», 1828), призывает купечество всячески содействовать этому благосостоянию, не изменять «всему великому, прекрасному и благому, обещаемому будущей судьбою России» («Речь о купеческом звании и особенно в России», 1832). Высмеивает сословные предрассудки, людские пороки, литературные нравы, выпуская сатирическое приложение к «Московскому телеграфу» — своего рода журнал при журнале — под названием «Новый живописец общества и литературы» (1829—1831) и «Камер-обскура книг и людей» (1832). Принимает самое активное участие в разработке тео-

¹ Московский телеграф. 1832. № 18. С. 218, 224.

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 502, 503.

³ См. также: Березина В. Г. Н. А. Полевой в «Московском телеграфе». // Уч. зап. ЛГУ, 1954, № 173. Вып. 20. С. 84—142; Орлов В. Н. Николай Полевой и его «Московский телеграф». // Орлов В. Н. Пути и судьбы. Л., 1971. С. 313—448.

ретико-литературных проблем, развивая оригинальную теорию художественного романтизма. Согласно этой теории романтизм предполагал «истину и полноту» изображения жизни, «воссоздание народной литературы как единственного средства сделаться самобытными» и «высочайшую степень» разнообразия самобытностей. Именно романтизм, считает Полевой, позволит узнать «все самые мелкие черты различных народностей», отобразить прошедшее и оценить все современное «по условию местности, философии и истории... Проникнув до крайней степени познания сердца человеческого и тайн природы»¹. Опираясь на эту теорию он ищет новые пути к художественному отражению действительности как прозаик, беллетрист, и на этом поприще добивается заметных успехов.

В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835), обобщая современную ему русскую литературу, Белинский скажет, что Полевой занимает «одно из главнейших, из самых видных мест между нашими повествователями...» Выше него, считал тогда критик, стоит лишь Гоголь. Белинский отметит «удивительную многосторонность» произведений Полевого: писатель нигде не повторялся и «каждая его повесть представляет совершенно отдельный мир»².

Полевой создает рассказы о крестьянском и купеческом быте, стараясь раскрыть и показать внутренний мир простых людей, взглянуть на все происходящее с ними и вокруг них как бы глазами самого народа («Святочные рассказы», 1826; «Мешок с золотом», 1829; «Сохатый», 1830; «Рассказы русского солдата», 1833—1834; и др.). Пишет повести о том, как гибнут мечта, талант, любовь, столкнувшись с суровой прозой жизни («Блаженство безумия», «Живописец», 1833; «Эмма», 1834). Молодой Белинский ценил Полевого-беллетриста, находя, что его произведения «отличаются теплотою чувства, прекрасною мыслью и верностью действительности»³.

Полевой одним из первых обращается к событиям удельной борьбы на Руси XIV—XV веков, сначала в повести «Симеон Кирдяпа»⁴ (1828), а затем в романе «Клятва при гробе Господнем. Русская быль XV века» (1832).

Полевой-прозаик удачно дополнял Полевого-историка. Но если вклад Полевого в развитие отечественной исторической науки был осознан и оценен лишь много лет спустя после его смерти⁵, то новаторство в области исторической художественной прозы было отмечено уже современниками. «В „Симеоне Кирдяпе“, — писал Белинский, — этой живой картине прошедшего, начертанной могучею и

¹ Московский телеграф 1832, № 1. С. 126; № 3. С. 374.

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. I. С. 278.

³ Там же.

⁴ В дальнейшем Полевой опубликовал это произведение под названием «Повесть о Симеоне, Суздальском князе».

⁵ См. Шикло А. Е. Исторические взгляды Н. А. Полевого, М., 1981.

широкою кистью, поэзия русской древней жизни еще в первый раз была постигнута во всей ее истине, и в этом создании историк-философ слился с поэтом»¹. А «Клятву при гробе Господнем» великий критик тогда же выделит, как попытку «создать *русский роман*... показать — как должно писать романы, содержание коих берется из русской истории. И в сем случае,— подчеркнет он,— этот роман есть явление замечательное; одно уже то, что любовь играет в нем не главную, а побочную роль, достаточно показывает, что г. Полевой вернее всех наших романистов понял поэзию русской жизни»². В этом отношении Белинский ставит Полевого выше М. Н. Загоскина, И. И. Лажечникова, Ф. В. Булгарина, не говоря уже о менее известных исторических наших романистах того времени.

Историческая проза Полевого принадлежит к так называемому «нравственному» направлению в художественном познании и отражении прошлого, когда «люди искали уроков для настоящего в прошедшем, горевали о былом и хотели воспоминаниями о неизбежной мести пороку, награде добродетели, рассказами о доброте и величии предков учить современное поколение, казавшееся им ничтожным против того идеала, который находили они в прошедшем». При этом от писателя требовалось не просто достоверного, но и поучительного рассказа о прошлом. «Уроки истории хотим мы слышать,— говорил Полевой,—...голос народов и владык должен греметь из глубины минувшего...»³

Первым романом, четко обозначившим такое направление в отечественной исторической беллетристике, стал «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» М. Н. Загоскина, опубликованный в конце 1829 года. Писатель напомнил, что на Руси издавна были в чести благородство, достоинство, нравственная сила, доброе имя, фамильная гордость, твердое, верное слово и неизменные — беззаветность и самосотверженность, если речь заходила о свободе и независимости родины, ее будущем. Этот нравственный урок был нелишним в условиях начавшейся николаевской реакции с ее политикой подавления личности, поощрения предательства, доносительства, продажности, т. е. того, что всегда на Руси считалось позорным, недостойным и низким, а после казни декабристов, в атмосфере всеобщей подозрительности и страха, получило распространение, дав ход людишкам мелким с душонками жалкими... Правящим кругам в первую очередь адресовались слова: «Сеявый злая, пожнет злая», — ставшие как бы лейтмотивом начала и развязки сюжетных событий романа.

М. Н. Загоскин напомнил своим согражданам еще одну, исторически проверенную и не раз доказанную истину, что враги России «сильны одним несогласьем нашим», что отечество губит вражда

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. I. С. 278.

² Там же, С. 155.

³ Полевой Н. История русского народа: В 6 т. Изд. 2-е. М., 1830. Т. I. С. XVI, XXIII.

самих русских друг с другом. Это напоминание на первый взгляд, казалось бы, совсем по тому времени не актуальное, далекое от злобы дня — ведь России в те годы реально никто не угрожал, — имело глубокий, поистине пророческий смысл. Та борьба, какую царское правительство, напуганное 14 декабря 1825 года, повело не только с передовыми слоями общества, но фактически со всем народом, натравливая обывателей на вольнодумцев, сея подозрительность, вражду и ненависть среди россиян, стала источником сначала духовного, нравственного, а затем и экономического ослабления страны. Многолетняя внутренняя война царя со своим народом обессилила, истощила духовные и материальные ресурсы государства, предопределив отставание России во многих сферах, в том числе и военной, от развитых западноевропейских стран, сделав возможным и неизбежным поражение великой державы, не сумевшей отстоять в Крымской войне Севастополь — единственный, подвергшийся нападению неприятельских войск, город...

Видя, как под недремлющим оком николаевских жандармов с нашим обществом происходит что-то неладное, что в отношениях между людьми верх берет злое, недоброе, разъединяющее, Загоскин где-то в глубине души почувствовал, что наступает период очередного «несогласья нашего», чреватый, как это уже не раз бывало, новыми для нас бедами. Тревогой за будущее России, тревогой во многом интуитивной, подсознательной, но не беспочвенной, продиктовано напоминание-предупреждение писателя, что вражда русских друг с другом всегда была губительна для отечества...

Тревога эта звучит и в следующем романе Загоскина «Аскольдова могила» (1833), созданном на ином историческом материале, и в романе И. И. Лажечникова «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого» (1831—1833). Она пронизывает и роман Полевого «Клятва при гробе Господнем».

Надо сказать, что заглавие не охватывает всего содержания романа Полевого, а отражает лишь одну, хотя и важную, значительную, но тем не менее лишь одну сюжетную его линию. Эта линия является как бы продолжением сюжета повести «Симеон Кирдяпа», в которой говорилось о захвате Великим Московским князем Василием Дмитриевичем Нижнего Новгорода, последнего оплота суздальских князей, и их бегстве из своей отчины. Один из приближенных суздальского князя Симеона, также вынужденный покинуть родные места, Иван Феофилович, по прозвищу Гудочник, отправляется в Иерусалим и у гроба Господнего дает клятву возродить Суздальское княжество, вернуть изгнанным князьям отнятые у них города и земли. Об этой клятве мы узнаем уже из романа, где впервые и появляется Иван Гудочник.

Не будучи, по замыслу Полевого, инициатором, изображенной в романе междоусобицы, он, тем не менее, выступает, как активный закулисный ее деятель, который стремится всеми правдами и неправ-

дами осуществить задуманное, выполнить свое клятвенное обещание, не очень-то заботясь о последствиях своих многочисленных предприятий. Иван Гудочник готов помогать каждому князю, возмечтавшему занять высокий Московский стол, выдвигая при этом только одно условие: достигнув цели, тот должен восстановить самостоятельное Суздальское княжество. Человек он бесстрашный, решительный, смелый, организатор тайных дел превосходный, помощник надежный, неутомимый, удачливый, вездесущий, появляется всегда в нужном месте и вовремя.

Разжигает же в романе костер междоусобной войны могущественный боярин Иоанн, совсем еще недавно самое влиятельное, самое приближенное лицо при Дворе Великого князя Василия Васильевича. В свое время он помог Василию получить в Орде ярлык на великое княжение, который, после смерти отца Василия — Василия Дмитриевича, — должен был, по праву старшинства, перейти к родному брату Василия Дмитриевича, дяде Василия Васильевича — князю Звенигородскому и Галицкому Юрию Дмитриевичу. Но теперь, обиженный отказом Василия породниться с ним, взять себе в жены его, боярина, дочь, Иоанн решил отомстить Василию — лишить его великокняжеского стола. С помощью поддельных грамот он распаляет честолюбие старшего сына Юрия Дмитриевича — Василия Косого, случайно встретившись с ним на подмосковной дороге, посеяв в душе молодого князя «зерно гибели и раздора, долженствовавшее прорасти...удовлетворением самолюбивых и гордых надежд» боярина, а затем провоцирует открытое выступление самого князя Юрия против племянника.

В начавшейся борьбе за великокняжеский стол и Юрий Дмитриевич, и его сыновья — Василий Косой и Дмитрий Шемяка, становятся по существу послушным орудием, если не сказать игрушками, в руках двух опытных политиков и интриганов — боярина Иоанна и Ивана Гудочника, — оказываясь, в общем-то, невольными жертвами их тайных и явных замыслов.

Третьей движущей силой разгоревшегося междоусобия выступает в романе Полевого мать Великого князя Василия — Софья Витовтовна, готовая, как львица, растерзать каждого, в ком видит или заподозрит хотя бы малейшую угрозу благополучию ее сына. Властная и высокомерная, не терпящая никаких возражений, она раздражена независимым поведением и речами молодых князей — сыновей Юрия Дмитриевича, которые чувствуют себя равными их двоюродному брату и ее сыну Василию. А тут еще слухи, принесенные ближними ее боярами, о готовящемся заговоре против ее «милого дитя» в пользу его дяди. Возбужденная и свадьбой сына, и тревожными слухами, и словесной перепалкой с Юрьевичами, которую она же сама вызвала, но получила неожиданный отпор, будучи и так женщиной горячей, вспыльчивой, своенравной, она теряет над собою контроль, срывается и в порыве гнева словами и действиями нано-

сит смертельную обиду Василию Косому. Называет его «князь голытьба», «князь без поместья», срывает с него меч и бросает на пол, а затем заявляет, что пояс, который он носит, ворованный...

Задумав представить читателям *«комедию о том, как Василий Косой и его брат Димитрий Шемяка поссорились на свадебном пире с Великим князем Василием Васильевичем Темным в 1433-м году, и о том, что из этого последовало»*, Полевой показывает трагедию русских князей, цвета русской земли, русского народа, сгорающих, ослепленные честолюбием, в огне междоусобия, приносящего Руси лишь страдания и беды. И единственно, считает Полевой, что может погасить занявшийся губительный огонь, «утишить Русь», примирить враждующие стороны — это изначально заложенная в русском человеке способность к внутреннему самоочищению и нравственному подвигу.

Совершившие зло, принесшие другим страдания и горе, должны найти в себе силы и мужество признаться в содеянном, осудить себя, раскаяться и искупить свою вину перед загубленными, обездоленными, осиротевшими искренним покаянием, омыть слезами свои грехи, очистив тем самым свою душу перед Богом и людьми, перед неотвратимыми угрызениями совести. Пострадавшие от зла, осиротевшие, обездоленные должны сделать больше, пойти на самый высокий нравственный подвиг — услышать слова покаяния, принять слезы искупления и простить своих, раскаявшихся, осудивших себя за содеянное, врагов. Простить, во имя спокойствия и мира на родной земле, во имя будущего Руси, во имя внуков и правнуков, не отвечать злом на зло, не умножать людское горе.

Другой альтернативы миру, считает Полевой, нет.

Как ни хитер, изворотлив был боярин Иоанн, но он гибнет в расставленных им же самим сетях...

Как ни всесильна была Великая княгиня Софья Витовтовна, но укрощает ее самая обычная горячка...

Как ни удачлив был Иван Гудочник, обладавший, по воле автора, почти сверхъестественными возможностями, но ему удается все, кроме одного: строить счастье одних на несчастье других...

Сея вражду между людьми, справедливости не добьешься, говорит всем своим повествованием Полевой. Нет на то благословения Божьего. А если такого благословения нет, «что может человек?» — горестно восклицает, видя очередное крушение своих планов и замыслов, Иван Гудочник. И даже клятва, данная в самом святом для христиан месте — у гроба Господнего, — неисполнима, падает на грудь Гудочника «тяжелым камнем», потому что взятый им обет несет русской земле не мир, спокойствие и процветание, а горе, страдания, бессмысленную войну между соотечественниками...

Роман Полевого написан хорошим языком и легко читается. События в нем развиваются динамично, интригуяюще. Герои яркие, цельные, колоритные...

* * *

3 апреля 1834 года по высочайшему повелению был закрыт «Московский телеграф». Поводом тому послужил отрицательный отзыв Полевого о драме Н. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла», которая получила августейшее одобрение: ей рукоплескал сам царь. Действительной причиной явилось растущее недовольство в правительственных кругах «телеграфным» распространением у нас буржуазно-демократических идей. Царю была представлена целая тетрадь выписок из статей и материалов, опубликованных на страницах журнала, «крамольного» содержания или наводящих на такого рода мысли. Это и решило судьбу журнала...

Тяжело переживая случившееся, Полевой однако не падает духом. Лишенный права не только издавать журналы, но и просто подписываться своим именем под журнальными публикациями, он тем не менее сотрудничает в «Московском наблюдателе» («Пир Святослава», 1835) и особенно активно в «Библиотеке для чтения» (статьи и рецензии, главным образом на книги о русской истории и истории западноевропейских стран, а также статьи о творчестве А. С. Пушкина, А. Д. Кантемира, И. И. Хемницера, произведениях С. П. Шевырева, Н. М. Загоскина, М. П. Погодина, других отечественных писателей), много переводит, издает сборник своих повестей «Мечты и жизнь» (1834), пишет роман «Аббадонна» (1834). В этом романе, рассказывая о жизни молодого служителя муз, Полевой ставит вечный злободневный вопрос: где та грань, та черта, переступив которую человек падает так низко, что теряет возможность вернуться к добру? В заглавии романа использовано имя персонажа из поэмы Ф. Г. Клопштока «Мессиада» — падшего ангела, безуспешно пытавшегося вырваться из ада...

Полевой явится инициатором «Живописного обозрения» — первого русского иллюстрированного журнала, который издает в 1835—1837 годы (полное название — «Живописное обозрение достопамятных предметов из наук, искусств, художеств, промышленности и общежития, с присовокуплением живописного путешествия по земному шару и жизнеописаний знаменитых людей»), и пишет для него «жизнеописания» капитана Кука, Галилея, Адама Смита, Ньютона, Минина и Пожарского, патриарха Гермогена, Жуковского, царя Алексея Михайловича, Суворова и других «знаменитых людей». Работает над «Русской историей для первоначального чтения» (т. 1—4; 1835—1841), «Историей Петра Великого» (ч. 1—4; издана в 1843 году), переводит «Гамлета» В. Шекспира (1836), сценическая постановка которого в 1837 году вызвала подъем интереса к английскому драматургу и дала толчок развитию отечественного шекспироведения; пишет первую свою оригинальную драму «Уголино» (1837).

Но все эти начинания, плодотворные в творческом отношении, не могли поправить материального положения Полевого, подорван-

ного прекращением издания «Московского телеграфа», и так уже несколько лет издававшегося в кредит. Большая семья (у него к тому времени было семь детей, а всего — девять) требует значительных расходов, он влезает в долги, а расплачиваться было нечем. И тогда Полевой принимает предложение переехать в Петербург и взять на себя редактирование газеты «Северная пчела» и журнала «Сын Отечества», пришедших в полный упадок при прежних их издателях Н. Грече и Ф. Булгарине. Новый издатель — А. Ф. Смирдин — полагал, что само имя Полевого привлечет подписчиков и обеспечит популярность этих изданий. Однако запрет на открытую журналистскую деятельность Полевого сохранялся, в звании официального редактора ему было отказано, имя его не могло быть названо даже в перечне сотрудников этих изданий. Приехав в Петербург осенью 1837 года и оказавшись в безвыходном положении, Полевой соглашается на негласное редактирование, соответственно за более низкое вознаграждение, попадая к тому же в полную зависимость от «титulyных» редакторов — Греча и Булгарина, невольно выступая в роли проводника их литературной политики.

«Примерное» поведение вернуло Полевому право на издательскую деятельность, и в 1841 году он вместе с Гречем начинает издавать «Русский вестник»; в 1842—1844 годах — единоличным редактором журнала, который, впрочем, успеха не имел. В передовых кругах имя Полевого давно уже не вызывало никакого уважения, став синонимом перебежчика, отступника, изменника¹, и добиться вновь расположения читателей можно было, только решительно и во всеуслышанье порвав со своими петербургскими, журнальными «приятелями», отравившими жизнь не одному русскому писателю.

Отчаянную попытку в этом направлении Полевой предпринимает в 1846 году, став редактором «Литературной газеты» и открыто выступив против Булгарина. Этот поворот Полевого немедленно был замечен и поддержан Белинским, который внимательно следил за деятельностью кумира своей юности, не мог простить ему измену прежним убеждениям, знамени «Московского телеграфа», и вел с ним в 1840-е годы бескомпромиссную литературную борьбу. Возникла надежда на возвращение Полевого в лагерь передовой журналистики. Но дни его были уже сочтены... Непосильная работа «ради денег», поистине каждодневная изнурительная борьба за жизнь, полудишное, полуголодное существование, о чем буквально вопиют страницы дневника, который он вел в Петербурге², свели его в могилу...

А работает в те годы Полевой действительно много. Осуществляет гласное и негласное редактирование «Северной пчелы», «Сына Отечества», «Русского вестника» и сам выступает на их страницах с

¹ Николай Полевой. Материалы... С. 498.

² См. Исторический вестник. 1888. Март — апрель.

критическими статьями, годовыми обзорами и рецензиями, не оставляя без «надзора» ни одной вышедшей у нас книги. В многочисленных заметках, очерках, справках откликается на самые разные вопросы отечественной истории, культуры и быта. Пишет «Историю князя Итальянского графа Суворова-Рымникского, генералиссимуса российских войск» (1843), «Повесть о великой битве Бородинской, бывшей 26-го августа 1812 года» (1844), «Историю Наполеона» (т. 1—5; 1844—1848), книги «Русские полководцы» (1845), «Столетие России с 1745 по 1845 годы» (ч. 1—2; 1845—1846) и другие сочинения на темы русской истории. Собирает и переиздает свои ранние исторические повести под общим заглавием «Повести Ивана Гудовника» (ч. 1—2; 1843).

Первым из русских писателей Полевой обращается к художественной обработке сюжетов из истории Византии, погружая читателей в атмосферу дворцовых переворотов и междоусобия по-царьградски («Византийские легенды. Иаонн Цимисхий. Быль X века», 1838—1841). Междоусобия, вызванного играми Ипподрома, состязаниями колесниц, разделивших город и горожан на две враждебные и неистовствующие «партии» болельщиков — «синих» и «зеленых», по цвету костюмов, в которые одевались возницы (жокеи), участвующие в бегах. «При входе в Ипподром умирала власть императора и правительства. Кинжалы «синих» и «зеленых» готовы были по первому знаку предводителей». Завершались игры Ипподрома «кровопролитными сражениями» между представителями «партий» проигравших и победивших. Их «ненависть... ужасна, потому что она безумна». Этот вывод Полевого из «были X века» как бы прямо, по злой иронии судьбы, адресован и нашему времени, в котором возродились «традиции» жестоких нравов римского Цирка и царьградского Ипподрома...

Что же касается дворцовых переворотов, то история воцарения Иоанна Цимисхия, изображенная Полевым, говорила об одной, не менее горькой, истине. Народ, которому не надо ничего, кроме «хлеба» и «зрелищ», легко, без особого возмущения, принимает каждого нового правителя, как бы коварен, тщеславен и мстителен он ни был, лишь тот пообещает им более сытые хлеба и новые зрелища, либо заверит, что не тронет уже имеющиеся... Каждый народ получает то, что заслуживает, что сам позволяет...

Белинский, как отмечалось выше, обратил внимание на то, что любовь в историческом романе Полевого играет «не главную, а побочную роль», свидетельствуя о верном понимании романистом «поэзии» русской жизни. В этом, полагал критик, существенное отличие «Симеона Кирдяпы» и «Клятвы при гробе Господнем» от исторических романов М. Н. Загоскина, искусственность сюжета которых, историческая их неправдоподобность во многом были определены именно привнесенными в них любовными коллизиями, характерными для нового времени.

Но побочную роль любовь играет и в «Иоанне Цимисхий». Не любовь к красавице Феофании, не желание добиться ее благосклонности, заполучить, как говорится, ее руку и сердце, соединить с нею свою судьбу движет поступками Цимисхия. Его цель — императорский трон, на достижение чего и направлены все его стремления и усилия. В этом отношении «поэзия» жизни русского средневековья ничем не отличалась от «поэзии» византийской жизни: и там, и тут определяющим оставалась борьба за власть. Однако характер этой борьбы, роль и место в ней женщин, сфера и формы их участия в создании русской и византийской исторической «поэмы» имели принципиальные отличия, расходясь в главном, мировоззренчески — в представлениях о женской доле, о смысле их жизни, их предназначении как матерей, жен, правительниц.

Великая княгиня Софья Витовтовна, потеряв мужа и став фактически неограниченной властительницей на Руси, думает не о себе, не об устройстве своей дальнейшей личной судьбы, а исключительно о будущем своего сына, живет его заботами, соперничеством с действительными и мнимыми претендентами на занятый Василием великокняжеский стол. Не о себе, не о своей личной судьбе помыслы и Марфы Борецкой, вдовы влиятельного новгородского посадника, а о сохранении свобод и прав Великого Новгорода, укреплении его независимости, приумножении его богатства.

Иное дело Феофания. Она занята только собою, живет в свое удовольствие, потакает всем своим желаниям, стараясь взять от жизни все, что можно, максимально используя свое положение императрицы, не задумываясь ни о своем будущем, ни о будущем своих детей, тем более о настоящем и будущем Византии. Она вся во власти собственных страстей, капризов, прихотей. Без каких-либо угрызений совести подсылает она опостылевшему ей мужу раба с ядом, расчищая дорогу к трону своему любовнику. А спустя несколько лет, после недолгого колебания, даст ключи от потайного хода к спальне нового ее мужа другому своему любовнику, который, убив безоружного императора, «освобождает» для себя место на троне и занимает его.

Такая «поэзия» жизни была на Руси в силу национальных ее традиций, высоких нравственных требований к правителям и строгости женского воспитания просто невозможна. Даже в условиях императорской России XVIII в., в период расцвета фаворитизма, ни один из временщиков и на миг не мог вообразить, представить себя претендентом на пустовавшую десятилетиями мужскую половину Российского престола. В этом одно из главных отличий «поэзии» русской и византийской дворцовой жизни, что Полевой уловил, подметил и отразил в своей исторической прозе.

Однако, в целом, Полевому-беллетристу в те годы не работало, сказывалось явно неэпическое состояние его духа и настроения. Кроме повести «Дурочка» (1839), благосклонно встреченной

Белинским, отметившим «прекрасную мысль», лежащую в ее основании¹, остаются незамеченными «Были и небылицы Ивана Балакирева» (1842), «Старинные сказки об Иванушке-дурачке», повесть-сказка «Градской глава» (1844) и другие его произведения. Но зато, совершенно для себя неожиданно, Полевой раскрывается, как драматург.

В 1838—1845 годах он создает около сорока пьес — «Дедушка русского флота» (1838), «Елена Глинская», «Иголкин, купец новгородский» (1839), «Параша-сибирячка» (1840), «Костромские леса» (1841. О подвиге Ивана Сусанина), «Русский моряк. Историческая быль» (1843), «Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь» (1845) и др., прокладывая новые пути в драматургическом освоении событий национальной истории. Многие из его пьес были тепло встречены зрителями, выдержали по несколько представлений, сыграв определенную роль в развитии отечественной исторической драматургии. Петербургских зрителей привлекала не только патриотическая настроенность пьес Полевого, но и сочувственное изображение простых людей, оказавшихся на пересечении жизненно важных для судеб России исторических событий. И именно простых людей, петербургских горожан не оставила равнодушной смерть Полевого².

28 февраля 1846 года, в день его похорон, как вспоминал современник, по пути следования траурной процессии «народная толпа ...росла все более и более, и когда гроб внесли в церковь, то даже ограда ею переполнилась; все стремились отдать последний долг усопшему русскому талантливому писателю и тяжелому труженику, испившему много горечи в своей недолговременной жизни, Николаю Алексеевичу Полевому»³.

Он был похоронен на «литераторских мостках» Волкова кладбища, где успокоились и навсегда примирились многие литературные и общественные деятели России...

А. С. КУРИЛОВ

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. III. С. 100—101.

² О жизни и деятельности Полевого см. единственную, написанную в советское время книгу: Евгеньев-Максимов В. Е. и Бессрезина В. Г. Николай Алексеевич Полевой. Курск, 1946; Иркутск, 1947.

³ Лохвицкий И. В. Из давно прошедшего. // Русская старина. 1895. № 8. С. 156.

Византийские легенды



ИОАНН ЦИМИСХИЙ

Быль X века



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Nika! Nika (будь победитель)! — восклицали они, потрясая окровавленными мечами...

Прокопий. «История моего времени»

КНИГА I

...И созва Царь Константин книжники и мудрецы, сказа им виденное знамение об орле и змии. Они же порассудив, сказавша Царю: «Сие место Царьград, Сецмихолмие наречется, и прославится, и возвеличится по всей вселенной паче иных градов. Но понеже станет между двух морь, биено будет волнами морскими, и поколебимо будет. А орел есть знамение благочестия, а змий знамение зловерия, и понеже змий одолеет орла, являет бо ся яко зловерие одолеет благочестие...» Царь же Константин смутился о сем зело.

Древняя повесть о создании Царьграда

Величественна, таинственна, прекрасна сторона Востока. Она всюду прекрасна: в Индии, под исполинскими пальмами Ганга и Баррампутера, в зыбучих песках Аравии, в розовых садах Персии, в снеговых горах Кавказа; и на торжище племен и народов, в той части Азии, где на каждом шагу видите вы отломок гробницы прошедшего, где каждый утес и пригорок отрывок из страницы давно минувшего! Сюда стекались они, народы Востока, каждый с хоругвию своей веры, с знамением своего назначения на челе. Здесь прошел в Европу пелазг, с мифами индийскими; египтянин на берега Нила, с тайною пирамид Мемфиса; маг оставливался здесь, с огненным владыкою своим, и после всех явился аравитянин с алкораном. Здесь, среди дебрей Палестины, отозвался голос истинной веры, низошло предвечное Слово на землю, туда, где невредим хранится гроб, единственный, который в день Страшного суда не отдаст никакого праха человеческого на голос трубы архангела. Кирпич Вавилона, черта писания персеполийского, черепок сосуда на берегах Скамандра, камень в

развалинах Багдада, Пальмиры, Иерусалима — все говорит о судьбе народов, о переходах времен, в которых сливаются лета, и остается один символ веков — *время*, по слову Апокалипсиса: «протекло время, и полвремени, и еще полвремени...»

... Неужели было *время*, когда эта Азия и эта Европа не были разделены, и житель Иды переходил к Гемусу, не думая, что переходит рубеж части света? Неужели лесом, степью и долиною застилались некогда эти волны эгейские, средиземные и эвксинские? Неужели грозные вулканы Италии говорят нам о причинах страшного переворота, когда разорвалась здесь земля; огонь и вода в кипении борьбы отодвинули на юг Африку и зажгли над нею пламенные лучи солнца, на восток — Азию и велели ей быть колыбелью человечества, на север — Европу и сохранили ее, как страницу, на которой человек должен вписать свою *последнюю историю*? И моря скатились тогда с севера и, оставя следы свои в Каспии и Эвксине, как змий извивистый, прокатились Босфором, раздвинулись кипящими волнами между Африкою, Азиею, Европою, протекли между Геркулесовых Столпов, закрыли Атлантиду и влились в вечное зеркало солнца, Океан. И все утихло. Только Этна и Везувий загорелись тусклым светильником над рукописью Природы, которой мы разобрать не умеем. Человек пришел к Босфору и, смотря с берегов Востока на возвышенные берега Фракии, назвал их *Европою*.

Долго дики были эти берега, пока миф переплывал мимо них на сереброрунном воле и в корабле аргонатов, умирал в Орфее, сражался за похищенную супругу Менелая и умолкал в пещерах Самофракии, храмах Элевзина и в лесах Додона.

Тихо и спокойно, иногда бурно и порывисто, протекал Босфор, и века протекали над ним. Развился древний мир Греции и Рима и исчезал под волнами Нового мира, оставляя на поверхности его обломки искусства и законов, развалины силы своей, как семена нового образования, подобно островам Архипелага, обломкам первобытной, неведомой природы. Новые народы, новые царства теснились там и здесь, здесь и там. Горящим солнцем света взошла истинная вера.

И сюда, на берега Фракии, пришел властитель, утомленный жизнью дряхлого Рима. Здесь захотел он утвердить столицу мира. По его слову возникли мраморные стены, расцвели очаровательные сады, засветились золотые купола и крыши безмерного города; тысячи людей

сошлись отовсюду, с богатствами со всех концов мира; море покрылось кораблями, и изумленные народы назвали новый город царя Константина — *Царьград*.

Как он величествен, как он великолепен, этот *Царьгород*, ставший на пределе Европы, опоясанный морями, гордо взирающий на древнюю, тучную временами Азию! Он грозен, прекрасен и теперь, когда твердыни его уже разрушились, и угрюмый мусульманин сидит владой среди развалин его, не умея отвечать на вопросы странника: Где здесь была Святая София? Где был Ипподром? Где были золотые чертоги греческих царей — и Халкидон, и Кизика, и Ферапия, и Хризополь, очаровательные соседи Царьграда? — «*Един Бог и велик Бог!*» — говорит он и снова задумывается, ни о чем не думая.

Но за *девять веков* до нашего времени Царьград составлял диво народов; слух о нем гремел в отдаленных концах света; от стены Китая шли удивляться столице Греции. «Мог ли вообразить человек Царьград, если он не видал Царьграда!» — восклицали герцоги и князья Запада, видя его. «Мы на небе!» — говорили северные дикари, присутствуя при совершении молитв в соборе царьградском.

Но, увы! уже и тогда глубоко подмыты были основания Царьграда волнами разрушения; сквозь трещины в твердых его величия зияла бездна, в которую надобно было упасть Царьграду. Православие без веры, великолепие без силы, ум без науки; слава в преданиях, бесславие в делах, гордость при удаче, низость в беде; смуты и крамолы среди царедворцев, смиренно повергавшихся перед троном, и трон, обесславленный пороком, окровавленный убийствами, потрясаемый изменою; войско, гордое именем римлян и составленное из наемных варваров; всюду разврат, хищение, своекорыстие — все за золото, все за корысть: такова была Греция, таков был Царьград в X веке.

Уже Запад был тогда отделен совершенно — и событиями, и жизнью, и верою. Латинский первосвященник обладал Римом и западною церковью; потомок дикого германца назывался *римским императором*, обитая в болотах Лютеции. Славянин и монгол, германец и турок владели обширными областями греческими, как Лаокоона змея, обвинявая своею силою царство Константина, — и не было ему спасения, не было благовестника, который возвестил бы ему спасение! Победные хоругви сынов Аравии и потомков турка веяли над гробом богочеловека

и в диком величии не раз приближались к самому Царьграду. И одни ли сии мощные орды? Гордый *булгар* также заставлял Царьград выкупать спасение золотом; искатель опасностей *варяг*, в утлых ладьях, угрожал Царьграду и брал с него постыдную дань.

И не было спасения! Уже несколько веков на троне царьградском восседали владыки, перед делами которых злодейства Неронов, безумие Гелиогабалов могли показаться детскою игрою. Иногда Царьград видел на троне Константина сумасшедших изуверов, или схоластиков, которые писали наставления, как править государством, спорили о непостижимых таинствах веры и повиновались воле дерзкого евнуха, льстеца ничтожного, управлявшего умом их, сладострастной невольницы, скифянки или армянки. И трон царьградский, казалось, стоял на месте, беспрерывно колеблемом землетрясением,— он страшно колебался, и с него беспрерывно падали без различия тираны смелые и властители малодушные...

Время, когда происходили события, которые хотим мы рассказать, казалось однако ж исключением из летописей Царьграда, предшествовавших сему времени и последовавших за ним. Чем же? Или это время освещено было явлением мудрых царей, смелых воителей, восстановленную славою Царьграда? Нет! Оно отличалось тем, что уже *около ста лет* правительствовали Царьградом императоры одного поколения. Убийством чудовища очистив дорогу к престолу, император *Василий Македонянин* твердо сел на нем, правил царством двадцать лет и передал державу сыну своему *Льву*. *Премудрым* называли Льва за то, что он наизусть знал все фигуры риторики, все силлогизмы и энтимемы логики. Сын его Константин назван был *Порфирородным*, потому что родился в багрянице царской, к изумлению всех, видевших, при восшествии на престол Константина, что уже *третье поколение* одного рода занимает царский престол. Но изумление еще более умножилось, когда еще *два поколения* продолжили на троне род счастливого Македонянина: сын Константина *Роман* и внуки, *Василий* и *Константин*, царствовали один за другим.

И этому дивились греки, называли *благословенным* род Василия за то одно, что этот род, без славы и доблести, сто лет *держался* на зыбком троне Царьграда.

Такова была Греция в X веке, хладнокровно привыкшая к беспрерывным царевубийствам и похищениям трона, какими до Василия Македонянина ознаменовалось уже несколько веков царьградской истории.

Между тем, столетнее продолжение Македонского рода на престоле Константина Великого неужели не представило никаких позорных явлений, подобных тем, коими ознаменовались роды Копронимов, Ринотметов, Исавров, Юстинидов, Ираклидов? Нет! Род Василия Македонского также изумлял явлениями безумства, хищений, превратностей судьбы. Но он удерживался на троне, хотя Греция видела, чего не видала прежде, двух, трех, четырех, пятерых императоров, теснившихся вместе на престоле Константина Великого.

Какое изменение судеб! Рим великий! Прежде *одному* императору твоему тесно бывало на всемирном троне, а теперь *пять* императоров усаживались на троне империи, носившей твое имя и едва обладавшей бедными обломками твоего бесконечного царства!

Да, *пять* императоров в одно время. Такая странная судьба предоставлена была Константину Порфирородному. Рожденный в багрянице и младенцем посаженный на престол, только сорока лет сделался он императором не по одному имени. Дядя его, *Александр*, правил во время его малолетства, назначал Константину страшную участь скопца, умер, не совершив злодейства, и опекунство перешло к матери Константина, императрице *Зое*. Дерзкий вельможа, *Роман Лакапин*, обратил на Царьград войско, вверенное ему для защиты от врагов, объявил себя императором, оставил Константина на троне, и *три сына* Романовы были облечены в императорскую багряницу вместе с ним: *пять императоров* царствовали таким образом, если не считать еще развратной *Елены*, дочери Романа, супруги Порфирородного. Неблагодарные дети похитителя наскучили, наконец, разделенною властью, восстали, свергли старого отца; пустынная обитель, на одном из отдаленных островов Архипелага, приняла на весь остаток жизни несчастного честолюбца. Он печально бродил по берегу острова, когда вдали забелелись среди волн эгейских паруса императорской галеры; она пристала к берегу, и старик увидел детей своих, которым Елена назначила такую же участь, на какую они осудили своего отца. «Упрекать ли мне вас, неблагородные?» — спросил Роман. Он остановился, улыбнулся горестно и позвал детей в келью разделить с ним обыкновенный обед его: кусок хлеба и кружку воды. Отец и дети умерли, забвенные всеми, а Константин царствовал, пока *Роман*, юный сын его, не наскучил долговременную жизнь отцовскую. Яд прекратил дни Константина, и этот яд поднесен был ему рукою сыновнею! Через

три года яд прекратил дни юного Романа, и этот яд поднесен был ему рукою супруги его *Феофании*...

Роман представлял собою странную прихоть природы: красоту телесную, какой не много видали — это был Антиной, Аполлон Бельведерский, — и безобразие душевное, редко встречаемое в такой ужасной степени. Раб страстей, невольник своего гинекея, Роман изумлял удивительною силою и ловкостью в играх Ипподрома, изумлял и развратом, и безумною роскошью! *Феофания*, бедная девушка, красоты необыкновенной, возведена была им на трон, в нарушение всех приличий Двора, и страшно ответила за эту почесть своему неверному супругу.

И опять *четыре императора* восседали на троне царьградском: *Феофания* правила самовластно государством; два малолетних сына ее, *Василий* и *Константин*, носили название императоров. *Феофания* отдала руку свою *Никифору*, полководцу императорских войск, и он был облечен в императорскую багряницу.

Таково было состояние царьградского Двора, когда греки считали 6477-й год от сотворения мира, или 969-й от воплощения Бога слова; индикт был 13-й, а золотое число и пасхальные знаки обещали благоденствие царю и царству, по вычетам мудрых звездозаконников.

В самом деле, если бы странник, с Запада или Севера, был сонный перенесен, прямо из своего Запада или Севера, и проснулся в стенах Царьграда, он мог бы подумать, что звездозаконники не обманулись, предвещая славу и благоденствие Царьграду.

Он не видал бы следов гибели и разрушения по всем *фимам*, или областям греческого царства; не видал бы шатров сарацинских и кибиток монгольских близ мраморных стен полуразрушенных городов, некогда столь великих, столь громадных; не видал бы потомков римлянина в рабском одеянии, в цепях, с колодками на шее, под бичами сурового иноверца, влекомых в отдаленные страны Азии и Скифии, дев Пелопонеза и Архипелага в зверских объятиях поганого язычника...

Он увидел бы только обширный, безмерный город, столицу потомков Константина, роскошно и великолепно восседающий на краю Европы. С одной стороны лелеют

его волны Пропонтиды, или Мраморного моря, с другой ласкаются к нему валы Эвксина, через пролив Георгия Победоносца, или Босфор Фракийский, вливаясь далеко в землю, с восточной стороны города, и образуя собой гавань *Золотого Рога*, или *Рог изобилия*. «Дайте мне то, что хранится в этом роге изобилия, и я куплю полмира», — сказал бы чужеземец, смотря на бесчисленное множество кораблей, с мехами Скифии, багряницами и паволоками Вавилона, хлебом Архипелага, золотом Азии. Двойной ряд стен окружает Царьград, и через них видны верхи *пятисот* церквей православных. Ужасные машины воинские на стенах и опускные мосты, по которым можно грянуть прямо на корабли, дерзнувшие приблизиться своевольно к Царьграду, грянуть и попалить их неугасимым греческим огнем; ров, глубокий, как дно моря, который, раздвинув плотины, можно мгновенно наполнить водою; тридцать двой железные ворота, замыкающие пространство *пятидесяти верст* и делающие правдоподобными басни о стенах Вавилона и стовратных Фивах; железная, тяжкая цепь, по морю перегораживающая отверстие Золотого Рога и уничтожающая все покушения неприятелей; блестящее войско по стенам, крепкая стража у Золотых ворот, сверкающих позолоченным своим верхом, и — возвышающийся среди всего этого необъятный купол *соборного храма Святой Софии* — таков представился бы Царьград взорам изумленного странника.

Но пусть идет он в самый Царьград, пусть увидит его обширные площади, уставленные статуями и чудесами искусства, которые веками собраны с Египта, с Италии, с Азии, с Греции, как знаки величия царьградских властителей. Пусть исчислит странник великолепные громады зданий, под сводами которых проходят целые улицы и гнездится многочисленное народонаселение, когда под сими сводами возносятся висящие сады вельмож и богачей и палаты их, убежища неги и роскоши, как будто на земле уже недостает места строить здания для царьградских сатрапов... А торжища Царьграда, где толпятся купцы Багдада и Киева, Александрии и Марселя, слышны двадцать наречий и языков, как при столпотворении вавилонском? А эти базары, где потомок Мугаммеда сидит на своем верблюде, с мешком алмазов, потомок славянина указывает на груды соболей и куниц, и дикий готф раскладывает куски янтаря, извлеченные из недр Мурманского моря и собранные на берегах Венедских, или в лесах Боруссии! А лавки и магазины гре-

ческих и восточных купцов, сверкающие, как будто звездами, драгоценностями, когда их осветят вечером разноцветным огнем?

Но что их великолепие против великолепия святых храмов Божьих, где самоцветные камни, муссия и золото рассыпаны щедрою рукою благочестивых дателей! Он повторит восклицание: «Мы на небе!» — присутствуя в сих храмах, когда безмолвно преклоняются пред величественными иконостасами тысячи людей, растворяются *царские врата* алтарей, святители возносят золотые сосуды с божественными дарами, возглашая: «От всех и за вся!» — и сладкогласные хоры оглашают своды храмов звуками смиренного *Кириэлейсон* (Господи, помилуй!).

Пусть взоры странника остановятся и на пяти исполинских чертогах императоров греческих — *Влахерне*, от которого в волны Золотого Рога спускаются ступени мраморных крылец; *Вукалеоне*, который приветствуют взорами мореходцы, приближаясь к Царьграду и удаляясь от него. Пусть подивится он рассказам тех, кто был допускаем во внутренность сих чертогов, видел их золотые *триклинии* и багряные *гинекеи*, заглядывал в их бесконечные подземелья и удивлялся обширности стен их, множеству дворов, в которых оружейные палаты, церкви, казнохранилища, торжественные врата, порфирные столпы, брызжущие прохладою водометы и цветистые сады, отдельные торжища, места для житья и собраний царедворцев и вельмож, представлялись им дворцы Вукалеонский и Влахернский волшебными жилищами, созданными волею цародея...

Но странник утомлен... Пусть остановится он на мысе, разделяющем волны Пропонтиды от волн Георгиевских, и с террасы Вукалеона взглянет на необозримое пространство берегов Европы и Азии, сплошь усеянных загородными домами и садами императора и вельмож, монастырскими обителями, селениями, виноградниками, обширными городами, составляющими предместья — *Халкидоном*, *Хризополем* (Скутари), *Галатою*. Далеко из вида его уходят пленительные окрестности Царьграда, где искусство спорит с природою, величие с прелестью, как будто не зная, кто из них более обогатил семихолмную столицу Константина. Царьград, как и Рим, также был построен на *семи* холмах.

Наконец, если странник наш взглянет в бесчисленное народонаселение Царьграда, в бесконечное движение на его улицах, торжищах, пристанях, в его предместьях и окрестностях, в эту общественную жизнь, живую,

страстную, где сила, выражаемая мужественными лицами мужчин, равняется прелести, выражаемой красотой лиц женских; если он вслушается в эту смесь веселья и набожности, звон колоколов, сливающийся с сладкоголосными песнями народа, весело гуляющего по берегам и беспечно бегущего, в раззолоченных ладьях, искать прохлады и неги на берегах Азии, и опять стремящегося оттуда на берег Европы, в свой золото-мраморный Царьград; если он оглянется на вечно яхонтовое небо, откуда лучи солнца как будто любуются гладкою, зеркальною поверхностью Пропонтиды, и кипят пурпуром и золотом в лимонах и виноградах тучной почвы византийской — он скажет, что Царьграду определено быть *столицею мира*.

Видя Царьград, видя, как среди его народонаселения движутся непрерывно дружины воинов, то в золотых, то в богатых цветных одеждах, движутся и покорные, наемные варвары, умножая собою разнообразное величие войск императорских и нося на плечах стальные варяжские секиры, скифские железные бердыши; видя притом ряды сих воинов в преддвериях Влахерна и Вукалеона, кипящих движением царедворцев, гордых, великодушных, сопровождаемых многочисленною свитою, на аравийских, облитых золотом, униженных жемчугом конях, или в блестящих колесницах; видя, наконец, как все благоговейно преклоняют головы и колена при одном имени *императора* — что подумает странник об этом незримом владыке, повелителе Царьграда? Не вообразит ли он его *земным Богом, посланником Бога небесного, Христом* — как называли императоров своих греки? Не скажет ли, что этот владыка, по величию своему, достойный преемник тех владык *вечного города*, которых умоляли народы о позволении воздвигать им при жизни алтари? «Победа, сила, слава и величие должны венчать его, и имени его должны трепетать отдаленные народы». — Так подумает странник.

И в самом деле, в то время, которое избрали мы для нашего повествования, властитель царьградский казался велик и славен не одним только величием и великолепием Царьграда. Победа и завоевания приветствовали Грецию на полях Сицилии и Малой Азии. Блестящие воинские подвиги открыли Никифору путь к престолу. Завоеватель Крита, еще бывший императорским воеводою, он в торжественном триумфе въезжал в Царьград, и современники его с изумлением описывали сей триумф. «Золота, серебра, золотых монет, одеяний, ис-

пещренных золотом, багряных ковров и разных драгоценных вещей, с чрезвычайным искусством сделанных, блестящих дорогими камнями, доспехов, шлемов, мечей, броней, изукрашенных золотом, копий, щитов и тугих луков столь великое было множество, что всякий сказал бы, что все богатство земли неприятельской было тогда снесено на площадь, и подобно было втекающей, так сказать, в Царьград глубокой реке сокровищ» *. Выбор Никифора в императоры последовал среди воинского лагеря, который поставил он на полях Каппадокии. Облеченный в императорскую порфиру, Никифор, в течение пятилетнего своего царствования, мало обитал в чертогах царьградских. Повелевая многочисленными воинствами, вечно в лагере, он заставлял трепетать врагов Греции, и потомки халифов ужасались, слыша, как города десятками покорялись его оружию, как пали перед ним Мопсуестия и Тарс Киликийский, 200 000 мусульман погибли в один день под мечами греков на берегах Соруса, в то время, когда флот египетский тщетно спешил на спасение своих единоверцев. Но ни одно завоевание не было так славно, как завоевание Антиохии. Когда ворота Мопсуестии привезены были в Царьград и вделаны в городские стены, как памятник подвигов императора, пришла весть о взятии Антиохии — *третьего* города в мире, после Рима и Царьграда, по своему величию и богатству. Затем пал Алепп, место пребывания гамаданских властителей, обладавших древней Месопотамией. Три палаты, наполненные драгоценными оружиями, тысяча четыреста мулов в конюшнях и триста мешков золота и серебра в казнохранилищах достались победителям в одних только чертогах властителя алеппского. Добыча в городе была бессчетна. Недоставало лошадей и мулов вести ее. Более *ста городов* было, наконец, отнято из рук мусульманских. Никифор перенес оружие за волны Евфрата, уже повелевая горными хребтами Тавра и Амана. Багдад ожидал неизбежной гибели и беспощадной мести. Но важные занятия удерживали императора в Царьграде, где одним взглядом своим укротил он бунт, восставший между народом. Мужественный брат императора, *Лев*, украшенный званием *Куропалата*, был правою рукою его в Азийских победах, когда другой брат, *Эммануил*, вырвал у африканских варваров древние Сиракузы, возобновляя славу побед Веллизария на итальянских берегах, а дети Льва, *патриций*

* Лев Диакон.

Никифор и Дука Вард, торжествовали в Эдессе и Гиерополе. Голос народа назвал императора *утреннею звездою побед и гибелью сарацинов*, и льстецы говорили, что гром завоеваний его потрясает своды небес и отдается во всех концах вселенной.

Между тем, суровый воин, облеченный в багряницу Августа, казалось, не слышит льстивых восклицаний царедворцев и народа. Удаленный в тайные чертоги Вукалеона, он, мрачно и задумчиво, один ходит по золотым палатам дворца. Никто не смеет предстать пред его взорами; никто не знает: какие думы тревожат душу Никифора? Оставляя другим веселье и забавы, он не участвует в роскошных пирах царедворцев и супруги своей. Когда звуки музыки и песен потрясают своды чертогов императрицы, Никифор остается в своем царственном уединении. Видят тайные созерцатели дела его, как нередко, повергаясь перед образом Спасителя, он облекается во власяницу и со слезами молится. Оставляя пышное ложе императорское, нередко спит он на простом красном войлоке и барсовой коже среди золотой ложницы своей, покрываясь на ночь ветхою рясою св<ятого> Михаила Малеина, дяди своего, инока, заживо прославленного благодатию чудес и умершего праведно и свято. Но о сих тайнах благочестия и смирения императорского едва ли смеют говорить шепотом, и едва дерзают прибавлять к тому, что никогда еще император не казался столь угрюм, суров и мрачен. Что тревожит его? Неужели слухи о поражении греков в Сицилии и движениях варваров на Дунае? Но может ли беспокоиться о том грозный покоритель Антиохии, Тарса и Алеппа! Или затмение солнца смутило ум его, затмение столь дивное, что звезды показались среди белого дня, и изумленный народ со страхом ждал беды и злополучия, предвещаемых сим небесным знамением? Но Никифор, крепкий верою в Бога, выше суеверных опасений. Достовернее всего было мнение тех, которые приписывали тайную скорбь императора кончине родителя его *кесаря Варды*, мужа маститой старости, украшенного мирными добродетелями и воинскими подвигами. Император, не осушая глаз, пешком шел за гробом его. Но ему ли, христианину, печалиться о блаженном успении родителя, когда при том сей родитель, умирая, назвал себя счастливейшим из отцов и говорил, что если сыновья его будут скорбеть об его смерти, то оскорбят его среди блаженства, которого надеется он от милосердия Божьего!

Так причина мрачности и тайного уныния императора Никифора оставалась непостижимой для самых приближенных к нему особ. Народ ничего не замечал. Никифор являлся среди народа в прежнем, недоступном величии. Взоры подданных не смели останавливаться на лице его и смиренно клонились долу. Притом, казалось, что он оживал, развеселялся, когда выезжал к своему войску, собранному на воинские игры и ученье, когда начинал с ним говорить о трудах и походах, вместе совершенных, о новых победах, каких надеется от милости Божией, от их усердия и храбрости. Весел становился Никифор, взирая на быстрые движения воинов, совершаемых в тяжелых доспехах, при звуке труб, при громе бубнов и кимвалов, взирая, как смело мчатся воины его на конях, метко стреляют из луков и ловко действуют копьями. Грусть его рассеивалась еще, когда вступал он в храмы Господни, которые посещал ежедневно, усердно повергаясь в молитве перед царем царей. Но тщетно звала его Феофания на великолепные пиры свои, где прежде являлся он, редко, но являлся однако ж, и ласковым приветом ободрял веселость собеседников.

Вдруг, неожиданно, глашатаи поехали по Царьграду и при звуке труб возвестили, что завтрашний день император назначает свой торжественный выезд в храм Св<ятой> Софии, прием послов, прием двора и игры Ипподрома. Весь Царьград взволновался. Только три раза со времени восшествия на престол Никифора были объявлены такие торжественные дни. Он въезжал в Царьград неоднократно победоносным *триумфатором*, но не любил являться народу в величии, какое леств и рабство придумали для императоров греческих. Народ, напротив, любил такие выезды, приученный к роскоши и великолепию прежними властителями. Тут был случай богачам показать все свое великолепие, своих многочисленных невольников, золотые колесницы, парчи, паволоки на балконах чертогов; вельможам и царедворцам играть важную роль в глазах народа, когда при победных триумфах только воины-победители окружали императора, а царедворцы являлись в бессильном унижении перед последним сотником. Наконец, радовались все купцы, торгаши, все содержатели постоялых домов и гостиниц — одни не успевали наготовиться дорогих тканей, одежд, ковров, украшений; у других места не доставало для множества народа, стекавшегося тысячами из окрестностей Царьграда. А сто тысяч праздных тунеядцев, мошенников, негодяев, которым нечего было есть, кото-

рые просыпаясь поутру не знали: найдут ли себе в этот день кусок хлеба или должны умереть голодной смертью? И другие сто тысяч тунеядцев, которые не знали, что делать, потому что не ведали, куда девать им время и богатство? Какое благоденствие для всех таких людей все торжественные дни, публичные зрелища и гулянья! Театров не было в Царьграде; бульваров и отдельных гуляньев тогда не знали. Роскошь и праздность укрывалась в уединения чертогов, и злые люди говорили, будто от того всегда наполнены были церкви царьградские народом, что этому народу некуда было деваться от скуки. Нередко богачи тратили огромные суммы для народных увеселений, заставляя народ петь, плясать, есть, пить, драться, и любясь, развлекаясь таким зрелищем. Словом: весь Царьград зарадовался, закипел деятельностью, зашумел при известии глашатаев. Необходимые приготовления начались с раннего утра: мели улицы, поливали их водою, украшали дома; войско двигалось в назначенные места блестящими легионами; всякий, кто занимал какое-либо место или исполнял какую-нибудь должность, спешил к своему назначению, а толпам народа, входившим в Царьград, бродившим по улицам, занимавшим места в храме Св. Софии, и в Ипподроме, и на площадях, где должен был проезжать император, не было ни числа, ни меры.

Великое стечение народное теснилось особенно у врат дворца Вукалеонского. Никого не пускали в дворцовую ограду, ибо, несмотря на обширность места, едва помещались в нем придворные, чиновники и их провожатые, их кони и колесницы. Полк Бессмертного легиона расставлен был около самого дворца; златоносные латники стояли по ступеням главного крыльца; председатель заняли ратники стальноносные.

Между тем, все золотые, мраморные и порфирные залы дворца, составлявшие прямое, длинное протяжение, до самого входа в Священную залу, где воздвигнут был трон императорский, наполнились чиновниками, военными, гражданскими, придворными, духовными. В строжайшем порядке, по чинам и местам, расставлены были все присутствовавшие; глубокое молчание наблюдал каждый, ибо слово, вслух произнесенное, почиталось оскорблением величия и святости императорского жилища, если было произнесено не по приказу императора.

Звон колоколов, огласивший весь Царьград, возвестил выход императора из внутренних его чертогов. Сот-

ни тысяч людей крестились в это мгновение, говоря: *«Господь, да сохрани твое вхождение и исхождение твое»*.

Шествие началось множеством черных невольников с обнаженными, кривыми саблями на плечах. Затем следовали невольники белые, евнухи, пажи императорские, дружина фарганов, или чужеземных воинов. Державу и скипетр несли на подушках *протоспафарий* (фельд-маршал) и *Великий дукс* (адмирал), как будто знаменуя, что на войске и флоте основывается сила государства. *Великий протовестиарий* — главный начальник всех обрядов и церемоний, с серебряным жезлом в руках, следовал за ним. Четыре *силентиария* (повелители молчания) громогласно провозглашали: *«Благословите и молчите!»* — Шепотом повторило все собрание: *«Осанна! благословен грядый во имя Господне!»*. Шепот пролетел, как порыв вихря, и замолк. Все головы преклонились; руки присутствовавших сложены были на груди.

Мы не станем описывать, кто и как сопровождал императора, кроме людей упомянутых нами; как происходили разные мелочные обряды шествия; как достиг император до Священной тронной залы. Отсылаем любопытных к огромной книге, в которой Константин Порфирородный, *на память потомству, в научение сыну своему*, собрал и изъяснил все обряды царьградского двора, назвав свое сочинение: *Συνταγμα*. Константин написал еще несколько книг: о правлении государством, о состоянии Греции. Но, кажется, ближе всех к сердцу его были *«Синтагмы»* его, где подробно говорит он об обрядах благоговения, указном почтении, уставах церемоний двора царьградского. Что делать! *Править государством* был он небольшой знаток, а *знать обряды* учился с самого детства, глядя на государство свое только из портиков Вукалеона и Влахерны...

Впереди императора Никифора шли два отрока, единственные потомки Македонского рода. Императоры *Василий* и *Константин*, в белых одеждах, с золотыми повязками на голове. Оба они казались одинаких лет, но уже можно было заметить разницу между двумя братьями. Один, прозванный впоследствии *Ужасом Булгаров*, был суров и угрюмо смотрел на все его окружавшее, как будто спрашивая: *«Найду ли среди вас таких, кто стоил бы моего правления?»*. Другой, дитя до старости, и тогда казался уже изнеженным, избалованным сатрапом; женоподобный, нежный, слабый по виду, он невнимательно смотрел на свои красные сандалии —

знак отличия императорского, любовался блеском и пышностью Двора и взором своим как будто спрашивал окружающих: *«Неужели никто из вас не возьмет на себя труда править мною и вместо меня?»*

Другую противоположность составляли сам император Никифор и императрица Феофания, шедшие рядом. Он, с мрачным, смуглым лицом, с нависшими бровями, из-под которых сверкали черные глаза, всегда выражавшие глубокую думу или холодное презрение — с бородою, падавшею на грудь, густою, черною. Почти шестидесятилетний старик, Никифор казался еще старше, удрученный походами, трудами, заботою государственною; седина пробивалась на его бороде и густых черных волосах; рубец на щеке был свидетелем, что он не щадил себя в битвах; но впрочем, высокий, широкоплечий, Никифор казался Геркулесом, несмотря на свою старость, даже и в цветном, блестящем одеянии императорском, казался Геркулесом, пойманным Деянирой и одетым по ее прихоти в роскошное женское платье. Его Деянира — Феофания, была красавица, высокая, стройная, прелестная женщина. Двадцати пяти лет от роду, она казалась гораздо моложе; трудно было найти у кого-нибудь белее и нежнее лицо, пламеннее глаза, ласковее, сладострастнее взор, стройнее ручку и ножку и очаровательнее все движения. Феофания была отличная певица, танцевала, как индийская баядерка, и тайно говорили между собою, знавшие Феофанию до возведения этой красавицы на императорский престол, что не однажды служила она моделью для ваятелей и живописцев, хотя строго запрещено было законами подобное безнравственное дело. И теперь, хотя все головы были преклонены и никто из присутствовавших не смел возвести взоров своих на императора и императрицу, глаза Феофании, казалось, искали: кого бы можно было утешить им за скуку принуждения? И в то же время гордая поступь и самый этот снисходительный взор готовы были напомнить дерзкому, который самовольно осмелился бы взглянуть на Феофанию, что он видит перед собою повелительницу миллионов, супругу императора царьградского.

Император неожиданно остановился в зале, находившейся перед самою тронною, где собраны были знатнейшие вельможи. Он обратился к одному из присутствовавших в этой зале. Казалось, что это вельможа, удостоенный такой необыкновенной милости, был до того времени чужд всем царедворцам. Он стоял в удалении от других, хотя и наряду с знатнейшими. Это был чело-

век небольшого роста, лет сорока пяти, в полной силе мужества, что доказывали его прекрасное, выразительное лицо, его жилистые руки, широкие плечи. Русые волосы его падали кудрями по плечам и рыжая, небольшая борода оттеняла свежие румяные щеки. Богатая одежда являла знатный сан его, и когда Никифор остановился против него, преклонясь низко перед императором, смело поднял потом этот царедворец свои быстрые голубые глаза на угрюмое лицо императера. Но Никифор не сказал ни одного слова, только изъяснил рукою привет, и вошел в тронную; багряные завесы раскрылись перед ним и опустились снова, едва только императоры и императрица прошли сквозь мраморную арку, отделявшую тронный зал. Все, что предшествовало им, оставалось в разных залах, так что в тронную вступили только *протоспафарий* и *дукс*, с державою и скипетром, *Великий протовестиарий*, *Великий доместик* (первый министр), *Великий куропалат*, брат императорский Лев и *Великий логофет* (главный казначей).

Трудно было разгадать, что за чувство изображалось на лице вельможи, удостоенного приветом императорским перед тронною залю. Говорили, что при царьградском дворе изобретено было особенное искусство — улыбаться не смеясь и глядеть не смотря, и что не изучивший вполне сего искусства не должен являться ко Двору. Насмешка эта основана была на том, что царьградские греки умели прикрывать улыбкою все — гнев, печаль, злобу, раскаяние, улыбались, поднося яд врагу, улыбались, рабствуя перед волею своих повелителей, улыбались, терзаемые по их приказу. Обязанность потуплять глаза и преклонять голову перед каждым, чем-либо превышавшим других, заставляла прибегать к необходимости глядеть таким образом, чтобы можно было видеть все и всюду, заметить улыбку властителя и угрожающий взгляд неприятеля, когда, казалось, глаза были потуплены в землю.

Так и вельможа, удостоенный мимолетного приветом императорского, улыбнулся, оживил весельем лицо свое, как будто восторг наполнил его душу. Но кто взгляделся бы в его светлые глаза, тот заметил бы, что гнев и негодование скрытно отразились в этих глазах, заметил бы и руку, невольным, судорожным движением коснувшуюся золотокованого меча; нижняя губа рта его едва заметно задрожала. Но через мгновение все исчезло; он благоговейно поднял взоры к небу, как будто взоры его оживлялись благодарением царю небесному за

неожиданную милость царя земного. Любопытно было еще видеть, как, не двигаясь с мест своих, все умели изъявить этому человеку свою радость, свой привет, взорами и улыбкою, выражением лиц, как все, до сей минуты отворачивавшиеся от этого человека, явно показывавшие ему свою холодность, даже свое презрение, вдруг изменились... И все произошло оттого только, что император, проходя мимо, ласково приветил его рукою, даже не сказавши ни одного слова...

Но в эту минуту загремели трубы, литавры, кимвалы, и, при пении духовного гимна, багряные завесы тронной поднялись; великолепная, освещенная утренним солнцем, тронная явилась в полном величии. На возвышенных ступенях, покрытых золотыми бархатами, видны были два драгоценных трона, и на них восседали Никифор и Феофания; с одной и другой стороны восседали на малых тронах Василий и Константин. Скипетр и держава были в руках Никифора. Его корона горела в бриллиантах, когда на Феофании и детях ее были только кованые золотые венцы. Балдахин над тронами составляло серебряное дерево, с серебряными, золотыми и из драгоценных камней сделанными листьями, плодами, птицами. Все это, простираясь в тысяче ветвей от древесного пня, составлявшего основание трона, сплеталось густою беседкою под самым потолком. Два золотые льва, с изумрудными глазами, видны были по обеим сторонам тронов, огромные, изумлявшие хитрым искусством ваятеля. Далее по сторонам, на золотых столпах, развешаны были трофеи, дорогие оружия; названия *Тарса, Алеппа, Антиохии, Сиракуз*, множества других городов напоминали победы Никифора. Из драгоценных хрустальных курильниц неслись благовония, обвивая легким дымом порфирные столпы, поддерживающие хоры, с золотыми балясами. Огромный золотой ангел парил, с трубою в руке, посредине тронной, на цепи, унизанной яхонтами. Между столпов, и к самому трону, стояли избранные стражи, из греческих и иностранных легионов, облитые золотом: тут виден был узкоглазый гунн, голубоокий фаранг, черноволосый аравитянин, красивый грек — каждый в своем народном одеянии, с серебряными акуфиями, бердышами, секирами. Благоговейно, почтительно, в отдалении от трона, находились шесть сановников, вступивших в тронную с императором. Вид из тронной простирался на необозримое протяжение зал, наполненных чиновниками, воинами, духовенством, и оканчивался стальными бронями избранных воинов

в предсении, казавшихся неподвижными статуями заколдованных богатырей. И все было погружено в глубочайшее молчание.

Умолкли трубы и литавры. Выступил чиновник и громко проговорил:

«Император Никифор, владыка Эллады, Рима, Святого моря, Эвксина и Геллеспонта, самовластитель, опекун царей Василия и Константиона, в начале всех милостей сего благополучного дня, позволяет тебе, рабу своему, восточному domesticу и магистру *Иоанну*, называемому *Цимисхий*, приступить к обожанию императорского трона».

При сих словах тот вельможа, которого приветствовал император перед тронною залю, выступил тихо, медленно, вошел в тронную и преклонил колени посреди сей залы.

«Иоанн! — проговорил тогда император, — ты имел время раскаяться в своих поступках и покорностью умягчил сердце наше. Просьбы возлюбленной супруги нашей сделались доступны нашему милосердию, и, по ее молению, мы позволяем тебе видеть наше светлое лицо. Окажи себя впредь достойным неизреченных наших милостей. Восстань!»

Цимисхий встал, преклоняя голову.

«Хотим видеть: достоин ли ты будешь вполне нашей щедроты, и, снисходя милостиво и милосердо, позволяем тебе свободно жить в твоём царьградском доме. Входить в императорские чертоги наши ты не должен без особенного призыва нашего. — Позволяем тебе говорить».

— Августейший монарх, мой владыка и повелитель! — отвечал Цимисхий смиренно и тихо. — Чем воздать за твою милость и неслыханную щедроту? Если молитвы мои могут умножить хотя единою йотою тук молений, миллионами возносимых за царя земного царю небесному, я вознесу их — за тебя, твою возлюбленную супругу и августейших детей.

«Казню и милую по воле! — произнес Никифор, взмахивая скипетром, — позволяю тебе остаться у моего трона на сей день»

Он указал место Цимисхию, и с низким поклоном стал Цимисхий на назначенное место.

«Мои подданные и рабы! — сказал тогда Никифор, — я созвал вас для объявления тайных мыслей моих. В наступивший день —

Хочу принять послов дерзкого государя франков и изречь им мое решение на их мольбу.

Хочу принять послов царства Мизийского и объявить им мою милость.

Хочу идти с вами для празднования увеселениями новых торжеств, какими Господь Бог всемогущий вновь благословил нашу римскую державу.

Но прежде начала увеселений, хочу благодарить Господа за прекращение наказаний, коими десница Его отягчалась на нашу богоспасаемую державу.

Возвестите волю мою!»

Гром музыки раздался с новым шумом и наполнил своды дворцовых зал.

«Молчание!» — возгласили силентиарии.

«Августейшему монарху нашему угодно показать вам, римляне, что ничто не укрывается от его всепроницающего взора. Внимайте и дивитесь: признавая в наказаниях, ниспосылаемых на богоспасаемую державу римскую, суд Божий, милующий и карающий смертных, он не хотел оставить без внимания голоса и тех рабов, которые дерзнули сомневаться в истине истин, в том, что свет разума человеческого есть тьма перед разумом небесным. Дерзкие осмелились распространять слухи, будто естественные причины были тем бедствием, от коих скорбило сердце монарха нашего. Уже давно истреблены нечестивые ереси из православного греческого царства, и в мире и единстве православия, в начале премудрости, страхе Господнем, сосредоточилась вся мудрость римская. Но глубоко скрываются корни зла и разврата. Упомянутые дерзкие толки происходили от древней секты языческих безбожников, именуемых *философами* (любителями мудрости), хотя правильное было бы именовать их *философами* (любителями мрака). Еще блаженной памяти, великий император, Юстиниан уничтожал сию опасную секту, ниспровергал ее кафедры, разрушал ее проклятые академии и стыдил ее суемудрое невежество. Но в тайне сохранялись плевелы; еретические писания доныне были укрываемы во многих книгохранилищах, по невежеству, грешному любопытству, или злему умыслу. Император повелел, и отысканы были многие книги еретические, даже найден один *философ*, дерзающий сохранять и рассеивать свои злокозненные толки и мудрования, волхвовать по звездам, не для блага, но для зла. Он предстанет в сие мгновение перед вами, и будет посрамлен».

Из отдаленной залы, между двумя воинами, введен был в это время в тронную седовласый старец. Он шел

бодро, вид его был смелый, и прямо глядел он, как будто не знал обычая потуплять глаза перед троном императорским. Он стал в отдалении от трона и почтительно преклонился.

«Начальник истинного учения, ипат мудрых, раб наш Синезий! — сказал Никифор, и из среды других выступил и пал пред троном какой-то старик в богатой одежде. — Встань и отвечай: слышал ли ты изложение учения этого человека, который столь дерзко осмеливается называть себя *философом* и последователем Платона и каких-то других поганных язычников?»

— Если государь позволяет говорить мне, ничтожному червю, менее нежели брению ног своих — слышал. «Что же ты скажешь?»

— Я буду отвечать словами одного из последователей философской ереси, которого имя служит в позор векам: *Анэгнон, ёгнон, катёгнон* (*Ανεγνων, ευγνων, κατεγνων* — прочел, понял, осудил)!

Никифор улыбнулся, и улыбка так сильно прсбежала по всем лицам, что в последних залах переродилась она почти в громкий смех: надобно было дать знать императору, что все разделяют его усмешку. Заметим, что кроме находившихся в тронной и в смежной с нею зале никто не мог слышать ответа на вопрос императора, и тут половина присутствовавших не могли расслушать его ясно.

«Что возразишь ты на такое обвинение?» — спросил Никифор старика философа.

— Не отвечай безумному по безумию его, — начал старик, — так сказал бы я. Но противник мой хочет шутить, приводя слова знаменитого философа, и я буду отвечать тем, что отвечал этому философу великий святитель Василий: *ανεγνω, αλλ' ουκ ευωσει γαρ ευνωс, ουκ αυ κατενωс* (ты читал, но не понял, а если бы понял, то не осудил бы). Повелел спросить ты у меня, государь: могу ли я естественными причинами изъяснить страшное землетрясение, разрушившее великий город галатский, *Клавдиополь*. Я отдал письменное изъяснение этому человеку, которого называешь ты начальником истинного учения и который, по летам и бороде, казался бы старцем, достойным уважения. Но лета ничего не значат: и пес бывает стар; борода седая ничего не доказывает: это мох на гнилом, ветхом пне.

«Ты становишься дерзок, философ!»

— Нет, государь! Я говорю истину, а истина не бы-

вает дерзка, и горе царю, которому глас ее покажется груб и невежлив!

«Можешь ли ты вкратце рассказать мне твое изъяснение бедствия клавдиополийского?»

— Трудно, государь... Я полагаю, утверждаясь на творениях Платона, Аристотеля и великих новейших учителей, Маркиана Ираклийского, Стефана Византийского, и на всей *золотой цепи* философов афинской школы, от Плутарха до Симпликия, на...

«Довольно! Сократи слово твое! Вы, правдолюбцы, привыкли суесловить от праздности; если бы войны столько же говорили, сколько говорите вы, то неприятели успели бы покорить царство, прежде нежели говоруны успели бы братья за оружие в защиту свою».

— Повинуюсь, государь! — Старик умолк, думал с минуту и начал так: — Известно, государь, что земля кругла, и висит она на воздухе так, что если бы могли мы видеть противоположных нам людей, или *антиподов*, то увидели бы их головою вниз, а ногами вверх в отношении к нам, хотя в отношении к ним самим, головы у них кверху, а ноги книзу...

Тут Никифор захохотал, и все громко захохотали. Неслыханное явление на торжественном выходе императора!

— Государь! Кажется, я ничего не сказал смешного?

«В отношении к нам, в отношении к ним! — повторил Никифор, продолжая смеяться. — Послушай ты, старый безумец, украшающийся именем *любителя мудрости*, если я велю тебе срубить голову, и ты станешь уверять, что у тебя нет головы, в отношении к тебе, не имеем ли мы права уверять напротив, что в отношении к нам, голова у тебя цела, только не на том месте, где обыкновенно голова бывает?».

— Государь! это ложный силлогизм.

«Ложный! Ты смеешь сказать? Ты забыл, что я могу заставить тебя немедленно ходить как антипода! Но жук навозный недостойн моего гнева. Начальник истинного учения! повтори ему то, что вчера изъяснял ты мне об устройстве земли».

— Я следовал системе великого *Козьмы Индикоплеста*, великий монарх! Он ясно доказывал, что земля есть великий параллелограмм, и плавает она на водах Океана, которые подземными трубами наполняют четыре великия моря — *Средиземное, Каспийское, Чермное и Индийское*. За волнами Океана, окружающего землю, возвышается стена, яхонтовая видом, со всех сторон отде-

ляющая Океан бесконечный от бездны бездн, и сводом сходится она вверху, как чаша над нашими головами. Это наше *видимое небо*, испещренное звездами, по которому ходят солнце и месяц, выше коего есть *невидимое небо*; вечное, престол Божий, когда земля есть подножие ног его...

Тут философ засмеялся в свою очередь, и это возбудило столь сильный и внезапный гнев Никифора, что он задрожал от досады. Уже грозное слово готово было излететь из уст его. Но глаза императора нечаянно обратились на Феофанию. Скучая величественным своим молчанием, Феофания, казалось, находила развлечение в том, что пристально смотрела на смелого, мужественного Цимисхия, и взоры ее, без слов, говорили так много, что Никифор, вовсе не знаток в шаловливых затеях Амура, понял многое. Ему показалось, что и Цимисхий... Но, нет! Ему *показалось!*.. Цимисхий рабски опускал глаза в землю, и сама Феофания так лукаво подметила взгляд Никифора, и глаза ее обратились к супругу с такою нежностью, что победитель Тарса и Антиохии, не приходивший в замешательство при дожде стрел и граде камней — смешался от одного женского взора.

Это спасло бедного философа.

«Довольно,— сказал Никифор,— мы только хотели видеть позор тщетной, эллинской, поганой премудрости, мы, православные римляне, и видим этот позор. Воздадим хвалу Богу, что ереси и лжемудрования древних софистов, каковы были Платон, Пифагор — и кто еще? — Арий, Павликий и им подобные, не вредят нам более. Но слабые умы могут соблазняться. Ведай, философ лжемудрый: ты должен отречься от своих мудрований, или горе тебе, горе всем, кто тебя слушает! Об вас сказано в писании: *Иудеи знамения просят, эллины премудрости ищут*. Я сам люблю Святую *Софию*, если она дочь божия — я сам... Но, довольно — мне не время теперь заняться вами, лжемудрыми. Иди — ты еще свободен, но помни, что если будешь призван в другой раз перед лицом мое, то, может быть, в отношении самого себя — начнешь висеть, как висят твои антиподы! Не хочу, да не погибнет кто-либо и из малых, вверенных моему попечению; еще раз щажу жизнь твою и тебе подобных, но — берегись, и иди от моего взора».

Философ удалился в молчании.

«Всеавгустейший монарх, столь торжественно посрамивший лжемудрование пред вами, рабы его и подданные! — начал провозглашать оратор трона, — объявляет

вам, что он намерен в скором времени обратить внимание свое на скрытую, но существующую донныне в тайне, *языческую премудрость* древних эллинов. До тех пор, он повелевает вам, да никто из вас не дерзнет быть ей причастен, как колдованию, чревовещанию, хиромантии, физиогномии, халдейской премудрости, кабалистике, зефиротомии и всему, чем прельщает нас царь мира сего, диавол, яко скимен окрест нас рыкающий. Будьте благочестивы и бойтесь Бога, ибо страх Господень есть начало премудрости; повинуйтесь властям, не ленитесь на молитву, храните чистоту душевную и телесную. Тогда отвратятся от вас бедствия — трусы, глады, потопы, нашествия неприятельские; исчезнут и знамения бедствий — помрачения солнца и месяца, огненные змеи, огненные столпы на небесах и явления чудилищ и уродов на земле. Да сохранит нас Господь Бог и Спас наш Иисус Христос, заступлением пресвятыя Богоматери, силою честного и животворящего креста Господня, молитвами всех святых! — Дерзните ли послушаться?»

Головы всех преклонились по данному знаку, как в порыве ветра преклоняются спелые колосья на ниве.

В это время уже шли по залам, прямо к тронной, послы императора Оттона и послы царя болгарского, или мизийского, как называли греки. Первые, одетые в блестящие брони, приближались смело; вторые, в богатых греческих одеждах, рабски поникнув головами. Едва вступили они в тронную, как Никифор протянул вперед руку со скипетром, и мгновенно раздался странный звук и шум. Казалось, что трон императорский ожил: листья серебряного дерева, осенявшие его, зашевелились; птицы, сидевшие на нем, двигали головами и крыльями; львы подняли гривы, зашевелили глазами и с ревом подвинулись вперед, разева пасти, как будто хотели проглотить чужеземцев, приближавшихся к трону; ангел, паривший над головами их, затрубил громко. К этому присоединился стук оружия: фаранги и варвары, стоявшие в тронной, ударяли бердышами о звонкие щиты, и все заглушил наконец звук труб и звон тимпанов. Механизм, посредством которого производилось движение дерева и львов, был давно известен, но его редко приводили в действие, и каждый раз он производил невольный трепет в послых чужеземных, слившийся с музыкою и стуком оружия. Смущенные послы болгарские пали ниц на землю, и самые гордые германские послы преклонили колена. Все бывшие в залах дворца также пали на колени.

«Обожание ваше приемлет великий император наш,— возгласил Великий доместик,— позволяет вам власть, и се ответ его вам, послы Оттона, государя германского. Внимайте, и не дерзайте отвечать:

Государь ваш требует в супружество за сына своего дочь великого императора Константина. Этого быть не может, ибо великая кровь кесарей не может соединиться с кровью диких германцев. Так установил великий предок наш, Константин Равноапостольный. Видал ли кто львицу, преданную любви волка, или орлицу супругою ворона? Вы можете идти и передать ответ сей вашему государю».

— Нет! — отвечал главный посол (их было трое), — я не передам вашего ответа моему императору; пошлите его со своим послом. Мой великий государь, император римский, король Италии и повелитель Германии, не может принять ответа ложного. В его воле отвечать как ему угодно, миром и войною, но лжи не перенесу я ему. Не только союз с сыном моего императора не унижает греческого государя, но возвышает его. Страна, принцесса которой еще недавно была выдана за варвара болгарского, повелитель который женился на дочери хазарского хана и женил сына на дочери бедного итальянского князя, должна почесть благостью небес союз с государем, коего имени трепещут Север и Юг, того, пред кем пала Франция, передавая ему венец императорский, которого благословил наместник Христа, вселенский папа и патриарх вечного города Рима...

«Умолкни! — воскликнул Великий доместик, — не богохульствуи пред лицом великого императора, упомыная о лжеверном папе».

— Я не хочу беседовать с рабом твоим и обращаюсь к тебе, император греческий, — воскликнул посол...

Никифор оставался безмолвен и неподвижен, как будто истукан грозного Зевеса.

«Или не думаешь, посол дерзновенный, — возгласил доместик, — что ты подвергаешь опасности свою голову, дерзая оскорблять величие образа Божия на земле, великого государя нашего, именуя его *греческим* и придавая имя *римского* и *императора* своему германскому государю?»

— Если бы мы, германцы, столько же заботились об именах, сколько заботитесь вы, греки, я давно оскорбился бы тем, что ты не придаешь моему властителю титула, который завоевал он мечом и утвердил благословением великого архипастыря. Именуйте нас, как хотите...

«Варвары» — было слышно со всех сторон.

— Варвары? — сказал посол, оглянувшись с усмешкою на все стороны, — пусть тот будет варвар, кто не умеет проникать тщетной и суетной вашей гордости, греки, кто не знает, что закон Константина, о несочетании браком с иноземными государями, выдуман вами, хотя и вырезан на алтаре Софийской церкви, и что сей закон был троекратно нарушен доньше, хотя и называется вечным. Неужели, государь! ты отвергаешь собственную славу свою, состоящую в том, что оружием и победою достиг ты престола, и станешь верить своей родословной, будто в самом деле и ты приходишь от Цезарей, когда все помнят пастуха твоего деда, помнят, что и самые потомки рода Василиева, сидящего с тобою, суть потомки бедного рыбака македонского?

«Умолкни! — возгласил с трепетом domestik. — Августейший монарх! что повелишь ты дерзкому послу?»

— Чту в лице его права посла, — хладнокровно отвечал Никифор, — презираю его суесловие, как варвара непросвещенного, но пусть немедленно оставит он наш великий Царьград, без милостивого нашего слова, без привета и ласки...

«Пощади, августейший монарх! — воскликнул domestik. — Грубость варвара заслуживает прощение, дерзаю заметить тебе, заслуживает, как преступление без умысла учиненное — прости его грубости и невежеству!»

Никифор, молча, взмахнул скипетром. Посол Оттона насмешливо взглянул на все стороны. «Если я затем введен был сюда, — говорил он, — чтобы слышать, как молчит греческий император, чтоб быть оскорбленным, внимая торжественный ваш отказ, после того, как в переговорах ваших, три месяца продолжавшихся, познал я всю тщету ума вашего, о греки — иду от вас, и пусть Бог взыщет на вас те бедствия, какие могли вы отвлечь согласием вашим, пусть Бог положит на главы ваши и те бедствия, какие мщенья за гордый ответ ваш внушит он великому государю моему, императору Рима, повелителю Германии и Италии!»

Посол Оттона не поклонился никому и гордо пошел через залы, где все оставались неподвижны, не поднимая на него взоров.

Едва удалился он, Великий domestik возвестил послам болгарским, что государь позволяет им говорить.

— Царь царей земных! — возгласил посол болгарский, — преклоняю пред тобою колена, благодаря за неизреченные милости твои!

«Посол царя мизийского! — ответил ему Никифор, — ты видел, как наказываем мы дерзость франка и латина, а теперь уведаешь из ответа нашего, как неизмерима глубина реки щедрот наших. Внимай: ты просил позволения купцам вашей земли на покупку драгоценных паволок, дороже 50 литр, но мы не можем позволить вам такого преимущества, ибо неприлично было бы другим народам равняться богатством одежд с народом римским.

Ты просил, от имени царя своего, чтобы послали мы ему, на защиту бедных владений его, хитреца, умеющего стрелять греческим огнем. Мы не можем сего позволить, ибо ангел, принесший к нам тайну сего изобретения, запретил нам передавать ее другим или употреблять на защиту других. Скажи ответ наш царю своему, да постигнет он великую милость нашу».

Посол болгарский низко поклонился. Великий domestik начал говорить ему: «Ты приносил великому государю нашему скорбь царя твоего, повествуя, что кровожадные скифы, именующие себя *россами*, или *руссами*, и тигроподобный вождь их *Сфендослав*, завладели вашей землею, полонили ваши города, поработили вашего царя. Помнишь ли, посол мизийский, что было сему виною? Обращая победоносное свое оружие на окаянных агарян, непобедимый император наш повелел вашему царю Петру, да устремит он оружие на свирепые орды унгов, или венгров. Царь ваш забыл все благодеяния, на него излитые, забыл, что неслыханным милосердием ему вручена была в супруги дочь тестя императора Константина, бабка ныне благополучно царствующим императорам Василию и Константину, сынов Романовых, внуков Константиновых, правнуков Львовых и праправнуков Василия, блаженной памяти великого родоначальника императорской Македонской династии. Царь ваш отрекся от исполнения воли императорской, и, презирая сам наказанием его, великий император наш послал повеление варвару Сфендославу — наказать царя вашего за его непослушание. — Патриций Калокир! Император позволяет тебе предстать и повергнуться пред лицо его!».

В тронную вступил молодой человек, благородной, прекрасной наружности, в богатой одежде, и низко поклонился императору.

«Патриций Калокир! Император позволяет тебе сказать пред лицом его о своем посольстве на берега Борисфена».

— В счастливый день моей жизни,—сказал Калокир,—призван я был к императору, и слышал слова его: «Тебе, как ведающего языки скифские, посылаю на берега Борисфена, к варвару Сфендославу; скажи ему, да идет он и накажет гордыню царя мизийского!». И потек я, послушный воле царя земного, препоручив себя благословению царя небесного, ибо далекий путь надлежало совершить мне. Корабль перенес меня через волны Эвксина; потек я землю печенежскую; плыл пустынною рекою Борисфеном, именуемую *Днепр* на варварском языке скифов, достиг *Киовии*, увидел *росского князя Сфендослава*, среди его свирепых вождей, и рек ему волю императора. Ударяя в медный щит свой, с радостью внял и пошел варвар, и я сопутствовал ему в походе его, через леса дремучие, реки глубокие. Мы достигли широкоструйного Истра, или Дануба, и мизийская земля постигнута была мечом ангела-истребителя! Варвар Сфендослав огнем и хищением погубил силу противников, и я притек в Царьград, повергнуть пред троном монарха весть, что повеление его исполнено, и Мизия стекает, как бедная вдовица.

«Довольно,—возразил domestик.—Ты ведаешь, посол мизийский, что царь ваш Петр, сокрушенный горестию за преслушание воли императора, скончался от скорби и печали, и юный царь ваш Борис, твой государь, раб императора нашего, возвысил голос раскаяния. Ты был послом его; здесь молил ты императора спасти царя Мизии, спасти страну его, спасти единоверных нам христиан от гибели, позволить родственницам и сестрам царя вашего, бегствующим от варвара Сфендослава, укрыться в богохранимом граде Адриана. Милосердую, яко Бог, великий император, изливший фиал гнева, обратил его в сладость прощения. Он повелел тебе идти обратно и возвестить царю своему, да признает он над собой власть императора, и император, благоволя за то, повелит варвару Сфендославу снова укрыться в своей Скифии. Ты возвратился теперь еще раз перед трон императорский; говори, что повелел тебе царь твой?»

С низким поклоном, посол болгарский начал говорить: «Великий император Византии, второго Рима, славного более древнего Западного! в лице моем, царь Мизии, Борис, сын Петра и августейшей дочери блаженного императора Романа, внук Симеона, правнук Богориса, просвещенного светом истинной веры от щедрот Великого Василия, родоначальника императоров римских. повергает себя и царство свое власти твоей, молит

тебя признать его твоим данником, клянясь именем Бога в вечном тебе послушании, дружбе и правде. Спаси его от меча варваров Скифии, пощади, возвысь победоносную десницу твою! Да будет над ним воля твоя».

— Посол мизийский! — отвечал ему сам Никифор, — иди и скажи царю твоему: отныне предаю забвению все прошедшее. Да иссохнет вражда, как иссохла кровь, пролитая в сей вражде. Объявляю мизийскую землю дружественною и подвластною Римскому государству, Богом нам вверенному. Да придут родственницы и сестры царя вашего в наш великий Царьград, и да будут приветствуемы, как наши кровные. Войско римское готово на защиту Мизии, и горе варвару Сфендославу, овчинною дифферою (кожухом) одетому и сырое мясо грызущему! Ты говорил, что уже сей зверь скифский удалился от берегов Дануба — вероятно, услышав о преднамереваемой защите нашей — но дикие орды его остались на Данубе. Сколь ни варвар, но не совсем лишен он света разума, и постигает, как гибелен будет ему огонь победы нашей, если не покорится он добровольно.

— Патриций Калокир, ты ведающий путь в страну скифскую! Иди еще раз в Киовию, где обитает варвар Сфендослав; скажи ему, чтобы немедленно орды его оставили берега Дануба, или постигнет его гибель, как постигла она кровожадного отца его Ингора. Подробные повеления получишь ты от Великого доместика. Труд твой вознаградит милость наша, и если опасное препоручение — идти в берлогу медведя — будет стоить тебе жизни, щедроты излиются на род твой.

Низко поклонился Калокир и вышел из тронной.

— Великий протовестиарий! исполни должные распоряжения, чтобы за матерью и сестрами царя мизийского были отправлены золотые колесницы, и немедленно встречены были мизийские царевны с почестью, приличною родным нашего августейшего дома.

— А ты, посол мизийский! Сопутствуй нам нынешний день, для моления, в соборный храм Св. Софии Премудрости Божией; будь после сего свидетелем воинских игр на Ипподроме, и потом спешి к царю своему, возвести ему о наших милостях, о том, что если ослепленные безумием орды варвара Сфендослава не оставят добровольно и поспешно берегов Дануба, войско наше двинется — не сражаться, но истребить их, и следа варваров не останется в земле мизийской!

— Милость и благоволение наше всем нашим подданным, слава и хвала Богу, радость и благоденствие императорскому дому нашему!

— Великий протовестиарий! багряные завесы да опустятся над святилищем нашего трона; да скроется величие наше. Мы идем смиренно повергнуться перед престолом всемогущего и всецельного Господа Бога!

Гром труб и кимвалов огласил своды императорской тронной при пении торжественной песни во славу императора.

КНИГА II

Царство от язык в язык преводится ради неправды, и досаждения, и имений лживых. Почто гордится земля и пепел? Яко в животе извергох утробу его... и Царь днесь, а утро умрет... Богат, славен, нищ — похвала их страх Господень...

Иисус Сирахов, гл. X, ст. 8, 25

Если был славен и знаменит Царьград своими зданиями и своими храмами, то ничем не был он так знаменит и славен из всех зданий и храмов, ничто так не возвещало его величия и великолепия, как соборная церковь *Св. Софии Премудрости Божией*. Она сделалась символом христианского храма на Востоке; ее золотой купол казался щитом, охраняющим Царьград, и издали, со всех сторон, горел он звездой благодати в глазах путника, приближавшегося к Царьграду, морем и сухим путем.

Великолепный храм сей построен был императором Юстинианом, и уже *три века* составлял он диво света, чудо искусства, в честь которого поэты сочиняли целые поэмы и которое зодчие и мудрецы приходили изучать, как торжество могущества человеческого. Основанный на развалинах храма, несколько раз погибавшего от огня и землетрясения, храм Софии пережил империю Константина и заставил современников и потомство забыть деяния и злодейства его основателя.

После того, как погибельная достопамятная *Ника*, во время междоусобия *Синих и Зеленых*, осквернила святилище древнего Софийского храма и попала на него огнем, император Юстиниан захотел увековечить имя

свое построением нового храма. Славный чудодеей *Прокл*, великий зодчий *Антемий* и ученик его *Исидор Милетский* были призваны императором. Прокл сжигал зеркалами неприятельские флоты, как второй Архимед; Антемий заставлял соседей жаловаться императору, что они не могут жить в соседстве чародея, который производит громы и молнии, потрясает здания землетрясением. *Пять лет, одиннадцать месяцев и десять дней* строили новый храм; тысячи людей трудились ежедневно при его строении; сам Юстиниан непрерывно наблюдал за работою, и 320 000 фунтов золота и серебра стоило его сооружение. Неслыханное дотоле чудо зодчества — *купол* вознесся по воле Антемия и остановился на воздухе, на высоте 180-ти футов, раздвинутый на 115 футов в поперечнике, освещаемый двадцатью четырьмя окнами, поддержанный четырьмя арками и четырьмя египетскими столпами. Знамениты были и прочие здания Юстиниана: храм *Иерусалимской Богородицы*, где на гору вкатывали каменья, едва влекомые четырьмя волами; другие *двадцать четыре церкви* царьградские; чертоги *Хальцийские* и *Эрейские*, и грозные стены Царьграда. Но все уничтожилось перед храмом Св. Софии, и Юстиниан, вступив в храм сей при освящении его, когда бесчисленное множество народа, вельмож, войска, духовенства наполнили храм и стали окрест, дивясь мудрости и величию императора, Юстиниан горделиво воскликнул: «О Соломон! я превзошел тебя! Слава Господу, моею слабою рукою показавшему первый в мире храм молитвы, достойный Его святого имени!»

Храм Св. Софии изображал собою символ страстей Спасителя — крест; на 243 фута простиралась ширина его и на 270 футов длина, от алтаря до девяти входов в предсение, украшенного чудным *нарфлексом*, или *портиком оглашенных*. Из родосского кирпича, дикого камня, железа и свинца составлены были основания столпов и стен храма, но драгоценный порфир, яспис, муссия, золото и серебро облекли и скрыли это грубое основание. Двенадцать родов разного мрамора было употреблено зодчими: желтый, с железными жилами, мрамор *каристийский*, красный с серебряными *фригийский*, звездистый *египетский*, зеленый *лакониийский*, пестрый *карийский*, желтый, с красными крапинами *индийский*, золотой *мавританский*, черный, с белыми жилками *кельтический*, белый с черными *босфорский*. Мрамором *пропоннезским* выстлан был пол церковный, *молосским*, *термопильским* и *фессалийским* выход из церкви. Но не одни произведе-

ния природы принесли в дар Юстиниану Африка, Азия и Европа: восемь дивных столпов, взятых из храма, построенного Аврелианом на обожание солнца; восемь столпов редкого зеленого мрамора из храма Эфесского — перешли по волнам Эгейского моря в храм Св. Софии, вместе с бесчисленным множеством драгоценностей, украшавших святые иконы, с произведениями искусства, какими славилась древняя Эллада, гордился ветхий Рим.

На белом коне, покрытом багряными коврами, сопровождаемый и предшествуемый воинами и царедворцами, при несчетном собрании народа, ехал император Никифор ко храму Св. Софии при громе колоколов. Золотая колесница, в которой сидели императоры Василий и Константин и Феофания, прибыла к храму прежде его.

И как величествен казался этот грозный император, шествовавший в храм Св. Софии благодарить бога за победы, перенесшие знамена его за волны эвфратские! *Стратопедархи, domestici, аколuffy, друнгари* его казались царями, в золотых и паволочных одеждах своих, шествуя по коврам, посланным на ступенях нартекса. Никифор остановился на высшей ступеньке, оборотился к народу; казалось, несколько мгновений любовался этою пестрою, тьмочисленною толпою, покрывавшею не только площадь, ближние улицы, но все окна и крыши домов, любовался и великолепием украшений — коврами, паволоками, цветами, золотом и серебром — всем, что было выставлено на окнах и балконах, террасах и крышах окружающих зданий...

— *Никифор Фока, Никифор Фока!* — раздался пронзительный голос. Император оборотился в ту сторону, откуда слышен был крик, и увидел какого-то юрода. С растрепанными волосами, с опаленной бороδοю, запачканным лицом, в лоскутьях, босой, бежал он, прыгал, бил в бубен, останавливался, крестился, опять начинал прыгать, и прямо бросился к императору, так быстро, что стоял уже подле Никифора, прежде нежели окружающие могли схватить безумца. Никифор не изменился в лице, не посторонился от юродивого, хотя он мог быть убийца, подосланный врагами. Взоры всех обратились к портику; одно мгновение продолжалось молчание общее, и вдруг прервалось оно общим криком: «Государь! берегись!» Но юрода уже не было: он вручил Никифору какой-то лоскуток бумажки, что-то сказал ему, и мгновенно исчез в толпе народа. Никифор небрежно взглянул на бумажку, и ужас изобразился на лице его.

Но когда он услышал в то же время клик народа, изъ-
являющий опасение, трепет, видимо, потряс все члены
его — он задрожал и остановился неподвижно.

Изумление народа усилилось; смешанный ропот раз-
дался в толпе. Но император уже успел прийти в себя,
спокойно приветствовал народ, и радостные клики раз-
дались повсюду. Хор демостенников и благочестивый
патриарх Полиевкт встретили императора при входе во
храм, с чудотворными иконами и крестами. Благословен-
ный Святителем, император вступил во храм, стал на
свое царское место. Началась литургия.

Оставим продолжение священного обряда, совершав-
шегося в Софийском храме, и перенесемся в другую сто-
рону Царьграда, туда, где толпилось и теснилось теперь
гораздо более народа и куда побежали толпы его опро-
метью, едва только император вступил во внутренность
Софийского храма.

«Хлеба и зрелищ!» — восклицали некогда римляне.
Византийские потомки их утратили все добродетели,
изменили почти все свойства своих предков, но и они
могли и готовы были также восклицать: «Хлеба и зре-
лищ!». Страсть к зрелищам была сильнейшею из стра-
стей царьградского народа, а из всех зрелищ его люби-
мое были игры *Ипподрома*. Так называли в Царьграде
то, что в Риме именовалось *Цирком*, что некогда просла-
вило Олимпию, и празднование сих игр внесло в лето-
счисление древней Эллады.

И теперь еще странник, посетивший Царьград, может
видеть близ великолепной мечети султана Ахмеда пло-
щадь *Ат-Мейданскую*, где собиралось некогда оттоман-
ское юношество гарцевать в своих *джеридях* и где изре-
чена была потом гибель войску янычарскому. На этой
площади и теперь еще видны остатки громадного обели-
ска, перевезенного в Царьград с берегов Нила, и остат-
ки *Змеиного столпа*, некогда обвитого тремя медными
змиями и служившего подножием золотой чаше, кото-
рую Греция поднесла в благодарность за Платейскую
битву богу Дельфийского храма. Победоносный Мугам-
мед IV отделил одну из змеиных голов ударом меча
своего, когда вошел победителем в Царьград; две дру-
гие, неизвестно когда, отгрызло время; бедный обломок
Змеиной колонны, кусок столпа, воздвигнутого некогда
Константином Порфирородным, и часть обелиска — вот

все, что говорит страннику на Ат-Мейданской площади: «Здесь был некогда *Ипподром* царьградский».

Перенеситесь за девять столетий, сбросьте в Пропонтиду этот изуверный памятник исланизма, мечеть Ахметову, далеко и свободно раздвиньте площадь в ширину и длину, и вообразите себе после того величественный *царьградский Ипподром* десятого столетия. Многочисленно бывало собрание народа на Ипподроме, но современники уверяют, что число статуй и изваяний, украшавших Ипподром, превосходило число людей, всегда собиравшихся на нем.

Тут, говорят они, мы видели дивную исполинскую статую *Алкида Тригеспера*, бронзовую, на стальном седилище, столь огромную, что шнурком, который обхватывал один палец ее, мог подпоясаться человек, и толстый сподвижник Ипподрома едва равнялся ее ноги. Предание приписывало сие изваяние резцу ваятеля Лизимаха. Тут виден был и знаменитый осел, с проводником своим, воздвигнутый некогда в Акциуме императором Августом в память встречи его, когда Август готовился решить жребий мира битвою с Антонием, встретил погонщика, ведущего осла, спросил его имя и узнал, что погонщика звали *Никон* (победительный), а осла *Никандр* (победитель). Тут была и *римская волчица*, воздоившая Ромула и Рема. Далее видны были бесчисленные произведения искусства: исполин, поражающий льва; гиппопотам, с чешуйчатым хвостом; слон, двигавший хоботом; сфинкс, прельщавший красотою лица и сопровождаемый изображениями ужасающих чудовищ. Здесь нетерпеливые кони, забывая, что они изваяны из меди, рвались на средину Ипподрома. Там хотела кинуться на попрание его чудовищная Сцилла, с привидениями, устрашавшими мудрого Одиссея. Невольный ужас внушало еще изображение борьбы двух чудовищных животных: думали, что они изображают *василиска* и *аспида*; другие утверждали, что это *гиппопотам* и *крокодил*. Смотря на сих громадных врагов, свирепо терзавших друг друга, казалось, видели, как яд укушения пожирал и губил их обоих. Уже один из них едва стоял на ногах, и медь как будто издавала смертный стон его; другой, обхваченный широкою пастью врага своего, вздымал хвост свой и тщетно силился встать, но глаза его выражали дикую радость, что победителю не долго пережить торжество победы.

Взоры зрителей, отвращаясь от сих ужасных изображений силы и зверства, насилия и уродливостей, какие

только природа могла произвести и человеку выдумать, отдыхали на статуе Елены. «О, что скажу я о совершенстве ее стана, очаровании ее рук и груди и красоте изумительной ноги? Это была Елена, которая увлекла всю Грецию к стенам Трои, которая укрощала красотой своею диких обитателей Лаконии! И смотря на это изваяние, можно сказать: что невозможно той, чей взгляд оковывает все сердца? Ее одежда была изваяна так нежно, что жадные взоры зрителей открывали все прелести, скрытые сею коварною одеждою; казалось, что ветер стремится, забывшись, развивать ее длинные волосы, а из отверзтого ротика, подобного едва развернувшемуся цветку, готовы излететь слова любви и привета. Нет! никогда не выразим словами, и потомство тщетно будет стараться вообразить себе прелесть этой божественной статуи!»*. Когда, по взятии Царьграда латинскими крестоносцами, статуя Елены была разбита и брошена в огонь — «О дочь Тиндара,— восклицали современники,— совершенство любви, соперница Афродиты, чудо искусства! где всемогущество твоих прелестей? Как не покорила ты сердец варваров, подобно тому, как покоряла некогда все сердца? Или судьбы определили тебе погибнуть в пламени, тебе, сожигавшей пламенем столько сердец? Или потомки Энея осудили тебя на сожжение, мстя за огонь, пожиравший некогда их Илион широкостенный?»

Но среди изображений невообразимой красоты и идеального безобразия, как будто для того, чтобы сердца зрителей, волнуясь различными впечатлениями, выражали собою борьбу страстей, кипевших в сподвижниках Ипподрома, зрители видели и таинственный обелиск древнего Египта, и треножник Дельфийский, о котором говорили мы выше. Мудрость египетская покрыла иероглифами обелиск, умолкла и на века унесла с собою смысл таинственных изображений. Что начертывала она ими? Дела прошедшего, судьбы будущего, тайны мудрости и знаний? И что изображал для зрителей этот тройной союз змий, умолкнувшего на века прорицалища Аполлонова?

Еще один памятник Ипподрома обращал на себя внимание зрителей своим таинственным изображением: это был медный, огромный орел, подъявший распростертые крылья и державший в когтях страшного змия. Говорили предание, что изображение царя пернатых было про-

* Никита Хонниатский.

изведено мудрым Аполлоном Тианским. Змии ядовитые опустошали древле Византию. Жители призвали Аполлония. Он вызвал могущих демонов, слил медного орла, терзающего змия, и опустошительные животные бежали навеки из окрестностей Босфора Фракийского. Казалось, смотря на сие изображение, поставленное на высоком столпе, что взгляд на него оковывает зрителя каким-то очарованием, подобно голове Медузы. Тщетно извивался змий около царя пернатых, подымая свою голову и стараясь уязвить его; сжатый мощными когтями, распухший от кипящего во внутренности его яда, казалось, он издыхал в томлении, и орел уже взмахивал крылами, чтобы увлечь врага в пространства поднебесные. Хитрым вымыслом крылья орла устроены были так, что тень их, падая на землю, показывала время дня, означенное на земле тайными знаками.

За статуею Елены, к восточной стороне, воздвигнуты были изображения победителей в играх Ипподрома. Они являлись на своих колесницах и, казалось, обращали руки и взоры к той стороне, к той мете, где победа увенчала их почестью и рукоплесканиями.

Вообразите себе после сего площадь Ипподрома, обнесенную местами для зрителей, золотыми, драгоценными седалищами императора, Двора его, вельмож, богатей царьградских, унизанную толпами народными, с радостным шумом окружавшими площадь; длинные ряды воинов, в блеске их оружия и одежд, охранявшие спокойствие зрителей; ряд раззолоченных, горящих от солнца, легких колесниц, готовых к бегу. Юноши в синих и зеленых одеждах были возницами их, и едва мощные конюшие могли удерживать пламенных коней, впряженных в колесницы и готовых броситься на Ипподром в безумии силы и отваги. Развевающиеся хоругви воинства, цветные значки бегунов, украшения и флаги, веявшие на Ипподроме и в окнах окружных зданий, и над всем этим солнце царьградское, горящее светом и жизнью... Таков был *Ипподром*.

Внимание зрителей привлекали особенно два многочисленные собрания людей, занимавших часть Ипподрома. Одни из них были одеты в *синие*, другие в *зеленые* одежды. Это были две партии Ипподрома, некогда столь ужасные, столь гибельные, потрясавшие основание Царьграда громогласным словом своим: *Ника! Ника* (будь победитель)! В числе зрителей можно было отличить многочисленных приверженцев той и другой крамолы; наконец, конюшие, колесницы, правители колес-

ниц, различаясь синим и зеленым цветом, показывали, к которой партии они принадлежали. Можно было заметить даже, что у каждого, кто пришел на Ипподром, хоть лоскуток синего или зеленого цвета показывал, чьей стороне желает он победы. Казалось, что весь Царьград разделялся на *синих* и *зеленых*. Мы поспешим изъяснить таинственное это различие.

Издревле думали, что примерные битвы и воинские упражнения могут приучать людей к битве и войне, и в мире готовить в них защиту на день брани. От этого учредились многочисленные игры греческие — в Олимпии, Немее, на Истме Коринфском. Но со временем сии игры потеряли свое первобытное назначение. Тщеславие людское стало находить в самих играх цель и сущность их. Они сделались предметом особенного искусства, упражнения, и атлет олимпийский, победитель всех соперников, был ничтожен на поле битвы, под железною броню, среди трудов и подвигов похода воинского. Игры требовали одного, а война совсем другого. Еще более обезобразили их роскошь и излишество богатства: уже не приучение коней на битву и людей на труды воинские, но ничтожное желание, чтобы колесница одного богача опередила колесницу другого, заставляло греков не щадить ни коней, ни людей на одну минуту, в которую колесница, запряженная конями особой драгоценной породы, нарочно приготовленными и выученными, промчится по назначенному поприщу. Богач афинский сыпал золото, желая одного, чтобы колесница его достигла первая к мете, хотя бы для этого погибло десять других колесниц, погибли кони и возницы их, и в быстром беге, от сшибки соперников, разлетелись в прах другие сподвижники. Безумное ожесточение, безмерные заклады поддерживали пагубную страсть греческих богачей, и вместе с другими излишествами роскоши страсть к бегу колесниц перешла в Рим. В Цирках римских она походила на совершенное безумие; восторг народа казался сумасшествием, когда при воплях бесчисленной толпы зрителей начинался бег колесниц. Ни бой гладиаторов, ни редкие звери, убиваемые тысячами в римском Цирке, не производили подобного восторга. Осудим ли римлян, во всем переходивших за пределы обыкновенного, если вспомним лошадиные скачки и петушьи бои англичан, даже кулачные битвы и гусиные бои русских, бой перепелок у китайцев? Люди везде люди, и смешное и странное похоже на фигуры калейдоскопа, которые кажутся так бесчисленны, так разно-

образны, а между тем одни и те же обломки цветных стекол производят эти фигуры разнообразные.

Безумствуя в роскоши, императоры римские ничего не щадили для игр Цирка. Победители Цирка казались важнее победителей врагов империи, и плески и восторг народный приветствовали на улицах римских ловкого возницу, как будто полководца, разгромившего полчища парфян или германцев.

Обыкновенно выезжали на бег *пятьдесят* колесниц; каждый раз скакали *две* колесницы; бег возобновлялся, таким образом, двадцать пять раз. Для отличия сподвижников, возница одной колесницы обыкновенно был одет в *белое*, другой в *красное* платье. И здесь начало разделений партий Цирка.

Зрители, сподвижники, вельможи, императоры держали сторону того или другого цвета. Победитель горделиво сохранял свой цвет до следующего бега. Противник его также сохранял свой цвет, надеясь на победу в будущем. Бесконечные споры и заклады держали после того о *белом* или *красном*. Множество друзей, клеветов, клиентов приставало к партиям со своими спорами и закладами. Зрители, вступая в Цирк, принимали сторону *красного* или *белого*, и нередко поприще Цирка становилось местом раздора, битвы, и *красный* и *белый* и вне Цирка делались знаменем ненависти, вражды, мщения, даже убийства. Вскоре число партий умножилось прибавлением еще двух колесниц, возницы которых были в *синем* и *зеленом* одеянии, так что *четыре* из них, отличенные *четырьмя цветами*, скакали в один раз.

В течение продолжительного времени, когда уже родовые вражды партий Цирка стали переходить от отца к сыну с символом цветов, когда Калигулы, Нероны, Вителлии, Коммоды, Каракаллы, Гелиогабалы были записаны в разряды красных или белых, синих или зеленых, деление Цирка сделалось предметом государственных раздоров и смятений.

Нашлись мудрецы, изъяснившие народу, что цвета Цирка основаны на таинственных законах природы и заключают в себе глубокую тайну мудрости, в которой сокрыто пророчество добра и зла для государства. Одни говорили, что *белый* цвет изображает собою время *зимы* и белоснежный покров ее; *красный* относится к пламенному *лету* и его огневидным небесам; *зеленый* означает *осень*, с ее благодатным зеленым украшением, а *синий* *весну*, с ее лазурными небесами. Другое изъяснение простиралось гораздо далее. Говорили, что *огонь*,

воздух, земля и море суть знамения красного, белого, зеленого и синего цветов. Последнее истолкование превозмогло первое, и весь народ римский разделился на цвета Цирка. Всякий, кто занимался ремеслом около огня, приставал к красному; нашлись приверженцы белого, думавшие, что их занятие относится к воздуху; земледельцы, все те, кто получал свое существование от обрабатывания земли, объявили себя защитниками зеленого, а мореходцы, рыбаки, купцы, вверяющие судьбу свою морю, синего цвета. Задолго до начала игр Цирка вражда, ненависть, междоусобие разделяли граждан Рима. Цирк окружали неистовые толпы народа. На попрание врывались тысячи, и кровопролитное сражение разных званий, почти каждый раз, обгаграло кровью римский Цирк. Ненависть партий ужасна, потому что она безумна. Она не спрашивает причины, безотчетно передается в поколения. Первоначальная вина раздора бывает забыта, теряется: остается одно гибельное следствие — вражда без причины и без отчета.

Наконец, дошло до того, что ни одно политическое событие не могло совершиться без участия партий Цирка. Государственное определение, сделанное приверженцами одной партии, возмущало все другие. Выбор чиновника из числа *белых* подвергал его гонению и ненависти *синих*; *зеленого* — гонению и гибели от руки *красных*. В судах, в войске, в Сенате, на рынках, в домах слышны были ужасные слова: *Синий, Зеленый, Красный, Белый!* И почти всегда сии слова означали неизбежную гибель.

Введение христианства возбудило партии Цирка к новой вражде. Нередко из одной ненависти, партии приставали к той или другой стороне, и никакая сила не могла утешить их мстительной ненависти. Вообще *зеленые* держались древнего язычества; *синие* объявили себя защитниками христианства.

Много времени прошло; предметы споров разнообразились, изменялись — сущность их оставалась одна. Четыре партии соединились, наконец, в двух. *Красные* и *белые* исчезли. Раздоры, волновавшие первобытную церковь, мнения, толки, ереси находили своих защитников в *синих* и *зеленых*. Так, оставляя язычество, *зеленые* приняли под свою защиту ересь Ария; *синие* остались верны православию.

Все это разливалось из Рима во все области империи. Антиохия и Равенна, Афины и Никея, Иерусалим и Марсель равно были обгагрены кровью во имя «синих» и «зеленых».

Но нигде не свирепствовали сии раздоры так жестоко, так безумно, как в Царьграде. Римский Цирк, переименованный в Царьграде Ипподромом, составлял страшное место политических смятений, ужаса народного, позорища для праздных и богатых. На Ипподроме решались споры искателей престола и волнения церковные. Правосудие, повиновение, справедливость бежали гибельного поприща ипподромского. Ереси и бунты укрывались туда, как в верное место убежища, от всяких преследований. При входе в Ипподром умирала власть императора и правительства. Кинжалы «синих» и «зеленых» готовы были по первому знаку предводителей. Связь дружбы и родства расторгалась при одном слове: *синий, зеленый!* Нередко буйная, остервенелая толпа морских воинов сражалась на царьградских улицах с воинами сухопутными. С одной стороны слышно было: *Смерть «зеленым»!*, с другой: *Смерть «синим»!*

Напрасно думали по временам останавливать такие неистовства. Противник партий Ипподрома вооружал на себя обе стороны, и тогда ничто не спасало его от гибели. Кинжал убийцы, яд подкупленного раба угрожали смертью дерзновенному!

Но, впрочем, не много было людей, противившихся буйству *синих* и *зеленых*. Летописи Царьграда, почти с начала до конца их, непрерывно представляют ужасающий ряд волнений, бедствий, падения властителей, восстания других на их места. В таких несчастных обстоятельствах Ипподром составлял главное и важное пособие всякому честолюбцу, когда непрерывные перемены на престоле царьградском позволяли каждому из них думать, что завтра ему откроется путь к владычеству погибелью царствующего хищника. Уже не войско, не гвардия императорская сменяли владык и передавали империю по своей воле. Заговоры таились во мраке дворца императорского, в чертогах императриц, в уединении храмов, где фанатизм спорил о таинствах богословских. И на Ипподром спешили после того, туда, где грозный голос «синих» и «зеленых» решал участь государя и государства. Здесь являлся дерзкий любовник императрицы, во имя ее или малолетнего ее сына, требовать помощи; сюда прибегал и непослушный наследник, посягающий на жизнь отца; сюда спешил вельможа, восставший на императора. Здесь вопияло о помощи изуверство, и без решения «синих» и «зеленых» не

смел отважиться на появление в Царьграде полководец, обольстивший вверенное ему войско и готовый низринуть своего властителя. Отсюда устремлялись толпы неистовых в дворцы Влахерна и Вукалеона. В несколько часов разрушали они власть и могущество, казавшиеся столь крепкими еще накануне, и влачили императоров, императриц, детей, родных, вельмож их в темницы, терзали их, заключали в монастырские обители, вырезывали им глаза: это ужасное наказание было изобретено в Царьграде и оставалось неизвестным в Риме, в самые страшные времена Неронов и Калигул.

Но никогда «синие» и «зеленые» не являлись в такой ужасающей силе, как в царствование Юстиниана. Здесь соединилось все: борьба язычества с христианством, ересей с правоверием, несколько похитителей престола одного против другого.

Царствование Маркиана, Пульхерии и Льва утвердило православие, возмущенное дотоле Арием и Евтихием. Безрассудная ревность думала, что секты философов и ученых, уцелевшие среди христианства, поддерживают возмущения церкви. И еще прежде, нежели варвары сарацинские жгли творения Омиров и Платонов в печах Александрии, знаменитая библиотека Серапионская, школы Веритская и Эдесская были уничтожены. Гонение, обращенное на философов, возбудило фанатическое иступление их на защиту. Имена: *еретика и философа, арианина и поэта, христианина и варвара* — были произносимы с обеих сторон без разбора. Лев, возведенный на престол силою последователя ариан Аспара, скоро возбудил ненависть своим православием. Аспар погиб от руки чудовища Зенона, зятя императорского. Но с кончиною Льва, Зенон, правитель империи во имя сына своего Льва младшего, снова разрушил тишину церкви. Пятнадцать лет кровопролитного междоусобия кончились смертью Льва младшего, самозванца Василиска, наконец, самого Зенона. Заключенный заживо в гробнице, он грыз себе руки и издыхал в мучениях, когда счастливый любимец супруги его возводим был на престол. Анастасием назывался сей любимец. Вероломно нарушив клятву в православии, Анастасий гнал церковь, разрушал ее святыне уставы. Таким образом, в течение *сорока лет* успели восторжествовать ересиархи и философы; православие стеноло и посыпало главу свою пеплом печали. Грубый славянин, пахарь фракийский, сел на престоле цареградском, и вдруг разрушилось долговременное торжество ересей и философии. Юстином назывался

новый император; безграмотный варвар, он подписывал свое имя, водя грифелем сквозь дощечку, на которой оно было вырезано, ненавидел науки и философов; объявил себя врагом их, поборником церкви, и тогда закипели партии Ипподрома. Мнение народное, преданность войска, сила государства — все было на стороне Юстиновой. Велизарий заставил трепетать внешних врагов его. Наконец, партия «синих» увеличила могущество Юстина. Тем отчаяннее сделалось сопротивление «зеленых». Злобе их не было меры. Ереси и философия, защита потомков Анастасия и ненависть к «синим», сосредоточились для них воедино. Юстину наследовал Юстиниан, столь славный и столь бесславный в истории, созидатель Софийского храма и поборник ереси Евтихия, основатель систематического учения римского права и ненавистник всякого учения, прославленный победами Нарсесов и Велизариев и трепетавший во дворце своим воли рабов своих и евнухов, превознесенный и поруганный современниками, восстановитель величия царьградского двора и супруг Феодоры, публичной плясуньи, дел которой постыдились бы Мессалины и Фаустины. Таков был Юстиниан. В начале царствования, еще не зараженный учением ересиарха Евтихия, Юстиниан продолжал гонение Юстина на философию и науки, разрушал все школы философов, разорвал *золотую цепь* последователей Платона в Афинах, заставил несчастных мудрецов бежать, укрываться при дворе Хозроя, и гнал ученых и знания столь бесчеловечно, что имя его ставили рядом с именем мугаммеданских противников просвещения.

Вскоре кровавая вражда «синих» и «зеленых» вспыхнула и потрясла в основании всю империю. Уже не скрытно, не тайными происками, но явно, вооруженными толпами сражались две ужасные партии. Пожары, убийства, хищения означали всюду следы вражды их. Напрасно Юстиниан издавал повеления, которыми уничтожалось различие партий. Напрасно запрещено было различие цветом одежды. «Синие» надели одежду варваров, остроконечные колпаки хазарские, отрастили длинные волосы скифов, узнавали друг друга по знакам, неприметным для непосвященных в таинство. «Синие» явно торжествовали в Царьграде. «Зеленые» подкреплялись милостью императрицы Феодоры. Она была дочь вожатого медведей, которых держала партия «зеленых» для битв Ипподрома, и никогда не могла забыть Феодора того, что после смерти бедного отца ее «зеленые» спасли ее и сестер от голодной смерти. Феодорик, пове-

литель Рима, покровитель арианской ереси, также подкреплял партию «зеленых» в Риме. Борьба колебалась; победа оставалась нерешенною.

Игры Ипподрома на время остановили. Но, думая, что не осмелятся уже нарушить его повелений, Юстиниан возобновил, наконец, игры, и со страхом увидел он, что тысячи присутствующих на Ипподроме, забывая все повеления, были одеты в два ужасные цвета. Едва поскакали колесницы по Ипподрому, вопли негодования потрясли сердца всех. Юстиниан думал убедить бунтовщиков продолжительною речью. Дикий вопль был ответом ему. — *Смерть бунтовщикам!* — произнес Юстиниан, задыхаясь от гнева. Стражи бросились по его слову, схватили несколько «зеленых». «Немедленно казнить их!» — воскликнул Юстиниан.

Несчастных поволокли вон. Но Ипподром уже представлял страшное позорище смятения и убийства. «Синие» вступили в битву, думая, что слова императора дают им волю губить врагов своих. Засверкали кинжалы. Стража императорская получила повеление умерщвлять без пощады всех, кто будет найден с оружием в руках, не различая, в синем ли кто или зеленом платье.

«Государь! мы *синие*, мы защищаем тебя! — кричали «синие», поражаемые мечами стражей.

— Вы все злодеи, бунтовщики, убийцы! Смерть бунтовщикам, смерть «синим» и «зеленым»! — возгласил Юстиниан, оставаясь на своем седалище.

Тогда одна злоба соединила «синих» и «зеленых». Воины императорские поколебались. Юстиниан побледнел, видя устремленных на него с кинжалами бунтовщиков, видя, что все пространство Ипподрома превратилось в место битвы, откуда бежали мирные граждане, где женщины, дети были терзаемы, теснимы толпами неистовых. Мошенники, разбойники, убийцы бросились грабить, убивать, пользуясь смятением. Коня, испуганные воплями и криками, бесились, били, ломали колесницы. Все смешалось, слилось в общем бедствии: супруга вельможи была оставлена ее рабами, и с нее рвали драгоценные уборы; сын царедворца умирал, брошенный прислужниками и раздавленный бешеным конем; служителя церкви терзали, срывая с него драгоценное одеяние. Уже близко были кинжалы убийц у седалища Юстинианова; но вопль, крик, движение толпы с одной стороны, общий побег народа в противную сторону показывали, что помощь приспела спасти императора.

Это был *Велизарий*. Он пробрался к отряду воинов, занимавших одну из улиц, ведущих на Ипподром. «Друзья! — воскликнул герой, — Велизарий зовет вас! Ему ли откажете, тому ли, кто столько раз водил вас к победе? За мною, друзья! Спасем императора!»

— *Nika! Nika* (будь победитель)! — отвечали воины, и с кликом: *Nika! Nika!* — Велизарий обнажил меч, повел воинов за собою. Все уступило ему. Он заслонил Юстиниана, когда кинжал был уже вознесен над его сердцем. Бунтовщики побежали в беспорядке, и с восклицанием: *Nika! Nika!* — преследовали их воины Велизария.

Страшно было позорище Ипподрома. Разрушенные седалища, изломанные колесницы, трупы коней и людей валялись посреди умирающих, раздавленных, изувеченных мужей, жен, детей, разодранных одежд, изломанного оружия. Во все стороны бежал народ; разъяренные воины гнались за ним, не щадя ни пола, ни возраста.

Но это было только начало бедствий. «Синие» и «зеленые» ударили набат, собрались в разных местах города, и едва успел возвратиться Юстиниан во дворец, к нему принесли известие, что на Таврской площади, где приказано было казнить несколько захваченных бунтовщиков, собрались тысячи буйного народа. «Да будет знаменiem нашим то слово, которым погубили столько невинных и беззащитных его хищные воины — *Nika! Nika!* Смерть Юстиниану и Феодоре!» Так вокликали возмутители, и — *Nika! Nika!* — загремело на площади. Эшафот, на котором лежало уже несколько обезглавленных трупов, был разломан; остальных бунтовщиков вырвали из рук стражи и в торжестве повели по городу. Скоро взвился густой черный дым; бунтовщики зажгли дом префекта царьградского; набат загремел на всех колокольнях, и убийство, хищение и грабеж разлились по всему Царьграду. Ереснархи воспользовались смятением; последователи философов также. В одном месте убеждали бунтовщиков сражаться во имя *Пифагора* и *Платона*, в другом — во имя *Ария* и *Евтихия*, *Нестория* и *Пелагия*.

Но еще не весь Царьград был возмущен. Несчастное распоряжение Юстиниана довершило бедствие. Трепеща в сонме своих царедворцев, запершись во дворце, он не знал, что делать. Тут присутствовали и хитрый Трибониан, и корыстолюбивый Иоанн Каппадокийский, и мужественный Велизарий, и никто не умел дать совета в час грозящей опасности. Не смели отрядить на бунтовщиков

войска императорского, боясь, что оно пристанет к стороне возмутителей; решились, наконец, послать пятитысячную дружину наемных герулов.

С диким завыванием пошли варвары по улицам Царьграда, как разъяренные тигры, с которых сняли цепи. Они не хотели или не умели понять, на кого и куда отправили их. Ненависть к грекам, свирепое корыстолюбие, буйство варварское, не знающее ни законов, ни уставов — все это явилось в действиях защитников Юстиниановых. Легко разогнали они толпы, собиравшиеся на площадях; но недовольные смертью немногих, они начали нападать на всех, встречающихся с ними. Все гибло под их секирами и дубинами; они стали врываться в дома; вопль жен и девиц, которых терзали перед глазами супругов, братьев и отцов, стон младенцев, выкинутых на улицы с разможженными головами, имение граждан, делимое, грабимое варварами — все это привело в волнение весь Царьград. Народ побежал тысячами на площади; снова загремел набат, и уже загремел повсюду; с азиатской стороны поплыли толпы народа, с оружием, с дрекольями. Войско императорское пристало к народу. Все устремилось на полчища герулов; варвары оставили грабеж, соединились, устремились на худо вооруженный народ — началась битва отчаянная. Граждане сами зажигали свои дома; среди пожара, среди ужасов безначалия, бились чем попало; из окон домов бросали камни, сосуды, мебель; сражались монахи, священники, дети, женщины. Между тем Царьград пылал во всех сторонах — дома, церкви горели, падали, разрушались. Огонь достиг до соборного храма Св. Софии, до дворца Влахернского. Герулы погибли в битве; народ терзал, волочил их обезображенные трупы, и клик: Ника! Ника! — грозно раздавался окрест дворца; тысячи окружили Вукалеон.

Велизарий, патриарх, знатнейшие чиновники вышли к народу, убеждали его. Ярость народная укротилась на время. Толпы неистовых отхлынули от дворца. «Синие» и «зеленые», избранные предводителями народа, вступили в переговоры, как будто самовластные правители Царьграда. Они требовали выдачи судей, по приговору которых казнены были их товарищи; хотели, чтобы Юстиниан явился на Ипподром и дал клятву восстановить игры ипподромские, удалил всех наемных варваров из Царьграда, велел изыскать виновников народного бедствия.

Им обещали. Смятение начинало утихать. Граждане опомнились; всюду стали тушить пожар. На Ипподроме

учредилось судилище, составленное из «синих» и «зеленых», в ожидании присылки виновных. Тут ожил опять дух ненависти партий, когда они увидели себя победителями.

Юстиниан не хотел исполнить обещаний, данных кровожадным мятежникам. Узнав меру опасности, видя, что минуты неистовства народного пролетели, что многие из воинов возвращаются в места своих сборищ, дух крамолы царедворцев ожил. Были в Царьграде два племянника императора Анастасия, ненавистные многим вельможам. Отличенные добродетелями, они уцелели в прежних смятениях, и с самого начала ужасной *Ники* находились неотступно во дворце, при особе императора, желая доказать свою верность. Еще ни на что не решался Юстиниан. С одной стороны, Велизарий советовал ему призвать полки, находившиеся на азиатской стороне, и брался предводить ими и рассеять бунтовщиков. С другой, советовали императору удалиться из Царьграда. Наконец, многие, указывая ему на толпы бунтовщиков, не оставлявшие Константинова форума и Ипподрома, уверяли его, что не безумное неистовство народа, но тайный умысел *Ипатия* и *Помпея* — так назывались племянники Анастасия — предводил бунтом. Нерешительный, колеблемый сомнениями Юстиниан приказал готовить корабли для своего отъезда, послал приказ полкам переправиться в Царьград и повелел предстать перед собой Ипатию и Помпею. Они явились; с изумлением невинности выслушали гневное обвинение императора; клялись в верности ему. Юстиниан приказал им удалиться в их дома.

Между тем, на Ипподроме опять доходило до битвы. «Зеленые» и «синие» снова принимались за оружие, разгоряченные спорами о своих преимуществах. Другие кричали, что Юстиниан обманул своих подданных. Видя движение войска с азиатской стороны, корабли, подошедшие к Вукалеону, народ снова побежал толпами на Ипподром.

«Синие! — воскликнул тогда один из предводителей «зеленых», — мир и дружба — прочь Юстиниана! Изберем в императоры одного из потомков Анастасиевых! Да здравствует Ипатий и Помпей!»

— Да здравствуют! — воскликнули тысячи людей, сами не понимая, кому желают здравия. «Синие» требовали объяснений, условий, соглашались избрать Ипатия и Помпея, если они утвердят права их и преимущества.

Тысячи бросились между тем к жилищу Ипатия и Помпея, окружили дома их и вызывали громкими кликами обоих братьев. Братья явились, отреклись от безумного избрания, умоляли народ опомниться. Помпей бежал и скрылся. Но Ипатия схватили и насильно повели на Ипподром. Супруга его выбежала к народу, со слезами просила отпустить Ипатия; ее не слушали. Насильно привлечен был Ипатий на площадь Ипподромскую. «Зеленые» возглашали его имя; «синие» еще колебались.

Юстиниан услышал о новой перемене дел, потерял всю бодрость, велел переносить из дворца на корабли сокровища и драгоценности. Еще несколько мгновений, и он мог лишиться престола. Феодора, эта развратная плясунья, позорившая собою трон императорский, спасла императора.

— Остановитесь,—говорила она смятенному сонму вельмож и царедворцев,—если император потерял бодрость — он не император более — я заступлю его место! Смерти ли бояться? Все мы при самом рождении осуждены умереть. Царь не должен переживать потери престола. Беги, Юстиниан, но для меня престол мой будет гробом. Кто смеет противиться мне? — вопрошала она, обращая кругом пламенные взоры.

«Никто, государыня! Повели, и мы умрем за тебя и твоего супруга!» — воскликнул Велизарий, устыдясь, что его, страшилище персов и вандалов, победила твердостью духа слабая, развратная женщина.

Юстиниан безмолвствовал.

«Итак,—говорила Феодора,—прочь корабли, возвратим престол наш, или, клянусь Богом, что Вукалеон будет моею и вашею могилою!»

Начали совещаться. Известие о раздоре «синих» и «зеленых» принесено было во дворец.

«Мы спасены!» — воскликнула Феодора.

Немедленно поскакали на Ипподром многие царедворцы. Там, на седалище, покрытом багряным ковром, находился печальный Ипатий; на голову его, вместо короны, повязали какое-то драгоценное ожерелье. Слезы текли из глаз его, и с ужасом внимал он дикому спору «синих» и «зеленых», теснившихся окрест его.

— Синие! Император Юстиниан призывает вас к себе,—кричали царедворцы, прискакавшие из Вукалеона,—он прощает вам все вины, все проступки ваши, и отныне, императорским словом его — *уничтожаются навеки зеленые, еретики и философы*. Только вы одни

будете владыками Ипподрома! Император отдает в руки ваши всех «зеленых» — смерть им, гибель всему, чем владеют они!

«Да здравствует Юстиниан! смерть зеленым!» — возопили «синие», и мгновенно разделился Ипподром. Все «синие» собрались на одной стороне его.

Еще не успели опомниться «зеленые» от изумления, звук труб возвестил прибытие трехтысячного легиона, под предводительством Велизария. С криком: «Смерть зеленым!» воины окружили Ипподром. «Смерть зеленым!» — кричали «синие», поражая врагов. «Да здравствует Юстиниан!» — воскликнул Велизарий, ухватив Ипатия и влача его по Ипподрому. «Да здравствует Юстиниан!» — раздавалось в толпах народа, едва идол его был низвержен. Следствия были желанные — Ника исчезла, когда головы Ипатия, Помпея и восемнадцати родственников и друзей их были воткнуты на колья перед Вукалеоном. Три дня позволено было после того «синим» — *убивать всех, кого почитали они зелеными. Innumeris populis in circo trucidatis (бесчисленное множество народа было убито в Цирке)*, говорит хладнокровно Аммиан Марцеллин. От тридцати до сорока тысяч человек, говорят другие, погибло в эти три дня на Ипподроме. Три дня очищали потом Ипподром, и пропонтидские волны не успевали уносить трупов, бросаемых с берега царьградского. Гибель сокровищ, богатств, имений граждан была бесчисленна.

Через неделю Юстиниан торжественно ехал по улицам царьградским благодарить Бога во влахернской церкви за избавление его и царства от гибели. Сам он, его вельможи, Феодора были в синих платьях. «Синие» шли впереди, возглашая победу, и весь Царьград запестрел флагами и значками победительного цвета.

Имя *зеленых* было предано проклятию, наравне с названием философов и еретиков. Юстиниан воздвигнул чудо зодчества на место сгоревшей Софийской церкви.

Тридцать три года царствовал после того Юстиниан, и Ипподром, где несколько времени являлись только одни «синие», покорствовал его воле, отзывался торжественными похвалами императору. Но прошло несколько лет, и — ослепление непонятное — «зеленые» были торжественно восстановлены. Тишина игр не прерывалась однако ж буйством. Обе партии потеряли свою пагубную силу. Хитростью и тайным преследованием Юстиниан успел подорвать могущество «синих». Начальники их погибли под кинжалами тайных убийц. «Про-

нал, как «синий!» — сделалось поговоркою в Царьграде, когда кто-нибудь погибал внезапно и безвестно.

— *Синие!* помните, что Юстиниана нет более! *Зеленые* — он жив! — говорил Юстин, наследуя своему дяде.

События летели. Смятения и междоусобия беспрерывно раздирали империю. Настало время новых волнений православия, когда Лев Исаврийский и Константин Копроним объявили себя защитниками новой ереси *иконоборцев*. «Зеленые» восстали тогда, мстя за свое продолжительное угнетение; вражда, переданная в заветах отцов, снова обогригла кровью стогны Царьграда. Утверждение Македонской династии на царьградском престоле восстановило тишину церкви. Уже не видно было и малейших следов тайного язычества, и дух ересей отзывался только в одном иконоборстве. От партии «зеленых» отстали все философы, потому что уже давно не было памяти их. Направление партий Ипподрома приняло совершенно особенный характер: Ипподром сделался местом сборища богачей и вельмож, которые, под именем *синих* и *зеленых*, спорили только о том, кто кого превзойдет роскошью и великолепием. Их оставляли в покое. Казалось, что Царьград, утомленный бурною жизнью, отказывался от всякого участия в политических изменениях. Перевероты совершались в чертогах императорских, и, засыпая под властью одного императора, просыпаясь под властью другого, жители Царьграда хладнокровно шли присягать новому императору по голосу глашатаев. Еще странное изменение оказалось в царьградских нравах: Василий Македонский, Лев Премудрый, Константин Порфирородный не только не старались преследовать учения и философии — они сами показывали невиданный до того времени пример государей-писателей, объявляли милость свою всем ученым и поэтам. Но как Ипподром представлял только сборище праздных юношей и беспечных стариков, так науки и учение, ободряемые императорами, были странным зрелищем мелких споров схоластических и выписок из древних писателей. Уже триста лет прошло, как *Ника* нанесла последний удар учению и философии; половина Царьграда не умела даже читать и спрашивала: что такое значит *книга*? Но императорский дворец наполнился однако ж *учеными людьми*. Такими почитались тогда те люди, которые читать умели. Нашлись даже писатели, прозаики и поэты и громко славили мудрость царьградскую. Поэты тщеславились тем, кто из них лучше напишет *канкринские*, или *раковые* стихи; яви-

лась и философия: она состояла в соглашении идей Платона и Пифагора со смыслом Евангелия; в спорах о том: должно ли признавать святыми Платона и Сократа, или сии мудрецы, как язычники, мучаются в аду и подлежат проклятию? — «Не грех ли читать Омира?» — таков был вопрос, который долго обдумывали в школе философов, заведенной в Царьграде императором Львом. Тогда знамениты были: *Георгий Амартол, Михаил Пселл, Кометий Хартуларий, Никита Квестор, Савватий Протоспафарий, Иоанн Комениат, Симеон Метафраст, Константин Цефалий, Феодосий Диакон.* — Неужели вы не слыхали этих имен? Неужели не знаете, что сам Лев Премудрый написал поэму в двадцать шесть *раковых* стихов и *девять эпиграмм* сверх того? Что Феодосий Диакон сочинил поэму в пяти песнях на завоевание Крита; что патриарх Фотий составил тогда свой *Мириовивлон* из 270-ти книг, которые успел прочесть? А басни Никифора Васибеки? А грамматические творения Михаила Синкелла и Феоноста? — Спросите у любого библиографа и эллиниста — он расскажет вам обо всем этом, укажет книги и издания, где вы можете видеть византийскую литературу X века, и уверяю вас, что она была гораздо выше русской литературы того времени.

Никогда греческая империя не находилась в столь униженном, жалком состоянии. Даже и злодеев не было уже в Греции! Страсти совершенно погасли. Уже не аравитяне, не турки, не готфы, не орды Аттилы, но лады руссов и полки Булгарии грозили Царьграду. Греки называли себя *римлянами*, и дерзкий посол западный в глаза говорил императору царьградскому: «Мы, лонгобарды, франки, саксоны, лотаринги, бавары, свевы, бургундцы, мы *варвары* — гордимся, когда вы называете нас варварами, мы презираем имя римлян, и нет между нами брани оскорбительнее названия римлянина: под этим названием мы разумею все, что только можно вообразить себе подлого, трусливого, жадного, расточительного, лживого, порочного, одним словом, hoc solo, id est Romanorum nomine, quidquid ignobilitatis, quidquid timidi, quidquid avaritiae, quidquid luxuriae, quidquid mendacii, omne quidquid vitiorum est comprehendente».

Но за царствованием Льва и Константина, когда своды императорских чертогов отзывались спорами придворных схоластиков и поэтов, а на Ипподроме видели развратного роскошного патриарха Феофилакта, сына

императора Романа Лакапина, в патриаршей одежде скакавшего на колеснице между «синими» и «зелеными», кормившего лошадей своих миндалем и шафраном, настало опять новое изменение. По кончине Константина Порфирородного, Роман младший изгнал всех ученых из дворца своего, запретил писать стихи, не велел спорить о Платоне и Пифагоре, и жизнь его протекала между Ипподромом и *сферистерием* (залом для игры мячом), между конюшнею, где на золоте кормили его лошадей, и пирами, где собирались его товарищи Ипподрома и развратные женщины.

Воцарился *Никифор*.— В свой черед запустел Ипподром; умолкли пиры во дворце; драгоценные кони императорских конюшен были отданы в армию и погибли в походах азийских и сицилийских. В третий только раз, со вступления своего на престол, объявил Никифор игры Ипподрома, в тот день, который назначил он для торжественного приема болгарских и латинских послов. Мы описали начало этого торжественного дня, и какую летопись безумия человеческого надобно было нам пересказать читателям для объяснения, что значило различие собравшегося в Ипподроме народа *синим и зеленым* цветом!

Звук труб и гром кимвалов возвестил народу, что император Никифор приближается к Ипподрому, совершив моление во храме Софийском. Но народ глядел и изумлялся, что император приближается не с тем поездом, какой обыкновенно сопровождал императоров на игры Ипподрома. Не было ни ездухов, ни пажей, ни колесниц, ни длинного ряда придворных. Шествие открывали стальноносные латники; за ними следовала дружина фарганов, возглашая песни в честь императора; затем ехал он сам, не в императорской одежде, но в броне воинской, в стальном шеломах. Шествие заключали златоносные дружины воинов.

С удивлением раздвинулся на две стороны народ. Стройными рядами стали воины подле Ипподрома. Никифор сошел с коня своего и, сопровождаемый немногими вельможами, бодро и величественно пошел по Ипподрому на свое седалище.

Глашатаи возвестили молчание. Тогда громогласно начали пересказывать собранию волю императора.

«Народ римский! внимай словам своего государя и самовластителя, внимай, и укрепи слова его в душе своей, как неизменное его повеление!

Доколе суетные помышления и ненавистная жажда роскоши и тщеславия будут гнездиться в душах ваших, о римляне!

Рабы страстей и похотей лукавых, вы ленивые на исполнение священных обязанностей христианина и подданного, с какою жадностью бежите вы, если вас манят чувственные наслаждения!

Сей день показал вполне нищету умов ваших. С каким ненасытным вожделением устремились вы, едва сказали вам, что на бесславном поприще Ипподрома откроют для вас ничтожные забавы праздности! Поспешите ли вы с такою же ревностью, если будут призывать вас на молитву и доброе дело?

И в какое время, христиане, в какую годину, римляне, стремитесь вы на утеху и забаву? Когда половина *седьмой тысячи* лет близка к окончанию, когда страшные знамения являют гнев Божий; когда святая церковь стенает, видя разврат ваш, разъединение душ и сердец!

Неужели мыслите вы, что император в самом деле хочет разделить безумные игры вашего Ипподрома? Слепление непостижимое!

Внимайте, римляне! Император, как пастырь добрый, должен насильно вести к добру вас, овец заблудших.

Императорским словом отныне *навсегда уничтожаются игры Ипподрома*. А вы, безумцы, отличившие себя цветами синим и зеленым, устыдитесь своего неразумия, сбросьте с себя пагубные знаки раздора, памятник прошедшего навеки безумия, поганого язычества, душегубных ересей, постыдных для потомства междоусобий!

Да исчезнут навеки «синие» и «зеленые»! Гневу императорскому подвергнется отныне каждый, без различия звания и чина, рода и сана, каждый, кто осмелится содержать коней, способных для игр Ипподрома, и колесницы, употребляемые для игр Ипподрома, кто надеет отличие синего или зеленого цвета.

Повелеваем: продать немедленно все сии признаки роскоши и внести вырученные деньги в императорскую казну, для искупления христиан, страждущих в плену неверных!»

Глубокое молчание царствовало в Ипподроме, когда глашатай окончил речь свою. Казалось, что гром вне-

запный грянул над собранием и заставил всех ужаснуться и безмолвствовать.

Император дал знак, и глашатай начал снова:

«По воле императора, все находящиеся здесь кони и колесницы, приготовленные для игр Ипподрома, поступают в казну императорскую и обращаются на военную службу,

Римляне! Император указывает вам на игры, достойные славного имени римского: война, победа над врагами — вот игра, достойная человека; молитва, пост, благочестие — вот дела, отличающие христианина.

Уже Азия содрогнулась перед орлами великой Римской империи; области, столь долго стлавшие под игом неверных, возвращены служению Бога и власти римской монархии. Император готовится перенести оружие на берега Данубия и к стенам Багдада. Римляне! тот обратит на себя его милости, кто спешнее других станет в рядах его воинов!

К брани, к оружию должны приучаться вы, римляне! В дни мира должны вы поучаться войне против врагов.

Не думайте, что император хотел лишить вас увеселений. Делу время и потехе час. По велению императора, вместо достойных презрения игр Ипподрома, пред вами представлены будут игры, достойные имени римского!»

И по знаку, данному Никифором, с громом труб и звоном кимвалов соединились варварские песни фарганов: «*κωνσταντίνε θεοῦ πατρὸς υἱὲ θεοῦ* — *Victor sis semper* — *βίβετε Δομνίη Ἰμπερατορεῖς ἡν μούλος αὐνός* (Да сохранил Господь владычество твое — будь вечно победитель — многая лета императору)!» — С двух сторон пошли на Ипподром, с одной фарганы, с другой златоносные ратники. «Синие» и «зеленые», бывшие на поприще Ипподрома, очутились между их рядами и казались стадом овец, попавшим между стаею волков. В то же время другие отряды окружили колесницы, приготовленные для игр Ипподрома, обхватили их и повезли в императорские конюшни.

Народ, собравшийся окрест Ипподрома, не мог слышать речей глашатая и не постигал, что значит безмолвие, вместо радостных кликов, какими обыкновенно оглашался Ипподром после обыкновенного приветствия императора народу. Еще более изумился народ, видя движение войска на Ипподром.

Но когда воины окружили колесницы и коней, и когда, в то же мгновение, златоносные ратники и фарганы

обнажили мечи и с воплем и криком устремились одни против других, желая представить зрителям примерное сражение — смятение распространилось в народе. Крик: «Бьют, режут! Император велел убивать всех, кто находится в Ипподроме!» — этот крик, произведенный безотчетным испугом народа или злонамеренными людьми, огласил всю площадь. Все дрогнуло. «Спасайтесь! Бегите!» — завопил народ... Тысячи голосов повторили сей вопль — и все ринулось, бросилось бежать из Ипподрома и с площади. Толпа падала на толпу. В одном месте кричали: «Землетрясение! Статуи Ипподрома падают!», В другом: «Император велел резать всех без пощады!». Напрасно Никифор приказал остановить примерную битву воинов, сам бросился уговаривать, останавливать народ, велел возглашать, что ложные слухи испугали зрителей Ипподрома. В беспорядке опрокинуты были ряды воинов, оберегавшие порядок в ближних улицах; множество людей было задавлено, изувечено; площадь Ипподрома покрылась обезображенными трупами, обломками, лоскутьями одежд. Страх распространился по всему Царьграду. Самые нелепые толки разнеслись во всех частях города. Говорили, что император велит насильно отнимать имение граждан; что варвары внезапно напали на Грецию и уже стоят близ стен Царьграда; что император велел перерезать всех собравшихся на Ипподроме. Бездельники и мошенники умножали смятение грабежами. День радости превратился в день скорби; мгновенно рассеялись все народные сборища; драгоценные уборы, какими украшались здания и дома, были спрятаны; каждый спешил укрыться.

И когда Никитор отправился обратно во дворец Вукалеонский, мертвая тишина была на улицах Царьграда. Встречавшиеся с ним, в трепете, повергались на колени, как преступники, ожидающие казни. Мрачен и задумчив ехал он. Вдруг, при повороте в одну улицу, несколько камней полетело в императора. Он остановился: это была старуха, бросавшая камни из окна. Воины хотели кинуться в дом, схватить дерзкую. «Оставьте ее, — сказал император, — в сей день мне суждено было видеть удивительные вещи: потомки римлян испугались блеска мечей, а царьградские старухи сражаются со мною».

В тот же день обнародованы были повеления императора по всему Царьграду. Никифор изъяснил народу его ошибку, несчастное недоразумение, стоившее жизни

и здоровья многим, вразумлял народ, объясняя ему свои намерения.

Но следствия оказались не те, каких ожидал император. «Провидение Всевышнего,— говорит один из современников,— обращает счастье людей в противную сторону, я думаю для того, чтобы они чувствовали свою смертность и выше меры не гордились.»

КНИГА III

Если ты видишь кого-нибудь возведенного на высоту счастья, гордого своими богатствами, надменного родом своим и подъямляющего взоры свои еще выше своего величия, не сомневаясь верь, что близкое наказание ожидает его. Судьба возвышает нас только для того, чтобы тем глубже было падение наше.

Менандр, отрывок из потерянной комедии
(Стобей, Serm, XXII)

Дня через два или три, после несчастного события на Ипподроме, в одном из домов царьградских, в обширной комнате, освещенной лампадою, сделанною в виде черепа человеческого, сидели два человека и беседовали, хотя ночь уже давно наступила, мрак облегал Царьград, и, говоря выражением старинных поэтов, «Морфей рассыпал мак на зеницы людские обильною рукою».

Дом, в котором находились собеседники, составлял одно из огромных зданий, принадлежавших частным людям, и находился на форуме, или площади Константиновской. Главный портик сего дома выходил на площадь, а самое строение терялось в огромных соседственных зданиях, и почти столько же находилось его в земле, сколько на поверхности земли. Так было во всех значительных зданиях царьградских, начиная с дворцов до чертогов вельмож и богачей. Подземелья, погреба, тайные выходы и входы были столь обыкновенны в домах царьградских, что говорили, будто Царьграда только одна треть на земле находится, другая висит на воздухе, третья зарыта под землею. В подземельях и погребах богачи и вельможи скрывали свои

* Лев Диакон.

сокровища, укрывались сами во времена бедственных волнений, беспрерывно потрясавших благоденствие Царьграда. Богач считал бы свой дом несовершенным, если бы не было в нем потайных входов и выходов. Это сделалось, наконец, модою, щегольством. На что не бывает моды?

Дом, о котором мы говорим, мог похвастаться самым щегольским, если бы надобно было судить о нем по его подземельям и тайникам: он изобильно снабжен был ими, и многие из них были так скрыты искусством зодчего, что никто и никогда не мог бы догадаться об их существовании. Комната, где находились собеседники, нами упомянутые, была в одном из самых тайных подземельев строения. Это был погреб, глубоко опущенный в землю, и к нему надобно было пробираться множеством переходов, коридоров, тайных дверей, лестниц. Впрочем, особенным искусством зодчего, погреб этот, находясь в ряду других подземных комнат, был сух, тепел и, несмотря на вечный мрак, ибо свет дневной не проходил в него, он мог показаться жилищем роскоши. Стены и своды его были обмазаны крепким цементом и раскрашены, а капители красивых столпов даже раззолочены и множество подсвечников и ламп, в нем находившихся, могли ярко осветить его. На сей раз освещала его только лампада.

Странны были украшения этой подземной комнаты. Тут, в красивых шкафах находилось множество свертков папира и пергамента; на стенах висели чучелы разных животных; на столах расставлены были какие-то непонятные орудия, стклянки, пузырьки, банки, ящички, разложено было множество рисунков и чертежей.

За большим столом, заставленным разными орудиями, заваленным свертками и чертежами, сидели два упомянутые нами собеседника. Кто присутствовал на последней императорской аудиенции, тот мог бы узнать того и другого: один из них был *философ*, которого Никифор страшал гневом своим, за приверженность его к философии; другой, молодой царедворец, патриций *Калокир*, которому велел он отправиться в Киев, к *Сфендославу*, князю днепровских руссов.

— Да, мой сын! — говорил философ, — будь внимателен к словам моим, и я открою тебе тайны, каких еще не видал ты до сих пор.

«За тем пришел я к тебе, отец мой. Все, что доньше знаю о себе самом, только тревожит и смущает меня. Прошедшее для меня непонятно, будущее вовсе мне не-

ведомо. Перед тобою **открыты тайны** былого и будущего. Открой их мне».

— Юноша! с **какою жадностью** стремишься ты узнать неведомые судьбы своего жребия! Но помышляешь ли о том: принесут ли они тебе радость и счастье, эти открытые тайны? Помнишь ли жреца египетского, поднявшего покрывало с истукана Изиды? Что было его жребием? Безумие и ужас!

«Зачем же пугаешь ты меня, отец мой, когда сам обещал мне важные открытия? Не для того ли должен я был переносить разные испытания и перенес их? Не обещали ль мне говорить откровенно обо всем? Не для того ли открыли мне, наконец, тайное твое убежище и привели меня к тебе?»

— Так, но теперь *испытание последнее*. Скажи — не побуждает ли тебя к познанию только жадность славы и почестей? Не то ли одно влечет тебя, что в будущем откроется для тебя блестящее, высокое поприще? Если так — горе тебе! Ты ослеплен — ты обманываешь себя, обманываешь и всех нас льстивыми надеждами!

«Я не понимаю тебя, отец мой! Сказать тебе, что душа моя не волнуется радостно при мысли о величии и славе, которые, может быть, ждут меня в будущем, — значило бы скрыть от тебя мою душу. Да, я жажду их, почестей и величия, и путь, которым достиг я в мои лета того, что я уже есмь теперь — должен ободрять меня в самых смелых мечтах».

— Что же ты есть теперь, сын мой? — спросил философ с горькою усмешкою.

«Вопрос твой смущает меня, отец мой. Еще нет мне двадцати пяти лет, а уже удостоен я милостей моего великого государя, имел случай показать ему храбрость мою в битвах, был послан от него в дальние страны и теперь снова отправляюсь туда с поручением весьма важным. Мое богатство, мой чин делают меня одним из почетных царедворцев — я всего могу надеяться!»

— Да, всего — блестящая участь, и тем более, что ты достигаешь ее своею заслугою. Может быть, если ты не погибнешь в дальних странствованиях, не будешь убит в какой-нибудь битве — ты сделаешься протоспафарием, логофетом, Великим domestikом. Тогда тебе надобно будет бояться только одного, чтобы не навлечь на себя немилостивого взора своего повелителя... Может

быть, вечным угождением и лестью удержишься ты на своем месте, если какое-нибудь смятение, волнение, прихоть судьбы не уничтожат тебя, если интрига придворная не восстанет на тебя. Ведь все это может быть...

«Так, но ты смущаешь меня своею насмешкою».

— Право? А я хотел еще далее продолжать мою речь и до дна заставить тебя выпить сосуд с горьким питием правды, который должен очистить твою душу. Ты богат, ты патриций, ты царедворец, ты доказал храбрость свою в боях, ты посылан был в отдаленную Скифию — все так! Но неужели велика та заслуга, что ты не бежал постыдно с полей битвы? А посылке в Скифию не заключалась ли вся причина в том, что ты хорошо знаешь скифские языки и другого некого было выбрать? — Постой, юноша, и не перебивай речи моей! Богатство твое — как приобрел ты его? Ты сам не знаешь своего рода; ты жил в удаленном от столицы городе, не зная ни Двора, ни почестей. К тебе пришел хозяин этого дома, патриций Афанас, и объявил тебе, что ты наследуешь великое богатство после одного своего родственника, богатого человека, умершего в Херсоне и препоручившего ему передать тебе свое богатство. Потом друзья Афанаса представили тебя ко Двору, и милости Никифора начали на тебя обращаться.

«Конечно, — сказал с досадою Калокир, — я не имел еще случая оправдать себя великими подвигами...»

— Не выше ли тебя Афанас, когда он может получить все возможные почести при своем знатном роде и богатстве и презирает всем этим?

«Зачем же ты обольщал меня моею великою участью и открытием каких-то высоких тайн, когда начинаешь унижением меня в собственных глазах моих?»

— Затем, чтобы возвысить тебя после сего над другими дивным жребием твоим, отличным от всех других. — Чувствуешь ли силы лететь могущим орлом? Если ты чувствуешь силы свои, то не место логофета должно льстить тебе, не милость Никифора, но место великого человека и — *первое* между современниками!

«Первое! Но это первое место...»

— Неужели, как грубый франк, ты боишься рыкания золотых львов, которые стерегут это *первое* место?

«Скажи ж мне, отец мой, открой мне судьбу мою...»

— Если ты не будешь приготовлен к открытию, что поймешь ты из слов и изъяснений моих? Смотри. — Философ развернул лист пергамента, исписанный мате-

матическими знаками, испещренный созвездиями, цифрами, изображениями уродливыми. — Вот судьба твоя, Калокир!

Юноша смотрел и не понимал.

— Это *гороскоп* твой, — продолжал философ, — и я все читаю в нем так ясно, как будто бы это было написано самыми четкими буквами. Вот он — твой враждебный Водолей — вот влияние Афродиты, которого ты должен страшиться — вот три цикла жизни твоей...

«Отец мой! я предаюсь тебе — я отдаю тебе судьбу мою!»

— Итак, я открою ее тебе, когда ты поставишь целью жизни своей совершение великого своего предназначения, к которому ведет тебя рука тайных друзей и судьба твоя!

Узнай, Калокир, что мир здешний есть борьба добра и зла, ума и безумия, чести и бесславия, и — увы! — люди отвергают благо, предаются злу и не видят, как изливаются за то фиалы скорбей на землю! Они мыслят, что ум, Богом им данный, есть обман и обольщение; что знания и науки суть только хитрое сплетение сомнений; что философ и мудрец есть мечтатель опасный, заводящий во тьму. Древняя Эллада блистала мудростью и наукою — они исчезли, и — Эллада погибла. С проявлением Божественного закона, когда ум покори́лся ведению небесных откровений, люди отвергли его решительно, как земное нечистое брение — и чего не испытали они за то? Каких бедствий не перенесли? Близок есть час гибели — секира лежит при корне древа и гумно судеб готова возвеять лопата делателя! Времена страждут болезнью великого деторождения, и дивные чада родятся от них. Се, от Востока грядет гибель — и горе Царьграду! Се, на Западе гордый властитель Рима готовит перуны — и горе Царьграду! Но Север могущ и велик; широкоструйны моря и реки его: *Калокир* родился там, от крови скифа и гречанки. И возвратит он доблесть Царьграду, и будут снова мудрость на берегах Босфора и слава на стенах Седмихолмия!

Философ говорил все это в каком-то исступлении, и Калокир смотрел на него, не смея прервать его речей.

— Повеждь мне грядущее, судьба таинственная! Юноша — великое совершится: пройдут *пять царств*, настанут *седьмая година* и *шестое царство*. Восток

и Запад дряхлеют; Север дышит дивною жизнью. Не пройти славе Седмихолмия, если мудрость и православие не оставят его. Настанут дивная: Атлантида великого Платона явится из недр Океана на Западе; человек снимет с облаков громы и молнии; возлетит под небеса на махинах, им созданных; без ветрила двинется по морям; железом окует он землю и золотом разроет недра ее, чтобы прочесть в ее недрах тайны мироздания; с куском металла будет он плавать на морях, и послушные звезды будут показывать ему путь его; гром и молния создаст он и бросит на врагов; разложит он луч солнца, сочтет звезды, предскажет бег комет небесных! Горе непроницающему тайн, горе коснеющему во мраке! Не дивись словесам моим. Премудрость, создавшая дом свой на *семи столпах*, по слову Соломона, подчинила ему духов земли, когда он возжаждал ее всем сердцем, паче золота и серебра и драгоценностей Офира!

В начале жизнь и мудрость были едины, и человек читал в природе, как в книге, отверстой пред его взорами. Тогда сказала она ему словом и звуком, очерком и цветом. Но тлетворное дыхание земли отягчило человека. Скрылась премудрость от взоров смертного, скрылась от людей, и открывается только взору избранного испытующего. Вѣдение превратилось в древо познания добра и зла. Но мудрые не погибли, как семена под снегом зимним; не скрыли они мудрости, им проявленной. Они облекли ее в символы; они изобразили ее в иероглифах; они явили ее в науке и знании; они запечатлели ее в мифах Элевзина и Мемфиса, Дельф и Самофракии.

Тогда восстало начало зла и вечную борьбу объявило избранным. Где не гонят ум, где не преследуется вѣдение? Сократ испивает цикуту; Архимед гибнет под мечом варвара; Софокл влечется на суд, как безумный. Природа мстительна — она уничтожает памятники мудрости; меч дробитobeliski, и пирамиды разрушаются событиями...

Но мифы и символы живы, как луч солнца во мраке, его застилающем; ряды мудрых светят, как ряды звезд небесных, закрытых тучами. И таинственно сливаются судьба царств и жребий народов с жизнью и судьбою Мудрости.

Вражду и несогласие хотело посеять начало зла между Святой Истиною небес и тайнами Мудрости Земли. Да, не будет!

Велик был успех начала зла. Истребилась мудрость Египта и Эллады, Рима, Вэрита и Эдессы. Тогда увидели, как дряхлеет Юг и стареет Восток. Очи мудрых устремились на Север и в тамошних странах, отчизне Авариса, Замолксиса и Анархасиса, искали света. И открыто им было!

Доколе *море* и *земля*, цвета *синего* и *зеленого*, пребудут символом Царьграда, основою силы его — Седмихолмие сохранился в могуществе и православии. Доколе избранные не соединятся с врагами православия — Седмихолмие сохранился в мудрости и ведении. Призови Север к Седмихолмию, и род *скифа* соедини с родом Константина, и сбудется надпись на гробе царя Константина Великого: «От Севера придет свет, и мощь, и сила с величием».

Калокир слушал и невольно думал: «Если это называется у философов *изъяснять*, то, клянусь Зевесом, или я дурак, или он сам не понимает, что такое бредит!» — Но юноша продолжал оказывать внимание.

— Из сего поймешь ты, сын мой, почему с такою жестокостью начало зла напало на мудрых и избранных; почему возмутило оно враждою *синих* и *зеленых*, знаменовавших собою таинственное основание владычества Рима и Греции; почему возмутило оно тишину церкви ересями, и с именем еретиков соединило имя мудрых, воздвигнув на них гонение православных и поганных, верных и нсверных. Увы! и мудрые сами заблуждались во мраке; лилась кровь; пламенели страсти; все казалось гибнущим, но — не погибло!

Тебе должно быть ведомо, как изъяснил это великий Епифаний, творец таинственных и бессмертных сочинений «'Αρχιρῶτον» («Якорь») и «Παναρῶτον» («Аптечка»). Он доказал, что ереси существовали издревле, и двадцать ересей, разделенных на пять степеней, возмущали мир еще до воплощения Христова. Таковы были: *варварство*, до времен праведного Ноя и сынов его; *скифство*, до построения Вавилонского столпа, когда Фалег и Рег удалились в Скифию; *эллинство*, когда мудрецы поклонялись самим себе во имена ложных богов; *самаританство* — царство эссениев, севуенов, гарфениев и досифеев; наконец, *иудейство* — царство саддукеев, книжников, фарисеев, имеробаптистов, назареев, оссениев и продиян. Но исчезли все сии зловещие тучи, и солнце правды сияло. От камня изведется глас, и дивно будет в очах человеческих — от Бога бо будет сие, а не от человека!

Когда совершилось *шестое* столетие от воплощения Бога слова, и близ было *седьмое*, надежда воссияла в сердцах мудрых. От сынов Фалега и Рега воссел на престол царьградском император.

Ты не обычен к таинственным словесам мудрости, сын мой, и долго было бы изъяснять тебе смысл каждого имени, каждого символа. Буду говорить тебе просто.

Ты ведаешь, что *Юстин*, из простых пахарей Фракии, возведенный на престол Царьграда, был *славянин*, или *скиф*, и перемена прежнего имени его на имя *Справедливого* была таинственным знамением грядущего. Он передал престол *Юстиниану*, так переименованному из славянского *Управд*. Имя отца Управдова было *Исток*, т. е. *начало*, а матери *Богadelеница*, т. е. *творящая дела Божии* *. Лстецы, прикрывая их происхождение, наименовали отца *Савватием*, а мать *Вигилантиею*. Ты знаешь, что Юстиниан восшел на престол в 527 году. Сложи: 5, 2, 7 — получишь великое *дважды семь*, помножь на него 527, выйдет 7.378 — *великий цикл* 7000 и 350, как половина 700, *малого цикла*; остаток 28, заключающий *четыре седмицы*, когда *три* разделяют *семь*, и заключаются *восьмью* — 7378... Но, довольно — ты не поймешь моих числений — довольно, что Юстиниану обещано было великое: мудрость, победа, законодательство, слава храмоздания паче Соломона. И скажи: не славно ли было его царствование? Не гремел ли он победами? Не составил ли он вековых законов? Не превзошел ли Соломона величием созданного им храма?

Но тогда-то начало зла усилило свою брань, и Юстиниан погряз в грехах и пороках. На ложе его возведена была распутная женщина; род его пресекся; царствование его было гибелью мудрости и оснований силы Царьграда.

До его времен продолжалась *златая цепь* мудрых, из Александрии перенесенная в Пергам, из Пергама в Афины, от великого Платона, мудрого Порфирия и велеумного Ямвлихия до Плутарха, сына Несториева, Сириана, Эрмия, Прокла, Марина, Исидора Газского, Зенодота и Дамаския. В Афинах существовали тогда *Академии* платоников, *Лицеи* перипатетиков, *Портики*

* Проконий.

стойков, *Кипосы эпикурейцев*. Юстиниан ниспроверг все, и мудрые бежали — погибнуть в изгнании, в стране, подвластной варвару Хозрою!

До его времени соблюдались на *Ипподромах*, знаменателях силы и величия, таинственные символы *синих* и *зеленых*. Он погубил их враждою и союзом, и с восклицанием: *будь победитель!* — они пали в ничтожество; имена их сделались с того времени игрушкой праздных. И погибла надежда избранных!

Но ничто не гибнет. Избранные сохраняются. Ты видишь во мне бедный остаток, последний луч мудрости и знания; Афанас есть последний луч *зеленых*, и с ним соединен последний луч *синих*, друг его Порфирий. Вот остатки того, что тройственно должно восстановить православие, мудрость и силу. По гласу нашему придут тысячи, дремлющие беспечно. А ты, юноша! ты — обречен быть вторым *Управдом* на престоле царьградском!

«Как, отец мой?» — воскликнул Калокир.

— Да, только не с именем Юстиниана, но с именем *Калокира* — изящества и господства, красоты и величия *. Се, жребий твой.

Если бы кто-нибудь за минуту спросил у Калокира: понимает ли он что-нибудь из речей философа? — он поклялся бы, что ничего не понимает. Но теперь, когда увидел он вывод запутанного многословия, ему все казалось чрезвычайно понятным, и голова его закружилась...

— Да, юноша, ведай, что в тебе видят избранного мудрые и сильные. Все падет окрест тебя и пред тобою — уничтожится бессмысленный ругатель мудрости, губитель знамений силы, Никифор, дерзающий думать, что он может истребить остаток *философов* и остаток *синих* и *зеленых*. Пусть истребляет он привидения их — «синие» и «зеленые» таятся во маке и воссияют светлую звездою в трех лучах *мудрости, православия и силы*.

Юноша! ты природный славянин, ты скиф! Тщетно после Юстиниана устремлялись ереси, безбожие, зловерие, стараясь истребить философов; тщетно и сами философы заблуждались, приставая к ересям; тщетно и *синие* и *зеленые* боролись, падали, исчезали; тщетно и род славянский уничтожался на царьградском престоле и заменялся родами исаврийскими и македонскими.

* Калос — Κυριος.

Судьбы не победит воля человеческая. Видно, что еще не настало тогда время победы; надобно было прежде просветить Скифию святою верою и потом произрастить в ней ветвь спасения. Внимай же и дивись: при похитителе престола, Василии Македонском, славянам суждено было восхвалить Бога истинного на своем языке! Внимай и дивись: родной сын Василия, *Александр*, хотел уничтожить род свой и заменить его возложением императорского венца на главу славянина: ты знаешь, что Александр думал обречь монастырской обители Константина Порфирородного и облечь порфирию *Гавриила*, сына Василиева, славянина мудрого *. Похититель Роман Лакапин истребил род Гавриила; но что же? Скифская царица пришла из отдаленной Кювии принять крещение, как будто возвещая близкое пришествие славян на престол царьградский, и в тебе, утаенном от меча убийц, сохранился род мудрого Гавриила. Юностью, умом и знанием цветешь ты при Дворе Царьградском, и никто не ведает, что ты есть сей благословенный плод, на который устремляются упования сильных и избранных; что в тебе примирятся Юг и Север, и тобою процветут мудрость, сила и вера!

О юноша! клянись мне, что ты будешь поборником православия и дашь место мудрости и мудрым при Дворе твоём; что ты будешь всегда допускать истину и правду до слуха твоего; что ты не почтешь мудреца злодеем и любомудрого врагом своим; что ты не смешаешь понятия о науке и знании с богопротивною ересью!

«Клянусь, отец мой!» — с жаром воскликнул Калокир, подымая руку над головою.

— Хорошо, благо тебе, благословение роду твоему! Но, клянись же мне еще исполнить то, что я скажу, тебе...

«Отец мой!»

— Клянись, или благословения не будет над тобою.

Увлеченный словами и видом философа, Калокир произнес страшную клятву, которую сказал ему философ, еще не зная, в чем клянется он.

— Клянись, что ты не взойдешь на престол царьградский ни хитростью, ни изменою, ни убийством; что ты не возложишь рук своих ни на Никифора, ни на детей Романа, ни на мать их, ни на весь род их!

* Кедрин и Зонара.

«Отец мой!»

— Ты колеблешься...

«Но, я не понимаю...»

— Так неужели ты думал, что я возьму участие в деле, которому основанием будет *убийство и измена*? Или забыл ты, что Никифор и дети Константина императоры и владыки, забыл слово Божие: *не прикасайся помазанным моим, мною бо царие царствуют*?

«Но как же достигну я...»

— Так неужели мыслишь, если ты от веков избран и судьбою предназначен, мыслишь, что людской разум возведет тебя к чести и славе, рука человеческая будет предводить тебя? Слепец-юноша! Тот, кому небо престол, кто коснется горам — и дымятся, уравниет пути твои и проведет тебя по безднам моря! Веруй, знай свое высокое назначение и уповай на помощь неведомую! Она предыдет тебе, и как Гедону ангел, возглашая: *Господь с тобою сильный крепостью!*

Юстиниан думал, что уже навеки истребил *синих и зеленых*, но четыре века прошло и они живы во мраке и гонениях. Он мыслил, что истребил мудрых и избранных, но они живы в наследниках златой цепи философов православных, умевших помирить мудрость языческую с истинами святой веры. Македоняне хотели казаться покровителями мудрости; Василий, Лев и Константин думали быть философами, и — не было им дано! Но в то же время мудрые существовали, и, утаенная вблизи, далеко гремела слава их между неверными и варварами. Когда казалась потухшею последняя искра философии, когда после Юстиниана и Копронима, казалось, угасло на веки светило разума, и на голос мнимых покровителей сбежались, как псы к трапезе, только бессмысленные риторы, суесловные витии, лже-мудрые софисты, от Востока пришел глас. Халиф зловерный, Аль-Мамун пишет к Феофилу: «У тебя в Царьграде есть звезда мудрости, философ Леон. Он укрывается в бедной хижине; отдай его мне, и он будет обитать во дворце моем. Я сам пришел бы в Царьград внимать его учению, но не могу оставить престола, Богом мне врученного. Отдай мне мудрого Леона. Знание есть благо общее, и деля его, мы все обогащаемся. Возьми от меня 2000 литр золота и отпусти ко мне Леона». Изумился Феофил и не хотел поделиться даром Божиим. В хижине найден был мудрый Леон и в чертогах царских поведал мудрость. Но — горе мудрому,

егда не настало время его! Имея уши — его не слышат, имея очи — его не увидят, имея разум — его не уразумеют!..

Задумчив и молчалив сидел Калокир, и философ, утомленный многоречием, казалось, отдыхал, также в молчании. Тускло горела лампада. Оба собеседника не заметили, как вошел и стал подле них человек высокого роста, с длинною черною бородою. Калокир вздрогнул при его нечаянном появлении, но он всмотрелся в него и с радостью протянул к нему руку:

— Почтенный Афанас!

«Здравия Калокиру!»

Афанас посмотрел на философа и Калокира. «Вижу, что мой мудрый друг открыл уже тебе, юноша, тайны наши, тайну судьбы твоей».

— О Афанас!

«Или ты ужасаешься грядущего? Еще есть время, еще ты можешь отказаться... Только после сего не вый-ти тебе отсюда», — прибавил Афанас вполголоса.

— Нет, благодетель мой! Я предаюсь вам!

«Ты можешь назвать меня благодетелем, юноша; но, в самом деле, мои благодеяния корыстны. Честь и слава Царьграду! Вот для чего трудился я».

— Честь и величие мудрости! — воскликнул философ.

«Разумеется», — прибавил Афанас, улыбаясь. — Но я не умею говорить так, как говорит мудрый друг мой. Я воин и разговариваю мечом, убеждаю копьем, доказываю стрелами.

Калокир! еще мы равны. Будешь ты на престоле царьградском, и я первый преклоню колено мое пред тобою. Теперь еще не настало время для лести и обрядов.

Калокир! ты должен мне поклясться в том, чего потребую я за труд мой! Внимай: ты должен восстановить в полной силе все древние права *синих* и *зеленых*».

— Только? — спросил с удивлением философ.

«Другие условия до меня не касаются».

— Я обещаю тебе, почтенный Афанас, что древние права Ипподрома будут для меня священны и ненарушимы.

«Клянись! И вот та клятва, которую должен ты произнести!» — Афанас подал Калокиру медную дощечку, на которой была вырезана форма присяги. Калокир начал читать ее вслух, и — останавливался! Так страшна была клятва эта.

— Кажется, ты колеблешься?

«Не колеблюсь, но страшусь — не грех ли на душу клятва предметами столь священными, столь ужасная клятва! Господь запрещает клятву, и неужели недостаточно одного слова моего?»

— Я давно отвык верить словам и самим клятвам худо верю, но все-таки они повернее. Время, когда достаточно было слов: *ей-ей* и *ни-ни* — это время давно прошло! И притом, не разделяю ли я греха твоего? Горе идущему, горе ведущему! Ты должен произнести клятву; потом кровью подписать свое обещание...

«Такие ужасные обряды...»

— О житель Царьграда, о придворный императора царьградского! Неужели думаешь ты хитрить со мною? Если это пустой обряд — что за беда исполнить его? Если же ты намерен сдержать клятву — что за опасение произнести ее?

«Слово грешное губит душу так же, как и дело, — начал философ. — Мой почтенный друг! самое отречение юного избранника нашего от клятвы не доказывает ли тебе искренность слов его? Опытный в хитростях, испытанный в лукавстве отречется ли сделать все, только бы достигнуть исполнения желаний своих?»

— Мудрый человек! Ты не знаешь мира и людей, и дел людских, ты, знающий течение светил небесных и умеющий понимать язык зверей и птиц! Если он содрогается теперь произнести несколько страшных слов, не содрогнется ли он, когда надобно будет приступить к делу и по трупам и крови идти к цели своей... И потом, когда сядет он на престол, и его окружают измена и хищения, и ковы врагов...

«Давно изрек премудрый Пильпай: два рода людей окружают престолы: хитрецы, жаждущие злата и чести, и глупцы, которых самая зависть оставляет в покое *. Но дело владыки воцарить с собою мудрость и ее призывать в совет, а не хитрости, и не ухищрению повелеть заседать с собою, но...»

— Да, ваш Платон какой-то, говорят, давно написал обо всем этом толстую книгу, которую никто не читает! Говорить о деле и делать — великая разница. Тебе, мудрый друг мой, предоставил я первое — беру себе другое!

«Делать? Что ты разумеешь под этим словом?»

* Перевод Сефа, Отд. X.

— То, что настало время для действия и никогда не было оно благоприятнее нынешнего. Разные бедствия вдруг, как будто с неба, свалились на нас, то дождь, то жар, то землетрясение; победа, кажется, села отдыхать на берегах Эвфрата; с берегов Дуная грозят нам большие хлопоты, и главное — последние действия Никифора раздражали народ, и забавная шутка его на Ипподроме совершенно разрушила в сердцах народа все, что приобрел он несколькими годами. Как все это счастливо случилось! Трудно было бы бороться с Никифором, когда бы, по-прежнему, он въезжал победителем в Царьград. Но теперь несколько переломанных рук и ног затмили в глазах народа все его дела и победы. Ха! ха! ха! Смейся мудрец над суетою человеческою и думай о том, как от малых причин происходят великие события! Весь Царьград вопиет теперь против Никифора: он не желает блага своему народу; он грабит его, отбирает у него даже коней и колесницы — пощадит ли имение? Он ведет безумные войны; он хочет, как Дарий, идти в Скифию и погубить там юношество царьградское. Теперь время — пользуйтесь минутою, или она пролетит, и все пропадет, и при первой победе Никифора народ опять увидит в нем Бога земного.

«Что называешь ты: пользоваться минутою?»

— Разумеется: немедленно уничтожить Никифора и весь род Македонский. Друзья наши готовы — три галеры пустятся к Царьграду по знаку моему, и в двадцати легионах воскликнут: *Смерть македонцам!* Завтра же не останется следа их.

«Юноша, — сказал хладнокровно философ, обращаясь к Калокиру, — помни клятву, тобою мне данную!»

— Какую клятву? — воскликнул Афанас, сдвигая вместе свои черные брови.

«Клятву в том, что Калокир не проложит пути к престолу убийством и хищением».

— Как? Что ты говоришь?

«Говорю, что Калокир поклялся мне в этом и должен исполнить то, в чем поклялся».

Афанас побледнел. Рука его невольно взялась за кинжал. «И ты согласился, Калокир?»

Калокир не знал, что отвечать.

— Говори, юноша! — вскричал Афанас.

«Да, говори, — повторил философ, — говори смело, противопоставь твердую мудрость страстям челове-

ским; говори, что ты не хочешь лишиться благословения Божия, принимая участие в убийстве и смерти, грабеже и бедствиях, какие изливаются на Царьград, если только с мечом убийцы ты решишься исполнить судьбы — Божественные!»

— А! я этого не знал. Следовательно, мудрый друг мой! ты приготовил какие-нибудь другие способы для исполнения наших намерений? Ведь нельзя же Калокиру нашему прийти просто во дворец Никифора и сказать ему: «Позволь мне сесть на твое место, а ты поди в темницу, потому что мне велит судьба быть владыкою царьградским». Кажется, это невозможно?

«От человека невозможно, но все возможно от Бога, если есть на то его святая воля».

— Но Бог дал человеку ум и руки, и неужели ждать чудес?

«Не богохульствуй, Афанас, или горе тебе! Или мнишь ты своею брэнною рукою совершить волю Божию?»

— Ну, не моею рукою, положим; но что же ты придумал?

«Я? Ничего я не думаю и не придумал». И философ начал обширное изъяснение о том, как слаб и ничтожен человек, как судьба разрушает его замыслы, и там восстанавливает силу, где была слабость. Он приводил в пример Ирода и Юлиана отступника, Псамметиха и Антония, и заключил любимыми изречениями Пильпая: не раскаиваются только два рода людей — не делающие зла и творящие добро; четыре предмета суть изображения пустоты и запустения: река без воды, царство без царя, жена без мужа, человек без ума; три человека должны быть осторожны: кто приступает к злему делу, кто идет на крутую гору, кто ест рыбу.

— А как называются те люди, которые рассуждают о том, чего сами не знают? — вскричал, наконец, Афанас с досадою. — Мудрый друг мой! я уважаю тебя, но теперь не тебе действовать должно. Какая нелепая — подлинно философская мысль: связать клятвою Калокира! Ты связал ноги человека и говоришь ему: бегай! Видно, что Богом определено философу рассуждать и думать, а не мешаться в дела государственные — особенно войны.

«Разве война твое предприятие возмутить Царьград, и жизнь и спокойствие тысячей предать огню, мечу

и буйству народному? Но ты ошибаешься, Афанас, ты забываешь, что наука всегда первенствовала над храбростью и силою телесною. Так некогда вся победоносная мощь римлян была бессильна перед великим Архимедом, и когда бедствия грозили императору Анастасию, кто спас его? Великий Прокл, знаменитый изъяснитель Платона. И чем спас? Силою, войском? Отнюдь! Уже давно испытал он силу огня в смешениях с другими стихиями мира; по его вымыслу, пламенеющий от солнца порошок рассыпан был на кораблях дерзкого бунтовщика Виталия, и едва лучи солнца осветили корабли — порошок вспыхнул, и небесное пламя, попаляя корабли, доказало мудрость великого Прокла! Что начал он, то, через два века многотрудных испытаний, кончил мудрый Каллиник, и неугасимый *огонь греческий* начал истреблять врагов Царьграда, и составил непреодолимую ограду римской империи».

— Прекрасно! Нет ли у тебя такого порошку, который заставил бы Никифора отказаться от престола?

«Афанас! рука философа никогда не будет орудием убийства... Но ты воин, привык к словам буйным и строптивым — прощаю тебе!

Ведай однако ж, что не всегда философы бывают бессмысленны в делах. Останови свои кровавые предприятия и внимай мне: сама судьба указывает Калокиру путь, которым должен он идти. Никифор посылает его к Сфендославу, князю скифов борисфенских. Не для того отправится Калокир в сей дальний путь, чтобы удалить дикие орды Сфендослава от берегов Дануба — нет! С ними, торжественным походом пойдет он под стены Царьграда, и все падет перед ним и его неукротимым помощником. Тогда исполнится слово пророческое: *«Се от Севера придет князь Михаил!»*

— Когда несколько ударов кинжалом могут немедленно кончить все дело, он хочет с Севера приводить защитников, и все для того, чтобы только не тайным замыслом и не хитростью достигнуть цели!..

«Да, да, ибо грядущий с ордами Сфендослава Калокир явится, как победитель, как примиритель — Царьград смиренно откроет ему врата свои, и гласы обрадованных радостно воскликнут: *Осанна, благословен грядый во имя господне!* — Он не придет, яко тать и убийца!»

— Стало быть, ты не знаешь Никифора, не видал его в битвах, а я видал, я знаю его! Никакие Сфендо-

славы твои не устоят против его победительного меча... Да, он великий воин, он храбрый государь... О! для чего не хочет он быть государем «синих» и «зеленых»... Стал бы я тогда искать ему преемников — ему, грозе врагов!..

Афанас сел и с горестью закрыл глаза рукою.

«Нет, Афанас! В войне, которую предпринимает Никифор против скифов, не будет ему успеха. Ты не ведаешь, что, по древним преданиям, быстроногий Ахилл, гибель Илиона, был природный скиф. Там царствовали его предки, в городе Мирмикионе, близ Меотийских болот в Скифии; там доныне сохраняется Ипподром Ахиллесов; оттуда перешел Ахиллес в Фессалию. Спроси у Калокира о Сфендославе, этом неукротимом потомке Ахиллесовом.. Его вид, его сила, его плащ, застегнутый пряжкой, его голубые глаза, его привычка биться пешему, его безумная отвага — все говорит о силе и мужестве того, кому Атрид сказал, по словам Омира: *Тебе приятны только брани, раздоры и междоусобия!* Народ скифский бесчислен, и живет он от берегов ледяной Фуле до Понта Эвксинского. И не о них ли говорит, не об этих ли населенцах отдаленных земель и островов скифских глаголет пророк Иезекииль: *Се аз навожу на тя Гога и Магога, князя Росса?*

— Ты забыл, кажется, как эти Гоги и Магоги бежали от стен Царьграда...

«Было время, настало другое — великое готовится, селское сбудется!»

— Но неужели не видишь ты, муж мудрый, противоречия собственных слов твоих? Ты не хочешь решить дела запросто, не ходя в чужие люди, только отправив на тот свет несколько человек нашими собственными руками, а хочешь призывать варваров, и их мечом думаешь возводить на престол Калокира, предав честь и победу римлян бесславию, предав области царьградские огню и свирепости варваров...

«Но судьба ясно глаголет...»

— Я судьба, и вот что решит тебе все дело! — Афанас ударил рукою по своему мечу.

«О, сильный муж! горе тебе, гордящемуся силою — горе тебе, возносящемуся гордынею!»

Три удара в ладони послышались у дверей; двери растворились, и Порфирий, тайный начальник «синих», вошел в комнату.

— Афанас! все готово, — сказал он. — Друзья наши ждут только условленного знака; по извещению моему,

стражу вукалеонскую сменят наши добрые приверженцы, и тысячи голосов завтра же, может быть, провозгласят: «Да здравствует Иоанн Калокир! Да здравствуют «синие» и «зеленые»!» А, я вижу здесь и приветствую тебя, благородный Калокир! Будь здоров — будь благополучен и — *будь победитель!*

«Я не понимаю слов твоих, Порфирий,— сказал Афанас,— что говоришь ты о смене стражи вукалеонской?»

— Разве я еще не известил тебя о новом, знаменитом союзнике, которого приобрели мы для нашего дела?

«Каком знаменитом союзнике?»

— Иоанне Цимисхий. Он горячо взялся за наше предприятие.

«И ты все открыл ему?»

— Не только открыл — я даже привел его сюда — он дожидается тебя здесь...

«Он знает и то, что Калокиру назначаем мы престол царьградский?»

— Только этого он не знает.

«Хорошо, но... Мог ли я ожидать, Порфирий, чтобы в твои преклонные лета ты был столь безрассуден... Да и какое право имел ты открывать Цимисхию нашу тайну?»

— Право равного тебе начальника наших друзей, Афанас,— отвечал гордо Порфирий.

Афанас вспыхнул гневом, но смолчал. «Право равного тебе *начальника «синих», как ты начальник «зеленых»,*» — продолжал Порфирий.

Философ горестно склонил голову свою на руку и сохранял молчание.

— Мы после разберем права наши, Порфирий,— сказал Афанас.— Но как мог ты довериться этому гордому, этому хитрому царедворцу!

«Скажи лучше, этому сильному, великому полководцу, этому герою, которого завистливый Никифор лишил власти и теперь хочет обольстить пустою почестью дворскою — этому благородному человеку, который одушевлен жаром негодования против похитителя...»

— Несчастный! Но принадлежит ли Цимисхий к «синим» или «зеленым»? Связан ли он нашими клятвами?

«Нет! не принадлежит, потому, что он достоин быть главою тех и других; не связан, потому, что его

слово драгоценнее клятв другого. Его многочисленные друзья...»

— Да что нам в его многочисленных друзьях! Кто смеет быть выше *меня*... и тебя,—прибавил поспешно Афанас,—в деле, которое готовили мы столько лет, над людьми, которые из рода в род признавали начальниками деда, отца моего, меня...

«Ты все забываешь прибавлять — и деда, отца Порфириева и Порфирия,—прибавил Порфирий,—это напоминал я тебе уже много раз».

— Да!.. Но еще ничто не испорчено. Где находится теперь Цимисхий?

«Он ждет тебя и меня в зале подземелья на восток. Что ты хочешь предпринять, Афанас?»

— Ничего — в минуту опасности дорога каждая минута — я хочу... обласкать, поблагодарить Цимисхия... за его милость, снисхождение, за его усердие к нашему делу... Пойдем!..

Афанас и Порфирий вышли поспешно. Философ как будто пробудился от усыпления после ухода их.

— О горе,—воскликнул он,—горе тебе, Царьград, Вавилон великий! Предвижу гибель твою, предвижу падение твое, и настанет неизбежное время, когда глас раздастся во услышание всей земли: «Паде, паде Вавилон великий, паде, яко от вина любодеяния напоил все языки земные! Будет место твое жилище бесам и хранитель духам нечистым, и виталище птицам плотоядным! Горе тебе, град великий, яко мудрых твоих изгоняешь и безумным воздаешь председательство! Возрыдают и восплачут цари земные, зря огонь пожара твоего, до небес восходящий, и дым запаления твоего, до облаков возносящийся!» Издалече стоя, за страх мучения, воскликнут народы, недоумевая: «Град великий, град славный! како в единый час совершился суд твой?» И купцы земные возрыдают, яко никто же оттоле купует товара их, злата и сребра, камня драгого и бисера, и виссона и порфиры, и шелка, и червени, и всякого древа фиинна, и сосуда из кости слоновья, и сосуда от древа честного, и медяна, и железна, и мраморна, корицы и фимиама, мира и ливана, вина и елея, семидала и пшеницы, скота и овец, коней и колесниц, телес и душ человеческих! Отыдут от тебя тучная и светлая, ими же купцы обогащались, и возглаголют о тебе купующие: «Горе тебе, град великий, облеченный виссоном и порфирию!» И кормчий, издалече взирая с ко-

рабля своего, возопит: «Кто был подобен тебе, град великий!..»

Слезы текли из глаз старца. Он обратился к Калокиру, утер слезы и сказал: «Юноша! не дожидайся вострата их более. Видишь ли — гордыня обладает ими, и ненависть гнездится в собственных сердцах их, и они ли будут твои поборники? Измена и убийство царствуют в сем подземном жилище, где мудрость думала укрощать сердца безумных. Беги, юноша, укройся — жди извещения моего, верь своему назначению великому и блюдись, да не впадешь в напасть!»

Он хлопнул руками. Потайная дверь открылась; явился черный невольник.

— Вот проводник твой. Следуй за ним с верою, но прежде обними меня, моя надежда, мое упование!

«Отец мой!»

— Блюдись, жди часа, очищай сердце и душу и помни, что я над тобою буду назидать неусыпно!

Смущенный Калокир безмолвно повиновался, и когда ушел он, долго, в молчании, ходил и размышлял философ.

— О великий Симпликий! — воскликнул он, — прав ты, правы благие и мудрые наставления твои! «Если муж доблестный и добродетельный находится в стране, зараженной пороками, он не примет участия в делах общественных, ибо он не согласится с действующими в сих делах: или правила их ужаснут его, или, исполняя волю их, он должен будет отказаться от правды и совести. Тщетно старание исправить безумствующих мудрыми советами, и, по примеру Эпикура, любомудрый должен будет добровольно изгнать себя из отчизны, как Эпиктет бежал из Рима, во времена Диоклитиановы. Но если останется мудрый в стране порока, он затворит себя от всех, он укроет в уединении свою мудрость и добродетель».

— Но не ты ли, великий Симпликий, сказал также: «И будет он стражем времени благоприятного, когда другу мудрости должно явиться другом людей ему подобных и всех ближних. Что потребнее им советов мудрости, укрепления в скорбях и разделения опасностей? Крепкий в буре, он станет кормчим недреманным. Тогда дело мудрости и мужества, ибо робеющие доказывают, что они достойны разврата своих ближних, а те, которые в грозных событиях видят испытание своего мужества, уподобляются борцам в играх Ипподрома, умножающим свое мужество по мере силы противника.

благодарящим провидение за то, что им представился случай явить силу свою. И не гибнущие венки, но бессмертное торжество мудрости и добродетели ожидает их!..»

Симпликий, казалось, завлек философа далее. Он забыл свою горесть, развернул огромную книгу «Περὶ φύσεως ἀνθρώπου», и с жаром начал читать, ходить, рассуждать.

— Если справедливо,—говорил он сам с собою,—если справедливо твое предположение, всеиспытующий Немезий, предположение о совершенствовании человека, то загадка человека и тайна его истории разрешается. Да, здесь чистый вывод глубокого любомудрия: душа обитает в теле *ὡς ἐν ὀρχεσσι καὶ τῇ παρῆτα*, присутствием духа своего, или как любовь в сердце любовника, и по-сему она ни телесна, ни местна — *ἐν ὀρχεσσι* существует она — да, да, разделяясь притом на *воображение, разумение, память* — *τὸ ἐκστατικόν, διαλογικόν, μνηστικόν*. Во всей природе существует постепенность степеней усовершенствования. Бездушное составляет первую степень, и затем следует одно за другим, оживленное, от червя до человека, среднего между смертным и бессмертным. Тело его составлено из четырех стихий, и он есть смертное разумное, совершенствуемое жизнью, готовимое к бессмертию. Он постигает добро, отвергает зло — совесть поставлена в нем, как судия, воля, как решитель дел его. Все другое, в отношении к другому, создано для самого себя; все другое в отношении к человеку создано для человека — он царь земли! Высоко чело его — богато сердце его добротою! Если рассмотрим только, до какой уже степени совершенства достиг он, то убедимся в высоком назначении человека...

В это время какой-то удушаемый страданиями стон достиг до ушей мечтателя о высокой природе и совершенствовании человека. Творение всеиспытующего Немезия выпало из рук его — он прислушивался, и снова еще сильнее раздался стон, походивший на хрипение умирающего. Смущенный, с предчувствием чего-то страшного, поспешил философ в ближнюю комнату, и едва отворил он двери и свет лампадки его осветил комнату — ужасное зрелище поразило его...

Здесь надобно нам обратиться немного назад, к тому времени, когда Афанас и Порфирий расстались с философом и пошли на свидание с Цимисхием.

— Мой добрый, почтенный гость,—сказал Афанас, встречая Цимисхия, сколько можно было ласковее

встретить, при вечно угрюмом лице Афанасовом,— будь здоров! Да благословит тебя Бог под смиренным кровом моим!

«Старый товарищ ратного поля! — отвечал Цимисхий, пожимая руку Афанаса.— Приношу усердное желание добра дому твоему и тебе!»

— Ты не забыл меня, почтенный domestik.

«Могу ль забыть того, с кем соединяет меня теперь одинакое желание мщения нашему оскорбителю!»

— Благодарю друга моего Порфирия, что он умел найти путь к сердцу твоему. Но, войдем, почтенный domestik, в эту комнату...

И они вступили в небольшую комнату, великолепно убранную. Небольшой стол находился посредине ее. Несколько свеч горело на столе, и ярко отражался свет их на мраморных стенах комнаты. Афанас придвинул три небольших седалища к столу. Цимисхий занял одно; с двух других сторон поместились Афанас и Порфирий.

— Ты находишься теперь в том месте, почтенный domestik, где столь много и столь долго обдумывал я план нашего предприятия, в котором угодно тебе взять участие. Надобно ли говорить тебе, что благородная и великая мысль — отмстить за унижение того, что некогда составляло честь Царьграда, с чем таинственно соединена судьба его — что только эта великая мысль одушевляла меня? Последнее безрассудное покушение Никифора довершило нашу решимость...

«Прибавь одно ж, почтенный Афанас, и то личное оскорбление, какое нанес тебе сей самовластный повелитель близ стен Тарсийских...»

— Да, я не забыл и этого...

«Меня, почтенный Афанас, побуждает также не одно личное мщение, но честь, поруганная честь знаменитых людей и благоденствие моих соотечественников. Чрезмерные подати, какими обременил Никифор народ, совершая безрассудные войны в Сицилии и в Аравии; жадная скупость его и корыстолюбие брата его, этого ненавистного Льва Куропалата... Но что говорить! Спроси, остался ли кто-нибудь в Царьграде доволен правлением Никифора и даже его победами, бесплодными и безрассудными? Самое небо не показывает ли нам ниспосылаемыми от него казнями и бедствиями, что нет благословения на государствении нашего тирана...»

Цимисхий явился здесь с тем же открытым, оживленным лицом, какое всегда удивляло других своею благородною красотою и доблестью. Но теперь он был еще необыкновенно любезен, свободен, откровенен и не щадил дара красноречия, которым щедро наградила его природа. Казалось, что самая угрюмость Афанаса рассеивалась от его оживленных взоров, от его живых речей. Дружеский, откровенный разговор был начат и продолжаем с жаром.

— Может быть, вам, мои почтенные друзья, не вполне известны подробности того оскорбления, какое нанес мне презорливый этот Никифор,— говорил Цимисхий.— Я расскажу вам кратко все сокровенные подробности. Вы помните то время, когда еще безумный Роман владел Царьградом, и Никифор — для чего не сознаться? — стоял на великой почести первого римского полководца. Тогда уже преступные замыслы таились в душе его, и ненависть гнездилась в его сердце против каждого, кто дерзал равняться с ним мужеством и милостью императора.

«Здесь позволь мне дополнить, чего не скажет нам скромность твоя, почтенный domestik. Никто не равнялся тогда храбростью и величием с Никифором, кроме Иоанна Цимисхия».

— Ты приписываешь мне излишнее, почтенный Афанас. Правда, я не щадил жизни в боях, но я не думал ни о честях, ни о славе. Мой веселый нрав увлекал меня к забавам и роскоши — вино, красавицы, застольная песня, право, были мне дороже всякого звания domestиков и логофетов...

«Правда,— сказал Порфирий, усмехаясь,— и говорили даже, что Иоанн Цимисхий был удостоен ласкового взора самой супруги Романовой, и я помню, как Ипподром дрожал от кликов народа, когда Цимисхий опережал в своей колеснице всех других противников...»

— Ласковый взор Феофании — это сущая клевета, почтенный Порфирий, и именно эта клевета заставила меня удалиться от Двора и искать рассеяния в ратном шуме. Но там встретила меня ядовитая зависть Никифора, вечно угрюмого, вечно мрачного, всегдашнего завистника даже самому себе, скупого до того, что он готов, подобно Плавтову Скупому, кричать: *грабят!* — видя, что дым идет из трубы его дома, готов скоблить золото с пилюль, предписанных ему медиком. Не достоинства мои, но то, что у меня собирались воины, у меня

весело гремел пир в лагерной ставке моей, и не было счета друзьям моим — вот что всего более оскорбляло Никифора. Он ходил по таборам, как нищий, ханжил, молился, вздыхал — его слушались и — презирали, уважали и — не любили. *Огонь и вода* — вот что были мы, я и он, — и могли ль мы ужиться в одной берлоге?

«Ты скрываешь свои знаменитые подвиги».

— Положим, что так; но когда под стенами Тарса мы получили известие о смерти Романа, узнали, что Никифору препоручил он, умирая, управлять войском, а любимцу своему Иосифу Постельничему государством — боюсь, ни малейшей зависти не возродилось в моем сердце. Я повиновался, не спорил, когда Никифор поехал в Царьград и передал власть над войском брату своему Льву. Разгульная жизнь, охота, битвы занимали меня. Не буду говорить о ссоре Иосифа с Никифором — вы знаете все это, знаете, что когда голос патриарха, вельмож, императрицы оправдал Никифора, он с торжеством приехал опять к войску — я щитом моим заслонил его от убийцы, который был подослан и готов был поразить его. Что же оказалось следствием? Никифор бесстыдно обвинил меня в умысле, будто бы я затеял ту примерную битву, где был поражен копьем единственный сын его, юный Вард, — я, когда три дня не осушал я слез о несчастной кончине этого прекрасного юноши, когда в то же время сердце мое было растерзано скорбью о потере супруги моей...

Цимисхий казался растроганным. Он помолчал с минуту и продолжал спокойнее: «Но что о прошедшем — обращаюсь к ненавистному Никифору. Покорностью отвечал я на все упреки и угрозы его, и вскоре письмо от Иосифа передало мне в руки судьбу его. Иосиф предлагал мне престол и руку Феофании, если я приму начальство над многочисленными врагами Никифора и передам Никифора в его руки — гибель соперника зависела от одного моего слова...

Помню, как теперь, когда ночью отправился я немедленно к нему. Он был нездоров, лежал на одре своем и едва увидел меня вошедшего, как схватил кинжал и готов был поразить меня... человек бессовестный! «Ты спишь, — сказал я ему, — спишь крепче Эндимиона, а смерть и измена скитаются окрест тебя. Подлый царедворец преклонил уже на сторону свою многих, и славный вождь римлян должен пасть по слову ничтожного стража гинекеев». Я вынул письмо Иосифа и отдал Ни-

кифору. Он прочитал, побледнел — стыд и совесть терзали его... «Говори, муж великодушный, что должны мы делать?» — воскликнул он. «Ты спрашиваешь меня, — отвечал я, — и не знаешь сам! Вели немедленно схватить заговорщиков, а завтра я первый воскликну: «Да здравствует император Никифор!» Малодушный — робко, нерешительно колебался он. Я оставил его шатер; через час все заговорщики были уже в кандалах по моему повелению, и едва солнце осветило табор, воины, под начальством моим, окружили ставку Никифора, и клики их гремели от одного конца табора до другого — «*Многия лета императору Никифору*». Мне отвратительно вспомнить о тогдашнем его притворстве, о том, как отговаривался, робел он, о том, как плакал он даже, умоляя избавить его от тяжести венца — сердце мое отворотилось от лицемера — теперь он привык, кажется, к этой тяжести... Посмотрели бы бы, как хорошо играет он роль великого повелителя на своем золотокованном троне... И мне, мне, моему спасителю, тому, кто мог схватить скипетр, вместе с его головою, заплатил он потом изгнанием, удалением... И меня теперь призвал он перед трон свой еще для большего позора, как бедного раба — мне, при всем Дворе, осмелился говорить, что *прощает* меня из милости и великодушия, по просьбе своей прекрасной супруги — *его супруги!*.. Подал ли я повод к такому оскорблению хоть единою жалобою, хоть малым ропотом на его несправедливость?.. О, это нестерпимо!»

— Верю твоему негодованию и гневу, почтенный Иоанн, и — важный вопрос предстоит теперь решению нашему. Скажи: кому престол царьградский, когда будет низвергнут Никифор?

«Почтенный Афанас! пусть тогда решает голос народа, патриарха, ваш голос, *синих и зеленых*... Разумеется, что малолетние дети Романа и мать их не могут править государством...»

— Кого же ты думаешь изберет голос отечества?

«Я... я не знаю, почтенный Афанас...»

— Не потребно ли быть властителем тому, кто был всегда равен мужеством Никифору, но превосходил его доблестью, великодушием, щедростью...

«Решение трудно».

— Нет, не трудно, когда есть человек, который *может* взять скипетр сам и отдал его Никифору: ему достоин быть владыкою Царьграда!

«Я не понимаю тебя, почтенный Афанас?»

И Порфирий с изумлением смотрел на Афанаса.

— Ты поймешь, когда я назову перед тобою *будущего императора царьградского*, когда я первый придам к имени его титул властителя Царьграда. Его зовут: *Иоанн Цимисхий!* — воскликнул Афанас, вставая с места и поднимая руку.

Это восклицание, казалось, не произвело никакого действия над Порфирием и над Цимисхием. Порфирий мрачно потупил глаза, а Цимисхий невнимательно облокотился на стол и молчал.

— Что же молчишь ты, Порфирий?

«Я думал о том, что голос мой тогда только присоединится к голосу твоему, когда Иоанн подтвердит все наши права, согласится на все наши условия».

— Только тогда, говоришь ты? Но великодушные и доблесть Иоанна ручаются нам за все, без договоров. И ты молчишь, Иоанн?

«Молчу, и признаться ли? Никогда не желал бы я повелевать царством — чувствую, что я не рожден к тому — не мне соображать дела государственные, привыкшему к лени и роскоши — меня увлечет первый коварный советник, меня обольстит первая красавица...»

— О! — воскликнул Афанас, — уже одна скромность твоя достойна венца императорского! Иоанн, Порфирий! укрепим союз наш дружескою чашею.

Он встал и тронул подножие одного столба. Раздался звонок. Пока стоял Афанас отворотясь, а Порфирий сидел задумчиво, быстро пробежали взоры Цимисхия по всей комнате; но он не переменил своего положения и сидел по-прежнему беспечно, облокотясь на стол.

Вошел черный невольник. «Вина, лучшего хиоского вина, — сказал ему Афанас, — три чаши, и одну из них сяхонтом!»

Невольник вышел. Цимисхий улыбнулся. «Вот доказательство тебе, почтенный Афанас, какой плохой император буду я. Знаешь ли, что пришло мне в голову теперь, когда среди важных разговоров наших ты велел принести вина?»

— Не то ли, что по слову святого Писания: *вино веселит сердце человека*, и уже одна мысль об нем заставляет улыбаться?

«Нет! мне пришла в голову огромная книга, которую покойник-дедушка наших императоров велел составить премудрому Кассиану Схоластику...»

— Я не охотник до книг и худо понимаю книжные вздоры.

«И я также, но от скуки иногда перебираю бредни наших мудрецов, и «Гεωλονιχα» премудрого Кассиана Схоластика заставляла меня не однажды смеяться. Чего не найдешь в ней! Искусство разводить голубей, птиц, рыб, садить виноград, делать масло, вино. И премудрые наставления Кассиана суть доказательства, как полезно учение. Ты не читал его книги, почтенный Афанас, и верно не знаешь, например, тайны, как можно пить и не быть пьяну?»

— Меньше пить, думаю.

«Что ж это за искусство! Нет — пей, сколько хочешь, и никогда не будешь пьян при наставлении Кассиана».

— Нельзя ли научить меня такой драгоценной тайне? — сказал Афанас, улыбаясь.

«Безделица! Стоит только, принявшись за первую чашу, произнести 170-й стих из VIII книги «Илиады»:

Трижды Зевес загремел с высоты Олимпа!»

Все засмеялись.

Невольник вошел с подносом, на котором стояли большие три золотые чаши. На крышке одной из них стоял дорогой яхонт. Невольник поставил поднос на стол и удалился.

«Успеха нашему делу! — сказал Афанас и взялся за одну чашу. — Почтенный domestик! чаша с яхонтом тебе, моему доброму гостю, и... Но кто знает будущее! — Глаза его сверкнули на Порфирия. — Старый товарищ! бери свою чашу, вот эту».

Порфирий протянул руку к чаше. Цимисхий любовался яхонтом на крышке чаши, ему назначенной.

— Аминь! — воскликнул Афанас, осушив половину чаши своей. — Что ж не пьешь ты, дорогой гость? — спрашивал он, видя, что Цимисхий обоняет и рассматривает вино.

«Благородное вино! Люблю услаждать не один вкус, но обоняние и зрение. Вот почему предпочитаю я хрустальные кубки золотым; в них вино является в полной красе своей, услада зрения, обоняния и вкуса...»

— Буду знать это вперед, — отвечал Афанас. — Неужели в *последний* раз разделяем мы с тобою нашу дружескую чашу? Услади же теперь хотя только вкус свой. Пей, почтенный domestик, и желай успеха нашему

делу, дорогой гость мой! — повторил он. Голос его выражал что-то нерадостное. Он поспешно залил его вином, оставшимся в чаше, и...

Как молния, сверкнул в это время кинжал в руке Цимисхия. Афанас не успел поставить чаши на стол... кинжал был уже до рукоятки в сердце его; чаша выпала из рук Афанаса; он упал на пол без дыхания.

— Чудовище, изменник! — воскликнул Порфирий, и кинжал его устремился быстро на Цимисхия. Удар был жестокий, но острое скользнуло по крепким латам, которые были надеты под платьем Иоанна. Порфирий пошатнулся с размаха, и в хребет его вонзился кинжал Цимисхия; с страшным стоном повалился Порфирий на свое седалище.

— Господи Иисусе Христе, сыне Божий! помилуй нас! — сказал Цимисхий, крестясь. Хладнокровно вложил он кинжал свой в ножны и приложил руку к трупу Афанаса. — Умер — кончено!

«Злодей, чудовище, змея, которую согрел я в пазухе моей», — стenal Порфирий.

Цимисхий сложил руки на груди и стоял в задумчивости. «Тебя не хотел я убить, — сказал он Порфирию. — Бедный старик! тебя погубила судьба твоя; ты не был подобен этому хитрому чудовищу, который готовил трон себе, готовил смерть мне, тебе, погибель всем «синим», заклятый ненавистник добра и чести!»

— Ты клеветешь на моего друга. Двадцать лет дружбы соединяли нас в одинаковом намерении, и за что погубил ты его, человек без чести и совести?

«Еще одна минута, и я погиб бы. Посмотри: это вино отравлено! — Цимисхий указал на свою чашу. — Тебя не хотел я убить. Зачем напал ты на меня, отмщая за злодея, мнимого друга своего?»

— Остановись! Если он обманывал меня, то не говори, не договаривай. Дай мне умереть со сладкою верою в дружбу моего Афанаса... О... какое страдание! — Чудовище! ты изменою вкрался в мою доверенность — Афанас предчувствовал... Пусть Бог рассудит нас с тобою...

«Да! пусть он рассудит, и — кто оправдается пред Тобою, аще беззакония назириши, Господи! кто постоит пред лицом Твоим!»

Набожно подымая руки и глаза к небу, проговорил сии слова Цимисхий. «Но время помыслить о живых!» — повторил он поспешно. Порфирий свалился в это время на пол и задыхался в потоках крови. Цимисхий хладно-

кровно осмотрел труп Афанаса, снял у него ключи с пояса, перстень с руки, потушил все свечи, кроме одной, которую унес с собою, и поспешно оставил он ужасное позорище смерти; вдалеке замолк шорох шагов его.

Когда философ вышел из своего убежища, он увидел несчастного Порфирия: едва собрал страдалец столько сил, чтобы влачась по полу, впотьмах, дотащиться до ближайшей к философу комнаты. Здесь стенание его обратило внимание философа.

С ужасом отступил философ.

— Что вижу я! — воскликнул он.

«Жертву легковерия человеческого».

— О, зрелище ужасное! Тебе надобно пособить... Что с тобою сделалось? Помогите...

«Излишняя забота. Стань ко мне, сюда, ближе — меня не спасет теперь помощь человеческая, но выслушай исповедь грешника — прочти надо мною отходную молитву... Мои часы изочтены...»

— Но кто убийца твой?

«Цимисхий».

— Цимисхий! Но Афанас?

«Его нет уже на свете. Там увидишь ты труп его...»

И остатки седых, пожелтелых волос стали дыбом на голове старика.

«Спаси товарищей наших, спаси Калокира, почтенный старец. Цимисхий сведал от меня все тайны нашего предприятия. По его хладнокровной решительности на ужасное злодеяние вижу, что он ко всему готовился... Скажи им... Ох! я задыхаюсь... Боже великий! еще несколько мгновений... Друг мой, почтенный друг мой! ужасна смерть неожиданная, смерть во тьме греха, без покаяния... Мщение злодею... Нет, нет! Боже! прости мое согрешение — отпусти мне, как я отпускаю ему...»

Он упал без чувств и казался умершим. В изумлении, будто неподвижная статуя, стоял над ним философ.

Но еще отдохнул Порфирий, еще раз приподнялся на леденеющие руки. «Вот перстень,— сказал он,— покажи его, и тебе поверят все мои товарищи... Пусть изберут они...»

Судороги стянули в последний раз лицо его; кровь обильно хлынула из раны, и философ начал читать отходную молитву. Тело Порфирия окостенело.

— Умер? — спросил старик самого себя, вглядываясь в выкатившиеся глаза мертвеца. — Умер! — Как? Эти два человека, за несколько мгновений столь сильные, столь мощные — *Афанас, Порфирий* — готовые завтра ниспровергнуть во прах престол императора царьградского — глыба бездушной земли, гордость гнилого тления? Афанас, который вот здесь, за час до сего времени, гордо говорил мне: *«Я судьба! Мой меч решит жребий Константинова престола...»* Боже! что же есть человек, егда помниши его, или сын человек, егда посещаеши его... Помолимся о душах их, вознесем грешную молитву к Богу живых, а не мертвых, сеющему в тление, да возрастет в нетление...

И благовейно преклонил старец колена и тихо молился над трупом гордого вельможи, сильного царедворца, грозного заговорщика,



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В вечной борьбе, которую жизнь естественная должна вдерживать против жизни неестественной, в битве, между умеренностью и излишеством, являются опасные мгновения, и тогда-то настает время показать нашу добродетель, нашу доблесть.

Симплиций Киликийский, «Epictetas philosophias monumenta»

КНИГА IV.

Не внимай злой жене, мед бо каплет от устен ея, еже на время наслаждает твою гортань, последи же горчае желчи обрящеши, и изошчрену паче меча обоюду остра... Оконцем из дома своего на пути приничуши, его же узрит от безумных чад юношу скудоумна, емиши лобзает его, бесстыдным же лицом речет к нему: «Жертва мирна ми есть, днесь воздаю обеты моя — сего ради изыдох во сретение тебе... Простиралами покрых одр мой, коврами же сугубыми постлах, иже от Египта; шафраном посыпах ложе мое, и дом мой корицею. Прийди и насладимся любви, даже до утра...»

Притчи Соломона, V, 3, VII, 6

Женщина в древнем мире не была тем, чем она в мире новом. Прекрасная статуя под властью мужчины — так определял греческую женщину один неучтивый греческий философ. А что говорил о женщинах премудрый Платон? Боюсь повторить. Странная участь — быть предметом любви, обожания, песен поэтов, и в то же время быть лишенною всех прав, всех преимуществ мужчины; оставаться запертою в особом отделении дома; никогда не появляться в народе; не участвовать даже в общественном молении. Вы смотрите на изящные произведения ваяния и живописи греков и римлян, на их статуи и картины, изображающие *Киприд* и *Психей*. но — знаете ли вы, чьи изображения видите вы?

Знаменитых Нинон Ланкло Греции — Лаис, Фрин, Таис, Аспазий, Ласфений. Гречанки жили невидимые в домах своих; никогда дерзкий взор художника не устремлялся на благородную, скромную гречанку, мать семейства или дочь честного гражданина. Воспитанная в гинекее под властью матери, она тихонько переходила в гинекей мужа и воспитывала дочерей своих, приготовляя в них рабынь или невольниц будущим мужьям. Отец решал участь детей; не спрашивали ни согласия дочери, ни воли матери.

И этого мало. Почитая жен необходимостью для оставления после себя потомства, грек и римлянин скукал дома, в обществе жены и дочерей, и жил на площади, в театре, в цирке на поле битвы. Домашней жизни у них не было — исключения, и мещан афинских и римских, в сторону. Пригласив друзей на великолепный пир, празднуя с ними, звеня чашами и фиалами, хозяин приглашал к себе и женщин, для большей прелести беседы и разгуля: это были прелестницы, танцовщицы, плясуньи, певицы афинские, римские. Шум такого пира не мог достигнуть до отдаленного гинекея, где укрывалась жена хозяина, где находились его дочери. «Я отдаю другим мимолетное, внешнее наслаждение, но тебе принадлежит мое сердце и моя душа», — говорил муж жене.

Не знаю, довольны ли были жены греков и римлян таким разделением духовного и телесного. Но знаете ли, чего недоставало в мире древних? *Любви*. Да, любви не знали они; им была известна одна чувственная, грубая сторона ее. Иногда воображение поэтов искало отдыха после шумных оргий, изобретая Аркадии, населяя их женскими существами, милыми, у которых любовь составляла всю жизнь, поцелуй был наградою за пожертвование жизнью, но сущность Греции не походила на Аркадию. Она была населена только статуями женщин, которые под именами Венеры, Дианы, Флоры, Юноны украшали сады, портики, дома, храмы греков; но истинной женщины не было в Греции. Грозное, дикое впадение нового мира, хлынувшее из Германии и образовавшее потом *рыцарство*, возвратило женщинам права, природою им предназначенные, согрело мир любовью, сделало из женщины человека — более, что-то более, нежели человека — *Даму*, с именем которой рыцарь соединял какую-то благочестивую идею, восклицая: «*Бог и Дама моя!*» Тогда создались не бездушные аркадские пастушки, которые беспрестанно целуются,

вздыхают, влюбляются на изумрудном лужку, изменяют в тенистой рощице, умирают после монолога в стихах — нет! — создались высокие идеалы любви счастливой и несчастной и всегда бессмертно, неугасимо горящей в душах, переносимой за пределы гроба, любви, которой мало самой вечности... Женщина, решительница битв турнира, женщина, с именем которой соединяется вдохновение поэта, имя которой произносит воин, идя в опасности битвы. Как бедная после того жизнь и поэзия греков, как жалка и груба вакхическая любовь в их поэзии, как глупы и ничтожны Омировы Елены и Виргилиевы Лавинии подле созданий поэзии, появившейся с тех пор, когда женщина появилась в мире в своем полном достоинстве человека!

Впрочем, говоря слогом людей деловых — *поелику* издавна велись в Греции и Риме заведенные обычаи, то женщины привыкли к ним. Мусульманка умрет, но не снимет покрывала с лица своего; греческая женщина ни за что не захотела бы подвергнуться открытой жизни — являться в обществе между мужчинами, танцевать, петь, говорить, как наши дамы: она обесславила бы себя. Такая жизнь была предоставлена только прелестницам греческим и римским. Тысячи, десятки тысяч прелестниц всякого рода населяли знатнейшие города Греции и Рима. Гораздо прежде времен Августа, богачи греческие и римские не щадили ни денег, ни времени для этих бесславных и обожаемых всеми созданий. Великолепные дома и сады, веселые пиры, роскошь в уборах, кокетство и разврат — все было у них, окружало их, все было истощено ими, и к туалету их, на пиры и веселья их являлись знатнейшие вельможи, избранное юношество, поэты, философы, ораторы. В будуаре Лаисы и Аспазии вы могли встретить Сократа и Диогена, Перикла и Аристофана, Исократу и Никию.

Это вело за собою следствия самые несчастные. Дошло до того, что молодой щеголь римский, женатый и неженатый, не был щеголем настоящим, если не было у него на содержании какой-нибудь красавицы и если он не проматывался на эту красавицу. Такие женщины вмешивались в дела государственные, и при развращении нравов, примерах Юлий, Мессалин и Агриппин, такие женщины решали все дела, нередко восседали на тронах императоров. Законное супружество упало в общем мнении — страшились связывать себя женою, и не стыдясь говорили в римском Сенате: «Римляне! надобно однако ж жениться — нечего делать! Как ни тягостно

наложить на себя цепи супружества, но необходимость иметь законных детей связывает нас и заставляет жениться!»

И все это перешло в Царьград и еще более обезобразилось в Царьграде, потому что и в Риме в последнее время жены получили более свободы, и — если только вполупину поверите вы Лукиану и Ювеналу — довольно — вы не захотите жениться на римлянке. Прелестницы царьградские перемешались, наконец, с честными женщинами до такой степени, что трудно было различать их и различать детей, рожденных от жены и от наложницы. Законы оставались строгие, как во времена первобытного Рима, оставались и цензоры; но — что такое законы, если их не исполняют? Паутина, как говаривали во времена Солона: маленькая мушка в ней путается и вязнет, а большая муха разрывает ее и улетает свободно. А цензоры? Чиновники, получающие жалованье и делающие, что им велят делать. Страннее всего было, что при свободе, даже излишней, старинное устройство женских отделений, или *гинекеев*, оставалось прежнее, и приличия общественной жизни оставались прежние. Даже допустив женщин ходить в церкви для моления, их отгораживали в особом отделении, и мужчина не мог войти в это отделение. Смешивая всякие обычаи Греции и Рима, Скифии и Востока, знатные люди завели у себя евнухов; а между тем за половину наследств производились тяжбы, потому что родственники беспрестанно доказывали незаконность рождения детей; а между тем — половина императриц царьградских были возводимы на престол Константина из танцовщиц, певиц, фиглярок, прелестниц, которые обесславили бы собою гинекей самого простого гражданина!

Гинекеи царьградские отличались особенным великолепием, как будто в вознаграждение женщин за скуку их отделения. Это были клетки, но золотые клетки. Роскошь истощала в них все способы наслаждения — зрение, слух, вкус, обоняние услаждаемы были золотом, мрамором, драгоценными камнями в уборах, благоуханными курениями, редкими, пахучими растениями и цветами, плодами и яствами, прельщавшими самую утонченную гастрономию гречанок; толпа невольниц окружала повелительницу гинекея, пела вокруг нее, и муж плясал под ее дудку, едва только вступал в святилище гинекея.

Можете вообразить после сего: каков был гинекей императрицы царьградской в чертогах Влахерны и Ву-

калеона! Говорили, что сама роскошная Феодора, супруга Юстинианова, не превосходила в роскоши и великолепии Феофанию, супругу великолепного до безумия Романа, вышедшую по смерти его за Никифора. Это был отдельный, обширный дворец, соединявшийся с главным дворцом бесконечными переходами. Золото, мрамор, порфир... Но я боюсь наскучить своими описаниями...

Через неделю после происшествия в доме Афанаса, которое мы рассказали читателям, бурный осенний день отяготел над Царьградом. Понт Эвксинский стenal, как раненый лев; волны его свирепо хлестали о берега, небо занавесилось тучами и облаками; то шумел порывистый дождь, то снег, явление редкое на берегах Босфора, падал из облаков и крутился в вихрях; не один корабль погиб в этот день, уже в виду Царьграда, уже совершив путь из какой-нибудь отдаленной Туле, от берегов Африки, или перерезав быстрым бегом своим все протяжение моря Средиземного.

Но буря, волнение природы, бунт стихий страшны только тому, кто блуждает в это время по волнам моря или бредет беспомощным, бескровным странником по земле. Напротив, еще приятнее наслаждаться тишиною, роскошью тихого убежища, когда буря воет извне и дождь и снег стучатся в окна.

Наступал вечер. В великолепном будуаре Феофании день заменялся множеством светильников. Этот будуар не походил на обыкновенную комнату греческую: он был убран на восточный образец, с пуховыми диванами, с балдахинными занавесами, со всей роскошью Азии. Сама Феофания казалась не великолепною, важною императрицею греческою, но какой-то одалискою восточною. Она только что вышла из своей роскошной ванны, была еще полуодета и лениво нежилась на диване. Ряд невольниц, арапок, славянок, турчанок, аравитянок, стоял в отдалении; некоторые из них держали в руках музыкальные инструменты, в рабском молчании ожидая, не велит ли императрица петь, играть, плясать. С другой стороны находились приближенные женщины императрицы. В двери заглядывали невольники, ожидая: не велит ли принести драгоценных плодов, закусок, вареньев? А она что делала?

В легкой, лазуревом цвета тюнике, облокотясь на мягкую подушку, Феофания наклонилась к двум неволь-

ницам: одна из них держала в руках золотую чашу с розовою, душистою водою; у другой в руках было золотое блюдо; и на нем лежало множество ниток крупного жемчуга. Феофания брала нитку за ниткою, срывала с ниток жемчуг и опускала в розовую воду. Перлы катились по ее белым рукам — Феофания мыла их в воде. Это была одна из любимых забав ее, и говорят, что до сих пор роскошные султанши восточные любят особенно это занятие, и множество стихов было доныне написано, тысячи сравнений придумано поэтами на эту забаву. Поэты уподобляют прелестные, розовые пальчики красавиц, перебирающие в воде жемчуг — розовым облакам весны, из которых сыплются перлы росы на розы и лилии... Перебирая в воде жемчуг, Феофания рассыпала его потом на зеленый бархатный ковер, и одна из невольниц немедленно низала из него ожерелья.

— Ах! как это скучно! — сказала Феофания, отталявая чашу и блюдо и небрежно склоняясь на диван. — Переберите вы его... Возьмите прочь...

Невольницы сели подле дивана на парчовых скамеечках и продолжали мыть и низать перлы.

— Который час? — спросила Феофания у одной из приближенных своих.

Почтительно подошла эта приближенная к какой-то великолепно украшенной, небольшой машине, присланной некогда в подарок от калифа императору греческому. Посредством скрытного механизма каждый час выпадал тут из глобуса, унизанного разноцветными камнями, золотой шарик в серебряную чашку и означал разделение дня и ночи на часы. Нынешних наших часов тогда еще не знали.

Феофания не вслушалась в ответ своей прислужницы. Задумчиво сидела она и перебирала вышитый золотом край лазуревых тюника своего. Казалось, что не одна скука тревожила ее; тайное, скрытое что-то мучило Феофанию, и она не могла найти утешения ни в забавах, ни в раблепии своих невольниц. Она сердилась, смеялась, задумывалась — но время, будто свинцовый груз, тяжко лежало на груди ее; беспрестанно спрашивала она: который час?

— Вынесите эту проклятую вазу, с этим гадким индийским куреньем! — вскричала Феофания, указывая на серебряную курильницу, откуда веяло ароматами, купленными на вес алмаза, — у меня разболелась голова от

этого чада! — Невольницы бросились выносить курильницу.

— Говори мне что-нибудь, Пульхерия! — сказала потом Феофания одной из прислужниц, растягиваясь на диване. — Твое дело развеселять меня умными разговорами.

«Великая повелительница! что прикажешь мне, послушной рабе своей, говорить?»

— Ври что-нибудь, глупое создание!

«Если бы я была мудрее Платона и Сократа, и тогда недостаточно б было всего ума моего для изречения чего-либо достойного внимания твоего, мудрая императрица. Не прикажешь ли что-нибудь прочесть?» — Пульхерия была чтецом императрицы.

— Ах! это надоело мне пуще... пуще супружеской верности, — промолвила Феофания про себя тихо, усмехнувшись. — Да, кстати, о любви. Эй! Зюлейка!

Молодая, прелестная аравитянка подошла к Феофании, преклонила колена и обратила на нее свои пламенные глаза.

— Спой мне ту песню о любви, которую ты вчера пела.

Аравитянка взяла теорбу, настроила ее и как бесчувственный автомат начала играть и петь. Ее наружность составляла смешную противоположность со словами песни.

«Видал ли ты долины счастливой Аравии, видал ли шатры сынов Аравии, как небесные облака, усеявшие золото степей своею белизною? Там свободно, там вольно дышит сын Аравии!

Видал ли ты пески сыпучие аравийские, когда вихрь подымлет на них облака песчаные, и вольно, и буйно вьет и несет эти облака по поднебесью, спускает на землю, мчит снова под небеса? Так вольно, так дико мчится сын Аравии на летучем бегуне своем: он не на небе, он не на земле — он летит на сыне вихрей между землей и небом.

Видал ли ты солнце аравийское, щит небесный, видимый по небесам незримою рукою небесного ангела, раскаленный и пламенный?

(Видал я аравийские шатры и бегунов аравийских, облака небесные и пески земные, и солнце аравийское, горящее, палящее).

Знаешь ли, что раздольнее шатра, буйнее вихря, пламеннее солнца аравийского? Это любовь аравитянской девы!

О, прекрасна дева Аравии, когда в сумраке вечера ждет витязя и прислушивается к топоту коня его; буйна и бешена страсть ее, когда она завидует звездам, очам неба, видящим ее милого друга, которого не видит она за горами и долинами; пламенные ее объятия, когда она прижимает его к сердцу своему во мраке роскошной ночи...»

— Ты поешь, как неживленная статуя! — вскричала Феофания с досадою.

На глазах аравитянки навернулись слезы.

— Отчего вчера пела ты эту песню так хорошо?

«Так — мне пелось хорошо».

— Глупая! А теперь отчего поешь так дурно?

«Так — мне поется дурно».

— Говори, я тебе приказываю!

Казалось, что вся дикая гордость вольной аравитянки оживила Зюлейку. Она сверкнула очами и отвечала: «Ты велишь мне петь, когда бы я хотела молчать; ты велишь мне петь о моей Аравии, а я сижу в твоих каменных чертогах, я раба твоя, я — свободная дочь степей аравийских в прежнее время! Вчера привиделись они мне во сне, в мечте ночи, прилетел ко мне вольный дух моей отчизны и перенес меня туда, под шатры отчизны моей, и я проснулась так радостно, и я пела так весело!..» — Смелый ответ несколько не рассердил Феофании.

— Зюлейка! ты любила когда-нибудь?

Аравитянка закрыла глаза руками, потом приложила руки к груди своей и, казалось, хотела задушить ответ у сердца своего.

«Да, — сказала она, — я любила, любила прекрасного фариса аравийского... Не спрашивай меня, государыня, не требуй от меня песен моих об Аравии и об любви аравийской! Могу ли передавать эти песни на вашем чужом языке? Ваш язык — стоячее болото, а язык отчизны моей — гневное море, когда его пенит и волнует буря, и волны его просятся в раскаленные молнией облака небесные и сыплют на берега перлы и кораллы, и камни самоцветные!»

— Разве у нас в Греции не знают любви, Зюлейка? Разве наши юные греки хуже ваших аравитян?

«Ваши юные греки, государыня? — Зюлейка усмехнулась. — Ваша любовь греческая? Послушай рассказа моего, государыня».

— Сядь тут, Зюлейка. — Феофания протянула руку Зюлейке в знак милости.

«Был славен витязь Абу-Малек между всеми аравийскими витязями. Никто не бросал копья далее его, никто не опережал на бегу коня его, никого не любили так пламенно девы Аравии. И вдруг сосцы печали упоили Малека, возлег он на грудь скорби, был как камень, опаленный зноем среди песков Аравии; он сделался порогом храма любви, он увидел Леилу, и тень безумия закрыла солнце ума его. Он бежал в пустыни и говорил с ветрами пустынь: *Я люблю Леилу*.

Повесть о Малеке сделалась перлом бесед. Так никто еще не любил — говорили старцы; так не умеем мы любить — говорили юноши; так никто не любит нас — говорили девы. Эмир, щедро наделенный богатствами и богатый щедростью, услышал повесть о Малеке. Он ссудил Малека золотом участия; он сам пил некогда горечь разлуки и ел плоды отчаяния любви. «Беги, как звук скорый, приведи ко мне ту, которая сожгла сердце Малека огнем очей своих». — «А ты беги, как вихрь быстрый, приведи ко мне из пустыни того, кто сделался царем любви, кто выменял любовь на ум свой!»

И предстала пред эмира, утренняя звезда красоты, Леила, в блеске своих прелестей; предстал и солнце любви, Малек, во тьме своего отчаяния; безумие глядело из глаз его; печаль одевала его своими крыльями; аравийский терн расчесывал его волосы; песок пустыни прикрывал его во время ночей.

«О ты, заблудшийся в долинах скорби! знай: Леила любит тебя — я отдаю тебе Леилу, и с нею богатства и почести!» — Так говорил эмир.

— Юноша! я люблю тебя, и если бы я была царица всей Аравии, я отдала бы тебе Аравию с сердцем моим. — Так говорила дева.

«О эмир благодетельный! Мне не надобна Леила!

О ты, перло перл, роза роз! Я не хочу обладать тобой!

К чему мне богатства и почести без Леилы? К чему богатства и почести с Леилою? — Так говорил Малек.

— Заклинаю тебя прахом отца твоего: скажи, или ты не любишь Леилы? Почему ж с тощего коня скорби не хочешь ты пересесть на лихого бегуна радости, гулять в садах любви и насадить рай на земле?

«Великодушный эмир! может ли пылинка приблизиться к солнцу? Мне обладать Леилою, когда любовь моя есть дерзость презренного духа, смело взглянувшего на вечный трон Аллы? Мне обладать Леилою, когда всей

жизни моей недостаточно заплатить на одно дерзновение — любить ее?»

Так говорил Малек и снова бежал в пустыни, и говорил ветрам пустыни: *Я люблю Леилу!* И навсегда повесть о любви его осталась цепью бесед. Так никто еще не любил — говорили старцы; так не умеем любить мы — говорили юноши; так никто не любит нас — говорили девы».

Феофания захохотала громко и развеселилась от пламенного рассказа Зюлейки. С изумлением смотрела на нее юная аравитянка.

— Да, в самом деле, так не умеют любить у нас в Греции! — вскричала Феофания. — И признаюсь, я благодарна нашим грекам, что они не похожи на ваших аравитян! Если бы они бегали по пустыням...

«У вас и пустынь нет, — сказала с презрением Зюлейка, — кроме тех мест, где жили некогда люди и где запустение залегло теперь развалинами и кладбищами. У вас нигде и ветру разгуляться: везде отравит его глестворное дыхание человеческое...»

— Чему ты смеешься, Феония? — спросила Феофания у одной из гречанок.

«Государыня! раба твоя смеется тому, что и у нас в Греции так же любили когда-то. Есть и теперь, говорят, где-то каменный утес над морем, и с него бросались те, кто был несчастлив от любви. Говорят, что прежде на этом утесе протолпиться было невозможно».

— А теперь?

«Теперь немногие знают дорогу к этому утесу, и она так заросла крапивою и терном, что если бы кто и хотел прийти на этот утес, то не проберется по дурной дороге».

— Стало быть, теперь менее людей, несчастливых в любви?

«Не смею противоречить тебе, государыня».

— Говори.

«Осмеливаюсь думать, что теперь у нас любят иначе, и, если позволишь, я расскажу тебе, повелительница, как любят в наше время».

— Говори.

Феона начала рассказ.

«Сказывают, что когда-то, давно или недавно, право, не знаю, в одном большом городе, помнится, Эфес, жили шесть красавцев и три красавицы. Шесть красавцев влюбились в этих трех красавиц, и так влюбились, что получше Зюлейкина Малека: они решились на дело гораздо страшнее беганья по пустыням и разговаривания

с ветрами, а именно — они решили жениться на красавицах, хотя старинная пословица уверяла их, будто красивая жена, что морская волна — и спит, так не верь ей».

Все засмеялись.

— Мне кажется, что ты сердита на свое зеркало, Феона, и потому сердись на красавиц, — сказала Феофания. — Впрочем, кривой нос твой дает тебе полное право...

Новый смех. Феона поморщилась и отвечала: «Может быть, государыня; но если бы я была мужчина и вздумала жениться, то выбрала бы самое меньшее зло: жену не молодую и не красавицу».

— Продолжай.

«Но, как шестерым на трех жениться нельзя, хотя это, право, было бы не худо, то наши красавцы решились кинуть жребий, кинули — вышло трем, а трое принуждены были оставаться без жен. Счастливы избранные предложили красавицам руки и сердца и вскоре сделались счастливыми супругами. Остальные трое сильно печалились, только один из них, у которого всегда было, что называется *παρὰ τὴν διάνοιν* (присутствие ума), скоро утешился, начал уговаривать товарищей и успел уверить их, что им досталась лучшая доля. «Кто препятствует, кто запретит нам любить этих красавиц? — говорил он. — Кто препятствует и красавицам этим любить нас? Если у проклятых мусульманов бывает и по десяти жен, зато у нас не запрещено обожать десяти любовниц, и — право, друзья, выгода на нашей стороне. Не верь коню, лодке и жене — пословица не лжет».

— Ты, верно, на себе испытала это, Феона? Не правда ли? — спросила Феофания, смеясь. Рассказ Феоны чрезвычайно забавлял ее.

«Великая повелительница! я рассказываю так, как слышала. Умный красавец утешал своих товарищей, и, когда те указывали на счастливых товарищей женатых, говорил им, что у счастья крылья орлиные, а нрав женский: сейчас только на месте — вздумало, вспорхнуло и улетело. Вскоре так и случилось. Трое неженатых красавцев ходили к женатым и так любовались счастьем их, что, видно, сглазили своих прежних товарищей. Вдруг, ни с того ни с сего, счастливые супруги занемогли, и сперва умер один, потом другой, потом и третий. Но вот какая была беда: они умерли — что же с ними делать? Их не воротишь. Да, красавицы, жены их, были неутешны — плакали, кричали, посыпали пеплом головы, оделись в самое печальное платье, и всего этого казалось

им мало: воздвигли они мужьям своим великолепные гробницы, и такие дали страшные обеты, что в целом го-годе только и говорили об этих добродетельных супру-гах.

Одна из них велела вырезать себе болван деревян-ный, так похожий на ее мужа — ну! точно живой, и ду-шой и телом — и день и ночь плакала она и обнимала милый свой болван.

Другая не довольствовалась болваном, но хотела со-хранить своего супруга, если не живого, так хоть мерт-вого: велела набальзамировать его тело и беспрестанно плакала над ним.

Третья и этим не довольствовалась — нет! — она ос-тавила дом свой, поселилась близ гробницы мужа, по-строила подле нее маленькую келью, обвела гробницу потоком воды и поклялась, что пока будет течь эта вода кругом гробницы, она не перестанет плакать.

Так и пошли дела. Услышали обо всем этом три не-женатых красавца; жаль им стало бедных вдов, реши-лись они пойти и постараться их утешить. Пришли к пер-вой — она не пустила их к себе; пришли к другой — она отказалась их видеть; пришли к третьей — она, сквозь окошечко своей кельи, разбранила их и сказала, что ес-ли еще раз придут они, то она встретит их палкою.

Видите ли, великая владычица, как любят у нас в Греции? Не по-арабски!»

— Нужели твоя глупая сказка вся тут?

«Нет! если прикажете, я расскажу и окончание, но посмотрите, как сердятся многие, особливо Зюлейка! Если бы неправда была, то не колола бы глаз».

Феофания захохотала.

— Положим, что так, но, продолжай.

«Этакой нрав у женщин,— говорил один красавец,— пока были у них мужья живы, они были к нам ласковы, а как мужья умерли, они и не глядят на нас. Видно, сильна была любовь их, что и нас любили они ради му-жей своих». «Слыхал я,— промолвил другой,— будто любовь женщин походит на росу небесную: жива до пер-вого солнышка — взойдет солнышко, и роса высыхает». «Да и что вздумалось нам идти всем троим вместе? — сказал третий.— Утешать идти, так надобно одному быть, и не завидно ли будет нашим вдовушкам, если к одной приходят трое, а двум другим и по одному недо-стается? Разделимтесь, товарищи; кинем жребий, кому которую утешать достанется». Кинули жребий и отпра-вились. «Кто пришел?» — спросила неутешная вдова, та,

у которой был вырезан деревянный болван. «Я». — «Зачем ты пришел?» — «Утешать тебя, прекрасная подруга друга моего». — «Меня утешать? Какое мне утешение; вся моя утеха смотреть на изображение моего покойного мужа любезного, и — плакать!» — «Да чем смотреть на деревянного болвана, лучше посмотри на меня: ведь я очень похож на мужа твоего — точь-в-точь покойник!» — «Неужели? А я в горести моей и забыла об этом». — Вдова отворила окошко, посмотрела на утешителя, в самом деле нашла в нем сходство с покойником, и долго плакали они вместе и разговаривали. На другой день показалось им, что лучше плакать в комнате, нежели в окошко на улицу, где всякий прохожий видит их неутешные слезы, а ведь люди такие злоречивые... На третий день они уж не плакали, а только сидели перед камином и горевали. Не знаю, холодно что ли стало им, камин надобно было растопить получше; сухих дров не случилось — до того ли было этой бедной вдове — думать о дровах! «Ах, если бы камин растопить, — сказал утешитель, — да жаль, дров-то нет». — «А вот, кстати, болван моего милого покойника — какое доброе, сухое дерево — точно сам покойник мой! Он такой был добрый, что, конечно, порадует, если и по смерти на что-нибудь пригодится». Взяли вдовушка с утешителем бедного болвана, раскололи его и растопили им камин.

Между тем другой утешитель старался утешить другую бедную вдову. В первый день она и в дом его не пустила; на другой день впустила, да только все плакала; на третий не плакала она — засиделась что-то с утешителем — заговорила. Вдруг утешитель начал жаловаться на сильную боль в животе. Вдова встревожилась. Как пособить? «Ах! как жаль — заторопился я идти из дома и забыл дома свой нос!» — «Какой нос?» — «Такой нос, который у меня всегда в запасе: один халдейский лекарь продал мне человеческий нос и велел, когда заболит у меня живот, прикладывать его к больному месту, этот нос, и боль проходит». — «Неужели правда?» — «Правда, и мало ли чудес в мире!» — «Да разве это какой-нибудь заколдованный нос?» — «Нет, просто нос, как все носы. Ах! если бы у тебя был какой-нибудь лишний нос...» — «Жаль мне тебя, да только у меня, кроме моего носа, другого нет, а этот не хочется мне отрезать». — «Да вот, кстати: твой покойник у тебя в доме, и нос у него цел?» — «Кажется, и такой еще длинный». — «Нельзя отрезать у него и отдать мне? Он такой был добрый — при жизни позволял водить себя за нос,

и так любил меня, что, верно, не откажется после смерти ссудить меня своим носом. Ведь ему все равно, с носом и без носа, а если я умру, что ему за радость?» — «В самом деле!» — Вдова побежала, отрезала у покойника нос, и покойник не рассердился, и утешитель вылечился. После этого вдова подумала: «Теперь не сердится мой покойный муж, что у него носа нет, но не вздумал бы потом рассердиться за это», — и велела она его похоронить.

Через три дня сошлись двое товарищей, спрашивают друг у друга: «Что твоя вдова? Утешилась ли?» — «Да». — «А твоя?» — «И моя не грустит». Они рассказали друг другу свои похождения, посмеялись и пошли посмотреть, что делает их третий товарищ? Его застали они у третьей неутешной вдовы, и что же делали вдова и товарищ двух красавцев? Отводили ручеек, которым обвешана была гробница. Извольте припомнить, что вдова обещалась до тех пор плакать, пока ручеек будет вокруг гробницы течь? — Вы смеетесь, государыня? А все это сущая правда; по крайней мере, очень на правду походит».

— Благодарна тебе за твою правду, только не советую рассказывать при мужчинах этой правды. Они и без того так смеются над легковерием женщин, готовых верить всякому утешителю...

«Пусть только дослушают они окончание моего рассказа, так перестанут смеяться».

— Еще окончание?

«В трех словах: утешителям очень понравилось утешать молодых неутешных вдов, и они решились всегда утешать их. Словом, трое красавцев женились на трех красавицах вдовах. Каждый из них думал: «Уж если я умру, и после меня вдовой останется жена моя — верно, никто не утешит ее, и она умрет с горя...»

Сказка, которую рассказала Феона, считалась одним из остроумнейших рассказов греческой словесности того времени, словесности, которая после Омира, Анакреона, Сафо и Феокрита щеголяла Афинодорами, Никодимами Ираклийскими, Доснадами, Музеями. Не удивительно, что эта сказка чрезвычайно понравилась Теофании, а после этого как было не любоваться этою сказкою ее подчиненным!

Но Теофания снова задумалась; казалась, по крайней мере, рассеянною... И было от чего!

Премудрый Соломон давно говорил: «О сын мой! не внимай злой жене: мед каплет от уста ея, и временно ус-

лаждает гортань твою, но горче желчи будет он тебе, и паче меча изошренного. Ночами безумия приблизишься ты с нею к погибели. Беги от нея — не приближайся к дверям дома ея, да не предаст другим живота твоего и жития твоего немилостивым; да не насытятся иные твою крепостью, и труд твой, да прейдет в чужие дома...»

Становилось поздно. Среди веселых рассказов и разговоров вошел немой черный невольник, преклонил колени пред Феофанией, и она ужаснулась, казалось, когда увидела изуродованное природою и людьми создание, карлика, искривленного и безобразного.

И ужасное душевное волнение, казалось, терзает Феофанию. Она побледнела, закрыла глаза рукою, как будто боялась страшного привидения. Поспешно встала она с дивана и ходила скоро и беспорядочно по своему роскошному будуару. Никто ничего не смел сказать — никто не смел посмотреть на Феофанию. Но был некто, кто смело глядел на нее в это время — незримый, но видимый...

О совесть, совесть! неумолимый страж человека, неусыпающий на бархатных подушках, не заглушаемый веселою песнью! Как червь, подтачиваешь ты здания, воздвигаемые пороком и страстями... Неумолимая Немезида! все погибнет перед волею человека, погибнет добродетель и стыд — не гибнешь одна ты! Змеей сосешь ты грудь преступления; гробовым червем стучишь в уши порока; сойным видением терзаешь его, когда он думает успокоиться на ложе своем; в яд превращаешь ты драгоценное вино, которым тушит он пламень, пожирающий душу его, и как часто кровавою головою погибшей жертвы представлялись злодею дорогие яства, и полет журавлей обличал преступника!

Но Феофания укрепилась. Она уже так закалена была в буйных страстях своих, она так далеко перешла за тот порог, подле которого сидит и плачет робкое раскаяние, что возврат был ей невозможен.

Нет, нет! Всегда возможен он, как возможно милосердие и помилование Божие! Оно брат, оно друг твой, раскаяние-примиритель с Богом!

— Довольно. Благодарю вас. Вы можете удалиться! — сказала Феофания своим приближенным и невольникам. Все преклонились перед нею и удалились медленно. Комната опустела. Карлик все еще стоял на коленях, преклонив голову. Феофания дала знак рукою.

Уродец, ожидавший сего знака, мгновенно поднялся и пошел — и еще раз остановила его Феофания.

«Неужели и теперь, опять испытать мне должно,— думала она,— испытать, что испытала я в ужасный день смерти Романа? Как! Эта глупая робость не исчезла в течение семи лет? И опять это страшилище, которое преследовало меня столько времени, будет преследовать меня? Опять этот стон, это хрипение умирающего, все, что чудилось мне тогда столько времени, опять все это будет чудиться мне?»

Ужасно! Еще есть время... Одно слово мое, и он спасен, и погибнет злодейство... Ему погибнуть? Погибнуть Цимисхию, прекрасному, мужественному Цимисхию! Если бы можно было воротить... Говори, ум, говори мне, сердце мое!»

Безумная! к Богу должна была прибегнуть ты — молитвы требовать от души твоей, а не покорных ссветов от своего предателя-сердца!

«Зачем, Цимисхий, увлек ты меня с собою? Зачем потребовал ты преступления, как залога любви моей?»

Она махнула рукою. Карлик исчез.

— Совершенно! — невольно вскричала Феофания; ноги ее дрожали; она не могла стоять и в бессилии упала на диван.

— Неужели этого не простит мне милосердный, премногомилостивый Господь! Да, я клянусь, что отныне жизнь моя посвящена будет милосердию, призрению странных, помощи сирым и вдовицам. Я сооружу, воздвигну церковь на диво векам, во имя Богоматери, всех скорбящих радости, украшу ее золотом и серебром, дорогими камнями и муссиею; перекою мои украшения в утвари священные; подле церкви будет больница, общая обитель благочестивых невест Христовых... Через несколько лет я оставлю трон царьградский, постригусь, посвящу слезам и молитве остальные дни мои, пойду пешком в Иерусалим... Господь помилует меня!

Ужасный порыв ветра заревел мимо окон будуара; снег и дождь хлынули в окна, и буря завывала, как будто дьяволы смеялись вдалеке над словами Феофании.

В страхе, крепко зажала она глаза руками и с криком испуга и ужаса упала на подушки дивана. Мягкая бархатная подушка показалась ей раскаленным адским железом.

Бедная владычица Царьграда! если бы в эту минуту горестная какая-нибудь вдовица, у которой нет крова в час этой свирепой бури, у которой нет куска хлеба для

плачущих сирот ее, которую отталкивает от дверей рука жестокосердого богача — если бы эта печальная страдалица могла в эту минуту заглянуть в твое сердце... она не променялась бы с тобою на твою участь...

— Никифор! я иду к тебе! Ангел-хранитель мой! предводи моими стопами! — воскликнула Феофания, встала и, едва держась на ногах, опираясь на диван, хотела идти. Но голова ее кружилась — в глазах ее было темно. Со страхом глядела она вокруг себя.

— Где же все они? — шептала Феофания. — Зачем все они оставили меня? Или я отравляю дыханием моим самый воздух так, что все бегут от меня?.. Я одна...

«Ты не одна, божественная Феофания», — сказал кто-то тихо и приветливо.

С изумлением оборотилась Феофания. Перед нею стоял Цимисхий.

Пока Феофания была одна, со своею незримою, грозною совестью — она была человек, женщина, бедная, кающаяся грешница; но едва другой явился к ней — в Феофании исчезла грешница, женщина, исчез человек: она была могущая повелительница всего, что окружало ее; всякий, кто ни приблизился бы к ней, был ниже ее, был ее подданный, подвластный ей — он был человек, а она царица, владычица Царьграда. Ни перед кем не могла она открыть души своей, ни перед кем не захотела бы она унизиться, являясь человеком, подобным другому — она была владычица Царьграда...

И — что делает долговременная привычка власти и могущества! Феофания, на которую страшно было взглянуть за несколько мгновений — так бледно, как смерть, было лицо ее — казалась теперь спокойною; лицо ее оживилось; румянец появился на ее щеках; глаза ее приняли привычное выражение гордости и неприступного величия. Спокойно села она на диван и роскошно облокотилась на подушки так, что щегольская лазуревая туника живописно обвила прекрасный стан ее; белая рука как будто невзначай, выставилась до половины из рукава, и ножка видна была, старательно обутая в красные сандалии. Царица сменила в Феофании женщину — кокетка — преступницу.

Неисчислимы пути и тропинки зла, по которым влечет оно человека, едва человек поддался ему — бездны порока прикрыты цветами страстей; василиски и аспиды ядовитые скрываются в мягкой мураве обольщений...

Но всякого другого, а не Цимисхия, могло обмануть притворное спокойствие Феофании, не Цимисхия, воз-

росшего среди крамол Двора царьградского, испытанного в страстях — он высказал бы Феофании то, чего сама она подозревать не могла.

«Если и нет меня здесь, могущественная владычица Царьграда и всего Востока! — продолжал Цимисхий, — сердце мое всегда лежит у ног твоих, и дух мой всегда блюдет, да не прикоснется никакое зло к твоей очаровательной особе!»

— Благодарю, Иоанн Цимисхий, но думаю, что не время теперь хвалить красоту мою.

«Всегда время удивляться ей, и никогда не изберем времени достойно восхвалить ее, владычица сердец!»

Феофания молчала.

«Не забудем однако ж, что время есть вещь дорогая и невозвратимая. Благоволишь ли немедленно вручить мне ключ от тайных выходов к приморью до твоей опочивальни, великая властительница?»

— Разве надобен уже он?

«Разве еще не надобен он? должна спросить ты, владычица Цимисхия, если только дорожишь твоею жизнью и моею жизнью. Буря закрыла извне все мои приготовления; шум пира и веселья заглушит все опасения во дворце.

— Веселья, Цимисхий?

«Неужели божественная Феофания забыла, что в сей день вечером назначен торжественный пир для болгарских царевен, и что все ожидают только одного слова твоего для начала? Произнести это слово, и чертоги вукалеонские огласятся кликами и песнями радости».

— Пир? Сегодня? Ах! я и забыла о нем... И Цимисхий будет на этом пире?

«Повелительница моя опять забывает, что мне непозволено являться в чертоги вукалеонские без особенного приказанья недоверчивого супруга ее, тирана Греции, который трепещет и боится мухи и не доверяет самой крепкой страже дворца своего».

— Он имеет право не доверять... Его окружают злодейство и измена...

«Государыня!»

— Пир в чертогах Вукалеона... А между тем, где будешь, что будешь ты делать, Цимисхий?.. Трепещу...

«О чем же, могущая повелительница? Да и нельзя не трепетать, если только вспомним, как ужасно в такую ночь, каково теперь, плыть через Босфор на легкой ледье, укрываясь от всех взоров, когда в глазах плавателя гибнут корабли, разбиваемые бурей, как ужасно

идти сквозь тройную стражу, приблизиться к логовищу льва, войти в него, ввести отважных товарищей, и мстить ему за неволю, за своенравную жестокость, с какою обходится он с своею супругою, с тою высокою особою, которая возвела его, ничтожного раба своего, на престол Царьграда...»

— Цимисхий! не оскорбляй Никифора; не отнимай у него чести и славы, если отнимаешь престол и жизни! Зачем прикрывать бездну преступлений даже и не перед людьми, но пред самим собою...

«Повинуюсь безмолвно, и — не угодно ли тебе, великая повелительница! отдать мне ключ?»

Феофания оставалась неподвижною.

«Я понимаю теперь, могущая повелительница, и вижу ясно, что должно мне делать; вижу, что сердце женщины, как и следует быть ее нежному сердцу, мягко, как воск; понимаю, что сердце женщины, подобно воску, принимает все впечатления. И в таком случае дело мужчины, дело того, кому женщина вручает судьбу свою, сохранить ее от всех сомнений, от всех впечатлений, которые могут разрушить ее собственное счастье, и, может быть, счастье миллионов людей, если она, подобно бо-жественной Феофании, повелительница обширного государства...»

— Цимисхий! едва только допустила я тебе малое преимущество, уже ты дерзаешь говорить со мною голо-сом повелителя, уже я предвижу в тебе будущего ти-рана...

«Нет, великая повелительница, нет! Смотри, как поступает тот, кого подозреваешь ты в желании, в дерзком намерении — быть горделивым повелителем...»

Он преклонил колено и благоговейно поцеловал край одежды Феофании. Казалось, что это польстило гордости Феофании; она смотрела на Цимисхия так величаво, так величественно...

«Благоволи же вручить мне ключ», — сказал Цимисхий твердым голосом.

— Ты непреклонен, Цимисхий!

«Неужели тебе угодно еще колебаться в нашем пред-приятии, величая повелительница? Разве для себя иду я на тысячи опасностей, вхожу в эти чертоги, где стены подглядывают, где двери подслушивают, где меч готов упасть на мою голову при каждом шаге моем? Не для того ли, чтобы возвратить свободу богоподобной Феофа-нии, чтобы избавить ее от ига тяжкого, от ее ненавист-ного супруга, чтобы снова возвратить ей достоинство

единственной самовластительницы, исхищенное из рук ее своеволием вельмож, прихотью царя, замыслами гордого Никифора — не для того ли только иду я на смерть, гибель, позор?»

— Позор!.. О Цимисхий! а если совершится все по твоему желанию.. не позор, но кровь, как яд палящий, запятнает нас...

«Или ты думаешь, что возврат еще возможен, великая повелительница?»

— Для тебя — нет... Я это чувствую.

«Справедливо. Для меня — нет! Если теперь я должен буду воротиться к товарищам, без ключа от тайного выхода — через час они явятся с моею головою к Никифору. Ты, верно, слышала имена их, великая владычица, знаешь отчасти по делам: один из них, Михаил Вурз, тот самый, который послан был от Иосифа Постельниче-го в тарсийский лагерь ко мне, когда Иосиф готовил гибель Никифору; он перепилил, перегрыз свои кандалы и бежал из темницы. Другой, Лев Песиодид, который был в заговоре Мариана и Пасхалия. Третий, евнух Антипофеодор, тот, который...»

— Остановись, Цимисхий!

«Тот, который подал покойному императору Роману, бывшему супругу твоему, стакан прохладительного питья, когда он утомился в игре мячом...»

— Боже! это чудовище... Он жив!..

«Я хотел только объяснить, великая властительница, что, может быть, и тебе невозможно уже отступить от нашего предприятия. Стоит Антипофеодору произнести одно слово, если я не явлюсь к нему через час, и тогда...»

Быстро отвязала Феофания ключ, который был у нее на поясе, и отдала его Цимисхию.

Несколько мгновений смотрел он на этот ключ, как будто наслаждался видом его.

«Он отопрет тебе, великая повелительница, дверь к свободе и счастью, к престолу, подле которого стану я с мечом моим, как твой последний раб, готовый пролить за тебя последнюю каплю крови...»

— Крови! — произнесла Феофания, содрогаясь и с трепетом смотря на ключ. — В ад отопрет он дверь, мне и тебе, Цимисхий!

«Ад покажется мне раем, если ты разделишь его со мною, божественная Феофания!»

Мутными глазами смотрела Феофания на роковой ключ.

— С него каплет кровь — он горит пламенем! — воскликнула она, указывая на ключ.

«О, нет! — насмешливо отвечал Цимисхий. — Кровь можно смыть с него слезами покаяния — и в слезах раскаяния пред Господом, пред Ним же не оправдится ни один грешник, потухнет самое адское пламя...»

Поспешно спрятав он ключ, завернулся в епанчу свою и снова преклонил колено пред Феофаниею.

«Так завтра преклонятся пред тобою, самовластительницею Царьграда и Востока, колена миллионов! Участь Никифора неотвратима. Мы все погибнем, если не предупредим его гибелью предстоящего бедствия. Народ раздражен; войско волнуется и ропщет; казна государственная истощена ненасытною жадностью его родственников, а богатство народное — его непостижимым корыстолюбием. Завтра может вспыхнуть мятеж...»

— Жизнь его будет пощажена! Клянись мне, Цимисхий!

«Охотно, великая владычица, но жаль, что прежде не знал я этого и не предупредил товарищей... Впрочем, жизнь человеческая всегда и вообще казалась мне излишнею тягостью для многих... По крайней мере, если судить по наружности, до сих пор жизнь не слишком веселит Никифора — он так угрюмо смотрит на нее...»

Шорох шагов раздался в ближней комнате. Феофания ужаснулась — даже Цимисхий смутился. Поспешно вскочил он и хотел убежать в потайную дверь, закрытую занавесами, роскошно раскинутыми по стене. Но Цимисхий не успел исполнить своего намерения, и немой карлик вбежал уже в это время в комнату; со страхом делал он какие-то знаки Феофании.

— Несчастный! что ты хочешь объяснить? Никифор? Теперь, в это время? Что значит такое нечаянное посещение? — проговорила вполголоса Феофания, вскакивая со своего дивана.

«Великая повелительница! если я обманут, — скоро прошептал ей Цимисхий, — горе обманщику! Еще на одно мгновение, — продолжал он, крепко держа Феофанию за руку, когда она силилась удалиться от него, — на одно мгновение: этот вероломный обманщик должен знать, что тот, кто бросается между льва и тигра, когда они устремляются друг на друга — тот погибнет первый...» — Он распахнул епанчу свою и указал Феофании на два кинжала, заткнутые за его пояс.

— Клянусь тебе, Цимисхий... Удались, беги...

«Я давно знаком со смертью... Бежать? За тем, чтобы

наткнуться на нож подставленного убийцы? Я — останусь здесь!» — Он обнажил один из своих кинжалов.

Уже слышна была тяжелая походка Никифора. Цимисхий бросился за занавес и скрылся в нем. Феофания устремила неподвижные глаза свои на то место, где стоял он. Его нельзя было заметить. Феофания отдохнула. Никифор входил в комнату. Низко преклонилась перед ним Феофания, скрывая страшное смущение под видом скромной покорности. Никифор остановился, смотрел на нее, будто любовался ее красотой.

«Феофания! — сказал он, — прошу твоего прощения, если мой нечаянный приход встревожил тебя. Сядь, моя достойная, милая супруга, успокойся».

Феофания почтительно села на диван, и подле нее поместился Никифор. «Удивляюсь, — сказал он, стараясь смягчить грубый голос свой, — удивляюсь, что вижу тебя неодою, когда уже так близок час начала торжества и ты должна явиться во всем величии, приличном супруге властителя царьградского... Ты кажешься смущенною? Ты здесь одна...»

— Одна, государь! — с ужасом отвечала Феофания.

«Да, я разумею, что с тобой нет никого из твоих приближенных, ни одной невольницы — а не другое что-нибудь!» — Никифор улыбнулся.

— Я... я... — хотела сказать что-то Феофания и не могла ничего выговорить.

«Как прекрасна, как прелестна ты, Феофания, в этом наряде! — сказал Никифор, целуя руку ее. — Тебя изумляют, может быть, слова мои, но я так рад, так доволен — я хотел разделить с тобою радость мою и благодарить тебя...»

— Радость, великий супруг мой? Благодарить меня?

«Да, да, я хотел поговорить с тобою о Цимисхии».

Шорох послышался в комнате. Никифор небрежно оглянулся кругом и оборотился спиною к той стене, где скрывался Цимисхий. Тихо, украдкой оборотила беглый взор свой Феофания к месту его убежища и увидела Цимисхия. Забывшись, выставился он из-за занавеса, и — кинжал виден был в руке его. Феофания окаменела на месте.

Только пять шагов разделяли Никифора от Цимисхия — пять шагов отделяли Никифора от его могилы, а он беспечно сидел подле Феофании, не думая, не зная о своей участи. И подле него была она — обольстительная Сирена, готовая предать его мечу убийцы. Одно сло-

во могло открыть Цимисхия, но с этим словом Никифор задохся бы в крови своей... Ужасное состояние!

Да, порок и преступление знают ад и до смерти, знают его, еще скитаясь на здешней земле, постигают мучения и скорби, ожидающие грешника за пределами гроба... Зачем не умеют они объяснить этого ада заживо другим? Зачем не всегда чувствуют его?

«Я хотел поговорить с тобою о Цимисхии,— продолжал Никифор.— Каких скорбей избавился бы я, если бы знал прежде этого благородного, великодушного человека!»

Феофания с изумлением смотрела на Никифора и не понимала, что значат слова его? Хитрое испытание, или...

«Недоверчивость есть недостаток во всяком человеке,— продолжал Никифор,— так как и излишняя доверчивость. Но в человеке моего высокого сана — недоверчивость порок. Сознаюсь в этом и признаю, что великодушные должны быть всегдашнею добродетелью властителей. Я почитал Иоанна человеком, запятнанного злобою и пороками...»

Говоря это, Никифор употребил аттическое выражение *μαυρὴς αἱματὶ καὶ χοίτῃσι* (замаранный кровью и грязью) — и Феофания невольно повторила эти слова.

«Да,— сказал Никифор,— я думал так и теперь стыжусь своей недоверчивости. Знаешь ли, что Цимисхий спас жизнь мою от ужасного заговора? Он, он открыл мне тайну страшного возмущения, которое таилось в Царьграде. Ненавистные «синие» и «зеленые» скрывали пагубную мысль бунта, и все было готово к гибели моей, гибели тебя, детей твоих, погублению граждан, хищению. Чего хотели проклятые заговорщики? Не знаю хорошо, ибо не исследованы еще все подробности заговора, но уже более двадцати злоумышленников схвачено и брошено в темницу; открываются глубокие, отдаленные следы. Кажется, что тут соединено было согласие еретиков, заговорщиков старых, философов — один из самых злых возмутителей, тот безбожник-философ, которого еще так недавно простил я, теперь в кандалах — и все это сделал Цимисхий — все, когда так гордо, так презорливо оскорблял я его моими подозрениями!..

Не знаю,— продолжал Никифор,— не знаю, чем вознаградить мне благородного, великодушного Цимисхия! Хочу торжественно признать его заслуги, наименовать его *Паниперсевастором*, украсить его зелеными сандалиями, соединить, если ему будет угодно, с моею сестрою...

Скажи, что думаешь ты обо всем этом, моя прекрасная подруга?»

— Мне ли решать, на кого и как должна изливаться река милостей твоих, мой повелитель!

«О, клянусь, блаженным родственником моим, Михаилом Малейном, что если прискорбны были обиды мои Цимисхию — торжественна и велика будет награда его! Чувствую теперь, как далеко доверчивость превосходит недоверенность, чувствую сладкую отраду в сердце моем, увераясь наконец в добродетели людей: Цимисхию одолжен я всем этим!»

Никифор встал, начал ходить по комнате. «Отныне опять безопасно буду я подвергаться опасностям битвы, и для победы, являясь сам среди моих воинов, не буду щадить жизни моей — после меня останется еще доблей защитник Царьграда! Трепещите, умышляющие зло! Цимисхий будет стражем окрест моего престола. Трепещите, враги великой римской державы! Пока Никифор понесет ужас и победу на полки скифские — Цимисхий сокрушит на Востоке гордые стены Багдада!»

Подле самого занавеса стоял в это время Никифор, там, где скрывался в эту минуту Цимисхий. Протянув нечаянно руку, он встретил бы — кинжал Цимисхий! Феофания сидела безмолвная, потупив глаза в землю...

«Ты изумляешься словам моим, моя прекрасная Феофания? Ты не узнаешь меня? Я сам только в первый раз ощущаю сладость подобных чувствований, и — тебе одолжен я ими! Ты ходатайствовала за Цимисхия... Не скрою пред тобой самых тайных чувств моих и помышлений — мне надобно разделить радость сердца моего, и — с кем же разделю ее, если не с тобою! Мне казалось — прости меня, моя прекрасная Феофания — мне казалось подозрительным твое ходатайство; я думал, я страшился, что хитрый обман таится, скрывается в твоей просьбе... Вижу теперь, как глубоко проникла твоя мудрая, проницательная мудрость, как провидела она в Цимисхии то, чего не понимал я, ослепленный ненавистью, омраченный недоверчивостью, этим демоном, губящим веру в добродетель человеческую... А без этой спасительной веры может ли быть хоть что-нибудь свяшенно для человека? Феофания! Ты убедила меня в том, в чем не могли убедить меня испытанные столько раз великодушные поступки Цимисхия...»

Никифор остановился против Феофании, пристально смотрел на нее и сказал: «Но, виноват ли, что доселе, воспитанный в шуме военного лагеря, приученный к гру-

бым страстям воинов, к жизни бранной среди мечей и копий, я не верил ничему, что внушает человеку нежное ощущение души и сердца? Знаешь ли, Феофания, помнишь ли, что я был уже однажды обязан Цимисхию императорским венцом моим? Пусть завтра услышит от меня, из уст моих, признание в этом целый свет — посмотри: кто из нас отныне победит один другого великодушием... Гордый Никифор явится таким, каким создал его Бог, а не таким, какого сделали из него люди и обстоятельства... Прощение заговорщикам, которых предала мне в руки верность Цимисхия, почесть и слава Иоанну Цимисхию, образцу верности и великодушия. Только перед тобою, теперь, в первый еще раз, Никифор является в истинном своем виде. Доселе знали во мне воина, властителя — ты видишь Никифора человека!»

Он протянул руку к Феофании, пожал ее руку и с умилением смотрел на нее.

«Довольно,— сказал он,— сердце мое было полно таких чувств, которые мне надобно было высказать; они переполняли мою душу, Вспоминаю премудрые слова твои, император Василий: «Все преимущества телесные не столько украшают царя, сколько украшают его милость и великодушие. Красота исчезает с годами; богатство рождает леность и страсти; сила смущает душу гордостью. Единая добродетель выше силы, красоты и богатств, и ею должен украшаться царь, а начало ее составляют милость и великодушие...» * Но уж все готово, думаю, к началу пира — поспеши, моя прекрасная Феофания, и будь солнцем радости и веселья для дорогих гостей наших — не щади угощения!..»

Он взглянул еще раз на Феофанию, ласково, приветливо, благословил ее и вышел, напевая любимый стих свой: «Господь мне помощник и не убоюсь зла...»

С минуту сидела Феофания на диване своем, как будто жезл волшебника оковал в ней все чувства, всемышления. Цимисхий вышел из скрытного убежища своего и стоял, сложив руки, потупив глаза, как преступник, которому произнесли приговор смертный.

— Цимисхий! — сказала Феофания умоляющим голосом, — отдай ключ!

Цимисхий не отвечал ни слова.

— Отдай мне ключ, ради будущего спасения тебя, меня, твоей и моей души на втором пришествии Спасителя!..

* «Главыны увещаний» («Κεφαλαια παραίνετικα») Василия Македонского.

«Нет! это невозможно!»

— Умоляю тебя! — Феофания бросилась перед ним на колени.

«Нет!»

— Муж крови и смерти! трепещи — я иду и все открою Никифору!

«Хорошо, иди и скажи ему, что Цимисхий и убийцы введены были в тайный чертог твой твоею рукою, тою самою рукою, которая передала некогда Антипофеодору стакан прохладительного питья, поднесенный им Роману, сыну Константина Порфирородного...»

С ужасом отшатнулась от него Феофания, и болезненный стон вырвался из ее груди — нет! из ее души! Когда опомнилась она, Цимисхия уже не было в комнате, и невольно повторила она слова Никифора: *μὰνθεὶς αἰσῆται καὶ κοινῆσι*.

КНИГА V

О Зевес! верить ли мне, что ты взираешь на жребий смертных, или мысль, что боги существуют, есть мысль ложная и обманчивая, и единственный случай управляет судьбою человека?.. Что зрю: не се ли Царица великой Фригии, супруга могущего Приама? Пал град Приама добледушного, и его супруга — раба, удрученная летами, лишенная детей, повержена во прах священными сединами главы своей...

«Гекуба», трагедия Эврипида

Торжественный пир природы шумел и гремел над Царьградом — буря, каких мало могли запомнить даже старики, жители царьградские, возмущала небо и землю, и море; волны Эвксина мчались в Эгейское море, встречались с волнами моря Эгейского, сшибались в страшном разбеге, разлетались подоблачными брызгами и опеняли берега; вихрь срывал крыши домов, ломал деревья, разбивал лодки и корабли; снег взвивался клубами и, как будто сквозь сито, просеивался на землю сквозь облака. К изумлению многих — несколько раз в то же время прогремел гром; может быть, так показалось жителям царьградским, и они почли громом необыкновенный гул и рев ветра. По край-

ней мере, многие уверяли впоследствии, что слышали громовые удары, крестились в это время и говорили окружавшим их: «Слышишь ли гром? Ну, это не к добру!» Царьградцы, жившие около Влахерна, были еще более испуганы и изумлены неожиданным событием в эту ночь. Огромная церковь, которую на память взятия Антиохии заложил Никифор, была уже в это время окончена наружною отделкою. Вдруг страшно завыл ветер, и среди воя его слышали какой-то треск, как будто лопнула гора каменная — глухой шум и стук последовали за этим треском; окрестные дома потряслись в основании. Жители в ужасе выбежали из домов и сначала не верили глазам своим: куда девалась огромная колокольня? где позолоченный купол новосозданного храма? Как будто кто-нибудь поднял этот храм в основании исполинскою рукою, потряс его и опустил опять на землю: до нижних окошек развалился храм, рухнула до основания колокольня, и только безобразная груда развалин, как гора огромная, являлась на месте храма и колокольни. Говорили после того, будто окрестные жители слышали голос на развалинах: «Так не приемлет Господь жертвы грешника!» Другие рассказывали, будто в воздухе слышались им слова: «Горе зиждущему дом мой грехом и неправдою!» — Един Бог ведает, справедливы ли были все сии слухи; но через два часа после падения храма уже весь Царьград со страхом говорил: «Быть худу! Знамение страшное совершилось!» Никто не смел прибавить, что, по его мнению, предвещает это знамение; но каждый думал одно, и если бы сказал свое мнение другому, тот, конечно, согласился бы с ним. Безвестность особенно умножала страх жителей: в одном конце города говорили, что весь Влахернский дворец повалился в море; в другом прибавляли к этому Вукалеон, и если бы Софийский храм не был виден со всех концов города, верно, многие начали бы говорить, а другие верить, что и он развалился в основании. Половина Царьграда не спала всю ночь.

Но что было природе до беспокойства людского! Торжественный пир ее страшно гремел над Царьградом, как будто над бедным, ничтожным муравейником.

Между тем ярко освещен был дворец Вукалеонский тысячами огней, и великолепный пир гремел в чертогах владычицы царьградской. Там собрались люди и как будто хотели доказать своим весельем, что они мало думают о грозном величии природы. Когда вихрь и буря потрясали здания царьградские, своды великолепных

зал дворца Вукалеонского дрожали от грома музыки, от кликов радости; мрак ночи разогнан был тысячами светильников. Льстивые придворные уверяли, что за отсутствием солнца, являлась им солнцем, более небесного прекрасным и блестящим, великая владычица их Феофания. В самом деле, она казалась светилом, проливающим свет и радость: ее платье и корона, усыпанные, унизанные драгоценными камнями, сверкали от огней, и видно, что радость проливали в сердце каждого взоры Феофании, потому что на кого ни взглядывала она, хоть мимоходом, на лице каждого, удостоенного взгляда ее, являлась радостная улыбка. Феофания угощала болгарских царевен, которые в этот день торжественно приехали в Царьград. Но отделение, которое занимал во дворце Вукалеонском император Никифор, не было освещено; там не слышны были клики радости, не слышно было звуков веселья. Тихо, мрачно было это отделение, хотя сам Никифор находился в это время там, не участвуя в роскошном, веселом пировании своей супруги.

Подле опочивальни его была комната, где обыкновенно принимал он тайных советников своих: это была молельная его. К ней примыкала большая оружейная комната, где хранилось, развешанное красивыми трофеями драгоценное оружие. Тут стоял огромный стол, на котором сам император занимался рассматриванием карт, планов, соображениями воинских действий. Бывши великим полководцем, он даже оставил сочинение «*Περὶ παραδρομῆς πολέμων*», в котором превосходно описал способы вести удачно мелкую войну против неприятелей, особливо в горных странах.

Но теперь император Никифор не находился в своей оружейной, не был и в молельной. Ни война, ни молитва не занимали его в это время. Он оставался в опочивальне своей, сидел облокотясь на стол, закрыв руками лицо свое. С ним беседовал не полководец, не министр его — какой-то странный собеседник сидел в императорской опочивальне. Это был старик, высокого роста, седой, с пожелтевшим, иссохшим лицом — тень человеческая! Грубая власяница покрывала тело его. Ноги его были босые, волосы и борода не расчесаны, склочены. Это была тень человека, скелет, обтянутый кожей, и только в одном проявлялась жизнь — в глазах его, черных, как уголь, блестящих под густыми, седыми, нависшими бровями. Гробовым, ржавым голосом говорил что-то этот оживленный мертвец Никифору, и при выразительных движениях руки его обнажались из широких рукавов, и

тогда казалось, что этот посланник с другого света пришел за душою Никифора, протягивая к нему свои костлявые, черные, обросшие волосами руки, на которых длинные ногти казались когтями звериными. С жаром говорил что-то незнакомец. Это был Феотокий, пустыжник, уже сорок лет удалившийся в уединенную келью на горах Гемусских.

Никифор опустил руки на стол, гордо поправился на своем седалище и вдруг прервал речь Феотокия:

— Я не затем призвал тебя к себе, отец Феотокий, чтобы слушать все, что слышал уже я сто раз в жизни моей.

«А я затем пришел к тебе,— отвечал сурово пустыжник,— чтобы повторить тебе в сто первый раз, что уже слышал ты сто раз прежде. Вы, сильные земли, вы такие же люди, как другие, и к вам так же относится притча о сеятеле Евангельском, как и ко всякому из последних подданных ваших: вышел сеятель на дело свое, сеял пшеницу, и часть зерен его упала на камень и погибла туне; часть упала близ пути и была расхищена птицами небесными. Сердца сильных подобятся тому и другому: камением становятся они среди славы и почестей, и туне гибнут на них семена добра; остальное расхищают у них птицы хищные — лесь и коварство рабов их. Если богачу, по слову Евангельскому, труднее войти в царствие Божие, нежели вельбуду пройти в уши игольные, кольми паче тесен путь тому, кто кроме богатства пресыщен в мире властью и силою!»

— Ты смотришь только на блеск и счастье внешнее, святой пустыжник; твоя мудрость, твое провидение не проникают сквозь кору величия, окружающую сильных земли. Ты угрожаешь им наказанием, лаская нищего наградою; ты видишь в них каких-то счастливых, как будто золотом и величием они уже купили себе счастье и благоденствие. Как ошибаешься ты, как не понимаешь истинной судьбы великих! Нет! не к нищему прибегнул бы ты с утешением, не в хижину бедного страдальца пошел бы ты с отрадою веры, но — к сильному властителю, в его великолепный чертог. Здесь подивился бы ты бедности человека и суете мира! Ты увидел бы отличного среди других людей, уставшего от жизни, исполненной трудом, от славы, ничем ему не льстящей более. Одинокий среди толпы, без любви, ибо нечем оценить и испытать ему любви ближнего, без дружбы, ибо для дружбы надобно быть равному со своим другом, он живет скорбью за всех и не живет радостью за самого

себя. Нищий, добывши кусок хлеба, утирает слезы и засыпает спокойно, а сон великого владыки тревожит дума тяжелая. Взвесив людскую добродетель на золото, испытав унижение мудрости, едва только польстит ей награда — он теряет веру в мудрость и добродетель людей. Всякий отвечает только за себя — за миллионы других отвечает он...

«И счастьем миллионов может он искупить свое счастье на земле и блаженство на том свете. Неужели ты думаешь, что подвиг его не оцениется...»

— Людьми? Никогда! Неблагодарные, низкие рабы страстей, легкомысленные, они за первую скорбь свою забывают годы благоденствия; пагубное действие страстей и пороков своих приписывают страдальцу — властителю своему; наказание Божие за разврат свой — его грехам. В то время, когда все силы ада истощают свои искушения против мудрости и добродетели властителя их, тщетно вызывает он мудрость и добродетель из среды своих подвластных — ему откликаются только месть и низость, жадность корысти и безумие! И при первом голосе вражды и злобы — клики негодования потрясают всю толпу народную...

«Не о людях хотел я говорить, не об их благодарности и цене подвига в глазах их. Можешь ли ты требовать от них чего-нибудь? Туне приявший, туне давай. Смеешь ли за благодеяние требовать награды? Какая же твоя добродетель, если она награды требует, какое твое благодеяние, если благодарности ищет? Какая любовь твоя, если она есть плата за любовь ближнего? Разве того требовал от тебя Спаситель, разве для того искупил Он души христиан своим страданием? Не Он ли означил долг твой, долг христианина: любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, и молитесь за творящих вам напасть и изгоняющих вас? Разве обещал Он нам любовь за любовь, добро за добро, благо за благо? Нет! Он велел радоваться и веселиться тем только, кого *поносят и ижденут, и рекут всяк зол глагол, лжуще на них, его ради*. Он обещал утешение только *плачущим*, насыщение только *алчущим и жаждущим правды*, царствие небесное только *изгнанным правды ради*. Тако глаголет Господь! Сильные земли не знают глада и жажды, холода и бедности вещественной; но их доля глад душевный, жажда сердечная, холод одиночества среди величия, бедность радостей среди богатства. И велика, священна, блаженна доля их: на них тяжкий крест Господень, на них сильнейшее искушение, на них подвиг, па-

че подвига тысячей! Блаженны сильные, не по силе, не по богатству, не по величию, но по труду, с каким должно им достигать царствия Божия, по тяжести креста на них возложенного, по долгам, какие должно им заплатить миру! Когда подданные их несут на себе бремя малых обязанностей — владыка подымлет гору на плеща свои — и велика доля его *здесь* — велика будет и *там*!»

— О святой муж! Не это ли и должно приводить его в отчаяние, когда он, *человек*, как другие, должен иметь нечеловеческие силы для побеждения страстей и обольщений, нечеловеческий ум для управления делами царства своего! И Божественный Учитель наш взалкал от сорокадневного поста в пустыне: как не взалкать душе человека в бесплодной пустыне славы, томясь в одиночестве степей величия!

«Есть басня языческая — но и языческая мудрость также может служить в поучение христианина. Был в Индии царь, которому предложили исполнить все его желания. Чего же вожделем безумный? Чтобы все, к чему прикоснется он, превращалось в золото. Совершилось — и хлеб, и плод, и яство золотело в руках его, и несчастный умер, томясь голодом среди громад злата. Не так ли поступаете вы, сильные земли? Не премудрости, не добродетели просите вы, но молитесь, да превращается все в руках ваших в славу, в победу, в злато, которого не знаете вы куда девать, в богатство временное, сокровище бедное, *иже тля тлит и татие подкапывают*. И горе тебе, владыка Царьграда, если ты отчаялся уже до толикой степени, что забыл молитву, забыл, что по молитве благочестивого Иезекиа солнце удалялось от своего течения и тень солнечная отступала на семь степеней! Или забыл ты, что на главе властителя людей почивает дух Божий, с того дня, когда Господь избирает его из среды других людей, да властвуют во имя Его — *им бо царие царствуют и сильные пишут правду*? Призывай Бога — и услышит тебя, и придет помощь Его от Сиона и сила Его от среды небес!»

— О муж благочестивый! Могу ли я, грешен будучи, помышлять о примере Иезекиа; но если кто более моего желал и жаждет счастья подвластным его, готов более моего жертвовать для блага своего царства — пусть станет предо мною и вержет на меня осуждение!

И пустынный восстал со своего седалища; огромный рост его отразился исполинскою тенью. Он поднял перст, и тень руки его протянулась на позолоченной стене, как некогда таинственная рука, начертавшая на стене черто-

гов Вальтазара судьбу сего горделивого царя вавилонского.

«Владыка Царьграда! страшишь даже и тени гордости! Ты ли осмелишься стать на суд пред Господом? Что твои добрые и благие помышления, если ты не исполняешь их на деле!»

— Нет! Я истощаю все силы мои для исполнения их...

«Что же? — возразил пустынный с усмешкою. — Твое царство и благословляется славою и победами. Имени Никифора трепещут отдаленные народы Востока...»

— Так, но не вижу ли тяжких наказаний и гнева Божия в язвах, посылаемых на царство мое...

«Ничего! Спроси философов — они уверят тебя, что все это происходит естественно, от причин обыкновенных; что нет таинственных судеб Божиих в этой буре, свирепствующей теперь над Царьградом и губящей корабли и людей, когда ни единый волос не падает с головы человека без воли Божией! Спроси у математиков о причине землетрясения: они изъяснят тебе, что причиною тому «некоторые пары, в недрах земли заключенные, переходящие в сильный ветер, который, не могли скоро вырваться из недр земли на воздух, по причине тесноты отверстий, крутится, волнуется, и таким сильным движением потрясает подземное пространство и колеблет все окрестные места, доколе, вырвавшись из своего заключения, не рассеется по воздуху...»*

— Отец святой! Я ждал от тебя отрады и утешения, как болящий от врача, — сказал Никифор, скрывая гнев свой, — а ты насмехаешься над моею скорбью.

«Что же могу я сказать, если ты думаешь благо и поступаешь благо, по словам твоим? Я не врач, а ты не болящий. Ты владыка Царьграда — я бедный грешник, не знатного рода, грешник, не дерзающий даже, по слабости своей, облечь себя в платье инока, да не паду под тяжестью иноческого жития. Предвижу, что хочешь ты мне сказать: ты одерживаешь победы — и не видишь конца врагам внешним, и победы не приносят пользы твоему царству; ты желал бы любви подданных — они не любят тебя; ты желал бы правосудия от судей своих — и видишь одно хищение, мзду, корысть и искривленные весы правосудия; ты хотел бы видеть процветающую мудрость в царстве своем, и, едва допустишь ее предстать пред тебя, говорить тебе, — видишь одно тщет-

* Лев Диакон. «Так эллины безрассудно изъясняли сие явление по своему мнению», — прибавляет он.

ное мудрование, одну прелесть бесовскую в душах и умах лжемудрецов...»

— Ты угадал мои мысли.

«Я доскажу тебе их до самой глубины твоего сердца: среди своего величия, ты трепещешь даже за собственную жизнь твою; потрясающий пределы Востока оружием — ты боишься измены, хитрости рабов твоих; ты оластасешься — жены своей!»

Никифор содрогнулся невольно.

«Недавно, когда торжественно и гордо вступал ты во храм Божий, бедный юродивый подал тебе записку, в которой было написано: *«Трепещи, Никифор — близка смерть твоя!»* И с тех пор ты трепещешь смерти своей, и записка не растает с тобою...»

— Вот она! — воскликнул Никифор, вынимая записку из своего кармана.

«Еще более: сего дня, не более, как с час, подали тебе другую записку, в которой было написано: *«Никифор! берегись нынешнего дня — блюдись той, которая уже погубила твоего предшественника!»* — В трепете, ты послал осмотреть чертоги жены твоей, разведать: не скрывается ли там убийца; велел умножить стражу окрест дворца твоего; по всему Царьграду ходят воины твои и ища злодеев, грабят и бьют невинных подданных твоих».

— Вот эта другая записка! Не знаю, как она очутилась на этом столике.

«Вели пытать окружающих тебя — может быть, они скажут, что хотели испугать тебя, испытать твое мужество ложным слухом. Поди в свою оружейную — там уже давно ожидает тебя постельничий твой: он еще раз осмотрел весь дворец, все тайные чертоги жены твоей — поди к нему».

Молча встал Никифор и вошел в оружейную. Действительно, там ожидал его верный слуга, некогда бывший дядькой его, постельничий Михаил. После прихода своего от Феофании Никифор действительно увидел на столике записку, ужаснулся, велел Михаилу тщательно осмотреть весь дворец свой и особенно отделение Феофании.

«Великий повелитель Царьграда и всего Востока! — сказал постельничий, преклонив колени. — Исполняя твое высокое повеление, еще раз осмотрел я, по приказу твоему, все отделения дворца и ничего не нашел, что бы могло смутить в сию ночь сон твой. Всюду тишина; верность блюдет входы и выходы твоего жилища; заго-

ворщики посажены в тюрьму, по твоему приказу, окованы двойными цепями. Царьград спокоен и исполнен воинами, которые не пропустят ни единого подозрительного человека без осмотра. В гавани умножена стража».

— Кто находится на страже около Вукалеона?

«Твой любимый легион стальноносных».

— Раздана ли им новая награда?

«Они приветствовали тебя кликами радости, когда раздавали им твою новую милость».

— А пирующие в чертогах супруги моей?

«Весь чертог, где происходит пир, окружен воинами, и ни один из пирующих там не будет пропущен без осмотра при выходе, без наблюдения о том, куда идет он — я сам спешу туда».

— Нет! Ты останешься здесь. Михаил! бодрствуй, умоляю тебя во имя Бога, и — не будет меры милости моей, если завтра Никифор останется еще на царьградском престоле!

«Государы! позволь мне, ничтожному рабу твоему, сказать: тебя смущают ложными опасениями!»

— Вот где кроется главный смутитель мой! — воскликнул Никифор, ударив себя в грудь. — Иди, Михаил! И горе тебе, если сон прикоснется очам твоим в сию ночь!

Михаил удалился. Несколько минут в безмолвии стоял Никифор. «И я не усну в нынешнюю ночь — если только не усну сном вечным, — сказал он. — Завтра оставлю я Царьград — пора в битвы, пора в шум воинский — там сделался я императором Царьграда, там и безопасен я буду. Здесь изныло сердце мое. Мне кажется, что в этом постоялом доме владык Византии самые стены дышат изменою. О, солнце! взойди скорее, разгони лучами своими темноту ночи и темноту моих сомнений! Как сладостно отдохнул я, когда за два часа перед сим пришел с доверенностью к Феофании... А теперь опять тревога, опять сомнения!.. Мне надобно послать стражу к дому Цимисхия... И она показалась мне такою смущенною. Отчего? Что могло тревожить ее? Велю окружить ее стражею, призову ее к себе — отдам ее в заключение на эту гибельную ночь... Но могу ли надеяться на чью-либо верность? Как прокрался в опочивальню мою тот, кто положил эту ужасную записку? Ее положила человеческая рука. Неужели чудо совершилось для моего предостережения? Велик Господь, хранящий бытие последнего червя!.. Впрочем, по всем вычетам Синезия и товарищей его, судьба благоприятствует мне... Не

согрешил ли я однако ж, вопрошая о судьбе моей тщетную мудрость человеческую? Боже милостивый! пойду испытать судеб твоих от сего вдохновенного старца — он грозен, как судьба; как будто мечом, обоюдоострым, поражает он словами своими...

Но точно ли вдохновенный божественною премудростью говорит Феотокий? Если и он хитрый обманщик, если и он убийца, который только оболыщает меня? Если он сам писал обе записки! Почему знает он все, проникает самые сокровенные мысли мои?.. О, если...»

Никифор взял острый кинжал и спрятал его под свою одежду. Он вошел в опочивальную и увидел, что Феотокий спал крепко на своем седалище. Свет отражался на лице его от горящих на столе светильников, и лицо Феотокия уподоблялось лицу египетской мумии, с закрытыми глазами.

Тихо подошел к нему Никифор и старался угадать: не скрыто ли какое-нибудь оружие под власяницей старика? Верхний край одежды его раскрылся немного; видна была косматая грудь Феотокия. Так! Никифор не ошибается — что-то блестящее видно из-под одежды. Кинжал?

Он тихо протянул руку к груди старца, и — ощупал тяжелые железные вериги на иссохшем теле его.

Феотокий проснулся. Никифор отшатнулся от него. «Я насладился, отец мой, видя, как спокойно спит праведник», — сказал он, скрывая смущение.

С усмешкою посмотрел на него старец. «Лесть для меня ненужная монета, владыка Царьграда — у меня нет на нее товара».

Никифор сел на прежнее свое место.

— Благочестивый старец! — сказал он, — позволь мне просить тебя написать мне молитву, которую слышал я некогда...

«Молись, как умеешь, властитель Царьграда, — сурово отвечал пустынный. — Бог слышит молитву, если человек не будет даже произносить устами, но только будет думать: «Господи, помилуй!» — Впрочем, я готов бы исполнить твое желание, но не могу — я не умею ни читать, ни писать».

— И знаешь, что пишут другие?

«Человек суетный и грешный, ты, который страшится смерти, ходя во тьме и сени смертной! Неужели воображаешь ты, что я не читаю тайной мысли твоей, не вижу помышлений твоих, не слыхал прикосновения дерзких рук твоих к моему телу? Твоя неверчивость коснулась

этими веригам, которыми обременяю я грешное тело мое и которых доныне не видал ни один смертный! Не тщеславие мое открыло тебе существование их, но твоя недоверчивость».

— Прости меня, муж благочестивый!

«Доволен ли ты наконец безопасностью твоею, крепка ли стража твоя, владыка Царьграда? Весело ли пирует жена твоя и рабы твои, окруженные мечами твоих прислужников? Отпусти же меня — ты высказал мне все: и то, как боишься ты смертного часа, и то, как проводишь ты бессонные ночи, и то, как тревожит тебя тень почная...»

— Остановись, муж таинственный, сядь и внемли. Так, перед тобою не владыка Царьграда, но бедный, суетный, смущенный грешник. Помнишь ли ты это отдаленное время, когда, двадцать два года тому, в царствование блаженного императора Константина, Царьград услышал о смерти Лакапина? Блуждая по горам Фракии, после разбития наших полков венграми и булгарами, я пришел, утомленный бегством, в твою келью, и ты предложил мне хлеб и соль, успокоил меня и на другой день указал мне дорогу в стан римский?

«Помню».

— С тех пор узнал я тебя, скрывавшегося от всего мира, от всех людей. Помнишь ли, что говорил ты мне, отпуская меня?

«Помню».

— «Никифор Фока! — говорил ты мне, — будь благословен благословением великим! Не прикоснется тебе никакое зло, и велика будет судьба ожидающая тебя; багряные сандалии оденут стопы твои и злато венца будет на главе твоей!» — Ты снова затворился в келии своей, и я не видел тебя, пока не сбылось твое прорицание. Ты явился мне в другой раз, когда я поставил лагерь верных воинов моих под стенами Царьграда, призываемый ими к престолу. Ночной приход твой в ставку мою изумил меня, и снова слышал я тогда мудрые речи твои. Теперь вижу тебя в третий раз...

«Но теперь — не я пришел к тебе, а ты сам призвал меня».

— Да, и еще раз хочу слышать речи твои, благочестивый старец; никогда не были они мне так потребны, как теперь...

«Я все сказал тебе, когда ты видел меня в другой раз — теперь у меня нет более речей для тебя. И кому буду я говорить их? Никифору Фоке все сказал я на го-

рах фракийских; Никифору императору все сказал под стенами Царьграда».

— Мудрость божественная неистощима.

«Хорошо. Теперь ты сам меня вызвал, как царь Израиля вызвал некогда тень пророка в Эндоре. Говори же, что желаешь ты слышать?»

— Муж благочестивый! не сомневаюсь, что тебе, твоей прозорливости, открыто все будущее — скажи мне грядущую судьбу мою!

«Муж, суеты и гордости исполненный! для чего вопрошаешь ты? Если Божия воля сокрыла от смертных будущую их долю, для чего хочешь видеть то, чего Бог не соизволил открыть человеку? Тщетное любопытство, мелкая забота о жизни, о том, что вы называете *счастьем* — вот что заставляет вашу ничтожную пытливость требовать изъяснений будущего, и, ослепленные суетно, вы готовы просить о том людей, вдохновенных Богом, людей, предавших душу свою духу тьмы. Даже те, которые боятся отдать себя демону, недостойные благодати Божией, даже те могут обольщать вас тщетным волхвованием, ложными предсказаниями, хитрыми уловками — вы всему верите... только истинной веры не имеете вы и не знаете. Так некогда все было Богом, кроме истинного Бога! — Не сегодня ли еще ты испытывал судьбу, вопрошая своего лжемудреца Синезия? Теперь прибегаешь ко мне... Никифор! суди сам себя, и познай свое ничтожество! И что хочешь ты ведать? Если завтра должно умереть тебе, если ты можешь прожить еще год, десять лет — падешь ли под кинжалом убийцы или умрешь на одре болезни — стоит ли заботы знать для этого будущее? Молись об одном, да умрешь не во грехах, но с молитвою и покаянием!»

— Но ты предсказал мне некогда будущее.

«Да, и высокую цель указал я тебе, и будущее было раскрыто перед тобою, для того, чтобы ты оценил великий подвиг, предназначенный тебе Богом. Избранным открывается будущее, хотя они сами того не постигают: так еще в колыбели избранного тревожит великая его будущность; так убеждается он в великой своей будущности, зрит там, где слепотствуют другие и управляет людьми и событиями, временем и стихиями — горы равняются перед ним, море утихает, люди покорствуют, страсти их рабствуют. Ты был бедный воин, бегствующий от врага, безвестный, когда я предрек тебе власть над Царьградом и сказал тебе твою будущность. Теперь мне нечего тебе говорить: будущего для тебя нет!»

— Нет? — с ужасом вскричал Никифор.

«Есть, бедный смертный, есть, если ты называешь будущим еще несколько часов, дней, лет бесславного существования — нет, если оно бесплодно для славы Бога, для чести и блага твоих ближних, для твоего спасения. Ты не исполнил твоей судьбы — прочь с позорища! Место другим — твоя роль отыграна — прошедшее погублено тобою...»

— Погублено!

«Да, избранник из тысячей! Тебя выбрали судьбы Божии из среды других, да возвратишь славу Богу, мир и благо людям, а ты, что сделал ты в сии шесть лет? Смеешь ли говорить о бесплодном желании добра?»

Ты предался суете и гордости, и внимай, чем возблагодарил ты Бога, за его к тебе милость, гордый властитель!

Ты, сохраняя жизнь свою, удалился с полей битвы, забыв, что главу избранного хранит щит Господень, что падает ошую его тысяща и тьма одесную его, к нему же смерть не приближается.

Завидуя другим, боясь возвышения других, ты изгонял доблестных, преследовал их и предал победу в руки врагов.

Ты воевал не во славу Бога, но из тщетной гордости; тщеславился там, где должно было Ему приписать величие.

Ты соединил руку твою с рукою убийцы царя и развратную жену возвел на ложе свое, ослепленный ее красотою.

Ты собирал в сокровищницу твою кровь и слезы твоих подвластных; копил злато, а тысячи гибли от голода, холода и труда, когда бесполезное сокровище лежало в казне твоей.

Ты обманул служителей церкви и, быв духовным отцом детей Феофании, клятвою утвердил, что не ты, но отец твой был их восприемником — седины отца твоего сошли во гроб посрамленные ложным свидетельством, в угоду тебе.

Ты оскорбил церковь Божию, отняв у нее права, издревле ей утвержденные, и присвоив себе суд над ее служителями, не принадлежащий мирскому.

Се! ответы твои Богу! Се, раскрытая пред тобою книга совести! Ты не хотел сам читать ее — но теперь ты слышал невольно, что написано в ней. Прощай! Зная прошедшее — угадывай сам, что готовит тебе будущее, здесь и — там, Никифор! — там, где грешник возмолит!

ся горам, да падут они и уничтожат его... и тщетно возмолится, проклиная бессмертие греха своего!»

Опустив голову, безмолвно сидел Никифор, как будто ангел-обвинитель читал перед ним раскрытую книгу судеб. Грозным привидением стоял перед ним Феотокий, подъяв грозящую десницу свою.

— Остановись! — воскликнул Никифор, когда Феотокий приблизился к дверям комнаты, — остановись, скажи одно: буду я еще жить?

«Буду ли еще властвовать, хотел ты сказать. Что тебе жизнь без власти?»

— Нет, буду ли жить, для того, чтобы искупить прошедшее будущим, раскаяться в грехах моих и загладить их добром!

«Семя, на камне восшедшее, быстро процветает и быстро погибает. Раскаяться недолго. Но что годы? Молись, Никифор, молись, да не погибнешь во грехе!»

— Неужели судьба моя совершилась!

«Не знаю, и если бы знал, для чего скажу тебе? В эту минуту, когда ты трепещешь будущего, что заставляет тебя трепетать? Потеря временных, суетных честей, злата, тобою собранного, наслаждений, в которых ты утопаешь. О прелесть мира! твоя волна есть волна адского океана, и мчит человека в недра гибели! И почто тебе вопрошать меня? Во глубине души твоей скрывается тайное чувство, что я обманщик, что я, может быть, сообщник злодеев и убийц».

Как будто масло, на огонь брошенное, вспыхивает огненным столпом, так вспыхнул от сих слов гнев Никифора.

— Да! — воскликнул он, — всепроникающий, я проникну тебя, я узнаю истину в тебе!

«За чем же стало? — спокойно возразил Феотокий, — призови рабов твоих, вели взять меня, обременить оковами, бросить в тюрьму. Ты еще колеблешься? Я исполню волю твою!»

Он взялся за снурок и сильно дернул его. Еще не успел опомниться Никифор, Михаил и несколько воинов вошли в комнату.

Никифор молчал. «Говори же, приказывай, владыка Царьграда! Или я должен заступить место твое и повелеть вместо тебя? Хорошо! — Внимай, раб владыки царьградского: ты видишь пред собою человека, подозреваемого твоим владыкою; возьми этого человека, осмотри, нет ли у него скрытного оружия, закуй его в цепи, отведи его в тюрьму и строго наблюдай за ним, пока

могущий властитель твой решит его судьбу. Этот человек — я. Исполняй надо мною веление твоего властителя».

В изумлении смотрел Михаил; безмолвствовал Никифор. Только бледность лица, вздымавшаяся грудь, нахмуренные брови показывали страшное волнение души его.

«Или я не так приказал, как желал ты? — сказал Феотокий. — О! так говори же сам, если этого мало: вели предать меня пытке, вели изломать мои руки и ноги, вбить гвозди под ногти мои, капать на меня холодной водою, когда раскаленный стул будет в то же время сжигать меня — решай скорее участь мою — я утомился, я хочу отдохнуть, и как благодарен я тебе буду, если ты успокоишь меня от жизни суетной, отделишь меня ударом топора от царства греховного...»

— Михаил! — сказал Никифор тихо, — возьми этого старика, но не смейте оскорблять его единым словом; отведите его в железную комнату — он должен оставаться под надзором твоим. Завтра ты узнаешь мое решение.

«Завтра! — с горестию воскликнул Феотокий, — завтра...», — и слезы потекли из глаз его. Еще раз остановился он, хотел что-то сказать, но удержался и поспешно оставил комнату. Воины следовали за ним. Михаил остался с Никифором. Долго стоял Никифор неподвижно, взглянул, увидел Михаила и со страхом спросил его «Зачем остался ты, Михаил? Что тебе надобно?»

«Великий владыка! прости меня — я хотел сообщить тебе неожиданную весть...»

— Какую весть? Что такое?

«Государь! церковь, воздвигнутая тобою близ Влахерских чертогов...»

— Продолжай, Михаил! Что ж ты остановился? — сказал Никифор, скрывая свое смущение. — Продолжай, я все готов выслушать, если бы ты известил меня даже о заговоре на жизнь мою моего родного брата...

«Владыка Царьграда и всего Востока! Мне принесли известие, ужаснувшее весь Царьград — церковь эта, память великих побед твоих... Впрочем, естественные причины объясняют все дело, и, вероятно, празднословие прибавило к тому странные подробности...»

— Оканчивай, раб ничтожный!

«Церковь эта упала».

— Как! Она упала? Что это значит: упала?

«Упала, великий властитель, как будто кто потряс ее в основании».

— Я не слыхал землетрясения.

«Его и не было, государь».

— Отчего же упала она? Следственно, издавна грозила она падением? следственно, худо была она построенна? Вероятно, это был заговор, чтобы в то время, когда буду я в ней, она упала и задавила меня? Злодейство не удалось. Завтра же зодчим выколоть глаза... Что хочешь ты сказать? Ты думаешь видеть в этом чудо, предвещание, слабый старик, предвещание моей гибели, как будто твердые камни потряс и разрушил ангел — предвестник моей кончины? Но не сам ли ты говорил, что ты осмотрел все чертоги дворца Вукалеонского и ничего не видал, никого не нашел ты — все спокойно, все мирно...

«О великий властитель! кто может поведать, что предзнаменует это страшное знамение! Да будет благословенно царство твое, да сохранит тебя Господь — вот одно, что скажет тебе раб твой!»

— Михаил! Помнишь ли ты то время, когда еще не был я властителем царьградским?

«То время, когда победа славилась тебя только как первого полководца римского, второго Велизария, второго Сципиона...»

— О, нет! Тогда уже не знал я ни радостей, ни счастья, ни спокойствия... Я говорю о том времени, когда каждую минуту считал я радостью, засыпал для счастья, просыпался для наслаждения, видел единое добро в людях, не знал разноречия между их словами и делами, между их сердцем и устами, в мече видел одну игрушку моей праздности...

«Великий властитель!»

— То время, когда ты надзирал за мною и предостерегал меня от падения, когда одно усердие окружало меня, никто ни ненавидел меня, и рассказ твой об Александре Македонском, о царе Константине, об Ираклии и Велизарии представлял мне в будущем бесконечную даль величия и радостей — когда был я ребенком, а ты дядькою моим...

«Великий властитель!»

— Ты не называл меня тогда великим властителем, и я не знал, какой страшный смысл заключают в себе все эти льстивые титулы и как тяжела жизнь владык и жизнь человеческая... О Михаил! кто, прожив на свете пятьдесят лет, не обратится после того с сожалением к младенческим летам своим, не назовет их единствен-

ным блаженным временем жизни, тот — кто бы он ни был — тот или безумец, или ангел в образе человека...

«Утешься, властитель Царьграда! Милосердие Божие наказует нас тяжкою думою для нашего поучения...»

— Довольно, старик, поди, исполняй свою должность; я успокоюсь немного, и вскоре сам явлюсь осмотреть дворцовую стражу.

Но Никифор не успокоился, оставшись один. Долго сидел он, погруженный в тяжкую, мрачную думу. Иногда вдруг размахивал он руками, щупал кинжал, скрытый у него под платьем; иногда с содроганием прислушивался к порывам бури. То вставал он и хотел позвать в комнату свою Михаила, то останавливался и начинал опять ходить в своей оружейной, в своей молельной.

Вдруг остановился он. «Сам я написал в наставлении вождям: «Полководец! тебе должно со всем вниманием смотреть и иметь неусыпное попечение, чтобы никакое намерение и никакой замысел врагов не были тебе неизвестны»... Исполняю ли я это для самого себя? Но кто и где теперь враги мои?.. Подозреваю даже и этого старца, пустынника вдохновенного — тяжки речи его, и неужели устами его говорят измена и ухищрение? И моя супруга окружена стражею; и Цимисхий, открывший мне этот ужасный заговор, и он обращает на себя мое страшное подозрение... Нет! не люди, но сам я, грехи мои, злобы мои восстают против меня... Неожданное падение храма...

Молитвы,—вдруг воскликнул Никифор,—молитвы потребны душе моей! Кто из смертных ведает, что грядущий день озарит еще раз очи его светом своим? О святая молитва, божественный бальзам неба, переданный смертным для возлияния на раны души их! О ангел Божий, сближающий полетом своим душу человека с престолом Божиим, дочь покаяния, мать помилования, сестра невинности, спутница надежды, подруга любви, любимица веры... Приди ко мне, внуши мне слова, которыми умолю Господа моего...»

Он стал на колени перед образом, горячие слезы полились из глаз его; он плакал; он рыдал; успокоение оживило душу его; чувствуя утомление телесное, он не пошел в свою опочивальню, но передвинул к тому месту, на котором молился, барсовую кожу с красным войлоком, и на них преклонил свою голову. Сон одолевал его — Никифор засыпал — вдруг очнулся он — еще раз

ощупал кинжал свой — опять начал засыпать — опять очнулся с содроганием — и вскоре глубокий сон отягчил его, не принося облегчения ни душе, ни телу. Сквозь сон бормотал он что-то. *Умысел, казнь* — вырывались из уст его; он стenal во сне, как будто поражаемый кинжалами убийц. А между тем...

Бог ведает, что удержало Никифора в дворце Вукалеонском, огромном, бесконечном здании, исполненном тайных переходов, подземелий, комнат, где могли скрыться, куда легко могли прокрасться измена и убийство, никем не замеченные. Мы видели, что еще за несколько дней неизвестно кем написанное остережение вручено было Никифору во время шествия его в Софийский храм; но может быть, открытие Цимисхием заговора «синих» и «зеленых» успокоило Никифора. Он не оставил Вукалеона, сомневался, трепетал, подозревал всех, умножил стражу, сам надзирал за неусыпностью ее, но не оставлял Вукалеона. Когда, неизвестно как, очутилось новое извещение в опочивальне его, в то самое время, когда он призвал к себе Феотокия, услышав, что сей пустынный явился в одной из царьградских обителей, когда это извещение встревожило его, почему не хотел он обезопасить себя взятием под стражу Феофании и Цимисхия? Но он любил Феофанию; увлеченный ее красотой, он в самом деле нарушил уставы церковные, уверив патриарха и святителей, что не он, а отец его был восприемником детей Романа. Подозрение на Феофанию в насильственной смерти Романа было так темно и неопределенно; говорили все, истины не знал никто; многие думали, что Роман умер от неумеренности в забавах и излишнего движения на охоте. И должна же быть мера опасений и подозрительности? Феофания, которую за час до того видел Никифор, слабую, прелестную женщину; Цимисхия, который за день перед тем открыл ему тайну заговора и теперь отправился на азийский берег пролива забирать заговорщиков — их взять под стражу, им определить темницу уделом! А если, после того, она и он окажутся невинными? Ее обвиняло какое-то неопределенное предвещание опасности, а Цимисхия ничто, даже и это не обвиняло, а все оправдывало? И наконец, есть нечто в душе человеческой, неизъяснимое, боязнь, трепет, недоумение в минуты роковых решений судьбы, есть что-то похожее на предчувствие бедствий, которое сочувствует и не может разрешить человек, уныние, недоумение, тоска предсмертная — то чувство, которое вы-

сказал поэт, говоря, что в такие мгновения нисходят человеку —

...на дух боязнь, на мысль недоуменье,
Предзнаменующи великого паденье,
И он, как лютый зверь, страшилище лесов,
Гонимый ловчими, преследован от псов,
В расставленную сеть стремится торопливый.

Да, Цимисхия ничто не обвиняло и все оправдывало. Удаленный завистью Никифора с поприща воинских подвигов, два года жил он вне Царьграда, в уединении своем, и самый зоркий глаз соглядателя не мог ничего открыть, ни в делах, ни в словах его. Призванный в Царьград, он явился кроткий, покорный, беспечный, обрадованный милостью. Проникнув умысел «синих» и «зеленых», он показал свой ум, и как некогда отдал он Никифору венец императорский, так теперь еще раз обезопасил жизнь его открытием страшного заговора. По его указанию, нашли в домах Афанаса и Порфирия заготовленное оружие, захватили галеры, на которых готовились плыть в Царьград заговорщики, переловили главных зачинщиков, рассеяли остальных, взяли приготовленные ими сокровища, нашли их переписку. Так ли поступает изменник, как поступил Цимисхий? Но тем более глубочайшею тайною покрылось собственное злоумышление Цимисхия, его заговор на жизнь Никифора. У Цимисхия не было собственно заговора, не было сообщников, не было заготовленных сокровищ, орудий, галер. Один был у него заговорщик — он сам; один сообщник — Феофания, утомленная суровым нравом, ревностью, подозрениями своего супруга, жадная забав, наслаждений, любви — женщина, переступившая одиножды предел добродетели, кипящая страстями. Несколько убийц, изгнанников, ненавидящих Никифора, составляли всю партию Цимисхия, сами не зная друг друга, и только с удивлением сошлись они к тайной двери Вукалеона, в час, назначенный Цимисхием, когда буря прикрыла их от всех взоров, и Цимисхий, находившийся на азийской стороне Босфора для захвачения «синих» и «зеленых», тайно, подвергая жизнь свою опасности, переплыл через пролив, прямо к Вукалеону. «Чего страшишься? Цезаря везешь!» — говорил он, когда испытанный в битвах и опасностях Лев Валант указывал ему на бурное море и утверждал, что безумно пускаться на явную погибель. Ключ от тайного подземного перехода вырвал Цимисхий из рук Феофании и ввел убийц в чертоги Вукалеонские. Кроме Льва Валанта, преданного Цимисхию с самой

юности, товарища битв и буйных бесед его, расточившего имение на развратных женщин и пиры веселые, кроме Валанта, который всего надеялся от возвышения Цимисхия, и кроме самого Цимисхия, их было шестеро — только *шестеро*; но это были *Михаил Вурз*, *Лев Песнодид*, *Антипофеодор*, убийца Романа — люди, о которых Цимисхий говорил Феофании; *Феофил Кирик*, фанатик, беглый монах, расстрига, осужденный Никифором на вечное заключение в отдаленный монастырь; аравитянин *Сулейман*, детей которого казнил Никифор, когда они, приняв христианскую веру, отреклись потом от нее; наконец, сотник *Феодор*, поруганный Никифором во время похода его к Тарсу. Строгий наблюдатель воинского порядка, Никифор увидел на дороге тяжелый щит, брошенный одним из воинов. Приучая войско к трудам, Никифор приказывал совершать походы в тяжелой воинской броне и всем оружием. Щит был поднят и принесен в лагерь. Созвали легион, к которому принадлежал воин, бросивший щит, его уличили в вине его, и тщетно умолял он Никифора простить ему вину. «Возьми этого подлого, слабого труса, — говорил Никифор, обращаясь к сотнику Феодору, — высеки его розгами, отрежь ему нос и води его по всему лагерю, в страх другим!» — Феодор сжалился над бедным воином, думал, что Никифор отдал приказ в минуту гнева, медлил исполнением и через два дня с ужасом услышал повеление Никифора: его, сотника, патриция, высекли перед легионами, отрезали ему нос и водили по всему лагерю как пример наказания, которое постигнет каждого нарушителя императорских повелений и воинского порядка! — Удивлялись потом многие, что постельничий Михаил, дважды осматривая по повелению Никифора весь дворец Вукалеонский, посетив даже тайные чертоги Феофании в ее отсутствие, ничего не видал, ничего не заметил. «Неизвестно, — говорит один из современников, — от страха ли к государыне или от медлительности своей, или от некоего помешательства в уме, он оставил без всякого обыска ту комнату, в которой скрывался отряд злодеев» *. Напротив, Михаил совсем не знал тайного прохода через подземелья, от спальни императорской к самому тому месту, где на взморье подле дворца поставлен был огромный лев, терзающий вола, от чего *Вукалеон* получил свое название **. Этим проходом тайно выходил не-

* Лев Диакон.

** Βους — бык, вол; Λεων — лев.

когда Роман на ночные гулянья по Царьграду, переодетый, скрывая свое величие и скучая обыкновенными забавами по уставу. Цимисхий разделял с ним эти буйные прогулки, и из всех прежних товарищей, знавших тайный проход, оставался он один — прочие уже не существовали в это время, жертвы смут, бывших после Романа, и неумеренности наслаждений. Ключ подделан был тайно Феофанией к скрытной, заржавелой двери прохода, и через него проходил Цимисхий на преступные свидания с Феофанией.

Когда Цимисхий ввел семерых товарищей своих в тайный проход, и при свете фонаря они разглядели друг друга.

— Что ты хочешь делать с нами, Цимисхий? — спросил его безносый Феодор.

«Твое дело исполнять, что я велю!» — сурово отвечал Цимисхий.

— Но неужели нас только?

«Да».

— Но, конечно, Вукалеон стережет не одна сотня ратников, и по первому знаку Никифора неостанет по волоску нашему на человека.

«Ты робеешь, безносый трус?»

— Нет! но надобно подумать о своей жизни.

«Тебе думать о своей жизни, когда я жертвую моею жизнью? Иди вперед, трус презренный, или мы пойдем через труп твой! Не правда ли, товарищи?»

— Да здравствует Цимисхий! — глухо раздались голоса других под низкими сводами подземного прохода.

«Обнажите мечи и следуйте за мною!»

Сквозь душное подземелье, где от спертго воздуха свеча тускло горела в фонаре, Цимисхий пробрался наконец до лестницы, ведущей к опочивальне Никифора. Он остановился у дверей. Стоило повернуть скрытую пружину, и он и товарищи его вступили бы в опочивальню.

Но здесь, в ту минуту, когда от одного движения руки зависело решение судьбы Никифора и Цимисхия, когда случай должен был кончить все, что годами обдумала и приготовила ненависть и злоба Цимисхия — остановился Цимисхий.

Да, все могла подарить ему и все разрушить одна минута! Цимисхий был уверен, что Никифор находится в опочивальне; тысяча против одного, что он спит в такое позднее время; пройдена стража, скрыты все следы — стоит отворить дверь...

Но если что-нибудь смутило сон Никифора? Если он не спит, если его нет в опочивальне?.. Какое безрассудство, как неверно, легкомысленно обдуман весь план, как можно было на удаче основать его, когда кинжал, яд, стрела изменника могли скрытно и наверно погубить врага тысячу раз, когда в первой битве он мог быть поражен предателем... Если Никифор успеет подать знак страже своей...

Голова Цимисхия закружилась; в глазах его было темно; руки задрожали и фонарь выпал из рук его и погас. Он едва не лишился чувств...

— Что с тобою, Цимисхий? — спросил его Валант. «Тише! Мы отделены одною дверью от опочивальни!»

— Отворяй же ее, — шептал Валант.

«Я не найду пружины...»

— Мы задыхаемся в этом смрадном подземелье.

«Мы погибли, если не отворим дверь, — прошептал ему Цимисхий. — Я не сыщу обратного выхода в темноте...»

— Идти надобно вперед. Ломай дверь!

«Она железная, и стук услышит Никифор!»

— Боже! — И сам Валант содрогнулся от своего невольного восклицания.

«Что ж мы остановились, Цимисхий?» — спросил Антипофеодор.

Дрожащая рука Цимисхия нашла наконец пружину; но он напрасно вертел ее. Если она испортилась?.. Крупными каплями выступал на лбу его холодный пот...

Но дверь колеблется — она повернулась...

— Тише! Здесь еще другая дверь...

И вот — они в опочивальне. Тусклый свет лампы освещал комнату.

— Валант! поспеши и затвори дверь в оружейную! — Феодор, стань в том углу, где висит звонок...

И с ужасом увидел Цимисхий, что Никифора не было на ложе — комната была пуста!..

— Он узнал наше предприятие и успел скрыться! — прошептал Цимисхий. И не в силах держаться на ногах, прислонился он к ложу Никифора. Мгновенно пролетела в голове его мысль обо всем, что ожидало его в будущем: ему казалось уже, что окровавленная, отрубленная голова его выставлена на позор и посмешище перед воротами Вукалеона; что он, который мог быть *вторым* после Никифора, но посрамивший себя злодейством, преступлением, для того только, чтоб быть *первым*, должен погибнуть, подобно родителю греха, падшему ангелу, который также хотел быть первым...

Ему не пришли в это время на мысль ни упреки со- вести, ни то, что ожидает его за гробом... Но — минута была ужасна!

Дикие вопли и болезненные стоны поразили слух Цимисхия, когда он стоял в нерешительности. Цимисхий узнает голоса своих товарищей и голос Никифора. Как тигры кровожадные, испуганные опасностью, они бросились искать Никифора в оружейной, в моленной: здесь увидели они его, и — совершилось злодейство!

Пусть хладнокровный историк описывает подробности ужасного события. *Повторим* только слова его, и не прибавим ни одного слова к его рассказу:

«Как скоро злодеи увидели Никифора, почивающего на барсовой коже и красном войлоке, перед святыми иконами Иисуса Христа, Богоматери и Иоанна Предтечи, где успокоился властитель Царьграда после молитвы, они тотчас обступили его и начали толкать ногами. Едва проснулся он, приподнялся и оперся головою на руку, Лев Валант сильно поразил его мечом. Чувствуя чрезвычайную боль от раны — меч попал в самую бровь, пробил кость, но не коснулся мозга — плавающая весь в крови, Никифор воскликнул громким голосом: *Спаси, Богородица!* Иоанн Цимисхий сел на царское ложе и приказал притащить его к себе. Тогда, привлеченного к нему и на полу распростертого, ибо Никифор не мог привстать, потеряв геройскую свою силу от удара меча, Цимисхий начал грозно спрашивать: «Скажи мне, безумный и жестокий тиран! не через меня ли восшел ты на римский престол и получил верховную власть? Как же осмелился ты, увлеченный завистью и безумием, забыть благодеяние и лишить меня, своего благодетеля, начальства над войсками и выслать в деревню, жить в бездействии с поселянами, меня, человека знаменитого рода, храброго, более тебя самого, страшного для войск неприятельских, как будто какого-нибудь преступника? Никто не освободит теперь тебя из рук моих. Говори, если можешь что сказать в твоё оправдание?»

Едва дышащий, не имея никакого защитника, Никифор только призывал к себе на помощь Богородицу. Схватив его за бороду, без всякого милосердия, Иоанн исторгал из нее волосы, а другие злодеи с такою жестокостью и бесчеловечием били его по ланитам рукоятками мечей своих, что зубы выпадали у него из челюстей. Пресыщенный мучениями неприятеля, Цимисхий толкнул его наконец ногою в грудь и, обнажив меч, рубил ему

голову и другим приказывал поражать несчастного. Они терзали Никифора без пощады, один из них ударил его в спину *акуфием* и насквозь пронзил до самой груди. Сие железное длинное орудие совершенно почти подобно носу цапли и отличается от него только тем, что имеет некоторую кривизну и тонкое на конце острие, а цапле природа даровала нос прямой.

Таким образом, живши на свете пятьдесят семь лет, а царствовав только шесть лет и четыре месяца, император Никифор кончил жизнь свою — человек, без сомнения превосходный пред всеми людьми того времени своим мужеством и телесною силою, деятельный и опытный в подвигах воинских, способный ко всяким трудам, не склонный к телесным удовольствиям, великодушный и благородный в делах гражданских, справедливый в судебных, непоколебимый в издании законов, никем из занимавшихся сими делами непревосходимый, неутомимый в молитвах и всенощных бдениях, сохранявший твердость духа в священных песнопениях и к суетности совершенно неспособный.

Я имел случай сам видеть его, когда однажды, в праздник Вознесения Спасителя нашего, совершал он по обычаю торжественный ход к так называемой *Пеге*, где построен был прекрасный храм Богородице. В это время произошла между народом драка, в которой многие граждане были ранены. На возвратном пути Никифора во дворец некоторые оказывали против него явную дерзость, и одна какая-то женщина с дочерью своею дошли до такого безумия, что кинули в него из окон своего дома камнями (за что на другой день, схваченная, и с дочерью своею, сия несчастная была сожжена за городом, на месте, называемом *Анаратас*). В то время и я, писатель сей истории, бывши еще юношею и проживая в Царьграде для приобретения просвещения и познаний, видел императора Никифора, едущего верхом на лошади, шагом, нимало не уstraшенного дерзкими поступками народа и сохранившего твердость духа с таким видом, как будто ничего особенного не случилось; и чрезвычайно удивлялся я непоколебимости императора и душевному мужеству его в опасных обстоятельствах. Силою и телесною крепостью казался он подобен Алкиду, а умом, благоразумием и способностью узнавать, что должно делать, превосходил всех людей своего времени. Но счастье человеческого часто зависит от одной минуты и нередко висит, так сказать, на тонкой нити, и удаляется в противную сторону. Справедливо думают некоторые, что

судьба и зависть человеческая противятся сильным и знаменитым людям, колеблют, низлагают их и в ничто обращают. Так сбылось и с Никифором, хотя все, казалось, текло по его желанию, чего ни с одним из его предшественников не случалось. Сим не угодно ли было Богу показать суету человеческой гордости, коей меры не бывает? Были такие случаи, что люди, восшедшие на степень блаженства и достигшие славы, не страшились даже называть себя богами и тем оскорблять великое провидение. Примером сему служат сыны Алоевы, От и Эфиальт, хотевшие, как говорят, взойти на небеса; Навуходоносор Вавилонский, воздвигший себе истукан, и Александр, сын Филиппа, желавший именоваться сыном Зевесовым. Дела человеческие непостоянны и переменчивы, что испытали и римляне, потерявшие в императоре Никифоре правителя, какого прежде никогда не имели. Если бы сего не случилось, то при жизни его, без сомнения, положили бы они пределы своего владычества на востоке в Индии, а на западе — на самом крае Вселенной. Нельзя было не поставить в порок Никифору, что был он неумолим в наказаниях, непреклонен и жесток к преступникам и ненавистник людей, ведущих жизнь беспечную. Римское государство, конечно, достигло бы величайшей славы, какой никогда не имело, если бы при успехах Никифора не восстали на него и не погубили его так скоро непостоянная судьба или, лучше сказать, Провидение, которое, наказуя грубый и высокомерный дух людей, останавливает их, уничтожает и в ничто обращает, непостижимыми судьбами направляя ладью жизни человеческой, куда Ему угодно.

Совершив богопротивное и незаконное дело свое, Иоанн Цимисхий вошел в блистательный чертог, называемый *Золотою палатою*, надел на ноги красные сандалии, воссел на царский трон и размышлял: каким образом принять верховную власть так, чтобы никто из родственников Никифора против него не вооружился? Телохранители Никифора уже поздно узнали о его убиении, устремились к нему на помощь, полагая, что он еще остается жив, и всеми силами старались разломать двери, ведущие в отделение императорских чертогов. Услышав о том, Цимисхий велел вынести голову императора и показать им. Один из убийц, Антипофеодор, подошел к трупу Никифора, отрубил у него голову и показал ее мятежникам. Увидя сие неожиданное и ужасное зрелище, телохранители бросили из рук мечи и единогласно провозгласили Иоанна Цимисхия римским императором,

а тело Никифора выброшено было на отдаленный двор и целый день лежало там под открытым небом. Только к вечеру Цимисхий, занятый многими делами, вспомнил о нем и приказал предать его приличному погребению. Положили обезображенный труп Никифора в деревянный ящик, сделанный на скорую руку, вынесли в храм Св. Апостолов и сокрыли в одном из царских гробов, в том же тереме, где лежит тело святого и славного Константина.

Но довольно уже, кажется, говорил я о деяниях, жизни и смерти императора Никифора, и более о сем распространяться значило бы впадать в недостаток людей слишком любопытных, престающих пределы надлежащего повествования и не оставляющих без внимания и ничтожной малости» *.

Мы прибавим однако ж еще, что услышав о смерти Никифора, один из тогдашних поэтов сочинил эпитафию ему ямбическими стихами, где говорил:

Се, неусыпный муж, что не смыкал очей,
Уже поконится во гробе вечным сном —
Печальный вид! Восстань, восстань, о государи!

и прочее, и прочее. Эпитафия эта считалась от современников мастерским произведением. У всякого века свое мнение, свои нравы, свой вкус, хоть основание всегда одно — непостоянство мнений, нравов и вкуса, и мы убедимся в этом далее в нашем рассказе.

КНИГА VI

Всякое животное скрывает оружие, которым оно причиняет зло: змея пресмыкается, укрывая себя в траве, пчела носит во рту своем мед и воск, и прячет жало свое под сими дарами природы; тигр скрывает свою ужасную пасть и показывает только свою драгоценную, пеструю кожу, а ты — ты являешь нам вид, исполненный благочестия, и в груди своей таишь свое жестокое сердце.

Макиавель, «Stanza»

«Род приходит и род преходит, восходит солнце и заходит солнце, влечется в место свое, воссиявает, идет к югу, склоняется к северу, обхо-

* Лев Диакон.

дит окрест; идет дух и на круги свои обращается дух; мчатся потоки в море и не насыщают его, и на месте их являются новые; не наполняется ухо слушания, не насыщается око зрения; что было, то есть, или опять будет, и что было сотворено, то вновь сотворено будет! И ничто не ново под солнцем; никогда не скажет человек: «Вот новое!» — Нет! Все это уже совершалось прежде, в веках минувших прежде нас. Нет о том памяти; но ведаешь ли, что останется и о нас память до конца, с тем, что будет после нас?» — Так говорил царь-мудрец и прибавил: «Хочешь ли премудр быши? Познай минувшее!»

Один из греческих мудрецов хотел назвать бытописания *Зерцалом Царей*. Священная книга истории, грозная книга судеб, написанная родом человеческим, запечатанная слезами и кровью миллионов! Какая из страниц твоих не поучительна...

Как ночная буря, утром, когда умолкла буря вещественная, солнце явилось в полном блеске своем, природа отдохнула, Босфор снова являлся светлым зеркалом, и только обломки кораблей, носимые волнами, показывали минувшее свирепство стихии, — утром, подобно буре, зашумела над Царьградом весть: «Нет Никифора! Иоанн Цимисхий властвует Царьградом» — Отряды воинов, при звуках труб и кимвалов, ездили по улицам царьградским. Словно испуганные овцы, собирался народ, бежал на площади и слушал возвещения глашатаев:

«Внимайте, люди царьградские! Волею Бога и вспомоществованием пречистые девы Марии, силою честного и животворящего креста Господня, представительством небесных сил и всех святых, опекуном малолетних императоров Василия и Константина и владыкою вашим отныне Иоанн Цимисхий. Он обещает суд правый, милость верным и послушным, казнь и гибель непокорным и возмутителям. Люди царьградские! Император Иоанн поздравляет вас и молит вам милости от Бога!»

Отряды проезжали. Народ безмолвствовал. «Но что же сделалось с тем, кто еще вчера владычествовал над нами? — спрашивали одни. — Неужели он исчез в почной буре, как страшное привидение?» — «Он и похож был на привидение! — прибавляли другие. — Такой ли он был, чтобы ему долго оставаться владыкою Царьграда!»

Тихо и спокойно было между тем в Царьграде. Народ собирался на площадях; купцы заперли свои лавки и ряды, боясь смятений. Царьград уподоблялся человеку, внезапно пробужденному, который ничего еще не понимает, не умеет отдать сам себе отчета.

Новые глашатаи ехали вслед за первыми и возглашали:

«Внимайте, люди царьградские! Император Иоанн объявляет вам милость и суд правый. Известно ему, что многие из вас недостаточествуют и бедствуют от недостатка хлеба и средств пропитания. Он отдает вам все свои сокровища; идите в чертоги, где обитал он прежде, и каждый, кто придет, получит в дар серебряную монету. Кто из вас хочет хлеба, пусть идет в житницы Влахернские и безденежно берет хлеб, сколько взять может!»

Радостные клики начали раздаваться по площадям и улицам: «Многие лета Иоанну!» — восклицали голоса.

Третьи глашатаи ехали по Царьграду и возвещали: «Внимайте, люди царьградские! Император Иоанн объявляет вам милость и суд правый!»

Известно ему, что судьи несправедливые управляли вами. Он сменяет всех судей и управителей Царьграда и поставляет вам новых, избранных им. Каждый из вас имеет отныне право и свободу приходить в чертоги Влахернские и приносить жалобы свои на судей мужам, избранным от Иоанна для рассмотрения ваших жалоб».

И когда четвертые глашатаи объявили, что Иоанн обещает через неделю игры Цирка на Ипподроме, где двести колесниц будут скакать; что завтрашний день он грядет принять венец кесарей во храме Св. Софии, с благословения патриарха Полиевкта, и что во время шествия его будут бросать в народ золотые и серебряные монеты — восторг жителей царьградских явился в полном разгуле.

— Беги скорее к дому Цимисхия — там дают деньги. — Беги скорее к Влахерну — там раздают хлеб. — Я был — вот три серебряные монеты. — Разве дают по три? — Нет! Я три раза обошел кругом и все подходил к раздавателям; один из них заметил мою хитрость. — И тебе, верно, досталось? — Как бы не так. Разве это в старое время? Смеет ли кто теперь обидеть нас! «Ты плут, — сказал мне раздаватель, — но Иоанновы сокровища неистощимы: как благодать его и мудрость; возьми и

приходи еще». — Ну, друзья! кто знал, что в Царьграде такие огромные запасы хлеба. — Что ты говоришь? — Конца нет: с раннего утра народу толпа, тащат во все стороны, и беспрестанно подвозят вновь и вновь, точно как из египетских житниц при Иосифе Прекрасном. — Что же? Наш Иоанн и похож на Иосифа Прекрасного. — У него есть и жена Пентефриева, которая обольщает его теперь. — А где-то теперь наш Пентефрий? — Тише! не поминай, что прошло. — И стоит ли вспоминать. Да здравствует Иоанн Цимисхий! Да здравствует наш кормилец, наш отец!

И в то же время разговаривавшие бросились в одну улицу, где теснилась большая толпа народа. Длинный обоз печеного хлеба, мяса, рыбы, овощей тянулся по улице, и глашатаи, сопровождавшие его, громко кричали, что император Иоанн, зная, что в Царьграде есть дряхлые старцы, больные, увечные, вдовы и сироты, которые не могут сами идти во влахернские житницы и получать хлеб, посылает по всему городу обозы и повелевает раздавать щедрою рукою всем нуждающимся хлеб и припасы.

В самом деле, это было трогательное зрелище: из бедных домиков, из мрачных подземельев и погребов влеклись старцы, тащились хилые вдовы и больные старики, с чашками, с корзинками, прибегали дети, одетые в лохотье, и всем им давали щедрою рукою. Они становились на колени, подымали руки и глаза к небу и молились за Иоанна. Какой-то старец, держа в руках хлеб, обратился к толпе народной и громко проговорил: «Братья! знаете ли, что я и бедная жена моя уже целые сутки не ели? Я понесу этот хлеб к одру, на котором страдает жена моя, а потом, собрав последние силы, пойду во храм Божий благодарить Бога и молить его, да продлит навеки жизнь Иоанна Великого!»

Будто искра электрическая, пролетели эти слова в народ, и громко раздалось: «Да будет он отныне Иоанн Великий!»

«Народ православный! Кто хочет видеть Иоанна Великого, тот беги на Константиновскую площадь — он едет во Влахернский дворец!»

— Иоанн Великий! Иоанн Великий!

Такие клики встретили Цимисхия, когда он подъезжал к Константиновской площади, на белом коне, покрытом багряными попонами. Весел, радостен, ласков казался Цимисхий; голова его была обнажена; он дер-

жал в руке шапку свою и беспрестанно и ласково кланялся народу. Совершенная противоположность Никифору: он был предшествуем небольшим отрядом златоносных ратников; множество вельмож следовало за ним, но не было войска, не было грозных фарганов с обнаженными мечами, не тянулись длинные ряды воинов по сторонам улиц, и не гнали никого с дороги, как бывало это при Никифоре. Народ теснился к Цимисхию, окружал его, шумел, кричал.

— Дети! — говорил Цимисхий, — дайте мне проехать. — Дети! берегитесь — лошадь моя может ушибить кого-нибудь! — Здравствуйте, дети мои, здравствуйте!

Смятение сделалось впереди. Какая-то женщина хотела перебежать дорогу, упала и лошадь одного из воинов наступила ей на ногу. Отряд воинов остановился. Едва узнал об этом Цимисхий, он быстро соскочил с лошади и кинулся в толпу народа, собравшуюся около ушибленной женщины. Все расступились. Он наклонился к страдальце, взял ее за руку, говорил с нею ласково, утешал ее... оглянулся и как будто изумился, видя, что народ окрест его стоит на коленях и плачет.

— Отец, отец наш! Иоанн Великий! За тебя головы, за тебя души наши! — восклицали тысячи голосов.

«Дети! сколь приятно мне название вашего отца, столь тягостно название великого. Един Бог велик!»

Восторг народный вышел из пределов. «Понесем, повезем его! Давайте колесницу! Колесницу Иоанну Великому!»

Колесница явилась каким-то нечаянным образом в это время: она ехала сзади шествия. Народ выпряг лошадей; сотни ухватились за колесницу, сзади, спереди, и при громких кликах, Цимисхий катился в этой колеснице, везомый руками народа. Бесчисленные толпы народные бежали вперед, шли сзади; открылось не приготовленное торжество: в окнах домов, мимо которых проезжал Цимисхий, вывешивались ковры и парчи, по требованию народа. Отряд воинов, сопровождавший Цимисхия, и вельможи и царедворцы должны были отстать от него и ехать во Влахернский дворец другою дорогою. «Не хочу, чтобы кто-нибудь отделял меня от моих добрых и верных подданных — между нами и мною да не смеет никто стать и разлучить меня от народа моего!» — говорил Цимисхий.

— Ты мой теперь, народ царьградский! — думал Цимисхий. Подле Влахернского дворца собрано было множество войска. Тут стояли отдельными рядами фар-

ганы, отряды варваров, стальноносные, золотоносные легионы.

Цимисхий сошел с колесницы у главного входа и пошел прямо к отрядам фарганов. Войско представляло однако ж угрюмую противоположность народу. С кликом и шумом двигались пестрые толпы народа. Войско стояло блестящими, стройными рядами и безмолвствовало.

Немного смутился Цимисхий, вступая в ряды воинов. «Друзья мои, храбрые фарганы! — сказал он, — вас приветствует старый товарищ ваш! Гензерих! или не узнаешь Цимисхия?» — продолжал он, обращаясь к старому седому воину, угрюмо облокотившемуся на копье.

— Узнаю, — отвечал Гензерих, — если дружбу свою к нам докажешь делами. Нам за полгода не выдано жалованье; наш аколуж притесняет нас...

«Не думаю», — возразил Цимисхий с улыбкою.

— Я никогда еще в жизни моей не лгал.

«Кого называешь ты своим аколужом?»

— Известно кого: патриция Никифора, сына Куропалатова.

«Разве ты не знаешь, что уже с самого утра Никифор сменен и на место его поставлен заслуженный воин Гензерих?»

— Как, государь?

«Да, и что Гензериху поручено выдать сполна жалованье фарганам, и что отныне место аколужа будет всегда занимать старейший и храбрейший из фарганов?»

— Μουλτους αννους βικτορεμ τε φαμιат Δεους, — воскликнул Гензерих, первый ударил бердышем в щит, и как гром раздалось сии звуки по рядам фарганов. На варварском своем языке объяснил Гензерих милости Цимисхия своим товарищам, и ряды их огласились громкою песнью: Βικτωε σελτερ ерис!

«Обнимаю аколужа всех иноземных, но верных дружин моих!» — возгласил Цимисхий, обнимая Гензериха.

Торжественные клики слышны уже были в это время и от всех других воинских дружин: златоносным ратникам объявили, что отныне они именуются *легионом бессмертных* и составляют дружину императора; стальноносные наименованы были *непобедимыми*; другим обещаны были новые золотые знамена; всем начальствующим объявлено было повышение чинами; всем воинам велено было выдать жалование за полгода вперед.

Цимисхий переходил от одного отряда к другому, и когда он вступал во дворец, гром труб и кимвалов соединялся с воплями воинов: «Многие лета Иоанну Великому! Многие лета победителю и властителю!»

Он вступил в отдаленную залу Влахернского дворца, где ожидали его немногие верные его приверженцы: Василий, побочный сын Романа императора, объявленный постельничим, Варда Склир, брат бывшей супруги его Марии, возведенный в достоинство Великого domestика, и еще две, или три osoby.

— Много ли раздано народу денег? — спросил Цимисхий.

«Миллион серебряных монет назначен в раздачу».

— На великую ли сумму находилось хлеба в здешних житницах?

«На миллион серебряных монет».

— Велите же немедленно начать раздачу войску; прикажите выдать по этой росписи в церкви, больницы, дома сирот и вдов; к раздаче народу прибавить еще миллион, и хлеб раздавать до последней пылинки.

«Но, государь... подумай о следствиях...»

— Разве ты не знаешь скифской пословицы: дружиною найду я золото, а золотом найду дружину? Чего не покупаешь, того и не продают, а чего не продадут, если только есть кому купить! Поспешите новыми объявлениями, что я избираю из всех дружин особый — новый легион, которого начальником буду я сам, и называю его *благодатным*. Объявлено ли, что я даю полную свободу всем философам и ученым открывать училища, Академии, Портики и свободно проповедовать изъяснения Платона, Пифагора, Аристотеля и кого им угодно?

— Мы хотели представить тебе...

Цимисхий засмеялся. «Знаете ли вы рассказ об афинском полководце Алкивиаде?»

«Помним, государь, рассказ этот; но какое отношение?»

— Алкивиад отрубил хвост собаке своей и пустил ее бегать по городу. Афиняне бегали за бесхвостой собакою, толковали о хвосте, о том, для чего отрублен хвост, на что отрублен, как отрублен, и забыли об Алкивиаде, который отрубил в это время хвост Афинам. Друзья мои! пусть царьградцы наши слушают бредни Пифагора, которые не стоят даже и собачьего хвоста;

а между тем напомните, чтобы эти премудрые не заговаривались слишком много, напомните им, что кто отворил философические их Академии, тот и затворить их может. Да, кстати, задайте философам вопрос о том, что значит падение храма, воздвигнутого Никифором...

«Этот вопрос, кажется, решен. Люди, рассматривавшие упавший храм, говорят, что все произошло от ужасного воровства зодчих, которые клали своды из глины и украли половину основания. Еще недоведенное до сводов, здание треснуло в трех местах и угрожало падением. Но трещины поспешили замазать...»

— Велите немедленно оправдать зодчих, выдать им награду, и пошлите расславить сколько можно громче, что здание развалилось от грехов основателя, хотя было сложено из камней крепче гранита. Философы должны подтвердить это мнение выводами философии, математики, физики и всего, что только они знают или о чем говорят не зная. Собрались ли царедворцы и вельможи в здешнем дворце, по моему приказу?

«Они ждут твоего появления».

— Много ли их тут?

«Все, государь, кроме тех, кому не приказывал ты явиться».

— Не заметили ль посланные для призвания их какого-нибудь неудовольствия от кого-нибудь из них?

«Нет, государь,— все изъявили радость и восторг; многие плакали от восхищения; другие становились на колени и благодарили Бога, что он избавил их от ненавистного тирана...»

— Право? Подите же и объявите им, что император Иоанн, занятый важнейшими делами, не может их видеть, приказывает им мирно возвратиться в дома свои и явиться в другой раз, завтра утром. Усердие того будет оценено мною, кто явится ранее других.— Варда Склир! ты останешься со мною.

Цимисхий сел подле стола и облокотился на стол. Склир стоял в безмолвии.

— Иоанн! — осмелился сказать он, — ты утомлен...

«Уже двое суток не спал я и сутки ничего не ел...»

— О государь! береги свое здоровье...

«Здоровье! когда я не берег... не берег ничего, мой добрый Склир. Оставим мое здоровье, и скажи мне скорее, что отвечал тебе патриарх на мое последнее предложение? Отдает ли он мне Льва Куропалата?»

— Государь! Первосвяtitель едва допустил меня к себе, сурово и мрачно глядел на меня, и вот слова его: «Скажи мое последнее слово пославшему тебя Иоанну, которого ты называешь императором царьградским, что дотолe не назову я его сим великим названием, доколе главу его не освятит благословение церкви. Как Великому domesticу и магистру, я не воспрещаю ему явиться в храм соборный для моления, ибо храм Божий отверзт для молитвы каждому; но если бы его сопровождали тысячи народа, возглашая императором, и тысячи угрожающих мечей были устремлены в то же время на грудь мою — я не позволю ни на одной колокольне звонить в честь его торжества, и анафеме предам каждого из подчиненных мне служителей церкви, который до моего благословения благословит Иоанна, как императора».

«И неужели в толпе сановников, которая теснится теперь во Влахерне, нет ни единого епископа, ни единого митрополита?»

— Никого нет, государь.

«Продолжай», — хладнокровно сказал Цимисхий, подумавши несколько мгновений.

— «Иоанн требует от меня, — так говорил мне первосвяtitель, — выдачи в руки его Льва Куропалата, брата покойному императору, и аколуга Никифора, племянника его, укpывшихся в алтаре Соборной церкви — скажи ему, что церковь не выдает прибегающих под ее святую защиту. Пусть пришлет Иоанн своих палачей и исторгнет из алтаря жертвы или повелит зарезать их там и обагрить кровью их помост святого храма. Скажи ему, что он может сорвать с меня знаки моего первосвяtitельства, но — горе ему...» Я не смею повторить слова, какие прибавил первосвяtitель...

«Я их понимаю, и... для чего не могу я изгладить их из моей памяти! Мой друг, мой добрый Склир! Все суета сует!»

— Государь! Позволишь ли сказать мне одно слово? «Говори».

— Обезображенный труп Никифора брошен в одном из дворов вукалеонских, и уже хищные птицы выются над ним... Государь! Он был христианин, и благо тому, по словам закона, кто прикроет землею кости человеческие...

«И он ничего более не требует, этот человек, который вчера еще мыслил потрясти Багдад и распространить

ужас в отдаленных странах Скифии — ничего более не требует, кроме горсти земли для своего бедного праха... Хорошо, Склир, я прикажу... Но где присланный от Феофании? Введите его ко мне».

Склир удалился, а Цимисхий ходил в глубоком размышлении и по временам брался руками за свою голову, как будто желая утишить в ней жестокую боль. Присланный от Феофании был введен и низко преклонился пред ним. Это был старик, преданный Феофании, дальний ее родственник.

— Государы! — сказал он, — владычица Царьграда приветствует тебя и изъявляет тебе печаль свою, что не видит тебя в чертогах своих. Она желает знать, когда посетишь ты ее и утетишь приветливым взором очей своих и ласковыми словами речи твоей благодатной?

«Извести владычицу Царьграда, что никогда не изменится к ней мое благоговейное почтение, и вскоре предстанут пред нее посланные мною узнать ее волю. Но сам я не могу явиться к ней, озабоченный множеством дел важнейших».

— Государы!

«Я не люблю возражений! — гордо воскликнул Цимисхий. — Ты можешь идти!»

Старик преклонился и вышел. Постельничий Василий вступил поспешно.

— Государы! я объявил волю твою вельможам и царедворцам, собравшимся принести тебе дань своего благоговения. Но едва услышали они, что усердие их будет оценено тем, кто из них ранее других явится в чертоги Влахернские, громко возопили они, что никто из них не оставит чертогов Влахернских, и все готовы провести в них ночь, ожидая, что ты осчастливишь их взором своим, и что ни сон, ни пища не будут для них потребны, пока не удостоятся твоего милостивого привета.

«Я хотел им дать время приготовить получше личины и приучиться приговаривать к моему имени те названия, коими вчера осыпали они Никифора, но, видно, они уже готовы. В самом деле, многие могут забыть те искренние изъявления радости, какие приготовили мне. Пойдем к ним, Склир, пойдем Василий! Нет! Я один явлюсь. Василий! Иди прежде меня и скажи, что, по воле моей, все они должны преклонить колени, только вступлю я в залу их собрания. А ты, Склир! иди в Вукалеон, возьми обоих детей Романа, перевези их во Влахерну и отведи им для жительства Золотое отделение. Если они

перепугались каких-нибудь слухов — вели занять их сказками об Александре Македонском и о взятии Трои; если забыли их накормить — все быть может — вели немедленно предложить им богатую трапезу. Потом приготовься к ночной страже, вместе со мною — никто не должен знать, где проведу я нынешнюю ночь».

— Государы! Можешь ли опасаться чего-нибудь, когда всё, от чертогов императорских до последней хижины, славит твою мудрость, твои благодеяния, когда тысячи утешенных, омилосердствованных тобою, воссылают за тебя моления к Богу, и восклицания воинов сливаются с голосом народа!

«Мой добрый Вард! Это прекрасно сказано, и я, право, не думал, что ты мастер выражаться красноречиво. Пусть меня славят, но — тем не менее — мы с тобою проведем нынешнюю ночь в разъезде по Царьграду. Полки фарганов должны быть готовы по первому знаку. Но стражи вокруг Влахернского дворца отнюдь не надобно — объявить торжественно, что я полагаюсь на любовь народа моего и спокойно буду спать, удалив от себя мечи и копья воинов. Вукалеон, напротив, окружит крепкая стража — для почета великой Феофании...»

Едва явился Цимисхий в залу, где ожидали его соборные вельможи и царедворцы, как все собрание поверглось на колени, в глубоком молчании. Им было уже сообщено повеление Цимисхия.

С минуту стоял Цимисхий и смотрел на это собрание знатнейших сановников воинских и гражданских, логофетов, спафариев, domestikов, дуксов, никтепархов, друнгариев, страторов, стратигов, проэдров, патрициев, в их золотых, серебряных, бархатных одеждах.

— Приветствую вас, избранные мужи великого римского государства, твердые, неколебимые опоры престола, и, милостию Бога возведенный на престол Царьграда и всего Востока, обещаю вам суд и милость! — Горделиво наклонил свою голову Цимисхий.

Все безмолвствовали. Постельничий Василий возгласил громко: «Многие лета великому властителю Иоанну!» Громко загрели голоса всех: «Многие лета, многие лета!»

— Благодарю вас, твердыни Царьграда, отцы отечества, и тот, кто искренне разделяет слова свои сердцем, да подымет руку свою!

Все руки поднялись кверху. Обводя глазами многочисленное собрание, Цимисхий казался доволен, сказал, что завтрашний день он повелевает всем явиться снова, для шествия в соборный храм Св. Софии, где узнают волю его, которую освятит благословение церкви. И он удалился после ласкового привета рукою.

В безмолвии стояли еще несколько времени опоры Царьграда, отцы отечества, избранные мужи, потомки римлян. Великий логофет прервал общее молчание следующими словами:

«Знаменитое собрание сановников, столько же славное мудростью и мужеством, сколько верностью к своим повелителям! Чем можем мы изъявить глубокую, рабскую благодарность нашу за неизреченные милости великого повелителя нашего?

Мы видели восторг народа и воинства, но для чего нам примеры других? Каждый из нас, положи руку на сердце свое, может чувствовать, как бьется оно только для того, чтобы дышать единственно любовью и благоговением к Иоанну.

Уже глас народа нарек его *Великим*. Мы ли, избранные от всех, душа совета и опора чести государственной, уступим в ревности простонародию, подлым простолюдинам, не отличенным ни родом, ни саном?

Известно нам, что римляне, славные предки наши, воздвигали некогда алтари и храмы своим великим властителям. Нам неприлично такое обожание, и на что созидать храмы, если сердце каждого из нас есть храм, где невидимым божеством обитает наш властитель?

Я предлагаю вам, доблестные мужи: отныне навсегда, в знак великих милостей, какие видели мы от богоподобного властителя нашего, установить, чтобы при торжественных выходах императора все присутствующие стояли на коленях, пока он не повелит восстать. Предлагаю еще поднести ему название *Величайшего* и умолять его о том и о другом избранною депутациею. Согласны ли вы мужи, мудрости и доблести исполненные?»

— Ты угадал обеты сердец наших! Да будет так! Да будет так! — раздались голоса, и восторгам конца не было. Вечером избранная депутация предстала к Цимисхию и от лица всех сановников государства поднесла ему лист, подписанный знатнейшими вельможами, на котором изображено было униженное моление — да при-

мет он титул *Иоанна Величайшего* и позволит стоять на коленях при каждом торжественном выходе своем. Цимисхий приказал объявить, что он всегда ожидал подобных доказательств доблести и любви от избранных мужей римской державы, но отлагает согласие впредь до решения.

Настала ночь. Смолк Царьград. Улеглись люди. Как хорошо уподобил поэт великий обширный город спящему дракону! Свернув свои бесконечные ошпы, он лежит и дышит — не будите его, не троньте Вавилона страстей и пороков... Месячным сиянием озаренные, белелись чертоги Вукалеона и Влахерна. Море тихо плескалось в берега, и, вечный сторож ночи, месяц катился по небесам, переливая серебряные лучи свои по зелени берегов, по золоту церковных куполов, по зеркалу вод, по лицам спящих людей, у которых жизнь и страсти, превратясь в сновидения, высказывались сквозь сон и тяжкую дремоту... Но были и такие, которые не спали...

Не спал тот, кому подкупленная воля народа, низкая услужливость знатных, корыстолюбивое своеволие, ство воинов и ум, превышавшие другие, готовили трон царьградский. Едва успокоившись малое время, Цимисхий пробудился при наступлении ночи, оставил чертоги Влахернские и с отрядом воинов скитался по улицам и стогнам царьградским, подстерегая любовь и ненависть, измену и верность народа и войска, готовясь завтра назвать их своими. Являя днем милость и кротость, ночью, когда видели его только недремлющие очи Провидения, Цимисхий перевел из мирных жилищ в темницы и из одной тюрьмы в другую множество подозрительных людей, изрек казнь одним, заточение и изгнание другим. Так с азийского берега перевезли всех заговорщиков, *синих и зеленых*, захваченных там по повелению Никифора; им и теперь не возвращали свободы, при Цимисхий. Так из дворца Вукалеонского провели под стражею, в тяжких кандалах, *семь человек*, и бросили их в подземные темницы. Кто были эти семеро? Лев Валант, Михаил Вурд, Лев Песиодид, Антипофеодор, Феофил Кирик, Сулейман и Феодор безносый — гнусные оружия, которыми действовал Цимисхий и которые с омерзением отталкивал он от себя, едва только злодейство было не нужно ему более. Злодеи ждали наград, и — скрежеща зубами, услышал Антипофеодор повеление Цимисхия; Лев Валант изрек проклятие на предателя Иоанна и упорно замолчал; другие

оказали низкое малодушие, но за тюремными заклепами не слышны были ни проклятия, ни вопли, ни ругательства их.

Всю ночь тихое, скрытное движение было в Царьграде: много закрытых колесниц, окруженных всадниками, выехало из города и отправилось в отдаленные места Фракии и Беотии — никто не ведал, кого вместили сии колесницы; лодки, наполненные воинами, переезжали в Царьград; другие везли из Царьграда узников в азийские города. Если бы, изумленные нечаянною кончиною Никифора, родственники и друзья его опомнились на другой день и захотели взволновать Царьград — они лишены уже были всех средств: одни из них томились в темницах; других мчали уже в заточение. Только главные враги Цимисхия, Лев Куропалат и Никифор, скрытые в Софийском храме, не были в руках его. Два раза, ночью, подъезжал он ко храму, долго размышлял — надобно ли ему, для безопасности своей, силою вторгнуться в храм, нарушить святыню алтарей, убежище несчастных? И после долгого размышления, Цимисхий ехал прочь, медленно и задумчиво. Только многочисленная стража окружила храм, но и она была невидима при наступлении дня.

Еще не смыкала очей своих в эту ночь та, которую почтительно и благоговейно называли владычицей Царьграда — несчастная женщина, палимая совестью преступница, жертва необузданных страстей своих. Вручив Цимисхию ключ от гибельного пути к жизни своего супруга, она принуждена была в тот же вечер облечься в великолепные одеяния и в последний раз явиться царицею среди своих раболепных придворных. Она старалась уверить себя, что Цимисхий пощадит жизнь Никифора, умела убедить себя в этом и казалась веселою, радостною. Но радость и веселье Феофании походили на судорожный смех спящего преступника. Она не смеялась — она хохотала, приказывая громче петь веселые песни, и в конце пира, как будто в насмешку, составляла хоры из самых почетных придворных, заставляя петь Великого логофета и друнгария, заставляла их унижаться и кланяться, как будто надеясь, что после такого торжественного унижения им нельзя уже будет отказаться от той, перед которою они, столь низко и рабски, преклоняли свои колени, которой так раболепно изъявляли свою преданность. Несчастливая! Она хотела заглушить совесть свою, и многие говорили, что тогда, в первый раз в жизни, решилась она пить креп-

кое вино, хотела забыться и потеряла рассудок. Предметы двоились в глазах ее: подле каждого человека еще кто-то являлся ей угрожающею тенью...

Пир кончился; гости спешили разъезжаться и со страхом проходили между двумя рядами стражей, которыми окружен был чертог веселого пира.

«Что сделалось во дворце?» — спрашивали тихонько друг у друга испуганные царедворцы. — «Феопания была как сумасшедшая, и к чему эта многочисленная стража, эти мечи, которыми окружены мы были?»

Невольницы встретили Феопанию в ее чертогах и испугались ее диких взоров, ее странных движений.

В великолепном одеянии своем, она бросилась на свое богатое седалище, сбросила с головы своей алмазную повязку и оттолкнула ее ногою.

«Прочь — ты жжешь, ты давишь мою голову! — вскричала она. — Кому из вас надобно это украшение — говорите, подлые рабыни, Зюлейка, Ипатия, Феона? — Возьмите его — сегодня я царица ваша; почему завтра не быть кому-нибудь из вас моею царицею, а мне вашей рабой? Надобно только красивое личико, надобно только понравиться тому, кто на то время называет себя властителем Вукалеона, этого постоянного двора царей, называемого Вукалеоном... Да, так, и знаете ли почему? Видели ль вы ужасный символ этого жилища, где люди терзают друг друга так, как там на возморе лев терзает бедного вола?»

Но я еще владычица ваша — я никому не дам властвовать надо мною, и если не будут мне повиноваться войско и народ — еще найдется к услугам моим хоть палач, хоть наемный убийца, которому велю я зарезать мою соперницу — я еще царица римской державы...»

Со страхом преклонились все перед нею, не смея отвечать.

«Зюлейка! подойди ко мне, поди поближе — чего ты боишься, глупая девчонка? Я не убью тебя, я только хочу научить тебя, что тебе делать надобно, когда ты будешь властительницею Царьграда, этого проклятого гнезда злодейств: тогда откажись от сердца, от души, от любви, от дружбы... Я была такая же добрая, невинная, как ты, когда вступала в эти чертоги, когда меня ввел в них мой царь, мой Роман... Он, казалось, так любил меня, он был так хорош — я его очень любила; но он был развратный, неверный злодей... Зачем он изменял мне...»

Феофания заплакала, зарыдала. Феона осмелилась подойти к ней и промолвить тихо: «Великая повелительница! не прикажешь ли удалиться твоим рабыням...»

— Как? Вы хотите оставить меня?

«Немногие верные останутся с тобою — тебе нужно спокойствие...»

— Верные? Разве из вас есть еще верные мне или мужьям своим?

«Владычица! за тебя мы все готовы жертвовать жизнью».

— Вы, жизнью?.. Ха, ха, ха! Хорошо, Феона: поди же, спрыгни с кровли Вукалеонской — я тебе приказываю — что ж ты нейдешь?

«Великая владычица! Я не вижу пользы, какую может принести тебе смерть моя...»

— Пользы? А! я поймала тебя, лстивая, лживая рабыня! Пользу, да, какую пользу принесет тебе — вот из чего ты унижаешься передо мною, вот для чего ты продашь меня первому... Прочь все с глаз моих!

Она вскочила, затопала ногами, как разъяренная фурия. Со страхом побежали от нее все прислужницы.

— Не бойтесь, не бойтесь,— говорила Феофания, смеясь.— Слушайте, если хотите меня уверить: поклянитесь мне будущим блаженством, что вы никогда не измените Феофании; что вы никогда не оставите ее, никогда, никогда — если даже дерзкая рука хищника сорвет венец с ее головы, если будут влачить ее по торжищу, как бедную рабыню!

«Государыня!»

— Клянитесь мне!

«Мы клянемся тебе!» — воскликнули все невольницы и приближенные Феофании.

— Помните, что клятва ужасное дело, и горе нарушающему клятву, горе ему! Женщина, погубившая душу клятвопреступлением — погибнет в здешнем мире и в будущем свете. Ничто не утешит, не оправдает ее, и клятвопреступление, как адская цепь повлечет ее от порока к преступлению, от преступления к пороку. Видали ль вы изображение Страшного суда? Помните ли эту цепь, концы которой князь тьмы держит в руках своих, увлекая в ней и владык земли, и вельмож, и стариков, и красавиц, и все, все, что только заклеямо печатью греха? Нет спасения! Нет возврата! Горе клятвопреступнице! От первого проступка до адского огня... один шаг!

Она склонилась на подушку и горько заплакала.

По знаку, данному старшими приближенными, вышли все невольницы, кроме Зюлейки, любимицы Феофании. С ней остались еще Пульхерия, Феона, Гликерия — главные *матроны* гинекея. Но и другим не веле-но было спать; они со страхом ожидали в передних комнатах приказаний, не зная, что все это значит и чем кончится. Еще никогда не видали они Феофанию в таком странном положении. И прежде иногда заглушала она совесть чашею вина, но теперь вино не упоило ее — она только обезумела от него.

Несколько минут пролежала Феофания в забытьи, и вдруг поднялась.

«Пульхерия! ради Бога, беги, беги к моему супругу — узнай, спроси, что там делается... Это ужасно, это страшно...»

— Успокойся, великая владычица!

«Беги, говорю я тебе».

— Но стража никого не допустит теперь к чертогам царя.

«Ты думаешь, что она никого не допустит? Ах! ты не знаешь, что измена проползет змеей по подземелью и смертельно ужалит его среди щитов и мечей стражи... Я сама иду к нему...»

— Великая повелительница! возможно ли... Позволь нам... в это время...

Одна Зюлейка осталась с Феофаниею. «О мой друг, моя добрая Зюлейка! — тихо и ласково начала говорить ей Феофания. — Сделай мне милость, если только ты меня любишь... Ты говорила мне, что у вас на Востоке есть какое-то очаровательное яство, какая-то снедь, от которой человек забывается сном — дай мне его — у тебя есть эта снедь... Как ты называешь ее?»

— Ее называют *опиум*.

«Дай мне своего опиума!»

— Но кто не привык к нему, тот может сделаться болен; ему могут пригрезиться такие страшные сны...

«Пусть они грезятся — они не превзойдут ужасной действительности... Хотя на час он усыпит меня — за один час сна я готова отдать полжизни моей. Только один час покоя, и — пусть это будет яд... Зюлейка! тем лучше — ради Бога, дай его мне, дай мне его, Зюлейка!»

Зюлейка вынула маленькую золотую коробочку, скрытую на груди ее, и отломил маленький кусочек от какого-то темного вещества, хранившегося в коробочке,

Феофания с жадностью проглотила этот кусочек, и расстроенное воображение так сильно действовало на нее, что ей казалось, будто действие опиума немедленно началось; она закрыла глаза, вздрагивала засыпая, дремала, и скоро тяжкий, но глубокий сон овладел ею.

Более часа прошло, как Зюлейка сидела подле спящей Феофании и смотрела на ее лицо, прекрасное, но обезображенное терзаниями душевными и страданиями телесными. Пульхерия, Феона и Гликерия не возвращались. Зюлейка задремала, склонила голову, и, хоть ей казалось, что в ближних комнатах слышны движения, беготня, шум какой-то, но утомленная невольница не могла пробудиться. Лампада, горевшая на столе, почти погасла; вдруг яркий свет блеснул в комнате. Зюлейка опомнилась. Она увидела вбежавших в смятении невольниц и приближенных, с зажженными светильниками. Постельничий Иосиф, бледный, еле дышущий, едва держащийся на ногах, окровавленный, вшатнулся в комнату.

«Что вам надобно? Что такое?» — спрашивала Зюлейка.

— Где владычица наша, где Феофания?

«Вот она, спит — не будите ее».

— Боже великий! — возопил Иосиф, — теперь-то спать! Восстань, пробудись, несчастная супруга великого властителя царьградского!

В испуге пробудилась Феофания. Казалось, она сама изумилась, что на ней было еще то самое платье, в котором была она на пире, данном для болгарских царевен. Она протирала руками глаза, смотрела на всех, старалась вспомнить, что с ней было, и от действия опиума действительность смешивалась в ее голове с мечтами воображения.

— Великая владычица! — воскликнул Иосиф, повергаясь к ногам ее, — измена, убийство! Твой супруг умерщвлен злодеями!

«Уж умерщвлен! Как, старик: он уж убит, зарезан? Когда же, кто же убил его?»

— Цимисхий, владычица! Не знаю, какими путями проник он в опочивальню супруга твоего, и — мой повелитель, мой владыка пал под его ударами, а я, я пережил его, я, вскормивший его на руках моих, я, которому поручил он стражу за своею безопасностью...

Тяжко зарыдал старик. Ужас изображался на всех лицах.

— Что же, старик, о чем же ты плачешь? Полно плакать — вели взять Цимисхия под стражу, разрезать, казнить его...

«Увы! повелительница — все погибло: стража изменила; она провозглашает убийцу повелителем царьградским — и вот награда, когда я хотел удержать изменников... — Он указал на кровь, бегущую из раны его. — Едва мог я пробиться сюда среди всеобщего волнения. Еще есть средство, одно средство: поспеши явиться к ним, властительница; поспеши отмстить смерть и гибель супруга своего! Изменники устыдятся, устрашатся тебя...»

— Мне устроить их? Мне отмстить? Ты с ума сошел, старик! Да, да — ты сумасшедший — знаешь ли, кто провел убийц к Никифору?.. Я!

Как громом пораженный, воспрянул Иосиф; от сильного движения кровь ручьем хлынула из его раны, и он упал, изнеможенный, близ дверей.

— Да, да! я провела их — ха, ха, ха! — воскликнула Феофания с неистовым смехом. — Я отдала Цимисхию ключ от тайного подземелья, которого не знал Никифор. С моего согласия Цимисхий провел по этому подземелью убийц. Как же требуешь ты, старик, чтобы я отмщала за Никифора? Цимисхий будет теперь властителем Царьграда, а я буду его супругою. Ты думаешь, он не согласится взять руки моей, обагренной кровью Романа и Никифора? Неправда: у него самого руки замараны кровью! Славная будет свадьба! Дьяволы будут плясать! Демоны играть и хохотать...

«Уведите меня, помогите мне уйти! Дайте мне умереть подле моего властителя! — вопил Иосиф, тщетно сясь подняться. — О Никифор! Жертва коварства неслыханного!»

— Беги, беги, старик! Грех заразителен — он и к тебе пристанет! А вы, дайте мне скорее мою багряную одежду — это цвет крови! Нужды нет! Скорее алмазный венец мой — скорее драгоценную, вавилонскую порфиру мою — я должна встретить Цимисхия, как жениха моего...

Она упала на седалище свое и вдруг вся затрепетала: ей померещилось, что Никифор пришел к ней, что он указывает ей на свою рану...

— Зачем ты брызгаешь кровью на мое платье! — возопила Феофания, торопливо отирая руками свое платье. — Прочь от меня — ты страшен, ты бледен, ты

мертвец — твое жилище гроб — от тебя пахнет могилою!.. Идти с тобою? Нет, Никифор! я не пойду с тобою — ты уведешь меня в ад — я еще жива, я хочу жить, радоваться жизнью — я хочу быть счастлива, богата, знаменита — счастлива хочу я быть — прочь от меня!.. Ах! спасите, спасите меня — он тащит, влечет меня с собою... Он, и Роман, Роман также... Вот они оба...

Волосы поднялись у всех от ужаса, когда страшная исповедь совести высказалась устами безумия. Дикий вопль Феофании наполнил все комнаты, и ее приближенные и невольницы убежали от нее, все, кроме Зюлейки.

Добрая аравитянка подошла к Феофании, обняла ее, старалась утешить, успокоить ее. «Я не верю тебе, царица — ты обезумела от горести, ты клеветашь на себя... Но если и в самом деле такой тяжкий грех тяготит душу твою — вспомни о милосердии Божием. Многочисленнее песка морского грехи людей, но как пучина водная, покрывает их милосердие Божие. Так говорят наши премудрые аравийские старцы. Опомнись — тени тебе мерещатся — здесь никого нет...»

— Никого нет? А куда же скрылись Бог вездесущий, совесть неотразимая и грех неусыпающий? — Милосердие! Неужели Бог примет еще мое раскаяние? Кому же ад, если не мне и не Цимисхию? Но, нет, Зюлейка! мне не мерещится. Посмотри — ужели не видишь ты? Вот он, вот он лежит, весь окровавленный!

И Зюлейка ужаснулась, видя бесчувственный труп товарищем их страшного уединения.

Феофания указала на Иосифа, который был забит всеми на том месте, где свалился он от изнеможения.

Чрезмерность испуга спасла Феофанию. Она лишилась чувств. Долго думали, что она уже умерла.

Но Феофания проснулась, когда светлый день сиял уже над Царьградом. Как смутный сон, представлялось ей все случившееся прошедшею ночью. Долго лежала она на одре своем, куда перенесли ее бесчувственную, и едва могла сообразить все, что сбылось. Действительность и картины воображения смешались в голове ее, и она не могла разувериться в том, что Никифор действительно не являлся к ней после смерти своей.

Она спрашивала, что делается в Царьграде. Ей сказали, что Царьград с восторгом приветствует Цимисхию; что Цимисхий отправился во Влахернский дворец, и

вельможи и войско встретили его титулом властителя царьградского.

Между тем Вукалеон опустел. Эти огромные здания, еще вчера оживленные роскошью и деятельностью, теперь казались безмолвною пустынею. Только в отделении Феофании являлись еще немногие царедворцы, и те спешили во Влахерну, когда узнавали, что Цимисхий не являлся к Феофании. Даже приближенные женщины и рабыни скрывались от нее. Только оклики многочисленной стражи и иногда звук трубы воинской, при смегах, напоминали Феофанию, что она еще окружена величием внешним в глазах народа.

Безмолвно сидела Феофания в отдаленном чертоге своего гинекея и только спрашивала по временам: нет ли кого присланного от Цимисхия? Ничего не отвечала она, когда ей доносили, что никто не является.

Она решилась наконец сама послать к Цимисхию и получила его неудовлетворительный и своевластный ответ. Тогда потребовала она к себе детей своих. Ей сказали, что по велению Цимисхия их перевели во дворец Влахернский. Феофания заплакала и безмолвствовала. Она позвала к себе духовника своего и долго беседовала с ним. Потом облеклась она в глубокий траур.— Вечером, после векового, томительного дня, явился к ней присланный от Цимисхия.

— Великая владычица Царьграда! — начал присланный.

«Не ошибаешься ли ты,— сказала ему Феофания,— не видишь ли перед собою не владычицу Царьграда, но бедную вдову, лишенную супруга и детей, которой твой повелитель приказал объявить свое самовластное решение?»

— Великий властитель Царьграда повелел мне возвестить тебе, что дети твои безопасны, и всегда будет он чтить в них потомков Василия Македонского. Но в то же время, призванный согласиен подвластных и волею Божиею на царство, он должен разделить с ними престол царьградский и повелел просить тебя — не предпринимать ничего для удержания твоего прежнего сана опекуниши и покровительницы, если...

«Продолжай».

— Если ты дорожишь своим спокойствием.

«Возвестите Цимисхию,— отвечала Феофания,— что доколе не снял бы он головы моей с плеч, дотоле не сорвать бы ему венца с головы моей: я уступаю ему все — пусть он властвует. Но горе ему, если он коснет-

ся венца детей моих! Вопли мои, вопли матери услышит народ, и ничто не поможет Цимисхию, если только помыслит он отнять родительский престол у детей моих!»

— Он не мыслит об этом, великая владычица, и приглашает тебя в Соборный храм, где, согласно воле провидения, ты увидишь сго восседающего на троне с потомками Константина, детьми твоими. Честь и все дворские почести останутся навсегда при особе твоей.

«Я буду в Соборном храме»,—отвечала Феофания, после некоторого размышления.

Тихо и уединенно провлячился остаток дня. Ничто не напоминало Феофании деятельного движения, оживлявшего в то время весь Царьград. Окруженная немногими прислужницами, в дальней, уединенной комнате гинекея, молчаливо просидела она все время на своем ложе.

Ей доложили о трапезе — она велела подать себе кусок хлеба и ничего более.— Наступила ночь.— Сон бежал глаз ее, и чем далее, тем более усиливалось ее беспокойство. Она не могла наконец сидеть на одном месте; поспешно вскакивала, садилась опять, ходила, останавливалась, велела зажечь множество свеч, и вдруг ужасно закричала, в отчаянии озираясь на все стороны: «Он опять идет! Это не видение! Я слышу его походку — вот он, вот Никифор... и кровь опять льется из ран его...»

Диким, раздирающим душу голосом она снова высказывала свое участие в преступлении, в смерти Романа и Никифора. Оба они мерещились ей — грозные, неуловимые...

«Я не жилица здешнего мира, не владычица, но грешница, которой Бог послал наказание неслыханное: мертвые разрушают гробовые заклепы и являются напоминать мне о гневе небесном...»

Глубокий обморок следовал за этим непостижимым явлением.

«О Спаситель!» — говорила Феофания, когда опять получила чувство.— Она стала на колени перед образом, и уже давно петух пропел наступление часа предрассветного, а она все еще молилась и плакала.

Утром, на другой день, казалось, весь Царьград подвигся на своем основании. Толпами народа заперлись все улицы и площади от Влахернского дворца до Со-

фийского храма. Но на сей раз Цимисхий почел за нужное не слишком близко подпускать к себе любовь народную: длинными рядами стали повсюду на улицах воины и отгородили его от народа. Народ изумлялся, что заутреня совершена была не праздничная, полиелеем; в церквах не возглашали имени Цимисхия, не молились за него, поминали только Василия и Константина; ни на одной колокольне царьградской не звонили в колокола, когда великолепный поезд двинулся от Влахерны к собору. Патриарх Полиевкт, знатнейшие сановники духовные, митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты, строители, игумены, священники собирались в Софийский храм. Но главные двери храма были затворены. Уже весь Царьград узнал тогда, чего ни знал еще вчера, что Никифор погиб насильственной смертью. Ужас обнимал сердца многих при увеличенных слухах о жестокости, с какою погублен был Никифор. Одни говорили об участии Цимисхия, другие опровергали это; третьи... не говорили ничего... Недоверчивость, опасение рассказывали, что в эту ночь много совершено было такого, что не доказывало кротости и милосердия Цимисхия — и все бежали смотреть на великолепный поезд влахернский...

И когда двинулся этот поезд, и привычно шли и ехали отряды войск, предшествующие Цимисхию; когда чиновники поехали в то же время между народом, с большими мешками, и начали бросать в народ горстями деньги; когда привычным строем выступили чиновники и царедворцы и ехали, как всегда, благочинно и покорно, будто век царствовал над ними Цимисхий; когда наконец увидели колесницу, и в ней, по-прежнему, двух юных сыновей Романа, одного с угрюмым, другого с веселым лицом, и за ними ехал Цимисхий, в великолепной, золотой броне, с багряным чепраком на лошади, и кланялся на все стороны, так ласково, обнажив голову и беспрерывно приветствуя жителей Царьграда — все это и вместе благородный, прекрасный вид Цимисхия одушевили народ. Громкие восклицания загрели, и при сих восклицаниях и звуках труб и кимвалов, Цимисхий торжественно и величественно приблизился к площади, находившейся перед Софийским храмом. Обширное место было здесь очищено. Цимисхий остановился. Открылось зрелище, достойное веков древнего, патриархального Востока.

Двумя стройными рядами стояли воины до самого нарфекса храмового, оставя широкий путь Цимисхию,

который, с двумя сыновьями Романа, одним по правую, другим по левую руку, шел к храму.

За ним следовала Феофания, в белом, ничем не украшенном платье, и длинное покрывало закрывало лицо ее, спускаясь ниже колен. Она приехала из Вукалеона на великолепной колеснице в сопровождении придворных.

Двери Софийского собора были заперты, но все обширное крыльцо его, переходы, ступеньки были покрыты духовенством, и все духовные особы облечены были в темные одежды, без всякого торжественного облачения. Среди их, на патриаршем своем седалище, восседал маститый седовласый первосвяtitель Полиевкт.

Множество вельмож, царедворцев, чиновников воинских и гражданских шло за Цимисхием.

Властитель церкви, властитель государства — один со всем, что только было знаменитого, отличенного самым и почестью в Царьграде и в воинских дружинах; другой со всем, что только ознаменовывалось духовною властью и святостью в православной церкви — стали друг перед другом. Один был седовласый, дряхлый, но крепкий благочестием, душевною силою и святостью сана; другой знаменитый воинскими подвигами, отличенный великими званиями, призываемый к разделению трона с двумя юными царями, которых хотел он быть опорю и защитою, вторым отцом.

Но этот доблестный муж — зачем потупляет он взоры перед строгим взором первосвяtitеля? Зачем и первосвяtitель встречает его грозно, как судья преступника, не встает со своего места, не приветствует его? Кто эти два печальные мужа, в черной одежде, которые находятся подле патриарха? Отчего, увидев их, смутился, дотоле самонадеянный, Цимисхий? Это были *Лев Куропалат* и сын его *Никифор*, которых столь усиленно требовал Цимисхий у патриарха. Цимисхий не ожидал того величественного позорища, какое приготовил первосвяtitель ему и Царьграду: перед затворенным, безмолвным, величественным храмом ожидал его владыка церкви, как неумолимый судия — перед ним стояли и обвинители его. Цимисхий, не трепетавший перед своею совестью, перед своим преступлением, как змий лютый бросившийся в борьбу с повелителем миллионов и це-ною страшного преступления низвергнувший его, среди войска, царедворцев и народа, заставивший после того покориться все — и войско, и народ, и Двор властителя

царьградского — почувствовал свое ничтожество перед властью церкви, саном служителей Божиих. Пусть все приветствует его — церковь безмолвна и грозна является ему мстителем и судиею. Что, если анафема, произнесенная первосвятителем, поразит его — кто поручится за любовь этого народа, за рабство этих цареласкателей?

Цимисхий подошел к патриарху, преклонил пред ним голову и просил благословения.

«Во имя Отца, и Сына, и Святого духа! — проговорил патриарх, благословляя Цимисхия. — Благословляю тебя, как пастырь, долженствующий благословить каждого, просящего благословения, будет ли он тать, разбойник и убийца. Но долг, возлагаемый на меня саном моим, велит мне спросить у тебя, притекшего ко храму с воинством и народом, приведшего с собою властителей Царьграда — кто ты?»

— Владыко святой! тебе должно быть ведомо, что я христианин, сын церкви православной — имя мое Иоанн.

«Я знаю тебя, магистр Востока и Великий domestik Иоанн Цимисхий, но не постигаю: для чего облек ты себя в драгоценные царские ризы и красные сандалии, принадлежащие единому императору царьградскому?»

— Для того, владыко святой, что голос народа, голос вельмож и войска призывают меня на престол царьградский. Я притек просить твоего благословения и быть венчаным тобою от венца честна на престол Царьграда.

«Иоанн Цимисхий! разве забыл ты, что престол царьградский занимает император Никифор Фока и с ним соцарствуют два внука Константина Порфирородного?»

— Позволь мне, владыко святой, сказать тебе, что волею Бога пресеклись дни императора Никифора, и что двое сирот, внуки императора Константина, юные, малолетние, требуют опоры и помощи, требуют, чтобы человек, опытный в делах трудного правления государственного и отличенного подвигами воинскими, соцарствовал им. Осмеливаюсь думать, что чести подвигов никто у меня не оспорит. Надеюсь, при помощи Господа Бога, что рука моя оградит престол царьградский от врагов; что истина воссядет в судах по моему слову; что благо и обилие посетят страны, которые будут подвластны моему скипетру. Клянусь не щадить живота моего за

счастье римской державы, за православную церковь, за последнего нищего в государстве моем. Не буду обвинять пред тобою, владыко святой, памяти моего предшественника, но ведаешь ты сам, что он не исполнил своих обетов: он отнял у тебя власть судебную, по церковным уставам единственно тебе принадлежащую, распоряжался самовольно доходами церкви, обратил в свою собственную корысть имения духовные, отягчил народ налогами, собирал кровь и слезы подданных в свою казнохранительницу, ослабел духом на воинские подвиги, окружил трон свой страхом и недоверчивостью, предал народ свой хищению своих родных, давал и награждал не по заслугам, гнал доблесть и достоинства. Сам Бог показал нам, бедствиями на нас ниспосланными, гнев свой на царя и царство. Скорбь о благе государства руководила меня в принятии скипетра; единое благо его имел я в помышлении, возлагая на себя порфиру. И — се первое дело моего царствования: признаю тебя независимым судиею во всех церковных делах и судах, возвращаю церкви все отнятые у нее Никифором имения и права, и — вот судные и правые грамоты, которые исторг у тебя Никифор — возьми и уничтожь их!

Цимисхий бросил к ногам патриарха грамоты. Ободренный смягченным милостию взором его, он продолжал:

— Так возвращу я славу оружию Царьграда, перенесу хоругвь Константина за Дунай и Евфрат, так возвращаю я жизнь и свободу тем, кого повергли в темницы несправедливость и ложное опасение Никифора...

По знаку его раздвинулись ряды воинов, и толпа «синих» и «зеленых», захваченных в заговоре, предстала взорам патриарха, вместе с множеством других людей, которые находились в тюрьмах царьградских. — Всех их велел освободить Цимисхий.

«Народ православный! Воинство христолюбивое! Вельможи царьградские! отвечайте: добровольно ли желаете вы видеть меня на престоле царьградском? Хищением ли, насилием ли исторгаю я у вас престол Константина?»

— Да здравствует Иоанн! — закричали все царедворцы. Восклицание повторилось в воинских рядах и огласило потом площадь в кликах народа.

«Внуки Константина, наследники и потомки Василия: приемлете ли вы меня попечителем и опекуном вашим?»

— Приемлем, — отвечали Василий и Константин.

«Мать царей! ответствуй: согласна ли ты передать мне над ними твою родительскую власть и попечение?»

— Согласна,— отвечала Феофания тихим голосом.

«А я клянусь именем Бога, перед сим священным храмом его,— воскликнул тогда Цимисхий,— что при совершеннолетию передам им скипетр и державу царствия славными, победоносными, благословляемыми народом, если только не оставит меня помощь Божия!

Благослови же меня, владыко святой, да пребудет со мною помощь Божия во веки! На колени, на колени перед отцом нашим и владыкою!»

И по данному знаку все, и сам Цимисхий, юные цари, Феофания поверглись на колени пред патриархом. Торжественно воззрел пастырь церкви на преклоненную пред ним силу и славу мира. Несколько минут колебался он — лицо его было важно, сурово — он хотел что-то говорить и не мог — встал со своего седалища и, благословляя Иоанна, произнес:

«Всемогуший Господь Бог, слышавший обеты твои, да судит и помилует тебя, а я, недостойный служитель алтарей его, моею грешною рукою, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, благословляю тебя Иоанн, император Царьграда и всего Востока! Молись о грехах своих, искупи их благом, да будешь велик и славен здесь и там удостоишься участия блаженства со всеми православными царями. Приявший мытаря и разбойника, примет и тебя, и несть грех иже не смьет слеза покаяния...»

Гул большого соборного колокола потряс воздух; повсюду загремели колокола, и вскоре по всему Царьграду зашумел звон торжественный. Хор певчих возгласил торжественную песнь и патриарх обнял Цимисхия.

— Остановись, владыко святой,— воскликнули тогда Куропалат и Никифор, доселе соблюдавшие глубокое молчание,— остановись и внимай: мы обвиняем перед тобою Цимисхия в убиении императора Никифора, обвиняем в том и преступную невестку нашу Феофанию. Кровью праведного дымятся руки их — она вопиет об отмщении. Твоими священными сединами прикасешься ты человеку, обгабленному неповинною пролитой кровью!

Патриарх остановился в недоумении.

«Владыко святой! — сказал тогда Цимисхий, смело подымая голову,— если ты нарек уже меня властителем Царьграда — суд человеческий не властен более надо

мною. Пусть буду я Исав, похитивший тайно благословение Исаака, но отселе единому Богу отдаю я отчет в делах моих. Лев и Никифор! вы обвиняли Цимисхия — его уже нет более, и скверна греха, в которой утопал он, уже очищена прикосновением благословляющей десницы первосвященника к главе властителя царьградского. Сей властитель предает суду и казни злодеев, обогривших руки свои кровью твоего брата, Лев, твоего дяди, Никифор! Вот семь проклятых имен их на сей хартии, и прежде нежели зайдет солнце, секира палача изгладит следы их из здешнего мира. Да не зайдет это солнце во гнев вашем. Здесь прилично сказать: «Кто ты есть, судяй чуждому рабу?» Совесть Феофании, матери царей наших, супруги императоров, также не принадлежит ни вашему и ни чьему суду, кроме Божиего, и если и ее обвиняете вы в преступлении — да будет судия ей Бог!»

— Нет! — воскликнула Феофания, отбрасывая свое покрывало, — нет, Цимисхий! Если ты поклялся в счастии детей моих, в счастии римской державы, Бог отпустит тебе прегрешения, а я — да буду я очистительною жертвою за тебя и за все царство. Пусть во мне судит он виновницу греха — се жертва мести Его перед вами... — Лицо ее было бледно, губы сини, глаза проливали источники слез. — Не тайно, но явно, перед сим святым храмом, я обвиняю себя... в грехах, преступлениях и пороках, после коих недостойна я не только быть владычицей Царьграда, но даже обитать среди людей. Велик грех мой — велико будет мое наказание. О святой владыко! избери мне дебрь дикую, избери обитель уединенную, где могла бы я окончить век мой в слезах раскаяния — не проклинай меня, не налагай на меня никакой эпителии: ты не можешь наказать меня так, как наказывают меня совесть, стыд и грех мой. Позволь мне в последний раз войти в сей святой храм, и — навеки потом оставляю я Царьград.

Слезы оросили лицо святителя, как перлы драгоценные. Сам Цимисхий растрогался, и его красноречие иссякло. Василий и Константин бросились к матери, обняли ее и заплакали.

«О Судия человеков! — возгласил патриарх, — в вышних живый и на смиренные призирающий! призри на смиренные грешницы, и прости ей согрешения ея, несть бо кто, иже похвалится пред Тобою, прости, как я прощаю, благословляя провести остаток жизни ея в слезах раскаяния — да, не будет милосердие человеческое паче

твоего милосердия божественного... Феопания! отныне ты инокия, схимница с сего часа — закрой лицо твое от человеков...»

— Да будет же совершенно здесь и примирение враждующих,— возгласил Цимисхий,— да погибнет память прошедшего и соединят нас отныне польза и честь отечества! — Он протянул руки к Льву и Никифору: «Сим торжественно обещаю вам, Лев и Никифор! свободу, имение и дружбу мою — если вы захотите моей дружбы. Не Цимисхий, но император Царьграда говорит вам это и сдержит слово свое!»

Двери храма растворились; начался благовест. В скрытном, дальнем углу храма, на коленях стала Феопания, закрытая черным покрывалом, невидимая никем. О ней забыли легкомысленные, устремляя внимание на величественное зрелище коронования Иоанна Цимисхия. Никто не оценил величие ее подвига, когда отверженною, презренною, опозоренною грешницею молилась она. Благовейно молился и Цимисхий. Казалось, он забывает все, вознося помышления к небесам. Богу единому ему ведомо, что тогда чувствовал он в душе своей.

Но когда обряд совершился по древним уставам церкви, Иоанн сидел на златокованном троне, в середине, между юными царями Василием и Константином, святитель изрек ему последнее поучение, и на глиняном блюде поднесли куски различного мрамора, говоря Иоанну: «Помни, властитель Царьграда! что ты человек смертный и бренный. Се мраморы различные. Скажи, из которого мрамора повелишь ты соорудить себе гробницу, когда дух твой воззовет к себе на суд царь царей, а земля потребует себе прах твой?» Цимисхий зарыдал и долго не мог приговорить ни одного слова... «Черного, черного мрамора надгробие поставьте тогда над грехами моими, и да поможет мне Господь Бог и Спаситель уничтожить хотя единую крупицу их тем благом, которое желаю и надеюсь совершить во славу церкви православной и державы римской... Молись за меня, владыко святой! Молитесь, мои братья, мои друзья, сыны римской державы!» Так говорил Цимисхий.

Опершись на жезл свой, тихим, дрожащим голосом воспел патриарх: «Тебе, Бога хвалим!» Громкий хор духовенства и певчих пристал к его голосу. Цимисхий упал на колени и в царской багрянице своей повергся челом во прах, подъял руки, голосом, прерываемым рыданиями, повторяя слова священной песни: «Тебе убо просим — помози рабом твоим, их же честною кровию

твоею искупил еси!..» Лицо его было вдохновенно; в нем забыли Цимисхия, забыли преступления, сгоревшие в огне его величия и смирения. Он казался избранником Божиим, великим человеком... Торжественно было это мгновение... Явившийся народу, осыпaeмый золотом в дверях храма, в сиянии венца и порфиры, Иоанн преклонился перед бесчисленным собранием жителей царьградских, и каждый читал на лице его, в его блестящих от слез глазах, что он истинно дал клятву — быть отцом народа, вверенного ему судьбами непостижимыми, и отвергнуть все, что доныне затемняло в нем великого мужа, истинного потомка римлян.

Византийские легенды



ПИР
СВЯТОСЛАВА ИГОРЕВИЧА,
КНЯЗЯ КИЕВСКОГО



Трудно перенестись в прошедшее, так же трудно, как предугадать будущее. Стоя на утесе, который называют *настоящим*, не видит ли человек со всех сторон вокруг себя обширного океана бытия, не различает ли на нем разнообразных волн, но что же их разнообразие? Минута, и они изменились, и новые мчатся вслед их; волна прошедшего, катившаяся горою, рассыпалась; волна будущего подымается, холмится, рассыпается, уходит — и снова однообразно в разнообразии, море бытия кипит, волнуется: где его деление? где пределы, где грани волн? Кто выхватит одну, из среды их, оледенит, окаменит ее и бросит перед наблюдающие взоры человека? Печальным памятником минувшего несутся на хребтах волн только остатки разбитых ими ладей и кораблей человеческих, трупы бытия. Были и нет, жили и ушли — вот все, что говорят они памяти.

Обширные страны на север от Черного моря, по воле греческих географов принимавшие имена *Гипербореи*, *Скифии*, *Сарматии*, не уподобляются ли такому океану? Будем ли мы читать повествование о них, будем ли бродить по степям Дона и Днепра и в мелких подробностях бытия настоящего искать следов минувшего, не такой ли океан они, сии страны?

Уничтожьте нынешние города и жилища наши на сих степях, удалите все, что гнездится теперь на них. Пусть дичь и пустыня раздвинутся от берегов Черного моря к Волге и за Днепр, пусть зарастут они древними, дремучими лесами, испестрятся степями, на которых вековечно белеют разливы ковыля и темнеют острова бурьяна. Пусть только волны рек льются между пустынями и плещутся, как плескались они за тысячелетия своими серебристыми волнами. Пусть воображение ваше вещью птичкою пролетит после того через века и остановится на том времени, когда еще ни вольный казак, ни угрюмый сын Азии татарин не жили и не кочевали тут; греческие города лежали видимыми обломками на берегах Черного моря; хазарские города дымились в недавнем разрушении от меча русского; воды Днепра отражали в себе вежи и шалаши дикарей азийских, бедные жилища славян и городки норманнов.

Там, где впоследствии раздвинулся обширный Киев и возвысились золотоглавые церкви его, на высоком берегу днепровском стоял тогда деревянный кремник, или городок норманнский, — четыре деревянные стены, срубленные из толстых бревен, с небольшими башнями

по углам, с двумя крепкими воротами, с непрерывною стражею у ворот и на стенах. Палисад из заостренных, толстых кольев составлял внешнее укрепление городка, простираясь извилинами далее стен, из-за которых видны были вышки княжеских теремов, переходы и сени, покрытые *гонтом*, или дранью. Городок был обширен; в нем помещались дворец княжеский, дворцы княжичей, жилища избранной дружины, вельмож и бояр, казпохранилища, оружейные, конюшни для лошадей князя и дружины его. Незаселенная равнина отделяла городок от хижин, рассеянных далее, разбросанных беспорядочными толпами, между коими извивались узкие, неровные улицы и переулки. Дома состояли из мазанок, из срубов с маленькими окошками, даже из землянок; они были покрыты дранью, соломой, дерном; иные огорожены плетнем, большая часть без огорожки, только с закутою. Между ними в некоторых местах находились высокие терема богатых *гостей* и *вящих людей*, сии терема были в два этажа, состояли из многих небольших, раздельных срубов, соединенных переходами или сенями; в нижних этажах обыкновенно находились кладовые, и такой двор обносился вокруг заплотом, или плетнем, с сараями вокруг плетня. На другом конце сего неправильного, беспорядочного народонаселения, заключавшего в себе несколько тысяч теремов, домов и землянок, находился *чудный* двор княгини Ольги, составлявший предмет удивления киевлян, потому что терем во дворе был *каменный*: четыре толстые стены, складенные из кирпича, с узкими, маленькими окнами, обмазанные по штукатурке красною краскою. С множеством разных деревянных строений, каменный терем сей окружался палисадником и походил на городок, только не видно было при нем ни башенок, ни стражи. К Днепру, вниз по горе, к пристани, где стояло множество лодок, разбросаны были кузницы, бани, балаганы. Со вскрытием Днепра начиналась в Киеве настоящая ярмарка и продолжалась все лето. Все окрестные племена славян плыли тогда в Киев, одни с данью великому князю, другие с товаром — мехами, кожами, воском, медом. Тысячи народа толпились тогда целые дни по берегу днепровскому. Днепр покрывался ладьями, лодками, челноками, плотами. Тут были новгородцы с заморскими товарами северных стран; купцы *гречины*, то есть торговавшие в Греции и отправлявшиеся в Царьград и Херсон весною, а возвращавшиеся осенью. Сюда приезжали печенеги и половцы, с конскими табунами, множеством

невольников и невольниц. Русских отдавали они на выкуп, иноплеменных продавали киевлянам. Важный торг производился сим товаром из Киева в Грецию. Купцы хазарские приплывали в Киев с драгоценными произведениями Востока, жемчугом и пряностями, которые шли к ним из Индии, Персии, Бухары. Словом, берег Днепра с начала весны до глубокой осени представлял живую, пеструю, шумную картину деятельности, где тысячи временных строений, примосток, балаганов служили пристанищем торговле и жилищем для пришельцев с севера, юга, востока и запада.

Тут вы увидели бы одетого звериною кожею печенега, блестящего бронею варяга княжеской дружины, добродушного полянина в его суконной свите, валяном колпаке и лаптях, византийского или херсонского грека, в его полуазиатской одежде, хазара, в его чалме и широком кафтане. Здесь тянулись рядами лубочные балаганы, где разложен был всякий товар; там ряд балаганов, завешенных рогожками, представлял множество харчевен и гостиниц, где пекли, варили, жарили, и на открытом воздухе толпы народа ели кисель, блины, лепешки, пирожки, пироги; за ними находилась загородка, где печенежские невольники и невольницы, связанные парами, лежали и сидели в беспорядке, и по слову хищного хозяина своего должны были показывать себя покупателям; далее была коновязь, где тысячи лошадей угорских, хазарских, печенежских ожидали купцов. Вечером, когда корыстолюбие уставало от дневной суеты, по берегу и в лодках на Днепре зажигались тысячи огней. Являлись славянские скоморохи с гудками и гусями, пели, плясали. Печенеги садились вокруг котлов, и у них раздавалось унылое, однообразное пение, сопровождаемое звуками какой-нибудь кобзы. Круг хазар, сидевших около своего огня, оживлял какой-нибудь рассказчик, прерываемый по временам восклицаниями слушателей. Славянские люди собирались в такое время подле обжорных балаганов, где продавали крепкий мед и пиво. Там слушали они песни скоморохов, хохотали, смотря на прыжки их, пили, гуляли «спустя рукава», как говорится по русской поговорке — *Руси есть веселье пити*. Веселье беспрестанно прерывалось дракою, а драка оканчивалась новою попойкою...

Таков был Киев в то время, когда идет наше повествование, Киев, под властью Святослава, говорившего: *Не любо ми есть в Києве жити*.

Солнце закатывалось за днепровские леса, со всех сторон окружавшие Киев и покрывавшие нагорную сторону своею угрюмою тенью, когда из-за мыса Угорского выплыло несколько больших ладей. Впереди в одной ладье сидело несколько княжеских воинов, одетых в русские брони. Затем следовала другая ладья, и в ней было человек двадцать воинов греческих; на носу стояли два человека в богатой греческой одежде. Один из них устремил взор на Киев, перекрестился и сказал другому: «Слава Федору Стратилату! Он исполнил мою молитву — мы доехали благополучно. Вот Киев!»

— Где? — спросил его товарищ.

«Вот он! — Говоривший указал на шумное собирище народа по берегу днепровскому, городок, дома и строения киевские. — Вот городок, жилище скифского медведя Сфендослава и красный терем Ольги. Вот Угорский мыс, где убили первых князей киевских Аскольда и Дира. Вдалеке, что высокий холм — Олегова могила на горе Щековице. Туда влево Бирючев холм, где стоит болван проклятого бога их Перуна. Тут речка Почайна, а там вдали находится православная церковь наша святого пророка Илии — только одна церковь православная!» — Он еще раз перекрестился.

— Ах! Калокир, — промолвил другой, — скажи: отчего тяжкая грусть обнимает сердце мое, когда ты сказал мне, что мы приплыли в Киев? Кажется, будто вещует оно, что мне уже не выехать из здешних варварских стран!

«Почему же, Михаил?» — спросил его Калокир (то был юный патриций, которого император Никифор отправил послом к Святославу).

— Едва только воображу я себе, какой тяжкий, отдаленный путь совершили мы, как били нас волны эвксинские, как потом плыли мы по Днепру среди дремучих лесов, бесконечных степей, под стрелами печенегов — и страшные пороги... и варварский город, где мы будем преданы воле и произволу варвара скифа... О наш славный Царьград, наша славная Византия! О моя милая подруга...

«Есть о чем горевать! Право, когда речь о девушках, здешние скифянки чуть ли не лучше наших чопорных гречанок — их загорелые, румяные щечки я не отдам за мазанные щеки греческие. Если ты боишься за жизнь свою — будь спокоен: ты здесь безопаснее, нежели в Греции. Знаешь ли ты, что такое право гостеприимства в здешней варварской стороне?»

— То же, что в Аравии?

«Еще более, потому что здесь ты можешь купить его. Печенег и русс при первой встрече сорвут с тебя голову, но договорись с ними, заплати им, они положат свои головы за твою. А сверх того, вот с этою золотою гривною, знаком нашего посольства, мы безопасно можем ночевать в лесу, в орде печенегов и в лагере русском. Вечное бесчестие преследует из рода в род того, кто убьет здесь посла: *их не секут, не рубят!*»

— А не посла, следовательно, и секут, и рубят?

«Исключая *гостей*, у которых серебряная гривна на груди лучше всякого щита и покрова. Я не знаю, Михаил, кроме православной веры, право, не знаю, где лучше и с кем лучше жить: с здешними ли варварами или с нашими просвещенными греками? Если бы к нашей вере да русская правда и удалость...»

— Правда, которая привешена на копье и стережет проходящего, как разбойница! Ты слишком пристрастен к твоим варварам, Калокир!

«Может быть, потому что я родился и вырос между ними и никак еще не применюсь к нашей греческой правде. Боже сохрани, Михаил, если Господь просветит скифские народы православием и они кое-чему понаучатся...»

— Что же?

«Они сдвинут тогда наш Царьград в море, и кто знает, что в будущих веках здешние варварские страны не образуют такого царства, которое коснется востока и запада? Оно будет непобедимо, Михаил — ты еще не видывал скифских варваров в битвах...»

— Храбрость — добродетель дикого зверя.

«А добродетель человека неужели трусость?»

— Разумеется, ум научает нас беречь жизнь свою.

«Ох! ум научил нас столь многому — и вряд ли самая глупость не дочь его...»

— Но мне смешно подумать, что какой-нибудь Царьград станет со временем на месте Киева; что на скифском языке станут повторять святые наши песнопения; что у русских будут свои Омиры и Иродоты и восхитят своими писаниями на варварском своем языке...

«Но кто знает будущее, Михаил! Я расскажу тебе даже одно предание, которое передал мне наш греческий священник, находившийся при Ольге. Знаешь ли, что Святой апостол Андрей странствовал здесь, воздвиг крест на горах Киевских, благословил их и рек: «На сих

горах воссияет благодать Божия, будет град великий и многие церкви Бог воздвигнет?»»

— Андрей Первозванный?

«И кто же после сего ведает, что киевским скифам не суждено *первозвание* среди всех народов и что славянин не займет даже престола Цареградского — по крайней мере не укажет смелою рукою, кому сидеть на императорском престоле...»

— Что ты говоришь?

«Ах! Я забылся...— сказал Калокир,— ты заговорил меня».

— Калокир!

«Михаил!»

— Если я не обманываюсь... Твои речи, столько раз начатые тобою...

«Что же из того следует?» — спросил Калокир с замешательством.

— Мы поговорим с тобой после. Слышишь...

Звук труб, раздавшийся в передней ладе, прервал разговор. Трубным звуком княжеские воины давали знать о своем приближении.

С берега раздался ответный звук. Отряд воинов стройно спускался из городка навстречу. Народ, будто дикие козы, столпился на пристани, где причалили ладьи греческих послов. Едва палками могли очистить дорогу меж толпою для послов. Калокир, Михаил, товарищи их вышли из ладей. Отряд княжеский приблизился к ним. Впереди отряда ехал старый воин — то был воевода Святослава, Свенельд. Он и товарищи его сошли с лошадей.

— Великий князь Киевский Святослав через меня, Свенельда, вождя княжеского, приветствует тебя, посла греческого Калокира, и желает тебе здравия.

«Император и повелитель Царьграда и всего Востока благодарит великого князя Киевского за привет его, а я, как посол, представляю тебе, Свенельд, воевода княжеский, мою доверенную хартию и показываю золотую печать, знак моего посольства, требуя у вас гостеприимства, хлеба и соли».

Свенельд подал ему руку.

— Отныне ты гость наш, и князь наш *ручается* за твою безопасность и определяет тебе посольское, на все твое пребывание в Киеве, хлеб, вино, мясо, рыбу и овощи.— Они взаимно поклонились.— Теперь,— сказал Све-

нельд,— позволь мне обнять не посла греческого, но старого знакомого и друга. Приветствую тебя, Калокир, да сохранит тебя Перун и Волос! Князь Святослав просит тебя в гости не как посла, но как старого знакомого, бывалого человека в нашей Русской земле, ратного спутника на полях Булгарии. Твои воины будут угощены и приняты в княжеском дворе, а ты поедешь со мною к Святославу.

«Где же найдем мы князя?»

— Там, где воину и князю прилично быть, если он не в битве: князь травит свирепого вепря, появившегося в Хоревицком лесу; его загнали в *облаву*, и только встреча тебя удержала меня в городе. Давно не видавали у нас зверя такого свирепого и страшного... Поспешим застать травлю.

Калокиру подвели лошадь. Он, Михаил и еще три или четыре грека поехали за Свенельдом. Они повернули от городка вправо и поскакали по дорожке, проложенной в дремучем лесу Хоревицком. Солнце село за лес и горы, когда всадники выехали на обширную поляну, окруженную вековыми дубами. Тут представился взорам их охотничий табор Святослава. Еще издали слышали они звуки труб и рожков, стократным отголоском повторявшиеся по лесу.

Посредине поляны зажжен был огромный костер; дубы и вязы, целиком под корень подрубленные, с их обширными ветвями, как стояли в лесу, так и брошены были в огонь, и зарево от них разливалось по окрестным деревьям. Богатые греческие ковры, войлоки, шкуры зверей набросаны были по всей поляне; над некоторыми, на воткнутих в землю копьях, растянута были легкие ткани, сшитые в виде полстей, и составляли навесы. Сосуды золотые, серебряные, глиняные, деревянные были расставлены повсюду без разбора; дорогая чаша греческая стояла подле деревянного жбана и глиняный горшок печенежский подле богатой, старинной вазы. Тут вокруг огня, на коврах и постилках в беспорядке, лежали и сидели собеседники — воины, бояре, отроки княжеские, князья, варяги, пришельцы из Скандинавии, вольные искатели странствований и приключений, печенежские ханы и воины. Усталые, расседланные кони были расставлены по краям поляны. Повара княжеские готовили кушанье — жарили добычу, доставшуюся в тот день; шумная попойка шла кругом; голоса разговаривавших собеседников сливались в одном месте с песнями; в другом раздавались восклицания воинов, которые

заняты были воинскими играми. Там звучала труба; здесь били в бубны. Число всех находившихся на поляне, участвовавших в беседе и охоте княжеской, простиралось до трех или четырех сот человек.

Среди шумной, многочисленной, разнообразной беседы находился сам Святослав. Он небрежно лежал на медвежьей полсти; бархатная подушка, брошенная на дорогое седло, поддерживала руку, на которую наклонена была голова его; против него, на длинном железном вертеле, жарили знаменитую жертву охоты того дня — свирепого кабана, незваного гостя Хоревичских лесов.

Михаил любопытно устремил взоры свои на *Сфендо-слава*, о котором так много слышал в Царьграде и Херсоне. Святослав казался человеком среднего роста, но жилистые руки его, огромная голова, широкие плечи показывали необычайную силу его. Лицо князя было смуглое, загорелое, суровое, и суровость умножали еще длинные, рыжие усы, висевшие с верхней губы; голубые глаза его выражали задумчивость; улыбка, казалось, не была привычною гостею на его устах, ограниченных с обеих сторон щек двумя глубокими морщинами; бархатная, вышитая жемчугом шапочка была надета на его бритую голову, и только клочок рыжих волос виден был из-под нее, закинутый за ухо. В одном ухе продета у него огромная золотая серьга с дорогим красным яхонтом и двумя жемчужинами. Одежда его состояла из простого суконного полукафтання; ни золота, ни серебра не было на его ремennem поясе — только два кинжала были заткнуты за пояс. В стороне стояли три отрока княжеские и стерегли его шлем, его копье, меч, бурку, щит, сложенные в виде сайдака, или трофея. Несколько печенегов, варягов, русских и славянских вождей сидели вокруг Святослава, в некотором отдалении, на богатых коврах; перед каждым из них стояли сосуды с вином и медом; все шумно говорили и спорили — Святослав ничего не пил, ничего не говорил. Он глядел на вепря, жаримого перед ним. По обе стороны его сидели два юные княжича, сыновья его.

Никто не обратил внимания на Калокира, Михаила и товарищей их, когда они, оставя лошадей своих, приблизились к Святославу, предшествуемые Свенельдом.

«Добро пожаловать, старый товарищ и гость мой! — сказал Святослав, протягивая руку Калокиру, но не трогаясь с своего места. — Ты простишь меня, что я не встаю и не приветствую тебя, как водится у вас в Гре-

ции,— устал, возившись вот с этим проклятым зубарем (он указал на вепря), а притом теперь ты в гостях не у Киевского князя, но у доброго охотника. Обряду будет место после. Садись и будь гость мой!»

Бархатную подушку принесли Калокиру. Он сел подле князя. Товарищи его стали в отдалении.

«Свенельд! Садись к нам и вели Братиславу угощать товарищей моего друга Калокира. Он умеет убаюкивать жажду и усталость гостей».

Михайла и других греков повели под один из навесов, посадили на мягкие подушки и начали потчевать.

— Радуюсь, князь Святослав, что вижу тебя здорового, и желаю тебе всякого блага в здешней и будущей жизни.

«Благодарю, старый товарищ. Здорового ты меня видишь, но только не столь веселого, как тогда в Переяславце, на берегах Дуная».

— Я знаю, князь, что тебя удручает скорбь тяжкая о кончине твоей почтенной родительницы Ольги, столь справедливо названной Премудрою.

«Да, мать моя скончалась,— угрюмо произнес Святослав. Он помолчал несколько мгновений.— Смерть не беда — умереть всякому надобно, только бы умереть хорошо и не быть рабом в веке будущем. Старым людям надобно совесть знать и очищать место молодым. В свете и без того так тесно, что потянуться негде — право, тесно, добрый приятель! — Едва заметная улыбка мелькнула на устах Святослава.— А душа просит воли и раздолья — растягивайся здесь на пустой степи да в лесу — столкнешься с печенегом, шкура которого не стоит труда, чтобы содрать ее... Ох! берега Дуная и раздольный мой Переяславец Дунайский!»

Он опять замолчал и через несколько мгновений спросил у Калокира:

«Ну, скажи, где был ты после того времени, когда мы расстались с тобою?»

— Оставя тебя победителем Булгарского царства, я отправился донести о подвигах твоих моему императору Никифору и был в Царьграде.

«Что же? Благодарил ли меня Никифор за мои подвиги?»

— Я не имею права высказывать тебе, князь, тайн императора моего. Буду говорить тебе, как Киевскому

князю, когда предстану пред тебя, как посол императора Греческого.

«Ты прав, Калокир,— я и забыл, что людям надобно два языка. Я все еще не отвыкну от наших обычаев говорить одним языком. А Булгарии пора бы выучить меня двоязычию!»

— Я слышал о славной победе, какую одержал ты, князь, по возвращении своем в Киев над печенежскими ордами.

«Да, они теперь стали друзьями нашими — посмотри, как дружно пируют они с нами, злые печенежские хановья, когда я проучил их порядком! Клянусь Чернобогом и Белобогом, что с людьми нельзя прожить без дубины: иначе добра не добудешь ни себе, ни им; его надобно выколачивать дубиною! Подумай, что они, дикое стадо волков, забыли о существовании Святослава и хотели съесть моих цыплят, когда меня не было! — А кстати, Калокир, ты еще не знаешь детей моих. Они жили с бабушкой, когда ты гостил у меня в Киеве. Ярополк и Олег, приветствуйте моего гостя».

Двое молодых юношей, сидевших подле Святослава, встали и протянули руки Калокиру.

— Ты видишь еще не закаленные мечи, Калокир, и — жаль, что я не знал, как вредна бывает бабья беседа молодым ребятам! В лета моего Ярополка я уже считывался с вятичами и радимичами. А где мой Владимир? Гей, Владимир!

Прекрасный юноша с мужественным благородным лицом подошел к Святославу.

— Вот память, что осталась мне от моей красавицы Малуши — дитя, которое вспыхнуло, как лен на огне, и похоже на огонь, горевший в очах его матери!

Калокир заметил завистливый взгляд Ярополка и Олега, украдкою брошенный ими на Владимира, и гордый взор, которым отвечал им Владимир.

Шум, усилившийся между собеседниками, привлек в то время внимание Святослава и Калокира. Слышны были в одно время норманнские, славянские и печенежские голоса.

— Что у вас там сделалось? — угрюмо спросил Святослав, поднимаясь немного и обращаясь к шумевшим гостям.

Несколько бояр, воевод Святослава, норманнских воинов и Печенежских ханов вскочили и бросились к Святославу.

«Рассуди нас, князь,—сказал один из норманнов.— Вот твой гость, хан Печенежский, уверяет, что все наши силачи и твои варяги не стоят его избранной дружины...»

— Нет! я не то говорю, северный человек,—возразил хан.— Есть молодцы из всех, из славян и из русских, но если на выбор пошло—наш брат печенег всегда утрет нос каждому из вас. Против моей избранной дружины вам не стать. Выбирайте ухо на ухо, сотня на сотню—размычем мы вас, как сухой ковыль по полю веют ветры осенние!

«Хан дурень! — воскликнул один из богатырей Святослава,—тебе ли спорить? Видать, твоим печенегам не удавалось и во сне, что наяву мы видали! На легкой ладье среди ледяного моря плавал ли твой печенег? Перетаскивал ли он ее на плечах по лесу для того, чтобы спустить опять на воду и плыть в такую сторону, где железным копьём не разобьёшь стены каменной и где тысячи народа готовы встретить одного варяга, где на одно копьё варяжское приходится по дюжине, на стрелу по сотне? Не по степи рыскать да как собака нюхать след человеческий, а идти в царстве сильном и могучем из одного конца в конец под заревом пожаров, с дюжиной мечей и копий—вот тебе подвиг норманна, и станет ли на такой подвиг твоего печенег... Знаешь ли ты наше норманнское присловье: одного не тронь, на двух нападай, против трех защищайся, четверым не уступай?»

— Не знаю я ваших присловьев и подвигов, знаю дела свои, отцовские и дедовские, и знаю, что для печенег всюду путь-дорога и нет ему сопротивления! Река широкая вплавь на коне переплывается; по степи ведет его звезда небесная, беседует с ним пустынный ветер, говорит с ним птица летучая и ему дорогу сказывает; как гнев Божий, из-за тысячи верст падает он на голову вражескую, когда сон убаюкает врага неосторожного...

«Будто разбойник, украдкой, как лисица из-за куста, а не громом Божиим сражаетесь вы! Тем только вы и берете, конокрады!»

— Спроси у половцев, спроси угра и торка, полно, так ли, северный человек?

«А ты спроси у грека и булгара, пересчитай раны на собственной спине своей, хан Печенежский!»

— Ты обижаешь меня, северный человек—пока не родился Святослав, не боялись вас ни греки, ни булгары,

ни наша печенежская сила, как муравейник бесчисленная, в чистом поле вольный народ, под шатром некупленным. А как под Царьградом встречали вас до сих пор — если ты еще молод, не знаешь, — так спроси у тех, кто тебя постарее...

«Хан печенега вольного! — воскликнул Святослав, — говори, да не заговаривайся! Люблю, когда хвастают молодецкою удалью, но язык уязвляет хуже копья. Поменялись мы с тобой оружием — не выменивай же опять вражды на свой меч!»

— Что же, Святослав? Правда, как солнце — ее рукой не заслонишь! Отважны были твои отцы и деды, но от Царьграда бегивали они до сих пор, как от огня горячего. И сам ты не испытывал еще силы греческой.

«Я не боюсь силы греческой! — воскликнул Святослав. — А печенеги и хазары, угры и болгары знают уже Святослава. Не скрытно, не на слабых жен, не ночью, не украдкою ходил я в степи ваши, плавал под Тмутаракань и бился под Белою Вежею: впереди меня всегда ехал бирюч мой и говорил врагам моим: *Берегитесь — Святослав идет на вас!*»

— О тебе, Святослав, у меня и речи не было. Тебя знают и в Саркеле и в Переяславце; твоим именем страшает у нас мать дитя непослушное, когда оно по ночам спать не дает. А все еще от тебя, молодца, ждем мы настоящей удали — посмотрим, как-то да когда-то пойдешь ты под сильный Царьград греческий...

«Пойду, как ходил в твою ставку; рассчитаюсь и с греком, как считался с хазаром!»

— О, печенег от тебя не отстанет, Киевский князь! Говори скорее, когда идешь ты на Царьград? Успею ли съездить в степь, проститься с молодою женою, или теперь, прямо с пира, надобно садиться на борзого коня, а детям послать благословение заочное?

Святослав усмехнулся.

«Да ведь не о том спор зашел между тобой и моими удальцами, хан Печенежский, а о том, кто из вас могучее другого? За чем же стало? Выбирай молодца, ставь на зыставку — попробуйте! Игра воинская — честь молодецкая. Кто из моих расхвастался силою?»

— Сфенд рыж.

«Ты, Сфенд, безголовая голова, рука железная?»

— Я, князь, и пусть хан Печенежский даст мне лютого из дружины своей...

«Я последний в числе наших удальцов печенегов,— вскричал один из печенежских гостей,— но давай посчитаемся, молодец рыжеволосый! — Он вышел вперед других, вытянул ноги и размахивал правою рукою, засучив рукава».

Святослав затрепетал от нетерпения видеть битву и вскочил со своего места; отовсюду сбежался народ и окружил соперников. Сфенд и печенег стали посредине круга, который составилися около них.

«Держу за Сфенда!» — «Держу за печенега!» — раздавались голоса.

Между тем бойцы стояли с минуту один против другого — сын Скандинавии и дитя степей приволжских; один рыжий, голубоглазый, высокий, плечистый, другой с черными, как смоль, волосами, невысокий, черноглазый, приземистый. Они отбросили от себя оружие, натянули свои рукавицы. Едва глазом мигнули, как печенег бросился к своему сопернику и обвинил его руками, будто змей, поперек тела. Но силен был норманн и ухватил печенега через руку. Глаза бойцов сверкали; неподвижно стояли они, обхватив друг друга, но их неподвижность была следствием ужасного усилия, и громко раздавались голоса:

— Славно, молодцы, славно! Помогай, Боже, нашему — не выдавай, Боже, нашего!

Сильно рванул печенег и перегнул норманна налево; круто повернул его норманн направо; лицо Сфенда налилось кровью от тяжелого усилия, и печенег кольцом перевернулся около него — думали, что он грянет о землю. Но печенег удержался на одной ноге, и не успели мигнуть зрители, как неожиданною хитростью он уперся головою в живот сопротивника, подхватил его под ноги руками, поднял — норманн потерял равновесие и полетел через голову печенега ногами вверх, растянулся на земле и так сильно ударился спиною о землю, что кровь хлынула у него из носа и изо рта. Тяжело досталась победа и печенегу; градом катился с него пот, и от сильного напряжения он стоял, как одурелый, не слыша громких восклицаний.

«Что, князь Киевский?» — горделиво спросил печенежский хан.

— Сфенд похвастал и заплатил за свое хвастовство порядочным толчком — вперед не станет. Борьба не наше дело. Тут не сила — уловка, хан Печенежский. Не хочешь ли померяться мечом и копьём?

«Уловка, не сила! Какая уловка поможет, если силы нет...»

— У всякого народа свой обычай сражаться. Грек берет хитростью, печенег ловкостью, славянин терпением, а варяг силою.

«Полно, князь! Что ты делишь уловку от силы — куда тебе без силы ловкость?»

— Как же ты не понимаешь, хан? Ваш печенег десять раз перевернется на коне, заскачет вперед, выскочет назад, прыгнет и вспрыгнет, а русс как сел, так и сидит на коне, будто прикованный гвоздем железным. Зато попробуй-ка выбить его из седла! Вот тебе что значит сила — смотри!

Святослав схватил два толстые блюда серебряные и, подавая одно из них хану, вскричал:

— На, сверни мне его в трубку!

Хан взял блюдо, посмотрел, покачал головою и, поворачивая блюдо на руке, промолвил:

«Этого сделать нельзя!»

— У нас не знают слова *нельзя*, а говорят — *сделай!*
«Нельзя, князь!»

— Товарищи! в самом ли деле нельзя, аль можно? — вскричал Святослав, бросая блюдо на землю и обращаясь к своим.

Шумною толпою окружили блюдо варяги, русские, славяне.

— Разогнуть подкову берусь...

— С тремя печенегам копьём потянуться — готов... но свернуть блюдо...

«Закладую мою вороную кобылу, — вскричал хан, — отдам ее тому, кто свернет это блюдо! Моя вороная кобыла на моих руках родилась, со мной пила и ела, и вихорь не обгоняет ее, когда мчусь я на ней по степи...»

— Ну, хан! промахнулся! — вскричал Святослав. — А вы, товарищи, такая-то удаля ваша, что никто и приняться, и попытать не смеет? Бабы дети! Не на щите повивали вас и не с копья кормили, а видно, что ложкой совали вам в рот кашу!

Мгновенно засучил он рукава, схватил блюдо, положил его на колено, ухватился обеими руками за самый край его, и — будто оловянным сделалось толстое серебряное блюдо под его пальцами, будто превратилось в лист пергамента — в трубку свил его Святослав, перегнул еще трубку в кольцо и подал хану.

— На, хан, береги на память. Вороной кобылы твоей мне не надобно, а только помни, что если Святославу дружину побороть можно, так не родился еще тот человек на свете, который услышал бы от Святослава: этого нельзя сделать!

Радостный, громкий клик раздался вокруг Святослава. Выпучив глаза, стоял хан Печенежский и едва мог выговорить:

«Ай да князь Киевский! Вот чем берут они, русские и варяги — с Олегом, с Аскольдом и Диром, да с Святославом не диво добратся до Царьграда...»

— Пойдемте прежде, друзья, не к Царьграду, а попробовать нашей удали над зубастым кабаном, которого сегодня порешили мы за то, что без нашего дозволения вздумалось этому щетиннику разгуливать в Хоревикском лесу. Пойдем, старый приятель, посол Греческий, пойдем, хан Печенежский...

Длинный и широкий стол сгорожен был из досок и накрыт дорогою скатертью; набросано было на ту скатерть листья дубовые, и огромный жареный кабан лежал целиком на столе. Несколько почетных гостей поместились на складных стульях; другие сели к столу на досках, утвержденных на древесных обрубках; многие стали у стола. Шум и говор смешивались со смехом, пока рубили на части кабана и подавали его гостям. Без тарелок, поддевая куски на ножи и кинжалы, ели и похваливали гости вкусное кабанье жаркое. Другие ествы пошли на стол. Не жалели угощения повара и кравчие Святославовы. Святослав сидел впереди. За ним стояли дети его, и странно было зрелище пира, шумного, многолюдного, ночью в лесу, при зареве костра, сборища вольного и разгульного. Песни скоро раздались между гостями.

«Веет ветер с восточной стороны,— пел печенег,— едет рать печенежская, ночью по звездам небесным, днем по полету птичьему!

Белеют вдалеке шатры вражеские, вежи половецкие; играют стада их, веселятся девы, хвастают юноши, крадутся ханы и вожди половецкие. Не слышно следа печенежского, не чуют ржания коней их по степи необозримой!

Настала ночь, потухли огни, заснули вежи, стих ветер, не лает пес сторожевой, не колышется ковыль-трава, месяц тучей задвинулся.

Эй! Что вы храпите, враждебные половцы, подымайтесь — принимайте незваных гостей,ставляйте ествы

и питья, давайте дев ваших, прошайтесь с конями летучими!

Не туман пал на поле — пали трупом враждебные половцы; не ковры на траве разостланы багряные — разлита по траве кровь богатырская. Удалые печенег делят добычу, бросают жеребьи, берут серебро и золото, дев и коней, рабов и товары греческие!»

— Полно мурлыкать, печенег, дай простор славянской голосистой, раскатистой песне!

«Не шуми, не волнуйся, Днепре Словутичу, пробивший каменные горы Карпатские, лелеявший ладии славянские от синя моря до синя моря! Повей благодатью, Днепре княжичу, река славянская, благословенная, умоленная, тучной жертвою угобзенная!

Сидит дева славянская на берегу Днепра широкого. Не жемчуг нижеет — ронит слезы крупные в волны днепровские.

Далеко уплыл ее милый друг, далеко в Царьград с товарами, с данью княжескою, с добычею печенежскою.

Проплывет он пороги днепровские — разобьет его море Русское; проплывет он море Русское — нападут на него разбойники сарацинские; не дастся он сарацинским разбойникам — обманет, проведет его хитрый грек; не обманет, не проведет его хитрый грек — обольстит его гречанка юная!

Отобьет она сердце моего друга милого, запленил его волю молодецкую, ослепит его очи ясные, забудет он на чужбине свою родину, забудет мать родимую, забудет подругу милую! Не видать мне молодого удалого, гостя славянина почетного, не красоваться в жемчуге и золоте, не сидеть в моем тереме, не ждать его до полуночи, до первого раннего куропения...»

— Ох! мне ваши славянские песни! — воскликнул молодой варяг. — Песни с девами, которые беспрестанно хнычут по отъезжающим друзьям сердечным, перекликаются с Днепром и с солнцем, с ветром и с морем, о котором знают только понаслышке... То ли дело наша песня варяжская!

«Грозно пенилось море северное, взбиваемое веслами норманна; широко вздувался парус, раскинутый над волнами, как крыло птицы полуночной! Стоял Сигурд на корме корабля своего, опираясь на копье булатное, и думы его неслись в отдаленную землю Рослаген-

скую, к деве сердца его, прекрасной, как битва, неумолимой, как меч, гордой, как корабль Сигурда на волнах!

Не молодец ли, не удалый ли я, и какой берсеркер сравнится со мною, когда кипит битва, трещат мечи, ломаются копья, стучат щиты, и волк воет в ближнем лесу, чуя трапезу богатую на поле битвы кровавой? А меня презирает гордая дева!

Не ее ли имя повторял я, когда плыл корабль мой черноребрый по волнам моря северного, и у нас не было запаса и на три дня, а три недели мы плавали, видели чудеса невиданные, видели землю, где не заходит солнце, где море застыло на пространстве необозримом, где поднялись горы ледяные, рыбы плавают с корабля величиною, и дна моря не достанет в безднах хвост коварного Лока? А меня презирает гордая дева!

Не ее ли имя повторял я, когда мы бились под стенами Дронтгейма и князь норвежский пал предо мною бездыханный, пал от моего неизбежного удара? Вышли трепещущие жители Дронтгейма и предложили мне власть и могущество, и руку прелестной княжны, и сто кораблей белопарусных, летающих по морю, как дума берсеркера — все отверг я и помнил только о деве моей... А меня презирает гордая дева!..

Не ее ли имя повторял я, когда, разбитый на полях Ютландии, бросился я в ладью и с шестнадцатью товарищами уплыл в необозримое море? Разостлалось оно под нами безбрежною долиною, и свод небесный, как чаша опрокинутая, закрыл нас со всех сторон. И заволновалось море, и срослись волны с облаками, и тонула наша ладья, но мы черпали шлемами и выливали из лодки воду, и пели песню смерти, и бесстрашно влетели в родную пристань Рослагенскую... А меня презирает гордая дева!

Забуду тебя, дева неумолимая! Ты страшнее для меня моря зыбучего, меча вражеского, вепря свирепого и Гелы неизбежной! Что мне смерть, когда Валгал примет меня в свои битвы бессмертные, в охоту за зверем с огненными крыльями, в пир, где из черепа врага моего напоят меня вином, выжатым из лучей солнца, и потушат жар в груди моей, воспаленной от вина поцелуем Валькирии... Но и там буду я грустить без тебя — не мил мне без тебя будет Валгал Одина... А ты презираешь меня, гордая дева!..»

Будто тяжелыми цепями заковала внимание Святослава песня молодого варяга. Шумно пировали гости его

и товарищи, ели, пили, прохлаждались, и вольно раздавались их песни и голоса, а Святослав задумался, не пил, не ел, облокотился руками о стол, повесил свою голову и молчал.

Когда кончилась песня варяга, он опомнился.

— Где мой Велес? — воскликнул он. — Позовите ко мне моего Велеса!

Юноша, русский, голубоглазый, с розовыми щеками, как кровь с молоком, свежий и прекрасный, подошел к князю. В белой одежде, с гуслями в руках явился он, и за ним следовали несколько его товарищей; один из них был седой старик с длинной бородой.

— Любимец Перуна! Спой мне одну из тех песен, которыми так часто веселил ты мое сердце! — сказал Святослав юному певцу. — Спой, соловей старого времени! Я засыплю песню твою золотом и серебром!

«Князь славный! — отвечал Велес. — Не надобно мне твоего золота и серебра. Подари меня твоим ласковым словом — не требует певец ничего от Бога, кроме дара песни, от князей и людей ничего, кроме чести, от дев красных ничего, кроме любви. Что велишь ты спеть мне?»

— Могу ли указывать, что спеть тебе, мой соловей? Сядь, перебери твои золотые струны и пой, что внушат они тебе — только не песню любовную — она годится для баб. Ты знаешь, какие песни люблю я!

«Знаю, что любит князь мой. Угодно ли ему пение об угорском переходе через Киевские горы; или о войне русской на берегах Хвалынского моря — или он позволит мне спеть новую песню, которую вчера сложил я и выучил с моими товарищами — песню об Олеге Вещем?»

— Новую песню об Олеге Вещем? Пой, Велес, пой твою новую песню!

Певец сел, склонил свою голову, поднял ее; глаза его оживились; он дал знак рукою своим товарищам, положил гусли свои на колени; старик седобородый стал против него и, махая рукою, давал меру пению. Пальцы Велеса пролетели по струнам, и струны гуслей загорелись в согласных звуках. Речитативом, иногда переходившим в томное, иногда в шумное, быстрое, живое пение, начал Велес. Товарищи его составляли хор, вторивший ему, и когда он сам переставал, голоса их сливались в повторении последних слов песни. — Свято-

слав сидел, облокотясь на стол, неподвижно и безмолвно.

«Не гроза ли могучая завывает, не волна ли пошла по широкому Днепру? Нет! то не волна мутит песок со дна речного и пугает русалку золотоволосую, не буря ломит лес дремучий и заставляет лешего прятаться в трущобу — то идет волной, крутит бурю дума *Вещего Олега!*

Стоит сумрачен Вещий, облокотясь на копые булатное; ветер веет его серебряные волосы; глаголют стязи его; стонет Днепр словутный, нося на хребте своем ладии Вещего. Бесчисленно его воинство — варяги и словене, чудь и кривичи, меря, древляне и радимичи, поляне, северяне и вятичи, хорваты, дулебы и тиверцы, все народы, иже нарекаются от греков народы скифские.

Обозревает могущее воинство свое Вещий обозревает и думу думает: не бессмертны есмы смертны, но кто был славен в Русской земле, как славен я? Меня трепещут горы Карпатийские, меня боятся волны Эвксинские, меня слушает неукратимый Днепр, повинны мне народы славянские, уstraшается меня земля хазарская, робеет меня орда печенежская! Пойду на славный Царьград греческий, добуду славы, или голову положу под стенами Цареградскими и бессмертен буду в памяти!

И подводят Олегу его коня любимого; поглаживает коня рукою, поправляет на нем Вещий попону золоточетную; ржет и радуется его удалый конь; ставит Олег ногу в стремя серебряное, поправляет уздечку серебровкуаную, выправляет плетку шелковую.

Стоит против Вещего Перунов жрец, стоит ослабляется, усмехается, глядя на Вещего. Смутился духом Вещий, вопрошает жреца прозорливого, дальновидного:

— Ох, ты, гой еси, жрец Перунов, дальновидный, прозорливый, колдун не болтун велеречивый! скажи: чему ты усмехаешься, ослабляешься, на коня моего озираешься?

Ответ держит Перунов жрец, говорит Вещему речь мудрую:

— Вещий Олег, князь Киевский! ведаешь ли, что ни хитру, ни горазду, ни птицей летающую, ни волком рыскающую, ни мудрому, ни разумному своего жребия миновать не приходится?

— Скажи мне, Перунов жрец, на чем же совершиться моему жребию? Аль меня поглотит море Эвксинское,

аль меня захлестнут волны днепровские, аль меня подстережет стрела неминуемая, аль кости мои в чистом поле размычут звери хищные?

— Не стрела губит, а палка, не море, не река топит, а лужа, не зверь страшен, а муравейко ядовитый. А тебе, Олег, от коня твоего любимого смерть приключится!

Задумался Вещий. Говорит своим отрокам: возьмите коня моего любимого, уведите в луга заповедные, поите сытой медвяной, кормите пшеницей сеяной, хольте, лейте, на глаза мои не водите!

Но ни хитру, ни горазду, ни птицей летающую, ни волком рыскающую, ни мудрому, ни разумному своего жребия миновать не приходится!

Говорило море Эвксинское, Эвксин Окиянович, спрашивало у Днепра тиховойного:

— Скажи мне сущую правду, Днепр Волкович, правду ли пересказывал мне Дунай Карпатович, а слышал он от братьев, Днестра каменистого да от Буга Ингуловича, правда ли, что плывут к Царюграду лады Олега Вещего, взять, полонить, порушить стены Цареградские?

— Плывут-таки, плывут лады Вещего, Эвксин Окиянович, не солгал тебе Дунай Карпатович, и правдивую весть слышал он от братьев одноводных, Буга Ингуловича, Днестра каменистого!

— Не пущу я ладей Вещего надо мной, синем морем, насмехаться, к Царюграду прогуляться! Подыму я бурю великую, разобью я лады Вещего, пошлю детей Стрибога, и развеют они лады русские, разнесут их, куда и птица костей русских не занасивала!

— Напрасно подымешь ты бурю. Хитер, умен Вещий — обернет свои лады цаплями долгоносими, оборотит своих воинов чайками белокрылыми, перелетит к Царюграду по поднебесью!

— Не пущу я ладей Вещего надо мной, синим морем, насмехаться, к Царюграду прогуляться! Взволную я мою чешуйчатую кожу, вспрыгну волнами до неба, ударю лады в берег каменистый, накличу на трупы хищных вранов!

— Напрасно ты взволнуешься сердитыми валами, не перехитрить тебе Вещего Олега — заговорит, заклянет тебя Олег Вещий, запрет тебя в заклепы подводные, в пещеры мрачные, на триста лет с единым годом, лишит тебя воли молодецкой! И без того твоя старая

удаль пропала, устарел ты, Эвксин Окиянович, не гуляешь через Кавказские горы, не бродишь ты по степям Половецким...

Что зашумело, зазвенело в Цареграде? Что засветилось, засветлело на Золотом Роге? Что загудело, затрепало на Белом море? Аль Царьгород бури испугался? аль пришла к нему несметная сарацинская сила? аль его с суши сдвигают буйные ветры, а синя моря на сушу выдвигают валы седые?

Нет! то шумит, вопит народ Цареградский, то звенит колокол набатный, то засветились в Цареграде пожары, то гудит буйный вихорь, развевая дым и пламя, то трещит берег под ладьями Вещего Олега!

Испугался царь Греческий, ужаснулся; зловещий сон ему приснился, будто с вечера одр ему на голых досках стлали, белым саваном его накрывали, красным вином его поили, в изголовье ему гробовой камень положили.

Веет ветер, тихо море, светит солнце, серебрится вал прибрежный! Забелели, зачернели, чайкой птицей полетели ладьи Вещего Олега!

Не стадо белых лебедей, не вереница гусей серокрылых, плывут к Царюграду ладьи Вещего Олега, плывут, приплывают!

«Ох, вы, гой еси, мои воеводы и бояре! Протяните по морю железные цепи, загородите цепями море, не проплыть бы, не проехать Вещему Олегу!»

Усмехнулся Вещий грецкому мудрованью, говорит своим ладьям послушным:

— Выплывайте, ладьи мои, на берег, катитесь по земле, будто по синему морю!

Откуда колеса взялись и по суше ладьи Вещего понесли!

«Ой, вы, гой еси, мои воеводы и бояре! готовьте огонь неугасимый, жгите, палите Вещего Олега!»

Усмехнулся Вещий грецкому мудрованью, говорит облакам поднебесным:

— Полно вам, облака, гулять по-пустому, полно вам глотать росу небесную даром! Соберите воду дождевую, прысните на греков, утушите их огонь неугасимый!

Испугался, ужаснулся Царьгород, смутился, вздурился царь Цареградский:

«Ох, вы, гой еси, мои бояре, воеводы, мудрецы мои седобороды! отпирайте мои кладовые, берите серебра,

золота, сколько хотите, несите к Вещему Олегу, платите ему дань валовую, да другую дань круговую, а третью не дань, а подданок, а четвертую на каждый русский город, а пятую Игорю княжичу с Ольгой княгиней, шестую всем светлым князьям русским, а седьмую платите Перуну на свечку!»

Стучит молот тяжелый, стонет земля, охает Царьгород: прибывает Олег щит свой к воротам Царяградским, вещует, волхвует, заклиняет:

— От сего дня грекам от Руси не уштититься! Стар я становлюсь, и сюда не приду вдругорядь — придет сюда молодец меня удалее, возьмет, полонит он Царьгород, а имя тому молодцу — князю удалому...

Не слышали, кого назвал Олег Вещий... Но знают то имя колдуны, вещуны Киева и Царяграда, вещают, шепчут его валы Эвксина, ведают его волны Дуная!..»

Неподвижен и безмолвен сидел Святослав, когда Велес начал песнь свою, но, будто масло на огне, загорелось его княжеское сердце от слов Велеса. То глядел он на певца и, казалось, пожирал глазами его сладкоголосые струны, то опять погружался в задумчивость и медленно дышал, будто боясь упустить какое-нибудь слово Велесово. Огонь горел в глазах юного гуслиря и переливался в душу князя. И когда Велес пел о щите Олеговом, говорил о том, кто пойдет по следам Олега, умалчивал имя, не сказывал, что знают то имя колдуны, вещуны киевские и царьградские, вещают, шепчут валы Эвксинские, ведают волны Дунайские... тяжело, высоко подымалась грудь Святослава — как будто далекая буря дмил и буровит море Эвксинское, еще не вздымая, не кипятя валов его, дума скрытная дмила и буровила душу Святослава...

Громче и громче раздавались песни Велеса, чем далее распевался он, соловей киевский, звезда русских баянов. Смолкли, стихли все собеседники княжеские, умолкли смех и шумная беседа всех гостей, не колыхался листок на дереве, и только голос Велеса и хор его согуслиярников катились волнами перекатными по сердцам и душам слушателей. Внимательно слушали и варяг и печенег. Калокир и его товарищи сидели безмолвно при песне славянского соловья, уныло повесив свои головы.

Когда Велес готов был выговорить имя преемника Олегова, Святослав дышал прерывисто и тяжело, наклонив голову на свои руки. Задумчивый, толкнул он чару с вином, стоявшую перед ним, не заметил, как она упа-

ла, как потекло из нее вино, лилось через край стола, и верные псы его лизали драгоценный сок хиосского винограда...

Но Велес умолк, перекатился снова перстами по гусям, и с хором запел величанье Вещему Олегу:

«Велик, мудр, могущ и славен Олег Вещий — слава ему! Пирует он победу свою в княжеском тереме — слава ему! Опирается он на булатный меч, подпирается на копье двадцати локтей, пьет вино цареградское, шьет на ладьи свои паруса паволочатые, делит добычу богатую, серебро, золото, ткани многоцветные, камни самоцветные, ковры вавилонские — слава ему! Веселится его дружина верная, веселятся его князья светлые — слава ему! Его верные слуги не стареются, его добрые кони не изъезжаются, его цветное платье не изнашивается — слава Олегу Вещему!»

Струны Велесовы задрожали, затрепетали. Глухо перекатились отголоски и — тихо запел певец:

«Но ни хитру, ни горазду, ни птицей летающую, ни волком рыскающую, ни мудрому, ни разумному своего жребия миновать не приходится!»

— Где мой конь любимый? — вопрошает Вещий Олег.

— Конь твой издох, и кости его благородные кинуты на чистое поле, обмывает их струя дождевая, осушает их солнце палящее, закрывают их снега белые, обвивает их травка шелковая, обвевают их ветры буйные!

— Седлайте мне моего коня доброго, зовите ко мне кудесника, жреца Перунова, укорю я его бороду старую, насмеюсь над его ложным прорицанием!

Стоит сумрачен Вещий Олег, сложив руки на груди богатырской. Сильно бьется сердце его ретивое; веют его серебряные волосы; вокруг него дружина верная; перед ним стоит жрец Перунов, усмехается, осклабляется — перед ним лежит череп коня доброго и белеют его кости благородные.

— Ох, ты, гой еси, кудесник, жрец Перунов! От сего ли голого лба мне смерть приключится?

И шевелит Вещий ногою череп лошадиный, шипит змея черная, зелье ядовитое готовит князю, вынырнула, обвилась вокруг ноги черной лентой, уязвила Вещего Олега, чует смерть Вещий — затуманились его ясные очи, подогнулись его крепкие ноги, опустились его могучие руки...

И празднуют тризну на горе Хоревницкой; пьют крепкие меда, стучат в медные щиты, поминуют покойника добрым словом. Кого поминуют на горе Хоревницкой? Поминуют Вещего Олега!..

И сбылось присловье премудрых: ни хитру, ни горазду, ни птицей летающую, ни волком рыскающую, ни мудрому, ни разумному своего жребия миновать не приходится! Будь велик и могуч — равно прорастет крапива на могильном холме твоём, и когда хищные звери разроют могилу твою, не узнать по твоему ветхому черепу — был ли ты силен, богат и славен, был ли ты тщедушен, убог и безвестен!..»

— Так, что же, мой сладкогласный соловей, так, что же, мой баян вещий, что в том, если люди задумаются над моим черепом, — воскликнул Святослав, крепко ударив кулаком своим по столу, — что в том, если при жизни моей душа моя сыта была весельем, земля наполнялась говором моего имени, катался я, как сыр в масле, в славе, богатстве и почести? Пусть только имя мое прокатится, будто гром, через века грядущие, пусть отзовется оно в песнях баянов, пусть летает потом перед моим потомком, как гром перекатный по туче, зловещею бедою грозя сильному врагу... О! год жизни, год славы Олега Вещего, и — пусть товарищи мои подвигов пируют тризну на моем надгробном холме — пусть птицы хищные дерутся за труп мой, тлеющий в пустыне безвестной!

Слезы брызнули из глаз Святослава. Он закрыл глаза рукою. Безмолвно сидели его дружина, варяги, норманны, славянские удалыцы. Чаши стояли перед ними налитые и полные, но не початые.

— Нет! — воскликнул Святослав. — Нет! не люблю мне в Киеве жити — хочу жить в Переяславце на Дунае! Там будет среда земли моей, там вся благая сходится — от греков паволоки и золото, и вина, и овощи различные, из чехов и угров серебро и кони, из Руси скоро, воск, мед и челядь! Прочь, пиры разгульные, прочь, девы красные, одры пуховые! Друзья! Не починуть, не отдохнуть, не пить вина, не ласкать дев, пока не зачерпнем шеломами воды Дуная широкого!

— Прочь пиры, веселья, дев! — загремели голоса. — К мечу, к щиту, к копьё, к шелому! — В беспорядке бросились все из-за стола и шумно окружили Святослава.

Ухватив руками руку Свенельда и руку другого своего вождя — «Друзья, товарищи, ратники, вожди мои

неукротимые! — воскликнул Святослав. — Души ваши в буюсти закалены, на кровавых пирах с смертью обручились! Ужли оставаться в Киеве? Из болот Новгородских перешел на берег Днепра Олег Вещий, с берегов Днепра перейдет Святослав на зланный берег Дунайский — а там... Пусть толкуют вещуны, куда еще перейдет русский князь!»

— Туда, где уже нет дороги ни конному, ни пешему! — закричал Свенельд.

— А ладья на что? И не наши ли братья варяги облетали на ладьях из Варяжского моря до Эвксинского? Не они ли достигали по безвестным морям Гринланда и Аттурвейза, Биармии и Пермии, туда, где солнце только умывается в море, а в хлябь его не садится?

«И попустим ли мы щедушному болгару наругаться над нашей честию? — восклицал Святослав. — Три дня вы видите меня печального и мрачного — не о матери я горюю, но о той вести, какую я получил из Переяславца. Знаем ли, что храбрые наши товарищи, оставшиеся на Дунае, одолены, побиты булгарами; что царь болгарский ищет союза с уграми и с греками, и не боится уже нас, думает, что навсегда унесли нас в леса наши и пустыни волны Эвксинские? За товарищей ли не отомстим? За дядьку ли моего, мудрого, седовласого Асмунда, который остался стеречь наши Дунайские волости — он убит, он не дался живой — счастливый старец! Но — кровь за кровь, по русскому обычаю!»

— К копыю! К мечу! Мщение болгару! Веди нас, Святослав! Камо ты пойдешь, тамо и мы пойдём!

— «Подайте мое копье!» — Копье было подано. Держа его за конец древка, обратил дротик его к своим собеседникам Святослав: «Берись за копье мое, кто хочет идти со мною — не берись, оставайся дома, кто трусит и робеет!» — Сотни рук протянулись к копыю.

— Мы все идем! Мы все с тобою! — шумели радостные голоса.

Святослав схватил секиру, перерубил древко копья и, подымая секиру над головой, воскликнул:

«Пусть скорее прорастет это сухое ратовище зелеными листьями, пусть срастет оно снова, пусть посечены мы будем мечами своими и будем рабами в сей век и будущий, если отступим от своей клятвы — клянемся Перуном и Волосом, и богами греческими, и богами варяжскими!»

— Клянемся! — раздавалось окрест Святослава. Он казался грозным богом брани. Он был исполин, непобедимый при той силе, какую слова его возбуждали в сердцах его дружины и вождей!

— И мы с тобою! — кричали печенеги. — Вина, вина! Пьем за нашу клятву!

Среди сих кликов военною песнью громко загремели струны Велеса. Святослав и его товарищи чокались чаша с чашею, и князь потрясал руки товарищей своею мощною десницею в залог верного слова — жить и умереть вместе!



ПОВЕСТЬ О СИМЕОНЕ,
СУЗДАЛЬСКОМ КНЯЗЕ



Благочестивые жители Нижнего Новгорода шли к вечерне в соборный Архангельский храм. Сквозь окна храма мелькали тусклые огни восковых свеч, зажженных перед образами. Церковь была полна народа; на крыльце и в ограде церкви толпился народ, но многие бежали еще опрометью ко храму, и все, казалось, чего-то ждали. Нетерпеливое внимание заметно было в толпе. Подле затворенных лавок на площади собрались нижегородские купцы. Сложив руки и устремив любопытные взоры на княжеский дворец, они говорили между собою. Вокруг дворца в тесноте негде было яблоку упасть. Богато украшенные кони под бархатными попонами, подведенные к крыльцу, видны были с площади сквозь тесовые растворенные ворота.

За толпою купцов у навеса лавок сидел на складном стуле седой старик, угрюмо опершись на палку. Руки его, сложенные на верхушке палки, обделанной в виде костыля, закрыты были длинною бородою его. Красный кушак по синему кафтану показывал недостаток его. Он смотрел то на дворец, то на народ, покачивал головою, поднимал ее и опять опускал на руки. Другой старик, сухой и тщедушный, отличавшийся от всех одеждою, подошел к уединенному зрителю, низко поклонился ему и сказал громко:

«Бог на помощь!»

— Будь здрав, гость московский! — отвечал нижегородец, — по добру ли по здорову?

«Слава те, Господи! Вот получил из Москвы грамотки. Жена, дети здоровы, и товар доплелся до Москвы...»

Слова из *Москвы*, казалось, оживили старика. Подвинув свою шапку на затылок, он обратил любопытный взор на москвича и невольно повторил слова его:

— Из Москвы?

«Да, но вот что ты будешь делать: невзгода Москве нашей, да и только — опять была немилость Божья, пожарный случай...»

— Что? Опять?

«Да, почитай, весь посад выгорел, а пожар начался с дома окаянного Аврама Армянина...»

— Хм! Часто горит у вас на Москве!

«Да Москва-то не сгорает! — отвечал москвич, коварно улыбаясь, — а вот у вас, в Нижнем, так раз выгорело, да зато ловко...»

— Его воля! — вздыхая отвечал старик и обратил взоры к небу. Заходящее солнце блеснуло ему в глаза, и он, зажмурясь, опустил голову к земле. — Да попуше-

нием Божиим о Петровках уже пятнадцатый год минет, как Нижний Новгород впадал в руки басурманские, а следы все еще не заглажены. Нижегородцы прображничали тогда наш городок благословенный, и справедливо повелась в народе пословица: *«За Пьяною люди пьяны!»*

«Москва не вашему городу чета, да и тут после вражьего меча десятый год проходит, а трава растет там, где прежде высились терема и хоромы. Сколько одной Божьей благодати сгорело и осталось в запустении!»

— Друг ты мой! не говорит ли нам Святое Писание, как тяжек меч вражий? Когда царю Давиду предложили глад, смерть и нашествие неприятельское, он молил Бога выбрать легчайшее, и Бог не врага, а смерть послал на Израиля. Тяжка смерть, но тяжеле воин вражеский, гибель живая,— не уснет, аще зла не сотворит!

«Но ведь на нашу Москву и враг-то какой нападал! Долго стоять земле русской, а не видать такого злодея, каков Тохтамыш окаянный! Ни в устах милости, ни в сердце жалости. Огнем палит, чего не возьмет, и ни храма Божия, ни княжеского чертога не остается за его следом — идет и метет!»

— Все равно, что силен, что бессилен, только умел бы железную баню вытопить да булатом выпарить, а уж татары, злой, ненавистный род, таковы, что, кажется, и во сне-то они мыслят о вреде христианам. Бывал ли ты сам в руках татарских и видал ли ты басурманскую, проклятую гадину в их житье-бытье?

«Оборони меня, Господи! Нет! до сих пор Господь миловал!»

— Истома Захаров любит только издалека греть руки, а нейдет сам в огонь,— сказал кто-то подле разговаривавших.

Старики оглянулись и увидели, что к ним подошел богатый купец нижегородский Замятня. Москвич переменился в лице, а седой нижегородец обратился к Замятне.

«Держал бы ты язык свой на привязи,— сказал он.— Точно меч обоюдоострый слова твои: ни брата, ни друга не щадишь — рыкаешь, аки лев на краеградии!»

— Да ведь господин Истома мне ни брат, ни друг,— отвечал Замятня, смеясь.— Кто с ним торгует, тот и помолчать может, а целому миру рта не завяжешь. Иной наживает там, где все проживают, и вольно ему было сказать тебе, что он не бывал у татар — люди другое поговаривают!

Истома покраснел и побледнел.

«Добрая слава под лавкой лежит, а худая слава всег-

да на почетном месте сидит,— пробормотал он.— Мало ли что говорят и о князьях, и о боярах!..»

— Так будто все и неправду говорят? Глас народа — глас Божий! Будто князь да боярин уже все и хорошо делают? Как ты думаешь, старинушка, господин Некомат? — сказал Замятня, обращаясь к старику в синем кафтане.

Некомат поднял голову.

«Слушай, Замятня,— сказал он, дрожа от досады,— язык твой не доведет тебя до добра! К чему ты приплетаешь речь о князьях и боярах? Нынче и стены слышат, а не только что площадь, где народу так же просторно, как немецкой рыбе аселедцам в бочонке».

— Я ведь не порицаю никого, да что поговорю, так и только того! Вот иной и не говорит, да еще каждый раз приговаривает к имени своего князя: *Багюшка наш, милостивый князь*, а как придет к разделке, так в милостивого князя первым камнем бросает. Бывалое ведь дело — рассказывают...

«Не всякому слуху верь».

— Вот и об Истоме мало ли что говорят! Сказывают, будто он и в люди пошел с тех пор, как погрелся у татарского огонька в Тохтамышеве нашествие.

«Я был на Волоке Ламском, когда вражья сила находила на Москву, а потом скрывался в Троицком монастыре. Когда же грелся я у татарского огня?»

— Ведь ты не на исповеди теперь,— сказал Замятня, смеясь,— и если и попался в табор татарский, так уж, верно, неволею, а не волею. Что же делать с татарами! Сабля вражья и прямую душу кривит. Народ поганый, народ окаянный, времена тяжелые — поневоле свихнешь либо направо, либо налево!

«Ох! тяжелые, тяжелые! — подхватил Некомат, как будто стараясь отдалить от себя неприятный разговор.— Пришествие языка чуждого от стран неведомых явное знамение пришествия кончины мира!»

— Почему же языка неведомого? Кто не знает потатарски, тому он и неведом, а кто знает, так он и ведом ему.

«Нет, друг ты мой любезный, я говорю о происхождении сынов Агариных. Кто ведает, откуда окаянный рой басурманов налетает на православную Русь?»

— Как откуда? Разве ты не слыхивал?

«Нет, слыхал и читал во «Временнике»,— отвечал Некомат,— где именно написано, что пришествие их положено при кончине мира. Мефодий Патарский пишет,

что Александр Македонский ходил из Индии богатой к полунощному лукоморью и встретил там народов поганных, не соблюдавших ни поста, ни молитвы. И он загнал их за Синие горы, загородил горами, сотворил медные врата и запаял *сунклитом*, а его и меч не берет и огонь не жжет! Много лет прошло, они стали прорубаться сквозь гору и вышли».

— Ты забыл прибавить, что они никогда не прорубились бы, если бы мы сами не помогли им. Сперва прогрызли они оконце и начали подавать оттуда золото и самоцветные камни, а в замену просили железа. Что же? Христиане стали к ним железо возами привозить и подавать в оконце, так что лет через тысячу сквозь оконце прошли их тысячи и пришли отбирать свое золото тем железом, которое от христиан выменяли.

Некомат увидел, что его поймали на его исторических знаниях. Он замолчал, а Замятня продолжал говорить:

— То-то, дружище, если бы в христианском мире побольше правды было, так и дело шло бы иначе. Все мы хнычем да головой качаем, а что руки наши нечисты да сердца наши омрачены, о том не подумаем. Вот уже двести лет с лишком, как мы кряхтим под татарскою плетью и ждем преставления света, а приготовились ли мы к тому? Грех сказать земле русской, что Господь не дает ей владык добрых, да народ-то живет со грехом пополам, так добрые князья, что семя на камне — процветет и погибнет!

«Правда твоя, — отвечал Истома, отдохнувши после слов Замятни. — Вот и нашу мать Москву выдают со всех сторон — стоит она, как сиротина на могиле отца и матери — нет ни помощи, ни пособия от других княжеств!»

— Хороша ваша сиротина Москва! — сердито вскричал Замятня. — Придет беда, так она и поет: *помилуйте, православные*, а отхлынуло, так того за ворот берет, кто ей помог! Ты, москвич, нашего брата-нижегородца не тронь! В наши сердца глядись, словно в матушку Оку, а в вашей Неглинной и ворон не видит, что он черен. Когда покойный князь Димитрий Иванович попросил стать за святую Русь — кто отказался? А там, как стал он гнуть других, так нечего жаловаться, что выдали его Тохтамышу!

«Не нуждается Москва в вашей помощи! Только зло-то вы не делали бы да не рыли ямы, и за то бы спасибо! Когда Тохтамыш пришел к Москве и три дня стоял, сам не зная, что делать, когда была у нас потом потеха и на

самострелах, и на мечах, и наш воевода князь Остей не сдавался ни на какое льстивое слово, кто уговорил его, кто *правил* тогда на святом Евангелии, что татары не сделают зла Москве? Ваши княжичи — Василий да Симеон! На них пали кровь Москвы и пепел святых храмов ее!»

— Кто тебе сказывал? Там их вовсе не было!

«Нет! были они, и Москву они погубили! Ты ведь знаешь все дела князя Симеона, злодея, изменщика веры, холопа поганого хана, Некомат! Скажи, правду ли я говорю, что он, злодей, всему виною?»

— Почти что правду! — отвечал Некомат задумчиво, как будто нехотя и наклонив голову. Он, казалось, читал дела прошедшего в темной думе своей.

«Старик, старик! — отвечал Замятня с выражением упрека, — ты в гроб глядишь, а не щадишь своей совести! Симеон изменил Руси? Симеон продал свою веру и разорил Москву? Не в оковах ли приведен он был туда? Не поклялся ли ему Тохтамыш своим проклятым Махметом, что он не тронет в Москве ни синя-пороха? И когда безбожный хан нарушил свою клятву, когда москвитяне безумно поверили басурману — Симеона обвиняешь ты во всей беде, во всем невзгодье!»

Некомат покачал головою, встал с своего стула и тихо начал говорить, поднявши глаза к небу: «Сердца людские грудью закрыты, и кто же узнает тайные помышления их? Но последствия всегда оправдывают праведного и накажут грешника. Если бы Симеон был муж праведен, то, по глаголу, должно бы ему быть счастливым и благоденственным, и роду его величиться. Писано бо есть, что *память праведного с похвалами, и род его яко древо насаждено при исходящи вод*. Где же Симеон? Погиб! Где род его? В тюрьме! Князь наш Борис Константинович княжит благоденственно над Нижним и смиряет злобу кротостью. Он праведен, а Симеон злый зле погиб!»

— И отец его был такой же вероломный и пагубный! — прибавил Истома хриплым голосом.

«Пощадите хоть кости-то доброго князя, вы, Некомат и Истома, вы, кому счастливый кажется праведником, а несчастливый грешником! Нет! Я ел хлеб князя Дмитрия Константиновича и не поущу злому слову пасть на память его! Вспомни ты, горделивый москвич, не он ли получил от хана Агиса грамоту на Московское княжество и отказался от Московского престола, довольный Суздальским уделом? Не он ли потерял любимого сына, ког-

да козни Москвы навели на него злого Арапшу? Не его ли дочь, благочестивая Евдокия, была супругою вашего Дмитрия и матерью юного князя Московского, которому ты восписываешь такие хвалы и похвалы? Не сам ли Дмитрий возвел Симеона на престол Нижегородский? А теперь,— продолжал Замятня, понизив голос,— теперь, когда князь Борис выкланял себе Нижний, обнадеев хана большею податью, вы славите его величие, а Симеон у вас злодей и отступник...»

— Да что судить нам о делах княжеских,— отвечал Некомат,— судит им Бог! Мир явно клонится к гибели и злу — брат восстает на брата, отец на сына. Горе идущему, горе и ведущему! Немцы, которые селятся теперь в Москве и Нижнем, до добра не доведут. Слышал ли ты, что какой-то немец вывез в Москву бесову потеху — стреляет живым огнем!

«О, да какая ж была страсть Божья! — подхватил Истома.— Как выстрелили в первый раз из той адовой потехи, так души у всех замерли — огонь и гром, дым и смрад пошли из ее жерела, словно свету преставленья! Ох! да что уж нынче — и мертвым костям покоя не стало! Затеял какой-то немец копать у нас на Москве ров кругом города — и гробы разметали, и косточки родительские повыкидывали... Прости, Господи, наше согрешенье!»

Тут шум и крик народа прервали беседу. Все оборотились ко дворцу, увидели, что князь Борис выезжает из ворот дворцовых, окруженный своими сановниками и боярами. Золото блистало на сбруях коней и одежде князя и свиты его. Некомат и Истома втеснились в толпу, спешившую на встречу князя.

«Вот заступники твои, Симеон,— проговорил тихо Замятня, смотря вслед за Некоматом,— вот люди, которых осыпал ты благодеяниями, которым благодетельствовал отец твой! Первый рубль подкупает их, и первая полтина перевешивает все добро...»

— А Замятня забыл, что на площадях не говорят того, что думают,— сказал кто-то. Замятня оборотился и увидел человека с длинною бородою, в худом нищенском кафтане.

«Эх, товарищ! Плох стал народ!»— отвечал Замятня вполголоса.

— Когда же он был лучше?

«Нет ни совести, ни правды!»

— Правды искать у торгаша Истома! Кто ищет клада на кладбище, приятель?

«А Некомат, человек, которому благодетельствовал князь наш, послушал бы ты, что говорил он о нем и о роде его!»

— Что говорить ему! Язык его, как добрый жернов, вертится, куда повернут его на вороту, а ворот его серебро да золото!

Они пошли к церкви и тихо разговаривали дорогою.

«Наболтали мне они и Бог знает чего,— сказал Замятня,— а одно залегло у меня в сердце... Послушай: откроешь ли ты мне всю свою душу?»

— Для тебя ничего нет скрытого — спрашивай!

«Правду ль говорил мне Истома, будто Симеон изменил вере отцов своих и отступился от христианского закона? Уверен в нем, но человек в невзгоде так хил, так плох... С чего бы взять ему, окаянному!»

— Нет! он клеветает — он лжет! Симеон не изменил ни слову своему, ни вере своей! Храбр, как меч, тверд, как адамант-камень.

«Но горяч, как раскаленное железо, а мир, с своей славой и почестями, так светится, как звезда полуночная, стол княжеский так спит глаза...»

— Нет! говорю тебе! Горяч, но добро дороже ему золота и имя честное лучше стола княжеского — он не изменит кресту и вечному блаженству на временные блага!

«Слава Богу! Ты успокоил меня. Царство темное! ты не поработило доньше ни одной души княжеской!»

— Но послушай, Замятня: ты сам не стоишь доброго слова. Дурак в тебе все высмотрит, как в стеклянной чарке, и болтун собьет тебя с толку! Будь осторожнее, будь умнее! Эй! береги слова!

«Бог видит душу мою, как я стою за правое дело, да язык мой злодей мой... А уж ИстOME окаянному напишу я на иссохшей его рожe правду...»

— Тише, тише... отойди от меня.

Князь Борис ехал мимо них. Все сняли шапки. Говор в народе уподоблялся жужжанью пчел. «Какой он дородный! — говорил народ, — то-то настоящий князь, то-то добрый князь Нижнего!»

— Помнишь ли ты, — шепнул опять нищий Замятне, — помнишь ли, когда Димитрий Иоаннович так же ехал здесь с князем Симеоном? Не тот ли самый народ смотрел на Димитрия, как на орла быстропарного, а на Симеона, как на сокола золотокрылого, и не мог нарадоваться красоте двух братьев? А теперь что Симеон!

«Что Симеон? Посмотри, как красуется князь Борис на своем вороном коне, а взглядишь-ко лучше, ведь коня-то этого подарил тогда князь Димитрий Симеону!»

— А кожух на боярине Румянце подарен был ему за верную службу его Симеоном!

«Это что за толстяк едет подле князя?» — спросил, смеясь, Замятня.

— Неужели не знаешь? Белевут, боярин московский. Он давно приехал сюда с уверением в дружбе от князя Московского. Вот и другой московский боярин, Александр Поле. Он живет здесь уже месяца три.

«А зачем?»

— Как зачем? Уверяет в дружбе.

«Разве князь Борис сомневается?»

— Бог весть! Видно, что у кого болит, тот о том и говорит. Да что там за толпа такая народа остановила коня княжеского? Смотри — падают на колени! Пойдем ближе.

Замятня и нищий протеснились сквозь народ и стали подле свиты князя. Князь Борис остановил коня. Первый боярин его, Румянец, подскочил к небольшой толпе народа, стоявшей на коленях, и поспешно спросил: «Что им надобно?»

— Мы не к тебе, боярин Румянец, а к князю Борису Константиновичу, — отвечал седой старик.

«Все равно — говорите мне!» — поспешно вскричал Румянец.

— Между князем и его народом, когда мы стоим пред лицом его, не надобно посредника, как между Богом и человеком нет посредника в молитве!

Румянец покраснел от гнева и грозно закричал им: «Прочь с дороги!»

Князь Борис, безмолвно смотревший на действия Румянца, тихо промолвил ему: «Что тут за люди, боярин?»

— Князь великий! — отвечал Румянец, преклонив голову в знак покорности, — это бродяги вятчане. Они пришли сюда собирать милостыню и рассказывать сказки.

«Нет, князь Нижегородский, — отвечали несколько голосов, — мы не нищие и не милостыни просим, но княжеской милости!»

— Помилуй, государи! — воскликнул старший из вятчан, — будь нашим спасителем — смилуйся над нами!

«Но зачем же вы здесь встречаете меня? Зачем не пришли в мой дворец?»

— Высоко крыльцо твоего княжеского дворца, и бояре твои стоят настороже. Боярин Румянец уже третий день гонит нас от твоего двора.

«Боярин! что такое они говорят?» — небрежно спросил князь у Румянца.

— Все последние дни ты был занят важными делами, и то ли время — слушать их жалобы! Они то и дело *рагозятся!*

«Всегда время князю пособить своим подданным и везде место спасти! — сказал старший вятчанин. — Государь князь великий! помилуй!»

— Ну, да теперь уж не время и здесь не место суда — после, — сказал князь и хотел ехать. — Допустите их ко мне, — примолвил князь, обращаясь к вельможам, за ним ехавшим.

«Нет, князь, мы не сойдем с места. Спаси и помилуй! Жены, дети наши гибнут — защити и спаси нас!»

Князь помолчал с минуту. Глубокое молчание было вокруг него.

— Говорите: чего хотите вы от меня? — сказал он, нахмутив брови.

Все вятчане поднялись на ноги. Старший из них подступил ближе и начал говорить:

«Ведомо тебе, государь, что жили мы в Вятке нашей тихо и мирно. Но теперь прошло прежнее время. С тех пор, как на Волге появились суда татарские, не стало нам покоя. Уже несколько раз приближались татары к пределам хлыновским. Мы откупались деньгами, отражали силою, а теперь нет нам спасения! Хан Тохтамыш грозит нам огнем и мечом. Его воинство уже давно собирается на Волге и готовит суда. Мурза Беркут идет повоевать Вятку. Государь! спаси нас!»

— Я не могу ни спасти, ни оборонять вас, — отвечал князь, — вы не мои!

«Мы люди и христиане! Мы отдадим тебе Вятку со всеми городами — пошли защитит нас!»

— Не могу защитит вас и не стану ссориться с ханом, моим владыкою! Он решает судьбу вашу, и да будет вам, что он судил!

— Они сами разгневали великого хана, — закричал Румянец, — сами грабили его суда, убивали посланцев, крамольничали, ссорились, не платили дани!

«Платили, боярин, платили, но нет у нас более, чем платить. Князь и бояре! перемените гнев на милость! Куда нам деваться, если вы откажете? Кровь христианская не даст покоя вашей совести!»

— Старик! Не тебе учить меня — иди с Богом! Я не могу пособить вам!

«Заклинаю тебя святым храмом Божиим, куда едешь ты, князь Нижегородский! Нам остается броситься в воду, погубить души свои! Бог велит русским князьям защищать родные области и взыщет на тебе попущение!»

— Видишь ли, государь, — сказал Румянец, — буйство лапотников? Так-то они поговаривают всегда!

«Кровь наша говорит, боярин! Князь! если ты отринешь нас, тебя отринет Бог от престола своего! Спаси христиан!»

— Замолчи, старый буян! — вскричал князь и повернул коня в сторону.

«Итак, нет нам надежды ни от Нижнего Новгорода, ни от Великого Новгорода — один отталкивает и другой не принимает! Князь! предшественники твои не оставляли нас. Князь Симеон и князь Василий ходили помогать нам — не заставь нас пожалеть, что венец Симеона возложен на твою голову!»

— Выгоните их из Нижнего! — вскричал князь. — Они буяны, нахалы, крамольники — не повинуются власти хана! — И гневно он удалился.

Горестно заплакали вятчане, когда воины оттолкали их с дороги. Блестящий поезд князя с презрением проехал мимо, и народ хладнокровно смотрел на людей, отверженных князем.

Солнце закатилось. Алая заря горела еще на дальних облаках, и струи Волги тихо плескали в берег, когда нищий, говоривший с Замятнею, шел с площади, откуда в разные стороны расходился народ. День был воскресный. Подле ворот почти каждого дома сидели беседы женщин и девушек, пели песни и играли. Молодые мужчины, в праздничных кафтанах, ходили по улицам и кланялись красным девицам. Нищий шел тихо и медленно. Он поравнялся с забором одного дома и, не доходя до ворот его, остановился. На лавочке у ворот дома сидела молодая девушка, в богатой повязке, с которой множество алых лент падало на спину, и жемчужные подвески спускались почти на полвершка на лицо. Нищий задумчиво смотрел на нее. Тяжелый вздох вылетел из его груди. Он был неподвижен и не заметил, заглядевшись, когда подошел к нему Некомат.

«Куда бредешь ты, Божий человек?» — спросил Некомат ласково, останавливаясь подле нищего.

— Куда ноги несут, — отвечал нищий.

«Я выдаю тебя часто, — сказал Некомат, — и часто смотрю, как бродишь ты мимо дома. Для чего не зайти тебе ко мне и не попросить честной милостыни? Рука Некомата всегда отверзта на благодатьню».

— Бедность робка, господин, и боится помешать тебе считать твое золото. Спасибо за приветное слово!

«От слов сыт не будешь — пойдем ко мне — я велю накормить тебя и дам на дорогу хлебца и деньжонок».

— Доволен Божьею милостию и не требую от людей. — Нищий побрел вперед. Некомат не отставал от него.

«Ты полоумный человек или юродивый, когда от милостыни отказываешься. Кажется, сегодня похорон богатых нигде не было и напиться было негде. Князь и бояре его не щедры».

— Щедра рука каждого дающего, а всякое даяние приемлю я во благо.

Некомат и нищий поравнялись с воротами дома, подле которых сидела девушка. Некомат остановился и сказал ласково: «Это ведь мой дом — зайди ко мне и отдохни!»

— Я не знаю, гость Некомат, что ты так ласково говоришь со мною?

«Не знаю отчего благообразное лицо твое мне нравится. Ты, я чай, не моложе меня. Молитва бедного лучше жемчуга перекатого — зайди ко мне и помолись моим иконам».

— Подай мне милостыню, гость Некомат, и все равно — я подарю тебя благословением и на улице!

«Не мечи бисера — размечешься, и не все говори на улице, что можешь сказать в светлице. Мне есть нужда поговорить с тобою».

— О чем же тебе говорить с нищим? Я ничего такого не знаю...

«А я кое-что знаю. *Высоко сокол летает, себе цаплю выбирает*».

Невольно вздрогнул нищий.

— Пойдем, гость Некомат, если ты требуешь. От хлеба-соли не отказываются!

Они пошли в дом. Девушка, дочь Некомата, ушла в дом, увидя отца. В темноте взобрались Некомат и нищий на высокое крыльцо, в сени и комнату. Лампадка теплилась пред иконами в углу. Хозяин и гость его помолились и перекланялись. Некомат повесил на крючок свою шапку. Между тем приказчик Некомата, высокий, худоща-

вый мужчина, вошел со свечою, поклонился, поставил свечу на стол и удалился опять с поклоном. Нищий стоял у дверей. Прошло с минуту, пока Некомат молчал. Наконец он поднял руки над головою и громко сказал: «Буди благословен тот день, когда я увидел опять сына души моей! Боярин Димитрий! — воскликнул он, — ты ли скрываешься от меня?»

Нищий молчал и стоял неподвижно.

«Боярин Димитрий! — продолжал Некомат, — ты не хочешь сказать мне ни одного слова?»

Тут нищий ступил вперед два шага, распрямился, переменил голос и мужественно и твердо отвечал Некомату:

— Если ты узнал меня, не буду скрываться, да и к чему скрываться мне? Если ты хочешь выдать меня князю Борису — выдавай, но прежде умру я, а не скажу ни тебе, ни ему ни одного слова!

Слезы потекли из глаз Некомата. Он закрыл глаза рукою и дрожащим голосом сказал Димитрию:

«Неужели я не доказал тебе прежде, боярин, как любил я тебя и доброго князя нашего Симеона? Не ты ли просил у меня благословения на брак с моей дочерью? Не я ли прежде обнимал тебя, как сына? Что ты не отстал от нашего князя, что прошло года два, как мы не виделись с тобой — так я и забуду тебя?»

— Полно, Некомат, — отвечал Димитрий, — я не шутить пришел к тебе, и меня не обольстишь сказками. Душа твоя по золоту ходит: было счастье, и ты был друг мне; прошло оно, и ты друг Румянца и князя Бориса.

«Не думал я на старости лет услышать от тебя такое горькое слово! Где же и когда я сотворил зло тебе и твоему князю? Если я не говорю вслух, как Замятня вздорливый, что князь Борис несправедно сел на столе Нижегородском, если я не кричу, что он безбожно отнял Суздальское княжество у своих племянников — боярин Димитрий! я отец: много гниет в тайниках молодцов за то, что громко поговаривали! Подумай — я узнал тебя: не в моей ли было воле указать на тебя князю и сказать: «Вот любимый боярин Симеона — возьми его, князь!»

— Некомат! я не могу оскорбить тебя укором за прежнюю жизнь. Ты всегда был сребролюбив, но никогда не слыхал я, что злое дело легло на твою душу.

«И теперь чиста она, и теперь я вижу в тебе моего друга и сына! — Он обнял Димитрия и крепко прижал к груди своей. — Узнай меня лучше, взглядишь в меня пристальнее».

Димитрий молчал.

— Соглашаюсь, что ты помнишь еще благодетеля Симеона, — сказал он, — но чего же ты от меня хочешь?

«А! ты открыл наконец неприступную душу твою! Теперь узнаешь, чего хочу я, теперь возвеселится душа моя! — Он потянул веревочку, привязанную к надворному колокольчику. Явился приказчик его. — Поди и позови гостей моих, — сказал ему Некомат, — а ты, Димитрий, пойдем со мною».

Не отвечая ни слова, Димитрий пошел за ним в сени и на лестницу. Некомат отворил дверь. Они вошли в девичий терем. Здесь сидела подле окна дочь Некомата с своею нянею. Она встала и почтительно поклонилась отцу и гостю.

«Няня! Поди и принеси нам хорошего меду! — сказал Некомат. — Хочу выпить с нищим братом моим из любимой золотой чары. Тебе не впервые угощать у меня нищую братию!»

Няня вышла. Несколько минут все молчали. Некомат как будто ожидал, пока няня сойдет с терема.

«Дочь моя ненаглядная! — сказал тогда Некомат, — помнишь ли ты жениха своего?»

Девушка вздохнула и не знала, что сказать.

— Ах, батюшка... — прошептала она, запинаясь.

«Жениха твоего, боярина Димитрия? Отвечай мне, Ксения!»

Слезы навернулись на глазах Ксении и покатались по лицу ее. Кисейным рукавом своим отерла она их и промолвила:

— Батюшка! все забыто, кажется — все... и давно...

«Нет! Я не забыл...»

— И где теперь мой жених! В какой стороне скитается он...

«Он здесь, Ксения! Посмотри — вот он, твой суженый!»

— Ах! — вскричала Ксения, и ноги ее подломились — она, как полотно, побледнела.

«Боярин Димитрий! Разве ты не хочешь открыть ей своей тайны? Видишь ли теперь, что я не изменник, что я не зла желал тебе, что родное дитя мое я не отнимаю у тебя, не отнимаю того, что мне всего дороже...»

— Некомат! — вскричал Димитрий, — вижу все и обнимаю тебя, как друга и отца! Ксения! Димитрий опять с тобою!

Ксения плакала навзрыд.

— Я не понимаю тебя, Некомат, — сказал печально Димитрий, — не понимаю, что ты делаешь со мною и че-

го ты хочешь, обновляя то, что я хотел, что я старался забыть!

Некомат улыбнулся: «Поцелуй свою невесту, свою суженую, а потом я расскажу тебе все. Некомат, поверь, не дремал в то время, когда не спала злоба врагов Симеона».

Димитрий обнял трепещущую Ксению и напечатлел поцелуй на губах ее.

— Ты не узнала меня? — спрашивал он. — Ты видела меня в наряде боярина а теперь я нищий — поддельная борода и рубища представляют тебе старика дряхлого. Не кручинься, душа моя, — узнай меня опять!

«Сердце мое не забывало тебя!» — шептала ему Ксения.

— Но вот идет няня! — сказал торопливо Некомат, — она не ведает нашей тайны. Пойдем, Димитрий, пойдем! — Он вырвал руку его из рук дочери и повлек его за собою.

Они опять сошли в Некоматову светлицу. Как изумился Димитрий, увидя накрытый стол, блиставший серебряною посудой, и, когда два человека, сидевшие на передней лавке, встали, узнавши в них Александра Поле и Белевута, бояр московских.

Дружески подошли к нему бояре и приветствовали его ласково.

— Добро пожаловать, боярин Димитрий! — говорил Поле, обнимая Димитрия. — Юный годами, ты равен мне саном и подвигами! Мы не видались с тобою с самой Куликовской битвы. Тогда еще я заметил тебя в рядах воинов суздальских. Вот как теперь ты закутался, что тебя и не узнаешь! Да все равно: боярская кровь течет и под рубищем.

Димитрий не понимал, что значит все им виденное и слышанное. Он пробормотал несколько слов и остановился.

«Чара меду развяжет уста его, — сказал Некомат и налил четыре огромные стопы из оловянного жбана. — Да здравствует князь Василий Димитриевич Московский, племянник и друг князя Симеона!» — воскликнул Некомат.

— Да здравствует! — повторили московские бояре. Димитрий взял стопу; все разом чокнулись, и разом все стопы были осушены.

«Куда он запропастился? Где девался? Вот уж загорается заря на востоке — не сделалось ли с ним беды какой? Избави нас, Господи!» — так говорил сам с собою человек, бродивший по берегу Волги и беспокойно глядевший во все стороны.

Вдруг вдалеке показался другой человек и шел прямо к тому месту, где бродил нетерпеливо ожидавший. Тот остановился, огляделся пристально и, видя, что идут прямо на него, запел вполголоса: *Высоко сокол летает*. Подходивший повторил также: *Себе цаплю выбирает*.

«Ты ли, Димитрий?» — спросил первый.

— Я, — отвечал подходивший. — Ты давно ждешь меня, Замятня?

«Давно! Хорош молодец! Спрашивает, как будто и не знает, что я с полуночи торчу здесь, словно грань поверстная, а теперь скоро светать начнет!»

— Терпи, товарищ! — сказал Димитрий, крепко ударив его в руку, — терпи — скоро и на нашей улице праздник будет!

«Да ты и то как будто с праздника! Некстати, брат, затеял ты веселиться, куда нестати!»

— Не ври, Замятня, пустая башка! У тебя сквозь голову слова летят, ума не спросившись.

«Димитрий! Что тебе вздумалось?»

— Слушай, Замятня! Ты добрый человек, но точно колокол! Стоит раскатать язык твой, и ты зазвонишь на весь мир. Знаешь ли ты, до чего было доводил ты всех нас? До плахи, безумный болтун!

Замятня содрогнулся.

— Да, Некомат знал уже, что ты собираешь верных слуг Симеона, знал, где скрытно хранится у вас оружие и где вы собираетесь. Третий день, как я в Нижнем, а вчера Некомат уже заметил меня — и все по твоей милости!

«Провались я сквозь землю, если сказал хоть слово...»

— И полуслова довольно для такой хитрой головы, какова Некоматова. Ты кричал везде и всегда, пел даже песню нашу при Некомате, и он все разведдал, все узнал...

«Ах! сгинь он, окаянный! Да я ему сегодня же шею сверну — вот и концы в воду».

— Молчи и слушай. Ты знаешь, что Некомат был одним из любимых слуг князя Димитрия Константиновича — Симеон вырос при нем, и в былое время, когда глазки его Ксении зажги мое ретивое, дело у нас было слажено. Но князь Борис завладел Нижним, Симеон бежал, и я следовал за князем. У Некомата сердце заперто

в золотом сундуке его, но я прощаю ему, что он не расстался с Нижним и с сундуком своим. Он наш...

«О! если бы слова твои были правда!»

— Слушай далее. Князь Московский послушался благого совета своей матери. Он теперь в Орде, и когда, поехавши туда, подле Симонова монастыря взглянул он в последний раз на Москву и на расставаньи горько заплакал, княгиня Евдокия Дмитриевна молвила ему золотое слово: «Сын милый! не обижай дядьев, не тронь Нижнего! Москвы довольно тебе и детям твоим — так и отец твой думал!» Князь умилился и дал ей слово передать Нижний Симеону, Суздаль — Василию, а Бориса пересадить в Городец по-старому, когда бог принесет его подобию-поздорову из Орды. Тогда приехал в Нижний московский боярин Поле...

«Но ведь он приехал к Борису?»

— Что станешь делать, когда в нынешнем свете и правду делать можно только через неправду — таков обычай повелся! Боярин Поле бражничал с Борисом и разведывал о доброхотах Симеона. Наших товарищей никто не знал, но Некомат перемолвился с Полем, догадался, а теперь они поладили, и за веселой беседой втроем мы все кончили!

«Кончили? Чем?»

— Быть Симеону князем Нижегородским, под рукой племянника своего князя Московского, по благословению сестры его княгини Евдокии. Князю Василию отдать Суздаль, а князь Борис добро пожаловать по-старому в Городец! Завтра либо послезавтра явятся сюда послы татарские и московские. Христианской крови лить не будем. Придем к князю Борису и ласково скажем ему: «Не на своем столе сел, князь Городецкий...»

«И тогда-то запируем, товарищ! Вместе горе, вместе радость! Да здравствует Симеон!»

— Тише, тише! Вон народ уж зашевелился. Ползут на белый свет суеты и заботы — пойдем скорее...

Они замолчали и спешили идти. Но, поравнявшись с домом Некомата, Дмитрий остановился, посмотрел несколько мгновений на терема его и узорчатые кровли и невольно промолвил:

— Свет мой, невеста нареченная! почивай с Богом, да просыпайся на радость! Взойдет и для нас красное солнышко!..

Когда от избытка радости говорил Дмитрий, ворон сел на кровлю Некоматова дома. В тишине утра злове-

щий голос его раздавался, как вестник горя и несчастья, и собака жалобно завывала на ближнем дворе. Димитрий содрогнулся — сердце у него замерло...

Солнце только что осветило Нижний Новгород и яркими лучами заиграло в струях Волги, как в ворота Некоматова дома застучали железным кольцом. Глухой стук в медную бляху раздался на улице, и через минуту полусонный дворник Некомата окликнулся, не отворяя ворот: «Кто там?»

— Добрые люди! — отвечал человек, стучавший в ворота и пожимавшийся от утреннего холода. — Отворяй!

«Да кого тебе надобно?» — спросил опять дворник, унимая двух огромных собак, громко лаявших на дворе.

— Самого хозяина твоего, старый хрыч! Отвори скорее — разве ты меня не знаешь?

Ворча про себя, дворник отпер огромный висячий замок, отворил немного ворота, высунул голову и увидел человека в беличем тулупе, огромного и толстого. Он хотел повторить свои вопросы, но, видно, гость не был расположен отвечать ему. Он грубо оттолкнул старика и вошел во двор. Собаки бросились на него.

— Уйми их, старый! — вскричал незнакомец.

«Сам уйми, московский барин!» — отвечал дворник сдерито.

На лай и шум отдернулось волоковое окошко и показалась голова Некомата.

«Кто тут шумит?» — вскричал Некомат, но, увидев незнакомца, он переменил голос и ласково прибавил: «А! добро пожаловать, ранний гостенек, добро пожаловать!»

— Вели проводить меня, Некомат! Дворник твой с товарищами загрызли меня.

«Тотчас, тотчас!» — Волоковое окошко задернулось, и через минуту Некомат, в засаленном полукафтаны и с огромною связкою ключей у пояса, явился на крыльце. Гость вошел к нему. «Милости просим, боярин Белевут!» — говорил ему Некомат, растворяя дверь светлицы.

— Крепко ты живешь, гость Некомат. Видно, что деньги бережешь.

«И, боярин! Какие у нашего брата, бедного торгаша, деньги! Уж так у нас заведено. Ведь мы не вам под стать и полоротыми ворот никогда не оставляем. Есть и недобрый народ — как не бояться...»

— А особливо, когда вот такое добро в доме! — сказал Белевут, усмехаясь и указывая на множество соборлей и лисиц, раскладенных по лавкам, и на большую, окованную железом шкатулку, стоявшую на столе.

Некомат с трудом поднял шкатулку со стола и поставил под лавку: «Извини, боярин, что прибраться не успел. Так, вздумалось было поразобрать товар — вчера купил. И кто ж думал, что так рано пожалует ко мне такой дорогой гость? Не знал я, что ты встаешь с петухами. Наши бояре долее залеживаются на своих пуховиках».

-- Нет! этого я не скажу: у вашего князя уж давно хлопают бичами и трубят в рога на Соколином дворе. Он тоже, видно, следует Мономахову наставлению: вставать рано и день начинать с солнцем.

«Что и говорить, боярин! На охоту у нас рано встают, а дела так просыпают!»

— Да и Нижний-то едва ли не проспали!

«Кажись, так», — отвечал Некомат, сомнительно взглянув на Белевута.

— Сказано — сделано, гость Некомат! Ведь мы обо всем переговорили, и я тебя еще вчера поздравил с дорогим зятем. Боярин Димитрий молодец хоть куда, — прибавил он, перебирая рукою рыжую бороду свою и усмехаясь.

«Добрый молодец, боярин», — отвечал Некомат, в недоумении глядя на Белевута.

— Ну, и не бедный, прибавь к тому!

«Княжескою милостью, боярин, а с нею и богатство будет».

— Ведь он старого рода, так как не быть у него и старинке отцовской!

«Какая же старинка, боярин, когда ему теперь головы негде преклонить! Да и отец его была такая беспутница и бестолковица! Бывало, обеими руками сорит деньги, дает встречному и поперечному, а кроме того, пиры да гульба, бражничанье да беседы! Дом у него был как полная чаша — и теперь еще есть остатки, правда, да не в руках. Но если по милости вас, бояр, и князя вашего Василия Димитриевича Симеон будет князем Нижегородским, так Димитрий с лихвой получит все, чего из добра его завладел Румянец с братией, и дочери моей, конечно, не придется самой варить щи».

— Но за такого честного боярина можно отдать дочку, когда и денег лишних у него не было бы...

«Оно так, да чем жить-то им будет, боярин? И курица пьет, а человек кровь и плоть — ест и пьет!»

— Что ты говоришь, Некомат! Честь чего-нибудь стоит!

«Честь не в честь, когда нечего есть, боярин. Правда, нашему брату посадскому с боярином породниться почесть немалая, но все деньги притом не лишнее».

— Полно притворяться, гость Некомат. На твою долю станет, и зятю дать еще останется. Будто в Нижнем и не знают, что у кого есть... Земля говорит!..

«Хоть и праведно нажитым, а хвалиться не буду, но Господь помог мне скопить кое-что, чем под старость дней моих могу пропитаться».

— Видишь, в нынешнее время, Некомат, на том все вертится: и чин да почесть не столь надежны нынче, как ларец кованый, где боярство и княжество твои лежат спокойно и звенят, когда велишь им звенеть. Было бы на что купить, а то — что нынче не продается!

Некомат слушал в изумлении; губы его дрожали; слова замирали на его устах. Он хотел, казалось, угадать, что такое скрывал Белевут под своими обиняками, но толстое лицо Белевута было неподвижно. Играя концами своего узорочного кушака, он продолжал:

— Чего ты испугался, Некомат? Я взаймы у тебя просить не стану. Мне хотелось только сказать тебе, что я смотрю на все не такими глазами, какими, кажется, ты смотришь. Вы все глядите на Нижний свой, а что бы вам не поглядеть через него далее — ну, хоть и в Москву...

«Как нам забывать Москву, боярин! От нее и смерть, и живот. От вашего князя ждем мы теперь милости».

— От вашего! Говори вернее — от *нашего*.

«Как, боярин?»

— Так, гость Некомат. Ужели тебе такая мысль в голову не приходила? Когда рука Московского князя может посадить и ссадить князя Нижегородского, тут много ли думать надобно?

«Боярин! что ты хочешь сказать? Вчера ты говорил, что князь Московский готов помогать нашему, показывал грамоту его...»

Белевут встал и начал ходить по светлице. Он, казалось, искал слов, не зная, как приступить к тому, что хотел сказать.

— Видишь что,— промолвил он наконец,— милости нашего князя неистощимы. Он щедр для тех, кто ему послушен, и грозен тем, кто его ослушается. В Москве и безопаснее, и привольнее жить. Кто поручится, что будет

вперед... Ну, да я почитал тебя догадливей, гость Некомат! — вскричал сердито Белевут и взялся за свою богатую шапку.

«Боярин, господин честной и почтенный! — сказал Некомат, кланяясь, — не гневайся! Ведь и мы, посадские, смекнуть умеем. Ты загнул загадку, а отгадка-то, видно, после сказана будет?»

— Умный и теперь ее угадает, гость Некомат, — отвечал Белевут, смеясь. — Не ручаюсь за вашего Симеона — ведь еще будет ли он послушен нашему князю, а не будет... так знаешь — старший брат волен меньшему и покрепче приказать — ну, а нашему брату что мешаться в княжие дела? Было бы нам тепло, а у какой печки греешься — тебе что до того? Да вот к воротам подвели моего коня. Князь Борис звал меня с собою. Некомат! понял ли ты меня! Верь дружбе Белевута и на старости не одурачь себл. И в Москве есть женихи для дочерей богатых нижегородских!

Он вынул лист бумаги, на котором написано было множество имен.

— Видишь! — сказал он Некомату, указывая на имена Димитрия, Замятни и других, подле коих поставлены были киноварью крестики. — А вот и Некоматово имя! — Он указал на замаранное черными чернилами имя его.

Некомат побледнел, когда Белевут спокойно прибавил:

— А, вот этого молодца-то я и забыл, — и ногтем провел черту подле имени брата Некоматова, Федора, горячего приверженца Симеонова.

«Господи, вразуми меня!» — шептал про себя Некомат. Тут Белевут обратился к нему, но лицо Некомата уже прояснело. Никакого недоумения не изъяснял он и ласково, почтительно пожимал толстую Белевутину руку, провожая гостя с крыльца. Белевут еще остановился на первой ступеньке, подумал, шагнул еще — и воротился.

— Некомат! — сказал он, во всем власть Божия да княжая, а дружба Белевута не изменит тебе и надежнее дружбы боярина без боярства!

Он сошел поспешно, сел на своего коня и поехал ко дворцу княжескому.

Скорыми шагами возвратился Некомат в светлицу, остановился, подумал, еще подумал и, как будто недоумевая, громко сказал сам себе: «Что же? Они думают погубить меня? Аль сберечь? Что говорил он вчера? А что теперь говорит? Боже, Господи! Милостив буди

мне, грешному!» Жадно озираясь он кругом на груды соболей и чернобурых лисиц. «Вот,—вскричал он,— к чему и стяжание! Пособит ли оно тебе в час гнева Божия? Ты смотришь на свое золото и серебро, а между тем боярин какой-нибудь ставит красный крестик подле твоего имени, и дни твои изочтены суть!..» В раздумьи ходил он по светлице. «Однако ж,—вскричал он, останавливаясь,— не сули журавля в поле, а дай синицу, да в руки... Мне-то что же? Да! Безумный я был в то время, когда медом моим запивал посулы московские! Ждать бы мне, ждать, да и только — нелегкая меня дернула...» И поспешно стал Некомат складывать в сундук дорогие товары свои. Потом схватил он шкатулку и, нагибаясь под ее тяжестью, вышел в задние двери.

Между тем Белевут подъезжал ко дворцу княжескому, и из ворот дворцовых высыпало навстречу его множество сокольников и охотников, вельмож, бояр, а за всеми выехал сам князь Борис. Дорогой сокол сидел на руке его. Конь шел гордо и величаво.

«Здравия боярину московскому! — сказал Борис весело.— Насилу приехал ты, старый сокол! Пора, пора! Видишь ли, какой у меня молодец?»

Он щелкнул в нос своего сокола.

— Сокол хорош, и пора тебе пошевелиться с места, пора, князь Нижегородский! — отвечал Белевут.— Я ждал ответа боярина Румянца.

«Все готово, боярин», — сказал Румянец смеясь.

— Так поедem скорее. «Кто погуляет утром часа два, тот запасется здоровьем на два года», — говорил мне когда-то армянин-лекарь.

«Сам сухой, как спичка, так уж как не поверить ему!» — подхватил Румянец. Все засмеялись, и поезд княжеский отправился. Дорогой Белевут приблизился к Румянцу.

«Что, московский колдун? Сколдовал ли?» — спросил его Румянец тихо.

— Высылай на Коломенскую дорогу. Они близко! — отвечал Белевут.

«Так пускай же князь тешится охотой,— шепнул Румянец,— а мы потешим его поладнее!»

Он отстал от поезда княжеского в переулке, куда повернул Борис с своею свитою. Тихо простоял он там, пока все проехали, и поскакал назад. Ему попался боярин Поле.

— Что? — вскричал Поле. — Убаюкано ли твое дитя?
«Они распотешились охотою, — отвечал Румянец. —
Далеко ли ваши?»

— Не замешкают! Скачи во дворец и прибери все к
рукам, да не положи охулы на руку.

«Вот еще о чем тревога!»

Между тем князь Борис и свита его выехали из города. День был осенний, но прекрасный. Перед ними открылся вдали густой лес, через который пробита была торная дорога к заповедным болотам княжеским. Сокольники поскакали вперед — и вот длинноногая цапля поднялась над лесом, вылетела на дорогу — и княжеский сокол спущен. Он взвился стрелою, прямо к цапле, но цапля уже стерегла его, быстро перевернулась через голову, сокол промахнулся — крик, хохот и шум охотников раздался по лесу. Сокол опять взвился и камнем пустился вниз, стараясь перебить ветер у своей добычи. Увертливая цапля видела опасность, хотела спастись от своего страшного преследователя и полетела в сторону. Все поскакали туда.

Вдруг вдалеке поднялась пыль. Казалось, что множество всадников скачут во весь опор. Князь и свита не могли понять: кто смел выехать на дорогу, где запрещено было ездить, когда князь охотится?

«Чего смотрят ваши сторожевые? — закричал гневно Борис. — Смотри, что за сволочь там шевелится? Схватить их, в город, в тюрьму!»

— Князь! — отвечал один из бояр. — Сюда скачут какие-то всадники, и прямо на нас! Эй, сокольники, сюда, к князю!

В смятении столпилась вокруг князя Бориса свита его. Всадники приближались. Их было около десяти человек, с головы до ног вооруженных. Между ними отличался один одеждою и величественным ростом своим. Он скакал впереди всех.

«Господи помилуй! — вскричал князь Борис, перекрестившись. — Что такое? Ошибаюсь ли я? Симеон? Измена! Вы меня хотите ему выдать!»

— Нет, князь! — вскричали несколько голосов. Мечи были обнажены и бердыши выправлены.

«Остановитесь, остановитесь! — издали кричал воин, ехавший впереди других. — Князь Борис! Тебе кланяется твой племянник: или ты не узнаешь меня? Я — Симеон!»

— Как не узнать тебя, неожиданный гость! — вскричал Борис. — Откуда птица вылетела? Зачем залетела на святую Русь?

Симеон остановил всадников своих. Все они сделались неподвижны по слову Симеона. Он один приблизился к Борису и хотел говорить.

— Отойди прочь, изменник, отступник, — закричал гневно Борис. — Спрашиваю тебя еще раз: зачем явился ты сюда? Или, как второй Святополк, хочешь ты зарезать нового Бориса?

«Родимый дядя хорошо привечает племянника — сказал Симеон, горестно улыбаясь. — Боже, творец небесный! диво ли, что православная Русь погибает! Дядя крамольничает на племянника, племянник отнимает добро дядино — и вот как встречает родня родного через два года разлуки! Здравствуй, князь Борис Константинович! Хоть не бранись, пожалуй, когда я не начинаю брани. Прежде Симеон не дал бы тебе в том переду, но время переходчиво — что делать! Дай мне свою руку, и помиримся...»

— Мне с тобой мириться, выродок князей Суздальских! Преклони колени и жди суда дяди твоего и князя! Возьми его, дружина!

Вдруг бросились несколько человек на Симеона. Он осадил коня своего и схватился за меч рукою.

«Прочь вы, сволочь наемная, цаплины дети! — вскричал он громовым голосом. — Со мной нет золота — и кто подступит ко мне, тот переведается с железом!»

Дружина Симеонова прискакала к нему, видя его опасность. Еще раз остановил ее Симеон.

«Князь Борис! дай мне вымолвить слово. Разве я сумасшедший, что приду гнать тебя из Нижнего с десятью человеками или приду отдаться тебе руками? Удержи твою челядь и слушай!»

— Отдай оружие! — вскричал князь Борис.

«На, возьми его! — отвечал Симеон и гневно кинул к ногам его свой меч и свое копье. — Безумный князь! гибель над твоей головой, а ты скачешь по болотам за цаплями! Симеон не ходил по-твоему челобитничать о чужом наследстве у хана, а отнимал у тебя честным боем свое наследие. Я пришел к тебе мириться — мириться в час общей гибели! Не требую твоего привета и ласки — не гордись и знай: ты и я — мы погибли оба!»

— Что ты смеешь говорить мне, бродяга?

«Господи! Пошли мне духа кротости! — вскричал Симеон, сложив руки и обратив взоры к небу. — Князь Бо-

рис! хорошо — я отдаюсь тебе — вели удалиться твоей дружине, и я расскажу тебе все. Три дня без отдыха скакал я в Нижний, и уж сутки не было у меня во рту макова зерна. Не врагом пришел я к тебе и не ссориться с тобою. Ты знаешь Симеона и согласишься, что, если бы не последняя мера суда Божия на обоих нас, — ты не увидел бы здесь меня безоружного!»

— Вижу, что ты пришел с покорною головою, Симеон, — сказал Борис, успокоенный поступками Симеона. — Теперь, здравствуй!

«Здравствуй, *раб князя Московского!*» — отвечал Симеон, презрительно усмехаясь.

— Как? Ты смеешь мне сказать?..

«Поезжай скорее в свой дворец и встречай послов московских. Они теперь уж, верно, в Нижнем и привезли тебе подарки от хана».

Борис побледнел и оглянулся на своих воинов.

— Где Румянец? — вскричал он. — Где Белевут? — и затрепетал, не видя их. Общее смущение видно было на всех лицах. — Симеон! ради Бога скажи: что ты говорил мне? Какие послы? Какие подарки?

«Ох! князь Борис! И ты хочешь княжить в такое время? Он и не знает, что у него делается! Вот теперь-то спознаешь ты, кто тебе был враг настоящий и чего тебе беречься! Поедем скорее в Нижний — я все расскажу дорогою».

Он повернул коня. Безмолвно следовали за ним Борис и все охотники; с ними смешалась дружина Симеона.

— Объясни мне, князь Симеон, — сказал наконец Борис, — что такое ты говоришь?

«Легко рассказать, да каково-то будет тебе слушать: ты уже не князь Нижнего Новгорода! Ты захватил мое наследство и не умел удержать его. Мне обещал отдать его хан Тохтамыш, отдал тебе, а теперь подарил князю Московскому».

— Князю Московскому!

«Подарил, и с придачею Мещеры, Тарусы, Городца и Муромы. Хочешь ли ты ему отдать Нижний?»

— Я? Нет! Никогда!

«Давай же руку, князь Борис, — я с тобой! Подкрепи Бог твою храбрость, а не то дай мне управиться и с Москвою и с ханом!»

Борис молча подал руку. Забытое воспоминание родства как будто растрогало его сердце. Он пожал руку Симеона.

«Жива ли княгиня моя?» — спросил Симеон изменившимся голосом.

— Жива и здорова.

«А дети мои?»

— Здоровы.

«А брат Василий?»

— Также.

«Где же они? В тюрьме?» — спросил дрожащим голосом Симеон.

— Нет! — отвечал Борис, скрывая свое смущение. — Княгиня твоя и дети живут сохранно в Георгиевском тереме, а князь Василий в Городец... под стражею...

«Бог с тобой, дядя! Сколько зла сделал ты нам твоею окаянною жадностью. — Симеон утер слезу. — Но что было, то было, и кончено!» — примолвил он задумчиво.

— Князь Симеон! Я отдам тебе Городец и Суздаль.

«Спасибо! Щедро даешь, да еще дадут ли тебе самому хоть посмотреть на твой Городец!»

— Вместе души, вместе руки, — и Бог станет за правых!

«Правых, князь Борис? Ты сам себя осуждаешь! Но слышишь ли ты — что там такое делается?»

— Кажется, бьют в набат на Спасской колокольне! О Господи! защити нас!

Быстрее прежнего поскакали они в город.

«Не думал я, что так скоро отзовется здесь голос хана! — сказал Симеон. — Видно, и москвичи медлили не далее моего. Поспешим!»

Они въехали на пригорок, с которого открылся им весь Нижний Новгород. По всему заметно было, что в городе большое смятение. Уныло отдавался набат, хотя нигде не видно было пожара. Народ бегал по улицам. Воины, полуодетые, бежали из домов своих. Борис и Симеон въехали в город и смешались с толпами народа. Напрасно спрашивали они, что такое случилось — никто не знал. Все были испуганы набатом и спешили на площадь.

Там голпы народа уже сбежались со всех сторон. Воины нижегородские стояли рядами. Перед ними на коне был Румянец и что-то горячо говорил им. Увидя Бориса, он остановился в смятении...

Ни один человек в Нижнем Новгороде не оставался спокоен. Народ любит бежать на всякий шум, а теперь еще более все взволновались, видя, что в городе сдела-

лось что-то необыкновенное. Набат, войны, собранные рядами у дворца — все было непонятно нижегородцам. Говорили, что татары подступают к городу; что Симеон пришел к Нижнему с войском — кричали, спрашивали, отвечали и не знали, что такое говорят. Жены, дети стояли подле ворот домов своих и нетерпеливо преследовали встречного и поперечного вопросами: «Что там такое, родимый, сделалось?»

У Некоматова дома была толпа его челядинцев, стариков, старух, детей. Разинув рты, смотрели они на волнение, когда подскакал к ним воин на борзом коне и в светлом шеломе.

«Дома ли гость Некомат?» — вскричал он.

Изумленные зрители не знали, что сказать ему.

«Верно дома!» — сказал воин, спрыгнул с коня своего и побежал в светлицу.

— Ведь это боярин Димитрий? — говорили между собою свидетели неожиданного явления. — Откуда он взялся? Зачем он здесь?

Димитрий толкнул в двери светлицы; они были заперты. С лестницы терема тащилась старая няня Ксении.

«Где гость Некомат, старушка?» — спросил Димитрий.

— В саду, батюшка, — отвечала няня, — прикажешь позвать его?

Но Димитрий не дослушал слов старухи и бросился в сад. Там, в углу между деревьями, увидел он старика. На коленях, нагнувшись к земле, закрывал Некомат пожелтевшими листьями дерев место, где заметно взрыта была недавно земля. Голос Димитрия заставил его содрогнуться. Он оборотился, испуганный, и не знал, что сказать ему.

«Готов ли ты на дело, гость Некомат?» — вскричал Димитрий.

— Готово, сердце мое, готово! — отвечал Некомат, отталкивая ногою заступ, брошенный на землю.

«Что значат твоё смущение, твой встревоженный вид! Зачем ты здесь — в саду?»

— Я... я хотел бы знать, боярин, что за нужда тебе спрашивать? Куда ты спешишь? Зачем я тебе надобен?

«Колокол говорит тебе, Некомат, что мы начали свое дело. Вижу, что ты делал здесь: золото твое не давало тебе покоя, пока ты не схоронил его!»

— Дивлюсь, бояре, что вам все чудится у меня золото, и вы только и доспрашиваетесь его у меня!

«Некомат! не схоронил ли ты с золотом твоим усердия к правому делу? Готов ли ты?»

— Куда же боярин? На что мне быть готовым? Бога ты не боишься — среди бела дня приезжаешь ко мне... Ну, если увидят...

«Что с тобой сделалось, Некомат? Чего ты боишься? Не кончено ли все было вчера? Теперь скрываться нечего — власть князя Бориса скоро разлетится, как дым! Все готово... Поспешим на Спасскую площадь! Мои молодцы все в сборе!»

— Боярин! Зачем же я-то туда пойду! Человек я старый, не ратник, не воин... Дело, может, дойдет до мечей... Боярин Димитрий! и ты себя побереги — ради меня — ради моей Ксении — твоей Ксении...

Димитрий в изумлении смотрел на Некомата, бледного и трепещущего. Жалкая трусость видна была во всех движениях старика. Резкий звук трубы раздался вдалеке — другой звук отвечал ему с другой стороны.

«Слышит ли, Некомат? Вот съехались и удалцы мои! Они подают вестовой голос. Идешь ли ты с нами?»

— Ради Христа, боярин Димитрий! Голова моя кружится... Позволь мне молитвою участвовать в вашем деле... Благословляю тебя отцовским благословением... Береги себя, сын мой!

«Если мне судил Бог положить душу за моего князя — умру радостно... Но я точно ошибся, Некомат: ты не годишься на наше дело... Я полагал в тебе более смелости. Жди же меня, или мертвого, или... Прощай!»

Громкие клики раздались перед садом. Блестящие оружия показались вдали.

— О! ради Бога! Пойдем к ним! — вскричал Некомат. — Пойдем к ним! Тебя ищут — не приводи их сюда!

Он поспешно пошел из сада, оглядываясь во все стороны с ужасом и трепетом. На дворе Некоматовом было множество всадников. Ворота были настежь растворены, и перед ними еще более видно было пеших и конных воинов и народа с дрекольем. Только что показался Димитрий с Некоматом, как брат Некомата Федор со смехом закричал им навстречу:

«Вот они оба! Поздравляю тебя, боярин: ты умел вытащить и моего тяжелого братища! Что, Некомат, не отселся?»

— Федор! я всегда был душою за Симеона!

«Кто ж узнает вас, хитрецов! Боярин! пора, пора — мои все здесь! Только Замятня, бог весть, где девался!»

— Что вам до него — он свое дело знает!

«Коли так, то мешкать нечего — с Богом! Белевут только что проехал здесь. Он звал нас к Спасу и сам велел бить набат. Московские воины и послы уже в городе и едут прямо туда. С ними и ханский посол».

— С Богом! — Димитрий вскочил на коня. — Прощай, Некомат, — молись за нас усерднее!

«Как: молись? Разве он не с нами?»

— У него голова болит и кружится. Оставьте его.

«Нет, нет! — вскричали множество голосов, — он хитрит! Не пускать его!»

Только тогда заметил Димитрий, что многие из воинов и народа были пьяны. Он хотел защитить Некомата. Толпа зашумела — начался спор. Смело растолкал Димитрий толпу, но послушание было потеряно. Тут прискакал еще воин.

— Ребята! Товарищи! — вскричал он, — мы ошиблись: Борис не дремлет! Его дружина собралась подле княжеских теремов. Приверженцы Бориса поднялись! К делу скорее — там наших бьют!

Смятенный крик раздался в толпе:

— За Симеона! За Симеона!

Все бросились в беспорядке на улицу, но Некомата не оставили. Его ухватили за ворот.

«Спасите меня!» — кричал он дрожащим голосом.

Димитрий был уже далеко и скакал по улице в тесноте народа.

— Кричи с нами! Иди с нами! — шумели вокруг Некомата.

«Дайте мне хоть шапку взять!»

— Уйдет — не пускать! На мою — вскричал один из толпы и надвинул на него свою шапку. В отчаянии закричал Некомат громко: «Да здравствует Симеон!» — и его увлекли в толпе и смятении.

Тихо и спокойно светило солнце на суеты земные. Ни одного облачка не было на небе. Ветерок веял освежительным холодком. Неизменяема была природа — волновались только люди. Все страсти разыгрались на просторе буйного своеволия.

По условию с Белевutom, Димитрий собрал к Некоматову дому всех своих сообщников. К ним пристало множество недовольных князем Борисом и его боярами. Воины Симеона, жившие скрытно в Нижнем, все яви-

лись в условленное время. Безумцы! Они не знали, что коварство готовило только сети для их погубления!

Разнообразное скопище, предводимое Димитрием, шумно бежало к Спасской церкви, где глухим воем отзывался набат.

Димитрий был впереди всех. Но только что хотел он повернуть на площадь, как навстречу ему прибежал воин.

— Боярин! будь осторожен: дело наше худо! — вскричал он.

«Что ты говоришь?»

— Послы московские уже там. С ними посол хана, но знаешь ли, кто посол ханский? Царевич Улан!

«Избави Бог! Зачем послал Тохтамыш его, а не иного?» — И Димитрий бросился опрометью — за ним последовали другие. Толпа, где находился Некомат, отстала от них. Вот с боковой улицы бежит другая толпа и кричит громко:

«За Бориса! За князя Бориса!»

— За князя Симеона! — отвечали яростно приверженцы Димитрия.

«Прочь Симеона!»

— Прочь Бориса!

Тут в бешенстве бросились обе толпы друг на друга. Но приверженцы Бориса были сильнее. В несколько минут рассеялись заступники Симеона. Молодой боярин Бориса ринулся в самую середину скопища с мечом в руках. Некомат успел вырваться и броситься к нему.

«Ты зачем здесь, гость Некомат?» — вскричал боярин.

— Я за Бориса, кормилец, я за Бориса! — едва мог проговорить Некомат, задыхаясь.

«Добрый человек, но как же попался ты к ним?»

— Неволею, боярин! Меня прибили, уволокли!

«Я твой защитник — пойдем с нами!»

И Некомат, махая чужою шапкою, пошел с боярином и его дружиной при громких кликах: *За Бориса! За Бориса!*

Так стремились со всех сторон буйные толпы народа. В смятении почти никто не знал, что делает и куда бежит. Это предвидели, этого ждали Белевут и сообщники Москвы.

Близ церкви Спаса, в тесноте народной, видны были блестящие ряды многочисленной Московской дружины. Юный князь Димитрий Александрович Всеволож предводил ими. Несколько татарских воинов и посол ханский,

царевич Улан, на вороном арабском коне, горделиво стояли там, опершись на копья. Рядом с царевичем был другой знаменитый татарин, мрачный, угрюмый и седой как лунь.

Задыхаясь от жара и усталости, подъехал к ним Белевут, слез с коня, низко преклонился пред послом хана и дружески обратился к князю Димитрию.

— Насилу дождались мы вас, князь Димитрий! — сказал он. — Мы работали здесь обеими руками, и работы было нам довольно!

«Все ли ты сладил, боярин?»

— Все, все. Вам остается только взять Нижний. Дураки думали, что и в самом деле мы хотим помогать их бродяге Симеону — они взворошились, а мы в мутной воде рыбы наловили.

«Мастер своего дела! Князь скажет тебе спасибо. Кроме Белевута, не всякий бы захотел здесь быть рыбаком».

— Ты еще молод, князь Димитрий, и не знаешь, что с твоей храбростью ничего не сделал бы ты против ретивых нижегородцев. Ловко умел я облелеять князя Бориса, нашел друзей, но этого еще было недовольно. Нижний начинен приверженцами Симеона. Бешеная храбрость его кружит головы всем, и удаль нижегородская рада была вступить за него. Да что? Были такие молодцы, что тайно скрывались здесь и крамольничали. Все высмотрено мною — замечены все их удалые головушки! Довольно было попировать с ними десятка два раз и уверить их, что князь Московский идет защитить Симеона, так они и выложили сердца на ладони. От крепкого меду их еще болит у меня голова — легко ли: недели три изо дня в день я принужден был бражничать с ними, да ведь иной раз, что называется, до положенья риз! Зато они вереничкой придут сюда, и мы возьмем их руками.

«Что же делать с ними?»

— А что Бог даст! В Волгу — так в Волгу, а нет — так в Москву их или передать татарам, а лишнее у них обобрать!

Князь Димитрий с презрением отвернулся от него. Белевут горделиво взглянул на Димитрия и проворчал сквозь зубы: «Молодой зверок, а как нос задирает, да мы с тобой переведаемся в Москве!»

Тут приблизился к ним толмач и объявил, что царевич Улан требует к себе бояр московских. Они окружили

Улана, сняли шапки и слушали, что он начал говорить им. Улан требовал налицо князя Бориса:

«Вы привели меня на площадь, но я не торговать приехал к вам, а объявить, чтобы князь Нижегородский передал Московскому свое княжество. Приведите его ко мне!»

— Мы ждем его сюда, знаменитый царевич! — отвечал князь Димитрий.

«Да я не хочу ждать! Подите и скажите ему, что непослушание его будет наказано. Посол могущего хана, повелителя Русской земли, не повторяет своего приказа».

Он поправил шапку и гордо подперся рукой. Седой товарищ его хранил угрюмое молчание. «Проклятые гордецы! — проворчал князь Димитрий, крепко сжимая рукоять сабли своей и отвращая гневный взор от ненавистных татар, — когда-то рассчитаемся мы с вами!»

Сюда, в сети врагов, спешили безрассудные приверженцы Симеона. Хитрая уловка московских бояр одним ударом подсекла все опоры Нижнего Новгорода. Измена Румянца и бояр Борисовых отдавала в их руки беспечного князя Бориса без боя, без сопротивления. Он не знал даже о приближении послов ханских и Московской дружины, быстро мчавшихся из Коломны, где остановился на время князь Московский Василий Дмитриевич, возвращаясь из Орды.

Там, встреченный приветствиями вельмож своих и кликами народа, пришедшего навстречу ему из Москвы и окрестных городов, он обнял радостное семейство свое и известил боярскую думу о решении хана. Изумлялись успеху предприятия, почти неожиданного. Сильное *Суздальское княжество* подпадало власти Москвы, с областями, даже и не принадлежавшими к Суздалю и Нижнему Новгороду. Думали, однако ж, что Нижний не поддается Москве без сопротивления. Многие полагали даже поход на Нижний делом необходимым. Между тем и другие известия, привезенные князем из Орды, тревожили бояр. Князь расстался с Тохтамышем на берегах Волги, где Тохтамыш ждал противника страшного и могущего, Тимур, гроза азийских царей, победитель Персии, властитель Вавилона, Бухарии и Грузии, приближался с бесчисленным войском. На Волге должна была решиться вражда, горевшая между двумя страшилищами народов. Опасение Тохтамыша за успех видели из

его ласкового приема князю Московскому, из решения, коим он отдавал Москве обширную область своего южного князя, только что за год перед тем получившего ее в обладание от самого Тохтамыша.

Кто мог узнать, чем кончится битва Тохтамыша с Тимуром? И если Богу угодно было решить участь борьбы в пользу Тимура, Русской земле, может быть, грозило нашествие страшнее Батыева. Москва могла пожалеть тогда даже о падении цепей, наложенных на нее Тохтамышем. Тимур тяготел над Русью, как тяготеет тяжелая неизвестность будущего над головою человека, испытанного прежним бедствием и окруженного угрожающими предвестиями, как гроза, чернеющая вдали на краю небосклона, страшит земледельца, у которого молния недавно попала в поле и сожгла хижину.

В таких обстоятельствах нельзя было отвести от Москвы войск, собиравшихся отовсюду. Надобно было встретить общую опасность, соединявшую всех под знамена Москвы. Опытные бояре, окружавшие юного князя Московского, не хотели соблазнять Руси междоусобием в то время, когда и небесные знамения предвещали ужасы и бедствия. Каждый вечер, каждое утро кровавая заря загоралась на небесах. Не хотели упустить случая присоединить к Москве области богатые, многолюдные, сильные, но не могли решиться на рать с Нижним Новгородом. Всего более страшил Москву Симеон, смелый, отважный сын бывшего князя Нижегородского.

Бояре помнили дела Симеона. Наследство княжества Суздальского было давним предметом споров между Димитрием Константиновичем и братом его Борисом. Димитрий, добрый, но слабый, еще при жизни своей вверил правление сыновьям. Он был в милости у хана Агиса. Когда Андрей, князь Нижегородский, скончался, Димитрий, княживший в Суздале, объявил права свои на Нижний, но Борис, брат его — князь Городецкий, захватил престол Нижегородский. Димитрий прибегнул к помощи Москвы. Увидели зрелище невиданное: из Москвы не войско явилось, не рать сильная пришла — явился смиренный пустынножитель Сергей, муж, святой еще при жизни. Он судил двух братьев и осудил Бориса. Неповиновение осужденного страшно наказано было святым человеком: Сергей затворил храмы Божии в Нижнем Новгороде и грозил проклятием. Нижегородцы со слезами молили его простить их. Борис затрепетал, уступил, и благословение пустынножителя воз-

вело Дмитрия на престол. Смерть Дмитрия через несколько лет возродила новые распри. Симеон от смертного одра отцовского послан был в Орду требовать Нижнего как своего наследия. Туда явился и Борис. Золото покорило ему сердца вельмож ханских, но Симеон не смирился, бежал из Орды в Москву, и Дмитрий Иоаннович, тогда еще княживший, подвигся на защиту племянника. Борис укрылся в Городце, наследном княжестве своем, уступил Нижний Симеону, но снова явился в Орде, полгода кланялся хану, обещал дань и покорность — и выкланял Нижний. Напрасно Симеон спешил в Орду из Москвы, где посещал вдову, сестру свою княгиню Евдокию, оплакивавшую преждевременную смерть героя Донского, — его ожидали цепи. Борис тверже прежнего сел на престол Нижегородский. Но непродолжительно было торжество вероломного хищника. Двор ханов ордынских представлял тогда позорище смятений и неустойств. Все покупалось золотом. Веры и верности не знали. По призыву хана юный князь Московский, сын и преемник Дмитрия Донского, явился в Орде. Тохтамыш, беспокоимый слухом о Тимуре, хотел уладить мир с Москвою, уже сильною среди других русских княжеств. Бояре юного князя Московского, несмотря на бедственные предвестия новых ужасов отчизны, не хотели оставить без пользы милостивого приема ханского: они просили Нижнего и Суздаля. Тохтамыш разорвал грамоту Борисову и отдал Нижний Москве. В число статей договора включен был вечный плен Симеона в Орде. Но у Симеона были друзья, и он сгиб и пропал из Орды. Мы видели, где очутился он.

Если бы московские бояре не были дальновидны и не отправили заранее в Нижний Белевута, боярина московского, хитрого и опытного в делах, покорение Нижнего было бы невозможно. Мы видели, как успел Белевут усыпить князя Бориса, умел найти изменников в окружавших его вельможах и между тем узнал тайны сообщников Симеона. Сношения Белевута с Москвою были непрерывны. И когда московские бояре думали и не знали, на что решиться, известия от Белевута показали им, что хитрость уже успела сделать, чего недоумевала их мудрость. Белевут просил только поспешнее присылать дружину и послов ханских, уверяя, что Нижний покорится. Дружина и послы отправились. Он уговорил между тем сообщников Симеона возмутиться в самый день приезда их. В смятении легко можно было справиться со всеми.

И тогда, если бы князь Борис был деятельнее, если бы Симеон успел приехать в Нижний днем ранее, — ничто не помогло бы Белевуту. Один день... Но теперь все было потеряно. Князь Борис, встревоженный волнением сообщников Симеона, не слушал никаких убеждений его. Разгневанный смятением, он укорял его в измене и велел наложить на него цепи, а Румянцу с дружиною разогнать сообщников Симеона, пока сам отправлялся принимать ханских послов на площади у Спасской церкви.

Несчастный князь! Едва явился он туда, посол ханский объявил его княжество областью Москвы и бросил перед ним грамоты Тохтамыша, коими Борис возведен был на княжество. Подле той темницы, куда по его велению повержен был Симеон, посадили и его, обремененного оковами. Бояр его развезли по разным областям московским. Буйные сообщники Симеона встречены были пищальным огнем Московской дружины. Невиданное дотоле действие губительного оружия ужаснуло их — все разбежались, и на другой день в Нижнем Новгороде все было тихо и спокойно. Три дня угощал Белевут царевича Улана и татар в княжеском дворце. Пируя, они забыли даже закон Мугаммеда, пили вино из золотых кубков княжеских и прятали их к себе за пазуху, на память угощения, как всегда велось у татарских послов. Белевут проводил их за город, низко поклонился им и поехал в Москву поздравить своего юного князя *князем Нижегородским и Суздальским*. С ним поехали избранные люди нижегородские.

Кто были сии избранные? Где были тогда Димитрий, пламенный юноша, всем жертвовавший своему князю, и Замятня, неосторожный, но верный дружбе и усердию? Где был Некомат, сребролюбивый, бездушный скряга? Что ожидало Белевута при дворе князя Московского?

Там, где вьется струистая Сетунь и где воды Раменки пробираются по каменистому дну в Москву-реку, рос в старое время густой лес. Простираясь на Воробьевы горы, в другую сторону он выходил далеко на Дорогомиловскую дорогу. По Сетуни и около нее в лесу рассеяны были хижины села Голенищева, принадлежавшего Московскому митрополиту. Среди них белелась церковь Трех Святителей. Подле нее был дом митрополита. Старец Киприан, испытанный скорбями и опытом

жизни, часто удалялся сюда, в место «безмятежно, безмолвно и спокойно от всякого смущения». Здесь иногда долго вечером светилась лампадка в его келии, и он, умерший настоящему, жил в прошедшем. Окруженный *ветшаными* книгами, он вникал в сокровенный смысл писаний святых отцов, разбирал премудрость эллинов и по следам «вещателей веков прошедших» описывал деяния князей русских, жития святых и добропобедных мучеников или прелагал эллинские книги на язык русский, который сделался ему родным в продолжение долговременного пастырства его в Москве и Киеве.

Еще не подавали огня, и вечерняя заря тускло светила в окна митрополитской кельи. Киприан сидел за большим столом. Вокруг него лежало множество пергаментных списков и бумажных свертков. Против него сидел благообразный инок. Они только что кончили чтение рукописи. Жар, оживлявший инока, еще горел в очах его, устремленных на святителя — подобно яркой лампадке, теплящейся над гробом, сияли взоры его, хотя бледное лицо показывало отречение и умертвие его всему земному. Долго и безмолвно внимал ему Киприан и потом сказал тихо:

«Благ подвиг твой, инок Димитрий, и усладительна беседа твоя! Изучая премудрость премудрых, ты не скрываешь светильника под спудом, ставишь его на свещнице, да светит всем, сущим в храмине! Ты передаешь нам вещания велемудрого Георгия Писидийского и, напутствуя души христиан к созерцанию дел Божиих, будешь благословен благодарностию соотчицей, услажденных трудом твоим!»

— Владыко! — смиренно отвечал инок, — если труд мой будет награжден хвалою мира, я отнесу хвалу сию на алтарь смирения моего пред волею Божиею, внушившей мне мысль передать на родном языке книги премудрого Георгия. Рано отрекся я от мира и ничего не требую от сильных земли. Созерцая с святым Георгием творение Бога, хваля его устами смиренными, я награжден с избытком и за бдения мои, и за труд малый, но усердный!

«Так, ты прав! Мир не для того, кто вкусил сладость беседы мудрых мужей, умерших плотию, но живых духом в творениях бессмертных — не для того он, кто познал суету и тщету мира и во прахе земли витает мыслью на небесах! Тяжка земная жизнь человеку праведному, тяжек мир человеку, бегущему суеты! Димитрий — ты блажен, что мир не преследует тебя в тихой келии тво-

ей, и суеты его не врываются к тебе сквозь монастырские затворы! Сколько раз вспоминал я о келии Хиландартской, где протекла моя юность, где молитва и труд готовили жертву Богу, еще не оскверненную суетами, и где в тишине дух мой возносился к Вездесущему или беседовал с мудрыми и святыми мужами!»

— Но, владыко, судьба вела тебя с берегов моря Эгейского быть пастырем стада великого!

«Не ропщу на волю Его и благословляю перст Божий, указавший мне путь к полунощи! Но сколько страданий претерпел я среди трудов о пастве, скольких бедствий был свидетелем, сколько раз падал я, искушаемый наваждением сует! И ныне, верь мне — только здесь нахожу я покой, только сюда удаленный внемлю я гласу души моей, как елень на источники водные, стремящейся в небесную отчизну свою! Там, в Москве, суета поедает дни мои — время бытия моего гибнет в смущении, и вечность задвигается миром малым и суетным! Блеск и почести — я бегу от них, они гонятся за мной и влекут меня с собою! Вчера, возвратясь сюда, в уединение мое, после беседы князей и бояр, где уныние и грусть о судьбе Руси терзали нас скорбью, послушай, что написал я...»

Киприан выдвинул лист бумаги из других, лежавших на столе, и прочитал: «Все человеческое множество, общее естество человека оплачем, злосчастно богатеющее. Земля — смешение наше, земля покрывает нас, и земля — восстание наше. О дивство! Все шествуем мы от тьмы во свет, от света во тьму, от чрева матери с плачем в мир, из мира сего с плачем в гроб: начало и конец жизни — плач. Сон, тень, мечтание — красота житейская! Многоплетенное житие, как цвет увядает, как тень преходит».

Когда Киприан кончил чтение и безмолвно преклонил голову в смутной думе, кто-то постучался в дверь келии и проговорил тихо: «Господи Исусе Христе, сыне Божий, помилуй нас!»

— Аминь! — отвечал Киприан. Дверь отворилась.

Князь Василий Димитриевич вошел первый, подошел к благословению митрополита и приветствовал его. Инок Димитрий робко встал, видя своего государя и повелителя. Василий, едва вступивший в юношеский возраст, был не величественного, но важного и сурового вида. Морщины уже видны были на челе его и показывали в нем ум твердый, нрав неуступчивый. Богатый бархатный *терлик* и шитый шелками *охабень* были на него надеты, и сабля его блистала дорогими камнями. За ним шел

старец, высокого роста, седой, но еще не согбенный летами: то был князь Владимир Андреевич *Храбрый*. Бояре следовали за ним. Между ними был и толстый Белевут. Инок Димитрий низко преклонился перед всеми и вышел.

Задумчиво остановился он в ближней комнате, где келейник митрополита в бездействии дремал, сидя на лавке и сложа руки. Потом вышел в обширные сени, где широкие стеклянные оконницы были растворены и крашенные скамейки показывали, что митрополит здесь сидит иногда, наслаждаясь прохладой вечера. Долго смотрел Димитрий в растворенное окно, как тени вечера ложились на окрестные леса и горы, как обширная Москва вдалеке засвечивалась огнями и как Москва-река извивалась вблизи полукружием около Воробьевых гор. Перебирая четки, повторял он: «Дивны дела твоя, Господи, яко вся премудростию сотворил еси!» Вдруг вошел келейник митрополита и сказал, что митрополит требует его к себе.

Не понимая, зачем могли призывать его в совет князей и бояр, инок шел робко. Подходя к келии митрополита, он услышал многие голоса — заметно было, что говорят с жаром. Димитрий вошел в келию. На столе горели две свечи. Князь Василий и князь Владимир сидели подле Киприана. Бояре стояли в отдалении. Разговор прекратился.

— Князья! — сказал Киприан, — инок сей мудр и благочестен. Ты можешь верить ему все тайны. Он знает греческий язык и прочитает нам послание.

Князь молча вручил Димитрию свиток.

То было письмо грека, издавна жившего при дворе Ордынских ханов. Он был некогда послан из Греции еще хану Муруту, и звание лекаря доставило ему милость и любовь всех после Мурута ханов Золотой Орды. Димитрий просмотрел письмо, и руки его задрожали. Нетерпеливое ожидание видно было во взорах князей и бояр. Трепещущим голосом начал он читать и переводить:

«Как единовверного государя и благодетеля моего, спешу уведомить тебя, благоверный князь, что судьба Золотой Орды решена. Тимур-хан победил. Тохтамыш разбит, бежал и скитается в твоих, государь, или князя Витовта областях. Но горе нам, горе твоей Руси, горе благоверной Византии! Огонь и меч Тимура сравняли ханские терема с землею — уже нет ханского Сарая; погребло великое, погребло и малое: и мое убогое стяжание расхищено. Не забудь, государь, меня, твоего доброхота

и радушника! Пишу к тебе, государю, среди развалин, потоков крови и груд смердящих трупов. Тьмы тем татар Тимурхановых, как саранча, хлынули на берега Волги, и ни возраст, ни пол, ни род, ни сан — ничто не избегло гибели, посрамления и неволи! Железа недостает на цепи, и мечи воинов проржавели от запекающейся на них крови. Уведомляю тебя, государь, что Тимур-хан есть один из бичей, посылаемых на человеков гневом Божиим, пред коими исчезают и глад и хлад, равняются горы и высыхают реки, отверзая им пути. Страна есть некая, между царством Попа Ивана и Скифиею Великого, именуемая Арарь, и в ней родился, не от царя и не от старейшины, Тимур, свирепый, лютый, кровожадный. Говорят, что три звезды упали на небе, когда он родился, и гром трижды загредел зимою. Он был разбойник. Сперва грабил стада, но, пойманный пастырями, был ими зельно бит. Они изломали ему ногу. Он же перековал ногу железом, и от того наречен *Темир-Аксак*, иначе же *Тамерлан*, иже переводится *Темир-хромец*. И завоевав всю Арарь с немногими разбойниками, потек он на другие страны, и от Синия Орды исшел в Шамахию и Персиду, где преклонились пред ним цари и князи и военачальники, богу гордым и злобным на время попускающе. Тимур хочет перейти пучины Окияна и победить весь свет, и взять Индию и Амазоны и Макарийские блаженные острова; и уже приял он Ассирию и Вавилонское царство и Севастию, и Армению и все тамошние орды попленил, и се имена их: Хорусани, Голустане, Ширазы, Испаган, Орнач, Гинян, Сиз, Шибрен, Саваз, Арзанум, Тефлис, Бакаты и ныне Сарай Великий и Чегадай, и Тавризы и Горсустани, Обезы и Гурзи. Был он и в Охтее, и приял Шамахию, и Китай, и Крым. Шел он на Орду неизвестными степями; шесть месяцев не видал ничего, кроме неба над головою и песка под ногами; за полгода вперед сеяли просо для прокормления его войск. И сам Тимур яростен, злобен, пьет кровь и питается — страшно изречь — человеческою плотью! И слыша все сии вести, грозные и страшные, по вся дни обносящиеся, ужасом все исполнились и все страхом великим и печалию пребывают. Грозится Тимур достигнуть и второго Рима, велеколенной Византии, и обтечь всю землю. И слышу, что царь наш Мануил Великий, не забывший и прежние богопустные скорби, печалуется единому Богу и на Него единого возлагает упование...»

Здесь слезы заструились из глаз Димитрия, и бумага выпала из рук его. Все безмолвствовали.

— Владыко! что нам предпринять? — спросил Василий, не изменяя своего угрюмого вида. — Мы ждали битвы Тохтамыша — она решила гибель его... Теперь настала черда Руси. Темир-Аксак идет на нас.

«Князь! На Бога возложи печаль твою и молись! Тот, кто источил воду из камня жезлом Моисея, кто рукою отрока Иесеева поразил Голиафа, не попустит тебе и православию погибнуть!»

— Но должен ли я безмолвный ожидать грядущего бедствия? Хочу стать с оружием против врагов церкви и отчизны моей, хочу поставить щит свой против злого хищника!

«Послушай совета моего, юный князь, меня, младшего по чину, но старшего летами, — сказал князь Владимир. — Так некогда мы думали с отцом твоим и шли бороться против безбожного Мамая. Какая великая година чести была Русской земле, когда мы в полях Куликовских пели победную песень на костях врагов! Богу угодно было моей руке предоставить удар, от коего пал Мамай и рассыпалась гордыня его. Но едва прошло два года, и Тохтамыш испепелил Москву. Суетны надежды человеческие! Нейди сам на беду и жди, пока не придет она!»

— Должно ли мне сказать дружинам, отсюда ко мне идущим: идите вспять — я не смею вести вас на битву? Должно ли самим себя оковать, прийти к Темир-Аксаку и раболепно преклонить пред ним колени?

«Нет! будь на коне, но не ратуй. Стереги Москву и молись о спасении. Тщетно оружие там, где гнев Божий ведет грозу и гибель!»

— Так, князь, таково и мое мнение, — сказал Киприан. — Бог, без чьей власти не погибнет и влас с главы твоей, защита вернсе воинства.

«Владыко! ты не слышишь здесь воплей народа, не видишь горестных жен, бродящих с безутешными детьми, старцев, отчаянных на краю гроба! Нет! Я пойду отсюда, пока плач жен и вопли детей не погубили моей силы душевной! Прошу тебя, князь Владимир, быть в Москве и защищать ее, и если мы падем в неравной битве — твои лета и твое мужество порукой за храбрость малой силы, какую оставлю тебе».

— Князь — отвечал Владимир, — очисти же себя от греха, прекрати усобицу, губящую Русскую землю — умири совесть твою и не отринь совета старца — отдай Нижний Симеону!

«Нет — тому не бывать! Вспомни, князь Владимир, что я запретил даже говорить мне о Симеоне!»

— Князь! Вспомни о бедствии, грозящем России, вспомни, что в день суда Божия горе будет человеку, алчущему корысти! Коварство и измена предали в руки твои деда твоего и дядей твоих, но горе зиждущему дом свой неправдою! Отдай Симеону его наследие!

«Не говорите мне ни ты, владыко, ни ты, князь Владимир,— я не отдам Нижнего!»

— Страшись и блюдись, да не постигнет тебя бедствие, которое ты готовишь другим!

«Нет! Не на того падет гнев Божий, кто хочет собрать воедино рассыпанное и совокупить разделенное! Не ты ли первый, князь Владимир, уступил мне право первородства? Благо тебе, но Симеон и Борис противятся мне — они противники власти, данной мне от Бога, а не законные наследники, и меч правосудия тяготеет над главами их! Так я думаю, так должны все думать».

— Молод, а умен,— сказал Белевут, входя в светлицу своего боярского дома и сбрасывая свой боярский ферезь,— молод, а умен князь наш! Никто не уговорит его выпустить из рук, что однажды ему попало. Поздравляй меня, Некомат, наместником Владимира и Суздаля! — прибавил он, обращаясь в Некомату, который дожидался его возвращения и низко кланялся ему, стоя подле дверей.

— Садись,— сказал Белевут, отодвигая дубовый стол от лавки,— садись и поговорим о деле.

Некомат сел и придвинулся к боярину.

— Слушай: князь наш одобрил все, что я сделал. Завтра объявят торжественно о присоединении Нижнего к Москве, и тебя и Замятню допустят к князю как избранных посланников нижегородских. Что за шубы подарят вам — загляденье!

«Печорских аль сибирских соболей, боярин?» — спросил Некомат, усмехаясь. Белевут захохотал.

— Признайся, гость Некомат, что Белевут помнит дружбу. Как было оплошал ты, вступившись за Симеона! Теперь все у тебя цело, все сохранно...

«Слепота, батюшка боярин, слепота окаянная пришла на меня! Тут недобро было — демонское наваждение влекло меня, прости Господи!» — Некомат плюнул на обе стороны и перекрестился.

— То-то слепота, старая ты голова! Надобно слушать

добрых людей, кто тебе впрямь добра желает! Теперь отпустят тебя и Замятню с честью и почестью.

«И Замятню, боярин?»

— Да, ты знаешь, какую услугу оказал он нам в тогдашнем переполохе: он указал место, где лежало оружие, серебро и золото сообщников Симеона, выдал нам все, и сам не только не явился на площадь, да и других отводил...

«Боюсь что-то я за его верность, боярин! Если уж он передался вам без кривды, то сам бог передает в руки князю Василию Дмитриевичу сердце врагов его».

— А я так очень хорошо понимаю Замятню, и знаешь ли, что вот этакой-то душе всего скорее вверяйся — глуп или, что называется, добр! Ты да я, мы летим туда, куда нам хочется, а его просто ветер уносит, дует, а к тому же Замятня богат, как Аред!

«Ну, Бог знает, боярин, — животы смерть окажет!» — сказал Некомат с усмешкою.

— Полно, Некомат! Он и не заикнулся, когда я попросил у него... на княжеские расходы... чистым золотцем отсчитал, а теперь гуляет себе по Москве, да и только! Видно, что за душой у него ничего не таится. Нет! я верю Замятне — да, это дело сторона, а поговорим о нашем другом деле. Я тебе сказывал, что у тебя есть товар, а у меня есть купец, которому он приглянулся. Согласен ты, что ль?

«Боярин! хоть сейчас по рукам. Сын твой куда молодец, а моя Ксения — девка на возрасте».

— Отлагаю все до приезда князя Василия Дмитриевича в Нижний. Видишь: завтра вас примут и дадут вам облобызать княжескую ручку, а там поезжайте и готовьте ему прием поласковее. Князь хочет испить вашей волжской водицы и полюбоваться на Нижний. Я приеду вперед. Такая ведь теперь у нас завороха, что и Господи упаси — тут Витовт, там Тверской князь, а тут еще черный ворон налетает на Русь, и бог весть откуда! Татары дрались, дрались между собой, а теперь вон, слышишь, идут сюда... Бабы да старики воют, еще ничего не видя!

«А что же, боярин, ты думаешь?»

— Что думать! Живи не как хочется, а как Бог велит! Разумеется, у кого есть запас, тому и с татарами хорошо. Наш боярин Кошка, смотри, как ладит с ними! И то правду сказать — голова умная!

Так беседовали между собой Некомат и Белевут в московском тереме боярина.

Жребий Нижнего Новгорода был решен. Ни упреки матери, ни слова князя Владимира, ни советы митрополита Киприана — ничто не могло склонить князя Василия Дмитриевича на милость к Симеону и роду его. Участь князей нижегородских оставалась еще неизвестною. Князь Борис томился в темницах суздальских. Симеон и семейство его были заключены в темницах нижегородских. Бояре нижегородские — иные предались князю Московскому, другие, непокорные, разосланы были в дальние города. О многих — ничего не было слышно...

Зима прошла в совершенной тишине. Войска русские собрались около Коломны, отаборились там и не двигались с места. Князь Василий Дмитриевич был в Москве, кипевшей воинскою деятельностью. Спешили оканчивать вооружение войск, собирали деньги, ожидали вестей. Слухи из Орды замолкли, но то была зловещая тишина, подобная той, какую чувствует страдалец, удрученный недугом, перед последним страданием смерти — она не успокаивает его; холодный пот, костенеющие руки и ноги, темнеющий взор говорят об его разрушении — он жив, но на него уже веет могилою — он предчувствует то близкое мгновение, которого содрогается все живущее!

Тимур остановился на Ахтубе. Полчища его не двигались на Россию. Но так и за полтора столетия, когда при Калке погибла надежда на спасение России, несколько лет прошло, пока Батый ринулся в пределы русские и потек огненною рекою.

Церкви московские были наполнены народом. День и ночь слышались молитвы и воздыхания молящихся.

А страсти не умолкали и на краю бездны! Сердце человека! Содрогнется тот дерзкий, кто осмелится заглянуть в тебя — содрогнется и побежит от самых обольстительных надежд и мечтаний своих, как бежит, содрогаясь, суеверный юноша при взгляде на гроб своей подруги, на ее лицо, обезображенное смертью и тлением!

Летом Белевут приехал в Нижний Новгород. С ним была многочисленная свита. Князь Дмитрий Александрович Всеволож с дружиною московскою выступил навстречу Московского князя. В Нижнем готовились встретить его торжественно. Жители были в больших хлопотах: вынимали и готовили праздничные платья, чистили улицы, даже мыли дома снаружи. Белевут беспрестанно окружен был воеводами, просителями, искателями милостей, приезжими из нижегородских городов. Бояре, го-

сти, почетные люди нижегородские толпились у него в светлице. Обеды превращались в пиры, и часто старики забывали идти к заутрени после бессонной до белого света ночи, проведенной в гульбе у Белевута или какого-нибудь богатого гостя. Но никто не отличался таким разгульным весельем, как Замятня. Золото и серебро блистали на столах его. Две бочки малвазии выписал он нарочно из Москвы, и часто, среди гульбы и песен, горстями кидал за окошко серебряные деньги и хохотал, смотря, как дрались за них мальчишки и нищие. Добрые люди говорили, что у Замятни пируют на поминках Суздальского княжества, да кто стал бы их слушать, каких-то добрых людей, которые всегда ворчат и на которых угодить трудно!

В веселом разгулье прошло две, три недели. Однажды Замятня зазвал к себе на обед всех бояр и всех богатых и почетных людей. Никогда не бывало у него так весело. Столы трещали под кушаньями. Мед, пиво, вино лились реками. Многие из гостей со скамеек очутились уже под скамейками. В ином углу пели псалмы; в другом заливались в гулевых песнях. Настал вечер. Дом Замятни, ярко освещенный, казался светлым фонарем, когда туманная, темная ночь облегла город и окрестности и в домах погасли последние огоньки. Все улеглось и уснуло, кроме любопытных, которыми наполнен был дом и двор Замятни. Одни из них пили, что подносили им, потому что велено было всех угощать; иные громоздились к окошкам и, держась за ставни и колоды, смотрели, как пируют гости и бояре, пока другие зрители, подмостившись, сталкивали первых, а третьи любовались конями бояр и гостей, богато украшенными и привязанными рядом у забора к железным кольцам.

И теперь еще найдутся в собраниях старинных чарок русские *чарки-свистуны*. У них не было поддона, так что нельзя было поставить такую чарку, а надобно было опрокинуть ее или положить боком, и потому такими чарками подносили гостям, когда хотели *положить* своих гостей — верх славы и гостеприимства хозяина! Вместо поддона на конце чарки приделывали свисток: гость обязан был сперва выпить, а потом свистнуть. Старики наши бывали замысловатее нас на угощение.

Такого-то *свистуна* огромной величины поднес Замятня Белевуту. Говорили, что Белевута нельзя было спить, но и у него бывало, однако ж, сердце на языке, когда успевали заставить его просвистать раза три-четыре, и когда уже петухи возвещали час полуночи.

— Чокнемся, боярин! — вскричал Замятня, протягивая другого свистуна, — чокнемся и обнимемся еще раз!

«Будет, гость Замятня! У меня и так скоро станет двоиться в глазах», — отвечал Белевут, смеясь и протягивая руку к свече, чтобы увериться: не исполняются ли уже слова его и не по десяти ли пальцев у него на каждой руке?

— Э! была не была! Что за счет между русскими! Слушай: здоровье того, кто пьет да не оглядывается! Разом! «Давай! Если за нами черед, чего мешкать!»

Они разом выпили, свистнули и бросили чары на серебряный поднос, который держал перед ними один из кравчих.

— Подавай кругом! — вскричал Замятня.

Кравчий повиновался.

— Эх! ты, боярин! Вот уж люблю тебя за то, что молодец — и дело делать, и с другом выпить! Так по-нашему! Все кричат, что Замятня — гуляка, пустая башка! Врут, дураки: я в тебя, боярин, — вот что ни смотрю, точно братья родные...

«Ты диво малый! — вскричал Белевут, обнимая Замятню, — точный москвич, а не нижегородец!»

— Что тебе попритчилось, что ты сначала-то меня невлюбил! Ведь я был все тот же?

«Нет, не тот же, а теперь — чудо, не человек... прежде ты глядел не так — немножко кривил голову... Ха, ха, ха!»

— А ты ее повернул мне куда следует?

«Сама повернулась!»

— То-то же, *сама*. Видишь, не туда ветер дул! Что ты льнешь к таким, что исподлобья-то смотрят? Верь тому, кто прямо в глаза глядит. Вот, посмотри-ка: здесь кого-то недостает...

«Кого? — сказал Белевут, смеясь. — Ведь не тринадцать их осталось — чего бояться, если кто и уплелся!»

— Надо знать *кто*! Вот, примером, сказать: Некомат где? Вот там сидел он и морщился!

«Так не лежит ли он где-нибудь...»

— Нет! думаю, он бодро ходит на ногах: не тот он человек, чтобы свалился. О, не люблю я этаких народов...

«Знаешь ли, Замятня, что и мне он не больно любитя что-то? Я спас его от гибели: он не то что ты; у него все проказы Симеоновы были скрыты. Он и на Спасскую площадь шел с симеоновцами, а я все-таки умел его выгородить!»

— А он спустил тебя на посулах?

«Не то, не такого олуха царя небесного нашел он, да что-то не ладится у меня с ним никак — словно козьи рога, в мех не идет».

— Скоро ли у вас свадьба?

«Скоро ли свадьба? Приехавши сюда, я и сына привез. В Москве Некомат подтакивал, а здесь отнекивается. Видишь, говорит, дочка не хочет, дочка плачет, а просто жаль с сундуками расстаться — ведь богат, как немногие бояре московские...»

— Полно, оттого ли, боярин? Богат-то он богат, но, право, я что-то куда как, сомневаюсь... Вот я — был грех... стоял — за Симеона (*тихонько прибавил Замятня*), а как пошло не туда, так я уж напрямик твой! Тогда кричал я, за кого стою, и теперь кричу: мне что за дело! Думай обо мне кому что угодно! А этот Кашей все молчит, и кто его знает, что у него на уме!

«Я знаю», — сказал Белевут, коварно улыбаясь.

— Ой ли? Хочешь о большом медведе моем, моей любимой стопе, что вон там стоит на полке?

«Полно шутить, Замятня — теперь уже все старое конно...»

— Как не так! Ты думаешь, траву скосил, так и не вырастет — а коренья-то выкопал ли? Чего тут далеко ходить... Что ты думаешь: все уж молодцы у вас в руках?

«Все. Хочешь покажу тебе роспись, кто и где теперь?»

— Убирайся с росписью! Я всех их прежде тебя знал, да что ни лучшего-то, того-то у вас и нет... Где боярин Симеонов Димитрий?

«Где? У беса в когтях! Только его одного и недостает».

— Этак он ошутил: *только его!* Да знаешь ли, что этот один стоит сотни?

«Ну, где ж его взять! Пропал, как в камский мох провалился!»

— Его нигде не сыскали?

«Уж все мышь норки перерыли!»

— А Некомат тянет ваше сватовство?

«Ну, что же?»

— Князь Роман жену терял,
Жену терял, в куски рубил,
В куски рубил, в реку бросал,
Во ту ли реку, во Смородину...—

так запел Замятня. Хор гостей подтянул ему с криком и смехом.

«Что ж ты хотел сказать? — спросил нетерпеливо Белевут.

— Постой, боярин! Пусть они распоются погромче — я нарочно затянул, чтобы нас не слышали. Слышал ли ты, что у Некомата в бане появился домовый, стучит, воет, кричит в полночь?

«Бабы сказки!»

— Мужские сплетни, скажи лучше. Я... хм! — я видел домового!..

«Ты?»

— Да, я. Ну, как ты думаешь: каков собой этот домовый дедушка? Кто он? Черт, что ли? — Замятня плюнул.

«Говори, говори!» — вскричал Белевут. Глаза его за-сверкали.

— Постой — дай одуматься — все порядком будет! Однажды ночью вздумалось мне подсмотреть: что там за чудеса такие творятся и правда ли это — и вот и пошел я подкараулить — вот и идет Некомат, идет дочь его — и домовый идет... Месяц светил ярко... Провались я на месте, если это был не боярин Димитрий, переодетый бесом! А ведь оттуда недалеко и Егорьевский терем, где княгиня Симеонова, и тюрьма, где... Симеон!

«Если ты лжешь, Замятня...» — вскричал Белевут и взялся за саблю.

— Вот: лжешь! Послушай: теперь полночь... Ну, хочешь ли, пойдем потихоньку — нас не заметят! Авось мы встретим домового!

Недоверчивость, суеверный страх, досада, смех смешались на лице Белевута.

— У тебя сабля, а я с голыми руками! — сказал Замятня. — На домового крест, а ведь ты не веришь, что Некомат думает что-нибудь худое!

«Нет, не верю... не верю... Пойдем!»

Голова Белевута была разгорячена. Тихо вывел его Замятня в заднюю дверь, засветил фонарь и повел в сад свой, говоря, что огородами пройти ближе. Ночь была темная. Осенняя мгла наполняла воздух. Все вокруг было тихо. Лишь из дома Замятни слышны были клики и песни. Белевут шел за Замятнею. Они перешли через заднюю улицу, в переулок, и ни одна душа человеческая не встретила их. Только собаки лаяли сквозь подворотни. Скоро пришли они к задним Некоматова двора. Маленькая калитка была отворена. Они входят в обширный сад Некоматова, идут тихо, осторожно. Ночной сто-

рож крепко спит на скамейке. Вот вдалеке блеснул огонь. Они не ошибаются — идет человек с фонарем. Замятня задувает свой фонарь. Он и Белевут прячутся за деревья — человек с фонарем подходит — это Некомат.

Он идет озираясь, оглядываясь, видит спящего сторожа, дрожит, поднимает палку и останавливается. «Господи! помилуй! Не узнали ль? Если кто-нибудь подметил... Он, верно, в заговоре, проклятый пьяница... Если узнали! Горе мне, горе!» Некомат ворчал еще что-то про себя, пошел по дорожке к калитке и пропал вдали.

— Что, боярин?

«Ничего, — отвечал Белевут, — улыбаясь принужденно. — Ведь это не домовой, и что ж тут за беда, если Некомат бродит ночью?»

— Пойдем далее, а позволь, однако ж, тебя спросить: куда и зачем бы этак, например, Некомату бродить, с твоего позволения?

Белевут молчал. Опять прошли они мимо сторожа и пустились в самую отдаленную сторону сада, где построена была у Некомата черная баня в чаще вишневых деревьев.

Низкое строение стояло уединенно и было покрыто дерном. Одно только окошечко было в нем вровень с землею. Огонек светил из окошечка.

«Да воскреснет Бог и расточатся врази его!» — заговорил Белевут, крестясь.

— Вот и трусил, боярин! Что, веришь ли мне? Пойдем ближе!

Едва подвигался Белевут. Страх отнимал у него силы. Они подходят к окошечку — ложатся на землю. Внутри горит свечка. При мерцании ее видно, что на лавке сидит Ксения, дочь Некомата. Она плачет. Подле нее человек в каком-то странном наряде — свет падает ему в лицо — Замятня, не ошибся: он, Дмитрий, боярин Симеона!

Как бешеный, вскочил Белевут. Замятня удерживает его — напрасно! Белевут вырывается, бежит к дверям бани, спотыкается, падает, хочет встать, чувствует, что его держат крепко, и с изумлением видит, что его обхватил Замятня. Он борется с Белевутом и кричит неизвестные слова. Огонь в бане погас. Дверь растворяется. Дмитрий поспешно выходит и несет на руках Ксению, бесчувственную...

«Она умерла! Она умерла! Господи Боже мой!» — говорит он отчаянным голосом.

— Сюда, помоги! — кричал Замятня, зажимая рот Белевуту и опутывая его своим кушаком. Дмитрий оставляет Ксению на земле. Они с Замятнею вяжут Белевута, тащат его в баню, бросают туда, запирают двери и заставляют их запором.

— Пусть кричит себе там, сколько хочет! — сказал Замятня, оправляя платье. — Дмитрий! Брат! Друг!

Они крепко обнялись.

— Доволен ли ты мною? — спросил Замятня.

«Скорее усомнился бы я в царстве небесном, а не в тебе...»

— Что: дурак я аль нет? Не обманул я самых хитрых, самых сильных людей, Москву и Нижний, татар и русских? Жизни моей недостает отмотить все лжи, все обманы, какие принял я в это время на свою душу — и как легко плутовать, только захоти! Гораздо легче, нежели сделать что-нибудь доброе, а еще хвастают, дураки!

«Замятня, друг и брат! Мир не знает души твоей, да он и не стоит того... Награда твоя не здесь!..»

— Да и чем наградили бы меня здесь за все, что я делал для правого дела? Деньгами? Я бросал их горстями за окошко! Почестями? Какие почести тому, кто о жизни своей думает столько же, сколько об изношенной шапке! Дмитрий! дай Бог тебе час добрый! Ступай прямо к Симеону — там все уже готово, а я побегу к гостям моим — у меня все собраны, и я никого не выпущу до света...

«Замятня! увидимся ли мы еще в здешнем свете?»

— Бог знает, друг Дмитрий... Ну! все равно — прощай!

«Прощай!..»

Еще раз крепко обнялись они, и Дмитрий чувствовал, как горячие слезы Замятни измочили ему лицо. Дмитрий был точно как окаменелый. Он отшатнулся от Замятни и как будто тогда только вспомнил о Ксении, без чувств лежавшей на земле. Он наклонился к ней; взял ее холодную руку.

«Умерла? — сказал он. — Прости! И я ведь не жилец на земле! Тебе не радостна была жизнь — я погубил тебя, а мне разве лучше твоего было?.. Но, нет, нет! Она жива!.. Замятня, друг мой! Ксения жива! Ради Бога, пособи мне...»

— Чем же, брат? — отвечал Замятня, сложа руки и горестно смотря на несчастную Ксению и Дмитрия, который, стоя на коленях, сжимал в руках ее руки. — Если

Бог даст Симеону возвратиться с честью и на счастье, будете еще жить и довольны, и веселы...

«Димитрий, супруг мой, милый друг! — вскричала Ксения, тихо поднявшись с земли и охватив Димитрия обеими руками. — Ты идешь? Надолго? Когда возвратишься ты? Скоро ли?»

— Скоро, милый друг мой, скоро и навсегда! Иди домой — успокойся...

«Домой! И мне должно скрываться, таиться перед отцом моим, глотать слезы мои и не видеть тебя...»

— Димитрий! Время дорого! — сказал Замятня.

«Иду! Еще на часок...»

— Вспомни, что от тебя зависит участь Симеона.

«Да, да... Мог ли я забыть», — и он исчез.

Тут крик Белевута глухо отдался в бане. Ксения опомнилась, закричала пронзительно и быстро побежала в свой терем. Замятня остановился на минуту и слушал. Все умолкло. Холодный ветер шевелил листья деревьев. Невольный какой-то трепет объял его, и он спешил идти.

Быстро пробежал Димитрий по саду, захлопнул за собою калитку и опять хотел отворить — ему хотелось еще раз взглянуть на дом Некомата, на сад, где с Ксенией провел он столько счастливых часов в несчастное время своей жизни! Тайный брак соединил их во время поездки Некомата в Москву. Золото обольстило няню Ксении. В зимнюю ночь, когда все спали в доме, Димитрий увез Ксению. Они были обвенчаны в отдаленной церкви. Счастье не было их уделом. Только Замятня, сторож сада и няня знали тайну свиданий их.

Темница, где заключен был Симеон, стояла подле Кремля. То был старый, огромный, опустевший дом. Высокий забор окружал тюрьму. Стража стояла подле ворот и вокруг дома. Двое московских бояр жили в самом доме. Рядом с сим домом был сад Некомата и небольшой старый домик его. Димитрий быстро прибежал к воротам темничного двора. Несколько человек показались из-за углов: то были его сообщники. У ворот не было ни души — стукнули в ворота; изнутри отодвинули засовы. Все вошли в маленькую калитку. Димитрий трепетал даже голоса товарищей. Три ратника, стоявшие у дверей дома, подошли к Димитрию и сказали, что сторожевые бояре еще не возвращались, а темничный пристав, не

участвовавший в заговоре, спит в своей каморке. Прежде всего задвинули двери и ставень окна его каморки. Вот на другой стороне забора раздался громкий оклик часового. Один из ратников откликнулся; раздалось еще несколько окликов, и все умолкло. Не теряя времени, стали ломать замки на дверях. Они уступили усилиям. Дверные запоры упали. Двери растворились. Вдруг померещилось Димитрию, что по улице вдоль забора от ворот кто-то крадется... Холодный пот выступил на лице его... Боясь испугать других, он не сказал ни слова, велел идти всем далее и ломать другую внутреннюю дверь. Он один — весь обращен в слух — тихо — опять шорох... Так! Кто-то крадется к тому месту, где стоит Димитрий... Всемогуший! если их открыли! Изнутри дома слышно было, как скрипит замок от напряжения лома... Димитрий прячется — таит дыхание. Кто-то подходит ближе — вынимает из-под полы маленький фонарь — светит. Мерцающий свет отражается на лице незнакомца — Димитрий узнает Некомата...

«Недаром чуяло у меня сердце! — шепчет старик, — здесь не добро! Мое все цело, а здесь... Посмотрим... калитка отворена — сторожей нет... Как? И дверь разломана!.. И здесь нет стражи! Измена! Ударим в набат!» Он спешит идти. Свет из фонаря его мелькает ярче... О ужас! Димитрий не заметил сначала новой предосторожности, взятой тюремщиком: в трех шагах от дверей его каморки протянута веревочка, проведенная на набатную Кремлевскую башню. Уже Некомат подле нее — одно движение рукой — и вся кремлевская стража пробудится...

Дыхание сперлось в груди Димитрия. В глазах у него потемнело. Кровь его застыла и опять, как огонь, полилась по жилам. Он не помнит себя, бросается, сбивает с ног Некомата — фонарь тухнет... началась борьба отчаяния...

Старик был довольно силен. Он выбивается и бросается снова к веревке. Димитрий опять нападает на него. Рука Некомата ловит — почти хватает веревку — все заключено в одном взмахе руки — старик хочет кричать — нож выпадает у него из-за пазухи, и, как безумный, он ищет его в темноте, схватывает его и поражает Димитрия. Димитрий чувствует, как теплая кровь течет по руке его — он не помнит о себе, борется, зажимает рот Некомату — крик — новое усилие — еще удушаемый крик, еще усилие — последнее, отчаянное — и за ним послышалось хрипение умирающего...

— Убийца! — вскричал Димитрий. Голос его глухо раздался во мраке. — Я убил его! — И ему чудится, что кто-то страшно захохотал вдали. Но вот идут из тюрьмы — слышны голоса. В забытии оттаскивает Димитрий в сторону труп Некомата, бросается к выходящим — Симеон!..

«О! стонать тебе, Русская земля, помянувши прежнюю годину и прежних князей, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Мстислава Храброго! Ныне усобица князей на поганые погибла. Рекли князья: то мое и то мое же, и сами на себя стали крамолу ковать, а поганые со всех сторон с победою приходят на землю Русскую. Тоска разлилась по земле Русской, и печаль тучная бродит по весям и градам! О! стонать тебе, Русская земля, помянувши первую годину и первых князей!» — Так пел ты, певец плена Игорева, и два века протекли, но вещие слова твои роковым пророчеством носят по земле Русской!

Что там расстилается, как туман на синем море? То стелется дым от огня, попадающего жилища православных! Что там белеет, как снега во чистом поле? То белеют шатры бесчисленной рати Тимуровой! Сбылись страшные знамения, сбылись предчувствия, ужасавшие Русь — Тимур перешел Волгу и двинулся на полночь по берегу Дона. Пустынями шло его воинство, не встречая ни града, ни веси, ни села. Если и *были там древле грады красны и нарочиты видением, места их единые только оставались, пусто же все и ненаселенно, нигде не видно человека, только дебри велия и зверей множество.* При впадении Сосны в Дон раскинут был наконец привальный табор Тимуров.

Зачем между ордами татар явилась русская дружина? Зачем она не в цепях, не в плену? Кто сей русский князь, которого руку дружески жмет старый татарин? Он, седой вождь татарский, был в Нижнем Новгороде и безмолвно смотрел, как сорвали венец княжеский с главы князя Бориса и как бросили в темницу Симеона.

— Наконец и ты здесь, русский князь. Поедем же в ставку великого Тимура! — говорил татарин.

«Поедем!» — отвечал князь русский.

— Дружина твоя останется у моих шатров.

«Пусть останется».

— Ты должен оставить здесь все свое оружие.

Русский князь безмолвно снял саблю, отстегнул кинжал, положил копье. Подводят коней. Они едут.

Место, где расположен был стан Тимура, тянулось на несколько верст по берегу Сосны и Дона и неправильно простиралось в лес. Передовые отряды Тимуровы были за пепелищем Ельца. Ясное летнее солнце сияло на небе. Въехав на пригорок, откуда видны были и берега Дона, и быстрые воды Сосны, и меловые горы, при впадении сей реки в Дон, русский князь невольно остановился, и тяжкая печаль изобразилась на лице его.

Перед глазами князя раскрылся стан Тимура — ни в которую сторону не видно было конца бесчисленному множеству шалашей, палаток, шатров, землянок. Лес на несколько верст был вырублен. Вдали дым поднимался клубами от догоравшего Ельца. Стада коней, волов, верблюдов, овец; орудия, каких до того времени не видано в России; воины, разнообразно одетые, богатые бухарцы, покрытые овчинами курды, закованные в железо персияне, черные эфиопы, наездники горские, воины европейские; женщины и дети пленные; телеги, нагруженные снарядами и добычами; оружие, наваленное кучами и расставленное рядами; огни, вокруг которых сидели воины; балаганы, где раскладены были богатства и товары из всех стран света и где шла деятельная торговля, как будто на каком торжище; рев животных; звук бубнов и труб, клики, песни, плач, игры, уныние отчаяния и неистовство счастья, бешеная радость и вопль ярости — все раскрывалось в зрелище невиданном и неслыханном.

На самом высоком месте, среди табора, стоял шатер Тимура. На нем блистала, как звезда, золотая, осыпанная алмазами маковица. Полы шатра, из драгоценных индийских тканей, были опущены. Вокруг шатра постлан был бархат, вышитый золотом и жемчугом. На полверсты к нему трудно было пробраться сквозь толпу вождей, воинов, князей, купцов, духовных людей и странников. Тройная цепь стражей, скрестивши копья, спрашивала всех подходящих. При ярлыке, который показал татарин, пропустили его и русского князя. Тут протянуты были серебряные цепи, и тянулись в обе стороны богатые шатры жен и вельмож Тимуровых. *Бессмертная дружина* Тимурова окружала его ставку. Совершенное безмолвие было в рядах сих воинов, прошедших от песков татарских до Китая и от Персии до берегов Дона. Облитые золотом, опершись на булатные секиры, они были неподвижны. Как будто не видали они, что татарин и спутник его подняли полу шатра и вошли в первое его отделение. Здесь разостланы были парчи, и на бархатных подушках сидели писцы и муллы; одни писали на шелковых

тканях, другие погружены были в чтение свитков. В стороне сидел какой-то человек с свертком в руке, молча, но, выпучив глаза, шевелил губами и размахивал руками. Другой человек с черною длинною бородою, не сводя глаз с книги, перед ним лежавшей, протянул руку к татарину, взял его за руку, посмотрел ему на ладонь, потом взглянул в книгу, взглянул на какой-то странного вида математический инструмент и дал знак, что они могут идти далее. Тихо подняли татарин и русский князь балдакиновую завесу, преклонили головы, вступили внутрь и стали на колени. Глубокое молчание. Украдкой поднявши глаза, князь русский ослеплен был блеском драгоценных камней, из коих узорами сделаны были украшения стен шатра. Вокруг набросаны были дорогие ткани, стояли деревянные кадки и горшки с жемчугом, золотом, серебром; в груди лежало множество золотых чаш; в стороне брошен был овчинный тулуп; шерстяной войлок лежал на куче бесценных соболей. Вокруг стен положены были подушки, бархатные и парчовые, и подле каждой из них, на коленях, обратясь лицами к Тимуру, стояли люди, преклониив головы. Только один старик, державший в руках развернутый свиток и читавший его вслух, и другой, державший атласный сверток и трость писальную, сидели несколько ниже хана. Посреди шатра стоял большой кувшин, глиняный, на огромном золотом подносе, и подле него лежали два черные невольника. Сам Тимур сидел, поджав ноги, на подушке из драгоценного балдакина, потупив глаза, окруженный оружием, с чашею в руках. Он прихлебывал что-то из чаши и слушал чтение свитка — то было утреннее чтение алкорана.

«Он дал свет солнцу и блеск звездам. Он уставил измерения месяца, да послужат человеку делить время и считать лета. Воистину он создал всю вселенную. Он повсюду явил очам мудрых знамения своего могущества. Последование ночи и дня, согласие всех творений на земле и на небе суть блистательные свидетельства боящимся Господа. Не ожидающий будущей жизни, обольщенный прелестями земного бытия, уснет на них ненадежно, а презиравший мои вещания, за деяния свои, получит возмездием огонь адский!»

Здесь Тимур махнул рукой. Чтение прекратилось. Все поднялись и сели на подушках около стен шатра. Русский князь с невольным трепетом устремил взоры на страшилище, ужаснувшее собою полсвета. Он увидел человека, которому, по-видимому, было не более 50 лет—

таким железным здоровьем одарен был Тимур. Смуглое, загоревшее лицо, черная с проседью борода, простая зеленая чалма, пестрый шелковый халат и кинжал за поясом — ничто не показывало ничего необыкновенного при первом взгляде. Но другой взгляд едва ли осмелился бы кто-нибудь возвести на Тимура. Глаза его сверкали, как глаза тигра. Лицо его не выражало ни одной страсти, но оно было смещением всех страстей. Ничего не высказывало отдельно лицо Тимура, но каждое движение резких черт его обнажало пучину страстей, подобную той пучине моря-океана, где, как говорят, неугасающая смола горит, и кипит, и застывает — плавит камни и леденит воду в одно время.

«Вот истинная премудрость, Джеладдин-Абу Ги-фар! — сказал Тимур, указав на алкоран жилистою рукою, показывавшею его необыкновенную силу. — Вот где язык человека должен замкнуться в храмину безмолвия! Нам ли, праху земному, мудрствовать и стучаться в двери небесной мудрости? Что мы? Муравьи, тлен! Век наш — тень былия на горѣ Ливана!»

Писец, сидевший по одну сторону Тимура, принялся писать. Тимур обратился к нему: «Разве я сказал что-нибудь достопамятное? — промолвил он. — Правду, простую правду сказал я!»

— Правду небесную! — отвечал писец.

«На что же записывать ее? Она в сердце твоём и моём, и всех людей. Люди все одинаковы».

— Нет! — откликнулся кто-то у входа шатра. Это был тот человек, которого видел русский князь в преддверии и почел сумасшедшим за его кривлянье.

«Тебе могу поверить, — сказал тихо Тимур. — Бог рек: «Мы даровали премудрость Локману и вещали ему: даждь славу Богу!» Ты поэт, вдохновленный небом, — говори!»

И поэт проговорил быстро:

«Если все древа земные обратятся в писальные трости, если все семь океанов потекут чернилами, и тогда мы не испишем всех чудес Бога, создавшего Тимура, *саиб керема* вселенной. В едином человеке воссоздал Бог все человечество. Он изрек: *кун* (да будет!) — и явился человек. Он изрек: *желаледдин* (восстань!) — и восстал Тимур! Цари — рабы его; веяние крыл ангела смерти — гнев его; от взоров его колеблются столпы Византии и грепещут опоры Индии! Пилою могущества перепилил он землю: на одной половине престол его, на другой океан бедствий, где реют в волнах слез и разбиваются о

скалы ужаса враги его! Древо блаженства смертных выросло в груди его и распростерло сени святых законов от полудня до полуночи! Как из растворенных врат рая веет радостью на смертных, так из уст Тимура веет премудрость, и, обтекая пучину времен, она пройдет века и воссияет над гробницею последнего смертного!»

— Благословен Алла, создавший Тимура! — воскликнули присутствовавшие.

«Абу-Халеп! Возьми себе вот этот горшок, — сказал Тимур, указывая на огромный кувшин, насыпанный вровень с краями золотом, — и помни, что Тимур прервал сон наслаждений небесными розами поэзии, видя бедного пришельца у прага шатра своего. Говори мне, Эй-так, — сказал он, обращаясь к татарину, пришедшему с русским князем, — говори: тот ли это человек, который просит помощи? Что ему надобно? Не отняли ль у него земли, по которой идем мы, с благословением пророка, восстановить повсюду закон и правду?»

— Нет, великий сагеб керем! Он князь в полунощной части земли Русь.

«В сколько седмиц пройти можно землю его? Простирается ли она хоть на месяц пути?»

— Нет! Он владел немногими городами, далеко отсюда, на берегу большой реки, и у него отняли его землю.

«Так угодно было судьбам вышнего! Зачем же противится он воле Бога? Зачем не отдаст он венца за мирную соху, при которой счастлив бывает человек? Что ему хочется менять блаженство тишины на заботы царей?»

— Землица была его наследие. Он почитает обязанностью хранить ее, ибо в ней схоронен прах его предков.

«Не Москва ли была наследие его? Я слышал о каком-то городе Москве?»

— Нет! Москва отняла у него наследие.

«Итак, даже Москва могла обидеть его, Москва, которая сама преклонялась у подножия седалища людей, ничтожных пред избранными пророком — преклонялась пред ордою Тохтамыша!»

Он умолк и потом обратился к одному из присутствовавших.

«Где посол Баязета?» — спросил он.

— С восхождения солнца вчерашнего ждет он ответа, не двигаясь с места, не совершая молитв и омовения и не вкушая трапезы, близ твоего шатра.

«Кто он?»

— Он царь Эрзерума, взятый в плен Баязетом, и ныне раб его.

«Напиши, Шефереддин, ясно напиши на бумаге Баязету, что Тимур предвидит гибель его на скале гордости и что корабль его плывет через пучины безумия. Напиши, что воины мои покрывают полмира и что скоро приду я в Анатолийские леса и там Богу правосудия предаю мою обиду! Напиши и пошли проводить посла его столько человек, чтобы глаз не видел конца рядов их. А ты, князь Руси, если Москва обидела тебя — поди с моим именем, поди один и пешком, в Москву — поди и скажи князю Московскому, что я отдал тебе Москву, и — возьми ее себе».

— Он не посмеет взять не своего, — отвечал угрюмо Эйтяк.

«Эта Русь мне нравится, — сказал Тимур, улыбаясь. — Здесь, мне кажется, были когда-нибудь царства сильные. Ты знаешь леса Индии и Персии? Здесь совсем другие леса — они гробницы жизни. Вчера я много думал, смотря на следы города, которые открылись в дикой, вырубленной моими воинами дебри. Тут был лес — он был уже некогда вырублен — жили люди, и их нет — и на городах их выросли вновь леса. Люди здесь, на Руси, сжались в маленьких городках — и так же называются ханами и отнимают друг у друга то городок, то землю! Для чего желаешь ты, князь русский, владеть своею землею? Земли всего надобно тебе вот столько! (Тимур показал меру могилы). Сегодня ты гордишься, а завтра никто и не вспомнит тебя! Стоит ли труда земля твоя и век твой? Я был на том месте, где стоял Вавилон Великий, и никто не мог мне сказать имен ханов, которых могилы являлись пред мною длинными рядами обломков. А знаешь ли, что один из сих ханов построил стены города, которых в семь дней нельзя было объехать? Что ты скажешь об этом, Мостассем-Гассан, мудрец Багдада?»

— Раб твой, — отвечал один из присутствовавших, — осмеливается думать, что воля Провидения неисповедима; оно создало кедр Ливана, розу Йемена, и траву, растущую на могиле монгола, умершего в сибирской степи, где никто не ведал не только его самого, но и народа его, погребенного в ветре пустынном. Я видел водопады великого Нила: там волны реки падают с того самого часа, как Бог изрек миру: *будь!*, и он был. Волна сменяет волну, и все льется в море, где и глаз и ум человека теряются в необозримой пучине.

Глаза Тимура блеснули, как молния.

«Взгляни на звезды небесные,— сказал он,— и знай, что есть и в мире такие звезды! Пыль подымается ветром и падает опять на землю, а *глаза Алиевы* вечны, и бог избирает здесь на земле человека тленного и дает ему *нетленные глаза*! Собирается воинство и идет на край света. Для чего движутся сонмы их, для чего клики их будят духа безмолвных пустынь? Не для стяжания, не для корысти! Они ищут перлов славы, нетленных очей памяти. Полхлеба, купленного за одну копейку, насытит человека. И что я? Бедный грешник, старый и хромой — но мне суждено было покорить Иран, Кипчак, Туран и предать *губительному ветру истребления* силы великие и царства многие! Дух Божий ведет меня — и будто я знаю, куда он ведет меня? Он теперь отвращает меня от пути на полночь — он велит мне идти туда, в страны, орошаемые Гангесом, Нилом и Евфратом. Мы пройдем Эфиопию и перейдем чрез те горы, где сказал какой-то бессильный богатырь: *не далее!* Придем сюда еще раз, но уже с запада, и через Железные Врата Каспия пронесем завет пророка в Самарканду! А, Мустафа! исполнил ли ты повеленное тебе?»

— Голова Корийчака и головы его советников складены столпом подле шатра твоего.

«Поди же и объяви Темир-Кутлую, что Тимур избирает его владыкой Кипчака, вод Яика и вод Дона, до самого Крыма».

Один из присутствовавших повергся ниц на землю.

«Ты здесь, Темир-Кутлуй? Я и не заметил тебя! Воздай хвалу не мне, а Богу. Будь милосерд, правосуден и — царствуй многие дни!»

— Восемь верблюдов, навьюченных золотом, и восемь невольников повергает раб твой к стопам твоим! — отвечал Кутлуй.

«Восемь? — спросил, изумляясь, Тимур. — Девять дверей рая, девять молитв Пророка, и число девять благословляет человека на земле!»

— Девятый раб твой — сам я, освещенный взором твоим, и девятый верблюд — царство мое! Пророк не отринул несколько капель воды, принесенных ему усердием...

«Восток и Запад — область Божия! Куда ни обрати взоры, везде узришь образ Бога! Он наполнил вселенную своею бесконечностью. Не так ли рек Пророк его?»

— Но мы не видим его, и только дух премудрости его явлен человеку в образах видимых, и где более явлен

он, если не в том, кто переживет тысячелетия и будет на земле *нетленными очами* человечества!

«Поди же, Темир-Кутлуй,— я даю тебе средство начать добром — отдай этому князю русскому то, что у него отняли Тохтамыш и враги его! А ты, князь русский, помани в молитве твоей меня, бедного хромца, и воздай за добро благоденствием твоих подвластных!»

По данному знаку Темир-Кутлуя Эйтjak и русский князь преклонились и вышли из шатра. Все остальные зрители оставались неподвижны, и сидевшие в преддверии шатра были, как прежде, на своих местах. Все как будто оставалось недвижимо, но первый предмет, поразивший князя русского, когда он вышел из шатра Тимурова, была пирамида из окровавленных человеческих голов, которую сложили в краткое время бытности его в шатре Тимура. На вершине пирамиды лежала голова Корийчака, избранного за несколько дней прежде в ханы Золотой Орды. Кровь из нее капала и падала на песок по обезображенным головам друзей Корийчаковых.

Прошли годы, прошли века. Память о нашествии Тимура осталась только в молве народной. Летописи русские повествуют, как благодать Божия спасла Москву от гибели; как чудотворный образ Богоматери принесен был из Владимира в Москву; как зверовидный Тимур утрашен был чудным видением — в трепете, ночью, вскочил с одра своего, завопил страшным голосом, обратил вспять от берегов Сосны полки свои и бежал *никем же гоним!*

Когда вы вступите в древний московский храм Успения Богоматери, ваши взоры благоговейно встретят на левой стороне от царских врат униженный жемчугом и драгоценными камнями образ, пред коим денно и нощно горит елей, приносимый православными. Сей святой образ перенесен был из Владимира, когда Тимур грозою двигался по берегам Дона к Москве. Пред ним молились предки наши, пред ним падали тогда во прах князи и бояре, пред ним лились горячие слезы русских, когда князь Василий Димитриевич и воинство его обрекали себя верной гибели на берегах Оки и хотели лечь костью за Москву и православную Русь.

Красным летом, когда зацветают окрестности московские и толпы пешеходов идут поклониться мощам Святого Сергия, благоговейно останавливаются сии стран-

ники у древнего Сретенского монастыря, совершают три земные поклона, и в душе их пробуждается память о том времени, когда на сем самом месте сердца предков их усладила *первая надежда спасения*, когда сонмы народа преклонились пред чудотворным образом Богоматери — и Тимура поразили страх и трепет.

Поколения прешли по лицу земли. Пыль гробов отяготела на них веками. Если вы будете в Нижнем Новгороде, войдите в древний Преображенский собор, взгляните на ветхие гробы князей Нижегородских, разберите старинные письма на их гробницах: вы найдете там гробницу Симеона, подле него гробницу князя Бориса. Гроб примирил их.

Вы хотите знать судьбу Симеона после того, когда вы видели его в шатре Тимура и слышали, как могущим словом Тимур отдавал ему Москву, не только наследие его. Разогните древние летописи и читайте:

«Лето 1402-го, князь великий Василий Дмитриевич посылал воевод своих, Ивана Андреевича Уду да Федора Глебовича, а с ними рать свою искать князя Семена Дмитриевича Суздальского, и самого его обрести или княгиню его, или дети его, или бояр, крыяшесь бо в тагарских местех. И идоша на Мордву, и наехаша князя Семена княгиню Александру в Мордовской земле, на месте, нарицаемом Цыбирца, у святого Николы, идеже поставил церковь бесерменин Хази-баба. И изымаша гамо княгиню Семенову Александру, и ограбиша ее, и приведоша в Москву, и с детьми юными, и затвориша их на дворе Белевута. Слышав же князь Семен, что княгиня его и с малыми детьми изымана, и посла к великому князю с челобитьем, милости моля, и вниде в покорение, и во многое умиление и смирения, прося *опаса*. Был же тогда князь Семен в Ордынских местех, бегаша от великого князя, от Василия Дмитриевича. Князь же великий Василий Дмитриевич даде ему *опас*. Он же прииде из Орды на Москву и взяша мир с великим князем, и иде с Москвы на Вятку, с княгинею и с детьми, болен бо бяше уже, и пребысть на Вятке пять месяцев, и в больший недуг впаде, и преставися, месяца декемврия в 21 день. И сей князь Семен Дмитриевич Суздальский в веке своем многи напасти подъят, и многи истомы претерпе, во Орде и на Руси, тружався, добиваясь своей отчины, и восемь лет сряду не почивая, по ряду в Орде служаху четыремя царям: первому Тохтамышу, и второму Темир-

Аксаку, и третьему Темир-Кутлую, и четвертому Шади-бегу, а все поднимая рать на великого князя, на Василия Дмитриевича, как бы ему найти свою отчину, княжество Новагорода Нижняго, и Суздаль, и Городец. И того ради мног труд подъя, и много напастей и бед потерпе, пристанища не имея, и не обретая покоя ногами своима, и не успе ничтоже, но яко всеу труждаясь. Суетно есть человеческое спасение и упование, понеже от Бога вся суть возможна, а от человек ничтоже...»

Такова была судьба князя Симеона Суздальского. Но сго боярин Димитрий, но Ксения, но Замятня?..

Если что успеем найти, перескажем когда-нибудь о Димитрии, Ксении и Замятне. Теперь простите, православные, и благодать Божия да будет с вами. Повесть о Симеоне кончена. Чему научила она нас? Повторим слова современника: «Суетно есть человеческое спасение и упование!» — Истина не новая, но помним ли мы ее?



КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ

Русская быль XV века

...Не слышен голос прошедшего; но когда искра юного огня затлеет во глубине груди, пламя вспыхивает, память освещается. Память, как лампа хрустальная, расписанная яркими цветами: пыль и пятна ее покрыли; но когда в сердце ее поставить огонь, еще свежестью цветов обольщает она очи, еще расстилает на стенах древней храмины узорчатые, хотя и потускнелые, ковры цветов и красок...

Валленрод



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

...Тобе диавол на него вооружил желанием самонаачальства разбойнически ноцетатством изгониши его на крестном целованьи, и сотворил еси над ним не меньши Каина и окаянного Святополка... Чим еси самого пользовал, и колико еси государствовал, и в которой тишине пожил еси? Не все ли в суете и перескаканьи от места до места, во дни от помышления томим, а в нощи от мечтаний сновидения? Ища и желая большего, и меньшее свое изгубил еси... Или, Господине, по нужи смеем рещи: ослепила тя будет душевная слепота, возлюблением временныя и преходящия чести княженья и начальства, еже слышатися зовому Князем Великим, а не от Бога дарованно, или златолюбством объят еси, или женовнимателен и женопокорен, яко же Ироду подобствуя явился еси, и крестное целование ни во что же вменив...

Писано к Шемяке, из Москвы, в 1447 году

...И не сие мне было пострадати грех моих ради, и беззаконий многих, и преступлений моих во крестном целовании перед вами, перед своею братиею старейшею, и предо всем Християньством, и его же изгубих, и еще изгубиши есьми хотел до конца: достоин есть главныя казни; но ты Государь мой, показал если на мне милосердие, не погубил еси мене с беззаконии моими, но да покаюся зол моих...

Говорено Шемяке, на Угличе, в 1446 году

Разговор Между сочинителем русских былей и небылиц и читателем

*Читатель. Куда это вы собираетесь?
Сочинитель. В типографию.*

Чит. А! вот и рукописи! Верно намерены печатать что-нибудь новенькое?

Соч. Ничто не ново под луною! Это было сказано уже очень давно. Но вы не ошиблись: я точно хочу печатать мое новое сочинение.

Чит. Прекрасно! Нельзя ли узнать, что это такое у вас будет?

Соч. Очень можно. Вот название: «Клятва при гробе Господнем. Русская быль XV-го века». — А там, может быть, явится и *небылица* русская.

Чит. Что ж это такое: *были* и *небылицы*.

Соч. *Быль* то, что *точно было*; *небылица* то, что *никогда не бывало*, сказка.

Чит. Верно, что нибудь в роде Гётевых «*Dichtung und Wahrheit*»?

Соч. Да, если вам угодно; только Гёте писал *были* и *небылицы* о себе самом, а я пишу *были* и *небылицы русские*, то есть о нашей православной матушке-Руси.

Чит. Понимаю: вы хотите рассказать нам что-нибудь *русское*, и *по былинам* прежнего времени и *по замышлению Боянову* *, жизнь и поэзию Руси?

Соч. Вы угадали. Мне кажется, что история, география, статистика, этнография Руси все еще оставляют для нас нечто *недосказанное*, и мне хотелось бы именно это, хотя отчасти, высказать русскими былями и *небылицами*. Успею ли в этом, не знаю; по крайней мере, скажите мне: *спасибо*, за мое доброе намерение.

Чит. Признаюсь: этого я не ожидал от вас.

Соч. Почему же?

Чит. Не только слышал, но и читал я неоднократно, что вы не знаете Руси, что вы не любите Руси, что вы терпеть не можете ничего русского, что вы не понимаете, или не хотите понимать — даже любви к Отечеству и называете ее — *квасным патриотизмом*!

Соч. Неужели вы верите всему *слышанному* и даже всему *печатному*?

Чит. Не без разбора; однако ж, это твердят беспрестанно и столь многие, что хотя и не совсем веришь, но начинаешь сомневаться.

Соч. Есть люди, которые уже и не сомневаются в том, что вы говорите; благодарен вам, даже за сомнение. Но кто же говорит и беспрестанно твердит вам о моем отступничестве, отречении от русского, нелюбви к Руси?

* «Начати же ся той повести *по былинам сего времени*, а не *по замышлению Бояню*». — «Слово о полку Игоревом».

Чит. Пишут почти все журналисты русские, множество литераторов русских в стихах и прозе, критических статейках, эпиграммах, водевилях и сатире, а говорят об этом...

Соч. Те, которые ничего не читают, не пишут, а составляют зевающую толпу вокруг пишущих? Но кто читал, что писано мною доньше, тот конечно скажет вам, что *квасного патриотизма* я точно не терплю, но Русь знаю, Русь люблю и — еще более, позвольте прибавить к этому, — *Русь* меня знает и любит.

Чит. Следовательно, находится какое-нибудь недоразумение...

Соч. Его легко выразуметь и объяснить. Литературная собратия моя, журналисты, не терпят меня за то, что без всякого искательства и покровительства перегнал я кое-кого из них на журнальном поприще. Семь лет постоянного внимания и уважения публики что-нибудь да значит, чего-нибудь да стоит, когда то и дело мелькали и мелькают у нас в Лету другие журналы и журналисты, газеты и газетчики. В то же время я смеюсь над всеми партиями и сплетнями литературными, думаю *свое*, говорю *свое*, смело сказываю истину писакам и писачкам нашим, *знаменитым* и *незнаменитым*, и в течение семи лет сказал правду, по крайней мере, тысяче человекам. Правда глаза колет — это дело известное, и согласитесь, что когда она уколола около двух тысяч глаз, то есть кому поморщиться при одном моем имени...

Чит. Что правда, то правда; все это может быть.

Соч. Не может, а точно так.

Чит. Но однако ж говорят, что писанное-то вами именно и подтверждает все, что другие пишут и говорят об вас.

Соч. Писанное мною подтверждает одно то, что я враг *квасного патриотизма*. В этом, как и во всех своих правилах и мнениях, я готов всегда сознаться, готов всегда подтвердить их, перед кем угодно.

Чит. Но после такого признания вообще вы не скроете и подробностей дела?

Соч. И их никогда и ни перед кем не скрывал, и не буду я скрывать. Послушайте.

Судьба русской земли необыкновенна тем, что Русь поставлена между Югом и Севером, между Европою и Азиею, обширна, могущественна, но младшая сестра всем другим европейцам. До Петра Русь возрастала отдельно от Запада: была в Европе и вне Европы. Только

Петр начал настоящее образование Руси. Форма сего образования должна была быть *европейская*, а не азиатская, по тому же, почему дважды два четыре, белое не черное, а черное не белое. Прошло уже сто лет, как мы вдвинуты в Европу, но — только *вещественно*. Мы сильны, могучи, чудо-богатыри. Мы ломали рога турецкой луны, вязали лапы персидского льва, переходили через Альпы, сожгли величие Наполеона в Москве и заморозили его славу, загнали шведов за Ботнический залив и подписали один мир в Париже, другой под стенами Царяграда. При всем том (чего стыдиться нам истины?), по *умственному* образованию — мы всех европейцев моложе, мы еще дети! Дидерот ошибся, сказавши, что Русь есть плод, который не созрел снаружи, а гниет внутри. Мы, просто, еще *не дозрели*.

Чит. Ну, вот и правда, что мне говорили и что я иногда и сам замечал! Можно ли так говорить! И ты русский?

Соч. Больше, нежели кто-нибудь другой: горячая русская кровь течет в моих жилах; но прошу слушать далее. Сердитесь или нет, а я повторю вам слова мои: Русь, могущественная, сильная, крепкая, есть незрелый плод. Вещественно — она все кончила; умственно — только все начала, и — ничего еще не кончила!

Чит. Да чего же вы от нее гребуете?

Соч. Умственное образование состоит в полном развитии внутренних сил, внутреннего духа. Такого полного развития у нас еще нет. О в н у т р е н н е м государственном устройстве ничего не будем говорить: это не наше дело. Но и в этом отношении я укажу вам на труды и попечения мудрого нашего правительства, которые убедят вас, что оно, благонамеренное и великое, чувствует явные недостатки нашего общественного устройства, исправляет их, учреждает новые суды, пролагает дороги, роет каналы, устраивает общества, выставки, училища, академии, купеческие советы и проч. и проч. — Честь и слава ему! Но мы, *частные* и *честные* люди, должны ли что-нибудь делать со своей стороны? Можем ли чем-нибудь споспешествовать ему?

Чит. Разумеется. Правительство исправляет, учреждает, а мы должны исправляться и учреждаться.

Соч. Очень хорошо, но это еще не все. Проявление вещественного и невещественного богатства зависит именно от нас, частных и честных людей. Мы производители, мы должны помогать правительству, создавая русскую промышленность, русское воспитание, русскую литерату-

ру, словом — *русское внутреннее образование*, или проявление внутренних сил России.

Для этого необходимо:

1-е, и начальное: искреннее сознание у нас существующих недостатков;

2-е, справедливое сознание чужеземных преимуществ;

3-е, верное познание сущности самих себя;

4-е, умение пользоваться чужим хорошим, отвергая чужое дурное. — Затем, по верному плану, можете участвовать, сколько силы и средства вам позволяют, в труде общественного образования. Справедливо ли я говорю?

Чит. Бесспорно. Но что далее?

Соч. Прежде всего то, что ваш испуг при словах моих о совершившемся доньше внешнем только образовании России был несправедлив. Невежда, один невежда не сознается в недостатках, а кто не хочет быть невеждою, должен этим начать.

Чит. Согласен; но вы...

Соч. С пламенным желанием добра я обдумал предварительно все, что вам говорил теперь, и сообразив, что могу делать, чем могу быть полезен в деле отечественного образования, начал действовать с верною целью. Будучи частным человеком и действуя, как честный писатель, что я делал? Я указывал моим соотечественникам на недостатки наши; изъяснял им европейское, современное образование; говорил, как шли, что делали другие и что должно делать нам.

Чит. Прекрасно!

Соч. Прекрасно для людей, понимающих дело и благонамеренных. Для людей же, не понимающих дела, особливо же своекорыстных, отставших, уставших, извне образованных — все это никуда не годится.

Смешивая политическое, внешнее величие Руси с требованием умственного, внутреннего образования, многие забрали себе в голову, что Русь кончила все свои подвиги. И вот толпа кричит во все горло: «Мы славны, мы велики, мы просвещенны, мы учены, мы богаты. О Русь! о мать Россия!»

Понимаете ли, что этот крик детский, крик горделивого полуневежества? Не так говорит тот, кто искренно и умно желает славы, чести и счастья Отечеству.

Он скажет: «Не за то люблю я Русь, что в ней едят московские калачи и валдайские баранки, а пьют квас, но за то, что она моя отчизна, моя земля, моя Родина, земля судеб и надежд великих, край народа умного, бодрого, способного ко всему великому и прекрасному». Да-

лее: «Но Русь славна только политическим, внешним величием: она дитя умственным образованием. Промышленность, торговля, литература, просвещение — у нас только начинаются». Далее: «Иноземцы перегнали нас во всем этом. Бог с ними: они ранее нас начали, не позаидуем им, но догоним их, а для этого сначала посмотрим: как они *делали*, что они *сделали* и что они *делают*?»

Так думал, говорил, писал я, и вот — гордое полуневежество, смешное самохвальство, квасной патриотизм, слепая любовь к Отечеству возопили против меня и прокликали меня нелюбящим Руси и едва не врагом русской чести и славы!

Чит. Это сущая клевета; но мне сказывали, что вы, как нарочно, все русское браните, Руси вовсе не знаете, говорите о каких-то высших взглядах, высшем патриотизме, а это, если не *карбонарство*, то, по крайней мере, *космополитство*...

Соч. Пусть тот, кто с большим жаром преклонял колена перед всем, что было и есть в Руси изящного и великого, кто с большею любовью лелеял всякое доброе начинание, кто пламеннее моего желал добра Отечеству — пусть тот бросит в меня камень! Но хвалить что-нибудь потому только, что оно *русское*; но кричать о славе нашей со времен славян; но думать, что пыль русская лучше пыли германской, что дым русский пахнет розою — все это и всегда я почитал и почитаю решительно нелепостью, несправедливым оскорблением законов Провидения и делом, достойным или дурака, или негодая, притворщика! Кто любит Отечество, тот желает ему добра; кто желает ему добра, тот хочет ему образования; кто хочет образования, тот прежде всего оставит пустое хвастовство, будет русским и в тоже время европейцем. *Высшие взгляды!* Это просто взгляд не на один угол — французский, немецкий или русский, а на все человечество, чтобы узнать свое *историческое* место и верно стать на это место. *Низшие взгляды* оставим китайцам и персиянам. Читали ль вы «Похождения Хаджи Бабы в Лондоне»? Вот вам верное изображение *квасного патриотизма!* С ним не уедешь далеко. *Патриотизм высший* должен быть уделом народов просвещенных

* Превосходное произведение Морьера: «The adventures of Hajji Baba of Ysrahan». Оно переведено и на русский язык («Похождение Мирзы Хаджи Баба Исфгани в Лондоне». Спб. 4 части, 1831 года); жаль только, что не вполне.

и великих. Если представителем его в России изображают меня журнальные крикуны и малограмотная толпа — благодарю их и признаюсь, что за честь такого названия я готов жертвовать всем, что для меня в мире есть драгоценного, а бояться его никогда не стану!

Чит. Ваши слова убеждают меня; но я боюсь: не требуете ли вы истребления народной гордости, уважения к предкам и переделки в французов, немцев, англичан?

Соч. Вы не совсем меня понимаете. Истребления *невежественной* народной гордости — требую; *просвещенную* народную гордость — молю Бога внушить нам! Уважения к предкам, как *образцам нашим во всем* — не понимаю; уважение к *доброму и великому в предках наших* — ставлю выше всего. Переделку в французов, немцев, англичан почитаю жалким обезьянством; переделку в *европейских россиян* почитаю целью, которой мы всеми силами должны достигать.

Так ли думают те, которые кричат против меня? «Русь, Русь, великая Русь! Гостомысл равен Нуме и Миносу! Нас хотят разлучить с любовью к Отечеству!» И кто ж это говорит? Какой-нибудь полурусский человек, одетый в французский фрак, выщипывающий стихи из Байрона и Шиллера, выписывающий из Карамзина все, что он хочет сказать о России, кропая оду, в которой пошлость выкупается — разве только пустотою мыслей!

Чит. Но как же должно поступать?

Соч. Не берусь учить других, но вот как я думаю. Довольно хвастовства, довольно внешности. Уверимся, что внутреннее образование наше должно начаться сознанием достоинства других народов. Затем:

С одной стороны, философически рассмотрим европейскую образованность и требования века, отделим доброе от худого, *бросим злую половину*, как говорит Шекспир *, и извлечем для себя *формы европейского образования*.

С другой, беспристрастно рассмотрим самих себя. В истории нашей поищем не предметов пустого хвастовства, но уроков прошедшего; в настоящем быте нашем откроем нынешние недостатки и выгоды наши. Россия — картина, большая часть которой загнута под раму; прочь эту раму! Откройся, мать наша, безмерная Русь, мир-государство, во всей полноте своей! Покажи нам

* O, throw away the worser part of it,
And live the purer with the other half...

Гамлет.

всю сложность, все части своего разнообразного состава. Мы извлечем таким образом *стихии народности*.

Зная *формы европеизма* и *стихии русизма*, скажите: чего не сделаем мы из Руси нашей, из нашего народа, закаляемого азиатским солнцем в снегах Севера? Мы победили Европу мечом, мы победим ее и умом: создадим свою философию, свою литературу, свою гражданственность, под сению славного престола великих монархов наших!

Вот чего хочу я, вот чего требую. И неужели вы скажете после того, что я *менее люблю, менее знаю Русь*, нежели какой-нибудь рифмач, которому память о *Полтаве* нужна для рифмы к *славе*, а сказание о том, как побиты *шведы*, к рифме *победы*; или какой-нибудь *либеральный* барский сынок, готовый кланяться и кричать о патриотизме, для отыскания *ключа* к счастью; какой-нибудь газетчик, который знает Русь по *отечественным воспоминаниям* своих листков; или какой-нибудь патриот, горящий любовью к отечеству, когда за столом его патрона пьют *чужое* вино за благоденствие России и забывают об этом благоденствии за французским пирожным! Извините — я не могу говорить равнодушно: предмет разговора близок к моему сердцу.

Чит. Благодарю вас за искренность и уверен, что, зная все слышанное мною от вас, каждый благомыслящий, благонамеренный человек — пожмет вам дружески руку.

Соч. Но мы отдалились немного от предмета разговора нашего; впрочем, одно идет к другому: литературного поприща моего и клевет на меня в нелюбви к Руси не мог я изъяснить вам, не изъяснив причин ненависти ко мне многих и — *очень многих!* Довольно странно, мне, незначительному члену общества, думать, что я могу споспешествовать чем-нибудь великому делу истинной славы и прямого счастья России. Но и от маленькой былинки есть тень, как говорит, помнится, Гораций *, и капля есть нечто в океане. Думай и действуй *каждый*, выйдет, что действуют *все*. Солдат, который под Бородиным убил одного француза, исполнил уже свой долг, участвовал уже в великом деле 1812 года. «Если бы я мог действовать — я действовал бы; теперь я говорю» **. Поприще, на которое судьбе угодно было поста-

* Etiam capillus unus habet umbram suam.

** Si j'étois prince ou législateur, je ne perdrais pas non temps à dire ce qu'il faut faire; je le ferois, ou je me taisois,

вить меня, — *литература*. Смею думать, что если бы я умер сегодня, то благодарный потомок не откажет уже мне в воспоминании и в словах: «Он *желал* добра».

Семь лет журнала — семь подвигов нелегких! Я передавал соотчикам то, что замечал в Европе достойное внимания, что почитал полезным моей отчизне, и в тоже время смело срывал я маску с бездарности, притворства, порока, сражался с предрассудками закоренелыми, родными и наносными, уличал чванство вельможи и хвастливость педанта, пустоту нынешнего, детского нашего образования и тяжелую грубость нашего невежества. Ошибался я — что делать! я человек! Но никто не видал моей головы, преклоняющейся перед кем-либо, когда душа моя не была исполнена уважения к предмету, мною превозносимому. В «Истории русского народа» мне хотелось особенно показать: как должно смотреть на самих себя с точки высшего патриотизма (не боюсь повторить это страшное для близоруких патриотов слово!), хотелось познакомить русских с европейским воззрением на события минувшего. Кто имел терпение читать все писанное мною, тот скажет, что я один и тот же — под личиною *живописца*, во взгляде *историка* и в *критике* на пошлых чад бездарности, невежества и литературного хвастовства.

Чит. И мы то же найдем и в *былях* и *небылицах русских*?

Соч. Да, я и забыл было, что мы об них сначала говорили. И в них я тот же, но здесь вы не увидите самого меня. *Были* и *небылицы* суть любимые дети моих досугов. Мне хотелось в них изобразить те отношения народных стихий русских, которых в истории, и во всяком другом роде сочинений, изобразить невозможно, но которые, между тем, знать непременно должно. Разыскания и диссертации не повели бы меня к моей цели. Я решился писать — *были* и *небылицы русские*.

Чит. То есть, русские *повести* и *сказки*?

Соч. Если вы понимаете под словами: *повесть*, *сказка* такие создания, где сочинитель обольщает вас вымыслами воображения, украшая существенность или вводя вас в волшебный мир фантазии, то мои *были* и *небылицы* не то, что *повести* и *сказки*. В *былях* мне хочется, как можно проще и ближе, изобразить вам Русь, прошедшую и настоящую. В *прошедшем* верная нить Истории и повествований старинных поведет меня; только там, где нет изъяснений Истории, позволю себе аналогическое прибавление к известному. Русь, как она

была, точная, верная картина ее — вот моя цель. В *настоящем* то, что я видел и узнал, что в самом деле *существует* на Руси — изображу, сколько могу вернее.

В *небылицах* — я перескажу вам русские сказки, поверья, игру *народного* воображения; я буду только собиратель и издатель, а не сочинитель.

Чит. Любопытно, как все это вы исполните. *Русские сказки* — хорошо! Давно бы пора за них приняться... Но в *былях*, извините, вы, кажется, увлекаетесь общим порывом нынешним.

Соч. Каким?

Чит. С тех пор, как Вальтер Скотт показал нам образцы *исторических романов*, все в Европе пустились в исторические романы. И у нас на Руси распложается их довольно. Дарования сочинителей *Юрия Милославского* и *Димитрия Самозванца*, *Рославлева* и *Выжигина* соблазнили вас... Признайтесь откровенно?

Соч. Не в чем. Если речь идет об исторических романах, не знаю, почему вы думаете, что В. Скотт *первый* показал нам их? Вы почтете шуткою, когда я укажу вам на Иродота, как на первого исторического романиста; но прошу вас припомнить, что исторические романы давно существовали — у немцев, французов и англичан. Даже у нас, лет тридцать назад, жаловались уже на исторические романы. Вспомните слова Карамзина *. И тот же Карамзин, задолго до В. Скотта, написал исторический роман «Марфа Посадница». Разница в том, что Карамзин не постигал сущности сего рода сочинений так, как не постигали ее Мейснер, Мармонтель, Флоринан, Август Лафонтен, Жанлис **, а прежде их те жалкие

* Вот, что писал Карамзин в 1799 году (см. повесть его «Рыцарь нашего времени»): «С некоторого времени вошли в моду *исторические романы*. Неугомонный род людей, который называется *авторами*, тревожит священный прах Нум, Аврелиев, Альфредов, Карломанов и пользуясь истари присвоенным себе правом (едва ли *правым*) вызывает древних героев из их *тесного домика* (как говорит Оссиан), чтобы они, вышедши на сцену, забавляли нас своими рассказами. Прекрасная кукольная комедия! Один встает из гроба в длинной римской тоге, с седою головою; другой в коротенькой испанской епанче, с черными усами — и каждый, протирая себе глаза, начинает свою повесть с янц Леды. Только, привыкнув к глубокому могильному сну, они часто зевают, а с ними вместе — и читатели сих исторических *небылиц*». (Соч. Карамзина. Т. IX, стр. 5, 6).

** Мармонтелевы «Инки, или Падение Перуанской империи»; его же «Велизариус» (бывший в такой славе, что императрица Екатерина сама, с своими приближенными особами, перевела его на русский язык); Флоринановы уроды — нечто в роде поэмы и романа, например: «Гонзальв Кордуанский»; Жанлис — «Герцогиня Лавальере»,

романисты, с которыми бранился Буало*. В. Скотт постиг сущность исторического романа и разгадал загадку для писателей всех стран. Век догадывался об ней; В. Скотт решил эту загадку, и именно те проигрывают, которые подражают ему (Купер, Г. Смит, Брониковский), и те выигрывают, которые самобытно творят, как творит В. Скотт (А. Виньи, В. Гюго, Манзони, Цшокке)**.

«Госпожа Ментенон», «Рыцари лебеда», и проч.; Мейснера — «Бианка Капелло», «Алкивиад»; Августа Лафонтена — «Ромул, Аристомен и Горги», и проч. Добрый Лафонтен написал даже один исторический роман, взяв предмет из нашей истории — «Князь Александр Тверской»!! Не говорим о тысяче последователей всем сим писателям...

* См. Буало «Les heros de roman, dialogue à la manière de Lucien». В этой сатире, Буало осмеивал романы Скюдери, Кальпренеда, Демаре, Гомбервилля, и проч. Нам едва известны теперь имена сих людей, но от их *Киров* и *Клелий* — приходили в восторг и плакали современники. «Comme j'étois fort jeune dans le temps que tous ces romans, tant ceux de mademoiselle de Scuderi, que ceux de la Calprenede et de tous les autres, faisoient le plus d'éclat, — говорит Буало, — je les lus, aussi que les lisoit tout le monde, avec beaucoup d'admiration; et je les regardai comme des chefs-d'oeuvre de notre langue».

** Вышеприведенные доказательства, кажется, должны убедить, что *исторический роман* не есть идея, начавшаяся в наш век. Мысль: назвать Иродота *первым* историческим романистом, я заимствовал у Ниля. В своей превосходной книге «The romance of History» (Лондон, 1820 г.) Ниль доказывает, что история началась романом, потом отделила от себя философию истории, и по необходимости после сего должен был явиться исторический роман, как *другая половина истории*. В. Скотт не *изобрел* исторического романа: он только *узнал истинную сущность его*. Это Васко де Гама, проехавший в Индию морем. — А. Шлегель прекрасно изъяснил, что такое значит ложное подражание природе и истинное подражание (См. очерк его идей в «Телеграфе» 1831 г., т. XXXIX, стр. 415 и след.). — В теории исторического романа вывод будет один и тот же, ибо исторический роман принадлежит к области изящного. — Скюдери, Мармонтели, Мейснеры, Жанлис брали исторические имена, одевали их по-своему, заставляли их говорить по-своему. У Скюдери Кир и Гораций Коклес плакали от любовных горестей; у Мармонтеля перуанские качики вольнодумствовали; у Жанлиса современники Карла Великого кокетничали, как французские щеголи XVIII века. Нелепая мысль: украшать природу и истину, и в этом заключать *изящное* — все портила: и французскую драму, и исторический роман. Так Карамзин, в «Марфе Посаднице», не довольствовался истиною. Он не понял величия копини новгородской вольницы, вставил множество звонких, но пустых фраз, речей, выдумал небывалых героев, заставил их говорить по-своему. В. Скотт первый бросил ложную теорию исторического романа. Что исторический роман не достиг еще и у В. Скотта полного совершенства, что В. Скотт не истощил еще разнообразия форм его, доказывают новейшие сочинители исторических романов, последователи В. Скотта. Укажем на трех современников, которые едва ли не выше самого В. Скотта. «Сен-Марс» Альфреда де Виньи, «Обрученные» Манзони и «Церковь богородицы парижской» В. Гюго, по моему мне-

Чит. Положим, что и так; но все вы идете вслед за авторами «Милославского» и «Самозванца».

Соч. Если бы и в самом деле с В. Скотта надобно было полагать начало исторических романов, то в России первые опыты настоящих исторических повествований явились еще в 1822 году, в «Полярной звезде» *. Задолго до «Самозванца» и «Милославского», я печатал опыты *русских былей* в «Телеграфе» **. Но дело не в том, я сказал уже вам, что *были* мои совсем не исторические романы в роде В. Скотта.

Чит. Что ж это такое?

Соч. Это, чтобы сказать вам короче, — *история в лицах и быт народа в живых картинах*. Барант очень мило и остроумно доказывал необходимость *романизма истории*. Прочтите его предисловие к «Истории герцогов Бургундских». Это предисловие мне кажется образцом красноречия, хотя в приложении к истории оно софизм. Любопытно, что говорит Барант о наклонности нашего века к живому повествованию: «Может быть, наша эпоха предназначена для особенной почести исторических повествований. Никогда любопытство не бросалось с такою жадностью на исторические знания. Мы жили тридцать лет в мире, волнуемом столь дивными и различными событиями; народы, законы, престолы так быстро летели перед нами; будущность, даже самая близкая, обременена решением столь великих вопросов, что первое

нию, суть огромные, совершенно новые и блестящие творения нашего времени. Истина, с какою, рядом превосходных картин, выразил А. де Виньи: Ришельё, двор и век Людовика XIII; итальянская, оригинальная народность Манзони и глубина страстей, до которой с удивительной отважностью осмелился коснуться В. Гюго, — явления самобытные и далеко превзошедшие все, что писал шотландский романист! Впрочем, кто осмелится оспаривать великие дарования В. Скотта, когда нельзя не сознаться в прекрасных дарованиях даже рабских его последователей — Купера, Г. Смита, Локарта, Брониковского! Мне кажется, сим последним не достает только самобытности, чтобы сравняться с В. Скоттом. Впрочем — не достает немало; но сами ли они в этом виноваты? Заслуга их, состоящая в том, что верно следуя правилам В. Скотта, они изображают стихии своей народности — американской, английской, польской, — достойна великого уважения. Многие ли это сделать сумеют?

* Разумею здесь повести А. Бестужева «Роман и Ольга», «Ревельский турнир», «Замок Нейгаузен». Это были *первые опыты* настоящего исторического русского романа.

** В 1826 году поместил я в «Телеграфе» повесть о походе Дмитрия Донского на Новгород. Потом напечатал повесть о падении Суздальского княжества («Симеон Кирдяпа» — это был собственно *отрывок*, который когда-нибудь надеюсь окончить). Другие опыты печатал я в разных альманахах.

дело нашего досуга и размышления было *изучение истории*. И как бытие каждого из нас, великого и малого, непосредственно соединено с превратностями общими, как жизнь, быт, честь, сущность, судьба, может быть — мнение; словом: каждое состояние и отношение гражданина зависело и еще зависит от общих событий его отечества, или даже целого мира, то ум наш долженствовал взять целью, почти единственною, историю народов. Туда направлялась философия, ибо какие причины, какие действия могут быть достойнее разысканий в их источнике? Самой поэзии не внимают ныне, если она не говорит о том, что являет нам столько чудес, возбуждает столько движений. Драма кажется обреченною изображать исторические сцены. Роман, сей род, прежде столь ничтожный и живописью великих страстей сделанный столь красноречивым, увлечен историческим интересом. От романа требуют уже не рассказов о *чьих-либо* похождениях, но хотят, чтобы похождения сии были живыми и верными изображениями земли, эпохи, мнения; хотят сих изображений такими, чтобы по ним можно было узнавать частную жизнь народа. Не всегда ли составляла она тайные записки жизни общественной?» *

Чит. Умно.

Соч. Главное: слова Баранта верно показывают требование века, объясняют явления *нынешних* исторических романов и, как изображение народности, нынешнюю драму, поэзию и проч. и проч.— В. Скотт, повторяю, только разгадал требование века в отношении романа так, как — не помню кто (кажется, Нодье) сказал и сказал очень верно, что Байрон *положил на голос песню своего времени*.

Это уже давно предчувствовали. Послушайте, что говорил один холодный, но умный писатель о классической французской драме:

«Важный недостаток истории есть тот, что она *рассказывает*, и надобно сознаться, что рассказанные ею дела, будь они представлены в *действии*, получили бы сов-

* «Histoire des Ducs de Bourgogne», 2-е издание, Париж, 1824 г. Т. I, стр. XXXII—XXXIV. «Le roman,— говорит Барант,— ce genre autrefois frivole, et que la peinture des grandes passions avait rendu si éloquent, a été absorbé par l'intérêt historique. On lui a demandé, non plus de raconter *les aventures des individus*, mais de les montrer, comme témoignages vrais et animés, d'un pays, d'une époque, d'une opinion. On a voulu qu' il nous servit à connaître la vie privée d'un peuple; ne formet-elle pas toujours les mémoires secrets de sa vie publique?»

сем другую силу и особенно приобрели бы для нашего ума новую ясность. Видя представления Шекспирова «Генриха VI-го», я с любопытством вновь изучаю в сей трагедии все *историческое* о сем государе, жизнь коего была исполнена волнений, столь разнообразных, столь быстрых, что их почти всегда смешиваем мы в своих воспоминаниях. Признась, что сто раз знал и сто раз забывал я события жизни Генриха VI-го. Посему читал я Шекспира в намерении хорошо представить себе события исторические. Я увидел у Шекспира главные лица того времени в действии; они разыгрывали свои роли предо мною; я узнавал их нравы, их желания, их страсти: они все мне рассказали, и я забыл, что читал трагедию; я думал, что со мною говорит историк, и сказал себе: «Для чего наши историки не пишут таким образом? Как подобная мысль доньше никому не пришла в голову?»

Правда, история научает нас знать события, но научает холодно, потому, что она умеет только *рассказывать* и часто рассказывает смешанно, какой бы порядок ни принял историк, ибо он недоволен живёт с событиями: одно дело гонит у него другое и каждое лицо уже бежит от нас, едва мы его завидели. В трагедии нашей (французской) другая погрешность, столь же невыгодная для желающего научиться истории, погрешность, которую, довольно справедливо однако ж, трагедия принимает за главное свое правило. Она изображает одно, *главное* действие и, как живопись, схватывает *одно* мгновение. В самом деле, это тайна трагедии, посредством коей возбуждает она участие наше. Это участие охладело бы, если б воображение наше повести по многим, различным действиям. Таким образом, история холодно, в сравнении с трагедией, изображает длинный и верный ряд событий, а трагедия, пустая, без события, в сравнении с историею, резко пишет одно действие, которое взялась изобразить. Для чего не попытаются соединить их? Не выйдет ли из соединения их чего-нибудь приятного и полезного?»

Сквозь ошибки теории видите ли *мысль нашего века*, изъясненную Барантом? А это писал, лет девяносто тому, под ферулою французского классицизма, старый президент Гено *!

* Сочинитель Хронологических таблиц французской истории, умерший в 1770 году.

Чит. Как? неужели? Во Франции! За 90 лет!

Соч. И мысль Гено первый привел в исполнение, в наше время, Вите. Издавая свои «Баррикады», вот что он говорил:

«Это не театральная пьеса; это исторические события, представленные под формою драмы, но без требования на драму.

Воображаю себе, что я хожу по Парижу, в мае 1588 года, в буйный день баррикад и в предшествовавшие оному дни; что я попеременно, то в залах Лувра, то во дворце Гиза, то в парижском шинке, то в домах граждан, лигистов и гугенотов. Каждый раз, видя живописную сцену, картину нравов, замечая черту характера, я стараюсь схватить их очерки и изобразить их, составляя сцену. Понятно, что из этого выйдет ряд портретов, или, говоря технически — *этюдов, абрисов*, которые, кроме сходства с существенностью, ни на что другое не имеют права.

Но сии сцены не совсем и раздельны; они образуют нечто целое: есть действие, к развитию коего все они стремятся; но это действие находится тут для того только, чтобы представить нам сцены и связать их. Если бы, напротив, я сочинял драму, то надобно бы прежде всего думать о ходе действия; жертвовать, для оживления оно-го, живописью множества подробностей и частей; возбуждать любопытство задержкою, ставя выпуклее несколько главных лиц, главных событий, на счет других, и показывая остальное в сплошной перспективе. Я почел за лучшее — изображать все так, как я нашел, выводить на первые места всех людей и все события, по мере того, как они мне представляются, ничего не уравнивая и часто перерывая действия разговорами, эпизодами, как это бывает в действительной жизни. Менее хочу возбуждать занимательности, для того, чтобы срисовывать вернее» *.

Вот мысль, вследствие которой явились в наше время *исторические сцены* (*Scènes Historiques*).

Чит. Но если вы замечаете ошибку в Барантовском романизме истории, то, мне кажется, здесь та же ошибка. Зачем сбивать старую теорию? Пишите историю, пишите драму, пишите роман. На месте Вите я творил бы по-шекспировски, а вместо ваших *былей* сочинял *исторические романы*.

* Les Barricades, Предисловие.

Соч. Дай Бог нам ошибок, подобных «Нёйльским вечерам», «Театру Клары Газуль», «Баррикадам», «Смерти Генриха III», «Государственным чинам в Блуа», и таких погрешностей в теории, которые были бы подобны очеркам Вите, Мериме, Фонжере*. — Я охотно соглашусь на отступление от классической элегии и эклоги, пусть только будет оно так же хорошо, как изобретенные Немцевичем «Думы» и «Селянки» Трембецкого**. *Исторический роман* — легко сказать!.. Я не так самолюбив: объявляю менее и от меня потребуют менее.

После нескольких небольших опытов, помещенных в «Телеграфе» и разных альманахах***, вот первый опыт *русских былей*, несколько обширнее. Я выбрал для сего время *второй четверти XV-го века*. Вспомните исторические подробности. На престол московский восходит Василий Темный, внук Димитрия Донского, сын Василия Димитриевича, укрепителя единовластия в Руси. Это минута решительного перелома: падения татарской власти, падения удельной системы, начала единодержавия. За Василием следовал уже великий Иоанн III. Время, мною выбранное, есть время сильных характеров, резких черт, которыми ознаменовываются последние усилия татар, князей и Новгорода против тяготеющей над ними власти Москвы и новой системы государственного и общественного устройства. Взор наблюдателя в то же время не опечаливается слишком резкою мрачностью картин

* К сожалению, ни одно из этих прекрасных явлений, коими ознаменовывается *перерождение* французской драмы в наше время, донные неизвестно русской публике и она должна верить на слово.

Под именем «Нёйльских вечеров» (Les soirées de Neuilly) издали свое собрание пьес, взятых из современной истории и современных нравов, Каве и Диттмер, псевдонимически назвавшись: *Фонжере*. Мериме напечатал свои драматические пьесы под вымышленным именем Глары Газуль (Théâtre de Clara Hazul). Вите изобразил историю лиги в трех драматических пьесах: «Les Barricades», «Les Etats de Blois» и «La mort de Henri III» («День баррикад», «Государственные чины в Блуа» и «Смерть Генриха III»).

** Опыты «Дум», в подражание Немцевичу, являлись и на русском языке. О «Селянках» см. в «Телеграфе», некрологию Трембецкого.

*** Мне приходила в голову смелая мысль: всю историю русскую XVII, XVIII и XIX веков изобразить в виде подробной исторической повести. Имея образец в сочинении Баранта, которого «Историю герцогов Бургундских» можно назвать *романическою историею*, человек с дарованием и обширным знанием Руси мог бы создать творение великое и прекрасное, которое живописью, разнообразием и глубиною далеко превзошло бы сочинение Баранта. Чувствуя недостаток сил и сведений, я отказался от такого подвига.

и изображением отчаянных усилий человека в дни бедствий, подобных нашествию монголов или падению Царьграда. Уже Литва не страшит московского князя; уже татары не кажутся грозными властителями.

Воображаю себе, что с 1433-го по 1441-й год я живу в Руси, вижу главные лица, слышу их разговоры, перехожу из хижины подмосковного мужика в Кремлевский терем, из Собора Успенского на новгородское вече, записываю, схватываю черты быта, характеров, речи, слова и все излагаю в последовательном порядке, как что было, как одно за другим следовало: это *история в лицах*; романа нет; завязка и развязка не мои. Прочь торжественные сцены, декламации и все *coups de théâtre*! Пусть все живет, действует и говорит, как оно жило, действовало и говорило...

Чит. То есть, как могло жить, действовать и говорить, ибо не в самом же деле с природы списываете вы XV век, через 400 лет, в XIX столетии?

Соч. Знаете ли, что в *настоящем* нам гораздо труднее знать и описывать, нежели в *прошедшем*? Труд надобен большой, но есть возможность совершенно *перенести себя в прошедшее* и хорошо понять его. Вот здесь-то необходимо потребны *высший патриотизм и высшие взгляды*, которые, соединясь с мелким изучением местностей и подробностей, могут верно *прообразить* нам *прошедшее*, давно оконченное, ибо исповедь веков уже ничего не закрывает от зоркого, испытательного глаза. Люди *сказали* все, что видели, слышали, чувствовали, а время, на гробах действователей, *досказало* эпилог жизни их и общества их. «Прейде позорище, братие!» — дописано — открывайте занавес и смотрите! Воображайте, что я, директор русского театра в XV веке, обещал вам представить: *Комедию о том, как Василий Косой и брат его Димитрий Шемяка поссорились на свадебном пире с Великим князем Василием Васильевичем Темным, в 1433-м году, и о том, что из того воспоследовало* — не более! Мое дело обставить сцену надлежащими декорациями и одеть актеров. Ваше — взять мою книгу, перейти мысленно в XV век и читать *русскую быль*. Понравится, полюбуется она, что вам за дело — исторический ли это роман, *исторические* ли сцены? Было бы верно, дополняло бы историю и увлекало вас.

Чит. Вы возбуждаете мое любопытство. Боюсь только, что, лишенные романизма, ваши были будут сухи и холодны.

Соч. Это будет уже моя непростительная вина, ибо никакая *выдумка* романиста не сравнится с романом *бытия действительного*, и никакой Шекспир и В. Скотт не скажут нам того, что говорит *человек* и что высказывает нам *жизнь его*.

Чит. Но — еще одно сомнение — верить ли всему, что вы расскажете нам? Ведь вы говорите: *быль*, а может быть, все это будет *выдумка*?

Соч. Помните ли вы анекдот о Суворове? Старик терпеть не мог слова: *не знаю*. Он сердился, бранился, называл за это *немогузнайками*. Все это знали и никогда не говорили ему ужасного: *не знаю*. Идет Суворов мимо солдата стоящего на часах, ночью или поздним вечером. Небо было ясное, тысячи звезд сверкали на голубом пространстве. Суворов остановился, поглядел на солдата и вдруг спросил: «Знаешь ли ты, сколько звезд на небе?» — «Знаю!» — бодро отвечал солдат. «Сколько же?» — «Сто пятнадцать тысяч четыреста семьдесят две». — «Врешь!» — «Извольте перечесать сами; русский солдат не врет». — Суворов отскочил, снял шляпу, низко поклонился солдату и пошел, говоря свое любимое: «Хорошо, помилуй Бог, хорошо!» Так и я говорю вам: *быль*; вы *не верите*. — За чем же стало. *Поверьте* меня...

Чит. Хорошо сказано, по-суворовски!

Соч. Уже и та польза будет, что кто станет поверять меня, тот должен думать, обдумывать, соображать, учиться отечественной истории, изучать Русь настоящую и прежнюю. Мне кажется, что в России заставить кого-нибудь *думать и учиться* — важная услуга!

Чит. Однако ж, для староверов, вам надобно бы подкрепить мнения свои каким-нибудь *старым* и сильным авторитетом.

Соч. Почему ж и нет? Припомним только Александра Петровича Сумарокова, *действительного статского советника, ордена Св. Анны кавалера и Лейпцигского ученого собрания члена*. Он говорил:

Слагай, к чему влечет тебя твоя природа,
Лишь просвещение, писатель, дай уму! *

Или Михаила Матвеевича Хераскова, *действительно-го тайного советника, члена разных ученых обществ, Московского университета куратора и кавалера разных орденов*. Он говорил:

* *Соч. Сумарокова «Эпистола к российским стихотворцам».*

Во слогах вольный ход поэтам не заказан;
Как новых стран искал Колумб, преплыв моря,
Так новых ищем мы идей, везде паря.*

Чит. Довольно; я с вами согласен во всем, но — слушаем, что скажут другие!

Соч. Примите в заключение добрый совет: *живите своим умом*. Что вам любо, любите, что не любо, не любите, не дожидаясь чужого мнения. Пора, пора опровергать справедливую пословицу, что *русак задним только умом крепок...*

Н. Полевой

* Поэма Хераскова «Пилигримы, или Искатели счастья» (См. «Творения М. Хераскова», т. VII).

Глава I

*Воет сыр-бор за горою,
Метелица в поле;
Встала буря, непогода,
Запала дорога...*

Мерзляков

«Экая метель и выюга: света Божьего не видно!» — сказал старик, входя в избу и отряхивая с шапки своей снег, примерзнувший хлопьями.

— Добро пожаловать, — отвечал хозяин, слезая с печи, — здесь обогреешься и отдохнешь с дороги.

Старик остановился посреди обширной избы, взглянул в передний угол, где на деревянной полочке стояли иконы и теплилась маленькая лампадка, перекрестился три раза, поклонился на все стороны и, оборотясь к хозяину с поклоном, проговорил: «Здравствуй, хозяин!»

— Добро пожаловать, — повторил опять хозяин, — аль проезжие?

«Пусти ночевать, добрый человек», — продолжал старик, оттаивая руками длинную свою седую бороду.

— Рады гостям. Много ли вас?

«Пятеро».

— Куда Бог несет? Аль в Москву?

«В Москву, родимый. Хотели доплестись до Петрухиной, да такая курá — падает и мерзнет...»

— Что за дорога в эдакую метель! сгинешь ни за что! У нас про вашу милость все спасено, — говорил хозяин, стаскивая с палатей овчинный нагольный тулуп и надевая его. — А откуда Бог несет? — спросил он, зажигая длинную, сухую лучину.

«Из Ярославля. Возем рыбу в Москву. Говорят: там теперь она в цене».

— Бог цену строит; да как и не бывать ценам: чай наехало в Москву народу гибель; ведь теперь дело праздничное, да и веселье княжеское...

Так разговаривая, хозяин и приезжий пошли из избы. Сильный ветер хлынул в дверь, когда они растворили ее. Заслонив полою тулупа лучину, хозяин светил старику, говоря: «Зги не видать! Экую Бог дал погоду!» — шел к воротам.

Работник хозяина, почесываясь, брел по двору с большим ключом. «Пусти проезжих, да дай сена и овса», — сказал ему хозяин. Молчаливое исполнение было ответом,

Широкое, во все ворота, полотно закрипело на деревянных петлях и отворилось. Пять возов, закрытых рогожами, въехали на двор и остановились под соломенным навесом, которым огорожен был со всех сторон двор хозяина. Проводники с трудом распрягли лошадей измёрзшими руками и от времени до времени бранили смиренных животных. Между тем словоохотный хозяин стоял подле приезжих и уверял их, что у него кадушка для овса новгородская, сено хорошее, луговое, и на ужин щи со свежиною, каши сколько съешь и пироги с капустою. «Доброе дело, благословенное дело! — отвечал старик. — Скажем спасибо хозяину и хозяйшке поклон положим».

— Уж эта Москва, все шепетко ходит, — ворчал длинный, сухопарый товарищ старика, — в пирогах-то, чай, хоть выпись, а в щах и неводом ничего не поймашь, не только ложкою.

«Что, товарищ, что?» — подхватил хозяин, подходя к нему, и, видя неповоротливость лошади его, махнул полою тулупа своего, прикрикнув: «Ну, кормилица! вишь, как упарилась!»

— Да, упаришься, хозяин, — отвечал старик, свертывая веревку, служившую ему вместо вожжей, и вскидывая ее на воз.

«Хозяин! ты видно двора-то не топишь!» — заворчал опять сухощавый.

— Топлю, да не нагревается, — отвечал хозяин, смеясь.

«Да как и нагреться: смотри, какие у тебя лазей в навесе-то, — возразил сухощавый, — бык пролезет».

В самом деле, соломенный навес, которым около плетня обнесен был кругом весь двор, во многих местах обвалился; гнилая солома едва держалась в других местах; снег веяло во двор, и груды его намело под навесом.

— Да вот все собираюсь строиться, — отвечал хозяин, — и не хочется уж поправлять старого.

«Кто кладет заплату на ветхую ризу! — усмехнувшись, прибавил старик. — Прoderется, и горше старого дыра будет».

В это время вступили в разговор другие товарищи старика, до сих пор молчавшие. — «Хозяин! где же поставить лошадей? Нигде места нет!»

— Как нет? Да вот тут к колоде.

«Да смотри, какой сугроб, они околеют у твоей колоды».

— Что за сугроб! — воскликнул хозяин и пошел показать, что снег не глубокий; но едва ступил туда, как ушел по колени в снег. Не теряя бодрости — настоящий русский человек — оборотился он назад и прибавил: — Ничего, лошадки пообомнут, да еще лучше поедят.

В нерешительности остановились приезжие; но старик между тем подтащил сани к хлеву и растягивал хребтук между оглоблями, приговаривая: «Господи, благослови!»

Тут услышали шум подле закутки, где лежало сено. «Давай еще! — запальчиво говорил кто-то. — Ведь не даром у тебя берут, так и ты меряй по-христиански».

— Что, что там? Ась? — проговорил скоро хозяин и пошел к тому месту, где шумели.

«Видно, Еремку-то обмерять хочет москвич, — сказал сухощавый. — Уж нечего сказать: сенишко, что твоя осока, и то меряют, словно брагу добрую, с пеной».

— И, брат Гриша, — отвечал старик, — стольный град: на мощеной дорожке и хлеб плохо родится; одних бояр московских не перечтешь, а всякий есть хочет; так нашему брату, мужичку, и плоха разжива — покривишь душу поневолее...

«Полно, даст ли себя москвич в обиду: жиды обманет и цыгана проведет! Недаром идет пословица, что Москва бьет с носка».

— Не осуждай, да не осужден будешь, брат Гриша! Подумаем о своих грехах... Ну, ну, мать родная! шевелись! Эх, Гнедко! устарел я, устарел и ты, а то-то был конь добрый... У старого коня, видно, не по старому хода.

«Что теперь доброго на белом свете остается... — ворчал с досадою Гриша. — Наше времечко не вашему чета, дедушка Матвей! Прежде и люди-то жили подолее, да и души-то у них были посветлее».

— Что за молодежь такая стала, Божьи вы дети! — смеясь отвечал старик. — Время все одно, и люди все одни и те же. Доживешь до седых волос, так при тебе станут жаловаться на тогдешнее, а хвалить твое, нынешнее, время. Так уж белый свет ведется...

В это время торжественно шел к ним хозяин. Его поворотливый язык успел уже кончить все затруднения между работником его и товарищами дедушки Матвея. Товарищи старика шли с веревчатыми плетушками, набитыми сеном.

— Что у вас там было? — спросил сухощавый Гриша.

«Видишь: сено не нравится, *не хорошо*, говорит, а посмотри какое уедчивое. В убыток, правое слово, в убыток!» — отвечал скороговоркою хозяин.

Молчаливо задавали лошадям своим сено приезжие. Хозяин махал руками, иззябнувшими от сильной стужи, и не переставал говорить: «Нет, братцы-ребятушки, уж если у меня подмен да обвес, так где и правды искать. Просим и напередки жаловать к Пимену Пантелееву! Нас, слава те, Господи! добрый люди не по один год жалуют, да и бояре не объезжают. Вот о Семенове дни минет двенадцатый год, как отец покойник (дай ему Бог царство небесное!) застроил этот дом, да сколько хлеба-соли едали в нем добрые люди, с благословением! Ведь у нас Москва недалеко: чуть что, так и туда... Калач не успеет остынуть, как здесь очутится...»

На улице снова слышался скрип полозьев по снегу и крик на утомленных лошадей. Хозяин поспешил за ворота; но едва выглянул, и опять спрятался поспешно, задвинув ворота засовом.

— Пусти ночевать, эй ты, кто тут! — закричали охриплым голосом с улицы.

«Места нет, кормилец!» — отвечал хозяин сквозь ворота.

Удар дубиною в ворота был приветствием на ответ. Ругательства раздались затем, и снова хриплый голос требовал ночлега.

«Ступай к соседу: у него просторно и светло, у меня тесно и холодно...»

— А вот я тебя разогрею с правого угла, окаянная собака!

«Эх, родимый! ну что проку будет... Слушай!» — Хозяин что-то шептал сквозь затворенные ворота; с улицы голос говорил тише и тише.

— Что он там, колдует что ли? — спросил Гриша у старика, который сомнительно стоял посреди двора и, сквозь порывы выюги и метели, прислушивался к разговорам хозяина.

«Нишкни! — отвечал старик, поднимая рукавицы свои с земли, — казенный обоз, прости нас, Господи! разве не слышишь?» Гриша и товарищи его разинули рты и выпучили глаза.

Скрип и шум снова раздались на улице. С радостным восклицанием: «Провалился!» — хозяин шел к приезжим.

— Как ты отнекался от него, добрый человек? — спросил дедушка Матвей.

«Вестимо как: поплатился».

— С нас и сдерет! — заворчал Гриша. — Хоть бы деньги-то пошли в княжескую казну, а то какой-нибудь обдирало, пристав, берет себе подать с православных, а они друг на друге вымещают.

«Прикуси язык, Григорий», — пробормотал дедушка Матвей. Все пошли за хозяином. Изба, в которую вступили хозяин и гости, была обширная, четырехугольная хоромина, у которой в середине одной из бревенчатых ее стен прорублены были низкие двери; днем освещалась она двумя небольшими окошками на улицу, прямо против дверей бывшими, снаружи украшенными грубою резьбою и раскрашенными, отчего и назывались они *красными*; третье, маленькое, продолговатое отверстие, задвигалось доскою и составляло так называемое *волоковое* окно. Огромная печь, безобразная громада кирпичей и глины, занимала левый угол от самых дверей и доходила до половины избы. На правой стороне от дверей, выше печи, были положены доски на перекладинах и прибиты гвоздями; это называл хозяин: *полати*. Под ними, на земле, был помост, уложенный измятою запачканною соломой; вокруг трех стен были устроены лавки. Огромный стол, с выдвигною сбоку доскою, придвинут был в переднем углу к лавкам, под самые иконы. Ящичек с солью, фигурно вырезанный, и жбан, с опущенным в него деревянным ковшом, составляли украшение стола. То и другое было когда-то выкрашено, но краска была уже не видна от частого употребления. Другой угол против печи отделялся запачканною занавескою, за которою настлано было несколько досок. Пол всей избы составляла крепко убитая земля, сырая от снега, нанесенного на ногах и растаявшего. Окошки затекли льдом, ибо в избе было холодно и сыро. Потолок и стены ее были закоптелые, черные, потому что печь была без трубы. Когда топили ее, дым шел в обширное отверстие печи, расстилался облаком по избе и выходил в двери, которые на тот раз всегда отворяли, даже в самый жестокий мороз. Обитатели во время топленья печи лежали на лавках, чтобы не задохнуться, или уходили из избы. Топленье было обыкновенно поутру; тогда варили кушанье и запасались теплом на целые сутки, закрывая потом печь, которая, разогревшись, делала в избе два разные климата: на полатах и на печи был ужасный жар, внизу холод, так что мороз, снеговыми, курчавыми полосами выходивший сквозь стены, оставался целую зиму не тающим, как снега на вершинах Кавказа.

В избе, кроме хозяина, жены его, матери-старухи и детей, жили и мелкие домашние животные, свиньи, телята: им предоставлен был помост под полатами, и дерзкий теленок, прыгнувший с помоста, принуждаем был опять криком хозяйки или ударом ухвата снова убираться в свое отделение. Только космополит-кот имел право занимать место, где ему угодно. По приходе гостей он прыгнул со стола и сел в лукошко, висевшее на веревках, прицепленных к длинной палке: это была люлька, где укачивали ребенка; но теперь была она пуста: все дети хозяина спали на печи, в углу, на изорванном войлоке.

Такое убежище дедушки Матвея от вьюги и метели освещалось *светцом*, лучиною, воткнутою в железную скобу. Неопрятная, в испачканной шубе хозяйка и старуха, мать хозяина, сидели подле светца, пряли с одного гребня и переменяли лучину, когда она догорала, зажигая новую, которую брали из кучки готовых лучин, подле них лежавшей. Остатки прежней бросали на землю и она дымилась и чадила.

Не великолепно было убежище, но неопрятность и бедность его не удивляли, казалось, приезжих. Они спокойно отряхивали с себя снег, молились, кланялись хозяйке. На приветствие: «Бог на помощь!» — ласково выговоренное дедушкою Матвеем, хозяйка, до тех пор молчаливо занятая своею работою, встала, поклонилась в пояс гостям и покорным голосом проговорила: «Благодарствую, добрый человек! добро пожаловать!»

— Ну, баба! поворачивайся, угощай гостей: что есть в печи, все на стол мечи! — загремел хозяин. Он успел уже скинуть тулуп, остался в каком-то полушубке и ставил мелом на закопченной стене метку о количестве сена и овса, взятого приезжими.

«Да, благословленная хозяйюшка, — говорил дедушка Матвей, распоясываясь и отряхивая снег, — ты, конечно, не заставишь нас зубы в мошню спрятать, а задашь им работу. Кто протащился верст десятка два, не на подрядной, а на своей паре, тому надобно покормить вот этого дурака!» — он ударил себя по довольно огромному своему брюху.

Неутомимый хозяин, отодвигая в это время стол от лавки, успевал говорить со всеми, кричать на жену и не пропустил отвечать на прибаутку старика.

— Э, приятель! да неужели у вас в Ярославле только по одной паре ног дается каждому, и то на всю жизнь?

«А у вас в Москве разве по четыре ноги у каждого?» — спросил старик.

Все захохотали, хозяин тоже, но он оправился и отвечал без замешательства: «Нет, не по четыре, а по шести: у каждого москвича есть лошадка, а как он сядет на нее, так у него две, да у лошади четыре, ан шесть».

— А правда ли, — спросил Григорий, — что зато у шести москвичей один зипун?

«Всяко случается; да ведь у нас такие широкие шьют, что шестеро завернутся, да еще место останется».

— Не этого ли места доспрашивался у тебя давешний казенный обоз? — спросил дедушка Матвей, залезая за стол в передний угол. Он успел уже скинуть свой тулуп, растянул его на полатях и повесил опояску на стенку. В суконном синем полукафтани своем, с широкою, седою, как лунь, бородою, плешивою головою, которую покрывало немного волосов, с светлым, красным, свежим лицом, оживленным добротою и умом, дедушка Матвей внушал невольное почтение окружающим. Садясь за стол, он благоговейно сделал несколько поклонов перед иконами, творя молитву. Потом оправил он свою бороду и пригладил голову. Видно было из всего, и из уважения к нему товарищей, что это богатый старик.

Товарищи его, одни не скидали тулупов, другие, скинув, остались в изорванных зипунишках. Глупое бесчувствие видно было на лицах их, прикрытых густыми, рыжеватыми и льняного цвета волосами. Только один Григорий отличался какою-то злобною усмешкою и как будто беспрестанно искал случая зассориться.

— Уж эти нам казенные обозы, — сказал хозяин, выгаскивая огромную ковригу хлеба из запачканного ящика лавки. — Не князья, не бояре съедают нас, а вот эта мелкота. Дубина у нее в руках, словно грамота на добро всякого православного.

«Да разве у вас худо смотрят за ними? Нет, вот у нашего князя Александра Феодоровича не слишком-то смеют они вольничать да поборничать».

— И у нас не велено им озорничать; да где, дедушка, суда сыщешь? До Бога высоко, до князя далеко! Пробьешь лоб поклонами, пока добьешься до правды. — В это время хозяин резал большим ножом толстые ломти хлеба, во всю ковригу, и складывал их на столе перед стариком.

Дедушка Матвей бормотал что-то вполголоса. Можно было только расслушать текст Святого Писания: «Горе земле, в ней же князь юн!»

Хозяйка не вмешивалась в разговоры, но усердно хозяйничала. Крестьясь при каждом деле, творя молитвы при каждом порыве бури и вьюги, колеблющем углы дома, она разостлала замаранный столечник на стол, поставила большой деревянный кружок, положила два ножа и пять грубо сделанных деревянных ложек, или продолговатых ковшиков, с длинными ручками. Наконец пошла она к печи. Взоры приезжих следовали за ее движениями, как будто нетерпеливо хотели узнать, что явится из этого убежища съестных припасов. Но хотя хозяин наговорил много об изобилии ужина, хозяйка, света в печь лучиною, искала, казалось, с большим затруднением, какого-нибудь одинокого горшка, в углу ее стоявшего. Вскоре однако ж горшок нашелся. В огромную деревянную чашу налиты были щи из горшка; на кружок положена какая-то мостолыга, весьма скудная мясом. «Кушайте на здоровье, добрые люди!» — сказала хозяйка, кланяясь.

Осмотревшись кругом и видя, что хозяин ушел куда-то, Григорий проворчал, косо взглянув на дедушку Матвея: «Жиденьки щи-то! Хоть дубиной ударь, так пузырь не вскочет...»

Дедушка Матвей улыбнулся, взял ломоть хлеба, переломил его надвое; из одной половины ломтя два крепкие ряда зубов старика выкроили полукруг; с прибавлением щей в несколько минут в руках его исчез ломоть хлеба. «Ну, братия! приударьте-ка в свои костыльки!» — сказал он при начале; товарищи последовали его примеру: началась работа; тишина нарушалась стуком ложек, которые, сквозь вьющийся над чашею щей пар, казались орудиями истребления. Работа была столь усердна, что пот выступил на лбах работавших и лица их сделались красны, как свекла.

Мы забыли было сказать, что это производительное истребление припасов хозяйки освещалось уже не лучиною, но грубым светильником особого рода, который, кажется, светит без перемены через века, начиная с кровавых пиршеств скифских дикарей до нынешних скудных крестьянских обедов. Ужин дедушки Матвея и его товарищей освещал точно такой вековой светильник. Это было плоское, глиняное блюдечко, утвержденное на деревянной долбешке, налитое салом и жиром всякого рода; опущенный в него длинный, узенький лоскуток холстины,

круто свитый, придвинут был к краешку блюбочка и зажжен. Все это называлось *жирником*. Искусство поддерживать ровный свет от жирника надобно было немалое; должно было беспрестанно поправлять его, то выдвигая из жира, то вдвигая в жир лоскуток холстины, который или делался темен от нагара, или пылал слишком ярким огнем. Дедушка Матвей, казалось, знал это искусство в совершенстве. Когда чаша щей опустела и Григорий начал резать мясо с мостолыги, а потом крошить его в куски, на деревянном кружке, в два ножа, дедушка Матвей утер пот рукавом рубашки и занялся исправлением жирника, едва не угасшего от грубой поправки его товарищей. Разговор, пока все они ели, состоял из отрывистых речей, намекавших, то на дорожные их приключения, то на лошадей, то на цену рыбы в Москве. Разговор этот был непонятен постороннему, испещренный собственными именами: *дядя Андрей, Еремка, Сидорка, Гришуха, Пафнутьевна, Козел, Гнедко*. — «А что, кормилица, — сказал вдруг дедушка Матвей, оборотясь к хозяйке, — много едет в Москву обоза с рыбою?»

— А Бог весть, родимый, — отвечала хозяйка, положив на стол два черствых пирога и поставив горшок крутой каши. Пироги состояли каждый из большого, надвое перегнутого, хлебного пласта. Горшок с кашею был огромный, и большая яма в затверделой почве каши доказывала, что уже дня три тому был этот горшок из печи и много народу принималось после того питаться твердою его почвою. Кружок с искрошенным мясом посыпан был щепоткою соли; собеседники начали брать куски мяса пальцами, разломив пироги, по цвету и вкусу которых трудно было догадаться: пшеничные или ржаные они были? Заедая слова пирогом, дедушка Матвей продолжал разговор с хозяйкою.

«А что, не останавливался у вас в деревне воевода ростовский? Кажись, он здесь хотел ночевать».

— А кто ж его знает.

«Давно ли прошли здесь свадебные обозы нашего ярославского князя?»

— Не ведаю, родимый! — отвечала хозяйка, вертя веретено и подняв глаза на дедушку Матвея с совершенным бесчувствием. Старуха, сидевшая подле хозяйки и прявшая беспрерывно, с самого приезда гостей, во все время не говорила ни слова. Казалось, что иногда в этом остатке костей и жил, совершенно лишенном мяса, возбуждалось желание что-нибудь сказать; но усилие окан-

чивалось кашлем, который не приводил однако ж в движение глубоких складок грубой, медного цвета кожи, присохшей к костям на лице старухи. Можно было видеть, что сии складки положили на лице ее заботы мелочные о вещественном существовании, труды телесные, скорби тяжкие и нужды. Складки сии не выставлялись резкими, ломаными чертами — могилами страстей; но были похожи на слои в пне дерева, из которых каждый означает только год его физического существования. Глаза старухи, подобясь двум оловянным кружкам, глубоко укатились в глазные впадины, как будто боясь глядеть на свет, где так много времени означено было для них только единообразным зрелищем бедной, заботливой жизни и нужд непрерывных. Но звучный голос дедушки Матвея, казалось, произвел наконец действие, хотя не голоса, но эха в груди старухи. С сильным кашлем выкатились у нее изо рта слова: «Эх, кормилец! наше бабье дело: где нам все это знать!»

Дедушка Матвей встал в это время из-за стола, молился, оставя других доедать кашу, которую наполнена была огромная чашка вровень с краями и полита квасом. Поклонившись на все стороны, с словами: «За хлеб, за соль благодарствую, православные», — он отвечал старухе: «И вестимо, бабушка! Кто больше нас знает, тому и книги в руки, а худо, когда курица петухом поет и баба много ведает».

«Что, дружище, — сказал он потом хозяину, который в это время вошел в избу, со своим работником, — лучше ли на дворе?»

— Кажись, вывездило с востока, — отвечал хозяин, — а все еще метет да кутит.

Ужин был уже в это время кончен. «Сбирай-ка ты со стола, баба-бабарица! — воскликнул хозяин жене своей. — К нам еще редкий гость приехал».

— А кто? Из Москвы? — спросил дедушка Матвей, надевая тулуп свой.

«Знакомый человек, — отвечал таинственно хозяин. — Он не будет лишний: добрый человек никогда лишним не бывает». Подобными апофегами многие любят заключать свои речи.

— Вестимо! — промолвил дедушка Матвей. — Ну, братия! пойдем-ка мы напоить лошадей, да пора и на печку; старая спина назяблась, надобно ее пораспарить.

Не подпоясавшись, надев тулупы нараспашку, пошли все приезжие из избы.

Глава II

*'На пасмурном его челе
Сидит глубока дума в мгле.*

Державин

— Скорее, живее! — Так понукал жену свою хозяин, обмахивая лавки полою своего тулупа.

«А кто ж это приехал? Да куда поздно!» — проговорила хозяйка, сметая со стола крошки замаранною тряпичею.

— Ну, молчи, коли не спрашивают! — вскричал хозяин.

Но женщины всегда и везде женщины. И на этот раз любопытство хозяйки доказало, что, несмотря на вечное безмолвие в присутствии мужа, она не совсем была лишена благородного побуждения: *знать*, чем отличается человек от животного. Работник стоял за занавескою. Как собачонка, обнюхивая объедки ужина приезжих, он нашел корки хлеба и жевал их, с размаха пощелкивая зубами и кряхтя от холода. Быв почти целый день на морозе, он пришел в состояние какой-то окоченелости: не мерз, не зяб, а креп только, имел способность двигаться и говорить, но думать и размышлять уже не мог.

Шепот хозяйки показывал, что она расспрашивает его о новых приезжих.

«А Бог знает! — отвечал хриповатым полуголосом работник. — Трое; одного-то, как-то раз я видел. Помнишь, когда о радунице проезжал он... Боярский дворецкий что ль...»

— А, э! — пресворчала хозяйка, — да, тот милостивый человек...

«Ну! да; да какой же он здоровенный!»

Этот разговор был прерван приходом двух людей, которых хозяин встречал в сенях, кланяясь непрерывно и говоря: «Милости прошаем! Да за ваше незабъе и Бог вам заплатит, что не забыли нашего двора...»

Человек, к которому относились сии слова, был высокого роста, красный от холода, с курчавою рыжею бородою, плотный и, по-видимому, силы необычайной. За ним шел старик, худенький, невысокий, с жидкою седою бородою. Оба новые приезжие по одежде походили на купцов и казались одного звания. Волчьи шубы их были покрыты сукном, высокие шапки их были из лисьего меха, огромные теплые сапоги надеты были на их ноги.

Приветствия хозяина не обратили на него никакого внимания старика. Он мимоходом перекрестился, распоясался и сел на лавку молча.

Товарищ его, горделиво, промолвил *спасибо* хозяину и просил поскорее задать овса их лошадям.

— Иду, милостивец мой! — отвечал хозяин, — да не прикажешь ли чего еще?

«Ничего, ничего! Мы только дадим съесть кадушку овса лошадям и тотчас поедем! Лошади умучились по этой окаянной дороге...»

— Да куда это, батюшка, Бог несет? — робко спросил хозяин.

«Куда глаза глядят... Ступай-ка, ступай!»

— А боярин-то Иоанн Димитриевич здравствует ли — дай ему Бог здоровья и долгие веки?

«Здравствует, здравствует! Ступай же, приятель».

— Ну, слава тебе, Господи! Иду, иду!... Ох! ты, мой милостивый благодетель и попечитель, и благодетель...

Последние слова произнесены были уже за дверьми. Работник поплелся за хозяином. Старуха убралась в это время на печь. Хозяйка выставилась из-за своей занавески и низко поклонилась. «Здорово, моя родимая!» — сказал толстяк, и она опять скрылась в свое заветное отделение.

— Кто у него тут? — сухо промолвил старик.

«Жена», — отвечивал толстяк. Недоверчивый взгляд старика, казалось, спрашивал еще о чем-то. Хозяйка, тихо глядя из-за своей занавески, удивлялась, что толстяк, всегда казавшийся ей столь великим человеком и равным старику при других, смиренно стоял перед ним, когда думал, что их никто не видит. — «Человек надежный...» — промолвил толстяк тихо. — Я давно его знаю...»

— А вozy какие у него? Что за народ? — спросил старик отрывисто.

«Крестьяне; рыбу везут в Москву».

— Чтобы скорее все скипело, смотри. Окаянная дорога! где бы мы теперь были! — Тут старик встал и начал ходить по избе. — Я иззяб; здесь холоднее надворья. Где фляжка?

«Принесу мигом!» — отвечал толстяк и бросился вон из избы

Старик продолжал ходить. Его яркие глаза обращались во все стороны. Хозяйка невольно испугалась, смотря на его сердитые движения. Тут вошел в избу дедуш-

ка Матвей. Он спокойно поклонился старику, повесил свою шапку на гвоздик и осматривал незнакомца с головы до ног. «Ну, погода!» — сказал он, как будто желая завязать разговор.

— Худа? — спросил незнакомец отрывисто. — Божья воля! Что делать! — промолвил он.

«А куда это ваша милость изволит ехать?» — спросил опять дедушка Матвей, садясь на лавку и начиная развязывать лапоть свой.

— Из Москвы едем. — Незнакомец продолжал ходить по избе.

«Сметь ли спросить вашу честь: купец, ваша милость?»

— Да, торгозой статьи.

«Благослови же вас Господи. А лошадки ваши добрые, хоть бы боярину такие».

Незнакомец не отвечал ни слова. Дедушка Матвей также замолчал, скинул лапти, расправил свои онучи и, босыми ногами пройдя по избе, отдал лапти свои хозяйке. Она открыла заслонку у печи и бросила их в печь. Не подумал бы кто-нибудь, что лаптями дедушки Матвея она хотела заменить дрова. Нет! прадедовский обычай: *сушить лапти в печи ночью*, проходивши в них день, можно видеть у наших крестьян доньше. После того дедушка Матвей принялся читать молитвы на сон грядущий, стоя перед образами.

Совершенную противоположность представляли дедушка Матвей и старик, продолжавший ходить взад и вперед по избе. Ему *не сиделось*, как говорится. Смотри на дедушку Матвея, можно было видеть, что жизнь его всегда протекала в тепле тихих ощущений души и сердца, а светлое лицо его походило на закату солнца в осенний, ясный день. Как беззаботно и доверчиво смотрел он в молитве своей на окончание дня, проведенного им в труде, и начало ночи, которую отдавал беспечному покою! Сердечная веселость оживляла его доброе, здоровое лицо, показывавшее чертами своими природный, хотя и необразованный, ум. Незнакомец был также старик, как и дедушка Матвей, — но какая старость гляделась из его сухого, морщиноватого лица — Боже великий!... Старость, заключающая собою день, бурный, как вьюга на степях приволжских, или курá в лесах сибирских! Волосы старика не белели, подобно снегу старости, упавшему на голову дедушки Матвея, но желтели, как будто желчь, выдавленная старостью из соседства сердца, разливалась по всему телу старика и виднелась

сквозь его сухие волосы. Яркий, беспокойный взор его с негодованием обращен был на все его окружавшее, когда самые неудобства бедного быта дедушка Матвей умел представить себе чем-то хорошим.

«Видно, этому купцу не хочется отдохнуть», — думал дедушка Матвей, лезя на горячую печь, расстилая на ней свое полукафтанье и готовясь спать. В это время возвратился толстяк и принес фляжку с чем-то; старик сел за стол; из дорожной сумы вынуты были серебряная маленькая чарка и белый калач. Молча налил старик чарку из фляжки, выпил, налил еще, опять выпил и, обратясь к спутнику, сказал ему по-татарски: «Пей, если хочешь».

Дедушка Матвей смотрел с печи на все движения собеседников и, разумея немного татарский язык, мог понимать, что они говорили.

«Это меня согревает, — сказал старик. — Но здесь так гадко и холодно... Настоящие скоты — со скотами и живут...»

— Добрые люди, — промолвил толстяк тихо.

«Убирайся к шайтану, с этими добрыми! Я сам им верил прежде, а теперь вижу, что Махмет-Айдар прав: все это стоит только — быть повешенным! Это бумага, на которой пиши, что хочешь. Дорого написанное, но надолго ли, когда написанному сегодня, завтра перестают верить? — Осмотрел ли ты повозку мою?»

— Все цело. Еремка стоит при ней; лошадей через час станем запрягать.

«А мой ящичек?»

— Вот он.

Старик осмотрел замочек и печать на маленьком ящичке, который толстяк подал ему. Со злобною усмешкою, он потрянул ящичком и примолвил: «О! я за него не возьму дешево... Они увидят, проклятые злодеи, что я в состоянии с ними сделать! Далеко ли до нашей подставы?»

— Верст десять.

«Какая досада, какая досада! Время течет золотое и не возвратно! Неужели лучше этого гадкого двора здесь нельзя было найти?»

— Все набито обозами. Метель загнала во все дворы множество подвод и проезжих, а после этой деревни верстах на десяти почти нет жилья. Лошади не шли — ты не велел жалеть их от самой Москвы.

«Только бы довели, хоть издохни они...»

Разговор прерван был приходом хозяина, товарищей дедушки Матвея и хозяйского работника. Почтительный вид и голос, каким говорил толстяк с неизвестным стариком, тотчас пропали. Движения его сделались свободны, голос громкий.

— А что, дядя Федор,— сказал он неизвестному старику, как будто нарочно желая показать, что он с ним ровня,— не лечь ли тебе отдохнуть. Чай, старые твои кости болят?

«Да,— отвечал старик, невольно улыбаясь,— но дорогой отдохнем лучше».— Он начал опять ходить по избе, неровными шагами.

«Хорош ты купец! — думал дедушка Матвей, лежа и соображая все им слышанное и виденное.— Бог знает, чем-то ты изволишь торговать... Уж не христианскими ли душами! А я готов голову прозакладывать, что ты не то, чем кажешься. Экая пропасть: старому человеку, да еще притворяться! Стоит ли доброго слова на старости лукавить и думать еще о чем-нибудь другом, кроме спасения души...»

Товарищи дедушки Матвея залегли на полатах и на печи. Работник хозяйский улегся подле телят и других животных, в углу, на соломе. Хозяин сел за занавескою ужинать. Толстяк положил шапку, кушак, рукавицы в головы на лавке и лег не скидая шубы своей. Разговор хозяина с толстяком не прерывался с самого прихода хозяина. Проворно работая зубами, хозяин успевал отвечать на вопросы толстяка и в то же время жевать, хлебать.

— Тебе, видно, хозяин, и уснуть-то, и поесть-то не удастся порядком? — спросил его толстяк.

«Э, милостивец ты мой, благодетель! Сон наш соловинный, ходя наешься, стоя выспишься. Была бы работишка. Теперь-таки, слава тебе, Господи! проезжих много...»

— Да, что ты не пообстроишь избы-то понаряднее?

«В наше ли время, милостивец, думать о постройке.— Живешь день за днем, только бы прожить. Того и смотри...»

— А что: *смотри*?

«Да то, благодетель, милостивец, что ваше дело не то, что наше крестьянское: нам много не приходится говорить; да и что мы знаем! Мало ли что народ болтает, всему ли верить станешь...»

— А коли не веришь, так о чем же и забота тебе?

«Мало ли что — не заботился бы; но ведь, когда туча

Божья над головою, так все равно, боярин ли, крестьянин ли, а боятся вместе, чтобы гром не грянул».

— Полно, приятель, не все ли тебе равно, чтобы ни сделалось? Уж конечно, тебе хуже не будет.

«Бог весть! При худе худо, а без худа и того хуже».

— Что же ты разумеешь под *худом*, без которого будет *хуже*?

«Да что, милостивец, мои слова не с разума говорятся, а так, что ветер нанесет. Вам в Москве больше нашего знакомо бывает...»

— О, в Москве большие чудеса подеялись в последнее время!

«Неужто и в самом деле? — воскликнул хозяин. — Вот недаром же мне сказывали!» — Голос его показывал нетерпеливое любопытство.

— Вот видишь: по Красной площади в Кремле шел козел с козою, а по Балчугу петух с курицею и разговаривали промеж себя: «Что, дескать, ныне за время такое нашло: зимой снег идет, а летом дождь каплет, а помотришь — все вода да вода...»

Тут задумчивый старик засмеялся в первый раз, проговоривши: «Экий шут!» Хозяин, с полуоскорбленным ожиданием, также засмеялся.

«Шутить все изволишь, милостивец!» — сказал он.

— Вот еще: шутить! Какие шутки! Разве ты этому не веришь?

Хозяин прокашлялся с самонадеянностью, как будто давая знать, что и ему кое-что известно и что московские знатные люди не должны себе воображать их брата, мужика, человеком ничего не понимающим и не знающим.

«Нет, милостивец, — сказал он, — просим прощения, а не во гнев вашей милости будь сказано, так оно вот что...»

— Что, что такое? Скажи-ка, братище, весточку, да не погреши против девятой заповеди!

«Слышно, благодетель-милостивец, что Москве-то теперь куда жутко приходит, с тех пор, как милостивый и великий боярин и архистратиг земли Московской Иоанн Димитриевич отказался от Великого князя...»

Незнакомый старик вдруг остановился и дал знак толстяку, заметив, что тот хотел остановить речь хозяина.

«И что Василий Ярославич без того сестры своей под венец отпускать не хочет, пока Великий князь ему отдельной, опасной грамоты не подпишет»,

— Ну, что же тут?

«Да то, что и да беда, и нет беда! Подпиши, так тогда матушку Москву по клокам разорвут: Рязани свое, Ярославлю свое, Твери свое, Новугороду свое; не подпиши — так вороньем налетят со всех сторон... Князь молод, доброго советника у него нет...»

— Молод, да умен! — сказал толстяк с усмешкою.

«Эх, благодетель! всего-то ему, отцу нашему, восмнадцатый годочек! Молодой человек, что плод зеленый, не знаешь — будет ли кисел, будет ли сладок».

— Яблоко от яблони недалеко падает. Он весь в дедушку, восьмой год уже княжит и жениться собрался.

«Да в какого дедушку, благодетель? — Если в матушкина родителя, так прок будет, а если в отцовского родителя, так — Бог знает!»

— Не греши, приятель! Жаль пожаловаться, чтобы покойный князь Димитрий Иоаннович был не лих на бою, либо негодяш в мире.

«Оно так, кормилец, — да впрок-то его лихость как-то не шла! Били, били мы татар поганных, а все ладу не было. Домостроительство, родимый, больше чести князю приносит, видно, нежели победище большое. Вот, другой дедушка нашего князя, Витовт Кестутьевич — прости Господи — бусурман не бусурман был, а нехристь какая-то, Господь его ведает, — и били его, да все у него оканчивалось ладно».

— Неужели ты литовца променяешь на своего князя? — спросил толстяк.

Хозяин остановился, как будто испугавшись, не наговорил ли он чего-нибудь лишнего.

«То-то, отец милостивый, и не приходится нашему брату, мужику простоволосому, толковать с вами, боярскими людьми, да знатными господами. Проврешься, сболтнешь какую-нибудь словесную беду... Да ведь мы, отец мой, сдуру говорим, что слышим — наносные речи — на большой дороге живешь. — Ну! перебывает народу тма тмушая, и всякий скажет что-нибудь... Вам больше ведомо...»

— Полно, полно, хозяин, что ты! Наше дело также темное — что, что мы близ бояр-то живем? — Да мы, иной раз, еще меньше вашего знаем.

«Я ведь к тому только говорю, родимый, что время-то ныне стало не прежнее — плохое; и земля-то, кажется, на столь плодуща, как порасскажут, в старые годы, бывало; и народ-то стал щедушнее... Как наши-то старики живали — слушаешь, слушаешься...»

— Да, частенько их на смычках, как собак, водили в Орду, а теперь, запомнишь ли ты, чтобы в деревне вашей татары были?

«Оно так — да ведь зато деньга-то была тогда наживнее! А не все ли равно: из поганых ли шла она рук, аль христианских? Господь создал серебро пречудно, что к нему поганое не пристаёт — перекрести, да дунь три раза, вот и чисто по-прежнему, у кого бы ты его ни взял».

Толстяк засмеялся и старик, незнакомец, улыбнулся. Ободренный хозяин снова заговорил с прежнею словоохотливостью. «А знаменья-то, отец родимый, ведь уж они даром не бывают. Сказывал мне один приезжий — ведь этакое, подумаешь, диво проявит Господь! Видишь: над самым Звенигородом, будто по три ночи звонило в небесах — Бог весть что, и как! Слышат, чувят все — звонит — а ничего нет! Многие со страсти и от мира отrekliсь...»

— Да по городу и чудо. Где же и звонить, если не в звонком городе?

«А может статься, что знаменует, что на земле и не будут уже перезванивать в православных церквях? Послушаешь — иное место, волосы дыбом... Ведь и преосвященнейший...»

Хозяин опять остановился.

— Ну, что ж преосвященнейший?

«Упокой, Господи, душу его, — он был святой человек, угодник Божий! Сказывают, за год до его кончины, было у него явление, ночью. Стукнули в дверь келии, святитель проснулся, и с полуночной стороны вошел к нему юноша, красоты несказанной, облит лучами светлыми. «Писано, — сказал святитель, — не входяй дверьми тать есть, а ты кто, удививший меня и не в двери пришедший?» — И тогда юноша отвечал ему: «Посланник Божий я; блюди седмицу седьмую над христианами!» И ровно через год и через три месяца, и через двадцать дней — святитель отдал душу Богу, и мы без пастыря, и вот теперь уже третий год пошел, а Бог весть — князь есть, а митрополита нет. «Без владыки духовного словно лицо без одного ока», — говорил мне недавно старичок — у нас он живет в палатке, так, знаешь, подле церкви Божией... О, о, хо, хо!»

Хозяин перекрестился, а на его вздох отвечала хозяйка, также тяжелым вздохом, и перекрестилась.

«Я ведь к тому речь-то веду, кормилец, что вот без эдакой головы, какова голова великого боя-

рина Иоанна Димитриевича, плохо, плохо матушке Москве...»

Незнакомец и толстяк молчали. В это время слез с печи дедушка Матвей и отправился к жбану, стоявшему на столе.

«Видно ты, хозяин, знал этого боярина хорошо?» — спросил дедушка Матвей.

— Кто ж его не знал, первого мудреца в совете покойного князя Василия Димитриевича, — отвечал хозяин. — Тут не к лести слово сказать, а душа говорит!

«Да что же, разве о нем что-нибудь слышно не кошное?»

— Да ты сам, старинушка, ярославец, человек, стало быть, видишь, умный и бывалый — так чего же спрашивать.

«Ну, что, говорят, хотелось ему дочку-то свою за зашего князя выдать, да не удалось? Видишь, она будто, говорят, косая: так молодой ваш князь ни за что не хотел — и руками и ногами!»

Выразительное движение незнакомого старика, громкий кашель толстяка и поспешное старание хозяина перебить речь, изумили дедушку Матвея. Как умный старик, он посмотрел внимательно кругом и, будто ничего не замечая, принялся за ковш с квасом.

— О, о! как же я заболтался, — воскликнул хозяин, как будто боясь возобновления речи дедушки Матвея, — уж и петухи запели! Пора бы доброму молодцу и уснуть.

«Пора, пора, товарищ! — вскричал толстяк. — А нам пора ехать». Он вскочил поспешно, велел хозяину посветить и ушел из избы. Дедушка Матвей опять залез на печь, а старик, безмолвный и угрюмый по-прежнему, яркими глазами поглядел на него и стал подпоясываться. Толстяк вскоре воротился.

«Ну, что?» — сказал ему старик, по-татарски.

— Тотчас будет готово.

«Поедем же».

Они стали прибирать вещи и платье. Тщательно и бережливо завернул и отдал ящичек свой толстяку старик.

«Нет дурака, от которого чему-нибудь нельзя было научиться. Твой разговор с болтуном хозяином удивил меня. Какой черт рассказывает им всякую всячину, все перевирает и заставляет говорить то, чего они вовсе не знают и не понимают!»

— Язык на что-нибудь у них да создан.

«Просить милостыню! — с презрением отвечал ста-

рик.— Не догадаются наложить подать на русские языки — казна княжеская обогатилась бы тогда. Люблю татар: слова не добьешься у них, а на деле не хуже русского! — Не забыть бы чего?»

Он посмотрел кругом и вышел, надвинув шапку на голову. За ним последовал толстяк.

«Ох, ты, бусурман окаянный! — заворчал дедушка Матвей, глядя с печи вслед им.— Татарин лучше русского! И шапку в светлице надел, и пошел не перекрестился! Ну, хорош!»

Глава III

*Мчат, как будто на крылах.
Санки кони рьяны!..*

Жуковский

Говорят, что после первого, крепкого сна, или *первосонка*, нелегко уснуть, когда просудишься нечаянно. По этому ли общему закону сна, или потому, что вид и слова неизвестного старика и его товарища сделали неприятное впечатление на душу дедушки Матвея, он лег на печку по-прежнему, но не мог по-прежнему уснуть. Зевая, кряхтя, перевернулся он на другой бок. Глубокое молчание в избе, слабо освещаемой жирником, прерывалось только храпением его товарищей, хозяйки, детей, животных и чириканьем сверчка под печкою.

«Нет,— подумал дедушка Матвей,— старость не радость, не красные дни! Вот, бывало прежде, спишь, спишь, проснешься, опять уснешь и — горя мало! А ныне — полезет тебе в голову всякая дурь — не спится, а думается. И будто то не так, и это не этак, и на людей-то смотришь иначе... Только этот старик, куда мне не понравился! Что он не купец — разгадать не трудно.— Ну, да, Бог с ним, кто бы он ни был.— Чужая душа потемки... Всякому своя дорога...» Дедушка Матвей перекрестился, прошептав вполголоса: «Господь помощник мой, и не убоюсь зла: что сотворит мне человек?»

Он уже засыпал, как вдруг говор на дворе и скрип отворяющихся ворот снова рассеяли его сон. «Это, видно, купцы наши поехали», — сказал он, слушая шипенье полозьев по снегу и звон колокольчиков на дуге. Вдруг опять все замолкло. Потом раздались голоса, понукающие лошадей; слышно было, как борзые, застоявшиеся

лошади храпят и фыркают; все заглушалось услужливым понуканьем хозяина и русскими поговорками, сохранившимися в словесных преданиях до наших времен.

В то же время звон множества колокольчиков, шум от полозьев нескольких саней, летящих быстро по улице, поразил слух дедушки Матвея. Казалось, что отчаянные удалыцы скачут по деревне во весь опор; несколько голосов заливалось в веселых песнях. Сделавшись внимательнее, дедушка Матвей расслушал, что сани неизвестного старика в то же время быстро двинулись из ворот на улицу — ехавшие по улице вдруг остановились — и на улице раздались проклятия, ругательства, удары нагайками.

И всегда, слыша какую-нибудь свалку и шум, русский не утерпит. В то время, когда случилось все нами рассказываемое, можно было и кроме того бояться всякой неприятности от начальства. Слыша, что шум на улице усиливается, дедушка Матвей вскочил поспешно, начал толкать своих товарищей, говоря: «Эй! ребята! вставайте, скорее, скорее!» — «Что там?» — спрашивали они полусонными голосами. — «Да, Бог весь — шум, чуть ли не драка — к возам, скорее!..» — «Ну, уж Москва, дорожка проклятая...» — были первые слова Григория.

Пока товарищи зевали, чесали головы руками — обыкновенное дело русского при вставанье, — дедушка Матвей бросился к печи, вытащил свои лапти и начал наскоро обуваться.

Вдруг дверь настежь отворилась. С ужасом, с криком: «Пропала моя головушка!» — вбежал хозяин.

— Что ты, хозяин? Что с тобой сделалось? — спрашивал изумленный дедушка Матвей.

«Пропавшая голова моя! Согрешил я перед Господом. За что на меня такая беда накинута!»

— Да, скажи, Христа ради! что сделалось с тобою? Перекрестись, опомнись.

«Там дерутся — не на живот, а на смерть!»

— Ну, что ж! Дай Бог правому побить.

«Что ты, старина! Ведь они его прибили!»

— Кого?

«Боярина!»

— Какого боярина?

«Что здесь останавливался».

— Как? Этот старик...

«Ох! он... Да еще хуже вещует сердце...»

— Что, что такое?

«Чуть ли это был не сам боярин Иоанн Димитриевич!»

При сем имени руки дедушки Матвея опустились; платье, которое хотел он надевать, выпало у него из рук; какое-то восклицание остановилось в разинутом рте его, а хозяин усилил горестные свои восклицания.

«Иоанн Димитриевич!» — промолвил наконец дедушка Матвей, останавливаясь на каждом слове, как будто желая вразумиться в предмете выражаемыйими словами.

Имя человека, сильного и знатного, производит волшебное действие и не на простолудина. Является что-то невольное приводящее в трепет, когда человек незначительный видит перед собою могущего, знаменитого человека. Каково же могло быть чувство страха на доброго дедушку Матвея, когда услышал он, что старик-незнакомец, с которым, как с ровнею, пришлось ему ночевать под одною кровлей, был страшный, свирепый вельможа московского князя, пред которым недавно преклонялись с покорностью удельные князья, друг татарских ханов, человек, о странной судьбе которого носились повсюду рассказы, который с угрозами своему князю уехал, как слышно было, из Москвы, когда Великий князь отказался от руки его дочери, который и в отсутствии все еще страшил Москву своею силою! Быть с ним, замешаться в несчастное смятение, если, в самом деле, этого вельможу осмелился кто-нибудь обидеть — это могло погубить и небедных, незначительных людей! Дедушка Матвей вспомнил, что даже дерзкое что-то сказал он о боярине Иоанне Димитриевиче, вспомнил общее замешательство при сем случае... Холодный пот прошиб его!.. Но боярин Иоанн Димитриевич — на дороге, в виде купца, с каким-то одним человеком и с извозчиком, скрывая свой сан, находится на бедном ночлеге, с крестьянами, в крестьянской избе? Все это казалось дедушке Матвею вовсе непонятным.

— Хозяин! ты не рехнулся ли со страха? — спросил он хозяина.

«Да, уж Бог знает — я и сам не знаю...»

— Почему ты думаешь, что это был боярин Иоанн Димитриевич? Разве ты его знаешь?

«Нет! Да товарищ-то его мне известен: это ближний человек его и управитель поместьев московских».

— С кем же и как их Бог снес?

«Да, уж так все на беду! Они сели себе спокойно в сани; управитель-то еще сунул мне серебрянку и мол-

вил, чтобы я не болтал о том, что они здесь были; я ему поклон, чуть не в землю — а вдруг лошади-то и шарахнулись! Упарились, да после, знаешь, продрогли, застоялись — ведь словно звери — так и храпят!»

— Да, уж и я полюбовался на лошадок! Куда добры!

«Вот, знаешь, начали мы понукать, кричать — бьют, храпят — а тут, прости Господи, словно бес подсунул! Как нарочно, по улице летят сани, другие, третьи — и Бог знает сколько — будто, не здесь будь помянуто, — нечистая сила... Крик, звон, шум! Вот, как вихорь, лошади вдруг рванулись в ворота; те не успели проехать, не сдержали — эти тоже, и сшиблись, перепутались... и пошла потеха!»

— Уж будто и драка?

«Я и ждать-то не стал. Из саней выскочили двое и подбежали к нашему старику, с кулаками, а управитель им навстречу — ты сам его видел — мужчина — трех ему мало на одну руку — как даст по разу, так они и с ног долой! К ним прибежали на помощь другие... Кроме управителя, извозчик, да еще один, что на облучке сидит — на них — тут уж я и давай Бог ноги! Ведь беда, да и только — пропадешь ни за что. — Вот спал, да выпал...»

Он сжал руки и бросился на лавку. Между тем товарищи дедушки Матвея стояли в стороне, не понимая, что все это значит; но, видя испуг хозяина и замешательство дедушки Матвея, они предчувствовали что-то недоброе. Так овцы прижимаются одна к другой, не понимая опасности, но чувствуя ее.

— Ребята! за мной! — вскричал дедушка Матвей, решительно махнув рукою; он надел наскоро тулуп свой и поспешно пошел из избы.

Метель перестала; снеговые облака облегли горизонт; темнота была ужасная, и на двор всюду намело сугробы снега. Сквозь отворенные ворота дедушка Матвей увидел блеск от огней и толпу народа на улице.

Выбежав за ворота, он разглядел — что у страха глаза велики, и что хозяин, с испуга, увеличил опасность неизвестного старика — купец ли это был, как сказал он сам дедушке Матвею, или боярин Иоанн Дмитриевич, как подозревал хозяин.

Драки вовсе не было. При свете от зажженных пучков лучины, которые вынесли выбежавшие из ближних дворов люди, услышав смятение и шум на улице, дедушка Матвей увидел старика. Он бодро стоял подле своих саней и с бранью приказывал скорее распутывать

набежавших одна на другую лошадей. Сани его столкнулись со средними санями, из трех, ехавших мимо. У проезжих были тоже лошади сильные и бодрые. Из двух передних саней выскочило несколько человек, одетых в дорожные шубы; задние сани были закрыты огромною медвежьей полстью; видно было, что лежавшие там люди спокойно спали.

Вместо того, чтобы с обеих сторон постараться скорее распутать лошадей, которые бились и храпели, проезжие и старик, с рыжим своим товарищем, в запальчивости кричали друг на друга, беспрестанно угрожая переменить брань на жестокую драку.

— Отъезжай прочь, в сторону, отвяжи лошадь, а не то исколочу пуще Божьего суда! — кричал старик.

«Убирайтесь вы к бесу! Скорее распутывай, отводи!» — кричал рыжий толстяк.

— Да, как ты смел драться, проклятый ты человек? — кричали ему трое, наступая на него. — Ведь ты зуб было ему вышиб!

«Я всем вам их пересчитаю!» — гремел толстяк, не страшась трех противников.

— Да знаешь ли ты, с кем ты говоришь, рыжий пес? — закричал один из проезжих.

«Ты знаешь ли с кем? — отвечал толстяк. — Прочь! дух выбью!»

— Ты смеешь...

«Ты осмелился мне сказать...»

— Я тебе доеду!

«Я до тебя доберусь скорее!»

И вдруг противники быстро устремились на старика и на толстяка. Забывая свою опасность, толстяк бросился к старику, заслонил его и отшиб сильною рукою кулак, на него летевший.

«Наших! Как? наших!» — закричали противники, бросаясь все вдруг. Их собралось уже человек семь, против трех провожатых старика, и от сильного удара одного из них извозчик слетел с ног. На помощь слабым, видя притом смелость толстяка, бросились дедушка Матвей с товарищами, желая разнять драку.

Увидев новую помощь неприятелю, один из проезжих кинулся к задним саням. «Князь Василий Юрьевич, князь Дмитрий Юрьевич! Вставай, отец! смилуйся! Твоих людей обижают!»

Полсть полетела; двое седоков поднялись впросонках и не выходя из саней один из них закричал громким голосом: «Кто там? Что там за разбойники?»

Дедушка Матвей изумился действию сих слов на старика. С досадою, с негодованием воскликнул он: «Стой, стой! Полно драться, окаянный! Распутывай скорее — провались они ставши...» — Он хотел бежать в ворота постоянного двора, где останавливался.

Это возвратило бодрость противникам. Один из них ухватил старика за ворот, крича: «Нет, не увернешься!» — Толстяк хотел вывернуть его — старик грозно закричал на него: «Стой! Слышишь — то Юрьевичи!» Толстяк смирился, начал уговаривать, останавливать всех: «Полно, полно, товарищи! Что вы, что вы! Да за что драться?»

— А! теперь *товарищи, что вы...* — кричали противники. — Нет, рыжий разбойник, не разделаешься! Подтой-ка, мы тебя...

В это время седок из задних саней успел уже выскочить и прибежать к старику, крича: «Кто тут буянит? Кто осмелился?»

Это был высокого роста, средних лет человек, в богатой шубе, подпоясанной персидским кушаком, и в дорожной шапке. Черная борода его, свирепые глаза, хриповатый голос могли испугать всякого, кто и не знал бы, что это князь Василий Косой, так названный от косых глаз его, старший сын Юрия Димитриевича, князя галицкого и звенигородского, двоюродный брат московского Великого князя, муж сильный, буйный, гордый и бесстрашный.

Все остановились перед ним, почтительно снимая шапки свои. Только старик надвинул свою шапку глубже на глаза и глухо промолвил: «Я не буяню; твои люди меня обижают...»

— Нет, князь Василий Юрьевич, не мы, а они на нас наскочили! Мы смирно себе ехали, как вдруг нелегкая вынесла этих разбойников, вот из этих ворот, прямо на нас — чуть было не убили. Мы стали им порядком говорить, а они драться кинулись — вот этот рыжак; да и старичишка-то все поджигал...

«В плети их! Руби у них постромки!» — закричал князь Василий.

— Князь! остановись! — сказал старик, задыхаясь от гнева, — будешь жалеть!

«Что ж вы стали? Принимайся!» — воскликнул Косой, не слушая речей старика.

— Князь! побереги себя и меня. Разве ты меня не узнаешь?

При сих словах князь Василий остановился и, смотря на старика пристально, сказал вполголоса: «Как? это ты...»

— Я, я,— отвечал старик, перебивая речь его, и как будто не хотя, чтобы назвали его по имени.

Князь Василий махнул рукою своим людям. «Перестать! — крикнул он строгим голосом. — Вы все в щель лезете. Я вас знаю, буяны! Разведи лошадей!»

Все умолкли и ворча принялись распутывать и разводить лошадей.

«Мне хотелось бы,— сказал князь старику,— знать... Как бишь твое имя?»

— Я московский купчина, Иван Лукинич, и готов служить тебе, князь Василий Юрьевич, добрым словом и благим делом. — Голос его еще дрожал от досады.

«Да, да, Иван Лукинич, старый знакомый...»

Между тем, как все окружающие удивлялись изменению обстоятельств и перемене разговора, не понимая, чем умел простой купец так мгновенно успокоить, укротить гордого князя Василия, приблизился и другой седок княжеских саней. Он подходил, совсем не сердясь, не бранясь, и шутливо вскричал князю Василию: «Ты заморозил меня, как свежую рыбу... Что у вас за разговоры? Брань или мир!»

— Брат! — сказал ему князь Василий Косой, — узнал ли ты старого знакомого, московского купца Ивана Лукинича, Лукинича что ли? Поздоровайся с ним и поприветствуй его!

«Кажется, он хорошо приветил наших передовых», — сказал товарищ князя Василия.

— Грех да беда на кого не живет, князь! — отвечал старик, не снимая своей шапки.

«Как? что? — вскричал с удивлением товарищ князя Василия. — Во сне или наяву московский дух воочью появляется — недуманно, негаданно! — Так ты ныне начал торговать, Иван... как бишь... Прежде звали тебя Иваном, да прозвище-то было у тебя не то. — Он громко захохотал... — Старый знакомый... Ха! ха! ха!»

Косой с досадою сказал тогда своему товарищу: «Ты сам не знаешь, что говоришь, — и громко закричал, замахнувшись на окружающую их толпу любопытных зрителей. — Что вы рты разинули тут, голодные галки? Убирайтесь за добра ума! Эй! гоните прочь этих болванов!»

Как дождь, рассыпались при сих словах все собравшиеся вокруг зрители и кинулись во все стороны. Одни

спешили бежать в дома свои; другие спрятались за заборами, за грудками снега. Князь Василий, товарищ его и старик сошлись вместе. Заметно было, что старик и князь Василий с жаром начали что-то говорить; товарищ князя смеялся и наконец громко сказал: «Пойдемте хоть в эту избушку на курьих ножках; что за толки на морозе...» Они пошли в постоялый дом, где останавливался старик. «Эй! князь Роман! закрой хорошенько наши сани,— закричал Косой.— Да посветите, провалитесь вы — кто здесь — тут домовую голову сломит...»

Поспешно вынесли из избы пук горящей лучины и прогнали всех, кто там был. Князь Василий, товарищ его и старик пошли туда. Любопытный народ начал выглядывать из всех ворот на улицу, где провожатые старика и князя Василия, спокойно и без ссоры, распутывали лошадей и выправляли сани.

«Дедушка Матвей, дедушка Матвей! где ты?» — тихо спрашивал один из его товарищей, заглядывая под сарай.

— Здесь,— отвечал дедушка Матвей, расправляя оглобли и готовясь запрягать.

«Да неужели ты уж собираешься ехать?»

— Чего ж мешкать? Бог с ними!

«Ты еще спозаранки убрался, а уж что мы видели...»

— Да как увидел я, что старик-то столкнулся с князьями, так и Господь с ними! Близ князя, близ смерти...

«А сам же ты бросился разнимать?»

— Коли видел, что на одного пятеро, так, как же иначе? — а коли эти князья, да бояре, так нашему брату — унеси Господи из посконного ряда без отпьев! Пусть дерутся, пусть и разделяются сами.

«Какой же это князь-то, дедушка Матвей?»

— Будто не слыхал? Князь Василий Юрьевич Звенигородский с братом.

«С каким братом? Ведь их, говорят, трое у старого князя Юрия?»

— И вестимо, что трое: два *Димитрия*, да один *Василий*. Вот Василия-то называют *Косой*, одного Димитрия — *Шемяка*, другого — *Красный*.

«Ох, дедушка Матвей! не видал ты страсти! Как закричит на нас этот князь — ну вот так душа в пятки и ушла... И теперь руки не поднимаются — невесть что подеялось, как обморочили будто,— народ-то православный кто куда... А уж этот-то старик, что с нами-то но-

чевал — словно деревянный — меня вчуже за него морозом подрало по коже, а он стоит себе, глазом не смигнет».

— Полно калякать; запрягай-ка поскорее...

«Да где наши-то ребята, Бог весть...»

— Поищи их, а я пойду, разочтусь с хозяином, да оденусь; ведь я думал было, что добрых людей **бьют**, да выскочил нараспашку...

«А разве тут не добрые люди?»

— Полно, говорят тебе, не твое дело! Ты парень молодой, твоя статья слушать да молчать, молчать да слушать!

Дедушка Матвей пошел к дверям избы, оставя товарища под навесом; в раздумье ходил этот бедняк с места на место и не знал, за что надобно приняться. У дверей избы стоял рыжий толстяк, и едва дедушка Матвей хотел переступить через порог, толстяк тихо и угрюмо сказал ему: «Прочь! куда лезешь?»

— В избу, родимый,— отвечал дедушка Матвей униженным голосом, как говорят обыкновенно русские мужики, когда кто-нибудь пугнет их порядком.

«Нельзя! Пошел прочь!»

— Мне только взять шапчонку, да опояску, родимый!

«Успеешь после. Ну, что стал!»

Смиренно завернув полы своей шубы, дедушка Матвей пошел к воротам двора, подле которых стояли сани старика и трое саней княжеских. Извозчики и провожатые похаживали кругом саней и, забыв прежнюю ссору, мирно и весело разговаривали о лошадях, о дороге. Так всегда у нас: когда правда высказана кулаком — мир не за горами, а за плечами. Спутники князей улеглись в свои сани и закутались в теплые полсти и одеяла.

Скоро подошли к дедушке Матвею его товарищи, говоря, что лошади готовы.

«Ладно».

— Что же? Поедем, дедушка Матвей.

«Погоди! — Не так живи, как хочется, а как Бог велит», — проворчал он вдобавок.

— А разве опять...

«Погоди, говорят тебе!»

— Никогда не видал я его такого сердитого, — сказал один молодой парень другому.

«А когда дедушка Матвей сердит, так нам белугой выть приходится», — примолвил сухощавый Гриша.

Но что между тем делалось в избе, куда вошли князя и неизвестный старик и не велели никого впускать? Свидетелей после этого не могло быть, но мы

узнали однако ж, ибо в жару беседы ни князя, ни старик не заметили, что хозяин, со страху спрятавшись за печку, слышал, наблюдал все и потом пересказал кому-то, тот другому, этот третьему. Нам досталось, конечно, из сотых рук. Послушаем. Не в первый раз люди услышат рассказ о важных делах по заметкам невежды, который делал их — сидя от страха за печкою.

Глава IV

*И он, стряся прах с ноги,
Поклялся местию до гроба:
«Иль он, иль я, иль пусть мы оба'
Погибнем — лишь погибни он!..»*

* * *

Быстро, скорым шагом вошел в избу князь Василий Косой и остановился подле стола; старик следовал за ним, снял шапку у входа и низко поклонился Косому, когда тот дал знак удалиться одному из людей своих, светившему им; князь Димитрий Шемяка вошел тихо, весело, снял при входе шапку, перекрестился на иконы, сел на лавку подле стола и, смеясь, смотрел на брата и старика. Свет жирника падал на его русское, цветущее лицо, выражавшее ум и какую-то беспечность, столь общую русским в молодых летах, когда ни одна страсть сильная не кипит в душе и не выражается на лице; кудри русских волос его и небольшая борода обрисовывали щеки румяные, придавая вид мужества молодому князю. Откинув верхнюю одежду, он открыл богатый терлик свой, с золотыми шнурками и пуговками, держа в руке дорогую соболью шапку. Щегольство видно было во всей его одежде.

— Не знаю,— сказал Косой,— не порадоваться ли мне этому несчастному случаю, когда он дал нам средство увидеть тебя, боярин Иоанн Димитриевич?

«И я тоже думаю, князь Василий Юрьевич. Почему ж: несчастный случай? В своей семье горшок с горшком столкнется. Признаюсь тебе, князь,— нечего сказать, а я рад, когда мог видеть именно тебя...»

— Я желал бы прежде всего знать: давно ли мы стали называться *своей семьей*, боярин? — сказал Шемяка, улыбаясь.— Мы прежде были горшки не из одной глины.

«Кажется,— отвечал боярин, в недоумении смотря на Шемяку,— кажется, мне не нужно объяснять всего, что

было в последнее время, и все это, князь, должно быть тебе известно?»

— Мне известно? Менее нежели кому-нибудь другому. Не люблю я вмешиваться не в свои дела; мне довольно забот с соколами и медведями: одних надобно вынашивать, других бить, а девичьи глаза, разве чего-нибудь не значат? Да это страшнее всякого медведя молодечьему сердцу.

Косой посмотрел с неудовольствием на брата и, как будто не обращая внимания на слова его, начал говорить боярину: «Я полагал, боярин, что ты в Твери, и никогда бы не думал здесь с тобою встретиться».

— Что тебе за надобность, куда едет и где живет боярин Иоанн Димитриевич? — возразил Шемяка, насмешливо улыбаясь. — Если тебе есть охота мешаться в чужие дела, то можешь спросить боярина, как бывает это невыгодно.

«Князь!» — вскричал боярин.

— О, боярин! это говорю не я, а вся Русь православная, не говорит, кричит, что боярин Иоанн Димитриевич не щадил ни забот, ни трудов, вмешиваясь в дела между дядею и племянником, хлопотал, трудился, чуть лба не пробил, кланяясь ханским прислужникам, а потом на себе узнал пословицу, что когда свои собаки грызутся, чужая не вступайся.

«Ты забываешь, брат, — вскричал Косой, — правило предка нашего: *делу время, а потехе час*. Твоя потеха совсем не ко времени».

— Вот? А я думал, что все мы давно забыли правила старых отцов наших, переросли их умом и почитаем речи их заржавелым мечом, который годится крошить крошку на беседах, а более никуда.

«Ты выводил меня из терпения!»

— Я? Чудо чудное! А я помню, как выходил ты из терпения, слыша, что по милости боярина Иоанна Димитриевича навсегда лишаешься одного словца при имени князя. Словцо неважное: *Великий*... Удержи гнев твой. Я помню еще, как гневался ты, слыша, что по уменью боярина Иоанна Димитриевича — дядя вел лошадь своего племянника перед татарским ханом, старик дядя бил челом безбородому отроку и клялся ему, как старшему и старейшему, в верности и подданстве!

«Если ты шутишь, то забава твоя, повторяю, никуда не годится; если же твои речи идут от сердца — не стыди себя: ты не младенец!»

— Боже мой, Создатель! — воскликнул Шемяка, — неужели только тем отличаем мы младенца от взрослого, что младенец не желает никому зла и бежит от злой беседы, тлящей обычаи благие, а взрослый сам накупается на злую беседу и на гибель души своей!

«Если не нравится тебе наша беседа, ты можешь удалиться».

— Благодарен; только ты забыл, что мне спрятаться некуда: ведь мы не в княжеском тереме, где столько перегородок и углов, что находят себе место укрыться и злоба, и ненависть, и измена. Здесь тесно и все наружи; что в ухо одному шепчут, то в ухо другого отзывается, будто звонкая русская пощечина. Я залег бы в наши сани, да ведь беседа ваша может так продолжиться, что я успею без покаяния отправиться на тот свет от лихого теперешнего мороза.

С досадою сел на лавку Косой и молчал. Старик злобно улыбнулся и, низко кланяясь, сказал ему: «Нечего делать, князь Василий Юрьевич! Прощай! Видно мне приходится морозить свои мысли и добрые речи в душе до приезда к твоему родителю! Я не знал, что тебя до сих пор водят на помочах меньшие братья...»

— И хорошо сделаешь, боярин, — с жаром воскликнул Шемяка, — если совсем заморозишь свои добрые мысли и речи, а не дашь семенам зла пустить корни в почву русской чести и семейного благоденствия князей!

«О! я умею возвращать их на гибель того, кто оскорбил меня хоть однажды в жизни... Не тем, так другим... Мономаховы потомки не все еще отказались от доблести и княжеской чести. Найдутся!» — Скрывая гнев свой, боярин промолвил ласково: «Добрый путь вам, князь!» — Он хотел идти.

— Нет! мы должны объясниться с тобою, — вскричал Косой. — Воле Божией угодно было указать тебе путь и нас направить по этому пути. Князь Димитрий! волею старшего брата я запрещаю тебе оскорблять почтенного боярина, или — клянусь тебе всем, что есть для меня на земле святого!.. ты дорого мне заплатишь за каждое свое безрассудное слово! Ты понимаешь меня?

«Понимаю! — печально сказал Шемяка, уклонив взор свой от горящих очей брата. — Но знай, князь Василий, когда напомнил ты о старшинстве, что не такой образец должен подавать старший младшему брату, какой подаешь ты! Я говорил тебе, как говорила бы тебе совесть, берегись теперь: совесть и я — мы отступаемся от тебя. Ты еще чист душою — отступись от этого ста-

рика, оскорбителя князей: на языке у него мед, под языком лед! Не хочешь? Гордость увлекает тебя? Знай же, что я умываю руки от твоих замыслов; имейте меня отреченна!»

— Пилаты Понтийские! — тихо проворчал старик, — ты говоришь сладко, пока не лизнул человеческой крови: тогда, как у дикого зверя, жажда честолюбия сделается у тебя ненасытима — жажда кровавая!

Шемяка облокотился обеими руками на стол и опустил свою голову на руки, закрывая лицо. С минуту молчал Косой; внутреннее движение выражалось в чертах лица его. Наконец, глухим, прерывающимся голосом спросил он: «Скажи ж мне, боярин, где ты скрывался до сих пор?»

— Там, где скрывается изгнанник: под кровом всего Божьего неба, когда земной владыка налагает на него гнев свой!

«Но ведь ты не был изгнан и лишен почестей?»

— Как! неужели мне надобно было дожидаться такого позора и унижения? Князь Василий Юрьевич! дочь мою оттолкнули от святого наложия, где рука ее готова была соединиться с рукою Великого князя; гордая литвянка, мною спасенная, и этот восковой князик, которому я сохранил венец и престол московский, выгнали жену мою из дворца княжеского, когда она, твердая обетом и словом княжеским, привела было невесту к жениху! И мне было терпеть это посрамление, мне, опоре княжества Московского, сорок лет бывшего душою советом? О! лучше смертный час пошли мне, Господи, нежели видеть еще раз на старости лет моих, как молокосо-сы — Басенки и Ряполовские хохотали вслед мне, как литвянка едва не прибила меня за мое смелое объяснение с нею и с ее младенцем-князем!

«Но, боярин, ты мог ожидать...»

— Но, князь, чего ж мне было ожидать еще? Разве шея у меня адамантовая, так, что секира палача не перерубит ее? Разве кожа моя такая броня, что засапожник убийцы не проколет ее, или отравы смертная не источит из нее каплями остатка крови, уцелевшего в битвах, где не жалел я живота за неблагодарный род твоего дяди? Учиться ли Софье Витовтовне губить верных княжеских людей, когда они не надобны более для ее услуг? Разве батюшка ее, Витовт Кестутьевич, не давал ей примера, а Кучково поле клином сошлось, так, что для плахи на мою голову и места не будет на этом поле?

Он остановился, задыхаясь от бешенства. «Видишь ли теперь, боярин! — сказал улыбаясь Косой, — видишь ли, какова тяжка была обида законному твоему государю, когда ты в несколько часов разорвал цепи, которые сорок лет ковало твое усердие и верность? Ты *не князь* еще, ты не можешь понимать, каково тому, с чьей головы срывают законный его венец!»

Боярин тихо поднял глаза к образу, будто чувствуя раскаяние. «Как человек оскорблен я и готов бы простить *мое* оскорбление — только не этой литвянке, а сыну моего покойного князя Василия Димитриевича! Но дотоле на душе моей будет лежать грех, как камень, доколе не исправлю я вины и греха перед твоим родителем. Князь Василий Юрьевич! Я, окаянный, я лишил его венца и престола великокняжеского... (с невольною гордостью оглянулся кругом боярин). Я нарушил мою хитростию права законного наследия и, если Господь мне поможет, исправлю все по-прежнему: не видать великого княжества Василию Васильевичу, доколе жив буду я! Родитель твой собирал войска, но не ими поборет он племянника. Силою ничего нельзя было сделать против московского князя; но теперь, без меня, доски его княжеского терема без матицы: от сильного толчка полетят они все вниз и задавят князика московского, беспечно пирующего за свадебным столом, со своими гостями и с литвянкою, матерью его...»

Движение нетерпеливости изъяснил Шемяка при сих словах, но удержался. Не замечая сего, продолжал боярин, понизив голос: «А потом, я дал обещание сходить пешком ко гробу Господню; там облечь себя в ангельский чин; возвратясь в Русь, выстроить обитель иноков и в ней оплакивать грехи свои весь остаток дней, если только Господь умилосердится надо мною! Откажусь от мира, тщетного и суетного, где нет правды в устах человека и памяти о добре в его сердце».

— Нет, боярин, есть еще правда в душе человека, и по воле Господней возвращается она в душу его, — сказал Косой. — Бог ведет тебя на дело закона и блага. Но если ты узнал теперь настоящий путь истины и правды, верь, что этот путь должен довести тебя не в келью отшельника, но к почестям и славе, или — не будь я сын отца моего! Знатен был ты при дяде Василии Димитриевиче, знатен при сыне его Василии, но еще славнее явишься при Великом князе Юрии Димитриевиче... и... при наследнике его... — примолвил Косой,

останавливаясь с невольным замешательством.— Поверь моему слову. Итак: ты едешь к отцу моему?

«К нему несу я повинную свою голову и — посильную помощь. Думаю, что старость не совсем еще охолодила кровь его, что в один год он не разучился стоять за свое законное право, как стоял прежде. Я передам ему все, что у меня в руках, а что у меня есть, то стоит большой рати!» — Он замолчал и положил шапку свою на стол.

— Что же ты остановился, боярин? — сказал Косой, вставая от нетерпения и быстро подходя к нему.— Скажи, скажи скорее, — говорил он, взяв старика за руку.

«Старые ноги мои устали, — отвечал боярин. — Прости меня, князь Василий Юрьевич!»

— Садись, садись, сделай милость, — вскричал Косой, усаживая боярина на лавку и сам придвигаясь к нему. Шемяка молча поднялся, сложил руки на груди и тихо начал ходить по избе. Косой как будто забыл о нем, увлеченный речами старика.

«Князь Василий Юрьевич! Прости моей старости, — сказал боярин, после некоторого молчания, — она недоверчива. Наша беседа походит не на беседу двух друзей, но на допрос преступника или на свидание двух неприятелей, из которых каждый прячет что-то за пазуху, а Бог знает, что такое прячет? Горсть золотых денег или увесистый камень — известно одному сердцеведу! Брат твой юн и много наговорил такого, чего совсем не было надобности говорить, а ты не сказываешь и того, что мне непременно знать надобно, чтобы и со своей стороны показаться тебе в одной рубашке, а не накутаным одеждою хитрости и притворства».

— Неужели ты можешь сомневаться?

«Могу, потому, что худо понимаю твои дела. Я испугался было — нет, не испугался, но не порадовался было твоей встрече. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь видел меня на этой дороге, пока я не увижу ясных очей своего прежнего соратника, твоего родителя. Вы князья юные, молодые, кровь у вас красная и не сгорает в сердце, а играет на щеках, и как часто девичья русая коса связывала руки молодым князьям, а от бесовского бисера женских слез таяли мечи и щиты их...»

— Боярин! неужели ты меня не знаешь?

«Кто тебя не знает и не хвалит твоей мудрой головы, хоть она еще и не серебряная; но, прости меня: ты едешь в Москву, гостем, а где родитель твой теперь — я вовсе не знаю».

— Гостем! Пришлось гостить, когда нельзя мостить дорогу в Москву мечами да костями! Что выпьем у князя Московского, только то и наше! Но я сниму тебе со стены икону Пресвятой Богоматери, боярин, что не гостьба у меня на уме... Говорят, что Москва зыблется, как дорога по болоту, и мой зоркий глаз не заглядится на золоченые чаши княжеские; об отце моем скажет тебе все вот эта грамота. Боярин! ради Христа, будь со мной откровенен!

Старик взял грамоту, сложенную и обвернутую в шелковую ткань, развернул ее, пробежал глазами и молча отдал опять Косому.

Он казался задумчивым, но радость блеснула в глазах его. Взор старого честолюбца несколько времени улаживался после того беспокойною заботою, видимо терзавшею душу честолюбца молодого. Наконец, когда он насытился сим зрелищем, когда увидел, что глубоко запало в душу князя зерно гибели и раздора, долженствовавшее процвести для него удовлетворением самолюбивых и гордых надежд, то покачал головою и сказал, улыбаясь коварно:

— Не думал однако ж я, князь Василий Юрьевич, чтобы покамест все твои собственно требования ограничивались только требованием на погреб княжеский: могли я ожидать, что внук Димитрия Донского не имеет надежды на что-нибудь более славное, более великое?

«Надежды! — вскричал Косой, — что ж было делать другое, боярин, как только ждать времени и острить втайне меч на врага... Отец мой становится стар... Знаешь ли ты, что сделалось теперь в Дмитрове?»

— Слышал.

«Подумай, что в этот родовой город наш присланы московские наместники во время отсутствия отца моего! Не знал я этого, не знал, а то полетели бы они назад в Москву, вверх ногами!»

— И что же из того? Великий князь московский приказал бы *удельному* князю звенигородскому и галицкому снова принять их. Вы заспорили бы и к вам послали бы какого-нибудь попа застрашать вас, а не то уговорили бы *окупных князьков* идти на вас войною, и дядя-старик кончил бы челобитьем младенцу — своему племяннику!

«Но уж, по крайней мере, обида не осталась бы без заплаты...»

— Русский обычай! Сколько раз бывали от него беды русской земле? Вот так-то Александр Тверской по-

колотил дурака Щелкана — не вытерпело русское сердце, и — принужден был бежать горемыкой, а потом снова кланяться татарам! Так и покойный дедушка твой, как было размахался на татар — но что оказалось следствием? Через год Тохтамыш сжег у него Москву... Да, нечего и говорить: это-то и губит нас и землю нашу! Князь Василий Юрьевич! ты еще молод, послушай меня, старика: бери пример с твоего прапрадедушки Ивана Даниловича: вот был истинный князь! Иногда читаешь его старые хартии и грамоты — какая ловкость, какое умение владеть людьми и обстоятельствами! Дядя твой, покойный князь мой, Василий Дмитриевич, также ничего не делал наудачу. Бывало, слушаешь его, так заслушаешься: он что ни делает, а всегда глядит вперед. Ссорится на мир, а мирится на ссору. Лисий хвост и волчий рот — вот что надобно князю благоразумному... А родитель твой пел и поет совсем не по голосу.

«Боярин Иоанн Дмитриевич! Слушаю тебя, словно мед пью и удивляюсь только одному: как с твоею мудростью не успел ты предупредить врагов твоих?»

— Да что ж они у меня взяли? Кроме того, что и на старуху бывает проруха, с дураками и у каши неспоро, а часто дурак перемудряет самого умного человека. От того это и бывает, что готовишься отразить хитрость, отбиваешь меч, а тебя быют просто сзади, дубиною! Но я заставлю их опомниться и покажу, что, кто выкалывает у себя глаз, тот после не жалуйся, если на всякий сучок натывается. Князю московскому не избежать сетей, какими я его опутал и еще опутаю, если только на меня положится твой родитель и ты, князь, меня не выдашь...

«Будь уверен, что ты будешь у моего отца дорогим гостем, а я немедленно возвращусь из Москвы».

— Нет надобности, и тебе будет много дела в Москве. Ты знаешь отношения наши с Ордою и с Литвою: и там, и здесь идет такая сумятица, что некогда ни татарам, ни Литве вмешиваться в московские дела. Орда рада еще будет, что Москва станет ластить ее посулами, да послугами. Дела совсем переменяются; но не в том сила. Я оставил Москву, как брагу молодую: и сама по себе она так и бродит, а я подбавлю еще в нее таких дрожжей, что князь Василий и матушка его, как пена, выплывут из великокняжеского чана. Там остались у нас друзья добрые, а со мною все хартии,

все грамоты, и есть такие сокровища, что голова затрепещит у литвянки...

«Так мы опять можем запеть старую песню о наследствах?»

— Да, потому, что для этой песни именно настало теперь время: Русь от нее не только не отвыкла, но спит и видит ее. Надобно только получше настроить дудку, то под нее все запляшет. Тверь, Ярославль, Рязань — все слажено...

«Но грамоты последние говорят...»

— Грамоты бумага, князь, неужели ты этого еще не знаешь? И на старые грамоты есть еще старше грамотки. Если на что пойдет, мы докажем, что и по грамотам Василий владеть не должен: ведь он — *незаконный* сын Василия Дмитриевича! — Шемяка невольно остановился, лицо его побледнело.

«Как? — воскликнул Косой. — Ты говоришь...»

— То ли ты еще услышишь... — Тут, приклонившись к Косому, боярин долго шептал ему что-то на ухо. Наконец он встал, взял шапку и сказал громко: «Ну, на сей раз довольно. Добрая вам дорога, счастливый путь, князь! Пируйте весело в Москве, а я — поплетусь, куда глаза глядят... Авось еще увидимся в красный денек!»

— Но ты обещал мне дать знак, боярин? — сказал Косой.

«Забыл было...» — тут он снял с руки своей золотой перстень и отдал Косому.

Холодно поклонился ему Шемяка, ласково проводил его до порога Косой.

Когда старик затворил за собою дверь, Косой похож был на человека, оглушенного сильным ударом. В рассеянии сказал он брату: «Пора и нам в путь», — и начал искать свою шапку, которую, в жару разговора, столкнул со стола.

Тогда Шемяка прервал столь долго хранимое молчание. Лицо его было важно и печально. «Мне хотелось бы, брат, — сказал он, — чтобы прежде шапки своей поискал ты своей совести: ты чуть ли не потерял ее! Брат и друг! Послушай меня...»

— Что? — угрюмо спросил Косой. — Что? Опять шутики? Признаюсь, князь Димитрий, я не мог без гнева слышать, как ты шутил, совсем не вовремя и некстати.

«Я не шучу теперь. Не прячь себя под личину: тебе стыдно посмотреть на меня прямо, твоя душа нечиста, брат, в твою душу запали дьявольские семена и — со-

храни, Боже! — какой страшный плод дадут они, если ты не успеешь избавить себя от козней дьявола!»

— Ты дурачишь себя и меня, — сказал Косой. — Что за великая беда, если я поймал старого воробья на мякине и выведаль от него кое-что. Все годится при случае.

«Нет! тебе не обмануть меня: я знаю тебя, брат, — вскричал Шемяка, — и готов проклинать час, в который столкнулись мы с этим старым бесом в человеческом образе — прости меня, Господи! В столь короткое время он вложил в душу твою столько адского зелья, что его достанет на всю жизнь твою! В такой малый час злокозненный язык его изрыгнул хулы на предков наших, оклеветал честное супружество дяди Василия Димитриевича, открыл бездну кромешную зла и гибели. Неужели ты хочешь внять его советам?»

— Полно, полно! Говорю тебе, что я обманул его притворным вниманием.

«Ты обманул его? Но разве обман не есть уже грех?»

— Отмолюсь! — смеясь отвечал Косой, отряхнув шапку свою. — Пойдем, пора!

«Брат! умоляю тебя, ради второго, страшного Христова пришествия, забудь, что ты слышал здесь! Да не взойдет солнце над нами, пока злая дума не истребится в душе твоей!»

— Говорю тебе, что все пустяки — поедем!

«Хорошо, брось же этот перстень, который отдал тебе боярин!»

— Вот еще с чем подъехал! Ведь он золотой, лучше сделать из него привеску к образу.

«Брось его! — вскричал Шемяка, ухватив за руку Косого, — брось: ты обручился этим перстнем с духом тьмы!»

Тут с гневом оттолкнул его Косой и, с горящими от злобы глазами, вскричал: «Ты с ума сошел, раб князя Московского! Если в тебе нет нисколько великодушия, если ты не чувствуешь, как унижены и презрены мы, то не смей указывать тому, кто больше тебя знает! Указывай своим псарям и сокольникам!»

— Хорошо, старший брат! — отвечал Шемяка равнодушно, — но знай, что я не завидую тебе, и если слабый старик, родитель наш, на твоей стороне — Бог с вами! я не вступлюсь. Вези на свадьбу родного замыслы раздора и братоненавистия! Я еду в Москву добрым гостем и, Богом божусь, что не приму участия в твоих кознях... О лесь человеческая, о смрадное дыхание уст

клеветника и наушника! Тобою гибнут князья, тобою в один час погибают годы добра...

В это время раздался глухой стук за печкою, как будто что-нибудь упало. «Что это? — вскричал Косой, — здесь кто-то есть?» Он бросился с бешенством туда, откуда был слышен стук: там лежал несчастный хозяин. «Он все слышал!» — дрожа от ярости, сказал князь. Рука его схватила кинжал, бывший у него за поясом.

«Что ты! — поспешно промолвил Шемяка, удерживая руку брата, — он спит и спит крепко!

В самом деле, хозяин притворился глубоко спящим, да и точно он не бодрствовал, ибо лежал ни жив ни мертв.

«Его надобно допросить, — вскричал Косой, — надобно принять его в плети!» — Грубо толкнул он ногою хозяина, но тот не пошевелился.

— Полно, полно, брат! Так ли платят за постояльство? Неужели и в уголку мерзлой хижины не хочешь ты дать бедняку местечка? Видишь ли: побоялся ли бы, скажи мне, ты этого человека, если бы не боялся черноты слов, какие были здесь говорены? Да, посмотри: вот и еще свидетели — телята, куры, поросята, кот... — продолжал Шемяка, смеясь, — а на печи, вероятно, полдюжины ребятишек, вместе с онучками сушатся...

«Ну, бес их поberi! — промолвил Косой, улыбнувшись, — Пора, пора!..»

Князья поспешно пошли из избы.

Глава V

*Ему везде была дорога,
Везде была ночлега сень;
Проснувшись поутру, свой день
Он отдавал на волю бога...*

А. Пушкин

«Хозяин, хозяин! — говорил дедушка Матвей, держа в одной руке горящую лучину, а другою толкая хозяина. — Что ты, Господь с тобою! Очнись, одумайся!»

Слыша ласковый голос дедушки Матвея, тихо поднялся хозяин. В избе были товарищи дедушки Матвея, они грелись, ходя по избе и хлопая руками; дедушка Матвей совсем собрался ехать и пришел рассчитываться; хозяйка беспечно шевелилась вокруг печи, готовясь топить.

С испуганным видом и все еще не умея собрать мыслей, смотрел хозяин на старика. «А, а! Э, э! — бормотал он сквозь зубы. — Ничего не слышал, батюшка, отец милосердный! вот тебе Бог порука, ничего!» После долгого, неясного бормотанья добился наконец этих слов дедушка Матвей, и те были произнесены дрожащим, едва внятным голосом.

— Да, опомнись, родимый! Что с тобою сделалось? Сотвори молитву, да перекрестись! — говорил дедушка Матвей. — Аль тебя соседко мучил?

Тут твердо сел на своей скамейке хозяин, словно гора свалилась с его плеч; он опомнился, глядел на дедушку Матвея, на товарищей его, на хозяйку, нимало не заботившуюся о беспокойстве своего мужа, как будто это до нее не касалось. Видно было, что хозяин вглядывался во всех и хотел удостовериться: точно ли он еще существует?

— Что с ним, родимая? — спросил дедушка Матвей у хозяйки. — Аль на него находит?

Хозяйка взглянула на мужа и, кидая в печь полено дров, хладнокровно отвечала: «А кто ж его знает? Ни-коли не бывало!»

Тут хозяин поднялся на ноги и спросил у дедушки Матвея: «Где ж они? ужели уехали?»

— Кто?

«Князья», — прошептал хозяин.

— Давно, родимый, давно; да, вот я все тебя добудиться не смогал. Видно ты что-нибудь не по себе? Видно страшный сон испугал тебя?

«Ох, старинушка! — отвечал хозяин, — прогневался на меня Господь! Да и откуда эта беда на мою голову упала!»

— Да, что такое?

«Схожу помолиться к угоднику Божию, новому чудотворцу, Сергию игумену, а то и не уснешь ночью... Ну! уж бояре, ну уж князья! Да как это с ними люди-то живут, да как головы-то целы у них остаются!»

— Товарищ! — сказал ему тихо дедушка Матвей, — тут есть лишние бревна. — Если ты что-нибудь слышал, то, послушайся меня, старика — молчи, как могила православного!

«Ох, старинушка! Да если язык у меня пошевелится, так не роди меня мать на свете!»

— И дело; ешь пирог с грибами, а держи язык за зубами. «А видно, что хорошее слышал он! — примолвил дедушка Матвей про себя. — Ох! большие люди, ох!

горе вам! Легче вельбуд сквозь иглиные уши пройдет, нежели богатый в царствие небесное внидет...»

Скоро расстался с хозяином дедушка Матвей. Надолго ли, не знаю, но испуг подействовал сильно на совесть хозяина: он не взял ни одного шелега лишнего, и нигде еще во всю дорогу так дешево не платил дедушка Матвей ни за ночлег, ни за ужин.

И на дедушку Матвея происшествия этой ночи сделали сильное впечатление. Осторожный старик на выездах ранним утром всегда ехал впереди со своим возом, идя потихоньку подле лошади и напевая духовные песни. Теперь почел он за необходимость удвоить свои предосторожности.

Уже несколько верст отъехал дедушка Матвей со своим обозом, как при въезде в маленькое селение вывернулся из-за угла какой-то прохожий и сказал ему: «Путь-дорога, добрый человек!»

— Благодарствую! — отвечал дедушка Матвей.

«А что, нельзя ли мне присоединиться к вам? Вы ведь в Москву едете?»

— В Москву, — отвечал дедушка Матвей, оглядывая незнакомца с головы до ног.

Это был старик, высокого роста, седой как лунь, но, по-видимому, еще весьма бодрый и сильный. На нем надет был короткий тулуп, подпоясанный шерстяным кушаком, большая шапка закрывала его голову, в руках его была толстая палка, за плечами небольшая котомка.

«Мне только положить на воз котомку; вчера измучился по дороге, такая стояла погодушка, что и Господи упаси — едва добрел до жилья, а хотел было в Москве ночевать».

Голос незнакомца внушал доверенность; до Москвы было недалеко, в дороге одному скучно, ибо товарищи дедушки Матвея могли только понукать лошадей. И дедушка Матвей согласился, чтобы незнакомец положил котомку на его воз. Несколько минут старики шли молча; заметно было, что бодрый незнакомец уменьшал шаги, чтобы не опередить дедушки Матвея. Наконец дедушка Матвей запел тихим голосом: «Хвалите имя Господне, аллилуйя!» — Он все еще был задумчив и не хотел сам пачинать разговора, незнакомец также не начинал.

Вскоре голос незнакомца присоединился к пению дедушки Матвея, голос чистый, звонкий, каждое слово отличал он особенным чувством. Дедушка Матвей сам пе-

вал на клиросе и был знаток в пении церковном. Он изумился искусству незнакомца. Кончив хваление, незнакомец запел величание празднику и сказал дедушке Матвею, что они пели на московский голос, но что в Киеве поют иначе, а в Новгороде еще иначе. Немедленно после того пел он и по-киевски, и по-новгородски.

Разговор стариков оживлялся после сего более и более. С любопытством дедушка Матвей слушал, что рассказывал ему незнакомец о *демественном* пении, начавшемся при Великом князе Ярославле Владимировиче, о греческом столповом пении в Иерусалиме и афонских горах, о разных церковных обрядах. Он подробно говорил о *пещном действии* в Новгороде, когда, за неделю перед Рождеством Христовым, среди соборного Софийского храма, против царских дверей, становят печь, трое прекрасных детей, одетых в белые хитоны, представляют трех святых отроков, и несколько людей, свирепого вида, в пестрых одеждах, с трубками, набитыми плауном, изображают халдеев, махая трубками, из коих огонь летит выше большого паникадила, а печь вся кажется горящею. Наконец огонь попадает мучителей, ангел слетает в печь огненную, и торжественное пение возглашает умиленным христианам бесплодную ярость вавилонского тирана, мечтавшего сынов Бога истинного заставить преклониться пред истуканом его на поле Деире.

Со вздохами и беспрестанно приговаривая: «Господи Боже, царь милостивый!» — слушал все сии рассказы дедушка Матвей. В природе ли человека находится такое чувство, что повесть о святом и божественном наводит печальную мысль о суете и бедности мира, или старики грустию сопровождают каждое сильное чувство? Только к однообразным возгласам дедушки Матвея присоединились, наконец, слова грустные: «Господи! прости наше согрешение! Согрешили мы, окаянные!»

— Правда, — сказал незнакомец, — но еще русская земля не совсем прогневала Бога. Еще в земле русской сияет немраченным крест Господен. Но вот в Киеве, друг! горестно смотреть — какое нечестие воцарилось! Латинский крыж стоит подле церкви православной, святая вера забыта, в училищах преподаются неверие и ереси! Как русским человеком правит там литвин и лях, так церковью православною правит еретик. Ведь ты, я полагаю, слышал, какое злочестие учинил покойный литовский князь?

«Слышал, — сказал дедушка Матвей с видом человека, не совершенно знающего предмет любопытный. —

Но слышал не вполне... Где же нам в глуши все знать...»

— А такое злочество, что все Ироды и Диоклитианы не причиняли подобного зла. По их воле мученические венцы получали Христовы воины, принуждаемые поклоняться истуканам. Но святотатственная рука литовского князя рассекла нашу святую церковь. Грех паче Ариева и Савелиева! По его воле Киев теперь уже не повиновется митрополиту *всей Руси*, но волк вторгся в паству митрополита и отторг часть овец словесных.

«Ах, Господи! да как попустил Бог?»

— Он искушает напастями веру нашу и для сего попускает торжествовать врагу. Ловитва диавола — честолюбие: она губит всего более человека. Князю литовскому хотелось власти и чести. Он видел, что пока владыка духовный будет находиться в русской земле, до тех пор души и сердца будут к русской земле обращаться. И выдумал он — разъединить церковь православную. Вот, теперь уже шестнадцатый, не то семнадцатый год минул, как душепродавцы епископы собрались в Вильне и поставили себе еретика-епископа — Гришку Цамблака. Преосвященный Фотий предал его анафеме и всех приобщающихся ему. С ними не велено православному ни пить, ни есть...

«Говорят, видишь, преосвященный-то уговорил будто покойного князя литовского в православие. Что де ты, князь, славен мирскою славою, а беден ты небесною милостью: владеешь православными, а сам лядской веры. И князь будто говорил ему: «Иди в Рим великий, к римскому папежу, препри его, и я обращусь в вашу веру, а если он тебя препрет, то вы все обратитесь в нашу веру». — Владыко-то будто и усомнился в духе веры, а оттого, как от ризы Самуила Саул, литовский князь отодрал много душ христианских. Ведь сомнение грех великий, хула на духа святого, невыжигаемая даже мученическим костром!»

— Так; да не верь ты таким рассказам. У этих князей всегда предлоги найдутся и для мира, и для ссоры, и для хищения. Поганые татары, по крайней мере, говорят прямо: хотим пить крови христианской, а эти князья все с благословением будто делают, а все на зло.

Дедушка Матвей недоверчиво поглядел на старика.

— Я не об наших русских князьях говорю, а об литовских, — сказал незнакомец, заметив недоверчивое движение дедушки Матвея. — Хоть бы этот Витовт — поведу ли я ему, чтобы он подсадовал на владыку,

и потому вздумал приставить две главы к телу единые, соборные, апостольские церкви? Сам ты рассуди: на крови ближних основал он власть свою и не щадил даже родных братьев. Подумай, что у него все умышляло зло. Ведь все знают: кто отравил бывшего наместника киевского, князя Свидригайлу...

«А кто?»

— Да, страшно сказать — архимандрит Печерский поднес ему смертное зелье, на пиру веселом и дружеском!

«Господи Боже мой!»

— Наконец, такими средствами и умыслами составил себе князь литовский и славу мирскую и почести. От самого Новгорода, даже до Черного моря простиралась в последнее время его держава. Как порасскажут о почестях, какие были ему возданы незадолго перед кончиною... Горделиво вздумал он венчаться на литовском троне царским венцом, и от кого благословения-то просил? От римского папежа! Наехало к нему царей и королей, князей и ханов, видимо-невидимо — ну, так, что одного меду выпивали они всякий день 700 бочек, да романей 700, да браги 700, а на кушанье шло им по 700 быков, по 1.400 баранов, да по сту кабанов! И как еще? Немцу давали пиво, татарину кумыс проклятый, русскому мед. Венец к нему везли золотой, выкованный на Адриатическом море в городе Венеции — и наши русские князья там были: московский, тверской, рязанский.

«Ну, что же?»

— Да когда видано, чтобы худое пошло впрок? Злый зле и погибнет! О венце Витовтовом рассказывают чудные дела: все видели, как везли его — пропал без вести: ни венца, ни человека, который вез его, никто не видал, куда они девались. Старый князь почувал явный гнев небесный, запечалился, да так в печали и умер.

«Слышал я; а теперь, говорят, в Литве и Бог вещь что делается!»

— Душегубство! Брат на брата восстал и родной отдыхает на могиле родного. Главным князем после Витовта был там Свидригайло Ягайлович. Есть толки, что будто он и старику-то Витовту пособил на тот свет отправиться без покаяния; видишь, как кровь вопиет за кровь: Свидригайло заплатил за Свидригайла! Этот был, впрочем, человек добрый, но его выгнал из Литвы брат Витовта — образ человеческий носит, а нравами и ведомом не ведомано! Я таки и сам знавал и видал,

но на веку не слыхивал о таком князе. Людей он не губит поодиночке, а так — велит вырезать или запалить город, село, деревню, а сам с утра до ночи в пьяном образе, и вместо стражи лежат у него двенадцать диких медведей, прикованных на цепях в его опочивальне...

«От него достанется, я думаю, и Руси православной много всякого горя!»

— Куда ему! Теперь бы Руси-то православной на него нагрнуть, так он и сам не усидел бы на своем столе. Забыли мы, как делали наши старики! Эх, товарищ! где теперь наша Русь? Всю-то ее в горсть захватить можно!

«Ну, где же в горсть? Будто от Волги до Москвы, да от Новгорода до...» — Тут дедушка Матвей остановился, затрудняясь недостатком географических сведений.

— Ну, опять *до Москвы* — и только! Знаешь ли, что *прежде* Русь-то была? Ведь Киев-то был матерью русских городов, Полоцк был русским княжеством, Смоленск тоже, Курск тоже, Чернигов тоже, Переяславль на Днепре тоже; а Волынь и Галич? Все это было русское, православное.

«Видно, Господу угодно было разрушить власть русскую».

— Оно так, что без воли Божией и волос с головы человеческой не упадет, но ведь Господь посылает гибель на царство за грехи живущих. Сами на себя мы злым помыслом крамолы ковали. Посмотришь в старые книги: как еще Господь грехам терпит доньше, как уцелело хоть что-нибудь русское! И татары, и Литва, и немцы, и мурмане, и мордва...

«Где же было нашим старикам против всех!»

— Достало бы на всех. Вот об литовском князе Витовте речь у нас шла. Вместо того, чтобы перед ним сгибаться, бить ему челом, да родниться с ним — если бы посчитаться с ним русскими ребрами, чьи-то крепче: русские, али литовские?

«Куда было против него!»

— В этом и вся беда, что мы все говорим: *куда нам!* А как князь Димитрий Иванович с Мамаем схватился, так только пар кровавый остался на том месте, где рати татарской и счета не знали!

«Экой ты: ведь литовцы не татары».

— Теперь уж, конечно, иногда татар и палками гоняют, а посмотрел бы ты их прежде..

Видно было, что разговор задевал за живое незнакомца. Добродушный дедушка Матвей был изумлен, заметив силу его движений, жар, с каким говорил он. Все это не показывало в незнакомце старика простого и мирного, каким являли его одежда и наружный вид. Но хитрый незнакомец тотчас увидел новую недоверчивость спутника. Он смирился и начал говорить по-прежнему спокойным голосом:

— И в наше время не раз доказывали, хоть бы тем же литовцам, русскую силу и крепкую надежду на Бога. Когда Витовт подступал под Плесков...

«Да, мы даже все в Ярославле издивовались, услышав, что плесковичи задумали стать против Витовта Кестутьевича!»

— Но что же он взял? Если бы тогда новгородцы, да ливонские немцы подсобили, то куда девались бы вся его рать и сила великая! Он осаждал Опочку — весь этот городишко доброго слова не стоит! Плесковичи заперлись в Опочке, подрубили мосты, которые через ров вели к городским воротам, — так подрубили, видишь, что мосты-то еще держались. Когда литовцы и всякие бусурманы кинулись в город — мосты обрушились; внизу были набиты острые колья, и враги погибли, как злые преступники, на острых кольях; других хватали плесковичи, рубили им головы, сдирали с них кожи... Видел ли ты бешеного вола? Таков был Витовт в эту страшную минуту! Но Богу угодно было помочь православным! Сделалась Божья гроза — света белого не взвидели — полился дождь, раздался гром: шатры литовские поплыли водою, и Витовт скорее велел убираться, грозя, как волк, которого из овчарни гонят добрые собаки, что со временем заплатит обиду. Грозил он, а не знал, что дни его были уже изочтены перстом Господним, и что трех лет не оставалось ему глядеть на светлое солнышко! Явная милость Божия показалась и в другой поход Витовта. Через два года он отдохнул, собрал бесчисленную силу. «Вы называете меня бусурманом и бражником, — велел он сказать новгородцам, — я научу вас тому, как литовцы пьют брагу». Огнестрельного снаряда, людей, коней, обозов повел он столько, что хвалился передовым полком вступить в Новгород, а задним не выходить из Вильны. Один проклятый немчин сделал ему такую пушку, что сорок лошадей везли ее, а где она была провезена, там след врезывался в землю локтя на два. Вот, приятель, и обступили литовцы город Порхов, что на реке на Шелони. «Ты, Витовт Кестутьевич, — говорил ему нем-

чин,— только смотри, да говори мне: куда направить мою *Галку*,— так называлась пушка,— а уж на что я ее направлю, тому не устоять». Смотря с городской стены на обширный литовский стан, где были народы немецкие и татарские, можно было подумать, что груды снега зимние вьюги навяли на земли православных. Я стоял тогда подле сторожевой башни...

Дедушка Матвей оглянулся на незнакомца, тот не смеялся нисколько, улыбнулся, перекрестился и при-молвил:

— Что я заболтался! Хотел сказать об одном приятеле новгородце, который мне сказывал... Да, где бишь остановился наш рассказ? Ну, вот видишь: в Порхове заперся посадник Григорий и еще один муж новгородский, Исаакий Борецкий — не много есть таких доблестных мужей в Руси! Они отправились к Витовту, стали его уговаривать — он и слышать не хотел. Шатер княжеский раскинут был на холме, перед ним расстилалась долина, где ярко светилась медная, страшная *Галка*, а вокруг нее стояли литовцы в медвежьих шкурах, немцы в железных одеждах, и подле горящего припала расхаживал немчин пушечник. «Нет вам мира! — говорил Витовт Исаакию и посаднику. — Платите мне десятину, отдайте мне земли по Торжок, откажитесь от Пскова, примите моего наместника, или вы увидите, что нет и спасения вам ни за стенами, ни в поле, ни в лесах. Я прорубил дорогу для своего воинства среди дремучих, черных лесов ваших, я помостил пути по болотам вашим для своих снарядов, и вот я подле Порхова. Далеко ли от Порхова до Новгорода?» — «И близко и далеко, — отвечал посадник. — Как ты пойдешь и как Бог тебя поведет!» — «Что ты поешь, старая сова! — вскричал Витовт. — Уставьте дорогу отсюда к Новгороду сплошной ратью, и тут я через три дня буду гостить у вас в Новгороде». — «Государь князь, — отвечал Исаакий, — рати у нас не достанет и на полпята дороги, но силен Бог русский и защитит нас!» — «Бог? — воскликнул Витовт, — а вот я посмотрю, как он защитит вас!» — Тут кликнул он немчина, и указывая на золотую главу колокольни Святителя Николая Заречного, ярко сиявшую над градскими зданиями, сказал: «Видишь ли эту золотую главу церковную на колокольне?» — «Вижу», — отвечал немчин. «Готова ли твоя *Галка*?» — «Готова». — «Смотри же: ударь прямо и сшиби золотую главу русского храма!» — «Этого мало, — отвечал немчин, потирая руками по огромному своему брюху, — не стоит терять

порохового зелья; вот еще торчит на стене какая-то башня — прикажи и ее свалить?» — «Хорошо!» — Слезы вернулись на глазах Исаакия, когда немчин насторожил свою пушку, размахнул припалом и зажег зелье пороховое. Огонь блеснул молнией, земля задрожала, дым разостлался по долине... Башню со стены смело, как будто веником, и ядро пушечное завизжало вдаль. — «Видишь ли», — воскликнул Витовт, громко засмеявшись и по-азывая на кирпичи, полетевшие вдали из стены церковной. В церкви производилась в то время литургия и звон колокола возвещал православным, что началась Достойная. «Достойно есть яко во истину, блажите тя, Богородицу! — воскликнул Исаакий. — Церковь цела, князь: ядро твое пролетело насквозь, и крест сияет по-прежнему, а видишь ли, где твоя Галка?» — В самом деле — Галку разорвало выстрелом на мелкие части; немчина следов не нашли: только лоскут его калбата веялся на копье воина, упавший из воздуха небесного; множество растерзанных воинов лежало окрест, и вопль и стенания раздавались вокруг шатра литовского князя. На другой день он помирился и увел свое войско со стыдом и срамом...

«Велика была милость Божия!» — воскликнул дедушка Матвей.

— Если бы мы были правее сердцем, то ли мы увидели бы. Несть спасения во всеоружии, но есть оно в правде! Забыта правда в земле русской, нет православия, ереси терзают церковь, мы развратились, мы забыли Бога и дела отцов, начиная с князей до рабов и с княгинь до рабынь, со слезами съедающих насущный хлеб свой.

«Ты верно, товарищ, новгородец, что Новгород отменно любишь, славил и знаешь о нем столько диковинного?»

Незнакомец задумался.

— Нет, — сказал он, — я не новгородец, а недавно был там, жывал и прежде.

«Живал? Где же ты живешь всегда?»

— Где? На том месте, где я стою. Много ли человеку надобно: кусок хлеба для утоления голода — он у меня в котомке; чашка воды для спасения от жажды, но — возьми горсть снега, так и напился, а снегу в Руси видишь сколько — не занимать стать (незнакомец обвел около себя рукою, указывая на сугробы, окружавшие все окрест их); сажень места, где прилечь живому... мертвому — нечего о себе заботиться: сыщется земля-матушка,

в которой грешные кости согреются от зимы смертной, найдется лоскут холстины, в который завернут землю, земле отдаваемую, и руки, которыми уравниют твою могилу, чтобы проложить по ней дорогу живым! А нечего сказать — побродил я на веку своем по Руси, православной и неправославной... Где я не был? В Киеве, в Галиче...

«В нашем Галиче?»

— И в вашем Мерском, и в Волынском...

«И в Волынском? Скажи-ка, товарищ дорогой, что там ты видел?»

— Там то же, что и везде: живут люди, с руками и с ногами, а иные и с пустыми головами.

«Ведь, я слыхал, там бывали сильные русские, православные князья?»

— Как же. Меня привел Бог поклониться гробам князя Даниила, князя Романа Галицкого, князя Мстислава Мстиславича, князя Владимирка Володаревича, князя Ярослава Владимировича, князя Льва Даниловича... Эх! соколы золотокрылые! Спите вы крепко в сырой земле и не явитесь стать копьём богатырским за землю русскую! Угры, ляхи, литва, татарщина, молдаванщина в областях ваших, а если и бродят там кое-где кочевья русские, то не походят они на русских. Вот, приятель, диковина! Спустился я по Днепру вниз, на Днепровские острова — степь голая, да кое-где виднеются притоны берладничьи, живет русский народ, смесь такая — ночью, как воры стерегут добычу, а днем прячутся в камышах, да в землянках, и считают богатырство только головами вражескими... Они себя и Русью-то не называют. Спросишь: кто ты? отвечает — *вольный казак!*

«А веры христианской?»

— Как же, христианской, и говорят по-русски; расселились до самого моря Черного, как шмелиные гнезда. Много нечисти всякой между ними — и татары, и ляхи, и угры!

«Ты далеко ходил между ними?»

— Был до самого Черного моря, как ходил в святой град Иерусалим.

«В Иерусалим? Ты был в Иерусалиме?» — сказал дедушка Матвей, с невольным почтением.

— Был, был, товарищ. Где я не был! До Иерусалима проплыли мы через три моря: Черное, Белое и Средиземное. Когда проедешь мимо Царяграда, так с одной руки Святая земля, с другой Греческая земля, с третьей

Египетская земля. Море Средиземное, как чаша находится среди мира, и меня привел Бог молиться за Русскую землю на самой середине Божьего творения.

«Какая радость должна усладить душу благочестивую,— воскликнул дедушка Матвей— когда устами своими прикоснется грешный человек к святому гробу Христа Спасителя!»

— Мирскими словами этого не выскажешь,— отвечал незнакомец.— Надобно тебе знать, что святой Иерусалим исполнен запустения на месте святе. Плынешь к нему морями, идешь горами и степями, от солнца сгоревшими, терпишь глад и жажду. Вода в море соленая, солнце печет, стрела разбойника агарянского ждет тебя из-за каждого кусточка, ядовитые скорпионы ползают по горячей песчаной дороге. Сердце православного обливается кровью, когда он видит при том проклятого мугамеданина владыкою святого храма, и когда в самом храме, подле гроба Спасителя, бьют христиан палками, и святой храм разделен на четыре части: армянам, папежам, арианам... Но поверишь ли? Все я забыл, празднуя святую Пасху, и видя грешными очами своими чудо неизреченное, как нисшел огонь с небеси на свечу христианскую у блаженного патриарха!

Незнакомец утер слезу; дедушка Матвей был весь нетерпение. Он бросил свои вожжи, которые до тех пор держал еще в своих мохнатых рукавицах.

— Помню эту ночь,— продолжал незнакомец,— и буду помнить до последнего смертного часа! Все время, с самого вечера, молились мы в святом храме Иерусалимском. Обширный, темный и без того, храм сей был тогда изредка освещен свечками и лампадками, которые теплились в разных местах, словно звездочки во мраке глубокой ночи. Наконец, патриарх греческий собрал весь клир, облачился, потушили остальные свечи и лампадки и с пением пошли все мы встречать Христа по той дороге, где касались земли его святые стопы. Звуки небесные голоса человеческого: «Воскресение твое, Христе спасе! Ангели поют на небесах, и нас на земле сподоби прославить тебя чистым сердцем»,— вы здесь, в сердце моем, которое на тот час было чисто, как душа младенца! Мы приходим ко гробу Господню, над которым во храме устроен особый храм. Тут, с молитвами и со слезами, пали все мы на колени, и лишь только ударила полночь... струями сошел огонь на свечу, которую держал патриарх, хор воскликнул: «Христос воскрес из мертвых!» Рыдая, зажгли мы свечи от свечи патриар-

шей — и этот небесный огонь, горевший неземным пламенем, и седовласый патриарх, повергшийся перед гробом Господним, и мы, стекшиеся от всех стран мира, скорбные и радостные, славившие Господа на двадцати различных языках...

Незнакомец закрыл лицо руками; дедушка Матвей зарыдал. Молчание продолжалось несколько минут. Старики шли, не говоря ни слова...

Глава VI

*Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий:
Ты червь земли, не сын небес...*

А. Пушкин

— Неужели, — сказал наконец дедушка Матвей, — неужели до сих пор не было между владыками земными ни одного, который возревновал бы отнять драгоценное наследие христиан из рук неверных, или положил кости свои грешные подле гроба Господня, сражаясь против поганных?

«Были такие примеры, были такие владыки, но — видно, что прегрешения взошли выше глав наших! Теперь кому идти на дело креста! В Иерусалиме выслушал я длинную повесть о том, как стекались некогда отовсюду цари, короли, князья благочестивые и отбивали гроб Господен. Двести лет протекло в сей борьбе кровавой, тяжелой, много мученических венцов получили в эти двести лет христианские воины, умирая за церковь Божию... Но уже лет полтораста прошло, как последний христианский город в святой земле Иерусалимской взяли неверные. Великое было дело креста Господня: дети шли на битву; установились даже такие воины, которые называли себя *крыжаками* и давали обет умирать за гроб Господен... Да, суета увлекла и их...»

— Где же они теперь?

«Где теперь? Разошлись повсюду, поддались папезу и воюют за него, приобретают ему земные царства и забывают о небесном! Немцы ливонские — ведь это также крыжаки и каждую войну против Руси православной они называют *крестовым походом*, считая себя христианами, а нас называя *язычниками*. Злохуление богомерзкое, клевета нестерпимая! Они *христиане*? Папези, обливанцы, крыжовники! Цари греческие умоляют их спасти

хоть Царьград, где еще сияет православие,— да никто и не думает!»

— Но ведь Царьград такой город, что, и во вселенной, говорят, другого, ему подобного нет!

«Стены высоки, улицы широки, хоромы позолочены, но худо Царюграду — тьма необозримая поганых облегает его кругом, того и смотри, что возьмут Царьград, и погибнет тогда премудрость и благочестие! И кроме Руси не останется нигде православия — все будет либо басурманское, либо папешское, а это еще хуже басурманского. Оттого-то и больно смотреть, что русские земли, единственный остаток церкви Божией на земле, гибнут в злочестии, ересях и крамолах».

— Стало ведь есть же басурманских земель и колен многое множество, когда от них никому на земле места нет, ни Руси, ни Царюграду?

«О! им и счета не знают! Вот видишь: Господня десница определила Руси быть от полуночи до полуденья, пределом между Востоком и Западом. На запад от нее живет всякий язык западный — литва, ляхи, угры, чехи, немцы, латины — все папежи, а граница им Днепр-река; на востоке живут всякие языки восточные — все басурманы до самых пределов солнечных, где стеклянные острова и Макарийская блаженная земля, где солнце опускается каждую ночь в море Окиян: тут живут татары, турки, кызылбаши, тут Индия богатая и царство попа Ивана, и всякие поганые народы. Они приходят и к нам, но предел им Волга-река. Русь не погибнет от них, ибо есть пророчество в Цареграде, на гробе царя Константина написано, что от полунощи изыдет князь Михаил и победит все народы: полунощь означает Русь, и в Руси родится князь Михаил...»

— Когда бы он, батюшка наш, родился поскорее!

«Нельзя: надобно прежде очиститься от грехов наших. Давно ли попущение Божие минулось, что татарская власть стала распадаться? Началось с Димитрия Иоанновича, молитвами святого чудотворца Сергия, и тут — пятьдесят лет тому, как Тохтамыш грабил Москву, а Эдигееву нашествию и двадцати лет еще не будет...»

— Нет, будет двадцать пять, если не больше! Вот, как теперь помню, что на самый Николин день татары выжгли Ростов...

«Ну, положим, двадцать пять — а за полтора-два лет до Тохтамыша было нашествие безбожного Батыя и покорение Руси, по грехам отцов наших! Откуда вышли та-

тары, и Батыевы и Темир-Аксаковы, оттуда выходят и сарацины на Иерусалим, Царьград и воюют все земли».

— Говорят, недалеко, видишь, от Иерусалима и самое начало агарян, где-то в Аравийской земле.

«Нет, тут родился только их проклятый Махмет, между армянской и кызылбашской земли, тут и гроб его, окаянного, находится: железный, висит волхвованием, ничем не поддержан, прильнул к потолку, а земли не касается, потому, что земля его не принимает. А другие говорят, что в потолке вделан проклятый камень магнит весом в сорок пудов, который тянет к себе гроб Махметов. Богу известна правда!»

— Ну, а что же дальше на полдень и на полуночь?

«Никто там не бывал. Говорят, что на полдень лежит пучина Эфиопская и кипит она огнем среди моря, и там премудрый царь Соломон заключил проклятых духов. А на полуночь, за Югрою и за Заволочью, стоит пучина ледяная — конец мира. И там Александр Македонский заключил поганные народы, которые были выгнаны Гедеоном из земли израильской, и о которых царь Давид изрек: «вскую шаташася языцы». Они выйдут оттуда при конце мира, а дотоле загорожены они каменными горами и затворены медными вратами. Об этом пишет Мефодий Патарийский; Василий же Новгородский другое говорит. Я читал его послание — великое и божественное писание! Он был святой муж, ходил в Иерусалим и получил от царьградского Вселенского патриарха белый клобук».

— Что же он говорит?

«Пишет он, что на ледяной, дескать, пучине есть остров, и на сей остров волею Божиею перенесен рай земной с Востока, и там бывали новгородские путники. Было их всего три ладьи; одна погибла, а две занесло далеко, далеко на полночь и принесло к горам, высоким, светлым и прозрачным. На тех горах увидели они божественный *деисус*, пречудно написан святым Лазарем и издивлен так, что нельзя сотворить руками человеческими! Свет там являлся самосиянный, и хотя солнца не было, но светло было паче земного солнца, и слышны были голоса и ликования веселые. Долго думали новгородские путники и решились послать одного из среды своей узнать, что это за предивное явление в очах их? Положили они с корабля на берег корабельную щеглу, и один из путников взобрался по ней на гору. Но когда с вершины горы взглянул он далее, то вскричал, бросил-

ся туда и сгиб из глаз. Послали другого, приказав ему оборотиться к ним, но достигнув горы, он, хотя и оборотился к ним, но с воплем веселия и радости бросился далее и также исчез из вида. Третьего привязали наконец веревкою, и когда, взобравшись на гору, закричал он радостно и хотел бежать, товарищи сдернули его за веревку, но он был мертв, и ничего они не узнали, ибо несть слов человеческих сказать о веселии рая, и кто вкусил сладость небесную, горька тому сладость земная! В страхе обратились новгородские путники вспять, прибыли в Новгород и поведали все Василию владыке, а он записал на память родам будущим, да чтут и веруют!»

— Но, говорят, что скоро уже придут к нам с полночи поганые народы, ибо близко уже время кончины мира!

«Кто же исповесть судьбы Бога? Что мы? Червь, тление! Нам ли ведать?»

— Но знамения страшные поведают нам о кончине мира, и сии знамения всюду видны.

«Может быть, но кто достоверно знает? Кривотолки брешут, что с седьмою тысячею настанет преставление Света, и что только 59 лет останется нам жить. Изведать судьбы Божии кто смеет? Я беседовал на Афонской горе с одним старцем премудрым. Он живет уже пятьдесят лет в своей келии на самом берегу Эллинского моря и он говорил мне, чтобы я не верил лживому толку. «Знамения кончины мира,— говорил он,— будут таковые...»

Здесь прерваны были слова незнакомца. Передавая читателям беседу двух стариков, мы не говорили о том, что представлялось их взорам.

Чуть только начинал брезжиться рассвет на небе, когда незнакомец пристал к обозу дедушки Матвея. Небо закрыто еще было тогда снеговыми тучами, но они, как будто истощенные выпавшими из них горами снега и вихрями метелицы, таяли с проходившею ночью. Звезды загорались одна за другою на небе и вот заалел восток, края неба запылали от солнечных лучей и исполнили небес — солнце, — выкатилось наконец на небосклон. Сильный мороз сделался тогда на дворе, снег хрустел под ногами лошадей и полозьями саней. День зимний, ясный, холодный, прелести которого не знают и не поймут не северные жители, настал в полном блеске. Небо не являло собою мягкой голубизны итальянского неба: оно было синее, как яхонт, солнце горело огромным бриллиантом на краю неба, бесчисленное множество морозных иголок наполнило воздух, лучи солнечные пере-

сыпались в них разноцветными искрами, отражаясь на пространстве полей, покрытых снегом, белым, как фата юной невесты, идущей к алтарю. День зимний безмолвен, когда ветер не переметает полей. Только с окрестных лесов, чем ближе подходили наши странники к Москве, тем более летели стада галок и ворон в Москву и пестрили светлое пространство небес темными, движущимися точками.

Светлый, ясный, зимний день возвышает душу северного жителя. Он безмолвен, сказали мы, как старец, в думу погруженный, и невольно поражает душу высокою думою. Ничто недвижно на земле; снега, развитые белым покровом по лесам и полям, как будто сливают небеса с землею. Летом природа пестра, разнообразна, все развлекает наше внимание: и зеленеющая трава, и лазоревые краски цветов, и игривые струи источников, и колышущаяся мрачность лесов. Зимой — небо и человек — вот все, что отражается в душе путника. По крайней мере, такое чувство ощущал в душе своей дедушка Матвей, может быть, настроенный к тому поучительною ночью беседою неизвестного старика. Тем неприятнее было для него пробуждение людей, зашевелившихся по дороге.

Едва ли не самым ранним путником был дедушка Матвей. Когда он пустился с ночлега, еще ни один воз не двинулся с места, лошади и люди отдыхали после вчерашней трудной дороги в метель и вьюгу. Но деревни, через которые он проезжал, были наполнены обозами и проезжими. Ехав по русским деревням, можете с удивлением спросить сами себя: когда спят русские крестьяне? Поздно вечером светятся в их хижинах огни, рано утром светятся они снова. Но чем ближе к Москве, тем более все кипело деятельностью и оживлялось. Дедушка Матвей нагонял выезжавшие обозы, другие поворачивали с боковых дорог. Утром начали наконец попадаться встречные возы и люди, ехавшие из Москвы порожняком. Это было на другой день после праздника и торгового дня. Видно было, что возвращавшиеся выехали из Москвы после продажи, навеселе, и большая часть, застигнутые вьюгою, пропировали ночью на постоялых дворах. Несмотря на раннее утро, множество было пьяных, которые шумели, кричали, спорили, пели песни. Все это причиняло большие неустройства по дороге.

Не надобно воображать себе тогдашних дорог, подобными нынешним *шоссе* от Петербурга до Москвы.

И теперь еще во многих местах Руси воткнутые в снег елки и сосенки показывают кривое направление, каким идет узкая дорога, и встретившиеся с трудом разъезжаются. Тогда и близ Москвы было немного лучше. Со-сновый лес Алексеевский простирался тогда на множество верст вдаль и рос по обеим сторонам Ярославской дороги, сливая в один бор все, что мы теперь называем Марьиною рощею и Петровским. Среди этого бора шла дорога. Ничто не показывало, что вы приближаетесь к столице Великого княжества, кроме умноженного числа больших и малых деревень, отдельных постоялых, хотя и бедных, дворов. Эти дворы сливались наконец в слободы, бесконечные, кривые, и сии слободы были предместия самой Москвы, составляя Ямские, то есть, места на выезде, где жили ямщики, извозчики и оставались при въезде и выезде обозы. В Москву въезжали незаметно.

В самом начале наших рассказов мы видели из разговоров дедушки Матвея с хозяином постоялого двора, где он ночевал, что в Москву шло особенно много обозов, казенных и частных, по причине наступавшей масленицы и княжеской свадьбы. И дедушка Матвей спешил к этому времени, надеясь получить поболее барыша за свой товар. От того движение по дороге было тогда несравненно деятельнее и живее обыкновенного.

Потому и неудивительно, что дедушка Матвей, когда ожил и поплелся из Москвы и в Москву весь этот православный народ проезжающих, должен был возбудить всевозможное внимание товарищей и сам деятельно принялся за управление возами, чтобы избежать столкновений и ссор, неизбежных при таком случае, особливо когда русский народ в полуразгуле.

Грустно было ему, после разговоров, прослезивших его от умиления, после безмолвия ночи и поучительной беседы, перейти к суете мира!

Разъехавшись кое-как с четырьмя санями весельчаков, которым вздумалось ехать по дороге рядом, дедушка Матвей с приметною досадою обратился к незнакомцу, хладнокровно шедшему подле воза, на котором лежала его котомка.

— Экой Божий народ, неугомонный, право так — никак не сладишь! Если бы не нужда, так не ездил бы в эту Москву — прости Господи, будь она там, где есть, кроме святых храмов, да угодников Божьих, Петра и Алексия!

«Брани Москву, а она и не думает,— сказал незнакомец задумавшись.— Растет себе в длину и ширину, и вашему Ярославлю скоро не сдобровать от Москвы».

— Что ж? Воля Божья! А часто однако ж приходит мне в голову дума: что за притча такая, казалось бы, не велик был городишка, а вот так-то всем нос утирает, что и Новгороду Великому от него плохо приходит, не коли что нашему Ярославлю.

«Неисповедимы судьбы Божии! Святитель Петр митрополит благословил Москву и переселился сюда из Владимира, с тех пор и пошла она в гору. «Если ты, князь, останешься в Москве,— говорил святитель князю тогдашнему, Ивану Даниловичу Калите,— то благо будет твоему роду и руки твои взйдут на плеча врагов твоих!» — Новгород больше Москвы, Владимир старше Москвы, Киев великолепнее Москвы, но принуждены уступать и видно, что суждено ей быть царицею городов и княжеств русских».

— Толкуют розно, а не слыхал ли ты, товарищ, досконально, давно ли началась Москва? Ты так много знаешь...

«Как не слыхать; да ведь старой повести от сказки не отличишь. Говорят, что когда-то, давно, очень давно, еще при Владимире Всеволодовиче Мономахе, жил-был боярин князь Данило. Вздумал он ехать на охоту, приехал на берег Москвы, и там, где сливается Яуза в Москву-реку, рос тогда лес дубовый, и в нем жил мудрый человек, римского рода, по имени *Подон*. И тот мудрый человек принял ласково князя Данила и сказал ему: «Знаю я тебя, князь Данило, что ты любимец Мономаха; скажи ж ты ему от меня, что на этом месте будет в роде его град великий и будут князья сильные. Пусть придет сам на это место и увидит того, кто меня мудрее, а тебе того человека видеть нельзя!» Князь Данило устроился, поехал в Киев и Мономаху все сказал. Тогда были у Мономаха войны великие, и удалился Мономах в Суздальскую область, и там родился у него сын Юрий. Был еще у Мономаха муж мудрый, грек, философ и гадатель по звездам, от Божией премудрости, а не от демонской силы. Мономах заложил для сына своего город, назвав его: *Юрьев*. Но грек говорил ему: «Этот сын твой младший будет всем братьям владыка и одного города ему мало, у него будут *долгие руки*, которыми он и другие города похватает». Оттого и прозвали потом Юрия *Долгоруким*. Мономах призвал тогда Данилу и сказал ему: «Слышу, что сын мой Юрий города себе забе-

рет, обидит он братьев своих; построю я ему такой город, чтобы незавидно ему было на другие города, и будет третий город во вселенной: *первый* Рим, *второй* Царьград, а *третий* его город; укажи мне место, где ты видел Подона». Данило, гречин и Мономах поехали; только ездили они, ездили — не могут сыскать места! И вдруг перед ними явился, в глухом, непроходимом лесу, зверь троеглазый, превеликий и прекрасный. Они поехали за зверем и выехали туда, где стоит теперь Кремль. Тут нашли они мужа мудрого, старца, по имени *Букала*, старшего брата Подонова. И тот указал им место, где заложить город в темном бору, и велел построить церковь божию, и схоронить его ветхие кости. Но потом Мономах поехал в Киев, прошло много лет, и перед кончиною своею заказывал он князю Юрию в Киев не вступаться, а жить в Суздале и построить город на Букалове месте, упокоить кости старца и быть довольным тем, что Бог дает ему. Но только, что Мономах умер, Юрий усмехнулся и сказал: «Я на свою руку охулы не положу, город великий построю, а Киев также возьму». И велел он ближнему своему боярину Кучку город на Москве-реке строить, а сам стал отнимать у братьев Киев. Вот дрались они, дрались, много лет, и Юрия выгнали наконец из Киева. Приехал Юрий в Суздаль и вспомнил, что Кучку велел строить город, и отцовское завещание вспомнил, покаялся, поехал сам и увидел, что Кучко города не строил, а выстроил себе палаты узорочные, да населил деревни: одну на Воробьевых горах, другую в Сущеве, третью на Симонове, четвертую на Высоцком, пятую в Кудрине, а шестую в Кузнецях. Юрий разгневался и сказал Кучку: «Ты мне дома не построил, так я тебе домовище построю; ты городу не дал еще имени, так я ему имя дам; ты не схоронил Букала, так я тебя схороню!» — И велел он Кучку повесить, да стрелами расстрелять и похоронить его на далеком поле, которое с того времени названо *Кучково поле*, а по тому имени и город называли многие: *Кучков город*, но по реке-Москве дано ему имя: *Москва*. И невзлюбил Юрий города, пошел опять отбивать Киев. Но мудрого человека слова мимо не молвятся. За непослушание Юрия послал Бог на род его казнь: Киев родичи его потеряли, Андрея Боголюбского, сына его, убили дети Кучковича, а из Суздаля выгнали великих князей татары. В четвертом колене, сын святого Александра Невского, мудрый князь Даниил хотел умиловить гнев Божий и поселился в Москве, построил храмы Божии и над Букалом воздвиг цер-

ковъ Спаса на Бору. Но только в седьмом колене Господь простил прегрешения Юрия и дал Димитрию Иоанновичу силу и победу, послал ему святителя Сергия и утвердил в роде его Великое княжество. Велика бы теперь была Москва и Русь, если бы не прегрешил Юрий, да не сделали двух великих грехов его потомки, едва только простил Господь прегрешения предков!»

— Потомки?

«Да, честолюбивая кровь Долгорукого все отзывается в его внуках и правнуках. Первая статья греховная та, что по завещанию отцов и дедов Великим князем надобно быть старшему в роде и чужих уделов не трогать. Это написано во всех грамотах и заветах старинных. Но Димитрий перевел Великое княжение своему сыну, а тот отдал своему сыну к обиде родных и ближних. Когда ж это видано на святой Руси?»

— Да, николи не бывало!

«Ну, а завладение чужим добром разве не грех тяжкий? Сколько благородных бояр, сколько доблестных князей Мономахова рода погибло в изгнании, в темнице, в бою кровавом за наследия, которыми овладели Московские Великие князья? Князья суздальские, князья рода старинного, бедствуют и доныне, когда младшие братья их пируют и ликовствуют...» — Голос незнакомца задрожал, глаза его засверкали — он умолк.

— И нашему князю Ярославскому и Тверскому князю куда плохо приходится, да и вольному Новгороду.

«Что до вольницы новгородской — их таки и пора унять: с жиру бесятся! — сказал незнакомец улыбаясь и перемогая внутреннюю скорбь и горесть свою. — Но мы заговорили о князьях, как будто судить их взялись — Господи нас помилуй! Дай Бог им всем долгие веки, счастья и таланту!»

— Господи нас избави, судить Божиих судей! Не в осуд слово говорится, а спроста молвится!

«Помолимся же о грехе нашем, хотя и невольном. Вот и грань Московская!»

Мы сказали, что подгородные слободы составляли предместия Москвы. Чтобы лучше познакомиться с тогдашнею Москвою, надобно знать, что *городом* называли тогда собственно Кремль — пространство, за шестьдесят шесть лет до событий, нами рассказываемых, обнесенное Димитрием Донским каменною стеною, на нагорном берегу Москвы-реки. Тут были соборные храмы московские, дворцы, великокняжеские терема и хоромы глав-

ных бояр и многих князей. Подле Кремля от Фроловских ворот безобразною кучею настроено было множество деревянных лавок, поставленных рядами, криво и неправильно. От этих рядов и бесчисленного множества лавок и балаганов, отдельно их окружавших, шли извивистые, узкие улицы, так же как и от самого Кремля. Замоскворечье составляло особенное народонаселение и называлось: *Скородом*. Улицы от Кремля и Китая были довольно длинны и пересечены множеством переулков, проходных и глухих. Во всей Москве не было тогда ни одного каменного дома, даже самые дворцы великокняжеские были деревянные. Улицы городские оканчивались там, где теперь видим великолепные городские здания. Так, например, Сретенский монастырь был поставлен отдельно на Кучковом поле, монастыри Крутицкий и Андроньев были вне города, Симонов стоял далеко среди леса, на Москве-реке. Вокруг сих монастырей расселены были монастырские слободки. Отделяясь выгонами и полями от городских улиц, растягивались слободы подгородные, где для обитателей, позади домов, отведены были пашни и сенокосные луга. Дома в Москве были большею частию во дворах, обнесенных с улицы забором, с воротами на улицу. Строение городское отличалось множеством обширных купеческих, боярских, княжеских домов в два этажа, с кладовыми и погребами внизу. Между сими большими хоромами беспорядочно таились хижины и домики, из коих многие были с соломенными крышами. Часто такой домик заслоняло какое-нибудь обширное строение соседа боярина или князя, ибо во дворах знатных и богатых обыкновенно находилось много принадлежностей: конюшни, овчарни, задние дворы, бани, терема, голубятни, соколиные дворы, домовые церкви. В слободах дома были однообразны, построены один подле другого, разделялись только воротами с большим навесом. Это отличало слободы от города. Другое отличие городских улиц составляло необыкновенное множество каменных церквей и часовен, икон под особыми навесами на стенах и домах. Многие церкви стояли среди улиц и оттого улицы тянулись мимо их угловатыми кривизнами; ограды были обыкновенно обставлены лавочками и торгом. На Яузе и Неглинной находилось множество мельниц и берег Яузы весь занимали сады. Великокняжеский сад был против самой Кремлевской горы на берегу Москвы-реки.

Такую странную, безобразную громаду представляла тогда Москва, не обнесенная ни стенами, ни валами, ни

рвом. Прибавим, что все это кипело многолюдством народонаселения. Издали блистала Москва множеством церковных глав, а оттого с незапамятных времен была она названа *золотоглавою*, прежде *белокаменной*, получив сие последнее название после, когда две белые каменные стены разделили ее внутри от Кремля и Китай-города и когда всюду начали воздвигаться в ней каменные палаты и терема. Однако ж, с Ярославской дороги Москва и доныне не видна издали, ибо возвышение земли, идущее от самого Страстного монастыря мимо Высокопетровского и далее к востоку, закрывает от путника остальную, обширную часть Москвы.

Место, которое незнакомец назвал *гранью Москвы*, была часовня, поставленная там, где ныне Сухарева башня. Здесь оканчивалась подгородная слобода Переяславская, которая вправо соединялась с Троицкою слободою, а влево с Красным селом, полями и огородами.

Тут оба старика сняли свои шапки и помолились с усердием. Уродливый старик, сидевший подле часовни, подошел к ним с кошельком и попросил на церковь Божию; множество нищих, сидевших около часовни, завопило жалкими голосами, прося *Христа ради*. Старики заворотили полы своих тулупов и из маленьких кожаных мешочков дали что могли на церковь и нищей братии. Громко благословляя, желая добрых дел дателям здоровья, а родителям их царства небесного, пошли нищие к своим местам подле часовни. Тогда, после новой молитвы, старики подошли к своему обозу.

Все показывало, что они приехали в город обширный и многолюдный. По кривой, вновь устроиваемой улице, к Кучкову полю тянулись в несколько рядов нескончаемые обозы; множество пешеходцев и всадников пробиралось между ними. Знатные люди и чиновники ехали на гордых конях, в санях и кошевнях, со всадниками и слугами, которые разгоняли обозы и били пешеходцев и лошадей, очищая дорогу. Вправо и влево, по пространству, занятому впоследствии Земляным валом, был обширный торг; множество возов стояло тут рядами; в балаганах и под навесами пекли, жарили, варили, ели; разносчики с лотками ходили между народом. Вправо, на Драчевском старом городище, видна была многочисленная толпа народа, слышны были клики, шум, заметно волнение. Множество пьяного народа шаталось повсюду.

— Ни свет, ни заря, а экая, Господи, возня! — сказал дедушка Матвей, завязывая хорошенько вожжи и оправляя сбрую своей лошади.

«Видно уж в Москву приехала Масленица,— отвечал незнакомец, с усмешкою опираясь на свою палку.— Смотри-ка, на Драчевском-то поле уж видно начались кулачные бои! Вон, вон, гляди, гляди — стена на стену — ай-да ребята, рано начали... рано и кончите»,— примолвил он, почти про себя, вполголоса.

— А знаешь ли, товарищ, вот я не бывал уже здесь года три, четыре — тогда этого не было. Что это: народ-то год от года хуже становится!

«Да, князь Василий Дмитриевич не подлюбливал ни пьянства, ни дурачества людского. А теперь молодой князь — и масленица скоро, и свадьба княжеская — пускай веселятся! Ты знаешь,— примолвил старик с таинственным видом, как обыкновенно говорит простолюдин вольные речи,— князь радостен, боярин весел, народ пьян...»

— Да ведь, я думаю, еще не во многих церквях и литургия кончилась. Смотри, какая сумятица и беспорядок!

«В порядок обоз!» — раздался хриповатый голос. Дедушка Матвей и незнакомец оглянулись. За ними стоял земский ярыжка и грозил толстою, крашеною палкою.

Хотя никаких застав и укреплений в Москве не было, однако ж, при въездах в городские улицы были поставлены в сторонах рогатки, которыми на ночь улицы были задвигаемы. Днем сии рогатки отодвигали и ставили их подле *будок* — деревянных домов, в коих кочевали *земские ярыжки*. Длинные дома сии походили на нынешние гауптвахты. Это были строения с площадкою и входом с улицы. Тут помещались ярыжки, жили подъячие, находилось особое место для взятых в буянстве и драке, для мертвых тел, пока не отвозили их в *убогие дома* — места погребения всех, кто погибал насильственной смертию. Перед обиталищем ярыжек стояли крашеные палки, в особом надолбе. Ярыжка, бывший на страже, брал одну из таких палок и, держа ее, наблюдал за благочинием. Подле каждой палки висела деревянная трещотка. Если надобна была помощь товарищей, ярыжка схватывал трещотку, вертел ее и производил странный звук, на который выбегали другие ярыжки и хватались за крашеные палки. Трещотки употреблялись и для призыва на пожар. При появлении дыма или огня ярыжки шли с трещотками по улицам, тогда на ближних колокольнях спешили бить набат и народ сбегался тушить пожар.

Одну из обязанностей ярыжек составляло приведение в порядок ехавших по московским улицам обозов. Вozy должны были следовать один за другим и пять возов связаны один с другим. При первом возе должен был идти человек и вести лошадь под уздцы. При каждом из следующих надлежало быть по одному человеку, а по крайней мере при всех пяти возах один, чтобы поправлять их. Следующие пять возов шли в таком же порядке, оставляя для проезда и прохода место после пяти предшествующих им — предосторожность, необходимая при бесчисленном множестве обозов, наполнявших Москву зимою. Не худо бы возобновить сей устав и в наше время, ибо нередко бесконечные обозы запирают и ныне московские улицы, так, что вся улица становится непроездным местом ссор и драк. Но хотя на ярыжек возложена была обязанность устраивать обозы на улицах московских в торговые дни, проезда также не было, как и ныне, и доехать до Кремля считали важным подвигом. С одной стороны, худо исполнялся устав; с другой, несколько обозов, идущих в несколько рядов, делали препятствие; с третьей, надобно поставить препятствием нетерпеливость русскую: как переждать пять возов, едущих шагом! Считалось удалством проскочить между лошадьми или перелезть через воз, а знатная молодежь прыгала на борзых конях своих через обозы или рубила веревки, от одного воза к другому привязанные, разгоняла лошадей, и хохот означал удалство знатных и замешательство проезжих.

— Тотчас, тотчас, кормилец! — отвечал дедушка Матвей ярыжке. — Видишь: лажу!

«Я тебе полажу спину!» — заревел ярыжка, замахиваясь дубиною.

— Эх, боярин! — сказал незнакомец. — Что старика бить!

«А! вы озорничать? Я вас за то. Вы нарушать порядок...»

Видно, что этот народ и за четыреста лет был таков же, каков всегда. Весьма неприятная ссора с полицией грозила дедушке Матвею и без всякой вины ему легко было попасть при самом въезде под стражу. Он видел, что в то же время множество обозов объехало его потому только, что люди, их сопровождавшие, не хотели приладиться, а он остановился именно для приготовления возов по уставу.

Крик ярыжки собрал уже много любопытных. Ярыжка замахивался палкою и кричал. — «Видно дать надоб-

но!» — шепнул незнакомец дедушке Матвею. — «Да за что дать?» — спросил тот. — «За что почтешь», — отвечал ему незнакомец.

— Ты нарушаешь княжеское повеление — ведь мы княжие рабы, ведь мы его лицо представляем, седой ты бес, прости Господи! Ведь мы управа благочиния!..

«Ох, ты управа бесчиния!» — сказал какой-то молодой парень, идя мимо. Сильною рукою надвинул он шапку ярыжки на лицо его и уже был далеко, когда взбешенный ярыжка освободил свою красную рожу из-под шапки и с ругательством искал того, кто его обидел. Толпа, собравшаяся вокруг, дала между тем дорогу дедушке Матвею, который спешил уехать, и начала хохотать над блюстителем порядка. Он бросился на насмешников со своею дубиною, народ разбежался, издали кричали ему, усыкали его, как собаку, и дразнили.

Между тем дедушка Матвей поспешно ехал по нынешней Сретенке в толпе обозов и народа, снимая шапку и молясь перед церквями, уклоняясь от ездовых и говоря: «Бог даст», — нищим, беспрерывно встречавшимся ему; уже некогда было останавливаться.

Доехав до Кучкова поля он должен был однако ж остановиться, ибо тут был обширный торг подле Сретенского монастыря и в тесноте надобно было постоять, пока найдешь проезд. Незнакомец, спутник дедушки Матвея, подошел к нему и, сняв шапку, сказал: «Ну, добрый тебе путь, дорогой товарищ! прощай!» Он взял свою котомку.

— Куда же ты? — сказал ему дедушка Матвей.

«Надобно поискать приюта», — отвечал незнакомец, взваливая котомку на плечо.

— Спасибо за дорогу, за беседу твою. Поверь, что она усладила меня, что я ее во веки веков не забуду!

«Спасибо тебе за ласковое слово».

— Послушай, однако ж на прощание, приятель и товарищ, дозволь узнать твое честное имя?

«На что же тебе знать имя мое? Христианин, русский, да и только».

— Нет! гора с горою не сойдется, а человек с человеком столкнется!

«Бог весты! Нам обоим с тобою жить, кажется, немного осталось; Русь просторна, где нам столкнуться? Помяни меня добрым словом, когда вздумаешь помянуть!» — Незнакомец еще раз поклонился и пропал в толпе народа,

— Только его и видели! — думал дедушка Матвей. — Что сегодня за чудный мне день выпался на встречи! Недаром вчера пригрезилось во сне, что я одет был в красный зипун, а третьего дня надел я шубу наыворот. Поневоле вздывуешься: на ночлег приехали князья, и чуть было не попались мы в беду. А потом этот, прохожий, Бог знает откуда взялся, куда девался, кто такой! А уж златоуст — нечего сказать — такой-то роде-язык, что не часто встречаются. Где не бывал, чего не видал? — Ну, ну! лошадки вперед! Эй, дружище, посторонись!

Дедушка Матвей должен был ехать в большой рыбный ряд к самой Москве-реке подле Константино-Еленских ворот, которые из Кремля вели на Варварку, а потом были закладены наглухо. Для этого надобно было ему проехать по Лубянке, а потом через Неглинную по которому-нибудь из мостов, находившихся на местах нынешних Никольских, Ильинских и Варварских ворот. Неглинная, запруженная вверх, разливалась широко, текла в глубокие рвы, коими был обведен Кремль, и наполняла их водою. На мостах был особенный затор народа, ехавшего и шедшего в разные стороны. Долго стоял тут дедушка Матвей, как вдруг мелькнуло перед ним знакомое лицо — один из ярославских купцов, издавна поселившийся в Москве. Он узнал дедушку Матвея, известного рыбного торговца ярославского.

— Что, старинушка, видно не проедешь? — сказал ярославец, после обыкновенных приветствий и вопросов: куда, откуда, давно ли?

«Да уж побил я масла по Москве. Скажи, пожалуй: что у вас сегодня? Я давно, правда, не бывал в Москве, да зато никогда и не видывал столько бояр, князей, всадников и такого смятения?»

— Масленица ведь послезавтра, ну а теперь все едет и бежит в Кремль: сегодня княжеская свадьба.

«Сегодня! То-то я смотрю — народ кишмя кишит: и пьяно, и разодето, и все к Кремлю, да к Кремлю!»

— Да как же и не так: по три дня было уже гулянье, да пированье, а сегодня выкатят народу бочки с брагой и медом. Князь Великий Василий Васильевич хочет, чтобы все веселились на его свадьбе и молились за здравие его с матушкою и с невестою! — А что: есть, чай, у тебя рыбка хорошая? Ты ведь гуртом сбудешь?

«Нельзя иначе. Начни вразбой, так и концов не сведешь. У меня еще назади много идет. Опоздал за дорогой».

В это время возы тронулись.

— Зайди же ко мне, дедушка Матвей, мне еще есть тебе дело заказать в Ярославль: Суханко Демкин не платит мне долгишко, вот уж другой год...

«О, да измотался он, сердечный! Не душа лжет, а сума».

Оставим на время дедушку Матвея, московские площади и улицы и перейдем в жилища людей, более дедушки Матвея значительных.

Глава VII

*Дщерь гордости властолюбивой,
Обманов и коварства мать,
Все виды может принимать:
Казаться мирною, правдивой,
Спокойною в опасный час;
Но — сон вовеки не смыкает
Ее глубоко впадиших глаз!*

Карамзин

Прежде всего, нам необходимо коснуться *родословной* некоторых князей, коих имена упоминали уже мы в нашем рассказе; далее увидим мы их еще более. Что тот за знакомый, которого ни отечества, ни величанья не знаешь! Так, по крайней мере, говорит русское присловье. Мы должны узнать род и отчество князей, которых встретили и встретим в нашем рассказе о старом, *былом деле*. Не станем вполне развертывать пыльных, огромных родословных столбцов: довольно, что тщеславие людское слишком часто развертывало их на беду свою и чужую в течение целых столетий; довольно, что страсти людские застилали ими глубокие, кровавые потоки, и что бедные люди составили из них даже особую науку! Кто сам не занимался родословиями, тому скажем мы, что это знание самое грустное и скучное: это наука мертвых имен, которые, без жизни *исторической*, похожи на поминки родителей по синодикам, на голые, обнаженные тела, кости человеческие. А бывали люди, иссыхавшие над родословными списками? Но — над чем не сохнет человек! Корпеть над родословными из одной любви к ним конечно странно; не страннее ли однако ж из них, из этих мертвых остонов, добывать себе честь и славу и гордиться этой честью и славою?

Великий князь московский, Димитрий Иоаннович, прозванный *Донским* после победы над Мамаем на бере-

гах Дона, оставил по кончине своей шесть сынов: *Василия, Юрия, Андрея, Петра, Иоанна и Константина*. Старшего благословил он Великим княжеством, другим дал уделы. В присутствии святого игумена и чудотворца Сергия написана была им, в 1389 году, *«грамота душевная, целым умом своим»*, в которой, наделяя детей своих областями, разделил он им и города и села, родовые и своего *примысла и прикупа*, тщательно определяя «волости, с тамгою и с мытами, и с бортью, и со всеми пошилинами, и с отъездными волостями, станами городскими и сельскими, с конюшими, сокольниками и ловчими путями».

Древняя грамота сия еще цела; через четыре с половиною века пергаментная хартия грамоты Димитриевой не истлела, и с серебряной печати ее еще не слетела позолота.

Старейший путь отдан был от него князю Василию. «А по грехам,—говорил Димитрий,—отымет Бог сына моего Василия, а кто будет под тем сын мой, тому сыну моему *Васильев удел*». Затем благословлял родитель Василия иконой Парамшина дела, цепью золотою княгини Василисы, золотым поясом великим с камнями, без ремней, другим поясом золотым, с ремнями, Макарова дела, бармами и золотою шапкою. Сыну Юрию отдавал он пояс золотой, новый, с камнями и с жемчугом, без ремней, другой пояс, Шишкина дела, *вотола сажена*. Князь Андрей получил от него снасть золотую, пояс золотой, старый новгородский. Князь Петр — пояс золотой, с камнями, пегий, пояс золотой, с калитою, тузлуками и наплечками, а Иоанн — пояс золотой, татаур и два ковша золотые, каждый в две гривенки. Константин только что родился, когда Димитрий был уже на смертном одре. «А даст мне Бог сына,—написал о нем отец,—то княгиня моя поделит его, взяв по части у большой его братии. А по грехам, которого сына моего Бог отымет, княгиня моя поделит уделом его сынов моих; которому что она даст, то тому и есть, а дети мои из ее воли не выйдут. Слушайте матери, дети мои! Что кому она даст, то тому и есть».

Так хотел Димитрий предупредить всю вражду и братнюю ненависть, умоляя сынов своих к миру и подтверждая им многократно «слушать матери во всем; старшему брату держать своего брата князя Юрия и свою младшую братию в братстве, без обиды», а младшим братьям «читать старшего в место его и своего отца». Клятва родительская пала на того, кто «нарушит

грамоту духовную». — «Судит ему Бог, — говорил Димитрий, — не будет на нем милости Божией, ни моего благословения, ни в сей век, ни в будущий!»

Слезящими очами взглянув на детей своих перед кончиною, положив dokonчательный ряд и дело, сказав: «Да будет с вами Бог мира!..» — скончался Димитрий. Тридцать шесть лет княжил после него Василий Димитриевич и мирно слушались его братья. Когда в 1425 году пришел час и его кончины, митрополит Фотий подписал на духовной грамоте Василия, во свидетельство, имя свое: Μητροπολίτης Φωτίος. Но не начало мира, как в Димитриевой грамоте, но начало страшного раздора заключалось в сей грамоте, свидетельствованной первосвятителем русским.

Искони веков, коренной закон князей русских состоял в старшинстве семейном. После смерти Великого князя, всегда наследовал ему брат, и Великое княжество могло переходить к сыну его тогда только, когда ни одного брата не было уже на белом свете.

Таков был неизменный закон. Кто его установил? Где начался он? Никто не знал, все ему верили — верили, но уже триста двенадцатое лето совершалось в год кончины Василия с тех пор, как Владимир Мономах в первый раз нарушил сей закон, и никто с того времени не исполнял его, если только сила законного наследника не заставляла следовать уставу отцов и дедов. Таковы люди. Как нарочно создают они себе мечту неисполнимую и мучают себя, чтобы достигнуть ее! Право наследства по старшинству в роде почти никогда не было правым, но оно увлажжало землю Русскую в течение четырех веков реками крови — и почиталось святым и коренным.

Димитрий сам нарушил его. После Димитрия следовал Великокняжеский престол не сыну Василию, а двоюродному брату Димитрия, Владимиру, сыну Андрея Иоанновича, дяди Димитриева. Но во все двадцатилетнее княжение Донского, Владимир Андреевич, князь Серпухова, Малоярославца, Радонежа, Перемышля и Углича, был добрым другом и верным подданным знаменитого своего брата. Вместе бились они на Куликовом поле, Владимир решил сию битву отважным нападением в тыл врагов и с тех пор прослыл он Храбрым. Но, если он всегда изумлял храбростию, то еще более изумил смирением, уступив племяннику своему старшинство и Великокняжеский престол. Первый, неслыханный дотоле пример, приведенный в исполнение умом

и хитростью Донского! Василий Димитриевич смело сел после того на Великое княжество, и еще двадцать один год, до самой кончины своей, служил ему Владимир Андреевич верою и правдою, как младший, подвластный князь, поручив по смерти своей детей своих в его *милость и печалование*.

Мог ли надеяться сын Донского, что так же мирно перейдет к сыну его и останется у сына его Великое княжество, если и он нарушит коренной закон, как нарушил его Димитрий? Братья Василия: *Юрий, Андрей, Петр, Константин* были еще живы и не отказывались, по крайней мере, ничего не говорили о Великом княжестве. Дети Юрия, *Косой, Шемяка и Красный*, были князья возрастные и могучие. За два года до кончины написал Василий грамоту духовную, в которой единственного своего сына, Василия Васильевича, «*благословил своею вотчиною, Великим княжением, чем благословил его отец*». Грамоту положили в хранилище княжеское, а через год написана была другая духовная грамота, в которой, с грустною думою о будущей участи десятилетнего сына своего, Василий Димитриевич велел написать: «*А даст Бог сыну моему Великое княженъе, и я сына своего благословляю, князя Василия*».

Все, что мы рассказали теперь, рассказывал, хотя не нашими словами, боярин-старик молодому человеку, в Москве, утром февраля 8 дня, 1433 года, когда вся Москва была в движении, слыша, что в этот день будет великокняжеская свадьба и великое пиршество в княжеском дворце для князей и бояр, а на площади Кремлевской потеха для народа.

Дом, в котором беседовали боярин и молодой человек, находился в *трети* Москвы, принадлежавшей князю Юрию Димитриевичу, детям его и братьям, дядям Великого князя московского Василия Васильевича. Может быть, не всем известно, что хотя обладание Москвою было принадлежностью того князя, который считался *старшим* из всех и назывался *Московским* и *Великим*, но Москва не вся однако ж ему принадлежала. *Треть* ее была во владении потомков князя Владимира Андреевича; другою *третью* владели сыновья Димитрия Донского; только одна *треть* принадлежала Великому князю, сыну Василия Димитриевича. Каждый был властителем в своей трети и самовластно пользовался судом, расправою, тамгою, восмничьим, гостиным и весчим, пудовым и серебряным литьем, владел путями и жеребьями, бортью, пошлинами, конюшими, сокольничьими

и ловчими ездами, и численными людьми, бортниками, садовниками, псарями, бобровниками, барахами и де-люями. В делах, между жителями одной трети Москвы с другою третью, был *общий* суд, а при несоглашении выбирались особые *третьи*, из третьей трети.

Разумеется, что в треть Великого князя входили Кремль, ряды подле Кремля и лучшая, обширнейшая часть Москвы, но свободное переселение из одной трети в другую жителям не запрещалось. Князья имели дворы, дворцы и терема в чужих третях. У каждого почти князя был еще двор в Кремле. Но князья обладали однако ж лучшими дворцами в своих собственных третях. Дворы князя Юрия Димитриевича и детей его: Василия Косого, Димитрия Шемяки и Димитрия Красного находились в Сущевской слободе. В доме Косого сидели и беседовали старик и юноша, о которых мы упомянули.

Этот двор составляло обширное место, огороженное дубовым тыном с воротами на улицу. Против ворот, во дворе, находилось большое деревянное строение, в два этажа; нижний составляли темные кладовые с железными дверьми, на которых были тяжелые затворы и висели большие замки. Высокое крыльцо, украшенное длинным навесом, с фигурками и дубовыми, резными столбиками, вело в теплые сени верхнего этажа, из коих были двери: направо — в *светлицу*, налево — в *заднюю* половину. Ту и другую половину составляли — спереди два огромных, во всю половину строения, покоя, а сзади замыкали их длинные сени во все строение. Большая комната светлицы была приемною залою, столовою в большие праздники; за ней следовали оружейная, образная и проч. В задней половине большая комната была местом, где всегда сидели запросто и обедали запросто; другие комнаты были здесь назначены для домашнего обихода; тут всегда теснились слуги, бояре, ближние люди. Особый переход вел к жилищу княгини, или терему, всегда отдельному, обширному и неприступному для гостей и людей посторонних. Женщины, чем были знатнее, тем более невидимы. Обширные переходы вели еще ко множеству других строений: церкви, конюшням, псарной, голубятне, соколиной. Вообще двор разделялся еще на множество двориков, кроме большого двора перед воротами, чистого, вымощенного досками, уставленного столбами с кольцами, к которым привязывали лошадей приезжавшие к князю, и в этих кольцах был большой почет и место: простолудин был бы избит палками от стражи княжеской, если бы осмелился привязать лошадь

к боярскому кольцу, и боярину сказали бы *грубое слово*, если бы лошадь его очутилась при княжеском кольце. Кто хочет иметь понятие о двориках княжеского двора, тот должен заглянуть в ограды старинных московских монастырей, где увидит он множество неправильно построенных и беспорядочно расставленных домиков и при многих домиках отдельные дворики, огороды, сады. Во дворе иного князя жило иногда по несколько сот его дворни, считая бояр, дворян, слуг, псарей, конюхов, сокольников, медоваров, пивоваров, поваров, бортников, слуг, нищих, церковников и проч. и проч. Множество особых сараев, погребов, подвалов, кухонь, амбаров, кладовых, наконец, обширный сад — такова была беспорядочная громада, составлявшая почти каждый княжеский двор. Отличительными чертами их были многолюдство, вечный шум, вечный приезд, толкотня, грязь, не пересыхавшая, особливо в захолустьях, даже и в летние жары.

В большой комнате светлицы, на задней лавке, сидели старик и юноша, одетые богато, и тихо разговаривали. Несколько других, так же великолепно одетых людей, в молчании сидело на других лавках или ходило по комнате; множество прислужников Косого беспрестанно приходили, уходили, переходили через комнату с видом чрезвычайной заботливости, как обыкновенно бывает у русских слуг.

— Что же далее было написано в «Духовной» покойного князя? — спросил юноша старика.

«Далее,— отвечал старик,— определял он, так же, как батюшка его, князь Димитрий Иоаннович, земли и волости, московские, коломенские, костромские, бежецкие, переяславские; потом вычислял сыну движимый *нажиток* и *прибыток* свой: «Святой крест, Страсти большие, патриарха Филофея крест, икона Парамшина дела, цепь крещатая, шапка золотая, бармы, пояс золотой с камнями, пояс на цепях с камнями, пояс на синем ремне, коробка сердоликовая, ковш золотой князя Симеона, судно златскованное, судно каменное великое, Витовтово, кубок хрустальный королевский».

— И только?

«Только. Я сказал уже тебе, что упомянуто было о Великом княжестве».

— Неужели Василий Димитриевич ничего не говорил об этом братьям своим?

«Мало ли что говорил; но ведь сказано и улетело! Особенно много было толкованья с Юрием и Константи-

ном, да толку-то много не вышло. На Духовной грамоте первой подписались князя *Андрей Димитриевич, Петр Димитриевич, Константин Димитриевич*, да два князя Володимировичи».

— Стало они соглашались на Великокняжение Василия Васильевича?

«Конечно; да они же, кроме князя Константина, подписались и на второй грамоте. После этого — как хочешь посудить!»

— Неужели ты думаешь, боярин, — сказал юноша, — что Великое княжество неверно Василию Васильевичу? Ведь вот он уже восьмое лето княжит?

Старик наклонился к уху молодого своего собеседника и спросил его шепотом: «Ты зачем сюда прислан от твоего князя?»

— Поздравить князя Василия Юрьевича с благополучным приездом и спросить: здоров ли и приедет ли на княжеское веселье родитель его, князь Юрий Димитриевич?

«И я затем же прислан от моего князя, поклонимся ка ему пониже. Это спины не попортит, а худо не делает», — примолвил старик, усмехаясь.

Юноша задумался. «Да, — сказал он, — теперь везде я слышу, что поговаривают как-то все о грамотах, да о грамотах, и кто эти вести разносит, Бог ведает! В самом деле: *главного*-то и не было! Ты достоверно знаешь, боярин, что князь Юрий Димитриевич под грамотами брата своего не подписался?»

— Нет! А после того, в великий мор московский, Господь прибрал князя Петра, и князь Андрей в прошлое лето Богу душу отдал. Ох! товарищ! боюсь я, боюсь, чтобы начавши ныне веселье за здравие, не свести за упокой! Может быть ты не совершенно знаешь, как успели удержать доньше Великое княжество за Василием Васильевичем. Много было тут ломки! И покойный святитель вмешивался, и до драки доходило. Хорошо, что князь Юрий был стар, дети его молоды, а боярин Иоанн Димитриевич умен и хитер. Только ему можно было со всеми управиться. С тех же пор, как боярина Иоанна Димитриевича не стало, мне кажется, что у Кремлевских стен подставки вывалились. Того и смотри, как рухнут...

Тут зашумели полозья многих саней подле крыльца. Это взволновало всех бывших в комнате; бросились к окошкам и увидели, что из трех саней, окруженных многими вершниками, выходили три человека.

— Что это за князя? — спросил юноша у старика.

«Это *лихие* князя, как называют их в Москве, дети покойного князя Андрея Дмитриевича, о котором я тебе сейчас говорил: князь Иван Можайский, да князь Михайло Верейский. А третий... — старик усмехнулся, — князь без княжества, Туголукий...»

— Шут княгини Софьи Витовтовны, Иван, беспоместный князь Суздальский?

«Да! — Боже великий! Вот потомок, родной внук мудрого Константина Дмитриевича Суздальского! А я еще помню, как Суздаль бывало не уступал Москве и руку об руку спорил с нею о Великом княжестве... Константин Мудрый и Иван Туголукий! Боже мой, Господи!»

Громкий смех издалека возвещал приход гостей. Все бывшие в комнате поспешно стали в ряд, по обе стороны дверей.

— Нет! Не спорь, князь Иван Борисович, — говорил Иоанн Можайский, входя в комнату, — не спорь! Суздальцы издавна отличались дородностью тела, и тебе нельзя пожаловаться, что Господь не отличил тебя родовым преимуществом. Твое брюхо — нечего сказать, преблагословенное!

«Да, что вы в самом деле затеяли, некошная молодежь! — вскричал князь Иван, с забавною досадою. — Долго ли изурочить? Особливо твой глаз, князь Иван Андреевич, куда на это негодящий: черен, как уголь, и горит, как будто кошечий!»

— Полно, полно, князь Иван Борисович! Смею ли я тебя урочить? Ведь долго ли до беды! Как ты ухватишься за свой *тугой лук*...

Князь Иван с досадою замахнулся на Можайского; видно было, что князь Иван не терпел этого слова и что его обыкновенно дразнили *тугим луком*. «Он еще не сделан, и дерево на этот лук не выросло», — сказал смеясь князь Верейский. Князь Иван бросился на него с кулаком. Оба брата захохотали. В это время, из внутренней комнаты, вышел Косой и, обращаясь назад, будто говорит кому-нибудь из своих, громко сказал: «Велите мне хорошенько приготовить сайдак, колчан, пищаль и лук натянуть *потуже*...» Князь Иван кинулся на Косого, закричав: «Я тебе самого в тугой лук согну!» Косой и двое гостей его расхохотались. В этой потехе никто не участвовал кроме князей; все другие присутствовавшие стояли молча, тихо, опустив глаза, неподвижны, как статуи.

— Нет у тебя стыда, князь Василий Юрьевич! — начал тогда князь Иван, которого мы будем называть *Туголуким*, ибо так звали его все современники, и даже это название сохранилось на его гробе.— Приехал я к тебе, поздравить тебя с приездом, а ты меня, гостя, так принимаешь!

«Ты бы молодца прежде напоил, накормил, в бане выпарил, да спать положил, да тогда и начал бы у него спрашивать: зачем де ты ко мне, князь Иван Борисович, приехать изволил? Он бы и сказал: приехал я к тебе, князь Василий Юрьевич, с приездом тебя поздравить...», — проговорил смеясь князь Можайский.

— И солгал бы! — подхватил князь Верейский.— Он мне давеча сказал, что хотел ехать к князю Василию Юрьевичу совсем не для поздравления, а просить заступиться за его обиду.

«Тебя обижают, князь Иван Борисович,— сказал Косой.— Да кто же это смеет?»

— Великая княгиня! — отвечал Верейский.

«Да, да, точно обижает! — вскричал с досадою Туголукий.— Рассуди сам: назначают меня ездить во всю ночь, вокруг княжеской опочивальни, с мечом!»

— И без ужина, и всю ночь, и на коне,— сказал Можайский.— Не обида ли? Князь Иван Борисович уже лет шесть, как на коне вовсе не ездит. Видишь: он худощав, так боится, что никакой конь не сдержит его и плюснется под ним, словно лепешка!

Новый смех. «Прошу дорогих гостей садиться,— сказал Косой.— А я только привечу бояр и присланных ко мне».

Он приблизился к людям, стоявшим подле дверей. Старик, разговаривавший с юношей, выступил первый, поклонился в пояс и сказал Косому:

«Александр Феодорович, князь Ярославский, прислал меня, своего боярина, к тебе, князю Василию Юрьевичу, поздравить тебя с благополучным приездом и узнать о твоём княжеском здравии и как обретается родитель твой, князь Юрий Димитриевич».

— Благодари, боярин, князя Александра Феодоровича Ярославского,— сказал Косой,— за его привет и донеси ему, что милостию Бога мы обретаемся здоровы, а как поехали мы от родителя своего, то он, милостию Бога, был здоров и благополучен.

Боярин поклонился, поцеловал руку Косого, поклонился снова и вышел, не говоря ни слова,

Тут выступил юноша и так же, как перед ним старик, спрашивал о здоровье и кланялся от Иоанна Олеговича, князя Рязанского. Однообразно отвечал Косой и отпустил, одного за другим, присланных к нему с вопросами и поздравлениями от Бориса Александровича Тверского, от дяди Константина Дмитриевича, князя Углицкого, от Василия Ярославича, князя Боровского, от Иоанна Юрьевича, князя Зубцовского и многих других князей. Все сии князья находились тогда в Москве для празднования великокняжеской свадьбы. Тут выступили московские управители Косого с хлебом, солью и серебряными деньгами на серебряном блюде, донося, что все по милости Господней у них благополучно; наконец, кланялись ему московские наместники братьев его, Шемяки и Красного, наместник отца его Юрия и люди, присланные с просвирами от разных духовных сановников.

Каждый уходил, обменявшись приветствием. Князь Верейский, Можайский и Туголукий сидели молча. Когда князья остались одни и Косой обратился с приветствием к ним, Туголукий схлопнул руками и преважно воскликнул: «Эдакая почесть, Господи ты, Боже мой! Истинно отказался бы от хлеба-соли на три дня, только бы пожить в таком почете! Да и какой же ты мастер, князь Василий Юрьевич, представлять знатного князя! Недаром говорят, что тебе бы надобно быть Великим князем, а не молоденькому нашему Василию Васильевичу. Ты молодец собой, да ты же и старший в княжеском роде, после отца твоего, князя Юрия, да после дяди Константина, да после Василия Васильевича!»

Слова эти были выговорены так скоро, что Косой не успел предупредить их, сказаны так неожиданно, что он не успел обдумать — шуткою или сердцем отвечать на них; наконец, попали в цель столь удачно, что он совсем смешался и с изумлением смотрел на глупого князя и его товарищей.

Иоанн Можайский перебил безрассудные речи Туголукого. «Полно, князь Иван Борисович,— сказал он.— Если госпожа твоя, Великая княгиня Софья Витовтовна, услышит, что ты говоришь — она тебя башмаками по щекам отхлопает, чтобы ты лишнего не врал».

«Да,— вскричал Туголукий,— дождется твоя княгиня и хуже моих речей! Смотри, чтобы ее самое не схлопнули с места. Нет уж, князья, нечего говорить, а она совсем зазналась! Ладу никакого не приладишь. Когда это слыхано, чтобы в княжеском совете никто из-за бабы словечка молвить не смел?..»

— Князь Иван Борисович точно имеет право жаловаться на княгиню, мою любезную тетушку,— сказал Косой важно.— В самом деле: заставлять ездить верхом, без ужина и целую ночь, человека — нет, еще не человека, а князя весом в 15 пуд — это бессовестно! Но несправедливость не оправдывает однако ж тебя в вольных речах, князь, и воля твоя, а я должен передать княгине Софье все, что ты говорил; прошу меня не путать!

Лицо Туголукого, всегда красное, побагровело: это значило, что он покраснел. «Ах, Господи, да что я сказал такое? — вскричал он.— Я повторил, что многие говорят, а слышанного зачем не говорить? Разве Господь дал нам только уши, а языка не дал? Разве мы этот дар Божий будем пренебрегать? Ведь это грех: пренебрегать даром Божиим? — Однако ж, прощайте, князя! — примолвил он, принимаясь за шапку, с робким видом,— мне пора. Ведь меня, чай, уж ждут у господина моего, Великого князя Василия, и у матушки его, Великой княгини Софьи Витовтовны — прощайте, счастливо вам оставаться». — Он ступил несколько шагов, Косой и князя, смеясь, кланялись ему и провожали. Вдруг Туголукий оборотился и тихо молвил Косому: «Ведь ты никому не скажешь, князь, что я здесь говорил? Так, ей-Богу, сорвалась с языка дурь...»

— Никому, никому,— отвечал Косой, презрительно улыбаясь,— ведь я знаю и все это ведают, что ты верный раб Великого князя и близкая родня ему по жене твоего брата, дядюшка-простодум...

«То-то же!» — сказал Туголукий, смеясь рабским смехом и как будто гордясь своим унижением. Он ушел немедленно.

— Каков? — сказал Косой князьям,— а ведь я не ругаюсь, что он не бездельничает и что он не был прислан нарочно?

— Князь Роман! — вскричал потом Косой, хлопая огромными своими руками. Явился молодой человек из свиты Косого.— Ты будешь здесь; примешь, кто приедет, и скажешь, что я пошел в мыльню. Пойдемте, князя.

Косой увел князя Верейского и князя Можайского, через переходы, в дальнюю комнату.

— Здесь мы свободны, князя,— сказал он.— Обнимите меня прежде, а потом поговорим душевно.

«Мы думали,— сказал ему Иоанн,— что найдем у тебя брата, князя Димитрия Юрьевича. Где же он? Ведь он приехал?»

— Да, мы вместе ехали, в одних санях, но душами были разны.— Он остановился в кремлевском дворе своем.

«Что же родитель твой? Где он?»

— Был в Галиче, а теперь должен быть ближе. Но — он устарел, князя, устарел! На брата Димитрия я не полагаюсь нисколько. Он не так глуп, как Туголукий, но думает совершенно по-туголуковски. Меньшой брат, со своею красивою рожницею, также никуда не годится: он способен только увеселять старика моего игрою на гуслях. Презабавное дело! Сидят двое, один играет и поет, другой молчит, слушает, гладит сына по русой его головке и плачет от радости!..

«Законный наследник, старший в роде!» — вскричал Михаил.

— Когда у него под носом рвут город за городом! — примолвил Иоанн.

«Устарел, друзья! говорю вам, устарел! Авось его золотой язык боярина Иоанна Димитриевича порасшевелит. Что за голова, князя! Что за ум! Не выдавшись с ним, напрасно возбуждая отца и ссорясь с братьями, я ничего не хотел начинать и не начал бы, пока сам не поговорил с вами, князя, не посмотрел сам, что делается в Москве».

— Здесь все идет — Бог знает как! — сказал Михаил Верецкий.— Вот сам увидишь. Володимировичи теперь ног под собою не слышат, особливо князь Боровский, с тех пор, как сестра его сделалась невестою Василия. Управление пошло совсем через руки баб. Туголукий не обманул тебя, сказав, что в советах голоса всех покрывает голос старой княгини, тетки. Вот старуха, князь Василий Юрьевич! Настоящая Витовтовна! И покойный дядя едва ладил с нею, а теперь никто сладить не может. Одной только еще слушается старицы, княгини Евпраксии, которая, как застучит своим монашеским костылем, так все умолкает. Молодежь ездит, на охоту с князем, пирует, гуляет, и — мы с ними же!

Косой ходил, не говоря ни слова.

— Слышал ли ты,— продолжал Михаил,— что сделалось с дядею Константином Димитриевичем?

«Нездоров?»

— Нет! в монахи идет.

«Как! в монахи?»

— Да, после свадьбы, мы едва ли не будем праздновать его княжеское пострижение. «Лучше быть первым в монастыре, чем последним в Москве», — недавно говорил

он мне. Теперь почти всегда живет он на Симонове, украшает эту бедную обитель и, показывая ее гостям и посетителям, приговаривает: «Есть чернцы и на Симонове».

«Я тебя понимаю, дядя,— проворчал Косой.— Я сам пойду в монахи, если... Но, тем лучше: он с плеч долой, отец стар, одна ступенька и...— Он обратился к князьям.— Сказал ли вам князь Роман, что я встретился с боярином Иоанном, и все, что я говорил с ним? Это моя правая рука».

— Все знаем. Теперь, не достаёт только нашего Гудочника.

«Он уже здесь,— отвечал Косой.— Перстень боярина вызвал его, как беса из тьмы кромешной. И настоящий бес! — Где таких людей умеет сыскать боярин Иоанн?» — Тут Косой отворил боковую дверь и оттуда вышел ночной собеседник дедушки Матвея, старик, бывавший везде и знающий так много.

«Добро пожаловать, Иван Гудочник!» — сказал Иоанн, пожимая руку старика.

— Здорово, Ванюша! — прибавил Михаил. — Что ты принес к нам?

«Все, что нужно, князь Михаил Андреевич! Челом бью тебе и тебе, князь Иоанн Андреевич, от князя Тверского и из Новгорода от князей Василия Георгиевича и Феодора Георгиевича».

— Давно ли ты виделся с боярином Иоанном Дмитриевичем? — спросил Можайский.

«В последний раз я видел его в Твери, откуда хотел он ехать в Зубцов. Но я слышал, что он был после того скрытно в Москве и теперь должен быть у князя Юрия Дмитриевича. Время не терпит».

— Ну, что ты думаешь? — сказал Иоанн. — *Когда начинать? Как начинать?*

«Это зависит еще от многого, что должно предварительно решить. Новгород, Тверь готовы. Суздаль — вы знаете, вспыхнет, как зелье пороховое, когда вы только скажете. Москва начинена всякими горючими снарядами и стоит только поднести огонь. Ярославль, Рязань — об них нечего и говорить: при удаче они ваши, при неудаче — они против вас, а пока дело уладится — они станут молчать».

— Мои и братнины дружины в три дня сядут на коней, — вскричал Иоанн.

«Пока боярин Иоанн Дмитриевич не известит меня о решении князя Юрия Дмитриевича, — сказал Гудочник, — я не начну ничего».

— Я тебе его решение! — отвечал Косой. !

Гудочник задумался.

«Я, я решу все за отца моего, все! — повторил с жаром Косой. — Говори, что тебе надобно?»

— Стало быть, ты еще и условий не знаешь, князь Василий Юрьевич, хотя перстень боярина Иоанна Дмитриевича свидетельствует за твое согласие? И притом — прости меня — ты, все еще не родитель твой! Что голова, то разум. Говорят, будто мысли родителя твоего совсем переменялись, после недавней поездки в Орду.

Косой ходил, в страшном смущении, по комнате и вдруг оборотился к Гудочнику. «Я более тебе доверяю, старик, нежели ты мне!»

— Князь Василий Юрьевич! мне можно доверять.

«Я в первый раз тебя вижу, не знаю кто ты и допускаю тебя быть участником всех тайн, за одно слово боярина Иоанна Дмитриевича!»

— Меня не знаешь ты, князь, — это правда, но то знаешь ты, что я играю в большую игру — в свою голову, которая у меня одна, и кроме которой нет у меня ничего в здешнем мире! На первой осине, как псу нечистому, заплатят мне за мою ошибку. А ты — князь, первый после отца и дяди своего в Русской земле: тебя не коснется никакое зло, хотя бы открылось, что ты хочешь зажечь Москву с четырех сторон. Но, кроме жизни, у меня есть еще другое добро, дороже самой моей жизни: клятва, которую уже сорок лет стараюсь я исполнить. И теперь, когда приближается время сложить, может быть, с души моей клятву смертную — я не могу отважиться ни на что, пока нога моя будет стоять твердо...

«Какая клятва, старик?» — спросил Косой гордо.

— Это моя тайна, которой до сих не открывал я никогда, даже на исповеди, перед святым причастием тела Христова!

«Безумно было бы сомневаться в согласии отца моего, — сказал Косой, по некотором молчании. — Условия, если только они не бесчестны, будут исполнены. Скажи мне их».

— Скрывать не буду, — отвечал Гудочник. — *Первое* — Суздальское княжество восстанавливается по-прежнему, как было оно при мудром князе Константине: Нижний Новгород, Суздаль, Городец на Волге и Мещера. Князья Василий Георгиевич и Феодор Георгиевич владеют им, на всей воле.

Косой махнул головою. Гудочник продолжал:

— *Второе.* Новгород Великий получает все древние права свои по льготным грамотам Ярослава Великого. «Далее!» — сказал Косой, скрывая нетерпение.

— *Третье,* — продолжал Гудочник. — Тверь отделяется особым Великим княжеством.

«Как! — вскричал Косой, — вы хотите вырвать честь и славу из венца Мономахова и потом бросить его, обесславленный, на седую голову моего родителя? Это постыдно, это унижительно! Отец мой не согласится; я не хочу! Вы разрываете на части нашу порфиру великокняжескую...»

— Которая еще не ваша, князь Василий Юрьевич, а на плечах князя Василия Васильевича, — отвечал хладнокровно Гудочник.

«Вы отторгаете наши области, разрушаете нашу власть», — продолжал Косой.

— Их еще надобно добыть, князь! — с горькою улыбкою промолвил Гудочник.

«Братья! — воскликнул Косой, обращаясь к князьям Михаилу и Иоанну и отворотясь от Гудочника, — если вы заодно со мною — оставим крамольников и пойдем добывать своего мечом! Слабому ли мальчику со старою матерью устоять против нас?»

— Разве этому не было опыта? — сказал печально Михаил, молчавший во все время, пока говорил Гудочник. — Разве не старался об этом родитель твой, целые восемь лет? И возможно ли это ныне, когда за восемь лет, сгоряча, ничего не успел он сделать!

«Ваш покойный родитель князь Андрей, покойный дядя князь Петр, Новгород, Тверь, все было против отца моего; боярин Иоанн управлял думою московскою; Орда стояла за Москву; Витовт был жив и только ждал случая двинуться к Москве. Что же теперь? Новгород, боярин Иоанн, Тверь, вы — за нас; Витовта нет; моя рука выучилась управлять мечом крепче прежнего!»

— Тверь, Новгород, боярин Иоанн не будут за нас, если не примут их условий, — отвечал Михаил. — Что же тогда? Дядя Юрий, восьмью годами постаревший, если он согласится еще на дело — трудное, смелое, не по стариковским силам; Звенигород, Галич, Верея и Можайск — нас трое и только! Ты сам говорил о слабодушии братьев твоих — родных братьев...

«Князь Василий Юрьевич должен еще вспомнить, — начал хладнокровно говорить Гудочник, — что может быть родитель его скорее согласится уступить неверное

на верное и, взяв пять, шесть городов, откажется от права старейшинства, за себя и за детей своих, представляя кому угодно ссаживать племянника с великокняжеского стола. Тогда князь Константин Дмитриевич, конечно, согласится на все, чтобы только поддержать коренное правило отцов и сесть на великокняжеское местечко».

— Монах! — вскричал Косой.

«Еще не монах, а если бы и монах был, то можно достать дюжину грамот от всех Вселенских патриархов, которыми разрешат его. Келья и престол, клобук и венец княжеский... выбор не труден! Ему же только сорок четвертый год и страх как приглядывалась ему дочка боярина Иоанна Дмитриевича, бывшая невеста Великого князя...»

Глухой стон вырвался из груди Косого, зубы его заскрежетали, кулаком утер он крупные капли пота на лбу. Он походил на дикого зверя в клетке, которого дразнят подачкою, поднося ее к клетке и тотчас удаляя, когда зверь с яростию на нее устремляется.

Наконец, Косой принял спокойный вид и сказал Гудочнику: «Хорошо, я буду на все согласен. Говори же, старик, что мне делать?»

— Теперь — ничего, повторяю я. Сидеть у моря и ждать погоды, которая затягивает вдалеке. Паче всего, князь, молю вас наблюдать осторожность. Меня вы увидите здесь опять вечером. Я только что сегодня пришел и не успел еще ни с кем видаться. Пойду теперь шататься по Москве с моим гудком, кочевать, где день, где ночь. Когда вам нечаянно понадобится я — знак известный: подле стены Успенского собора начертите большой крест мылом. Когда без того вы мне будете надобны — я приду к одному из вас. Впрочем, Господь Бог да благословит наше дело!» — Он перекрестился; все князья следовали его примеру.

— Я молил бы тебя, князь Василий Юрьевич, — сказал Гудочник, — если мой худоумный совет может годиться, удерживать всячески порывы гнева и княжеского сердца... Может быть, сегодня придется тебе вынести не одно испытание. Будь муж, а не младенец. Чем ласковее ты будешь, тем более тебе поверят; только и надобно забавукай всех, покамест. И худо сделал родитель твой, что сам не пожаловал в Москву. Оно и ближе, и вернее бы дело шло, и безопаснее было для всех нас.

Казалось, что слова Гудочника имели волшебную силу над буйностию двух молодых князей и над строптивою гордостью Косого. Они безмолвствовали, будто

львенки, в тенета попавшие. Старик поклонился и вышел. Но они еще сидели безмолвно.

— Воля Божия исполняется, или козни дьявола осетили меня? — сказал наконец Косой в мрачной задумчивости, водя пальцами правой руки по складкам своего лба. — Кому вверяю я судьбу мою? Кто ручается мне за этого старика?

«Голоба его! — вскричал князь Можайский. — Я не уступлю даром: зажгу собственную треть Москвы и стану рубить ее! Двух смертей не будет, одной не миновать! Поедем к нашему женишку, князь Василий Юрьевич!»

— Поедем поклоняться *Великому* нашему князю, — сказал Косой, — и испытаем — можем ли мы притворяться не хуже других? — Молча возвратились князя в ту комнату, где ждал их князь Роман.

— Одеваться мне! — сказал Косой. — Бархатный, шитый кожух мой, червчатый пояс, ордынскую саблю, шапку с золотом!»



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

*Там русский дух... там Русью пахнет!
И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый,
Под ним сидел, и кот ученыя
Свои мне сказки говорил.
Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету...*

*Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой...*

А. Пушкин

Глава I

*Поклоны — бой для царедворца,
Обряд пустой — и долг, и честь!*

* —

Нам кажется, что совсем не худо придумали ныне рассказчики не только изображать одни главные действующие лица и пересказывать их речи, но и подробно говорить все: где было, как происходило, во что были одеты все действующие лица, что они пили, ели — даже все маленькие подробности требуют ныне описания. Зевнул ли один из действующих, когда другие смеялись, сидели ли двое, когда третий стоял, и проч. и проч. Все это оживляет действие, переносит в то время и в то место, где происходило то, что рассказывается. Часто одна черта, изображающая жилище или одежду действующих лиц, дополняет более, нежели длинный разговор. А притом, нет места мечтам читателя, нет места лоску, которым изображение наше покрывает предметы: все раскрыто, все сказано, как что было и как случилось.

Так, например, теперь нам хотелось бы перенести читателей наших в Кремль. Это легко; но иной из них вообразит себе Кремль XV века таким же белокаменным и золотоглавым, каков он ныне — с высокими бойницами на стенах, с фигурными крашеными башнями, с часами на Спасских воротах; внутри с обширными площадями, огромными строениями, каменными, узорчатыми теремами, мрачными соборами и далеко в воздух улетевшею главою Ивана Великого; снаружи с зелено-

цветными садами, чистым, светлым и всеми радужными цветами пестреющий. Кремль тогда был совсем не таков.

Ветхими, каменными стенами окружалось тогда пространство, Кремлем занимаемое; стены сии стояли с самого построения их Димитрием Донским и, выдержав несколько сильных пожаров, так уже были они дряхлы, что через пятьдесят лет, после времени рассказа, их все разобрали и построили все вновь. Невысокие бойницы их сведены были низенькими кровлями сверху и покрыты старыми досками; видели тленность, думали строить их, но только починивали, пока они совсем развалились. Так обыкновенно бывает у людей: *сломать старое и строить вновь* они не любят, пока само не упадет, а только починивают, лечат и подлаживают. Кремлевских стен не только построить вновь было некогда от внутренних и внешних забот, но еще важное препятствие оказывалось, когда думали о перестройке. Снаружи окруженные тинистым рвом они обставлены были домами, дворами, даже церквями, рынками, амбарами, лавками. Изнутри к ним также прилеплено было множество строений, дворов, церквей. Надобно было все это очистить, разломать. Иоанн III грозно махнул рукою — люди посетовали на него и исполнили его приказ; но при юном Василии Васильевиче и старой матери его никто не смел и подумать о таком деле. Если бы надобно было только скинуть для этого платьемойные плоты и мостики, через Неглинную устроенные, с чего брали пошлины и мыты бояре и княжеская казна, то и тогда от крика и жалоб не знали бы куда деться. Пятьдесят лет, после того прошедших, перевернули все дело.

На месте нынешних теремов и дворцов стояли и тогда дворцы, терема, хоромы, избы брусяные, гридни и вышки княжеские, строения обширные, в разные времена воздвигнутые, неправильные, и все деревянные. Между ними, дворами житными, запасными и проч., Успенским собором, старинным и ветхим, церковью Иоанна Лествичника (где Годунов поставил потом Ивана Великого) и Архангельским собором была площадь, *Красною* называвшаяся, и единственная, если судить по нашему понятию о площадях. Но тогда называли площадями пространства весьма небольшие, и потому в Кремле считалось еще с десятков площадей, между коими вились кривые, грязные улицы. Места между улицами и площадями до самых стен кремлевских были загромождены строениями, которые, как уже мы сказали, льнули даже к самым стенам и как будто просились на волю. В самом

дсе — в Кремле было довольно тесно. Множество церквей (даже два монастыря: Чудовский и новый девичий, основанный вдовою Дмитрия Донского, Вознесенский), домов княжеских, боярских, казарм для воинов, магазинов и запасных мест, на случай осады, домов, дворов и подворьев духовных, монастырских, гостиных, купеческих, больниц, княжеских кухонь, псарен, конюшень — заключалось в стенах Кремля; все это горело несколько раз и выстроивалось вновь еще теснее.

В большой отдельной хорошине, соединенной с великокняжеским дворцом переходами, с набранными из маленьких стекол окончинами, собралось множество народа: это были князья и бояре, — а хорошина, где собрались они, называлась княжескою *Писцовою палатою*. Лавки были устроены кругом стен всей палаты. Большой стол, покрытый красным сукном, стоял посредине. Вокруг него поставлено было несколько скамеек, обшитых сверху подушками суконными, и на этих скамьях беспорядочно сидело множество народа. Внимание всех устремлено было на сухощавое, вытянутое, украшенное редкою, длинноватою бородкою человека, который держал в руке множество исписанных столбцов бумаги. Перед этим человеком стояла большая медная чернильница с узеньким горлышком, сделанная в виде кувшина, и огромная песочница. Белая бумага, разрезанная на столбцы, несколько старых рукописей, старинных грамот и книг лежали в беспорядке на столе. В главном месте, за столом, сидел старик, первый боярин Великого князя, князь Юрья Патрикеевич, женатый на тетке его, дочери покойного Великого князя, Марье Васильевне, и следственно, зять Софьи Витовтовны. Другие старики сидели от него по сторонам. Комната, как мы сказали, была наполнена народом. Одни теснились к столу, желая слушать чтение, другие шумели и разговаривали между собою, третьи сидели на лавках вокруг стен, говорили, дремали, спорили.

— От этого содома у меня голову разломило, — сказал наконец Юрья Патрикеевич. — Тише, князья, тише, бояре. Эдак мы во веки веков не кончим. Дьяк! закричи, чтобы молчали! Читай, господин Беда!

«Тише, князья и бояре, тише!» — закричал басом толстый дьяк.

— Нет, Юрья Патрикеевич, я не допущу далее читать, пока ты не скажешь мне: согласен ли со мною! — проговорил один из сидевших за столом.

«Да дайте ж кончить, Господи Владыко, — отвечал Юрья Патрикеевич. — Господин Беда! изволь сначала!»

Однообразным, приказным голосом, человек, с длинноватою, редкою бородкою, начал читать следующее:

«*Чин брачному сочетанию Великого князя Василия Васильевича...*» И далее,— примолвил Беда,— впишется, как следует».

Юрья Патрикеевич дал знак согласия. Беда вдохнул в себя сколько можно более воздуха, сухие щеки его раздулись, он откашлялся и продолжал:

«Лета 6941, февраля в... день, волею Божию и позволением матери своея, Великия княгини Софии Витовтовны, и с благословением отца своего, *имярек*, митрополита Московского и всея России...»

— Как же: *имярек*? — сказал один из бояр.— Надобно поставить именное слово!

«Какое же, когда митрополита у нас нет?» — отвечал Юрья Патрикеевич.

— Все же надобно!

«Это дурное предвещание для свадьбы Великого князя! Без имени и овца баран»

— Опять!

«Воля твоя, Юрья Патрикеевич».

— Да зачем ты писал все это? — сказал Юрья Бедо.

«По уставу прежнему: всегда так писано бывало», — отвечал Беда.

Смущенный шум раздался вокруг стола: «Разве Иона не будет святителем Московским,— говорили многие.— Что ж это! Долго ли стаду быть без пастыря...»

— Тише, бояре! — закричал Юрья,— далее... Истинно мы не кончим. Между тем, готовит ли всякий свое? Право, у меня уж во рту стало сухо; легко ли, с самого раннего утра бьемся.— Ну, скорее, господин Беда!

«И с благословения тетки своей, великия инокини Евпраксии, княгини княж Владимировы Андреевича, и по приговору князей и бояр волил Государь, Великий князь Василий Васильевич, вступить в честное супружество. А поял себе, он, Государь и Великий князь, в супругу княжну Марию Ярославовну, дочь Ярославлю Володимировича, а свадебному чину указал быти тако:

В тысяцкого место быти боярину его, князя, Юрья Патрикеевичу.

В дружки старшего место...»

Тут один из присутствовавших, глядя в бумагу из-за Беды, воскликнул: «Как же? Неужели мои слова не уважены? Я не уступлю, нет, нет!»

— Что ж это? — вскричал другой, — говорили, говорили, а все пошло на ветер? Как хочешь, Юрья Патрикеевич!

«Нет, нет!» — закричали многие. Смешанные голоса раздались снова: «Моей жене быть ниже его!» — «Послушай!» — «Я знать ничего не хочу! Я пойду сам к княгине». — «Мне сам Великий князь говорил». — «Ты высоко нос поднимаешь». — «Береги свой!»...

Юрья Патрикеевич с досадою ударил по столу кулаком. «Замолчишь ли ты, народ православный! Нечего делать: брошу все и пойду к княгине — пускай сама рассудит».

— Пусть рассудит, — кричали многие. — Что мы: в опале что ли? в гнев княжеском? Как бы не так! «Мой отец был почище чьего-нибудь другого...»

— Мы, слава Богу, никогда за другими не ставили...

«Юрья Патрикеевич! — сказал пришедший в эту минуту боярин, — Великая княгиня велела скорее оканчивать дело. Уж начали молебн».

— А мы еще едва с началом управились! — отвечал Юрья. — Истинно, головы не слышу... Нечего делать, князья и бояре! Имена будут читаны при самой княгине — всякий жди ее докончателного княжеского указа — говорите с нею. Господин Беда! читай просто *чин свадьбы*, а имена говорим *имреками*...

«Хорошо, хорошо!» — раздалось со всех сторон.

— В поддатни дружке...

«Далее!»

— В большом столе бояре...

«Далее!»

Беда перевернул несколько столбцов и читал:

«А будет день свадьбы, и Государь Великий князь, изрядився в коуж золотый аксамитный, на соболях, да в шубу русскую соболью, крыта бархатом золотым, заметав полы назад, на плеча, а пояс его, Государев, Великого князя, кованный, золотой, — пойдет в брусяную избу, столовую, а тысяцкому и поезду, и боярам, и дружкам, и головщикам, и фонарщикам, и каравайникам велит идти за ним...»

— И свечникам, и санникам, и конюшему, — заговорили многие. — Именовать, так именовать всех...

«Все, все будут. Господин Беда! поставь тут крыж».

Беда вытащил из чернильницы огромное лебединое перо, обшелкал его и поставил на столбце знак.

«Велит идти за ним, — продолжал Беда свое чтение. — А место в средней палате изрядить по обычаю, да

оболочь камками, да бархатом, да зголовья положить, да на зголовья по сороку соболей, да третий сорок держать, чем Великого князя да княгиню опаживать. Да стол поставить, да скатерть постлати, да калачи и соль положи-ти...»

— Нет! — сказал один боярин, — об этом говорено: стлать две скатерти, а третью накрест, да перепечу поставить, а по лавкам полавочники постлать, князь Симоновы, да соль, да сыр держать на руках, и его, Государя, встретить.

«Когда же это бывало так строено? — спросил Юрья Патрикеевич. — Ведь уж боярыни приговорили: быть, как прежде?»

— Сегодня переменено.

«Переменено! Уж эти мне перемены: переменяют, да отменяют, что и толку не добьешься...»

— А тысяцкого жене, и свахам, и боярыням быть в княжны тереме всем готовым, и свечам, караваям, и осыпалу, и идти...

«Постой, постой. Как, бишь, об осыпале-то велела Великая княгиня?» — сказал заботливо Юрья Патрикеевич.

Беда взял особый листок: «А осыпалу быти миса золотная, а на мису первое положить хмелю, на три угла, в трех местах, да тридевять соболей в три места, да тридевять платков золотных, камчатных и атласных, мерных, в один цвет, да тридевять пенязей, да величества пенязь с одной стороны белый, а с другой позолочен...»

— Свахи решили наконец о караваях, Юрья Патрикеевич! — сказал боярин, поспешно входя в комнату и подходя к нему. Видно было, что этот посланник торопился прибежать и весь запыхался.

«Слава Богу! с плеч гора долой! — воскликнул Юрья. — Ну, и так караваяи...»

— Кстати, кстати о караваях речь! Здравствуй князь Юрья Патрикеевич! — сказал Шемяка, вошедший в эту минуту, — здравствуй!

«А князь Димитрий Юрьевич! — отвечал Юрья, вставая. — Давно ли в Москве?»

— Сегодня, ранним утром. Да ты в хлопотах?

«Измучился! Кому веселье, а мне так, право, уж не до того. Хлопот полон рот!»

— Да ведь уж, чай, все готово — пора, пора! Тетушка княгиня уже столом распоряжается.

«Да оно все и распоряжено; ну, да ведь надобно записать, устроить дело на бумаге — всякий свое поет! То

бросишься к старухам, то к вѣдущим людям. Владыко нас упаси, когда что-нибудь да не так».

— Продолжайте, я не мешаю: хочу еще сам поучиться.

«А пора, князь, пора! Тебе не пиво варить, не вино курить».

— Невесты-то нет.

«И! мало ли.. Ну, так о караваих, как же положили?» — Между тем Шемяка сел, облокотясь небрежно на стол. Присланный боярин начал говорить:

«Боярыни приговорили: караваи принести в Красную палату, да тут их на носилы поставить и следки положить, да со свечи стоять тут же, да протопоп читает молитву. А обшить их Великого князя бархатом веницейским, а Великия княгини атласом гладким, а носила — бархатом червчатым; да положить на три места пенязей пополам, по трижды девять, золоченых, да белых. Да как пойдет Государь Великий князь из брусной, а Великая княгиня из терема, и их из Красной палаты несут вокруг князя и княгини трижды».

Юрья Патрикеевич слушал с величайшим вниманием. «Дьяк Василий! запиши-ка все это со слов его, — сказал он. — Ты, боярин, ручаешься за все это, а мы станем дочитывать».

Беда продолжал: «Идти и сесть ему на свое княжеское место в Крестовой, а тысяцкий посылает ему молвить старшего боярина: «Государь, князь Великий! велел тебе сказать тысяцкий Юрья Патрикеевич Бога на помощь, а время тебе, Государю, идти к своему делу».

— А! Князь Иван Корибутович! — сказал Шемяка, увидев Князя Ивана Бабу, начальника литовских копейщиков, который вошел в это время. Он встал, взял его за руку и удалился с ним к окну палаты.

Чтение без умолку продолжалось. Звонкий голос Беды возвышался из всех голосов и слышен был среди шума, волнений и разговоров. Тут беспрестанно люди приходили, уходили, сталкивались.

Если ко всякому богатому человеку можно было применить пословицу, что когда такой человек затеет жениться, то ему *не пиво варить, не вино курить*, тем более шла такая пословица к князю и еще князю *Великому*. Подвалы его всегда бывали набиты годовалым медом, пивом, квасами двадцати сортов и винами греческими и фряжскими. Но свадьба Великого князя представляла между тем бесконечные заботы и хлопоты.

Прежде всего надобно было наблюсти все обряды, каких требовала свадьба. Сии обряды умножались, смотря по тому, чем знатнее бывали жених и невеста. Бедный человек мог запросто посадить свою невесту в сани, привезти ее в церковь, угостить потом гостей чем Бог послал, и жить да поживать, благословясь. Богатый должен был, напротив, вытерпеть бесконечный ряд сватанья, смотренья, девичника, красного стола, почетных столов и проч. и проч. Призывали старух, ворожей, знахарей, колдунов, бывалых людей. Все подвергалось замечаниям, приметам, отношениям, начиная с того, чем покупал жених косу невесты, до того, кто первый ступал на платок, разостланный перед налоем: жених или невеста? Примета была верная, что прежде ступивший будет властвовать над любезною своею половиною. Из этого можно заключить, что несмотря на страх и послушание, в каком обыкновенно бывали наши прабабушки у прадедушек, несмотря на то, что они ходили у них, как говорится, *по струнке*, случалось и у них мужьям находиться под башмачком жен: вероятно, иногда и невесте удавалось ступать на платок прежде жениха.

Прибавьте ко всему этому обыкновенное поверье русских — хлопотать и заботиться и то, что женщины играли важную роль при свадьбах. Первое доньше осталось в нашей русской природе. Хозяин-русак тогда только уверен у нас в деятельности своих приказчиков, когда они бегают высунувши языки, задыхаются от усталости и в сумятице никто уже не знает, за что приняться, чем начинать и чем кончить. *Система* — не русское слово и не в русской оно природе. Мы все начинаем вдруг, поднимаем втрое против другого, зато скоро и бросаем, может быть и потому, что махом хотим все сделать и истощаем силы вдруг, когда при медленном и стройном ходе работы сил у нас осталось бы еще много в запасе. А вмешательство *женщин*, и женщин *русских*, и когда еще они *повелевают* в каком-нибудь деле? Толковать попустому, тысячу раз об одном и том же, посылать десятерых за одним делом, беспрестанно забывать ту или другую надобность и все это дополнять бесконечным спором, шумом, сомнениями, вздорливостью — так ведется всякое дело, когда женщины в него вмешались. От простолюдина до князя свадьбы и доньше суть область женской власти. Не от того ли в народе пословица: *свадьба без покору не бывает*.

Наконец, к суевериям и повериям, сопровождавшим свадьбы, дополните еще то: какую свадьбу затевали при

подобных делах страсти людские! Им открывалось странное поприще для борьбы с привидениями чести и бесчестия, славы и бесславия, похвалы и осуждения. Княжеский вельможа, готовый уступить во всем другом, как поле чести отстаивал себе должность развернуть под ногами князя ковер или подостлать попону под лошадь, на которой князь поедет, доказывая, что отец и дед его всегда были *в почете* и всегда расстилали попону, когда ездил князь; соперники же его только водили лошадь под уздцы, а ни деды, ни прадеды их не имели великой почести подавать своему повелителю колпак, когда он выходил из княжеской мыльни, или расстилать попону, когда ему надобно было ехать!..

Как бурное море волновалось все это в Кремлевском дворце в день свадьбы Великого князя Василия Васильевича. Числа не было вокруг дворца саням и верховым лошадям, вершникам, провожавшим князей и бояр, прислужникам, бегавшим повсюду, гонцам, скакавшим во все стороны Москвы. Народ с утра уже дожидался в Кремле и вокруг Кремля, бросаясь толпами туда, куда бросался один из зрителей, заметив что-нибудь любопытное. Одни смотрели, как из княжеских погребов везли меды, пиво, квасы, вина, наливки; другие, как по скату горы к Москве-реке расставляли питье и яствы для народа: быков и баранов, громады калачей и пирогов, чаны, в которые, когда будет велено, пустят потоками брагу; третьи, как везли княжеские подарки из кладовых под Чудовским монастырем; четвертые... просто не спускали глаз с окон Кремлевского дворца, хотя ничего не видали в них, кроме мелькающих в замерзлых окошках людей.

Все во дворце — и в теремах, и в вышках, и в палатах — было в движении, начиная с подвала, где откупоривали вина, до *золотого стола*, где обтирали серебряные чары, погары, стопы, братины и носили их на столы, уже изготовленные и *ломившиеся*, как говорится, от тяжести золота и серебра. В соборе Успенском уже обжигали праздничные, новые свечи; всадники, назначенные охранять все входы, выходы, ворота кремлевские и ездить по городу во всю ночь, собирались в назначенных местах Кремля; Юрья Патрикеевич уже дочитывал свои росписи. Внимательно было переслушано, перебрано и решено, как идти жениху в Среднюю палату к месту; как вести туда невесту его; как кому сесть, как резать перепечу и сыры, чесать головы жениху и невесте, обмакивая гребень в медяную сыту, как наложить кичку

на невесту, зажигать свечи богоявленскими свечами, осыпать хмелем и обмахивать соболями. Сильным спорам подвержено было: в каких санях и с кем поедет невеста, кто понесет караван, свечи и фонари над свечами и то — должен ли жених разбить и растоптать чашку, из которой во время венчания будут пить вино он и невеста, или только бросить ее, а не топтать ногами. Еще больше споров было о *железном* невестином и *золотом* жениховом кольце, об убранстве сенника образами, камками и соболями; о том, на скольких снопах соломы стлать брачную постель и с рожью или пшеницею должны быть кадки, в которые надобно поставить венчальные свечи, перед сенником. Большое смятение происходило по случаю спора о вывороченных шерстью вверх шубах, в которых сваха должна встретить жениха и невесту на пороге сенника. Одни утверждали, что кунья шуба должна быть внизу, а соболя сверху, другие, что соболя внизу, а кунья сверху.

Наконец все было решено. Утирая рукавом пот, Юрья Патрикеевич торопился из Писцовой палаты отдать окончательные приказы и спешить домой одеваться.

В толпе молодых бояр и князей в одной из палат Кремлевского дворца стоял в то время Шемяка и весело разговаривал. Один из собеседников рассказывал другим о цапле, с золотым кольцом и с прехитрою надписью на кольце, которой никто разобрать не мог. Эту цаплю убил сокол его на охоте. Другой говорил о щуке с серебряными серьгами, недавно пойманной в заповедном княжеском озере, такой огромной, что у Великого князя не нашлось посуды, в которой бы можно было сварить ее целиком, а такой старой, что на лбу у нее вырос мох, а во рту не было ни одного зуба.

— Итак, лжет же пословица, — сказал Шемяка, — что щука умрет, а зубы остаются у нее целы. Теперь находят, стало быть, щук, переживших свои зубы?

«Дал бы Бог, чтобы так и у людей было!» — сказал один старик боярин, значительно посмотрев на Шемяку.

— По крайней мере, я этого желаю от всего сердца моего, — сказал Шемяка, значительно обращаясь к боярину.

В это время заметил он верного своего сподвижника, князя Александра Чарторийского. Казалось, что Чарторийский хотел что-то сказать ему.

Неприметно удалился Шемяка от своих собеседников. «Что ты? — спросил он с любопытством у Чарторийского. — Мне кажется, ты страх как встревожен!»

— Князь Димитрий Юрьевич! поди к своему брату. Я не знаю, что с ним сделалось: он мрачен и задумчив. Давно бы пора ему ехать переодеваться, но он ходит там в палате, что за Благовещением.

Шемяка задумался. «Неужели брат мой?.. Но он был так весел и хорош, когда расстался со мною недавно! Кто мог его оскорбить и опечалить?»

— Говорят, будто он что-то горячо переговаривал с княгинею Софьею Витовтовною.

«Вздоришь! Княгиня так радушна, так ласкова была ко мне...» Шемяка поспешил туда, где был брат его.

От Кремлевского дворца сделаны были тогда деревянные переходы к соборной церкви Благовещенской. Они шли из палаты, названной *Часовою*. Это название дано было палате по часам, какими изумил в 1404 году Великого князя Василия Дмитриевича хитрец монах, пришелец из Сербии. Угощенный в княжеском дворце, наделенный богатою милостынею для монастыря, монах этот хотел оставить князю поминки своей благодарности. Он потребовал себе особую комнату, устроил чудную печку и какие-то машины, ковал, топил серебро и золото и наконец сделал князю дивную, неслыханную дотолه диковинку: *часы с боем*. Когда наступал час, являлась статуйка, ударяла столько раз в серебряный колокольчик, сколько было часов, и потом сама собою скрывалась. Князь и бояре его едва верили глазам своим. На память потомству записали тогда в летописи: «В лето 6912, индикта 12, устроился Великому князю часник, или что наречется: *часомерье*; на всякий час ударяет молотом в колокол, размеряя и рассчитывая часы, ночные и дневные. Не человек ударял, но человековидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно некако сотворено есть человеческого хитростью, преизмечтано и преухищено. Мастер же и художник сему был некоторый чернец, от Святыя горы пришедший, родом серб, именем Лазарь; цена же была часам более полутораста рублей».

Князь Василий Дмитриевич всегда любовался после того *часомерьем* Лазаря, велел его поставить в палате, что на Москву-реку, и часто сидел тут, подле крыльца Благовещенского собора, откуда видно все Замоскворечье. Он смотрел на Москву, радовался на свой стольный град и слушал, как звонкое серебро дрожало под молотком статуйки часомерья.

Часомерье было уже испорчено; статуйка не выходила, колокольчик не звонил; но часы стояли на прежнем месте, и палату, по-прежнему, все звали *Часовою*.

Против Лазарева часомерья стоял Косой, сложа руки, и — Бог знает, гнев или печаль омрачали лицо его, но он был мрачен и задумчив.

— Любезный брат! — сказал Шемяка, подходя к нему, — что ж ты не собираешься одеваться? Ведь уж пора.

«Пора?» — воскликнул Косой, опомнясь. Он взглянул на Шемяку. Насильственная улыбка оживила лицо его. «Что, пора?» — повторил он.

— Ехать домой и одеваться на свадьбу.

«Да, на свадьбу! — отвечал Косой. — Я одет и готов».

— Не думаю. Ты печален и задумчив, брат! С таким лицом не годится быть на веселом пиру.

«Ведь не я женюсь».

— И не я, но, право, я так весел, как давно не бывал. Мы погуляем, славно попируем.

«На здоровье!»

— Полно, милый брат мой; посмотри, как все ласковы, приветливы, веселы, как все рады нам.

«Только не мне».

— Братец! тебе все это чудится. Неужели злые сны, или... то, что наяву видели мы прошедшею ночью — тебя смущает? Грешно, грешно, брат, за радушие родственное отвечать не ласкою.

«Разве тебя кто ласкал, что ты так убаюкался».

— О если бы ты видел, как сам Великий князь бросился ко мне на шею, как тетка обрадовалась мне...

«А меня Великий твой князь только измучил похвалами своей невесты. Она ему нравится; да мне-то что до того? А тетушка — только что не прибранила меня! Бабий язык, словно нож добрый — так и режет».

— Я слышал, будто ты горячо что-то говорил с тетушкою; но, ради Бога, брат, прошу тебя...

«Отвяжись!» — вскричал Косой и скорыми шагами удалился из палаты.

— Он вечно таков — и что будет из всего этого? Неужели он мыслит что-нибудь вновь затеять? Он и собирался сюда совсем не так, как ездят на веселье родственное. Богом божусь, что я не буду твоим помощником, брат честолубивый! и лучше стану за Василия Васильевича, нежели за тебя! Пора перестать литься крови христианской, лучше тупить мечи о груди поганых, нежели о груди братий своих. Но — он занят мечтой: советы мои, советы брата Димитрия, кажется, усмирили гнев

родителя. А эта старая змея, этот боярин, эти крамольники, которые ссорят нас еще... не уеду без того, пока не кончу всех старых смут и поводов к вражде. Чистая душа говорит открыто... Что мне!

Последние слова проговорил Шемяка почти вслух. «Хвалю тебя, князь Димитрий Юрьевич,— сказал боярин Симеон Ряполовский, подходя тогда к Шемяке.— Такой доброй думы всегда надеялся я от твоего благодушия и высокого разума».

— Боярин! — отвечал Шемяка, — я сам всегда уважал твои честные мысли. Скажи: неужели еще сомневается Великая княгиня в искренности нашего примирения и в слове моего родителя?

«Она так недоверчива от природы, и притом старый человек, и женщина. Молодой князь наш добр, но молод, а люди коварные и смутники везде сыщутся. Ради Бога, не смотри только на пустые речи и уговаривай брата. Мы искренно хотим дружбы и мира».

— Дай Бог! Но не знаешь ли, боярин, что такое было у брата с теткою сегодня?

«Я сам был при том. Так — черная кошка пробежала! Надобно было случиться беде: только, что братец твой подъехал к крыльцу, как ворон — Бог весть откуда взялся — порх в сени и в палату, сел на божницу и закаркал. Княгиня страшно испугалась, но когда бросились ловить проклятую птицу, она кинулась опять в сени и улетела, а в эту минуту князь Василий Юрьевич вошел в двери. Я, признаться, не трус, а таки, нечего — испугался столь недоброй приметы».

— Да,— сказал Шемяка,— примета не добра. Но неужели на вороньем полете могут основаться любовь наша, или нелюбие?

«Княгиня — женщина — и Витовтовна! — сказал тихонько Ряполовский.— А люди хуже воронья всегда сидят подле князей и княгинь, да того и смотрят, чтобы у добрых людей глаз выключнуть. Вы запоздались приездом в Москву, брат твой остановился Бог знает где, вооруженная толпа наполняет двор его. Не от грома загорается пожар, а от серной спички. Да и эти проклятые колдуны, с которыми советуется княгиня, эти люди злее колдунов, которые окружают князя и княгиню... Первое слово княгини было: «Насилу пожаловал, батюшка, князь Василий Юрьевич! Ждем, не дожждемся — что за немилость! А родитель твой, видно, и совсем не пожалует на веселье к племяннику — благодарны на дружбе, да на родстве...»

— О бабы! — вскричал Шемяка, с досадою, — от вас сыр-бор горит!

«Моего родителя послали вы угощать в Дмитрове, тетушка!» — сказал твой братец, вспыхнув гневом, но скрывая досаду. Тут слово за слово — и княгиня, и князь наговорили таки друг другу добрым порядком. Я и другие бояре спешили прекратить ссору, позвали поскорее Великого князя. К счастью, княгине было некогда, но она уходя говорила: «Постой, постой — я ему выпою все добрым порядком, вымою ему голову, так, что и в бане никто ему этак не мывал!» Вот все что было — тем ссора и кончилась!»

— Боярин! будь искренен, скажи: не бабы ли все это сплетни? И неужели из этого опять завяжутся у нас крамолы и вражда? Еще ли нам мало? Восемь лет свар и несогласия — о Господи, и Боже мой великий!

«Удерживай своего брата, князь Димитрий Юрьевич: он точно пороховое зелье — так и загорается! Сам Великий князь и все мы уговаривали потом княгиню. Отец протопоп обещал отслужить молебен с водосвятием в палате, куда влетел ворон. Верь, повторяю тебе, что и Великий князь и все мы желаем мира».

— Я то же слышал от отца моего; да подле него есть теперь ангел-хранитель, младший брат Димитрий. Вот душа, боярин! Светла, как солнышко в день Светлого Христова праздника, чиста, как родник живой воды.

«За искренность мою я попрошу тебя быть искренним. Скажи мне только одно, князь Димитрий Юрьевич: правда ли, что крамольник боярин Иоанн теперь находится у твоего родителя?»

Такой неожиданный вопрос смутил Шемяку. «Лучше приму грех на душу, нежели возмущу спокойство истинною. И ложь во спасение! — Не знаю, — отвечал он Ряполовскому, — разве этот боярин прятался от меня в мышью норку — я не видал его у моего родителя».

Ряполовский быстро и проницательно посмотрел на Шемяку. «Князь! — сказал он, — отчего же ты смущаешься? Если и ты таишь что-нибудь в душе своей...» Боярин покачал головою.

Шемяка покраснел невольно. Он чувствовал неправоту и внутренне проклинал боярина Иоанна и случайную встречу с ним, вовлекшую в обман и притворство. Но что было ему делать? Рассказывать, оговаривать брата или таить истину? Так одно приближение зла кладет туск на чистую душу, подобно тому, как от приближения дыхания человеческого тускнеет светлое стекло!

— Боярин! — сказал Шемяка, схватив руку Ряполовского, — согласишься ли ты мне, после того, что я тебе скажу: оставьте меня заложником, окружите стражею мой кремлевский двор, и требуйте от отца моего выдачи боярина Иоанна, если он у него. Довольно ли этого? Но будьте только искренни — моему старику, может быть, осталось немного жить — зачем отравляете вы его последние дни огорчениями? Зачем нет от вас дружбы родственной, чистой и прямой? Зачем было тревожить старика, занимая его удельный Дмитров?

— Окаянный боярин, смутник Старков, да Петр, воевода Ростовский, всему были причиною!

— Скажи, — продолжал Шемяка с жаром, — имел ли право отец мой на Великокняжеский престол? Спрашиваю не боярина московского, не слугу московского князя, но Ряполовского, христианина и честного человека?

«Князь! разве не губило уже это Руси?»

— Нет! говори только: *имел* или *не имел* — оставим все расчеты в стороне. Человеческая мудрость ничто пред судьбами Божиими... *Да* или *нет*?

«Да!» — сказал Ряполовский, пожимая руку Шемяке.

— Без боярина Иоанна владел бы Василий Васильевич Великим княжеством, или нет!

«Нет!» — отвечал Ряполовский твердо.

— Довольно! Оцени же все; будем молиться Богу, да сохранит он нас всех в мире и тишине для благоденствия рода христианского; но не осудим, да не будем сами осуждены.

Шемяка поспешно удалился.

«Неужели и после этого он хитрит?» — сказал сам себе Ряполовский, в задумчивости оставаясь на том месте, где говорил с Шемякою.

Глава II

*Растворяйся, Божий храм!
Вы летите к небесам,
Верные обеты!
Собирайся, стар и млад,
Сдвинув звонки чаши в лад,
Пойте: многа лета!*

Жуковский

Говорят, что для человека есть три радости в жизни: *рождение, свадьба и смерть*. Прекрасен день рождения, когда улыбка отца и материнская

слеза радости встречают невинный, ангельский взор младенца! Прекрасен день, когда юноша ведет к алтарю Божьему милую подругу свою и дает обет на жизнь до гроба, союз неразрывный и за гробом, если (и кто в этом не уверен?) любовь переживает жизнь человека, а не ничтожество удел замогильный! Прекрасен и день кончины, когда сей день есть конец бытия, утомленного счастьем мирским, великая суббота века человеческого, всеобъемлющая мысль успокоения; когда взор старца с радостей мира обращается на блаженство неба, и слезы ближних смывают с души его последние пятна земного бытия.

Но как извратил, исказил все вокруг себя человек! Горесть плачет над его колыбелью и смерть для него не разлука с ничтожеством для вечности, но часть страшного расчета за прошедшее. Мутный взор еще силится разглядеть то, что некогда обольщало его, рука судорожно хватает предметы, его окружающие, как будто хочет на них удержать свое бедное бытие.

И редко, редко день соединения двух сердец бывает днем чистого беспримесного счастья! Вместо того, чтобы день вечного упокоения праздновать, как праздник мира, человек окружает его печальными предметами, мрачными покрывами и погребальными свечами. Так и праздник любви и счастья он окружил тяжелыми обрядами, условленным весельем, записными поздравлениями. Чем богаче, чем знатнее, тем более пышности, великолепия и скуки в день свадьбы.

Если мы сказали выше, что у наших стариков еще более нашего было обрядов и условий при свадьбах, зато они проще смотрели на все, что делали. Они веселились так беспечно, глядели на жизнь так просто, что обряды были для них необходимы, как будто надобно было им останавливаться и хоть раз в жизни важно поглядеть на жизнь. Все сливалось для них в религии: она освящала их договоры с жизнью, невесты их плакали от сердечного умиления при печальных песнях подруг, и подруги расставались с невестами, искренно грустя о том: так ли будет счастлива подруга их в новой доле своей? Тогда еще так мало понимали жизнь человеческую...

И никто не думал ничего подобного, когда, за триста девяносто восемь лет, толпами народа заперлась площадь Кремлевская и глаза всех устремлены были на Красное крыльцо в ожидании свадебного поезда Велико князя Василия Васильевича. Думает ли *народ*? Никогда: он только смотрит и живет. И в дворцах никто не

думал: один смотрел за своими золотыми чашами, другой мечтал о награде, третий рад был тому, что есть случай попить, четвертому было некогда и многие радовались потому, что жених был светел радостию, как красное солнышко.

Женитьба Василия Васильевича была точно решена сердцем его. С тех пор, как однажды увидел он Марью Ярославовну, сердце как будто сказало ему, что вот его *сороковая* суженая — сороковая потому, что по старому поверью у каждого жениха сорок невест и у каждой невесты сорок женихов, и эту суженую, этого ряженого на коне не объедешь. Василий Васильевич был уже почти помолвлен на дочери боярина Иоанна Димитриевича. Тут показалась она ему урод-уродом. На коленях стоял он перед матерью своею и просил избавить его от постылой Ивановны. Софии Витовтовне казалось, что боярин Иоанн не нужен им более: сын ее был уже Великим князем. Другие бояре уверили, что не только кажется, но точно так, и боярин, мы видели, скитался, как беглец. Василий Васильевич целовал сахарные уста Марьи Ярославовны и забывал, есть ли какой-нибудь боярин Иоанн Димитриевич на белом свете.

Марья Ярославовна была внучка Владимира Андреевича, дочь сына его Ярослава и сестра добродушного князя Боровского, Василия Ярославовича. Как лебедь белая, с бровями соболиными, с павлиньею походкою, она цвела, будто маковый цвет: и точно маковый — яркий, но без запаха. Сперва говорили ей, чтобы она не глядела ни на какого мужчину, ибо это грех страшный — и она не глядела ни на князей, ни на бояр, когда выезжала с матерью в церковь, или встречала их у брата и у матери. Потом сказали ей, что она сильно приглянулась Великому князю; потом, что она должна любить Великого князя, потому что он жених ее. Это сказала ей грозная тетка Софья Витовтовна — и Марья Ярославовна испугалась, заплакала. «А вот ежели я еще увижу, что ты плачешь, то смотри, что с тобою сделаю!» — сказала ей мать — и слезы высохли на ее ресницах. «Ты будешь Великая княгиня, ты будешь первая между всеми русскими княгинями», — говорили ей няньки, мамки. Марья Ярославовна этого не понимала. Но когда принесли к ней парчи золотые, развернули перед ней бархаты венецейские, полотна фламандские, камни персидские, разложили соболей сибирских, рассыпали жемчуг бурмитский и камни самоцветные — ей стало так весело, так весело и Великий князь показался мо-

лодцом статным и в самом деле первым из русских князей.

Он не был однако ж красавец. От величественного лица деда, от умного лица отцовского ему достались только черные волосы и какая-то суровость осанки. Высокий ростом не по летам, он был худ, лицо его было бледно, глаза черные, большие, навывкате, но без жизни, без огня. Оставшись отроком под опекою старой, вспыльчивой матери и старых бояр он привык повиноваться, молчать, потуплять глаза в землю и говорить то, что ему подсказывали. Любовь к Марье Ярославовне, может быть, и потому обольщала его, что едва ли не в первый раз он поступил по своей воле и избавился от одного из самых строгих опекунов, боярина Иоанна Димитриевича. Ему понравилось *повелевать*, после такого случая. В первый раз узнал он и веселье свободы, когда мог ездить к невесте своей, целовал ее, сколько хотел и видел, как все кланяются ему: и мать невесты, и братья, и бояре Владимировичей.

День свадьбы показался Василию Васильевичу скучным, может быть потому, что дня три жила уже во дворце невеста, а ему удалось ее видеть только раза два, мимоходом. Обряды, споры, приготовления измучили его; он гонял даже от себя бояр, прибежавших к нему с вечными жалобами.

Накануне свадьбы было посещение терема невестина, с большими обрядами. Наконец сказали Великому князю, что время одеваться к венцу. Платье его горело в золоте и камнях и радость снова загорелась в его душе от блеска золотого платья. Двор великокняжеский представил стройную картину великолепия, и если золото делает счастливым, обитатели его должны были почитать себя счастливыми, потому что везде заблестало золото — на столах, на одеждах, на оружии, на сбруе конской.

— Скоро, скоро! — закричало множество голосов. — Вот уж выходят бояре, вот уж ведут лошадей, вот становятся порядком воины, вот поехали невестины сани!

Народ задвигался. «Прочь!» — кричала стража, но тщетно, все взволновалось и сперлось стеною от самого Успенского собора до Красного крыльца.

«Гони народ с дороги; прочь, болваны!» — кричали ясельничие, бояре и воины, когда народ не давал дороги аргамаку, на котором надобно было ехать Великому князю, и саням, в которых должна была ехать невеста. «Бей их!» — закричали наконец бояре. Удары кулаками

и плетями посыпались на народ: открылась дорога. Стройного, лихого аргамака, белого, как снег, подвели к Красному крыльцу. За ним вели княжеских лошадей верховых. Каждая из лошадей блистала золотом и серебром, чапراки были унизаны камнями самоцветными и вышиты золотыми и серебряными разводами. Азиатские седла их были также богаты. Красавцы конюшие вели каждую лошадь за длинные поводья, концы которых тащились по земле. После княжеских лошадей двигались великолепные сани, запряженные шестью белыми лошадьми, с позолоченными дугами. Дышло было тогда запрещено под проклятием, как басурманское изобретение. Впрочем, великолепие саней состояло в том, что снаружи были они раскрашены и испещрены резными фигурами позолоченными, а внутри две лавки саней обиты были парчею; эти две лавки находились одна против другой; бока саней обиты были красным сукном с бахромою золото-шелковой.

Зрелище было прекрасно, когда множество бояр и боярынь, князей и княжен показались на Красном крыльце в собольих, кунных шубах и шапках, в золотых и жемчужных кичках, в парчевых и бархатных платьях. Необозримая, пестрая толпа народа замыкала площадь; множество людей влезло на колокольню Ивана Воинственника, цеплялось за стены зданий и соборов; блестящие оружием всадники видны были в разных местах. Двери Успенского собора были отворены и блеск множества свечей отражался в сумраке храма. На всем пространстве прохода, оставленного между толпою от Красного крыльца до собора, разостлано было красное сукно и несколько чиновников держали еще ковры, готовясь подбросить их под ноги великокняжеского коня. Яркие лучи клонившегося к западу солнца горели на главах церквей, отражались на оружии воинов и блестящем уборе поезда. Глубокая тишина воцарилась повсюду.

Прежде всех вышел из дворца и начал сходить по ступеням духовник великокняжеский с крестом в руках. Певчие шли за ним и еще несколько духовных особ сопровождало его. Потом показались драгоценные образа, которыми благословляли жениха и невесту. Затем шли родные Великого князя и князя русские.

Тут показались на крыльце две огромные свечи, над которыми держали раззолоченные фонари ближние бояре. Потом, на двух бархатных носилках, вынесли бояре два каравай или хлеба, перед которыми шли два боярина с серебряными солонками.

Явился сам Великий князь. Он шел один, только по сторонам были тысяцкий и первый дружка. Глухой шум раздался, как мгновенный порыв вихря, в толпе народа. Князь, молодой, худощавый и бледный собою, в великолепном наряде своем, среди множества вельмож и князей, большею частию или тучных и видных, или украшенных сединами, не возбуждал удивления, но какую-то жалость. Как будто все боялись чего-то за этого юношу, назначенного править Русью и охранять ее от врагов внешних и внутренних. Невольно припоминал народ угрюмое лицо и высокий рост покойного родителя его, Василия Дмитриевича. Старики думали, как величественный дед его, Дмитрий Донской, являлся, бывало, на Красном крыльце, одним махом руки двигал полки на врагов, одним взором очей внушал благоговение. «Изморили нашего князя: все взаперти!» — «Ветром снесет его», — «Как народ-то ныне вырождается!..» — вот что говорили в толпе.

Невеста шла в некотором расстоянии от жениха. Но ее нельзя было видеть: на лицо ее опущено было длинное белое покрывало. Две толстые свахи вели ее под руки, множество княгинь и боярынь следовали за нею. Потом являлся бесконечный ряд бояр и чиновников.

Внимание народа заняли между тем князья. Каждому из них подводили его лошадь, ибо каждый ехал на лошади — почесть, только князьям предоставленная, все бояре шли пешком. «Вот и наш князь!» — шумели ярославцы; «Вот и наш!» — говорили рязанцы. «Это что за толстый брюхан, словно овсяный мешок лезет на лошады! Пособите ему!» — со смехом шумел народ, когда четверо конюших помогали Туголукому садиться на коня. Тут подвели коня лихого: он бил копытами, становился на дыбы и храпел, двое конюших едва удерживали его. — «Ох! убьет, посторонись!» — зашумел народ. Статный князь ступил в это время на последнюю ступеньку крыльца и усмехнулся. «Отпусти его!» — вскричал этот князь, и едва конюшие отдали поводья, едва конь услышал знакомый голос, как стал, будто вкопанный, и радостно заржал. Князь едва дотронулся до стремени, как был уже на коне, и бодрою поступью заплясал под ним конь. «Кто это? кто это?» — зашумел народ. «Это Шемяка, это князь Дмитрий!» — говорили другие. — «Удалый, удалый, исполать молодцу!» И в этих восклицаниях не заметили, как сел на своего аргамака Великий князь. «Что это радуется народ? Кого он хвалит?» — спросил Василий у тысяцкого. — «Тебя, Государь!» — отвечал Юрья Патрикеевич.

Подвезли сани. На заднюю лавку села невеста, на переднюю, лицом к ней, четыре свахи едва уселись рядом. Насмешливый народ тотчас заметил затруднение свях. «Экие дородницы!» — говорил один. «Этак отъелись на великокняжеских-то хлебах!» — говорил другой. «Держитесь крепче, голубушки!» — сказал третий.

Таков народ. Недаром один из тех людей, взора которых трепещут миллионы, не смел являться народу, пока не выучился играть роль свою у какого-то скомороха. Так говорят.

Тихо двигался поезд. И когда князя сошли уже с лошадей у собора, а стоявшие по обеим сторонам бояре крепко берегли, чтобы кто-нибудь не пробежал между аргамаком жениха и санями невестиными, конца поезда все еще не видно было на Красном крыльце.

Долго совершался обряд венчания. Народ ждал нетерпеливо. В церковь, кроме свадебного поезда, никого не пускали. Лошади князей стояли чинно вокруг церкви, сани княжны были в стороне, ясельничий, с обнаженным мечом, сидел в санях и берег место ее от всякого злого человека.

Кто предвидит будущее! Думали, что так же стройно и величественно обратится поезд назад, во дворец. Но вдруг солнышко скрылось за тучами: и откуда взялись эти тучи! Сильным ветром погнало их, как будто волны со дна моря, вихрь полетел по облакам и клочья снега завертелись повсюду, падая большими шапками. Когда надобно было выходить из церкви, на дворе сделалось темно, все было в беспорядке, конюшие едва держали продрогших лошадей, шапки срывало и несло, народ теснился, не давал дороги. Князя, бояре, воины кричали и не знали, что делать. Надобно было приняться за палки и кулаки.

«Так этим-то потчевает нас Великий князь», — шумел народ. Отчаянные головы были уже готовы. «Ребята! — закричало множество голосов, — всех наших золоторогих быков и баранов снесет в Москву-реку! Примемся-ка! чего ждать?» Общий вопль был ответом. Народ бросился к пиршеству, приготовленному для него, и в несколько минут площадь опустела. Только между Флоровскими воротами и Архангельским собором видна была буйная толпа: там дрались, пили, шумели, кричали, и среди сего волнения поезд свадебный возвратился во дворец, кое-как соблюдая предписанный порядок. Свадебные свечи были потушены сильным ветром, князя и бояре в беспорядке проходили в палату, соседнюю

с тою, где должно было встретить новобрачных. Тут, отряхая свои платья, недоверчивыми взорами спрашивали они друг у друга: что предвещает им неожиданное небесное знамение? Говорить никто не смел, но грустное уныние залегло в душах.

Духовник Великого князя снова предшествовал ему, с крестом в руках. Перед Среднею палатою дождался он новобрачных и, захватив руки их эпитрахилью, сложил оные. Сваха закинула покрывало княгини, щеки молодой горели как будто огнем, она не смела поднять глаз своих; князь был радостен и весел. Свечи зажгли снова, богоявленскою свечою.

В дверях Средней палаты ожидали молодых княгиня Софья Витовтовна и посаженный отец, князь Константин Дмитриевич; она держала образ, князь держал хлеб и соль. Прежде всего внесли караван и свечи и остановились с ними по обе стороны. Потом вступил духовник и прошел к образам, осеняя все собрание крестом. Тут вступили новобрачные, держа за руку друг друга. Великий князь и молодая жена его смиренно преклонились перед образом. Хор певчих запел: «Достойно есть яко во истину, блажити тя, Богородице!» Три земные поклона положили князь и княгиня перед образом и приложились к нему. Тогда Софья Витовтовна взяла хлеб и соль, передав образ Константину Дмитриевичу. Снова три раза в землю поклонились молодые.

Тогда образ, караван и свечи понесли в сенник; все поезжане вступили в залу; духовник начал молебен и, когда надобно было прикладываться ко кресту, он, держа в руках крест, начал говорить Великому князю:

«Великий Государь, князь Московский Василий Васильевич! Волею всемогущего, всесильного, в Троице славного Бога нашего, по благословению матери твоея, Великия княгини Софьи Витовтовны, и по согласию всех князей и бояр, изволил ты, Государь, по преданиям апостольским и правилам святых отец, сочетаться законным браком с благословенною отраслью доброго княжеского дома, Великою княгинею Марьею Ярославовною. И ты, Государь, Великий князь Василий Васильевич, свою супругу, а нашу Великою Государыню, княгиню, прими и держи, как премудрый Господь Бог в законе святые, истинные христианские церкви законоположил и устроил, и апостолы и святые отцы предали. И да благословит вас Господь в браке честном, и умножит и прославит род ваш, во славу вашу и на счастье вам подвластных, во имя Отца, и Сына, и Святого духа!» —

«Амины!» — загремел хор певчих. При громком пении: «Многая лета!» — мать Великого князя обняла его и заплакала. «Дитя ты мое милое, князь Великий! — говорила она, — сподобил меня Господь видеть тебя женатого!» Потом обняла она невестку свою. Князь и княгиня сели на свои места. Каждый подходил к ним. Князя целовали князя, княгини княгиню, бояре, боярыни целовали им руки. Каждый отходил потом и садился на свое место.

Свечи загорелись между тем во всех палатах, и яркий свет отразился во всех окнах княжеского дворца. Буря, снег, вихрь свирепствовали извне, во дворце было все тихо, великолепно, светло. Сколь многим пришло в голову, что это истинное положение Великого князя. Кремль наполняли еще толпы народа, хотя стража великокняжеская разогнала самых буйных. Остатки народного угощения потащили по улицам московским. Пьяницы пели и кричали многолетие Великому князю.

Множество раззолоченных кубков, налитых фряжским вином, внесли на нескольких подносах чашники: каждый поднос держали двое. Тысяцкий взял первый кубок, каждый из бояр и князей брал после него. Когда обнесли всех, тысяцкий встал со своего места и проговорил громко:

«Великий князь, Василий Васильевич, и княгиня Великая, Марья Ярославовна! Бог дал вам сочетаться честным браком, и все мы с тем браком поздравляем и желаем вам многая лета здравствовать!»

Он обратился к присутствовавшим: «Князь и бояре! Здравствуйте Великого князя Василия Васильевича и Великую княгиню Марью Ярославовну!»

— Буди здоров, Великий князь Василий Васильевич! Буди здрава, Великая княгиня Марья Ярославовна! — загремело множество голосов во всей палате. Кубки заблистали, когда Великий князь с молодою своею супругою встали и поклонились собранию.

Вторично принесены были кубки и выпито за здоровье матери Великого князя. Третьи кубки осушили за здоровье всех русских князей, желая тем, которые женаты, дожидаться радости и видеть сыновей и внучат своих женатыми, а молодым, неженатым, скорее жениться.

Вино веселит сердце человека. Присутствовавшие начали это чувствовать. В это время вошел боярин и доложил, что «сама бабушка Великия княгини княгиня инокиня Евпраксия изволила прибыть из своего отшельнического убежища и хочет поздравить новобрачных».

Неожиданная честь посещения взволновала всех. Бояре отправлены были на крыльцо встречать княгиню, Великий князь с молодою, мать его, князя, княгини стали в палате подле самых сеней. Двери растворились.

Взошла согбенная старица Евпраксия, супруга знаменитого Владимира Андреевича, дочь великого Ольгерда Литовского, тетка Софии Витовтовны, бабушка Марии Ярославовны. Некогда славная красотою между литовскими девами, уже несколько лет жила она, постригшись, в Рождественском монастыре. Ей было уже около восьмидесяти лет, но костыля ее боялись все монастырские служки и монахини, а громкого голоса боялась сама Софья Витовтовна.

Величественно было зрелище черного платья старицы среди блестящего двора великокняжеского, когда, опершись на костяной костыль свой, она видела целующих руку ее — Великого князя, супругу его и мать. Казалось, что прешедшие поколения, в лице ее, пришли благословить юное, кипящее жизнью поколение, что давно минувшая слава, давно исчезнувшая любовь вызваны были к жизни.

Сам князь под одну руку, княгиня Марья Ярославовна под другую довели старицу к почетному месту Средней палаты. Она села и подала костыль свой Юрию Патрикеевичу, сказав ему: «Подержи, Юрий!»

«Подойди сюда, Василий, подойди сюда, Марья! — продолжала она, обратясь к Великому князю и супруге его. — Я уже худо вижу: много перевидела я на своем веку; пора и ослепнуть».

С почтительным видом подошли молодой с молодою. Знаменуя крест на князе и княгине, Евпраксия говорила медленно: «Во имя Отца, и Сына, и Святого духа! Благословляю вас благословением великим! Не привел Бог сыну моему, отцу твоему, Марья! видеть тебя под венцом. Божия воля!»

Марья Ярославовна заплакала. «Вот вам от меня благословение! — продолжала старица, — этот крест принесен был прадеду твоему, Ольгерду Гедиминовичу, от римского папы. В нем часть Животворящего Креста Господня. Поцелуйтесь!»

Приказание было робко исполнено. «Живите счастливо, дети! — начала опять старица. — Василий! люби жену, но воли ей не давай, а ты, Марья, слушайся его, пусть отца и матери!»

Она взяла костыль из рук Юрия Патрикеевича и задумалась. Все молчали. Казалось, в памяти ее пролета-

ли минувшие события; она забыла, что вокруг нее были люди. Опустив голову, говорила она:

«Много лет, да, много лет! Много горя, мало радостей! Дева литовская! Помнишь ли родные леса? Помнишь ли могущего отца Ольгерда, сильного дядю Кейстутия, грозного брата Витовта! Шестьдесят два года протекло, как праздновали твою свадьбу — также праздновали ее весело! И дай Бог внуку прожить столько же, сколько ты прожила со своим князем-соколом. Тридцать девять лет жила я с ним, и уже двадцать один год, как его косточки покоятся в сырой земле. И где дети мои? где пять орлов моих?.. Велите подвезти возок мой! Довольно! Я благословила их, теперь в мою обитель. Прощай, Софья, прости, Василий, прости, Марья, простите князя и бояре! Веселитесь и празднуйте веселье молодых супругов. Всему черед... Празднуйте и помните, что только истина и добро вековечны! Все тленно, все мгновенно... Я пережила четыре поколения князей сильных и могучих, царей грозных и великих... Да благословит вас всех Бог!»

Глава III

Начнут советовать и вкось тебе и впрямь.

Крылов

Заботы свадебного, шумного дня приходили к окончанию. Оставался только свадебный стол. Он был уже накрыт в обширной *Красной палате*, где обыкновенно пировали Великие князья. Время после венчального обряда до стола надобно было посвятить краткому отдыху. Великий князь с несколькими боярами удалился в свое отделение великокняжеского дворца, гостей увел тысяцкий в другие палаты. Там старики сели в один кружок, молодежь собралась в другой. Княгини и боярыни удалились в терем к Великой княгине Софье Витовтовне и увели с собою Марью Ярославовну. Чинно сели они по скамьям в большой княгининой палате и не говорили ни одного словечка: это был отдых. Марья Ярославовна сидела между свахами неподвижно, опустив глаза в землю.

Все ждали, когда раздастся призывный голос кравчих. Между тем, княгини и боярыни не заметили, что Софья Витовтовна скрылась от них; князья и бояре также не видали, что Юрья Патрикеевич удалился.

В Думной княжеской палате сидел Юрья Патрикеевич, перед ним стояли двое Ряполовских, боярин Старков, ростовский воевода Петр Федорович, боярин Ощера и еще несколько других бояр.

— У меня сердце вещало,— сказал Юрья Патрикеевич,— что не без злых людей на этой свадьбе: так уж все пошло с самого начала.

«Я говорю тебе еще раз,— с жаром возразил Симеон Ряполовский,— что ты напрасно беспокоишься, боярин! Что за беда учинилась? пустяки! Не нарушай радости Великого князя, не тревожь княгини Софьи Витовтовны».

— Рад бы радехонек, да у меня голова кругом идет! Ведь мы рабы княжеские, ведь на нас вся ответственность, ведь мы должны головы свои положить за них? А? не так ли, бояре?

«Так, так, готовы, готовы!» — заговорили все, кроме Ряполовского.

— И положим их, когда это будет надобно! Уж, верно, не я последний буду из числа вашего, боярин Старков,— возразил Симеон — и не брат мой.— Брат Симеона крепко пожал ему руку.

«Но до того еще так далеко, что у твоего сына успеет борода вырасти длиннее твоей. Говорите: чего вы испугались?»

— Как же чего! — сказал Старков.— С самого утра дурные приметы, одна за другою: ворон влетел в палату, снег и буря поднялись при выходе из церкви, свечи потушило вихрем, в церкви чуть не свалился с невесты венец...

«Да, да,— сказал Юрья.— Избави нас Господи!» Он начал креститься. «Вижу,— продолжал Юрий, заметив усмешку Симеона,— знаю, что ты не веришь этому; но послушай, брат, Ряполовский: ты еще молод — эй! не погуби души своей! С тех пор, как ты пожил между немцами в Риге, да в Колывани, я боюсь, не опутал ли тебя лукавый злым неверием».

— Об этом мы поговорим после, боярин,— сказал Ряполовский.— Верю я или нет воронам и тому, что у свахи кичку сорвало ветром, тебе что за дело? Если гнев Божий грянет бедою, мы повинны Его святой воле: и кто спорит? Будут или нет приметы, но легко может статься, что Господь накажет нас огнем, трусом великим, или дождем и градом, болезнию и даже нашествием неприятельским. Судьбы Его неисповедимы! Кто

поручится, что ты теперь жив и здоров, а через час будешь с отцами нашими...

«Наше место свято!» — воскликнул Юрья, плюнув и крестясь.

— Ну, я, пожалуй, скажу это про себя, ибо уверен, что без воли Божией волос с головы моей не погибнет. Но благоразумие велит отвращать только явные беды и опасности. Где же ты видишь эти явные беды?

«Где! Еще мало...»

— Москва спокойна, крепкая стража бережет Кремль, огневики ездят по всей нашей трети, у Володимировичей тоже...

«Москва спокойна! А что было давеча? У меня поджилки затряслись, как сволочь московская заорала и бросилась на княжеское угощение».

— И что же? Схватила, съела, выпила и пошла по домам!

«А так ли должно? Ей надобно было дожждаться череду, и когда бы велели ей, тогла бы и могла повеселиться!»

— Грех нашим душам будет, если толпа безоружной сволочи устрасит нас, когда у нас тысяча воинов стоит под оружием.

«Да, будто тем и кончилось? Вот, объездчики извешают, что во всей Москве шумят и гамят, и не спят...»

— Изволь, я сейчас поеду сам в объездную и ручаюсь тебе за Москву! Завтра Масленица — как же не шуметь народу? И зачем же его поили?

«Ну, а вести Петра Федоровича? Слышал? Точно боярин Иоанн теперь у Юрия Дмитриевича в Дмитрове, откуда наших дьяконов взашей прогнали?»

— Вести эти еще недостоверны. И что за беда? Мы сами виноваты: зачем мы совались в Дмитров? Надобно теперь поговорить со стариком, да и уладить все помирнее. Чего боитесь вы боярина Ивашки? А дети Юрья Дмитриевича и не думают о вражде!

«Все это подлог, боярин! — сказал воевода Ростозский. — Скрывается страшный заговор... Князь Юрий готовит людей, боярин Иоанн сгинул где-то... Где ж ему быть, если не у князя Юрия? Не верьте никому! Город весь наполнен злодеями Великого князя. Хоть пытаться меня велите — одно буду говорить: умру, умру за Великого князя!»

— Если никому не верить, так начнем с тебя, боярин, и не поверим тебе. Заговор у тебя в голове: надобно же ее чем-нибудь набить, если Бог уродил ее без мозгу?

«Бояре, что же это? Меня же за усердие ругают и поносят!»

— Я не поношу тебя, но говорю, что ты первый сплетничаешь и наущничаешь и последний к бою.

«Как! что это?» — зашумели другие.

— От твоих и подобных твоим наговоров смуты и вражды в князьях! Где заговор? Где он скрывается? Пойдем, покажи!

Шум поднялся между боярами. В это время вбежала в палату Софья Витовтовна. Щеки ее покраснели, глаза пылали.

Сказав, что София была дочь неукротимого Витовта, что с дикостью литвянки она соединяла горячую кровь русской женщины, мы изобразим Софию вполне. Часто сам строгий супруг ее уходил от нее, когда она развязывала свой язык. Теперь, шестидесяти лет, она еще была здорова, крепка. Большие черные глаза ее еще не потеряли своего блеска, и щеголеватая одежда, в которой было какое-то смешение русского и литовского одевания, показывала, что Софья не думала еще отречься от мира. К этому присовокупляла она горячую материнскую любовь к Василию Васильевичу, единственному, оставшемуся у нее сыну. В порывах нежности к сыну своему это была львица, у которой отнимают дитя.

— Что вы, собрались здесь, бояре? — спросила она, удерживая гнев свой. — Что значит это собрание?

«Государыня, Великая княгиня!» — отвечал Юрья Патрикеевич, вставая со смущением со своего места, — мы, рабы твои и Великого князя, собрались ради твоей и его государственной пользы, думать о делах его, государевых».

— А кто велел вам собираться, не сказав мне? Ради каких польз осмелились вы здесь своевольничать и шуметь, в моем княжеском дворе? — София обводила кругом глазами, как будто требуя ответа; бояре молчали.

«Великая государыня, княгиня...» — сказал Юрья Патрикеевич, в замешательстве.

— Я без тебя знаю, что я твоя государыня! — вскричала София гневно, — крамольник, старый ленивец! Как смел ты скрывать от меня замыслы врагов? Если бы не боярин Старков уведомил меня, половина Москвы горела бы, а в другой вы все еще спали бы...

Старков, успевший уже подслужиться извещением княгине о совете боярском, униженно поклонился.

Смело стал тогда говорить Ряполовский. «Не отвергаю усердия боярина Старкова, но он напрасно тревожил тебя, государыня, и возмущал радость нынешнего праздника. Слухи, ничем не подтверждаемые, пустая молва, когда все предосторожности приняты, не должны пугать тебя, и твои бояре бодрствуют, Великая княгиня!»

— Ты и при мне осмеливаешься, боярин Ряполовский, говорить твои безумные речи? Старков мне все сказал. Ты стакался со злодеем нашим, князем Юрьем, ты хочешь предать меня и моего сына!

«Государыня! — отвечал почтительно Ряполовский, — умей различить верного слугу от наушника и льстеца!»

— Наушника? Разве у меня есть наушники? — Она быстро оборотилась к ростовскому воеводе.

— Говори, Петр Феодорович, что ты сказал боярам?

«Я говорил им то, что мне донесли верные люди. Князь Юрий в Дмитрове, боярин Иоанн у него, они выгнали наших московских наместников и собирают войско».

— А в Москве, государыня, — сказал Старков, — носят страшные слухи. Верные доносчики видели, как у князя Василия Косого собирались воины и князья.

«Туголукий мне сказывал, — поспешно прибавил Ощера, — что Косой при нем сегодня, поутру, говорил о тебе вольные речи».

— Толпа мятежников ходила сегодня по улицам, — сказал Старков, — и пела песню: *Государыня Масленица*, и уж конечно не Масленицу разумели своевольные, а что-нибудь совсем другое...

«Вы все это слышали?» — спросила София у бояр. Они молчали. «Слышали, — повторила София, — и дремали?»

— Государыня! — сказал Ряполовский, — умоляю тебя успокоиться. Все это пустые слухи. Москву крепко охраняют верные воины, вести о пребывании боярина Иоанна в Дмитрове неверны...

«Я давно видела твою верность, изменник! — вскричала София. — Ты узнаешь, чем платят вам за подобные дела».

— Воля твоя над моею головою, — отвечал Симеон, — но польза твоя дороже мне моей жизни.

«Молчи!» — вскричала София. В это время вошли еще несколько бояр, князь Константин Дмитриевич, князя Иоанн Можайский, Михаил Верейский и Василий Боровский.

— Что, что сделалось? — спрашивали они. — Нас вызвали тихо, скрытно. Что такое?

«Государь братец, князь Константин Дмитриевич! на тебя надежда и на вас, мои друзья, добрые князья! Гибнет сын мой, гибну я, гибнет Москва!»

— Государыня тетушка, Великая княгиня! — воскликнули Иоанн и Михаил, — готовы кровь за тебя пролить и за нашего Государя, Великого князя!

«Все, все ляжем головами!» — воскликнули князья и бояре.

— Я безопасна, видя вашу любовь, — сказала княгиня, — и не буду беспокоить мое милое дитя, Василия Васильевича.

«Но, Государыня сестрица, — сказал князь Константин, говоривший между тем с боярами, — я еще не вижу большой беды. Если брат Юрий опять что-нибудь затевает, так разве в первый раз ему бегать от московской рати? Пошлем на клятвопреступника завтра же всю силу московскую».

— Кто начальствует Москвою сей день? — спросил Иоанн Можайский.

«Басенок, — отвечал Юрья Патрикеевич, — а в Кремле князь Василий Баба с литовскими копейщиками».

— Басенок! Как можно было поручить такому молодому малому Москву! — вскричал Иоанн Можайский.

«Юрья Патрикеевич только сидит, да зевает в боярской Думе», — сказала София.

— Честь Басенка не помрачена доньше ни одним словом клеветы, — возразил Ряполовский, — даже от врага его произнесенным, а храбрость и верность бороною не меряются.

«Удалите крамольника! — вскричала Софья. — Бояре! возьмите Ряполовского. Посадить его в Чудов и поставить стражу!»

— Воля твоя, Великая княгиня! Но умирая в муках на площади, я буду тебе вернее ростовского твоего наместника, смутника и клеветника!

«Прочь его!» — загремела София. Ряполовского вывели.

— Вели и меня взять вместе с братом, — сказал другой Ряполовский, — я то же говорю, что брат: злыми наветами смущают тебя, княгиня! — Он вышел; в другой комнате его задержали.

— Басенок в самом деле слишком молод, — сказал князь Константин, — и надобно человека поважнее. Ве-

леть принять начальство какому-нибудь старому боярину.

«Дайте мне Кремль,— сказал князь Боровский.— Я не усну во всю ночь и буду на страже».

— Боярину Ощере можно доверить Москву, а в моей части я сейчас пошлю устроить объезды.

«И мы тоже!» — вскричали Можайский и Верейский.

— А завтра соберем Думу,— сказал Константин,— и если брат Юрий снова зашевелится, то все почти князья здесь — Кашинский, Рязанский, Тверской, и все так дружны — он с ума сошел — мы его шапками забрасаем!

«С ним добром не кончишь!» — примолвил Боровский.

— Но пора. Наши молодые уж верно соскучились ждать, да и не надобно делать тревоги.— Князья и бояре! как будто ничего не было — пойдем пировать.

«Ты забываешь главное, князь,— сказала София,— немедленно должно схватить детей злодея».

— Косого и Шемяку? — спросил он, задумавшись.

«Да, как в первый раз увидела я сегодня князя Василия, так сердце мне сказывало, что он не даром глядит исподлобья».

— Это мне непонятно,— отвечал Константин,— как могли они приехать и сами в руки отдаться? Княгиня, сестрица! не будем делать шуму! Они всегда еще успеют быть схвачены. Но на свадьбе — наших гостей... подумай сама!

«Что ты веришь этому Каинову отродью,— вскричала София.— А примета, как пришел князь Василий ко мне?»

— Я с ними говорил и мне кажется, они не знают и не мыслят никакого зла.

«Что вы, батюшка, князь, им верите,— подхватил ростовский наместник,— прибрать их к рукам — это безопаснее!»

— Так это можно сделать и ночью, а не теперь,— сказал Константин.— Чего бояться? На свадебном пире такой позор! Что скажут все другие князья?

«Дозвольте мне, государыня тетушка, захватить Василия. Завтра же он будет под такою стражею, что и птица не пролетит к нему!» — сказал Можайский.

— А я закреплю Шемяку,— сказал князь Боровский.

«Быть по-вашему,— отвечала София,— скреплюсь; буду хоть искоса смотреть на злодеев моих, а в глаза им прямо смотреть я не в силах, пока они не будут в железках».

Она вышла. Князя и бояре остались на несколько минут для совета. Не давая никому и ничего знать, один за другим являлись они в палату, где были собраны другие князья и бояре.

Юрья Патрикеевич вышел после всех и прошел в терем княгини Софии. Он застал ее в дальней комнате. Какой-то старик стоял в углу и держал в руках большую кружку, нашептывая что-то в эту кружку потихоньку. София сидела подле стола, задумавшись, облокотясь головою на руку.

Юрья Патрикеевич был правнук Ольгерда и происходил от Нариманга, убитого Витовтом. Бежав в Москву, он удостоился милости и дружбы Василия Дмитриевича, получил за дочерью его богатые поместья, издавна считался первенствующим в Совете, был строгим, точным исполнителем воли княжеской. Его дразнили тем, что, всегда строго и буквально исполняя приказы, он едва было не казнил боярина Кручину Кошку, когда Василий Дмитриевич велел ему повесить *кошку Кручину*. К несчастью, так называлась кошка княжеская. Родня Софии, зять ее, Юрий был любим княгинею.

Юрьи Патрикеевичи не редкость при дворах и даже у богатых людей. Он за правило себе поставил: никогда не рассуждать, но исполнять все, что велят ему. Человек без страстей и без желаний, он приучил всех видеть его беспрерывно при дворе княжеском. Никто в мире не любил его, и все к нему привыкли, а более этого и не умел ни от кого требовать Юрья Патрикеевич. Самый ум его был какое-то собрание опытов и условий: это была записная книга всего, что случалось при дворе, и при каждом новом случае Юрию надобно было только справиться: как решили такое-то дело в таком-то году? Далее ничего не знал, ни о чем он не думал.

Молча остановился Юрья при входе в комнату. София подняла голову, как будто требуя донесения. Юрья обратил глаза свои на старика. «Это наш литвин, природный — ты можешь говорить при нем», — сказала София.

— Государыня, Великая княгиня! все исполнено. Князь Боровский принял начальство над войсками в Кремле; двор Шемяки окружен тайною стражею, и едва подъедет он к воротам своим, как будет взят. Новые отряды войск поехали по Москве; боярин Ощера придан к Басенку; князья Можайский и Верецкий велели сбираться дружинам в своей части, князь Константин в своей, князь Боровский в своей трети. Василий

Юрьевич со свадебного пира очутится в тюрьме: князь Можайский будет ждать его, как коршун цыпленка.

«Когда эти два сокола будут в наших руках, мы посмелее можем говорить с их отцом. Однако ж, Бог видимо спасает нас: он отуманил очи этих князей, сами приехали отдаться в наши руки!»

— Божие великое благословение почиет на вашем роде,— отвечал Юрья.

Бедные люди, бедные их замыслы, бедные их помышления и хитрости!

Юрий пошел в палату к гостям. Литовский колдун оборотился тогда лицом к княгине. Мы не будем его описывать, ибо читатели уже знают его: это был *Иван Гудочник*.

Чистым литовским языком начал он говорить княгине:

«Злое думанье, злое гаданье — зубы змеинные сеяли, княгиня, на пути твоём и твоего сына! Но они не дадут плода! Возьми эту воду, прикажи трижды покропить три порога на Восток. А когда завтра сын твой поедет поклониться угодникам, вели заложить ему пегих лошадей. Один черноволосый, да один русый замышляли зло, но оно не удастся им. Спи, почивай спокойно. Завтра я тебе скажу более». — Он поклонился и вышел.

Бывали ль вы, читатели, на большом веселом пиру? И случалось ли с вами, чтобы в то самое время, когда начинается самое разгульное веселье, в доме загорелось? Внизу заботы, смятение, старание потушить пожар, а сверху светлые, праздничные лица, блестящие одежды. Замечали ль вы в это время разнообразные впечатления? Хозяину сказано, что в доме неблагополучно; ему нельзя отстать от гостей; он верит и не верит уверениям, что пожар невелик; он трепещет за себя и все еще боится обеспокоить, испугать гостей своих. А гости его? а домашние? Одним известна уже опасность, но хозяин молчит и они молчат; другие заботливо скрывают свое смятение; третьи, как нарочно, беспечно, открыто веселятся, и иной никогда не бывал так весел, как теперь, ходя по полу, уже горящему снизу, и, может быть, осужденный погибнуть!

Таким представлялся пир Великого князя московского. Несколькo чар доброго вина заняли время до ужина и расположили сердца князей к шумному разгулу. Старики рассказывали о старых проказах своих, молодые — о травлях, охотах, ловах и о красных девушках. Но на лицах некоторых мрачная дума хмурила брови и явля-

ла смущение. Многие замечали отсутствие того или другого.

«Князья и бояре! Князь Великий Василий Васильевич и княгиня Великая Марья Ярославовна просят их княжескому хлебу и соли честь отдать!» — раздались наконец повсюду призывы. Собрание взволновалось; все спешили идти за ужин.

Глава IV

*На дне чарки правда положена,
Да, правду ту бес стережет:
Ты за нее ухватишься,
А он за тебя уцепится...*

Старинная песня

Мы не будем подробно описывать великокняжеского свадебного стола и только в немногих словах изобразим зрелище пирования князей и бояр, княгинь и боярынь, непрерывно желавших здравия и счастья Василию Васильевичу, Марье Ярославовне и Софье Витовтовне. Не дивитесь частым изъявлениям их усердия: за желание платы не берут, и каждое желание гостей сопровождалось притом кубком меда доброго, или вина душистого.

Тогда не было еще узорчатой Грановитой палаты, где обильным хлебосольством и восточным гостеприимством удивляли потом собеседников своих русские цари. Тогдашняя столовая палата выходила рядом окошек к житному двору, двумя выходами касалась переходов к дворцовым поварням и к другим торжественным комнатам. Это была обширная зала; у средней стены ее было приготовлено особое седалище, походившее на трон, с высоким балдахином, для молодых Великого князя и Великой княгини. Он и она сидели вместе, на одной широкой скамье, покрытой бархатною подушкою. За одним столом с ними сели: княгиня Софья Витовтовна, князь Константин Дмитриевич, князья Александр Ярославский, Иоанн Рязанский, Иоанн Зубцовский, Косой, Шемяка, князья Можайский и Верецкий, князь Юрья Патрикеевич, князь Василий Боровский, брат Марии Ярославовны и несколько почетных поезжан. За двумя другими длинными столами сели бояре и князья, подручные и служивые с одной, жены и матери их с другой стороны. Красиво устроенные яства занимали середину столов; множество бояр и сановников стояло

за поставами напитков; другие наблюдали за порядком яств и услугою, распоряжая блюдами.

Если бы мы хотели удивить археографическими познаниями, нам легко можно бы было выбрать из старинных летописей и записок названия разных блюд, составлявших столы у наших предков. Чем затруднительнее и непонятнее были бы названия, тем более изумились бы читатели нашей глубокой науке и опытности в древностях русских.

Но мы не хотим этого и скажем просто, что в старину не щеголяли изяществом кушанья, а хотели только, чтобы *«яств и питья в столах было много, и всего изобильно»*. Роскошь означала множество кушаньев — холодных, жарких, похлебок, но состав всего был весьма прост: мяса, рыбы, птицы были без затей варены, жарены, подаваны с подливками. К этому прибавлялось множество курников, караваев, сырников, пирогов — рассольных, торговых, подовых, кислых, пряженных, яичных; пряников, блинов, цукатов, смокв, овощей, марципанов, имбирников. Число кушаньев доходило до ста, до двухсот разборов числом, считая подаваемое князьям и боярам, которым подносили яства особо — и похуже, и поменьше. Это не означало скупости, но происходило от *почета*: знатные князья оскорбились бы, если бы их кормили наравне с великокняжескими рабами, хотя сии последние также князьями назывались.

Предоставим на сей раз воображению читателей наших — представить им полную картину великокняжеского свадебного стола: громады кушанья, множество напитков, золото, серебро на столах, чинную услугу, громкий хор певчих, при первом блюде запевших *«большие стихи из праздников и из триодей драгие вещи, со всяким благочинием»*.

Хор умолк. Глубокая тишина настала в столовой палате. Никто не смел прервать ее, потому что старики князья еще ели и не начинали беседы, а молодые не смели из-за них подать повод к речам, неуместным каким-нибудь словом.

Желали бы мы спросить людей, бывавших на чужой стороне: заметили ль они у народа чужеземного русский обычай — за хлебом, солью не ссориться? Когда люди не любовные сели у нас за один стол, то разве только зоркий взгляд знающего их взаимные отношения проникнет в их души, дощупается их сердец. Добр, да и хитер русский. На светлом, праздничном лице гостя не узнаете вы, что обуревает душу его в те мгновения,

когда медовая речь льется из уст его в замену меда, вливаемого в уста. Хмель не развяжет языка русскому, если он сам не захочет развязать его, иногда и нарочно, оправдываясь потом хмелиною.

Из всего, что мы доселе рассказали, можно понять — в самом ли деле искреннее веселье оживляло гостей великокняжеских, как это казалось по наружному виду их? Но однообразно веселы казались все, кроме двух особ — *Софьи Витовтовны* и *Василия Юрьевича Косого*.

Софья Витовтовна напрасно хотела скрыть гнев, досаду, сердце свое: все это выражалось из отрывистых слов ее, порывистых движений и огня, сверкавшего в ее глазах, когда они обращались на князя Василия Юрьевича. Брови Василия Косого сильно были нахмурены; он казался рассеянным; ему ни пилося, ни елось; мрачная дума виднелась в лице его; он говорил мало, угрюмо, улыбался принужденно и тяжело.

Первая перемена кушанья сошла со стола. Старший по летам, почетный гость, князь Ярославский, утер бороду шитым утиральником, выпил из кубка, поставленного в это мгновение перед ним, и обратил речь к Туголукому, еще не кончившему двойного участка кушанья, им взятого.

— Устарел ты, князь Иван Борисович, как посмотрю я на тебя, — сказал князь Ярославский, — видно, брат, и зубы-то отказываются от работы!

«А с чего бы ты изволил так заключать, дорогой куманек мой?» — возразил Туголукий.

— Как с чего? Отстаешь от других. Хорошо, что хозяйка любит тебя и жалуется, а то если бы велела подавать, не дожидаясь твоего череду, так ты остался бы в полупире, когда другие его окончили бы.

«С нами крестная сила! — Ведь над нами не каплет, а уж с добрым кушаньем я расставаться скоро не люблю».

— И он не расстался бы с ним, хотя бы ливнем дождь полил на его голову, — сказал князь Рязанский.

Общий смех зашумел между собеседниками, со всех сторон посыпались шутки.

— Вот говорят, что дураки ни к чему не годятся, — сказал тихо Шемяка сидевшему подле него князю Верейскому, — а чем бы начать теперь нашу беседу, если бы нельзя было дать оплеухи по роже Туголукого? — Верейский засмеялся.

Туголукий начал креститься. Его спрашивали о причине. «Я радуюсь тому, что князь Димитрий Юрьевич

еще не онемел,— сказал Туголукий.— Он так был молчалив во все время, что я начинал думать: не наложил ли он на себя обет молчальника!»

— У тебя плохая привычка, князь Иван Борисович,— сказал Шемяка,— сперва *сказать*, а потом *подумать*.

«Меньше думай, долее проживешь,— возразил князь Тверской.— Иван Борисович следует этому присловью — и дельно!»

— Оно так,— сказал Туголукий,— да не совсем. Кто не закрывает души словами, тому нечего бояться слов своих: скажешь ладно — хорошо; не ладно — так не боишься, озадков, посмеются, да простят, когда сказано без умысла.

«Не всякому так думать: иной не захочет, чтобы из десяти слов за девять каяться уму, разуму».

— Каяться на словах не беда, лишь бы в делах не пришлось молить прощения. Так ли, Василий Юрьевич? По-моему: *так!*

«И по-моему,— сказал Косой, принужденно улыбаясь.— Только не знаю, с чего тебе вздумалось кинуть твоею речью в меня, говоря о покаянии: ведь я не духовный твой отец, а тебе не последний конец?»

— Правда. Да, оно не худо — иногда помышлять и о конце жития.

«Только не за обедом, князь Иван Борисович»,— сказал Верейский.

— А на всяком месте владычества Его благослови, душе моя, Господа?

«Что ты пустился в благочестие, князь?» — сказала Софья Витовтовна.

— Да, так, милостивая тетушка, Великая княгиня — к слову приходится.

«Слово не дело,— сказал князь Зубцовский.— Благочестивый на словах бывает иногда не таким на деле».

— Я иногда это сама замечала,— сказала с досадою София,— и спасибо Ивану Борисовичу, что он одинаков и на словах и на делах. Я его головы не променяю на голову мудреца, как бы он ни чванился умом своим.— Она взглянула на Косого.

Между тем подали другое кушанье и еще подлили в кубки. Разговор разделился, острые речи начали мелькать с разных сторон, смешиваясь с шутками и прибаутками, какие любят у нас, на Руси, говорить на свадьбах, как будто любуясь румянцем стыдливости, вызываемым этими шутками на щеки молодой супруги.

Вдруг на серебряном большом блюде, с перепечью и солонкою, поставили перед Василия Васильевича жареную курицу, или, как называли ее, *кура верченное*. Блюдо это было на особой, красной скатерти, которую разостлал второй дружка. Главный дружка встал поспешно, завернул курицу в красную скатерть, с перепечью, солонкою и блюдом. Это было знаком *выхода молодого князя с княгинею*. Посажённый отец, тысяцкий, сваты, поезжане, София Витовтовна и все княгини и боярыни повели князя с княгинею. Князя и бояре, не бывшие на свадебном поезде, остались за столом в ожидании, пока от сенника княжеского воротятся провожатые. Женщины, кроме Софии Витовтовны, уже не возвращались в столовую палату: их увели в комнаты Великой княгини, где было им свободнее и привольнее, так как и мужчинам без них вольнее в столовой палате.

Бархатами и парчами устилали путь от сенника Василию Васильевичу и Марье Ярославовне. Золотом осыпала их сваха в дверях сенника, надев на себя вывороченные шубы.

Когда София Витовтовна простилась с молодыми, благословила их и возвратилась в столовую палату *допировать* веселье свадебное, шумный разгул уже слышен был издалека. Речи сшибались, слова мешались, кубки чокались, лица светлели, и даже на боярских столах слышен был смех и разговор.

— Садись-ка, матушка, Великая княгиня, благословивши сынка с дочкою на любовь и согласие, да позволь нам выпить за твое здоровье! — вскричал князь Ярославский.

«Здоровье Великой княгини!» — загремело множество голосов.

— Многая лета! — воскликнул хор певчих.

«Пусть тот подавится заздравным кубком, кто тебе зла желает!» — вскричал князь Зубцовский, обращая осушенный им кубок на свою голову.

— Постой-ка, посторонись, князь! — сказал Туголукий, обращая лукавые взоры на Шемяку. — Не поперхнулся ли князь Димитрий Юрьевич?

В самом деле, Шемяка, занятый жарким разговором с соседями, поторопился выпить кубок свой и поперхнулся.

Глаза Софии заблестали при намеке Туголукого и нечаянном этом случае.

— Что ты скажешь, батюшка, князь? — спросила она, обращаясь к Константину Димитриевичу.

«Ничего, княгиня-сестрица»,— отвечал хладнокровно Константин.

— Нет, не ничего, а явно, что Господь простоте дает разум, а на злодее шапка горит!

«Что за обычай ныне зазелся у тебя, княгиня,— сказал князь Тверской,— все толковать о врагах, когда за трапезою сидят друзья твои и твоего сына!»

— Богу ведомо, князь, нет ли за трапезою Искарюта, который лобзает нас иудинским лобзанием.

«Так за чем же стало, тетушка,— сказал Шемяка, вмешавшийся в речь княгини,— подай ему кусок хлеба с солью, а между тем прикажи покамест Ивану Борисовичу спрятать язык подальше».

— Нет ли у тебя лишнего кармана? — спросила София.

«Нет! — отвечал Шемяка.— Впрочем, и не стоит труда прятать такую вещь, которая никуда не годится, которую и на улице не подымет, кто об нее ногою запнется».

— Ох! ты молодежь, молодежь! — вскричал князь Зубцовский,— За что ты вздумал гневаться! Будто не знаешь, что Ивану Борисовичу, как ветряной мельнице, никто не указ: дует ветер — она мелет, хочется ему говорить — он говорит.

«А другие слушают, да подтакивают! — Вот что, князь, нехоршо!»

— Кто же, по-твоему, эти *другие*? — спросила София.

«Кто? — отвечал, улыбаясь, Шемяка,— на злодее шапка горит...»

— Как! Что ты сказал, князь?

«Ничего: я повторил твои слова, Великая княгиня, тетушка».

— Есть о чем толковать,— подхватил князь Ярославский, предвидя, что София готова была отвечать с гневом.— Топи правду и неправду в вине!

«На дне останется и выскочит»,— сказал князь Можайский.

— И глаз выколет! — проговорил князь Зубцовский.

«Кому выколет?» — спросил князь Ярославский, принимаясь за кубок.

— Тому, кто старое помянет! — вскричал Шемяка, поставя на стол порожнюю чару и стараясь придать разговору шутливый оборот.

«Отними же Бог у меня память»,— громко вскричал Туголукий, уже довольно пьяный.

Думали опять напасть на него с шутками, желая всячески изменить разговор, непрерывно принимавший вид неприязненный.

«Что ты говоришь? — вскричало несколько голосов. — Молиться о том, чем уже Бог тебя пожаловал!»

— Коли бы так! — вскричал Туголукий. — Ан нет: вот так все и помнится такое, чего не могу забыть, по вере и правде!

«Еще один кубок Ивану Борисовичу и его желание совершится, — сказал князь Зубцовский, — он все забудет!»

— Здоровье князя Ивана Борисовича! — вскричали многие.

«Его здоровье? Пожалуй!» — сказала София, смеясь.

— Все пьют, кроме князя Василия Юрьевича: только он меня не любит!

«Василий Юрьевич! выпей!» — сказал князь Ярославский.

— Нет! подавится! — вскричал Туголукий.

«Слушай, ты, Тугой Лук, — промолвил с досадою Косой, — помни пословицу: не в свои сани не садиться».

— Ну, что ты его обижаешь, Божьего человека! — вскричал князь Зубцовский.

«Я дивлюсь тому, что вы, князья, не найдете другой речи, кроме глупых слов этого князя Иванушки-дурачка, — отвечал Косой. — Если вы им дивитесь — вас жаль, если над ним смеетесь — его жаль! А ни в том, ни в другом случае, право, не смешно».

— Нельзя ли, брат, уволить нас от твоего совета, — сказал князь Ярославский, оскорбленный словами Косого. — Молоденек еще ты учить других; в наше время, кто был помоложе, тот слушал старших.

«Он считает себя *старшим*», — сказал кто-то из гостей.

— В чужом доме все *моложе* хозяина, — подхватил другой.

«Мне кажется, что у многих голов теперь хозяева удалились», — отвечал Косой, озираясь с досадою.

— Слушай, брат Василий Юрьевич, — молвил князь Зубцовский, — непьяному с пьяным не беседа. Отставать от других не надобно.

«И приставать не годится: душа мера; я вам, а вы мне — не указ».

— А если бы тетушка, Великая княгиня?

«Не всякая тетушка матушка, есть и *мачехи*», — скавал кто-то.

— Что это изволишь ты говорить, князь Василий Юрьевич? — спросила София, вспыхнуло.

«Здесь так много и вдруг говорят,— отвечал Косой,— что я не знаю, о чем ты спрашиваешь, княгиня. Ты не отличила моей речи от других».

— Твои речи всегда так разумны, что их легко можно отличить от других, как галку по полету.

Косой промолчал. Это более рассердило Софию. «Ты уж не изволишь и отвечать мне?» — сказала она.

— Иногда молчание лучше речей,— сказал Косой.

«Змеиное твоё молчание,— вскричала София,— змея молчит, а только жалит».

— Змея — женщина! — сказал Косой, с гневом бросив вилку на стол. — Не знаю, с чего применять её к мужчине!

София побледнела от досады. — «Князь! Княгиня!» — вскричали многие собеседники, предвидя и желая утишить бурю. Смятенный шум раздался в палате.

— В самом деле, не думаешь ли ты, князь, что ты *старше* других в нашей беседе? — вскричала София. — Так я тебе докажу, что я жена твоего дяди и мать твоего Государя!

«Надо мною один Государь — Бог!»

— А отец разве не Государь тебе? — сказал князь Ярославский, у которого все еще не прошла досада, причиненная словами Косого.

«Видно, князь Юрий *не отец* ему!» — вскричала София, злобно усмехаясь.

— Вернее, нежели *твоему* сыну мой покойный дядя! — отвечал Косой, не в силах будучи переносить обидные речи тетки.

«Наглая душа! как ты смеешь сказать мне такие непристойные речи?» — закричала София. Косой тронул душу ее за самое больное место.

— Полно, полно — князь, княгиня! — заговорили тогда многие.

«Послушайся друзей, Василий Юрьевич,— проговорил сам князь Ярославский,— за что ты гневаешься? Между друзьями что за перекоры!»

— Вижу, какими друзьями окружен я здесь, князь Александр Федорович: не выдают тетушку в слове,— сказал Косой, отодвигаясь от стола и желая встать со своего места.

«Ты осмеливаешься здесь — своевольничать!» — воскликнула София, поспешно вставая.

— Умрем за матушку нашу, Великую княгиню! — закричал Туголукий, поднявшись и стуча в стол кулаком. Многие бояре выскочили из-за своих столов, многие князья также поднялись с места.

— Великая княгиня! Тетушка! послушай — внимли доброму слову! — говорили Константин Дмитриевич, князья Тверской и Ярославский, но — тщетно. Среди шуму слышны были угрозы, которыми с разных сторон разменивались бояре и князья. Голос Софии раздавался среди всех: «Крамольник — злоумышленник — злодей!» — восклицала она.

«Умрем за Великую княгиню!» — возглашал между тем Туголукий.

— Заткни ему рот, князь Чарторийский! — сказал Шемяка и обращаясь то к Софии, то к брату старался уговорить их: «Послушайте, тетушка, брат! Побойтесь Бога, постыдитесь людей...»

— Ты думаешь, что я не знаю твоих замыслов? — кричала София, не внемля ничему. — Что я тебя, злодея, за стол-то свой посадила с честными князьями, так ты думаешь, я и отдамся в твои руки?

«Бог с тобой и с твоим хлебом-солью, когда ты ими коришь меня! — воскликнул Косой. — Я не хочу быть твоим гостем — возьми деньги за хлеб, за соль, только не кори! Князья! свидетельствуйте: я ли начал такую позорную ссору?»

— Он! — Нет, не он! — Князь виноват! — Князь прав! — кричали со всех сторон.

«Ты мне заплатишь, князь-голытьба? — вскричала София, вдруг подбегая к Косому. — Да чем заплатишь, ты, князь без поместья? Знаешь ли ты, что только по милости моей и сына моего у тебя есть кусок хлеба, а у твоего отца горшок каши?»

Смятение достигло тогда величайшей степени: шумели во всех сторонах, руки многих падали уже на рукоятки мечей. До сих пор Шемяка старался еще уговаривать, упрашивать. Но когда София упомянула об отце его, он с гневом воскликнул: «Замолчи же, тетка! Сама ты кормишься по милости отца моего! Не смей порочить моего родителя, или — клянусь Богом, не сдобровать тебе с твоими речами!»

— И ты осмеливаешься туда же? — закричала София, обращаясь к Шемяке.

«Прекратите ссору, — сказал Шемяка, опомнившись и снова удерживая гнев свой. — Бог с тобой, тетка: не

родная ты нам по плоти, чужая и по душе! Брат! оставим любезную тетушку и добрых гостей ее...»

— Нет! я вас не оставляю! — вскричала София. — Князя, бояре! возьмите меч у князя Василия!

«Княгиня! что ты делаешь! Ты оскорбляешь всех нас!» — закричало множество голосов.

Косой, казалось, был оглушен таким неожиданным решением Софии. Он побледнел, губы его задрожали. Бояре московские не двигались с мест своих.

— Возьмите меч его! — провозгласила София, громче прежнего. — Что вы стали?

«Я посмотрю, кто осмелится подойти ко мне...» — сказал Косой, глухим, задушаемым голосом, обращая кругом пламенные глаза свои.

— Мы не допустим до такого позора! — кричали многие князья.

«Ты *посмотришь?* Вы *не допустите?*» — проговорила София и с яростию, быстро, кинулась к Косому, сорвала меч его с цепочки и бросила в сторону!

Действие это было так неожиданно, что все голоса вдруг умолкли; взоры всех, казалось, были очарованы и не могли отвести от меча княжеского, загремевшего и звучно упавшего на пол.

— Что это? Что я вижу? — вскричала тогда София, устремив глаза на богатый пояс, бывший на Василии Юрьевиче. — Воровская вещь! Бояре, князья! Узнаёте ли вы этот пояс? Он краденый у моего тестя!

Несколько человек хотели разлучить Софию от Косого — уговаривать было уже поздно: хотели только, чтобы кровавое зрелище не заступило места свадебного пира. Глаза Косого налились кровью, жилы вздулись на лбу его — говорить он не мог — рука его, как будто судорожно, шарила меча, на левом боку, там, где всегда был доселе сей знак его чести... Но София вырвалась из рук посредников, ухватила за пояс Косого и громко призывала к себе бояр.

Глухой, бешеный смех вырвался наконец из груди Косого. Он оглянулся кругом, на толпу князей и бояр, и с презрением смотрел на Софию, которая вне себя от ярости рвала с него пояс слабыми своими руками. «Постой, Великая княгиня, дай мне самому отстегнуть и снять! Отойди на час!..» — закричал он диким каким-то воплем и оттолкнул от себя легонько Софию, которая от этого легкого толчка едва не слетела с ног.

— Отдай пояс, — кричала София, — отдай пояс. Этот пояс был подарен покойному тестю Димитрию Иоанно-

вичу, тестем его, Константином Димитриевичем. Я его знаю — его украли потом, и вот он, вот он, вот он! Наместник Ростовский! узнаешь ли ты этот пояс?

«Он самый, клянусь всем, что есть святого!» — вскричал наместник Ростовский, едва держась на ногах.

Тут, в неистовстве, вскочил со своего седалища Шемяка. Скамья, на которой сидел он, полетела на пол. И с неописанным свирепством закричал он громко: «Княгиня! еще одно слово и — я клянусь тебе вторым пришествием Господним — ты расквешься в своем безрассудстве!»

— Он убьет ее! — провозгласили многие бояре и обнажили мечи. Шемяка не внимал ни клика их, ни звука мечей. София не слыхала слов его в запальчивости. Тут высоко поднял Шемяка кубок, перед ним стоявший. «Так, да расточится злоба твоя!» — вскричал он и с размаха ударил кубком об стол: дорогая хрустальная чаша разлетелась вдребезги, кубок согнулся, красное вино, бывшее в нем, потекло ручьями по скатерти. Шемяка бросился к брату, видя уже несколько мечей, на него устремленных. Князя и бояре, многие старались уйти из залы, другие бросились защищать Софью Витовтовну, третьи спешили позвать стражу.

Косой, как мертвец бледный, остановил Шемяку. «Стой, брат! — сказал он, дрожащим, прерывающимся голосом. — Кровь христианская готова обагрить землю. Может быть, мы с тобою стоим в сие мгновение на праге вечного судилища... Если они хотят зарезать нас, как Святополк зарезал Бориса и Глеба — Божья воля!» — Он расстегнул пояс свой и кинул его на стол. «Вот мой свадебный подарок брату Василию!»

— И давно бы так, — сказал князь Зубцовский, — и все бы сладилось. Эх! какой народ... Господи! твоя воля...

«Спорят о мешке, а в мешке ничего нет!» — примолвил кто-то.

Поступок Косого как будто образумил всех. Князь Ярославский, князь Зубцовский, Юрья Патрикеевич стали между Косым и Софьею, которая как будто пробудилась в сию минуту от бешенства сожигающей тело горячки и почувствовала безрассудство, безумие своих поступков... «Ну, ну! кончено, кончено...» — говорила она, отходя в сторону.

— Князь Василий Юрьевич, княгиня, князь Димитрий Юрьевич — полно, полно — что за грех такой... — говорили князья.

«Брат! — сказал Косой, взяв за руку Шемяку. — Князья! — продолжал он, обращаясь на все стороны, — что это было? Сновидение, или меня кто-нибудь обморочил?»

— Ничего, ничего! Что за пир без побранки! Экая невидаль!

Косой крестился обеими руками. «Меня — баба — обесчестовала — меня — перед князьями! А! голова моя! Ты еще у меня на плечах!» Он сжал кулаки и громко заскрежетал зубами.

— Тише, князь! — шепнул ему Можайский.

«Ну, после рассудим, — говорил Верейский, взяв Шемяку за руку. — Пойдем Димитрий Юрьевич!» Он потащил Шемяку из палаты.

— Что это значит? Куда, князья, бояре? — вскричал Шемяка, вырываясь из рук Верейского. Он взялся за свой меч.

Софии уже не было в палате. Ее уговорили уйти. Пиршество свадебное представляло зрелище страшного беспорядка.

— Ничего, ничего, сладим, помирим! Великое дело: лишнее слово сказано! — говорили князья-старики. — Эдакая Витовтова кровь! — Вот свадебку отпраздновали! — раздавалось со многих сторон.

«Теперь о мире говорить еще нечего, князья. Меня обругали, оборвали, как презренного раба, как колодника на площади! Где меч мой? Отдайте мне меч мой! Разве я пленник здесь, а палата великокняжеская тюрьма моя?»

— Князь Василий Юрьевич, — сказал князь Ярославский, — успокойся...

«Отдай мне меч — я еще не пьян, хоть и крепким вином напоили меня. Неужели вы боитесь отдать мне меч мой? Драться я не стану и — надеюсь, что меня еще не тотчас зарежут».

— Что за речи такие! — сказал Константин Димитриевич. — Мы тебе ручаемся.

«А если у тетушки уже подготовлены убийцы наши, то мы продадим свои головы не иначе, как за полдесятка голов каждую!» — вскричал свирепо Шемяка, положив руку на свой меч и до половины извлекая его из ножен.

— Мы все отвечаем за вашу безопасность! — говорили князья Тверской, Ярославский, Зубцовский, Рязанский. — Пойдем вместе! Кто из бояр и князей московских осмелится противоречить, тот заплатит дорого!

Бояре сих князей и спутники Косого и Шемяки сдвинулись в одну толпу. Юрья Патрикеевич, представивший самое жалкое лицо во время ссоры, выступил вперед и говорил, что князья могут быть уверены в своей безопасности.— «Огня! Пойдем!» — раздались голоса князей. Косому подали меч его. Все князья и бояре оставили палату.

«Ну, уж было дело!» — сказал князь Рязанский Тверскому.

— Вот чему дивишься! — отвечал Тверской. — Посмотрел бы ты в старину: бывало без шума ни одно веселье не кончалось и часто доставалось даже ребрам; теперь-то уж вы все выродились...

«Что же? — шепнул Юрья Патрикеевич, отведя в сторону князей Можайского и Верейского. — Теперь ли их взять или после, ночью? Я окружил уже весь дворец воинами: только с крыльца — и в цепи».

— Видишь, что нельзя, — отвечал Можайский, — при князьях. Зачем было вам затевать такое позорище? Сам виноваты!

«Как же быть? Ведь княгиня может на меня осердиться!»

— Я послал уже сильные отряды к их дворам. Живых ли, мертвых ли, но мы их достанем.

«Пособи нам, всемогущий и благий Господи! А, правду сказать, княгиня слишком *погорячилась*...» — Юрья Патрикеевич боязливо осмотрелся кругом, произнося сии слова.

— Да, чего тут: заварили вы кашу — теперь масла жалеть не надобно, и — Бог знает, как ее расхлебать придется!

Глава V

*То обман, то плющ, играющий
По развалинам седым:
Сверху лист благоухающий —
Прах и тление под ним!*

Жуковский

С чем бы сравнить нам матушку нашу, Москву? Не с красавицею ли, о которой идет далекая слава, за которую бьются в дальних сторонах и при имени которой звонко сшибаются и пенятся чаши на беседах юношей? Вы видите красавицу эту, вы приближаетесь к ней, с невольным трепетом, и что же? Перед вами милое создание, не дородница, не румяни-

ца, дева не гордая, не блестящая! Вы дивитесь: откуда взялась слава о красоте этой девы? — Не дивитесь, не дивитесь: взгляните в нее, узнайте очаровательную эту деву, дайте милым, всегда опущенным глазам ее сверкнуть на вас... О, этот взор выскажет вам все! Образ незабвенной будет всегда преследовать вас, как совесть преследует злодея; будет вечно с вами, как вечна память о милом, навсегда потерянном друге! Чем более вглядываться будете вы в деву-очаровательницу, тем сильнее поймете пыл страстей, зажигаемых ею в сердцах юношей и не потухающих ни от отдаленности расстояния, ни от лет разлуки!

Такова Москва. Громада ее поражает вас, когда вы издали завидели Москву. Въезжаете в нее — и где очарование? Нет ни реки величественной, ни гор высоких, ни лесов, оттеняющих другие города. Но пойдемте со мною по Москве, по ее окрестностям. Я укажу вам такие чудные красоты природы, что ни сибирские леса, ни побережье широкой Волги, ни берега Черного моря не истребят этих красот в памяти вашей. Воробьевы горы, где серебристая Сетунь умирает в волнах Москвы-реки, где на несколько верст кругом зритель обхватывает взором и город, и поле — никогда не забудет вас, кто видел хоть однажды!

Таково же чудное местоположение Симонова монастыря, ныне древней, богатой обители. Воздвигнутый на крутом берегу, он глядится в светлые струи Москвы-реки, и оба берега ее — с домами, монастырями, церквями, Кремлем, Замоскворечьем, Воробьевыми горами, Коломенским полем, лугом за Москвою, окрестными селениями — перед глазами вашими! Очаровательное место, когда заходящее, или восходящее солнце являет вам засыпающую, или пробуждающуюся Москву, тени вечера густеют, или ночные мраки тают перед вами, песня пловца оглашает окрестность, и заунывный звон монастырского колокола — этот *скрип дверей вечности* — раздается, будто голос времени...

Через три дня, после события на свадьбе Великого князя, нами описанного, вечером, через глубокие сугробы снега, от Крутиц, по сосновому бору, пробирался кто-то в Симонов монастырь, в небольших санях, запряженных в одну лошадь.

Ездок этот остановил сани у задних, маленьких ворот монастыря и начал тихо стучаться в ворота. Сторож монастырский, ходивший внутри двора, с дубинкою на плече, спросил: «Кто там? — и, — За чем?» — «Отвори,

брат Федосей!» — отвечал приехавший. «А! это ты, Иван Паломник! — сказал сторож. — Тебе как не отворить. Добро пожаловать! Господи Иисусе Христе, сыне Божий!» — шептал он, отмыкая замок.

Маленькая калитка отворилась. Привязав повод лошади изнутри ворот, вошел в монастырскую ограду приезжий, которого называл сторож *Иваном Паломником*. Казалось, что он был весьма знаком со сторожем и со всем монастырем, ибо не говоря ни слова пошел от ворот, а сторож не спрашивал: *куда* и *зачем* идет он? Прямо к келье архимандрита подошел приезжий и постучался в двери. «Во имя Божие отвори, отец Варфоломей», — отвечал приезжий на вопрос из кельи: «Кто пришел?» — Дверь отворилась; приезжий вошел в келью; слышно было, что за ним задвинули дверь изнутри засовом.

Келья архимандрита состояла из двух небольших покоев, находясь в ряду других монастырских келий. Мрачные стены ее украшались только несколькими образами и то без риз и без всякого убранства: неугасимая лампада горела перед ними. В углу передней комнаты стоял дубовый, ветхий стол, на котором сложено было одеяние архимандрита и лежал клобук его, ибо архимандрит был в келье своей в простой свитке, с открытою головою. Две простые скамейки придвинуты были к столу. Духовная книга лежала на столе, раскрытая; в железном подсвечнике горела перед нею свечка. В сумраке можно было различить, что в другой комнате находился гроб; крышка его стояла подле, прислоненная к стене.

Архимандрит был старец, убеленный сединами. Но при первом взгляде на его бледное, сухое лицо можно было понять, что не столько старость, сколько тяжкие горести и бремя скорбей убелили его голову и сделали его живым мертвецом. Никому не было известно: кто таков был сей благочестивый отшельник? За много лет, еще при княжении Василия Дмитриевича, пришел он в Симоновскую обитель. Его примерное житие, его набожность вскоре заслужили всеобщее почтение и любовь. Он мало говорил, редко оставлял обитель и никогда не являлся в княжеские дворцы, хотя и облечен был саном архимандрита, по кончине своего предшественника. Со слезами молил он избавить его от сего сана; но князь Константин Дмитриевич, покровитель и главный вкладчик обители Симоновской, умолил благочестивого мужа, который и после того не переменил

своей тихой жизни, не изменил своего молчания. Тогда только отверзались уста его, когда князь Константин приезжал в обитель и наедине с ним начинал беседовать о спасении души, о суете мира, о божественном, святом Писании. Сладостны были тогда речи благочестивого отшельника. Он ежедневно являлся в церковь на каждое божественное служение и часто сам отправлял его; в другое время дня исправлял он, наряду с братиею, все монастырские труды и работы: как простой монах читал он духовные книги за трапезою, иногда по целым часам, безмолвный, сживал он при гробе, который поставил в келье своей, завещая положить себя в этом домовище. Одр его успокоения, где на краткое время сон смыкал его глаза, составляла голая скамья, подле гроба поставленная.

Приезжий, *Иван Паломник*, как называл его монастырский сторож, молча прошел по келье, сел на скамейку подле стола и закрыл лицо свое руками.

— Что с тобою? — спросил его архимандрит, тихо перебирая рукою большие четки и творя молитву.

«Дай мне сил перенести скорби мои, дай мне слез оплакать грехи мои!» — отвечал приезжий.

— Молись, да ниспошлет Он тебе милость свою! — архимандрит указал рукою на образ Спасителя.

«Отец Варфоломей, брат мой, друг мой! помолись ты за меня. Чувствую, что сил моих недостает переносить бремя жизни. Отчаяние, сей грех смертный, часто одолевает меня ныне... — Господи! укрепи меня!» — Паломник поднял руки к небу, но слез не было в глазах его.

— Вижу, что с тобою случилось что-нибудь горестное и неожиданное. Открой мне душу свою, брат Иван, скажи...

«Неожиданное? Нет! я всего ожидаю, все это испытывал я и прежде. — Горестное? Но я однажды и навсегда умер для радостей земных! Унываю, что силы мои истощаются; вижу, что их недостает уже у меня; чувствую, что сети суеты и страстей так хитро опутали человека... Нет! не достанет меня распутать их... Давно ли ты видел твоего князя, Константина Димитриевича?»

— На другой день после свадьбы Василия хотел он быть у меня, и недоумеваю, что бы могло его удержать. Еще более не понимаю, почему Василий до сих пор не посетил святых обителей, по обычаю предков своих. По крайней мере, у нас на Симонове он не был.

«Итак, тебе не известно, что сделалось на свадьбе Василия, что заняло теперь всю Москву, и — Бог един весть, чем кончится?»

— Кто же мне скажет? Я знаю только то, что содержится *здесь* (архимандрит указал на книгу) — думаю единственно о том, что будет *после него* (он указал на гроб)...

«Так знай же, что на свадьбе Василия произошел раздор, какого давно не видала земля Русская — князья, вместо веселья, поссорились, нанесли друг другу смертные обиды и расстались врагами непримиримыми!»

— Неужели и мой князь, мой сосуд избранный, потемнел в этой суете мира? — Глаза отшельника блистали необыкновенным образом.

«И он был увлечен общим волнением, хотя не принимал участия в обиде ближних».

— Слава Богу! Но расскажи мне: как се наваждение лукавого посеяло вражду?

Паломник рассказал архимандриту подробно о ссоре князей с Софьею Витовтовною, но он прибавил, чего мы еще не знаем.

Вместо того, чтобы захватить Косого и Шемяку, как обещали, князья Можайский и Верейский сами вывели их в треть Юрия, где немедленно собралась сильная дружина Косого и Шемяки. Оба князя безопасно выехали после сего из Москвы в ту же ночь, под защитою своей дружины. Великокняжеские дружины ничего не могли им сделать, потому что Косой грозил зажечь собственный двор свой, при малейшем насилии. Выезд Косого и Шемяки был знаком отбытия других князей: Тверского, Рязанского, Зубцовского. Князья Можайский и Верейский также немедленно оставили Москву и уехали в свои уделы. Софья Витовтовна занемогла тяжкою болезнию, с горя и досады. Великокняжеская Дума была в страшном смятении. Никто не знал, чем начать и что делать. Голоса делились и, как будто нарочно, исполнялись только самые безрассудные предложения. Юный Великий князь вздыхал, плакал. Константин Дмитриевич напрасно уговаривал князей остаться, составить общий совет, исправить дело в мире и тишине. Они не поверили словам его, ибо в то же время, когда Константин ласкал и уверял их в дружбе и мирных намерениях, вооруженные дружины великокняжеские заняли чужие трети Москвы, а ростовский наместник отправлен был с войском захватить Звенигород, стараться догонять Косого и Шемяку, узнать, где нахо-

дится боярин Иоанн и князь Юрий Димитриевич и, если можно, захватить их лестью или силою.

— Суета суетствий, всяческая суета! — сказал архимандрит, когда собеседник его рассказал ему все.— *Царь скуден уроком, велик клеветник бывает, а ненавидяй неправды долго лет проживет.*— Мне кажется,— прибавил он, по некотором размышлении,— что все это не могло само собою сделаться. Ты, верно, не хотел слушать моего совета, моих молений, моих заклятий?

Паломник молчал.

— Признавайся, что во всем этом были твои умыслы, и ты руководил смятениями и сварами князей?

«Отец Варфоломей,— отвечал Паломник,— снова прошу тебя: не говори мне о том, от чего уже не могу, не властен я отступить. Если это преступление — пусть оно тянет грешную главу мою в пределы адовы: душа моя связана клятвою и разрешить ее может единый Бог, но — никто из человеков!»

— Горе клянущему, горе клянущемуся, но несть меры Божью милосердию. Нет! я не перестану сеять доброе семя, хотя бесплодная почва души твоей отвергает его. Так: я сам связан обетом, тебе данным — не открою твоих дел и замыслов; но, как вестник слова Божия, никогда не перестану говорить: брат Иван! оставь суетные свои помыслы!

«Поздно!»

— Никогда не поздно. Неужели сорок лет бесполезного труда и греха не вразумили тебя, сколь суетны помышления твои, сколь тщетны все твои замыслы? Ты — едва заметное брение земли — мыслишь преобороть судьбы Божии? Горе тебе — блюдись, да не погибнешь до конца! Покайся!

«Но что же и все человеки, если не прах и брение пред лицом Бога — царь и раб, богатый и убогий?»

— Дерзновенный! хулу глаголешь и не трепещешь! Князья и владыки облечены от Бога властью и поставлены выше человеков: они Его образ на земле, провозвестники воли Его, а ты что — раб их, крамолы сеющий?

«Но разве князь не воздвигает брани на князя и царство не восстает на царство, и разве не падают они, не гибнут в войнах и междоусобиях?»

— И ты не видишь разницы между исполнением судеб по воле Божией и злою крамолою преступного раба! Когда Бог движет род на род, воздвигает брани, посылает избранных, да сокрушат они престолы, не то ли это самое, что бури, тр^Усы, знамения небесные. Его ру-

кою движимые? Небо и земля вещают тогда человекам о наступлении судеб Божиих! Знаешь ли, что когда при-спела година татарского нашествия, звезда власатая текла по небу, *величеством паче иных звезд*; огонь солнечный палил землю, зажигал леса, иссушал воды, покрывал поля и дебри мглою, среди коей ничто не было видимо, и птицы падали из аера мертвые? А когда Димитрий должен был сокрушить силы ордынские, Бог предвозвестил ему победу глаголами святого мужа Сергия; стратиг духовный, инок Пересвет начал брань в ангельском схиме, и Сергей слышал глас его в Троицкой обители: «Игумен Сергей! помоги мне молитвою!» И святой муж стоял тогда на молитве, когда на берегах Дона Пересвет починал брань и сражал великана татарского... И сии великие судьбы смеешь ты сравнивать с твоими смутами?

«О! прискорбна ты, душа моя, прискорбна, даже до смерти!» — воскликнул Паломник. Он встал бодро, подошел к архимандриту и сказал ему твердым голосом: «Умолкни — или мы расстанемся навеки!» — Архимандрит хотел, напротив того, говорить; тогда Паломник воскликнул: «Слушай же и отвечай за меня: себе ли ищу я славы? Своей ли корысти жажду я? Говори, ты, судай чуждому рабу, праведный от человеков!»

Архимандрит задумался. «Говори,— продолжал Паломник,— говори. Не мог ли я прожить век свой счастливо и благополучно? Не всем ли пожертвовал я моему делу, всем, что только красит мир в глазах человека? Сам ли на себя наложил я обет свой? Не стоял ли ты со мною при одре князя нашего, когда он, умирая, потухшими очами не видя уже меня, искал еще руки моей, отверженный людьми, в убогой хижине, почти в рубище, и говорил мне: «Тебе вручаю судьбу детей моих — храни их — клянись мне положить голову свою за них?»

— И ты мог исполнить обет его, оставшись их пестуном и хранителем, уча их добру и повиновению судьбам Бога, утешая их в скорби, жертвуя за них своею жизнью. Но кровь гордая кипела тогда в жилах твоих, сильна крепостью была плоть твоя и ты взял на себя дело судеб Божиих: поклялся возвратить детям твоего князя прешедшее царство их...

«Так, но и тогда — *гордился* ли я? Надеялся ли я на себя, брат мой и друг мой! Я трепетал, да не увлечет меня мир, и молил Бога принять мою клятву, исключить меня из числа живых — да не будет благословения на мне, если помыслию о себе хотя одно мгновение; да пре-

вратится тогда для меня каждая капля воды в яд и каждый кусок хлеба в скорпию и змию, если вспомню о самом себе! И я оставил свет, прошел водами и землями и при гробе Господнем изрек страшную клятву мою! С тех пор, сорок лет невидим я, погиб для людей, и только ты один знаешь истинное имя мое, знаешь, что я еще живу, существую, дышу для моего обета».

— Но видишь ли, что гордость увлекла тебя и ты не исполнил прямо молитвы князя? Не исполнишь ты и гордой клятвы своей — я предвещаю тебе! — Голос архимандрита сделался торжественным при сих словах. — Убедись, что несть на ней благодати Божией! Горе кланущимся!

«Не исполню? Доныне я не исполнил, но не было дела против Москвы, где отчаянная голова моя не была бы в залоге; не осталось страны и народа, где не восставлял бы я мстителей за моего князя; не было сердца, где не раздувал бы я гнева! Всюду — презренный, гонимый, скрытый, незримый: я был скоморохом, когда душа моя страдала; дружил, когда сердце мое отворачивалось; нечистую руку татарина и литовца лобызал я, как десницу праведника! И когда, даже самые дети, внуки князя моего видели во мне только шута, безумца, соглядатая, крамольника, когда они отвергали меня, когда, наконец, иссохли слезы в очах моих, нет вздоха в груди моей, а я все еще живу, дышу одною мыслью, одним помышлением — не есть ли я орудие Бога, мученик за верность к могиле князя моего, когда и после успеха не жду я себе ни награды, ни почести от истлевших давно в осиротелом гробе костей моего князя, когда и на гроб свой не хочу я призывать благословения и памяти грядущих поколений, скрою, утаю от них все дела мои, все труды мои... И ты меня укоряешь гордостью!»

— Козни врага сильны. Испытай душу твою и во глубине ее найдешь ты укор, ибо слова твои уже указывают твоё тайное, но гордое превозношение, кичение и высокоумие!

«Да, я превозношусь, так, как превозносятся осто́в человеческий, не преклоняющий черепа своего ни пред князьями, ни пред сильными земли! Но для чего же хранит меня еще Господь, когда уже двадцать раз мог я погибнуть на морях, в степях, в битвах, на плахе? Для чего голосу моему дает Он силу убеждения, уму моему силу победы над всеми препонами?»

— Брат Иван! не возносьсь... Испытуй себя!

«Я возношусь? Я, пришедший к тебе с растерзанным

сердцем, с отчаянием в душе, чувствуя, что я недостойное орудие Бога...»

— Может быть отчаяние твое есть тайный призыв Господа, спасающего гибнущую душу твою? О! как эта мысль радует меня! Внемли мне, внемли... Ах! одно слово: Бог хочет орудия чистого, брат Иван, а ты, что употребляешь ты для дела своего? Заговоры, крамолы, меч поганых, вражду родных.

«Не я навожу, не я изобретаю орудия, но судьбы Божии являют их мне: я только употребляю их на мое дело. Разве я двигал орды Эдигея? Разве я возбуждал вражду между внуком Димитрия и сыном его, рассорил Василия с боярином Иоанном, грозил Новгороду, вложил честолюбие в душу Витовта?» Взор Паломника сделался мрачен; он вперил его в архимандрита. «Не ты ли более моего,— воскликнул он,— должен страшиться Бога, что малодушно бежал мира, когда мир отказал тебе в благах любви, счастья, почестей...»

— Несчастный! что напоминаешь, что говоришь ты! — сказал архимандрит, как будто испуганный внезапным привидением.

«Я так же, как ты мне, хочу явиться тебе неумолимою совестью. Неужели ты думаешь, я не знаю, что остаток мирского обольщения привлек тебя в Симонов, что доныне мысль о Боге сливается у тебя с памятью о той, которую разлучила с тобою окровавленная тень отца ее, что при самых алтарях *она* разлучает тебя от Бога... Лицемер пред человеками, но трепещи, судия мой, трепещи...»

— Великий Боже! — вскричал архимандрит, — неужели *единственный* человек, знающий тайны души моей, хранится Тобою для того, чтобы слова его показывали мне всю неразрушимость грехов моих! — Он дико глядел на своего собеседника. — Так, вижу, что ты выше суда человеческого, — сказал он, — и суетен суд человека, непостижимы судьбы Божии. Иди, твори на что призван — но зачем же приходишь ты ко мне? Беги в советы князей, будь у них гудочником, скоморохом, Паломником, советником — оставь меня!.. — Он сложил руки; уста его дрожали; он усиленно творил молитву.

Собеседник его начал ходить по келье. «*Последний* человек умирает для меня в мире, — говорил он сам себе, — *последняя* душа затворяется скорби моей... Вижу знамение кончины моей, вижу, что скоро совершиться делу моему... Приими же тогда, Господи! душу мою, яко злато в горниле, очищенную жизнью мира сего! Он

только, он один из людей мог судить меня — и он умолкнет, и не помянется имя мое на гробе моем, и за безвестного брата вознесется молитва погребальная над моим гробом...» — Паломник сел на скамейку и вдруг спокойно начал говорить архимандриту:

«Ты вскоре надеешься окончить обращение князя Константина Дмитриевича?»

Как будто от тяжкого сна пробудился архимандрит.

— Вскоре, если Бог благословит, князь начнет искусы свой, — отвечал он.

«Ты должен от этого отказаться».

— Как?

«Отказаться, говорю я, и не отнимать князя Константина от мирского жития».

— Никогда не откажусь, и не могу. Он дал уже мне слово.

«Разреши его».

— Ты хочешь увлечь его в мир?

«Должен. Князь Константин будет Великим князем и супругом дочери Иоанна Дмитриевича».

— Никогда, нет, никогда!

«Отдай его миру, говорю тебе, или насильно вырвем мы у тебя слабую душу его. Неужели ты думаешь, он даром не приехал к тебе в последние дни?»

— Куда же вы влечете его, брат Иван?

«Не на худое дело. — Паломник улыбнулся. — На Великое княжение».

— Но князь Юрий, но дети его?

«Они не будут на Великом княжении. Боярин Иоанн уведомляет меня, что Юрий ослабел духом, а презорливый, гордый сын его, Василий, уже и теперь забывает, кому будет он обязан великокняжеским венцом. Если бы Константин был муж духом, то на другой день после ссоры княжеской мог бы уже он сделаться Великим князем. Юрию должен он дать удел, Василию Васильевичу тоже, но — он желает и страшится, хочет и не смеет».

— Совесть, как ангел-хранитель, оберегает его от злых наветов!

«О! успокойся: совесть его давно молчит, только смелости нет, и слово, тебе данное, удерживает его: я глубоко проник в душу князя Константина!»

— И в моих руках, говоришь ты, спасение души его? — Говоря сие, архимандрит быстро взглянул на Паломника. — Знай же, я не отдам ему слова его, — сказал он.

«Разве в мире не может спасти себя князь Константин? Он князь и должен быть не иноком, но князем».

— Драгоценен сосуд серебряный, драгоценнее позлащенный. Боже! подкрепи его, спаси его от козней хитрых, изгони из него дух тщеславия, гордости, суеты, приведи его в сию обитель твою, да променяет он венец на клобук и порфиру на власяницу! О Всемогущий! вся жизнь моя пред тобою — дай только грешным рукам моим довести к избранному стаду овна благородного, потомка Мономахова! Прославь обитель Твою, пастыря коей благоволил быть меня! — В глазах архимандрита, поднятых к небу, светился жар души, с каким говорил он.

Паломник смотрел на него внимательно. «И он говорил мне, — сказал наконец Паломник, — что гордость не должна быть доступна человеку, и он гремел страшными укоризнами против моей гордыни, и он отрекся от мира! И этот человек шел некогда со мною, одушевляемый одним чувством... И что разлучило так души наши, что разъединило сердца наши? И если это не гордость, то что же это такое? Какое чувство оживляет его?»

Паломник сложил руки на груди, несколько раз прошел по келье и остановился перед архимандритом.

«Более никогда не увидишь ты меня. Да судит обоих нас Бог, и да покроет тайна разговор наш, да не узнает ухо, что изрек здесь язык наш! Благослови меня, отец Варфоломей, и — прости, прости навеки!»

Архимандрит, не говоря ни слова, благословил Паломника. Глаза их встретились и — слезы брызнули из глаз того и другого. «Брат! Друг!» — воскликнули они и — крепко обняли друг друга. Слышны были рыдания их...

Глава VI

*Я вечер молода
Во пиру была,
Во пиру была,
Во беседушке...*

Русская песня

В полном разгаре была Масленица московская. Как и ныне бывает на праздниках — Бог весть куда спрятались горе и беда, скудость и бедность! Казалось, что в Москве остались все только богатые, да веселые люди, а горемычный народ и нищета

отправились из Москвы, куда глаза глядят. Великолепие, блеск, роскошь видны были повсюду — повсюду... да потому, что людские взоры обращаются только туда, где блестит и где весело! Освещенные хоромы богача закрывали бедную хижину, таившуюся в тени, подле палат его, а клики веселых пиршеств и стук заздравных ковшей заглушали тихие вздохи горести, задушаемые в груди бедного соседа. Впрочем, Масленица всегда такое время на Руси, когда всякий русский человек веселится запоем. Если бы Масленица продолжалась у нас не неделю, а три, четыре — половина Руси сходила бы с ума, а другая не знала — чем прожить ей остальные одиннадцать месяцев в году! В старину веселье, в каждый день Масленицы, начиналось с самого утра. Надобно было *опохмеляться* от вчерашнего, а потом ехать в гости, где дорогим гостям были радехоньки, потому, что это оправдывало новое требование — выпить: являлись блины и казались сухи: надобно было *промочить горло*. Потом надобно было *разгулять хмелину*: ехали на бег; сани сцеплялись целыми рядами, и со звоном колокольчиков и бряцаньем побрякушек на дугах сливались песни. Пешеходы бродили рядами и толпами и также пели, кто как мог и кто как умел. Толпы народа, с утра до вечера, собирались на льду Москвы-реки: там увеселяло их зрелище, похожее на забавы древних римлян — *кулачный бой*. Тут русский был совсем на своей воле... Вечером начинались новые потехи — *вечеринки*, где ужин соединялся с обедом, пили, не для того уже, чтобы опохмелиться, а чтобы нагуляться для нового похмелья на завтра. Заздравным чарам и чашам теряли счет, и потому, что они были подносимы без счета, и потому, что под конец веселья никто уже не смог считать их.

А женщины русские? Веселились ли они на Масленице? Говорят, что они сидели уединенно в своих теремах? Как это жалко и как много недоставало к веселью стариков наших, если прабабушки наши не оживляли их бесед своими речами, взорами и веселостью!

Нет! не думайте, чтобы веселье не растворяло дверей и в женских теремах. Правда: в старину не было наших балов и женщины не смотрели тогда царицами, но неужели вы, хоть на одно мгновение, сомневались, чтобы женщины и тогда не владели умом и разумом людским, так же как и ныне? И прежде — сквозь заборы и решетки, прокрадывалась любовь к девушкам, и женщины умели веселиться; только образ веселья бывал инаков и не походил на нынешний. Ведь и щего-

ли тогдашние не были похожи на нынешних щеголей. Послушайте, как водилось в старину...

Наступил вечер; народ гуляющий разбрелся, разъехался по домам; дворы набиты были санями, верховыми лошадьми, возками. Только на дворе боярина Старкова было тихо, по крайней мере было не так шумно, как обыкновенно бывало в праздники прежние у этого богатого и знатного вельможи. В окнах его хором не светились огни. Зато окна в тереме боярыни его были освещены ярко: боярыня пировала со своими подругами. Наденем шапочку-невидимку, обуем сапожки-тихоступы и войдем в терем, по широкой, но крутой, дубовой лестнице.

Почти никакого различия в убранстве женского терема, против мужских покоев, не было. *Будуаров* и *диванных* тогда не знали. Зеркал и туалетов не ведали. За щепетное убранство госпожи отвечали рабыни. Пестрая изразцовая печь, с широкою лежанкою, огромная кровать, с толстою рамою у потолка, от которой опускались сплошные, дорогие занавесы до самого пола, пестрые ковры на полу, мягкие тюфяки на лавках, расположенных кругом стен, поставцы и горки с золотом и серебром — вот, что принадлежало к терему женскому.

Присутствие Масленицы означалось в тереме боярыни Старковой тем, что на обширном столе разостлана была дорогая скатерть, и весь этот стол заставлен был закусками, вареньями, пряниками, ягодами, яблоками и плодами, сушеными и мочеными, пастилами, *хворостами*, лепешками и блинами. Все это было освещено множеством свечей. Вокруг стола сидело несколько княгинь и боярынь. У дверей, в раболепном молчании, находилось несколько рабынь и подобострастно все они смотрели на угощение и веселье боярское.

Богато одеты были гости — в бархате, жемчугах, драгоценных камнях. Фережи их, кокошники, серьги, ожерелья, зарукавья, телогрейки — блистали золотом и дорогим шитьем. Щеки их густо были покрыты белилами и румянами. Хозяйка стояла с подносом перед толстою какой-то княгинею и кланялась в пояс, держа в руках серебряный поднос, на котором были поставлены маленькие, золотые чарки.

— Княгиня-матушка, выкушай, — говорила хозяйка.

«Мать ты моя, родная, — отвечала княгиня, — не сильна одолеть твоего радушия — не могу».

— Да, сделай же милость.

«Вот тебе слово правое — *не могу!*»

— Да, пожалуй же.

«Не беспокойся: не буду».

— Я сговорчивее тебя, княгиня,— сказала другая гостья,— не в черед беру.

«Покорно просим, боярыня,— отвечала хозяйка,— только не погневайся на убогое угощение: чем богаты, тем и рады!»

— Ох, ты, моя распрекрасная! Ведь унижение, паче гордости! Сытехонька, пьянехонька — вот, что скажешь, как, побываешь у тебя в гостях! Ну-ка, бери что ли, княгиня!

«Нет, моя родная. Ей, ей! не в силах!»

— Девки сенные! повеличайте княгиню! — сказала хозяйка, обращаясь к рабыням. Они запели хором:

Хорошая княгиня, пригожая,
Ты боярыня умильная,
Свет Авдотья Васильевна,
А ты чарочки не задерживай:
Больше выпьется, больше слюбится,
Слаще, крепче поцелуется!

Общий смех раздался по терему. «Ну, уж, что у тебя за песельницы такие, мастерицы-собаки!» — говорили гости.

— Да, живет-таки, хоть поют и спроста. Княгиня! пожалуй же выкушай!

«Что за спесь боярская,— шепнула одна гостья другой,— самой давно хочется, а все-таки отнекивается. Уж куда не люблю я чванных!»

— Машка! — вскричала наконец хозяйка старухе, которая стояла в углу, сложа руки,— стань на колени, проси княгиню! — Эта старуха была кормилица боярыни Старковой.

«Нет, нет! — сказала тогда княгиня,— что ты, милая моя, разрумяная! На что хлопотить старушку твою.— Подай, подай!»

Она взяла чарку. Все другие гости поспешно взяли за нею. «Ну, девки! — сказала хозяйка, взяв в свой черед, и потом отдав им поднос,— спойте, да — смотрите же — не веселую, а заунывную».

— Да, да! — заговорили гости,— когда на сердце весело, то унылой песне, словно другу милому, рад бываешь. Вот тогда печаль ненавистна, когда сама, незваная, пожалует.

В огороде капустушка кочнем свивается,
А у меня ли золот перстень ручку жмет,
Сердце нежное горит, горит, вспыхивает,

В буйну голову от сердца ударило,
На щеках моих румянец выгорел,
Русы волосы на головушке высеклись,
В очах горючи слезы высохли!
Не видать-то мне друга сердечного,
Не ласкать друга задушевного,
Золотым перстнем с нелюбом обменялася,
От сердечного друга отказалася...

Так пели сенные девушки боярыни Старковой. И вдруг среди этого унылого пения их одна певунья радостно воскликнула: *Гей, Сдунинай Дунай!* Быстрым переходом печальная песня перешла в шумную, плясую: *Ах! где жена была, где боярыня была!* — Две девушки выступили на середину комнаты и начали русскую пляску. Они сходились, расходились, подпирались руками, притопывали ногами, искали, манили одна другую, убегали одна от другой. Все говорило в них: взор, поступь, улыбка — это был полный рассказ любви, всех ее страданий, мучений, стыдливости, победы, отчаяния, забвения... Но нам ли описывать *Русскую пляску*, это создание души русского народа, эту поэзию в лицах, и особенно русскую пляску, не изученную, не чопорную, не прикрашенную чужеземными прыжками и кривляньями, но, как чистый голубь, излетевшую из русского сердца, в первобытной ее простоте и красоте, или красоте и простоте, что все равно! Между тем еще раз песня сделалась унылою — запели о том, как любила молодца красная девушка, любила душевно и сердечно, как разлучила сердца их злая судьбина, и девушка обвенчалась с гробовой доскою, а молодец обручился с саблею острою... Вдруг потом, опять звонко раздались голоса сенных девушек:

Что не пир, что не пир, не беседа,
Где я милого друга не вижу,
Где постылый мой муж на почете,
На почете, постылый, в большом месте!
Надо мною, молодой, похвалился:
У меня-де жена молодая,
У меня хороша и гуллива;
По ведру она браги выпивает,
А чарочки, да кубки не считает:
А все хороша, да не пьяна,
А все меня старого любит,
Хоть не любит — лелеет, голубит!

Громкий смех раздался по терему, когда эта песня была окончена. Гости понемногу становились смелее и говорливее. Женский разговор переливается только в два тона: это голос соловья, когда в женщине говорит

сердце, и — щебетанье воробья, во всяком другом случае! Мы не станем пересказывать щебетанья, какое началось тогда между боярыней Старковой и ее гостями: сердца их молчали! Следующую чарку доброго вина легче взяла и сама спесивая княгиня Авдотья Васильевна, только надобно было пропеть ей *Чарочку*. Знаете ли вы эту песню, которую перепевали в беседах русских из века в век и при которой все собеседники подтягивают своими голосами? Вот она:

Чарочка моя,
Серебряная,
На золотом блюде
Поставленная!
Кому чару пить?
Кому выпивать?

Здесь хор останавливается, и один голос поет:

Выпить чару
Свет (*поется имя*),
Выпить чару
(*Поется отчество*)

Хор быстро пристает к голосу и величает того, или ту, кто пьет: *Многая, многая лета, многая, многая лета!* В то же время один голос напевает:

На здоровье,
На здоровье,
Чару выпивать,
Другу наливать!

Хор песельниц казался каким-то странным существом: человеком и машиною вместе. Когда приказывали ему петь, плясать — душа, жизнь являлись в хоре, голоса разливались стройно, звонко, радостно. Кончив пляску, пение — рабыни стояли неподвижно у дверей, как истуканы, опустив глаза и руки. Только одна Машка, старая кормилица, имела право подпирать рукою свой подбородок, держа другую руку под локтем поднятой к подбородку руки. Ей также оной позволялось произносить приговорки и слова: «Ах! мать моя! Ох! боярыня! Эх! красное солнышко, белая лебедушка моя, горлица ненаглядная».

— Что ты смеешься, подруга моя дорогая? — спросила наконец боярыня Старкова у одной гостьи, которая не разговаривала ни с кем и не могла удерживаться от смеха.

«Да что, — отвечала гостья, — пришел мне в голову смех. А вот он какой: отчего это в песнях все поется

про молодцов, про любовников, а если где придется помянуть мужей, то они либо за чужими женами ухаживают, либо свою жену бранят, либо жены на них жалуются? А уж кто у песни в почете бывает, так это все *девушки, и то красные!*»

— Вот что вздумала, затейница! — отвечала, смеясь, другая гостья. — Да разве не знаешь ты, что век-то наш только и есть, пока мы в девках, а то уж какой тебе век — словно нехотя чужой доживаешь?

«Слава тебе, Господи! — вскричала третья. — Отчего бы так вам казалось?»

— А вот мы спросим у старушки, — прибавила вторая. — Скажи-ка, бабушка, — продолжала она, обращаясь к кормилице, — что ты думаешь о том, что мы теперь говорим?

«А что, боярыня милостивая, — отвечала старуха, кланяясь, — есть старое присловье: *сказка складка, а песня былъ*. Видно, в самом деле так на белом свете и водится».

Гостьи засмеялись. Старшая по летам немного оскорбилась словами старухи.

«Хорошему же ты учишь, бабушка, — сказала она. — Будто так и в самом деле всегда на белом свете бывает?»

— Да уж видно, что *так*: из песни слова не выкинешь.

«А вот я первая, — возразила гостья, — не знала любви вашей до самого замужества».

— Ну, видно, боярыня, к тебе любовь не хотела зайти в гости и ты ей не приглянулась.

Подруги закусили губы, потому, что в самом деле спорщица была ряба и коса. Но самолюбие женское еще хотело противиться. «Нет, — вскричала спорливая гостья, — я узнала любовь, когда мой Филипп Яковлевич на мне женился, а посмелся-ка кто другой подкатиться ко мне, я так его скатила бы на зимних салазках, что и не опомнился бы он!»

— Я верю, матушка, что ты своего муженька больно любишь, только вот ведь какие две беды — сказала бы, да не смею...

«Говори, говори!» — вскричали все, и даже сенные девки осмелились оборотить глаза на старуху.

— А вот что, простите вы моему дурацкому рассудку, — начала старуха, — любовь, боярыни, дело вольное, и уж как ты мужа ни люби, как муж тебя ни люби,

а все эта любовь похожа на соловейку в клеточке, который поет, да не высвистывает — потому, что воли-то уж нет у вас, ни у тебя, ни у него.

«Да, что же? Если я этой неволе сама рада?»

— Так, матушка, а все ты будешь думать, что, может быть, он тебя поневоле только любит. А как уж один раз подумала, то — прощай наша Параша! Хоть волосом человека привяжи, хоть кандалами прикуй — все он на привязи. Если невзгоды в самом деле нет, да ты полагаешь, что есть, так и, стало быть, счастье-то вам уж приказало долго жить, а оставило вас так — *бессчастливыми* — ни при счастье, ни при несчастье. А человека Господь на счастье ведь создал, и в эдакой, несчастной-то доле, сердцу его и неловко кажется.

«Нет, нет!» — вскричали многие гости.

— Постойте,— сказала одна из гостей,— бабушка не сказала еще нам о другой беде.

«Да, да!»

— А вот какая другая беда, государыни-боярыни, что опять любовь-таки и невольное дело. Как ты полюбишь и сама не знаешь: иногда вдруг — взглянула, да и не опомнишься, и уж не взмилится тебе ни родня, ни белый свет; ни питье, ни еда на ум нейдут; сердце сохнет, грудь горит, по коже — как будто мурашки бегают; часы кажутся годами, а дней не замечаешь, смотря по тому: розно или вместе бываешь с любимым человеком. А иногда злодейка-любовь подкрадется потихоньку — сперва будто и не любишь, и не воззришься на задушного-то человека, даже больно не полюбится он тебе, а потом — пуще отца и матери, рода и племени...

«О, нет, нет! — заговорили многие, — это все бывает, когда любовь не просто приходит. Ведь есть злодеи, колдуны, нашептывальщики, заговаривальщики...»

— Колдуны! — молвила тихо одна молодая гостья другой, — какое тут колдовство: голубой глаз, русые кудри, богатырская поступь, да горячее, горячее сердце...

— Ах! — отвечала ей та, которой она говорила, — я давно уж забыла такое время, давно пережила его и состарилась...»

— Ну, уж будто ты старуха! Хороша твоя старость — ведь и теперь еще двух лет нет, как ты замужем. А скольких лет ты выходила?

«Семнадцати... Ах! я тогда была еще *очень молодая*...» — Слезы навернулись на ее глазах.

Та, которая говорила с нею, задумалась. Другие между тем шумно разговаривали с кормилицей, смея-

лись, спорили. Задумчивая гостья оборотилась к своей подруге и говорила ей тихо: «Душа моя Анфиса! ты на все так-то горько смотришь, как будто тебя и радостью-то обошли на белом свете...»

— Да,— сказала Анфиса,— мне кажется, что я незванная гостья на пиру жизни.

«Ты, милый друг, все сокрушаешься, кажется мне, о потере твоей хорошенькой малюточки,— сказала ей толстая боярыня, сидевшая с другой стороны, вслушавшись в ее речи,— полно тебе: что Бог дал, то взял... Возложи печаль на него!»

— Ах, матушка! — сказала кормилица-старуха, подойдя к печальной гостье и вмешавшись в разговор,— гнєвишь ты Бога, если о дочке своей скорбишь, да жалєєшь!

«Перестань, бабушка! Мне кажется, я тогда только и спокойна, когда об ней подумаю, да помолюсь за нее, или за упокой души ее подам в церковь!»

— О, худо ты делаєшь, грєшишь ты тяжко. Знаєшь ли, что ты причиноу, может быть, ее *непокою*? Иное дело за помин грєшного человека подавать — ты облегчаєшь его душу, которая не может от земли оторваться. А младенческая душка, чистая, прямо к Богу идет! Вєдь ее на земле и удерживала только любовь твоя; тепєрь, пока ты горюєшь о ней, не расстаться ей с землею и в царствие Божие не войти. А ты благослови ее, отпусти с молитвою, да и забудь о ней до радостной встречи на небесах!

Тут пришла в терем другая старуха и начала что-то шептать на ухо боярыне Старковой. Вєсть казалась любопытною. Все обратились к ней с вопросами.

— А вот видите, дорогие мои гостьи, хотела я вас угостить всем, чем только могу, и велела сказать одному премудренному старику, чтобы он сегодня пришел к нам.

«Старику? Какому? Зачем?»

— Зовут его *Иван Гудочник*. Был он у меня однажды — согрєшила я, грєшная — поворожиться у него захотелось...

«Ах, ах! Он колдун, колдун!» — вскричали гостьи.

— Колдун, правда, а уж этакого забавника я и не слыхивала! Чего-то он мне не рассказал — Господи, твоя воля! Говорят, будто он и к Великой княгине ходит часто.— Это было сказано тихо, а потом боярыня продолжала громко.— О чем ни спроси: и былое, и будущее, все тебе порасскажет, как будто пять пальцев пе-

решчитывает! А как начнет от Писания, так, правое слово, два дня слушала бы его...

«Приведите его, позовите скорее!» — вскричали все гости.

Боярыня дала знак. Через несколько минут, при глубоком молчании, явился старик — Иван Гудочник, Иван Паломник, литовский колдун — как хотите называйте его — и с веселым лицом раскланялся низко хозяйке и ее гостям.

— Что это давно ты не был у нас, дедушка? — сказала хозяйка. Гости с любопытством рассматривали пришельца.

«Куда, боярыня, ведь не успеешь, право — и туда и сюда — совсем замыкался!»

— Поднесите-ка, девки! старику, добрую чарочку.

«Благодарствую, боярыня! После выпью, за твоё здоровье!»

— Где же ты сегодня был? Где ты погулял сегодня, дедушка?

«Дело масленичное, боярыня. Вот, знаешь — и повожешь, и споешь, и спляшешь! Хм! ведь нашему брату все рука!»

Вопросы посыпались тогда со всех сторон. Откровенный, добрый вид старика ободрил всех. Стали просить его сыграть что-нибудь. Старик вынул свой *гудок*, настроил его, запел, заиграл, пошел плясать, важно, легко, бодро. Смех, хохот, шутки заняли собрание. Пение старика было самое разнообразное, искусное. Песни, с разными тарабарскими припевами, как-то: *Шилды будылды, начики чикалды, таралды баралды, бух, бух, бух*, — песни литовские, казацкие, застольные новгородские, присказки, скороговорки старика и прибаутки заставляли невольно хохотать. Гости, боярыни сами пели и плясали, когда старик подыгрывал и подпевал им.

— Ну, признаться, — сказала наконец одна гостья, — давно слыхала я о тебе, дедушка, но все не думала, чтобы ты был такой сердечный человек! Я все тебя прибаивалась. Ведь неспроста говорят, да и сам ты конечно сознаешься, что немножко и с лукавым ты водишься?

«Нет, пригожая княгиня, я не вожусь с ним, а держу его в руках — таки нечего тайть — довольно крепко!»

— Ах! — закричали все, как будто уже видели перед собою духов тьмы, запрыгавших по слову старика.

Гудочник перекрестился. «Наше место свято! — сказал он, — чего же вы боитесь? Вот то-то, боярыни, и правда, что *волос долог, да разум короток*. Ведь кол-

довство колдовству разница: есть злые колдуны, которые продали себя Искусителю — ведьмы, что в трубу влезают, на помеле летают, пляшут в Киеве на Лысой горе, сеют решетом воду, обращают ее в град и выбивают хлеб на полях у православных — да мало ли этакой дичи есть! Другие же колдуны, как я, примером сказать, — мы христиане и для того мы и трудимся, чтобы зло ненавистников отвращать. Куда бы вы без нас? Как ты иную болезнь исцелишь, если не поколдовать? А на свадьбах-то? Куда деваешься от злого человека, если нас не будет!»

Сими словами любопытство было возбуждено чрезвычайное. Начали спрашивать старика о разных околдованьях.

— Мало ли их бывает, — отвечал он, поглаживая свою бороду и лукаво усмехаясь. — У иного такой глаз, что как взглянет, так вот сердце у тебя будто горячим железом прожжет — уж и не опомниться! Тут-то колдун и делает с тобою что хочет, и тот, кого он заворожил, будто овечка, идет, куда велят ему.

«Правда!» — шепнула печальная Анфиса своей подруге.

— А вот этак, боярыни, слыхали ль вы, примером молвить, что было с прадедушкой вашего Великого князя, Василия Васильевича, как испортили молодую его на свадьбе?

«Нет, мы хорошо не знаем!» — заговорили все присутствовавшие, стеснясь к Гудочнику, будто дикие козы.

— А вот оно как было: дедушка Великого князя, знаете, был *Димитрий*, а у Димитрия отец *Иван*, а у Ивана младший брат Андрей, от которого пошли князья Боровские, братья Марьи Ярославовны, а старший Семен. И после родителя своего, Ивана Даниловича — знаете, что *Калитой* звали, — сел Семен на княжение и задумал жениться. И послал он по княжну Евпраксию, дочь князя Смоленского. Княжна плакала, не хотела — она уж, видите, любила князя Фоминского, Федора Красного.

«Что это! — вскричала княгиня Авдотья Васильевна. — Надоели: все любят, да любят...»

— А что же ты станешь, княгиня, делать? Ведь уж так сотворено все: солнышко любит землю, земля любит месяц, месяц влюблен в утреннюю звезду, а звезда эта в зарю — вот они один за другим и бегают...

«Рассказывай, рассказывай, дедушка!» — говорили другие гости.

— Ну, слушайте. Только, как люби не люби, Смоленский князь прикрикнул на дочку свою — замерла бедная, будто сердечушко выскочило у нее из груди... Что же? Ходит, говорит, смотрит глазами, а точно каменная. И как только привели ее к князю Семену, он хочет обнять ее — а она и побледнеет, хочет поцеловать — она и помертвеет. Князя Семена возьмет ужась смертная, закричит он: *Мертвец, мертвец!* — и убежит от молодой княгини своей. Ведь нечего было ему сделать: призывали знахарей, пели молебны, переворачивали матицу, от семи порогов сор не выметали, по три дня стлали постель на семи стрелах — ничто не пособило! Князь Семен вздохнул тяжело — хороша была княжна Евпраксия, — посадил ее в возок, насыпал ей доскалец золота и отправил ее к отцу. Выехала она из Москвы и в первый раз вздохнула, как живая; когда доехала до Можайска — усмехнулась; когда приехали в Смоленск — первый человек навстречу ей был князь Фоминский. Он трои сутки ждал ее на дороге, стоял не пивши, не евши, не чувствуя, как шел на него дождь, как растилалась над ним темная ночь, как восходило на небо ясное солнце, как роса небесная падала на его русые кудри. Только завидела его княжна Евпраксия — слезы покатались у нее из глаз, будто жемчуг, а на щеках вспыхнул румянец — она *ожила!*

«Ну, ну, что же далее?»

— Ничего. Евпраксия вышла за князя Фоминского и — колдовство разрушилось. Она не была более мертвецом, когда князь Федор обнимал ее, целовал и не мог насмотреться на ее очи ясные, не мог нацеловаться сахарного ее ротика.

«Ахти! какие же чудеса! — сказала одна из гостей, схлопнув руками. — Теперь чуть ли я не понимаю, что сделалось с моею Алексашею...»

— А что сделалось с нею, боярыня, — спросил Гудочник, — разве она не по себе?

«Да уж чего я с ней не делала: и заговорною-то водою, и богоявленскою-то поила, и с четверговою солью из семи квашен тесто сминала, да для нее хлеб пекла».

— А что бы такое, нельзя ли тебе порассказать, что с нею делается, так, авось, делом смекнуть можно.

«Как и рассказать-то не знаю. То она засмеется, то заплачет, то запрыгает, то целый день, как будто окаменелая, просидит в углу, то щеки у нее, словно жар горят, то вдруг бледна, будто полотно... смаялась и я с нею!»

— Который ей год?

«Да уж девятнадцать скоро минет».

— Ну, эту болезнь и легко и нелегко вылечить. Называется она *сердечная лихоманка* — она *сорок первая* сестра сорока лихоманкам, дочерям Ирода, как вы, чаю, знаете. Коли поволит, боярыня, мы с этим сладим.

«А ты думаешь, дедушка, будто у нее сердце по ком-нибудь тоскует? И, нет: она у нас такой еще ребенок и никого, кажется, и видеть-то ей не удавалось. Да я же и старик мой у нее спрашивали: «Скажи нам, милое дитя наше: не полюбился ли тебе кто? Не вещует ли тебе о ком ретивое твое сердце? Готовы мы отдать тебя за него, хоть бы это был человек небогатый и нечиновный. Одна ты у нас, дитя милое, как солнце на небе, как пожар в глазе...» Молчит, либо скажет: *нет!* да заплачет, и больше слова от нее не добьешься...»

— О, дивны, дивны, речи твои, боярыня, а я уж делом почти смекнул... Такие ли чудеса порасскажу я тебе! Болезнь твоей дочери такова, что с нею ничто в белом свете сравниться не может — ни сребролюбие, ни славолюбие, ни горе великое; не окупит ты ее ни богатством, ни царством. Золото и самоцветные камни кажутся при ней хуже грязи, а рубище и сухой хлеб с водою — краше боярского, парчового платья, слаще яств лебединых, и соломенная кровля драгоценнее палат великокняжеских! От нее не убежишь ни в монастырь, ни в пустыню. Бывали примеры, что страдавшие славолюбием и корыстью уходили в обители, пред алтарем повергали богатства и славу мирскую и забывали все в посте и трудах. Но эта болезнь — не было еще примера, чтобы в монастырской келье она прошла и угасла: только замрет она, окаменит душу, а не разлучится она с человеком никогда — до гроба и за гробом сливается со славою того, кто сам себя называл Любовью... Послушайте, спою вам я, боярыни, повесть...»

С радостным восклицанием сели на скамейки, за стол хозяйка и гости. Гудочник взял в руки гудок свой, настроил его, стал посредине комнаты, обратился лицом к слушательницам и тихо проговорил:

«Повесть о дивном чуде, бывшем в Цареграде во дни царя греческого Валента».

Он сделал несколько переборов на гудке своем, опустил глаза вниз, перестал играть и сказал:

Не насытишь души своей мудростию,
Не спасешь от кручины и горести —
Такова, человек! судьба твоя!

А воля Божия не изменится,
Не пойдет волна супротив воды,
Не зацветет дерево засохлое,
Не взойдет солнце среди ночи,
Не являться месяцу в полуденье.
Послушайте повесть, люди добрые!

Гудочник поклонился низко и особенным речитативом начал напевать, подыгрывая на гудке:

В славном было городе Царьграде,
Жил-был там большой боярин,
Хоробёр смолоду, а мудр под старость,
Седина его мудростью убелилась,
Золота, серебра было у него без сметы,
У царя был он в чести, в почёте,
Первым сидел он в Царской Думе.
Высоки были его красные хоромы,
Могучи были его добрые кони.

«А все суета!» — молвил Гудочник и продолжал:

Но утеха его под старость,
Дороже ему серебра и злата,
Дороже камней самоцветных.
Дочь была у него — родимое чадо,
От супружества честна, многолетняя,
Красавица первая в Царьграде,
Бровь соколиная, ходит, будто пава,
Бела, как снег русский, а щеки румяны,
Будто красное Христовское янчко...

В это мгновение показалась в двери седая голова старика, боярского управителя. Хозяйка поспешно встала со своего места и заботливо начала спрашивать его: «Что тебе надобно, Онисифор? Чего ты ищешь?»

Старик вошел в комнату, помолился образам, низко поклонился на все стороны и чинно проговорил: «Боярыня, государыня! приказал мне известить тебя боярин, что возвратился он домой и изволит обретаться у себя».

Хозяйка и гости вздрогнули невольно. Управитель продолжал: «И велел молвить, что желал бы прийти к тебе в терем, со своими боярскими гостями, если только не помешает он веселью твоих гостей».

— Дорогие мои подруги, конечно, будут рады честным гостям,— сказала хозяйка, обращаясь к гостям своим.

«В твоей воле, дорогая наша подруга»,— заговорили гости.

Хозяйка подошла к управителю и вполголоса спросила: «Весел ли боярин?» — «Как ясное солнышко весел и радостен: он получил великие почести от Великого кня-

зя», — тихо отвечал управитель, Боярыня махнула рукою; управитель пошел. По данному знаку — Бог знает для чего — служанки убрали все чарки и чашки, оставя на столе только закуски; гости поправили свои уборы, скромно сели рядком, каждая сложила руки, опустили глаза, веселая непринужденность их исчезла. Хозяйка стала среди терема, как будто для встречи гостей.

— Мать моя, боярыня! велишь ли мне выйти, или позволишь остаться и повеселить гостей? — спросил смиренно Гудочник. Мы забыли сказать, что рабыни боярские все скрылись тогда в другую комнату и кормилица боярыни ушла с ними, но, отворив немного дверь, она ждала: не прикажут ли ей чего? — Боярыня казалась в недоумении. — «Меня ведь знает боярин твой, государыня», — примолвил Гудочник, взял гудок свой, вышел в переднюю комнату и остался там.

Вскоре на лестнице послышались веселые голоса и смех боярина Старкова и гостей. Лишь только боярин отворил двери, как раздался звучный голос Гудочника: «Се жених грядет в полунощи!» — «А, старик! ты здесь — вот спасибо!» — сказал боярин. Он и гости его были уже гораздо навеселе. — «Постой же, мы позовем тебя», — прибавил боярин.

Он вошел в терем, за ним шли почетные бояре великокняжеские: Юрья Патрикеевич, Ощера, князь Тарусский, князь Мещерский и другие, всего более десяти человек.

«Здравия и душевного спасения!» — воскликнули пришедшие. Хозяйка и гости низко поклонились им. «Княгиня Авдотья Васильевна — матушка Ненила Ивановна — Юрья Патрикеевич — Иван Федорович», — раздалось с разных сторон.

— Что же? Ведь скоро и *прощеный день*, начало поста, — сказал боярин Старков, — а там Светлый праздник; скоро придется прощаться, а тогда христосоваться, теперь же можно просто поцеловаться — дело масленичное! — Он утер бороду и начал целоваться с гостями, по порядку; за ним пошли другие бояре.

— Эх! мало! — воскликнул Старков, поцеловавшись с последнею. — Кого бы еще поцеловать?

«Кубок с добрым вином, — отвечал Ощера. — Какой ты недогадливый!»

— Ах! и в самом деле! И боярыни выкупают с нами!

«Нет, нет! Мы не употребляем ничего хмельного!» — заговорили все они.

— Да ведь в вине хмелю нет!

«Нет, нет! Ах! нет! Не станем!»

— Ин, хоть грушевки, что-ли, хозяйка добрая! А нам винца либо медку. Да, попочтевай, что тут у тебя, вареное, пряженое...

Гости расселись по лавкам, хозяйка ушла в другую комнату и вскоре явилась с подносом, на котором были чарки по числу гостей и кубки по числу гостей. Начался шумный разговор между мужчинами.

— Ну, где же ты, старик, ступай-ка сюда! — вскричал наконец боярин Старков.

Гудочник явился с гудком своим и с низкими поклонами. «Поздравляю тебя с великокняжескими милостями, боярин», — сказал он.

— Ха, ха, ха! разве уж об этом толкуют в Москве? Да как это народ узнал?

«Княжеская милость, словно орел, по поднебесью летает, и не диво, что все видят и знают ее. Народ знает даже и то, что ты остаешься в Москве главным начальником, а князь Юрья Патрикеевич идет с победоносным воинством разгромить врага великокняжеского».

— А что ты думаешь: разве хуже другого разгромлю? — вскричал Юрья, — да, вот как! — Он осушил разом стакан свой, поставил его на стол и взялся за хвосты.

«Исполать тебе молодцу!» — вскричали другие.

— Однако ж, боярин, — сказал Юрья, — пировать, пировать, да не запироваться — ведь нам в эту ночь много дела.

«Как, батюшка, князь, — молвил Гудочник, — в ночь? Да ведь Бог создал ночь на покой человеку?»

— У кого есть такие дела, как у нас, — отвечал Юрья, — тому все равно, ночь ли, день ли. Завтра утром в поход...

«И сокрушатся враги твои!»

— На здоровье! — вскричали все.

«Да выкушайте, боярыни, княгини, с нами. Эх! родимые! С такими молодцами, да не выкушать!»

— Нет, боярин! отродясь во рту у нас капельки хмельного не бывало, — сказала одна. — «Да и пора со двора», — прибавила другая. Все встали, начали прощаться и целоваться с хозяйкою, тихо, важно, со щеки на щеку и в губы. Бояре выгадали себе по поцелую и весело отправились в большие покои хозяина, оставя хозяйку в тереме. Гудочник успел уже пропеть боя-

рам несколько песен и особенно угодил следующей песнею:

Не от грома, не от молнии, не от вихоря
Застонала мать-сыра земля, леса приклонились,
А от великой дружины великокняжеской,
Да от топота борзых коней.
Что в поле засверкало, зазарилося?
Засверкало, зазарилося оружие богатырское.
Не ясен сокол во поле выпархивает,
Не молодой орел пошел по поднебесью,
А выезжал воевода Юрья Патрикеевич,
А и конь под ним, будто лютый зверь,
По три сажени конь его перескакивал.
А остается в Москве советный муж,
Что опора Думы мудрая, Думы княжеской,
Свет боярин Филофей Пересветович.

Радостные восклицания не дали кончить сей песни. Со всех сторон набросали в шапку Гудочника множество серебряных денег. И когда Гудочник намекнул, что может кое-что сказать еще и о будущем успехе, то бояре стали просить Старкова не отпускать Гудочника. Никогда и никто из них не видал этого старого скомороха таким веселым, забавным, говорливым. Казалось, что Гудочник порядком подгулял на Масленице.

Шумливая, гулливая беседа началась в комнатах боярина, откуда все рабы и домочадцы были удалены, кроме старика Онисифора и еще двух рабов. Вскоре приехало к Старкову еще несколько думных людей: надобно было положить окончательные распоряжения на завтрашний день. Приезжие были еще довольно трезвы и хотели выпить и погулять, не приступая еще к делу. Гудочник снова пел, плясал перед собранием столпов великокняжеского совета.

Уже прокричал полунощный петух, когда Юрья Патрикеевич повел рукою по лбу и сказал Старкову:

«Не пора ли, боярин, за дело?»

— Еще...

«Нет! ведь и без того становится тяжела голова на плечах...»

— Ну, так отдохнем, сядем.

«Да не прикажешь ли, боярин, что-нибудь порассказать гостям? — спросил Гудочник. — Ведь у меня есть такие предивные были и небылицы, что люли тебе, да и только...»

— Быть делу так! — вскричали все и спешили сесть, кто как умел и успел. Гудочник стал перед ними и начал — быть не быть, да и на небылицу не похоже. Вот, что рассказывал он — послушайте.

Глава VII

*Начинается, починается сказка сказываться,
от сивки, от бурки, от вещеого каурки...*

Начало русской сказки

«Н^икому из вас, князя и бояре, нечего сказывать про Великий Новгород, не про нынешний, а про старый, о котором за морем в прежние годы говаривали: *Кто против Бога и Великого Новгорода?* — Говорят: каменной стеною в три ряда обнесен тогда был Новгород, а Волга текла под его стенами, и по Волхову был ход до океана полуночного. По Волге возили в Новгород золото, серебро и узорочье восточное; по морю, с запада, привозили вина и коренья волошские; с полуночи корабли приходили в Новгород с мехами пермскими, а с полудня приезжали в него купцы греческие. Через самый Новгород надобно было ехать три дня борзою, конскою выступью; в Софийском соборе помещалось народу по двадцати по две тысячи; воеводы и посадники подбивали подковы коней золотом, кормили коней шафраном эфиопским и выводили в поле воинства по сто тысяч конного, да по двести пешого. Ну! правда не правда — не знаю, а так сказывают.

Повесть времен старых, дела лет прошедших: сам я там не бывал, а что слыхал, то и переговариваю, да если и прилгу — так что же делать? Сказка не сказка, на быль не схожа, хоть и на правду похожа. А ведь и птица без хвоста не красна!

Вот, в это старое, бывалое время жил в Новгороде некоторый человек по имени Железняк Долбило. Смолоду слыл он первым богатырем в Новгороде. Случалось ли новгородцам идти на чужь белоглазую — Долбило ходил всегда в первых рядах. На руки тогда надевал он железные рукавицы, и все оружие состояло у него в одной палочке железной, а весом была та палочка в семь пудов. Как пойдет Железняк в толпу чуди, так всегда бывало ворот у рубашки отстегнет, пояс распояшет — жарко ему станет — перекрестится и начнет крестить палочкой своей на обе стороны: так перед ним и откроется широкая дорога — чужь только визжит да валится! Хаживал он и по Ладожскому озеру, которое называлось еще тогда *озеро Нево*, в ладьях, с новгородскими дружинами. Захаживали они далеко, в Ямь рыжеволосую, в леса дремучие, где такие высокие и ветвистые деревья, что летом в тени их никогда снег не тает. а если захо-

чешь на верхушку их взглянуть, то шапка свалится с головы. Кроме всего этого, плавал Железняк далеко, по морям неизвестным, бурным, к Белому морю и к Зеленой земле, где, говорят, есть ледяная гора, а из той горы бьет кипячая, горячая вода на сорок сажен кверху. А однажды плавал Железняк с фряжскими купцами, куда-то на полдень, в жаркую землю, где солнце прямехонько в темя лучами палит. Так знойно было им там, что на корабле их смола растапливалась, а по железу нельзя было ногою ступить. Наконец ходил Железняк за Пермию Великую, за Заволочье, где, сказывают, живали такие звери, что слон перед ними, как мышь перед коровою. И уж этих зверей давным-давно нет: по Божьей воле все они перевелись. Только остались после них целые костяки. Такое диво, что как зверь ходил, так издох, так пролетели над ним годы, кожа и тело с него отвалились, а кости побелели и сделались, словно снег, белые. Так эти костяки и теперь находят, а звали этих зверей *мамант*, и из костей их точат теперь подсвечники и паникадилы перед Божьим образом. Ведь в старые годы и люди были не такие, как ныне: живали они лет по три и четыреста, а кто покрепче, так по шести, семи, восьмисот, а Аред да Мафусаил жили один 962, а другой 969 лет. Были ведь они народ рослый, сильный, исполины пред Господом. Судите по строениям, какие они дельвали: Нимврод построил город Вавилон Великий, и стены у этого города были такие широкие, что семь телег рядом езжали по стене. Диво ли, что такой народ загордился и Бога забыл? А гордым Бог противится. Гордость и Денницу погубила и из светлого архистратига Божия сделала темного духа злобы и родоначальника смертных грехов. Вздумал этот народ шутку: построить столп до небеси! Вы слышали про столпотворение Вавилонское, когда Бог смешал языки и рассеял племена людские по лицу земли? Да, не о том теперь речь. Это к слову пришлось сказать. Цветной рассказ, как шитье персидское — чем пестрее, тем красивее. Посмотрите на лугах, когда расцветут цветы — и не перечесть их! Зато, когда они цветут, так сами ангелы Божии любят их! Зато, когда они поливают их небесною, жемчужною водою всякое утро. А мы на прежнее обратимся.

Вот, после таких, многих походов и подвигов, не диво, что Железняк Долбило сделался богат, да так-то богат, что и счета не знал своим сокровищам. Стал он стариться, перестал из Новгорода ездить. Голова его через волос седела и сделалась, как на добром бобре, серая.

Пошел он однажды в Софийский собор, поднял икону Богоматери, велел отпеть молебен и заложил себе хоромы. Три месяца рылись в земле: все вырывали подвалы; да три года строили на поверхности земли: все выводил стены, терема да палаты. Да были же и хоромы — на удивление целому свету! Один вор забрался как-то к Железняку, набрал серебра и золота, хотел выйти, ходил, ходил по хоромам и выхода не сыскал. Так сам и отдался в руки. Камень возили Железняку из-за моря, а ломали его у Ями рыжеволосой, а крышу крыли мурманским железом и потом всю вызолотили так, что вся она от солнышка горела, словно жар. Тут было узорочья и диковинок — и Бог знает сколько! В подвалах стояли престрашные сундуки, от которых и ключи Железняк в Волхов побросал, потому что не хотел отпирать этих сундуков никогда: и без того золота и серебра девать ему было некуда.

Так и жил, да поживал Железняк Долбило. Нраву был он сурового, неприступного; почти никогда не раздвигались его черные, нахмуренные брови. В праздники веселился у него весь Новгород. Большие люди в хороммах, черный народ перед хороммами, и тут бывало такое разгулье, что не только хозяин яств и питья не жалеет, поит все вином да медом, но еще мешками кидает в народ серебряные деньги. Народ, как собаки, дерется, кушается, бывало, за серебро, а Железняку любо.

Прошло много лет. Железняк уже и совсем поседел. Где богатого не уважать? Так и Железняка: любить его не любили, а кланялся ему всякий и каждый. Кто и перед посадником шапки не ломал, тот за версту перед Железняком в карман ее прятывал. Наконец выбрали Железняка и в посадники. Но такое чудо: ни богатство, ни посадничество — ничто его не веселило: все он был угрюм и пасмурен. Ходит, бывало, по своим обширным хоромам, сложа руки, нахмутив брови — страшно поглядеть — будто темная туча висит над Варяжским морем!

«Седина в бороду, а бес в ребро», — заговорили в Новгороде, когда вдруг услышали, что Железняк вздумал на старости лет жениться, и уже рукобיתье было у тысяцкого Феофила за молодую его дочку — красавицу, каких всего считалось тогда в Новгороде только три, а Новгород всегда славился красотой дев своих. Судите сами: каковы же были эти три красавицы? Да, вот что сказать вам: об одной из этих красавиц король Мурманский песню сложил, в которой сказывал, как он по си-

ним, далеким морям плавал, как с врагами бивался, а *меня*, говорил король, *меня молодца, дева русская не полюбила!* Таков был припев из песни короля Мурманского.

Сыграли свадьбу. Стал Железняк жить с женою красавицею, зашил ее в парчи и камки, засыпал в жемчуг, завалил золотом и каменьями индийскими, такими, что от них и без свеч в тереме ее ночью было светло, хоть мелкую скоропись читай. Что же? Сам Железняк не повеселел, да и жена его не была радостна. Прошло времени, сколько, не знаю. Просится у него жена на богомолье. «Отпусти меня,— говорит она,— супругник мой: помолиться Богу, чтобы Бог нам дал сына либо дочь».

Я и забыл было вам сказать, что детьми Бог их не благословлял. Железняк задумался. «На что тебе сын или дочь?» — сказал он жене. — «На то,— отвечала она,— чтобы в молодости было нам утешение, а в старости прокормление». — «Молодость моя уже прошла, а прокормиться под старость есть чем,— сказал ей Железняк. — И неужели ты думаешь, что всякое дитя есть знак благословения Божия?» — Он тяжело вздохнул. Жена его замолчала; слеза, как бурмитская жемчужина, покатилась у нее по щеке. «Люблю я тебя, Марья Феофиловна,— сказал Железняк,— и чувствую, что загубил я твою молодость! Не к моему бы сердцу железному прижиматься было твоему нежному сердцу; не мне бы, старику, владеть твоими лазуревыми очами... Так и быть: делай, что хочешь!» — Жена съездила на богомолье; Железняк стал еще угрюмее. Через год, не более, родился у него сын. Такого чудного красавца, как этот новорожденный сын Железняка, и в сказках не слыхано. Русые кудри в три ряда у него завивались; глаза его были, будто киевское небо, голубые, светлые; сам был, как будто молоком облит; на щеках румянец, как будто облачко, когда глядится сквозь него восходящее солнышко. Говорили в Новгороде, что у Железняка родился сын, такой, у которого *во лбу было ясное солнце, в затылке светел месяц, по косицам частые звезды, а волос золотой, через волос с серебряным*. Так ведь в сказках говорится, а мой рассказ, хоть не прямая сказка, а сродни присказке, у правды же только в гостях бывал, и тут худо его угостили: меду сладкого подносили, да по усам текло, а в рот не попало!

Когда Железняк увидел сына своего, то в первый раз сроду он улыбнулся. По крайней мере, не знали: смеялся ли Железняк бывши дитятею, а у взрослого улыбки

не видывали. Потом перекрестил он рукою своего сына и также в первый раз сроду заплакал, и поплакал-таки довольно. А потом пуще прежнего задумался Железняк. Крестины были богатые; гости, все до одного, свалились под столы дубовые, а кубки их простояли на столе всю ночь, вровень с краями налитые и нетронутые. Видно: были гости хорошо употчиваны, и уж душа-матушка не принимала, глаз видел, да зуб не нял. Что же сделал Железняк на другой день? Поехал из Новгорода, взял казны многое множество и уехал к Студеному морю, на реку — как бишь имя ее? Забыл, да и только! Вот так мимо рта суется, да не схватится! И то сказать: не все переймешь, что по реке плывет, не все упомнишь, что говорят добрые люди. Правда — иное и забыть не грех, а другое грех помнить!

Жена Железняка нянчила своего милого дитятку, любовалась им, утешалась и недоумевала: куда делся его отец, а ее муж, Железняк Долбило? Не было об нём ни вести, ни повести. Но через год пришла весть, перепала повесть: приехал старый, верный слуга его, с грамоткой. Писал к жене своей Железняк, чтобы она не крушилась об нем, не горюнилась; чтобы не ждала его она никогда в Новгород, и что он уже *не мирской*, а *Божий!* Железняк благословлял сына, прислал к жене ключи от всех ларцов, сундуков и кладовых, завещал все своему сыну с его матерью. Сам же он построил близ Студеного моря обитель великую, собрал братию многочисленную, постригся, на третий день посхимился, а на четвертый замуrowался в стену так, что оставил себе только маленькое окошечко, в которое подавали ему каждый день по кружке воды, да по сухарю. Братия глядела иногда в окошечко, желая знать, что делает Железняк? И всегда видели они его на коленях, в молитве, в слезах и воздыхании.

Изумилась Марья Феофиловна, услышав такие неожиданные вести. Но что же было ей делать? Тяжело вздохнула она, призадумалась и подошла к колыбельке сына своего. Он спал крепко, дышал сладко, как будто ангел-хранитель навевал на него из рая благовоние райских цветов и доносил к нему пение райской птички! Марья Феофиловна тут же и поклялась: не вздевать на голову венца второбрачного, а посвятить всю жизнь свою милому сыну. Через три года известили ее, что Железняк скончался, а перед смертью послал сыну благословение, хотел что-то сказать отцу-настоятелю обители, но промолвил только: «Нет! пусть будет, что бу-

дет: Божия мудрость мудрее человеческой и положенного предела не перейдешь».

Молода осталась после мужа Марья Феофиловна; много сватов и свах забегало к молодой вдове, от бояр, от князей, от посадников. Но, твердо соблюдала она обет свой, не снимала вдовьего платья, кормила бедную братию, давала вклады в церкви, в обители, никогда не бывало у нее ни пиров веселых, ни бесед разгульных. Главную же заботу и первую утеху составлял сын ее, Буслай Железнякович.

Да и молодец он был: рос не по годам, а по часам, как пшеничное тесто на доброй опаре поднимается, рос дородством и пригожеством, умом и разумом. Прошло лет, не помню сколько, а столько однако же, что Буслай сделался дородник и удалец, как светел месяц, так, что ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать, ни в сказке сказать. Что за рост, что за удаль такая, что за поступь молодецкая, что за кудри золотые, что за походка богатырская! Глазом поведет, так рублем подарит; слово скажет, так заслушаешься, а когда песню заведет, так по улице народ идет, идет, да и останавливается. А ума, разума, всякого таланта и дарования было в нем столько, что достало бы на десять посадников, да еще трем тысяцким осталось бы вдоволь.

Но, вот какая беда: хорош, умен был Буслай Железнякович, да удал больно молодец, и удалство его переходило через чур. Бог весть: такой ли у него веселый был нрав, что ему умничать и важничать не хотелось, а проказы с ума не шли, или уж так он с природы уродился! Говорят еще и вот как, добрые люди, будто настоящему человеку смолоду надобно быть молодцом, в средние годы удалцом, а под старость мудрецом. Тогда, дескать, человек бывает настоящим человеком. Бог знает, правда ли: ведь в людском мудрованье правду, как у змеи ноги, не скоро отыщешь.

Только, таким или другим обстоятельством и порядком, Буслай учиться ничему не хотел, указками бил только по рукам учителей и тихонько дергал их за бороды, когда они слишком заговаривались. Учителя жаловались матери и не брали тройной платы за выучку Буслая. С товарищами бывало у него еще хуже: то и дело заводит он их в такие проказы, что нянюшки и дядьки осипнут кричавши, а все толку нет. То взлезет на крышу и там, как воробей, прыгает и бегаёт; то заведет игры и себя сделает над товарищами воеводой; то взманит их купаться в Волхове — и товарищи его, то руки, то ноги

свихивают, то головы проламывают, то Буслай не на живот, а на смерть приколотит их, то едва вытащат их из воды. А он везде, как заговоренный: в воде не тонет, в огне не горит, упадет — только крикнет. Вот и матери, и отцы взбунтуются, придут жалобиться — шум да спор, крик да вздор! Марья Феофиловна не знала наконец, что и делать: оплачивалась деньгами, отпаивалась медом, отговаривалась речами, отмаливалась просьбами. Но что с сыном-то пригадать — все недоумевала! Хотела бы побранить его, а он станет на колени, просит ее умильно, ласково: «Не гневайся, мать моя, милая, не горюй, мать моя родимая!» — Вздумает пожуричь его, а он заплачет, так жалобно, так заунывно, что мать думает только о том, как бы его утешить, да приголубить. — Писано: «Любый сына участит ему раны». — Да ведь это писано об отцах, а не о материнском сердце.

Все еще дело-то так, или сяк, шло бы на стать, если бы Буслай оставался с детскими резвостями. Но приходили помаленьку те годы, когда и у смиренницы кровь кипятком по жилам льется, и у скромницы щеки огнем пышут, приходили эти годы и пришли — и тут-то с Буслаем вовсе ладу не стало! Явились у него друзья, приятели. Вся вольница новгородская, вся молодежь удалая сделалась ему задушевными сопутниками. Пошли у них пиры да веселья, гульба да роскошь такие, что старики и старухи крестились и ушам не верили, когда им рассказывали о Буслае. Лошадь не лошадь, конь не конь, попона не попона, обед не обед, вино не вино, а деньгами — только что Волхова не прудил Буслай. Доброхотство было у него такое, что поит и дарит, кормит и жалует. Кто бы что у него ни попросил — бери: кубок ли старинный, коня ли арабского, ковер ли кизылбашский — тащи, волоки, будь только приятель! Если я скажу вам притом, что за друга Буслай и души своей не жалел: в драку ли, в битву ли — давай, подавай — так вы поверите, что и самые посадники не знали, что делать с Буслаем. Иногда он, бывало, идет мимо Веча, где старичье собравшись сидит, да думает, не придумает, — Буслай с товарищами и к ним. Умом их переможет, дело разрешит, да потом — тому щелчок, этому толчок, все будто шутя; они и осердиться не смеют: ведь за Буслая все станут, а против него никто не пойдет. Старики поневоле хохочут с ним вместе, хоть им и до зла-горя приходится. Перестали в Новгороде дивиться и тому, что когда бывало добрые люди к заутрени идут, а буслаевцы с пира едут, да песни поют. Настанет Великий пост —

добрые люди говеть, да молиться, а Буслай с товарищами поедет к немецким гостям, да там поют, гуляют, наденут хари, такие страшные, что собаки взвоятся, взлаются у соседей — шум да сумятица, крик да лай, смех и горе, и — Буслаю все с рук сходило.

Так шло, прошло много времени, и вдруг, ни с того, ни с сего, надоели Буслаю пиры и гулянья веселые, опротивели товарищи удалые. Сделал он им такое пированье, что и не слыхано было до тех пор. А какое это было пированье, вот я вам расскажу.

По двору широкому разостлали ковры многоцветные, врыли два столба, повесили на них котел браговарный, налили его полнехонек вина фряжского, поставили подле него три чаши — одну в ведро, другую в два ведра, третью в три ведра. Подле них положили лук разрывчатый с калеными стрелами, а каждая стрела кося сажень, наотмашь; да еще положили копье немецкое, а древко у него было выше ворот Кремля новгородского; да подкатали еще палицу булатную, весом в девять пуд. Растворил тогда тесовые ворота Буслай Железнякович, скликал всю вольницу, все разгульство новгородское, своих друзей-товарищей. Вот сошлись, съехались, весь двор кругом обставили конями, и каждый конь был привязан к серебряному кольцу, а покрыт ковриком шемаханского шелка.

Засела разгульная молодежь по двору, и Буслай начал им говорить. «Слушайте, скажу я вам, друзья мои, товарищи, что надоели вы все мне, удалому молодцу, напрокучили. Шалливый вы народ, как старая кошка, а трусливый, как заяц, выпугнутый из леса лихими собачонками. Задумал я, удалый молодец, выбрать себе из вас товарищей, которые умели бы попить, погулять, да за себя постоять могли, с которыми не страшно было бы мне ночью, в бурю, по Ильменю в челночке проехать, в полночь в Холмогорском лесу лешего выкликнуть и пойти на врага, не спрашивая счету по головам, а только спросясь своей удали молодецкой. Вот, смотрите, товарищи: кто выпьет эту *меньшую* чарку и натянет этот лук, да выстрелит из него каленую стрелу — тот будет мне *меньшой* брат; кто выпьет эту *среднюю* чарку, да перебросит это копье через хоромы, за Волхов, тот будет *средний*, ровный брат — это я сам делаю. А кто выпьет вот эту чарку *старшую*, славную, зазвонную, и повернет на руке эту булатную палицу, тот будет мне *старший* брат. С такими молодцами я крестами поменяюсь и на жизнь и на смерть пойду, и что у меня есть, то

будет без разделу им, коли захотят они, а что будет у них, то будет мое, без данной и без пошлины». Буслай расстегнул рубашку и показал, что у него на груди висят три креста медные, по русскому православию.

Задумалась молодежь, да и нельзя было не задуматься: велики чарки, туг лук, длинно копье, тяжела палица! Посмотрят в меньшую чарку — хоть выкупайся; посмотрят в среднюю — у трехлетнего ребенка в ней волоски всплывут; а на зазвонную чарку, так и посмотреть страшно: раздуло у нее бока, как у доброго быка! Начали шептать, перешептываться, оглядываться, перебираться... Вот, смотрят-посмотрят, глядят-поглядят — и вышел наконец *Иван Гостиный сын* по прозванию *Палило* и говорит Буслаю: «Слушай, Буслай Железнякович! В старшие братья не гожусь я тебе, в средние не смею вызваться, а в младших не выдам!» Все устали на него, а он перекрестился, взял чарку малую, сказал: «Господи благослови!» и на лоб — осушил всю ее до капельки так, что и на ноготь нечего было слить. Потом взялся он за лук, взял и калену стрелу, покрутил свой богатырский ус, положил стрелу на лук и начал тетиву вытягивать. Раз потянул — лук гнется, сгибается; в другой потянул — тетива загудела и до щеки дошла; в третий потянул — тетива заныла и зашла за ухо. Тут поднял к небу очи свои Иван Гостиный сын — ищет: во что бы пустить ему стрелу каленую? И вот, под самым дальним облачком летит орел, чуть виден, как маковое зернышко чернеется. Иван спустил стрелу, тетива запела, будто вдова по мужу, тоненьким голоском, лук выпрямился, стрела фыркнула и улетела в поднебесье! — Смотрят: в пустую чарку свалился орел ширококрылый, пробитый насквозь стрелою Ивана Гостиного сына...

Тут все гаркнули, пригрянули: «Исполать тебе, Ванюша Гостиный сын! Удал ты чару выпить, удал ты и стрелой владеть!» Буслай обнял его; тут же с ним побратался, крестом обменялся, посадил его на почет и вызвал другого молодца. Только все отказывались: не хотели осрамиться. И вот въехал на широкий двор Куденей, сын Авксентия Посадника, поздоровался с вольницею, с гуляками, услышал чего требует Буслай, усмехнулся и говорит: «Ох! ты, гой еси, добрый товарищ! давай просто побратаемся. Силы моей не испытывай: прими меня в младшие твои братья!» — «Нет! — сказал Буслай, — люблю тебя за разум и за удалство люблю, Куденей Авксентьевич, а силы попробуй: без того приятель, при-

ятель, а братом не называйся!» — Тут Кудене́й рассердился, соскочил с коня, подбежал к Буслаю, крикнул: «О! коли на похвальбу пошло, так смотри: не хотел принять в младшие братья, примешь в средние, в ровные!» Как царапнет он среднюю чашу, так махом всю ее высушил, кинул выше лесу стоячего, схватил копьё, прошиб чашу на лету, и перелетело копьё через хоромы, за Волхов, ударилось в бел горяч камень, расшибло его на мелкие иверни — только искры брызнули!

«Ох! удаль, удаль!» — загремели все, а Буслай снял шапку, поклонился Куденею, просил у него прощения, что усомнился в силе его и храбрости, и посадил его на лавке, выше Ивана Гостиного сына.

Ну! вот теперь ждут третьего удальца, клич кличут — никто не осмеливается! Уж на дворе смеркается, красное солнышко катится за леса Заволховские — пойдет молодец! «Видно троим нам век коротать, братья мои крестовые, и кинем мы жребий, кому из нас доведется быть старшим, мне, или Куденею Авксентьевичу...» — говорил Буслай; но не успел Буслай кончить своей речи — смотрят: ввалился на двор, будто овсяный сноп, урод уродиной: голова нечесана, одежда запачкана, ростом чуть не косая сажень, между плеч две стрелы татарские улягутся. «Это что за чучела морская появляется!» — зашумели молодцы, захохотали, захлопали руками. Незнакомый уставил на всех большие, как лукошки, глаза свои. «Чему же вы рады, бесовы дети? — закричал он зычным голосом, — а вот как примусь я вашу братию с боку на бок переваливать!» — Осмотревшись кругом и видя, что все места заняты, подошел он к первой лавке, взял ее за один конец, стряхнул с нее полтора десятка молодцов, на ней сидевших, и сел сам, развалившись. «Ах, ты, неуч! — крикнули молодцы, — видно, ты думаешь, что ты у отца на печи, да за полку с горшками взялся? Вот мы тебя проучим!» — Они бросились на него кучею. Но незнакомый отвел их рукой, как будто связку соломы оттолкнул, и закричал, что изомнет их, хуже мякины, если они дерзнут к нему приступить.

Тогда подошел к нему Буслай и сказал ему приветливо: «Вижу, брат, что красивый ты малый и порядочный! Больно только невежливо пришел ты в гости: хозяину не кланяешься, а гостей обижаешь. Зачем ты к нам пожаловал?»

— Ты сам клич кликнул на вольницу удалую, — сказал незнакомец. — Давай мне выпить, давай силы по-

пробовать. А гости твои нахалы — места мне не дали и в глаза насмеялись. — Тогда все подбежали к Буслаю и стали пуще смеяться над чучелой. Буслай указал на три чарки и говорил: «Хочешь, добрый молодец! Вот тебе вино доброе поставлено! А потом, пожалуй, и силы попробуем!» — Встал незнакомый, подошел к малой чарке — покачал головою; подошел к средней — махнул рукою; подошел к зазвонной — засмеялся! «Да что это за чарки? — сказал он. — Воробьям пить нечего!» Он толкнул их все три ногою, пролил вино дорогое, замарал ковер многоценный. — «Коли пить, так пить из полного», — примолвил он, ухватился за столбы, на которых повешен был за ушки котел, вырвал столбы из земли, словно перо из крыла гусиного, приставил котел ко рту, в три роздыха весь выхлебал и порожний котел надел себе на голову. Тут расхохоталась новгородская молодежь, кричит, шумит: «Этакий пьяница! Как он себе глаза-то налил: и котел-то ему шапкой показался!» Незнакомый взял в обе руки по столбу, на которых повешен был котел, и обратясь к Буслаю сказал: «На этом что ли силу-то пробовать?» — «Нет! — отвечал Буслай, — а коли хочешь, так вот тебе зубочистка железная!» — Незнакомец перешвырнул столбы на задний двор, взял палицу железную, будто лучину расщепанную, и начал вертеть ее вокруг головы и с руки на руку перекидывать так, что все исперепугались, чтобы он, шутя, не проломил кому головы, закричали, завопили: «Буслай Железнякович! спаси беды великой — признавай его скорее старшим братом своим!»

«Ну, удалый молодец! — сказал Буслай, — делать нечего: не чесан ты — купим гребешок золотой и расчесем твои волосы; не умыт ты — вытопим баню, да выпарим удалого! Будь ты мне старший крестовый брат: я твоей милости кланяюсь. Поволь сказать нам честное твое имя и как твое отчество и откуда ты родом-племенем? А мы твоей буйной головушки доселева в Новгороде не видавали».

— Не велика моя порода, не знатен мой род, — отвечал незнакомый богатырь. — Родился я в Старой Ладобе, от дьячка Фалалея; зовут меня, доброго молодца, Иван, по отчеству я Фалалеевич, а по прозванию *Дурачок*, потому что мне книжное ученье не далось. Хотел было меня отец в звонари поставить, но как я ни зазвоню, все колокола не выдерживают, бьются, раскалываются, а я чуть увижу, что колокол треснул, схвачу его с сердцов за уши, да и швырну в Ладожское озеро.

Прихожане наконец на меня рассердились, сказали отцу, что либо со мною ему жить, либо с ними. Делать было нечего отцу моему: обнял меня, заплакал, надел на меня котомку, дал мне посошок и благословил идти на все четыре стороны. Шел я, шел путем-дорогою и пришел к вам в Великий Новгород...

Что же, князья, бояре,—сказал тут Иван Гудочник,—видно вам моя сказка не понравилась: вы ее не слушаете, да, кажется, чуть ли уже вы и не уснули?»

Мы не хотели прерывать сказки, которую рассказывал Иван Гудочник. Не знаем — понравилась ли она нашим читателям, а слушателям Ивана Гудочника сказка эта очень приглянулась и пришлась по нраву. Они нетерпеливо слушали начало ее, дивились, спрашивали, хвалили старика-сказочника, но с половины сказки начали головы их качаться, глаза слипаться, сон одолевал их, так что они забыли наконец все: и дела свои, и сказку, и Гудочника. Напрасно некоторые еще бодрились, протирали глаза: один за другим заснули все слушатели Ивана Гудочника, кто куда склонивши свои головы. Старик управитель уже давно и крепко спал, между флягами и сулеями. Тишина сделалась такая, как в полночь на кладбище, и только храпение спящих перерывало ее.

Осторожно прислушивался еще некоторое время Иван Гудочник и, понижая голос, говорил: «Что же вы это, князья, бояре, не слушаете? Заснули на таком месте, где пойдет дождь самая пестрая, а правда самая затайливая. Я вам расскажу: как поехал Буслай за море, как попутала его нелегкая и полюбилась ему княжна заморская, как ее унесла некошная сила, как он с товарищами ее отыскивал: был у Чуда Морского, задушил Кашея Бессмертного, провел царя Высокоброва, обокрал Бабу-Ягу, служил у Огненного царя, заклинал еретика-людоеда, рассмешил царевну Несмеяну, выкупил душу отца своего, связанную рукописанием, данным лукавому...»

Уверясь наконец, что слушатели все крепко спали, Гудочник вдруг изменил вид свой. Он вытянулся бодро, со злобною усмешкою поглядел на спящих и сказал: «Спите же, братия моя, и почивайте! Бог предаст вас в руки мои; но — я не вор, не разбойник: отдаю и то, что вы мне подарили...» Тут высыпал он на стол серебряные деньги, которые сбросили ему бояре. — «Но, вы поплатитесь мне дороже», — примолвил он, смело подошел к спящему Юрию Патрикеевичу, вынул у него из-за пазухи сумку, вытащил из нее великокняжескую пе-

чать, взял разные бумаги и положил сумку опять за пазуху Юрьи. То же сделал он с боярином Старковым. Поспешно пробегал он потом глазами взятые бумаги, не мог скрывать своей радости, видя их содержание, и спрятал свою покражу в карман.

Набожно обратился тогда Гудочник к образу и воскликнул: «Боже великий, вечный, святой! направь бrenную руку раба Твоего! Благослови его начинания, пошли сон и слепоту на враги моя, даруй очам моим прозрение, да исполню святую волю Твою!»

Поспешно схватив гудок свой и шапку, Гудочник осторожно ушел из комнаты. Никто не встретился ему на лестнице; ворота боярского дома были не заперты, хотя возничие и провожатые боярские ушли в теплые хоромы и спали там. Гудочник отвязал от кольца лучшую верховую лошадь, бодро вспрыгнул на нее, тихо съехал со двора и поскакал потом во всю прыть. Снег хрустел под копытами бодрого коня, продрогшего на сильном морозе.

Глава VIII

*... Младой, неопытный властитель,
Как управлять ты будешь под грозой,
Тушить мятеж, обуздывать измену!*

А. Пушкин

На другой день после пира, бывшего у боярина Старкова, рано утром подъячий Беда прибежал в великокняжескую Писцовую палату, разбудил привратников, придверников, пригнал писцов, велел им поскорее приводить все в порядок, расставлял поспешно скамейки, ставил чернильницы, чинил перья. Нельзя было узнать из его неподвижных глаз и сухощавого лица, был ли он испуган, сердит или печален. Он останавливался среди своих занятий, поднимал бороду свою кверху и, казалось, внимательно прислушивался. Вдруг раздался шорох шагов, послышался голос у дверей. Беда оставил свою работу и почтительно вытянулся. Дверь быстро отворилась; вошел наместник ростовский. Одежда его была в беспорядке, лицо бледно, волосы всклоочены, голос хриповатый, как будто наместник три дня сряду гулял, или две ночи не спал.

— Еще никого нет! — вскричал наместник. — Сми-луйтесь, ради Создателя! Послали ль за ними?

«Послано уже во второй раз», — отвечал Беда.

— Ох! погубят они нас! — наместник бросился на лавку в совершенном отчаянии. Беда долго безмолвствовал и наконец, тихо и почтительно, осмелился спросить, что причиняет его милости такую жестокую горесть?

«Будто ты не знаешь!» — воскликнул наместник, вскочив со своего места. Размахивая руками, начал он ходить вдоль палаты.

— Меня разбудили поспешно, приказали поскорее явиться и устроить все к заседанию княжеской Думы...

Наместник хотел что-то объяснить Беде, как двери расхлопнулись настежь и сам Великий князь вошел, смущенный, едва опомнившийся ото сна, неумытый, непричесанный, в простом, легком тулупе.

— Петр Федорович! Что это такое? Что рассказали мне? Я ничего не понимаю!

«Государь, князь Великий! Не знаю что и все ли тебе рассказано», — отвечал наместник.

— Ты прискакал сюда неожиданно... Говорят, что все погибло, что все мне изменяют, что дядя Юрий поспешно идет к Москве...

«Правда, Государь! Я скакал сюда опрометью — дядя твой идет по Ярославской дороге — моя дружина разбита — я едва спасся!»

Сухое лицо Беды вытянулось при сих словах и сделалось еще длиннее и суше. Князь казался вовсе неразумевшим, что с ним делается. Он только крестился обеими руками. В это время в палату вошли князь Друцкой и Асяки, предводитель татарской дружины князя.

— Где же мои бояре?

«Где твои дружины, Государь! Спроси лучше: где твои воины?» — воскликнул наместник.

— Я не знаю... Асяки! где твоя дружина?

«Мы оберегаем Кремль, Государь!»

— В Кремле все тихо и безопасно, Государь, — прибавил князь Друцкой. — Мои копейщики на страже у Константиновских и Флоровских ворот.

«Тихо ли в Москве?» — спросил Великий князь.

— Не знаю, Государь! Я начальствую только над кремлевскою стражею.

«Кто же в нынешнюю ночь начальник Москвы?» — спросил Василий.

— Не знаю, Государь!

«Кто же из вас что-нибудь знает! — вскричал Василий горестно. — Но не заметно ли в Москве чего-нибудь шумного? Говори, говори прямо, князь!»

— Москва — море, — отвечал князь Друцкой, — и что на одном конце ее делается, того через три дня не узнают на другом конце.

Тут вступил в палату князь Василий Боровский. Он казался встревоженным, смущенным.

«Государь, Великий князь! — вскричал князь Боровский. — Третью Юрия все бунтует, и моя треть волнуется! Спешу умирять крамольников!»

— Князь, мой любезный брат! помоги мне! Я не знаю, что мне делать! — говорил Василий.

Поспешно вошел в сию минуту еще боярин. Страх и робость были видны на лице его. «Государь! — сказал он, — спешу к своей родительнице: она очень нездорова! Супруга твоя при ней, плачет, рыдает...»

Жаль было смотреть на Василия в сии минуты: смущенный, встревоженный, пораженный вдруг столькими ударами, он не знал, что думать, не знал, что сказать и куда идти! Палата наполнялась между тем боярами и князьями. Явились Старков, Юрья Патрикеевич, Ощера.

— Думные мои советники, бояре, князья мои! — вскричал Василий, — скажите, что со мною делается? Слышу, что против меня идут в торжестве враги, мать моя при смерти, жена плачет, измена раздирает Москву. Но давно ли, не вчера ли еще, были мы с вами, в великокняжеском нашем Совете, и вы все уверяли меня, что я торжествую, что отовсюду окружен я верными людьми, что народ души во мне не слышит, что вы пойдете с сильными дружинами на вероломного дядю, что князья русские явятся по первому моему слову?

«Князь Великий! утро вечера мудренее — не нами началась эта пословица, не нами и кончится. Может быть, того мы вчера не досмотрели, что сегодня увидим. — Так начал говорить Юрья Патрикеевич. — Но есть еще другое присловье: даст Бог день, даст Бог ум. Мы все слуги твои и рабы твои, мы будем стараться, а ты, Великий князь, успокойся, не унывай, молись, возложи печаль свою на Господа и верь, что погибнут мыслящие тебе зла. Главное дело: будь в этом крепко уверен. Вера дело великое — она все побеждает. Теперь примемся мы советовать и думать».

— Не поздно ли, когда вы не успели надумать прежде, — сердито вскричал наместник ростовский.

«Петр Федорович! замолчи! — сказал Юрья Патрикеевич. — Все дело надобно обсудить и посмотреть в старые решения; как все это прежде делывалось, так мы и решим».

— В каком судебнике сыщешь ты указ на решение этого дела? — сказал наместник ростовский.

«А ты думаешь, что прежде этого и не бывало? — с жаром возразил Юрья. — Будто новое нам это дело! Посидел бы ты в первом месте в княжеской Думе, так привык бы и не к таким делам. То ли было, когда князь Василий Димитриевич Богу душу предал, и мы с покойным владыкою Фотием ночь ноченскую сидели в Думе, и уже утром боярин Иоанн пришел к нам и сказал, что дело порешено — тогда только решились мы разойтись! А когда потом раздумье было о поездке Великого князя к Витовту, или о поездке в Орду...»

— Ах! был тогда у меня боярин, за которым не знал я, что такое заботы и тоска моего великокняжеского сана! Для чего он сделался лютым врагом моим и злодеем! — проговорил Великий князь тихо, обращаясь к князю Оболенскому, молодому чиновнику, по-видимому, человеку, близкому его сердцу.

«Мне кажется, — отвечал, также тихо, этот юный друг Великого князя, — что дядюшка твой не проспал еще вчерашней хмелины. Я никогда не видал его таким говорливым: откуда рысь берется».

Василий усмехнулся.

— Нет! ты еще не привык к ним. Старики бояре народ такой, что прежде наговорят много пустого, а потом уже примутся за дело. Я всегда дремлю, когда начинаются наши советы, и просыпаюсь только под конец, чтобы слушать, когда примутся советники мои за настоящее дело.

О юность, юность! как мало знаешь ты жизнь человеческую, как весело и шутливо ты играешь ею, и как ты *везде и всегда* одинакова!

Между тем говор голосов заглушил уже слова Юрьи; бояре и князья зашумели, будто пчелы, встревоженные в улье. Тут, придавая себе сколько мог более важности, Юрья Патрикеевич подошел к столу, возвысил голос и провозгласил: «Прежде всего, уверимся в верности рабов и слуг княжеских. Бояре и князья! подымите руки и повторим: да не будет на нас благословения Божия, если кто из нас помыслит зло против Великого князя нашего, Василия Васильевича!»

— Да не будет, да не будет! — раздался общий крик, руки всех присутствующих были мгновенно подняты.

«Прежде хмель станет тонуть, а камень по воде поплывет, нежели я изменю моему князю!» — вскричал Старков.

— Да лопни тогда моя утроба, яко Иудина! — закричал Ощера.

«Батюшка ты наш! дай себе ручки расцеловать!» — вскричали многие, бросаясь целовать руки Василия; другие обнимали даже ноги его.

— Ты что стоишь, татарин? — сказал Ощера Асяки.— Целуй и кричи!

Асяки усмехнулись. «Я худо знает, что ваша кричит,— сказал он.— Давай сражаться — пойду, убью, либо убьют Асяки!»

— Вот,— воскликнул Юрья,— главное теперь и сделано! Не беспокойся, Великий князь, благоволи поспешить к матушке своей, Великой княгине Софье Витовтовне: она беспокоится о тебе и ей очень нездоровится, утешь ее, и пожалуй после того к нам. А мы на досуге здесь все дела обдумаем!

Великий князь безмолвно удалился; за ним ушли князь Друцкой и Асяки.

«Молодцы вы, бояре и князья! Как ажно вы пригрязнули! — сказал Юрья.— Спасибо, исполать, исполать вас!»

— За нами не станет! — воскликнул Ощера.

«Садитесь же все по местам, да станем судить и думать».

Наместник ростовский потерял последнее терпение. «Если ты хочешь дурачиться, так твоя воля: но за что ты нас-то дурачить думаешь, Юрья Патрикеевич?» — вскричал он.

— Как: *дурачить*?

«Ребят что ли нашел ты? Помилосердуй: то ли теперь время, чтобы растобарывать, когда вся безопасность Москвы висит на волоске?»

— Я еще прежде хотел было тебя спросить, Петр Феодорович: кто созвал Думу Государеву в такое необыкновенное время и что за важные дела такие привез ты, из-за которых даже и помолиться доброму человеку не дали порядком, как будто в уполох ударили?

«Я по приказу Государеву велел согнать сюда всех вас, беспечных стражей его покоя и здравия!» — гневно воскликнул наместник.

Юрья не любил ссор, но не любил и нарушения порядка. Струсив от гнева и слов наместника, он сказал, однако ж, довольно твердым голосом: «Непристойных речей говорить и распорядку мешать — все-таки не должно, боярин...»

— Так вы *распорядком* называете это, бояре и князья, что более недели прошло, как вы должны были немедленно отправить дружины, уладить князей, захватить крепче Москву — и ничего этого не сделали, а только-что пили, да гуляли?

«Во-первых,— отвечал Юрья,— дружины высланы: одна с тобою, вторая с Басенком, третья с Тоболиным...» Наместник хотел прервать слова его, но Юрья махнул рукою, говоря: «Дай кончить,— и продолжал.— Тебе надобно было захватить Дмитров, взять в полон князя Юрья Дмитриевича и злодея Ваньку-боярина; Басенку стать в Сергиевском монастыре и охранять место между Владимиром, Суздалем и Дмитровом; Тоболину идти на Галич и Кострому, отрядив дружины в Нижний. Так ли, бояре, было? А?»

— Так! так! — заговорили все.

«Сегодня положено выступить главному отряду воинства под моим воеводством; войско собирается в трети князя Василия Ярославича.— Так ли, князь?»

— Войску *велено* было собраться, но ты сам приказал ему после того *разойтись*,— сказал князь Боровский.

«Как: я приказал?»

— Да, сегодня в ночь пришел от тебя приказ: выступить части его по Коломенской дороге и идти поспешно на Рязань; Тоболину послан приказ взять Ярославль, а остальным дружинам разойтись по домам.

«Что вы? Что вы? — вскричал Юрья.— Я и не помышлял! — Да разве я с ума сойду! Как — на Рязань — на Ярославль — разойтись?»

— За государевой печатью присланы были от тебя приказы. Где ты сам был — не знаю, не знаю также: кто велел перепоить дружины и кто велел потом отдать на грабеж пьяным воинам дома князя Юрия и детей его? — Там сделалось страшное смятение, началась драка, треть вся взбунтовалась — пьяницы прибежали и в мою треть — я не мог сопротивляться, кинулся сюда; да и что мне было делать?

«В Ярославль — по Коломенке? — говорил Юрья,— распустить — грабить!» — Он глядел на всех, выпучив глаза.

— Знай же,— сказал тогда наместник ростовский,— что я моею дружиною разбит врагами, не доходя до Дмитрова — едва бежал — и вся вражья сила напирает теперь на Басенка — ему не выдержать — и через несколько часов Великому князю небезопасно будет в Кремле!

«Да, зачем же ты не захватил князей? Зачем ты не разбил дружин их? А ты, боярин Старков? Так-то смотрел ты за безопасностью Москвы?»

— Да, не с тобой ли мы проспали всю ночь, после вчерашней пирушки! — вскричал с досадою Старков. — Ты, полно, сам не кривишь ли душою, Юрья Патрикеевич, что потихоньку спавал нас, а между тем ночью раздал такие приказы..

«Я раздал? Посмотрите: вот они и печать, здесь...» — Юрья схватился за сумку, в которой всегда лежала у него великокняжеская печать и которую всегда носил он в кармане: печати не было, а вместо оной лежала записка: *«Пей, да ума не пропей!»*

— Измена! — вскричал Юрья. Записка и сумка выпали из рук его. Другие князья и бояре подхватили их и прочли записку. *«Пей, да ума не пропей!»* — раздалось в палате. Смех, досада, гнев заволновали собрание. Юрья безмолвствовал.

— Сидите вы подле баб своих, да гуляете, — загремел тогда наместник ростовский, — а мы кровь свою проливаем за вас. Князь Василий Ярославич! — продолжал он, обратясь к князю Боровскому, — в тюрьму этих замотых, скорее, и нечего мешкать! Где князь Константин Дмитриевич?

«Он уехал в Симоновскую обитель и сказал, что отрывается от всех дел», — отвечал Боровский.

— А что же князья Можайский и Верецкий?

«Они злодеи! Прислали мне вчера сказать Великому князю: «Мы по тебе душами нашими; да есть у нас свои люди и города беречь, а одолеешь ты, князь Великий, князя Юрия и мы тебе кланяемся, да милости себе просим; не одолеешь, против тебя не пойдём, а только ты помышляй сам о себе...»

Шум в палате усилился в это время и напрасно хотели унимать его князь Боровский и наместник ростовский. Ощера, Старков и вчерашние собеседники сих бояр сидели, молчали, угрюмо повеса бороды. Но князь Юрья первый опомнился.

— Князья, бояре! послушайте меня, — сказал он, — судите и решите. Грешный человек — скрываться не стану: праздничное дело, и кто же о Масленице не гуляет? Но тут было что-то недоброе: нас опоили, околдовали, и видно, что только заступление Угодника, которому вчера я отслужил молебен, со слезами и с водосвятием, спасло меня от напрасных смерти. Все это мы разыщем. — Измена, измена, князья и бояре!»

— Измена! — Глупость! — кричали с разных сторон. «Я первый предлагаю подать пример строгости,— провозгласил Юрья.— Два изменника, братья Ряполовские, сообщники Косого и Шемяки, сидят в тюрьме: казнить их немедленно, на торговой площади, во страх другим!»

— Казнить, казнить! — закричали Старков, Ощера и многие бояре.

«Москву усмирить войском».

— Да где оно? — сказал князь Боровский.

Гут явился в палату, прискакавший с Троицкой дороги, вестник, молодой боярин, посланный от Басенка. Все окружили его. Едва мог собрать силы смущенный боярин и сказать, что на Басенка напали дружины неприятельские, сбили его, и он едва успел оправиться и остановиться на берегах Клязьмы.

Еще не прошло всеобщее изумление от сего нового известия, как прибежал князь Друцкой и сказал, что в трети Юрья Димитриевича начался пожар, тамошняя чернь вооружилась дрекольями и испуганные москвичи бегут отовсюду в Кремль.

Нестройный крик заступил тогда место Совета. Взаимные обвинения, укоризны, упреки сыпались со всех сторон. Вскоре явился сам Василий Васильевич и тщетно хотел унять раздор, споры, несогласие советников своих. Между тем как смятение в Думе умножилось, вести непрерывно приходили, одна другой хуже и, вероятно, были увеличиваемы приносившими их людьми, испуганными, встревоженными, захваченными врасплох. Лица вестников говорили еще выразительнее слов их. Юрью Патрикеевича, что называется, *совсем загоняли*; он только уже старался уверить Василия, что не изменял и не изменит ему.

Наконец, Василий, как будто перемог самого себя, как будто сознал в себе новые силы. В первый раз в жизни своей, величественно, твердым голосом, провозгласил он своим советникам:

«Или не знаете вы, в чьем присутствии осмелились забываться до такой степени, рабы мои? Или уже не чтите вы крови Мономаха в лице вашего князя, которому клялись быть верными в жизни и смерти? Умолкните, дерзкие рабы!»

Смелый голос юноши, рожденного на троне, и неожиданность поступка и слов Василия Васильевича, внушили невольное почтение всем присутствующим. Все умолк-

ли. Несколько голосов осмелились было еще проговорить глухо: «Измена, Государь!»

— Молчать! — громко воскликнул Василий.

Настала совершенная тишина. «Если есть измена, если и между вами, здесь даже, кроются клятвопреступники — я не боюсь их! — сказал Василий. — Идите, окаянные злодеи, идите, к моему вероломному дяде, который, забыв крестное целование и слово клятвенное, дерзает восстать против власти, поставленной от Бога и утвержденной его и моим повелителем, великим царем Востока и всея Руси!»

Все молчали. «Чувствую, — продолжал Василий, — чувствую, что десница твоя, Господи! тяготеет надо мною и предвижу все бремя, возложенное тобою на рамена мои, да сподоблюсь быть достойный пастырь стада твоего! В то время, когда мать моя находится при дверях гроба — *«сатрапи, мучители, цари, начальницы стран варварских, на зло смудрствовавшие, на стадо твое сие, яко же львы и зверие свирепо яростнии рыкающе!»* — Василий поднял глаза к небу и благовейно сложил руки.

— Князь Великий и брат мой по родству! — сказал тогда растроганный князь Боровский, — позволь мне сказать тебе совет мой...

Василий тихо повел рукою на его сторону. «После советы человеческие, — молвил он, — а прежде к Богу-советодателю!»

Он оборотился к одному из бояр и сказал: «Иди, вели отворить Успенский собор, позови отца протоиерея, скажи, чтобы он приготовился к *Последованию в нашествие варваров*. Я немедленно явлюсь в святом храме».

Он умолк и тихо проговорил, после некоторого молчания: «Господь сокрушай брани!.. *Благодатию есте спасени чрез веру и сие не от вас: Божий дар! Но от дел, да никто не похвалится: того бо есмы творение, создани о Христе Иисусе на дела благая, яже прежде уготова Бог, да в них ходим!»*

«Кто идет со мною молиться во храме Божием?» — спросил Василий, обозревая собрание. Он встал и, не говоря более ни слова, пошел к дверям. Все встали, пошли за ним в глубоком молчании. Писцовая палата опустела. Остался только Беда с немногими подьячими и начал приводить в порядок бумаги и скамейки.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

...Тогда по Русской земле редко ратаеве кикахуть, но часто врани граяхуть, трупия себе деляче, а галици свою речь говоряхуть, хотять полетети на уедие... Усобица Княземъ на поганые погибиле. Рекоста-бо братъ брату: се мое, а то мое-же. И начаша Князи про малое, се великое молвити, а сами на себе крамолу ковати...

«Слово о полку Игоревом»

Глава I

*Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет,
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных!..*

А. Пушкин

Какое противоположное зрелище представляла в это время Ярославская дорога против того деятельного, но мирного зрелища, каким находил ее дедушка Матвей, за несколько дней ехавши по сей дороге!

Воинские дружины рассыпались по ней всюду. От Москвы до Клязьмы, пересекающей дорогу недалеко от нынешнего Пушкина, видны были воины Великого князя. С другой стороны, от Клязьмы далее к Троицкому монастырю двигались дружины князя Юрия Дмитриевича. В одном из селений за Клязьмою находился сам престарелый Юрий, сыновья его, бояре и князья подручные. Басенок, принявший начальство над дружинами Василия, наскоро укрепился с другой стороны реки.

Война идет и метет — по старинной поговорке. Правда: здесь еще не начиналась кровавая, свирепая война, но ужасы ее были уже видимы всюду. И тем страшнее были они, что война великая, между сильными врагами, не ведет за собою таких бедствий, какие необходимы при войне мелкой и особенно — междоусобной!

Издавна замечено, что друг, или родственник, сделавшийся врагом — ужаснее, непримиримее человека, с которым всегда были мы врагами. Два единоплеменные

народа злее ненавидствуют один против другого. Так и здесь было. Дружины Юрия, уже разбившие отряд наместника ростовского, шли не как дружины государя, стремящегося возвратить законное свое наследие, являлись не умирителями своего владыки с людьми, ему подвластными по праву и отторгнутыми насилем — нет! они являлись злыми врагами, грабили, жгли! Строго запрещено было им всякое насилие и своеволие; но — *воины не уснут, аще зла не сотворят!* Когда на ночь зарево пожара багровило темный небосклон, Юрию сказывали, что жители принудили к такой строгой мере своим упорством, или, что дружины московские зажгли селение, выходя из одного, или, наконец, что один из союзных князей запалил деревню, напрасно требуя добром запаса и хлеба для своих воинов.

Так поспешно надобно было собрать дружины, так быстро надлежало действовать против Москвы, столько разнообразных требований и страстей следовало соединить вместе, что Юрий невольно должен был смотреть сквозь пальцы на дерзость князей, к нему приставших, на своеволие собственных воевод и даже на нахальство самих воинов. И нельзя было учредить никакого порядка, ибо весь план Юрия состоял в скорейшем походе на Москву, и вся удача зависела от удара, который не дал бы Василию Васильевичу и Думе его опомниться и уговорить князей на помощь, мог бы в то же время споспешествовать волнению и смятению Москвы, для укрощения чего, к несчастию, убедили Василия принять строгие меры.

Просим читателей наших оставить теперь на время Москву и перейти в то село, где отаборился князь Юрий Димитриевич с главною дружиною, детьми и боярами.

О жителях села нечего и говорить: их разогнал страх появления Юриева; одни сами убежали, как испуганные перепелки и жаворонки улетают с зажженной нивы, остальных прогнали из жилищ воины Юрия, ибо все хижины заняты были князьями и сановниками. Множество саней, возов, возков стояло вокруг селения; кони поставлены были в разных местах, совсем готовые, рядами; огни зажжены были повсюду; воины собирались, толпились около огней; множество промышленников, как мухи к меду слетевшихся с разных сторон, кормили, поили дружины Юрия. В таких случаях денег не жалеют, и часто отнятое у бедной семьи достояние — труд целого века — в один час пропивается, проедается буйным воином. Стук бубнов, звуки труб слышны были беспрестан-

но; изредка раздавались выстрелы из пищалей, и хотя был Великий пост, но никто не думал говеть и поститься. Множество народа опохмелялось и напивалось снова, а пьяному без песен не веселье — и клики, и песни раздавались день и ночь. Между тем, казалось, что все это неустройство воинское мало занимало Юрия и других князей, а также и сановников их. Говорили, что ждут посольства от Московского князя, и большая беготня дельцов и бояр показывала, что посольство это было причиной многих забот и совещаний.

В сие время в одной из больших, лучших хижин разговаривали два известные нам человека: боярин Иоани Дмитриевич и Иван Гудочник.

Боярин по обыкновению был мрачен, угрюм; он сидел за столом и, казалось, внимательно слушал рассказы Гудочника, который стоял перед ним и говорил с жаром.

— Ну,— сказал боярин,— если бы зависели от меня награды, я осыпал бы тебя милостями, старик! Ты работал усердно, и только чудный промысел Божий мог тебя сохранить среди всех опасностей. Но скажи мне еще раз: точно ли нет уже никакой надежды, чтобы Константин решился оставить свое безумное намерение? Ты сам говорил с этим ханжою, Варфоломеем?

«Об этом и думать нечего,— отвечал Гудочник.— Константин вступил уже в Симонов монастырь и дал обещание не оставлять более сей обители».

— Вот так-то всегда, всю жизнь мою бывало,— сказал боярин,— всю жизнь должен я бывал или бороться с тяжкими препятствиями, или быть жертвою случая и людской глупости. Все дела мои обращались ни во что от таких причин, что после подумаешь бывало, так самому смешно. Ну! да что будет вперед, увидим и подумаем, хоть я предвижу, что добром не кончить... Поговорим о настоящем. Скажи, пожалуй, можно ли было предвидеть все, что случилось в последнее время?

«Да, боярин, и признаться, я терял уже всю надежду...»

— Господи помилуй! От того, что ворона залетела в княжеские хоромы — оборвать князя Василия, затеять войну, и все это делать так невегласно, несмысленно... Мне стыдно за Княжеский Совет, в котором некогда заседал я сам!

«Но, однако ж, не должно ли сознаться, боярин, что кривую стрелу Бог правит, и что дуракам счастье на роду написано?»

— Что ты хочешь сказать?

«То, боярин, что все твои намерения, все, что было так хорошо предположено и так долго готовлено, могло рассеяться и уничтожиться от вороны и от княжеского пояса. Если бы успели захватить Косого и Шемяку, князь Юрий немедленно согласился бы на мир, особенно, когда против него стала бы сильная Московская дружина, которую довольно удачно удалось нам рассеять».

— Как же не видишь ты противного словам твоим? Все доказывает, напротив, что счастье дурачки лезло к Московскому князю, но что им не умели воспользоваться, и что ум всегда побеждает все препятствия. Не залети ворона, не поссорься на свадьбе, никто бы и не заметил, как дружины Юрия подошли бы к Москве. Ведь такая беспечность, что даже наместника ростовского вызвали на свадьбу! Тут оставалось чистое поле для прохода, и конники Юрия были бы в Переяславской слободе, вся Москва еще пила бы и плясала, а ты, да князья Можайский и Верецкий возмутили бы Москву, Косой принял бы начальство, и Кремль взяли бы так легко, что Василий, может быть, из-за стола почетного перешел бы в тюрьму, с молодою своею женушкою и с умною своею матушкою! Смотри же: явная вражда загорелась с Косым и Шемякою; подозревали, хоть и без толку, что в Москве *не смирно*. Чего же тут много думать? Косого и Шемяку из рук не выпускать...

«Они не дались бы живьем».

— Ну,— вскричал боярин и сделал выразительный знак рукою,— мешкать было нечего...

«Но что сказали бы князья другие, которые были тогда в Москве?»

— По городу каждому из них, а не то уделы Юрьи и детей его, кинуть им на драку — вот все и замолчали бы... Только бы удалось, а там кто будет спрашивать; да при том же, когда дело уладилось бы, то можно бы опять отнять у них. Людям, которые стоят выше других, надобно быть выше простонародных суеверий и предрассудков. Если же боишься за голову, что она закружится — не влезай высоко!

Гудочник молчал, а боярин продолжал хладнокровно: — Но только ли еще? Они *меня* боялись. Зачем же было выпускать меня из рук, разобидевши, оскорбивши? А после того начали за мной гоняться, как будто за ласточкой в поднебесье; да и самый Константин? Хорошо, что он выменивает кукушку на ястреба. Скажем и то: боялись они меня, как же не видать, что Совет Кня-

жеский составлен из людей, которых я посадил в него, и из которых делал я бывало все, что хотел? Зачем было опять раздражать старика Юрия, отнимая у него Дмитров? Что ручалось им за Верейского и Можайского? Взгляни также, как запущены теперь дела Орды, Литвы, Новгорода? В Суздаль никто и не заглянул. А последнее-то дело: Старков — хранитель Москвы, Ряполовские — в тюрьме, Юрья Патрикеевич — воевода... Юрья Патрикеевич! ха, ха, ха! Что, думаю, забавно было тебе, как ты воеводу этого и со всею Думою его засыпил твоим арабским зельем, отчего они проспали свои дружины? Да вот-таки и ты: как не заметить, что ты везде втираешься? Знаешь ли, однако ж, что, судя по твоим делам, можно подумать, будто у тебя еще две головы в запасе, кроме той, которая на плечах: колдун, Гудочник, Паломник... Во дворце, на площади, в монастыре...

«Я думаю, боярин,— сказал Гудочник, после некоторого молчания,— что если бы при тебе еще было замечено мое бродяжничество там и сям, ты не дал бы мне долго бродить, хотя я ясных улик и не нашлось бы?»

Слова Гудочника, как будто заставили боярина подумать: не слишком ли откровенно говорил он с ним? Подозрительно взглянул Иоанн на старика и встал из-за стола, сказав: «Это дело другое, старик — в поле съезжаться, родней не считаться! Да, о посольстве-то московском: так этот говорун, гречин, едет сюда?»

— Исидор? Едет, боярин. Я уже тебе сказывал, что отправились Исидор, трое бояр, подъячий Беда и, не знаю, кто-то еще из воевод будет — думаю, Басенок, который на безрыбье сделался важною рыбою.

«Зачем бы Исидору ехать? Разве не метят ли его в митрополиты? Но, мне кажется, он не годится. Я помню, когда он в первый раз приезжал в Москву, за милостынею для Афонских монастырей. Он нечистого православия и чуть ли не волк в овечьей шкуре.— Ну, старик, оставайся, отдыхай; теперь твоя работа пока окончилась...»

— Ты мне ничего не говоришь, боярин?

«А что же мне сказать тебе? Теперь я ничего еще не знаю».

— Ты промолвил давеча, что все кончится худом.

«Это не до тебя касается».

— Может быть — *и не до тебя*, боярин.

Боярин быстро взглянул на Гудочника.

— Я почти могу рассказать,— продолжал Гудочник,— что ты скрыть хочешь: Юрий смотрит на тебя, как

на человека, с которым неволя заставляет его дело делать...

Бледное лицо боярина оживилось. «Старик! — сказал он грозно, — помни кто ты...»

— Крамольник, простой, ничтожный человек? Боярин! ты не забыл еще, однако ж, я думаю, с каким условием я обещался служить тебе?

«Помню, — мрачно отвечал боярин, — но теперь, повторяю тебе — ничего сказать не могу!»

— А я скажу тебе, что Косой вовсе не думает выполнить того, на чем все дело было между нами полагено.

«Он сказал это тебе?»

— Он так говорил со мною, как будто Мономахова шапка была уже крепко на голове его.

«Что ж мне-то делать, старик?» — сказал боярин, усмехаясь.

— Я не говорил: *что делать*, когда предался тебе душою и телом и не щадил живота и совести.

Боярин хотел отвечать, искал слов и не находил. «Что за шум и что за беготня? Не послы ли едут? — сказал он наконец, смотря в окно. — Точно: это они; мне пора — там много будет работы. — Он взглянул на Гудочника. — Сиди у моря и жди погоды», — промолвил он ему и вышел.

Гудочник остался, задумчивый и печальный. «Старый ты пес!» — сказал он, по некотором молчании, медленно взял шапку и вышел на улицу тихими шагами. Тут было уже большое движение; дружины Юрия стояли рядами, в оружии; конники скакали взад и вперед. Вскоре показались трое саней, в которых сидели присланные для переговоров из Москвы. Они подъехали к избе, где был сам Юрий Дмитриевич и где большая толпа князей и бояр теснилась в сенях, по двору и на улице.

Из саней вышли Басенок, Ощера, еще двое московских бояр, подьячий Беда и Исидор. Их заставили скинуть шубы в сенях и потом впустили к князю.

Читатели знают уже Ощеру. Басенок был молодой воевода московский, богатырь душою и телом. Исидор — лицо замечательное, грек, родом из Фессалоник, где научился он церковному языку от славян, живших в окрестностях. Быв уже один раз в Руси, как говорил боярин Иоанн, он снова приехал теперь в Москву с грамотами от Царьградского Патриарха и императора греческого Иоанна Палеолога. Исидор был почетно чество-

ван при дворе великокняжеском, и изумлял своим красноречием, умом и глубоким знанием богословия.

Изба, где находился Юрий с двором своим, была обширна. Наскоро выломали в ней лавки и полаты, завесили черные стены ее коврами, набросали по полу соломы и тюфяков и закрыли все это также коврами, заменив таким образом грубые деревенские приборы. Посредине стоял большой стол, покрытый широкою полстью. На столе были поставлены разные коробочки, стояла чернильница, лежали княжеские украшения, меч, бумага и несколько свертков и книг. У стены, за столом, на мягких тюфяках, сидел дряхлый старик в теплом колпаке и легком меховом тулупе — это был *Юрий Димитриевич*, дядя и соперник Великого князя Московского. По сторонам сидели и стояли трое сыновей его: Василий Косой, Димитрий Шемяка и Димитрий Красный; боярин Иоанн Димитриевич, боярин Морозов, любимец Юрия, и еще несколько князей и бояр.

Впереди московских послов шел воевода Юрия и остановился перед столом, сказав: «Князь Великий Юрий Димитриевич! молит тебя племянник твой, князь Московский, Василий Васильевич, и прислал к тебе, государю, послов своих бить челом».

При сих словах Басенок сделал выразительное движение, как будто хотел остановить воеводу Юрия, но удержался и только пристально взглянул на Ощеру. Взор его, казалось, спрашивал: должно ли допускать столь унижительные для государя их речи? Ощера дал знак, что необходимость велит сносить мелкую обиду. Басенок, с досадою, отворотился и замолчал.

Юрий благосклонно наклонил голову на низкий поклон московских послов.

— Желаю знать: кто сия духовная особа в числе послов моего племянника? — сказал он.

«Это архимандрит Исидор, присланный в Москву из Царьграда», — отвечал воевода.

Юрий встал и почтительно подошел к благословению Исидора.

«Князь Георгий Димитриевич! — сказал Исидор, благословляя князя, — Святейший Владыка, милостию Божиею архиепископ Великого Константинополя, Нового Рима и Вселенский Патриарх прислал к тебе со мною пастьерское свое благословение и есть к тебе от него, владыки твоего духовного, грамота».

Юрий низко поклонился и спросил: «Для чего же ты, отец архимандрит, являешься ко мне вместе с по-

сланниками московскими, пришедшими от моего племянника?»

— Князь Георгий Димитриевич! — отвечал Исидор, — благодарю Господа, что он дает мне средства исполнить вместе христианскую обязанность мою — быть посредником мира, исполняя и препоручение моего владыки, Патриарха и отца всех христиан.

Юрий молча указал Исидору на место подле себя, сел сам и не обращал, казалось, внимания на послов московских.

Величественно обвел глазами все собрание Исидор и начал говорить Юрию:

«Блаженни миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся — сии слова Спасителя внемля, притекаю к тебе, князь Георгий, с сими словами, яко с ветвию масличною, исходя, яко Давид пред кивот Господень, во сретение мира, вожделенного, поля утучняющего, села богатящего и князи красящего, еже повелел хранить нам Бог единый, премудрый, страшный и превеликий, превыше небес пребывающий во свете неприступном, на херувимском престоле сидящий и немолчными ангельскими гласами хвалимый, поемый, превозносимый, в трех лицах прославляемый и в единстве познаваемый».

Шепот одобрения пронесся в собрании. Одушевленный сим, Исидор продолжал:

«Прешедший волнения Понта Эвксинского, мнил я поставить стопу мою на твердой земле Московской и обретаю треволнующуюся войну, гремющую, как праведно изрек Омир, паче нежели десятью тысячами гласов человеческих, зрю раздор, с кровавыми очами, готовый возжечь села и грады, кущи и веси. Мира законно и праведно есть желать человеку, а наипаче князю, ибо всякое враждебное общение неподобно ему, есть-бо начало и вина бед, чего ради явленно показуется мир имети за некое основание нерастерзанное. Все люди послушливо последуют сему обычаю, подражают по силе и действию оному, благому, и отсель твердость является, и царства и земли крепит».

Исидор снова остановился. Снова шепот одобрения раздался между всеми. Боярин Иоанн, с досадою, проворчал: «Краснобай!» Юрий казался внимающим и задумчивым.

«Вижу тебя, окруженного доспехами брани и сильными стратигами; видел я Москву, оглашаемую звуком труб бранных; зрел я селян, бегущих от пламени, губящего избытки их, и — о горе велие и тяжкое! вестник

благословения духовного Владыки — узрю смерть, пирующую среди крови и слез! О! никогда! Отверзи слову мира ухо твое, князь Георгий. Говорить ли мне о гибели, следующей за войною? Ты ведаешь сие. Изображать ли тщету бранная славы? Тебе сие известно. Излагать ли, сколь гибельна вражда? Умолкаю пред разумением твоим! — Грядет война — и царства увлажняются кровию; грядет война — и жители бедствуют; грядет, говорю, война — и мир исчезает!

С сими словами притекаю к тебе, яко с масличною ветвию. Отверзи ухо твое слову мира, княже Георгие! не отринь его, и возвесели меня, убогого, посланного от Владыки духовного всех христиан, да возглашу: *Блаженни миротворцы, столько же блаженни и внемлющие слову их!*»

Исидор встал, сложил руки и низко поклонился Юрию. «Какое красноречие, какая сила слова!» — говорили князья и бояре; у многих показались на глазах слезы; Ощера сделал самую жалостную рожу, с унижением глядя на Юрия; Басенок потупил глаза и оперся на меч свой. Юрий спешил посадить по-прежнему Исидора.

— Сладостны речи твои, отец архимандрит, — отвечал потом Юрий, — и не умею я ответить тебе по красному смыслу речей твоих. Но просто, по малому разумению моему говоря, я не начинаю войны, но иду только требовать должного мне, и не виноват я буду, если дело дойдет до войны.

«Вспомни, князь Георгий, слова Писания, повелевающего прощать обиды и любить враги своя».

— Я и готов прощать и любить, — сказал Юрий в замешательстве.

«Если так, то останови пламень войны и опустошений, удержи мстящую руку, благоволи выслушать послов князя Московского, и — примиришься с ним».

Юрий, в недоумении, молчал, не зная, что возразить хитроречивому Исидору. Косой нахмурил черные свои брови. Шемяка изъяснил движением руки негодование; глаза боярина Иоанна злобно устремились на Исидора. Димитрий Красный, прелестный юноша, с русыми, кудрявыми волосами, голубыми глазами, и — говоря русским выражением, румяный, как красная девица, подступил тогда к отцу своему.

«Родитель! — сказал он, — отец Исидор говорит тебе то, что осмеливался говорить я и что внушало тебе собственное твое сердце. Не утушай благодати; из искры ее

возгнети огонь, который бы попалил вражду, древнее чадо дьявола! Избери мир на честных условиях, прости обидающих, возвесели сердца уповающих на радость блаженныя тишины!»

Тут Ощера осмелился начать, самым просительным голосом: «Мой господин, князь Василий Васильевич, кланяется тебе, государю, дяде своему, и готов он исправить все вины, возникшие невольно ко вражде. Приглашает он тебя на общий съезд, где соберутся все князья русские — если тебе это угодно. Он не взыскивает, что ты первый поднял оружие, и строго накажет зачинщиков вражды».

Тогда Косой поспешно встал со своего места, желая сказать что-то, но боярин Иоанн предупредил его, подошел к Юрию и сказал: «Если князь Василий изъявляет такую покорность, чего же более и желать тебе, князь Юрий Дмитриевич? Согласись; пусть объявят условия!»

— Мы согласны,— отвечал Ощера,— скажите: чего вы требуете?

«И благодать Божия явно видна в сем начинании, благом и праведном!» — сказал Исидор радостно.

— О! укрепи его Бог в мысли святой и великой! — воскликнул Дмитрий Красный.

«Меня оскорблял племянник,— сказал наконец Юрий.— Он обижал меня и детей моих. Дмитров, законный удел мой, он занял воинством».

— Его возвратят тебе, государь! — отвечал Ощера.

«На старости лет моих терпел я унижение от последнего раба его», — продолжал Юрий.

— Наименуй оскорбителей твоих, и будешь удовлетворен,— отвечал Ощера.

«Я наименую их тебе! — воскликнул Косой, поспешно приближаясь к Ощере,— слушай: ругательница князей, княгиня Софья, Витовтовна по батюшке, князь Василий Васильевич, называющий себя *Великим князем* — вот имена первых оскорбителей — слышишь ли ты их, кто ты такой, боярин что ли?»

Слова Косого заставили всех безмолвствовать. Красный обратился к брату с умоляющим взором. Юрий, казалось, оскорбился дерзкою смелостью сына. Боярин Морозов подошел в это время к Юрию и начал что-то шептать ему.

— Князь Василий Юрьевич,— сказал Ощера, оправляясь от первого замешательства,— если ты напоми-

наешь о бедственной ссоре твоей с тетушкою, то мы за тем и пришли, чтобы утушить все ссоры.

«Как: *ссоре*? — воскликнул Косой, — не о ссоре, но о позоре, о бесчестии моем, говорю я — о мечех убийц, поднятых на грудь мою среди дружеского пира — и чем же думает князь твой заплатить мне за этот позор и оскорбление?»

— Василий! — сказал князь Юрий, — ты перебиваешь речи мои, а я тебе еще не приказывал говорить. Сядь на свое место и молчи! — прибавил Юрий сурово.

«Государь, родитель!» — возразил Косой.

— Молчи, повторяю тебе!

Косой хотел отвечать; но боярин Иоанн вдруг обратился к послам. — От кого присланы вы, господа послы? — спросил он. — Что-то я не расслушал хорошо; боярин Ощера так умел говорить, что расслышать было трудно.

«Мы присланы от *Великого князя Московского*», — сказал Басенок.

— Следовательно, от *старшего* из князей? Но чем же почитает ваш князь дядю своего: неужели *младшим*?

«Если ты этого не знаешь еще, — отвечал Басенок, едва удерживая гнев свой, — так узнай; да притом и еще узнай, что выдачи тебя головою поручил нам прежде всего требовать князь наш!»

— На что ему понадобилась она? — сказал Иоанн, усмехаясь. — Но, я вижу теперь, что не только *уступать*, но и *требовать* кое-чего пришли вы опять от моего государя, *Великого и старшего князя Юрия Димитриевича*, вы, возмущившиеся рабы его!

Басенок невольно схватился за меч. Иоанн презрительно поглядел на него и громко провозгласил: «Преклонитесь перед Великим князем, Юрием Димитриевичем, рабы его непокорные! — Князь Великий! — продолжал он, обратясь к Юрию, — подтверди им слова мои и то, что уже объявил ты другим князьям. А после того можно будет говорить и о мире с послами племянника твоего, положить, какой удел благоволишь ты дать ему, и благоволишь ли, простить ли ему возмущение против тебя, отнятие городов твоих, несправедливое лишение прав твоих, покушение на жизнь детей твоих, умысел на собственную жизнь твою, когда с оружием посланы были от него дружины на тебя, твоих детей и твоих союзников...»

Видно было, что Иоанн с намерением высказывал все, желая взаимным оскорблением восpalить нена-

висть и устранить все предлоги к миру. Он знал слабый характер Юрия, гордость Басенка, малодушие других послов, и — не ошибся в расчете.

— Князь Юрий Димитриевич! — воскликнул Басенок, приближаясь к столу, — неужели с твоего позволения этот изменник дерзает говорить при нас столь не-потребные речи?

«Великий князь Юрий Димитриевич! — сказал Иоанн, обращаясь к Юрию, — теперь видно: как *просят* мира послы твоего крамольного племянника! Когда, наконец, правое дело твое торжествует; когда сам Бог предает в руки твои прародительский престол, которым не-праведно, уже *восьмой* год владеет твой племянник; когда от слова твоего зависит не только *удел*, но и самая *жизнь* его — он смиряется, обольщает тебя — и что же? Послы его буйствуют пред тобою; дружины его идут на тебя, на Ярославль, на Рязань: это ли мир? Это ли смирение и умирение? Я умолкаю, государь — я, раб твой художмысленный, и если для мира действительно надобна голова моя — возьми ее, пошли к князю Василью и действуй, как Бог внушит тебе: сердца князей и владык в руце Божией!»

Иоанн смиренно преклонился. Речи его заволновали всех, шумный говор раздался между боярами Юрия; недоумение старого князя, казалось, было решено. Еще раз осмелился было обратиться к нему Димитрий Красный с умоляющим видом, но Юрий, как будто стыдился встретиться со взором его, и — отворотился.

Всего тяжелее *мгновение решимости*. Как часто предприятия, которым посвящены были годы трудов, уничтожались от того, что в *решительную минуту* не-доставало силы, духа сказать о них! Но и тяжело бывает это роковое слово, за которым уже нет возврата, выговорив которое, нельзя уже обратиться вспять и должно — или погибнуть, или исполнить сказанное!

«Послы московские! — воскликнул Юрий, — если *хотите* вымолить мир, то не буйствуйте, не держайте оскорблять сановников моих, смиритесь и ждите моего ответа!»

Юрий сознал сими словами, что боярин Иоанн говорил с его согласия.

«Если князь ваш желает мира и пощады, — продолжал он, — то, да преклонит оружие и встретит меня близ *отчины моей*, Москвы, как подобает встретить своего владыку, а вы все, рабы мои, целуйте мне крест и присягайте в верности мне, Великому князю Московскому».

Все сии слова проговорил старик с таким усилием, как будто бы они были огненные, задушали его и иссушали гортань его, произносимые вслух. «Дайте мне пить»,— сказал он, обращаясь к своим и громко кашляя. Несколько глотков поднесенного ему питья остановили кашель.

«Государь! — скромно начал тогда говорить Басенок,— речи твои изумляют нас. Неужели не научился ты, из предшествовавших событий, суетности подобных замыслов и предприятий? Неужели еще раз, в преклонных летах старости, ты забыл клятвы твои, договоры и крестоцеловальные грамоты? Неужели снова хочешь начать то, что давно уже кончено и предано забвению?»

— Я беру то, что Бог и уставы предков наших передают мне, *сыну* Великого князя Московского Димитрия Иоанновича и *старшему* из всех князей русских Мономахова рода.

«Государь! — продолжал Басенок тихо, но с чувством собственного достоинства,— прискорбно мне было услышать, что Ивашку боярина, изменника и предателя моего князя, называешь ты своим *сановником* и подтверждаешь его злые речи. Но слышать от тебя самого о нарушении клятв, грамот и договоров...»

— О каких клятвах и договорах напоминаешь ты мне? — с негодованием воскликнул Юрий.

«Позволь исчислить их»,— отвечал Басенок и дал знак Беде. Спокойно выступил вперед Беда и начал говорить:

— При блаженной кончине Великого князя Василия Димитриевича, Духовною грамотою передал он Великое Княжение, чем благословил его отец, сыну своему Василию Васильевичу, что утвердили дяди его и покойный владыка, митрополит Фотий, лета 6931-го. И когда князь Звенигородский и Галицкий, дядя Василия Васильевича, Юрий Димитриевич, не соглашался на таковое установление, был у него, князя Юрия, владыка Фотий и пастырским своим словом умирил князей и условил: быть Юрию *младшему*, а Василию *старшему*. В сем и заключена была клятвенная грамота, лета от создания мира шесть-тысячное, девять-сотное, тридесат шестое, индикта шестого, марта в единонадесятый день. И прешедшим грем летам снова воздвиг требование князь Юрий. И положено было, в отвращение пролития христианской крови и в пресечение крамолы и смуты, идти князьям в Орду к Великому царю всея Руси и многих Орд повелителю Махмету, и как решит он, царь, так делу и быть.

И бывшим князьям пред царем, разприся о Великом княжении, и решил царь Махмет: быть Великим князем Василию Васильевичу, а дяде его, князю Юрию Димитриевичу, быть под ним младшим...

Все сие было произнесено бесстрастным, однозвучным голосом. Казалось, что совесть читает подробную запись прошедшего князю Юрию и никто не смеет прервать страшного ее отчета. Беда продолжал:

«И повелел царь Махмет перед собою ехать на коне князю Великому, а князю Юрию вести за повод коня его. Но Великий князь милосердовал, подарил князю Юрию город Дмитров, а чести не восхотел. И был посажен князь Великий на стол отчий и дедный, в Москве, Уланом царевичем, у Пречистых, у Золотых ворот. И клялся ему князь Юрий, как старшему, и в духовной митрополита Фотия написан был князь Юрий *благородным и благоверным*, а князь Василий Васильевич *благородным, благоверным и Великим...*»

— Князь Великий! прости моей ревности,— воскликнул тогда боярин Иоанн, поспешно подходя к столу,— но если ты, смирения ради, терпишь клеветы и лжи, мы терпеть их не будем, мы, рабы твои! Позволь мне запечатлеть уста сего клеветника словами святой истины.— Юрий, не говоря ни слова, наклонил голову, а Иоанн поклонился всему собранию и начал:

«Издревле Бог, испытующий гневом своим владык земли, наравне с низшими и малыми, да ведают, что и они человеки суть и не забывают дела, на которое призваны, насылает казни, смуты и превратности жребия князьям и владыкам.

Так было и в то время, когда Великому князю Юрию Димитриевичу, по судьбам Бога, должно было наследовать Великое Княжение, после старшего брата своего, Великого князя Василия Димитриевича, его же да сопричтет всемогущий Господь к лику праведных!

Говорить ли мне о святых и непреложных правах князя Юрия Димитриевича? Кто не ведает, что с незапамятных времен *старший в роде князей русских* наследует престол великокняжеский. Благородная ветвь доброго корени Великого Владимира Всеволодовича Мономаха, правнук князя Всеволода Георгиевича *Великого Гнезда*, Иоанн Данилович восставил в величии и славе Великое княжение русское, погибавшее, поработненное, униженное. Он перенес его в древний град, новую Византию, Москву, благословенный десницею святителя Петра, первого митрополита Московского и всея Руси.

Се начало, се дело судеб Божиих! И когда Господь призвал Иоанна к себе, утвердился великий род его в сыне, князе Симеоне, ему же наследовал брат его, князь Иоанн, и передал сыну своему, Великому князю Дмитрию Иоанновичу. Старшие в роде князей русских, по кончине Великого князя Дмитрия Иоанновича, остались сыны его: *Василий*, бывший по нем Великий и славный князь, и — здесь зрим мы другого, *старшего по нем князя нашего Юрия Дмитриевича*.

Древний устав отцов и грамота духовная Дмитрия утверждали право на великокняжение *нашему князю* в случае кончины Василия, если Господу угодно будет продлить дни нашего князя Юрия. И совершилось: перешел к отцам Василий, и продлил Господь дни нашего князя.

Но, о горе великое! Когда, скорбный о кончине брата, его же чтил в отца место, князь наш хотел принять бразды великого дела государственного — открылось хищение, умысел и суетное людское помышление!

Братья юнейшие восстали, владыка духовный прегрешил, бояре сковали крамолу. Духовная грамота, в нарушение всех прав Божеских и человеческих, была составлена Василием, по которой лишался великокняжения Юрий, и племянник, сын Василия, восставлялся против него. Воинство явилось на защиту лжи; князь Литовский, объявленный опекуном юного Василия, как хищный вран, готовил уже кровожадные дружины свои, да воспользуется раздором. И шадя кровь христианскую, что должен был делать князь наш? Он — уступил, князя и бояре, *уступил...* Оцените великодушие сего, познайте славу его смирения!»

Шум раздался после этих слов в собрании; боярин Иоанн торжествовал, горделиво посмотрел на всех и продолжал:

«Но мысля о спасении души племянника, братьев и даже самых рабов своих, не переставал он убеждать их. Вскоре смерть прекратила дни Витовта! Владыка Фотий вскоре отдал неземной отчет в делах, и — язва смертельная поразила Москву, где пали жертвою губительной смерти многие князи и бояре. И все сие свершилось в пять лет! Бог являл суд и гнев свой, но — не слушали его глаголов! И тогда князь наш, не прибегая еще к оружию, предложил отдаться на суд царю Ордынскому... Князя и бояре! не спрашивайте у меня: какие крамолы употреблены были затмить правду и истину! Горе нам, горе царству, неправдою зиждемому! Так! Царь Махмет

осудил нашего князя, но тогда решился уже князь наш защищать дело свое оружием. Мера неправд исполнилась...»

— Боярин! — воскликнул Басенок, — ты ли смеешь говорить о суде Ордынском? Не нужен был суд сей нашему князю Василию Васильевичу, но он шел на него, ибо хотел доказать правду свою и сим образом. Но кто стоял тогда за нашего князя? Не ты ли, не так ли, как ныне разглагольствовал ты и убеждал царя Ордынского в пользу нашего князя — двоедушный, двуязычный старец! Вспомни и устыдись!..

Казалось, син слова должны были смутить Иоанна. Все знали, что он был причиною благоприятного для Василия ханского решения. Красноречиво утверждал он перед ханом — именно противное тому, что говорил теперь. «Повелитель русских земель! — восклицал тогда боярин Иоанн, — твоей воле предоставляет сирота, сын славного князя Московского, судьбу свою! Оставишь ли его, забудешь ли славу твою и слово твое, которым укрепил ты волю отца его? Князь Юрий утверждает на ветхих хартиях и мертвых уставах, никогда не исполняемых на Руси — мы ссылаемся на твое живое слово, утверждаемся на твоей всемогущей воле!» Подробно исчислял потом Иоанн все отступления от права старейшинства и возвышал волю Хана. — Но боярин Иоанн не смутился теперь от слов и напоминаний Басенка.

— Остановись, дерзкий юноша! — воскликнул он. — Кто ты, ничтожный судия совести другого! Если и был я тогда виновен, то не видишь ли теперь явный знак благодати Божией, доказывающий несомненную победу князя Юрия Димитриевича — знак ее во мне, человек, который был врагом его и отверг вражду, вняв угрызению совести и гласу истины! Так: я стоял тогда за крामольного племянника, думая, что стою за правое дело. Привыкнув повиноваться великому родителю его, повиновался я и юному князю Василию. Но не я руководствовал коварными, злобными, вероломными делами Москвы: Юрья Патрикеевич был первенствующим в княжеской Думе; мать Василия, поругательница князей, дяди его, люди коварные и хитрые, сонм бояр продажный и корыстолюбивый — вот кто руководил Москвою! И я не мог сносить далее тяготы душевной, оставил Москву и перешел к правой стороне. Князья и бояре! Я могу пересказать вам даже и то, сколько золота и серебра дано было которому ордынскому вельможе, чтобы преклонить решение хана Ордынского; могу объяснить, какие умыс-

лы таились после того на погибель нашего князя и сынов его; какие ковы соплетались на других русских князей для отнятия их уделов. Но — теперь и без меня уже все раскрыто. В безумном ослеплении Москва послала дружины свои на Ярославль и Рязань, наложила руки убийц на двух сынов нашего князя, и где же? Когда? Среди веселия родственного! Князь Константин хочет прикрыть грехи монашеским клобуком; других братьев уже призвал суд Божий, и — долголетием благословенный, грядет мститель неправд. Се наступил час побед Его! Кто противостанет? Да здравствует Великий князь Московский Юрий Димитриевич!

Громко повторено было сие восклицание; бояре и воины, бывшие вне избы, где происходил прием послов, также повторили его, и оно разлилось по всей дружине Юрия, соединенное со звуком бубнов и труб.

«Ты слышал ли, воевода московский, и вы, бояре московские, слышали ль речи моего боярина? — сказал Юрий. — Чего же ждете вы еще? Вы хотите знать права мои: я ли изложил их? Я молчал, когда говорили вы против меня клеветы свои и когда в ответ вам изрекли истины святые и непреложные...»

— Мы слышали исповедь преступника и изменника, — сказал Басенок, — но не знаем еще твоей воли.

«Остановишься ли ты в своих дерзких словах, раб бунтовщика? — стремительно вскричал Косой. — Еще одно слово — и ты погибнешь, презренный оскорбитель князей!»

Басенок угрюмо взглянул на него. «Послов ни секут, ни рубят, князь Василий Юрьевич!»

— Но какой же посол присылается для того, чтобы оскорблять тех, к кому он послан, и безумно противоречить правде! — вскричал Шемяка.

Басенок оборотился к Ощере. «Боярин! что же ты молчишь? Так ли должен поступать посол Великого князя?»

Ощера, хранивший глубокое молчание, вдруг ступил несколько шагов вперед, преклонил колено перед Юрием и воскликнул: «Государь князь Великий! прими раба твоего и смилуйся над ним. Да здравствует Великий князь Юрий Димитриевич и да погибнут враги его!»

Сей неожиданный поступок старшего московского посла изумил всех. Подлость, низость поступка Ощеры, как говорится, *повернула сердца*, и — его восклицание умерло в совершенной тишине.

Басенок задрожал от негодования. «Боже великий! — воскликнул он, — могу ли пережить сей позор, сие бесславие!» Казалось, он не знал: взяться ли ему за меч свой и умертвить изменника Ощеру на месте или удержать свое негодование!

— Встань, боярин! — сказал Юрий Ощере. — Принимаю твою покорность и жалую тебе место в нашей великокняжеской Думе.

«И тако покорятся тебе все!» — воскликнул боярин Иоанн, между тем, как Ощера подполз на колени к Юрию и целовал ему руку.

— Живи, пресмыкайся, — сказал тогда Басенок, с отвращением глядя на Ощеру. — Но теперь я старший посол Великого князя и заступлю место изменника. Князь Звенигородский! отвечай Великому князю Московскому в лице послов его: полагаешь ли ты оружие? Принимаешь ли мир? Отказываешься ли от твоих несбыточных помыслов?

«Дерзновенный! — вскричали в один голос Косой, Шемяка и боярин Иоанн. — Умолкни или за оскорбление великокняжеского величия тебя не спасет звание твоё!»

Как будто не внимая сим угрозам, Басенок продолжал: «Выдаешь ли мне изменника Ивашку боярина и другого вора, боярина Ощеру?»

«Удались немедленно, беги, скажи своему князю, что между нами нет никаких условий! — воскликнул Юрий, вставая со своего места. — Покорность, или горе и гибель!»

— Итак, да падет на тебя кровь христианская, нарушитель клятв! — отвечал Басенок. — Брось перед ним его грамоты крестоцеловальные, — сказал он, обращаясь к Беде. Крик негодования и ярости раздался в собрании. «Мы не потерпим такого надругательства — сковать его — цепи — тюрьма!» — закричали с разных сторон.

— Торжествуй, — сказал Басенок, обращаясь к боярину Иоанну, — но знай, что торжество зла кратковременно! Угля горящие сыплешь ты на главу свою, несправедливо собирая богатства и почести. Плаха — рано или поздно — будет твой удел!

В это время Беда, с обыкновенным своим равнодушием и неизменяющимся лицом, вынул из бархатного мешка и кинул к ногам Юрия сверток бумаг.

Ярость овладела Юрием, детьми его и боярами. Юрий хотел что-то сказать, но, задыхаясь, не мог ничего выговорить и только кашлял. Бояре его, одни кинулись к боярам московским, спутникам Басенка, в наме-

рении вытолкать их вон, другие хотели обезоружить Басенка. Шемяка, дрожа от гнева, схватил одной рукою бумаги, которые бросил Беда, другою ухватил он его за бороду, закричав: «Я заставлю тебя проглотить их, исчадие нечистое!»

Басенок отступил к дверям, заслоняя собою товарищей, и громко воскликнул: «Кто ко мне подступит, тот расплатится жизнью!» Он стремительно ухватился за меч свой.

Шемяка первый почувствовал все неприличие ярости и необдуманного гнева. Он оставил Беду и остановил бросившихся на Басенка, как будто желая загладить свое собственное, излишнее безрассудство.

«Остановитесь, брат, князья, бояре! Стыд, грех — не посрамим себя!»

— Князь Георгий Димитриевич,— сказал тогда Исидор, хранивший глубокое молчание во все время споров и буйного волнения,— позволь мне молить тебя: если уже без плода оказалась принесенная мною тебе ветвь маслины, то, да не произрастит она, по крайней мере, плода гибели. Посланник мира — да не буду я зрителем кровопролития!

Все остановились. Юрий устыдился буйства своих детей и вельмож. «Отпустите их безопасно, и горе тому, кто оскорбит их хоть словом!» — сказал он. «С тобою, отец архимандрит, мы увидимся — в Москве. Боярин Иоанн, боярин Ощера — идите за мною!» — он принял благословение Исидора и поспешно удалился.

Басенок также спешил идти. За ним пошли двое товарищей его. Беда все еще оставался на своем месте, бледный, неподвижный, дрожащий, с той самой минуты, как Шемяка столь жестоко опозорил его. Уже Басенок и бояре были за дверьми, когда он опомнился, молча поднял с земли клочок волос, вырванный из бороды его Шемякою, и не говоря ни слова пошел за товарищами. Он казался обезумевшим; казалось, он сам не понимал, что делает.

Шемяка, сложив руки, погруженный в мрачную, глубокую думу, стоял подле стены и долго не мог дать самому себе отчета во всем вокруг него происходившем. Он опомнился, наконец, когда уже никого не было в избе. Только Димитрий Красный сидел в углу и — горестно плакал...

— Плачь, ангел-хранитель наш, плачь! — сказал Шемяка мрачным голосом. — Не так совершаются дела, Богом благословляемые! Предчувствую, в какую бездну

греха и погибели повергнули мы себя, тебя, родителя... Но — кто противостанет судьбам своим. Да будет же то, что будет... В Москву, в Москву!..

Димитрий Красный не отвечал ни слова, закрывая рукою глаза, и слезы обильно текли из глаз его.

Глава II

*О боже мой! кто будет нами править!
О горе нам!..*

А. Пушкин

В кремлевских великокняжеских хоромаш были покои для житья, залы для пиროванья, палаты для государственных совещаний, церкви и часовни для молитвы, кладовые для золота и серебра, погреба для вин и меда. Но кто прошел бы все эти отделения хором великокняжеских, тот не узнал бы, что в них были еще уголки, назначенные не для веселья, не для пиров, не для хранения великокняжеского богатства, уголки темные, мрачные, лишнные всякого убранства. Это были — боярские тюрьмы, темницы и княжеские казенки. В то время, когда в палатах раздавались веселые клики радости, в этих уголках уныние и горестъ беседовали с обитателями, нередко переходившими в них с великолепного пира великокняжеского. *Близ царя близ чести, близ царя близ смерти* — эта пословица дошла из старины до наших времен. С удивительным равнодушием повторяли и забывали всегда эту пословицу царедворцы, не боясь близи и все теснясь *ближе и ближе* к Великому князю! И всегда весело пиروвали они, никогда не помня, что товарищи их, недавно подле них сидевшие, горюют в боярской тюрьме или княжеской казенке.

Так забыты были в это время два молодые боярина, Симеон и Иван Ряполовские. Укор другим, недостойным боярам и царедворцам, жертва смелой правды и женской, необдуманной вспыльчивости, со дня самой свадьбы Великого князя брошены были они в тюрьму и разлучены с родными. У отечества отняты были умы и руки их в минуты величайшей опасности. Мы видели, что злые враги готовили им даже лютую казнь. Но Василий велел умолкнуть требовавшим голов их, не смел освободить Ряполовских, но не велел и умножать тягости их заключения. Ряполовские оставались, как будто неважное дело, решение которого откладывают впредь, до времени более свободного. Нерешительный князь не умел оценить

достойно окружавших его людей, не умел и сознать прямо достоинства Ряполовских. Неужели не понимали опасности отчизне бояре и царедворцы его? Неужели злоба затмевала в глазах их невинность Ряполовских и не хотела сознаться, что *теперь* они были необходимы для общего спасения? Можно обольщать себя надменностью, ослепляться гордостью, пока нет еще опасности. Но когда гибель над головою, кто не сознаёт своего бессилия, не жертвует всем?

Опасность, гибель! Но какая опасность, какая гибель грозила боярам *Василия*? Гибель *его* разве губила *их*? Опасность *его* разве и им была равно ужасна?

Симеон Ряполовский сидел за ветхим столом в своей темнице; перед ним развернута была духовная книга. Брат его, Иван, ходил по темнице. Заходящее солнце освещало сквозь железные решетки бедную комнату, где заключены были Ряполовские.

«Послушай, брат: как утешительны, усладительны слова Апостола,— сказал Симеон,— *«Желаете и не имате; убиваете и завидите, и не можете улучшить. Сваряетесь и борете и не имеете, зане не просите; просите же и не приемлете, зане зле просите, да в сластех ваших изидите... Не весте ли, яко любы мира сего вражда Богу есть — иже-бо восхощет друг быти миру, враг Божий бывает...»*

— Друг мира, враг Богу, друг Бога, враг миру... Да, святые слова, любезный брат! Но горе нам, ведущим их, и не внемлющим, слышащим их, и не исполняющим: *Враг мира...* Но могу ли быть врагом самого себя, ибо что мир, если не *мы*?

«Нет! Мир — владение князя *мира сего* — не есть тот мир, в котором живет человек, исполняющий обязанность свою к Богу, поставленной от него власти, ближнему и самому себе».

— Ах! обязанность ли наша мечты властолюбия, суеты и гордости, которые не перестают терзать нас — даже и на жестком одре темницы...

«Ты сегодня особенно грустен и печален, брат. Что с тобою?»

— Меня убивает мысль, что теперь, когда, может быть, добрые товарищи умирают на поле брани и кровью искупают грехи свои, мы бездействуем, мы ничего не слышим даже!.. Грешу, но сознаюсь: уже не польза княжья, но кровь, кипящая в жилах, заставляет меня грустить, что и я не там же...

«А страдающий за князя своего в темнице, разве не воюет за него? И что же ты хочешь слышать? Вести о позоре и бесславии отчизны, о гибели Москвы, когда ты не в силах отвратить сей гибели?» — Симеон отвернулся, желая скрыть слезы, помрачившие глаза его. Иван безмолвно сел на одр свой.

В это время загремел замок на дверях темницы и явился надзиратель тюрем и темниц дворцовых, дьяк Щепило, возведенный в чины покровительством Юрьи Патрикеевича, ничтожный угодник Софии. Жестокосердие и глупость ясно изображались на лице его. К этому присоединялось еще у него пьянство. Всякий вечер Щепило сильно напивался, окончивши обзор заключенных. Обыкновенно угрюмый и молчаливый, вечером он делался словоохотным и веселым, когда хмелина попадала в его голову. Видно было, что на сей раз Щепило начал гулянку до вечернего своего обхода. Он затворил за собою дверь темницы Ряполовских и важно сел на скамейку, стоявшую подле двери. Симеон взглянул на него и снова начал читать. Иван глядел на Щепилу и ожидал, что начнет он говорить.

Несколько раз потер лоб свой Щепило, отдувался несколько раз, и рожа его так была смешна, что Иван улыбнулся, смотря на него. Щепило сам засмеялся.

— Ну, что же, бояре? А, ну, что же? — сказал он.

«Да ничего! — отвечал Ряполовский. — Мы ждем, что ты скажешь».

— Я что скажу? Да также — ничего!

«Стало быть разговор у нас будет короткий. Нам теперь ничего не надобно и мы еще не ушли из тюрьмы, как ты видишь. Прощай!»

— Не ушли из тюрьмы?.. Да, ведь этого нельзя: ведь она заткнута моею головою. Ничего не надобно? Стало вы не пожалуетесь на меня, бедняка, чтобы у вас чего-нибудь не доставало? Стало вы мною довольны?

«Очень довольны, потому что нам ничего не надобно и мы ничего не просим...»

— Ну, так вы меня простите.. Что ж делать? Немного выпил — да так, с радости, с веселья...

«Что у тебя сегодня за веселье?»

— Не у меня, а в Москве. И есть о чем повеселиться. Великий князь, правда, плакал — ну, что делать! Расстаться с молодою женою, да с мягкой постели ехать на кровавую битву... Хе, хе, хе!

Симеон перестал читать и сделал знак брату, чтобы он разговорился с Щепилою. Иван решился поддержать

разговор. «Разве великий князь отправился куда?» — спросил он.

— Вы люди умные, бояре, и больше меня знаете! Хе! Где же нам знать с вашей!

«Положим и так, хоть похвальба мужу пагуба, почтенный господин Щепило; но ты забыл, что мы уже недели с две сидим взаперти, и кроме того, что от тебя слышали в это время, совершенно ничего не знаем».

— От меня слышали — сиречь я вам, бояре, не враг, а приятель, и все приятельски рассказываю. А вы сору за порог не выносите. Ей-Богу, бояре, бывало вы меня словом не достаивали, когда были в чести, а вот я вас, так всегда чествовал низким поклоном. То-то же: с тюрьмой, да с сумой никогда не бранись! А я, право слово, вас полюбил, полюбил за то, что вы такие добрые, смиренные, ничего не затеваете, сидите себе тихо и ничего не требуете. Я уж и Юрью Патрикеевичу об этом говорил. А он, право слово, вас любит, очень любит, бояре!

«Мы никогда ему зла не делали. За что же ему зла нам желать?»

— А что он не противился, когда вас решили в тюрьму заключить — нельзя же было ему, бояре! Я верю, что вы честные люди — да пало на вас подозрение, будто вы старому Юрию потакаете — нельзя же было вас защищать. Ведь подумали бы и о моем покровителе, князе Юрье Патрикеевиче, что он с вами заодно. Ну, уж лучше же вы пропадайте, нежели стоять ему за вас, да погубить себя! Но Юрья Патрикеевич несколько раз спасал вас после того от явной смерти. Еще вчера, как было поднялись против вас! Кричат: *«Давай нам Ряполовских!»* А особенно этот князь Туголукий: собрал толпу всякого сбродного народа, наговорил на вас, что вы злодеи, изменники, и заставил подле дворца кричать: *«Давай Ряполовских!»* Я сам тут же кричал. Да, право слово, нечаянно попался; шел мимо, народ бежит и меня за собой утащил. Я было хотел молчать, так — куда тебе — меня чуть самого не прибили! «Что ты не кричишь?» — стали мне говорить. «Видно ты Юрьевский? Видно потакаешь изменникам Ряполовским?» Делать нечего! Заорал и я: *«Давай Ряполовских!»*

«Что же сделал великий князь?»

— Ничего! Велел только разогнать нас палками: кто куда бросился, и я рад-радехонек был, что по-здорову уплелся. Хорошо еще, что народ палки боится. Чтобы ты с ним стал делать, если бы палка его не пугала?

«Мы видим, что ты не хотел нам зла,— сказал Ряполовский улыбаясь,— а в честном обществе, делать нечего,— надобно поддакивать. Говорят, что однажды, смотря на пример других, жид женился, а грек удавился.— Но ты не кончил своего рассказа о том, как поехал с Великим князем из Москвы Юрий Патрикеевич»,— продолжал Ряполовский, нарочно стараясь запутать Щепило в словах и выведать от него.

— Да, как поехал он,— сказал Щепило, забывшись и полагая, что он уже рассказал все предшествовавшее.— Но, он поехал, да не доехал... Ох! умная голова благодетель мой, князь Юрий Патрикеевич! Что же ему делать, когда Господь не назначил его от рождения быть воином? Он велик в Совете... Ну, овому талант, овому два...

«Овому ничего»,— пробормотал Иван, усмехаясь.

— Да, овому два. А кабы еще к советному, великому уму, да Господь дал храбрость Юрию Патрикеевичу— вот, как дал он ее Басенку, примером сказать, или Андрею Федоровичу Голтыеву...

«Голтыеву!»— невольно воскликнул Симеон и захлопнул книгу, но опомнился, развернул снова и без мыслей перебирал листы в ней.

— Так, кто бы тогда с Юрьем Патрикеевичем сравнялся?— продолжал Щепило, ничего не замечая.— А впрочем, теперь Басенок узнал, как его бабушку зовут...

«Басенок? Как же это?»

— Да, так: храбёр он, больно храбёр, да наскочил на лихого. Нет! видно с Шемякой-то не с своим братом— так его растрепали, что едва ноги унес.

«Добрый друг!— промолвил тихо Симеон,— но и тебя я не узнаю: ты *пережил* проигранную тобою битву!»— Симеон погрузился в мрачную задумчивость.

— И то сказать: видима-невидимая сила идет на них! От одних пожаров так светло бывает по ночам, что в самом дворе княжеском хоть деньги считай.

«И меня нет там!»— невольно воскликнул Иван.

— Нет?— сказал Щепило,— чего нет— все есть! Не только дружина пошла, не только сам Великий князь поехал, но и меды, и брагу повезли— шел, шел обоз из Москвы— конца не было видно...

Долго еще рассказывал и говорил Щепило. Ряполовские узнали от него множество подробностей о том, что после нечаянного разгона дружин московских Гудочником, посланы были послы к Юрию, а ночной разгон войска приписали колдовству; что с бесчестием прогнаны

были от него послы; что все князья удельные отступились и не вмешивались в дело, не шли против Москвы, но и не помогали Юрью, который быстрым натиском разбил Басенка. После сего, в буйной, пьяной Думе Великого князя решено было *защищать Москву*, и сам Великий князь отправился с многочисленною, но нестройною толпою, навстречу дяде, приближавшемуся от берегов Клязьмы в грозном ополчении. Между тем Москва волновалась; улицы в трети Юрья закинули рогатками; всякий москвич вооружался; стража, усиленная вдсятеро, беспрестанно ловила вооруженных и разводила драки.

— Да где им! — воскликнул наконец Щепило, — только бы изменщиков у нас не было, а то Великий князь развеет, яко прах разметает ветер, все тьмы врагов Юрья Патрикеевич сторожит Москву и велел уже приготовить хлеб-соль для возвращения Великого князя. Ведь завтра он, конечно, воротится с победою и с пленным дядюшкою своим, и запоем мы все: *Твоя победительная десница!* А послезавтра — чего мешкать... покатаются по площади головушки Юрья, и Шемяки, и Косого, и еще кое-чьи... — Щепило лукаво взглянул на Ряполовских.

«Умолкни, мерзостная тварь! — вскричал Симеон вне себя. Сердце его переполнилось. — Ты ли смеешь говорить о священных головах дяди и братьев великокняжеских!»

Хмель вдруг выскочил из головы Щепилы от испуга, в какой привели его слова Симеона и неожиданный переход из глубокого, неподвижного молчания в яростный гнев. — Что я разоврался тут! — забормотал Щепило. — Говорю о голове Юрья перед его сообщниками! Как бы убраться? Их двое, а я ведь один — правда, стража подле, но пока прибежит она, то меня уходят эти бесовы дети... — Он робко взглянул на дверь и рассчитывал, как может он в один прыжок быть за дверьми. Но к неопisanному ужасу его, Симеон, быстро вскочил, ухватил его за грудь, прежде нежели он успел опомниться.

— Князья, бояре! отпустите душу на покаянье — ради Христа! Тут ведь стража — зареву — все прибегут и искрошат вас в мелкие кусочки...

«Слушай!» — сказал ему Симеон.

Щепило от страха не мог промолвить ни одного слова. Какой подлец не робок? Щепило указывал только на дверь пальцем, давая разуметь, что тут, за дверью, находится стража.

«Слушай, Щепило! — продолжал пылкий Симеон, не внимая знакам его. — Выпусти нас! Чего ты хочешь? Зо-

лота — бери, я тебе дам — я тебя осыплю золотом — выпусти только нас — дай нам уйти — выпусти одного из нас, а другой останется у тебя в залоге...»

— Брат, любезный брат! — сказал Иван, отнимая Симеона от груди Щепилы, — опомнись! Что ты делаешь?

«Да, я в самом деле забылся — взялся за этого мерзавца!» — Симеон отряхнул руку, как будто бы держал в ней нечистую жабу.

Пользуясь этим, в один миг, со страшным криком, отворил дверь и бросился вон Щепило. Стража, испуганная криком его, кинулась в темницу Ряполовских. Щепило столкнулся с воинами и полетел со всех ног. «Батюшки! Спасайте: изменники бьют и бегут!» — заревел он во все горло. Но воины остановились, видя, что Ряполовские неподвижно сидят вместе, обнявшись, и что Симеон плачет.

— Кто кого бьет? — сказал один из воинов.

«Изменники, злодеи! Они подговаривали меня выпустить их», — отвечал Щепило, оправясь и поднявшись на ноги. «Пойдем, пойдем, — продолжал он, толкая вон стражей, — сейчас пойдем к Юрию Патрикеевичу; кандалы на них, цепи — казнить их!» — говорил он, замыкая дверь снаружи замком и стараясь вспомнить, что говорил он Ряполовским, и боясь, не наврал ли им чего-нибудь лишнего.

— Спасают Москву, не заботясь уже о спасении Великого княжества! — говорил Симеон брату. — Внук Дмитрия не мог отразить толпы бродяг, набранных крамольным дядею, когда дед его полтора-два тысяч воинов выводил в поле и в прах рассыпал с ними ополчения Орды! Горе нам! Семьдесят лет крамола не будила русских земель, но теперь возродилась она, как неукротимая злоба древнего змия, дьявола...

«На что раздражил ты неуместным гневом своим нашего тюремщика? Мы можем погибнуть...»

— Сил моих не достало более, и лучше, лучше погибнуть, нежели пережить бедственное наше время! Горе нам, брат! О! если бы я мог теперь стать хотя простым воином в ряды братьев! Владычице Богородице! *лук медян соделай людей твоих верных, избранных мышцы, и перепояши их силою и крепостию, Пренепорочная, с небес подая им силу!*

Шум и стук подле дверей темницы развлек внимание Ивана Ряполовского. Окошечко в двери, забитое железною решеткою, отворилось. Видна была голова Щепилы и еще какое-то другое зверообразное лицо. Как будто

боясь войти в темницу, Щепило говорил своему товарищу, указывая на Ряполовских: «Вот эти самые молодцы их первых придется — первых, говорю тебе: это самые злые сообщники окаянного Юрки, чтобы ему ни встать, ни сесть!»

Окошечко снова захлопнулось. Возведя очи к небу, сжав руки, погруженный в молитву, Симеон не слышал ничего, даже и увещаний брата. «Благоприменительный Господи, долготерпеливый и много милостивый, — говорил он, — податель всякия твари, словесныя и умныя, еже быти от не сущих всем даруяй, и еже добре быти, всемудре нам даровавый...»

— Он молится — слава Богу! — думал Иван, смотря на брата. — Молитва вытесняет отчаяние из души человека. Враги мои и брата моего! Если бы вы могли видеть его в сии мгновения! Как он выше вас, он, в темнице, молящийся за князя своего, скорбящий, что не может пролить крови своей за его спасение — вас, которые на золотых одрах своих согреваете в сердце своем измену...

Взволнованная душа Симеона утихала понемногу. «Брат! — сказал он, — ты видишь на мне тщету мудрости и разума человеческого! Я уговаривал тебя, юнейшего, быть мужественным и твердым и — первый поддался скорби и смертному греху отчаяния! Забыл я, что судьба князей и царей не судьба людей, и если волос с головы человеческой не падет без воли Божией — царству ли пасть без судеб его?»

Еще беседовали несколько времени братья и, спокойные совестью, предались сну. Уже светло было, когда вдруг громкий звон набата поразил слух их. Мимо окон скакали, как слышно было, всадники, и в самых переходах, мимо темницы заметны были беготня, шум и топот. «Слышишь ли, брат?» — сказал Симеон, поднимаясь с бедного одра своего.

— Я уже давно слышу, но не хотел будить тебя.

«Что же это значит? Смерть ли нашу, или гибель Москвы? Но во всяком случае князю тело, Богу душу... Спокойный перед судом человеческим, суда ли Божия устрашуся? *Возстани, возстани, душе моя! что спиши?*» Но грусть снова омрачила просветлевший на мгновение взор Симеона. Со слезами на глазах взглянул он на брата и сказал: «Жаль матери — останется старушка сиротою...»

Они замолчали и прислушивались. Набат гудел в Кремле, медленно и уныло; скоро и в других местах повторился звон его. Подле окна тюрьмы слышен был в то

же время шум и крик толпы... Вдруг замок на дверях темницы Ряполовских зашевелился, тихо, тихо — дверь отворилась и — Щепило вошел к ним. Робко, вежливо стал он у двери и низко поклонился заключенникам.

— Князя-бояре,— сказал Щепило, видя, что Ряполовские начинают с ним говорить,— будьте милостивы, жалостливы — простите грешного меня, если я чем изобидел вашу боярскую честь! Простите, ради самого Создателя! — Он еще раз поклонился.

«Не опять ли выпил ты лишнее? — сказал Иван Ряполовский,— или просишь у нас прощения, как просят его у мертвых?»

— Избави нас, Господи! Не тем будь помянуто — что нам до мертвых, когда ваша честь и слава теперь-то и начинаются! Даруйте мне такую милость, дозвоьте мне услужить вам: вы мне говорили вчера, чтобы выпустил вас, и сулили даже... Но, Господи избави меня от греха! А теперь, бояре — угодно только будь вам — я немедленно выведу вас из тюрьмы.. Не забудьте только моей сильной послуги.— Он снова низко поклонился. Недоверчиво взглянули друг на друга Ряполовские.— О! Не бойтесь никакого злого умысла,— воскликнул Щепило, заметив недоверчивые взгляды Ряполовских.— Нет, бояре! Царство нечестивых прешло, и Москва скоро возрадуется под властью законного Великого князя!

«Что ты говоришь?» — воскликнул Симеон.

— Набат лучше меня говорит вам, бояре, что царство Василия кончилось.

«Как? Он убит?» — хладнокровно спросил Симеон. Великость бедствия, после всего испытанного им, не только не воспламенила души его, но, казалось, подавила ее, как тяжелый, надгробный камень, поставленный на горестях и радостях человека, подавляет их и заставляет безмолвствовать холодный труп его.

— Если бы убит, так все хоть с честною смертью можно бы его поздравить,— отвечал улыбаясь Щепило,— а то и этого нет! Он и вся его пьяная сволочь бежали, бежали без оглядки от мечей Великого князя Юрия Димитриевича! Ох! в эту ночь такие чудеса наделались, бояре, что кажется и вовек не слыхано!

«Что же такое сделалось?» — спросил Симеон, тихо встав с одра своего и начав ходить по темнице медленными шагами.

— Вчера был в Думе Василия такой шум и спор, какой бывает у баб торговок на блинном базаре. Хватились за ум народы православные — вздумали идти на-

встречу Великого князя Юрия Димитриевича... Явная милость Божия: ослепило умы их! Да и кому было умничать-то? Не этому ли Юрию Патрикеевичу, с его литовскою четырехугольною головою? Не самому ли князю Василию? Сказали ему, что он должен предводительствовать ратью, так он едва не растаял от слез, прощаясь с молодою княгинею. Толпа сволочи поплелась за ним, да только что дорогою грабила, да буянила. А между тем в Кремле, тайно, уклали все на возы, и в самую полночь Василий прискакал назад верхом, запрягли лошадок и покатались возики из Москвы, с князем и с княгинею. Хорош воин: на врага идет, а животы в запас убирает!.. За ними кое-как убрался еще кое-кто...

«Что же Москва?»

— Господи! Как узнали к утру в Москве, да как зашумит народ — своя воля — дружин воинских нет! Слышите, как трезвонят в набат? Ведь это простой народ разгуливает — бежит его в Кремль столько, что и счету нет! Стража осталась только что у дворца великокняжеского — стережет Софью Витовтовну — будто для почести, а в самом-то деле для того, что когда не успела старушка убраться, так теперь ее и не выпустят, а с рук на руки передадут Великому князю Юрию Димитриевичу. Только бы успела она дожить; ведь она на одре смерти, совсем не встает, и видно ей придется встречать добрых гостей, или отправляться в гости самой!

«Бедная мать! — прошептал Симеон, — понимаю твою скорбь...»

— Бояре и князья, одни сошлись в Думу, другие отправились с повинною головою к Великому князю Юрию Димитриевичу. А Туголуцкий смышленнее всех — бросился готовить хлеб-соль и хочет у самых Фроловских ворот встретить князя; другие не знают, куда деваться...

«Чего же ты хочешь от нас?» — спросил Симеон.

— Ведомо, что вы были всегдашние радушники правой стороны и стояли за нашего, законного Великого князя, Юрия Димитриевича, за него терпели, в тюрьме насиделись, чуть головы не сложили. Велика честь будет вам от него. Теперь в суматохе никто и не вспомнит о вас — всякому до себя! Я поспешил сюда, чтобы освободить вас. Идите, добрые, милостивые бояре, примите старшую власть, пока пожалует к нам сам Великий князь. Стоит вам появиться, так все замолчит перед вами. Все теперь головы потеряли! В народе сумятица, крик, шум. Иные из простонародья поговаривают поднять на щит дворец; другие грозят Боярской думе; третьи кричат, что

надобно выместить зло на сообщниках Василия, ограбить дома бояр его, а между тем заваривают в набат, пьют, разбили княжеский погреб — мелькают и огоньки кое у кого — спасибо, что еще, кто поумнее из народа, так угорваривает других не буянить, а то давно подняли бы дым коромыслом!

«Стало быть, народ признаёт Юрия? Чего же вам всем бояться?»

— Да, оно так, что нельзя признать законного владыку — но, правду сказать, бояре, народ-то ведь глуп: и не разберешь, что он шумит. Пока Юрий Дмитриевич пожалует, так над Кремлем панихиду успеют отслужить. Ведь у всякого из нас есть свои животишки, малы, велики — ну, и жёнушки, детишки. Смилуйтесь, бояре! Вас народ любит — выйдите, гаркните о Великом князе Юрии, сладьте думу!

«Но Юрья Патрикеевич, но Старков, но Василий Ярославич! Где же девались все они?»

— Василий Ярославич уплелся за Василием, а другие — коли правду вам истинную сказать — все прислали меня к вам, как радушникам, любовникам Великого князя: примите все под начало и уладьте мир и согласие.

Жар вступил снова в лицо Симеона. Чувствуя это, он скрепил сердце и сказал Щепиле:

«Если точно прислан ты от князей и бояр, то поди и скажи им, что Рязполовские из тюрьмы своей нейдут. Если же все налгал ты на князей и бояр, то вспомни, что ты давал клятву и целовал святой крест Великому князю Василию Васильевичу; что муж, ломающий клятву, потребится от земли, как червь непотребный, а на том свете будет висеть над огнем неугасимым, повешенный за орудие преступления своего — язык, который, по гражданскому правилу, должно у каждого клятвопреступника ископать и вытянуть с затылка. Вот тебе мое слово, и не смей оставаться здесь более, или произносить еще что-либо предо мною!»

— Он помешался от радости, — шептал Щепило, пятясь задом к двери и выпучив глаза на Симеона. — Но все-таки не должно оскорблять его. Даром что он с ума сошел — быть ему в великой чести у Великого князя Юрия Дмитриевича! И теперь я не понимаю уже, что он говорит — каково же заговорит он, когда на ум-то взойдет — тогда наш брат не поймет его речей, хоть три дня слушать будет.

«Суета суетствий всяческая суета! — воскликнул Симеон, оставшись наедине с братом. — Я предвидел твои

бедствия, юное чадо, отрасль доброго корени, но плод еще недозрелый! С добрым советником и великого стола додумается князь, а с злым советником и малый стол утратит. Сбылись слова Пророка: «И устави Господь слово свое, еже глагола на нас и на судей наших, судивших во Израили, и на цари наши, и на князи наши, и на всякого человека Израилева и Иудина — навести на ны зло велие, еже не сотворися под всем небесем, яко же сотворися во Иерусалиме!»

— Но я еще не опомнюсь от всего слышанного, — сказал Иван Рязановский. — Как? Две недели тому, сильный князь Московский повелевал Русью; все князья русские, как данники добрые, собирались к нему и веселыми гостями пировали на его свадьбе, и враги его были его друзьями... Две недели — и где власть? Где друзья? Где дружины воинские? Он — беглец из родительского наследия; мать его в плену; подданные ослушники, вельможи изменники, друзья и враги или предатели!.. О, моя отчизна, святая Москва!

«Щепило приходит к нам потому, что нас почитают в Москве главными предателями своего князя! — сказал Симеон. — Ищут средств, как измену свою и клятвopеступление сделать еще более отвратительными! А совесть, суд Божий, правота? Святитель Иоанн! право и мудро говорил ты псковичам: *Отдайте нелюбие ваше, дети, зане же видите, уже последнее время наступившее...* Нет, нет! никогда предки наши и отцы наши не знали этого бесстыдства, этой наглости порока, с какою всюду выставляет он ныне главу свою и все заражает своим смрадным дыханием...»

Симеон остановился, замолчал и, казалось, в звоне набата, не перестававшего греметь во многих местах Москвы, слышал подтверждение слов своих. Он поднял руку и как будто сам с собою говорил: «А князи наши? У меня крепко врезались в душу слова старого летописца, слова, великой мудрости исполненные: «Сбывается слово евангельское, яко же сам Спас во Евангелии рече: *в последние дни будут знамения велики на небеси, и глагове, и пагубы, и трусы, и восстанет язык на язык!* И се ныне, братие, не зрим ли восставших? Се бо всташа ратующе, ово татарове, ово же туркове и инде же фрязове — и правоверный князь на брата своего или на дядю кует копие свое и стрелами своими стреляет ближние своя... Понеже последнее время приходит!..»

Он умолк. Но набат не умолкал.

Глава III

Я с страхом спросил глас совести моей...

Батюшков

Через несколько дней после описанных нами событий, в Архангельском соборе подле гробницы деда своего стоял Димитрий Красный, юнейший, прелестный сын Юрия Димитриевича, и молился. Слабо проникали в мрачное, ветхое здание собора лучи солнца, ярко сиявшего в небесах, как будто показывая собою символ божественного, которое — там, в далеких небесах, горит несгораемым, незаходящим солнцем, а здесь, на земле, во мраке страстей и сует, только теплится свечкою перед Образом Предвечного! Архангельский собор не вмещал еще в себе тогда целых поколений владык России; гроб несчастливца Шуйского не стоял еще там, рядом с гробами царей Михаила и Алексея, и грозный Иоанн не почивал еще наряду с юным Петром императором и двумя царями Феодорами. Но уже обширная могила предназначена была в сем соборе грядущим поколениям князей; один ранее, другой позднее должны были они успокаивать кости свои здесь, в стенах храма, тесными рядами ожидая гласа трубы судной! Уже там, подле древнего гроба Калиты, почивали Симеон Гордый, Дмитрий Донской, Владимир Храбрый, Василий Димитриевич и братья его Петр и Андрей.

Быстро и неожиданно вступил в собор Шемяка. Взглянув на него, Димитрий Красный изумился выражению лица и не знал, что волнует брата его — гнев или отчаяние? Глаза Шемяки пылали, щеки горели, грудь вздымалась от тяжелого дыхания. Небрежно, без внимания, перекрестился он перед святыми иконами и угрюмо подал какую-то монету соборному дьячку, на свечу. Потом повернул к западным дверям Собора, неровными шагами подошел к гробу Донского и остановился в такой мрачной задумчивости, что не заметил даже юного брата, подле стоявшего.

«Счастливей князь! Зачем не твоя участь мне? — сказал Шемяка вполголоса. — Зачем, если твоей участи не суждено мне, не родился я простым князем... Простым воином-смердом быть лучше, нежели родиться князем, потомком Великого, славного князя, и томиться, подобно человеку, мучемому жаждою, хотя и по горло в воде стоящему!» Движение Красного заставило Шемяку опомниться. Он увидел брата, внимательно устремил на него взор.

ры и сказал: «Ты, как совесть, как ангел-обличитель, являешься мне в минуты самых томительных страданий души моей!»

— Молю Бога, — отвечал Красный, — чтобы он сподобил мне, грешному и тленному человеку, уподобиться ангелу благодатным действием на душу твою, любезный брат!

Шемяка молчал.

— Не знаю, любезный брат, — продолжал Красный, — не знаю, что возмутило душу твою; но умоляю тебя не умножать уныния души, что есть уже грех пред Господом, еще большим грехом — ропотом на судьбу Божию. Ты сейчас укорил великого нашего деда близ гробницы его за то, что родился потомком его и князем; ты желал переменить свое высокое звание на звание презренного раба, смерда! Все люди суть равны перед лицом Бога, но, если ты завидуешь бедному счастью смерда, не уподобляешься ли ты тому богачу, о котором Пророк возвестил в притче царю Давиду, богачу, для угощения гостя отнявшему последнюю овцу убогого, когда у него самого были стада многочисленные?

«Да, я согрешил моими словами, — сказал Шемяка, задумываясь, — но я ли виновен?»

— Ты, без сомнения. Все исходит от Бога, все, *кроме греха*, который порождает сам человек. *Откуда брани и свары в вас? Не отсюда ли, от страстей ваших, воюющих в душе вашей?*

«Брат, благодари Бога, что он даровал тебе душу, к которой, как к золоту ржавчина, не может пристать порок и грех! Не таков я: моя душа — океан, взрывааемый каждым мимолетным ветром! Такова судьба моя, что самое святое начинание обращается у меня во зло — и зло, и грех пристают ко мне, как мухи летят к трупу, которого не одушевляет жизнь! Дай мне жребий деда или дяди Василия, окружи меня теми опасностями, какие окружали их, но дай мне и то славное поприще, какое им предлежало! Что могу я сделать, тем более несчастливый, чем выше других я поставлен? Зачем было возвышать меня судьбам Божиим, когда я связан по рукам и по ногам — туплю меч в междоусобии и томлюсь среди крамол и низких хитростей, в которые увлечен, которых не могу отворотить!»

— Зачем же не удалишься ты от них? Зачем не оградишь себя молитвою от сует, презрением от крамол, доброю волею от хитростей?..

«Брат! ты не можешь судить о душе моей по своей душе, кроткой, согреваемой одною любовью и желанием в горний предел от мира... Знаешь ли ты, что раздражило теперь меня? Добродетельное, великое самоотвержение раба! Как низко стоял перед ним я — сын победительного князя, внук Донского! Ты слышал о Ряполовских, молодых боярах Василия? Подозрение, ни на чем не основанное, злоба товарищей, безрассудство тетки Софьи, были причиною, что за твердую защиту меня и брата в совете бояр их бросили в тюрьму и едва не лишили жизни. По занятии Москвы нами, я узнал все подробности дела, узнал, что Ряполовские могли уйти из тюрьмы и не пошли, страшась, что их обвинят в соумышлении с нами. Я спешил освободить их. Но отец и Дума его сначала противились мне, хотели сберечь Ряполовских, как людей опасных умом и мечом, хотели увлечь их к себе наградами или осудить на вечное заточение. Подобной боязни я не понимал; подобных средств я не умею употреблять. Твердо стал я за Ряполовских, выпросил им свободу и предложил им свою дружбу. И они не захотели ни благодарить меня, ни дать мне руки, как другу! Неизменчиво сказали они мне, что прежде готовы были отдать за меня жизнь, когда знали, что я не умышлял ничего против Василия и был ненавидим и гоним невинно, но что теперь видят они во мне врага своего. Зная, что князь их в плену, только тогда готовы они будут предаться отцу моему, когда Василий сам откажется от Московского престола и разрешит их от присяги, ему данной! Гнев закипел в душе моей — я укорил их неблагодарностию — они потребовали снова тюремного заключения! Я готов был обнять и — задушить их в одно время! И у Василия такие люди и среди двора, столь ничтожного, презренного, когда все пало и пресмыкается перед отцом моим — я должен остаться врагом Ряполовских, когда готов стать перед ними на колени; должен гнать их, увлеченный в бедственную крамолу отцовскую, когда в душе моей презираю сию крамолу, готов проклинать несчастную вражду честолюбия и виновников ее...»

— Остановись, брат! Что говоришь ты? Кто виновник? Отец наш! Его ли дерзнешь судить?

«Итак, что же я? Нож, слепое, бесчувственное орудие, которое употребляет несправедливая воля других? О, скорее, скорее на битвы — там, по крайней мере, душе легче, там, по крайней мере, свободнее дышу я!.. Здесь — и в храме Божием нет отрады душе и молитва не облегчает меня...»¹

Поспешно пошел Шемяка из собора. Красный остался, горестно и печально смотря в след его. «Душа Мсти-слава Храброго, ярость Романа Галицкого! — думал он, — что бы сделал ты, если бы одушевила его в прежние времена? А теперь он изноет от борьбы, и — да сохранит его Господь Бог! Да не падет он в беззаконие, увлекаемый дикою страстью и излишеством душевной силы!»

Надобна была молитва праведника Шемяке: он шел на совет нечестивый, в беседу злую, тлящую обычай благие!

В доме Юрья Патрикеевича, занятом теперь боярином Иоанном Дмитриевичем, сидели и беседовали Косой и боярин Иоанн.

Шемяка не любил боярина Иоанна Дмитриевича, но взор его, как взор василиска, окаменял кипящий дух Шемяки; ум боярина Иоанна смирал добрую, пылкую, неопытную его душу. Шемяка видел, что в боярине этом заключена была тайна победы и что только он один был в состоянии укрепить и упрочить власть Юрия и успокоить волновавшуюся Русь.

— Добро пожаловать, князь Димитрий Юрьевич, — сказал боярин, вставая из-за стола, за которым сидел рядом с Василием Юрьевичем Косым. — Просим садиться к нам и участвовать в нашей думе. Нам надобны теперь крепкие души, смелые умы, твердая воля. Всем этим обладаешь ты, по милости Божией. Просим садиться!

Все еще неуспокоенный, Шемяка поместился подле Косого, безмолвно сидевшего за столом.

— Мы говорили с братцем твоим о том, что нам должно теперь делать, — сказал боярин. — Он соглашается со мною, что удачная победа над врагом есть только слабое начало всего дела. Обстоятельства требуют работы, труда, и теперь не мечом, но умом должно действовать всего более.

«Признаюсь, боярин! — сказал Шемяка, — я не имею ни опыта, ни способностей к вашему думному делу. Рука моя всегда готова помогать; скажите: куда мне надобно понести войну!»

— Последние события могли уверить тебя, князь, что не всегда меч бывает нужен и не всегда можно им перерубить то, что запутывает ум людской. Чего лет шесть, или семь, добивался родитель твой мечом, то в шесть, или семь, дней было кончено, когда у Василия в думе не стало ума.

«И прибавь — когда мечи у него притупились, боярин,—сказал Шемяка,—прибавь это! Посмотрел бы я, что сделал бы твой и всесветный ум, если бы Василий умел сразиться на берегах Клязьмы, если бы воеводы его были похожи на Басенка, а вельможи на Рязановских...»

Боярин нахмурил брови, принужденно улыбнулся и продолжал:

— Спорить об этом, князь, теперь некогда, и весьма мне жаль даже, что ты поздно пришел и я не имею уже времени объяснить тебе все, что объяснял твоему брату. Он и я просим тебя верить, что мы думаем не на зло: хотим умирить Русь, всем учинить добро и потому надеемся мы, что ты не откажешься подкрепить нас своим голосом.

«Что же могу и что должен я делать?»

— Теперь назначен первый боярский совет у твоего родителя. Мы все идем туда, и должно чтобы правую речь нашу усилил и подкрепил твой голос, как только можно.

«Думайте,—сказал Шемяка,—я не отстану от вас».

— Этого и ожидали мы. Надобно тебе знать, что родитель твой, к горю нашему, весьма ослабел духом на старости лет. Кроме того, он управляется умом людей, приближенных к нему, а эти люди... не все одарены даром совета, если и не станем подозревать их в злом умысле. Напрасно говорил я ему, что и самый совет боярский вовсе не нужен и что дело решать надобно князю не с толпою, а с немногими. На большом совете только спорят по пустому, или соглашаются без толку, а дело не делается. Но родитель твой, как дитя, любителю тем, что почитая себя законным князем, может теперь показать все величие Великокняжеское. Надобно бы спешить управою дел, а он хочет еще разговаривать о всяком вздоре и заниматься обрядами. Дел у нас на руках необозримая громада: решение судьбы князя Василия Васильевича; договоры с Тверью, Рязанью и Новгородом; посольство к хану, а другое в Литву; устройство чиновничества в Великом княжестве — дела важные! Я сказал брату твоему, что если Морозов, любимец родителя вашего, получит первенство в думе — я не слуга ваш: хлеб насущный сыщу я везде — и у хана, и в Литве.

«Этому не бывать! — воскликнул Шемяка. — Морозова я терпеть не могу: он смутник, клеветник, и я не знаю даже, за что любит его отец мой!»

— Радуюсь, слыша твои добрые ответы,— сказал боярин,— и прибавлю еще к тому, что подозреваю Морозова в тайной измене.

«Он двадцать пять лет служил отцу моему,— сказал Шемяка,— и никогда не изменял ему ни в беде, ни в счастье».

— Измена измене разница,— возразил боярин,— я не обвиняю Морозова, но *подозреваю* только...

«Долго надобно бы тебе все изъяснять,— сказал Косой нетерпеливо,— а нам теперь всем некогда. Дело в том, любезный брат, что ты не должен отставать от нас и верить, что нам хорошо известны все обстоятельства. Морозов дурак, если не злодей. Воспитанный с отцом нашим, он умел овладеть душою нашего отца — но ему не быть — или нам не быть!»

— Согласен, потому что терпеть его не могу,— отвечал Шемяка.

Тут вошел к ним боярин с известием, что князь Юрий Дмитриевич скоро выйдет из молельни своей и пойдет в совет. Оба князя и боярин Иоанн поднялись с мест своих. Присланный боярин удалился.

— Что же Гудочник? Где же он? — сказал Косой.

«Не постигаю,— отвечал боярин Иоанн.— Ему давно надобно бы здесь быть. Или он обманул меня?»

— Гудочник? — спросил Шемяка.— Нельзя ли мне видеть его? Хочется узнать этого хитрого пролазу, который услужил нам лучше многих и о котором наслышался я, что он святой, что он колдун и — Бог знает что еще!

«Жаль, что он не явился теперь, а то, может быть, скоро его нельзя уже будет видеть. С ним, именно, пора кончить, князь Василий Юрьевич — так сделать, как я тебе говорил».

— Что же такое надобно сделать с ним? — спросил Шемяка.

«Надобно повесить его», — сказал боярин хладнокровно. Шемяка содрогнулся, а Косой улыбнулся, заметив его содрогание. «Ты еще не привык, князь,— сказал Иоанн, улыбаясь,— к государственным делам и так же боишься подобных пустяков, как набожная старуха боится согнать муху с носа, думая, что она по воле судьбы ей на нос села. Гудочник хитрый соглядатай и человек опасный. Всегда надобно, употребив таких людей для своей пользы, освобождаться от них».

— А что надобно делать с изменниками? — пробормотал Шемяка невнятно. Он молча простился со своими советниками и пошел.

— Кажется,— сказал Иоанн,— он будет наш?

«Для чего не поласкал ты его, боярин, какую-нибудь битвою? Сказать бы тебе, что мы пойдем хоть за Каменный пояс, завоевывать Великую Пермию, или полудночное Сибирское царство, которое, говорят, лежит на восток, далеко за Булгарами».

— В самом деле! Но неужели его, как ребенка, убаюкивать надобно? Кажись, князь, что мы обо всем условились? Помни, что о тебе идет речь и что именно тебе, а не отцу твоему, который, может быть, скоро переселится к отцам нашим, надобно радеть о Великом княжестве.

«Боярин! повторяю снова, что твои пользы неразлучны с моими».

— Ради Бога: настоять на том, чтобы родитель твой учредил отдельный совет и прогнал всю эту вздорливую толпу.

«Да!»

— Новгороду поход, Василию тюрьма, боярам его суд, со всеми другими пока мир, и ты соправитель отца.

«Аминь!» — сказал Косой, крепко обнял Иоанна и поспешно удалился.

— Конец ли моим заботам? — пробормотал Иоанн, оставшись один. — Теперь, когда все думают, что я превознесен честью и славою, меч судеб, может быть, висит на волоске над моею головою! Нет, Иоанн! не успокоиться видно тебе до могилы! Тщетно собираешь ты — кто подкрепляет тебя? Только Косой может еще несколько понимать твои предприятия; но его дерзость, гневливость, неопытность.. Горе, горе! А Шемяка? А Красный?.. Они ни к чему не годятся: один воин, другой монах! Несмотря на младость Василия я видел в нем признаки отцовского нрава... Теперь поздно возвращаться... О София, София! Для чего погубила ты себя и — меня!

Он вздохнул, отворил маленький поставец и налил в небольшую рюмочку из серебряной фляжки драгоценного и редкого тогда напитка. Это была: *живая вода*, как называли тогда хлебное вино европейцы, или *ракá*, как называли русские. — Голова у меня кружится, — продолжал Иоанн — последние дни в таких заботах провел я... Прежде, бывало, все ничего, а теперь старость дает себя чувствовать — пора бы мне на покой... Но что за мрачные мысли приходят ко мне в голову сегодня? Если бы только время, надобно бы сходить помолиться... Ну, Бог милосерд и долготерпелив! Он не то, что мы грешные...

В это мгновение, по задним дверям, вдруг вошел к боярину Иоанну Гудочник.

— Насилу ты, приятель, приплелся,— сказал боярин.— Добрые ли вести? Говори скорее!

«Если весть об измене можно назвать доброю,— сказал Гудочник с улыбкою,— да! Через час — письменное свидетельство вероломства его будет в руках твоих».

— Старик! я построю монастырь и ты будешь игуменом в этом монастыре, чтобы лучше отмолить грехи.

«Шутишь, боярин! Ты обещал мне также сказать добрую весть?»

— Твое дело кончено,— отвечал боярин, немного подумавши,— да, кончено: князья согласны и добрый старик Юрий не спорит. Хоть завтра можешь ты отправиться в Новгород к твоему любимцу Василью Георгиевичу и позвать его на княжество.

«Ты поспешил исполнить»,— сказал Гудочник, внимательно смотря на боярина.

— Ты видишь, что теперь и жить-то спешат,— отвечал боярин, отворачиваясь.— Особливо нам с тобой — долго ждать не должно! Вручи мне письмо Морозова и я обменяю его грамотою на Суздальское княжество.— Боярин остановился, как будто собираясь с силами. Гудочник не переставал смотреть на него пристально.

— Вот тебе Бог порукою и Пречистая его мать! — сказал наконец боярин глухим и дрожащим голосом.

«Бог страшно карает клятвопреступников! — сказал тогда Гудочник твердым голосом.— Благодарю тебя за весть твою, но скажи мне, боярин: от чего же Косой и вчера еще думать не хотел?»

— Разве Косой княжит в Москве? — сказал Иоанн угрюмо.

«Разве Юрий княжит в Москве?» — повторил в свою очередь Гудочник насмешливо.

— Я! — воскликнул Иоанн с нетерпением.

«А ты? — отвечал хладнокровно Гудочник.— Полно, так ли боярин? Ты мог бы отпилить голову Морозова и без письма его, если бы ты княжил. Боярин, боярин! то, что изрек ты мне — дело великое, а ты так легко все это выговорил! Бог страшно карает клятворушителя!»

— Я и без тебя знаю, что он карает,— вскричал с досадою Иоанн,— и сдержу клятву свою — *слово* свое, хотел я сказать...

— Нет! *клятву*, боярин! Ты призвал господ Бога и Пречистую Его Матерь во свидетели, а по слову Еван-

гельскому человек может называть словом только: *ей, ей, или ни, ни* — всякое другое слово есть уже клятва...»

— Письмо Морозова!

«Грамоту Василию Георгиевичу — только грамоту — и более ничего нам не надобно, ни людей, ни денег!»

— Дерзкий старик!

«Гордый боярин! Ты должен был наперед знать, с кем ты имеешь дело! Не бывать плешивому волосатым, не взойти песку хлебом и не провести тебе меня! Поди, узнай, что ты еще не знаешь, спроси: в чьих руках будет печать великокняжеская и кто засядет первым в думе Юрия? Товар у меня налицо — я готов продать его — от тебя все это зависит — и через час письмо Морозова будет в руках твоих!»

Он начал тихо отступать к двери, оглядывая боярина с головы до ног. Свирепо оглядывал его также боярин Иоанн. Видно было, что это два опасные соперники и что равно страшились они друг друга.

Стройно и величаво открылось заседание Великокняжеской думы в Кремлевском Дворце. Несмотря на быстрое завладение Москвою, походившее на набег, никогда, со времен Василия Дмитриевича, то есть более семи лет, не видано было такой сановитости в совете и во всех подробностях обрядов и учреждения. На великокняжеском престоле восседал теперь убеленный сединами старец; подле него, с одной стороны, сидели трое сыновей его, мужественные, смелые, величественные князья. В длинных рядах, по обеим сторонам около стен, сели бояре, князья откупные и сановники. Блестящие воины окружали комнату и стерегли вход, стоя у дверей. Лучшие ковры, дорогие подушки, редкие подзоры вынуты были из великокняжеских кладовых. Великолепие это, многочисленность и величавость собрания, и взгляд на самого Юрия, и детей его, внушали невольное почтение. Никогда юный Василий, сухощавый, невидный собою, не мог передать сердцам присутствовавших столь сильного чувства благоговения. Софья Витовтовна, присутствовавшая в совете Великокняжеском, всегда казалась в нем каким-то небывалым видением, и никогда не могли привыкнуть к ее виду, никогда и не умела она поддержать важности своего сана.

Впрочем, кто мог бы проникнуть в души собравшихся на совет Великокняжеский, кто, не ослепляясь блеском и наружным видом, умел бы смотреть беспристрастно, тот увидел бы и узнал с первого мгновения, как нестройно, несогласно, наскоро составлено было все это собра-

ние. Ковры, паволоки, подзоры взять из кладовой и положить, развесить близ престола было и легко и недолго. Но тут являлось странное смешение людей, лиц, мнений, отношений, характеров. Кто не покраснел бы от стыда, не потерявший еще способности краснеть, если бы произнесены были в собрании слова: *изменник, вероломец, клятвопреступник*? Впрочем, этой беды опасаться было нечего. Кроме того, что, где все виноваты, там никто не прав и, следственно, все правы, спрашиваем: кто осмелился бы сказать все сии слова, заставляющие краснеть? Наконец, удивительно гибкая совесть царедворцев умела уладить все слова и лица так же хорошо, как уложены были уборы, ковры, оружие, одежда. Все глядели благоговейно вниз, потупив глаза, сложив руки; седые бороды стариков были гладко расчесаны; русые и черные кудри молодых примаслены и разглажены. Уже найдены были приличные слова и выражения для того, чтобы говорить о воцарении Юрия, падении Василия, переходе бояр, войска и народа к новому князю и завладении Москвою. И надобно было приискать эти слова и выражения: все, кто заседал в совете Василия, были теперь в совете Юрия, все — кроме *Басенка, Ряполовских и князя Василия Ярославича*. Тут видны были Юрья Патрикевич, Старков, Ощера, Туголукий и с ними — Иоани Димитриевич и боярин Морозов, всегдашний наперсник Юрия. Страшное сомнение возникло было о том, где кому сесть; но Юрий прекратил его, объявля, что до его великокняжеского рассмотрения, все должны быть *без мест*, то есть не должны считаться местами. И что же? Честолюбие умело и тут отделить себе уголок! Все старые, почетные бояре сели ниже и оправдали пословицу: *унижение паче гордости*. В то же время разные партии и отношения размежевали все собрание на разные части. В одной стороне особенно собрались бояре московские, покоровшиеся Юрию и думавшие быть отличными за гибкость совести; в другой бояре звенигородские, гордые победою своего князя и думавшие торжествовать над московскими своею случайною верностью; в третьем месте молодые честолюбцы, надежные на то, что ими при перемене властителя заменят старых бояр; в четвертом люди, желавшие только того, чтобы их не трогали и дали им средство, как медведям в зиму, лежать спокойно в берлоге и сосать лапу.

— Прежде всего, мои верные, добрые сановники, князья, бояре и думные люди, — сказал Юрий, — возда-

дим единодушно хвалу единому победодавцу Богу, им же *царие царствуют и сильные творят правду*. Буди имя его благословенно, всегда, ныне и присно и во веки веков!

Он стал медленно креститься. Руки всех зашевелились, и с глубоким, набожным вздохом, многие вслух повторили слова Юрия. «Постой, постой,— говорит Туголукий соседу,— дай же и мне руку-то вытащить, да перекреститься. О дай, Господи! такое же долголетие и благоденствие Великому нашему князю, Юрию Димитриевичу, как тесно теперь в собрании нашем от великого множества людей, приверженных к нему душою и телом!» — проговаривал он вслух.

Туголукий не был выгнан из собрания; он исполнил свое намерение — поднес у Фроловских ворот хлеб-соль Юрию, поклонился ему при всем народе в ноги и теперь спокойно сидел в ряду с другими.

— Хочу означить победу правого дела и возвращение мне законного моего, отчаго и дедняго стола,— продолжал Юрий,— жертвою новому преподобному чудотворцу Сергию, его же святые мощи уже десять лет явлены миру пребывают. Духовный отец мой, игумен Савва, молил меня, да прейдет в основанный им Звенигородский монастырь, что на Сторожах. Исполняю его желание и вдаю богатый вклад в сию милую для меня обитель, которую почитаю моею, особенною, великокняжескою обителью. Но, да вознаградит обитель преподобного Сергия потерю сего святого мужа: умолил я старца Зиновия, гробового монаха, при мощах преподобного Сергия находившегося, принять звание настоятеля Троицкой обители. Начатый строением над мощами преподобного Троицкий собор повелел я, моею великокняжескою казною, выстроить велелепно, весь из белого камня и повелел расписать его корсунским писанием изографу Даниилу, и сопостнику его Андрею. Вдаю в обитель святого Сергия 5 сел, 6 приселков и 12 деревень. Подчиняю ей на веки веков: монастырь на Москве, что Богоявления Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; да еще монастырь Николай Чудотворец, в Дерязине, что в Переяславле, да еще Девичий монастырь, церковь Покрова Пресвятыя Богородицы на Хатькове, и по всем тем обителям игумен Зиновий избирает, управляет и ведает в церковных чинах, в монастырских строениях и во всем, духовне и телесне. Все сущие и сущия в обителях сих, да чтут его и да повинуются ему во всем, по Боге, без всякого прекословия; имеют же его честна, во всяком

опасении и порадовании, яко присного своего господина, отца, пастыря и учителя, зане обрели мы его во всем благоговении и чистоте, боголюбива, боящегося Господа, сокрушенна сердцем и приводяща себя во вся благая и спасительная дела. И отныне на веки вотчины, села, деревни, починки и весь быт святыя Троицкия обители Сергия Чудотворца тарханною грамотою освобождаю я от всякия посохи, ямского, тяглового, осмичного, косток, поженного. И все люди, кои суть обители сея, на яму с подводами да не стоят, ни лесу, ни камня не возят, ни конских и проезжих кормов не дают, полоняничных денег не платят, проводников татарских и немецких не ставят и в своры, на волки, лисицы, медведи и лоси не ходят, и ловчие, и охотники, и псары к ним не въезжают, станов у них не чинят, и собак у них не кормят. А куда кто поедет по делу обители, чернец или белец, водою и землею, пеш будет, или на коне, или в ладье — тамги и мыта, головщины и весного, медового и соленого, серебряного и медного, и оловянного никогда, ни с чего и никому не дает, безтаможно, безмытно, безпошлинно, без отзову, без отворота, поворота, подъема и явки. И люди монастырские пошлин и податей никоих не дают и городов не делают, тюрем не ставят и не стерегут, и целовальников к нашему государеву делу не отправляют, и никакого тягла не тянут, и к ямчужному амбару сору и дров не возят. И суд даю обители бессудный, как только им Бог по сердцу положит, и в смесном суде, не с монастырскими людьми, судит настоятель с братиею, а наместники наши, и волостели, и тиуны, и суд наш от всего отступаются. Кто с дерева ли убьется, в воде ли утонет, или водою кого мертвого принесет, или кого возом сотрет, или мертвого подкинут, или зверь съест, лошадь убьет, или кусом кто подавится, громом кого ушибет, или кто от своих рук утерется — все то судит Бог, да по Нем настоятель, а не я грешный, Великий князь Московский, Божию милостию.

Несколько раз останавливался и отдыхал по несколько мгновений Юрий, произнося свою длинную речь, в коей надобно было удивляться его знанию всех подробностей и мелочей тогдашнего законовещения.

«Слава и честь Великому князю Юрию Дмитриевичу!» — воскликнули все бояре и князья.

Тут по данному знаку введены были послы князей Тверского, Рязанского, Ярославского, Можайского, Вере́йского, Тарусского, Новосильского и других. Они успе-

ли уже приехать в Москву и как за несколько недель Василию, так теперь Юрию говорили о дружбе, мире, спокойствии, тишине, с клятвами на того, кто порушит первый крестное целование.

— Да не возносится никто же,— начал снова Юрий, когда послы князей вышли из места заседания,— да смирится всяк, и да помнит всяк власть свою преходящую, и пребывает в миролюбии, и тишине, и братолюбии, яко же заповедал нам Бог— хочу устроить я жребий моего племянника и судьбу церкви православных всей Руси.

Сии слова произвели сильное движение во всех присутствовавших.

— Задушевный советник мой, боярин Морозов, объявит вам, добрые мои советники, князья и бояре, волю мою,— продолжал Юрий.

Взоры всех мгновенно обратились на боярина Иоанна.

Молча сидел он до того времени и безмолвно и неподвижно перенес он сей общий взор и радостный шепот, раздавшийся в собрании, когда Юрий отозвался так горячо о Морозове, назвал его своим душеприказчиком, ни слова не сказав о боярине Иоанне. Иоанн знал, какое чувство произвело эту, убийственную для него радость: «Никто из нас, до *и не он!*» — такова была мысль, мгновенно пролетевшая между всеми. Иоанн не показал никакого знака оскорбления, когда после сего, мгновенно, лица всех обратились на Морозова, как будто на величественно восходящее светило. Заметно было, как на губах каждого вертится уже приветствие новому времени.

Торжествуя поднялся с места своего Морозов, низко поклонился Юрию и обратясь к собранию начал говорить:

«Волею Господа и молитвами святого чудотворца Сергия, даровал Господь победу на враги Великому князю нашему, Юрию Димитриевичу, покорил ему под ноги вся враги и супостаты. Племянник его Василий, сын брата Василия, и жена его, Васильева, Марья, и мать его, Васильева, Софья, преданы волею Божию ему Великому нашему князю и быют челом ему, просят о его княжеской милости. И он, Великий государь, милосердуя о племяннике своем, все вины его простил и пожаловал его: даровал ему удел, город Коломну со всеми волостями, сборами и пошлыны. И отпускает он его, Василия, в сей город, с женою его Марьею, и с

матерью его Софьею, и о сем да целует Василий крест честный: «Быть ему всегда в уделе Великого князя».

Изумление изобразилось на всех лицах. Никто не говорил однако ж ни слова. Морозов продолжал:

«А всем его, Василия, людям, кто захочет к нему, Василью, ехать и при нем быть, свобода ехать и при нем быть и пожитки свои, и поместья, и вотчины сбыть и перевезти до Петрова дня. А всем, кто не захочет у него, Василия, быть и к нему ехать, прощение и оставление всего, что было, и почитать все минувшее так, яко же и не бысть».

— Слава и честь Великому князю! — воскликнуло несколько голосов, но Морозов махнул рукою, все умолкли, и он продолжал:

«И да будет всем ведомо, что болезнующая об участи православной нашей церкви, сиротствующая без духовного пастыря и главы уже третье лето, святейший кир-Патриарх, Вселенский и Царяграда, нового Рима, благоизволил избрать Москве и всея Руси духовного пастыря и отца. Сей пастырь, будущий митрополит Руси, есть святой человек, муж веры и добродетелей, и златословия великий, архимандрит Исидор, присланный с грамотами к Великому князю. И сие избрание, внушенное Великому Святителю духом Божиим, князь Великий приемлет и благословляет».

Глубокое молчание следовало за сими словами. Неудовольствие изобразилось на лице Юрия, когда он увидел, что решение его о Василии не возбудило никакого восторга, а решения об участи бояр его и о будущем митрополите встретили даже холодный прием. Он побледнел, покраснел потом через одно мгновение; взоры свои робко обвел он по всему собранию и потом обратил их на Морозова.

«Так хочет Великий князь, и да ведает всяк его веление и волю, и да повинуется всяк его велению и воле!» — сказал Морозов твердым и грозным голосом.

Это привело еще в большее смятение всех, бывших в собрании, и самого Юрия. Он поднялся, благословил всех и сказал: «Да будет над всеми вами благословение Божие, и да идет всяк восвоюси в мире и тишине. Волю мою обо всем другом возвещу я в грядущие дни».

Все преклонились пред Юрием, кроме детей его, стоявших подле него, и чинно пошли вон из палаты.

— Он благословил нас, как митрополит.— «Да по бороде он и походит на него».— С ним житье будет хорошо.— «Что за князь Великий: какой благочестивый,

истинный христианин, кроткий, милостивый!» — Что же это было: совет или простой приказ? — «Молчи только и слушай». — Бог знает, лучше ли это будет! — Так перешептывались и потихоньку переговаривали между собою князья и бояре, расходясь из дворца.

Мрачно сидел во все время собрания Косой; яростно смотрел на Морозова Шемяка, когда Морозов говорил от лица Юрия, и беспокойно озирали лица всех Красный. Боярин Иоанн упорно безмолвствовал до конца заседания. Он подошел к Юрию, когда тот поднялся идти.

— Позволишь ли мне, князь Великий, поговорить с тобою? — спросил он хладнокровно.

«Ты мой всегдашний собеседник и опора моего совета», — возразил Юрий с заметным смятением.

— Мы о том же хотели просить тебя, государь родитель, — сказал Косой, едва скрывая свое бешенство.

«Идите со мною», — отвечал тихо Юрий.

В ближней комнате, подле большого стола, сел Юрий, утомленный продолжительным заседанием, и указал места Иоанну, Морозову, следовавшему за ним неотлучно, Косому и Шемяке. Никто из них не сел и все только поклонились.

— Я, признаюсь, устал, добрый мой боярин, — сказал Юрий, стараясь казаться веселым, — наше стариновское здоровье не позволяет того, что бывало делаешь в молодости, да и не думаешь уставать.

«Всеу время, государь», — отвечал Иоанн, не зная, как начать разговор после сих слов Юрия.

— То-то же и есть, — продолжал Юрий. — Премудро сказал пророк венчаный: время есть всеу и время всякой вещи под небесем: время рождать и время умирать, убивать и целить, плакать и смеяться, рыдать и ликовать, любить и ненавидеть...

«Милостивые слова твои, — сказал Иоанн, — показывают, что я еще не вовсе лишился твоей милости, государь».

— Ты лишился? Опомнись, боярин! Всегда будешь ты оставаться в любви моей.

«Позволишь ли и мне с братом того же надеяться?» — спросил Косой.

— Можете ли вы сомневаться в любви вашего родителя? — отвечал ему Юрий. — Дети мои, дети мои! Для кого же я и забочусь? Для кого же стараюсь о мирском деле? Истинно, мне самому ничего не надобно — для вас. Други мои любезные, все это делаю я для вас!

Косой казался растроганным словами отца, в которых видна была открытая душа его. Он не знал, как продолжить разговор, но Иоанн предупредил его.

— Дети твои и я, раб твой, государь,— сказал он,— могли усомниться после всего, что недавно видели и слышали мы в совете.

«А что же я сделал богопротивного или такого, чем мог оскорбить вас? — спросил Юрий с явным замешательством.— Дела мира, дела тишины, дар святой обители, прощение вины...»

— Почему же, государь, не угодно было тебе сказать все это предварительно — не говорю мне, которого однако ж удостоивал ты своей доверенности, который имел счастье оказать тебе некоторые услуги и полагает за тебя жизнь и голову свою — но даже и детям твоим? Думая быть призванными на совет, с изумлением услышали они уже окончательное твое решение!

«Я советовал об этом и решил все это с совестью моею,— отвечал Юрий, краснея,— по слову Евангелия, что о таких делах не должна ведать шуйца, что творит десница».

— Позволь мне сомневаться, государь, и думать, что к совести твоей присоединялись-таки и людские советы и что внушения людские способствовали твоей решительности.

«Я никому не обязан давать отчета в делах моих. Господь, увенчавший меня победою, внушает мне думу, и я поступаю так, как хочу!» — сказал Юрий, стараясь показаться суровым, когда увидел, что ласковость его не помогает.

— Но ты сейчас говорил, что трудишься и мыслишь только для сынов своих, государь? Если так, то неприлично было тебе поступать с достоинством твоим и с ними, как будто только о самом себе и ни о ком другом ты не помышляешь.

«Я повторяю тебе, боярин, что в моей воле никому отчета не даю!»

— Ты не так говорил прежде, государь,— возразил Иоанн, едва удерживаясь от гнева,— я, прости мне, не узнаю тебя! Молю Бога, да сохранит он тебя от гордости и ослепления. Конечно, Бог дарует победу, но — вижу, что я более не боярин и не советник твой.

«Воля твоя, боярин,— сказал Юрий, раздраженный словами Иоанна.— Что же? Не в первый раз тебе перемывать властителей — Русь велика!»

Морозов улыбнулся с видом самодовольства. «Ты чему смеешь осклабляться?» — воскликнул Косой, заметив его коварную улыбку.

— Я не осклабляюсь, — отвечал спокойно Морозов, — но дивлюсь, как мудрость твоего князя умеет проникать души и сердца.

«А я тебе объявляю, что если еще осмелишься ты удивляться этому, то я удивлю тебя гораздо сильнее!» — воскликнул Косой.

— Василий! Ты опять забыл мои слова; опять дерзаешь ты в моем присутствии своевольствовать! Долго ли мне прощать твою дерзкую буйность? Долго ли извинять добротою сердца твой дерзкий язык? — сказал Юрий.

«Государь! — отвечал Морозов с оскорбленным видом, — я не смею быть причиною гнева твоего на князя Василия Юрьевича. Знаю, что я давно заслужил его негодование, хотя и не понимаю чем. Уже давно просил я уволить меня от дел и устранить от твоей доверенности — прошу тебя еще раз....»

— Государь! — сказал Косой, — гневайся на меня, как тебе угодно, но я дерзаю открыто сказать перед тобою, что с этим лицемером я не могу быть вместе. Пока дело шло о небольшом твоем уделе, он мог еще быть при тебе, но теперь, когда судьба всей Руси возлегла на рамена твои — не таких советников тебе надобно!

«Ты, кажется, хочешь мне самому указывать?» — воскликнул Юрий.

— Избави меня Бог! Но ты сказал, что заботишься о детях своих, и я, как старейший сын твой, думал, что имею право советовать и говорить. Прости же меня — я удаляюсь — твори, как тебе скажут твои советники, или — внушит Бог... — Косой насмешливо улыбнулся.

«И мне, государь! Позволь также удалиться», — сказал Шемяка.

— Прости мне, государь! — вскричал Морозов, — отпусти лучше меня, да не разлучатся с тобою дети твои! — Он упал на колени и поцеловал руку Юрия.

«С меня, государь, начать тебе должно, — сказал Иоанн. — После слышанного мною от тебя, бесчестно было бы тебе держать меня!»

Слабый Юрий решительно смешался. Он совсем не воображал, что должен вытерпеть нападение, столь дружное и сильное. «Встань, боярин, и молчи! — сказал он Морозову. — Боярин Иоанн! Право, я не помню, что сказал тебе. Прости меня, старика, если оскорбил я тебя неосторожным словом. Истинно, это без умысла!» Он

протянул к нему руку. Иоанн почтительно поцеловал се. «Государь! — сказал он, — жизнь и кровь моя тебе посвящены навеки!»

— Ты сам начал мне говорить что-то не по нраву.

«Берегись тех людей, государь, которые только *по нраву* говорят тебе, и береги тех, кто говорит смело *против тебя*».

— Дети мои! — сказал Юрий, — обнимите меня — забудем все, что было! — Холодно подошли к нему оба сына. — Ты, Василий, удерживай однако ж свой язык, ради Бога! Ей, ей! хоть и не от сердца идут речи твои — это я очень хорошо знаю — но часто оскорбляют меня. Ну, да благословит вас Бог! Скажите, друзья мои, что вас так оскорбило? Правое слово, что любовь и доверенность моя к вам нисколько неизменны!

Видно было, что он говорит это от чистого сердца. На этот раз очередь торжествовать перешла на строю Иоанна. Морозов, скрывая досаду, кусал губы. Он видел, что тайная работа нескольких дней могла уничтожиться в несколько мгновений; видел, что пылкость Шемяки, свирепость Василия, хитрый ум Иоанна соединенные вместе составляли такое препятствие его уму и власти над душою Юрия, которое едва ли можно будет ему преодолеть.

— Скажите, что оскорбило вас? — продолжал Юрий. — При помощи Божией, все дело устроилось: Москва наша, враги рассеяны, все покорно!

«Скажи, государь, — начал Иоанн, — кто присоветовал тебе скрыть от нас твои распоряжения об участии Василия, бояр его и избрании митрополита?»

Юрий не знал, что отвечать. «Признайся, государь, родитель мой, — сказал Косой, — что ты наперед не ожидал одобрения нашего на все сии распоряжения и потому скрывал их?»

Как дитя, пойманное в шалости, Юрий оробел и полушутливо отвечал: «Что же? Признаюсь! Я чувствовал в совести моей правоту всех сих распоряжений, но знал, что вы не одобрите их, и решился, не говоря вам, исполнить их, чтобы нельзя уже было возражать...»

— Государь! — сказал Иоанн и, не кончив речи, захватил рукою голову и платком рот. Косой боязливо обратился к нему. Все были встревожены внезапною переменою его лица.

— Ничего, ничего! — сказал Иоанн. — Труды и заботы обременили меня в последнее время. Это пройдет! Позволь мне сесть, государь!

«Зачем же запускаешь ты свою болезнь? — сказал Юрий. — Береги здоровье, после души, всего более на свете! Не пойти ли тебе успокоиться?»

— Ничего, ничего, государь! Не беспокойся обо мне — это пройдет. У меня голова немного кружится. — Иоанн не смел сказать, что кровь идет у него горлом, и скрывал свою тяжелую боль, одного боясь, чтобы Морозов не порадовался его страданию и чтобы не упустить благоприятного случая, когда можно было разрушить все предприятия сего опасного соперника.

«Признаюсь, что первую мысль о прощении Василия и о даче ему Коломны, — продолжал Юрий, — внушил мне один мой доброжелатель. И как же было мне поступить иначе, отнявши у него отцовское наследие? Неужели не дать ему и куска хлеба?»

— Но разве он давал его тебе и нам? — сказал Косой. — И нам, и тебе не было от него нигде житья и вновь грозило нам даже гибельное умышление на жизнь!

«Послушай, любезный мой сын Василий, ведь все это так *говорится* для людей — между нами будь сказано. А собственно, враждовали мы все, отнимали друг у друга, что могли. И теперь, когда решительно Бог дал нам победу, когда власть наша так крепка, все нам так послушно, все так хорошо уладилось — стыдно было бы нам не оказать победительного великодушия!»

— Первое правило для государя, — сказал тогда Иоанн, собравшись с силами, — должно быть правило государя, а не простого человека. Величайшее различие должно полагать между тем и другим. Высокая доброта и великодушие твое, государь князь Великий, видны из твоих дел и речей. Но позволь мне сказать, что, как государь — ты поступил весьма неосторожно, готовишь себе погибель и смотришь на настоящие обстоятельства несправедливо!

«Вот видишь, боярин, — сказал Юрий, добродушно обращаясь к Морозову, — я тебе тоже говорил, что мы затеяли не совсем ладно!»

Морозов покраснел, видя, что простодушный Юрий, совсем не думая об этом, выдает его на жертву врагам. Взоры Иоанна, Косого и Шемяки устремились на него, и он невольно содрогнулся, замечая ненависть и подозрительное презрение, какое выражали сии взоры.

«Государь! — сказал Морозов, закрывая веками глаза, покачивая головою и смиренно преклоняясь, как всегда он делывал, говоря со знатными, — когда тебе угодно было спросить моего совета, я представил от искренней

души причины, сильные, которые убедили тебя поступать так, как поступил ты. *Во-первых*, если теперь разбирать вины и казнить виновных, то кто окажется прав? Не лучше ли усвоить себе сердца всех полным, неизъемлемым всепрощением? Такое милосердие важно будет и в глазах народа, ибо народ, утомленный ссорами, нетерпеливо ожидает правления мирного и кроткого, жаждет спокойствия и тишины. Благодеяние твое привяжет к тебе самого Василия неразрывными узами благодарности, когда он ясно видит уже, что бороться с тобою у него нет сил, и когда он будет лишен дружин и советников. Кроме того, бывши в Коломне, он всегда в глазах, и если бы у него возникла какая-нибудь тайная, злая дума, то не успеет он вверить ее своей подушке, не только другому человеку, как ты будешь уже иметь средства предупредить его! И чего бояться тебе, победителю, обожаемому народом, почитаемому князьями?»

— *Мерзость пред Господом уста льстивы, а князю пагуба!* — воскликнул Иоанн, перебивая слова Морозова. — В таком ли виде должен ты представлять положение государственных дел в настоящее время, советник близи-рукий и косо́й, если не... — Иоанн остановился.

«Но что же находишь ты несправедливого в совете Морозова, боярин? — спросил Юрий недоверчиво и робко. — Разве народ не любит меня в самом деле?»

— Ни то, ни сё, и об этом я ничего не скажу, государь!

«Как? Разве не кричал он радостно при моем появлении, не бежал мне навстречу, не приветствовал меня повсюду, где только являлся я?»

— А за две недели также кричал он Василию, государь; также побежит он и за тем, кто исторгнет у тебя власть! Крик и шум толпы ничего не значат, но важно, государь, то, что в тебе нравится народу твоя величественная старость, близость твоя к Димитрию, которого всегда любит он за Куликовскую битву, забывая все его ошибки и остальное несчастное княжение. Это, государь, должно тебя укреплять, исторгнув из памяти народа все, что разделяет твое княжение от княжения отца твоего. Надобно притом ослепить глаза народа новостью, блеском; надобно самому тебе явиться в каком-нибудь суде перед воинскою дружиною, срубить две, три головы у каких-нибудь судей-взяточников и высечь кнутом несколько сборщиков податей. Все это легко тебе сделать можно: взять первых, какие попадутся, и всего лучше нелюбимых народом. Народ закричит тогда о твоём правосу-

дин. Кроме того, сложи какую-нибудь подать, раза два, три созови к себе почетных людей из простого народа и уговори их согласиться на то, что ты им прикажешь. Они заважничают и прокричат на всю Москву о твоей благодати и о своей значительности. Можно еще раза два покормить и попоить толпу народную. После всего этого ты будешь крепок со стороны народа и видя жезл в руках твоих он станет кричать повсюду о любви к тебе. Но, все это безделица, государь! Приобретаемое столь легкое, ничего и не стоит. Опасность твоя не здесь. Что хочешь ты делать с князьями самовластными? Вот важный вопрос».

— Избави меня Бог покушаться на их добро! Кто чем владеет, тот тем и владей, с Богом!

«Это никуда не годится, государь, и потому-то напрасно ты согласился на их дружеские послания и велел заготавливать мирные грамоты. Надобно было отвечать им не миром, ни войною, стараться унижить их перед властью Москвы, перессорить их, и потом отнимать попеременно все, что тебе нужно».

— Могу ли,— воскликнул Юрий,— когда они так дружески предаются мне!

«Здесь я буду говорить тебе совсем не то, что говорил тебе о народе. Народ уподобляется смирной корове, которая иногда бодает, а удельные князья — волкам, которых сколько ни корми, а они все в лес глядят. Их надобно травить собаками, собак же этих кормить волчьим мясом. Видя, что ты хорошо понимаешь их и будешь держать в руках, они все сами прибежали бы к тебе опрометью, купили бы у тебя мир, а теперь — ты уступил им мир, не выгадав себе ничего. Нерасчетливое дело, государь!»

— То есть,— осмелился сказать Морозов,— надобно было ожесточить их, заставить их передаться к Василию...

«Какое невегласное рассуждение, государь! — воскликнул Иоанн. — Можно ли ожидать общего союза между Тверью и Новгородом, Рязанью и Ярославлем, когда ты будешь уметь накормить ярославцев рязанцами, а тверитян новгородцами! Василий, правда, такая болячка, на которую всегда слетятся мухи; но потому-то я и не одобряю поступка твоего с Василием, государь! Эту болячку надобно было *вырезать и выжечь*, а не согревать под удельною шубою».

— Как? — вскричал Юрий, содрогнувшись.

— «Так, государы! Пока *жив* Василий, ты не тверд на престоле».

— Ты думаешь, что ему не *надобно* было отдавать княжества и свободы?

«Более, государы!»

— Неужели ты думаешь, что *надобно* было...— Юрий не смел договорить.

«О таких делах *не говорят*, государь — их только *делают*...»

— А его мать? Его жена?

«Для них есть монастыри, где за временное княжество приобретут они царство небесное...». Иоанн хотел улыбнуться, но жестокая боль заставила его остановиться. Юрий со вздохом обратился тогда к сыновьям своим.

— И вы, дети мои, и вы также думаете? — сказал он, прискорбно смотря на них.

«И мы, государь родитель, также думаем», — сказал Косой твердым голосом.

Казалось, что Юрий искал отрадного голоса. Он обратился к Шемяке.

«А ты, Димитрий?» — спросил он.

— Государь родитель! Или не должно было приступить к чаше, или *надобно* пить ее до дна...— отвечал Шемяка в замешательстве.

Юрий уныло опустил голову. Но вдруг он снова обратил глаза на Иоанна. «Ну, а поступок мой с боярами Василия, Иоанн Димитриевич?» — спросил Юрий быстро.

— Внушен тебе добрым, незнающим людей сердцем твоим, государы! Ты мог даровать им жизнь, только *жизнь*, но даже не должен был давать свободы. Москову *надобно* было вымести от этого сора, от этих пустых голов, глупых бород, которые теперь сели тебе на шею. Строгость к боярам порадовала бы народ. И чего ждешь ты от них? Если *надобны* тебе толстые пузаны и длинные бороды, то разве мало их у тебя своих? И почему не кликнул ты кличи из Твери, из Новгорода, из Рязани? Лучший народ понял бы тебя и перешел бы к тебе. Через это ты еще ослабил бы власть князей. Теперь же ты связал себе руки в Совете, посадив васильевых бояр. Попытайся: вели им теперь молчать и они оскорбятся и будут недовольны, когда просидев года по два в тюрьме на хлебе и воде они кланялись бы тебе в ноги за жизнь свою, а ты имел бы время устроить все по-своему.

«Но почему не одобряешь ты, боярин, выбора Исидора в митрополиты?»

— Кроме того, государь, что о нем идет в народе молва, будто он тайный сообщник Римского Папежа...

«Клевета!»

— Но народ должно уважить в подобных клеветах, и лучше тебе свалить десяток голов, любимых народом, нежели поставить над ним одну, им нелюбимую. Кроме того, государь, ты оттолкнул от митрополитства доброго Иону, которому давно голос народа присуждал сей высокий сан, когда еще был он просвирником в Симоновской обители. Подобные поверья народные всегда надобно уважать тебе, государь!

«Боярин! — сказал Юрий, задумавшись, — не это ли все греки называли *политикою* и не об этой ли страшной науке правления, основания которой ты высказал теперь нам, сказано: *эллины премудрости ищут?*»

— Не знаю, государь, как это называется по-гречески, но я передаю тебе плод опытности десятков лет, проведенных в делах государственных, слова усердия, дела ума, который, смело говорю, признали во мне самые враги мои! Я не прошу тебя верить моей добродетели, но только тому, что верность к тебе есть моя *необходимость*. Да! — продолжал Иоанн, разгораясь, — с падением твоим — я погиб, между тем, как всякий другой твой советник найдет милость и у Василия! Этой милости я не возьму — первый по князе, или ничто! Но мне нет уже спасения у Василия, и я не могу у него быть не только первым, но и последним — ссора моя с ним кончится только гробом...

«Но, почему знаешь ты, боярин, что гроб уже недалеко от тебя! Нам ли старикам...»

— Князь и советник его вечно юны! Ты знаешь, государь, что у князей *цветное платье не носится, добрые кони не ездятся и верные слуги не стареются*. Или о мире думать, или о гробе...

«Нет! — сказал Юрий, обратив глаза на образ, — нет! Я искал венца великокняжеского потому, что он принадлежал мне по праву. Я грешил пред Богом, употребляя иногда человеческую помощь, суетную; но, ни тогда, как покойный Владыка Фотий убеждал меня, ни тогда, как несправедливый хан присудил первенство племяннику, душа моя не переставала скорбеть пред Господом! И он услышал меня, и я княжу в Москве. Если для власти моей необходимы подобные тво-

им советы, боярин, я — отрекаюсь от власти и *царство мое несть от мира сего!*»

— Что же готовишь ты детям своим? — спросил нетерпеливо Косой.

«Не говоря еще об том, я прореку тебе, князь Юрий Дмитриевич, что ожидает здесь самого тебя, — сказал Иоанн. — Ты презираешь моими советами, ты хочешь княжить и не знаешь науки княжения — горе тебе! Знай же, что ты увидишь новые крамолы Василия, что ты узришь новые смуты князей, должен будешь или уступить им все, или восставить их на себя. Москва, обманутая ожиданием нового порядка, вознегодует, перейдет снова к Василию. Боярская дума твоя, волнующая взаимною ненавистью, первая предаст тебя. Как змеи хищные, обовьют тебя страсти и измены, крамолы и смуты людские, и ты с позором увидишь свое изгнание и... я не смею договорить!..» — он снова захватил платком рот.

— Что же готовишь ты детям своим? — снова спросил отца своего Косой.

«Мир и благословение, сильные, крепкие уделы, тишину отчизны, благоденствие подвластных», — отвечал Юрий задумчиво.

— А Великое княжество кому? — воскликнул Косой, бледнея.

«Слушай, сын мой. Был один предок твой — может быть, ты слыхал о нем — благочестивый Константин, и у него был брат Георгий, возведенный на Великое княжение волею отца, но незаконно. Скоро утратил Георгий свое достоинство и очутился пленником своего старшего брата. Что же Константин? Он не хотел мстить брату, бывшему его врагом и незаконно овладевшему престолом. Он простил его, призвал его к себе, благодеянием привязал его сердце и, умирая, с чистою совестью поручил ему Великое княжество с тем, чтобы два племянника Георгия, сыновья Константина, были сильнейшими по нем князьями. Георгию принадлежал престол после Константина — Константин свято соблюдал завет отцов. Константин мог лишить его хлеба, не только престола — Георгий помнил благодушие брата и свято хранил заветы братние. И благословил господь сих князей, и потомки Константина через двести слишком лет владеют доныне родными землями. И самого Георгия сподобил Господь венца мученического... Вот, что я готовлю вам!»

— О родитель мой! Такие-то думы скрываешь ты от нас во глубине души своей! — возопил Косой. Он обратился к Морозову с пылающими от гнева взорами: — Такие-то советы дерзаешь ты подавать отцу моему? — воскликнул он, дико смотря на Морозова.

«Изменник!» — возопил Иоанн удушаемым голосом, как будто собирая последние силы, и с яростью отнял он от уст своих окровавленный платок.

— Что это? Ты весь в крови? — вскричал испуганный Юрий.

«Да, горесть и гнев мой перешли все пределы! — сказал Иоанн. — Кровь течет из меня и может быть предвещает мне близкую, близкую кончину... Государь! Боярин Морозов изменник — он имеет тайные сношения с Василием! Спешу сказать тебе...»

— И ты еще дерзаешь изрыгать хулы и клеветы, когда нечистая совесть твоя исходит вместе с твоею кровью? — воскликнул Морозов. — Государь! Видишь ли, как близок к человеку Судия Правосудный! — продолжал он, указывая на боярина Иоанна.

Иоанн не мог уже более говорить. Ослабевший, чувствуя, что кровь задушает его, он хотел выйти и упал без чувств на лавку — кровь хлынула из него ручьем...

«Иоанн! Иоанн!» — закричал с ужасом Косой, бросаясь помогать ему. Иоанн пришел в чувство.

— Вели отнести меня домой — или куда-нибудь... О Боже Господи! — сказал Иоанн и снова обеспамятовал. Косой поспешно кликнул стражу; прибежали воины и взяли Иоанна. «Несите его прямо ко мне в мои палаты!» — говорил Косой и остановился посредине комнаты, как будто громом оглушенный, когда поспешно унесли боярина Иоанна.

Юрий и Шемяка оцепенели и не могли во все это время ни пошевелиться, ни вымолвить слова. Особенно ужас и страх начертаны были на лице Юрия. С торжеством смотрел на гибельное состояние врага своего Морозов. Бремя тяжкое спадало с груди его — умолкал язык, страшивший Морозова, затмевался ум, перед которым трепетал он. Взор его прояснел. Люди! вы не стыдитесь подобных взоров...

— Боже великий! Прости грехи его, и укрепи меня в благих моих намерениях! — сказал наконец Юрий, перекрестившись.

«Нет! — воскликнул тогда Косой с яростью, — он еще не умер и не умрет никогда во мне! Государь родитель!

Прости меня, но я дерзаю восстать против твоих велений. Для собственной твоей пользы дерзаю говорить: *Морозов изменник* — советы его пагубны!»

— Умолкни, Василий! Если еще не казнишься ты примером Иоанна, я повелеваю тебе.

«Нет, государь! Он гибнет от верности и усердия к тебе, он не мог перенести ужаса будущей судьбы твоей, судьбы нашей, он, скиталец, продавший тебе всю душу, всю кровь, весь ум! Ты погибнешь, изменник! Одно уважение к отцу моему спасает тебя в сию минуту от гнева моего!»

— Дерзаешь ли мне противиться? — воскликнул Юрий.

«Ты меняешь детей своих на презренного раба!» — сказал тогда вспыльчиво Шемяка, оскорбленный унижительным положением брата и торжеством Морозова. Он обратился к этому любимцу отца своего и грозно воскликнул: «Сенька Морозов! прочитай свою отходную: или тебе, или мне не жить!»

— Дети непокорные! — вскричал Юрий, — вам ли отдам я после себя судьбу земель Русских? Проклятие на том семействе, в котором сын не трепещет от воли отца!

«Государь...»

— Остановитесь, — продолжал Юрий в запальчивости, — если руки ваши прикоснутся к Морозову, или вы осмелитесь противиться моей воле, то будьте вы...

«О родитель! остановись, остановись! Не предавайся гневу, не доканчивай страшных слов твоих!» — сказал Димитрий Красный, поспешно входя в комнату и обняв колена отца своего.

— Сын мой, сын мой! Что ты делаешь, праведная душа! — сказал растроганный Юрий, поднимая Димитрия.

Тут поспешно вошел Роман и обратился к Косому: «Боярин Иоанн зовет тебя к себе, князь — просит идти поскорее!»

— Он жив еще! — вскричал Косой.

«Жив и велел сказать, что вручит тебе важные бумаги и грамоты, что к нему доставлено сейчас известное тебе письмо от Гудочника. Только, ради Христа, просил поспешить...»

— От Гудочника! — воскликнул Косой, радостно и быстро взглянув на Морозова, — понимаешь ли ты, изменник?

Он поспешно вышел, не заметив, что при имени Гудочника смертная бледность покрыла лицо Морозова. Шемяка поспешил за братом.

«О Боже всеильный! Не благословил ты меня!» — сказал Юрий, смотря в след двух сыновей своих. Он закрыл глаза рукою и заплакал. «Суетные чело- веки! Собираем и не ведаем кому собираем...» — го- ворил он.

— Где же теперь боярин Иоанн? — спрашивал Ко- сой, поспешно идя с Романом.

«Он в больших княжеских сенях, — отвечал Ро- ман, — далее не могли его донести».

Косой и Шемяка вступили в эту обширную палату, первую подле Красного крыльца; на дороге встретилось им несколько бояр и сановников, бывших в сомнении и недоумении. Но в самых сенях никого не было, кроме начальника дружины, находившегося тогда на страже, нескольких воинов, принесших Иоанна, лекаря армяни- на, которого наскоро позвали к больному, и *Гудочника*. Боярин Иоанн, полураздетый, сидел на широкой скамье, поддерживаемый двумя воинами — боярское, золотое платье его было окровавлено, лицо бледно, как полотно, голова склонилась на плечо. Кое-как успели прекратить кровотечение, но видно было, что Иоанн не жилец земли.

Гудочник смотрел на него с горестью, помогал лека- рю, приготавливавшему какие-то пособия.

— Что? Каков он? — спросил тихо Косой. Лекарь пожал плечами и отвечал шепотом: «Нет никакой на- дежды!» Косой с отчаянием сжал кулаки и возвел ди- кие взоры к небу.

Иоанн открыл глаза свои, уже помутившиеся и по- мертвленные. «Скоро ли священник?» — спросил он тихо. Тут встретился взор его со взором Косого. «Ты ли это, князь Василий Юрьевич?» — спросил Иоанн.

— Я, боярин, — отвечал Косой.

«При дверях гроба скажу тебе, что я желал вам доб- ра. Когда могила отворена, люди не лгут. О Боже! про- сти грехи мои! Князь! У Гудочника письмо Морозова к Василию. Гудочник переносил их грамоты. Ради Бо- га — сбереги этого старика — он, только он один, твоя помощь — и *никто больше!*»

— Но ты мне говорил о нем...

«Я слишком надеялся на себя — тебе этого нель- зя — и мне не должно было! Он, только он, спасет те- бя... я был несправедлив против него — исполни то, че-

го он требует, и он будет верен... Там, у меня, в большом сундуке — вот тут ключ — бумаги... возьми их... О Боже!.. — кровь опять хлынула из него. — Горе, горе! — бормотал Иоанн, — Священника, священника! Мир, мир с Богом — помилуй меня, милосердный Отец!..»

Священник явился с запасными дарами, но не мог приобщить Иоанна святых таин, потому что кровь не переставала течь. Прочитали над ним молитвы покаяния, и глухою исповедью священник очистил грешника от тяжести грехов. Еще раз опаматовался Иоанн, глядел на Косого уже неподвижными глазами и пробормотал: «Жена и дочь моя — тебе их поручаю — они в Новгороде... Господи! верую — помоги моему неверию!..»

Его не стало. Безмолвно стояли вокруг него Косой, Шемяка, Гудочник, Роман, священник. Слезы крупными каплями текли по угрюмому лицу Косого. Он не чувствовал их. И эта горесть человека, никогда не умилявшегося, никогда не плакавшего, была поразительнее всяких воплей.

«Чувствую, чего лишился я с тобою, чувствую, что с тобою много я потерял!» — говорил Косой.

— Великий ум государственный, великий муж совета, — сказал Гудочник, смотря на бездыханный труп Иоанна, — и горе тебе, что ты более верил уму людей, а не сердцу, не душе их!

«Велите немедленно отвезти тело в дом его, — сказал Косой. — Честь праху его будет воздана великая». Он сам задернул тело Иоанна его окровавленным боярским одеянием и отвел Гудочника в сторону. «Старик! — сказал он, — забудем все, что было. Отныне ты видишь во мне своего покровителя. Говори мне смело, говори все! Чего тебе надобно? Денег? Почестей?»

«Ничего, князь Васильи Юрьевич! Позволь мне объяснить сегодня вечером, наедине, чего хочу я. И вот тебе первая моя услуга!» Он подал ему сверток: это было письмо Морозова к Василию Васильевичу, в котором боярин обещал быть ему верным и послушным его слугою.

— Смотри, брат! — вскричал Косой, пробежав письмо и отдавая его Шемяке. — Изменник, клятвонарушитель, предатель! Зачем письмо это не было раньше в руках моих! — Шемяка прочитал письмо и не мог опомниться от изумления.

В это время поспешно вошел Димитрий Красный и с ним Морозов. Дикий, глухой крик вырвался из груди Косого, когда он увидел Морозова.

— Зачем явился сюда этот клеветник, клятвопреступник? — вскричал Косой. — Пришел ли он ругаться над трупом друга моего и радоваться моей скорби?

«Брат любезный! — сказал Красный, — я пришел молить тебя, ради имени самого Создателя, умерить гнев твой и послушаться велений отца! Едва умилосердил я его не предавать тебя проклятию — так разгневан он на тебя! Послушай слов моих...»

— Проклятие его ничтожно, если изречено несправедливо! — вскричал Косой. — Но, чего он хочет?

«В знак смирения твоего, отдай меч твой боярину Морозову — он избран от родителя нашего первым боярином великокняжеским. После сего ты должен отправиться во двор свой и ждать отцовского решения».

— Скажи старику, отцу нашему, что он помешался на старости лет! — заревел Косой в совершенном неистовстве. — Я покаюсь Морозову? Тебе? — продолжал он, подбегая к нему, — тебе?

«Князь Василий Юрьевич! Повинуйся воле отца своего!»

— Несчастный! — вскричал Шемяка, — удались, удались скорее!

«Не заставляйте меня призвать стражу! — сказал Морозов. — Воля родителя вашего священна».

— А это что? — возразил Косой, показывая ему письмо, — а это что? — продолжал он, ударив Морозова по лбу так сильно, что тот зашатался.

«Брат, брат! — закричал Красный, — что ты делаешь!»

— Дружина! — возгласил Морозов.

«Прежде дух из тебя вышибу я вон, нежели ты успеешь призвать дружину!» — вскричал Косой, бросаясь на Морозова. Будучи силен, Морозов ухватил его за руку, и Косой едва не споткнулся и не упал. Губы его посинели от ярости. Как безумный, он схватил Морозова за горло, повернул из всех сил и неистово ударил о пол.

Шемяка бросился к ним. Морозов лежал неподвижен: он ударился виском; кровь бежала у него из лопнувшей жилы; смертные судороги кривили его тело. Косой стоял и смотрел на него, как будто в забвении самого себя, и через минуту лицо Морозова посинело и почернело.

— Он умер! — вскричал Шемяка, прикладывая к сердцу его руку, — он уже холодеет? — и в трепете отскочил Шемяка от охолоделого трупа.

«Я убил его!» — сказал Косой глухим голосом и мрачно повел рукою по лбу. Не говоря более ни слова, он пошел поспешно вон. В беспокойстве, в ужасе, поспешил за ним Шемяка.

Здесь, в одной комнате, лежали два взаимные врага, два первые советника Юрия. Димитрий Красный не мог выговорить ни слова. С ужасом глядел он на трупы бояр и сжимал руки в судорожном движении. Гудочник безмолвствовал. Другие также стояли безмолвные и неподвижны. Казалось, каждому раскрылась тогда таинственная книга судеб будущего и каждый, читая кровавые буквы ее, окаменел и не мог промолвить ни одного слова.

Глава IV

*Мне ль было управлять строптивыми конями,
И круто напрягать бессильные бразды?*

А. Пушкин

Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается — говорит старинная русская пословица. Между тем, как повествование летит на крыльях, события влекутся на свинцовом костыле. *Не всякая песня до конца доневается* — есть еще русская пословица; мы перевернем ее по-своему и скажем: не все высказывается в были и в повести, что в самом деле было. Прошло несколько месяцев после гибели Морозова и смерти Иоанна. Что происходило в сии месяцы? Рассказывать ли? Нет! Лучше снимем с полки несколько хронографов и летописей и послушаем рассказ наших стариков. Может быть, многим читателям нашим неизвестно даже, как и что рассказывали наши предки? Развертываем записки современников и читаем:

«Лета 6941-го, сел на великом княжении, в Москве, князь Юрий Димитриевич. А бывший князь Василий, со слезами и с плачем многим, добил челом дяде своему, через любовника его и боярина, Семена Морозова, ибо сей Семен был в великой ладе и в любви у Великого князя Юрия Димитриевича. И сей Семен, многомощный у Великого князя, испечаловал Василию мир, любовь и удел, и город Коломну. И отселе началось княжение Великого князя Юрия Димитриевича, его же Господь на благоденствие людям поставил и невидимое

своею помощью оградил. И об этом радовались все московские люди. И князя окрестные прислали к нему с поклоном, мира и любви прося. И он, Великий князь, дал всем мир и любовь. И в церкви многие дары вдал, и в обители святые. И в обитель преподобного Сергия многие вклады, и села, и дары вдал.

В то же время, в Новгороде был большой пожар: погорели *Загородский конец* и *Людин конец*, до Лукиной улицы.

В то же время, в Смоленске появился волк, безшерстный, и людей много поел; а в Литве в городе Троках озеро, называемое *Жидовское*, три дня стояло кроваво.

О том же продолжим, как мы выше сего сказали, что Семен Морозов испечаловал Василью Васильевичу удел Коломну. Боярин же Иван Дмитриевич сильно вознегодовал о сем, и не любо ему было такое дело, что не только Василью *простыню* Великий князь пожаловал, но еще и удел дал. Но не только сей Иван о том вознегодовал, но и другие многие, и два сына Великого князя, Василий, да Димитрий средний. И видев злобу сию, боярин Морозов убоялся, и те два сына князя Великого, Василий, да Димитрий, воспалились яростию, и побуждаемые издревле человеконенавидцем диаволом, нелюбящим братския любви, пришли к отцу своему, и много вопяли, и негодовали. И боярин Иван с ними был. И оттоле вышед, убили они боярина Семена Морозова в набережных снях, говоря ему: «Ты злодей, крамольник и нам лиходей!» — Князь же Великий, сведав о том, печален был и злобе сыновей не попустил. Но быв умолен юнейшим сыном своим, не облек их проклятием за то кровавое и богомерзкое дело, но возложил только гнев на них, старейших своих сынов. И они, князя Василий и Димитрий, как Каин братоубийца, боясь гнева отцовского, из Москвы бежали. И не хотя покориться воле отца, начали собирать войско, думая Василия из Коломны изгнать. Боярина же Морозова повелед Великий князь схоронить честно, и со многими слезами гроб его провожал. После сего сотворил князь пир великий, отпуская братанича своего Василья на Коломну. И по сем пошел он в Троицкий монастырь, и много молился у мощей преподобного Сергия. За молитвы князя благоденствует народ.

В то же время, в Новгороде, владыка Евфимий поставил у себя на дворе Владычную палату, каменную.

весьма изрядную. Дверей в ней было тридцать, а мастера делали ее немецкие, из заморья, вместе с новгородскими мастерами.

Тогда же чудо было во Пскове: явились столбы на небе, весьма страшны, сияющие, как молнии, но мало побыли и исчезли. Молитвами святых твоих, Господи! спаси нас!

А месяца июня 29-го на праздник святых апостолов Петра и Павла был стол у Великого князя. Ели у него бояре и духовные власти, в его столовой избе. У стола стоял крайчей князь Шелешпанский; в Большой стол смотрел боярин Ощера, а в Кривой стол боярин Затычка-Булатов, а вина наряджал Хованский-Сумка.

Месяца августа в 1-й день на праздник происхождения древ Честного и Животворящего креста Господня был государь, князь Великий, в Симоновой обители, и у князя Константина Дмитриевича был, коему Господь благую мысль вложил принять иноческий чин. И беседовал Великий князь любезно с настоятелем, и с братиею, и с князем Константином. И по сем был у Великого князя посол литовский. Великий князь принимал его в Золотой палате, и бояре его были в золоте и в черных шапках.

Того же лета сотворил Бог чудо великое и неправедному стяжанию положил конец, за молитвы православных, и восставил на Великое княжение добрую отрасль доброго корени, Великого князя Василия Васильевича. Сей князь, бывши в Коломне, в уделе неправедного дяди Юрия, начал звать к себе людей отовсюду. И все пошли к нему, как пчелы к матке, ведая его благосерда и законна. Видев же князь Юрий, что непрочно ему Великое княжение, Москву оставил и утек восвояси в Звенигород, послав к Великому князю, моля у него любви и мира, и добил ему челом. Милосердовав же о нем Великий князь Василий Васильевич не погубил его до конца, дал ему мир и любовь и удел его Юрия, Звенигород, за ним оставил. И о сем было крестное целование, чтобы Юрию с мятежными сынами его, князем Васильем, да князем Дмитрием средним, за одно не быть. На том поставили грамоту, и город Дмитров Великий князь у дяди своего Юрия, помощью Божиею, взял. И отселе началось Великое княжение Василия Васильевича, благословенного внука Дмитрия Донского. Порадовались сему все люди Москвы и народы других стран. И пир великий сотворил Великий князь,

и дары многие вдал в обители святые и в церкви, и духовный чиц и нищую братию кормил. Величия своего смиряся, меньший всех казался сей благословенный Великий князь Василий Васильевич.

Тогда же был мятеж великий в греческой земле, а в Новгороде начали новую колокольную строить у Спаса Нерукотворного.

В сие же время, услышав Великий князь Василий Васильевич, что крамольные сыновья дяди его Юрия многую дружину собрали, послал на них свои дружины московские и воевод и князей, с главным воеводою Юрием Патрикеевичем, и повелел ему тех князей, Василья, да Димитрия, изгнать и самих добыть...»

Остановимся здесь. Люблю читать эти обломки веков, переживающие все страсти, все отношения людские, эти летописи и хладные хартии, где сохраняется мгновенно пролетающий, изменчивый говор современников! Да, также хладнокровный летописатель передаст память и о наших временах, теперь кипящих бешенством страстей и возмущаемых кликами толпы; также сошьет он события месяцев и лет в несколько букв, которые покроет пыль, забудут потомки и только пытлиное любопытство дееписателя будет стараться облечь в живые, светлые образы жизни! Но тщетно будет его старание, когда строгая Истина будет сторожить каждое слово его, а века передадут безотчетный рассказ давно минувшего! Только ты, огонь воображения, только ты, Поэзия, неугасимый светильник истины сердца! можешь обновить перед нами жизнь минувшую в полном цвете ее, можешь облечь силою сухие кости, вложить страсти в истлевшие сердца, заставить их биться от давно истлевшей крови!

Станным стечением обстоятельств, не проведя и полугода в Москве, Юрий снова был в своем Звенигороде, у н и ж е н н ы й торжеством племянника. Василий снова сидел на Великом княжении. Дела совершились столь быстро, что Василий приехал в Москву и застал в ней все так, как будто Юрий никогда и не княжил в ней, и как будто Василий съездил куда-нибудь в дальнее богомолье, на Бело-озеро или в Колязинский монастырь. «Здравствуй, добрый мой боярин!» — говорил он, встречаясь с кем-нибудь из бояр, не успевших выехать к нему навстречу, когда он возвращался из Коломны в Москву. — Батюшка, государь, князь Василий! — кричал боярин, целуя руку Василия. — «Что давно не видеть тебя, боярин!» — продолжал Василий, улыбаясь. —

Ох! Батюшка, князь наш Великий! Да столько было хлопот...— «И мне немало»,— прибавлял Василий. Боярин снова целовал ручку Великого князя и разговор прекращался так, как будто бы боярин три дня только не являлся в Кремль пред светлые очи великокняжеские.

Впрочем, такой прием видели бояре, как мы сказали, не встретившие Василия, но их было немного. Почти все <они> были приняты Василием ласковее потому, что почти все отправлялись к нему навстречу в Коломну. Удивительное было зрелище! За три дня до выезда Юрия Кремлевский дворец совершенно опустел. Все дворские люди его, как будто истреблены были какою-нибудь повальной болезнью. Ни один из послов княжеских к нему уже не являлся. Москва была тиха. Но каждый москвич, встречаясь с другим, спрашивал: «Кто у нас *Великий князь*?» Ужас гибели Морозова и смерти Иоанна окаменил все сердца. Рассказывали об этом шепотом, потихоньку. Никто не бунтовал, не своевольничал. Никто из бояр не решался и приступить к каким-нибудь действиям в доказательство ревности своей к Юрию или Василию. Никто еще и не говорил о Василии. Воины не знали, что им делать. Косой и Шемяка уехали из Москвы в ночь после смерти Иоанна. Долго не знали куда отправились они, где находятся и что хотят предпринять. В то же время носились глухие слухи, что Василий уехал из Коломны, что с ним соединились бесчисленные дружины русские и татарские и что он в грозной силе скоро явится перед Москвою. Москва уныла. Собраний княжеской Думы более не было видно. Юрий сидел в своем дворце, запершись с Дмитрием Красным и с духовником.

В одно утро Москва была изумлена звоном колоколов в Кремле. К Красному крыльцу подъехали возки, верховые лошади и собралась звенигородская дружина. Повестки о сборе московской дружины не объявляли. Толпа любопытных сбегалась в Кремль и увидела, что Юрий с Дмитрием Красным вышли, отправились в Успенский собор, со слезами отслужили молебен у гроба Святителя Петра митрополита, поклонились потом гробам отцов в Архангельском соборе и поехали из Москвы. Успенский протоиерей проводил их благословением св<ятого> креста Господня. Юрья Патрикеевич взошел после того на Красное крыльцо и объявил народу, что *Божиим благословением, Великим князем Московским будет отныне Василий Васильевич.*

В молчании разошелся народ из Кремля. Такое невиданное дотоле зрелище, такое неожиданное следствие после смятений и битв, предшествовавших воцарению Юрия, произвели неописанное действие на умы москвитян.

Но к вечеру Москва зашевелилась. Народ столпился на улицах и площадях; слухи о прибытии Василия усиливались. «Он погубит нас за вероломство!» — говорили одни. — За что губить нас? Не мы бунтовали, а Юрьевцы, — говорили другие. «Понесем ему повинные наши головы!» — был наконец общий говор народа.

На другой день толпы народа кинулись по Коломенской дороге. С утра заблаговестили во всей Москве и духовенство стало у церквей в полном облачении для встречи Василия. Он появился к полудню. За ним и перед ним ехали бояре, шел народ толпами. Дружин воинских почти не было видно. Юрья Патрикеевич встретил Василия у Кремля, как хозяин, с хлебом и солью. Народ ждал, что будет, и ничего нового не дождался. Прочитаны были только на площадях повестки, что Великий князь *учинил мир и исправу с дядею своим. князем Юрием, и какие Юрий, сидя в Москве, чинил суды, пересуда не будет, а у кого князь Юрий брал займы, те займы выполнит Великий князь.* Треть Юрия в Москве осталась за ним.

Но бояре вскоре увидели, что Василий во многом изменился. Краткий, но тяжкий опыт сделал его мрачнее, угрюмее, недоверчивее прежнего. Он не изменился ни в наружной ласке, ни в приветливости. Но совершенно изменился он в Совете и расположении душевном. Думы бояр не собирал он более и только Ряполовские, Басенок, Василий Ярославич и Юрья Патрикеевич составили его тайную Думу. Софья Витовтовна не выходила из своих теремов. Никто не знал, ни при дворе, ни в городе, что хочет предпринять Василий. Видели, что он собирает сильные дружины, что Басенок и Ряполовские устраивают их. Но назначения их никто не знал. Юрий спокойно сидел в Звенигороде своем. О Косом и Шемяке ничего достоверного не было слышно. Все окрестные князья пребывали мирны, хотя не присылали послов, не являлись и сами в Москву. О Литве и Орде слуху не было. «Куда пойдем мы?» — спрашивал ратник у своего товарища. — Куда велят! — отвечал тот.

Наконец, в один воскресный день, велено было собраться всем дружинам на Девицье поле и все поле это

покрылось толпами вооруженных воинов. Давно уже не видала Москва столь блестящего воинского сблища. Оно напомнило старикам времена Куликовской битвы. Казалось, что толпы воинов делали Василия величественнее и мудрее в глазах народа. «Нет! Не таков он был, наш батюшка, пока горя не испытывал от Юрьевичей!» — говорил народ, когда увидел Василия, верхом, перед дружинами. «Как он получил, как он подороднел!» — говорили зрители, хотя видели перед собою прежнего, невидного, худощавого Василия.

Отслужили молебен, окропили хоругви и воинов святою водою, и дружины, одни заняли Москву крепкою стражею, обставя караулами Кремль и весь город, другие выступили по Владимирской дороге. Василий возвратился в Кремль и велел готовиться в дорогу. Дружина, отправленная в поход, находилась под началом Басенка и над ним Юрьи Патрикеевича, как будто имя *старого боярина*, хотя известного склонностию к миру, надобно было для послушания воинов и вождей. Блестяща и многочисленна была московская дружина. Но, кроме главных вождей, все еще никто не знал, куда идет она. Из Владимира вдруг повернуло войско на Суздаль, на Юрьевец-Повольский. Здесь объявили воинам, что идут на мятежных князей, Василия Косого и Димитрия Шемяку; велено было сражаться с дружинами сих князей, где их встретят, бить их, стараться достать самих князей-мятежников, живых или мертвых. Войско московское растянулось на обширное пространство. Дальний, трудный поход утомил его, особливо когда дружины вступили в лесистые, болотистые места северные. Тогда начали появляться отряды Косого и Шемяки, малые, легкие. Их преследовали, били, брали в полон, и полоняники объявляли воеводам московским, что нигде нет большего сблища воинов Косого и Шемяки. Услышав, что сии князья укрепили Галич, москвичи быстро кинулись туда, но нашли Галич оставленным. Шемяка, занимавший его, бросился к югу и, казалось, хотел прибиться на Волгу. Поспешно погнались за ним. С другой стороны, от Костромы, отдельные отряды гнали Василия Косого, не державшего остановиться и сражаться с ними.

Непонятную войну вели эти князья. Известно было, что у них только малые, рассеянные дружины, и видно было, что они не смели нигде стать против москвичей. Но едва отставал от других отряд московский, дружины

Косого и Шемяки брались, Бог знает откуда, неистово нападали и истребляли сей отряд. Потом опять все рассыпалось и бежало от соединенных сил московских воевод.

Наконец, очистив Галич, Кострому и все северные области, на берегах Куси собралось войско московское и ярко запылали огни в обширном его таборе. Воеводы положили дать отдых своим воинам.

В это время, из-за темного бора, с закрытой горы, как два хищных коршуна, смотрели на них Косой и Шемяка. *«Теперь, или никогда, брат!»* — сказал Косой Шемяке, который внимательно обглядывал расположение московского стана. — Да! Теперь или никогда! — отвечал Шемяка. — Русскому не в привычку бегать. Еще две недели медления и воины наши сами собою разойдутся? Мы измёряли довольно областей шагами нашими. Пора померяться мечами!

«И померять ими, или Великое княжество Московское, или гроб наш!» — отвечал Косой.

— Гроб вымерян — три аршина — для самого взрослого человека, — сказал Шемяка, улыбаясь. — А желаниям человеческим меры нет! Неужели, сидя в Галицких болотах, ты все еще видишь отсюда, брат, золотой престол Московский?

«Неужели не видя его вдали, ты сражаешься?»

— Да, и буду сражаться. Своей судьбе кто владыка? Я не отставал от тебя с самой Москвы, не отстану и теперь.

«Вижу любовь твою ко мне, добрый брат мой! Ты не оставил меня в горе и беде!»

— Я не оставил бы и врага моего. Но, признаюсь, не знаю, что хочешь ты предпринять после сего? Если мы падём в бою — спрашивать нечего; но если мы выиграем бой — чудное дело! Я не знаю, куда денемся мы с нашею победою!

«В Москву, в Москву!»

— Слушать поучения отца о том, что напрасно побили мы рать Василия и что он не хочет сесть на престоле московском? Разве кинем тогда жребий: кому из чужих выпадет эта дорогая потеха, Великокняжеский престол?

«Нет! Я не показывал еще тебе грамоты отцовской, по которой он готов снова сесть на Великокняжение, если только кто-нибудь возмется загрести жар не его руками...»

— Грамота? Я не видал ее!

«И некогда было тебе видеть. Пойдем! Я покажу тебе и другие, от Тверского, Можайского и Верейского князей».

Князья сошли с горы и пропали в чаще леса. В это время в московском стане беспечно сидели воины вокруг кашеварных котлов, размачивали сухари и ели, пока сварится каша, пили некупленный мед и даровую брагу и думали уснуть так, как давно не спали. Да, в самом деле: многим суждено было уснуть навеки...

Храбрый, смелый, но горячий и неопытный Басенок неспособен был к войне такого рода, какую принудили москвичей вести Косой и Шемяка. С чистого боя, меч на меч, или, как говаривали наши старики — *око за око и зуб за зуб* — Басенок был непобедим. Но не его дело было хитрить в бою, рассчитывать сто мест вдруг, чтобы выгадать одно, и с этого выгаданного — отступить для верной победы на сто первом; купаться самому в болоте, чтобы утопить врага, и подстерегать целые дни неприятеля, как охотник стережет дикую утку. Притом же Басенок был связан другими начальниками и хотя приказывал им делать все, что ему было угодно, через Юрья Патрикеевича, который дан был ему вместо полномочной грамоты, но беспрестанно встречал он препятствия и неудовольствия, и все делалось не с доброй воли, но по наказу и приказу, нехотя.

«Видишь, воевода: теперь слава Богу, мы безопасны!» — сказал Басенку Юрья Патрикеевич, когда тот прочитал уведомление, полученное от Василия о том, что Василий выступил наконец из Москвы с новыми дружинами и пойдет с другой стороны на Косого и Шемяку, уведомляя от Басенка, что они, соединясь, отступают от Галича и Костромы по направлению к устью реки Унжи.

— Только безопасны? — отвечал Басенок. — Я, признаюсь, и не видал доныне опасности от врага, который бежит, словно заяц. Что это за война, лукавый победи ее!

«Наше место свято! — воскликнул Юрья. — Ей Богу! какой человек — говорит и не оплунется, да еще и нечистого призывает! Нет, воевода! Я, признаться, так очень подтрушивал. В самый день выхода нашего из Галича видел я сон, куда негодящий! Снилось мне, что иду я по моему московскому саду — а сад у меня доб-

рый, сам ты знаешь — что за яблоки наливчатые, что за сливы, что за дули чудные — сотью вспомняешь теперь, как сухарик надобно размачивать водицею, да охать на голой земле, вспоминая доволье московское...» — Юрий захохотал, прихлебнул меду из серебряной стопы и поправил лисье одеяло на своей постели.

— Ну, что же сон твой, князь! — спросил Басенок, улыбаясь.

«Сон? Да шуті ты им! Вижу я, что золотистое, наливное яблоко падает с моей любимой яблони. Дай-ка, подумал я, чтобы лишнего труда не было, подставляю рот и оно само ввалится ко мне в рот так, что и руками пошевелить не будет надобно! Вот, подскочил я, подставил рот — ан, вместо яблока — откуда ни возьмись — галка, да прямо мне в рот! Тьфу, ты, бесова дочь! Вскричал я и чуть не подавился! Ну, что! Как ты растолкуешь такую диковинку, воевода».

— Не мастер я толковать сны, а пожелаю тебе доброго сна и уверяю, что ты завтра проснешься жив и здоров, — Басенок засмеялся и ушел, а Юрья Патрикеевич покачал головою в след его и принялся читать в молитвеннике своем *молитвы на сон грядущий*, крепко стуча лбом в землю и тяжело вздыхая. Стан московский затих, огни угасли...

Уже крепко спал и давно сильно храпел Юрья Патрикеевич, когда ему показалось, что его будят и толкают немилосердно. Спросонков не мог опомниться он, видя страшное зарево, толпу полуодетых рабов своих, бегающих в ставке, слыша в то же время ужасный крик, шум, стон, проклятия, бой в бубны и звук трубный.

«Что такое? Что такое? Неужели преставление света? Готов, Господи, готов!» — вскричал он. Видно, добрый был человек!

— Вставай, князь, вставай! — кричали ему. — В стане суматоха, резня — надобно спастись!

«Да что сделалось?»

— Шемяка напал на нас врасплох, все режет, бьет, гонит...

«Да откуда он взялся? Да, где Басенок?» — спрашивал Юрья, второпях надевая навыворот дорожный тулуп свой. «Ну! либо пьяну, либо биту быть мне сегодня!» — сказал он, заметив свою ошибку.

Поспешно выскочив из ставки, с ужасом глядел Юрья Патрикеевич на кровавое, страшное зрелище.

Гемная ночь облежала небо. Сквозь густые тучи, как сквозь сито, сеялся дождик. Холодный ветер веял с севера и пронизал тело резким холодом. Огонь расстилался по ставкам воинов и освещал мрачные окрестные леса, отражаясь заревом на темных тучах. Пищальный огонь сверкал из-под леса на главный отряд. Кони, сорвавшись со стоек своих, ржали, бегали, умножали смятение, и по всему стану шел рукопашный, смертный бой, среди криков, воплей и стонов. Нельзя было различить: где враги и сколько их? Воины, полуодетые, полусонные, бегали, хватались за оружие и падали под непощадными мечами и секирами врагов.

«Ах, ты, Господи! Да что это такое!» — вскричал Юрья Патрикеевич. — Ведь эдак пропадешь ни за что! И никто не прибежит сюда защитить главного воеводу!»

Но упрек был несправедлив. Отвсюду сбежалось к ставке его множество воинов, хотя ни один не знал, что делать, и некоторые пришли совсем без оружия.

— Друзья мои! — говорил воевода, ободренный сбором воинов — где Басенок? Кто видел его? Где наши кони?

«Да, теперь уж трудно разобрать, князь Юрья Патрикеевич, — отвечал ему урядник, — изволь-ка одеваться поскорее. Мы за себя постоим, а других пусть Бог спасет!»

— Довольно, довольно, старик! — сказал Юрья Патрикеевич и бросился в свою ставку. Впотьмах, торопясь, ничего не могли найти, и пока воевода оделся кое-как, умноженное смятение вблизи, звук мечей, усиленные крики, возвестили приближавшуюся опасность. Опрометью выбежал снова Юрья Патрикеевич и увидел, что неприятель режется с воинами его вблизи самой ставки. «Шемяка, Шемяка!» — раздавался крик сотни людей.

В самом деле, это был сам Шемяка. Секирою с двумя остриями бил он направо и налево. За ним шел отборный его народ. Все дрогнуло и побежало. Едва успели подать лошадь Юрье Патрикеевичу и он поскакал, сам не зная куда; бросился было по Юрьевской дороге, но тут ждал бегущих особый отряд галичан. Воевода кинулся сломя голову в лес и деревья, казалось, ожили — явились отвсюду воины, посыпались стрелы. «Стой, стой! — закричал испуганный Юрья Патрикеевич, бери лучше живого, чем бить!»

Трое подбежали к нему, схватили за узду его лошадь, другие стащили самого воеводу. «Не бей меня, народ православный, а веди к князю Василию Юрьевичу, или князю Димитрию Юрьевичу: я главный воевода московский, князь *Юрий Патрикеев!*»

При сем имени остановились взнесенные на него мечи, радостный крик раздался между воинами. Один из них снял шапку, поклонился и сказал: «Добро пожаловать, князь Юрий Патрикеевич! Зла тебе не будет. Чин чина почитай, а меч свой пожалуй нам».

— Вот: ведь хорошо воеводою и в полону быть? — сказал Юрья Патрикеевич, видя вежливость воинов. Его повели через лес.

Поражение московских дружин было совершенное. Немного воинов успело избежать смерти или плена; весь обоз, все снаряды москвичей достались победителям. Утро осветило трупы и пожарище на том месте, где вчера еще было многочисленное, сильное воинство.

Следствия сей битвы на берегах Куси были весьма важны. Ярославские князья немедленно выслали свои дружины Косому. Из Звенигорода поднялись воины Юрия. Василий Васильевич спешил пересечь дорогу Косому и Шемяке, быстро двинувшимся к Москве. В бессилой ярости отряд дружин его громил галицкую область и сжег Галич, вновь оставленный Юрьевичами, когда судьба Василия свершалась в новой кровопролитной битве у Николы Нагорного близ Ростова. Здесь, уже не врасплох, не ночью, но днем, и грудь к груди, сразились москвичи и северские жители. Накануне приехал в стан Косого и Шемяки сам Юрий и молился в ставке своей, между тем как храбрые сыновья его врезывались в ряды Васильевых дружин. Свирепо горела битва, когда один из бояр Юрия вошел к нему в ставку с видом горести, уныния и безмолвно остановился у входа.

«Что хочешь ты сказать, боярин?» — спросил Юрий. Слезы омочали его бледное лицо. Боярин безмолвствовал. «Говори! — продолжал Юрий, — я готов ко всему! Не смерть ли сына возвестишь ты мне?» Он содрогнулся.

— Не смерть, но скорбь тяжкую. Князь Димитрий, твое любимое чадо...

«Мой Митюша!» — воскликнул Юрий, быстро вскочив со своего места. «Всемогущий Господи! — продолжал он, воздевая руки и глаза к небу. — Твой гнев умел выбрать самое чувствительное место моего сердца и яв-

но показывает великость греха моего великостью наказания!» Старец утер после сего слезы и спокойно спросил у боярина: «Что сделалось?»

— В пылу битвы, сражаясь подле старшего брата, князь Димитрий был поражен обухом секиры в самую грудь и принесен без чувств.

Юрий поспешно пошел из шатра своего. У входа встретил его присланный от Косого и воскликнул: «Радуйся, Великий князь! Победа — враги бегут! Самого Василия Васильевича преследуют!»

— Вели остановить убийство и преследование! Довольно, довольно! — воскликнул Юрий и с трепетом взглянул на поле, покрытое дымом, залитое кровью, заваленное трупами и усеянное бегущими неприятелями и преследующими их победителями. Клик победы сливался с воплями смерти. — «Они также дети мои, подданные мои!» — возопил Юрий, протягивая руки к москвичам, беспощадно рубимым воинами Юрия, вслед и вдогонку.

Он застал Димитрия Красного уже в памяти; но тяжкое, багровое пятно было на груди его, и юноша едва мог дышать.

— Зачем отпускал я тебя! — сказал Юрий, с горестью смотря на бледного Димитрия.

«Не говори, родитель! — отвечал Димитрий, — остаться в обозе было бесчестно, а бесчестие хуже смерти!»

— Великое княжество! *Чего* ты стоишь мне и на что ты мне! — воскликнул Юрий.

Он остался в Ростове, куда перевезли Димитрия Красного. Остатки дружин Василия бежали в беспорядке к Галичу, Костроме, Нижнему. Сам Василий ускакал в Тверь, но был туда не допущен, и отправился в Новгород. Косой и Шемяка через четыре дня были под Москвою, и в Переяславской слободе смиренно встретили их москвичи с хлебом и солью.

Ласково приняли москвичей сии князья, но вступили в Москву, как в завоеванный город. Всюду расставили они дозоры, стражу. Князь Василий Ярославич заперся в Кремле с остальными боярами Василия. Легко могли взять Кремль приступом. Но Юрий запретил строго проливать кровь и требовал у Василья Ярославича мирной сдачи. Через неделю открыли ворота кремлевские, и снова записано было современником в летописи:

«Да того же лета, князь Великий Василий Васильевич послал воеводу своего, князя Юрья Патрикеевича, а с ним двор свой и многих людей на Кострому, на Юрьевичей, на князя Василия и на князя Дмитрия Шемяку, а с сими князьями были Вятчане и Галичане. И стали на бой, на речке Куси, и сии князья рать Великого князя побили, а воеводу Великого князя, Юрья Патрикеевича, поймали. И уздав о сем, князь Юрий Дмитриевич послал к детям своим и совокупился с ними. Князь Великий Василий Васильевич, слышав о том, пошел против него, и встретились в Ростовской области у Николы у Святого, на горе, и был бой, силен и страшен. И одолел князь Юрий Дмитриевич, а князь Великий бежал к Новгороду Великому. Пришед же князь Юрий Дмитриевич под Москву, стоял под городом неделю и город взял, и княгинь Великих поймал, и послал их в Звенигород, а сам сел на Великом княжении».

Почему летописец так умеренно отзывался о князе Юрии и о князе Василии? Кому *доброхотствовал* он? Почему не прибавил ни одного благочестивого рассуждения? Некогда было — думаем мы. Видно, не в наше только время люди спешат жить, а всегда торопились они на пути жизни.

Глава V

*Во прах венец, во прах порфира,
Мир ложный, суетный — во прах!
И гордый царь, властитель мира —
Пред алтарем, святой монах...*

* * * *

Через несколько дней по том толпа народа галила в Симоновский монастырь. Бояре, военачальники, чернь, все собиралось смотреть на зрелище новое, неслыханное с незапамятуемых времен: брат Юрия Дмитриевича, дядя Василия Васильевича, Василия Косого, Дмитрия Шемяки и Дмитрия Красного, юнейший из сынов Донского, князь Углича, Бежецка и Ржева, *Константин Дмитриевич*, должен был в этот день принять монашеский чин. Бывали примеры многие, что князья облакались в клобук и даже схиму перед кончиною; но неслыханное совершалось дело, что князь, старший после Юрия, еще в цвете лет своих, менял венец на клобук, мир на тесное житие монаха, роскошь

двора на тяготу отшельнической жизни! Уже год с лишком Константин держал иску́с, жил в обители, ходил в грубой ризе, отягчал себя верига́ми, терзал тело власяницею и исправлял самые тяжелые работы для братии монастырской. Унылый звон колокола возвещал Москве сие торжество святой веры, торжество духа над плотью и мудрости над суетою, ибо не болезнь тяжкая, не печали и скорби заставляли князя Константина прибегнуть в обитель и проститься с миром, но крепкая воля духа, неутолимая жажда венца небесного.

За три дня до того сам Юрий Димитриевич приезжал в Симоновскую обитель проститься с Константином, ибо Константин хотел после пострижения уединиться от всех и постом, трудом и молитвою приготовить себя к великому сану схимника. Казалось, что душа его, боясь, да не увлечет ее снова прелесть мира, спешила рвать последние цепи, привязывавшие ее к миру. При обряде пострижения Юрий не мог быть, чувствуя себя весьма нездоровым, и притом Димитрий Красный, все еще страдавший после Ростовской битвы, привлекал отца к болезненному одру своему. Дворец Кремлевский был домом скорби.

Шемяка хотел присутствовать при пострижении и отправился в Симонов монастырь верхом на богато убранной лошади в сопровождении блестящей свиты молодых придворных и военачальников.

Когда он подъехал к Крутицам и пустился после сего сосновым бором к Симоновской обители, звон монастырского колокола, мрачный бор, не колыхавшийся ни от малейшего ветра, ясное, чистое небо — этот вечный, однообразно голубой шатер, раскинутый над пестрою, суетливою землею — заставили его погрузиться в задумчивость. Почтительно умолкал говор и шум стремившейся по дороге в Симонов толпы народа при виде юного князя; всякий, снимая шапку, останавливался и ждал, пока проедет Шемяка. Свита его не смела приблизиться к нему и ехала поодаль. Шемяка был *один*. И это одиночество среди многолюдства, звон колокола, противоположность величия, какое видел он, взгляды на небо, с мелкою говорливостью землею, умолкавшею в его присутствии, родили мрачные думы в душе Шемяки. Тихо ехал он. В голове его пробежала вся прежняя его жизнь: веселое, беззаботное детство; лета юности, проведенные в занятиях мирных, в охоте, гульбе с товарищами, изредка тревожимой слухами о событиях госу-

дарственных; первый поезд его с отцом в Орду, где унижены они были решением хана; смуты и волнения, беспрерывно начавшие терзать после сего Русь и душу Шемяки; буйный поступок Софии на свадьбе Василия, бегство их, завоевание Москвы, смерть Морозова, битвы и походы, новое овладение Москвою!.. «Неужели участь и судьба князей,— думал Шемяка,— уподобляется вынебу, которое или горит безмолвными, уединенными звездами во мраке, удаляя от себя все земное, или гремит и блещет молниями, страша род человеческий — неужели только это высокое одиночество звезд, или горящее молниями, гремящее громами величие, когда земля трепещет и гибнет — участь князей? Нет! Она не похожа на небо, участь тяжелая, отшельничество венца и престола! Издали только блеснит и обольщает оно ложным спокойствием и неприступным величием. Но вблизи раскрывается в ней ад страстей, гибели, тревог, волнений! Нет сердца близкого, нет души родной... Теперь дряхлый отец стенает в Кремле при одре больного брата, а мы готовимся на новые брани, на новые опасности, мечем удерживая Москву... Дядя Константин! Не твой ли слышу я голос в звоне этого колокола, который говорит мне: *все суета*? Неужели гробом, или келиею только умиряется, счастливится человек? — Нет! Мир Божий прекрасен! — думал Шемяка, глядя окрест себя,— есть что-нибудь такое в жизни, чего я не понимаю! Для чего-нибудь поставлены князья выше народа! Есть, конечно, и для их жизни в мире цель великая и свои радости, и свое счастье, выше радостей и счастья людей низших!»

Ярче блеснула сия мысль в душе Шемяки, когда он взъехал на высокий берег Москвы-реки подле Симонова, откуда открывалась по обоим сторонам реки бесконечная Москва. «Тысячи их,— думал Шемяка, смотря на жилища москвичей и на толпы людей, шедшие в монастырь,— и *один* над ними, *одна* воля его закон и счастье их! Нет! Он должен быть счастлив, этот *один*, безсудная голова над тьмами других, неподвластный никому из ближних и только Богу отдающий отчет! Но моя ли участь быть этим единым из многих? Нет!..» — и с новым унынием, втеснившимся в грудь его, Шемяка подъехал ко вратам обители, сошел с коня, отдал его провожатым, сотворил три низкие поклона пред образом, выставленным на налое у монастырских врат, где стоял монах, собирая подаяние от проходящих. Задумчиво пошел Шемяка после того по двору монастырскому.

В это время Исидор встретил его, низко поклонился и благословил князя. Еще не начиналась литургия, в продолжение которой надобно было без всякой пышности, как умолял о том Константин, совершиться обряду пострижения. Шемяка вступил в беседу с Исидором, и нечувствительно заговорились они и пошли по монастырскому погосту.

«Я не имел еще случая беседовать с родителем твоим, князь Димитрий Юрьевич, и видел его только мельком, после нового торжества вашего,—сказал Исидор.— А тебя и брата твоего не имел даже случая поздравить с великими победами и явным благословением Божиим, оказавшимся в последних делах».

— Благодарю тебя, отец архимандрит,—отвечал Шемяка,—и думаю, что твое поздравление идет от сердца. Кому же и доверять, если не такой особе, которая предназначена уже к великому сану первосвященника земли Русской?

«Сердце мое пред человеками, как пред Богом, равно и всегда открыто».

— Признаюсь тебе, святой отец, после сего, что твое поздравление с победою — кажется мне излишним. Горестна мне эта победа, и сердце чуждо торжества в настоящее время!

Шемяка грустно преклонил голову свою; испытующие взоры вперил в него тогда Исидор. «Что с тобою, князь, сделалось? Отчего грусть твоя? Слава Богу! Тебе и брату твоему пособил Господь утвердить дивною победою престол родителя и укрепить его роду своему. Отныне только велика будет власть ваша, ибо мечом брани утверждена власть сия и не подвижется она коварством и злобою врагов».

— Не знаю отчего, отец Исидор, но, напротив, тяжкое чувство скорби отягчает мою душу. То, что совершилось перед вторичным пришествием нашим в Москву, никогда не выходило из головы моей ни в трудах брани, ни в торжестве победы. Поверишь ли ты, что когда отец мой, старый и дряхлый, въезжал ныне в Москву со скорбящим братом моим, в закрытом возке, без плесков и ликований народных, мне казалось, что я провожаю — не на лихое будь сказано — погребальное шествие отца и брата! И что такое победа наша? Недоверчивость и опасение существуют между нами и жителями Москвы: вижу, что только головы их, а не сердца, покорны нам. Такая же недоверчивость видна между князьями другими и нами. Они все явились к отцу, когда он овла-

дел Москвою в первый раз, но теперь их нет. Как будто боясь, что одна победа может передать снова престол Василию так, как одна победа передала оный из рук его нам, князья ждут, пока родной не погубит вконец родного, и тогда придут они, на трупе одного поздравлять другого победителем. По неволе, из-под меча, Ярославский князь был с нами; недавно прискакали в Москву буйные князья Верецкий и Можайский, задушевные друзья брата, похвастать, попировать, погоняться на охоте. Но более нет никого — все, как будто точат мечи на досуге, и мы живем в Москве, как будто на временном ночлеге. Что за жизнь, если князь, ложась спать, кладет меч под подушку! Что за власть, если первая неудача в бою заставляет его бежать из своей столицы!

«Напрасно, князь, мыслишь ты, что битва не есть высшее решение победодавца Бога. Он решает судьбы владык в боях и возводит, и низлагает их мечом, да все познают, что Он всемогущ, судьбы Его непреодолимы и против них бессильны ум человеческий, и в единый час мечом-решителем низвергаются годы мудрования, по воле Господней».

— Хороша победа над врагами, добрый бой, когда он ведет за собою тишину и благоденствие. Но, с горестью думаю я, что благословения нет над битвами нашими. ибо, кто враги наши? Родные! Кто гибнет в усобице нашей? Люди, Богом нам вверенные! И где конец битве? Василий снова тревожит теперь пределы Нижнего, к нему снова стекаются дружины, и завтра мы выступаем снова из Москвы, пойдем преследовать его, губить, искать живота его...

«На нем и будет грех, если он противится воле Бога и уставу отцов».

— Но тот, кому он противится — едва дышит от дряхлости! Дай Господь здоровья родителю, но — умри он, когда дядя Константин примет монашеский сан — Василий *должен наследовать* престол Великокняжеский, и не остановит ли тогда совесть меча, на него поднятого?

«Престол должен отныне укрепиться в роде вашем, князь...»

— Но тогда, где же устав отцов? Да и в каком роде? Брат Василий был бездетен в браке своем.

«Он опять вступит в брак, или — ты старший по нем...»

— Я? Молитва моя, да продлит Бог живот отца и брата. Если же Бог повелит мне пережить их, чего я, право, не желаю и Богом клянусь в этом — мне, в старости лет, после жизни, проведенной в смятениях и усобицах, мне сесть на престол...— Шемяка горестно улыбнулся.

«Все от Бога, князь! Верь, что судьбы Его правят все на земле».

— Конечно от Бога, отец Исидор,— отвечал Шемяка, задумчиво срывая травку у ног своих,— и это бытие без Его власти не произошло бы, но кто узнает судьбы Его? И от Бога ли наши злые страсти, наши житейские смущения и помыслы? Если за грехи предка Бог казнит потомка даже до седьмого колена, то, может быть, на роде нашем лежит тяжкое Его наказание, и еще не очистилось оно двухвековым страданием Русских земель, и от того кипит усобица, и ни одно доброе произрастание не прозябает в душах наших? Неужели ты думаешь, что я могу без скорби смотреть на унижение самого Василия! Говорят, что он хочет бежать в Орду, когда будет еще раз побежден. Родной наш будет искать хлеба у поганных; князь Великий будет нижаться перед ханом, когда труды деда, кровь предков положены были, да падет наконец сие унижение! Жаль, что я не умею высказать всего, что скрыто в душе моей... Знаешь ли ты, отец Исидор, как ничтожно кажется все это величие, когда порассмотришь его пристальнее, вблизи?..

«Оно не ничтожно, если Бог ставит его над жребием всех людей...»

— Я не то хотел сказать. Тогда человек благословен от Бога, когда он каждый день говорит в молитве: «благодарю Тебя, Господи! за протекший день и молю даровать и наступающий таков же, как протекший!..»

«Кто же более князя имеет право говорить так?»

— Я,— сказал Шемяка, задумываясь,— я — признаюсь... не говорю этого...

«И согрешаешь пред Господом! — возразил Исидор.— Тебе ли, сыну *первого* из русских князей, роптать на жребий свой?»

— Не ропшу, и если бы мирно пришел мне престол Великокняжеский, сколько дел, сколько дум великих возникло бы тогда в душе моей! И все это я должен задавить теперь в моих помышлениях! *Второй* по князе, или *тысяча первый*, не все ли равно? Ступенью выше,

ступеню ниже — невелика важность... О! пусть же пройдет моя жизнь, как маленький ручеек протекает между лугами! Мне всегда думается, что благо не дается даром, а продается в мире и притом за столько зла, что не стоит покупать его! Я никогда не женюсь, отец Исидор: не стоит хлопот навязывать себе жену и детей на шею; никогда не пожелаю я и Великого княжения — меня не достанет на эту долю, тяжелую, одинокую...

«Что же сделаешь ты с твоею жизнью, князь?»

— Проживу ее, как живут другие... как проживется...

«И ни однажды помыслы более великие не заставляли трепетать твое сердце?»

— Я душú их, отец Исидор! — воскликнул Шемяка, схватив его за руку, — да, я и не умею сам себе рассказывать их!

«Позволь же мне объяснить их тебе, князь добрый, благословенный Богом!»

— Ты объяснишь их мне, святой отец? Ты? Но, или вижу я сердцеведца в тебе, под монашескою рясою сокрывшего страсти свои?

«Я, да, я... ибо, прости мне, я опытнее тебя и, пока не надел я монашеской рясы, я был воином и сановником при великом дворе Византии; годы целые прежде того провел я в уединении, изучая человеческую мудрость; много странствовал я потом — посетил Египет и искал следов мудрости в обломках таинств египетских; видел Рим, град вечный; был в Святой земле; скитался между дикими и просвещенными народами...»

— И что же ты нашел? Ты кончил тем, что надел монашескую рясу! И этот звон, который слышим мы в сию минуту, не то ли говорит нам?

«Судьба моя, — и тяжкий вздох вылетел из груди Исидора, — судьба моя странная и долго было бы надобно объяснять ее тебе — это после!.. Скажи мне лучше, князь: знаешь ли ты, что была прежде Русь? Известно ли тебе, что русские единственный народ, которому Эллада передала свою святую веру и свою мудрость? Знаешь ли, что за много веков, некогда, твои предки покрывали кораблями Черное море, владели Киевом и Новгородом, ходили по Волге за Хвалынское море и в Таврической земле владели великими царствами?»

— Знаю.

«И можешь говорить так хладнокровно, что ты *знаешь* это!»

— Могу, ибо знаю и то, сколько мучеников, предков моих заплатили потом страданиями, искупая наказание

Божие, разрушившее нашу славу и честь Руси! Былое невозвратимо!

«Возвратимо, князь, возвратимо! Твое уныние, твоя пламенная душа, возвещают мне, что година наказания Божия для Руси миновалась! Подобных твоим мыслей не могли иметь ни дед твой, ни прадед. Ты предназначен к подвигам великим, ты рвешься за пределы тесных свар и междоусобий княжеских...»

Исидор замолчал. «Говори, говори, продолжай! — воскликнул Шемяка. — Ты угадываешь меня! Ах! Нет! Ты высказываешь мне то, что я чувствовал и не умел сказать!»

— Да, Русь должна *восстать*, и скоро восстанет в величии, силе и славе! Я предугадал это, я оставил родину и назвал Русь моим *отечеством*, чтобы употребить все силы мои к ее восстанию, и чести, и славе. Как первосвященник Руси, как сановник в числе первых святителей вселенной, с крестом в руке пойду я тогда перед вами. Посмотри, что теперь Орда, что Литва? Будь теперь, явись теперь в Руси Мстислав Галицкий, соедини он души и сердца, поставь себя выше смут и междоусобий... О, князь Димитрий Юрьевич! Мстислава ли вижу в тебе я или юношу, который, утомясь в цвете жизни, уже предвидит конец жизни своей в келье инока?

Шемяка затрепетал, как будто новое чувство вспыхнуло в душе его. С жаром продолжал Исидор:

— То ли был Мстислав, что ты теперь, то ли, когда в бедном уделе своем задумал он воскресить Русь православную? С горстью людей кинулся он в Новгород, и через три года потом отдал великокняжеский престол законному наследнику, решал судьбу Киева, Новгорода, Смоленска, Галича. А ты, князь, ты, когда Русь крепко восстает всюду, когда все трепещет перед Москвою, когда ты можешь передать престол Москвы в крепкие руки своего брата и сам быть Мстиславом Руси, смеешь ли ты унывать?

Шемяка молчал.

— И можно ли думать о праве какого-нибудь Василия Васильевича, о суете мира, о тщете престола, когда душа твоя не вместит дум высоких — так обширны они, не обоймет помыслов великих — так велики они! Здесь должны умолкнуть все ваши мелкие расчеты семейные. Волю Бога должен ты видеть во всех делах своих и, как орел, парить выше земли, где голодный коршун терзает цыпленка, исполняя завет, ему предназначенный!

Еще молчал Шемяка, хотя взоры его уже горели.

— И одною ли Русью ограничишь ты обзор твой? Разве, соединив крепкою рукою силу Руси, отняв у Литвы Киев, где покоятся святые предки твои, равноапостольный Владимир, предтеча, заря веры Христовой на Руси, Ольга, святые Борис и Глеб, святители и угодники Божии, нетленные на радость и утеху мира — ты не воспенишь под русскими ладьями Днепра, не возмутишь веслами русских кораблей Волги, не сдвинешь пятна с Руси, последнего гнезда Орды, и не прибьешь к воротам Царяграда щита своего, как предок твой прибил его, за пятьсот лет?

— «Щит на вратах Царяграда! — воскликнул Шемяка. — О, красноречивый отец Исидор! Не обольщай, не обольщай меня!»

— Нет! Я не обольщаю тебя, князь добрый! — сказал Исидор, и голос его изменился. — Бог видит душу мою — не обольщаю! Судьба Руси заключает в себе судьбу многих стран, и в голосе души твоей я слышу голос человека, предназначенного к великому Богом. — Слезы навернулись на глазах Исидора. — Я русский теперь; но в то же время могу ли забыть и родину мою, мудрую и славную Элладу! Она, трепетавшая некогда жителей Севера, теперь на Север простирает руки свои и отселе ждет спасения! Отвсюду обложенная врагами, гибнет Греция и погибнет, если Русь не спасет ее! Весь Запад ждет клика русского, все соединится с Русью, когда меч ее блеснет на берегах Босфора. Какое будет великое зрелище, когда тебе суждено, может быть, не на Куликовом поле, но на полях древней Трои, на берегах Кедрона и Теревинфа вознести хоругвь, предводить ратями Востока и Запада, исторгнуть гроб Христов из рук неверных, укрепить Царьград и соединить святую церковь Запада и Востока!

«Что говоришь ты?»

— То, что знаю достоверно. Римский владыка, первосвященник латинский, готов покориться православной нашей церкви; западные князья придут толпами; корабли их покроют Белое море и Архипелаг, когда *единый* восстанет и соединит в себе силу и мудрость. Император Иоанн Палеолог обнимет его как брата, и слава избранного загремит от Востока до Запада, когда он поведет от Севера спасение и величие! Бог, побораяя великому, облечет его своим громом и молниею и пошлет пред ним архангела с огненным мечом! Приди ко мне, князь, я покажу тебе *Хризовулы* Иоанна Палеолога, и *буллы*

папы Евгения. Я расскажу тебе о поприще чести, какой можно тебе удостоиться! Не говори мне о бессилии: кто одною битвою в Галицких лесах вырвал престол московский из рук врага, кто сочувствует великому подвигу предка своего Мстислава, кто видит себя выше мелких междоусобий и твердо глядит в бесконечность будущего — тот силен и велик! С тремястами воинов победил Гедеон тьмы мадиамские, и от руки слабого смертного остановилось солнце в долине Гаваонской! Неужели ты, князь, думал, что я оставил Элладу, претекал моря и пустыни, презрел уединение мудрости, странствовал в далеких пределах, чтобы простым, мирным иерархом, смиренно просидеть на святительском престоле святых митрополитов Петра и Алексия? Если *инок* Сергей воздвиг руки деда твоего на победу Мамая, неужели ныне, через пятьдесят лет возраста Руси, нельзя *митрополиту* благословить десницы вашей на победы более великие? И неужели бесплодно погибнет крепкая вера моя в спасение Эллады, в соединение церквей, в освобождение Иерусалима из среды Руси? Нет, нет! — Исидор воздел руки к небу и со слезами воскликнул: — Забвенна, да будет десница моя, да прилипнет язык мой к гортани моей, если забуду тебя, отчизна героев и мудрецов, Эллада дивная, тебя, богошественный Сион, тебя, гроб Господа! и если не возбужу и от камня глас во спасение ваше!..

Не мог более удержаться Шемяка. «Нет! это не мирская гордость. Нет! это не суета! — сказал он. — Отец Исидор! Ты раскрыл мне очи души моей, ты возбудил ее от дремоты смертной!.. Да, я чувствую, что голова моя в огне и душа не вмещает новых дум моих... Выслушай же, выслушай меня...»

Звон во все колокола, начавшийся на монастырской колокольне, показал им в это время, что вскоре начнется литургия. «Пойдем во храм! — воскликнул Шемяка, — пойдем, посмотрим, как дядя мой смело поругается миру; но я чувствую себя выше, выше!..» Он поспешно пошел в церковь. Казалось ему, что бытие его тогда обновилось, что перед ним поднялись покровы, закрывавшие от души его таинства вселенной. «Из примера дяди научусь я твердой воле, — думал Шемяка, — и проразумею будущую участь свою в его смелом желании — оттолкнуть от себя мир низкий и мелкий!..»

Более года не видав дяди, Шемяка так, как и все зрители, воображал себе величественное позорище в пострижении Константина. Каждый думал увидеть, как

горделиво поперет ногами своими сын Дмитрия Донского славу мира, блёск и величье и благоговейно преклоняясь пред владыкою владык унижением превысит других. Люди так воображают себе все великое, не понимая истинной сущности его. Тогда только ценят они величье, когда оно является в резкой противоположности с его окружающими! Так, подходя к телу великого победителя, на лице мертвого героя думают они увидеть глубокую мысль Вечности, запечатлевшую земное его бытие, и с ужасом усматривают безобразный труп, изможденный смертною болезнью, обезображенный тлением, съедаемый червями, гнездящимися прежде всего там, где блистали некогда, при жизни, яркие очи великого человека!..

Умолк великий звон. Раздался звон тихий, похоронный, и сквозь толпу народа, в церкви и вне церкви находившегося, четыре инок повлекли бледное какое-то привидение. Согбенный, полузакрытый длинными, нерасчесанными волосами, в беспорядке падавшими с головы, в бедной ризе, босой веден был в церковь Константин из его келии. Грубая власяница покрывала его тело. Три раза падал он на землю, творя молитвы, пока дошел до амвона церкви. Потом пал он в ноги настоятеля; слезы текли обильно из глаз его; рыдания слышны были, замиравшие в груди его. Наконец, обратился он к народу, стал перед ним на колена и тихо проговорил: «Братия и други! Простите меня, грешного раба Божия, князя Константина, простите, кого обидел я делом, словом, помышлением!» Голова его преклонилась к земле — Константин распростерся во прахе и учинил народу три земные поклона.

Слезы полились тогда у всех; многие стали на колена и с земными поклонами начали молиться за смирение, оказанное в глазах их знаменитым князем. Запел протяжный, унылый хор: «Отверзитесь мне отчие объятия! Тщетно изжив житие мое, вижу неизживаемое богатство щедрот Твоих, Спаситель! Молю: не презри унищавшее мое сердце!» — При глубоком молчании народа прочитаны были молитвы, и настоятель громогласно начал обычные вопросы: «Зачем пришел ты, брат, и припадаешь к святому жертвеннику? Вольною ли мыслию приступаешь ты ко Господу! Не нуждою ли и насилием? Пребудешь ли до последнего издыхания в монастыре и постничестве?»

Невольный трепет проник в сердца присутствовавших, когда, после тихих ответов Константина, громом

гласно провозгласил настоятель увещание, или *оглашение*:

«Узнай, чадо мое, какие обетования даешь ты Господу Иисусу! Ангелы стоят здесь невидимо и пишут исповедание твое, и во второе пришествие Бога страшно истяжут тебя за нарушение!» Изображая тягость иночества, бедность, скорбь его, «знай,—говорил настоятель,—что враг не престанет подлагать под душу твою лукавые помыслы прежнего жития. Подумай: не раскаешься ли ты? Вспомни, что обратиться вспять тебе будет уже невозможно. Вспомни, что отречешься ты отца и матери, мира и роскоши, даже самого себя, по слову Божию: *кто хочет во след Меня идти, да отвержется самого себя, возьмет крест свой и по Мне грядет!* Ты будешь алкать и жаждать, нищенствовать и нагствовать, будешь укорен, презрен, уничтожен, изгнан... Надеешься ли ты на силы свои?»

После утвердительного ответа, прочитаны были поставительные молитвы, и — не стало князя *Константина* — имя *инока Кассиана* было провозглашено. Собственною рукою Кассиан подал настоятелю ножницы. Трижды отталкивал их настоятель... еще увещевал ставленика, и при унылом пении: «Господи помилуй!» — совершился обряд. Порог келии навеки разлучил Константина от мира. С крестом и зажженою свечою в руках, облеченный в черные ризы инока, стоял он, преклоненный пред царскими дверями, бледный; изнеможенный; никакого выражения страстей не видно было на лице его; не видно было и вдохновения. Глаза его не обращались к небу, хотя слезы не текли уже более из глаз его. Он казался мертвецом и в совершенном бесчувствии не произнес ни одного слова, поздравляемый, лобзаемый братиею. Настоятель повергся перед алтарем и долго в горячей молитве благодарил Бога; но Кассиан был безмолвен и неподвижен.

Шемяка не плакал, подобно другим, когда земные поклоны творил Константин перед народом, моля прощения во грехах; невнимательно смотрел он потом на весь обряд пострижения; невнимательно слушал он и пение и молитвы и увещание. Так сильно поразил его первый взгляд на дядю, его, который с душою, полною высоких дум и чувств, никогда до того времени не испытанных, пришел во храм Божий — видеть торжественное, смелое отвержение земного для небесного. Он увидел, напротив — падение силы, робкую волю, с отчаянием

бежавшую от мира и с трепетом приступавшую к алтарю Всевечного. Тогда мысль о суете и слабости человека сильно врезалась в его душу. «Неужели так все должно кончиться! — думал Шемяка. — Неужели все великое только в слабости и бессилии познается? Суета суетствий! Это ли князь Константин? Это ли смелый его подвиг? Се человек! А я что же? И я дерзнул помышлять так гордо о будущей судьбе своей? Я осмеливался прозирать в будущее, осмеливался мечтать о бессмертии, когда две недели жестокой лихорадки могут убить все телесные и душевные силы мои, отнять все гордые помышления и меня, изможденного и слабого, уподобить этому живому мертвецу, в котором я не узнаю князя, за год тому блиставшего радостью, здоровьем, великолепием!..»

В глубокой задумчивости стоял Шемяка. Литургия приходила к окончанию. Вдруг заметил он боярина звенигородского, пробиравшегося к нему сквозь толпы народа. Бледен и печален был сей боярин. «Не меня ли ты ищешь?» — спросил его Шемяка. — Тебя князь Димитрий Юрьевич, — отвечал боярин. — Родитель твой зовет тебя к себе. — «Еду незамедля — дай только обедне кончиться». — Нет, князь! Он просит тебя немедленно — поспеши, оставь все! — «Но, что сделалось? Скажи: здоров ли родитель?» — Нет, князь! Он очень нездоров. — Едва не воскликнул тогда от ужаса Шемяка: «Суд Божий! Не ты ли такими уроками слабости и смерти указываешь мне на тщету моих помыслов!» Но он удержался, не показал смятения, только побледнел и — «Говори, боярин, откровенно: жив ли отец мой?» — спросил тихо. — Не знаю! — прошептал боярин.

Через несколько минут Шемяка мчался во весь опор, один, без всякой свиты, прямо к Кремлю и в нетерпении бил и гнал своего летучего бегуна.

Глава VI

*Кая житейская пища пребывает
печали не причастна?
Кая ли слава стоит на землй?*

Надпись на одной из княжеских
гробниц в Архангельском соборе

Если грусть невольная одолевает сердце наше после живой радости, если мысль о ничтожестве человека налегла на нашу душу после гор-

дой, высокой мысли, должно ли это почитать предвестием бедствия, грозящего нам? Не всегда; но — не презирайте предчувствия! Незыблемое, скрытое таинство заключено в этой безмолвной беседе души человеческой с будущим. Это грустный ангел, остерегающий вас... О, благоговейте перед его предостережением...

Недаром невольная грусть тяготила Шемяку, как мы видели это из разговора его с Исидором. Чуден человек тем, что все зависит от взора души его на окружающее! При весельи души его радужится пред ним будущее, цветится настоящее и воспоминание пережитой им горести покрывает прошедшее легкой грустью, похожею на радость, ярко представляя ему одно счастье былого! Но когда змея-горе сосет сердце человека — мрак облекает перед ним всю природу, темнит будущее, отравляет настоящее и клеветает на прошедшее, закрывая все его радости жалобой и горем. Заметили ль вы еще грустную игру судьбы человеческой? Как неверный друг сердца, поссорившись с вами, она вдруг, как будто раскается, спешит утешить, обласкать вас, помириться с вами... О! не верьте ей тогда, не верьте: это коварное обольщение перед побегом радости, перед разрушением счастья вашего! Ваше счастье хочет в последний раз напомнить вам о себе, дать вам почувствовать, чего вы лишаетесь, и — немилосердное! передает ваше сердце злодейке-печали!

Так и Шемяке пришлось испытать все это. Среди грустного, печального предчувствия беседа с Исидором освежила было душу его, упоила было ее думами, доколе ей неизвестными. Но безжалостно указала ему потом судьба на ничтожество человека в лице Константина и с злобным смехом повела его после сего в Кремль...

Что же там ожидало его? Что увидел он в Кремле? Много народа стеклось там на площадях и толпилось вокруг Кремля и около дворца, но это не были кипящие разговором, шумные толпы; напротив, разделяясь на небольшие собрания и беседы, отдельно, тихо, уныло разговаривал между собою народ. Многие, особливо старики, сидели и лежали на крыльцах и около стен, безмолвные, в грустном каком-то ожидании. Лошади бояр и чиновников дворских стояли в стороне, но были без всякого великолепия. Шемяка с ужасом предугадывал страшное событие и мысль, что за мгновенным порывом гордости судьба ведет его на зрелище смерти отца, как будто на-

рочно посмеиваясь ему — поразила князя! В то же время он помыслил, что лишается, хотя и слабого, но доброго, нежного родителя, и что будет теперь, если он скончался внезапно? — было последнею мыслью Шемяки...

Бледный, вне себя, вошел он в Большую дворцовую палату. Множество бояр и сановников, без всяких знаков пышности, сидели в сей палате в совершенном безмолвии. С изумлением увидел тут Шемяка князя Василия Ярославича, Юрия Патрикеевича и вообще всех Васильевых бояр, которые были взяты в плен, или захвачены в Москве, и находились под стражею. На лицах многих изображалась скорбь; некоторые тихо плакали, и все встали и почтительно ему поклонились.

— Что сделалось? Каков родитель мой? — поспешно спросил Шемяка.

«Он здравствует еще», — отвечал один из бояр.

— Слава Богу!

Но боярин продолжал: «Давно зовет он вас, князя, тебя и Василия Юрьевича, к себе; нам всем повешено собраться сюда; велено освободить и призвать всех бояр Василия Васильевича (примолвил боярин тихо). Мы собрались, ждем приказа — велено еще подождать — ужасная неизвестность заставляет душу ныть и сердце трепетать... Теперь у него священник с святыми дарами. О, князь, князь! До чего мы дожили!..»

Не отвечая ни слова, Шемяка пошел в комнату Юрия Дмитриевича; тихо, но быстрыми шагами шел он, как будто желая скорее узнать меру своего несчастья. Все безмолвствовало вокруг Шемяки, и это безмолвие ужаснуло его, когда он подошел к дверям комнаты, где находился отец его. Дверь была затворена. Казалось, что за этою дверью ждало Шемяку будущее — и кто не ужаснулся бы, если бы ему сказали, что таинственный покров спадет в одну минуту с безвестного лица грядущей его судьбы? Невольно затрепетал и оцепенел Шемяка — «Помедли еще одно мгновение! — шептал, казалось ему, таинственный какой-то голос, — еще судьба в твоей власти; переступив этот порог, ты не будешь уже владеть ею! — Но, каждое мгновение есть, может быть, ужасный вычет из последних часов моего родителя. О Боже! Благословение, благословение его потребно мне, и от всего я отказываюсь!..» Шемяка медленно растворил дверь...

Окна комнаты были затворены изнутри ставнями. Летнее, светлое небо не было видно в этой обители скор-

би. Огромная, великолепная кровать великокняжеская стояла у стены порожняя; широкая, отодвинутая от стены скамья, закрытая ковром, с одною большою подушкою составляла одр, на котором лежал в это время старец Юрий, сильный победитель, Великий князь Московский. На нем была надета белая рубашка; до половины тела закрыт он был собольим своим тулупом. Димитрий Красный поддерживал его голову; священник стоял перед ним с крестом. Глаза Юрия были закрыты. Длинные седые волосы и борода его были в беспорядке; благодушное лицо его было бледно... смертный колокол звенел в груди.

Невольно сжались руки Шемяки. Но Димитрий Красный дал ему знак молчать. Священник оборотился к пришедшему. — Неужели все уже кончилось? — спросил тихо Шемяка. — Нет! он сейчас говорил, — прошептал священник. — Не тревожьте его печалью, не мешайте ему. — Но лекарь, лекарь? — спросил Шемяка. Священник возвел глаза к небу. «Молитесь, — сказал он, — о блаженной, тихой кончине его. Он не велел призывать врачей и требовал только духовного врача».

Тут вдруг, неожиданно, Юрий открыл глаза и вздохнул свободнее. «Кто здесь? — сказал он. — Слышу, что кто-то пришел... Ты ли это Василий? Кто говорит здесь? Чувствую, что это голос сына! Ты ли это, Василий?»

— Нет! Это я, Димитрий, родитель! Неужели ты не узнал меня! — сказал Шемяка, повергаясь на колени перед умирающим.

Юрий хотел поднять голову, но не мог, тихо протянул руку, повел по голове Шемяки, собрался с силами и снова повторил: «А Василья нет?» Глаза его обратились к небу и наполнились слезами.

— Родитель мой! Мог ли я ожидать, оставляя тебя за три часа здрава и в силах, что увижу тебя в таком состоянии!

«Нет! Я давно уже знал, но... — Юрий улыбнулся, — зачем было тревожить вас? И без того вы нагорюетесь обо мне, бедном старике. Ты плачешь? Пора мне, чадо мое, пора! Я благополучнее теперь, благодарю Бога, что он сподобил меня приобщиться святых тайн, и видеть вас перед кончиною... Ах! как я ждал вас!» Юрий тихо пожал руку Шемяке и опять повторил: «А Василья-то все еще нет!»

— Он придет, родитель; но ты еще будешь жив и здоров для нашего счастья, для счастья всех...

«Поздно — пощупай ноги мои... они уже не принадлежат мне... Ах! Василья нет!» — он тяжело вздохнул.

— Неужели за ним не посылали? — спросил тихо Шемяка у Красного.

«Его нигде не нашли в Москве. Я послал на Ходынку. Не там ли он, не осматривает ли дружин? — отвечал горестно Красный. — Кто думал, что так близок час кончины его!..»

— Дети мои, милые дети мои! — сказал Юрий после забывчивости, продолжавшейся с минуту, — дайте мне руки ваши! — Шемяка и Красный подали ему руки; Юрий сложил их вместе и сжимал хладеющую десницею. — Вотще, — продолжал он, — вотще глаголет Писание быть на всяк час готовым и исполнять то немедленно, что лежит на душе и совести... Бедные! Мы не знаем, мы не думаем, что смерть всегда за плечами... Но, прочь земное — *Господня земля и исполнение ее*... Василья нет! Ужели умру не благословив его, не давши ему моего последнего завета! — Он опять остановился. Дети не смели прерывать молчания. Снова Юрий начал говорить: «Мир и согласие завещаю вам, дети мои. Здесь, под изголовьем моим, велел я поставить скринку, где найдете вы мою последнюю волю — мою духовную грамоту — она да будет для вас неизменна! Прощаю вас, если вы погрешили предо мною — благословляю вас — О Господи! даруй им житие мирное, даруй им благословение твое! Не огорчись ты, Дмитрий, если я скажу твоему брату, что он был мой ангел-утешитель... Да, Митюша! ты никогда не досадил мне даже словом... Но Божие и мое на обоих вас равное благословение... Если Василья не увижу я, скажите ему, что и его благословил я — но, да исполнит он последнюю мою волю... Тяжек нрав его, буен дух его, а сердце его благо и ум его светел. О! горек, как море-окиян, будет поток жизни его! Сохрани его, ты, Бог милосердый! Смиряться, увещивайте его, и — паче всего, повторяю вам — любите друг друга... Не плачьте, дети мои! Я умираю спокойно — вы на возраст; дела Бог устроит; довольно пожил я на белом свете... может быть, без меня и лучше будет... Много было на мне грехов, но — ты милосерд, творец! Блудитесь честолюбия, бегите гордости: она погубила праотца Адама, она губила и меня — ох!.. губила! Теперь, готовясь предстать неумытому судии, чувствую, что не так бы должно мне поступать... Читайте чин духовный, моли-

тес за себя, за душу мою, молитесь, да не внидите в напасть — блюдите милую обитель мою — по душе моей дайте милостыню... А брат Константин? Где же он? Нас только двое братьев и осталось... Зачем он не пришел...

«Он принял в сей день иноческий сан, родитель, — сказал тихо Шемяка. — Он прислал тебе благословение...»

— Ах! я начинаю уж забывать... Дивное дело смерть человека, дети мои! Чувствую, но не понимаю, не знаю, что со мною делается!.. — Он замолчал, собрался снова с силами и говорил, но гораздо тише и медленнее: «Один — умирает, другой — инок... И так нет уже сынов Димитрия Донского — прешли, как тень... Сорок лет тому, когда мы стояли у одра отцовского — помню — да... Пятеро было нас, и едва старший из нас вступал в лета юношеские — Василию было семнадцать лет, а Константин только что родился, и — се! последние двое переходят... О, дети, дети! Мир вам, мир — да удалит от вас Бог свары и гордость — гордость, паче всего... Батюшка! — сказал он обращая взоры на священника, — вели растворить двери и позвать всех — хочу видеть всех, проститься со всеми... Помогите мне, Господи!..»

Шемяка хотел было идти.

— Нет, нет! Не уходи, сын мой, чадо мое! Дай мне на вас наглядеться... Ах! Василий!..

Священник думал исполнить приказ Юрия, но остановился, ибо Юрий, голосом более и более угасавшим, лепетал уже невнятные слова. Язык его коснел; глаза закатывались. От сделанного им усилия говорить с детьми он ослабел совершенно, голова его поникла, глаза помутились, колоколец поднялся выше. Он шевелил еще губами. В горести упали подле него на колени сыновья его и рыдали. Юрий двигал правую руку, силясь, по-видимому, сделать крестное знамение. Священник поднял руку его, положил на грудь, вложил в руку крест и стал кадить ладаном в маленькой серебряной кадилнице. Быстро поднялся тогда Шемяка и смотрел на отца без слез и рыданий. Он приложил руку свою к его груди, пощупал его руки, лоб — все было холодно, и через минуту только короткое дыхание порывисто вылетало из уст Юрия. Священник читал отходную молитву — еще пролетела минута... дыхание Юрия прекратилось...

Тогда и Димитрий Красный перестал рыдать и плакать. Несколько мгновений смотрел он на хладный труп

отца, потом стал на колени, обратился к образу и тихо молился. Поднявшись, закрыл он лицо родителя своего святым покровом. Тут взоры его встретились со взорами Шемяки, и братья бросились в объятия друг друга, крепко сжали один другого, слезы их полились снова и смешались. «Ты бледен и едва держишься на ногах, любезный брат!» — сказал Шемяка, чувствуя, что Димитрий Красный шатается.

— Если бы я и совершенно здоров был и тогда только вера помогла бы мне перенести тяжкую нашу потерю. А теперь, когда только забвение самого себя позволяло мне быть при смертном одре родителя и я едва могу двигаться от слабости... о брат!.. ты оплачешь вскоре и мою кончину!

«Друг и брат! Что говоришь ты? — воскликнул Шемяка. — Нет! Бог милосерд...» Красный лишился чувств и повергся в его объятия. Шемяка осторожно положил его на постель великокняжескую. Тяжело дышал Красный.

Шемяка не слышал, как настежь растворились двери и раздались стоны и рыдания. Весть о кончине Юрия уже разнеслась по дворцу, и все, собранные во дворце бояре и сановники, вошли в комнату, где лежало тело его, и в другую, перед нею находившуюся. Шемяка опомнился, когда несколько стариков, бояр звенигородских, товарищей юности Юрия, стали на колени подле его тела, заливались слезами и причитали: «Князь добрый! На кого покинул ты нас! Высокий умом, смиренный смыслом, лепый взором, чистый душою, мало глаголавший, много разумевший! Не узрим уже мы тебя! День скорби, день тьмы и мрака! Горе нам, братия! Уснул князь князей! Звезда сияющая склонилась к западу! Господин великий! где честь твоя и слава? Властитель земли Русской! мертв лежишь ты и ничем не владеешь! За багряницу саван, за красные чертоги гроб выменял!..» Так вопили и причитали верные слуги, среди плача и рыдания. Плакали все — друзья и враги, подвластные и непокорные. Кроме умирительного зрелища кончины старшего из князей русских, многие с ужасом в то же время думали о судьбе Руси, об участи Москвы, о том, что теперь будет, когда не стало Юрия, и сыновья его повелевали силами Москвы, враждуя против Василия.

Когда Димитрий Красный пришел в чувства, его взяли под руки и увели в его комнаты. Бояре и все сановники вышли в Большую палату.

Еще раз преклонился перед телом отца своего Шемяка, еще раз поднял он покров с лица Юрия, вглядываясь в доброе, благородное его выражение. Юрий казался спящим; улыбка застыла на устах его, и ни одна примета скорби не мрачила его чела.

В эти минуты ни печаль, ни мир, и ничто не волновало души Шемяки. Но — суета мира уже звала его так, как земля звала тело его отца. С одной стороны явились люди, назначенные опрятать покойника; с другой пришли бояре отца его и сказали, что Шемяка должен немедленно явиться в собрание бояр, где начинаются уже толки и споры, и что Кремль наполнился волнуемым народом. «Не прикажешь ли принять меры предосторожности?» — спрашивали бояре.

— Ничего не прикажу, — отвечал Шемяка.

«Не позволишь ли нам посоветовать с тобою, князь Димитрий Юрьевич?»

— Не нужно, — отвечал он.

Бояре безмолвно отступили.

— Возвратился ли брат Василий?

«Нет еще».

— Итак, да совершится все без него, — отвечал Шемяка. Он взял из-под изголовья отцовского небольшой ящичек, запечатанный великокняжескою печатью, дал знак идти за собою боярам, пришедшим к нему, и пошел в собрание.

Оно было уже умножено вновь пришедшими, ибо весть о кончине Юрия быстро пролетела уже по Москве. Подходя к дверям Большой палаты, Шемяка услышал шум и спор. Он остановился. Следовавшие за ним думали, что он тревожится страхом и опасением, и осмелились снова предложить ему о предосторожностях.

— Умолкните, бессмысленные, не понимающие величия кончины старца и Великого князя вашего! — воскликнул Шемяка и сильно расхлопнул дверь в Большую палату.

С негодованием увидел он, что не скорбь, не уныние, но беспокойство и шумное волнение царствовали в собрании; голоса возвышались; крамола действовала.

Вход Шемяки заставил всех умолкнуть. Мужественно стал он посреди собрания и быстро окинул взором всех присутствовавших. «Кто смеет здесь буйствовать? — сказал Шемяка. — Люди, недостойные своих званий и санов! Еще труп владыки вашего не остыл, и вы, в доме его, дерзаете уже помышлять о чем-либо другом, кроме благоговения в великий час его кончины!»

— Князь Димитрий Юрьевич,— сказал ему один старик боярин.— Мы не буйствуем; но в лице родителя твоего скончался не просто старец, но Великий князь Московский. С ним соединена была судьба русской земли. Народ, дружина, все мы ждем теперь решения сей судьбы. Скажи нам: кто теперь *Великий князь*?

Смятенный говор прожужжал в собрании. Шемяка снова обвел всех присутствовавших взором. «Не дерзайте решать судьбы Великого княжества! — сказал он.— Здесь видите вы решение оной, изреченное родителем моим; здесь сокрыто последнее его слово!» Он поднял и показал всем ящичек, держа его левою рукою. Взоры всех обратились на таинственный ящичек сей. «Но прежде, нежели мы что-либо узнаем, клянитесь мне все,— сказал Шемяка,— что все вы свято исполните волю отца моего. Я обещал ему повиноваться, и передает ли он Великое княжение брату моему, или отдает его последнему рабу — я, первый, клянусь ему повиноваться и положить живот мой во исполнение последней воли его!» — Он поднял правую руку и воскликнул громко: «Клянусь Богом всемогущим, карающим клятвопреступника!»

— Клянемся!—воскликнуло несколько голосов, и несколько рук поднялось по слову Шемяки; большее число безмолвствовало; некоторые дерзнули что-то бормотать.

Грозно оглянулся кругом Шемяка. «Кто смеет противиться? — сказал он, видя, что приверженцы Василия явно хотят восстать против него.— Или снова браням и уوبيце хотите вы предать Великое княжение? — продолжал Шемяка.— Князь Василий Ярославич, князь Юрий Патрикеевич, вы все, которых призвал сюда отец мой, пленники его, преданные воле его судьбами Бога победодавца! Вы смеее сопротивляться голосу, который из гроба повелевает вами? Смеее послушаться его, имевшего власть над животом и смертью вашею?»

Грозен был Шемяка в сии минуты и величествен был вид его. Но еще колебалось и волновалось собрание. «Подожди, князь Димитрий Юрьевич, старшего брата, который заступил теперь тебе место отца твоего», — заговорили некоторые. «Князь! Мы не смеем нарушить завета отцов, когда Господь послал по душу твоего родителя», — сказали другие. Шемяка вдруг удержал гнев свой, поставил ящичек на стол и тихо, став снова среди собрания, начал говорить:

«Я был бы самый презренный из человеков, если бы осмелился притворствоваться в сии горестные мгновения. Знайте же, что мне вовсе не известно, кому передал Великое княжение отец мой. Если он отдает его брату Василию — я буду первый слуга его; если же он отдает его и племяннику Василию... я первый обнажу меч на врагов его! По завету отцов, Великое княжение принадлежало отцу моему и ничто в течение девяти лет не могло нарушить его прав — он скончался Великим князем. Если бы я руководствовался корыстным побуждением, я стал бы теперь за своего брата, но вы видите мои поступки! Воля властителя, старца, первого в роде Мономаховом, когда он предузнавал уже кончину свою, так превышает нашу волю, как небо землю! И какое вы имеете право, вы, рабы его и послушники! решать то, что выше вас? Клянитесь повиноваться его воле, и я мгновенно сорву печать с его завещания!»

— Мы все клянемся! — единодушно воскликнуло собрание, увлеченное каким-то вдохновением, внушенным речью и голосом Шемяки. Шемяка схватил ящичек и сорвал с него печать. «Говори из-за гроба, родитель мой!» — сказал Шемяка и развернул грамоту духовную. Она вся была написана рукою самого Юрия. Шемяка показал ее собранию, поцеловал ее, перекрестился, и все перекрестились. Судьба народов Руси, судьба грядущих царственных поколений решались в сие мгновение. Воцарилось молчание, столь глубокое, что никто не смел дажедохнуть, и Шемяка начал читать:

«Во имя Отца и Сына и Святого духа. Се аз, грешный и худой раб Божий, Юрий Димитриевич, пишу грамоту душевную в своем смысле; даю ряд детям своим, *Василью, Дмитрию и Дмитрию меньшому*, приказываю им вотчину свою в Москве, *жербий, чем благословил меня отец мой, князь Великий Дмитрий Иванович*, в городе и станах, в пошлинах городских и в тамге, в восмищем и численных людях, и в мытах, трем сыновьям своим натрое...»

Изумление изобразилось на всех лицах. «Праведник, праведник!» — пролетел шепот в собрании. Шемяка дал знак молчать и твердым голосом продолжал чтение: «А се даю сыну Василью из своего удела Звенигород с волостями, и с тамгою, и с мыты, и с борти, и с селы, и со всеми пошлинами, и с волостями...» Следовало исчисление волостей. Шемяке отдавал отец Рузу, Красному Вышгород, повелевал им разделить между собою Дмитров, Вятку и Галич, определяя *выход* в ордынскую

дань; отдавал Василию икону Смоленской Богоматери, Шемяке икону Спаса Нерукотворного, Красному икону Богородицы Казанской, распределял пояса, золото, жемчуг и благословлял детей исполнить заветы, или страшиться суда Божьего за нарушение отцовского решения.

Чтение кончилось. Но о *Великом княжестве* ничего не было упомянуто решительно, как будто Юрий не имел никакого права располагать им. Сомнение, недоверчивость видны были во всех взорах, но никто не смел возвысить голоса.

«Итак,— сказал Шемяка,— да исполнится завет отца. Он ничего не говорит о Великом княжении, но он и не *отдает* его никому! Если он не смел решить судьбы сего великого дела народного, да будет по судьбам Бога. Право меча уступит праву мира; молчание отца подтверждает завет отцов». После минутного безмолвия: «Да здравствует Василий Васильевич, Великий князь Московский!» — громко воскликнул Шемяка.

Казалось, что этого только ждали.

И все собрание загремело: «Да здравствует Василий Васильевич, Великий князь Московский!» Общая радость заблестала во взорах всех присутствовавших. В еликодушие Шемяки представило его каждому чем-то великим. Первым бросился к нему князь Василий Ярославич, поцеловал его руку и сказал: «Ты выше, ты больше: ты великодушный враг, ты ангел, а не человек!» Другие следовали примеру сего князя, целовали руки Шемяки, падали к ногам его... Святые минуты, редкие мгновения торжества добродетели!

Глава VII

*Отчаянный — на миг он сам себя забыл;
Но миг — как молния, вдали по океанам —
Сверкнула злая мысль...*

Мерзляков

Но такие минуты непродолжительны: они походят на лъстивый сон, улетающий с горестною действительностью жизни, на радость — эту насмешку счастья над человеком...

Вскоре на всех лицах изгладились блеснувшие на мгновение чувства радости, восторга, удивления к великодушию Шемяки. Появилось выражение какого-то нетерпения, какой-то холодности, будто укорявшее его за то, что он смел пренебречь обыкновенным миром и воз-

выситься перед другими. И сам Шемяка принужден был приняться за распоряжение.

«Тело покойного родителя должно быть предано земле в Архангельском соборе, среди наших предков, с подобающею почестью, как останки *Великого князя Московского*, — сказал Шемяка. — Я сам изберу место, близ коего потом, да благословит Бог лечь и нас, сынов его». Слезы навернулись на его глазах.

«Вы, воеводы и бояре, — продолжал Шемяка, указывая на некоторых, — идите к собранным на Ходынке воинским дружинам и велите им разойтись, объявляя, чтобы все шли немедленно принять присягу Великому князю Василию Васильевичу по воле покойного моего родителя, нашему согласию и завету отцов. Отворить немедленно все церкви и соборы московские и повелеть всем обитателям Москвы явиться к крестному целованию. Я первый пойду и присягну в пример и исполнение сего.

Вы, князь Василий Ярославич и князь Юрий Патрикеевич, с теми, кого я назначу, отправитесь немедленно к Василию Васильевичу. Объявите ему обо всем происшедшем. Скажите, что я остаюсь теперь в Москве, как наместник московский, и буду стараться до прибытия его только сохранить спокойствие и тишину в Москве. По последним известиям, он был во Владимире.

Избранная дума соберется в Писцовой палате для окончательных распоряжений немедленно. Спешите исполнить все повеленное вам. Я не замешкаю явиться в Писцовую палату. Дайте мне только вздохнуть немного...»

Казалось, что Шемяка страшился чего-то и как будто спешил всем распорядиться. Низко поклонившись, каждый шел исполнить свое назначение. В то же время, посланные от Шемяки объявили народу с Красного крыльца о кончине Юрия и княжении Василия. Народ от невольного изумления при сей вести переходил к радости и громко начал восклицать. Шемяка хотел удалиться. Но то, чего страшился он, совершилось к неописанной горести и стыду его!..

Уже Шемяка оставлял собрание, идя во внутренние покои, и присутствовавшие в оном выходили в противоположные двери, когда какое-то смятение двинуло их назад. Смятенный крик и шум раздался в близ находившейся комнате, и с трепетом вбежали в палату бояре, вышедшие на Красное крыльцо для объявления народу.

«Что сделалось?» — вскричал Шемяка, обращаясь к ним.

Но от ужаса они не могли вымолвить ни слова. Наконец один со страхом и трепетом воскликнул: «Князь Василий Юрьевич, брат твой!»

Не успел Шемяка отвечать ему, как Василий Косой вбежал в палату. Платье его было в беспорядке, лицо бледно, взоры сверкали, обнаженный меч был в руке его. За ним следовал князь Иоанн Можайский и еще несколько молодых военачальников. Платье их было все в пыли, и видно было, что они издалека скакали опрометью.

Спокойно стал Шемяка. Раскаленные взоры Косого упали на него. Он не думал встретить здесь брата, отшатнулся назад и, окидывая глазами собрание, возгласил охриплым голосом: «Кто смеет распоряжаться здесь, в моем доме, моею властью? Кто выслал этих презренных рабов кричать народу безумные речи с Красного крыльца?»

— Я,— твердо сказал Шемяка и устремил на брата смелые, но спокойные взоры.

«Ты?» — Косой остановился. «И ты,— продолжал он, после минутного молчания,— скрывал от меня кончину родителя? И ты велел провозглашать имя *Василия*, как имя *Великого князя*?»

— Я,— повторил еще раз Шемяка,— по завещанию отца, судьбам Бога и согласию всех сановников!

«Я посмотрю, кто осмелится восстать против своего законного властителя!» — возгласил Косой. Оттолкнув Шемяку, он стал посредине собрания и, опираясь на меч свой, воскликнул: «Великий князь не умирает. Родитель скончался: я ваш государь и повелитель!» Между тем палата наполнилась снова боярами и воеводами, хотя все они боязливо отодвигались от Косого. Следовавшие за ним молодые воеводы преклонили колена, обнажили мечи свои и закричали громко: «Да здравствует Великий князь Василий Юрьевич!» Но их было немного. Клики их разлетелся в палате без отголоска. Все безмолвствовали. Это молчание поразило Косого более грома небесного.

— Брат! — сказал Шемяка,— стыдно, позорно мне за тебя, смотря на то, в каком виде представляешься ты взорам моим! Не говорю о том, что в горестные минуты кончины родителя ты буйствуешь, а не молишься и не скорбишь,— но, скажи, к чему твоя безумная ярость? Так ли должен был ты начинать, если бы и в самом деле

был ты законный наследник, или избранный отцом и народом преемник родителя своего?

«Ты враг мой, злодей, изменник! — воскликнул Косой. — Ты утаил от меня кончину отца, ты лишил меня даже его благословения!»

— Нет! Бог свидетель, что всюду разосланы были за тобою гонцы, и я сам едва успел прибыть из Симонова и находиться при блаженной его кончине! Так быстро позвал его к себе судия небесный... Родитель ждал тебя, звал нетерпеливо... — Голос Шемяки прервался от слез.

Скрывая движение свое, Косой отвернулся и сказал: «Он хотел мне передать старейшинство свое!»

— Нет! — отвечал Шемяка, поспешно отирая слезы, — не передать старейшинство, но — только благословить тебя, несчастный брат — несчастный, если сердце твое не умиляется! Такова была воля отца. — Шемяка развернул духовную Юрия. — Все кончено; все от тебя отступят, если ты будешь еще упорствовать. Уже к присяге приводят жителей Москвы, уже поехали послы к Великому князю...

«Этому не бывать! Прочь с подложною грамотою, — вскричал Косой, вырывая духовную отца своего и бросая ее на пол. — Скажи: за много ли продал ты брата и душу свою Василию?»

— Безумец! — воскликнул яростно Шемяка, но тотчас опомнился, подхватил духовную и с негодованием, но тихо продолжал: — Оставляем тебя безумию твоему! Пойдем, князь и бояре! Если гроб отца не вразумляет его, то нам не вразумить!

Он пошел. За ним следовали все другие, *все*, даже и пришедшие с Косым, кроме Иоанна Можайского. Косой хотел броситься в удалявшуюся толпу, не в силах будучи выговорить слова, но Иоанн Можайский удержал его, обнял, старался утишить. Палата опустела.

— Измена! — было перье слово, вылетевшее из уст Косого.

«Успокойся, успокойся, князь!» — говорил Можайский.

— Гибель на роде нашем: брат предает брата.

В это время, случайно, кто-то растворил двери, и из внутренних покоев послышался громогласный возглас диакона: «Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему, Великому князю Георгию, и сотвори ему вечную память!»

Тихий, унылый хор запел: «Вечная память». Там отправляли духовные обряды при теле Юрия Димитриевича. Голос религии показался голосом вечности Косому. Он умолк и безмолвно преклонил голову на грудь Иоанна.

О Провидение! что пред тобою человек! Если бы несколькими часами прежде явился Косой, если бы он двинул воинские дружины, над которыми был главным вождем, тогда его приверженцы и сила могли бы, может быть, доставить ему венец Великокняжеский. Но к несчастью своему, с раннего утра, даже не выдавшись с отцом, уехал он на обозрение дружин в окрестностях Москвы, готовя их в скорый поход против Василия.

Там едва могли сыскать его. Весть о близкой кончине отца так была неожиданна, так поразила его, что, приказав ехать за собою только обыкновенной страже, бросился он в Кремль, забыв все другое. В неистовство, в какое-то состояние бешенства пришел Косой, узнав в Кремле о смерти Юрия и услышав провозглашение Василия Великим князем. Он забыл сан свой, забыл все приличия, кинулся на извещавших народ бояр, и вслед за ними, не помня себя, вторгся в Большую палату.

Состояние его было ужасно. То припадал он к телу отца своего, плача кровавыми слезами, то бегал по опустелым палатам дворца, исторгая волосы с головы, кусая руки. Уничтожив достоинство человека, он уподоблялся дикому, бешеному зверю, готов был растерзать своими руками противников, готов был кликнуть клич буянам и отребью черни, вторгнуться с ними в Кремль, во дворец и скорее все разрушить, зажечь, разграбить Москву, нежели уступить ее другому! К вящему унижению, он видел, как спокойно было все окрест его, и люди и природа. Ясный летний день догорал на небе, и солнце, горя яркими лучами, закатывалось за небосклон. Тих, величественно спокоен был лик умершего отца его, и все безмолвствовало в Москве, в Кремле и во дворце. Иоанн Можайский следил за каждым его шагом, но Косому казался он приставником, определенным смотреть за поступками сумасшедшего.

— Князь! — сказал наконец Можайский, — что мы еще медлим? Давай руку на жизнь и на смерть! Дружины твои в сборе — туда к ним — напоим молодцов и подвинем их на Москву!

Будто от сна опомнился тогда Косой: «Ангел-хранитель! Твой ли голос я слышу? И я до сих пор не поду-

мал об этом?» Он крепко обнял Иоанна. «По крайней мере, я ручаюсь за своих,— говорил Иоанн.— Можайцы не выдадут, а с их помощью мы возмутим Москву, или— испечем ее, как яичко, которым подавятся Василий и твой Шемяка!»

Через час Косой, Иоанн и несколько человек из свиты их скакали в ходынский табор. Но здесь надежда жестоко обманула их! На половине дороги встретился с ними князь Михаил Верейский. Он спешил с известием к Косому, что вскоре после отбытия его явились в ходынский табор присланные от Шемяки, Красного и от всего сонма бояр московских с объявлением о кончине Юрия, восшествии на престол великокняжеский Василия Васильевича и о немедленном целовании креста и Евангелия в верности сему новому властителю. С радостным шумом поднялся весь табор; несколько осмелившихся противоречить было схвачено, связано и повлечено в Москву. Воеводы один перед другим спешили присягать. И вся толпа воинов пустилась потом в Москву, разграбила дорогою, мимоходом, несколько погребов и рассеялась кто куда знал и хотел.

В нерешимости остановились и советовались князья, что делать, когда прискакал к ним вестник, что Кремль затворен, наполнен дружинами, и им всем позволено возвратиться не иначе, как без воинов и без оружия, а в противном случае объявляется князю *Звенигородскому*, князю *Можайскому* и князю *Верейскому* свободный выход из Москвы, куда им Бог на сердце положит; в случае же сопротивления и враждования *опала великая*.

— Начинать ли нам теперь неровную борьбу? — спросил Иоанн, усмехаясь. — Жаль, правду сказать, и Москвы.

«Да, битва будет неровна. Звенигородские, Галицкие, Верейские, Можайские дружины готовы на все — правда; но ладно ли и то будет, что мы начнем драться за Московский престол, когда еще дядю в могилу не опустили?» — отвечал Верейский.

Косой молчал и поехал вперед. Замолчали и другие. Когда кончились предместья Москвы, Косой оборотил коня, долго, неподвижно смотрел на этот обширный город и вдруг, опустив поводья, схватил руку Можайского и руку Верейского.

— У меня нет уже родных братьев более,— вскричал он,— нет их отныне! Друзья! Хотите ли вы на живот и на смерти!

«На живот и на смерть!» — вскричали оба князя.

Все трое соскочили с коней, обнялись и поклялись быть братьями.

— Я знаю робкий, хитрый, злобный нрав этого змееныша Василия, — сказал тогда Косой, — знаю и глупую доверчивость и легкомыслие моего брата Димитрия. Красный плаксивая ханжа и, конечно, кончит монастырем, или определится звонарем, либо просвирником в какую-нибудь обитель. Но Димитрий и Василий скоро перегрызутся, потому что один всему верит, другой не верит ничему. Итак, надобны только мужество, крепость духа и осторожность. Отныне я и Василий будем дотоле враждовать и резаться, пока один из нас не будет вырезан из числа живых! О, боярин Иоанн! Зачем нет тебя со мною! Не стало людей, как тебя не стало! Но твердая воля и крепкая рука стоят большого ума. Я возмущу Орду, восставлю Новгород, лучше испепелю Москву, нежели отдам ее моему злодею... Друзья! Еще раз: руки ваши?

Можайский и Верейский снова крепко пожали ему руку и в ту же самую ночь тайно скрылись из его табора. Утром дружины можайские и верейские двинулись восвояси.

Рано поутру Косой услышал об этом. Он только улыбнулся, велел немедленно сниматься и идти в Звенигород. Там были еще в плену София Витовтовна и Марья Ярославовна. Немедленно велел он отослать их в Москву, сказав: «Я не с бабами воюю!» Через несколько дней он оставил Звенигород, поручив его Роману, и поспешно поскакал в Орду.

На другой день после отъезда Косого из Москвы происходили великолепные похороны Юрия. С восхождением солнца начался погребальный перебор колоколов. Примиренный гробом со всеми, умиливший сердца сам их врагов смирением, сын Димитрия Донского вынесен был на руках детей своих и стариков бояр в Архангельский собор. Слезы лились при гробе его — но, впрочем, когда же они не льются? Народ во множестве толпился, смотрел на мертвеца с бесчувственным любопытством, совсем не думая читать разгадку вечности на оземленелом лице его. Многочисленное духовенство с крестами, образами, хоругвями, притекшее со всех сторон Москвы, богатый покров, лежавший на дубовой колоде, в которую положено было тело князя Юрия, звон колоколов, многочисленный сонм бояр и сановников,

блестящие воинские дружины, вид Красного, в глубокой горести разливавшегося слезами, и Шемяки с мрачным, но бесслезным лицом, стоявшего во все продолжение литургии у головы тела — все это занимало и развлекало народ. Наконец, останки Юрия принял каменный склеп, между гробами Владимира Андреевича Храброго и младших братьев Юрьевых Андрея и Петра, в ногах Донского и Василия Дмитриевича, от южной стороны к западным дверям Архангельского собора. «Здесь и меня положите!» — говорил Красный, когда земля глухо стучала о крышку гроба, и священник произносил в поучение живущим, бросая горсть ее на гроб: *«Земля, и в землю идет!»*

На другой день каменщики беззаботно складывали каменный голбчик над гробом князя, распевая: *«Господи помилуй»*, а каменосечец иссекал пестрые буквы на камне, который должно было вмазать в голбчик, изображая ими следующую надпись:

«В лето 6942, иуния в 6-й день, на память преподобного отца нашего Висариона чудотворца, преставися благоверный князь Великий, Юрий Дмитриевич, сын Дмитрия Ивановича Донского; родися лета 6882-го, ноемвриа в 26-й день, и крещен бысть игуменом, преподобным Сергием чудотворцем, в Переяславле-Залесском, а тезоименитство его бысть в той же день, праздника Освящения церкви святого великомученика Георгия, иже в Киеве у Златых Врат».

— Что же ты не прибавил ничего о *добродетелях*, и *философии* никакой? — сказал ключарь собора, когда каменосечец принес эту надпись ко гробу.

«Мне ничего не заказывали».

— Видно забыли. А я сам слышал, что хотели прибавить: «Кая житейская пища пребывает печали непричастна? Кая ли слава стоит на земли?»

«Нет! — сказал соборный протоиерей, остановясь подле ключаря и опираясь на трость свою. — Мне сказывали, будто хотели приказать вырезать слова: «Иже глубинами мудрости человеколюбне вся строя, иже на пользу всем подавая, единае содетелю, покой Господи, души усопших».

— А может! — промолвил ключарь. — Ну, вмазывай же поскорее, ведь уже скоро 7-й час дня. Да, кстати: поправь-ка дощечку на гробнице Ивана Данилыча: все выпадает.

Ночью, через три дня после похорон, приехал в Москву Василий Васильевич, облобызал, обласкал Шемяку

и Красного. Договоры, тогда заключенные между ними, до сих пор целы, с восковыми печатями, из коих на Шемякиной виден воин старик в шеломе с татарскою надписью, а на Васильевой юноша в венце. Красный уехал в этот день в Троицко-Сергиевскую обитель. Шемяка договаривался за себя и за меньшого брата. Но, что было договариваться? «Вели написать, что ты знаешь»,— сказал он Василию. Спокойно слушал потом Шемяка, когда читали договоры, в которых коленчатым полууставом означалось, что Василий утверждает за ними уделы, данные отцом: Рузу, Галич, части в Москве, и придает еще из удела дяди Константина Шемяке Углич и Ржев, а Красному Бежецкий Верх; но за то берет себе у них Дмитров, лишает Косого Звенигорода и Вятки, присовокупляя все это к Москве, и что Шемяка и Красный обязаны *отступиться* от брата и *дружить*, и *ладить* Великому князю Московскому.

Шемяка не сказал ни слова, приложил молча печать свою к грамоте и в тот же день уехал из Москвы. Василий набожно отправлял великолепные девятины, полусорочины и сорочины по дяде, сам присутствовал на панихидах у его гроба, давал милостыни, делал вклады; в нескольких монастырях читали за упокой его души Псалтырь и служили обедни.

Не только родные братья, но все *отступилось* от Косого. «При пире, при браге много друзей, а при слезах, да при горе нет никого»,— говорит и не лжет пословица. В Орде встретили его кровавые битвы. Старый хан Улу-Махмет вышел на открытый бой с Кичи-Махметом, племянником своим. Ему было не до Руси, и Косому указали путь, когда приехали к хану московские послы. Через два месяца с берегов Волги Косой был уже на берегах Волхова. «Если хочешь, князь, у нас остаться, останься; хлеба новгородского не переешь, и удел тебе дадим, как Суздальскому князю даем хлеб и удел. Не хочешь — иди с Богом, а на Москву нас не подущай»,— отвечало новгородское вече.

В Новгороде услышал Косой, что князь Роман сдал Звенигород московской дружине. Ему некуда было приклонить головы. С немногими удалцами новгородскими ушел он в Вятку, кликнул на бесприютство свое клич. К нему сбежался удалый народ, русские казаки, отчаянные головы. Врасплох схватил он Вологду; но московская рать явилась перед ним. Как бешеный волк, терзал он ряды московских дружин; но ничто не помогло! Раненый в битве Косой едва убежал в Кострому. Челядь

его легла на месте сражения. В укрепленном таборе при впадении реки Костромы в Волгу близ древней обители Ипатьевской укрепился тогда Косой с остальной дружиною. На другом берегу реки стоял Басенок с москвичами. Косой предложил мир. Басенок принял его. К изумлению всех, не только Звенигород отдан был Косому, но Василий подарил еще ему Дмитров. Косой привел отчаянных удалцов в новый удел свой, не являлся в Москву, не ехал к братьям, которые, не припимая никакого участия в междоусобии, были: Шемяка в Угличе, Красный в Бежецке. Летописцы замечают, что в тот год весна была *вельми студена*. «Злоба человеческая простудит и лето на Руси», — говорили москвичи. Ждали, что́ будет...



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

*О наша жизнь, где верны лишь утраты,
Где милому мгновенье лишь дано,
Где скорбь без крыл, а радости крылаты,
И где на век минувшее одно...
Почто же мы мечтами так богаты,
Когда мечтам не сбыться суждено!
Внимая глас надежды, нам поющей,
Не слышим мы шагов беды грядущей...*

Жуковский

Глава I

*«А што вы, слышов о моем добре, или лихе,
от хрестьянина, или от иноверца, а то вы мне по-
ведаши в правду, без примышленья...»*

Договорная грамота Василия с Шемякой,
лета 6948, июня 24-го дня

Более года минуло с того времени, когда оставил Шемяка Москву и отказался от всех смут и крамол княжеских. Душа человеческая подвержена сближению крайностей: дикая, пламенная любовь может переходить в бешеную ненависть; сильный жар заменяется жестоким холодом; дружбу сердечную сменяет неприязнь лютая; то, что занимало всю душу, возбуждает решительное отчуждение, когда перестанет занимать ее и оставит в сердце уголь для другого чувства. Таков человек!

И подобное сближение крайностей испытала душа Шемяки. Неукротимое кипение страстей, быстрое изменение обстоятельств, зрелище престола великокняжеского и рядом с ним гроба, мгновенно прекратившего все честолюбивые замыслы отца Шемяки, старого князя Юрия, потрясли душу его в основании. Прежде беспечный, беззаботный, потом увлеченный в вихрь волнений невольными обстоятельствами, в короткое время перегорел он сильными впечатлениями и ощущениями. Не успела и не могла душа его закалиться в честолюбии, и невольное отвращение возбудило в ней все, что переиспытал, перечувствовал Шемяка в короткое время в кружении дворской жизни, в смутах, крамолах, волнениях последнего времени. Грубые страсти, низость, вероломство душ, ничтожество и переменчивость жребия,

закрываемые золотыми одеждами и великолепием, показались ему в полной, отвратительной нагоде их. С презрением отказался он от всего, бежал из великокняжеского двора и скрылся в отдаленный приют свой.

Это не была, впрочем, глубокообдуманная решительность зрелой души, убежденной в суете шума и блеска, сладости мира и спокойствия уединенного, не было и то охлаждение, какое испытывает пережившая страсти свои старость или бесстрастная опытность. Нет! Шемяка оттолкнул от себя обольстительную чашу честолюбия, как ребенок, который отталкивает чашу, наполненную горьким питьем, только потому, что оно горько, без всякого сознания, не отдавая самому себе отчета: без причины любить и ненавидеть — удел юности.

С несколькими, избранными друзьями — князем Чарторийским, боярином Сабуровым и другими молодыми князьями и боярами — уехал Шемяка в Углич. Там, в дружеской, вольной общине, сказано было, что все равны перед ним и никто чинами и местами считаться не должен. В самом деле, собеседники Шемяки забывали, что живут и гуляют с внуком Дмитрия Донского и повелителем своим. Каждый день начинался и оканчивался разгулкою и забавою, как будто Шемяка хотел обмануть самого себя и забыть летевшее быстро время. Управление княжеством вверено было Шемякою несколькими старым боярам отца его, не хотевшим от него отстать, любившим его за веселую доброту и светлый, хотя и беспечный ум. Иногда эти старики качали головами, когда Шемяка, смеясь, отсылал их с делами и бумагами и вместо решения дел приказывал подносить им чару крепкого меда или сажал за веселую свою трапезу. Но угличане скоро однако ж полюбили своего князя. Он не судил дел, но решал их, не справлялся с уложениями и судебниками, но клал руку на сердце и говорил: *«этому быть так!»* — следовал первому движению сердца и не ошибался.

Ранним утром звук рога пробуждал князя и его молодых товарищей. Они спешили вставать и собираться вместе. Двор княжеский бывал уж в это время наполнен охотниками, псарями, сокольниками, доезжачими. С появлением Шемяки все садились на коней и при шумных кликах скакали вон из города. Казалось, что только в раздолье полей и в глубине темных лесов Шемяка начинал дышать свободнее, что он хотел поскорее проехать через людские обиталища, пока еще не отворялись окна, не отпирались двери в жилищах человеческих

и не выползали из них страсти, не выглядывали суеты людские. Охота, травля, скачка продолжались до самого обеда. В каком-нибудь затишье роши или леса, на берегу ручья, располагались потом Шемяка и его товарищи. Далеко неслись оттуда клики веселья и разгульные песни. Под навесом шатра, наскоро раскинутого, на богатых коврах отдыхали и прохлаждались Шемяка и наездки его. Наскоро изготовленный охотнический обед, фляга меда или вина, обходившая кругом, веселый, шумный разговор занимали их. С закатом солнца все возвращались домой и без огня ложились спать, хорошо поужинав и прощаясь до завтра.

Редко перерывался такой порядок занятий; день следовал за днем в единообразном веселье. Только под праздники и воскресенья выездов в поле не было. Шемяка и все товарищи его уединения шли к вечерне, благоговейно слушая после того заутреню, и на другой день обедню. Во дворе княжеском собирались потом все бояре Шемяки, и нередко большой обед у князя означал праздничный и воскресный день. Тогда приглашаемы были иноки и духовные люди. За обедом уже не было шуму и песен; время проходило в благочестивых разговорах и назидательных беседах. Шемяка не был большим начетчиком и грамотеем, подобно юному брату своему, Димитрию Красному, но внимательно слушал он и любил поучения и беседы духовные. Он обогащал храмы и монастыри и был милостив и добр к монашеской и странной братии.

Иногда на несколько дней оставлял Шемяка Углич. С большою свитою смело пускался он в дремучие Белозерские леса. Тут открывалась жестокая война с дикими обитателями северных стран — медведями, волками и другими хищными их товарищами. Проведя несколько дней в непрерывных разъездах среди тундр, озер, в мрачных, диких лесах, в опасной борьбе со свирепыми зверями, Шемяка казался довольнее, веселее. Шкуры зверей развешивались торжественными сайгаками на стенах той хоромины, где пировал по возвращению в Углич князь со своими товарищами.

Настала глубокая осень. Дождь лил беспрестанно. Грязь была ужасная. От ветров, свободно разгулявшихся в поле и в лесу, клонились и ломались верхи деревьев, стоявших сиротами, обезлиственных рукою осени. Реки волновались, взрываемые ветрами и дождями. В это время ранним утром Шемяка призвал к себе князя Чарторийского. Чарторийский нашел его мрачного,

задумчивого, в сильном душевном движении ходящего по комнате.

«Князь Александр,— сказал ему Шемяка,— вели немедленно приготовить все к дальней дороге. Я еду завтра поутру, с тобою».

Чарторийский с изумлением посмотрел на него. «Чему удивляешься? — вскричал Шемяка с досадою.— Ты знаешь, что я терпеть не могу разинутых ртов, если они не для песни разинуты!»

— Князь Димитрий Юрьевич,— отвечал Чарторийский,— прости меня: твои слова для меня непонятны, и я не думал, чтобы усердие мое подало тебе повод к досаде. Твой внезапный отъезд...

«Прости ты меня, товарищ: я не на тебя сердит, и потому тебе неизвестно было мое намерение ехать, что и сам я ничего не знал до сегодняшнего утра».

— Подумай, князь Димитрий Юрьевич — как ехать в такое время? Дождь льет рекой, дороги сделались, как тесто в квашне — грязь непроходимая — и неужели в поле намерен ты отправиться?

«Нет! я еду не на охоту, а молиться».

— Доброе намерение, князь Димитрий Юрьевич. Но куда же Бог несет тебя? Разве в Суздаль...

«Нет, нет! я сказал тебе, что хочу ехать далеко, далеко, куда-нибудь на север, в леса, далее от Москвы и от Дмитрова! Разве ты не слыхал, что ночью ко мне приехали незванные гости?»

Чарторийский не смел ничего говорить. Строго запрещено было Шемякою упоминать когда-нибудь при нем о Москве, Великом князе и брате Василии Юрьевиче. Казалось, он хотел совершенно забыть, что Великое княжество и сии князья существуют в мире...

«Да, мой добрый товарищ, приехали и видно любезный брат мой и Великий князь решились опять грызться и до смерти закусать друг друга. С проклятыми ссорами своими они вечно не дадут мне покоя! Да, да, в эту ночь притащились ко мне послы московские, привезли кучу бумаг, и старики мои, бояре, обрадовались, что им опять есть случай хмурить брови, гладить бороды, думать, советовать, отсоветовать! — Шемяка вдруг засмеялся.— Право, я думаю, они рады бы снова затеять старую возню, только бы им опять можно было толковать о делах, решать и судить. У меня им мало теперь работы. Терпеть я не могу ни бумаг, ни бумажных рож! Закон написан в голове и сердце человека, и с этим законом справляться надобно, а не с пыльными

хартиями. Пожалуй, если бы только слушать моих бояр, то и для крошечного моего княжества надобны б были такие же огромные приказы, как и для московского Великого...

Но вот идет моя самая думная голова, боярин Дубенский. По лицу вижу, что он досыта успел уже надуматься и плывет с полным грузом всякой всячины. Поди, вели все готовить в дорогу. Со мною поедешь ты, Сабуров — но я после расскажу обо всем...»

Старый боярин вошел в комнату, когда Чарторийский отправился исполнить приказ Шемяки.

— Что, боярин, нового? — спросил ласково его Шемяка.

«Вестей много, да и немалых», — отвечал боярин, поглаживая длинную свою бороду.

— Право? Но что же такое? Нельзя ли рассказать этого покороче?

«Послы московские приехали, государь, к тебе с важными грамотами от Великого князя Василия Васильевича. Народ, как нарочно, отобран самый хитрый — слово каждое из-за узла выпускают. Однако ж мы-таки успели их облелеять и кое-что повыспросить...»

— Право? Что же такое?

«Говорят, что новгородцы решительно уладили с Великим князем, и князь отступился от всех требований на Бежецкий Верх. Новгородцы так были рады этому, что отдали Москве Торжковское *Черноборье*. И говорят, будто положено считать с сохи по гривне, полагая в соху два коня и припряжь, а четверину пешцов, кожевничий чан, невод рыбацкий, лавку и кузницу за соху, а плуг, ладью и соляной цырен за две; писцу будто с гривны получать мордку, а кормов с десяти сох баран, либо полоть мяса, три курицы, сито заспы, два сыра и бекарь масла; да коневьего корма пять коробов овса, в старую коробью, и три воза сена, да по две подводы от стана до стана».

— Неужели правда? — сказал Шемяка, удерживая улыбку.

«Истинно, государь! Говорят еще, что великая старица Евпраксия вельми болит и почти уже никуда не выходит из келии».

— Как жаль!

«О святителе Ионе подтверждается, что он точно определен будет в митрополиты и уже собирается ехать в Царьград. Исидор, кажется, поехал ни с чем, кроме ласковых слов...»

— Нет ли уже деток у Великого князя?

«Молчат, государь, что-то об этом. А Великая княгиня очень дескать раздобрела; князь же Великий худ и не дорodneет...»

— А! вот это весьма важно! Но не узнал ли ты, за чем именно пожаловали к нам послы московские?

«Нельзя было сирашивать об этом, государь: они та-ются; мы начинать сами не хотели, а только намекали. так, мимоходом...»

— Да, для чего же было не спросить просто?

«Кто первый начнет, тот уже в проигрыше. Мы пока-зывали вид, что нам будто и дела нет. Догадываться можно... Но тебе, государь, не угодно, чтобы об этом говорили...»

— Говори все, сделай милости!

«Чуть ли опять не затевается что-то нелюбовное между братцем твоим Василием Юрьевичем и Великим князем. Так, по крайней мере, можно догадываться».

— Я предчувствовал,— проворчал Шемяка.— Но по-чему так полагаешь ты, боярин? — спросил он громко.

«Потому, что в Москве, говорят, много собирается князей, и брат твой уехал из Дмитрова к Костроме, а в Галиче, в Устюге, в Вятке началась сильная заво-роха. Да и послы московские оказываются весьма ласко-вы. Они привезли подарки тебе, государь, и многим из нас».

— Я боюсь, не перепортили ль они их по теперешней дурной погоде.

«Не знаю, государь; но говоря о тебе, они называют тебя беспрестанно *любезным братом* Великого князя. Один из них, между прочим, несколько раз говорил и повторял мне: *что добро, или что красно, во еже жити братии вкупе*».

— Ну что ж вы, мои добрые бояре, думаете? Потол-ковали ль вы обо всем этом?

«Мы, верные твои слуги, можем ли не стараться о твоих пользах. Мы уже собирались и долго думали. Нам кажется, что теперь можно многое выиграть тебе, государь».

— Не пристать ли мне к брату, если он точно снова затеял старое дело?

«Бог знает, государь, князь Димитрий Юрьевич! Оно бы и так, да ведь вы с братцем-то не однонравны, и он, может статься, затеял, не спросясь озадков, а так — очертя голову. Может быть, новгородцы и мирволят ему, может быть и Ярославль с Тверью тоже; но все дело

трудное: на Тверь, на Ярославль и на Новгород полагаться все равно, что весною по тонкому льду идти. Но *поторговаться* с Москвою теперь, кажись, не было бы плохим делом».

— В самом деле! Можно бы уцепиться опять за московские поместья, потолковать о Звенигороде, о Дмитрове. Не правда ли? Да, что слышно о брате Димитрии?

«Брат твой, государь, человек неземной. Говорят, что он только и дела молится, поет, читает, беседует с духовными, ему некогда и думать о мирских делах».

— Досадно, что и мне тоже *некогда*, добрый мой боярин! Вели поскорее позвать московских послов ко мне.

«Но прежде надобно бы посоветоваться и приготовиться...»

— Времени нет. Я завтра поутру еду, и далеко.

«Как, государь, едешь? Куда же?»

— Мне вздумалось помолиться Богу, боярин, и *я* еду в Каменский монастырь.

«Как, государь: в Каменский? За Кубенское озеро?»

— Да, боярин. Поди, и зови сюда московских послов. Мы их отпустим, я поеду, а вы без меня хорошенько порассудите...

Боярин значительно улыбнулся, как будто давая знать, что *очень понимает* предлог этого богомолья. «Да не ближе ли проехать в Кострому из Ярославля?» — сказал он, понизив голос и внимательно смотря на Шемяку.

— Посмотрим, — сказал Шемяка. — Прежде всего переговорить с послами. — Он спокойно начал рассматривать и пересматривать оружие, развешенное на стенах комнаты, напевая какую-то песню.

Важно и степенно вступили в комнату московские послы. Видя, что Шемяка рассматривает булатные кинжалы и сабли, они значительно перегляделись друг с другом. Бояре Шемяки, с ними пришедшие, наблюдали таинственное молчание, важно потупив глаза в землю.

— Князь Великий Василий Васильевич прислал нас, послов своих, к тебе, Димитрию Юрьевичу, князю Углицкому и Ржевскому, младшему брату своему, и приказал тебе, брату своему, править поклон и узнать о твоём, брата своего младшего и князя Углицкого и Ржевского, здоровье и как ты обретаешься?

«Слава Богу, бояре и послы московские Великого князя и *старшего* брата моего, слава Богу!» — сказал

Шемяка, пробуя острие кинжала пальцем и невнимательно отвечая уклонением головы на низкий поклон московских послов.

Послы опять взглянули друг на друга, внимательно соображая все слова и движения Шемяки.

«Что, Великий князь и брат мой? Где он и здоров ли?»

— Когда мы поехали из Москвы,— отвечал старший посол,— государь наш, Великий князь, обретался в Москве, а где теперь изволит пребывать, нам неизвестно; а оставили мы его, государя, Великого князя, старшего брата твоего, подобру и поздорову, милостию Божиею, молитвами святителей московских и заступлением Пресвятыя Богоматери, честные иконы ея Владимирские.

«Садитесь, дорогие гости,— сказал Шемяка, повесив кинжал на стену, садясь сам и указывая места послам,— садитесь! Здесь, как в деревне, чинов нет. Хозяин без хозяйки, живет холостяком, угощает гостей, чем Бог послал. Довольны ли вы ночлегом и хлебом-солью в моей монашеской обители?»

— Мы, государь, князь Дмитрий Юрьевич, за хлеб за соль твою благодарствуем и всем довольны.

«Садитесь же, дорогие гости. Мне, право, жаль, что некогда мне с вами хорошо побеседовать. Я хочу завтра утром ехать: вздумалось Богу помолиться, и давно уже звал меня к себе старик князь Заозерский, Дмитрий Васильевич. Отправляюсь к нему провести осеннее время и прожить в тамошней стороне, пока можно будет опять по первой пороше зайцев травить».

— Доброе дело, князь Дмитрий Юрьевич. Но мы к тебе приехали, кроме вопроса о твоём здоровье, по нашего Великого государя, князя Великого, делу.

«По делу? Не веря пословице, что *дело не медведь, в лас не уйдет*, я люблю тотчас сбывать всякое дело с рук; скажите же поскорее, в чем это дело!»

— Государь наш, Великий князь Василий Васильевич, прислал к тебе, молодшему своему брату, подтвердить прежние крестоцеловальные грамоты новыми.

«Да ведь я не нарушал и *прежних* грамот?» — сказал Шемяка, улыбаясь.

— Великий князь это совершенно знает; но где крепка вера и дружба, чего бояться подтвердить их вновь?

«Давно ли писаны были и старые грамоты? Кажется, что в годё они не успели ещё выдохнуться! Разве что-

нибудь слышал обо мне Великий князь недоброе? Ведь я говорил и тогда, чтобы включить в договор именно: *сплетней не слушать* и тотчас выводить наружу. Как бишь это придумали вы на тот раз изложить в грамоте?» — спросил Шемяка, обращаясь к одному из бояр своих.

— А что вы услышите о моем добре, или о лихе от христианина, или от иноверца, а то вы мне поведаете в правду, без примышления, — отвечал боярин.

«Нет, не то: это не годится! Я именно говорил о сплетнях... Впрочем, вероятно вы, послы, привезли грамоту новую, уже совсем готовую. Чего же долго толковать? Читайте ее!»

— Если благоволишь, князь Димитрий Юрьевич... — Старший посол вынул грамоту и подал Шемяке.

«Читай, боярин!» — сказал Шемяка, зевая и беспечно отдавая грамоту своему боярину. Боярин развернул ее и начал:

«Божнею милостию и Пречистыя его Богоматери, и по нашей любви... — При сих словах все перекрестились. Боярин продолжал: «...на сем, на всем, брат мой младший, князь Димитрий Юрьевич, целуй ко мне крест, к своему брату старейшему, Великому князю Василию Васильевичу: быть тебе, брат, со мною, с Великим князем, везде за один, до своего живота, а мне Великому князю быть с тобою везде за один, до своего живота. А кто будет, брат мой, мне, Великому князю, друг, тот и тебе друг, а кто будет, брат мой, мне, Великому князю, недруг, тот и тебе недруг».

— Но, дорогие мои гости, все это было уже прежде говорено? — сказал Шемяка, усмехнувшись. — Что тут нового?

«А с кем буду, брат мой, я, князь Великий, в докончании, — продолжал чтение боярин, — мне и тебя с ним учинить в докончании, а с кем будешь ты в целовании, и тебе к нему целование сложишь. А не оканчивати тебе, брату, без меня, Великого князя, и не ссылатися с моим недругом ни с кем; ни мне, Великому князю, не оканчивати без тебя ни с кем».

— Последнее и прежде казалось мне вовсе бесполезным словом, и теперь таким же кажется, — сказал Шемяка. — Куда ко мне, в Углич, посылать Великому князю спрашивать у меня: с кем ему оканчивать, с кем не оканчивать? Но если так заведено — *еже писах. писах!* Продолжай, боярин!

«А добра тебе мне, Великому князю, хотеть во всем и везде, а мне, Великому князю, тебе добра хотеть во всем и везде. А держать тебе меня, Великого князя, в старейшинстве, как держал отца моего, Великого князя Василия Димитриевича, отец твой, князь Юрий Димитриевич...» Взор Шемяки омрачился при сих словах. Казалось, что неприятное воспоминание прошедшего сильно отозвалось в душе его. Но он промолчал, и боярин продолжал чтение: «И подо мною тебе, под Великим князем, все мое Великое княжение держати честно и грозно, без обиды, во всем, чем благословил меня мой отец, Великий князь Василий Димитриевич своею отчиною...»

— Но если вся грамота такова,— сказал Шемяка,— и читать ее нечего: все это я давно знаю! Боярин! вели подать мне печать мою и позовите священника с крестом и Евангелием...

«Но, государь...»— возразил боярин Шемяки.

— Но, боярин мой советный,— возразил Шемяка нетерпеливо,— терять время по пустому не должно... Все, что теперь слышали мы, было в старых грамотах, и я готов сто раз подтвердить это, утвердивши единожды! Скажите все слова мои моему брату, Великому князю,— продолжал Шемяка, обращаясь к послам московским.— Он напрасно беспокоился и посылал вас. Самый злодей мой, следя за каждым моим шагом, не перенесет ему обо мне лихого слова. Не на грамотах основана дружба... мир... Ну!.. или как угодно назовите это... Грамоты, своим неприятным складом напоминающие старое, давно забытое, мне совсем не нравятся...

«Здесь есть многие перемены, государь»,— сказал боярин, потихоньку пробежавший между тем грамоту.

— Какие же перемены?

«Говорится об окончании многих дел, которые оставались нерешенными».

— Какие еще дела оставались нерешенными?— воскликнул Шемяка вспыхливо,— *все* было решено!

«Князь Юрий Димитриевич,— сказал старший посол,— государь наш, Великий князь, желая окончить всякие поводы к нелюбови, подтверждает о Дмитрове и о твоих московских и костромских волостях и жеребьях — Кореге, Шопкове, Лучинском, Сурожике, чтобы держать их за тобою в братстве и чести, без обиды, по окончательным грамотам и печаловаться тобою и твоею отчиною».

— Благодарю за попечение, но об этом также было прежде сказано.

«О не покупке и не держании закладней, взаимно, управлении Ордою Великому князю и выходах по старым дефтерям, не вступании тебе в Вятку...» — продолжал московский посол.

— О Гавриловских селах и об Ярышове и Иванове пора бы кончить, — сказал боярин Шемяки, перебивая речь посла, — право, пора бы кончить. Но и здесь все еще говорится, что долг князя Дмитрия Юрьевича остается за Великим князем...

«Пятьсот-то рублей? И неужели ли их еще не отдали нам? — спросил Шемяка. — Я, право, и позабыл».

— Платою не замедлят, — сказал московский посол, — наш государь, Великий князь, слово свое сдержит; но князь Александр Иванович до сих пор не закончил с Великим князем об этих селах.

Ни послы, ни боярин Шемяки, говоря обо всем другом, не упоминали главнейшего. Наконец, старший посол решился сказать Шемяке: «Если ты, князь Дмитрий Юрьевич, подтверждаешь условие — *кто мне друг, тебе друг, кто тебе недруг, мне недруг*, то, конечно, подтвердишь и другое: *А всяду я сам на конь, на своего недруга, и тебе со мною пойдти, а пошлю тебя, и тебе идти без послушания, а пошлю своих воевод, и тебе послать с ними твоих воевод?*»

— Бесспорно, — отвечал Шемяка. — Если понадобятся мои людишки к дружинам Великого князя, пусть только известит меня. — Он отвернулся к окну, в которое сильно стучал порывистый дождь осенний.

«Такое обещание, — продолжал посол, — разуместь должно и в том случае, когда бы и самый родной брат твой вздумал учинить размирье и нелюбие к Великому князю?»

— Как? Что это значит? — спросил Шемяка.

«Князь Василий Юрьевич назван в этой грамоте *недругом* Великого князя», — сказал боярин Шемяки.

— Что же не сказали мне этого с самого начала, — вскричал Шемяка, — ни вы, послы, ни ты, боярин? — Он обратился к тем и другим.

«Государь, князь Дмитрий Юрьевич... — бормотал боярин.

— Князь Дмитрий Юрьевич... — вполголоса промолвил старший посол.

Все снова замолчали. Шемяка сел подле окна, потом встал со своего места и безмолвно начал ходить по

комнате. Сильное внутреннее движение изображалось на лице и в глазах его.

— Князь Великий, государь наш, полагает, что тебе уже известно, молодшему брату его, о клятвопреступлении недостойного брата твоего и о том, что он, забыв долг и совесть, забыв милости Великого князя, прислал к нему обратно крестоцеловальные грамоты и пошел на него снова крамолою и враждою.

Шемяка не отвечал.

— Великие благодеяния государя нашего, Великого князя, излинные на князя Василия, могли тронуть самое каменное сердце человеческое и возбудить в нем чувство раскаяния, примиряющее грешного человека не только с подобным ему человеком, но даже с самим Богом. Злые дела Василия возбудили теперь всеобщее негодование, и князья русские, по первому слуху, поспешили в Москву подтвердить клятвы свои и присоединить силы свои к силам великокняжеским.

Еще ни слова не говорил Шемяка.

— Но никогда не думает уравнивать тебя князь Великий, государь наш, с братом твоим. Он знает нелицемерную, нелицеприятную дружбу твою к нему, Великому князю. И здесь-то прилично воскликнуть с пророком: *Аще сядеши на трапезе сильного, разумно разумевай предлагаемая тебе.*

«Твой текст невпопад, посол московский,— сказал наконец Шемяка, останавливаясь и быстро глядя в глаза московскому боярину,— ты обдернулся и вытащил из мешка памяти твоей не то, что хотел сказать. Всего же более невпопад твое велеречие и красноречие: это мед, подставленный волю. Я не понимаю, из чего все сии слова и хлопоты? А, вероятно, *старший брат мой, Великий князь* — все эти слова надобно повторять, как можно чаще, чтобы не отвыкали от них,— думал: кого бы мне послать к углицкому медведю? У кого из бояр московских язык сладкоречивее и легче мог бы улюлюкать этого медведя?.. ха, ха, ха!» — Шемяка захохотал, и горсть изобразилась в то же время на лице его. Он опять начал ходить взад и вперед.

— Я давно хотел представить тебе, князь Димитрий Юрьевич,— сказал Дубенский,— что надобно решить многие обстоятельства. Вот и о *третьих*, чтобы не ходить далеко, сколько споров, Господи Боже мой! Надобно уж положить единожды навсегда, что, кто зовется на третьи, твой да твоего брата, берут третьего от Великого князя, а не то, наоборот, из твоих, а не то, наобо-

рот, из княж Дмитриевых. Поименует же третьих тот, кто ищет, а тот берет, на кого ищут, а не захочет тот, на ком искали, его обвинить и велеть с него доправить... Иначе, право, никак не сладить.

«Гнев твой, князь Дмитрий Юрьевич, воистину несправедлив»,— сказал посол московский, оправясь от замешательства, в какое введен был словами и насмешками Шемяки.

— Я не гневаюсь,— сказал Шемяка,— по мне смешно, когда я соображаю настоящее, то, как поступают со мною. Открыто, прямо говорил и делал я: неужели еще не убежден в этом князь Великий? Зачем же хитрить со мною? Или вы почитаете меня таким олухом царя небесного, что не замечу хлеба в печи и стану ее топить? Или вы хотите,— продолжал Шемяка с увеличивающеюся горячностью,— или вы хотите, чтобы я, отдавши все Великому князю, своими руками принес ему голову родного моего брата и кровью его запил дружбу с Москвою, позор мой и унижение?

Едва не задыхался Шемяка говоря это послам московским; но вдруг он остановился и тихо сказал своему боярину: «Если новые грамоты Великого князя сходны с прежними, я готов подтвердить их.

Принеси их ко мне и я, не читавши, приложу к ним печать свою.— Послы московские! объявите вашему князю, что я не нарушаю грамот и обещаний, подтверждаю их вполне, осуждаю брата моего, если он снова начинает вражду; но далее не ступлю я ни шагу: с Москвою мир, с братом мир, с целым светом мир!»

Он пошел из комнаты. Послы молчали и переглядывались друг с другом, а Дубенский начал опять свое: «Нет уж о третьих, примером сказать, надобно нам докончить основательно, бояре и послы! Вот-таки недавно был пример: Федька хмелевщик бил челом на суздальца Фомку лапотника. Видите в чем стала притча судебная: Федька продал ему лукошко хмеля в полную меру с насыпом и договорился он взять за то лаптями; Федька же договорился отдать ему лаптями добрыми с перешивкою с двойным оборотом и за лапти взять хмелем. Вот и тот и другой с умыслу, что ли, или так, опростоволосились, о лукошке-то и забыли договориться. Федька-то новгородским мерять начал, а тот суздальским... Ведь у нас на Руси, слава Господу, язык один и вера одна, да мера не одинакова: вот... Но, добро пожаловать, бояре и послы, к нам в палату, там свободнее...»

Глава II

...Домы праотцев, обычай их простой!

Крюковский

Среди волн обширного Кубенского озера, к восточной стороне его, находится каменный остров, как будто отломок от берега, брошенный в воду. Волны со всех сторон омыают обитель, построенную на сем острове — как будто отломок от мирских сует. Здесь некогда, в древние времена, спасся от бури и гибели белозерский князь Глеб, плывя из Бело-озера в Устюг рекою Позоровицею, Кубенским озером и рекою Сухоною. Не оставалось спасения бедствующему князю среди свирепых волн Кубенского озера, и он во глубине души дал обет: построить обитель на том месте, где спасен будет. Ладя пристала к дикому, неизвестному дотоле Каменскому острову. Глеб изумился, найдя там жителей: то были старцы, пустынножители, скрывшиеся от мира на сей отдаленный, дикий остров. Гостеприимно принят был князь сими отшельниками и подивился их бедному, но великому житию. Они проводили дни свои в молитве, обращали в истинную веру диких корелов и чудь, живших по берегам озера; часто терпели они нападения и муки от дикарей, но платили им за зло добром и душевным спасением. На месте ветхой часовни, куда отшельники сбирались молиться, князь повелел воздвигнуть церковь и вокруг нее срубить кельи. Так Спасокаменский монастырь, первый из северных вологодских монастырей среди лесов и пустынь, обитаемых дикими народами, возник, будто знамение грядущего великого благочестия сей земли. Глеб одарил обитель вкладами и богатствами и через несколько лет почил в мире.

В течение многого времени потом усердие, ревность, чудеса святых икон, привлекали поклонников в монастырь Спасокаменский. Прошло два века и много человеческих родов. Чудь и корела были покорены, разогнаны, усмирены. Князь Василий Васильевич Ярославский, потомок Великого ярославского князя, святого Феодора Ростиславовича Черного, раздавая уделы пятерым сынам своим, отдал все Кубенское заозерье четвертому сыну своему *Дмитрию*. В Заозерье свое уехал князь Димитрий и основал жилище свое там, близ устья Кубены. Против села Устья при деревне Чириковой доньше стоит часовня: здесь некогда находились дворы и тере-

ма исчезнувшего в веках князя Дмитрия Заозерского и его княжеского рода.

С переселением на Кубену князя Дмитрия началась особенная слава Спасокаменской обители. Благочестие было неизменно в роде князей, происшедшем от святого князя Феодора. Обитель прославилась тогда великими сподвижниками. Инок *Дионисий*, благословился у Каменского игумена, ушел в пустыни северные и там, на Глушице близ Сухоны, основал Покровскую обитель, где донныне почивают святые мощи его и сотрудника его Амфилохия. Инок *Александр* скрылся в дикие леса и болота Сянжемские и умолен был князем Дмитрием возвратиться после многих уже лет пустынножительства, просиявшего в чудесах. Князь поселил его на реке Куште вблизи своего дворца. Наконец, и юный сын самого князя Дмитрия возжелал оставить мир и скрыться в Спасокаменской обители. Все дивились молве о сем благочестивом подвиге, ибо юному княжичу едва совершилось двенадцать лет.

Прямо в Успенский соборный храм Спасокаменской обители вошел Шемяка, достигнув стен ее после трудного пути. Смиренные иноки встретили его и просили простить, что игумен за старостию и слабостью сил не может встретить князя. Шемяка запретил им беспокоить старца и, приложась к святым иконам после молебна за благополучное путешествие, хотел сам посетить настоятеля, не велел извещать о себе и пошел по длинному переходу низких деревянных келий к келье, занимаемой игуменом.

Казалось Шемяке, что душа его никогда еще не испытывала такого сладостного спокойствия, какое ощущал он со времени прибытия своего в Спасокаменскую обитель. Трудная дорога, бурное озеро, и среди волн его мирная обитель, о которую разбивались и бури водные и суеты мирские, уединение, тишина, благочестие, безмолвие, удаление от всех забот мира, казалось, готовили душу его к миру с самим собою, миру, дотоле неизвестному Шемяке! Трогательное зрелище ожидало его в келье настоятеля.

Он увидел игумена, убеленного сединами старика, сидящего на скамейке; перед ним на коленях стоял отрок лет двенадцати. Возложив левую руку на русую голову отрока, правую игумен благословлял его. В стороне стоял старик, одетый просто, без всякого оружия и, подняв руки к образу Преображения Господня, молился; слезы текли по щекам его.

Изумленный Шемяка стал близ порога кельи. Игумен отвел в сторону левою рукою отрока и обратил правую к Шемяке, приветствуя его: «Конечно, вижу я в тебе, почтенный гость,— сказал он,— князя Димитрия Юрьевича и благословляю приход в мирную обитель нашу внука Димитрия Донского?»

— Я этот князь,— отвечал Шемяка, принимая благословение старца.

«Добро пожаловать, князь!»

— Я прервал беседу вашу, отец игумен, и винюсь в том.

«Оставь здесь все твои дворские приличия,— отвечал игумен.— Ты застал нас за таким делом, которое совершается благодатию Божиею. Ты видишь князя Димитрия Васильевича Заозерского, а это юный сын его Андрей».

— Не дивлюсь твоему изумлению, князь Димитрий Юрьевич,— сказал Заозерский, заметив, что простая одежда его привела в замешательство Шемяку, не узнавшего в нем владетельного князя Закубенской стороны.— Вы, люди сильные и знаменитые, привыкли отличать князей серебром и золотом, дорогим оружием и драгоценною одеждою; мы живем, напротив, в простоте дедовской: золото и серебро бережем для святых храмов, в дорогом оружии нужды не имеем, а сражаться со зверями, обитающими в дремучих лесах наших, нам надобно оружие простое, а не щегольское. Поздравляю тебя, любезный гость, с благополучным приездом в наши палестины. Да благословит Господь вхождение и исхождение твое.

Он поцеловался с Шемякою и, утирая слезы, сказал: «Когда узнаешь вину слез моих, не осудишь меня. Богу угодно было вложить ревность к ангельскому чину в душу сына моего, отрока младолетнего. Не смел я противиться и теперь привел его сюда, как агнца к стаду Христову. Приобретают праведные мужи душу чистую, а я — теряю сына!» Он закрыл лицо руками и зарыдал.

— Садись, князь Димитрий Юрьевич,— сказал игумен,— а ты, князь Димитрий Васильевич, не малодушествуй. Дорог сосуд серебряный, дороже позлащенный. Благодать на роде вашем, благодать на доме твоём! Волею притекает княжич твой в святую обитель — не препятствуй ему, да не согрешишь. Но, пусть он не обрекается еще монашеской жизни, пусть только живет

с нами, совершает подвиги духовные — я еще не отнимаю его у тебя и не благословляю ему клобука иноческого.

«Отец игумен! — воскликнул отрок Андрей, — молю тебя: облеку скорее грешное тело мое в броню праведников!» Он сложил руки и поднял глаза к небу, уподобляясь ангелу, который молит воззвать его скорее от земли в небесную обитель...

— Нет, чадо мое, нет сего не будет! Ты юн, ты неопытен, тебе незнакомы еще страсти людские: ты их ведаешь, ты боишься их только по слуху. Принимаю тебя, но сан иноческий получишь ты через несколько лет — не прежде. До тех пор подвергнешься ты искусу, узнаешь отшельническую жизнь иноков, соразмеришь с нею силы свои, и ум отдаст за тебя отчет совести...

«Да будет тако!» — сказал Заозерский, еще раз утер слезы, обнял, благословил сына и задумчиво сел подле Шемяки. Юный Андрей прислонился к коленам отца своего.

Слезы навернулись у Шемяки. Он крепко пожал руку добродетельного князя Заозерского и сказал: «В какую обитель мира и тишины зашел я? Какими ангелами окружен? Зачем скрываете вы в лесах далеких добродетель и чистоту души, достойные благочестивых предков ваших?»

Тогда началась тихая, поучительная беседа между двумя князьями и игуменом. Не было удивления, ласкательства, лести и суеты. Шемяке не говорили даже ничего о Москве и бурных событиях современных, как будто собеседники его вовсе об них не знали. Какое-то чувство детского благоговения ощущал Шемяка при виде и словах князя Заозерского. Казалось ему, что он внимает отцу своему. Он забыл в сии мгновения все смуты и волнения мирские. Никто не спрашивал Шемяку, за чем и с кем приехал он. Монастырская трапеза ожидала князей в общей трапезной. Внимая беседе старцев и чтению жития святых мужей, сидя в ряду со смиренными иноками, Шемяка внутренне сознавался, что никогда, никакая великолепная трапеза великокняжеская не доставляла ему столь великого наслаждения.

Дружески, как будто старого знакомого, просил потом князь Заозерский Шемяку посетить его хижину. «Говорю *хижину*, — промолвил князь, — потому, что мне совестно назвать *княжеским дворцом* свое жилище —

бедное против ваших обширных чертогов княжеских, против великолепных теремов московских. Я давно уже и только один раз был в Москве, но слышу, что с тех пор она еще более разрослась и похорошела».

— Чашу воды студеной, под соломенной кровлею, предпочту я у тебя всем великолепным обедам и пирам московским,— отвечал Шемяка.

«У нас найдется даже чаша браги и чарка меду,— сказал Заозерский,— для такого дорогого гостя. Просим только не взыскать на нашей простоте. Но ветер разыгрывается на озере; надобно засветло убраться восвояси; потом мы вместе посетим здешнюю обитель. Пойдем, князь, простимся с отцом игуменом, и я еще раз благословлю чадо мое, моего милого Андрюшу!» — Он вздохнул.

Князья застали игумена, слушающего чтение жития св. Евстафия Плакиды. Трогательную повесть эту, чистым, ясным голосом, читал юный Андрей. Умилительно внимал несколько минут сему чтению Заозерский и потом стал прощаться с игуменом.

— Ветер крепчает, вода ходит сильная,— сказал ему игумен,— как поедете вы, князья? Не остаться ли вам здесь?

Может ли озеро погубить своего властителя? — отвечал Заозерский, улыбаясь. — Охотно готов бы, но обо мне станут беспокоиться дома мои сироты, они и без того наплакались, прощаясь с Андрюшею, и теперь, конечно, ждут не дождутся меня».

— Скажи им, родитель мой,— воскликнул Андрей,— скажи поклон от меня брату Симеону и сестре Софье и уверь их, что такого же спокойствия и радости желаю я им в мире, какое чувствую здесь!

Заозерский прижал его к сердцу и едва опять не заплакал. Они простились.

Семь верст расстояния отделяет Каменский остров от берега озера. Узкая коса земли простирается от него до берега. Но теперь, в осеннее время, сия коса была залита водою, и переправлялись на остров и с острова на берег в лодке. Один Чарторийский был с Шемякою. Большая лодка князя Заозерского стояла в затишье близ обители; несколько удалых гребцов ударили веслами и ладья понеслась по волнам.

Только что отчалили от берега, как ветер будто с неба упал крутящим вихрем и яростно запенил волны озера: тучи затмили небо; мелкий дождь засеялся тума-

ном. «Не воротиться ли, батюшка, князь Димитрий Васильевич?» — сказал старый кормщик. — «Ничего, брат Федул!» — отвечал князь. — «Ну, коли воля твоя, княжеская, есть на то — помоги святитель Христов, Николай Чудотворец! Ребята! раз два! Махом, дружно!»

Гребцы грянули: *«Раз, два! Господи, благослови!»* — Шемяка любовался неустрашимостью старого князя, не походившего на пылкость молодой души, но твердою, крепкою, уверенною в себе. Заозерский спокойно разговаривал с Шемякою, сидевшим подле него. Наконец буря до того усилилась, что самые опытные гребцы изъяснили опасение. Темнота вечера, вода, вливавшаяся в ладью, холодный ветер, дождь измучили всех, и главное — кормщик подозревал, что они сбились с пути. Никогда не бывавший в бурю на воде, Шемяка начал сомневаться. Но он дивился хладнокровию князя Заозерского, и хотя не мог в темноте рассмотреть лица его, но спокойные движения и стройные речи князя показывали, что он нисколько не робеет. Никакого беспорядка в управлении лодкою не было, как будто прогуливались в тихую погоду.

«Тише! слушать!» — крикнул наконец Заозерский громким голосом. Вблизи, сквозь порыв ветра, слышан был звон колокола. «Ну, слава Богу! — сказал он, — это куштинский колокол. Держи влево — раз!» Лодка повернулась так криво и быстро, что Шемяка, не ожидавший сего движения, упал бы в воду, если бы Заозерский не удержал его сильною рукою. Вскоре пристали к берегу. Крепость души и мужество воспламенительны в юноше, но когда встречаем их в старине, они внушают невольное к нему почтение. Это чувствовал теперь Шемяка. Толпа народа, около зажженных по берегу костров, издалека отвечала радостным кликом на голоса пловцов, кричавшим к ней с воды. Едва только лодка причалила, народ обступил Заозерского: одни целовали ему руки, другие готовы были броситься на колени, третьи восклицали: «Отец ты наш, батюшка князь! насилу тебя Бог принес!»

— Полно, полно, ребята! — говорил Заозерский. — Спасибо вам за любовь вашу ко мне! Да, шутка ли, стоите вы здесь на дожде, на холоде! Ступайте по домам!

«Ты за каждого из нас готов броситься в воду — как же нам было не подождать тебя, хотя мы и ведали, что Бог спасет тебя для нашего счастья!» — кричали многие из толпы.

Заозерский вошел в большую теплую избу, построенную подле пристани. Тут приготовлены были сухие одежды; спутники Шемяки находились тут же. Вскоре явилось несколько дворян Заозерского, изъявлявших радость свою о благополучном прибытии князя. Лошади были подведены, и все отправились в княжеский дворец.

В самом деле, дворец Заозерского не походил на московские княжеские терема и дворы. Строение обширное, но в один этаж, совершенная простота в расположении, без далеких переходов, без огромных вышек, без фигурных украшений в покоях, теплых, чистых, красивых опрятностью, хотя дома знатных бояр московских превосходили это княжеское жилище многими затеями.

Молодой человек лет пятнадцати бросился на шею Заозерского, встретив его на крыльце: это был старший сын князя, Симеон. Слуги, бояре, дворские люди ожидали князя у ворот, на обширном крыльце, в сенях, в покоях. Все изъявляли радость свою, целовали руки князя и не думали чиниться с Шемякою. Добродушная, свободная веселость одушевляла всех, когда Заозерский попросил Шемяку сесть в переднем углу за стол, покрытый пестрою скатертью, и сам сел подле него; бояре и дворяне Заозерского шумною толпою заняли целую половину комнаты. Как добрый семьянин расспрашивал Заозерский весело ли провели время без него, шутил, смеялся, велел без чинов садиться старикам подле него; приказал принести доброго, горячего *взвару*, говоря, что он и гости его прозябли. Горячий взвар — домашняя брага, вскипяченная с разными пряностями, — был принесен в оловянных кружках. Молодежь, находившаяся в комнате, стояла с почтением перед стариками, не смея сесть. Вскоре доложил дворецкий, что ужин готов. Заозерский просил Шемяку и спутников его разделить с ним простую хлеб-соль.

Большой стол накрыт был в особой комнате. Ни серебра, ни дорогого хрусталя не было. Чистый оловянный прибор стоял на столе. Обильны, многочисленны, но просты были кушанья. Не сядя еще за стол, Заозерский стал перед образом, прочитал вслух молитву и запел благовейно: *«Царю небесный, утешителю душе истинный!»* Все пристали к его голосу. Благословив после сего ужин и собеседников, Заозерский сел в главное место, указал Шемяке место напротив, сын его сел налево, старики поместились по обеим сторонам,

а в конце стола сели молодые люди. Число всех присутствовавших простиралось до сорока человек. Началась беседа свободная. Кубки с медом и пивом были подаваемы часто. На особом столе дворецкий, крестясь, разрезывал кушанье. Когда наконец разговоры между гостями разделились, и все были уже навеселе, Шемяка обратился особенно к Заозерскому.

— Скажи, князь Димитрий Васильевич,— спросил он,— как умел ты достигнуть этой простоты нравов, как ты мог воскресить в наше время, горькое и бурное, смирение, радушие наших предков и заставил себя любить, а не бояться? Уверен, что все твои люди добры, счастливы, что они любят тебя.

«В этом и я уверен,— отвечал Заозерский.— Я прежде всего молился Богу, князь; потом удалялся от блеска и шума, и не искал славы и богатства, отказался от всех свар и тягостей мира и величия. Когда отец делил нам наследство, я выпросил себе здешний, дикий, пустой край, застроил в нем селения, заложил Божии храмы, забыл, что я князь, почитал себя помещиком и семьянином. И Бог благословил труды мои. Теперь ожили пустыни; в суровом крае здешнем ничто не достается без труда: я сам подавал пример трудов своим подвластным. Как не любить им меня, коли я сам люблю их? Как не быть им добрым, коли я не подаю им хорошего примера».

— Счастливый человек! Но как внушил ты им такое радушие, такую простоту в делах и даже речах?

«Я изгнал все дворские чины, все обряды, отчуждающие сердце от языка. Ты назвал меня счастливым, князь, и ты не ошибся: я точно счастлив, как только на земле может быть счастлив человек. Богу угодно было и меня посещать горестями, но я принимал их в страхе Божиим, как испытания, а не наказания. Ты удивлялся моему бесстрашию во время бури на озере, но это не была человеческая храбрость, а упование, твердое упование на Бога, никогда непреложное, с коим не страшны волны, ни морские, ни мирские. С ним претекал я и по волнам жизни. Я женился уже не в молодых летах, и добрая супруга моя — дай ей Бог царство небесное! не долго погостила со мною. Она оставила мне трех сирот. Я не хотел посягать на второй брак, не хотел отдать детей в волю мачехи, и сам посвятил им свои заботы. Они утешают меня за то в старости. Ты видел моего младшего сына — не моего уже, а Божьего. Я жертвовал им с верою Авраама! Вот старший.

Ни тот, ни другой никогда в жизнь свою не огорчали меня ни словом, ни делом. И где же им насмотреться и наслушаться худого? Порок не рождается с человеком, но пристаёт к нему в мире, как заразительная болезнь. Симеон мой удалец на охоте, славный наездник; Андрей с малых лет был кроток, молчалив, склонен к грамоте. Наконец Бог внушил ему мысль посвятить себя служению Его. Благослови его, Господь! Симеону передам я своих остальных детей — дочь и подвластных моих, которых почитаю не рабами своими, но детьми. Он должен будет заботиться о том, как устроить судьбу сестры и подвластных после меня, и тем легче ему будет это, что дочерью Бог благословил меня кроткою, благочестивою и смиренною, а подданных у меня немного... Постой, князь: полюбив тебя еще прежде за дела твои, еще более, когда я увидел тебя, почитаю уже тебя другом моим. Не за то я тебя полюбил, что ты внук Донского и сын старшего из русских князей, но за дела твои, о которых и в нашу глухую сторону дошла весть. Да! кто мог оказать правоту души в таком деле, в каком оказал ее ты? Кто сам такой молодец, как ты, тому сердце и душа моя всегда открыты! Сейчас хочу я показать тебе этому доказательство. — Боярин! — сказал Заозерский, обращаясь к одному старику, — поди и скажи моей Софье, чтобы она пришла сюда, поздравила моего дорогого гостя с приездом и поднесла нам по чаре заздравной». — Боярин поклонился и вышел.

— У вас в Москве — говорят — татарский обычай прятать жен и дочерей вошел в сильное обыкновение. Но мы думаем еще по-старому: не крепкий терем бережет девичью славу, но добродетель и смирение. Жены и дочери у нас ходят всякое воскресенье в церковь Божию, и мы не скрываем их перед нашими друзьями и людьми искренними.

«Памятно мне будет пребывание у тебя, князь Дмитрий Васильевич, — сказал Шемяка, задумавшись, — и грустно думать мне, что я старше тебя горем, какое перенес доньше, и опытом в жизни человеческой и в страстях людских. Смотри на тебя, отдыхает душа моя от всего, чего ты не видал и не знаешь, и что я видал и знаю».

— Бог создал людей на счастье в жизни сей, но мы сами мытарим своим счастьем. Кто же нам велит обуреваться страстями и накликать на себя горе, если мы

не знаем меры любочестию и тщеславию? Вот, не в осуд будь сказано, племянник мой Александр Ярославский — к чему кривил душою, в делах между твоим родителем и его племянником? Поверь, что он ничего не выиграет. Не мое дело судить, а больно нездорова душе человеческой кривизна. Лучше малое с правдою, нежели многое с неправдою.

В это время возвратился боярин и сказал: «Князь Димитрий Васильевич! дочь твоя, княжна Софья Дмитриевна, по твоему приказу пришла приветствовать гостя твоего».

Две старые няни вступили в это время в комнату. Все присутствовавшие, кроме князя Заозерского, встали. Вслед за нянями вошла девушка. Глаза Шемяки устремились на нее. Девушка низко поклонилась на все стороны. Шемяка — забыл отдать ей поклон... Ему показалось, что вся комната пошла кругом: он чувствовал, что вся кровь бросилась у него к сердцу и опять отхлынула от сердца.

Бела, румянец во всю щеку, высока, стройна, с голубыми большими глазами, в землю потупленными, с жемчужною повязкою, от которой висели поднизи на лоб и виски, с русою, длинною косою, заплетенною в широкую решетку во весь затылок и сходявшую потом золотою полосою по спине, в ферязе, обхваченном шелковым широким поясом, в золотых серьгах, жемчужными монистами на шее, с зарукавьями на руках, украшенными драгоценными камнями, — такова была молодая княжна, дочь Заозерского.

Тихо, неслышными шагами, подошла она к отцу, молча поцеловала его руку, взяла у няни небольшой поднос, который няне передан был от дворецкого. На подносе стояли две серебряные чарки, налитые вином. Не смея поднять глаза, подошла она к Шемяке; руки ее дрожали, так что вино едва не плескалось через край чарок, и тихо начала говорить:

«Князь Димитрий...» Княжна забыла, как звали Шемяку по отцу, остановилась, щеки ее загорелись сильнее.

Шемяке хотелось бы затаить свое дыхание на это время, чтобы вслушиваться в каждый звук соловьиного ее голоса.

— *Юрьевич*, — промолвил отец, смотря на дочь с любовью и радостью.

«Князь Димитрий Юрьевич,— сказала тогда княжна,— поздравляю тебя с приездом и прошу выкушать на здоровье».

Что-то хотел сказать Шемяка, но не умел, поклонился княжне, взял чарку, другую поднесла княжна отцу своему; всем присутствовавшим, кроме молодых людей, поднесены были также чарки. Общий голос: *Здравия князю Димитрию Юрьевичу!* — раздался в комнате.

— Князь Димитрий Васильевич, будь и ты здоров, с любезными детками своими и со всеми домочадцами! — отвечал Шемяка, выпил чарку и хотел поставить на поднос; но руки княжны дрожали, как уже говорили мы, а Шемяка, Бог знает от чего, смущался — и чарка покатилась с подноса и упала на пол. Княжна ахнула и побледнела. Шемяка поспешил поднять чарку, извиняясь в неловкости, а княжна снова зарумянилась, улыбка мелькнула на ее устах и глаза как-то нечаянно встретились с глазами Шемяки.

Скромно поклонилась она опять всем; отец поцеловал ее в лоб, и она вышла, сопровождаемая своими нянями.

— Ну! сядем опять и выпьем! — сказал Заозерский. — Девичье дело робкое, и скромность, лучше камня самоцветного, убор девушке. — Шемяка что-то бормотал о счастье Заозерского в детях.

«Да, Богу благодарение за детей моих — в глаза и за глаза скажу... Ты, Семен, этим не гордись, но помни, что все от Бога и от того, что ты помнишь заповеди Его», — сказал Заозерский, принимая поднесенный ему кубок. Растроганный сын поцеловал его руку.

Ужин был кончен; но кубки продолжались, при беседе умной, веселой, растворяемой благочестием. Князь велел подать даже заповедных своих наливок. Уже навеселе и поздно встали из-за стола, и после молитвы, прочитанной вслух Заозерским, Шемяку проводил юный князь Симеон в отдельные покои, для гостей назначенные.

Рассеян, странен сделался Шемяка после ухода княжны Софии Дмитриевны. Он мешался в ответах и даже заставил некоторых из присутствовавших тихонько усмехаться и покашливать для скрытия своего смеха. Сказав несколько слов Чарторийскому, Шемяка спешил лечь, простился с ними, и — не мог уснуть. Не знаем, что он видел во сне. Не угадаете ли вы?

Глава III

*Кузнец, кузнец! скуй мне венец;
Из остатков золот перстень:
А мне тем ли венцом венчаться,
А мне тем ли перстнем обручаться...*

Старинная песня

Три дня прошло со времени приезда Шемяки к князю Заозерскому, но не видно еще было сборов в обратную дорогу. Чарторийский с досадою подошел к Сабурову утром на четвертый день, оглянулся кругом и сказал ему:

— Слышно ли что-нибудь о нашем отъезде?

«Нет, я ничего не знаю», — отвечал Сабуров.

— Не в добрый час пустились мы в эту дорогу — не тем ее помянуть!

«А что тебя сердит, князь?»

— Что? Хорош спрос! Да, что мы здесь делаем? Я не узнаю ни себя, ни князя Димитрия Юрьевича. Один только и оставался лихой князь на Руси, и тот начал теперь по монастырям ездить, завез нас в эту глушь и растобарывает с ханжой, старичишком, на которого прежде и не взглянул бы.

«Тебе не нравится Заозерский?»

— Неужели тебе он нравится? Чем этот князь отличается от богатого смерда? Где он бывал, что видел? Чем может похвалиться? Только что монахов кормить, да о Писании толкует и сам на поварню заглядывает. Без него баба горшка щей в печь не поставит. Заметил ли ты, что у него подле стола, на стенке, висит большой ключ? Это ключ от его княжеского погреба. Вчера он приводил какие-то слова из духовной... какого бишь князя...

«Ведь он и твой предок был, этот князь — как же ты его не помнишь?»

— Что мне от этих предков, когда они мне ни в кармане, ни на земле ничего не оставили... Да, вспомнил: какого-то *Мономаха!* Ты расхохочешься, Сабуров, что этот Мономах, монах, заказывал детям в духовной: «В дому своем сидя, не ленитесь, но за всем сами смотрите; не зрите на тиуна, ни на других, чтобы не посмеялись пришельцы ни дому, ни столу вашему». Слова эти так забавны, что я заставил Заозерского повторить их раза три и затвердил.

«И по завету предков Заозерский смотрит сам за погребом и за горшками в печи? Ха, ха, ха!»

— Всего непонятнее: как он умел облелеять нашего князя? Тот с ним не растает, глядит ему в глаза, не наслушается его речей и совсем почти не говорит со мною.

«И со мною. Он сделался печален, уныл, мрачен. Знаешь ли что? Заозерский совсем не так прост, как кажется: он старик плут!»

— Да, плут. Ты догадываешься?

«И ты?» — Они взглянули друг на друга, как будто не смея сказать угаданной ими друг у друга мысли.

— Его женят! — шепнул наконец Чарторийский.

«Да его обаят! — промолвил также Сабуров, — и тогда плохо нам будет...»

— Не в добрый час пустились мы в эту дорогу — не тем она будь помянута!

«Ты любишь эту поговорку, князь?»

— Дедушкина. Только у меня и наследства, что добрый меч дедовский, да несколько поговорок, как, например, эта: помути, Боже, народ, накорми воевод!

«Да — когда наш князь сладит с этим стариком — прощай наши веселые гулянки, лихие забавы! Нашего князя постригут и пойдут род маленьких монахов, как боголюбивый княжич Андрюша».

— Впрочем, боярин... Черт побери — что за девка! Кровь с молоком! Только я не люблю белобрыхых...

«Ну, что в ней хорошего: она слишком сухопара; мне давай дороднее! Вот моя красавица, когда попереки руками не обнимешь!»

— Да ведь ты не князь Долгорукий! Нет! что ни говори, а за одни глаза этой пустыницы можно полвека отдать. Что за глаза, Сабуров! Не дивлюсь, если у Дмитрия Юрьевича сердце ретивое с места они сшибли!

«Глаза, глаза! Я охотник не до глаз, но до румяных щек, а наша монахиня-княжна совсем не румяна. У нея краска, как роза; настоящий румянец должен походить на красный мак».

— Однако ж, если он женится на ней — ведь издохнешь с тоски, Сабуров! Уговаривай князя поскорее уехать в наш благословенный Углич. Ох! если бы теперь пуститься нам в Москву, либо в Звенигород! Ведь уж там началась свалка — была бы работа мечу дедовскому!

«Ты, кажется, имеешь сведения верные об этом, князь Александр?»

— Я? нет! Я так думаю по рассказам этого новгородца, которого видал у тебя в Угличе, а вчера нечаянно здесь встретил.

«Встретил?» — с беспокойством спросил Сабуров.

— Да, — отвечал Чарторийский, не заметив его беспокойства. — Ты не видал его разве? — продолжал он.

— Нет. Да, зачем он здесь?

«Стану я спрашивать! Ведь эти новгородцы везде шатаются и все знают...»

Разговор прерван был приходом Шемяки. Собеседники остановились. Шемяка был задумчив, лицо его бледно.

«Поди, — сказал он, обращаясь к Сабурову, — и спроси у князя: могу ли я его видеть теперь?»

Сабуров пошел. Шемяка, без мыслей, казалось, смотрел в окно. Чарторийский осмелился начать разговор.

— Вот на счастье наше, морозы, и снег повалил. Если три дня пойдет он так, то можно будет лихо прокатиться до дома.

«Да, мы скоро поедem...»

— Право, князь? — сказал весело Чарторийский, но угрюмый взор Шемяки остановил его. — Прости меня, князь... — продолжал он.

«Оставь меня, любезный мой товарищ и друг — я теперь не в состоянии ни шутить, ни смеяться, ни говорить, ни думать...»

— Князь! не для одного смеха и радости Бог дал мне душу, но и для того, чтобы делить печаль друзей моих...

«Знаю, знаю, уверен в этом, но...»

Сабуров возвратился, донося, что встретил князя Заозерского, шедшего к Шемяке. Вслед за ним вступил Заозерский. Он нес на руках небольшую книгу.

— Ты угадал мое намерение видеть тебя, любезный гость, — сказал Заозерский. — И знаешь, зачем шел я к тебе? Как сборщик на церковь Божию, ктитор двух монастырей, предложить: не угодно ли будет тебе пожаловать что-нибудь на сооружение нового придела в Спасокаменской обители.

«Охотно, охотно, князь! — отвечал Шемяка, — сколько ты назначишь...»

— О, нет! что тебе Бог на сердце положит, то и пожалуй.

Сабуров и Чарторийский между тем вышли. Шемяка взял книгу и казался в замешательстве. Заозерский

смотрел на него с удивлением. Шемяка кинул книгу на стол и бросился обнимать старика.

— Что с тобою сделалось, князь? — спросил Заозерский беспокойно.

«То, что от одного слова твоего, князь, зависит вся судьба моя. Я решился — реши ты! Если бы я говорил с ханжою, или коварным князем каким-нибудь — может быть, я был бы осторожнее. Но с тобой говорить хочу я, как с самим собою! При первом взгляде на тебя, казалось мне, что я вижу в тебе родного, отца — князь! будь мне отцом! От твоего слова все зависит!»

— Любезный гость мой! что ты говоришь? Боюсь ошибиться...

«Ты не ошибешься — да, не ошибешься!»

— Неисповедимы судьбы Божии! — сказал Заозерский, крестясь.

«Да, неисповедимы! Надобно было мне бежать от свар и смут княжеских, бежать сюда, узнать тебя, увидеть *ее*! Князь Димитрий Васильевич, отец мой родной! прости меня — она будет со мною счастлива — не гонись за славой и богатством! Знаю, что она достойна венца великокняжеского — требуй его, скажи, ты увидишь... я готов и его добывать...»

— Душа добрая, душа пылкая, юноша по сердцу моему! обдумал ли ты все это?

«Я не в состоянии ни о чем думать. Знаю только, что если ты не отдашь *ее* за меня, то я сейчас еду, и не в Углич мой, но в Москву, в Москву, на битву, в бой — за брата, против брата — кто первый начнет, тот будет мой товарищ!»

— Бурный порыв юности! Да, таким я всегда представлял его себе — таков он и есть! — сказал Заозерский. — А что теперь мне делать? Вразуми меня, Господи!

«О, я знал, я предчувствовал, что мне суждена везде горькая участь, что я не стою *ее*, что мир благочестивого рода вашего возмущу я собою, что не мне владеть этим ангелом Господним...»

— Что ты говоришь, князь! Не греши: человека называть ангелом!

«Да неужели ты думаешь, что она человек? Но, конечно, и больше ни слова! Князь Димитрий Васильевич! прощай — спасибо тебе за хлеб за соль, спасибо за то, что ты указал мне, как и в этом треволненном свете можно быть счастливу. Ну! душа моя забудет, отдохнет...»

— Да, постой, постой! Ох, какой это бешеный народ — прости меня... Князь! дай мне одуматься...

«Тут нечего думать! Говори, если еще не сказал ты довольно ясно».

— Я не привык поступать так, князь Димитрий Юрьевич! Благословясь и подумавши начинают такое важное дело...

«Да, разве не благословение Господне святое чувство это, которое ощущаю я в сие мгновение к твоей дочери? Не показывает ли оно, что Бог соизволяет на мое счастье? Осталось за вами, за людьми! Чего еще тебе надобно? Послов, сватов? А! так и ты подвержен человеческим слабостям, тщеславию, гордости? А я думал видеть в тебе совершенного человека!»

— Един Бог совершен; но ты гресишь, князь, и обвиняешь несправедливо старика, которого хочешь называть отцом своим.

«Будь же им, будь — я забуду тогда имя князя!»

— Сядь, сядь, любезный князь мой! — сказал Заозерский, усаживая насильно Шемяку. — Говорю тебе: дай мне опомниться, одуматься...

«Тут нечего думать, повторяю тебе — если ты не князь только, а точно человек».

— Но ты князь столь великого рода: у тебя есть родня, есть друзья... Их мысли...

«Нет у меня никого — ты видишь сироту, у которого нет ни отца, ни матери: этот сирота пришел к тебе и просит тебя быть отцом его. Что тебе до моих родных!..»

— Дай мне сроку... хоть на три дня.

«Прощай, князь! стало быть, ты не отдаешь мне своего неоцененного сокровища!»

— Хоть немного подумать...

«Три дня! Да переживу ли я эти три дня? Я лишился пищи и питья, сна нет, голова кругом, а он на три дня откладывает, как будто судное дело, по которому справки собирать надобно! Ох, ты, человек праведный! Диво ли, что ты был всегда добродетелен, если ты не знал ни одной страсти человеческой, если ты никогда не испытывал и этого проклятого чувства, которое хуже ада, которое на мученье людское на белом свете...»

— А давно ли называл ты любовь свою благословением Божиим? — Заозерский улыбнулся.

«Не смейся надо мною, князь! Сам я всегда смеялся над зазнобами и ахалками — почитал это бабьим делом,

Да, никто же и не любил так, как я! Где тебе знать, как любят!»

— Нет! я знаю его, это, и горестное, и сладостное, чувство, хотя не испытывал его столь сильно, как ты. Добрую подругу свою знал я с малолетства и любил ее, сначала как сестру, а потом Бог привел ее быть мне супругою, и — счастливым, счастливым был я с нею!

«Тебе дорога память ее?»

— Ее память? И теперь, хоть уже много лет она в сырой земле... эх! не напоминай об ней! — Слезы покатались в два ручья у старика, и он закрыл глаза рукою.

«Нет! нарочно напоминаю: ее памятью, если ты еще помнишь ее, заклинаю, молю тебя, князь, добрый мой князь!» — Заозерский обнял Шемяку и, целуя его в пламенные щеки, сказал, усмехаясь сквозь слезы:

— Но, ты все еще не сказал, чего ты желаешь?

«Руки твоей Софьи Дмитриевны, ее одной! Князь! не мучь — скажи мне!»

Заозерский обнял его еще раз и тихо проговорил: «Она твоя — твоя на веки веков!»

Невольно упал на колени Шемяка и целовал руку старика. Обратив глаза к образу, Заозерский проговорил: «Боже великий, неисповедимый! Во имя Твое, святое, да будут они благословенны! Сократи дни мои и предай им долгоденствия; возьми мое счастье и отдай его им! Князь Димитрий Юрьевич! отдаю тебе дочь свою милую, блюди ее, храни ее!» Он благословил Шемяку. — С радостным кликом обнял его Шемяка. «*Отец мой!*» — «*Сын мой!*» — слышны были их восклицания.

Плакал Заозерский, обнимая Шемяку, плакал он, сев подле него на скамью и тяжело дыша. «Судьбы Бога тайные, — сказал он наконец, — думал ли я, отводя сына моего во храм Господа, что там ожидал уже меня сын, Богом ниспосылаемый в замену того, которого жертвовал я Господу?.. Но, нет: сердце мое вещало мне с первого на тебя взгляда, что ты мне не чужой!»

— И мне, — сказал Шемяка. — Говорю тебе, что мне казалось с первого раза, будто ты мне родной. Грусть непонятная и радость какая-то тревожили меня. Но когда увидел я твою Софью — все разрешилось, и я сказал сам себе: вот моя суженая! *Моя!* ох, отец мой — *моя?* не правда ли?

«Да, да! Сбил ты меня с толку — ей, ей! какой человек — я и сам не опомнюсь... Да, как все это сделалось!»

— Он у меня спрашивает! Да, я что могу растолковать тебе?

«Довел меня Бог видеть дочь мою невестою к н я з я Димитрия Юрьевича, о котором столько говаривали и у нас. Что теперь скажут большие князья и знатные люди? Князья! опрометчиво поступили мы, не подумали — меня станут осуждать и тебя... Нам надобно было обо всем этом раздумать...»

— Думай отныне за меня ты! я твой сын и от всего отказываюсь. Не внук Донского, но простой углицкий князь будет зятем твоим... Пойдем же к ней, отец мой! пойдем к ней поскорее!

«Как? Погоди до вечера; дай собраться; мы вас благословим и тогда посидим рядом и полюбуемся на вас».

— Ждать еще? До вечера? Нет, нет, отец, родитель мой! сжался надо мною — дай мне хоть взглянуть на нее...

«Знаю я это *взглянуть!* — сказал, усмехаясь, Заозерский. — После, после!»

— Нет! теперь, пойдем, пойдем к ней, — Шемяка тащил его за руку.

«Эдакая горячка! Погоди, говорят!»

— Безжалостный человек! ты нагляделся на нее с малолетства, а я только раз видел ее, и после того прошло три дня!

«Да, ведь теперь она не в приборе: ты разлюбишь ее, ненарядную, увидевши днем. Она и не выйдет к тебе — она такая упрямая, своенравная — по мне пошла!»

— Отец! ради Бога Создателя!

«Вот ведь с этой молодежью — свяжись, так и не рад будешь! Да, меня-то за что ты обнимаешь, голова удалая, сердце ретивое? Я Софья, что ли?»

— Ты отец мой, ты мой спаситель!

«Постой же, я велю хоть позвать ее из терема к себе — постой — видно, от тебя не отбиться!»

Заозерский пошел. Шемяка остался один. Ему казалось, что земля горит под его ногами. Он задыхался от жара и подошел к печке, пощупать: не слишком ли печка была натоплена в этом покое. Но печку в этот день еще и не топили... Время летело. Шемяка терял терпение. Он хотел уже идти к Заозерскому, когда старик дворецкий вошел и, радостно усмехаясь, сказал: «Князь Димитрий Васильевич ждет тебя, князь Димитрий Юрьевич».

Холод пробежал по телу Шемяки от этих слов. Он побледнел, хотел ступить ногою и не мог. Дворецкий в испуге подбежал к нему. «Ничего, ничего, добрый старик — от счастья не умирают!» — сказал Шемяка.

Счастливец!.. Смеешь ли роптать, ты, бедный человек, на бытие свое, если Бог украшает жизнь твою такими минутами, такими перлами счастья!

Поспешно пройдя до молельной князя Заозерского, Шемяка остановился. Дворецкий отворил дверь: там стоял Заозерский, старик боярин его, князь Шелешпанский, и старая няня — подле нее стояла София, бледная, как полотно.

Испуганный ее бледностью, Шемяка вошел робко и остановился. Заозерский стал на колени перед кивотом, где находились в богатых ризах образа, и начал молиться. Все преклонили колена, и Шемяка следовал примеру других, сам не чувствуя что делает.

После трех земных поклонов Заозерский встал. София хотела подняться, но не могла. «Дочь моя милая», — сказал ей Заозерский. Яркий румянец показался на щеках ее, и она поспешно встала. «Дай мне твою руку», — продолжал Заозерский. Как будто лихорадка была Софию. Она опять побледнела и вся дрожала.

С неизъяснимым чувством радости, горести — нет! ни радости, ни горести — смотрел на нее Шемяка и без мыслей промолвил: «Княжна! родитель твой согласен на мое счастье, но ты...»

Глаза Софии обратились к нему и слезы, как крупный жемчуг, посыпались с ресниц ее. Она готова была лишиться чувств. Няня поддержала ее.

— Князь Димитрий Васильевич! — сказал Шемяка, — неволею только татары берут. Если княжна...

«Давайте мне ваши руки!» — отвечал Заозерский, со слезами на глазах и с улыбкою на устах.

София протянула руку, Шемяка тоже сделал, и ему показалось, что огонь пробежал по всему телу его, когда рука его коснулась руки Софии. Сложив руки их вместе, Заозерский проговорил: «Бог да благословит вас! Живите и веселите нас, стариков!»

Схватив руку Софии, Шемяка устремил взоры свои на глаза ее. Жарко вспыхнули щеки ее; она скрыла лицо свое на груди няни.

«Княжна, княжна! одно слово из уст твоих! Одно твое милое слово!»

— Полно, князь, — сказал Заозерский. — Девичьи слова дороги — их не скоро добьешься.

«И, матушка княжна! полно совеститься: ведь уже князь Дмитрий Юрьевич теперь твой суженый, с Божьего и с родительского благословения!» — говорила няня.

— Нет, княжна! скажи мне, скажи, если я тебе не нравен, если ты не любишь меня... — говорил Шемяка, не опуская руки Софьиной.

«Да, скажи ему, родная!» — говорила няня, усмехаясь. София что-то пробормотала няне. — «Что говорит она?» — воскликнул Шемяка.

— Да, что говорит: *я уж его и во сне сегодня видела!* Вот что говорит она.

Напрасно София хотела загородить рукою уста нескромной няни: слова были сказаны; тайна ее открылась. Безжалостная старуха отодвинулась от нее, и София осталась одна, выданная страстным взорам Шемяки, с раскрасневшимися щеками, на которых бледность не смела уже появляться. София не знала, куда ей скрыться от людей, не смела поднять глаз. Шемяка любовался ею и не отваживался к ней приблизиться. Заозерский, няня и Шелешпанский смотрели на них улыбаясь.

«Ну, коли так, то о согласии ее и спрашивать нечего. Кто во сне девичьем мерещится, тот наяву любит. Да впрочем, ведь я ее не принуждал; она добровольно сказала мне: *Да!* Не правда ли, Софья?»

— Да, — прошептала она, едва внятным голосом. Шемяка — не говорил ни слова.

«Ну, поздравляю тебя, князь Дмитрий Юрьевич: ты такой же молодец бить врагов, как уговаривать стариков и завоевывать сердца девушек. Поздравляю тебя!»

Заозерский обнял Шемяку. Шелешпанский рассыпался в поздравлениях после того, наговорил даже много и такого, отчего щеки невест горят ярче. Старики наши любили шутку и позволяли себе быть нескромными в шутках при таком случае. Дошла очередь до старой няни: весь сказочный набор приветствий рассыпала она, уподобляя невесту бурмитской жемчужине, белой лебедке, светлому месяцу, а жениха камню самоцветному, ясному соколу и светлому солнышку. «Да, я уж предвидела, — продолжала болтливая старуха, — что этому быть, когда с подноса княжны чарка упала, как она подносила здоровье князю Дмитрию Юрьевичу. Дай вам, Господи, любовь да совет, мир да привет

на тысячу лет. А теперь вам надобно, по нашему обычаю, поцеловаться. Поцелуй, как замок, два сердца смыкает, и после него уже нельзя воротиться, да и не захочется: так тебя и тянет к любимому человеку, которого хоть один раз в жизни поцеловал!»

Легко прикоснулся губами своими Шемяка к ротику Софии. «Княжна! — сказал он ей, — на земле ли я, или уже в раю небесном?» Взгляд, брошенный украдкой, взгляд нежности, заботы, замешательства, был единственным ответом Софии.

Долго хотел бы Шемяка пробыть в этом сладостном забвении самого себя, но Заозерский напомнил, что пора расстаться. Счастливец теперь имел уже довольно сил исполнить повеление старика. Заозерский и Шемяка встретили толпу бояр и дворян в большой комнате. Они собрались радостно приветствовать своего князя, поздравлять Шемяку и потом спешили готовиться к вечеру. Шемяка ушел в свои покои; ничего не говорил он о своей невесте с спутниками — с ними не хотел он говорить — и Чарторийский и Сабуров проклинали Заозерского, думая, что их время уже миновалось. Так поступают все угодники страстей своего повелителя, если видят, что он разрывает ничтожный плен их. К вечеру весь дворец был освещен. Богато одетый, цветущий радостью явился Шемяка и казался первым красавцем в кругу придворных князя. Он в самом деле похорошел в несколько часов: время красит, безвременье старит. Вывели невесту, со всеми обрядами, в дорогом убранстве и, по прочтении молитвы священником, благословили дедовским образом жениха с невестою. Тогда мог Заозерский полюбоваться, видя рядом милую дочь свою с юным ее женихом. Пошли кубки по рукам. По странному смещению религиозных обрядов с житейскими обычаями, едва благословили невесту, и едва священник раскланялся, едва прошли слезы умиления и благоговение на лицах присутствовавших, во дворе княжеском застучали в медные тазы и железные сковороды, старики пустились в шутки и прибаутки, и хор девушек, подруг княжны, призванных к ней с обеда и разряженных, запел свадебные песни. Хотите ли знать их?

Не лежи, черный бобр, у крутых берегов,
А черна куница возле быстрой реки;
Не сиди, князь Димитрий, во чужом пиру,
Князь ты Димитрий Васильевич;
Снаряжай свадебку молодой княжны,
Молодой княжны Софии Дмитриевны!

— Глупые вы люди, неразумные!
Уж у меня свадьба снаряжена,
Девять печей хлеба напечено,
Десятая печь витых калачей,
Витых калачей с завитушками;
Девять поставов браги наварено,
Десятый постав меду крепкого;
Уж у меня приданое изготовлено:
Девять городов, с пригородками,
Девять теремов, с притеремками.

* * *

На заре рано, на утренней,
На восходе красного солнышка,
На закате светлого месяца,
Не от ветра, не от вихоря,
У князя Димитрий Васильевича
Учинилась беда великая:
Вода на дворе возлелеяла,
Три кораблика уплыло —
Первый с червонным золотом,
Второй со светлым серебром,
Третий с красною девицею,
С княжною Софьею Дмитриевною.
Не жаль мне червонного золота,
Не жаль мне светлого серебра,
Только жаль мне красной девицы:
Та у меня была дочь родимая,
Дочь родная, дочь любимая.

* * *

Венули ветры по полю,
Грянули веслы по морю;
Ходит княжна в высоком терему,
Княжна Софья Дмитриевна,
То подумаешь, то раздумаешь;
С кем бы мне думушку придумавши,
С кем бы мне крепкую раздумаши?
Думать думу с родным батюшкой —
Та ей дума не верна, не крепка,
Те словеса ей не понравились;
Думать думу с одной матушкой —
Та ей дума не верна, не крепка,
Те словеса ей не понравились;
Думать думу с молодым князем,
Князем Дмитрием Юрьевичем —
Та ей дума верна и крепка,
Те словеса ей понравились.

Так пели подруги княжны, пока старики и гости чокались кубками и шумели; жены князей и бояр сидели неподвижно, а жених наговаривал невесте речи любви и счастья, держал ее белую руку в своих руках и иногда, украдкой, целовал ее румяные щеки и нежный

ротик. Ужин был сытный и — пьяный. Расставаясь, при громких песнях, София сама поцеловала Шемяку, когда старики обнимались и, с шумом прощаясь, клялись в вечной любви к Заозерскому и в неприменном счастье жениха и невесты. Как ни тщательно старались дворцкне Заозерского помогать гостям убираться домой, однако ж двоих нашли потом в углу, забытых. С трудом могли уверить их, что они расположились спать не дома. Один послушался и скоро побежал, когда объявили ему приказ супруги его; у другого совсем пропал хмель, когда нарочно стали говорить подле него, будто у соседа его, в прошедшую ночь, вытащили скринку с деньгами из кладовой.

Три дня, каждый вечер, продолжались подобные гулянки. Радовались все подданные князя; приезжали поздравлять его даже все монахи из Каменского и Куштинского монастырей. На четвертый день угощали обедом их и духовенство, а простому народу выкатили целые бочки браги. Невеста являлась только по вечерам: днем была она невидима, и только жениху позволялось утром, на минуту, являться в ее терем. Шемяка забывал весь мир. Пора было миру сказатьсч счастливому князю: он был слишком счастлив!

Глава IV

*Тюрьма ты моя, тюрьма крепка!
Пошире ты гробовой доски,
Да тяжелее ты ее в сотеро,
Подлиннее ты домовища дубового,
Да теснее в тебе молодцу удалому!*

Старинная песня

— Ну, великий господин, властитель всех бесов на свете! говори: правда ли это? — спросил боярин Старков, поспешно вставая, едва Гудочник вошел в комнату; боярин сидел в это время за столом, держа в руках большую оловянную кружку.

«Правда», — отвечал Гудочник, усмехнувшись.

— Не иму веры, дондеже не... — боярин не пригадал, как окончить ему свою духовную пословицу.

«Дондеже не положу железы на руке и ноге его, и не упрячу буйной его головы в каменный мешок», — прибавил Гудочник.

— Воля твоя, старый хрен — это невероятно, этого не может быть! Повтори, что ты говорил мне?

«Глупость людская, особливо когда в дело вмешиваются бабьи глазки, всегда вероятна и вернее ума. Пожалуй, повторю: прежде я говорил тебе верные вести, что Шемяка хочет ехать сам в Москву; потом, что он едет; теперь говорю, что он скоро к тебе появится и что ты должен встретить дорогого гостя с подобающею честью, потому, что за этим именно послан ты сюда от Великого князя Василия Васильевича».

Старков крестился обеими руками: «И это точно подтверждается?»

— Боярин! есть всему мера — и вере и неверию. Сейчас прискакали расставленные по дороге ближние гонцы: Шемяка скачет за ними и прямо сюда, в село Братищи, где ты и я ожидаем его.

«Он помешался!» — сказал Старков, усмехаясь жалостливо.

— Нет! когда женится, то помешается, а теперь только дуреть начинает. Не знаю, однако ж, боярин, что тебе тут кажется непонятно! Я рассказывал уже тебе, что Шемяка засватался в таком семействе, где чарки не выпьют без земного поклона, а дети с рождения клобук надевают. Старик Заозерский начал увещевать князя, что ему, яко христианину и яко человеку, не годится быть во вражде с Великим князем; что благо смиряющемуся, и что блаженни миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся. Шемяка поколебался: ведь у него куриное сердце, скоро переходит и долго не продолжается. Тут и будущий тесть и невеста сильнее пристали к князю; призвали на помощь монахов; будущий тещушка твердил одно: «Князь! отдаю я тебе мое единственное детище; препоручаю тебе и сына своего. Я стар, не сегодня, так завтра умру; если ты останешься во вражде, отравишь ты последние часы моей жизни, заставишь ты меня при дверях гроба думать не о спасении души, а о мире, где покину я тебя и дочь на произвол мирской бури. Да не зайдет солнце во гневе нашем...» Ну, и прочее, и прочее. А пока говорил это Заозерский и подговаривали ему монахи, молодая невеста прижималась к горячему сердечку жениха, роняла жемчужные слезки и только шептала: «Если любишь меня — помирись с Великим князем!» Эти слова — немного их было, да сильно отзывались они в сердце Шемяки: «Я не вражду, я давно простил московского князя. И теперь, когда я так счастлив, могу ли иметь на кого-нибудь злобу? Но Великий князь притворщик, хитрец, лукавый человек. Он ничему не поверит, когда

в то же время брат мой собирается на него войною. И могу ли я отдать ему брата головой?» — «Злые люди разлучили всех вас — не выдавай брата, но помири их: не может быть, не люди будут они, брат твой и Великий князь, когда ты изъяснишь брату своему всю невозможность борьбы с Москвою, когда Великий князь увидит в то же время твое доброе расположение. Они взаимно уступят друг другу, и мир процветет в потомстве Димитрия Донского! С каким весельем тогда встретим мы тебя, миротворца братьев, победителя не мечом, но словом честным и добрым!» — «Княжна Софья Дмитриевна! узнай, как я люблю тебя, как слушается твой жених твоего родителя: я еду завтра же и — *прямо в Москву!*» — вскричал Шемяка. Побледнела, задрожала молодая княжна-невеста. — «Да! *в Москву!* — продолжал Шемяка. — Если приступать к чему, так приступать душою и сердцем немедленно, прямо, искренно. Я еду в Москву: звать на свадьбу мою брата моего Василия Васильевича, со всем его великокняжеским двором. В Угличе все у меня готово: терем светлый, мед сладкий, пиво крепкое — отправляйтесь туда; верно, вы станете уже там брата Димитрия — я привезу с собою брата Василия Юрьевича и Великого князя, или приеду сказать вам: я простил его, но мира между ними нет! Я смирялся; но он питает вражду, семя дьявольское. Тогда, да судит Бог виноватого!» — Предприятие Шемяки не на шутку испугало всех. Но таково свойство у этого князя: если он на что решится, то предается этому решению душою и сердцем... Рассказывать ли тебе, боярин, как после того расставались, плакали? У меня были там, в Заозерье, такие приятели, которые ни одного словечка не проронили и, может статься, наперед подсказывали многим, что надобно было говорить.

Старков качал головою: «Знаешь ли: ведь я не поверил было ушам своим, когда Великий князь призвал меня и сказал, куда и зачем меня отправляют?»

— Ты изумился, кажется, боярин, когда и меня увидел и когда Великий князь велел тебе поступить согласно тому, что я скажу?

«Признаюсь и в этом. Как мне было и не изумиться, если ты сам не забыл, с какой поры не встречались мы с тобою? Хоть ты и уверяешь, будто тогда не ты, но какое-то демонское наваждение обморочило всех нас — однако ж... хм!.. садись-ка, крестный батюшка, который благословил воевод московских в дураки, — примолвил Старков, указывая место Гудочнику, — садись и растол-

куй, где пропадал ты с тех пор, что ты поделывал и как ты успел из притоманных друзей покойного старика Юрия сделаться таким другом нашего Великого князя? Не слишком-то доверчив наш князь Великий, и не надивлюсь я, как умел ты попасть к нему в такую великую милость!»

— Не всякий тот друг, кто с тобой брагу пьет; не всякий враг, кто на тебя с мечом идет. А сверх того, боярин, рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Светило сегодняшнее солнце — мы на нем онучки сушили; засветит завтра другое — мы будем сушить на нем. Позволь мне отложить на время дружескую с тобою беседу — от тебя ничего за душою не скрою, но теперь припомню тебе: все ли у тебя исправно и готово для встречи дорогого гостя?

«Да, да, я так изумился последней вести, что я забыл об этом. Распоряжено все; да, только надобно присмотреть за народом, так ли все сделано. Право, изумился я, и все было забыл...»

— Изумляться ничему не надобно, — ворчал Гудочник, — даже и тому, что ты поумнеешь. — Он проводил глазами Старкова и задумавшись сел на лавку.

День вечерел, становилось темно, как бывает темно в душе человека, когда он замышляет злое. Прискакал еще гонец и сказал, что Шемяку оставил в пяти верстах. Старков и бывшие при нем московские чиновники выехали за село. Несколько воинов стояло на почетной страже, близ избы, где назначен был ночлег Шемяке. Жители села толпами высыпали в поле. Все радовались, казалось, прибытию дорогого гостя.

Шемяка был охотник до скорой, лихой езды. По дороге, повсюду, от самой границы Великого княжества до Москвы, приготовлены ему были подставные щегольские тройки. Шемяка ехал с малою свитою, с Сабуровым и Чарторийским. Только пыль снежная взвивалась из-под копыт лошадиных, и множество колокольчиков на дугах звенело и гудело издалека.

Увидя Старкова, Шемяка остановился. Ласково, весело выслушал он приветствие боярина, поклон от Великого князя и приглашение отдохнуть в Братищах, где изготовлен был сытный ужин. Сани привернули к ночлегу.

Шутливо, приветливо поздоровался опять Шемяка со Старковым, не заметив его смущения; ужин был готов. Налив первую чару, Шемяка поднял ее высоко и выпил за здоровье Василия Васильевича.

— Позволь спросить, князь Димитрий Юрьевич, доволен ли ты доньше своим путем-дорогою; исправна ли была езда, добры ли были ночлеги? — сказал Старков.

«Я лично стану благодарить брата моего, Великого князя,— отвечал Шемяка,— и никогда не думал я, чтобы можно было до такой степени приложить старание угодить гостю. О, надеюсь отплатить за это на свадебном пиру своем! Садись, боярин, садитесь все — по-простому, по-дорожному».

Начался ужин, и русское разгулье развеселило сердца всех. Шемяка не утерпел: он пересказал Старкову, как хороша, как разлюбезна его невеста; с громким кликом осушены были кубки за ее здоровье.

— Ну, Чарторийский, видишь ли, что заяц по-пустому перебежал нам дорогу, при выезде из Кубены? — сказал Шемяка, оставшись с ними наедине.— Завтра мы в Москве, и не знаю, что-то говорит мне, будто с завтрашнего дня начнется истинное мое счастье! Такое веселье бывает недаром — даено не был я так весел и доволен.

«Кем, князь: собою или другими?»

— И собою и другими. Вижу, что правда светлая побеждает все и всякого: и самый подозрительный брат мой, Великий князь, не смеет не уступить доверчивому желанию добра и мира, которое ведет меня в Москву. Он чествует и принимает меня, как дорогого своего гостя, ждет не дождется и высылает на дорогу встречать и угощать. Я худо было поверил ласковому поздравлению, которое прислал он мне в Заозерье. Недоверчивость, чувство неприязни отравляли все часы моей радости. Будущее темнело передо мною, как туча осенняя. Теперь все ясно — и в сердце и в судьбе моей. Что ты кричишь, Чарторийский? Аль жесток тюфяк разостлал тебе хозяева наши? — спрашивал Шемяка, беспечно протягиваясь на мягком тюфяке своем, покрытом медвежьей кожей.

«Нет! мягко лежать, князь, да под голову лезет жесткая дума».

— Еще сомнения? Или ты боишься в самом деле кубенского зайца.

«Нет! я никогда, ни в чем не сомневаюсь, князь, потому, что никогда не думаю о завтрашнем дне, но, признаюсь тебе...»

— Что?

«Не нравится мне твоя поездка в Москву. К старому врагу надобно ходить, как в берлогу медвежью, с рога-

тиною в руках. Не любитя мне, что ты явишься у него, как слуга его, когда мог бы его позвать к себе, как ровню. Я, на твоём месте, поехал бы в Дмитров к Василию Юрьевичу и оттуда звал бы на свадьбу Великого князя. Там надежнее мириться, где, слыша недоброе слово, можно ухватиться за бердыш... Впрочем, так что-то вздумалось мне говорить тебе... Поздно робеть, когда до Москвы остался один переезд».

Шемяка не отвечал: он уже спал крепко.

Не прошло двух часов после того, как заснули Шемяка и спутник его, дверь тихо растворилась, несколько человек вооруженных воинов вошло в избу, осторожно светя глухим фонарем. Старков следовал за ними. Тихо подошли они к оружию, сложенному на столе Шемякою и спутником его, и схватили это оружие. Тут несколько человек бросились к Шемяке, несколько к Чарторийскому и уцепились им за руки и за ноги.

— Что? — тихо спрашивал Старков.

«Не выскочат!» — отвечал один воин.

— Подавай же огня! — вскричал Старков, растворяя дверь в сени. Там стояло множество воинов с зажженными фонарями.

Едва мог опомниться Шемяка. Раскрывая с трудом глаза, еще отягченные сном, он не понимал: во сне или наяву видит он избу, освещенную огнями, и толпу вооруженных воинов. Он хотел перевернуться, не мог, и только тогда заметил, что несколько сильных воинов держат его крепко.

— Чарторийский! спишь ли ты, или нет? Что это такое?

«Не сплю, князь Димитрий Юрьевич, да пошевелиться не могу — меня держит дюжина здоровых рук».

— Князь Димитрий Юрьевич! — сказал тогда Старков, выступая вперед, — от имени Великого князя Василия Васильевича объявляю тебя пленником.

Шемяка не отвечал ни слова. Он безмолвно смотрел на всех, окружавших его, и наконец сказал с негодованием: «Да воскреснет Бог! Какой дурной сон мне грезится! Кажется, я не много выпил с вечера».

— Изволь вставать, князь Димитрий Юрьевич, и прошу пожаловать за мною, — сказал Старков, сам сторонясь за своих воинов.

«Неужели это не сон? — вскричал Шемяка, стараясь пошевелиться. — Прочь от меня! Эй, ты, боярин Старков, или сам черт в его образе! вели отпустить меня этим

бесам, а не то я не оставлю в вас живой души — с людьми управлюсь мечом, с чертями крестом!»

— Прошу не буйствовать, князь Димитрий Юрьевич, или я принужден буду употребить силу.

«Силу?» — И с этим словом кровь вскипела в жилах Шемяки. Как бешеный, рванулся он, вырвался из рук державших его воинов, вскочил и бросился к столу, где лежал меч его. Воины кинулись снова схватить его — стол полетел вверх ногами.

«Меч мой! — громко закричал Шемяка, — вставай, Чарторийский! это разбойники!»

— Воины! схватите князя! — закричал Старков, отступая к самым дверям.

«Прочь!» — загремел Шемяка, ухватил скамейку, стоявшую подле стола, и от одного размаха полетело с ног несколько человек.

— Князь! сопротивление бесполезно! — сказал Старков, — я кликну еще сто человек; ты безоружен — щади жизнь свою.

«Князь Димитрий Юрьевич! — сказал Чарторийский, — и я примолвлю: сопротивление бесполезно. Думать было в Кубене, думать было в Ярославле, а теперь поздно...»

Шемяка опустил на пол скамейку, бывшую в руках его; тяжкая печаль изобразилась на его лице. Никто не смел к нему подступить.

Безмолвие продолжалось с минуту.

— Говорите после этого, что добродетель есть на земле, что правда есть в мире! — сказал тихо Шемяка. — Ах! Софья моя, Софья! Ах! Князь Димитрий Васильевич! если бы вы теперь были здесь и знали!

«Князь! — сказал Старков, — прости меня: я исполняю повеления своего государя; не увечь без надобности невинного народа, а я поклянусь тебе, что никакого зла причинено тебе не будет!»

— Поклянись! — сказал Шемяка, обращаясь к нему с горькою улыбкою, — ну, поклянись, я послушаю!

«Вот тебе Бог порукою, и святая икона Владимирская, что жизнь твоя сохранится, и что мне велено только отвезти тебя в безопасное место и держать под стражею до дальнейшего повеления».

— А что это такое: *безопасное место*? Могила что ли? Видно, что до этого безопасного места любезный братец мой, Великий ваш князь, не думает уладить добром!

«Сохрани нас, Господи! мне повелено тебя чествовать и хранить».

— Откармливать на убой? Ха, ха, ха! — Опять все замолчали.

— Слушай,— сказал Шемяка, идя к Старкову,— слушай...— Старков боязливо пятился от него.— Не бойся! — сказал Шемяка,— слушай мое препоручение, слушай же: если ты станешь посылать в Москву и доносить о поимке меня, то вели сказать брату, что скорее борода вырастет у него на ладони, нежели я помирюсь с ним; скажи ему, что он... выдумай самое непримиримое слово,— воскликнул Шемяка, схватя за руку Старкова и сильно сжимая ее,— скажи ему это слово от меня и прибавь к тому, что он изменник, обманщик, трус... Давайте мне одеваться! Готовы ли палачи твои, боярин?

«Поверь мне, князь...»

— Верю, всему верю, потому, что в роде нашем все бывало — и резали друг друга, и в тюрьмах душили, и глаза вынимали... Ба! Свирестель! ты ли это? — сказал Шемяка, увидя одного из воинов,— и ты здесь?

«Здесь, батюшка-князь!»

— Тебя не желал бы я встретить здесь: как мог ты принять на себя должность моего спекулятора? Помнишь ли ты битву у Николы Нагорного: я размозжил было тебе голову — ты закричал мне: «Пощади — у меня трое сирот!»

«Батюшка-князь!» — вскричал Свирестель, бросаясь целовать руку Шемяки, со слезами.

— Спасибо, хоть добро помнишь. Князю твоему уступил я целое царство, а он забыл это. Пояс мой! А меча мне не отдадут?

«Князь...» — сказал Старков, запинаясь.

— Ну, хорошо, хорошо! Смотрите только, чтобы он не заржавел. Отпустите же теперь Чарторийского. Старков! могу ли я написать несколько слов, или послать кого-нибудь к моему будущему тестю?

«Князь...» — сказал опять Старков, в замешательстве.

— И этого нельзя? Хорошо. Готов ли ты, Чарторийский? Пойдем!

Шемяка вышел в сени. Толпа воинов занимала всю улицу; лошади были уже готовы; сторонясь, когда проходил Шемяка, один из воинов чем-то загремел; быстро взглянул на него Шемяка; воин что-то прятал позади себя; Шемяка сильно повернул его и увидел — железные кандалы!

— Видно, это кушанье не было готово ко вчерашнему ужину? — сказал он, обращаясь к Старкову. Старков молчал.

— Подай мне их — я положу их с собою! — сказал Шемяка, схватывая кандалы, и скорыми шагами пошел к саням, сказав: — Будет время, когда звон этих кандалов обвинит Василия перед престолом Божиим!

Шемяка сел вместе с Чарторийским. Воины окружили его сани; другие скакали впереди и сзади. Своротили в сторону с Московской большой дороги. Шемяка завернулся в медвежью полсть и спокойно заснул.

— Где мы? — спросил он, проснувшись поутру, у Чарторийского.

«Мы выехали на Рязанскую дорогу».

Опять завернулся Шемяка и не говорил более ни слова. Переменять лошадей останавливались в маленьких селениях, проезжая большие.

— Боярин! — спросил Шемяка у Старкова, когда тот подошел к нему, — скажи: стало быть, приготовлены были здесь для меня лошади, и вы ждали меня?

«Да, князь!»

— А помнишь ли ты, что говорил, встречая меня в Братищах?

«Забыл, князь!» — Старков улыбнулся. Шемяка сам засмеялся.

Быстро привезли Шемяку в Коломну. Сани въехали в тамошний Кремль. Жилищем Шемяки определено было две комнаты в одной из башен Кремля. Ворота заперли и весь Кремль окружили стражею. Старков просил сказать: что ему нужно?

— Ничего! — отвечал Шемяка и не стал более говорить со Старковым. Он был разлучен со всеми спутниками своими. Почти весь первый день, молча, угрюмо, сложив руки, ходил он по небольшой тюрьме сзоей.

— От Великого князя приехали к тебе бояре, князь, — сказал ему Старков на другой день.

«Я не хочу их видеть, — отвечал Шемяка. — Прошу и тебя, боярин, не являться ко мне, или я ни за что не ручаюсь!»

Старков поспешно ушел. Пристав и несколько прислужников являлись к пленнику с обедом и ужином.

Уже более недели пролетело для Шемяки в тяжком его заключении, когда вечером в один день отворил кто-то дверь в его тюрьму и тихонько задвинул изнутри за-
совом. Шемяка равнодушно смотрел в окно на далекую Москву-реку и хладнокровно оборотился к пришедшему.

Казалось, что Шемяка не обращает никакого внимания ни на один предмет из всего, что его окружало.

Вошедший низко поклонился и тихо стал подходить к Шемяке. Недоверчиво обвел глазами Шемяка и схватился рукою за тяжелый стул, подле него стоявший.

Вошедший понял движение Шемяки и сказал ему: «Неужели ты боишься меня, старика безоружного?»

— Зачем ты пришел сюда? — спросил его Шемяка. — Прошу убраться, а боюсь или не боюсь я тебя, или кого-нибудь — до этого нет тебе дела!

«Ты не узнаешь меня, князь Димитрий Юрьевич? Правда, мельком, и то давно, виделись мы с тобою, и ты мог позабыть меня».

— Кто бы ты ни был — ты раб Василия, ты один из палачей моих — пошел вон: по крайней мере, эта тюрьма мой удел, которым законно владею я, по воле Великого твоего князя. Вон! — воскликнул громче Шемяка, с умножающеюся яростью.

«Умей отличать друга от врага, князь!» — твердо отвечал пришедший, не сходя со своего места.

— Великий князь твой доказал мне хорошо свою дружбу, а с презренным смердом его дружитья я сам не захочу.

«Я не раб московского князя — я жилец целого мира и раб тому, кто, — тут голос незнакомца понизился, — *кто враг московскому князю!*»

Шемяка изумился и при сумраке внимательно смотрел на старика, стараясь разглядеть его.

— Я принес к тебе вести от брата твоего, от князя Димитрия Васильевича, от княжны Софии Дмитриевны.

«Искуситель! какие имена произносишь ты! — воскликнул Шемяка, закрывая лицо руками. — Зачем пришел ты смущать меня, меня, всеми позабытого? Я привык было смотреть на свою участь и слова бы не сказал, если бы целый век суждено мне было здесь просидеть. Мое безумие слишком стоило такой награды — моя глупость достойна наказания!»

— Нет! добро никогда не погибнет, и кто сеет его горестью, тот пожнет радостью...

«Молчи, молчи, враг ли ты, изменник, искуситель, или, в самом деле, друг мне! Слово *добродетель*, за этими затворами, в этих стенах, будет насмешкою на людей и укором Богу! Но говори — лги мне о вестях от тех людей, имена которых пробуждают еще душу мою!»

— Они все живы, здоровы, кланяются тебе.

«Живы — и забыли меня...»

— Ах! не забыли, князь добрый! Князь Заозерский и невеста твоя теперь в Угличе!

Как от громового удара вскочил Шемяка со своего места. «В Угличе? — воскликнул он. — Но ты лжешь... Кто ты?»

— По имени Иван, по прозвищу Гудочник, по душе недруг московского князя.

«Да, я узнаю тебя, кажется; не помню только: где мы виделись?»

— Мы виделись с тобою однажды, в страшный час кончины боярина Иоанна Димитриевича, в золотых наворных сенях.

Минувшее пролетело, казалось, перед взорами Шемяки. «Да, правда — помню!» — сказал он.

«Горе излишне мудрствующему, горе князю слабому, окруженному злым советом! От первого погиб боярин Иоанн; от второго родитель твой потерял престол!»

— А горе ли тому, кто добыл его мечом и потом вольно уступил своему врагу?

«Горе, если раздор кипит между родными, и один брат парит соколом, а другой, как рак, пьтится в воду».

— Я знаю, что тебя все считают человеком бывалым и оказавшим большие услуги темными делами моему родителю.

«Нет, не темными, князь,— мои дела просветлеют солнцем там, некогда, где и когда светлые мирские дела многих князей и бояр покажутся тьмою кромешною!»

— Чего же хочешь ты от меня?

«Я пришел сказать тебе, что я состою в твоих повелениях». — Гудочник стал на колена и поцеловал руку Шемяке.

— Что же ты можешь для меня сделать?

«Разве недовольно уже и того, что к тебе перепадает через меня весточка от милых тебе людей? Весть от милого, как капля воды на палимый зноем язык, подкрепляет и оживляет нас».

— Но что же, если они живы только, что из этого?

«Они помнят тебя, а кто помнит, пожалеет ли чего-нибудь за твое спасение?»

— Что говоришь ты!

«Неужели в несколько дней дух твой до того ослабел, рука твоя до того разучилась держать меч, а душа таить крепкую думу?»

— Нет! нет!... — сказал Шемяка, удерживая свое нетерпение, — но человек благовейно должен принимать наказание Божие.

«Князь! эти речи не по твоей голове, эти мысли не по твоему плечу! Что если бы кто теперь принес тебе весть свободы?»

— Свободы,— воскликнул Шемяка,— раздолья воле, разрушения мечу...

«Тише, ради Бога, князь!»

— Говорит о свободе моей и велит шептать — боится тюремных стен! Прочь от меня, соблазнитель! Я не верю тебе, краснобай, не верю ни вестям, ни словам твоим!

«Хорошо — надобно тебя уверить — до тех пор ни слова. Завтра, когда заблаговестят к обедне, смотри в это окошко, прямо на берег Москвы-реки, взглядишь, с кем буду я там говорить. Добрая ночь!» — Старик ушел и запер за собою дверь.

Как взволновалась кровь Шемяки, как вскипелись все его мысли! До тех пор, непрерывно, какое-то бесчувствие владело им после первого порыва, после той минуты, когда он готов был не отдаться живой в руки злодеям своим. Пролетела эта минута, и мысль о безрассудной доверчивости к Василию и ненависть к людям, сменившие его радостное ожидание, его надежды на мир и счастье, подавили его душу. Он не смел даже и роптать на самого себя, не смел осуждать своего поступка: его присоветовали, его одобрили люди столь добродетельные, столь милые ему; они, конечно, терзались после того, узнав судьбу Шемяки и гибель, в какую повергли его. Все это уничтожало, смешивало все помыслы, и Шемяка почитал все сие Божеским испытанием, наказанием, терпеливо решаясь ждать своей участи. А теперь? А! теперь все ожило в его душе: мщение, любовь, ненависть, гордость, оскорбление, позор, нанесенный его роду и званию, даже мысль о том, что он выдал беззащитного брата своего на жертву неутолимому, хитрому Василию! Ему пришло в голову помышление и об опасности, какой подвергались, может быть, Заозерский и дочь его. Он загорел, закипел мыслью свободы, мщения! Он вспоминал потом все, что слышал о Гудочнике, странном, непонятном человеке; готов был верить, что этот старик оборотнем проходит сквозь двери и затворы темниц, невидимо присутствует во дворцах и увлекает души людей колдовством. Он вспоминал, что таинственный Гудочник всегда оказывал преданность Юрию и роду его; что он был участником и важным действователем во всех умыслах и смятениях до первого завладения Москвы Юрием. Но почему Гу-

дочник ненавидит московскому князю? Кто этот непостижимый старик? И если он доставит ему свободу, что начать тогда? Куда устремиться? Только бы выйти из темницы, только бы свободнодохнуть в чистом поднебесье — душа вострепнется сильною, крепкою душою...

Всю ночь не спал Шемяка, и едва стало брезжить, он подбегал уже десять раз к окну, указанному Гудочником. Сильный холод заволок окно морозными своими узорами; Шемяка оттаивал мороз своим дыханием, своими руками. Взошло солнце; ярко осветились окрестности; народ заходил, зашевелился — не видно было Гудочника! Тогда только вспомнил Шемяка, что благовест к обеду будет знаком условленного времени. С грустью бросился он на свое ложе и прислушивался к каждому шороху и самому легкому шуму. В ушах его, чудилось ему, непрерывно звенели колокольчики, и несколько раз вскакивал и подбегал он снова к окну, думая, что уже слышит желанный благовест...

Он раздался наконец и казался вестью воскресения Шемяке. Князь перекрестился, подбежал к окну и нетерпеливо смотрел: Гудочник там — он стоит с кем-то. Но кто это с ним? Да, Шемяка не ошибается: это друг и боярин Заозерского — это старик Шелешпанский! Радостно закричал Шемяка, готов был выбить окно и броситься в него с башни. Шелешпанский говорит с Гудочником, обнимает его, оборачивается к тюрьме Шемяки, машет ширинкою, кланяется, и оба старика вместе уходят...

Итак — Шелешпанский здесь, вблизи; он пришел от милых сердцу людей; он видел недавно Софию... Часы казались годами Шемяке: он ходил, садился, ломал себе руки от досады и нетерпения, иногда решался даже ломать двери тюрьмы. Солнце показывало уже полдень; слышен стук — двери отворяются. — Кто это? Гудочник? — Нет! Пристав принес обед Шемяке. Нельзя ли вырваться теперь? Шемяка приблизился к двери — она отворена. Пристав оборотился и сказал улыбаясь: «Там двадцать человек стражи, князь — если хочешь, отвори и посмотри!»

— Убирайся вон! Я не хочу есть! — сказал Шемяка, сильно толкая пристава. — Убирайся, или я выкину тебя, и с обедом твоим!

Робко осмотрелся пристав и поспешил выйти. Шемяка слышит, как стучат снова затворы, как все умолкает...

Тоска отравила у него час, горестъ съела другой — отчаяние начинало терзать Шемяку, когда день померк, никто не являлся, и о Гудочнике не было ни слуху, ни духу.

Но, вот снова стучат затворы, дверь отворяется — Шемяка ждет: это Старков; за ним пристав с обедом, или с ужином. Пленник готов был кинуться на них, задавить их, бросить в передние комнаты перед тюрьмою и лучше погибнуть, сражаясь с воинами, нежели еще томиться... Но за приставом шел Гудочник — Шемяка задрожал, и вся жизнь перешла у него во взоры. Гудочник остановился у дверей и потупил глаза в землю, с видом покорности.

— Мне донесли, князь Димитрий Юрьевич, что ты не изволил сегодня кушать, — сказал Старков. — Прости, что, вопреки твоему желанию, это привело меня сюда. Великий князь поручил мне блюсти твое княжеское здравие.

Шемяка ничего не отвечал.

«Прошу сказать мне, если ты, чего, Боже сохрани, сделался нездоров и чувствуешь какой-нибудь недуг телесный...»

— Я здоров, но не хочу есть! — отвечал Шемяка. — Скажи мне: что же приказал тебе делать со мною твой Великий князь? — быстро спросил он потом, после короткого молчания, подходя к Старкову.

«Я ничего не знаю», — отвечал Старков, удаляясь от него.

— Неужели я должен сгнить здесь? — вспыхливо воскликнул Шемяка. — Казнить, так казните скорее! Только братоубийства и недоставало еще твоему князю!

«Ради Господа, не говори мне таких речей, князь! Ты, конечно, нездоров, и вот я привел к тебе знающего человека. — Старков указал на Гудочника. — Если ты нездоров, скажи ему свою болезнь».

Шемяка хотел отвечать; но Гудочник, с низким поклоном, подошел к нему и тихонько шепнул: «Притворись больным!»

— Я не знаю, — сказал Шемяка, в замешательстве, — да и чье здоровье перенесет тоску и грусть моего заключения? Не единой души человеческой...

«Грусти и печали Господь помощник; в части и нечасти князь владыка; а мы, люди старые, люди бывалые, лечим недуги телесные, во имя Отца и Сына и Святого Духа, бесы прогоняющего, здравоносного, те-

ло и душу радующего — лечим огневицу лихую, лихومانки злые, сорок лихоманок, Иродовых дочерей — трясушую, палящую, знобящую, удушающую, надувающую, бессонную, сонливую, медвежью, козлиную... Позволь, князь Димитрий Юрьевич, посмотреть в твои очи, пощупать твою руку — не сказывай болезни, угадаем и вылечим!»

Скороговоркою проговорил все это Гудочник, кланяясь Шемяке, но не показывая никакого знака душевного участия.

— Неужели ты знаешь, как лечить болезни всякие? — спросил Шемяка, невольно усмехнувшись.

«Знаем, знаем — *погоди до завтра, до этого времени*, и ты будешь здоров — тебе Бог судил еще много счастья и дарования в грядущее время... А мы лечим все, что ни попало: ту ли болезнь, что горячкою называют, а у иных *огневою*, ибо в той болезни человек, что твой огонь горит, подобно которой храмина горит и от того огня сгорает — знаем! В кашле лихом, что ли? Лекарственное снадобье невелико: толки чесноку три головки, клади в горшок, наливай медом пресным, ставь на ночь в печь теплую, покрывай крышкою, дай упреть, дай выпить — поможет! А у кого руки, или нога изломится — вылечит трын-трава, доброго слова не стоит: возьми пива доброго в ковшик, да столько же патоки, положи в горшок, парь гораздо, пока упрет до половины; да на плат намажь того спуска, около излома обвей, не отымай плата три дня и пока заживет перемены. От уроков, от причудов, от змеиноного укушения, от лихого глаза, от недоброго слова, от ветряного нашептання, от вынутого следа, от сожженных волосов, от примигання с левой, сердечной стороны — сыщем сделье, снадобье — Бог поможет, рукой снимет, недуг простится, человек укрепится!»

Говоря все это, с примолвкою благословений, Гудочник смотрел на Шемяку, ощупывал руку его и потом сказал: «Изволь покушать на здоровье, а как покушаешь, выкушай благословясь, вот это снадобье».

Он вынул из-за пазухи две стекляночки, смешал что-то жидкое, в серебряной чарке и поставил на стол. «На дне записка!» — шепнул он мимоходом, отступая к двери.

— Князь Димитрий Юрьевич! не введи меня в слово перед Великим князем, — сказал Старков, — исполни, что этот старик велит!

«Хорошо, боярин, хорошо; но мне всего более нужен покой... Прощайте!»

Боярин и Гудочник вышли; пристав остался. Наскоро проглотил кое-что из кушанья Шемяка и готов было гнать пристава, чтобы поскорее ухватиться за чарку, оставленную Гудочником. Вот и неповоротливый пристав удалился. Шемяка схватил чарку, выплеснул что в ней было: на дне лежал золотой перстень князя Заозерского, с его именем; к нему была привязана записка:

«Ободришь, утишь нетерпение, верь, что мы не дремлем».

Первая радость, с того дня, как Шемяка был захвачен, оживила теперь его душу! Он успокоился; мечты веселые уладили его; он уснул, и сны счастливые представили ему Кубену, Заозерье, Софию, клики ратные, стук мечей, ржание коней, звук трубный... Он еще не знал, что будет, на что он решится, но уже радовался.

Назавтра, Гудочник явился к нему вечером, один. «Веришь ли мне, князь, после того, кого ты видел и что получил?» — спросил он.

— Верю, верю старик! Скажи, что мне теперь делать? Скоро ли свобода моя?

«От тебя нужно согласие; тебе потребны твердость духа, бодрость, отвага. Мы должны поспешить исполнением: время дорого, драгоценные часы могут пролететь безвозвратно. К несчастью, твой брат, кроме дикой храбрости, не имеет никаких других достоинств княжеских. Если бы он слушался советов, если бы временил немного, пока ты взовьешься соколом из своего заточения, то победа была бы вдвое вернее. Но я трепещу, что он опрометью бросится на московское войско один и — погибнет! Тогда тебе одному трудно будет бороться с Москвою. Души людские расклеились; Москва страшит всех своею властью. Одна надежда на Новгород, и — ни на кого более!»

— Итак, брат мой уже сходится с Москвою?

«Да, рать московская сильно гонится за ним. Он отступил в Устюжские леса. Рать московская движается туда, а с нею и другие многие князья».

— Меня нет там!

«Князь! решаешься ли ты на *последнюю борьбу* с Москвою? Уверился ли ты, что между тобою и Василием мира нет и быть не может? Если будешь ты на свободе, не станешь ли опять доканчивать с Москвою чем-

нибудь другим, кроме меча и дубины? Твердо ли надеешься на крепость души и руки?»

— Победить, или пасть!

«А если твои родные, Заозерский, юный брат твой Димитрий, не согласятся с тобою — муж ли ты?»

— Они видели последнее усилие мое к миру с Москвою — совесть моя спокойна — они не запротиворечат моей совести...

«А если, жертвуя всем за твое спасение, брат твой уже присоединил войска свои к Василию, если князь Заозерский мирится, ладится с ним, уступает ему все, дает ему обещания за тебя и за себя?»

Шемяка ходил скорыми шагами по темнице: «Отвори мне дверь тюрьмы моей, и я клянусь тебе...»

— Не клянись, князь! не клянись! Еще одно слово: если хочешь, чтобы Новгород пристал к тебе, если хочешь, чтобы я положил свою голову, спасая тебя, посвятил тебе всю кровь, всю жизнь мою — обещай мне, обещай... — Гудочник упал на колена перед Шемякою, — когда Бог пособит тебе одолеть Москву — возратить потомкам суздальского князя их наследие, несправедливо отнято гордым, бесчеловечным дядею твоим Василием Димитриевичем сорок лет тому назад... Обещай мне!

«Старик! что ты говоришь: в тюрьме думать о будущем, когда мой грядущий час мне ненадежен?»

— Обещай возратить все, чем владел прадед твой по матери, мудрый Константин, и что отнял у детей его несправедливый Василий Димитриевич, хищник дедовского наследия! Если ты не в силах будешь этого исполнить — ты ни к чему не обязываешься...

«Изъясни мне...»

— Ты не обещаешь, и я не слуга твой! Знай, что Заозерский и София твоя в страшной опасности: они в Угличе, но московская рать идет на Углич, и мир тем более невозможен, что твоя дружина, узнав о твоём бедствии, присоединилась к твоему брату. Часть дружин твоих хочет крепко защищать Углич; но может ли? Гибель храбрым, и в смятении битвы и разорения погибнет и София твоя и Заозерский, которого не выпускают из Углича. В Кубену пошла особая рать Василия...

«О моя дружина! О мои храбрые люди! узнаю вас! Если бы я был с вами!»

— Ты испытал уже душу Василия. Если Углич возьмут, если брат твой в то же время погибнет, что ожи-

дает тебя и Заозерского? Ты в тюрьме — лобное место, скрытый яд, вечное заточение...

«Полно, старик, полно!»

— Но у нас все готово к твоему побегу. Никто не знал, куда увезли тебя — я сообщил эту тайну твоим, и Шелешпанский, презирая запрещение своего князя, приехал скрытно сюда. Мы сыщем случай и прямо помчимся к брату твоему. Ужас обнимет Василия, когда он о тебе услышит; Новгород готов идти за потомков Константина. Он будет с тобою!

«Я обещаю, клянусь тебе все исполнить...»

— Не клянись, князь! — воскликнул Гудочник, — клятва дело страшное! Не связывай души, если не можешь развязать ее потом! Только дай слово твое!

«Вот оно!» — Шемяка протянул руку. Почтительно пожал ее Гудочник и поцеловал.

— Теперь я головою расшибу дверь тюрьмы твоей, или расшибу голову мою об эту дверь, — сказал он, едва удерживая слезы. — Прости, князь, бодрствуй, не унывай! Спаси тебя, Господи!

«Когда же, старик, когда?»

— Молись и уповай! Стены толсты, стража неусыпна и многочисленна, город наполнен воинами; но сильная воля человека чего не преодолет и не сделает! Предупреждаю тебя вперед, что ты должен терпеть еще несколько дней — не знаю — может быть, завтра — может быть, еще неделю должен ты ждать. Более не увидишь ты меня, до тех пор, пока не ударит час воли Божией и твоей свободы! Тогда помолись с верою и — иди, или на честь и славу, или на верную смерть... Да, то или другое — я не хочу скрывать от тебя ничего. Побег твой сопряжен со страшными опасностями.

«Лучше смерть, нежели истомы, горшая смерти! Но еще *неделю*... когда ты сам говоришь, что *часы* дороги!»

— Обернись же птичкою и полетай, если можешь! Будто не желал бы я вырвать тебя, хоть в сие самое мгновение? Ох! Князь Димитрий Юрьевич! Тебе только мщение, тебе только слава, а мне, мне... и в гробе не успокоюсь я, если не выполню мести моей над родом Василия — и царствие Божие затворится мне, хотя бы гору принес я добрых дел с собою за могилу! Неужели, думаешь ты, тебе только радея, мыслю я о твоём освобождении?

«Старик! скажи мне: кто ты?»

— Грешник Иван, по прозванию Гудочник. Я уже сказывал тебе об этом.

«Нет! изъясни мне тайну твоих дел. Отчего ненависть твоя к роду моего дяди? Отчего требуешь ты только одной платы — *восстановления Суздаля?*»

Гудочник колебался: «Мне некогда и не нужно изъяснять тебе. Знай одно: я суздалец, я видел падение моей отчизны, видел смерть моего государя, природного, доброго, сильного, Богом мне данного, и — страшная клятва облегла душу мою: положить свою голову, или воротить славу Суздаля, честь дому мудрого Константина, наследие потомству его! Этой клятвы никто не снимет с меня: я дал ее при живоносном гробе Господа Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа!»

Глаза Гудочника сверкнули огнем сильного чувства; вид его был одушевлен чем-то необыкновенным. Всегда немного сгорбленный от старости, или тяжести жизни, он выпрямился теперь и казалось, что с него свалились десятки годов.

«Князь Димитрий Юрьевич! взяв с тебя слово, я не только не стану щадить себя, освобождая тебя из темничного мрака, я стану сражаться рядом с тобою, и ты увидишь, отучилась ли эта рука махать секирою в кровавом бою! В тебе одном теперь все мое спасение, здесь и за могилою. Кроме тебя, нет князя, на которого мог бы я возложить свою надежду — избесчеловечились люди, щедушны стали князья, и — горе Рязани, Твери! Не долго еще гордиться князьям их на своих столах княжеских: как море-окиян, Москва глотает и поглотит их... Прощай!»

Столько разнообразных мыслей, столько различных дум наполнили душу Шемяки, что он, в совершенном недоумении, склонился на одр свой, и долго безразличные, неопределенные мечтания летали перед ним, и благодетельный сон не хотел запечатлеть их своим спокойствием. Так смерть медлит успокоить человека, взволнованного, отяжелевшего бурями и волнением страстей насытых и жизни тяжелой...

Глава V

*Опять на бой, опять на битву —
Но слава где?..*

——

Прошел день, прошел другой, прошел третий: не являлся Гудочник, никого не видел Шемяка, кроме пристава, приносившего ему обед

и ужин. Целый мир волновался вне стен его тюрьмы, а в ней, как в гробу, Шемяка был один, и мрачно, тихо, безмолвно было в ней все, как в могиле. Только звон колокола, благовестивший время утренней и вечерней молитвы, достигал в нее, и слышался говор галок, стадами летавших вокруг вышек Кремля и криком своим вызывавших снежные тучи.

«Зачем являлся ко мне этот проклятый человек? — говорил иногда Шемяка. — Зачем растравил он сердце мое своими зловещими словами? Зачем возбудил он уснувшую мою душу? Я лучше бы оставался в моем прежнем забытии, неведении, во тьме души, похожей на смертный сон — но, по крайней мере, я был тогда спокоен. Что я говорю!»

Но более недели еще протекло в совершенном безмолвии, тяжелой безвестности.... Шемяка думал, что он начинает безуметь — у него пропал сон; он почти ничего не мог ни есть, ни пить. Иногда казалось ему, что вся тюрьма его ходит кругом — он схватывался тогда за свою голову, чувствуя, что она болит тяжело, и готов был удариться о стену, или броситься на пристава, убить его и погибнуть, сражаясь с тюремною стражей. Состояние его становилось непереносимо.

Но в одну ночь, проведенную, как другие, почти без сна, едва начинал белеть день на небе, шум и голоса в передней комнате встревожили Шемяку. Лежа в полузабытии, он не знал еще, во сне или наяву слышится ему все это. Запор темничный упал; дверь темницы настежь растворилась; множество вооруженных людей стояло в передней и несколько человек бросилось в тюрьму Шемяки. Он не подымался со своего ложа и ни о чем не думал, даже о том, что, может быть, настал последний, решительный час его.

Первый человек, вбежавший в тюрьму, упал на колени перед ложем Шемяки, схватил руку князя, поцеловал ее и воскликнул: «Благодарю Господа Бога, что еще привел Он мне видеть тебя, князь Димитрий Юрьевич!»

Шемяка приподнялся и при свете огня, принесенного в темницу, быстро взглядывался в говорившего сии слова: это был Чарторыйский!

«Друг, товарищ!» — «Добрый князь!» Они обнялись крепко. — «Не сон ли это?»

— Нет! ты свободен! Мы опять с тобою!

«Свободен?» — Шемяка почувствовал новую жизнь и бодро стал на ноги.

— Князь Великий отдает тебе поклон, любимому брату своему, младшему; молит тебя забыть все, что лихого ни было и возвращает тебе княжеский меч твой,— говорил Старков, преклоняясь почтительно и поднося Шемяке его меч.

Шемяка схватил меч; несколько мгновений, молча, держал его в руках, поцеловал и воскликнул: «Отныне мы с тобой не расстанемся, друг сердечный!» Он спешил потом выйти из тюрьмы, ничего не спрашивая и не отвечая на слова Старкова; все расступились перед ним; Старков спешил вперед, отворяя двери; Чарторийский и воины следовали за ними.

Богато убранные кони ожидали их при выходе из башни. Старков просил Шемяку следовать в княжеский дворец. Все еще не расспрашивал ни о чем Шемяка и только жадно вдыхал в себя вольный воздух.

Спутники, захваченные с Шемякою, ожидали его при воротах дворца и радостный крик их приветствовал князя; он соскочил с коня и обнимал последнего своего конюха, как равного, как друга.

Во дворце ожидало его объяснение столь неожиданной, столь внезапной свободы. Тут находились знаменитые послы Великого князя: молодые князья Тарусский и Стародубский и несколько бояр Заозерского.

Приветствия и поклоны, дружеское объятие бояр Заозерского, поздравления — все это следовало так быстро, что Шемяка не успевал опомниться; ему даже некогда еще было обрадоваться. Вопросы и ответы взаимные летели при том один за другими. Он узнал, что князь Заозерский находится в Москве, и вот что писал он к Шемяке:

«Последнее несчастье наше произошло от твоей поспешности: Великий князь мог предполагать какой-нибудь злой умысел, видя тебя едущего в Москву, когда в то же время брат твой подымался на него новою усобицею. Простим это подозрение, ибо сам Великий князь тужит теперь о своем поступке и желает загладить его перед тобою. Несмотря на то, что брат твой нейдет на мир и что дружина твоя, угличская, присоединилась к нему, Великий князь не хочет войны, не мстит даже и за то, что Василий Юрьевич взял Устюг на щит, причем был убит любимый воевода великокняжеский, князь Глеб Оболенский, и брат твой свирепствовал зверообразно в Устюге, укрепился там на бой и грозно ждет на себя войско великокняжеское. Великий князь кается во всем, просит тебя простить его во всех прегрешениях

и готов учинить съезд, для dokonчания с тобою и с братом, в Угличе, или где ты сам назначишь. Между тем, как доказательство дружбы и полной доверенности, он отдает тебе начальство над дружинами, собранными у Тулы. Ты не ведаешь еще о неслыханном диве, совершившемся в последнее время: бывший сильный хан Большой орды, Улу-Махмет, некогда решавший судьбу Великого князя и родителя твоего, изгнан из Орды племянником своим Кичимом-ханом и теперь прибежал в Русь со своими дружинами. Он занял Белев и укрепился в нем. Иди, изгони врага Руси и всего христианства и потом спеши к нам. Я нахожусь в Москве и не знаю, как рассказать тебе о дружественной ласке и великом чествовании, какое мне здесь оказывают. Завтра выезжаю я в Углич, где ждет тебя твоя невеста. Поплакала она; но теперь плакать будет от радости и желания видеть тебя скорее».

— Чего же медлить? — воскликнул Шемяка. — Послы московские! беда учит уму, смиряет гордость! И кто долго спал на ложе печали и вражды, тот немедля перележет на ложе радости и мира, хотя бы оно и не совсем мягко было. Бог судья брату Василию Васильевичу: худо заплатил он мне за доверенность и дружество, но все забываю, не присоединяюсь к крамольному брату моему, прикажу и дружине моей отстать от него, немедленно иду развеять нового врага Руси православной. Об остальном, обо всем, переговорим после, за чашей дружеского меду! Велите изготавиться к поспешному отправлению под Тулу.

Остаток ночи и следующий день, до самого вечера, употреблены были Шемякою на расспросы, разговоры, отправление грамот к Василию Косому, к Заозерскому, к Великому князю. С восторгом слушал Шемяка известие о том, с какою жестокою горестью услышала София о заключении его; порадовался, что это оскорбило всех русских князей, и что все они заступались перед Великим князем за Шемяку; доверчиво, как дитя, предался он после сего думе о счастливом будущем времени, надеясь, что брат его конечно послушается разумного совета, прекратит междоусобицу, когда при том Великий князь согласен на все уступки. Итак — впереди мир, тишина, счастье...

— Но что вздумалось Гудочнику пугать меня небывалыми вестями и представлять мне все дела в таком темном виде? К чему думал он завести новую крамо-

лу? — Эта мысль вдруг мелькнула в голове Шемяки. — И что значил приезд Шелешпанского в Коломну? — подумал он еще.

— Где теперь ваш Шелешпанский? — спросил Шемяка у бояр Заозерского.

«Никто не ведает, что с ним сделалось, — отвечали бояре. — Он пропал куда-то из Углича и это сильно опечалило нашего князя. Его нет ни в Москве, ни в Заозерьи».

— Что не вижу я здесь старика, знахаря и целбника, которого приводил ты ко мне, боярин Старков? — спросил у него Шемяка.

«Может быть тебе неизвестно, князь, кто этот старик: это Гудочник, известный по Москве своими сказками и песнями. Юродивый он не юродивый, а Бог весть что: одни говорят Божий человек, другие бесов сын. Он был на это время в Коломне, но потом пропал, неизвестно куда; вероятно, ушел на богомолье, или опять уплелся в Москву — настоящий воевода новгородский: никому отчета не дает».

— Неужели он думал морочить меня? И что значили его рассказы о себе самом и о Суздале? — подумал Шемяка.

В ночь поскакал он к дружинам, собранным близ Тулы.

Его изумили однако ж рассказы и вести по дороге. Отвсюду слышны были горькие жалобы и упреки, усиливавшиеся по мере приближения его к Туле. Жители всюду сказывали, что дружины шли, как шайки разбойников и злых врагов — отнимали, грабили, бесчинствовали, даже запалили несколько деревень.

Загадка таких горестных беспорядков пояснилась, когда Шемяка увидел дружины, отданные под его начальство. Это не было стройное воинство, но сбор бродяг и поселян, худо вооруженных, согнанных и высланных наскоро. Ни одного опытного воеводы, каковы: Басенок, князь Баба-Друцкий, или Ряполовские, не находилось при войске. Бояре, к войску приданные, были народ самый ничтожный, и выше всех подымал голову молодой Андрей Федорович Голтяев, родня по бабушке Великому князю. Тарусский и Стародубский князья едва ли не в первый раз являлись на поле битвы. Войско рассыпано было без порядка, кочевало в Туле и окрестных селениях и только гуляло, пьянствовало и буянило.

Шемяка узнал, что Улу-Махмет с немногими, но старыми и опытными дружинами, не оставял Белева

и ждал, чем решится участь его, готовый на битву и на мир. Послов его не допустили в Москву, и тщетно старался Шемяка узнать: какое намерение положил о Махмете Великий князь? Также не постигал он, почему Великий Князь удерживал лучшую дружину свою по ту сторону Москвы, если он не думал воевать с Косым, как уверял его в этом Заозерский?

Грозно повелел Шемяка свести немедленно воедино все буйные толпы и двинуть их самым поспешным походом к Белеву. Дружины повиновались неохотно, нестройно: шли не шли, ехали не ехали. Шемяка сам явился к ним, велел заковать в оковы несколько дерзких своевольщиков; другие не посмели более противиться.

Близ Белева, сомкнув все дружины, Шемяка созвал первый военный совет. В то же время явились послы хана. Страшный шум и смятение были в совете. Толпа молодых вождей и князей слышать не хотела о переговорах. «Бог предает в руки наши старого, злого врага Руси православной, хана, некогда столь сильного и страшного. Нет ему мира! И какой мир с ним? Какое соединение чистому с нечистым?»

— Судьба битвы в руке Божией,— говорил Шемяка,— не гордитесь, бояре и князья, вспомните, что с Махметом немногие, но лучшие дружины, готовые на смерть. Я не отступлю в бою; но худой мир лучше доброй битвы. Если можно спасти от гибели хоть одну душу христианскую, она ляжет тяжко на душу того, кто мог и не хотел спасти ее...

«Не хвалюсь ведением тайной думы Великого князя,— горделиво говорил Голтыев,— но если бы он хотел переговоров, то зачем посылать ему войско против хана? У воина один переговорщик — меч!»

Шемяка настоял однако ж на принятии послов ханских. Их ввели в собрание князей и воевод.

Переходчиво счастье человеческое и переменчиво время. Старый, седовласый Улан царевич, посадивший на великокняжеский престол Василия, после спора его перед Махметом с дядею Юрием, смиренно престал теперь перед собранием. Он окинул глазами всех и хладнокровно начал говорить:

«Никого из вас не вижу здесь такого, кто был бы прежде свидетелем великие чести и славы моего государя, хана Большой и Золотой Орды и царя русского. Но еще живы подобные свидетели в Руси вашей, и Великий князь ваш моею рукою посажен на его великокняжеский престол. Твоему родителю, князь Димит-

рий Юрьевич, приказывал некогда Махмет, как рабу своему, теперь — тебе вручена судьба великого хана...

Велик Бог! Нет Бога, кроме Бога!

Поколения преходят, слава изменяется, добро неизменно, и — велик Бог!

И сим-то неизменным добром горд и славен наш великий хан Махмет. Горе человеку, если только в славе и счастии он велик и грозен, а бедствие уничижает его и малит!

Скажите мне: не всегда ли доброхостствовал и радел вам Великий хан Махмет? Не судил ли он право суды между вашими князьями? Обременял ли он вас податьми и пошлинами?

Если вы не видали его сами в величии и славе, спросите стариков ваших, спросите вашего Великого князя.

Нынё, вероломный племянник возмутил Орды, изгнал великого Махмета. И удалился великий Махмет к друзьям своим, русским князьям.

Горе забывающему благодетеля! Прощает Великий хан, что не с почестью встретили вы его; не оскорбляется тем, что не дружески приветили вы его, но загородили ему дорогу войском, как будто врагу.

Он ничего не требует от вас, обещает прожить мирно; и только до весны, до красных дней, дайте ему покочевать в бедной земле вашей и пропитать свою дружину. Тогда он сам оставит вашу сторону и пойдёт, или в злчные степи приволжские решать судьбу саблями, в бою с племянником, или удалится в глубину лесов камских, и там создаст себе новое царство, поставит свой ханский казан и сзовет к себе власть и силу.

Если не согласитесь, если хотите сражаться, если неблагодарностью оскорбите великого хана — велик Бог, и крепка еще сабля правоверных. — Испытайте! у нас достанет еще силы наказать вас!»

— Гордый посол изгнанника! две головы разве принес ты к нам? — воскликнул Голтяев, вскакивая со своего места. — Так ли просят милостыни?

«Милостыни? — вскричал Улан, и рука его опустилась на рукоять кинжала. — Прощаю безумие за юность твою», — промолвил он, подумав.

— Если гостем приехал к нам хан твой, — вскричал боярин Собакин, — пусть едет в Москву один, бить челом Великому князю. Но гостем с дружинами не приходят. Пусть распустит, разгонит он свою сволочь; для нее нет у нас хлеба.

«Бедна же ваша земля, как беден ваш ум, если для канских друзей нет у вас хлеба, и если вы не видите, что вам не отогнать дружин от хана, пока есть у них в руках мечи».

— Не учиться нам бить ваше темное царство и гонять вас бичами из русских областей! — вскричал Собакин; громкий хохот раздался в собрании.

«Кажется,— сказал Улан,— кажется, я тебя знаю: ты Собакин, который держал стремя мое, когда я садил на престол твоего князя? Не ошиблись в имени твоём: настоящая ты собака, лаешь на владыку!»

— Сам ты собака, татарин проклятый, свиное ухо! — воскликнул Собакин, слыша, что все хохочут от слов Улана.

«А! такая обида нестерпима! — воскликнул Улан. — Отдайте его мне головою — без того я не пойду отсюда!»

Смятенный шум раздался в собрании. Жизнь Улана была в опасности. Крик: «На битву, на битву! Прочь татарина!» — зашумел повсюду.

Оскорбленный дерзостью и безрассудностью князей и бояр, Шемяка старался утишить смятение. Ему стыдно было видеть неустрашимое мужество и величавость Улана, угрюмого, седого старика, и в противоположность тому буйство и мятеж своих товарищей.

Когда шум утих от грозных речей Шемяки, Улан усмехнулся и сказал: «Так ты, стало быть, князь, главный здесь воевода? Жалею о тебе: видно, что ты еще не привык повелевать — поучись. Я требую выдачи Собакина: хочу иметь удовольствие простить его за дерзкие речи!»

Тогда снова смятенный шум взволновал всех; уговорить было уже невозможно. Шемяка едва мог только спасти Улана от мечей и отправить его безопасно к хану.

— Мне ли должны вы повиноваться? — говорил он князьям и воеводам, — или я для того только здесь, чтобы видеть ваше буйство и срамиться перед татаринком?

«Веди нас в бой, веди на Махмета, — кричало несколько голосов, — и мы повинемся тебе!»

— Никто не смей приказывать мне: я запрещаю бой и кончу миром! — отвечал Шемяка.

«Похлопочи за себя о мире у Великого князя, если еще не проучила тебя Коломна!» — вскричал в запальчивости Голтяев.

— Дерзкий мальчишка! — воскликнул Шемяка, — я проучу тебя! Отдай меч свой и жди моего суда!

«Возьми, если можешь!» — отвечал Голтыев с прежнею запальчивостию.

— Мы не выдадим Юрьеву роду родственника Великого князя! — вскричали все.

Шемяка хотел отвечать, как внезапно прибежали к нему с известием, что между татарами и русскими началась уже битва.

— Кто дерзнул? — воскликнул Шемяка.

«Князя Стародубский и Тарусский напали на отряд татар, возвращавшийся в город с запасами, собранными в окрестности. В жестокой схватке Стародубский был убит; другие обратились в бегство; к ним кинулись на помощь...»

— К оружию, к оружию! — загремели все. — Не дадим басурманам ругаться над Русью! — В беспорядке князя и воеводы выбежали из совета. Увлеченный другими, Шемяка не мог противиться, потому что бой загорелся вдруг в двадцати местах, отдельными отрядами. Он едва мог привести его хотя в малый порядок.

Ожесточение сделалось ужасное. Татары бились на смерть. Сам зять ханский, ужасный силач, выскакал из города, с отборными наездниками. Воевода Семен Волынec, потомок славного Воынца, сподвижника Донского на Куликовом поле, сохранивший от предка своего только силу, ринулся с охотниками и схватился с зятем ханским. Только искры сыпались от мечей их, и в один раз зять ханский пал с разрубленным шоломом, а кольчуга Воынца не защитила его тела и он, раздвоенный страшным ударом, свалился с лошади.

Падение ханского зятя навело ужас на татар; они бросились бежать в город, и с диким воплем пустились за ними русские. Шемяка видел опасность, ибо Улан выступал в это время из засады, но остановить было невозможно: небольшой отряд русских врезался в самый город; другие дрогнули и побежали обратно. Темнота разлучила сражающихся; все были в смятении, беспорядке; воеводы, бояре, князя, воины бросились отдыхать, кто где мог; нельзя было сообразить ни дружин, ни отрядов.

Обезопасив несколько русский табор, Шемяка отправил от себя двух бояр переговорить с ханом, и тем хотел он остановить дальнейшее кровопролитие; другим военачальникам велел собраться к себе ранним утром

на совет и измученный, утомленный, оскорбленный всем, что было в этот день, вошел он в свое убежище.

Высокого роста человек, с ног до головы вооруженный, встал при его приходе.

«Здравия князю Димитрию Юрьевичу!» — сказал незнакомец. — Шемяка отступил с удивлением: это был Гудочник.

— Князь Димитрий Юрьевич, — сказал один из двух воевод, следовавших в это время за ним, — вели схватить этого человека: это соглядатай. Мы видели, как он вчера крался из Белева в наш стан, и гнались за ним; но он успел скрыться в лесу тайною тропинкою.

«Я его хорошо знаю, — отвечал угрюмо Шемяка. — Оставьте меня с ним одного».

Воеводы недоверчиво обменялись взорами и немедленно вышли.

— Вели схватить их и задержать, — сказал Гудочник.

«Для чего?» — спросил Шемяка.

— Разве не понимаешь ты, что они немедленно побегут и возмутят других своим известием? Разве не видишь ты, какое воеводство вручил тебе Василий? Неужели не чувствуешь ты своего бесславия, своей погибели, и того, что завтра, может быть, скуют тебя и повезут, как изменника, в Москву?

«Вестник злосчастия! опять явился ты с окаянными твоими речами!» — вскричал в негодовании Шемяка.

— Да, опять, опять — пришел укорить тебя в малодушии, доверчивости, непростительной отроку, не только взрослому князю, укорить в забвении обета, какой дал ты мне в тюрьме своей!

«Дерзкий крамольник! страшишь гнева моего!»

— Ничего не утрашусь: я пришел к тебе сказать последние вести, и если ты не пробудишься от них, делай, что хочешь! Знай, что ты обманут, оболган, проведен. Между тем, как смеялись над твоим воеводством, и дали тебе пьяную толпу сторожить безопасность Москвы от хана, который и не думал воевать с Москвою, а рад будет, если его трогать не станут, — Великий князь усиленно напал на Углич твой, взял его, и твоя невеста, и легковверный отец ее, слабый старик, теперь находятся в плену московском, а верная дружина твоя легла костями на добычу вранам и волкам...

«Клевета!»

— Клевета? Трепещи и слушай далее: в сильном бою, в то время, когда грабили твой Углич, Василий Юрьевич, брат твой, был разбит и схвачен; на другой

день ему вырезали глаза, по велению Великого князя, и послали его в заточение, в дальний монастырь.

«Лжешь, проклятый человек! — в бешенстве воскликнул Шемяка, схватывая за горло Гудочника. Рука его дрожала; Гудочник легко отвел ее своею рукою.

— Дослушай князь и не горячись: услыша такую весть, меньшой брат твой, Димитрий, упал без чувств, и жестокая горячка привела его на край гроба — ему не вставать более, и — слава Богу, хоть не услышит он о твоём позоре!»

Трепеща склонился Шемяка на скамью, близ стоявшую.

«Не услышит, — продолжал Гудочник, — как последнюю отрасль старшего рода Димитрия Донского, тебя, рабствующего Василию, повезут в Москву, на позор и посмешище!

Славно, Василий Васильевич, истинный Великий князь, достойный сын Суздальского хищника!

С незапамятных времен, только один князь русский был лишен очей своих, и то не рукою брата, а рукою врага; но здесь вонзил нож в очи внуку Димитрия Донского другой внук его. Теперь почивай спокойно, Великий князь, в крепком своем Кремле! Один из врагов твоих плачет кровью, вместо слез, другой умирает, третьего скоро приведут тебе на потеху!»

Тихо поведя рукою, Шемяка спросил прерывающимся голосом: «Чем утвердишь ты мне слова твои? Вестник неслыханного злодейства! я не верю тебе: не может совершиться вероломство, столь страшное, преступление, столь черное! Содрогнулась бы земля, загорелось бы небо, если бы только мысль о чем-нибудь подобном родилась в душе человека! Вот письмо Заозерского — мог ли писать его он, если бы хоть что-нибудь было правдою в твоих речах!»

Гудочник взглянул на письмо: «Оно писано за две недели из Москвы, когда князя Заозерского кормили в Москве и отпустили потом в Углич, на убой. Кто поручится за то, что может сделаться на другой день? Вы все вероломно обмануты Василием».

— Но, для чего же он выпустил меня из тюрьмы, дал мне дружины и воеводство над ними?

«Ты безопаснее для него здесь, нежели в тюрьме. Если умысел спасти тебя был открыт; если притом Василий мог оправдать себя в вероломном захвачении твоём, осудив тебя потом, как изменника, сообщника татарского?»

— Ты лжешь: когда такое дело требовало оправдания? Мог ли Василий решиться на преступление неслыханное?

«Малое зло требует оправдания, но в великом оправдываться не станут. И тогда стоял еще крепко твой Углич, грозил еще брат твой — и вот Заозерского улестили, уласкали, улелеяли: ты всем казался страдальцем — теперь ты появишься, как злодей и предатель отчизны татарину. Битва не дала тебе победы; знаю, как сражался ты; но что мог ты против отборных войск татарских, с твоею пьяною толпою? Ты все еще не веришь мне и — не верь! Хорошо! Дождись, пока придут к тебе и наложат на тебя колодку?»

Тогда слезы потекли из глаз Шемяки; он склонил голову, закрыл ее руками и зарыдал громко.

— О милые братья мои! Василий — львиная храбрость, товарищ опасностей, неродной сердцем, родной кровью отцовскою, меч булатный в бою, копье неизменное, рука сильная в битве! О Димитрий, душа ангельская, младенец сердцем, праведник небесный, утеха отцовская, райский цвет в мире грешном и суетном! О моя дружина удалая, товарищи, на мечах вскормленные, разгульные, веселые, крепкие!»

Гудочник стоял, сложа руки, и молчал. Поспешно вошел к ним Чарторийский.

«Князь Димитрий Юрьевич, — сказал он, — я едва поднялся с одра и пришел известить тебя о грозящей беде». Чарторийский был бледен; правая рука его была подвязана; в пылу битвы он был жестоко ранен и замертво унесен с поля сражения.

— Какая еще беда? — спросил Шемяка, не вставая со своего места.

«В ставке Голтыева собрались все московские воеводы; они говорят, что ты сносишься тайно с ханом, что ты изменяешь и передаешь татарам войско московское, что у тебя видели лазутчика ханского. Хотят схватить тебя, и один верный боярин рязанский известил меня об этом!»

— Что же? Пусть придут, — хладнокровно отвечал Шемяка.

«Ты погибнешь, князь мой! Ты здесь одинок, никто за тебя не заступится — я даже не могу держать меча...»

— Живой не отдамся я им в руки — в этом уверяю тебя, а жить так, как живу я — горше смерти и хуже быть не может!

«Нет! может,— сказал Гудочник,— может: есть цепи, кандалы, есть тюрьмы, есть ножи вырезать очи; есть невесты, которых можно отнимать и отдавать за рабов, когда женихи будут в то же время истекать кровью и плакать не слезами, а ядом палящим».

— Смерть и проклятие! — воскликнул Шемяка. — Что же мне делать? Дай мне Василия, дай: я растерзаю его своими руками, напьюсь его кровью, выточу из костей его зернь и потом кину жребий, что ожидает меня за все это на том свете!

«Ты ожил, наконец,— сказал Гудочник,— ожил. Пойдем же, спешу, не медли; я проведу тебя сквозь мечи и копья вражеские, сыщу тебе дружины, сыщу мстителей, уведу тебя в вольную землю новгородскую, убежище изгнанных, бедствующих князей! Повесть о злодействах Василия, о гибели рода твоего, вознесет мечи и копья вольного народа. Если Василий не дал тебе отпировать свадебного пира, то задай ему пир кровавый, напои смертным вином убийцу братьев твоих!»

— Веди меня, веди скорее, скорее!

«Дай сперва задать потеху московской сволочи! Пойдем, вели седлать коней!»

Не понимая сам, что делается, Шемяка кликнул конящих своих. «Скорее седлать коней!» — сказал он.

— Они уже оседланы, и мы продрогли, дожидаясь, что ты повелишь.

«Кто приказал вам?»

— Я,— сказал Чарторийский,— боясь следствий того, о чем я говорил тебе.

Шемяка крепко пожал ему руку.

«Князь Димитрий Юрьевич! — вскричал Сабуров, вбегая испуганный,— дело плохое: в войске началось сильное волнение: крамола воевод усиливается; слышны клики буйные против тебя».

— Я пойду к ним, обличу их, обличу их вероломного князя!

«Князь! помысли, опомнись: что ты замышляешь? — сказал Гудочник.— Надобно спастись, и не здесь место оправдывать себя, но там, там, на новгородском вече, с булатными доводами правоты твоей!»

— Князь! спасайся, если только есть средство! — сказал Чарторийский,— оставь нас в жертву врагов твоих!

«Вас оставить — последних друзей моих? Никогда, никогда!»

— Мы найдем средства спастись все, не боясь ни крамол, ни мечей,—сказал Гудочник.— Недалеко отсюда ждут нас подводы, и мы будем далеко, прежде нежели опомнятся москвичи от гостинца нашего. Поспешим!

Гудочник пошел; все следовали за ним, поспешно сели на коней и тихо поехали из небольшого селения, где был главный притон московских воевод. Видно было повсюду большое волнение; огни мелькали по домам; воины ездили взад и вперед; большой костер огня разложен был за селением. Тихо проехали беглецы мимо толпы воинов, собравшихся в беспорядке подле костра. «Вслушайся в клики их»,—говорил Гудочник Шемяке. В шуме и безобразных воплях, слышны были громкие восклицания: «Смерть Юрьеву отродью! Чего мешкать! Смерть изменникам московского Великого князя! Не станем терпеть ханских друзей!»

— Теперь пора попотчевать друзей твоих! — сказал Гудочник.— Поедем скорее! — Отъехав к лесу, недалеко от селения, Гудочник затрубил в звонкий рожок. Звук далеко отдался в лесу и звонко повторены были другим и третьим рожками. Не прошло несколько мгновений, как в стороне к Белеву засветился огонь, и пожар опламенил небосклон.

«Ты предаешь соотичей в руки врагов!» — вскричал с негодованием Шемяка.

— Нет! спасаю их. Через час, не более, тайная засада обошла бы их сзади, и они погибли бы все, в тишине сна и ночи, под саблею басурманской. Князь Чарторыйский! можешь ли держаться на коне?

«Могу, если надобно спасать жизнь».

— Итак, благослови, Господи! Мы должны проехать здесь, прямо через лес, по тропинке, и выехать на Рязанскую дорогу. Пока опомнятся наши друзья, пока управятся они с пожаром, а потом с татарами, мы будем уже далеко.

Ни радости, ни печали, ни гнева не изъяснял Шемяка. В каком-то бесчувствии следовал он за Гудочником, бодро ехавшим впереди. Скоро пробрались они через лес, на Рязанскую дорогу. Зарево усиливалось вдаль. Несколько троек лихих лошадей, с саними, стояло на дороге. «Мы спасены!» — сказал Гудочник.— «Кто идет?» — раздались голоса провожатых, находившихся близ саней.— «Свои»,—отвечал Гудочник— и старик, князь Шелешпанский, со слезами, бросился обнимать Шемяку.

Глава VI

Где есть мирское пристрастие? Где есть временных мечтание? Где есть золото и серебро? Где есть рабов множество и молва? Вся персть, вся пепел, вся сень...

Погребальный самогласен

В Рязань, где княжил истари враждебный Москве род Олега, направлен был путь Шемяки и его спутников. Повсюду учинены были предварительно тайные приготовления для проезда беглецов. Не въезжая в самую Рязань, Шемяка остановился в подгородной Красной слободе, и сюда, тайно, выехал к нему на свидание князь Рязанский.

Здесь подробно узнал Шемяка обо всем, что случилось после него под Белевым. Нестройные дружины московские, встревоженные внезапным пожаром, пришли еще в большее расстройство и совершенно смешались; никто не знал даже за что приняться, когда из-за леса гикнули на них татарские скрытные дружины. Ни одна из предохранительных мер, повеленных Шемякою, не была приведена в исполнение: воеводы беспечно находились в совете, где положено было ими взять, сковать Шемяку и отправить в Москву, обвиняя в злых умыслах и сношениях с ханом; воины не думали о неприятеле, спали, гуляли, пьянствовали. Битва однако ж завязалась жестокая, рукопашная; но татары, вышедшие в одно время из-за леса и из города, сломили беспорядочное, хотя и храброе сопротивление русских; все предалось бегству: один татарин гнал десятерых русских воинов, и что не осталось побито на месте, то рассеялось и было захвачено татарами. Много вождей легло в кровавой свалке. О Шемяке никто не знал, где он — на месте битвы его не нашли, в полону его не было, куда скрылся он, не слыхали. Множество сказок разносили обо всем этом по святой Руси. Говорили, что победа басурман была дана Богом за непомерную гордость русскую. Сказывали, будто после первой Белевской битвы к хану посланы были послы и требовали: положить оружие, связать татарам руки назад, хану надеть петлю на голову, и в таком неудобном наряде приказывали всем им идти от Белева до Москвы, бить там челом Великому князю. Хан будто бы уговаривал послов не возноситься гордостью, давал заложников, уверял

в дружбе и обещал сидеть смирно, а весною с поклоном уйти из Руси. Послы ни о чем слышать не хотели. «А сего ли не хотите, озритесь назад!» — сказал тогда хан. Послы оглянулись и увидели воинство русское, никем не гонимое, но опрометью бегущее. Многие в Москве трепетали последствий; много плача и слез было на Руси, по убиенным и погибшим напрасною и бесполезною смертью. Но хан не возгордился, прислал новых послов и объявил Великому князю, что он только *проучил* русских, а не враждует, и продолжал спокойно сидеть в Белеве, дожидаясь весны.

С грустью слушал все сии рассказы Шемяка и с ужасом в то же время узнал подробности событий в Угличе и в Устюге. После разбития и страшной мести Косому, войско московское опустошило огнем и мечом Вятку, Галич, Устюг, мстя за присоединение тамошних областей к Косому. С дымящихся развалин бежали обитатели в окрестные леса. Московская дружина оставила после того северные области; решение Великого князя о сих областях еще не было ведомо. Воинство московское и дружины князей, с ними бывших, отошли к Москве, Владимиру, заняли Углич, Звенигород, Дмитров и двигались отчасти на Тульскую дорогу.

Ни прежняя храбрость, ни прежнее мщение не возбуждались теперь в душе Шемяки. Безмолвно выслушал он страшные рассказы и не изъявил ни гнева, ни скорби. Только услышав о том, что Дмитрий Красный томится на смертном одре, в полусгоревшем Галиче, где остановился он ехавши из своего Бежецка, перед гибельною битвою москвичей с Косым, Шемяка воскликнул: «Еду к нему!» Красный хотел явиться под Устюг, думая быть миротворителем брата и Великого князя; дружины его были уже давно присоединены к московским. Мог ли он противиться Москве? Мог ли знать ненавистный замысел Василия? «И я был сообщником злодейства, неслыханного на святой Руси!» — воскликнул он, когда услышал о страшном ослеплении брата. Душа его не перенесла бедствия и стала проситься из суетного, скорбного мира, туда, куда давно стремились все помыслы кроткого, добродетельного юноши...

Быстро, хотя и дальним объездом, через Муромские, Нижегородские и Костромские области, пробрались Шемяка и его спутники в Галич. Все они были переодеты; никто не узнавал их под именами новгородских купцов. Гудочник назвался их старшиною; все было им предусмотрено; казалось, что он ведает каждый лесок,

каждую деревеньку в этих сторонах. Всюду видны были еще свежие следы пожаров и опустошений, хотя жители, немедленно после ухода московских дружин, толпами выходили на пепелище и, как муравьи, копошились около разоренных обиталищ своих. «Кого люди не досчитываются в живых, о тех Бог промыслитель, а кто жив остался, тот думай о живом», — говорили они и, поплавав над разоренным жильем и на могилах родных, снова принимались строить и ладить свои убежища.

Вечером прибыл Шемяка с спутниками своими в Галич. Трепеща ехал он по опустелым, полуразрушенным улицам, к тому княжескому дому, где некогда жил отец его и где часто в юности своей жывал сам Шемяка с братьями. Тесовые ворота были растворены, народ толпился по двору и на улице, в глубоком безмолвии — погребальные свечи видны были в окнах...

Шемяка спешил на высокое крыльцо — подле дверей стояла крышка с гробовой колоды...

Отчего, предчувствуя, зная, видя гибель неизбежную, слыша, что нет уже никакой надежды, даже находясь подле самого одра умирающего, милого человека, считая уменьшающееся постепенно дыхание его — человек все еще не теряет надежды? Утопающий держится за соломинку; за жизнь милого держишься, пока не прекратятся последние судорожные движения тела, последние звуки жизни не замолкнут в груди...

Шемяка не смел спрашивать у встречавшихся с ним людей о жизни брата; никто не смел сказать ему об его смерти — гробовая крышка все сказала ему без слов; Шемяка все понял одним взглядом...

Он отшатнулся от страшного вестника гибели: «Что: опоздал я? Поздно приехал? Нет уже брата?» — говорил он тем людям, которые почтительно стали по сторонам, попавшись навстречу Шемяке в сенях и узнав его.

— Братец твой приказал тебе долго жить, — отвечал наконец один из предстоявших.

«Давно ли?» — спросил Шемяка, как будто нарочно хотел вдавить глубже в сердце свое горечь, расспрашивая обо всех подробностях.

И почти не слушая ответа, спешил он потом в главную комнату дворца. Там, на столе, покрытом белым холстом, лежал бездыханный труп Димитрия Красного. Комната была наполнена народом. Уже все наплакались вдоволь, и потому все были теперь только в хлопотливом движении, заботясь о разных подробностях погребения; в другой комнате стоял на большом столе

мед, и множество из присутствовавших запивали горе, желая усопшему царствия небесного, а живым доброго здоровья.

Тяжко зарыдал Шемяка и повергся на труп милого брата; долго текли слезы его, и ничего не мог он проговорить. Но слезы отрада, облегчение душе горестной, и выплакав горе свое, свободнее дохнул Шемяка, отер глаза свои и сказал: «Ну, буди воля Господня! Усопшему мир, живым долголетие. Прости и благослови!» Он поцеловал охолодевшие уста брата своего и изумился, тогда только рассмотрев бранные его останки.

Красный лежал, как живой, как спящий. Улыбка не слетала с уст его; легкий румянец не сходил с ланит его; русые кудри его вились по плечам; никаких знаков тления не было видно на его теле. Прекрасен, как цветущий юноша, светел, как праведник, лежал юнейший сын Юрия, любимец отца, райское кадило, мимолетом пронесенное через мир скорбный и суетный!

В головах его, сидел и плакал не осушая глаз, старый пестун его, боярин Петр. Он не говорил ни одного слова; иногда только подымал к образу седую пожелтелую голову свою, и слезящий взор его, как будто спрашивал: «Зачем оставил ты меня в живых, царь небесный? Прими и меня с ним!»

Безответно было провидение. Здесь, в городе полуобгоревшем, среди опустошенной области, боярин Петр, услышав о страшной гибели старшего сына князя своего, видел, как другой притек беспомощным беглецом, оставя невесту и беззащитные волости свои силе врага. А третий — ангел-утешитель его, юный цвет, с колыбели возлелеянный его руками — лежал перед ним бездыханен...

Такова являлась теперь участь семейства сильного князя русского, второго рода, происшедшего от Дмитрия Донского, рода, давно ли цветущего, могущего, обладавшего Великим княжеством, державшего в деснице своей власть московскую и заставлявшего преклоняться перед собою всех других князей русских!

Невольно повторял престарелый Петр слова святой духовной песни: «Где мирское пристрастие? Где мечтания вещей временных? Где богатства? Где толпы рабов и молва славы? Все ничтожно, все прах, все тень на земле!..»

— Ты ли это, старик? Тебя ли я вижу, боярин Петр? — спросил Шемяка, печально садясь на лавку, против тела брата своего.

«Я, родимый»,— отвечал Петр, тихо поднявшись со своего места. Медленно притащился он к Шемяке и поцеловал его руку.

— Садись, старик, станем плакать вместе. Душа моя скупится на слезы. Видишь: глаза мои сухи. Расскажи мне о кончине брата моего; авось твои слова опять размочат глаза мои.

Старик сел подле Шемяки и подробно начал рассказывать, как не хотел было Красный подымать меча на брата, как хотел он примирить Великого князя с братом, как услышав о задержании Шемяки и походе московского отряда к Бежецку, послал он дружины свои присоединиться к Великому князю, и сам спешил ехать к брату — уговаривать его на усмирение.

Почти пуста оставалась комната, где беседовали Шемяка и боярин Петр. Свечи, поставленные на больших подсвечниках вокруг стола, тускло горели; лампадка теплилась перед образами в переднем углу; впереди священник, на налое, читал тихим, однообразным голосом Псалтырь, держа в руке маленькую восковую свечку; выюга била в окошки, и мрак ночи облегал окрестности. Шемяка забыл время, слушая чтение Псалтыри и грустные рассказы престарелого Петра. Горесть сроднила их, связала сердца их. Петр припомнил Шемяке безмрачную юность его и братьев, вспоминал добродетель, непорочное, прекрасное сердце Красного. «Не могу оторваться от моего ненаглядного,— говорил он,— не могу насмотреться на него! Погляди, князь добрый, как светел, как неприкосновен тлению лежит он перед нами! Кажется, что душе его не хочется расставаться с лепым жилищем ее; кажется, что улетев уже из брэнного тела, душа праведника снова воротилась теперь, еще погрустить, посетовать о красном жилище, где так радостно, так приятно гостила она двадцать пять лет; кажется, что она опять одушевила свое тесное обиталище в теле добродетельного юноши, и что ей не хочется улететь даже в райские жилища. Так, идучи на почесть и славу, юный супруг медлит расстаться с милою своею подругою.

— Ему суждено жилище праведных,— говорил Петр,— или я готов согрешить, готов спросить: кому сия, Господи, уготовал, аще сей не внидет в царствие твое? Никогда, ни одна земная страсть не внедрялась в чистую душу его. Он не знал заразы честолюбия и суетного властолюбия; он не ведал и плотской любви. Еще в малолетстве, когда дру-

гие играли и забавлялись, он садился бывало подле меня и говаривал: «Дядька! расскажи-ка мне об Иосифе Прекрасном, об Алексее Человеке Божьем, о богатом и бедном Лазаре»... Я бывало рассказываю, а он слушает и плачет. Но никогда не хотел он надеть монашеской рясы, говоря: спастись хочу в мире, в суете власти и почестей; хочу не бежать от мира, но сражаться с ним!... А кто слаще его певал духовные песни? А кто сердечнее его игрывал псалмы на гусях самозвончатых? О мой Роман-сладкопевец, князь милый! не светить солнцу по-прежнему, не нажить миру другого такого князя! Бывало родитель твой разгневался — взглянешь ты, и гнев его проходит; бывало, я ли, старый хрыч, сгрустну, повешу голову — не отстанет от меня, пока не скажу тебе: золото мое ненаглядное! так сгрустнулось...»

— Старик! посмотри! — сказал Шемяка, внимательно глядевший на тело брата, — посмотри: покров на нем шевелится! — Он схватил за руку Петра. Петр невольно вздрогнул...

Несколько мгновений молчали они и глядели.

«Ничего, князь! — сказал Петр, — тебе померещилось. Ты утомился с дороги; тебе надобно отдохнуть. Подумай о себе: сколько ни плачь, ни горюй, но мертвым покой, живым здравие...»

— Нет! я точно видел, — сказал Шемяка, — видел...

«Ничего, князь, — отвечал Петр, встал, подошел к телу, оправил покров, перекрестился, поцеловал венчик, лежавший на голове Красного. — Тихо почиет в мире, ангел небесный! — сказал он. — Ох! скоро ли то приберет Господь меня!»

Опять сели рядом Шемяка и Петр. Невольно стеснялась грудь Шемяки; ему казалось, будто готовится что-то необычайное. Петр рассказал уже ему все подробности болезни и смерти Красного. Юный князь страдал болью в груди от самого сражения близ Ростова. Смерть родителя, как мы уже видели, усугубила его болезнь; но благотворное время, казалось, облегчило скорбь и грусть его. Уныло, тихо проводил он дни в своем уделе, и снова жестоко начал страдать, услышав о новых смутах между братом и Великим князем. Не щадя жизни, отправился он наконец для примирения брата, когда пришла весть об ослеплении Косого и сразила его. Далее Галича ехать он не был в силах. Здесь предрек он смерть свою, чувствовал, что уже не подниматься ему со смертного одра. Он оглох, не понимал, что

говорили ему; но сам непрерывно молился, спрашивал о братьях, благовейно приобщился святых тайн и утром в день приезда Шемяки умолк навсегда.

Так рассказывал Петр, когда Шемяка снова схватил его за руку.

— Мне не мерещится! — сказал он тихо.

«Господи! что есть сие!» — прошептал с трепетом Петр.

Покров шевелился; губы мертвеца двигались; он силится, казалось, встать.

Какая безмерная бездна разделяет жизнь от смерти, если только одна мысль, что мертвец движется — движется, живет без жизни — оледеняет сердца живущих...

Шемяка и Петр окаменели на местах своих: мертвец двигался, тихо развел руками, скинул с себя покров, приподнялся, сел на столе, сложил руки на груди и хрипло возгласил: «Познал Петр, яко Господь его грядет и исполнился страха и ужаса! Гряди по мне, гряди — познай Господа!»

В беспамятстве поднялся боярин с места своего и громко возопил: «Гряду, Господи, гряду! Ныне отпускаеши раба Твоего, по глаголу Твоему, с миром, яко видеста очи мои спасение Твое!»

Страшно было зрелище мертвеца, восставшего, безжизненного: очи его были закрыты, руки сложены, голос отзывался гробовым хрипением — и старца, за минуту удрученного скорбью, плакавшего, но полного жизни — теперь впавшего в какое-то бесчувствие: глаза его помутились, седые волосы стали дыбом — коленопреклоненный перед телом Красного, он запел вне себя:

«Увы! мне: каковый подвиг имеет душа моя, разлучающаяся от телеси! Увы! тогда колико слезит, и несть помилуйя ю: к ангелам очи возводит и — бездельно молится; к человекам руки простирает и — не имать помогающего!»

— Блажени непорочнии, в путь ходящи в законе Господнем! — запел мертвец. — Придите, видим чудо паче ума: вчера был с нами — ныне же лежит мертв. Придите, уразумеем: что мятущееся совершаем? Как благовоением помазанный смердит зловонием? Как златом и красотою красящийся — нищ и без лепоты лежит?

Вне себя бросился Шемяка к брату: «Брат! — воскликнул он, — ты ли жив еще? Или я вижу сонное видение? Или ты пришел сказать только нам тайны заморгильные?»

— Се, жених грядет в полунощи,— запел опять мертвец,— и блажен раб его же обрящет бдяща; недостойни паки его же обрящет унывающа! Блюди убо, душа моя, да не смерти предана будеши, и царствия Христова вне заключишися...

Шемяка бестрепетно обнял Димитрия; но он был холоден, и глаза его не открывались...

— Брат милый! что с тобою? Узнаешь ли ты меня?

«Петр познал, яко Господь грядет»,— запел снова мертвец, и, как помешанный, отскочил от него Шемяка. Оглядываясь во все стороны, он увидел себя одного в комнате — псалтырщик убежал при начале непостижимого оживления мертвеца. Красный сидел на столе, среди погребальных свеч, в саване и одежде покойника, не открывая глаз, и пел хриповатым голосом. Что-то задел ногою Шемяка, лежаще на полу: это был пестун Красного, боярин Петр, склоненный челом к земле, и уже мертвый и охолодевший...

Шемяка не видал после того, как сбежался народ, не помнил, что было далее. Когда он опомнился, то увидел себя в постели; солнце светило в окна; подле кровати сидел Гудочник; невдалеке стояли Чарторийский и Сабуров. Озираясь кругом, Шемяка не видел ни мертвеца, ни гроба.

— Где мы? Что со мною? — спросил он.

Гудочник встал, взял руку Шемяки, посмотрел на него и сказал: «Слава Богу! никакой опасности нет. Князь! Опомнись: мы в Галиче».

Шемяка поднялся на постеле и старался привести в порядок мысли свои.

— Старик! что видел я? Что было со мною? Мне грезилось, будто брат мой умер, будто он ожил снова в глазах моих. Какой страшный сон!

«Успокойся, князь! Побереги свое здоровье».

— Я здоров,— вскричал Шемяка, вставая с постели.— Объясни, объясни мне!

«Неслыханное чудо совершилось, и ум человеческий ничего не постигает в нем!» — отвечал Гудочник.

— Брат мой ожил?

«Нет!»

— Итак, страшный только сон ужаснул меня?

«Нет! это был не сон! Брат твой в чудном видении: он мертв и жив; он говорит о жизни за гробом, и жизнь здешняя исчезла перед ним...»

— Что же это, старик?

Гудочник опустил голову. «Не постигаю! — сказал он.— Дивен Бог во Святых Своих!»

Шемяка поспешно оделся и пошел в ту комнату, где совершалось непостижимое чудо.

Дворец, двор его, улица, были наполнены народом, сошедшимся по слуху о восстании Красного. Трепетное, благовейное молчание царствовало всюду. В комнату, где находился Красный, никто вступить не осмеливался; все стояли в дверях; мертвец сидел на столе, не открывая глаз; два инока, старцы, пришедшие из ближнего монастыря, находились по обеим сторонам Красного и безмолвствовали.

Невольное трепетание проникло в душу Шемяки, когда он вступил в комнату. Красный говорил и пел, почти не умолкая. Едва пришел Шемяка, он умолк; грусть изобразилась на лице его, и вдруг начал он снова говорить:

«Не приступай ко мне с суетными помышлениями мира; не возмущай души моей тщетною горестию; благой перед судом Бога!»

О! зачем связан язык мой, когда отверзты мои душевные очи! Неизглаголаные тайны раскрыты предо мною... Как светлы судьбы Бога, как темны пути мира!

Радуйся, претерпевший до конца! Радуйся, совлекшийся греховного мира! Но ты влечешься в путях неправды, и — горе тебе! Как тать ночной, придет час смерти, и что сотворишь тогда, если не готов ты предстать пред суд неумытый!»

Красный умолк и преклонился на подушку, лежавшую под его головою.

Через минуту он тихо запел:

«Каплями подобно дождевым, малы и злы дни мои; летним обхождением оскудевая, помалу исчезают.

Малы и лукавы дни мои, и лета моя со тщанием отыдоша, и погибоша во многой суете! Близ время жатвы, и серп возложен на жатву души моей; притекла смерть и подкапывает храмину душевную!»

Снова умолк Красный и через минуту опять начал говорить:

«Зрите ли, как погиб праведный, и никто не приемлет кончины его сердцем!

Вземлются от земли праведные, и никто не разумеет их!

От лица бо неправды вземлются праведные, и с миром погребение их...»

Так пел и говорил Красный, и все безмолвно внимали ему, и никто не уразумел, что совершается в очах их!

Он открыл глаза, проговорил: «Радуйся, утроба Божественного воплощения!» — когда духовник принес к нему святые дары от литургии. «Мир вам и мне!» — сказал он после сего, лег, сложил руки, закрыл глаза и умолк навеки. — Незъяснимою тайною осталась чудная его кончина и была записана в Летописи на память людей. Он завещал похоронить себя близ гроба отцовского и был похоронен по завещанию своему в московском Архангельском соборе. Там доныне видна гробница, вместившая его и родителя его. Там положен был потом и несчастный Василий Косой...

Глава VII

Кто против Бога и Великого Новгорода?

Старинное присловие

Силен, славен, могуч, горд своею мощию был в это время Великий Новгород; далеко расширял он пределы своих областей, владел отдаленною Печорою, Мезенью, Пермью, Югрою; не больно кланялся Москве, смело ссорился с Литвою, крепко бился с ливонскими рыцарями, держал под рукою Псков, торговал с Ганзою и был пристанищем гонимых князей из Литвы, из Руси и даже из Заморья. Обширностью жилья едва не равнялся он Москве и более Москвы славился великолепием храмов Божиих.

Таков казался, но не таков в самом деле *был* Новгород Великий. Правда: вечевой колокол гремел на Софийской площади и вольные новгородцы гордились своею независимостью, богатством торгова, крепостью мечей, красотою дев; но гордость эта походила на тщеславие богача, который не считает своих сокровищ, потому что боится не досчитаться многого. Уже прошло время, когда один только Новгород был приютом свободы на Руси, и все другие области стеснялись под гнетом ордынской власти; уже Москва, поглощавшая все окрест себя, возрастающая силою и крепостью, несколько раз предписывала Новгороду устав и закон, и семьдесят лет прошло после *первого* урока, данного новгородцам Димитрием Донским, когда он стал табором под самыми стенами новгородскими, собрал тяжелый *черный бор* и едва было не разрушил новгородского *самосуда*. Часто после

того забывали новгородцы урок Донского. Но нередко Москва и напоминала им этот урок, и нередко, в самом сильном разгаре страстей, имя *Москвы* заставляло вольный город хмурить брови и умолкать самые хвастливые его угрозы. Только нерешительная политика Василия Дмитриевича, бедствия Москвы в его княжение и хитрая сила Витовта спасали Новгород: Витовт не хотел предать Новгорода воле московской. Зато Литва, неоднократно и тяжко, налагала на Новгород свою руку при Витовте и после него. С Ливониею, правда, не трусил Новгород, но ливонские крестоносцы сами забыли уже тогда силу предков, и меч железного Рорбаха ржавел бесполезно, когда новгородская удаль буйно воевала Колывань или Куконос (Ревель и Кокенгузен).

В то время, о котором хотим мы теперь говорить, Новгород особенно находился в большом смятении. С одной стороны, Великий князь московский, смело усиливая власть свою, губя род дяди своего Юрия, лаская и страша других князей, беспрерывно *воздвигал грозные очи свои* на Новгород. Недовольный отдачею ему черного бора с Торжка, он требовал закамского серебра, заволочских мехов и особливо изгнания врагов своих, потомков суздальских князей. Новгород гордился тем, что дал прибежище остаткам сего знаменитого рода, и князья Василий Георгиевич и Феодор, брат его, были наместниками в областях новгородских. С другой стороны, Литва, отдыхавшая под правлением Казимира Ягайловича от безумного тиранства Сигизмундова, требовала изгнания литовских князей, потомков враждебного рода Ольгердова, также приютившихся в Новгороде, хотела повиновения, податей, дани. И Москва, и Литва готовы были приняться за мечи и только выжидали, кто начнет прежде.

Но грознее всего казалась туча, подымавшаяся в Ливонии. Герцогу Клевскому, Бог знает с чего, вздумалось ехать на поклонение Святому Гробу в Иерусалим через русские земли; но смиренный пилигрим сей воротился в Ригу из Новгорода, разжаловался на обиду новгородцев; рыцари ливонские зашумели, объявили себя защитниками герцога и сказали крестовый поход против *вероломных неверных, проклятых* новгородцев. Хвастливый Финке фон Оберберген, магистр Ливонский, не хотел слушать оправданий новгородского посла, велел раздеть его донага и выпроводил на паршивой кобыле из Риги. В Пруссии, в Дании, в Швеции готовились на войну; рыцари отовсюду спешили в Ливонию: из Германии, Ита-

лии, Франции. Заранее делили уже рыцари новгородские области, хотели идти морем и землею; пели молебны об успехе оружия; папа проклинал новгородцев; Ганза обещала им денег на издержки.

Вольный город кипел в это время, как смоляная пучина на море-окияне. Сообщники Литвы, Москвы, суздальских князей, рыцарей, люди житые, бояре, духовное чиноначалие, людины — всякий говорил, спорил, подавал свой голос; вече волновалось; доходило до драки; малые вече беспрестанно собирались в разных Концах Новгорода.

Слыша о бедствии детей Юрия, столь бесчеловечно гонимых московским князем, Новгород видел в этом деле средство против Москвы, предлагая помощь и убежище Шемяке. Кроме негодования, каким исполняла сердца новгородцев жестокость Василия, рука и ум Шемяки могли служить Новгороду крепким пособием. Если бы удалось Новгороду посадить Шемяку на великокняжеский престол, то благодарность обязала бы его блюсти вольность новгородскую. Но, оказав и меньшую услугу, только помирив его с Москвою и посадив на сильном уделе, Новгород имел бы в нем верного союзника. Даже если бы Шемяка остался князем-наместником в Новгороде, то его род, его ум и храбрость могли примирять раздоры, и в имени Шемяки могла сиять для Новгорода звезда спасения и крепкой силы.

Вот почему навстречу Шемяке выехали лучшие люди новгородские, и весь Новгород радовался, видя в стенах своих сего знаменитого изгнанника.

Через месяц после смерти Димитрия Красного, в Новгороде, на Великой улице, в *чудном* доме вдовы Исаакия Борецкого, под вечер собралось несколько человек. Собрание происходило в узорчатой, богатой горнице, где видны были повсюду золото и серебро; около стен стояли лавки, обитые красным сукном, с золотыми подушками, и дубовый, резной стол покрыт был дорогою фламандскою скатертью.

Вдова Исаакия Борецкого была *Марфа Посадница*, столь знаменитая впоследствии, во время падения Новгорода. Теперь она находилась еще в цветущей юности. Дочь посадника почетного, жена незабвенного Исаакия Борецкого, Марфа обрелась *седети по муже*, когда Исаакий скончался, управляла бесчисленным богатством, какое досталось после мужа ей и детям ее, сыновьям Антону, Феликсу, Василию и Димитрию. Славная красотою, умом, мать четырех доблестных сынов. обещав-

ших быть подпорою вольного города, Марфа составляла главную опору тех новгородцев, которые враждовали против Москвы, стеснявшей торги и прибыли новгородские и тем вредившей собственной корысти Марфы.

В этот вечер Марфа была одета великолепно, в жемчуге и самоцветных камнях; несколько знатнейших новгородцев было у нее в гостях; на столе стояли дорогие чары с фряжскими винами и лакомства волошские и немецкие. Но видно было, что не гульба, а дело занимало гостей и хозяйку. В числе гостей был между прочим старик, знакомый нам; но его называли здесь уже не Иваном Гудочником, но *Иваном Феофиловичем*; он не забавлял других рассказами и песнями, но важно сидел на почете с другими.

— Ну, слава Богу,— сказал один из гостей,— ты радуешь меня, Иван Феофилович, известием, что твой Шемяка ожил на раздолье новгородском. Признаюсь, изумился было я, увидя этого лихого князя, бледного, мрачного, задумчивого, и подумал: тебе-то и бороться с Москвою! На тебя-то и надеяться Новгороду!

«Сегодня на пиру у Кириллы Григорьевича снова расцвел *мой* Шемяка, как называешь ты его. Впрочем, осудишь ли Шемяку, посадник, если вспомнишь все, что я тебе рассказывал? Тяжело перенести то, что перенес в последнее время Шемяка!»

— Знаю, что и самим спасением своим обязан он тебе, и вот это опять наводило на нас грустную думу.

«Я думаю, Осип Терентьич,— сказала Марфа,— теперь уже не к чему вспоминать о том, что прежде думано и гадало. Теперь надобно только ковать железо, пока оно горячо, а не сбивать себя с толку пустыми опасениями...»

— А, напротив, других уверять в том, в чем и сам еще не совсем уверен? Вот то-то и не надобно, матушка. Лучше высказать другу, что ни есть за душою.

«Да что же у тебя за душою? — спросил Гудочник. — Положим, если я и спас Шемяку, что тут за бесчестие для князя?»

— То, что ведь Новгород берется за его дело, надеясь найти в нем мужа совета и меча; но как ни гляжу я на дела Шемяки,— воля твоя! А куда безрассуден и молод умом этот князь!

«В чем же находишь ты его молодость?»

— Как мог он — положим, что и следуя совету отца своего — отдать великое княжение своему врагу?

«Да если отец ему так велел?»

— И не спорю. Надобно ж было ему обезопасить себя, а не отдаваться врагу связанным по рукам и по ногам.

«Скажи мне сперва, посадник: честно ли поступил Шемяка в этом случае?»

— Не бесчестно, да бессчетно. Не негодуй, матушка, Марфа Ивановна. Сама ты знаешь дела торговые: если в них держаться одной правды, то с кошельком находишься по миру! Так и в делах земских.

Гудочник дал знак Марфе и начал разводить плодovitый рассказ о политических отношениях Москвы и князей после кончины Юрия, о буйном самовластии Косого, о последовавшем вероломстве Василия. Смешанный словами его, новгородец не знал, что сказать.

— Ну, ну! положим и так,— заговорил он,— но как ему было не подкрепить брата, отдать его на добычу Москве, поехать самому в пасть волку? Потом обольститься обманом и броситься на драку с татарами, не зная, что к нему пришли в то время незваные гости и распили его княжеские свадебные меды?

Опять красноречиво пустился Гудочник в рассказы: блестящим образом выставлял как великую добродетель доверчивость Шемяки, чернил вероломство Василия, изъяснял, сколь полезен будет для Новгорода владетель Москвы, Шемяке подобный, и как опасно дать усилиться Василию.

— Вам опасна только Москва,— продолжал он,— добрый Казимир, когда Владислав беспрестанно задает ему при том работу своим ненасытным честолубием, когда он собирается воевать турков, владеть чехами и уграми, и не подумает угнетать Новгород. Вот разве ливонские крыжаки вам опасны? — примолвил Гудочник усмехнувшись.

Все засмеялись: «Мы пошлем на них свою волость Плесковскую: не стоит самим новгородцам рук марать с этими белыми епанчами».

— Что с них возьмешь, если и побьешь их? — сказал другой собеседник. — Голь, да и только! Замшанные душегрейки их и на рукавицы новгородцам не годятся, а брони так малы, что и полновгородца не влезет в такую кольчугу, где три крыжовника помещаются...

«Сухопарый же народ! Но что слышно об их приготовлениях? Смотри: не пугнула бы вас Ганза, да не проклял бы папеж римский!»

Снова хохот: «Да! Вступится твоя Ганза, когда у нее в Новгороде столько заложников и залогу? Эти бусур-

маны за гривну продадут нам всех своих крыжовников! Вот папеж так опасен. Ах! он окаянный: пишет, слышь ты, грамоту, где называет нас *идолопоклонниками* и уверяет, что мы *жидовской* да *махметовой* веры!»

— Ах, он обливанец!

«Ксенз бритый!»

— Крыжовник краснолапый!

«Ну,— сказал Гудочник, стараясь возобновить прежний разговор,— из всего и выходит, что вам надобно только Москве спеси посбить, а Шемяка-то какая славная для этого дубина! Вы говорите, он легкомыслен, доверчив: тем лучше,— из него что хочешь, то и делай. Он храбр, он добр, он разгульлив. Хе! подраться ли, попить ли... что твой новгородец! Мне что: ведь не детей с ним крестить; мне только отдай он Суздаль моим князьям».

— А что, Иван Феофилович, скажешь ты про своих князей, ась?

«Об них сам я ничего не скажу и другим сказать ничего не дам»,— отвечал Гудочник угрюмо.

— Э! ты уж и сердисься! Я только хотел домолвить, что... хм! ребята, кажется, добрые...

«Обещают снять все пошлыны с хмеля, когда будут владеть Суздалем»,— сказал один собеседник.

— Вот и видно, что ты браги сам не любишь: все как бы хмелину с рук сбыть да пустить в продажу! — примолвил другой.

«Что много толковать! — сказала Марфа.— Решено: Новгород помогает Шемяке. Похлопочите-ка вы завтра, как вече-то вам уладить».

— О! за этим дело не станет... Что ты, Осип Терентьевич, все задумываешься?

«Признаюсь вам, куда не любитися мне это, как говорят о войне с Москвою. Так вот сердце и вещует недоброе — уж не нажить нам добра от наших ссор с Великими князьями!»

— Мне кажется, скоро новгородские мужи станут учиться бодрости у слабых жен,— сказала Марфа с негодованием.— Вещеванью сердца верить — все равно что у кукушки о годах спрашивать.

«Ты знаешь, Марфа Ивановна, трусил ли я когда-нибудь. Но после того, как видел я погибель бесстрашного Айфала Никитича; видел, что если нет благословения Божия, то никакая храбрость и сила не помогают; с тех пор, как этот Железный Кулак погиб в бою с булгарами, а я просидел после того в полону три года, в тяжком рабстве...

— Давно ли было это? — спросила насмешливо Марфа.

«Да, теперь вот о Семенове дне будет лет двадцать сем. Нет! более...»

— И ты все еще не опомнишься от испуга, Осип Терентич?

«Ох! нет, нет!»

— Пора одуматься! Да и кто тебе говорит, что благословения Божия нет на войну с Москвою? Не за то ли и Айфал твой погиб, что продавал Новгород Москве? Такие дела не благословляет Господь, когда предает человек свою родину либо робеет и трусит. Он всегда благословлял нас, когда мы крепко и правдиво становились за Святую Софию; благословлял, когда отцы наши посадили Ярослава на киевском престоле, когда с Мстиславом Удалым возвратили они престол Константину, когда отстояли они Святую Софию от тьмы войск Боголюбского, когда под Орлецом смиряли гордость Василия Дмитриевича, когда с Александром гоняли шведов на Неве...

«Не спорю, не спорю, матушка; но если недоумение, налагаемое на душу человека, не есть глас божий, то разве не боишься ты предвещения, какое недавно было нашему владыке? Тут уж нечего нам мудровать, а только молиться: спаси, Создатель, и не дай нам дожить!»

— Какое предвещение? — спросил Гудочник.

«Ты не слыхал, Иван Феофилович, что у великого князя недавно родился сын *Иоанн*?»

— Слышал.

«Вот в тот самый час как он родился, в Клопском монастыре некий блаженный муж, именем Михаил Юродец... да ты его знаешь!.. (Гудочник наклонил голову в знак согласия) ударил в колокол и начал клепать сильно. Сбежался народ, испугался и повел блаженного к владыке Евфимию. Пока вели блаженного мужа, он вопил нелепым образом, глаголя велегласно: «Горе Новуграду! Гибель Новуграду! Преходит Новгород!» Приведенну же ему ко владыке Евфимию и не перестающу кричать, вот что сказал он: «Знайте, новгородцы, что в сей день родился в Москве у великого князя сын, именем *Тимофей*, а сущее имя ему: *Иоанн*. Сей победит грады и народы, прославится до конец земли, спасет православие и Новгородом преобладает: гордыню вашу упразднит, в свою волю приведет вас, самовластие ваше разрушит, самовольные обычаи ваши изменит и за ваше непокорство и сопротивление многу беду и посечение.

и плен над вами иметь сотворити, а богатство ваше и села восприимет...»

— Только? — спросил Гудочник, когда все замолчали после сего рассказа.

«Нет, *не только!* — сказала Марфа. — Если, в самом деле, богу угодно разрушить силу и славу Новгорода, то да совершится сие на костях наших и на пепле домов наших! *Я* постыжусь вас — я первая пойду умирать, и вот у меня четыре сына: пока Иоанн вырастет на гибель Новгорода, они также вырастут на защиту отчины, и Марфа обречет их на погибель. Победа и слава в руке божией; но честь и жизнь в воле человека, а мертвые не стыдятся!»

— *Мертвые срама не имут!* — воскликнули все, воспламененные речами Марфы. — Так, так, жена доблестная! ты стыдишь нас...

«Оно так, да не так...» — проворчал Осип Терентьевич.

— Стыдись, новгородец! — воскликнул Гудочник. — Смотри на меня: я пережил родину свою, но не пережил мысли положить за память ее свою голову, и пока жив буду я, один суздалец — Суздаль не погиб!.. Пой: мне еще пришла мысль вот такая: кажется, Михаил Юродивый родня, по женскому поколению, Великому князю московскому?

Замечание Гудочника поразило самого Осипа Терентьевича. Новгородская кровь разыгралась, и, при удвоенных чарах, забыто было и предвещание и опасение. Гости пошли, весело напевая:

Не бывать Торжку новым-городом,
Не бывать Новугороду Торжком;
Не поить москвичам коней в Волхове,
Не владеть Новым-городом Москве!

Гудочник увернулся от них и возвратился к Марфе. «Бегу на пир к Марку Памфилевичу, — сказал он, — и воротился только спросить тебя о Владыке... Что ты загрустила, Марфа Ивановна?»

— Могу ли не грустить, слыша, что говорят новгородские сановники! Как не сбыться предвещанию об Иоанне!... Ох! если бы я могла передать им хоть мою, бабью душу!..

«Все Бог исправит, и от камня воззовет глас спасения. Скажи мне о Владыке».

— Я сладил с ним, — отвечал один из новгородцев, — и теперь остался нарочно здесь, сказать тебе, что Вла-

дыка завтра благословит Новгород — только не воевать Москву, но *подать помощь бедствующему князю, и быть примирителем князей враждующего рода Димитрия Донского, да отвратятся бедствия от земель русских!*

«Ну, в словах не велико дело, только бы благословил. Прощайте!»

Пока у роскошной хитрой Марфы пировали почетные сановники, молодежь боярская почетная и лучшие воители гуляли у Марка Памфильева, купеческого старосты. Туда отправился Гудочник, и здесь было совсем противоположное зрелище: Шемяка находился тут первым гостем и, разогретый удалю, вином, надеждою, пленял своим разговором, молодецкою поступью, обещанием восстановить славу Новгорода битвами. О политике не думали, выгод не рассчитывали. Хозяин, первый враг московский, через тридцать лет потом погибший в тюрьме московской вместе с Марфою, не жалел вина и ласковых слов, и шумная беседа оживлялась громкими песнями.

На другой день, ранним утром, зазвонили на вечах по всем Концам новгородским. Народ сбегался на них толпами, и после благовеста поздней обедни ударили в звонкий вечевой колокол перед соборным храмом Святой Софии. По всему городу раздался и зазвенел серебряный его голос, и на призыв его устремились к Святой Софии с концовых веч. Народ наполнил всю Софийскую площадь и шумел, будто рой пчел, встревоженных в улье. Явились посадники. Прежде всего возвестили они о победе, какую Бог даровал Новгороду над ливонскими крестоносцами: воеводы новгородские разбили гордого мастера, так что он едва мог убежать сам.

Радостный шум раздался при сем известии в толпе народной. «Непотач Крыжовникам! — кричали разные голоса. — Знай наших! Спасибо воеводам!»

«Уведайте, люди новгородские, о другом важном деле: притек к нам в Новгород князь углицкий, Димитрий Юрьевич, и бьет челом господину государю Новугороду, и всем пяти Концам его, и преосвященному архиепископу Евфимию, Великого Новаграда и Плескова Владыке, посадникам, тысяцким, боярам и житейным людям. А просит он, князь, себе помочи; то, как вы рассудите, люди новгородские: *давать, или не давать?*»

— Начинай, ребята! — сказал посадник Славянского Конца — и громкий крик: «Помогать! Давать! Новгород искони не отказывал добрым людям!» — раздался с этой стороны.

«Славянщина загорланила,— говорили в другой стороне.— Ну! не уступать, гончарцы!» И еще громче крик: «Долой, долой, не надо, не надо! Новгород не хочет!» — раздался с сей стороны от Гончарного Конца.

— Что там: о чем посадник говорит? — спрашивал старик, теснимый в толпе.

«А Бог весть! О немцах что-то мне послышалось — да, не теснись ты, рябая харя!»

— Молчи, долговязый!

«Чего молчи: разве я не новгородец?»

Жаркий спор восстал между тем подле посадника.

— С чего взяли говорить о помощи князю углищкому? — кричал один толстый старик.— То ли время теперь, когда нам не знать куда оборотиться: се литва, се немцы, се шведы! Помогать пожалуй, да только как?

«Разумеется: мечами!»

— Мечами? Воевать с Великим князем?

«Кто его называет Великим князем? Для Новгорода он просто: *московский князь* Василий Васильевич, недоброхот новгородский».

— А князь углицкий просто *князь Димитрий Юрьевич*, одного гнезда яичко, из которого вороги на нас выводятся!

«Если Бог поспособит ему сесть на московском княжении, он обещает нам великие льготы и милости».

— Вам — так; да вы-то еще не весь Новгород!

«А в вашей чести разве целый Новгород помещается?»

— Держись за свою покрепче.

«Люди новгородские! как нам не заступиться за бедствующего князя, когда безбожная родня его, притеснитель наш, князь московский, зло неслыханное сотворил: вырезал очи родному брату его; уморил другого брата его; захватил его невесту; отнял у него удел; пожег и попленил его волости; держал его самого в темнице...»

— По мне кусайся они между собой, как хотят — что нам вступаться!

«Экое зло сотворилось! Ужели Бог попускает такие дела без наказания!»

— Неправда, люди добрые, неправда! У князя Василия Васильевича Юрьевичи отнимали отцовское наследие, вопреки законам Божеским и человеческим; искали его смерти, садили его в темницу, возмущали Москву, и Бог наказал старого Юрия смертью, а Димитрий Юрьевич ехал в Москву, с тем, чтобы зажечь ее, да грабить, извести Василия и род его. Василий простил ему, посадил его на княжество, на Коломну; но Димитрий бежал, пе-

редался к проклятым татарам и теперь возмущает нас! Правда: Василию, брату его, вышибли очи, да это случилось в бою — а тут разве разбирают, во что бьют?

«Нет! ему ножом в темнице вырезали очи».

— Вздоришь: попала стрела...

«Разве две стрелы, потому что у него обоих глаз теперь нет. Подумайте-ка: каково ему теперь не видеть света Божьего?»

— Ну, что же? Садись он, да пой Лазаря!

«Тут думать о пользах Новгорода надобно, а не о княжеских глазах! Ты как полагаешь, сосед?»

— Я ворожу пальцами — надобно помочь, аль не надобно?

«Тебе стыдно молчать, Яков Петрович!»

— Да, куда уж тут нам соваться: и без нас толков не оберешься!

«Мы все глядим на то, что перед глазами торчит, а не подумаем как бы на будущее. Дмитрий добр и храбр, Василий зол и труслив; Дмитрий все обещает, Василий только и посылает к нам за данью, да за пошлинами».

— Верь ты этим добрым! Все они хороши и ласковы, пока в загоне; а только что оперятся, так и начнут зубы скалить на наше добро! Господи ты, Владыко! чему и завидовать-то: торжишки стали худы, закамские сборы хоть брось — на расходы не выручишь...

«Ну, что тут много толковать: пусть Димитрий Юрьевич остается у нас наместником; новгородских калачей с него достанет».

— Так, ты думаешь, Москва и даст нам свободно сделать его наместником? А между тем Галич, Углич, Бежецкий Верх, она все возьмет, и от нашего недоброхотства и разгласия усилится вдвое.

«По-моему: не добиваться того, чтобы Димитрия посадить на московский престол, а только пособить ему поворотить свои волости... Да уймите народ: что они вопят без толку — не дадут порядком подумать!»

— Что вы морочите нас, посадник и люди именитые! как будто в самом деле хотите нас спрашивать! Ведь мы знаем, что у вас уже на деле все положено. Говорите прямо. Нечего попусту народ томить — иной ведь не застрававши с раннего утра!

«Эдак он выехал! Посадник мне не приказ: я сам себе указ. Сегодня он посадник, а завтра я!»

— Да, так ты и глядишь, что тебе быть новгородским воеводой!

«Хотим знать решение Влadyки; пусть докончит и скажет, от его воли не отступимся!»

— Да где денег взять? На полатях у Святой Софии гривны нет!

«Куда же деньги девали? Давно ли ларь запереть было нельзя: так был он набит!»

— Держи мошню — было, да сплыло!

«Одно буду говорить: и честь, и польза Новгорода требуют помочь Димитрию Юрьевичу; этим только приобретем мы крепкого союзника и твердую опору, восстановим и древнюю славу, что Новгород никогда не отказывал бедствующим князьям, и тем становился выше их...»

Так шумело новгородское вече, при раздававшихся при том общих и громких восклицаниях, которые противоречили одно другому.

Сильно зазвонили в вечевой колокол — знак молчания. Все умолкло и, при звоне во все колокола, из Софийского собора шли на площадь многие знатные люди. Между ними отличался поступью, ростом и богатством одежды Шемяка. Ему давали широкую дорогу; он прямо дошел к посаднику, окинул собрание веселым взором, поклонился раз — все шапки полетели с голов; поклонился другой — одобрительный говор пролетел по собранию; поклонился в третий — и все слилось в один клик: «Да здравствует князь Димитрий Юрьевич!»

— Молодец, молодец!

«Да, он и не нищим является к нам: у него кожух-то получше нашего. А милости еще просит у нашей головы!»

— Кланяйся, кланяйся пониже — сдадимся мы на твои поклоны!

«Молчите, молчите! Князь хочет говорить!»

— Люди новгородские! — громко сказал Шемяка, — сын друга вашего, Юрия Димитриевича, обиженный злым братом, надеется на вашу помощь. Неужели нет между вами молодцов, удалцов, лихой вольницы, у которой меч просится на разгулье, душа на волю? Ко мне, ко мне! Денег нам не надобно; условий между нами не нужно! Что добуду, то разделю братьям новгородцам, и вот вам святая София, что в душу мою никогда не закрадется ни лесть, ни вражда. Я только теперь молился у гробов праотцев моих и лгать не стану!

«Исполать, исполать, молодцу! Ох! удалая голова! Знат, что сказать!»

— Что он говорит? Мне ничего не слышно?

«Говорит, что Москву поставит ниже Новгорода».

— Нет! что каждому, кто с ним пойдет, подкует он коня золотыми подковами. Он обнимает князя Василья Георгиевича — Эх! ничего не слышать!

«Князь! — говорил Шемяка, крепко обнимая суздальского князя, — ты испытал уже дружбу новгородскую! Я зову тебя с собою; отдам тебе родовое наследие, коли нам Бог поможет! Заверь же новгородских людей, что в словах моих душа говорит, и не помочь мне — будет им стыдно!»

— Стыдно! — воскликнул князь суздальский. — Товарищи! Меня ли вы не знаете? Со мной ли не хаживали вы на ратное дело? — Вам, мои товарищи, говорю — стыдно! «Стыдно!» — загремело множество голосов.

— Звони в колокол — вече решает: помогать, не жалеть ни живота, ни казны!

«Постой, постой! Владыка еще ничего не решил!»

— А вот идет его тысяцкий. Что он говорит?

«Владыка решает так, люди новгородские: подать помощь благородному отродию князя Великого Юрия Дмитриевича, и при благословении Святой Софии, быть примирителями враждующего рода князей московских, да отвратятся бедствия от земель Русских!»

— Владыко решил! Звони в колокол!

«Стой, стой! Тысяцкий подкуплен!»

Громкий крик послышался в то время с нагорной стороны кремля новгородского. Казалось, тысячи голосов кричат там: «Здравия князю Дмитрию Юрьевичу! Война, война Москве!»

Это была самая удалая молодежь, сбежавшаяся подкрепить и решить дело. Между ними находился Гудочник, и он вел их на вече, но за теснотою никак не могли они пройти на Софийскую площадь.

— Кто там, вне веча, решает дело? — закричали многие, устремляясь из кремля.

В это время зазвонили в вечевой колокол, в знак согласия. Буйные противники Шемяки, оставшиеся в кремле, закричали, зашумели. Спор разгорячил всех; за кремлем дошло уж до драки, и толпу, выбежавшую с веча, погнали вдоль кремля; защитники Шемяки устремились и на Софийскую площадь. Здесь Гончарский Конец единодушно стоял и кричал: «Не надо войны с Москвою!» От слов и тут дошло до кулаков. Смятение сделалось ужасное. Шемяка был в недоумении. В первый еще раз видел он, как наяву волнуются и кипят страсти народные. Привыкший повелевать, он не понимал, как можно было управлять подобным народом.

Тогда из Софийского собора явился маститый старец, Владыка Новгорода, архиепископ Евфимий. С животворящим крестом в руке, он шел величаво и смело в самую середину буйствующей толпы — и все умолкло; драка и бой прекратились; все стали почтительно, теснясь лобызать благословляющую руку архипастыря.

— Дети! — произнес он твердым голосом, — несть на том благословения моего, кто покорится врагу человеческого рода, диаволу, отцу всякия вражды! Благословение мое на том, кто пребудет мирен и покорен влаstem! Несть ли чли: несть власть, аще не от Бога? Тем же, противляяйся власти — Богу противляется!

«Владыко! — вопили гончарцы, — нас заводят в крaмолу с Москвою, хотят воевать против Москвы! Мы изгибнем! Смилуйся над бедными — будь спаситель наш, внемли воплю и стенанию! Пока люди велии и богачи тучнеют золотом и сытостию, мы яко стени шатаемся, голодны, холодны, наги, босы, продаем детей, да не погибнут они от глада! Нет правды ни в судах, ни во граде: судии криво судят, лжесвидетели пьют кровь нашу, честь Новагорода погибла, и соседи посмеиваются нам!»

— Роптание тяжкий грех перед Богом! Зачем ропшете и молчите? Никому не закрыта дверь храмины моей — прииди, скажи мне, посаднику, тысяцкому. Зачем буйствовать?

«Мы не буйствуем; но войны с Москвою не хотим...»

— Что с ними толковать, сволочью голодною! Благослови, Владыко, уговорить их посильнее!

«Прочь, окаяннии невегласи! А вы, дети мои: кто говорит о войне с Москвою? Новгород будет только посредником, примирителем вражды. Или не ведаете слов Господа: блаженни миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся?»

— Мы не прочь от посредничества и миренья; да ведь этого Москва-то не послушает, и придется разделяваться с нею мечами!

«Тогда единый поженет тысячи, и от тысячи побегнут тьмы — будет уже не война, но казнь Божия за гордыню Москвы!»

— Так ли полно...

«На Москву, на Москву! Да здравствует Димитрий Юрьевич! Гибель гордыне московской!»

Этот клик заглушил ропот недовольных; одни теснились к Шемяке, другие к архиепископу, благословлявше-

му святым крестом, и вдруг — совершилось неслыханное чудо!

Новая церковь, во имя Иоанна Златоустаго, воздвигнутая архиепископом над воротами владычного дома и только что отстроенная, и еще неосвященная, страшно затрещала, кирпичи попадали с вершины ее... Народ, в ужасе, бросился во все стороны, крича: «Церковь валится!» Треск умножался — раздался глухой гул, как будто лопнуло что-нибудь страшное под землю, пыль и прах взвились облаком, закрыли церковь, затмили небо, и когда ветер развеял облако пыли — церкви уже не было: она развалилась до самой подошвы и завалила обломками и щебнем двор архиепископский.

Все безмолвствовали. И среди сего безмолвия увидели юродивого человека. Он спрыгнул с развалин, сел верхом на метлу, которую держал в руках, и с хохотом поехал на ней между народом. Рыжие волосы, опаленная борода, запачканное лицо, лоскутья, в которые был он одет, делали его чем-то отвратительным и ужасным, похожим на привидение.

— Ха, ха, ха! — кричал он во все горло, — Ха, ха, ха! Ай, Владыко Ефим! продал душу за алтын, Шемяке, гуляке, галицкому забияке! Горе Новгороду, худо Новгороду, плохо вам, плотники, худо вам, смутники! Заметет вас Москва метлою — вот этак, вот этак заметет — засыплет ваши дома горячею золою! Ай! озяб, озяб — погреться хочу — зажигай Москва Новгород с четырех сторон, с пяти Концов — долби долбней — купай в Волкове!

Он исчез в толпе, прежде нежели успели одуматься. Архиепископ первый прервал молчание.

— Если слова его о гибели Новгорода также справедливы, как хула на меня — се, не Божие знамение, но дьявольское наваждение!

«Не гибель Новгорода, а падение гордыни московской предвещает церковь Божия: нам грозили именем Иоанна, и вот Иоанн сокрушился! Смотрите, люди новгородские: мы все целы, а церковь упала сама на себя!» — Так раздавался громкий голос — это был голос Гудочника.

— Владыко согрешил, что давал немецкому мастеру строить храм Божий! — Казнить бы его теперь, так на его голову и упала бы церковь Божия! — кричали другие.

— Пойдем во храм Святой Софии, — провозгласил архиепископ, скрывая свое смущение, — пойдем молить

заступницу, да обратит знамение на добро! Благовести-те в большой колокол. Новгород не гордыни ищет, но мира, и Господь благословит его!

Безмолвствовал народ. Вечевой колокол звонил в знак согласия, и никто не препятствовал звукам его сливаться с звуками большого соборного колокола. Шемяка и князь Василий Георгиевич сопровождали архиепископа в храм соборный.

Там, с коленопреклонением, отслужен был молебен; освятили воду и с пением: «Все упование мое на тя возлагаю, Мати Божия!» — совершили ход кругом кремля, окропляя святою водою стены и стогны града. Сердца отдохнули. Толпы осматривали развалины упавшей церкви и находили причину разрушения в неискусстве мастера.

Знать новгородская угощена была потом у посадника Якова Кирилловича; житые и торговые люди опять пировали у купеческого старосты Памфильева. На место, где собиралось вече Гончарского Конца, выкатили несколько бочек с пивом и медом и сказали, что князь Димитрий Юрьевич угощает новгородскую вольную дружину. В тот же день бедным раздали множество хлеба из посадничьих и владычных житниц.

Весел и радостен возвратился Шемяка в жилище свое, находившееся в доме суздальского купца, друга Гудочникова, издавна поселившегося в Новгороде и разбогатевшего от торгов с Ганзою. Получены были добрые вести из Москвы: новгородцы, возвратившиеся оттуда в сей день, привезли известие, что Великий князь изъявил большую робость, услышав о побеге Шемяки в Новгород; что он повелел очистить Углич и Галич; что по три дня собирались у него на совет бояре и князья, и что князь Заозерский объявлен был не пленником, но другом, и заседал в советах Василия наряду с другими князьями.

Все это ободрило, возгордило Шемяку и новгородцев. Оставшись наедине с Гудочником, он предался мечтаниям будущих надежд, сообщая ему известие об единодушном решении новгородских сановников на пиру у посадника. Гудочник, с своей стороны, рассказал, какие меры приняты были им, его друзьями и сообщниками для склонения простых людей. «В поход, поход!» — был клик даже и Гончарского Конца, когда на тамошнем вече сбивали обручи и ломали доски осушенных бочек пива и меда.

Глава VIII и последняя

*...Бешеный страстей язык
Умолк пред истиной святою.*

* * *

— В поход, в поход, старик, и посмотрим: такой ли ты удалец на булате, как на речах! — сказал Шемяка, крепко пожав руку Гудочнику.

«Дай Господь, чтобы молодые так же от тебя не отстали, как не отстану я».

— Но ведь у меня привычка: идти всегда впереди других — смотри, не думай тогда о жизни и не оглядывайся назад, чтобы не наткнуться на московские копыя!

«У меня такое поверье, князь, что если судьба не наметила на кончике копья чьей-либо смерти, так это копье пролетит мимо, а если наметила, то и в обозе от него не отсидишься — все-таки оно найдет тебя!»

Еще разговаривали несколько времени Шемяка и Гудочник. Положено было, немедленно по собрании дружин новгородских и псковских, быстрым походом занять Торжок, идти к Ростову и не останавливаясь двигаться на Москву; легкому отряду, долженствовавшему предварительно составиться из новгородской вольницы, надобно было поспешить с Чарторийским в Галич и Углич, защитить сии области от впадения москвичей и собрать там вспомогательные дружины. Особый отряд под начальством Василия Георгиевича Суздальского, которому Шемяка дал крепкое слово восстановить его наследственный удел, положили послать в Суздаль и Нижний Новгород. Можно было думать, что, услышав о столь смелом нападении, ни Рязань, ни Тверь не вступятся за Москву; что Суздаль, Дмитров, Звенигород, князья Можайский и Верейский пристанут к Шемяке; можно было надеяться еще и на Махмета, мирно остававшегося в Белеве, но отвлекавшего часть дружин Василия для стражи со стороны Тулы. Предприятие, конечно, было смелое; но кому нечего терять, тот все считает за выигрыш, даже и бесполезное покушение возратить потерянное.

Уже Гудочник хотел распрощаться с Шемякою, когда хозяин дома появился в дверях.

— Прости мне, князь Димитрий Юрьевич, — сказал он, — если я тебя беспокою.

«Душевно рад всегда видеть тебя, гостеприимный хо-

зяин мой; только дивлюсь твоему неожиданному посещению. Что случилось?»

— Приехал к тебе какой-то почтенный гость из Москвы и просит немедленно быть допущенным.

«Гость из Москвы?» — Шемяка взглянул на Гудочника.

— Не ведаю,— отвечал Гудочник, в недоумении.— Может быть, Василий прислал к тебе посла.

«Нет! это какая-то престарелая духовная особа. И он говорит, что был другом отца твоего, князя Юрия, и к тебе пришел ради твоего блага. Он следует за мною и отстал потому, что медленно идет по лестницам и отдыхает».

Хозяин отступил в сторону. Дряхлый старец тихо вступил в комнату. Он одет был в монашескую рясу; длинная, седая борода волнами падала на грудь его, и седые волосы, выпадая из-под его клобука, лежали по плечам. Это был Зиновий, архимандрит Троицкий, духовник и друг Юрия, много лет находившийся настоятелем в Саввинской Сторожевской обители и, как мы выше видели, переведенный Юрием в обитель Святого Сергия, при первом занятии Москвы. Привыкнув уважать Зиновия, как отца, Шемяка с радостным благоговением подошел к нему под благословение.

— Отец мой! — сказал он, — тебя ли вижу? Что привело тебя в Новгород? Что заставило предпринять путь столь далекий, оставить свои благочестивые подвиги и святую твою обитель?

«Дозволь мне прежде сесть, князь Димитрий: я устал, непривычный к трудам странствования, и не успел отдохнуть, ибо прямо с моею повозкою подъехал сюда».

— Если осчастливишь дом мой пребыванием своим, — сказал хозяин, почтительно подступив к Зиновию, — я почту прибытие твое Божиим благословением на дом мой.

«Благодарю, чадо; но иноку не стать располагаться в доме столь великолепном; сыщу какую-нибудь обитель, где дадут мне уголок. Я осчастливорю дом твой гораздо более, если совершу в нем благое дело, за которым притек на берега Волхова. — Князь Димитрий! к тебе приехал я, для тебя совершил я далекий путь из Москвы!»

— Отец мой!

«Да, если родитель твой называл меня сим именем, я могу назваться отцом твоим. И душою, и сердцем хочу я вновь привести тебя к благодати так, как привел я те-

бя, младенца сущего, к святой вере Христовой от купели крещения».

— Отец мой! что значат слова твои?

«Веришь ли, что я тебе добра желаю; веришь ли, чадое, что твое временное и вечное счастье и спасение дороги мне, паче жизни моей? Дорога ли тебе память твоего родителя? Хочешь ли ты, чтобы прах его не содрогался в гробе и душа радовалась на небесах?»

Шемяка повергся на колена перед Зиновием и со слезами на глазах воскликнул: «Можешь ли сомневаться...»

Зиновий обнял Шемяку, облобызал его голову и сказал дрожащим голосом: «Благо тебе!» — Хозяин, свидетель всего происходящего, умилился до слез и поспешно удалился. Гудочник казался смущенным; он побледнел, задрожал, как в лихорадке, безмолвно оперся о печку и склонил голову на грудь.

— Князь Димитрий! внимай, что притех я сказать тебе: помирись с Василием Васильевичем! — Твердым голосом, внимательно смотря на Шемяку, произнес Зиновий слова сии.

Шемяка вскочил поспешно, как будто испуганный чем-нибудь. «Отец мой! что ты произнес!» — воскликнул он.

— Говорю: помирись с Василием Васильевичем.

«С ним помириться? С моим злодеем, убийцею братьев моих, хищником моего княжества».

— Да, с ним!

«Вероломным, клятвопреступником, которому все отдал, все уступил я, и который заплатил мне бедами и горестями, хотел посягнуть даже на мою жизнь».

— Да, с ним, с ним, и — горе тебе, если ты отвергнешь совет благий!

«Вижу коварство и трусость его, вижу хитрые его умыслы: тебя, святого, мудрого старца, уговорил он, осéтил речами, и твоею хочет воспользоваться властью над душою моею, хочет снова уловить меня в сети! — Шемяка засмеялся судорожным смехом. — Не успел ли он оправдаться перед тобою? Не успел ли уверить, что мы все виноваты перед ним, почему не протягиваем шеи под его топор?»

— Да, он оправдался передо мною во всем.

«Как? Не сказал ли он, что очи брату моему вырезали без воли его?»

— Нет! Он говорил мне, что это сделано было с его воли.

«Братоубийца! Не уверил ли он, что без его воли я брошен был в тюрьму и едва не лишен жизни, когда ехал к нему для мира и согласия?»

— Нет! Он признался, что только боязнь раздражить князей безмерною свирепостью поступка, удержала его от тайного умерщвления тебя в темнице.

«И на злодейство-то даже не достало у него сил души! А то, что он захватил мою невесту и моего второго отца, что он разорил мои волости, что сн... Ну! и в этом во всем сознался он?»

— Да, и в этом. И в том еще, что платил тебе за добро злом, за мир враждою, за покорность изменою.

«И после всего этого он оправдался! Ты заставляешь меня сомневаться, святой отец! тебя ли я вижу, мудрого ли Зиновия слышу я!»

— Меня, старца Зиновия, перед которым оправдался Василий — прибегнув ко мне *не оправдываться*, не как Великий князь, но *каяться*, плакать о грехах своих, яко грешник, удрученный тяжестью греха, трепещущий и почти отчаянный в своем спасении! Примирив его с Богом, я смело пошел примирить его с тобою. Ты ли хочешь быть более Господа? Ты ли в гордости сердца не простишь его, не протянешь к нему длани примирения, если Господь разрешил и простил его моими устами? Ты ли осмелишься возносить суд человеческий над совестью ближнего?

«Я возношусь? Я горжусь? Отец мой!»

— Или хочешь ты, в злобе сердца, взять на себя исполнение судеб пречечных, и мстишь врагу, не внемля слов Спасителя, повелевающего миловать и смиряться пред обидящими?

«Смиряться! Пред Василием? Никогда!»

— А! я проник теперь душу твою: твоё мщение, твои гнев прикрывают только личиною истинную вину злобы и вражды — твоё ненасытное честолюбие! Ты забыл обет отцов, забыл завет родителя, забыл то, с чем мог предстать бесстрашно перед престол Божий — прежнее смирение свое и правоту после кончины родителя; забыл ты и гнев Божий на властолюбивого своего брата — вижу: ты алчешь престола великокняжеского...

«Твои слова оскорбляют меня, святой отец!»

— Не думал ли ты, что я пришел к тебе послом хитрым и стану уговаривать тебя, вместо провозглашения тебе улик и суда Господня? или что я усташусь гордыни твоей, или чьей-либо? Нет! я, инок забытый миром и забывший мир — не стану улещать тебя, как улещают

великих мира; не стану говорить тебе об условиях Василия и выгодах, какие он тебе обещает! О! для этого он мог послать не меня, но какого-нибудь лукавого царедворца, выставить дружины, послать крамольников, какие окружают тебя и его, воевать, хитрить с тобою! Я — видевший перед собою отца твоего в слезах покаяния, видевший и Василия, пришедшего ко мне во вретище раскаяния — я пришел не с тем и не для того!..

«Отец мой! если бы ты видел душу мою... Чем может Василий заплатить мне? Чем выкуплю я перед людьми честь свою, если уступлю ему!»

— Какую честь? Тщетное мирское суесловие, переговоры людей, грех слова и дела, ничтожество почестей тленных? Не думаешь ли ты, что я стану расспрашивать тебя: чего ты желаешь, или скажу, что дает тебе Василий? Не ведаю ни того, ни другого, и ведать не хочу: я принес к тебе покаяние грешника; от тебя требую смирения, мира и прощения; хочу тебя и Василия удержать на краю бездны греха...

«Итак, ты сознаешь, что право хочу я враждовать с Василием?»

— Никогда вражда не бывает правою: она богомерзка, и есть внушение диявола! Да, мирски ты был прав доселе; но семя греха зреет в похвале мира.

«Зачем же приписал ты мне гордыню и кичение? Зачем требуешь ты от человека — паче человеческого?»

— Рассмотрю сам здраво душу свою и увижу, что гордость, кичение и вражда скрываются в ней под видом праведного мщения. Паче человека не требую от тебя. Когда и всякому простому смерду Господь велит до тех пор не приносить молитвы и не возлагать дара на алтарь, пока он, шед, не смирится с братом своим, если вспомнит, что на кого-либо враждует, то князю ли, поставленному выше других, не паче того бдеть над собою и не превышать простых человеков высотой добродетели, исполнением заповедей Божьих, кротостию и миролюбием? Чем же отличатся от простого человека люди, поставленные править его судьбою? Вспомни то страшное слово, что *за грехи князя народ наказуется, а за добродетели его много добра Господь посылает народу*. Не за добродетель ли Иезекии простил Господь и спас Израиля? Помни же, властитель других, что преступлением своим ты губишь не одну свою душу, но тысячи других! Если за одного праведного спасен был град — за князя праведного спасутся тысячи стран!

«Отец мой! нам ли, грешным людям, вещаешь ты о высших судьбах Божиих, о добродетели недосягаемой! Где ныне святые мужи, и могу ли быть непричастен смятению мира, если мятусь среди волнений людских! Живущий в мире творит мирское...»

— Итак: пороками других оправдываешь ты свои пороки? Не хочешь быть добродетельным потому, что другие злы? Хорошо — чего ты медлишь? Иди же, иди, умножь еще более беззакония, удесятери их, погуби себя, погуби, отврати от себя смердящими злодействами лицо Божие... Прощай! Я надеялся найти в тебе прежнее сердце, прежнюю душу, прежнего Димитрия. Вижу — тяжко ошибся я: порок заразил уже твое сердце! Отрясаю прах с ног моих, и отныне не дерзай называть меня отцом — я не знаю тебя более...

«Остановись, остановись, отец мой! я человек — суди, но будь милосерд, как милосерд Бог!»

— Смеешь ли воззвать к Богу, если я, человек грешный, осуждаю тебя? Сердце твое есть гроб поваленный — ты обманул надежды старости моей...

«Я право иду, право хочу требовать...»

— Право? Чего же ты требуешь? Хочешь обладать Великим княжеством?

Шемяка безмолвствовал смущенный.

«Видишь ли, — сказал Зиновий, — что ты не дерзаешь сознаться самому себе в тайне своего помысла? Здесь таится источник зла — в честолюбии твоём!»

— Нет! — воскликнул Шемяка, — нет! я не хочу престола великокняжеского!

«Но если ты лишишь его Василия, кому же, если не тебе, престол сей! Неужели ты доселе не помыслил о том? Если же не хочешь Великокняжества, что отвращает тебя от мира! Не хочешь ли ты, как жадный волк, упиться кровью своего родного, мстя ему за свое оскорбление, и тогда только примириться? Но не сам ли трепещешь и ужасаешься деяний Василия? И — сам же хочешь последовать ему! Ты недоумеваешь, безмолвствуешь! Говори: видишь ли, что ты не хотел, или страшился низойти во глубину тайных помыслов своих? Димитрий! я говорил с тобою, как служитель Бога — буду говорить мирски. Не скажу, что я сомневаюсь в твоей храбрости — знаю, что вы, гордые и великие мира сего, оскорбляетесь таким сомнением; не хочу сомневаться и в победе — ты победишь, уничтожишь Василия, предпишешь ему мир и закон; гордясь и тщеславясь великодушием, пощадишь жизнь его и тем станешь выше

его, хотя и будешь только удельным князем. Но, как достигнешь ты сего! Уничижаясь перед крамолою, бунтуя князей и мятежных новгородцев, опустошая области, избивая народ, возвышая до неба вопль и стелания жен и детей! Приобретешь ли более крепости, посрамив, уничивив Василия? Прочнее ли будешь на уделе своем? Не посеешь ли тем семян тысячи новых крамол? Видя удачу, кто не последует твоему примеру? Тогда тебе должно будет, или сражаться за Москву с другими, или передать ее на расхищение другим. Что ты сделаешь тогда? Выбор тяжок: то и другое — источник бедствий! Братьев твоих постиг уже суд Божий: один с отцами нашими и, верь, не завидует уже миру; другого утешит ли слава и почесть, лишенного очей, и что ему, если держа за власы положишь ты перед ним даже главу врага его! Судьба всей Руси зависит от тебя и Василия. Он унижен уже перед тобою своими грехами; он унижен и тем, что просит тебя дать мир земле его и спасение душе его. Тяжка участь брата твоего, но судьба Василия тяжелее. Дай ему очистить себя пред Богом раскаянием, а судьбу брата отнеси суду Божию, и поверь, что твое великодушие горше отзовется на душе Василия, нежели самое страшное мщение. Тогда он закалит душу мыслью, что довольно наказан, если ты мстишь ему; теперь — слезами горькими омочит он грех свой, видя твою превысшую доброту... Сего ли недовольно, сын мой? Смотри же: я падаю за Василия к ногам твоим — я плачу за него и за Москву...»

Зиновий повергся со слезами на землю.

— Отец мой! что ты делаешь!

«Не встану, и вопию тебе — не погуби души своей; дай мне спасти ее, дай умирить землю Русскую...»

Страшное волнение изображалось на лице Шемяки. Он обращался к Зиновию, к Гудочнику — Зиновий стоял на коленях, преклоня чело к земле; Гудочник безмолвствовал, закрыв лицо руками.

— Могу ли еще упорствовать! — воскликнул Шемяка. — Чувствую, что настоящий подвиг мой труднее победы, и мир, князья, люди не оценят его, не встретят меня победителем, укорят, может быть, малодушием, робостью... Заветы отца, речи добродетельного брата, витающего ныне среди ангелов Божиих — помню вас... Приосените меня благословением вашим, отец, брат! Дайте мне силу, крепость души... — Шемяка бросился на скамью, колебался еще с минуту и — отворотясь от Зиновия, промолвил с трепетом: «Прощаю московского кня-

зя — Бог ему судья!» — Тяжелый стон исторгся из груди Шемяки после сих слов.

Зиновий поднялся с радостным лицом. «И мир Мо-
скве, мир с Василием! Докончи подвиг свой, князь Ди-
митрий, дополни словами: *мир Василию!*»

— Тяжки слова сии, отец мой! избавь меня, избавь —
прощаю, не мщу — *только!*

«Но любить враги своя, не прощать только, велел Спаситель, молившийся за убийц своих на кресте. И ничем другим не отличится христианин от язычника, только любовью ко врагу. Что тебе за подвиг — говорит Спаситель, если ты любишь любящего тебя, если добро творишь ближнему твоему? Не тако ли творят и язычники? Люби враги твоя, добро твори ненавидящему тебя, молись за вводящего тебя в напасть и искушение. Кто сей любви не имать в сердце своем, если бы и половину тела своего сжег за добро и благо, несть достоин Его!»

— Нет, отец мой! выше сил моих такой подвиг: прощаю, не мщу; но не могу протянуть руки моей и вложить ее в руку Василия, обрызганную кровию моего брата! Не могу и не хочу даже видеть его — Бог с ним!

«Прощаю скорби твоей, буду молить Бога, да окончит Своею Святою волею то, что успел совершить я, грешный, благодатию Божиею. И о сем уже не вмещает сердце мое радости. Возрадуйся, прах Юрия в могиле, ликуй душа его на небесах! Сын твой достоин тебя, старец, друг мой, ты, приходивший ко мне со слезами и трепетавший, что не успеешь изгладить следы честолюбия, омрачавшего душу твою на земле, трепетавший, что над могилою твоей прольются реки крови в усобице, и вопли гибели и смерти обременят память твою проклятием! — Сын мой, князь Димитрий! я говорил с тобою, как служитель Бога, как судия твоей совести — теперь дай мне обнять тебя, как другу, благословить тебя, как отцу! Я не хотел обольщать тебя благими мира; не хотел обольщать наградами и обетами мирского счастья; надеялся крепко на тебя, как на сына, как на христианина — благо тебе, благословен ты, обрадовавший меня старца на пороге гроба!»

И со слезами обнял благочестивый старец Шемяку; и долго слезы его капали на голову Шемяки, склоненную к груди его. Исторгшись из объятий князя, старец поднял очи к святым образам, тихо молился и вышел из горницы

Погруженный в думу, Шемяка не заметил, как скрылся Зиновий, и, забыв самого себя, сказал вполголоса,

как будто был один и рассуждал с самим собою: «Тяжкий подвиг! И легче бы смерть в битве, нежели мир с ним! Если же это добродетель — зачем же не веселит она души моей и почему совершение доброго дела не радует меня, ужасает, заставляет трепетать, а не является мне радостным и веселым? Мир со злодеем, дружба с братоубийцею, тишина — с мечами в руках, с опасением на страже... Это ли мир и счастье!»

Две свечи, стоявшие на столе, нагорели и тускло светили; мрак облегал стены обширной комнаты. Движение кого-то бывшего в комнате и стоявшего у печки, безмолвно и неподвижно, обратило внимание Шемяки: это был Гудочник. Шемяка совсем забыл об нем, увлеченный жаром разговора с Зиновием.

— Да,— сказал тогда Гудочник, не двигаясь со своего места,— да, ты право рассуждаешь, князь Димитрий Юрьевич. Мир с Василием есть только начало новой вражды, и грядущее время не должно веселить тебя. Ты можешь забыться; но кто нейдет до конца, кто в брани оставляет слово на мир и в мире слово на брань, тот не сотворит себе ни мира доброго, ни брани славной.

«Иван Феофилович! осудишь ли меня? Назовешь ли изменником против данного тебе слова? Мог ли я противостоять? Робость ли заставляет меня бросить меч? Мелкая ли корысть увлекает меня, когда я не знаю даже и условий мира?»

— Нет! я тебя не обвиняю, князь Димитрий Юрьевич; слышал я все, и на твоём месте сам сделал бы то же, что ты; не уступил бы тебе в чистоте души и добродетели! Нет! так видно угодно Богу, и суетно человек хочет переменить судьбы непреложные, по коим движет перст Его царствами и народами! Горе тому, кто обрек себя на сопротивление судьбам Его — горе и гибель, и не будет благословения на делах и начинаниях его! Что сделает мирская сила и человеческая мудрость? Кто мог за два часа предвидеть, чем кончится то, к чему казалось вели события нескольких лет, труды тяжкие, пренебрежение страха, смерти! Но, суди же, Господи, и расуди прю мою: виновен ли я? не всем ли жертвовал я? щадил ли себя? Несть Твоего благословения, и — что может человек? Едва тысячью трудов и замыслов касался я вожделенной цели — страсти ожесточают сердца; один гибнет, другой умирает, третий увлекается неожиданным смирением! Снова труды и замыслы. Кажется: нет уже препятствий, разрушена вся возможность мира — спасаю человека из-под мечей, веду его, даю ему средства

славы, мщения, величия, и молю только одного — *исполнения моего обета!* За меня вопиет и безнадежность грядущего, и кровь брата его — все тщетно: несколько слов инока, и — забыто мщение, забыто грядущее, забыто прошедшее, забыта слава — и мой обет, едва облегчивший душу мою лучом надежды, снова упал на грудь мою тяжелым камнем! О Боже, Боже Господи! и я не смею просить, чтобы отчаяние раздавило меня; я должен, как вечный жид, скитаться, страдать, трепетать, думать только об одном — за что же, Господи, гнев Твой? Зачем допустил Ты мне наложить на себя обет непреложный, и не допускаешь меня исполнить его? Разве я, как этот жид, возлагал богоубийственные руки свои на выю Твою? Разве я метал жребий об одежде Твоей? Разве я посмеивался богохульными устами страданию Твоему? О страшный пример безрассудного обета! И роптать не смею за то, что он отягчает меня выше сил!..

Гудочник снова закрыл лицо руками, но не плакал. — Иван Феофилович! кто бы ты ни был, праведник ли великий, или грешник непрощаемый, — сказал Шемяка, подходя к Гудочнику, — я не хочу знать — знаю только, что тебе одолжен я спасением, и что ты мудр и велик духом — я не оставлю тебя: приди ко мне, будь мне другом, будь первым советником моим. Хочешь ли богатства и почестей — получишь их от меня. Я разделю с тобою кров мой, хлеб мой, судьбу мою!

«Нет! — сказал Гудочник, одушевляясь и принимая свой обыкновенный, спокойный вид, — нет! это невозможно — мы должны расстаться! Никогда не расстанется душа моя с тобою, князь Димитрий Юрьевич; но не хочу требовать от тебя паче того, что ты можешь снести. Прощай! будь счастлив! Ты не услышишь обо мне более. Но знай, что грядет и придет час, когда я снова представлю тебе; что в решительные минуты жизни твоей я снова явлюсь пред тобою; но это будет час исполнения моего обета, и тогда уже ничто, ничто не удержит меня, и тогда, если ты станешь за одно со мною, то не будет тебе возврата — смерть, или обет мой!»

— Остановись, Иван Феофилович. Может статься, и теперь будет возможность исполнить твое предприятие.

«Нет! я знаю, что *нет!* Знаю Василия, знаю легкомысленных новгородцев — скажу более: знаю князей, за которых полагаю свою голову — это невозможно! Василий все уступит; другие все примут; у третьих не достанет... не достанет силы душевной!.. Еще не пришло время; но

оно придет, придет, и тогда Гудочник снова станет пред тобою! Прощай, князь!»

— Иван Феофилович! так ли расстанемся с тобою? Забуду ли твое добро? Возьми, что тебе надобно, если я не могу иначе успокоить твоей старости.

«Если ты помнишь мое добро, то, молю, не забывать его никогда и в страшный час не забыть его! Если услышишь о смерти моей — вели помянуть меня за упокой. Душе моей грешной будут тогда дороже молитвы добродетельного, нежели злато, которое мог бы ты дать мне теперь. Прощай, князь Димитрий Юрьевич!..»

— Сын мой, сын мой! — раздался голос в передней комнате. Слышно было, что кто-то идет поспешными шагами. Шемяка обернулся к двери и не заметил, как ускользнул из комнаты Гудочник. И мог ли он заметить: из дверей бросился в это мгновение, в объятия его — князь Заозерский...

«Отец мой!» — вскричал Шемяка и повергся на грудь Заозерского. Несколько времени они не говорили ни слова, целовали друг друга, плакали, смеялись.

— Мне готовилась такая радость, и отец Зиновий знал это и скрывал от меня! — воскликнул наконец Шемяка.

«Я готовил тебе награду за добро; но не хотел обольщением привести тебя к добру», — сказал Зиновий, вступая в сие мгновение в комнату. Он вел за руку Софию...

Шемяка не знал — броситься ли ему обнять очаровательное создание, стоявшее перед ним во всей прелести красоты, юности, любви, радости девической, смущения невинности — или обратиться с молитвою к Богу, сохранившему еще для него на земле столько счастья! Любовь такова: взор ее устремляется, или с восторгом на предмет ее очарования, или с благодарностью к небу. Других взоров она не знает, если только бедствие не губит ее, и если только есть на ней *благословение Божие*, без которого она ад на земле, мука нестерпимая — падший ангел...

— Чадо! обними свою невесту и не думай, чтобы чистые наслаждения добродетели могла запрещать человеку самая строгая жизнь инока. Любовь твоя благословлена уже родителем княжны, и она уже принадлежит тебе по законам Божиим и человеческим.

Так сказал Зиновий, и София, едва не лишаясь чувств, со слезами говорила Шемяке, когда он крепко обнял ее: «Сколько страдала, сколько плакала я в разлуке с тобой, и как в одно мгновение все мною забыто!»

Гудочник хорошо предугадал, что должно было случиться. Душу Василия мог видеть только единый Бог; но пред людьми он изъявил все, что может изъяснить человек, истинно желающий мира, истинно раскаивающийся. Умолив святого мужа быть ходатаем за него, упросив доброго Заозерского ехать с Зиновием в Новгород и взять с собою дочь свою, он хотел, казалось, вместе с мольбою мира, отдать Шемяке все возможное счастье, выдав в то же время самый драгоценный залог безопасности. Богатые дары предложил он при том Заозерскому; старик отказался от даров, но охотно поехал в Новгород. С ним поехали и послы Василия к Шемяке и к новгородцам. Им поручил Василий согласиться бесспорно на все условия, какие объявит Шемяка, утверждая волость Дмитрия Красного в прибавок к собственной волости Шемяке и отдавая ему все, что было за отцом его Юрием Дмитриевичем. Таким образом Шемяка делался одним из сильнейших князей русских. Новгородцам утвердил Василий самосуд их, вольности, льготы, владение всеми их волостями и не требовал более изгнания суздальских князей. О восстановлении Суздаля никто не говорил ничего. Мир и условия мира с Василием произвели общую радость в Новгороде. Сильная партия Москвы, подкрепленная теми, которые робели новой войны, хотя и принуждена была уступать (как мы уже это видели), но тем не менее она тревожила и волновала умы. Теперь Новгород с честью выходил из затруднительных обстоятельств, и все радовались, или показывали, что радуются мирному dokonчанию, повторяя старое присловие: *худой мир лучше доброй ссоры*.

Новгородцы просили Шемяку праздновать свадьбу в Новгороде, и давно уже не помнили самые старые старики такого великолепия и веселья, какое было на свадьбе Шемяки. Вскоре после того он отправился в удел свой. Пересланы были взаимные грамоты с Василием; но Шемяка не поехал в Москву и основал пребывание свое в Угличе, как будто ему ненавистны были самые окрестности московские. «И праха моего не будет в тех местах, где семя зла произросло для рода нашего!» — говорил он.

Василий Юрьевич не хотел оставить той обители, куда заточен он был по воле Великого князя, и не хотел принять уделов ни от Шемяки, ни от Василия Васильевича. Он посвятил дни свои единому богу. Лишенный света очей, он прозрел светом души, и беседа с братом своим, когда сей приехал навестить несчастного слепца,

изумил его спокойствием и твердостью духа, с какою переносил свое несчастье. «Бог смирил меня за мое превозношение!» — говорил он, с тяжким вздохом.

Ничего не слышно было о Гудочнике. Тщетно в Новгороде хотел узнать Шемяка, куда девался этот старик — никто не знал — так, как и самые суздальские князья, за благо которых не щадил он жизни, знали одно, что он был суздедец, и что он заклился восстановить свою отчизну. Василий Георгиевич, говоря однажды с Шемякою о Гудочнике, заключил словами: «Впрочем, мне казалось иногда, что едва ли он не помешался немного». Шемяка задумался, но не сказал ни слова, ни да, ни нет. Не хотел ли он спорить с суздальским князем из вежливости, или сам также думал — не знаю. Впрочем, люди нередко называют сумасшествием то, что выходит из обыкновенного круга дел и событий. Таковы люди — были и будут...

Благосклонному читателю здравия и спасения

Вот, православные русские люди! *повесть времен старых, былина прежнего времени*, которую хотел я вам рассказать. Боюсь: не утомило ли вас длинное повествование мое, *о том, как князья Василий Косой и брат его Димитрий Шемяка поссорились на свадебном пире с Великим князем Василием Васильевичем Темным, и о том, что из того происходило*. Рассказал я вам, как умел; простите, если излишне разговорился; простите, если не умел рассказать лучше. Мы погуляли с вами по старинной, святой Руси, видели князей и бояр, мужичков и боярынь, духовный чин и дьяков, Кремлевский дворец и крестьянскую избу, свадебный пир и битвы кровавые, святые обители и новгородское вече, присутствовали и на великокняжеском веселье, и на великокняжеских похоронах, на пирушке в тереме боярыни и на ужине русских мужичков, слышали песни старинные, сказки русские, видели, как *жили-были* старики наши, в старые годы, стародавние, когда, по пословице, *снег горел, а соломой его тушили*. Теперь, пока, повесть моя кончена. Вот вам, православные русские люди —

Старина и деяние,
Синему морю на утешение,
Быстрым рекам на славу до моря,
Добрым молодцам на послушанье,
Веселым молодцам на увеселенье!

В заключение, соблаговолите позволить мне сказать вам несколько добрых речей, и расстанемся приятелями.

Обещал я, правда, *быль*, не сказку, но и не летопись, не *гисторию* правдивую. Правда — вещь редкая на белом свете. Чистою самородною (как в Сибири находят золото самородное, полупудовыми кусками) едва ли найдете вы правду в здешнем мире. Не думают обманывать, а правды все-таки не говорят. Вот, примером сказать, случалось ли вам что-нибудь самим видеть и после того слышать рассказы о виденном вами от других самовидцев? Всякий рассказывает, не лжет, и так говорит — да *не так* выходит. Оттого у нас исстари ведется пословица: *из одной бани, да не одне вести*.

Что же тут делать? Как кому *кажется*, так тот и говорит. Вот, одного только смотрите, добрые читатели: *добросовестно ли* рассказывают вам.

Здесь, я кладу руку на сердце, и скажу вам смело:

«Я рассказывал так, как по чистой совести мне казалось. И если я в этом лгу, то, да будет мне стыдно, или при стариках, на морозе, шапку с меня снять извольте».

Вы найдете кое-что *не так*, если станете сличать рассказы других о Шемяке с моим рассказом.

До сих пор, вам представляли Шемяку злодеем, каких мало и бывало на святой Руси, а Василия Темного таким тихим, что он воды не замутит.

У меня Шемяка показан вам иначе: лихой, удалой, горячая голова, с добрым сердцем, и — с несчастием, на роду написанным.

Закройте вы все ваши Гистории; вслушайтесь в рассказы старинных Летописей; вдумайтесь в то, что они говорят и как говорят, и уже потом меня судите — так я и прав буду. А между тем, вот что пришло мне в голову:

Рассказывал я вам о *Шемяке*, да о брате его *Василии Косом*, а между тем вмешалась в мой рассказ повесть о чудном старике *Иване Гудочнике*, и о том, как он заклял свою буйную голову при гробе Спасителя.

О других персонах рассказ мой кончен порядком: Шемяка женился и стал владеть Галичем; брат его Василий остался в обители, уже не Косой, а Слепой, домыкать дни свои без света Божьего; Василий Васильевич стал благополучно владеть Москвою. Но *Гудочник* что?

Да, об этом спрашивали меня многие, читавшие мой рассказ. И спрашивали, не только о том, что случилось

с Гудочником после расстани его в Новгороде с Шемякою, но и о том: кто был этот старик? Какими обстоятельствами приведен был к страшной клятве, и освободил ли он наконец душу свою от клятвы, или сошел в могилу, связанный на земли и на небеси?

Обо всем этом могу я дать вам, мои любезные читатели, полный отчет; да, вот беда моя: рассказывать обо всем этом будет долгая песня, а я боюсь — не надоел ли уже вам и без того моею говорливостью?

Нашлись, правда, ласковые люди, которые говорят мне: *нет!* — и уговаривают, чтобы я досказал им досконально о Гудочнике. Признаюсь — и собственная моя охота есть на это... и по всему этому прошу милостивно выслушать следующее:

Теперь рассказал я русскую быль: *Клятея при гробе Господнем*, или *Повесть о том, как князья Василий Косой и Димитрий Шемяка поссорились на свадебном пире с Великим князем Василием Васильевичем Темным, и о том, что из того происходило.*

Хочу же вновь рассказать еще *другую* русскую быль: *Суд Божий*, или *Повесть о том, как полонен был Великий князь Василий Васильевич Темный, на Суздальском бою, безбожным царем казанским Улу-Махметом, как восстановлено было Суздальское княжество, и что из того происходило.*

Тут увидите вы снова, любезные мои читатели, Шемяку, Гудочника, Москву, Новгород, Литву, все почти знакомые вам лица: Басенка, Ряполовских, подьячего Беду, Юрия Патрикеевича, и прочих; услышите подробно все похождения Гудочника, если только достанет у вас терпения слушать новый рассказ мой — а он будет не мал: такие же *четыре книжки*, какие вы теперь прочитали.

Угодно — так я не замедлю, а не угодно, так *вольному воля*: положите, что вы встретились в пути, в дороге с Гудочником, как встретился с ним некогда дедушка Матвей; что Гудочник рассказал вам часть своих пождений и что вам некогда было дослушать остального. Ведь это часто на белом свете бывает. В таком случае — *спасибо* вам за то, что вы терпеливо прочитали мои рассказы о русской старине. Если же они вам сколько-нибудь полюбились, если они заняли у вас несколько праздного времени, не оставьте и мне, смиренному рассказчику, сказать мимоходом, также — русское *спасибо!*

До свидания! Авось еще увидимся, как старые знакомые, а до тех пор — Богу слава, вам здравие и спасение, а русской были — конец.



В настоящий сборник вошли избранные исторические произведения Н. А. Полевого. С некоторыми из них советский читатель уже знаком. «Повесть о Симеоне, Суздальском князе» в последние годы переиздавалась трижды (См. кн.: *Полевой Н. Избр. произв. и письма*. Л., 1986. С. 28—88; *Полевой Н. Мечты и звуки*. М., 1988. С. 135—196; «Русская историческая повесть первой половины XIX века». М., 1989. С. 84—144. Четырежды, не считая журнального варианта 1828 г. и авторской прижизненной публикации в 1843 г., она издавалась в дореволюционные годы — 1885, 1890, 1899, 1900 гг.); «Пир Святослава Игоревича, князя Киевского» — один раз (*Полевой Н. Мечты и звуки*. С. 260—284). Другие произведения переиздаются в советское время впервые: «Иоанн Цимисхий» — по единственному, прижизненному изданию (2 части. М., 1841); роман «Клятва при гробе Господнем» — по первому изданию (4 части. М., 1832; в дореволюционные годы роман переиздавался четыре раза — 1886, 1899, 1900, 1903 гг.).

В настоящем издании тексты произведений даются с сохранением орфографии и пунктуации, характерными для того времени и отражающими индивидуальный стиль автора.

Произведения расположены в исторической последовательности событий, изображенных Н. А. Полевым.

ИОАНН ЦИМИСХИЙ

Впервые — частично: Книги IV и V (до слов «Государь! церковь, воздвигнутая тобою близ Влахернских чертогов...») под заглавием «Византийская легенда (отрывок из «Цареградской были X века»)» — *Сын Отечества*. 1838. Т. 3. Отд. I. С. 27—84; Книга I под заглавием «Царьград и двор греческих императоров в X веке (Византийская легенда)» — Там же. 1839. Т. 12. Отд. I. С. 11—52;

полностью — Отдельное издание: В 2-х ч. М., 1841. Предисловие автора. С. 5—8. Цензурное разрешение — 22 января 1841 г. Публикуется по этому изданию. Предисловие опущено.

С. 25. *Иоанн I* (925—976) по прозванию *Цимисхий* («туфелька» — он был маленького роста: *čtušk* — по армянски «туфля») — видный военачальник, в 963—968 гг. — domestik схол Востока (верховный главнокомандующий всеми войсками Византии в Малой Азии — восточной части империи), в 969—976 гг. — император.

С. 27. *Прокопий Кессарийский* (ок. 500 — после 565) — историк и политический деятель Византии, родился в г. Кессария (отсюда прозвание — Кессарийский), расположенном в Палестине на берегу Средиземного моря; написал «Историю войн Юстиниана» (545—550. О Юстиниане см. комм. к с. 29), «Тайную историю» (550) и др. Полевой приводит в эпитафии строки из «Истории войн Юстиниана», которая тогда была известна и как «История моего времени», и как просто «История».

Царь Константин — Константин I, прозванный Великим, полное имя — Гай Флавий Валерий Константин (ок. 272—337), римский император (306—337). Константинополь (Царьград) был основан Константином в 326 г., с 330 г. столица Римской империи; после разделения империи в 395 г. на Восточную и Западную, — столица Восточной Римской империи (Византии).

Баррампутер — р. Брахмапутра.

Здесь прошел в Европу пелазг... — Имеется в виду мифическое племя пеласгов, считавшееся древнейшим на территории Греции, появившееся там при переселении народов еще в доисторическое время.

...маг останавливался здесь, с огненным владыкою своим... — Имеются в виду маги — жрецы бога Солнца у мидян, племени, относившегося к индоевропейской народности; мидийцы (мидяне) к 9 в. до н. э. завоевали ряд областей Иранского плоскогорья, а в 6 в. до н. э. овладели северной и северо-восточной частью Малой Азии, почти вплотную подойдя к Босфору; дальнейшее их продвижение было остановлено лидийцами, жившими в западной части полуострова, которые в 585 г. до н. э. нанесли поражение мидийцам.

Голос истинной веры — христианство.

...день Страшного суда... голос трубы архангела... — Имеется в виду Откровение св. Иоанна Богослова («Апокалипсис»), последняя книга Нового Завета, содержащая в себе пророчество о конце света и неизбежном наказании людей, в соответствии с грехами каждого.

Кирпич Вавилона... — Вавилон, столица рабовладельческого государства Вавилонии (19—6 вв. до н. э.); находился недалеко от

нынешнего Багдада; разрушен в 539 г. до н. э. персидским царем Киром II (уб. 529).

...черта писания персеполийского...— Имеются в виду глиняные таблички с эламским линейным и клинописным письмом (III—I тысячелетия до н. э.), обнаруженные при раскопках древнеиранского г. Персеполя (основан в 6 в. до н. э., находился в 50 км на северо-восток от нынешнего г. Шираз), разрушенного и сожженного в 330 г. до н. э. Александром Македонским.

...черепок сосуда на берегах Скамандра...— Скамандр — древнее название реки Мендерес, протекающей на северо-западе Малой Азии и впадающей в Дарданеллы. В ее низовьях находилась легендарная Троя (III—I тысячелетия до н. э.).

С. 28. *Пальмира* (букв.— Пальмовый город) — древний город, находился на территории Сирии (недалеко от нынешнего г. Тадмор); в I—III вв.— крупный торговый центр, был известен своими ремеслами и архитектурой; разрушен арабами в VII в.

Ида — гористая местность на северо-западном побережье Малой Азии.

Гемус, Гем — фракийское и древнегреческое название Старой Планины (Балканских гор).

...волны... эвксинские — Эвксин, Понт Эвксинский — Черное море.

...страшный переворот...— Имеется в виду одна из катастроф, которая повлекла за собою гибель легендарной страны-острова — Атлантиды. Споры о характере этой катастрофы и месте, где находилась эта страна, продолжаются до сих пор. Миф об Атлантиде и ее гибели дошел до нас в диалогах «Тимей» и «Критий» древнегреческого философа Платона (427—347 до н. э.).

Геркулесовы Столпы — Гибралтарский пролив.

Фракия — историческая область, название земли фракийцев, занимавших восточную часть Балканского полуострова, омываемую Черным, Мраморным и Эгейским морями; на юго-западе граничила с древней Македонией.

...миф переплывал мимо них на сребрунном воле...— Имеется в виду миф о похищении верховным греческим богом Зевсом красавицы Европы, дочери финикийского царя. Превратившись в быка, Зевс лег у ног игравшей на берегу моря Европы; царица, увлеченная игрою, села на спину быка, который уплыл с нею на остров Крит.

...и в корабле аргонавтов...— Имеется в виду миф о походе греков на корабле, носившем имя «Арго» (отсюда — аргонавты) в Колхиду (Черноморское побережье Кавказа) за золотым руном волшебного барана.

...умирал в Орфее...— Орфей, легендарный фракийский певец, своею игрою зачаровывал даже животных и растения; безуспешно пытался вывести из царства мертвых свою жену Евридику; он

не выдержал, оглянулся, и она навсегда осталась там; был однополом, чем вызвал ненависть к себе других женщин и был ими растерзан.

...сражался за похищенную супругу Менелая...— Имеется в виду миф о похищении Парисом Елены, который лег в основу «Илиады» Гомера.

...умолкал в пещерах Самофракии, храмах Элевзина и лесах Додона...— Самофракия — остров в северной части Эгейского моря; Элевзин, Элевсин — город в 22 км от Афин, известный своим культовым святилищем (6—5 в. до н. э.); Додона — знаменитый религиозный (культовый) центр (7—1 в. до н. э.), находился в западной части Греции в лесистых отрогах юго-западного склона Пинда.

...острова Архипелага — Архипелаг — название морской византийской провинции, располагавшейся на о. Лесбос и прилегающих к нему мелких островах; Полевой переносит это понятие на все острова Эгейского моря, принадлежавшие Византии.

...властитель, утомленный жизнью дряхлого Рима — император Константин I Великий, перенесший столицу из Рима в Константинополь (см. комм. к с. 27).

С. 29. *Святая София* — Софийский собор, воздвигнутый в 532—537 гг. при Юстиниане I (482—565), римском императоре (527—565); главный собор царьградский.

...шли удивляться столице Греции.— Здесь и далее Грешней называется Византия, государственным языком которой был греческий, греки составляли значительную часть ее населения, и территории традиционного их проживания являлись важнейшей составной частью Византии.

Латинский первосвященник обладал Римом...— Имеется в виду папа римский, глава светской власти в Риме с 476 г., церковная власть которого распространялась на государства Западной Европы.

...потомок дикого германца назывался римским императором...— Имеется в виду Оттон I (912—973), германский король (с 936 г.), основатель империи (962), которая до 1034 г. называлась Германской, со второй половины XII в. — Священной, а с середины XIII в. — Священной римской империей; титул «римский император» применительно к правителям этой империи впервые встречается в 1034 г.

...обитая в болотах Лютеции.— Полевой оговорился: имеется в виду Ломбардия (область на севере Италии), входившая в состав империи Оттона. Лютеция — историческое название местности, где находилось кельтское поселение, а затем был основан Париж.

...как Лаокоона змеи...— Имеется в виду сюжет из «Илиады» Гомера — миф о гибели троянского жреца Лаокоона, задушенного вместе с сыновьями двумя огромными змеями. Он был наказан богами, покровительствовавшими грекам, за то, что предсказал горожанам несчастье от коня, оставленного у стен Трои, и пытался

остановить их, не дать втянуть коня в город. Боги, заранее предопределив судьбу Трои (внутри коня были скрыты греческие воины — «тroyанский конь»), не простили жрецу этого вмешательства в намеченный ими ход событий и обрекли его и его сыновей на мучительную смерть.

Царство Константина.— Имеется в виду Византия.

...хоругви сынов Аравии и потомков турка веяли над гробом богочеловека...— Иерусалим, где, по преданию, находится гроб Христа (гроб Господень, гроб богочеловека) — был завоеван арабами в 638 г.

С. 30. Гордый болгар заставлял... выкупать спасение золотом...— Византия платила ежегодную дань Болгарии с 927 по 968 г.

...злодейства Неронов...— Нерон Клавдий Друз Германик Цезарь (настоящее имя — Луций Домиций Агенобарб; 37—68 гг.) — римский император (54—68), отличался жестокостью по отношению к своим противникам; вошел в историю как первый гонитель христиан: обвинив их в поджоге Рима (64 г.), положил начало их преследованию.

...безумие Гелиогабалов...— Гелиогабал, Элагабал — прозвище Марка Аврелия Антонина (204—222), римского императора (218—222), верховного жреца (с 217 г.) бога солнца Элагабала (сирийск. — Гелиогабал); происходил из рода жрецов; «безумной» представлялась современникам и историкам его затея сделать сирийского бога солнца государственным богом на всей территории Римской империи.

...Царьград видел на троне... сумасшедших изуверов...— Имеются в виду императоры, жестоко преследовавшие религиозных противников — Лев III (717—741), Лев IV (775—780), Лев V (813—820) и особенно Константин V Копроним (741—775) и Михаил III (842—867).

...трон царьградский... с него беспрестанно падали...— Подавляющее большинство из 50 византийских императоров, занимавших царьградский трон до описываемых Н. Полевым событий, умерли не своей смертью, став жертвой заговоров и дворцовых переворотов.

Убийством чудовища очистив дорогу к престолу... Василий Македонянин твердо сел на нем...— Имеется в виду дворцовый переворот 21 апреля 865 г., в ходе которого фаворит императора Михаила III (842—867) македонский крестьянин Василий (он приглянулся императору своей необычной физической силой и искусством укрощать лошадей) убил соправителя Михаила III — надменного кесаря Варду. Спустя два года, после очередного дворцового переворота, но уже против Михаила III — гуляки и пьяницы, убитого 24 сентября 867 г., Василий (ум. 886) стал императором, получив прозвище Македонянин.

Лев Премудрый.— Лев VI Мудрый (866—912) — император с 886 г.

...фигуры риторики... силлогизмы и энтимемы логики...— Риторика — теория ораторского искусства, красноречия. Фигуры риторические — стилистические приемы и обороты, направленные на усиление выразительности речи — повторы, преувеличение (гипербола), нарушение привычного порядка слов в предложении (инверсия) и т. п. Силлогизмы — умозаключения, основанные на двух суждениях (посылках), ведущих к третьему суждению (выводу). Например: пресмыкающиеся — ползают; змея — ползает; следовательно, змея — пресмыкающееся. Энтимема — сокращенный силлогизм, в котором опущена одна из посылок. Логика — наука о формах рассуждений, ведущих к умозаключениям (выводам), о способах доказательств и опровержений.

Константин Порфирородный.— Константин VII (905—959) по прозвищу Багрянородный (т. е. родившийся в багрянице, порфире — императором; багряница порфира — пурпурная мантия, знак отличия императоров и царей), император-соправитель отца (908—912), император (913—920, 945—959); император-соправитель Романа I (921—944).

Роман II (938—963) — император с 959 г.

Василий — Василий II Болгаробойца (958—1025) — император с 976; свое прозвище получил за неслыханную даже по тем временам жестокость при завоевании им Болгарии в 1001—1019 гг.; по его приказу ослепляли попавших в плен болгар, оставляя один глаз каждому сотому пленному, который должен был служить другим поводом к войне.

Константин VIII (960—1028) — император с 1025 г.

С. 31. ...роды Копронимов, Ринотметов, Исавров, Юстинидов, Ираклидов...— Династии византийских императоров, названных так по имени первого в роду самодержца. Копронимы, Исавры (Сирийская династия) — годы правления 717—802; родоначальник Лев III Исавр (Сириец; ум. 741); другое название — по прозвищу сына Льва III — Константина V Копронима. Юстиниды — годы правления 518—582; родоначальник — Юстин I (ум. 527). Ираклиды, Ринотметы — годы правления 610—711; родоначальник — Ираклий (ум. 641); другое название по прозвищу Юстиниана II Ринотмета, императора в 685—695, 705—711 гг.

...Рим великий! ...на троне империи, носившей твое имя...— Византия — другое название Восточной Римской империи, которое она получила по исторической области на побережье Босфора и г. Византию, на месте которого был основан Константинополь (Царьград).

Дядя, его Александр.— Брат Льва VI, император в 912—913 гг.

Роман I (880—948) по прозвищу *Лакапин* (он родился в местечке Лакапа, расположенном в восточной части Малой Азии), император-соправитель (921—944) — см. комм. к с. 30.

...три сына Романовы — сыновья Романа I — Христофор (ум. 931), Стефан (ум. 945), Константин (ум. 945).

...пустынная обитель, на одном из отдаленных островов Архипелага. — Неточно. Роман I Лакапин был сослан на о. Прот — один из Принцевых островов Мраморного моря, находившихся напротив Константинополя.

...Роман, юный сын его... — император Роман II (см. комм. к с. 30).

С. 32. *Феофания* — Феофано (девичье имя Анастасия), дочь трактирщика, жена Романа II с 956 г.

Антиной — юноша, считавшийся идеально красивым, любимец римского императора Адриана II (76—138), в 130 г. утонул в Ниле; в честь него был создан город Антинополь, сооружен храм, отчеканены монеты, изваяны статуи.

Аполлон Бельведерский. — Мраморная скульптура юного красивого греческого бога солнечного света Аполлона, созданная во второй половине 4 в. до н. э. с греческого бронзового оригинала; мраморная копия хранится в Ватикане. *Бельведерский* (итал.) — прекрасный вид.

Василий и Константин — сыновья Романа II (см. комм. к с. 30).

Никифор II Фока (912—969) — император с 963 г.

...559 от воплощения Бога слова — т. е. от рождества Христова; наше современное летосчисление.

Индикт — летосчисление, в основу которого положен 15-летний цикл.

Звездозаконники — астрологи.

Фима, фема — единица административного деления; провинция, область.

...шатров сарацинских. — Сарацинами в то время называли арабов.

...с колодками на шее... — Колодки — деревянные кандалы, состоявшие из двух соединявшихся досок (колод — отсюда название) с одним (для шен) или двумя (для ног) отверстиями, которые надевались на пленников или арестантов, чтобы те не смогли убежать.

...дев Пелопонеза — т. е. гречанок.

С. 33. *Греческий огонь* — зажигательная смесь из нефти, смолы и серы, которую выбрасывали (выстреливали) на вражеские корабли из специального устройства — расширяющейся трубки (сифона); впервые был применен в 673—674 гг. при осаде Константинополя арабами; секрет приготовления держался в строжайшей тайне; изобретатель — сирийский архитектор Каллиник (Калликон).

...басни о стенах Вавилона и стовратных Фивах... — Согласно легендам стены Вавилона были настолько мощны, что по ним свободно передвигалась колесница, запряженная четверкой лошадей. Фивы — древнеегипетский город, находился в верховьях Нила, непо-

далеку от совр. г. Карнак и Луксор; названы «стовратными» в «Илиаде» Гомера в отличие от «семивратных» Фив, расположенных на территории Греции.

Золотые ворота — парадный въезд в Константинополь, находившийся в юго-западной части городских стен.

...дикий готф... — готы, восточногерманские племена.

Мурманское море — Норвежское море.

...на берегах Венедских — побережье Балтийского моря, Прибалтийские земли.

Боруссия — новолатинское название Пруссии.

С. 34. *Порфирные столпы* — колонны из порфира, горной породы, образовавшейся в результате застывания лавы, в которой сочетаются вулканическое стекло, кристаллы и другие вкрапления; аналог гранита.

С. 35. *Яхонтовое небо* — голубое.

...Христом — как называли императоров... — Христос (греч.) — помазанник; императоров и царей по традиции почитали «помазанниками Божиими».

Вечный город — Рим.

Завоеватель Крита. — Столица критских арабов г. Хандак была взята в марте 961 г. после семимесячной осады.

С. 35—36. *«Золота, серебра, золотых монет...»* — Цитата из второй книги, гл. 8, «Истории» Льва Диакона (ок. 950 — после 996) — известного византийского историографа. Здесь и далее Полевой цитирует по изданию: «История Льва Диакона и другие сочинения византийских писателей» СПб., 1820. Новейший перевод см. в кн.: Лев Диакон. История. М., 1988.

С. 36. *Каппадокия* — историческая область, находилась в центральной и юго-восточной части Малой Азии.

...в течение пятилетнего своего царствования... — Никифор царствовал 6 лет и 4 месяца.

Мопсуестия и Тарс Киликийский — города на юго-востоке Малой Азии. Мопсуестия (совр. Мисис, Турция) — была взята 13 июля, а Тарс (совр. Тарсус, Турция) — 16 августа 965 г.

Сорус (Сар) — древнее название реки Сейхан (Турция); впадает в Мерсинский залив Средиземного моря.

Антиохия (совр. Антакья на р. Оронт, Турция) — была взята 28 октября 969 г.

Алепп (Алеппо, Халеб) — город на северо-западе Сирии; был взят в 962 г.; по договору 969 г. эмир Алеппы обязался выплачивать Византии дань.

Гамаданские властители. — Имеется в виду арабская династия Хамданидов.

...одним взглядом своим укротил он бунт... — Весною 969 г. было два «бунта»: один, на Пасху, вылился в вооруженное столкновение армянского отряда и константинопольских моряков; дру-

гой — сорок дней спустя, в праздник Вознесения, когда толпа людей, недовольных тяжелым положением, сложившимся после засухи 968 г., и спекуляцией хлебом родственниками и приближенными императора, забросала на рынке Никифора камнями и комьями грязи.

Куропалат — один из высших светских титулов; четвертое по значению лицо в империи, не считая императора.

Эммануил — Мануил Фока, патрикий, двоюродный брат Никифора.

...вырвал... древние Сиракузы... — Полевой не точен: поход начался в октябре 964 г., византийские войска с ходу овладели Сиракузами и другими городами на о. Сицилия, но после, во время преследования противника, отошедшего в горы, Мануил был убит, а его войска разгромлены, спастись и вернуться на родину удалось немногим.

Велизарий (505—565) — византийский полководец, германец по происхождению, проводил в жизнь политику Юстиниана I, направленную на восстановление Римской империи; в 533—534 гг. разгромил королевство вандалов, известных своими грабежами (отсюда «вандализм»); вел войну с остготами (535—540, 544—548) за освобождение Италии; в 542 г. сдерживал наступление персов, а в 559 — гуннов.

С. 37. *Эдесса* (ныне Урфа, Турция) — город в Месопотамии; *Гieroполь* (Гераполь) — город на р. Евфрат (Сирия) — были взяты византийцами в 966 г.

...багряницу Августа... — Август (лат. — возвеличенный) титул римских императоров; багряница — см. комм. к с. 30.

...св. Михаил Малец (ум. 961) — дядя Никифора II Фоки по материнской линии; став в конце жизни монахом, прославился своим аскетизмом.

...слухи о поражении греков в Сицилии... — см. комм. к с. 36.

...и движениях варваров на Дунае. — Имеется в виду появление на Дунае русских войск в 968 и 969 гг. под водительством Киевского князя Святослава (см. комм. к с. 191).

С. 40. *«Синтагмы»* — Имеется в виду книга «О церемониях», приписываемая Константину VII Багрянородному.

...о правлении государством, о состоянии Греции... — Имеются в виду книги Константина VII «Об управлении империей» (948—952) и «О фемах» (фема — см. комм. к с. 32).

Ужас Булгаров — Василий II Болгаробойца (см. комм. к с. 30).

С. 41. *...казался Геркулесом, пойманным Деянирой...* — Согласно греч. мифологии Геркулес (Геракл), находясь в загробном мире, куда был послан за стражем подземного царства — трехглавым псом Кербером (Цербером), в царстве теней встретил тень Мелагра — одного из героев греч. мифов, которому обещал стать защитником его сестры Деяниры и жениться на ней; вернувшись на землю

и встретив Деяниру, Геракл был пленен ее красотой, принял участие в состязании женихов, победил всех претендентов и получил ее в жены.

С. 43. *Акуфий* — см. наст. издание с. 159.

С. 44. *Эллада* — название собственно Греции (см. комм. к с. 29). *Геллеспонт* — пролив Дарданеллы.

С. 45. *Царство Мизийское* — Византийское наименование Болгарского царства, формирование которого происходило на земле мизийцев — фракийского племени, вследствие чего в Византии болгар традиционно называли мизийцами (мисянами).

...император Юстиниан уничтожал сию опасную секту...— В 529 г. Юстиниан I изгнал из Афин всех нехристианских философов.

...ниспровергал ее кафедры, разрушал ее проклятые академии...— Имеется в виду Академия, созданная в Афинах в 385 г. до н. э. Платоном как религиозно-философский союз, члены которого занимались разработкой широкого круга вопросов в области философии, математики, астрономии, естествознания и т. п.; в 176 г. до н. э. римский император Марк Аврелий (121—180) учредил в Афинах четыре философские кафедры; Академия и кафедры просуществовали в виде разных философских школ до 529 г., когда были закрыты Юстинианом I.

С. 46. *...великий святитель Василий...—* Василий Великий (ок. 330—379), архиепископ и богослов, основоположник монашеских орденов, создатель устава монашеской жизни.

С. 47. *Стефан Византийский* (конец VI — перв. пол. VII) — философ, грамматик, составил географический словарь, в котором были и сведения по литературе, истории и жизнеописания знаменитых людей.

Плутарх (ок. 49 — после 119) — древнегреческий историограф и философ.

Симплиций (Симпликий; 1 пол. VI в.) — последний философ-неоплатоник (последователь Платона) был среди изгнанных из Афин в 529 г. Юстинианом.

Козьма Индикоплест (Индикоплов; VI в.) — купец, мореплаватель, автор «Христианской топографии», в которой пытался опровергнуть античную космогонию (учение о возникновении небесных тел) и заменить ее библейской концепцией вселенной.

Черное море — Красное море.

С. 48. *Софисты* (греч.) — учителя мудрости.

Арий (ум. 336) — священник из г. Александрии; выступал против христианской идеи богочеловека, утверждал, что существовал только Бог-отец, а сын Божий (т. е. Христос) сотворен им как и человек, но отличается от других людей более высокими достоинствами и в своем стремлении к благу сам становится богом.

Павликий — лицо вымышленное, предполагаемый основатель павликианства — учения, согласно которому мир разделен на два

враждебных царства: одно — духовное, царство бога (добра), другое — материальное, царство сатаны (зла); павликианство отвергло ряд христианских обрядов (крещение, причащение, пост и др.) и церковь, видя в ней защитницу порядков, созданных сатаной (социальное неравенство, эксплуатация и т. п.).

С. 49. *Трусы* — землетрясения; *глады* — голод.

...*помрачения солнца и месяца*... — солнечные и лунные затмения.

...*огненные змеи, огненные столпы на небесах*... — кометы и северное сияние.

Оттон I — См. комм. к с. 29.

С. 50. *Константин Равноапостольный* — имеется в виду Константин I (см. комм. к с. 27). *Равноапостольный* — т. е. в иерархии святых признан равным 12 апостолам — ученикам и первым проповедникам учения Христа.

...*принцесса*... *выдана за варвара болгарского*... — внучка Романа I Мария-Ирина была замужем за болгарским царем Петром (см. комм. к с. 52).

...*повелитель*... *женился на дочери хазарского хана*... — Имеется в виду Константин V Копроним.

...*женил сына на дочери бедного итальянского князя*... — Имеется в виду сын Константина VII Роман II (см. комм. к с. 30); он был обручен с Бертою-Евдокиею (она умерла до свадьбы) — дочерью графа Арльского Гугона, правителя галльского г. Арль (ныне в р. Роны на юге Франции), который не был итальянским князем.

С. 51. ...*будто ты... приходишь от Цезарей*... — т. е. ведешь свою родословную по прямой линии от римских императоров.

С. 52. *Литр*, либр — весовая (327,45 гр.) и денежная единица; соответствовала 72 солидам — римская золотая монета весом 4,55 гр., или номисмам — византийская золотая монета аналогичного достоинства.

Сфендослав — греческое написание имени Киевского князя Святослава (см. комм. к с. 191).

Агаряне — собирательное наименование восточных народов, прежде всего арабов; буквально — потомки Агари, служанки библейского Авраама, который имел от нее сына Измаила; другое название агарян — измаилитяне.

Петр Болгарский (ум. 969) — Болгарский царь с 927 г. был женат на внучке Романа I (см. комм. к с. 50) Марии-Ирине, дочери Христофора (см. комм. к с. 31).

С. 53. *Киовия* — Киев, Киевская Русь.

Истр или Дануб — Дунай.

...*юный царь*... *Борис*... — Борис II (ум. 971), сын Петра Болгарского, царь с 969 г.

...*град Адриана* — г. Адрианополь (ныне — Эдирне, Турция); назван в честь римского императора Адриана II (76—138).

...внук Симеона, правнук Богориса...— Богорис — Борис I Михаил (ум. 889), Болгарский царь с 852 г.; Симеон (ум. 927) — его сын, Болгарский царь с 893 г.

...посвященного светом истинной веры от щедрот Великого Василия...— т. е. принявшие христианство в годы правления Василия I Македонянина (см. комм. к с. 30).

С. 54. *Ингор* — Игорь (ум. 945), князь Киевский с 912 г.

С. 55. Эпиграф.— Библия. Ветхий завет. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, гл. 10, ст. 8—10, 12, 25.

Юстиниан — см. комм. к с. 29.

...достопамятная *Ника* — Имеется в виду восстание в Константинополе 532 г., когда народные массы, недовольные тяжелой налоговой политикой Юстиниана I и руководимые цирковыми партиями «снних» («голубых») и «зеленых», вышли на улицу с цирковым кличем — «Ника!» (греч. *Nika!* — «побеждай!»).

С. 56. *Прокл* (412—485) — знаменитый греческий философ-неоплатоник в строительстве Святой Софии (532—537) участия принять не мог; кого и что имел в виду Полевой — неизвестно; храм построили Анфимий (у Полевого — *Антемий*) Траллеский и *Исидор Милетский* — византийские зодчие.

Нарфекс или портик оглашенных. — Имеется в виду нартекс — притвор, помещение с западной стороны храма, где происходило «оглашение» желающих принять веру — знакомство их с христианским учением перед обрядом крещения; некрещеных дальше нартекса в храм не пускали.

С. 57. *Аврелиан* Луций Домиций (214—275) — римский император с 270 г.; в 274 г. ввел культ бога Солнца, провозгласив его высшим государственным божеством.

...из храма *Эфесского*...— Имеется в виду одно из семи чудес света — знаменитый храм Артемиды (богини плодородия и целомудрия, покровительницы супружества и деторождения), находившийся у г. Эфеса (западная часть Малой Азии при впадении р. Каист — ныне Малый Мендерес — в Эгейское море). Этот храм в 356 г. до н. э. был сожжен, желавшим хоть как-то прославиться Геростратом («геростратова слава»), но затем восстановлен.

С. 58. *Оттоманское юношество* — турецкие юноши.

Платейская битва. — Имеется в виду разгром греками персов в 479 г. до н. э. у г. Платен (северо-западное побережье Коринфского залива, Греция).

Бог Дельфийского храма — Аполлон; Дельфы — святилище (храм) Аполлона у подножия горы Парнас в Фокиде (историческая обл. в центральной Греции между Коринфским и Малийским заливами), местонахождение одного из знаменитых прорицателей (оракулов) Греции.

Победоносный Мугаммед IV. — Победителем в Царьград (Константинополь) после полуторамесячной осады и штурма города

вошел 29 мая 1453 г. турецкий султан Мехмет (Мухаммед) II (1432—1481).

С. 59. *Лизимах* — Полевой оговорился. Имеется в виду Лисипп (2-я пол. 4 в. до н. э.) — знаменитый древнегреческий скульптор, создавший несколько статуй Геракла (Геркулеса, Алкида). Лизимах (Лисимах; ок. 360—281) — военачальник Александра Македонского.

Акциум (Акция) — мыс и одноименный город на берегу Амброкского залива (ныне — Артрийский залив на северо-западе Греции), напротив которых флот римского императора Августа (63 до н. э.—14 н. э.) 2 сентября 31 г. до н. э. разбил флот Марка Антония (82—30 г. до н. э.) — римского политического деятеля и полководца; в 43—36 гг. одного из соправителей Августа (члена триумвирата), затем его противника в борьбе за власть.

Римская волчица. — Согласно преданию, младенцы Ромул и Рем — будущие основатели Рима, брошенные Амулием — легендарным царем г. Альба Лонга — в р. Тибр и прибитые волнами к берегу, были вскормлены волчицей и затем воспитаны пастухом.

Сцилла — мифическое морское чудовище, имевшее двенадцать ног и шесть голов с огромными пастьми, обитало по одну сторону пролива между Италией и Сицилией и пожирало все живое; с другой стороны этого пролива находилось другое чудовище — Харибда, которая трижды в день всасывала в себя воду и с ревом выпускала обратно. Храбрый и мудрый Одиссей — герой троянского цикла греческих мифов, сумел провести свой корабль через пролив, охраняемый этими чудовищами (см. гомеровский эпос — «Одиссея»). В переносном смысле: оказаться между Сциллой и Харибдой — значит попасть в ситуацию, когда с одной и с другой стороны вам угрожает зло, разное по характеру, но одинаково неотвратимое и страшное.

С. 59—60. *Взоры зрителей... отдыхали на статуе Елены*. — Елена Прекрасная — одна из героинь греческой мифологии («гомеровского эпоса»), дочь Леды и Зевса, падчерица мифического спартанского царя Тиндара.

С. 60. *...диких обитателей Лаконии*. — Имеются в виду спартанцы, жители г. Спарты — центра Лаконии (обл. на юго-востоке Пелопоннеса). Елена была не только падчерицей Тиндара, но и женой Спартанского царя Менелая (см. комм. к с. 28).

«О, что скажу я о совершенстве ее стана...» и далее: *«О дочь Тиндара...»* — Цитаты из «Хроники» Никиты Хониата (Хоннатского; ок. 1150—1213) — византийского оратора и историка.

Афродита — греческая богиня любви и красоты.

Эней — персонаж греческо-римской мифологии; родился в Трое; упоминается в «Илиаде» Гомера, главный герой «Энеиды» Вергилия Публия Марона (70—19 до н. э.) — римского поэта.

Илион — второе название г. Трои, отсюда «Илиада».

Треножник Дельфийский — своеобразный круглый стул с тремя ножками, на котором восседала во время своих пророчеств и предсказаний пифия — жрица-прорицательница Дельфийского храма (см. комм. к с. 58).

Прорицалище Аполлоново — храм в Дельфах (см. комм. к с. 58).

С. 61. *Аполлоний Тианский* — Полевой оговорился. Имеется в виду так называемая статуя Аполлона Тенейского в Коринфе (6 в. до н. э.). Аполлоний Тианский (I в. н. э.) — проповедник-моралист, философ, последователь греческого философа Пифагора (ок. 540—500 до н. э.).

...подобно голове Медузы. — Медуза (греч. — повелительница) — мифическое чудовище, тело ее покрывала медная чешуя, в волосах вились и шипели змеи, а встретивший ее взгляд превращался в камень; погибла от руки Персея, который отрубил Медузе голову, глядя на ее отражение в медном щите; изображалась в виде женской головы, с волосами из змей.

С. 62. *...в Олимпии, Немее, на Истме Коринфском.* — Имеются в виду игры: Олимпийские, проводимые в честь Зевса раз в четыре года в священной Олимпийской долине; Немейские, также в честь Зевса, которые проводились в Немейской долине каждые два года на второй и четвертый года Олимпиады, и Истмийские, проводившиеся на Коринфском перешейке раз в два года в честь греческого бога морей и вод Посейдона.

С. 63. *...полчища парфян...* — Парфяне, иранское племя, кочевники; в I—III вв. Рим и Парфянское царство вели борьбу за обладание Месопотамией и Арменией.

Калигула («солдатский ботинок») — прозвище Гая Цезаря Германика (12—41), римского императора с 37 г.; *Нерон* — см. комм. к с. 30; *Вителлий* Авл (12—69), римский император в 69 г.; *Коммод* — Марк Аврелий Коммод Антоний (161—192), римский император с 180 г.; *Каракалла* («одетый по-галльски») — прозвище Марка Аврелия Севера Антония (186—217), римского императора с 211 г., *Гелиогабал* — см. комм. к с. 30.

С. 64. *...сражение разных званий...* — т. е. людей разных сословий.

Ересь Ария — см. комм. к с. 48.

Антиохия — см. комм. к с. 36.

Равенна — город в северной Италии; основан в 5 в. до н. э. этрусками (древнейшая народность, населявшая Апеннинский полуостров); в 3 в. до н. э. завоеван римлянами; в 5 в. н. э. — резиденция западных римских императоров; в 493—555 гг. — столица государства остготов, затем — византийского наместника.

Никея — город на берегу Мраморного моря, столица Вифинии — исторической обл. на северо-западе Малой Азии; со 2 в. до н. э. в вассальной зависимости от Рима; с 74 г. до н. э. — в составе Римской империи.

С. 66. *Царствование Маркиана; Пульхерии и Льва утвердило православие...*— Имеется в виду борьба с религиозными распрями, вызванными различным пониманием двуединности естества в Христе, которая завершилась поражением еретиков, ориентировавшихся на толкование, свойственное египетской церкви (сущность Христа единая), и укреплением в Константинополе позиций сторонников двуединности (Христос имел два естества — божеское и человеческое); наиболее острый характер эта борьба приняла в годы правления императора Маркиана и императрицы Пульхерии (450—457) и императора Льва I (457—474).

Евтихий — архимандрит одной из Константинопольских церквей в 40—50-е годы IX в.; сторонник подчинения Константинопольской церкви (православной) египетской («еретической»).

...варвары сарацинские жгли...— Знаменитая Александрийская библиотека (Александрия — см. прим. к с. 87) была почти полностью уничтожена в 273 г. войсками императора Аврелиана (см. прим. к с. 57), ее остатки были переправлены в храм Серапиум (отсюда — Серапионская библиотека).

...знаменитая библиотека Серапионская...— Серапиум был разрушен в 391 г. христианами-фанатиками; в 642 г. его уничтожение завершили мусульмане-фанатики.

...школы Веритская и Эдесская были уничтожены...— Эдесская теологическая школа (г. Эдесса в Сирии), где ведущее место занимали последователи Нестория (см. комм. к с. 69), была закрыта византийским императором Зиноном в 489 г.

Арианин — последователь Ария (см. комм. к с. 48).

Лев, возведенный на престол силою... Аспара...— Аспар — готский вождь, командир отряда наемников-варваров, где офицерами были византийцы; в 450 г. его офицер Маркиан стал мужем Пульхерии и императором, после смерти которого в 457 г. императором стал другой офицер отряда — фракнец Лев (см. выше комм. к этой стр.). Аспар, его семья и отряд готов были перебиты солдатами корпуса исавров, которыми командовал Зинон, вскоре женившийся на дочери Льва I и после его смерти ставший императором (474, 476—491).

Лев младший — Лев II, император Византии в 474 г.

Зенон... заключенный заживо в гробницу...— Имеется в виду версия, согласно которой во время дворцового переворота 9 апреля 491 г. мертвецки пьяного Зинона (Зенона) выдали за покойника и заживо похоронили.

...самозванца Василиска.— Василиск — военачальник, брат жены Льва I, захватил в январе 475 г. власть в Константинополе и провозгласил себя императором; в августе 476 г. войска Зинона заняли Константинополь и императором снова стал Зинон.

...любимец супруги его... Анастасием назывался...— Вдова Зинона Ариадна своим мужем избрала своего любовника, выходца

из незнатной семьи, дворцового служащего — силентария (см. кн. с. 40) Анастасия Дикора, которого затем сенат, духовенство и цирковые партии Константинополя, в свою очередь, избрали императором; правил до 518 г.

Грубый славянин, пахарь фракийский, сел на престол... Юстином назывался...— Юстин I (ум. 527) — македонский крестьянин благодаря силе и красивой внешности стал гвардейцем, дослужился до высокой должности командира дворцовой гвардии; после смерти Анастасия 10 июля 518 г. гвардия, сенат и цирковые партии избрали его императором.

С. 67. Юстиниан... основатель... учения римского права...— Имеется в виду систематизация по инициативе Юстиниана I действующего римского законодательства и составление единого «Свода гражданского права» (529 г.).

Нарсес (ок. 478—568) — византийский полководец, армянин по происхождению; в 552—555 гг. разбил в Италии остготов; первый византийский наместник Италии (555—567).

Велизарий — см. комм. к с. 36.

...Феодоры, публичной плясуньи, дел которой постыдились бы Мессалины и Фаустины...— Феодора (500—548), императрица, жена Юстиниана I, до замужества была дочерью смотрителя за дикими зверями в Константинопольском цирке; невысокого роста, изящная, отличалась редкой красотой и умом; рано начала развратную жизнь, была танцовщицей, куртизанкой; проявила себя великой мастерицей тайных интриг, беспощадно расправлялась со своими врагами. *Мессалина* (ок. 25—48) — третья жена болезненного и слабохарактерного римского императора Клавдия (10—54; император с 41 г.), одна из наиболее известных развратниц эпохи Римской империи; властная, коварная, жестокая женщина, фактически управляла страной вместе со своими любовниками; участвовала в заговоре против мужа, после чего была им казнена. *Фаустина* — Было две Фаустины — мать и дочь: Старшая (100—141), римская императрица с 138 г., и Младшая (130—176), римская императрица с 161 г. Имя Фаустины — во множественном числе — Полевой приводит, следуя традиции, идущей еще из античности. Однако в конце XIX в. историки обратили внимание на ряд фактов из супружеской жизни этих женщин, которые дали основание для серьезных сомнений относительно справедливости и объективности той характеристики, какую дали им античные писатели.

...заставил несчастных мудрецов... укрываться при дворе Хозроя...— Имеется в виду бегство афинских философов во главе с Юанном Дамаскием (Дамаскином; ок. 460 — после 538) ко двору шаха Ирана, персидского царя с 531 г., Хосрова I Ануширвана (ум. 579), после закрытия в 529 г. Юстинианом I афинских философских школ.

Феодорик, повелитель Рима...— Имеется в виду Теодорих I Ве-

ликий (454—526), король остготов с 471 г.; в 493 г. убил правителя Италии (с 476) Одоакра (433—493) и основал на ее территории государство остготов.

С. 69. *«Синие» и «зеленые» ударили набат...*— Далее описывается восстание «Ника» (см. комм. к с. 55).

Несторий (ум. ок. 450) — антиохийский священник, потом константинопольский патриарх в 428—431 гг.; осужден как еретик в 431 г. и сослан в Египет; основатель учения (несторпнство), согласно которому Христос родился простым человеком, сумевшим преодолеть свойственные людям слабости и стать мессией — божьим избранником (посланцем), призванным установить на Земле угодный Богу порядок; божественное начало, считали несториане, никогда не сливалось в Христе с человеческим, пребывая в отдельном соединении, и дева Мария была не Богородицей, а «человекородицей».

Пелагий (ум. 418) — кельтский священник, основатель пелагианства (ок. 400 г.) — учения, согласно которому человек не подавлен первородным грехом, рождается свободным и сам выбирает свой путь; на него, как и на других потомков Адама и Евы, не переходит первородный грех, ибо грех свойство души, а не тела, а потому человек своими собственными действиями, разумом и озарением, посылаемым Господом, способен достичь праведности и спасения. Пелагианство было осуждено византийской церковью.

...хитрый Трибониан...— Видный византийский юрист, правовед, главный деятель законодательной реформы Юстиниана I, руководил составлением «Свода гражданского права», разработкой других законодательных и судебных актов.

Иоанн Каппадокийский — министр финансов и видный администратор при Юстиниане I, провел финансовую и налоговую реформы, в частности ввел «налог на воздух», — за нарушение нормы (менее 10—15 шагов), какой определялось расстояние между домами; ввел постоянные рыночные цены на рабов и т. д.; его реформы тяжело сказались на материальном положении горожан, но обогатили императорскую казну; они явились одной из причин восстания «Ника» (см. комм. к с. 55).

С. 70. *Герулы* — племя восточных германцев; сначала проживало в Скандинавии; в 3—4 вв. — перебралось в низовья Рейна, затем — в 5—6 вв. на берега Дуная; их многочисленные отряды находились на службе у римлян и византийцев.

С. 73. *Аммиан Марцеллин* — Аммиан Марциал (ок. 330—400) — выдающийся византийский историк, автор многотомного труда «Деяния»; грек по происхождению; умер задолго до описываемых Полевым событий; цитируемые слова относятся к римскому Цирку.

...чудо зодчества на месте сгоревшей Софийской церкви...— Об этом говорится на с. 55—57 настоящего издания.

С. 74. *Юстин II* (ум. 578) — византийский император в 565—578 гг.

Иконоборцы — противники иконопочитания; считали иконы своеобразными идолами и культ икон — формой идолопоклонства; такой взгляд на иконы разделяли павликианцы (см. прим. к с. 48); Лев III Исавр в 730 г. ввел запрет на почитание икон, этот запрет сохранялся и в годы правления Константина V Копронима (см. комм. к с. 30), культ икон восстанавливается в 787 г. и окончательно утверждается в 843 г.

Канкринские, или раковые стихи — стихотворения, каждая строка которых читается слева направо и справа налево.

С. 75. *...тогда знамениты были...* — Полевой перечисляет известных византийских историков и писателей, в том числе родившихся уже после описываемых им событий.

...патриарх Фотий составил... Мириовивлон... — Имеется в виду объемное собрание выписок из 280 произведений греческих авторов, названное «Мириобиблон», («Многокнижие», дословно — «Много книг»), осуществленное видным ученым, книжником и дипломатом Фотием (ок. 820 — ок. 893), константинопольским патриархом в 858—867 и 877—886 гг.

С. 75. *Феофилакт* (917—956) — константинопольский патриарх в 933—956 гг.

С. 76. *Роман младший* — Роман II (см. комм. к с. 30).

...в походах азийских и сицилийских... — см. комм. к с. 36, 37.

...приближался не с тем поездом — т. е. не с той свитой.

С. 77. *...половина седьмой тысячи лет близка к окончанию...* — Согласно летосчислению от сотворения мира тогда шел 6477 г.; эта цифра — результат сложения библейского времени от начала сотворения мира до рождения Христа (5508 лет) и после рождения (969 лет).

С. 80. *«Провидение Всевышнего...»* — Лев Диякон «История», кн. 5, гл. 3.

Менандр (342—ок. 290 до н. э.) — древнегреческий комеднограф.

Стобей Иоанн (VI в.) — византийский писатель, составил книгу «Цветник, или Сборник изречений», в составе которой до нас дошли и отрывки из утраченных комедий Менандра.

С. 82. *Изида, Исида* — египетская богиня материнства; управляла человеческими судьбами.

С. 85. *Атлантида великого Платона* — см. комм. к с. 28.

...с куском металла будет он плавать на морях... — т. е. с компасом.

Офир — библейское название сказочно богатой страны.

...в мифах Элевзина и Мемфиса, Дельф и Самофракии... — см. комм. к с. 28, 60.

Сократ испивает цикуту... — Сократ (470—399 до н. э.) — древ-

негреческий мыслитель, мастер философского спора и мудрой беседы; свои высказывания и рассуждения никогда не записывал, его суждения дошли до нас в изложении других греческих философов (диалогах Платона, сочинениях Аристотеля и т. д.); был постоянно окружен слушателями-учениками, вел с ними беседы о благе, справедливости, власти, которую должны осуществлять люди «лучшие», высоконравственные, честные, овладевшие искусством управления; критиковал недостатки современной ему афинской демократии, на основании чего был обвинен в «введении новых божеств и развращении юношества» и приговорен к смерти; отказался от спасения бегством, принял в тюрьме яд. *Цикута* (лат.) — вех ядовитый, растение семейства зонтичных.

Архимед гибнет под мечом варвара...— Знаменитый античный математик и физик погиб в 212 г. в Сиракузах при взятии города войсками карфагенского (финикийского) полководца Ганнибала (247—183 до н. э.).

Софокл влечется на суд...— Софокл (ок. 496—406 до н. э.) — великий древнегреческий драматург, трагик. Его сын Иофонт, желая получить в свои руки все имущество, принадлежавшее их семье, подал на престарелого отца в суд, объявив его сумасшедшим, неспособным вести хозяйство. Однако суд отверг это обвинение, в свою очередь, указав на умопомешательство самого Иофонта.

С 86. ...*в отчизне Авариса, Замолксиса и Анахарсиса, искали света...*— Имеются в виду государства Северного Причерноморья, Скифия — северные по отношению к Византии страны. *Замолкис* — скиф-гет, жил в рабстве у Пифагора (6 в. до н. э.), позднее распространил его учение в Скифии. *Анахарсис* (2-я пол. 6 в. до н. э.) — скиф-философ, долгое время жил в Греции; его прямота, честность, непосредственность, отсутствие коварства почитались греками, как идеал утраченной ими добродетели; выступал для греков образцом морали «варваров»-росов, духовным наставником скифов (тавро-скифов).

Великий Епифаний — Имеется в виду Епифаний Кипрский (315—403), епископ (с 376 г.) Саламина (Констанция) на о. Кипр; в своих сочинениях собрал и систематизировал источниковедческие и критические материалы по 80 ересям, включая философские школы и различные религиозные секты, что в сжатой форме изложено Полевым.

С. 87. ...*златая цепь мудрых, из Александрии перенесенная в Пергам, из Пергама в Афины...*— Александрия — город, основанный Александром Македонским в 332—331 гг. до н. э. в Египте в дельте Нила, был культурным, научным и торговым центром Востока по III в. н. э., прославился своей библиотекой — одним из семи чудес света; в IV—V вв. начинается культурный и экономический упадок города; в 391 г. в результате религиозных распри, сопровождавшихся разрушением литературных и культурных цент-

ров, научная жизнь в нем фактически прекратилась. *Пергам* (совр. г. Бергама в западной части Малой Азии) — основан в 4 в. до н. э., столица Пергамского царства (293—133 до н. э.), научный и культурный центр; наивысший расцвет — 241—159 г. до н. э., его библиотека соперничала с Александрийской; затем начинается упадок; разрушен арабами в 713 г. *Афины* — один из центров античной науки и культуры 5 в. до н. э.—6 в. н. э. Полевой в предложенной им хронологии «золотой цепи мудрых» неточен. Эта «цепь» берет свое начало в Афинах с момента создания Академии Платоном в 385 г. до н. э., проходит через Александрию и Пергам и в Афинах замыкается вместе с ликвидацией философских школ Юстинианом I в 529 г.

Порфирий (234 — ок. 305) — греческий философ-неоплатоник (последователь Платона); умер в Риме. *Ямвлихий* (Ямвлих; ок. 280 — ок. 300) — греческий философ, последователь Порфирия, основатель сирийской школы неоплатоников. *Плутарх* Афинский (ум. 432) — греческий философ, возглавлял Академию Платона. *Сириан* — греческий философ-неоплатоник, возглавлял Академию Платона в 432—437 г. *Прокл* Диадох (412—485) — философ-неоплатоник, возглавлял Академию Платона после смерти Сириана. *Марин*, *Исидор Газский*, *Зенодот* — философы, последовательно возглавлявшие Академию после смерти Прокла, *Дамаский* (Дамаскин) Иоанн — ее последний глава (о нем см. комм. к с. 67).

Лицей перипатетиков — философская школа, созданная Аристотелем; получила свое название по месту — «Перипат (ос)» (греч. — крытая галерея, часть здания гимнасия или Ликей), где проводил свои занятия с учениками Аристотель.

Портики стоиков — философская школа, основанная в Афинах ок. 300 г. Зеноном (ок. 333—262 до н. э.); получила название по портику Стоя («Stoa poikile» — «Пестрый портик»), где проводил занятия Зенон.

С. 88. *Кипосы эпикурейцев* — философская школа («кипос»), основанная в 310 г. в г. Митилена древнегреческим философом Эпикуром (341—270 до н. э.) и переведенная в 306 г. в Афины.

С. 89. ...*при... Василии Македонском славянам суждено было восхвалить Бога истинного на своем языке...* — Имеется в виду начало богослужения на славянском языке, которое начал вести в Моравии выдающийся просветитель епископ Мефодий, куда он направился из Рима в 696 г., после смерти своего брата Константина (Кирилла).

Александр хотел уничтожить род свой... — см. об этом в книге на с. 31.

Кедрин Георгий (XII в.) — византийский писатель, составил «Обозрение истории», охватывающей события 284—1057 гг.

Зонара Иоанн (ум. после 1118) — византийский писатель-исто-

рик, автор «Сокращенной истории», повествующей о событиях мировой истории, начиная от сотворения мира по 1118 г.

Скифская царица...— Имеется в виду княгиня Ольга, которая в 957 г. посетила Константинополь и тогда же, по преданию, приняла крещение; существует, однако, мнение, что она крестилась раньше, еще в Киеве, и приехала в Царьград уже крещеной.

С. 90. *Аль-Мамун*— халиф (верховный правитель) Арабского Халифата в 813—833 гг.

Феофил (ум. 842) — византийский император в 829—842 гг.

С. 92. *Платон... написал обо всем этом...*— Имеется в виду книга Платона «Апология».

С. 93. *...как Дарий, идти в Скифию... и погубить там юношество царьградское...*— т. е. погубить византийское войско подобно персидскому царю Дарию I (ум. 485 до н. э.), предпринявшему против скифов поход в 514—513 гг. до н. э., закончившийся неудачно.

С. 94. *...приводил в пример Ирода и Юлиана Отступника...*— Имеется в виду библейская легенда о неудавшемся плане царя Иудеи (с 40 г.) Ирода I Великого (ок. 73—4 до н. э.) погубить родившегося Христа. Не зная, где и в какой семье родился Христос, Ирод приказал «убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже». Однако накануне, почью, разбуженные ангелом, родители Христа — Иосиф и Мария, вместе с младенцем покинули Иудею и ушли в Египет, Христос был спасен. *Юлиан Отступник* — Флавий Клавдий Юлиан (332—362) — византийский император с 361 г., вошел в историю церкви как гонитель христиан; придя к власти, он отказался от христианства, перешел в язычество, возродил почитание старых (языческих) богов, вернул из ссылки всех противников христианства, удалил из школ учителей-христиан и т. д., заслужив тем самым прозвище «Отступник».

Псамметих (664—610 до н. э.) — египетский фараон 26-й династии.

Антоний — см. комм. к с. 59.

С. 95. *...бунтовщика Виталия* — Имеется в виду Виталиан, византийский военачальник, руководитель восстания Балканских провинций в 513—515 гг.

...начал Прокл... кончил мудрый Каллиник...— см. комм. к с. 33.

С. 96. *Мирмикион* (Мирмикий) — город, расположенный в Крыму в районе нынешней Керчи.

Меотийские болота — Меотида — древнее название Азовского моря.

Атрид — Агамемнон, персонаж «Илиады» Гомера.

...от берегов ледяной Фуле (Туле) — так греческий географ и исследователь северо-запада Европы Пифей (4 в. до н. э.) назвал остров — крайнюю точку, до какой ему удалось добраться. Византийские историки отождествляли ее со Скандинавией, однако установить, какой остров имел в виду Пифей, пока не удалось.

С. 99. *Симпликий* — см. комм. к с. 47.

...по примеру Эпикура... — Имеется в виду развиваемая Эпикуром (см. комм. к с. 88) мысль, что наслаждаться жизнью можно, лишь обретя независимость от внешних условий, «живя незаметно», отрешившись от действительности, удалившись от людей, убежав от общества.

Эпиктет бежал из Рима... — Эпиктет (букв. «прикупленный» — кличка раба; подлинное имя — неизвестно; ок. 50 — ок. 140) — греческий философ-стоик, в юности был рабом, затем отпущен на волю; изгнан вместе с другими философами из Рима в 89 г. императором (81—96) Домицианом Титом Флавием (51—96), недовольным их позицией по отношению к его власти: они выступали за личную свободу; подобно Сократу, Эпиктет излагал свои мысли в беседах, ничего не записывая.

...во времена Диоклитиановы... — Полевой оговорился. Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (245—316) был римским императором в 284—305 гг., т. е. много лет спустя после смерти Эпиктета.

С. 100. ...развернул огромную книгу... — «О природе человека» Немесия (Немезия) Эмесского (вторая половина V—начало VI вв.) — ранневизантийского мыслителя, епископа сирийского г. Эмессы. Далее идет изложение взглядов Немесия, получивших отражение в названной книге.

С. 102. ...подобно Плавтову Скупому — Имеется в виду Эвклион — персонаж комедии «Клад» («Золотой горшок») выдающегося римского комедиографа Плавта (ок. 250—184 до н. э.).

С. 103. ...спишь крепче Эндимиона — Эндимион — в греческой мифологии прекрасный юноша, возлюбленный богини Луны Селены, которому — по одной версии Зевс, по другой сама Селена — даровали бессмертие, погрузив в вечный, непробудный сон.

С. 111. Эпиграф — Симпликий «Эпиктета-философа памятные заметки» (см. комм. к с. 47, 99).

Киприда — другое имя греческой богини любви и красоты Афродиты по одному из мест ее культа — о. Кипру.

Психея — супруга греческого бога любви Эроса.

С. 112. *Нинон Ланкло* — Анна (Нинон) де Ланкло (1616—1706) — известная французская куртизанка; первым ее поклонником был знаменитый кардинал Ришелье; до поздней старости сохранила остроту ума и привлекательность, ее салон (дом) посещали знатнейшие люди, поэты, писатели.

Лаис, Фрин, Таис, Аспазий, Ласфений — имена греческих гетер, ставшие нарицательными для обозначения женщин легкого поведения, куртизанок.

...изобретая Аркадии — Аркадия — горная область в центральной части Пелопоннеса; картины ее природы, идиллические сцены безмятежной, райской жизни пастухов и пастушек на ее фоне, воспетые эллинскими поэтами и Вергилием, со временем стали симво-

лом безмятежного, райского уголка земли, общим местом сентиментальной поэзии; олицетворяла мечту о счастливой жизни в полном слиянии с природой.

Венера — римская богиня любви.

Диана — римская богиня женственности и плодородия, соответствует Артемиде (см. комм. к с. 57).

Флора — римская богиня весны, цветов и юности.

Юнона — римская богиня, высшее женское божество, покровительница женщин и домашнего очага.

С. 113. *Омирова Елена* — героиня «Илиады» Гомера.

Виргилиева Лавиния — персонаж «Энеиды» Вергилия.

Диоген Синопский (ок. 412—323 до н. э.) — философ-моралист, отличался презрительным отношением к культуре (жил в бочке), вел нищенский образ жизни, считал себя гражданином мира (космополитом), отвергал брак, утверждал, что надо жить по законам природы, подобно первобытным людям.

Перикл (ок. 495—429 до н. э.) — один из крупнейших афинских деятелей, при котором Афины в 444—429 гг. достигли экономического, политического и культурного расцвета. Его второй женой была Аспасия (Аспазия), однако их брак не был признан законным; противники Перикла обвинили на этом основании Аспасию в безнравственности, привлекли к суду, нарекли ее гетерой.

Аристофан (ок. 445 — ок. 386 до н. э.) — выдающийся греческий драматург-комедиограф.

Исократ (436—338 до н. э.) — известный афинский оратор и публицист.

Никий (ок. 470—413 до н. э.) — афинский военачальник и политический деятель, был сторонником мирного, а не военного решения территориальных, экономических и политических проблем.

...*примерах Юлий, Мессалин и Агриппин...* — Было две Юлии, известные своим распутством, — мать и дочь: Юлия старшая (39 до н. э.—14 н. э.) — дочь императора Августа, и Юлия младшая (18 до н. э.—28 н. э.) — внучка Августа, дочь первой и императора Агриппы (63—12 до н. э.); Мессалина — см. комм. к с. 67; *Агриппина* Юлия Младшая (15—59) — была женой трех римских императоров, в том числе своего дяди, которого отравила, чтобы возвести на трон своего любовника.

С. 114. *Лукиан* (ок. 120 — ок. 190) — греческий писатель, автор сатирических диалогов.

Ювенал Деций Юний (ок. 60 — после 127) — великий римский поэт-сатирик.

Солон (ок. 640—560 до н. э.) — видный политический деятель и поэт; став в 594 г. главой афинского государства, пытался законодательным путем установить права и обязанности граждан в соответствии с их имущественным цензом по принципу: у кого выше ценз, у того больше прав, но и больше обязанностей; упразднил

большинство привилегий родовой аристократии; внес существенный вклад в развитие рабовладельческой демократии.

С. 115. *Туле* — см. комм. к с. 96.

С. 119. *...вечный трон Аллы* — Аллаха.

С. 124. *Анакреон* (Анакреонт; сер. 6 в. до н. э.) — греческий поэт, родоначальник европейской грациозной любовной лирики («анакреонтики»).

Сафо (Сапфо; 2-я пол. 7 в. до н. э.) — выдающаяся греческая поэтесса.

Феокрит (1-я пол. 3 в. до н. э.) — известный поэт, лирик, автор сборника «Идиллии», основоположник европейской буколической (пастушеской) поэзии.

Афинодор — Атенодор (1 в. до н. э.) — философ из Тарса; жил в Риме.

Досиады — фигурные стихи, в которых путем графического расположения строк создаются очертания каких-либо предметов («Алтарь», «Яйцо» и т. д.); названы по имени римского поэта Доснада (3 — нач. 2 в. до н. э.).

Музей, *Мусейон* (букв. — место пребывания муз) — храм, помещение, предназначавшееся для занятий науками и искусствами.

С. 125. *Немезида* (Немесиды) — греческая богиня возмездия.

...полет журавлей обличал преступника... — Имеется в виду легенда о журавлях, которые были свидетелями убийства разбойниками Ивика (2-я пол. 6 в. до н. э.), греческого поэта-лирика. Умирающий поэт, видя пролетающих над ним птиц, сказал: «Журавли отомстят за меня». Спустя время, разбойники были в городе, и один из них, увидев летящих в небе журавлей, насмешливо сказал другому: «Мстители за Ивика летят». Эти слова, изобличающие преступников, услышали стоявшие рядом люди, они схватили разбойников, которые во всем признались и были казнены. На этот сюжет немецкий поэт Ф. Шиллер написал балладу «Ивиковы журавли», которая была переведена на русский язык В. А. Жуковским.

С. 132. *Сирены* — в греческой мифологии злые демоны в образе птиц с женской головой; обитали на одном из островов, своим волшебным пением зачаровывали мореплавателей, которые поворачивали корабли, плыли на их голос и разбивались о скалы.

С. 133. *Аттическое выражение* — т. е. утонченно-насмешливо-образное, отличавшее манеру высказывания жителей Аттики и прежде всего Афин в пору наивысшего культурного расцвета города, расположенного в этой части Греции и объединившего под своей властью население области.

С. 136. *Эпиграф* — слова Талфибия из второго эпизода трагедии «Гекуба» выдающегося греческого драматурга Еврипида (ок. 480—406 до н. э.).

С. 138. *...оставил сочинение...* — «О ведении войны».

С. 139. ...на горах Гемусских — Гемус см. комм. к с. 28.

Вельбуд — верблюд.

С. 141—142. ...таинственная рука, начертавшая на стене чертогов...— Имеется в виду библейский рассказ о том, как во время пира вавилонского царя Валтасара появилась рука и на стене, напротив лампы, написала слова, предрекавшие его гибель. В ту же ночь Валтасар был убит (Книга пророка Даниила, гл. 5).

С. 142. ...«некоторые пары в недрах земли...» и «Так эллины...» слова из «Историн» (Книга четвертая, гл. 9) Льва Диакона.

С. 151. *Сципион* — Было два Сципиона, римских полководца: П. Корнелий (235—183 до н. э.) и П. Корнелий Эмилиан (185—129 до н. э.) — кого имел в виду Полевой, неясно.

С. 155. «Неизвестно,— говорит один из современников...» — Лев Диакон «История», кн. 5, гл. 6.

С. 158. «Как скоро злодеи увидели...» — Лев Диакон «История», кн. 5, гл. 3, 7—9; кн. 4, гл. 7.

С. 159. *Пега*, *Пиги* (совр. Балыкли) — пригород Константинополя за западной стеной.

Анарата, *Анарата* — пригород Константинополя на азиатском берегу Босфора.

Алкид — другое имя Геракла (см. комм. к с. 59).

С. 160. ...сыны Алоевы, От и Эфальт, хотевшие, как говорят, взойти на небеса.— Один из сюжетов греческой мифологии, получивший отражение в гомеровском эпосе. Возгордившиеся сыновья Алоэя (Алоя) От и Эфальт, желая взойти на небо, сковали бога Ареса, взобрались на Олимп, где обитали боги, но были остановлены и сокрушены Аполлоном («Илиада», гл. V, ст. 386; «Одиссея», гл. XI, ст. 305—320).

Навуходоносор Вавилонский воздвиг себе истукан...— Навуходоносор II (605—562 до н. э.) — царь Вавилонии. Однако Лев Диакон, которого цитирует Полевой, в своем изложении библейского сюжета, неточен. В Книге пророка Даниила не утверждается и не подчеркивается, что он возвел этот истукан себе (т. е., что это была статуя самого Навуходоносора), а говорится просто, что это был «золотой истукан», которому царь Вавилонский заставлял всех поклоняться.

Александр сын Филиппа — Александр Македонский.

С. 161. *Макиавелли Никколо* (1469—1527) — итальянский политический деятель, писатель, историк эпохи Возрождения.

С. 163. *Недостаточествуют* — т. е. не получают почести, соответственно своим заслугам, положению.

С. 164. *Иосиф Прекрасный... жена Пентефрия...*— Имеется в виду библейский рассказ о том, как жена Пентефрия (Потифара) «фараонского царедворца, начальника телохранителей», пыталась соблазнить служившего у них Иосифа, но, не добившись желаемого, оклеветала его перед мужем, сказав, что именно Иосиф пристает к

ней со своими притязаниями. Поверив ей, Пентефрий отправил Иосифа в тюрьму (Библия. Ветхий завет. Бытие, гл. 39).

С. 166. Перевод: «Да сотворит тебя Бог победителем на многие лета»; «Ты всегда будешь победителем!»

С. 174. *Фракия* — см. комм. к с. 28.

Биотия — область в центральной части Греции.

С. 176. *Фурии* — римские богини мщения, изображались в облике, внушающем ужас, со змеями в голове, бичами, факелами.

С. 187. ...*приявший мытаря и разбойника*... — Иисус Христос. *Мытарь* — сборщик податей (налогов); мыт — налог за ввоз товаров.

С. 188. ...*Исав, похитивший тайно благословение Исаака*... — Цимисхий оговорился. Благословение Исаака предназначалось как раз Исаву, а обманным путем получил его брат Иаков (Библия. Ветхий завет. Бытие, гл. 27).

ПИР СВЯТОСЛАВА ИГОРЕВИЧА, КНЯЗЯ КИЕВСКОГО

Впервые — Московский наблюдатель, 1835, кн. 15, октябрь, книжка 1, с. 329—376, под названием «Пир Святослава» и подстрочным примечанием: «Отрывок из нового романа «Синие и Зеленые»; с расширенным заглавием, без примечания и с подзаголовком «Византийская легенда» — в кн.: Повести Ивана Гудовича. В 2-х ч. Спб., 1843. Ч. I. С. 113—195. Публикуется по этому изданию.

С. 191. *Святослав Игоревич* (ок. 920—972) — князь Киевский с 964 г.

С. 193. *Гиперборея* — в греческой мифологии сказочная страна, которая находилась на крайнем севере за пределами царства бога северного ветра Борея (отсюда название); страна вечного блаженства, населенная гиперборейцами, где всегда останавливался на зиму бог солнца Аполлон.

Скифия — государство скифов (9—3 вв. до н. э.), занимавшее в пору расцвета территорию Северного Причерноморья от нижнего течения Дуная до нижнего течения Дона, включая Северный Крым.

Сарматия — государство сарматов (3 в. до н. э.— 4 в. н. э.), родственных скифам племен, которые в 5—3 вв. до н. э. обитали в низовьях Волги, кочуя от среднего течения Дона до Южного Предуралья, затем вытеснили скифов, создав собственное государство, занимавшее территорию современной Украины (без западных ее областей), Ростовскую область и междуречье от среднего течения Дона до Волги.

...*греческие города лежали видимыми обломками на берегах*

Черного моря — Имеются в виду города-крепости греческих рабовладельческих государств Ольвии (г. Ольвия находился близ нынешнего Николаева), Боспорского царства — Пантикапей (совр. Керчь), Танаис (в низовьях Дона) и др., существовавших на Черноморском побережье в 6 в. до н. э.—4 в. н. э.

...хазарские города дымились... — В 965 г. Святослав разгромил Хазарский каганат — тюркское государство, возникшее в VII в. на юго-восточных границах Руси и занимавшее обширную территорию в бассейне Северского Донца, среднего и нижнего течения Дона, низовьев Волги, вплоть до Кубани и Терека на юге; были захвачены и разрушены все хазарские города, в том числе крупнейшие — Итиль (в дельте Волги, в 10 км выше совр. Астрахани) и столица каганата Саркел (ныне — под водой Цимлянского водохр.), на месте которой основана русская крепость Белая Вежа (Саркел — букв. Белый город; вежа — шатер, а также городская башня шатрового типа).

С. 194. *Гости* — купцы.

Вящие — богатые, знатные, сановные.

Княгиня Ольга — мать Святослава, княжила в Киеве 945—964 гг.

С. 195. *Руси есть веселие пити...* — Это, ставшее крылатым, выражение восходит к словам Киевского князя Владимира I Святославича (ок. 960—1015), которые он, согласно «Повести временных лет», произнес в 986 г., отвергая магометанскую веру, требовавшую «вина не пити».

С. 196. *Феодор Стратилат* — один из христианских великомучеников; в Византии почитался как покровитель всех, кто направлялся в северные страны (Скифию, Русь и т. д.); был военачальником, командовал отрядом, расположенным в г. Гераклея (Европейское побережье Мраморного моря), распространял христианство среди своих воинов-язычников; собрал в городе золотые и серебряные статуи языческих богов, разбил на мелкие кусочки и раздал нищим, за что был подвергнут мучительной казни: сначала был распят, а на другой день — 8(21) февраля 319 г.—обезглавлен.

Сфендослав — см. комм. к с. 52.

Олегова могила на горе Щековице... — Могила варяжского предводителя Олега, княжившего в Киеве 882—912 гг.; умер, согласно отдельным летописным источникам, от укуса змеи; с прозвищем Вещий получил отражение в литературе (см. «Песнь о Вещем Олеге» А. С. Пушкина и др.). Щековица (Щекавица) — Зменная гора.

Перун — один из главных славянских языческих богов, повелитель грома и молний.

С. 197. *Омир* — Гомер.

Иродот — Геродот (ок. 484—425 до н. э.) — выдающийся греческий историк; его труд «Изложение событий» — ценнейший ис-

точник сведений по истории древних народов — мидийцев, персов, вавилонян, египтян, скифов, ливийцев и греков, начиная с момента их появления на исторической арене до 478 г.

Святой апостол Андрей странствовал здесь...— Согласно византийской легенде, один из ранних подвижников христианства, апостол Андрей, был первым проповедником нового вероучения среди народов, обитавших на берегах Черного моря; побывал он и в Скифии. Славянский, значительно расширенный, вариант легенды дошел до нас в составе «Повести временных лет», где, в частности, говорится и о воздвижении креста на месте будущего Киева и приводятся слова, якобы сказанные при этом апостолом, которые повторяет герой Полевого — византийский посол.

С. 199. *Волос*, Велес — славянский языческий бог, покровитель скотоводства и пастухов, а также песенного искусства, начало которому было положено пастушескими песнями.

...ратного спутника на полях Булгарии...— Имеется в виду первый поход Святослава против Болгарского царства (задунайских болгар) осенью 968 г. по просьбе византийского императора Никифора II Фоки (см. об этом в данной книге стр. 53). В те времена существовало еще одно царство болгар — заволжских, Волжская Болгария, находившееся на левом берегу Волги между реками Кама и Самара; погибла в 1235 г., став первой жертвой татаро-монгольского нашествия на европейские страны.

С. 201. *Переяславец Дунайский*, Преславец — город в нижнем течении Дуная (неподалеку от совр. Тулчи), отвоеванный Святославом у болгар, куда он хотел перенести столицу Киевского княжества, заявляя, что это «есть середина <середина> земли моей».

С. 202. *...я слышал о славной победе... над печенежскими ордами...*— В 968 г. печенеги, пришедшие в приазовские степи с Востока, воспользовавшись отсутствием Святослава (он вместе с дружиной находился в Переяславце после успешного похода на болгар), совершили свой первый набег на Русь и осадили Киев. Узнав о новой беде, нависшей над Русью, Святослав оставил Переяславец и поспешил к Киеву, догнал отступивших от города печенегов, напуганных известием о его приближении, и разбил их.

Клянусь Чернобогом и Белобогом...— Чернобог и Белобог — славянские языческие боги ночи и дня, повелители, соответственно, тьмы и света; отсюда одна из древнерусских клятв: «Чтобы мне света белого не видеть, чтобы тьма навсегда затмила мне очи».

Ярополк (ок. 956—980) — старший сын Святослава, Киевский князь с 973 г.

Олег (ок. 958—977) — средний сын Святослава, с 970 г. Древлянский князь (столица — г. Овруч, ныне — на территории Житомирской обл.).

Владимир — младший сын Святослава, князь Киевский 980—1015 гг. См. также комм. к с. 195.

Малуша — одна из служанок княгини Ольги, матери Святослава.

С. 203. *Торк*, торки — общее название кочевых племен, которые вслед за печенегами пришли в конце IX в. из Средней Азии в Заволжье, а затем в Донские и Приазовские степи.

С. 204. *Тмутаракань*, Тматорокань — русское название города, находившегося на берегу Таманского залива выше совр. Тамани, который византийцы называли Таматарха (Матарха), а основавший его в VI в. до н. э. греки — Фанагория (Танагория); был взят Святославом в 965 г.

Белая Вежа, Саркел — см. комм. к с. 193.

С. 208. *Сигурд* — один из героев древнескандинавского эпоса.

Земля Рослагенская — историческое название одной из областей Швеции на побережье Балтийского моря.

С. 209. *Берсеркер*, берсерк — свирепый воин.

...хвост коварного Лока. — Локи — один из главных скандинавских языческих богов, коварный зачинщик всякого зла; обладал способностью перевоплощения; выступал в образе коровы, волка, лосося и др.

Дронгейм — г. Тронхейм в центральной Норвегии на берегу Тронхеймского фиорда.

Гела, Гель, Хель — смерть, царство смерти в скандинавской мифологии.

Валгал (Валгалла) — в скандинавской мифологии дворец бога Одина, где обитают души павших в бою воинов.

Валькирии — в скандинавской мифологии воинственные девы-богини; они помогали воинам, решали судьбу битв и уносили души убитых воинов в Валгаллу, где их ожидали вечные радости, и там прислуживали им на пирах.

Один — древнескандинавский верховный бог — бог войны и мира, ветра и мореплавания, покровитель душ воинов, погибших в бою.

С. 210. *Хвалынское море* — Каспийское море.

С. 211. *Стязи* — стяги, знамена.

С. 212. *Сыта медвяная* — питье, подслащенное медом, или медвяной отвар.

Стрибог — славянский языческий бог ветра.

С. 213. *Белое море* — Мраморное море.

С. 215. *Сок хиосского винограда.* — Хиосс — один из плодороднейших островов Эгейского моря, был известен своими винами, ароматными мастиками, ремесленными изделиями.

С. 217. *Гринланд* — Гренландия; *Биармия* — так в скандинавских сказаниях-легендах называлась страна, расположенная на крайнем северо-востоке Европы — совр. Кольский полуостров и Архангельская обл.; *Пермия* — так назывались земли, расположенные на территории совр. Коми АССР и Пермской обл.

За товарищей ли не отомстим? — За дядьку ли моего... Асмунда... — Факт нападения болгар в 969 г. на оставленные в их землях русские дружины историками зафиксирован; место и время смерти Асмунда — воспитателя Святослава — нигде не отражено.

ПОВЕСТЬ О СИМЕОНЕ, СУЗДАЛЬСКОМ КНЯЗЕ

Впервые — под названием «Симеон Кирдяпа. Русская быль XIV века» — Московский телеграф. 1828. Ч. XIX. № 1. С. 53—81; № 2. С. 196—227; № 3. С. 330—375. С измененным названием и добавлением эпилога — Повести Ивана Гудощника. Спб., 1843. Ч. I. С. 1—195. Журнальный вариант опубликован в кн.: «Предслава и Добрыня». М., Современник, 1986. С. 380—437.

С. 219. *Симеон* (ум. 1402) — князь Суздальский (1383—1388) и Нижегородский (1388—1389), средний сын Дмитрия Константиновича (1322—1383) — князя Суздальского (1355—1383), Великого князя Владимирского (1360—1361, 1362) и Нижегородского (1365—1383). Вместе со старшим братом *Василием* (ум. 1403), прозванным Кирдяпою, князем Городецким (1388—1389) и Нижегородским (1388—1389), Симеон боролся с дядей *Борьсом* Константиновичем (ум. 1394), князем Городецким (1355—1388, 1390—1392) и Нижегородским (1365, 1383—1388, 1389—1392) за Нижегородский стол — старший в Суздальском (Нижегородско-Суздальском) княжестве, который тот занял по праву старшинства после смерти своего брата Дмитрия. Один из эпизодов этой борьбы и получил отражение в повести Полевого.

Полевой первоначально назвал Симеона Кирдяпою ошибочно; при переиздании повести он эту ошибку исправил, внося соответствующие исправления в ее заглавие и текст, убрав везде прозвище, но оставив факты биографии Василия, уже использованные им при создании образа Симеона.

С. 221. *...невзгода Москве... опять... немилость... пожарный случай...* — Имеется в виду пожар 1390 г.

С. 222. *...уже пятнадцатый год минет, как Нижний Новгород впадал в руки басурманские... Нижегородцы прображничали тогда наш городок...* — Здесь Полевым допущена неточность. Его герой напомнил о разорении города 5 августа 1377 г. войсками татарского царевича Арапши, разбившего 2 августа русские дружины на реке Пьяне, посланные для защиты Нижнего Новгорода. «Поверив слухам, что Арапша далеко», писал Н. М. Карамзин, ратники «вздумали за рекою Пьяною... тешиться ловлею зверей... Воины, утомленные зноем, сняли с себя латы и нагрузили ими телеги; спустив одежды с плеч, искали прохлады; другие рассеялись по окрест-

ным селениям; чтобы пить крепкий мед или пиво. Знамена стояли уединенно; колья, щиты лежали грудками на траве» («История государства Российского», т. V, гл. I). Беспечность была жестоко наказана, навечно оставшись в поговорке: «За Пьяною люди пьяны», Безоружное воинство полегло, не оказав практически никакого сопротивления; многие утонули в реке, в том числе и младший сын Нижегородского князя Дмитрия Константиновича — Иван, командовавший отрядом суздальцев. Таким образом, от разорения города Арапшой до времени описываемых Полевым событий прошло 14 лет и три месяца. Однако в июле 1378 г., в очередной свой набег на Русь, ордынцы снова разграбили и сожгли Нижний Новгород. Следовательно, в действительности минуло тринадцать лет и три месяца, как Нижний Новгород «впадал в руки басурманские», что не могли не знать нижегородцы...

Москва... после вражьего меча десятый год... — Тохтамыш (уб. 1406), хан Синей (Белой) Орды с 1377 г. и Золотой Орды с конца 1380 г., обманным путем захватил и сжег Москву 26 августа 1382 г. (см. комм. к с. 225).

С. 223. *...как немецкой рыбе аселедцям...* — Сельдь на Русь поступала через Новгород Великий, куда ее доставляли ганзейские (немецкие) купцы, отсюда название — немецкая рыба.

...читал во «Временнике» — т. е. в летописи, хронографе. Излагаемый далее легендарный рассказ об Александре Македонском из «Откровения Мефодия Патарского» (III—IV вв.) в Нижегородскую (Лаврентьевскую) летопись не входил, он был включен в текст «Повести временных лет» под годом 6604 (1096) составителем Ипатьевской летописи в первой четверти XV в., т. е. почти два десятилетия спустя, после описываемых Полевым событий.

С. 224. *Сунклиг* — сказочный состав, смола: «...ни огонь его не может спалить, ни железо его не берет» (см.: Памятники литературы Древней Руси: Начало русской литературы. М., 1978. — С. 244—245).

С. 225. *...Василий да Симеон! На них пали кровь Москвы и пепел святых храмов ее!* — 26 августа 1382 г. москвичи в очередной раз стали жертвой своей доверчивости, поверив клятвенному заверению Василия и Симеона, что Тохтамыш воюет только с князем Дмитрием Ивановичем Донским, а от них ждет лишь «небольших даров», за что «даст мир и любовь». Нижегородские княжичи оказались в стане врагов Руси не случайно — они были посланы с дарами к ордынскому хану своим отцом, Нижегородским князем Дмитрием Константиновичем, прослышавшим, что Тохтамыш идет на Москву, и надеявшимся тем самым отвести беду от Нижнего Новгорода. Переметнувшихся на его сторону княжичей Тохтамыш, после двух дней безуспешного штурма Москвы, направил в качестве парламентариев к защитникам города, точно рассчитав, что москвичи поверят клятвенным заверениям людей, находившихся в

редстве с князем Дмитрием Иоанновичем — родная сестра, Василия и Симеона была его женою. Расчет оказался верным. Москвичи поверили «шурыкам» своего князя, открыли кремлевские ворота и вместе с руководителем обороны, молодым литовским князем Остеем, вышли навстречу врагу с крестами и дарами. Татары немедленно ворвались в город, разорили и сожгли дворцы, дома, церкви, а жителей перебили, и первыми погибли князь Остей и духовенство. После захвата Москвы Тохтамышевое войско разграбило Звенигород, Можайск, Рузу, Дмитров, Переяславль...

...получил от хана Агиса грамоту на Московское княжество и отказался от Московского престола... — Здесь Полевым допущена неточность. Нижегородский князь Дмитрий Константинович не мог ни претендовать, ни получить грамоту (ярлык) на Московское княжество: это был удел другой княжеской династии, право владения которым переходило по наследству ее представителям. В 1365 г. Азис (Агис) прислал князю Дмитрию Константиновичу ярлык на Великое княжество Владимирское, которое являлось главным среди великокняжеских столов, и занимавший его считался старшим среди русских князей, главою всей Руси. Дмитрий Константинович, уже дважды занимавший этот возжеланный для наших князей стол — в 1360—1361 гг. по ярлыку ордынского царя Невруса (Навруса) и в 1363 г. по ярлыку хана Мюрида (Амурата, Мурута) — и дважды оставлявший его, изгоняемый войсками юного Московского князя Дмитрия Иоанновича (будущего победителя Мамае), получив неожиданно-негаданно ярлык в третий раз, решил не испытывать судьбу, сразу же отказавшись от него в пользу Дмитрия Иоанновича.

С. 226. ...юный князь московский — Василий I Дмитриевич (1371—1425).

Дмитрий возвел Симеона на престол Нижегородский... — Не совсем точно. При поддержке войск, посланных Дмитрием Иоанновичем, престол Нижегородский в марте 1388 г. заняли оба брата — Василий и Симеон. Причем инициатором этого похода против Бориса Константиновича был Василий, которого родной дядя, получив в 1383 г. ярлык на Нижегородское княжение, оставил в Орде в качестве заложника. В 1386 г. Василий совершил побег из Орды, но был пойман и «за то, — как писал нижегородский летописец, — приял от татар истому <т. е. мучение> великую». Вернулся он из Орды в начале 1388 г., получив грамоту на княжение Городецкое — удел князя Бориса Константиновича. Спустя месяц Василий вместе с Симеоном, объединив дружины городецкие и суздальские и «испросив» у Московского князя «себе силу, рать Звенигородскую, Можайскую и Волотскую», заставили дядю покинуть Нижний Новгород и удалиться в Городец. В 1389 г., после смерти Дмитрия Донского, Борис Константинович вновь выпросил у хана ярлык на Нижегородское княжение и был окончательно ли-

шен этого стола в 1392 г., о чем и рассказывается в повести Полевого.

С. 229. ...к пределам хлыновским... — т. е. к земле вятичей, вятской земле; Хлынов (на р. Хлыновца при впадении в Вятку) — один из городов на р. Вятке, основанных новгородцами в 1181 г. Однако эти земли стали называть хлыновскими после 1457 г., когда главный город вятичей — Вятка был переименован в Хлынов; в 1781 г. он снова стал Вяткой.

Мурза Беркут... — имеется в виду царевич Беткут (Бектут); однако он разорил Вятку в 1391 г. Этот анахронизм — результат невнимательного чтения Полевым «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, где о разорении Вятки Беткутом говорится в ряду событий 1392 г., предшествовавших падению самостоятельности Нижнего Новгорода (т. V, гл. II); летописная дата — 1391 г. — была указана Карамзиным в примечаниях.

С. 235. Грань поверстная — верстовой столб.

С. 237. Полоротыми — полуоткрытыми.

С. 238. ...следует Мономахову наставлению... — Имеется в виду следующий совет из «Поучения» Владимира Мономаха (1053—1125), великого князя Киевского: «Добро же творя, не ленитесь ни на что жоршее, прежде всего к церкви: да не застанет вас солнце в постели. Так поступал отец мой блаженный и все добрые мужи совершенные» (Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы, с. 401).

С. 243. ...второй Святополк. — Имеется в виду Святополк (ок. 980—1019), прозванный Окаянным, князь Туровский (с 988 г.), великий князь Киевский с 1015 г., который в борьбе за великое княжение убил в 1015 г. своих двоюродных братьев — Бориса, Глеба и Святослава.

С. 249. Юный князь Дмитрий Александрович Всеволож — Неточно: Дмитрий Всеволож не был князем, а был только боярином.

С. 251. Тимур (Тамерлан; 1336—1405) — государственный деятель и полководец, создатель Эмирата (с 1370 г.) со столицей в Самарканде; разгромил Золотую Орду.

С. 252. Андрей, князь Нижегородский... — Андрей Константинович (ум. 1365), князь Нижегородский с 1356 г.

...пустынножитель Сергей — Сергей Радонежский (1321—1392) — выдающийся церковный и политический деятель.

...затворил храмы... — т. е. запретил совершать в них богослужения и церковные обряды.

Борис затрепетал, уступил... — В действительности, «духовное наказание» не произвело на князя Бориса никакого действия и он уступил лишь тогда, когда его брат Дмитрий Константинович подошел к Нижнему Новгороду с сильной московской ратью, посланной князем Дмитрием Иоанновичем (Донским) в благодарность

за его отказ от ярлыка на Великое княжение Владимирское (см. комм. к с. 225).

С. 253. *Симеон... послан был в Орду... Туда явился и Борис...* — В действительности было все наоборот. Борис Константинович со своим сыном Иваном поспешил в Орду, как только узнал, что его брат находится при смерти; Василий и Симеон прибыли в Орду уже после смерти отца. Дядя сумел «выклянчить» себе Нижегородское княжение, Симеону был пожалован Суздаль, а Василий оставлен в качестве заложника (см. комм. к с. 226).

Сгиб — исчез, скрылся.

С. 255. *...вещания велемудрого Георгия Писидийского...* — Имеется в виду «Шестоднев, или Сотворение мира» — поэма византийского поэта Георгия Псиды (конец VI — перв. четв. VII в.).

С. 257. *Владимир Андреевич Храбрый* (1353—1410) — князь, герой Куликовской битвы, командовал засадным полком, решившим исход сражения.

Витовт (1350—1430) — великий князь Литовский с 1392 г.
Сарай — столица Золотой Орды.

С. 258. *Страна есть некая, между царством Попа Ивана...* — легендарные земли, упоминаемые в «Сказании об Индийском царстве» (XIII—XIV вв.).

Синяя Орда (Белая Орда) — государственное образование, входившее в состав Золотой Орды и располагавшееся в ее юго-восточной части на территории современной Западной Сибири, Поволжья, Казахстана и Северного Кавказа.

Амазоны и Макарийские блаженные острова — легендарные земли, упоминаемые в «Повести о Макарии Римском» (XIII—XIV вв.).

Мануил Великий — Мануил II Палеолог (1350—1425), византийский император с 1391 г.

С. 261. *...животы смерть окажет...* — т. е. о богатстве, достатке («животах») человека узнают после его смерти.

С. 271. *«О! стонать тебе, Русская земля...»* — вольный перевод отрывка из «Слова о полку Игореве».

С. 273. *Трость писальная* — старинный инструмент для письма, представлявший собою тростниковую (бамбуковую) палочку, заостренную и расщепленную на конце.

С. 274. *Локман* — в арабских преданиях имя мудреца, жившего до пророка Мухаммеда.

...спиб керема вселенной — букв. — господин милостивый вселенной («владыка вселенной»).

С. 275. *...у прага* — у порога.

Эйтак (Ейтак) — царевич ордынский; в 1399 г. вместе с Симеоном обманным путем (Симеон опять пообещал, что татары не трогают жителей) захватил Нижний Новгород и разграбил его.

Баязет — Баязид I Молниеносный (ок. 1350—1403) — турецкий султан (1389—1402).

С. 276. *Анатолийские леса*. — Имеется в виду Малая Азия, почти полностью захваченная турками к 90-м годам XIV в.

С. 277. *Темир-Кутлуй* — правитель Золотой Орды в 1398—1400 гг.

Железные Врата Каспия — Дербент.

С. 278. *...никем же гоним!* — т. е. гоним неизвестно кем, невидимой силой.

...поклониться мощам Святого Сергия... — Сергий Радонежский был похоронен в основанном им Троице-Сергиевом монастыре.

С. 279. *...прося опас* — т. е. охранную грамоту.

С. 280. *Шадибег* (Шадибек) — правитель Золотой Орды в 1400—1408 гг.

КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ

Впервые — первая глава первой части под заглавием «Постоялый двор (отрывок из русской были XV века)» — Денница. Альманах на 1831 г. М., 1831. С. 52—86; полностью — Отдельное издание. В 4-х ч. М., 1832. Цензурн. разр.: ч. 1—25 сентября 1831 г.; ч. 2—21 декабря 1831 г.; ч. 3—5 мая 1832 г.; ч. 4—3 июня 1832 г.

С. 283. *...крестное целованье* — клятва на верность данному слову (устному или закрепленному в грамоте, договоре), скрепляемая целованием креста.

Писано к Шемяке... — Имеется в виду «Послание» («Грамота») русских епископов князю Василию Шемяке (см. прим. к с. 325) от 29 декабря 1447 г.

Говорено Шемяке... — Приводятся слова, сказанные Василием II Васильевичем (1415—1462), великим князем Московским (1425—1433, 1433—1446, 1447—1462), при покаянном примирении с Василием Шемякой после того, как он был в 1446 г. Шемякой свергнут и временно отрекся в его пользу от великокняжеского Московского стола.

Сочинитель русских былей и небылиц — так назвал себя Н. Полевой, напоминая о себе, как авторе «русских былей» («Симеон Кирдяпа», «Краковский замок», «Постоялый двор» и др.) и «лебылиц» («Святочные рассказы» и др.).

С. 285. *Семь лет постоянного внимания и уважения публики...* — Имеется в виду популярность журнала «Московский телеграф», издаваемого Н. Полевым с 1825 г.

...мелькают.. в Лету... — т. е. бесследно исчезают. Лета — в дрезненгреческой мифологии река забвения в подземном царстве; души

умерших, погруженные в воду этой реки, забывали все, перенесенные ими на земле, страдания.

С. 286. *Дидерот* — французский писатель и философ Дени Дидро (1713—1784).

С. 288. *Мориер* Джеймс (1780—1849) — английский писатель, дипломат и путешественник.

С. 289. *Гостомысл* — легендарный предводитель (старейшина) новгородцев (1-я пол. IX в.), инициатор приглашения варягов на Русь.

Нума Помпилий — легендарный Римский царь.

Минос — легендарный Критский царь; после смерти — один из судей загробного мира.

С. 291. *...под личиною живописца...* — Имеется в виду сатирическое приложение к «Московскому телеграфу» — «Новый живописец общества и литературы», большая часть статей которого была написана самим Н. Полевым.

С. 292. «*Юрий Милославский, или Русские в 1612 году*» (1829) и «*Рославлев, или Русские в 1812 году*» (1830) — романы Н. М. Загоскина (1789—1852); «*Димитрий Самозванец*» (1830) и «*Иван Выжигин*» (1829) — романы Ф. В. Булгарина (1789—1859).

«*Марфа Посадница*» — не роман, а повесть.

С. 293. *Буало* Никола (1636—1711) — франц. поэт и теоретик классицизма; Полевой отсылает читателей к его сочинению — «Герои из романов. Диалог в манере Лукиана» (См.: Буало. Поэтическое искусство. М., 1957).

С. 294. «*Полярная Звезда*» (1823—1825) — альманах декабристов; издавался А. Бестужевым-Марлинским (1797—1837) и К. Ф. Рылеевым (1795—1826).

Барант А. Г. П. де, барон (1785—1866) — французский историк, публицист.

Другие опыты печатал я в разных альманахах. — «Сохатый. Сибирское предание» — Денница. Альманах на 1830 год; «Краковский замок» — Радуга. Альманах на 1830 год; «Постоялый двор» — Денница. Альманах на 1831 год.

С. 295. *Нодье* Шарль (1780—1844) — французский писатель-романтик.

С. 296. *Под ферулою...* — т. е. под строгим руководством и страхом наказания; ферула (букв. — хлыст, розга) — так называлась линейка, которой били по рукам школьников.

С. 297. *Вите* Луи (1802—1873) — французский политический деятель и драматург.

С. 298. *Немцевич* Юлиан Урсын (1757—1841) — польский писатель и революционный деятель.

Опыты «Дум»... являлись... на русском языке... — Имеются в виду «Думы» К. Ф. Рылеева.

Трембецкий Станислав (1739—1812) — польский поэт. «Селянки» — Имеется в виду поэма «Зофьювка...» (1806).

С. 299. ...падение Царьграда... — см. комм. к с. 56.

coups de théâtre (фр.) — неожиданная развязка.

С. 302. Эпиграф — Строки из песни «Чернобровый, черноглазый...» Мерзлякова Алексея Федоровича (1778—1830).

С. 308. *Александр Феодорович*, прозванный Брюхатый (ум. 1483) — князь Ярославский.

С. 312. *Радуница* — день поминовения умерших; приходится на первую неделю после пасхи.

С. 317. *Балчуг* — район Москвы, расположенный по другую сторону р. Москвы напротив Кремля.

...не погреси против девятой заповеди... — т. е. не лжесвидетельствуй.

Василий Ярославич (ум. 1483) — князь Серпуховской и Боровский; его сестра Мария Ярославна стала женою Василия II.

С. 319. *Преосвященный* — митрополит всея Руси (с 1409 г.) Фотий (ум. 1431).

С. 320. *Василий I Дмитриевич* (1371—1425) — Великий князь Владимирский и Московский с 1389 г.

С. 321. Эпиграф — Строки из баллады В. А. Жуковского «Светлана».

С. 325. *Василий Юрьевич* по прозванию Косой (1401—1448) — Великий князь Московский (1434), князь Звенигородский (1434) и Галицкий (1435).

Дмитрий Юрьевич по прозванию Шемяка (ок. 1402—1453) — Великий князь Московский (1446—1447), князь Угличский (с 1434).

С. 328. *Дмитрий Юрьевич* по прозванию Красный (ок. 1408—1441) — князь Бежецкий (с 1434 г.).

С. 333. ...гордая литвянка — Софья Витовтовна (ум. 1453) — жена (с 1391 г.) Василия I Дмитриевича.

Кучково поле — место в Москве (недалеко от совр. Сretenских ворот), где проходили кулачные бои и совершались казни.

С. 336. *Окупные князья* — так назывались князья, которые за определенную плату (окуп, выкуп) отказались от права распоряжаться своими землями в пользу Московского князя при Иване I Калите (см. комм. к с. 337), признав полную вассальную от него зависимость, сохранив при этом прежнюю власть над людьми и хозяйственной деятельностью на территории своих бывших уделов: князья Белозерские, Ростовские, Ярославские и др.

С. 336—337. ...*Александр Тверской поколоти дурака Щелкана*... — Имеется в виду восстание 16 августа 1327 г. в Твери против татарского баскака (посла — сборщика даней) Чолхана (Шолхана, по летописям — Щелкана), которое возглавил Александр Михайлович (1301—1339) — великий князь Тверской с 1326 г. и Владимирский (1326—1327).

С. 337. *Через год Тохтамыш сжег... Москву* — см. комм. к с. 222 и 225.

Иван Данилович — Иван Данилович Калита (1304—1340) — князь Московский с 1325 г., великий князь Владимирский с 1328 г.

С. 340. Эпиграф — строки из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы».

С. 341. *Соседко мучил* — т. е. домовый.

С. 343. *Демественное пение* — торжественное, праздничное исполнение духовных стихов, украшенное мелодически и ритмически.

Столповое пение — чтение нараспев духовных стихов в строго заданной тональности, определяемой интервалом между двумя соседними гласами-нотами (отсюда название — «столповое») из восьми звукопоследований (гласов, нот), принятых в православном богослужении.

...злочестие учинил покойный литовский князь... — Имеется в виду утверждение в Киеве, находившемся тогда под властью Литвы, независимой от русской церкви митрополии. В 1415 г. Витовт созвал всех епископов из подвластных ему славянских земель — полоцкого, черниговского, луцкого, смоленского, туровского и др., которые провозгласили создание Киевской митрополии и избрали своим митрополитом болгарина Григория Цамблака (ум. 1419), безуспешно пытавшегося соединить две церкви — православную («греческую») и католическую («латинскую»). В 1433 г. Киевскую митрополию возглавил смоленский епископ Герасим (уб. литовцами в 1435 г.)

С. 344. *Ирод* — см. комм. к с. 94.

Диоклетиан — см. комм. к с. 99.

Арий — см. комм. к с. 48.

Савелий (конец III — нач. IV вв.) — проповедник, отрицавший учение о тринности Бога (Троице).

...препри его — т. е. победы в церковном споре (пря — спор).

С. 345. *Свидригайло* — имеется в виду Скиргайло (Скиригайло) Ольгердович (ум. 1396), князь Полоцкий (1380—1386), великий князь Литовский (1386—1392), князь Киевский (1392—1396).

Свидригайло Ягайлович — имеется в виду Свидригайло Ольгердович (ум. 1452), великий князь Литовский (1430—1431), брат Ягайлы (Владислава) Ольгердовича (ок. 1350—1434), Великого князя Литовского (1377—1386); короля Польского (1386—1434).

...брат Витовта — Сигизмунд (уб. 1440), князь Стародубский, великий князь Литовский с 1431 г.

С. 347. *Витовт подступал под Плесков... осаждал Опочку... обступил Порхов...* — имеется в виду набег литовцев на Русь в 1426 г.; Плесков — старинное название Пскова.

С. 350. *Галич Мерский* — город находился на берегу Галичского озера (ныне Костромская обл.).

Галич Волинский — находился на р. Днестр (ныне — Ивано-Франковская обл. Украинской ССР).

... *Князь Даниил* (ум. после 1224 г.) и др. — Галицкие (на Воляни) князья.

... *Белое море* — здесь имеется в виду Мраморное море.

С. 352. Эпиграф — строки из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

Крыжаки — крестоносцы.

С. 353. ...*колен многое множество*... — Колено — родовое разветвление, часть родословной, поколение.

... *Эдигеево нашествие* — имеется в виду поход на Русь в 1408 г. татарского князя Эдигея, во время которого ему не удалось взять Москвы, но он разграбил южнорусские земли и часть северо-восточных земель, захватил и сжег Ростов Великий.

С. 354. *Югра* — историческое название земель, примыкавших к Северному Ледовитому океану от Печоры до Обской губы, где проживали югра (старинное название хантов и мансийцев),

... *Заволочье* — Северо-Двинская земля.

Деисус — икона, изображающая Иисуса Христа, по обе стороны которого в молитвенной позе находятся Богородица (слева) и Иоанн Предтеча (справа).

С. 355. ...*с седьмою тысячею настанет преставление Света*... — О летосчислении от сотворения мира см. комм. к с. 77.

С. 358. ...*святитель Петр митрополит*... — Петр (ум. 1326), митрополит всея Руси (с 1308), последний год жизни провел в Москве, где умер и был похоронен в заложенном по его инициативе храме, в дальнейшем ставшем местом митрополичьей кафедры — местом пребывания митрополитов всея Руси.

С. 359—360 ...*церковь Спаса на Бору*... — Старейшая московская церковь, находилась в Кремле; в советское время была разрушена и на ее месте поставлен памятник В. И. Ленину.

С. 367. Эпиграф — Цитируемые строки приписаны Н. М. Карамзину ошибочно.

С. 368. *Грамота душевная* — духовная грамота, завещание.

С. 369. *Владимир Мономах в первый раз нарушил сей закон*... — Не точно. Владимир Всеволодович Мономах (1053—1125) не нарушал существовавшего закона о престолонаследии. В 1113 г., после смерти великого князя Киевского Святополка, киевляне сами пригласили его на Великое княжение, он отказывался, понимая, что все права на это княжество находятся у Святославичей как старших в роде; но киевляне настаивали, а Святославичи не возражали и не протестовали, и он согласился занять Киевский престол.

С. 373. ...*великий мор московский*... — Эпидемия чумы 1426—1431 гг. Князь Петр Димитриевич умер в 1428 г.

...*покойный святитель* — митрополит Фотий (см. комм. к с. 319).

С. 378. *Устарел* — т. е. состарился.

С. 381. ...*по льготным грамотам Ярослава Великого*... — Имеется в виду «Русская Правда» («Устав») — древнерусский свод законов,

составленный в 1015 г. при Ярославе Владимировиче Мудром (ок. 978—1054), великом князе Киевском (1015—1017, 1019—1054), которому новгородцы помогли разбить в 1015 г. войска Святополка Окаянного и занять Киев. Первые восемнадцать статей этого свода были составлены с учетом пожеланий новгородцев и законодательно закрепляли правила и нормы жизни, отвечавшие их интересам.

С. 385. Первый эпиграф — строки из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

С. 386. *Иван III грозно махнул рукою...* — Закончив строительство новой кремлевской стены (1485—1493), великий князь Московский (с 1462) Иван III Васильевич (1440—1505) приказал снести все строения, включая церкви, которые располагались за стеной на расстоянии ближе, чем 109 саженей (ок. 230 м).

С. 388. *Лета 6941—1433 г.*

С. 391. *...винами... фряжскими* — т. е. заморскими.

С. 399. Эпиграф — Неточная цитата из баллады В. А. Жуковского «Светлана».

С. 408. *Ольгерд* (Альгидарс) Гедиминович (ум. 1377), великий князь Литовский с 1345 г. Правил вместе с Кейстутом.

С. 409. *Кейстутий* — Кейстут (Кейстутис) Гедиминович (ум. 1382), князь Тракайский и Жемайтский, великий князь Литовский с 1345 г. Правил вместе с Ольгердом.

Эпиграф — строка из басни И. А. Крылова «Крестьянин в беде».

С. 410. *Колывань* — древнерусское название г. Таллина.

С. 416. *Наримант* Ольгердович (уб. 1395); его сын Патрикий спасся, укрывшись в Новгороде.

С. 430. Эпиграф — строки из стихотворения В. А. Жуковского «Песня» (1820).

С. 436. *Звезда власатая* — комета.

С. 437. *Скорпия* — скорпион.

С. 452. *Валент* — император Византийский в 364—378 гг.

С. 457. *...вина и коренья волошские* — т. е. из Валахии; историческая обл., располагавшаяся между Карпатами и Дунаем.

Ямь рыжеволосая — древнерусское название финнов и Финляндии.

С. 458. *Зеленая земля* — о. Исландия.

Денница — имя Люцифера (Сатаны) в древнеславянской христианской литературе.

С. 459. *Варяжское море* — Балтийское море.

Рукобитье — свадебный сговор.

Король Мурманский — Норвежский король.

С. 461. *Студеное море* — Северный Ледовитый океан.

С. 464. *Косая сажень* — 2,48 м.

С. 469. Эпиграф — А. С. Пушкин «Борис Годунов», сцена «Московские царские палаты».

- С. 472. ...*в каком судебнике сыщешь...* — Анахронизм. Первый свод законов под названием «Судебник» был издан в 1497 г., составлен при Иване III дьяком Владимиром Елизаровичем Гусевым (ум. 1498).
- С. 479. Эпиграф к главе I — строки из стихотворения А. С. Пушкина «Андрей Шенье» (1825).
- С. 484. *Иоанн VIII Палеолог* — византийский император 1425—1448.
- С. 492. *Разприся* — вести спор.
- С. 493. ...*язва смертельная поразила Москву...* — см. комм. к с. 373.
- С. 498. Эпиграф — А. С. Пушкин «Борис Годунов», сцена «Красная площадь».
- С. 508. *Животишки* — имущество, достаток.
- С. 510. Эпиграф — строка из стихотворения К. Н. Батюшкова «К другу» (1815).
- С. 516. *Каменный пояс* — Уральские горы.
...*далеко за булгарами* — Имеется в виду государство восточных болгар — Волжская Болгария (см. комм. к с. 199).
- С. 519. *Надежные* — т. е. надеявшиеся.
- С. 520. *Гробовой монах* — монах, приставленный для охраны мощей и княжеских захоронений, находящихся внутри церкви в ее приделах (боковых пристройках).
...*корсунское писание* — т. е. в древнегреческой и византийской манере, присущей иконописи Корсунских храмов. Корсунь — древнерусское название г. Херсонеса, основанного греками в 5 в. до н. э. неподалеку от нынешнего Севастополя на берегу современной Капантишской бухты.
- С. 521. ...*станов у них не чинят* — т. е. не располагаются на постой.
- С. 533. ...*благочестивый Константин*. — Имеется в виду Константин Всеволодович (1186—1218), великий князь Владимирский и Суздальский (1216—1218); занял великокняжеский стол, разбив войска своего брата Юрия (Георгия).
- Георгий* — Юрий II Всеволодович (1188—1238), великий князь Владимирский (1212—1216, 1218—1238).
- С. 539. Эпиграф — строки из стихотворения А. С. Пушкина «Андрей Шенье».
- С. 545. *Юрьеvec-Повольский* — ныне находится на правом берегу Горьковского водохранилища.
- С. 546. *Кузь* — река в Костромской обл.
- С. 558. *Таврическая земля* — Крым.
- С. 560. *Хризовулы* (хрисовулы) — жалованные императорские грамоты на владение землями, имуществом.
- Буллы* — наиболее важные грамоты (акты) римских пап, содержащие в себе обращения к верующим, постановления, распоряжения по религиозным, политическим, экономическим и другим вопросам.
- С. 561. ...*смело поругается миру* — т. е. прощается с мирской жизнью, отвергает ее, постригаясь в монахи и уходя в монастырь.

С. 562. ...*распростерся в прахе* — т. е. встал на колени и лицом коснулся пола, земли.

С. 568. *Ходынка* (Ходынский луг, Ходынское поле) — историческое место в Москве, находилось в районе нынешнего городского аэровокзала.

...*предстать неумытному судии* — т. е. Богу.

С. 573. ...*в своем смысле* — т. е. в полном разуме.

Приказываю — отдаю.

С. 573—574. ...*определяя выход в ордынскую дань* — т. е. указывая характер и размер дани.

С. 574. Эпиграф — Цитируемые строки приписаны А. Ф. Мерзлякову ошибочно.

С. 585. Эпиграф — строки из элегии В. А. Жуковского «На кончину ее величества, королевы Вюртембергской».

С. 587. ...*странная братия* — т. е. странствующие монахи, паломники.

С. 590. ... *не спросясь озадков* — т. е. не задумываясь о последствиях.

С. 598. Эпиграф — строка из трагедии «Пожарский» (действ. 2-е, явл. 1) Крюковского Матвея Васильевича (1781—1811); в оригинале: «...гробы праотцев...».

С. 602. *Евстафий Плакида* — один из ранних христианских мучеников; согласно византийской легенде полководец времени римских императоров Траяна (93—117) и Адриана (117—138), принял христианство, услышав голос Христа, раздавшийся с неба; вынес все испытания, посланные ему Богом — разорение, лишения, нищету, пятнадцатилетнюю разлуку с женою и сыновьями, вновь обрел богатство и славу; был обречен вместе с женою и детьми на мученическую смерть внутри раскаленного медного быка за отказ войти в языческий храм и поклониться языческим богам.

С. 609. ...*этот Мономах... заказывал детям в духовной...* — Имеется в виду «Поучение» Владимира Мономаха (см. прим. к с. 238). Далее — неточная цитата из «Поучения» (см.: Памятники литературы Древней Руси: Начало русской литературы, с. 400/401).

С. 610. *Сладит с этим стариком* — договорится; ладить — договариваться.

С. 620. *В сотеро* — т. е. в сто раз.

С. 661. ...*семьдесят лет прошло после первого урока, данного новгородцам Дмитрием Донским...* — Имеется в виду поход 1386 г., после которого новгородцы подписали грамоту с условием повиноваться Дмитрию Донскому как верховному государю. Однако в хронологии событий Полевой неточен: Шемяка бежал в Новгород в 1441 г., т. е. со времени похода Дмитрия Донского прошло 55 лет.

Черный бор — дань, налагаемая на всех жителей, в том числе и простых людей, «черный народ».

Новгородский самосуд — вече.

С. 662. *Ливония* — Имеется в виду Ливонский Орден (1237—1561) — военное государство немецких рыцарей-крестоносцев («крыжак» — по определению летописцев) на территории Восточной Прибалтики.

Куконос (Кукейнос) или Кокенгузен (Кокенгаузен) — древнерусское и прусское название г. Кокнеса (ныне — одноименный поселок в Латвийской ССР).

Казимир Ягайлович — Казимир IV (1427—1492), великий князь Литовский (с 1440 г.), король Польский с 1447 г.

Сигизмунд — см. комм. к с. 345.

С. 664. *Лакомства волошские* — см. комм. к с. 457.

С. 665. *...добрый Казимир* — Казимир IV (см. комм. к с. 662).

Владислав III Ягайлович (1424—1444), король Польский (с 1434 г.) и Венгерский (с 1440 г.).

...ливонские крыжаки... крыжовники... — древнерусское название и прозвище рыцарей Ливонского Ордена (см. комм. к с. 662).

С. 667. *...отцы наши посадили Ярослава на Киевском престоле...* — см. комм. к с. 381.

...с Мстиславом Удалым возвратили... престол Константину... — Имеется в виду битва на Липецком поле (Липецкая битва) недалеко от Юрьева-Польского (Суздальская земля) 21 апреля 1216 г., в которой поддерживавшие Константина объединенные новгородские, смоленские, псковские и ростовские дружины, руководимые Новгородским князем Мстиславом Мстиславичем Удалым (ум. 1228), взяли верх над войсками великого князя Владимирского Юрия, после чего великокняжеский стол перешел к его брату Константину (см. комм. к с. 533).

...отстояли... от тьмы войск Боголюбского... — Имеется в виду поход на Новгород в 1170 г. великого князя Владимиро-Суздальского Андрея Юрьевича Боголюбского (ок. 1111—1174). В ходе сражения 25 февраля 1170 г. новгородцы не только отстояли свой город, но и сумели нанести решительное поражение осаждавшим его войскам.

...под Орлецом смиряли гордость Василия Дмитриевича... — Имеется в виду взятие новгородцами в 1398 г. крепости Орлец (на р. Северная Двина), где находился наместник Двинской земли, за год до этого занятой войсками великого князя Московского; с падением Орлеца Двинская земля опять перешла под власть Новгорода.

С. 669. *...разбили гордого мейстера...* — т. е. ливонских рыцарей, возглавляемых великим магистром (гроссмейстером) Ордена во время их похода на Новгород в 1444 г.

С. 675. *Иоанн Златоуст* (ок. 350—407) — византийский церковный деятель, константинопольский патриарх (398—404), блестящий оратор, автор многочисленных проповедей, панегириков, псалмов; почитался на Руси в качестве идеала проповедника и обличителя.

С. 676. *...сердца отдохнули...* — т. е. отошли, успокоились.

С. 682. *Я право иду...* — т. е. правильно.

С. 691. *...попленен был... на Суздальском бою...* — Василий Васильевич был взят в плен 6 июля 1445 г. после поражения русской рати, во главе которой он находился, близ Суздаля на р. Каменке, от войск царевичей Мамутека (Мамутяка) и Ягупа, сыновей Казанского царя Улу-Мугаммеда (Махмета).

...восстановлено было Суздальское княжество — Это сделал Дмитрий Шемяка, захватив 12 февраля 1446 г. Москву и провозгласив себя Великим князем; 17 февраля 1447 г. он был свергнут Василием, а в 1450 г. была ликвидирована и недолгая самостоятельность Суздаля — Нижегородско-Суздальского княжества, и Нижнего Новгорода.

СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ И МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ СЛОВ



Адамант — алмаз.]

Аер — воздух.

Ажно — даже, между тем, так что.

Алкать — сильно желать.

Алтарь — жертвенник; в православной церкви — главная, восточная часть, отделенная от общего помещения иконостасом.

Амвон — возвышенная площадка в церкви перед иконостасом.

Анафема — церковное проклятие, означающее отлучение от церкви.

Антиподы — обращенные ногами друг к другу; жители диаметрально противоположных точек земного шара; люди с противоположными чертами характера, взглядами.

Апофегма — краткое, меткое поучительное, наставительное слово, изречение.

Аргамак — верховая лошадь восточной породы.

Архистратиг — самый главный военачальник, предводитель, вождь.

Аспид — род африканской ядовитой змеи; злой, с черной душой человек.

Багряница — широкий плащ ярко-красного, пурпурного цвета, подбитый горностаем; торжественное облачение царей, императоров.

Балдакин, балдахин — нарядное убранство, свисающее над кроватью, ложем, престолом.

Баласы — столбики под перила, поручни, ограду; пустые, праздные разговоры.

Бармы — оплечье, ожерелье, часть торжественной одежды с изо-

бражениями святых, предназначенная для парадных выходов князей, царей, высших чинов духовенства.

Баядерка — служительница религиозного культа в восточных странах; танцовщица и певица.

Бдеть — бодрствовать, не смыкать глаз, неусыпно следить за чем-нибудь.

Белец — живущий в монастыре, но еще не постриженный в монашество.

Бердыш — старинное оружие, боевой топор в форме полумесяца.

Бирюч — помощник князя по судебным и дипломатическим делам, глашатай, объявлявший народу волю князя.

Благовест — колокольный звон перед началом церковной службы, производимый одним колоколом.

Бмодись — берегись, остерегайся от неблагоприятных дел и поступков.

Болван — старинное название статуи; идол, истукан.

Борть — улей в дупле или выдолбленная колода, пень для пчел.

Брань — вражда, война, сражение, бой, битва.

Братина — большой сосуд, чаша с крышкой или без нее, в которой разносили питье, пиво на всю братию и разливали его по чашкам, кружкам.

Брение — очень жидкая глина, грязь; **бранный** — глиняный, непрочный, легко разрушаемый.

Будуар — небольшая комната в женской половине для приема друзей, посетителей, расположенная рядом со спальней.

Буесть — отвага, удадь, молодечество, дерзость.

Былий, былье — травинка, соломинка.

Василиск — сказочное чудовище с телом петуха, хвостом змеи и короной на голове, убивающее все живое одним своим взглядом.

Вежа — шатер, кибитка; башня шатрового типа.

Велелепно — великолепно, блистательно, красиво.

Велий — славный великими, знаменитыми подвигами (о людях); великий, огромный (о вещах, предметах).

Вельми — весьма.

Вепрь — дикий кабан.

Вержет — опрокидывает, бросает, кидает.

Вершник — всадник.

Вершок — букв. верх пальца, фаланга; древнерусская мера длины — 4,45 см.

Весь — село, селение, деревня.

Ветшаный — ветхий, изношенный.

Взалкать — проголодаться, захотеть поесть.

Вино курить — извлекать, гнать из хлеба и др. растительных частей спирт, горячее вино.

Виссон — дорогая белая или пурпурная материя в Древней Греции и Риме.

Виталище — жилье, жилище, убежище.

Вития — оратор; красноречивый, речистый человек.

Власяница — грубая одежда, сделанная из волос; одевалась на голое тело для смирения плоти.

Внидите — войдите, вступите.

Волоковое окошко — окно с задвижкой, внутренней ставней.

Волостель — властитель, начальник над областью, назначаемый правительством.

Болошские — из Валахии, исторической области, располагавшейся между Дунаем и Карпатами.

Волховать — гадать, предсказывать.

Вотола, ватола — накидка из грубой крестьянской ткани.

Вран — ворон.

Вретнице — траур; траурные одежды.

Вья — шея.

Вящие — знатные, сановитые, богатые.

Героглифы — иероглифы.

Гинекей — женская половина дома в Древней Греции, Риме и Византии.

Глагол — слово, речь.

Глад — голод.

Гливы — груши.

Голбчик — пристройка к печи, прилечье, со ступеньками на печь и полати, с дверцами, полочками внутри и лазом в подпол.

Головицина, головщик — управляющий одним клиросом в монастырских церквях; а также (обл.) — торговец яствами; уголовник, преступник.

Гонт — дранка, клиновидные дощечки, кровельный материал.

Горка — полочки, шкафчик для посуды.

Горный — вышний, возвышенный, небесный.

Гости — купцы.

Гривенка — единица веса (фунт — см.), а также дорогая подвеска у образов, икон; позднее — название монеты достоинством 10 копеек.

Гривна — древнерусская серебряная денежная единица, слиток весом около фунта (см.); серебряное или золотое украшение (награда) в виде прямоугольника или овальной формы, с цепочкой; надевалось на шею.

Гудок — смычковый инструмент, род скрипки без боковых выемок, с тремя струнами.

Дебрь — глубокий овраг, ложбина, а также долина, густо заросшие лесом.

Дееписатель — летописец.

Держава — золотой шар с крестом наверху, символ царской, императорской, монаршей власти.

Десница — правая рука.

Десятина — древнерусская единица земельной площади, равная 1,09 гектара.

Дефтер — ханский ярлык (грамота) о видах, характере и размерах дани, которую князья должны были платить хану.

Джерид, джирит — дротик, метательное копьё; джерида — копьёметатели.

Доблий — доблестный, великодушный, добродетельный, благородный, крепкий в деле добра, сильный и твердый в добродетели.

Доезжащий — старший псарь на охоте.

Докончание — конечные условия, окончательная редакция договора, грамоты.

Долбня — колотушка, деревянный молот или просто бревно с выструганной, отесанной ручкой, рукоятью.

Домовище — гроб.

Досканец — ящичек, ларец.

Древле — в старину, в давние времена, встарь.

Дреколья — дубины, палки, колья, употребляемые в качестве оружия.

Дышло — толстая оглобля, прикрепляемая к середине передней оси повозки при парной запряжке.

Дуля — груша.

Духовник — священник, которому исповедуются в своих грехах.

Елей — оливковое масло, употребляемое в церковном обиходе.

Елень — олень.

Епанча — старинная русская одежда, длинный широкий плащ, имел парадную и дорожную формы.

Ересиарх — основатель ереси или главный авторитет среди ее сторонников.

Жиеотицки, животы — стяжанье, движимое имущество, богатство.

Загнуть — загадать загадку, предложить что-то для разгадки.

Заклад — спор, пари; залог, обязательство при займе.

Заклепы — запоры, засовы.

Закута — часть хлева или комнаты, отведенная для мелкого скота и молодняка; чулан, кладовая в избе.

Замотые — попавшие в силки; пойманные, взятые под стражу.

Замшаный — покрытый мохом; забытый, затертый; законопаченный.

Заспа — крупа.

Зельно — обильно, очень много, весьма сильно, крепко.

Зернь — игра в кости (зерна) в чет-и-нечет.

Зипун — верхняя одежда русского крестьянина из грубого толстого сукна, обычно без ворота.

Иверни — черепки, мелкие осколки.

Изурочить — изувечить, искалечить, сглазить, навести на кого-нибудь порчу, болезнь.

Имать — брать, ловить; собирать (дань), взымать (пошлину); созывать.

Имбирники, имбирники, — калачи, хлеб, испеченные с имбирем — пряным корнем тропического травянистого растения.

Ипат — командующий отрядом, предводитель.

Ископать — вырыть, выкопать; добытое, вырытое.

Исполать! — Хвала! Слава!

Исправа — обзаведение чем-либо; одежда, сбруя, упряжь.

Испечаловать — исгоревать, иссохнуть; испросить себе утешение, заботу, защиту от печали.

Истукан — идол, статуя.

Исчадие — чадо (сын или дочь), родившееся на горе родителям, порождающее их своими действиями и поступками; порождение ада.

- Калбати колбат* — грубошитая одежда.
- Каленая стрела* — с закаленным, особо твердым наконечником.
- Калита* — кожаный мешочек, сумка для денег, которую носили на поясном ремне.
- Камка* — шелковая, узорчатая ткань.
- Капитель* — верхняя часть колонны, столпа.
- Келейник* — послушник или монах, прислуживающий духовному лицу.
- Кесарь* — в Византии титул соправителя, «некоронованного» императора.
- Кимвал* — ударный музыкальный инструмент, похожий на современные тарелки.
- Киноварь* — минерал красного цвета (сернистая ртуть); использовалась для изготовления краски.
- Кичение* — хвастовство, спесь, показное превознесение самого себя.
- Кичка, кичка* — головной убор замужних женщин в виде повязки.
- Клеврет* — друг, союзник, единомышленник; с середины XIX в. значение этого слова изменилось на «подручный», «приспешник», «слепо следующий за своим господином».
- Клиент* — первоначально: лицо, зависимое от сановника-покровителя; в новое время — постоянный посетитель, покупатель, пользующийся чьими-то услугами и т. п.
- Клир* — совокупность, собрание священнослужителей и церковных деятелей.
- Клирос* — возвышенное место в христианском храме перед алтарем, где находятся чтецы и певчие (хор).
- Клобук* — головной убор православных священников цилиндрической формы со спадающей на плечи тканью черного или белого (у патриархов и митрополитов) цвета.
- Кобза* — восьмиструнный округлый музыкальный инструмент; был распространен на Украине.
- Ковы* — козни, коварные умыслы.
- Кожух* — верхняя одежда из кожи; овчинный тулуп.
- Кокошник* — головной убор русских женщин в виде украшенного полукруглого щитка или веера.
- Кольми* — особенно, тем более, коли.
- Копышились* — копошились; ломались, упрямились, чванились.
- Кошевя* — станица, казачий лагерь.
- Кравчий* — боярин, ведавший царским столом.
- Краеградие* — край, грань чего-либо; дальние городские окраины.
- Крыж* — крест.

Крыжаки, крыжи — крестоносцы; прозвище рыцарей Ливонского Ордена, вообще воинов, пришедших из стран, исповедовавших латинскую (католическую) веру.

Ктитор — основатель, создатель; в православной церкви — староста, избранный прихожанами.

Купует — покупает.

Курá — выюга, буран, метель, пурга, поднимающая снег от земли.

Курники — сдобный круглый пирог с курицей и яйцами; род калача с запеченной в нем курицей — свадебная хлеб-соль молодым от всех родных.

Кущи — землянки, шалаши, жилище в безлюдном месте в лесу; дикие, безлюдные, заповедные леса.

Кызылбаши — «красные головы» — прозвище воинов-персов по красному головному их убору.

Лазуревый — светло-синий.

Ланиты — щеки.

Ласкательство — лесть, угодничество, заискивание, униженное покровительство.

Лепый — красивый, прекрасный, пригожий, бесподобный.

Ложница — спальная комната.

Локоть — старинная мера длины, равная расстоянию от конца среднего пальца до локтевого сгиба (ок. 50 см).

Ливан — ладан; пахучая смола.

Литр, либр — весовая и денежная единица (см. комм. к с. 52).

Литургия — обедня; христианское богослужение, во время которого совершается причастие.

Лихоманка — лихорадка, горячка, воспаление.

Личины — маски.

Лукоморье — морской залив, побережье.

Мальвазия — сладкое виноградное вино с о. Мадейра (Мадера).

Мамка — кормилица; старшая няня.

Матица — основной брус, балка, на которую настилается потолок.

Матрона — в Древнем Риме — замужняя, почтенная женщина, мать семейства.

Миро — благовонное масло, употребляемое в христианских обрядах.

Мордка — мелкая монета, копейка.

Мостолыга — большая кость.

Мешина — мешочек для денег, сумка, кошелек.

Мыт — пошлина на ввоз товаров, за проезд через заставу, через мост и т. д.

Мытарить — плутовать; обманывать, промышлять несправедливыми способами.

Мытарь — сборщик податей, мыта.

Нагольный тулуп — кожей наружу, не покрытый тканью.

Налой — столик в церкви для богослужебных книг.

Напасть — беда, неприятность.

Наперсник — человек, пользующийся особым доверием; любимец.

Нарекать — называть, именовать; укорять, обвинять.

Нарочитый — значительный, именитый.

Нарочито — обильно.

Начетчик — церковный чтец.

Невегласно — скрытно.

Некошный — недобрый, нечистый, дьявольский, вражеский.

Несть — не есть, нет, отсутствует.

Неумытый — неподкупный, беспристрастный, честный, правдивый.

Обдернулся — ошибся.

Обида — несправедливое дело по отношению к кому-либо; оскорбление, бесчестие; лишение имущества, нанесение убытков; побои и т. п.

Облелеять — обласкавать, изнежить.

Оболочь — облекать, облечь во что-то, укрыть, одеть.

Обретаться — находиться, быть где-то.

Овн — овца.

Овому — кому, одному.

Оглобля — круглая жердь, служащая для запряжки лошади.

Огневица — горячка; сыпь на коже.

Огневишки — пожарники; факельщики.

Одалиска — прислужница в гареме; обительница гарема, наложница.

Одесную — по правую сторону.

Одр — постель, ложе.

Озадки — опыт прошлого, прошлое, дурные последствия, оставшееся в памяти сожаление.

Онучи, онучки — кусок плотной ткани, наворачиваемой на ноги при ношении лаптей, саног; портянки.

Опас — охрана, опека, заступничество, покровительство.

Опрятать — привести в порядок, обрядить, обмыть, одеть (о по-
койнике).

Осанна! — Помоги нам! — молитвенное восклицание при богослуже-
нии.

Отрепья — тряпье, лохмотья, рваная одежда, обноски.

Отрок — младший дружинник, использовался для выполнения раз-
ного рода поручений.

Охобенъ, охабень — широкий кафтан с большим откидным четырех-
угольным воротом, с длинными декоративными узкими рука-
вами и прорезами (в подмышках) для рук.

Ошую — по левую сторону.

Паволока — бумажная или шелковая восточная ткань, а также
одежда из нее.

Паникадило — церковная люстра, канделябр.

Папир — бумага.

Пастырь — пастух.

Патриций, патрикий — придворный титул высшего ранга, давал пра-
во на самые высокие должности.

Паче — более, лучше.

Пенязь — деньги, деньги.

Пергамент — материал для письма из телячьей кожи; документы,
рукописи на таком материале.

Перепечь, перепеча — род кулича, каравай, печеные хлеба.

Перя — жемчуг.

Персть — пыль, прах, малая шепотка земли.

Перуны — стрелы, быстрые, как молнии; Перун — см. комм.
к с. 196.

Пестун — воспитатель.

Печалование — оказание милости, забота о ком-то, покровитель-
ство.

Пешицы — пешие войны, пехотинцы.

Плаун — болотное травянистое растение, мох; в сушеном виде ис-
пользовался в качестве табака, «земляного ладана».

Плевелы — сорные, вредные растения на хлебном поле.

Плеца — плечи.

Плотоядный — хищный (о зверях и птицах).

Повапленный — окрашенный в белый (известью) цвет.

Повеждь — поведай, Расскажи, открой кому-то на что-то глаза.

Погар, погарь — гарь, погоревший лес.

Погост — новгородское укрепленное поселение; сельский приход; кладбище при церкви.

Поддатень — приданный кому-то помощник, товарищ в деле.

Подзоры — спускающаяся кружевная оборка, кайма.

Подьячий — служащий государственного учреждения (Думы, приказа), помощник дьяка (начальника приказа, отдела, канцелярии); писец, письмоводитель.

Презжәне — званные гости на свадьбе.

Поелику — поскольку, по возможности.

Позорище — зрелище, представление.

Полиелей — средняя праздничная служба в церкви, когда зажигаются свечи на паникадилах.

Полоть — половина вдоль разрубленной мясной туши.

Полсть — половина звериной шкуры.

Помози — помоги, подсоби.

Понеже — так как, потому что.

Поприще — древнерусская путевая мера, равная 1,5 версты (1,6 км); место для игр, борьбы; жизненный путь.

Портик — крытая галерея с колоннами, прилегающая к зданию.

Порфир — см. комм. к с. 34. **Порфирный** — багряный, пурпурный.

Посадник — выборный городской голова.

Посконный ряд — торговый ряд с дешевыми, простыми, грубыми льняными и конопляными тканями и изделиями из них. **Посконь** — конопля.

Поставец — столик с ящичками.

Постригся — совершил обряд пострижения в монахи, сопровождаемый подрезыванием волос.

Посхимился — принял схиму, высшую монашескую степень, требующую строгого соблюдения суровых аскетических правил.

Потребится — понадобится, потребуется.

Починки — закладка в лесу новой пашни и деревни; новая деревня.

Презорливый — высокомерный, гордый, надменный.

Прешедший — уходящий, проходящий, прошедший.

Привечать — кланяться, принимать ласково, радушно, приветливо здороваться.

Привременный — пребывающий временно, непостоянный, изменчивый, причудливый.

Присно — всегда.

Притоманный — истинный, настоящий (друг).

Притон — пристань, бухта.

Просвира — белый круглый хлеб, употребляемый в церковных обрядах.

Простыня — простосердечный, прямой; прощение (церковное); просторы, пустошь.

Пря — спор. *Препри* — переспорь, победы в споре.

Псалмы — духовные стихи и песни, созданные в подражание псалмам, составляющим одну из библейских книг — Псалтырь.

Пята — пятка; полпята — полпятки, несколько сантиметров.

Рагозиться — ссориться.

Радунца — см. комм. к с. 312.

Размирье — нарушение мира, ссора, несогласие.

Разстани, розстани — прощание, проводы, последнее свидание перед разлукой.

Ракá — первая выгонка вина; первач.

Рамена — плечи.

Ратовище — древко копья, бердыша или рогатины.

Ритор — оратор, учитель ораторского искусства.

Романея — сладкая настойка на фряжском (французском, заморском) вине.

Ряса — верхняя длинная приталенная одежда с широкими рукавами у православного священника.

Сажень косая — русская мера длины, измеряемая расстоянием от правой пятки до конца поднятой вверх левой руки, или от левой пятки — до конца поднятой вверх правой руки.

Сайдак, саадак — комплект стрелкового оружия — лук с налучником (чехлом) и колчан со стрелами.

Сарацины — одно из древнейших кочевых арабских племен, в дальнейшем — общее название арабов.

Сатрап — наместник правителя в восточных странах; в дальнейшем — деспот, самовольный, ни с чем не считающийся правитель, самодур.

Свежина — свежее несоленое мясо.

Свещница — подсвечник.

Свитка — верхняя длинная распахная одежда из домотканого сукна.

Сделье — сделанное, приготовленное быстро, наскоро; результат небольшой, недолгой работы.

- Се** — это; вот.
- Секира** — оружие, топор на длинной рукояти.
- Сенник** — матрас, тюфяк, набитый сеном или соломой; сенная постель; сарай для сена, сеновал.
- Сенные девки** — служанки в женской половине, горничные.
- Синодик** — список имен умерших для поминовения в церкви.
- Скимен** — львенек.
- Скипетр** — жезл с драгоценными камнями и резьбой, знак царской, императорской власти.
- Скора** — меха.
- Скрынка** — сундук, коробка, ларец; горшок, крынка, жбан с крышкой; жестяная стопка.
- Сладить** — договориться.
- Смесной** — смешанный.
- Смоква** — инжир, плод смоковницы; в Древней Руси — вяленая, сушеная вишня или слива (чернослив).
- Снаряды** — снаряжение, принадлежности.
- Снедь** — пища, еда.
- Содом** — беспорядок, хаос; от библейского г. Содома, разрушенного за сумбурную, греховную, непорядочную жизнь его жителей.
- Сотью** — в сотый раз.
- Софисты** — философы.
- Спекулятор, спекулятор** — палач.
- Ставка** — палатка, шатер; ткацкий станок.
- Стакался** — сговорился.
- Стенать** — стонать, охать при душевной боли, плакать, кручиниться.
- Стень** — тень, пелена.
- Стклянка, сткляночка** — бутылочка, пузырек, небольшой стеклянный сосуд с горлышком.
- Стогны** — городские площади и улицы.
- Стоп** — колонна, столб.
- Столечник** — скатерть.
- Стратиг, стратилат** — предводитель, военачальник, вождь.
- Стязи, стяги** — военные знамена и значки на конце древка.
- Сулея** — плоская бутылка, посудина с горлышком.
- Схима** — обет, клятва; монашеский чин, налагающий на принявшего его самые строгие аскетические правила и требования поведения.
- Сыта медвяная** — питье, подслащенное медом, или медовый взвар на воде.

Такать — поддакивать, соглашаться.

Тамга — клеймо, отличительный знак на чем-либо; пошлина, подать за приложение клейма.

Тарабарский — бессмысленный, бестолковый; непонятный; зашифрованный.

Тарханная грамота — грамота, освобождающая от всех податей и налогов; а порою — и от судебной ответственности.

Татаур — широкий пояс у бояр и священников; ремень, на котором подвешивался язык колокола.

Тать — вор, похититель, грабитель.

Тезоименитство — наименование именин, дня ангела у высоких особ.

Тенета — нить, сети, сетка из ниток.

Теорба — шипковый, струнный музыкальный инструмент с низким тембром; басовая разновидность лютни.

Терлик — длинный приталенный кафтан с короткими рукавами.

Тёрн — колючий кустарник, род сливы.

Тимпан — музыкальный инструмент наподобие бубна

Тиун — должностное лицо в Древней Руси, управляющий, приказник, судья.

Тма, тьма — десять тысяч.

Тма тем — сто тысяч.

Толичать — многократно называть, упоминать.

Толмач — переводчик.

Триклиний — столовая комната.

Триодь — богослужебные книги, содержащие песнопения и молитвы.

Триумфатор — победитель.

Тузлук — старинное украшение, которое носили на поясном ремне.

Тук — тучный, обильный.

Туне — втуне, напрасно, даром, зря.

Туск — тусклость, помутнение.

Тысяцкий — выборное лицо от каждой тысячи горожан или крестьян; военачальник; старший свадебный чин.

Тюника, туника — древнеримская белая шерстяная или льняная одежда в виде длинной рубашки с короткими рукавами.

Угобзенный — удобренный, обогашенный, щедро одаренный; *гобза* — обилие, богатство, достаток, урожай.

Уполох — тревога, набат, сполох.

Успение — кончина.

Устав — условие, договор, уговор; грамота, определяющая какие-то правила, порядок действий, обязательства.

Фарганы — варяги, норманны.

Ферезь, ферязь — верхняя мужская прямая неприталенная одежда с длинными рукавами и без ворота; женское платье с застёжкой снизу доверху.

Фиал — чаша.

Фиглярка, фигляр — скоморох, шут, кривляка, фокусник, ловкий обманщик (в цирке).

Фимиам — благовонное вещество, используемое в церквях при богослужениях.

Фляга — плоский дорожный сосуд, бутылка.

Фунт — мера веса, равная 409,5 гр.

Фурия — см. комм. к с. 176.

Фут — мера длины, равная 30,48 см.

Хари — маски.

Хартия — старинная рукопись, документ, грамота.

Хитон — древнегреческая одежда в виде рубахи (до колен или ниже) с рукавами или без них, перетянутая поясом.

Хлябь — глубина, пропасть, бездна.

Хоругвь — воинское знамя, стяг, значок на древке; в церкви — полотнище с изображением святого, используемое во время церковных шествий.

Хрептуг — мешочек для овса, который привязывается к оглоблям, чтобы кормить лошадей, не распрягая их.

Хронограф — летопись; запись событий по годам, хроника.

Целовальник — выборное должностное лицо в Древней Руси по финансовым или судебным делам; давал клятву на честное исполнение своих обязанностей, скрепляя ее целованием креста.

Цырен — котел, ящик; солеваренная сковорода.

Челядь — первоначально — рабы; затем — слуги, дворовые люди, вообще феодально зависимые от князя, боярина люди.

Червень — пряжа или ткань, окрашенная в красный, багряный цвет.

Червчатый — ярко-малиновый, багряный, красный.

Чернец — монах.

Чертоги — пышные, богато убранные, великолепные, украшенные помещения во дворцах, домах или сами дома, дворцы.

Четверина, четверик — русская мера объема сыпучих тел — 26, 24 л.

Четки — шнурок, нитка с узлами или бусами из дерева, кости, применяемая для отсчета молитв или поклонов.

Чиниться — соблюдать требования сословного — по чину — поведения; вести себя соответственно своему чину.

Чли — чтили, почитали, оказывали почтение. уважали.

Шафран — южное травянистое растение, рыльца цветка которого использовались в качестве приправы, а также для окраски бульонов, теста, стряпни в желтый цвет.

Шелега, шелег — неходячая монета, бляшка для счета в играх или в память чего-либо.

Шуйца — левая рука.

Щегла — флагшток; лестница из одного бревна с вырубленными или прибитыми ступенями.

Щепетко — тщательно, аккуратно, модно, нарядно, щегольски.

Щеть — щетина.

Эпитимия, епитимия — наказание в виде продолжительного поста, длительных молитв и т. п. обрядов, налагаемое на исповедующегося священником.

Эпитрахиль, епитрахиль — часть облачения, одежды священника, длинный расшитый узорами передник, надеваемый на шею и носимый под ризой. *Риза* — верхняя одежда священника при богослужении; *ряса* — повседневная одежда.

Яко — как.

Ярыжки — нижние полицейские чины, следили за порядком на улицах, собирали налоги (земские ярыжки) и т. д.

Яспис — яшма.

Яхонт — старинное название рубина и сапфира.

Полевой Н. А.

П 40 Избранная историческая проза / Сост., вступ. ст. и комм. А. С. Курилова; Ил. В. Пашкова.— М.: Правда, 1990.— 752 с., ил.

ISBN 5-253-00146-8

Творчество писателя, журналиста, историка Н. А. Полевого (1796—1846) хорошо было знакомо читателю прошлого века. Настоящее издание включает исторический роман «Клятва при гробе Господнем», «Повесть о Симеоне, Суздальском князе» и византийские легенды.

П 4702010100 — 2194
086(02) — 90

2194 — 90

84 Р I

Литературно-художественное издание

ПОЛЕВОЙ Николай Алексеевич

**ИЗБРАННАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА**

Составитель
Курилов Александр Сергеевич

Редактор
И. А. Бахметьева

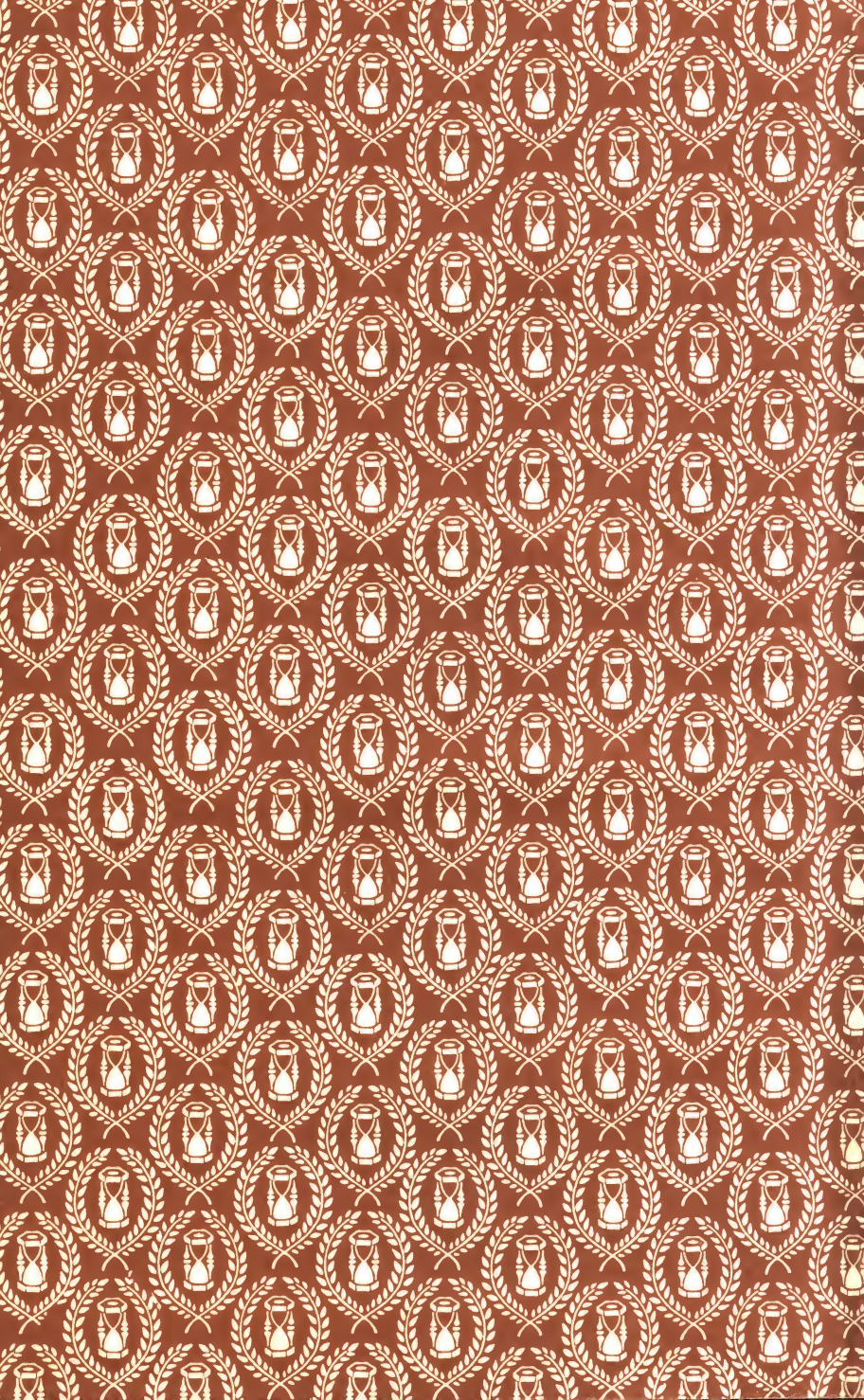
Художественный редактор
Т. Н. Костерина

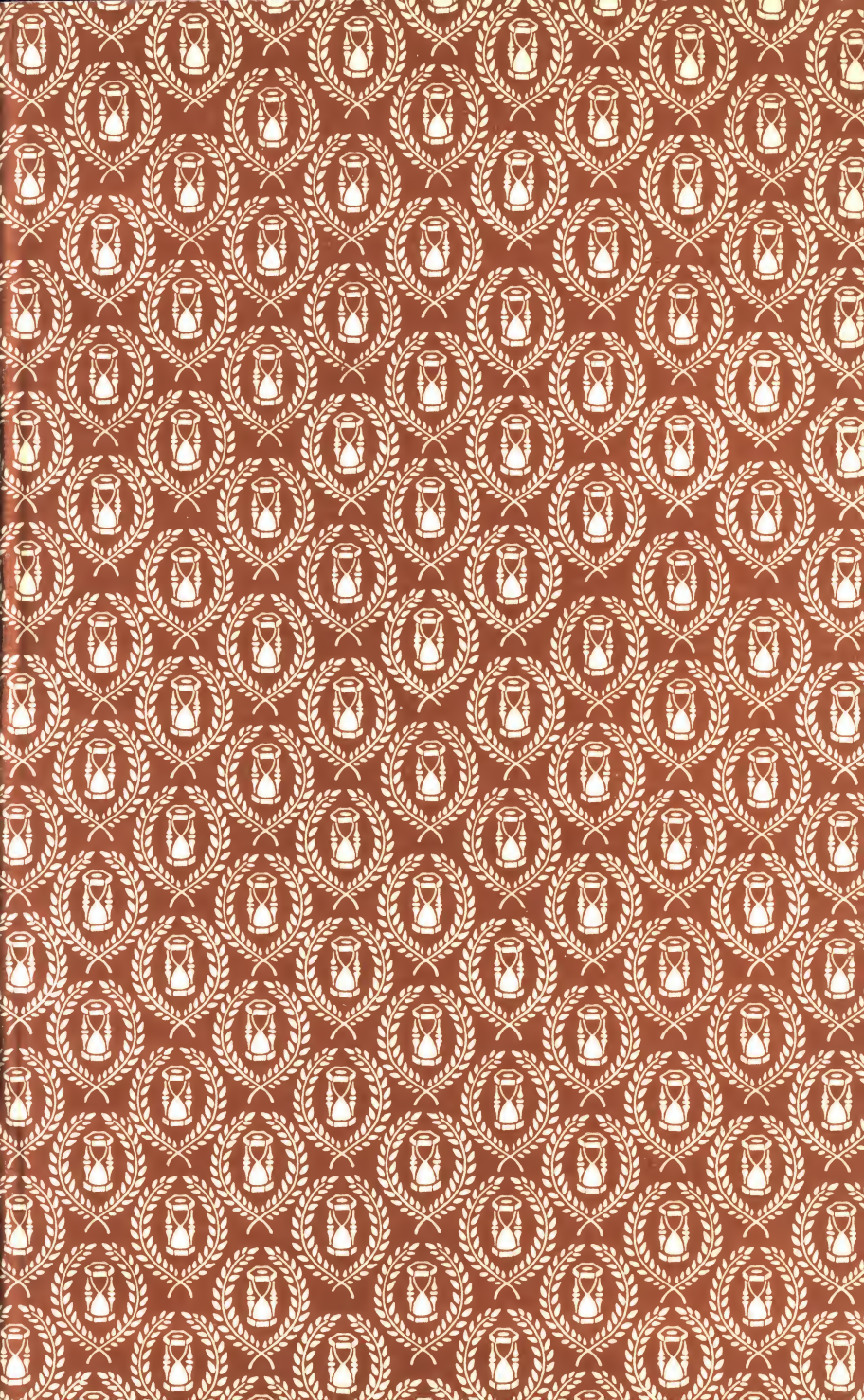
Технический редактор
К. И. Заботина

ИБ 2194

Сдано в набор 19.12.89. Подписано к печати 08.09.90.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 39,48. Усл. кр.-отт. 39,00. Уч.-изд. л. 44,32.
Тираж 300 000 экз. (2-й завод: 150.001—300 000). Заказ № 5628.
Цена 3 р. 70 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС
«Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.
Отпечатано в типографии изд-ва «Советское Зауралье»,
640627, г. Курган, ул. Карла Маркса, 106.





Н. А. ПОЛКЕВНОЙ

Избранная историческая проза